



ФОНД
«СВЕТΟΣЛАВЪ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ВЯЧЕСЛАВ
ФОМИН



АНТИ- НОРМАНИЗМ

НАУКА ПРОТИВ ЛЖИ



Фомин Вячеслав Васильевич

АНТИНОРМАНИЗМ: НАУКА ПРОТИВ ЛЖИ

Том 1



Концептуал

Москва
2025

УДК 94(470.1/.2)
ББК 63.51(2)
Ф76



Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда Русской цивилизации «Светославъ» в рамках научного проекта № 2/2022 по теме «Варяго-русский вопрос в системе современных наук: итоги дискуссии и перспективы изучения».

Рецензенты
доктор исторических наук *В.А. Волков*
доктор исторических наук *С.В. Перевезенцев*
кандидат исторических наук *Г.А. Артамонов*

Фомин Вячеслав Васильевич

Ф76 Антинорманизм: Наука против лжи. В 2-х томах. Т. 1. — М.: Концептуал, 2025. — 656 с.

ISBN 978-5-907972-04-9

Какие загадки скрывает происхождение руси и варягов? Почему многовековая дискуссия между норманистами и антинорманистами до сих пор будоражит умы учёных? Какие идеологические и политические цели стоят за норманской версией российской истории?

В монографии излагается шведское начало норманской теории, её научное опровержение, положенное немецкими антинорманистами конца XVII — первой половины XVIII века. Детальный разбор ошибочно-ложных утверждений и фальсификаций норманистов (прежде всего археологов и лингвистов) сопровождается анализом всех известных на сегодня источников — письменных, археологических, нумизматических, антропологических, лингвистических, данных ДНК-генеалогии. Такой комплексный подход точно приводит к пониманию истинных истоков руси и варягов, не связанных со скандинавами.

Издание рекомендуется специалистам, студентам, всем, чьё сердце и ум волнуют слова «Откуда есть пошла Русская земля», произнесённые далёким нашим предком — русским летописцем.

УДК 94(470.1/.2)
ББК 63.51(2)

ISBN 978-5-907972-04-9

© Фомин В.В., 2025
© ИП Антипин К.В., 2025

*Светлой памяти
родителей Марии Ивановны и Василия Алексеевича,
сестры Валентины и брата Владимира посвящается*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	7
Примечания	26

Глава 1

ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ НОРМАНСКОЙ ТЕОРИИ (ВЕРСИИ) В ШВЕДСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ XVII ВЕКА

1.1 Проблема зарождения норманской теории (версии) в науке	30
1.2 Норманская теория (версия) как шведский взгляд на русскую историю	45
1.3 Причины зарождения и распространения в Швеции в XVII в. шведского взгляда (норманизма) на русскую историю	74
Примечания	116

Глава 2

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ОЦЕНКЕ М.В. ЛОМОНОСОВА-ИСТОРИКА

2.1 Г.Ф. Миллер и А.Л. Шлёцер — инициаторы уничижительно-негативной оценки Ломоносова как историка	127
2.2 Дореволюционные норманисты об исторических возможностях Ломоносова	140
2.3 Советская, эмигрантская и современная наука о Ломоносове-историке	169
Примечания	212

Глава 3

М.В. ЛОМОНОСОВ И Г.Ф. МИЛЛЕР КАК ИСТОРИКИ

3.1 Предыстория обсуждения речи-«диссертации» Г.Ф. Миллера	219
3.2 Обсуждение речи-«диссертации» русскими и немецкими коллегами Г.Ф. Миллера и его итоги	237
3.3 Исторические знания Ломоносова накануне дискуссии, или почему «всё обнял он и во всём успел»	254

3.4 Дискуссия историков Ломоносова и Миллера по варяго-русскому вопросу.....	274
3.5 Ломоносов и Миллер: уроки полемики	294
Примечания	307

Глава 4

РАЗРАБОТКА ВАРЯГО-РУССКОГО ВОПРОСА В 1802–1940-Х ГОДАХ

4.1 Торжество ультранорманизма А.Л. Шлёцера в науке и общественном сознании России в первой половине XIX века	316
4.2 Способы утверждения ультранорманизма и их научная несостоятельность, или «результаты Шлёцеровы теперь уже ничего не значат» (М.П. Погодин), но их «ставили в угол, как ненужный, но требуемый приличием обряд» (В.О. Ключевский)	333
4.3 «При догмате скандинавского начала Русского государства научная разработка древнейшей истории Руси немыслима» или сокрушение С.А. Гедеоновым ультранорманизма А.Л. Шлёцера и его русских последователей.	363
4.4 Возрождение ультранорманизма археологами и лингвистами, и прежде всего скандинавами В. Томсеном и Т.Ю. Арне	378
4.5 Варяго-русский вопрос в трудах советских и эмигрантских учёных 1920–1948 годов	397
Примечания	425

Глава 5

НОРМАНИСТСКАЯ СУЩНОСТЬ «СОВЕТСКОГО АНТИНОРМАНИЗМА»

5.1 Антинорманизм ложный и антинорманизм истинный советской эпохи.	434
5.2 Ошибочная абсолютизация советскими археологами своей роли в решении варяго-русского вопроса.....	459
5.3 «Советские антинорманисты»-археологи как принципиальные последователи шведов Т.Ю. Арне и его ученика Х. Арбмана (на примере статьи Л.С. Клейна, Г.С. Лебедева и В.А. Назаренко 1970 г.)	474

5.4 «Достижения» «советских антинорманистов»-археологов в духе Клейна, Лебедева и Назаренко, т. е. шведов Арне и Арбмана . . .	486
5.5 Норманистское решение «советскими антинорманистами» — археологами и лингвистами — варяго-русского вопроса	510
5.6 Истинный антинорманизм в лице советских историков В.Б. Вилинбахова, А.Г. Кузьмина, Н.С. Трухачёва и борьба с ним «советских антинорманистов».	534
Примечания	549

Глава 6

УЛЬТРАНОРМАНИЗМ В 1992–2002 ГОДЫ

6.1 Ультранорманизм — или «взвешенный», «объективный» и «научный» норманизм — об антинорманизме и антинорманистах прошлого и современности.	561
6.2 Археология — главная основа ультранорманистских измышлений, а псевдолингвистика — её верная прислужница, заставившая небывалых в истории *roþ(e)R'ов положить начало имени «Русь» и Русскому государству	576
6.3 Общий взгляд ультранорманистов на летописных варягов и русь, на начало Русского государства.	593
6.4 «О сколько нам открытий чудных готовит норманизма дух», или как великий русский князь Святослав по воле норманистов попал в «Вальхаллу — загробный чертог Одина».	603
Примечания	639

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на принципиальное противостояние, у норманистов и их оппонентов имеются некоторые точки согласия. Одна из них состоит в том, что варяго-русский (варяжский) вопрос есть главный вопрос нашей истории и нашего самосознания. «История всякого государства, — подчёркивал в 1846 г. М.П. Погодин, — есть не что иное, как развитие его начала... Начало государства есть самая важная, самая существенная часть, краеугольный камень его истории, и решает судьбу его на веки веков». Варяго-русский вопрос, констатировал в 1877 г. чешско-русский славист И.И. Первольф, представляет собой «краеугольный камень всей древней истории восточной славянщины». Такие же мнения слышатся и сейчас. Этот вопрос, говорил Г.С. Лебедев в 1999–2002 гг., «начальный, а потому — ключевой вопрос российской истории, следовательно, отечественного самосознания», в силу чего ответ на него «исключительно значим в целом для российского национального, государственного, культурного самосознания». Точно так считает и пишущий эти строки¹.

Ключевое положение варяжского вопроса в отечественной истории объясняется тем, что в нём неразсторжимо связаны проблемы, которые ориентированы не только на наше прошлое, но и на наши настоящее и будущее. Это проблемы этноса и родины варягов и руси (как варяжской, так и иных), степень их участия в русской истории, в складывании и развитии государственности у восточных славян, происхождения русского народа и его имени, названий Руси и Россия. В связи с чем в науке мало найдётся тем, сравнимых с варяго-русской по степени интереса, количеству работ и мнений, а также по накалу полемики, что вполне объяснимо. «Эти загадочные варяги-русь, — отмечал в 1878 г. Ф.Я. Фортинский, — дали нам князей, воевод, дружинников; в продолжение двух с лишком столетий они принимали деятельное участие в торговых и военных предприятиях наших предков и, следовательно, должны были оказать влияние на всё государственное и общественное развитие восточных славян». Поэтому, правомерно заключал исследователь, «то или другое решение его может повесть к изменению взгляда на всю древнюю Русь»².

Справедливость слов Фортинского ещё больше подчёркивает факт весьма заметной политической окраски варяжского вопроса, особенно ярко проявляющейся в сложные периоды истории нашей Родины, включая, начиная с «перестройки», наши дни³. В том числе и по этой причине, в его решении было предложено большое число ответов (порядка 30), и в руси и в варягах видели норманнов, славян, франков, финнов, литовцев, венгров, хазар, герулов, готов, грузин, роксолан, кельтов, тюрков, евреев, фризов и пр.⁴ Такой набор ответов означает, что в источниках нет конкретного указания на этнос руси и варягов (поэтому неправду говорят норманисты, утверждая обратное) и что существуют разные версии варяжского вопроса, в том числе

и норманская, но нет, опять же вопреки заверениям её сторонников, норманской проблемы.

Сегодня исследователи придерживаются двух первых из приведённых мнений, при этом в массе своей отдавая предпочтение норманской версии (которую преподносят, для придания «научообразности», в качестве теории, хотя она не тянет на гипотезу). А такое предпочтение обусловлено лишь тем, что норманизм, веками преподносимый школьными и вузовскими учебниками в качестве непреложной истины (фоном чему в науке и публицистике массово звучат заклинания, что «бессмысленно, непродуктивно, ненаучно отрицать скандинавство варягов»), «с молодых ногтей» жёстко форматирует сознание будущих специалистов по истории Руси. По причине чего в своём выборе они руководствуются силой предубеждённости и силой инерционности, нежели глубоким знанием и сравнением доказательной базы норманистов и антинорманистов.

Хотя знать и сопоставлять их крайне необходимо, как необходимо профессионально владеть огромным и противоречивым историографическим материалом, накопленным у нас и за границей за более чем 400 лет. Ибо «главным условием на право исследования вопроса о начале русского государства, — верно заметил в 1931 г. В.А. Мошин, — должно быть знакомство со всем тем, что уже сделано в этой области» (ведя речь об учёных, не знающих историю данного вопроса, неразрывно связанного с варягами и русью, историк констатировал, а его слова ещё больше актуализировало наше время: они в лучшем случае открывают давно известные факты, в худшем — повторяют старые заблуждения, «в результате чего сплошь да рядом происходят недоразумения», т. к. «пытаются часто старыми аргументами доказывать то, что уже давно опровергнуто»)⁵.

А в данной области сделано очень много, значительно больше, чем это всё ещё представляется. Потому как разработка варяжского вопроса имеет, на чём автор настоящих строк заостряет внимание с 1993 г., более длительную историю, чем принято считать. В 1614–1615 гг. швед П. Петрей, впервые печатно излагая, в силу внешнеполитических appetitов Швеции, усиленных Смутой в России, шведский взгляд на русскую историю, по которому знаменитые варяги — согласно менталитету того времени, создатели мощной Руси — были шведами, параллельно с тем констатировал наличие других версий об их начальном местожительстве, существовавших задолго до высказанной им, как затем её будут преподносить, норманской теории. С одной стороны, «многие стали держаться мнения, что варяги были родом из Энгерна в Саксонии или из Вагерланда в Голштинии», с другой, «некоторые жестоко спорят и говорят, что эти три брата, варяги, пришли из других стран, а не из Швеции». По сути, первый историографический обзор (с оговорками, разумеется,) по варяго-русской теме также относится к XVII веку. Причём он также связан с именем шведа — О. Рудбека, который в 1698 г., выдавая летописных варягов за своих далёких предков, привёл иное мнение на сей счёт немцев С. Герберштейна (1549) и П. Одерборна (1585), итальянца А. Гваньини (1600), указывающее в качестве их родины южное, славянское побережье Балтийского моря⁶.

Пройдёт не так много времени, и подобные обзоры станут значительно объёмнее, качественнее, противоречивее и эмоциональнее, т.к. будут выходить из-под пера представителей разных взглядов на этническую природу варягов и руси. Например, немец Г.З. Байер в статье «De Varagis», изданной в 1735 г. в России, объявляет несостоятельной информацию о выходе варягов из пределов Южной Балтики — из Пруссии, — присутствующую как в наших летописях, так и в сочинениях немцев П. Одерборна, М. Претория (1688), шведа П. Петрея (при этом почему-то не указав, что последний, лишь обмолвившись о прусской версии происхождения русской династии, не только высказал шведскую версию её начала, но даже пытался обосновать свой тезис, впервые обратившись к такому неиссякаемому арсеналу «доказательств» норманства варягов, как псевдолингвистика, которая стала главным «аргументом» в рассуждениях самого Байера).

С той же категоричностью он отвергает сведения немцев С. Герберштейна, Б. Латома (1560–1613) и Ф. Хемница (1611–1687) о том, что родиной варягов является всё та же Южная Балтика, но только самый западный её район — Вагрия. Весьма примечателен способ, которым Байер их отвергает: Герберштейн недалеко от Голштинии сыскал «Вагрию и вагров, по свидетельству Адама Бременского, славенский народ. Имел он сходство имени, дело весьма лёгкое, токмо бы оное крепкими доводами утверждено было. Однако ж Бернард Латом, Фридерик Хемниций и последователи их сие первое от всех как подлинное положили. И понеже они сыскали, что Рурик жил около 840 года по рождестве Христовом, то потому и принцов, процветавших у вагров и абартритов, сыскивали». Пруссак же М. Преторий, выводивший варягов из Пруссии («русси от народа своя крови владетеля призвали»), «доброхотствовал», заключал пруссак Байер, своему отечеству и «пруссков древних с поколениями славенских народов смешал, и то он сие весьма коварно учинил, дабы поляком прислужиться».

Свой же взгляд на варягов как на скандинавов Байер утверждает словами: «Сказывают же, что варяги у русских писателей были из Скандинавии и Дании». Озвучивает он и имена этих сказателей — шведских авторов XVII в., и прежде всего О. Верелия и О. Рудбека, работы которых были изданы в 1672 и 1689–1698 годах. В качестве подтверждения их истины учёный ссылается на саги, наделив при этом исландского скальда XIII в. Снорри Стурлусона титулом самого «достойнейшего и справедливейшего» из всех сочинителей вообще. Тем самым поставив его выше русских летописей, выше ПВЛ, содержащих самую главную информацию о варягах и варяжской руси, но вместе с тем прямо не обозначающих их этнос (что является ещё одним объяснением наличия в науке большого числа точек зрения на их происхождение). И всё это затем подкрепляя «лингвистикой», заноса русские летописные имена в категорию скандинавских. Не найдя имя «варяг» в скандинавской истории и потому полагая, что оно «более есть поетическое», Байер приводит заключения Верелия и Рудбека, согласно которым термин «варяг» на скандинавском языке могло означать «разбойник» или «волк», немца Г.В. Лейбница, в начале XVIII в. принявшего вариант «разбойник», и шведа А. Моллера, в труде

«De Varegia» (1731) объяснявшего его уже из языка эстов и финнов в значении «вор» и «грабитель». Твёрдо считая, что «от Рюрика все имена варягов, в русских летописях оставшиеся, никакого иного языка, как шведского, норвежского и датского суть», русский академик немецкой национальности позволил себе несколько не согласиться — но только по форме — с немецким филологом Ю.Г. Шоттелием (1612–1676), отстаивавшим германскую природу славянского имени Владимир⁷.

В.Н. Татищев, ведя в «Истории Российской с самых древнейших времён» (её первоначальный текст был готов в 1739 г., первый том увидел свет в 1768 г.) речь о выходе варягов из Финляндии, отрицает иные мнения на сей счёт: С. Герберштейна, поляка М. Стрыйковского (1582 г.) и француза К. Дюре (1613 г.) о Ваврии, русских летописей о Пруссии, шведских авторов о Швеции. Вместе с тем он указывает на принципиальные ошибки «преславного писателя» Байера, истекающие из априорной позиции учёного в варяжском вопросе и совершенного незнания русских памятников, заметив, например, что его вывод о скандинавской природе имён «Святослава, Владимира и пр. неправо» и что его утверждение о появлении письменности на Руси лишь в связи с её крещением есть «ложь от неведения, якобы в Руси письма до Владимира не было». Г.Ф. Миллер в речи-«диссертации» обратил внимание на псевдолингвистический вывод Рудбека, следуя которому Байер «почёл без основания *старую Ладогу*, город нами довольно известной, за Алдейгабург»⁸.

В «Трёх рассуждениях о трёх главнейших древностях российских», законченных в 1758 г. (вышли спустя 15 лет) В.К. Тредиаковский, разбирая статьи Г.З. Байера, привёл точки зрения С. Герберштейна, далмата М. Орбини (1601), М. Претория, Б. Латома и Ф. Хемница о южнобалтийской родине варягов, француза Ф. Бриэ (Филиппа Бриеция д'Аббевиля), связавшего Рюрика с Данией (1649), шведов О. Рудбека и Г. Валлина (1743), выводивших варягов из Швеции, Г.З. Байера, видевшего в них скандинавов вообще, мнения немца Я. Гретсера (1560–1625) и француза С.П. Ришлэ (1631–1698), производивших название византийских варангов от, соответственно, имени «франки» и английского «фрак» — кораблекрушение, разбитые корабли. Причём автор, видя, чем грозит науке подмена свидетельств исторических источников лингвистическими натяжками, специально довёл их до полнейшего абсурда, показывая тем самым несостоятельность подобных опытов (в связи с чем Ю.И. Венелин в 1836 г. охарактеризовал его труд «как *весёлая* и довольно остроумная *пародия* на *Байеровы словопроизводства*, который всё выводил из скандинавского»).

Легко демонстрируя повсеместные следы пребывания славян в Западной Европе, Тредиаковский по примеру Байера без проблем представил — в качестве «повреждённых» славянских слов — происхождение названия иберов, испанцев, от «Уперту», т.е. упёрты со всех сторон морями, кругом заперты, Галлию как Целтия, т.е. Жёлтая, Британию как «Бродания от больших бород, или Братания от сего, что британские целты суть одного рода с галлическими... может быть, что она и Пристания, названная так самыми первыми, приехавшими к ней с твёрдыя земли через море. Древнейший язык

и на сих островах был словенский: свидетельствует Хладония, то есть страна Хладная, нынешняя Шкотландия», Германию как «от холмов Холмания, Халмания, и Алмания», «или она есть Ярмания, от ярма, означающего жителей своих трудолюбивыми и неусыпными в земледелии», или, наконец, «она Кормания, по обилью корма и паствы», Саксонию как Сажония, «значит сажонную от многих в ней растущих насаждений», Данию как День, Норвегию как Наверхия, страна, лежащая на верх к северу, Скандинавию как Шкоды-навей, «от вреда вьющего в ней с близкого севера» и др. (в качестве уместной иллюстрации к такого рода «научной» лингвистике, без которой норманизм не мог существовать, стоит привести заключение А.Л. Шлёцера, что многие летописные имена есть германские/скандинавские имена, «только немного испорченные в чужой земле»⁹).

В 1768 г. Шлёцер в книге «Probe russischer Annalen» («Опыт изучения русских летописей»), издана пишущим эти строки на русском языке в 2015 г.) весьма отрицательно отозвался о разысканиях шведских авторов по истории Руси (вёл речь о лингвистических «снах и галлюцинациях» «начитанного дикаря» О. Рудбека, учинившего разруху, «пройдясь по древним векам», о выдумках о варягах О. Далина, повторенных многими учёными и др.). Но считал, что шведу Ю. Ире удалось «проследить этимологию слова “варяг”»: «согласно ему, оно является буквальным переводом слова “Foederati”». Работы Байера, по его мнению, делают «ему чести больше», чем самой Петербургской Академии наук, и которые могли бы использоваться «новыми авторами российской истории в большем объёме, чем это происходит сейчас», но невысоко ставил труд «эрудированного» Татищева, в котором собраны «все известия в одну кучу» (и потому от него «нет никакого проку»), а при оценке наблюдений его и Миллера над летописями больше склонялся к признанию заслуг в данной области последнего (хотя тот во всём повторял Татищева).

Вместе с тем Шлёцер не без возмущения говорил о нелепостях — «мусоре из исторической лжи» — сочинений иностранцев о России. Одним из которых является «Введение в Московскую историю» немца Г.С. Трейера, вышедшее в 1720 г. и утверждавшее, что до XV в. её история «похожа на пустынную Аравию. И, как в пустыне, где примерно на каждые 100 миль находится лишь одно место, населённое людьми, там едва ли на каждые сто лет найдётся событие, достойное внимания» (однако это сравнение русской истории с пустыней критик Трейера будет сам использовать в 1802 г. в своём «Несторе»). Как в целом резюмировал Шлёцер, не принимая во внимание труды Татищева и Ломоносова, что «до сих пор не существует российской истории», т. к. она ещё не написана в критическом духе ни в России, ни за рубежом¹⁰.

В 1773 г. в работе «О народах издревле в России обитавших» Г.Ф. Миллер отверг вымыслы шведа О. Далина о ранней русской истории (хотя во время дискуссии по своей речи-«диссертации» предельно лестно отзывался о его сочинении), заметив, что «если шведы присвоивают себе *варяг*, то сие происходит только от их мнения, якобы других никаких варяг не было, кроме шведского происхождения, и будто бы происхождения их принадлежали больше к шведской, нежели к российской истории». А также озвучил суждение

«некоторых учёных шведов», считавших, что имя «варяг» возникло «от воровства и грабительства мореходов», от того, что «их называли варгурами», т.е. «волками» (хотя Байер «показал уже неприличность и невероятие толь поносного для них толкования»), выразил основательные сомнения по поводу «производства варяг от *варингар*, древнего шведского слова, которым означали военных людей, собственно особу княжескую охранявших» (напомнив, что от него же, как считали Байер и Ире, «произошли варанги при греческих императорах находившиеся»), и в конечном итоге справедливо заключил, что «варанги от варяг, а не варяги от варангов или варингаров имя себе получили».

Уверяя, что Байер «привёл любителей российской истории на истинной путь к почитанию варяг за народ от готфов происходящий, объясняя древним северным языком варяжския имена в летописех российских упоминаемых», его же словами категорично отверг южнобалтийскую версию происхождения варягов: Герберштейн «обманулся в сходстве имён *вагриев* с варягами, и почёл сих жителей оной земли. Столь же бесполезно старались и мекленбургские писатели о положении происшествия Рурикова от князей оботритских». Вместе с тем учёный выступил против абсолютизации данных лингвистики, которые, по его точному замечанию, только тогда приобретают силу, когда подкрепляются историей, т.е. фактами: «Язык показывает нам происхождение народов. Однакож настоящий этимологист недоволен ещё некоторым сходством частных слов: ибо в оном так как и в подобии лиц между собою ни в чём неразнствующих много случайного быть может; почему и заключает он о сходстве в народах, не прежде как по усмотрении, что оное и историею подтверждается»¹¹.

На рубеже 1780–1790-х гг. И.Н. Болтин, отстаивая, следуя за Татищевым, финскую теорию происхождения варягов, говорил в примечаниях на «Историю» М.М. Щербатова: «Некоторые невежи мнят быти Рурика из Вандалии, другие из Прусии, а иные из Италии, и от поколения цесарей римских род его выводят... но все оныя сказания суть басни достойныя ума тогдашних времён, и невместность их Татищев... дельными доводами доказал». Охарактеризовал мысль Щербатова, считавшего варяжских князей немцами (а «из немец», т.е. из пределов Западной Европы, Рюрика с братьями выводят поздние летописи) и утверждавшего, что их имена немецкие, «уродливой догадкой», однако по поводу отнесения Байером этих же имён к шведским, норвежским и датским сказал, что «доводы его на сие так ясны, что никакого сумнения иметь не дозволяют». Вместе с тем Болтин особенно решительно восстал против мнения «дерзкого клеветника и сущего враля» француза Н.Г. Леклерка о «дикости» Руси, доказывая, что уже в глубокой древности Восточная Европа была вовлечена в сферу мировой культуры, поддерживая торговые связи с самыми отдалёнными центрами цивилизации¹².

В 1802 г. Шлёцер в «Несторе» (пятитомный труд, изданный в 1802–1809 гг. в прусском Гёттингене, в 1809–1819 гг. вышел на русском языке в трёх частях) дал нелестные характеристики русским историкам (в первую очередь М.В. Ломоносову и В.Н. Татищеву), ибо среди них нет «настоящих учёных историков»

(из их числа выделяя только Болтина, хотя и тот не имел «многотрудной исторической критики, познания в учёных языках и в новейшей иностранной словесности», в связи с чем «ложную» Иоакимовскую летопись считал истинной) и которые выступили против «учёного исторического доказательства» Г.З. Байера о норманстве варягов и руси.

Одновременно он весьма высоко оценил, подробно излагая его аргументы, труд шведа Ю. Тунмана (1774, профессор красноречия и философии университета в прусском Галле), под влиянием которого изменил свой взгляд на этнос и родину русов и стал считать их одним из скандинавских племён (тогда как в 1768 г. твёрдо вёл речь о пребывании руси в Причерноморье, сближая её, в том числе, с хазарами). Но довольно резко раскритиковал первую часть «Истории шведского государства» (1746) другого шведа — О. Далина (подчеркнув при этом, рассуждая об одноимённой книге В. Бринга 1769 г.: «Главное его положение, сделавшееся смешным от Далиновых бредней, справедливо, что основатели Русского царства суть шведы», но тут же заметив, отражая богатую фантазию норманистов по поводу истории Руси: Бринг шутит, «будто финны называли шведов *руоци* от еврейского слова *руц*, *бегать*, по причине частых их разъездов по Балтийскому и по другим морям»), говорил о «бесчисленных ошибках» П. Петрея и не принял «Ирево произведение слова *Väring* от англосаксонского слова *war*, союз». Вместе с тем Шлёцер с негодованием обрушился на немецкого экономиста А.К. Шторха, пришедшего к выводу, что до прихода Рюрика на Руси процветала торговля, благодаря чему у восточных славян появились города и первые князья.

В «Прибавлении I» Шлёцер пересказывает работу О. Далина, суждения о варягах В. Бринга, В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, Г.Ф. Миллера, Ф. Эмина, А.И. Манкиева, М.М. Щербатова, В.К. Тредиаковского, И.Н. Болтина. И заключает, что благодаря перечисленным русским деятелям русская историческая наука «не один раз возвращалась... *вспять*» и что в ней «царствует ещё *неучёная* фантазия», т.к. они «всё ещё выдают варягов за славян, пруссов или финнов, что однакоже 60 лет тому назад Б а й е р так опроверг, что никто, могущий понять учёное историческое доказательство, не будет более в том сомневаться» (вместе с тем указав, что после обсуждения «диссертации» Миллеру попало «одно место в дурном и по большей части непонятном географе *Равенском*, который *роксоланов* переселил на *Вислу*... почему и взял он новое мнение о варягах, сходное с ломоносовским»). В «Прибавлении III» историк заостряет, как и в 1768 г., внимание на несостоятельности лингвистических упражнений, на основе которых многочисленные рудбеки легко «реконструировали» историю Руси: «Если дадут мне сотню русских имён и слов, то с помощью известного рудбековского... искусства возьмусь я отыскивать столько же подобных звуков в малайском, перуанском и японском языках»¹³.

В год своей смерти, последовавшей в 1809 г., Шлёцер в пятой части «Нестора» поместил приложение (не включённое в русское издание, что объясняется прежде всего его стилем и грубейшим отступлением от правил научной этики), где предельно негативно отреагировал на появление работы дерптского учё-

ного Г. Эверса, счастливо обрётшего в России вторую родину: «Vom Urschprunge des russischen Staats» («О происхождении Русского государства», 1808). Отреагировал потому, что бывший его студент, возвращённый им на норманистских ценностях, не только аргументировано отрицал связь руси со скандинавами и указывал на её древнее пребывание на юге Восточной Европы (т.е. как это делал Шлёцер в 1768 г.), но и доказывал, что государственность у восточных славян сложилась до призвания варягов (в норманстве которых он нисколько не сомневался). Причём, как откровенничал Эверс, заняться проблемой происхождения русской государственности его побудил «Нестор» Шлёцера: «Однако мои изыскания настолько отличаются от учений этого знаменитого человека, что их можно считать абсолютным противоречием сочинениям Шлёцера. Подобно Байеру и Тунману, он полагает, что основатели самого крупного государства в мире пришли с берегов Балтийского моря, я же полагаю, что с берегов Чёрного моря. И всё же к таким противоположным выводам нас незаметно привела общая цель: он искал истину, я тоже».

Но поиск истины логично привёл изначального норманиста Эверса к антинорманистским выводам (хотя и неполным), на которые его вывели, в том числе, впервые привлечённые им к решению начала Руси восточные источники. Однако такая истина не нужна была Шлёцеру, возведшему норманскую версию в абсолют, в своего рода религию от науки. В связи с чем он устроил своему ученику, впавшему в инакомыслие, показательную публичную порку, «приговорив» его книгу к числу тех, которые «a priori могут быть осуждены, так как они плохи в литературном и моральном отношении». Ибо «выдумщик» и «поэт хазар» Эверс есть, во-первых, «самый незнающий из моих противников» (даже «самый необразованный из моих критиков» «турок» Ф. Эмин знает больше его), что он, будучи человеком «в высшей мере самонадеянным» и мнящим себя учёным, «ничего не знает из средневековой истории», истории права, возникновения государства (а такой «высоконаучный» тон разговора с оппонентами станет для подавляющего числа норманистов, включая современных, нормой).

Во-вторых, европейская знаменитость, стремясь поставить на Эверсе как на учёном крест (и уже имея такой опыт сведения счетов с покойными М.В. Ломоносовым и Г.Ф. Миллером), обвинила его в плагиате: он дословно, без каких-либо ссылок «напечатал целые абзацы, целые страницы из моего “Нестора”» и других работ, а заодно и в том, что он переполнен «чёрной неблагодарностью к учителю» (и с этой целью привёл, снабдив их саркастическими комментариями и исказив их подлинный смысл, несколько писем Эверса к себе, в которых выражались «уважение, доверие» к Шлёцеру, готовность во всём следовать его советам). Эверс, надо отдать ему должное (ибо в науке недопустимы ненависть, хамство, клевета и передёргивание фактов, являющиеся непременными спутниками норманизма, и на них всегда следует жёстко реагировать), не промолчал и издал в 1810 г. в Дерпте «Unangenehme Erinnerung an August Ludwig Schlözer» («Неприятные воспоминания об Августе Людвиге Шлёцере»), в которых подчеркнул: многие предупреждали меня, что Шлёцер, «не привыкший к критике, поведёт себя как негодяй», при этом

прикрываясь любовью к истине. Но я считал, что он, сам свободно высказываясь на благо науки, невзирая на личности, позволит подобное и другим. Однако я ошибся, и «в гневе его ущемлённое самолюбие перебороло его порядочность и заставило написать пасквиль на меня, который позорит пятую часть его “Нестора”»¹⁴.

Насколько далеко, поддавшись эмоциям и ослепляющему чувству нетерпимости не-норманистских воззрений, зашёл Шлёцер в неприятии концепции Эверса, показывают отзывы тех же лет немецких учёных-норманистов на книгу последнего «О происхождении Русского государства». Так, в 1808 г. ориенталист И. С. Фатер полностью согласился с выводами этого «очень ценного сочинения». Тогда же сын Шлёцера Х. А. Шлёцер, констатируя, что Эверс отважился выступить против скандинавского происхождения руси, которое для всех стало фактом, вместе с тем вёл речь о его «усердии, начитанности», о умении высказывать «здравые суждения». В 1809 г. Ф. Рюс, посвятив труду своего университетского товарища развёрнутую рецензию, признал его «остроумие», «учённость» и «кропотливое прилежание» (но тут же говоря, а этот неувыдаемый «аргумент» в адрес антинорманистов был введён в употребление Шлёцером, что против норманской теории восстала, в данном случае в лице немца Эверса, «русская национальная гордость»). Об Эверсе лестно отзывались на конференции Петербургской Академии наук в январе 1809 г. академики И. Ф. Круг и А. Х. Лерберг, отмечавшие, что именно он акцентировал внимание на критике «слабых мест в рассуждениях Шлёцера и Тунмана о происхождении руси»¹⁵.

С перенесением центра изучения варяго-русского вопроса из Западной Европы в Россию главные работы по нему в целом и по всем его аспектам, включая взаимоотношения М. В. Ломоносова с Г. Ф. Миллером и с А. Л. Шлёцером, издаются теперь в её пределах, в связи с чем основные историографические обзоры (и краткие оценки трудов предшественников и современников, даваемые по ходу изложения материала авторами XVIII — первой половины XIX в.), разумеется, разной степени полноты и объективности, также выходят из-под пера наших соотечественников¹⁶. В том числе и тех, кто оказался в XX столетии в эмиграции (причём обобщением опыта разработки варяжского вопроса её представители занялись намного раньше и намного обстоятельнее, чем их советские коллеги. Возможно, это было связано с тем, что они пытались осмыслить и причины краха Российской империи, вследствие чего ими была утрачена Родина, и торжества новоявленных «варягов» — большевиков)¹⁷. Уже более трёх десятилетий анализом историографии варяжского вопроса, включая установление истинных причин появления норманской версии, рождённой в годы Смуты стремлением Швеции оторвать от России её Северо-Запад, многопланово занимается автор этих строк¹⁸. Разумеется, интерес к этносу варягов и руси никогда не ослабевал у иностранных коллег, что вело и ведёт к появлению за границей трудов, в той или иной мере подводящих итоги разработки данной проблемы как в русско-советской, так и зарубежной науке¹⁹.

Однако, несмотря на столь самое пристальное и многовековое внимание большого числа российских и зарубежных исследователей к варяго-русскому

вопросу и его историографии, в них наличествует немало «белых пятен», очень слабо проработанных тем, принципиальных изъянов, ошибок и домислов. Это, например, шведское начало норманизма, продиктованное внешнеполитической конъюнктурой, немецкие историки XVII — первой половины XVIII в. как первые антинорманисты, значимость Ломоносова-историка, содержание его знаменитой полемики 1749–1750 гг. с Миллером (в которой в унисон с Ломоносовым говорили другие члены Петербургской Академии наук, в том числе немецкие учёные, о чём обычно умалчивают сторонники норманской версии), смысл терминов «варяги» и «немцы», в которые в разные эпохи русские люди вкладывали, что совершенно не учитывается норманистами, разное понимание, истинная сущность «советского антинорманизма», приведшего к торжеству современного ультра-норманизма, наличие в истории, помимо Киевской Руси, других Русий, без принятия во внимание которых русская история выглядит противоречивой, запутанной и неполной, а также подлинное начало руси и варягов.

Но главное — это насколько соответствуют показания разнохарактерных источников тем его решениям, которые предлагали и предлагают норманисты и их оппоненты. Потому как, справедливо отмечал в 1876 г. И. Е. Забелин, «для правдивого отношения к делу необходимо с одинаковым вниманием выслушать всех свидетелей». Но при этом ошибочно представлять, также справедливо заключал историк (и что с ещё большей актуальностью звучит сегодня), лингвистику в качестве единственного средства разрешения вопроса, связанного с «начальной организацией Русского государства», т. к. она «ограничивается почти одними только собственными именами, всегда испорченными выговором и написанием». Твёрдо считая, что лингвистика в поисках истоков русского народа «может служить только опорой, иногда вполне надёжной, иногда весьма сомнительною», Забелин верно указал (а речь о том же вели и Ломоносов, и Миллер, и Шлёцер), куда уведут науку рудбеки: «Но поставленное на первое место пред всеми другими средствами добывать историческую истину, это великое орудие становится великим препятствием к познанию истины, ибо оно по самым свойствам своей исследовательности всегда очень способно унести нашу мысль в облака, переселить её в область фантазмагорий»²⁰.

Для выяснения перечисленных проблем автором привлечены все имеющиеся на сегодня источники: письменные (отечественные и иностранные, опубликованные и рукописные, в том числе хранящиеся в Шведском государственном архиве: Sweden Riksarkivet), археологические, нумизматические, антропологические, лингвистические, данные ДНК-генеалогии, а также богатейший историографический материал. Потому как, подчёркивают А. Г. Кузьмин и его ученики, лишь только при комплексном (междисциплинарном) «изучении какого-либо явления возможно объективное понимание исторического процесса»²¹. При этом в центре внимания находятся прежде всего свидетельства русских памятников, в первую очередь ПВЛ (или Начальная летопись) и её составной части — Сказания о призвании варягов/Сказания о призвании варяжских князей (именуемое также, в силу историо-

графической традиции, варяжской легендой, что ни в коей мере нельзя воспринимать как указание на его баснословность).

С учётом того что разговор о варягах и руси ведётся в трёх плоскостях — историографической, источниковедческой и собственно исторической, то характеристика источников и подробный историографический анализ всех составляющих варяго-русского вопроса даются по соответствующим главам. Подробный потому, что даёт читателю возможность ознакомиться со всеми нюансами мнений учёных — отечественных и зарубежных, высказанных за несколько столетий. Тем самым стать участником сложного исследовательского процесса, способным увидеть плюсы и минусы разных идей, заложенное в них явное или скрытое лукавство, ибо норманистская литература постоянно грешит ошибочным — причём часто преднамеренным — изложением историографического материала (и вместе с тем прямым искажением показаний источников или их тенденциозным изложением), видеть, как сегодня норманисты вызывают к жизни, по причине отсутствия таковых, «аргументы», от которых отказались, под давлением критики оппонентов, их именитые предшественники. Подробным также в силу того, что сторонники норманской версии обвиняют своих научных противников (которые уличают их не только в неверной трактовке начала Руси, но и в лжи) якобы в неверном изложении их взглядов.

Вместе с тем автор подчёркивает, как это уже делалось им в 2005 и в 2010 гг., что термины «норманист» и «антинорманист», которые он использует, «не несут в себе ни отрицательной, ни положительной окраски и представляют собой рабочий инструментарий, позволяющий точно и ёмко обрисовать позицию учёных по отношению не только к проблеме этноса варягов, но и к норманской теории»²². Подчёркивает с надеждой быть всё же услышанным оппонентами, которые, избегая (и тем самым прямо признавая отсутствие доказательств в пользу норманизма) разговора по существу, приписывают пишущему эти строки (как и всем с ними несогласным) несвойственные ему слова и идеи, сводя всё к тому, что он «навешивает ярлыки», «поучает», «клеимит», «обвиняет», «оскорбляет», «обрушивается на большинство известных российских учёных», да и вообще Фомину «ярость застлала глаза»²³ и т. п.

Так, если послушать Л. С. Клейна, для которого обозначение «норманизм» есть «клише советской пропаганды», Фомин, во-первых, утверждает, что норманист — это, «безусловно, антипатриот», во-вторых, называет современных русских историков «русофобами, подкупленными Западом» (а его учитель А. Г. Кузьмин представлял норманистов сторонниками «зловредного подрывного учения с политическим подтекстом»), если В. В. Пузанова, главным недостатком моих работ «является перенос научного спора в область политики, навязчивые представления о норманистах как недругах русского и, шире, славянских народов», если Е. А. Шинакова, «именно непредвзятый, системный, комплексный анализ источников, с соблюдением принципов их непротиворечивости, методологии компаративизма и некоторых методов сравнительно-текстологического анализа неизбежно приводит (и на разных уровнях объективных исследований приводил) к тому, что В. В. Фомин ангажировано называет термином “норманизм”»²⁴.

Хотя даже самое поверхностное знакомство с историографией варяго-русского вопроса показывает, что названный инструментарий сложился в отечественной науке давно, в первой половине XIX в., и им активно пользовались обе стороны (сами же термины «антинорманизм» и «норманизм» появились в Англии в 1640-х гг.²⁵). К примеру, в 1845 г. норманист А. А. Куник даже подразделил антинорманистов на четыре группы. Тремя годами позже он вёл речь о «норманизме», в 1860-х — 1870-х гг. оперировал понятиями «норманская теория», «норманизм», «норманисты» (причём именуя «норманистом», «самым старинным норманистом», «почтенным родоначальником норманистики» Нестора-летописца) и «антинорманисты» (а в 1875–1878 гг. научных противников в сильнейшем раздражении называл «варягоборцами», «норманофобами» и, чтобы заручиться поддержкой самой ПВЛ и «застолбить» за норманистами монополию на её толкование, «антинесторовцами», «противниками Нестора», организовавшими в последние годы «поход против Несторова сказания», т.е. варягоборство, а себя и своих соратников величал «защитниками Нестора» и «несторовцами»).

Антинорманист Н. И. Костомаров в знаменитом публичном диспуте с М. П. Погодиным, состоявшемся в марте 1860 г., неоднократно употреблял термин «норманисты». О «норманистах» говорил в 1864 г. и сам М. П. Погодин (а в 1845 г. сожалел в письме М. А. Максимовичу, что «ты до сих пор остаёшься при своём антинорманском предрассудке»)²⁶. В 1871–1872 гг. публикуются работы Д. И. Иловайского, в которых он вёл речь о «норманистах», «норманской теории» и «норманизме». В 1876 г. вышла его статья под названием: «Заключительное слово моим противникам — норманистам», адресованная В. Г. Васильевскому и А. А. Кунику (при этом историк верно заметил, что «норманизм заслуживает в особенности следующего упрёка: ссылаясь на мнимые лингвистические законы, он совсем игнорирует законы исторические» и что «если бы защитники пресловутой теории серьёзно вникали в эти законы, то они не могли бы смешивать факты литературные с фактами историческими»)²⁷.

Те же термины присутствуют в книге датского норманиста В. Томсена 1870-х гг., изданной первоначально на английском, затем немецком, шведском, русском и датском языках (этот языковед, отдавая предпочтение в системе своих доказательств лингвистике, утверждал, что «антинорманизм успел сделаться чуть ли не догматом веры у известной части русских патриотов» с их «нерассуждающим национальным фанатизмом»). О «норманизме», «норманской теории» и «норманистах» говорил в начале 1880-х гг. В. О. Ключевский. И в унисон с антинорманистами Забелиным и Иловайским указывая десятилетие спустя, что Байер и Миллер «дали опасное филологическое направление историческому вопросу (варяжскому. — В.Ф.), превратили его в комментарий слов, а не событий».

Эти же термины (а также «антинорманисты») использовал в 1892 и 1899 гг. на страницах авторитетного «Энциклопедического словаря» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона норманист Ф. А. Браун. Как разъясняла в 1903 г. «Большая энциклопедия», те учёные, которые «считают варяго-русов выходцами из Скандинавии... называются, поэтому “норманистами” и их теория “норманской”»,

другие же, отрицающие их утверждения, именуются «антинорманистами» (говоря вместе с тем, что норманская версия «нашла себе ещё в XVIII столетии противников, главным образом, из патриотических соображений, в лице Тредьяковского и Ломоносова»). В те же годы о «норманской» партии и «антинорманистах» рассуждал чешский историк Л. Нидерле. О «норманистах» и «антинорманистах» в нашей науке вела речь в 1913 г. и «Русская энциклопедия», а в эмиграции этими терминами оперировал, например, в 1931 г. Е. Ф. Шмурло²⁸ (да и в 1998–2000 гг. норманист В. Я. Петрухин говорил о традиционном для науки XIX в. названии «норманисты»²⁹).

Впрочем, не видят никакого подтекста в термине «норманизм» некоторые современные норманисты: историки И. Н. Данилевский и А. А. Горский и археологи А. А. Романчук и С. В. Томсинский. Первый отмечал в 1998 г., что «справедливо “норманизмом” называть любое признание присутствия скандинавских князей, воинов и купцов в Восточной Европе». Второй в 2012 г. пояснял: тех, кто считал, что варяги «были скандинавами (норманнами, по западноевропейской терминологии раннего Средневековья), принято именовать “норманистами”, тех, кто это отрицал, — “антинорманистами”». Романчук годом позже, касаясь водораздела между норманистами и антинорманистами, указал, что «совершенно чётким критерием здесь служит ответ на вопрос: “были ли летописные варяги скандинавами?”. Те, кто отвечает на этот вопрос положительно, со всей очевидностью должны определяться как норманисты»³⁰.

Томсинский в 2014 г. подчеркнул, что «под норманизмом мы понимаем утверждение скандинавского происхождения не только династии Рюриковичей, но и древнерусской государственности как таковой». Вместе с тем он и тогда, и позже вёл речь о «ленинградском неонорманизме», основанном Л. С. Клейном и существовавшем с середины 60-х гг. прошлого века по 2010-е годы. Но который в наши дни многократно утверждал, как обычно, напуская туману, что «норманская теория» — это миф, что «норманизма нет!». Ибо он «был просто пугалом, созданным антинорманистами для подтверждения их необходимости», «жупелом», чтобы им «напугать тихих и серьёзных учёных, натравить на них развязную и бесцеремонную околону научную публику и пресечь серьёзные исследования», оправдывать запреты на изучение фактов, на критику антинорманистских беспочвенных фантазий»³¹ (А. А. Куник, зная историографию варяжского вопроса намного лучше Клейна с его учениками и потому не стремясь исказить факты, о которых, хотя и частично, был уже в курсе тогда научный мир, сказал в 1878 г., что если «антинорманистской школы никакой нет, а есть только антинорманисты», то «норманисты, напротив, образуют старую школу, возникшую в 17 столетии»³²).

Именно в этом столетии и возник норманизм, рождённый политикой. И потому он с самого начала используется в качестве либо инструмента воздействия на Россию, либо обоснования захватнических целей, направленных против неё (что во времена Петра, что во времена Гитлера). В 1968 г. бывший участник белого движения, писатель-историк М. Д. Каратеев, поняв, оказавшись за пределами Родины, «сколько непоправимого вреда принёс норма-

низм престижу нашей страны», заострил внимание на его главной сущности — антирусской, ибо за ним «кроется не одно лишь тщеславное желание Запада отстоять видимость своего превосходства над русским народом. Дело обстоит гораздо серьёзней: норманская доктрина пошла на вооружение тех русофобских сил западного мира, которые принципиально враждебны всякой сильной и единой России, — *вне зависимости от правящей там власти* (курсив мой. — В.Ф.), — и служит сейчас чисто политическим целям: с одной стороны как средство антирусской обработки мирового общественного мнения, а с другой — как оправдание тех действий, которые за этой обработкой должны последовать»³³.

Действительно, стоило только нашему президенту В.В. Путину в послании к Федеральному Собранию в декабре 2014 г. напомнить, говоря о важности возвращения Крыма в «родную гавань», что «именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского государства», и что «именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе... принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь», как его тут же поспешили «поправить» (точнее, по-хамски одёрнуть) из Швеции, где нынешние петреи (или «пустомели», по характеристике Г. Эверса), убеждены, что лучше нас знают нашу историю. Таким «крупным знатоком» оказался бывший премьер-министр К. Бильдт (активно включённый в антирусскую политику Украины), который тут же отозвался в «Твиттере»: «Это был античный греческий город Херсонес, где викинг князь киевский Вальдемар был крещён. Сомнительные основания для Москвы претендовать на Крым»³⁴ (а снятый на деньги российских налогоплательщиков «исторический фильм» «Викинг», который вышел в 2016 г. и в котором главным действующим лицом выступает великий русский князь Владимир Святославич, словно призван продемонстрировать правоту Бильдта). 17 января 2017 г. норвежский журналист П.А. Юхансен, согласно норманистской традиции жонглируя мифами и нагромождая одну ложь на другую, писал в Интернете о герое фильма «Викинг»: «Вальдемар, близкий родственник нескольких выдающихся правителей викингов Норвегии. Его предком был шведский викинг Рюрик, основавший королевскую династию, которой было суждено править Россией 600 лет. В 977 году Владимир бежал к своему родственнику Хокону Могучему в Трёнделаг. Проведя в Норвегии три года, Владимир собрал войско, которое помогло ему отвоевать Новгород и Киевское государство у брата Ярополка»³⁵.

В силу сказанного понятно, почему антинорманисты акцентируют внимание на политической подоплёке норманской теории, изначально антирусской и антинаучной (абсолютно аналогичной «Завещанию Петра Великого», сфабрикованному французами в XVIII в.³⁶). Отсюда также понятно, почему её сторонники, пользуясь своим засильем в научном и общественном сознании (что уже помогает им подавлять и вытравливать ростки инакомыслия), более двух столетий стараются скомпрометировать антинорманизм (при этом ведя себя чрезвычайно агрессивно и нисколько не гнушаясь ни лжи, ни подлогов) и перевести варяго-русский вопрос из сферы фактов, которых у них нет, в сферу пустых разговоров лишь о его патриотической

составляющей (особенную активность в этом плане проявляют археологи и филологи. Хотя бывали исключения: А. В. Назаренко в 1996 г. предупреждал, что опасно сводить так называемый «антинорманизм» к исполнению идеологического заказа³⁷).

Для чего представляют антинорманизм от лица «научной общественности», как это выразил в 1999–2014 гг. без всяких церемоний и намёка на академичность археолог Л. С. Клейн, в качестве сугубой специфики России (уходящей корнями в комплекс неполноценности, который является истинной основой распространённой у нас ксенофобии), «ультра-патриотизма», «искусственного, надуманного течения, созданного с ненаучными целями — чисто политическими и националистическими», «шовинистической ангажированности», «ложно понимаемого патриотизма», «застарелого синдрома Полтавы!», «постыдности» для российской науки, верноподданным любой власти (за что та им всегда покровительствовала, тогда как норманисты шли «наперекор этим пожеланиям сверху»). Под пером Клейна сегодняшние антинорманисты, идеи которых «привлекательны для околонушной публики», предстают «фальсификаторами», «дилетантами» и «ультра-патриотами», а «Кузьмин, Фомин и Вилинбахов повторяют то, что в XVIII в. придумал Ломоносов, да так и не смог доказать».

В своём неприятии антинорманистов Клейн, заявляя без излишней скромности, что работает «на благо русской науки, отстаивая её силу, честь и достоинство», доходит до того, что приписывает им чувства, несвойственные русским людям. Так, говорил он устно и печатно, «некоторые реакционно-настроенные историки (Иловайский, Забелин), подходя к вопросу с позиций великодержавного шовинизма, выступали против “норманской теории”, поскольку она противоречит идее о том, что русский народ по самой природе своей призван повелевать и господствовать над другими народами»³⁸ (подобную расистскую чушь, которая взорвёт планету Второй мировой войной, говорили не в России и не антинорманисты, а нацисты в Германии, провозглашая её и немецкий народ превыше всего и превыше всех и в доказательство тому приводя, как это делал порождённый западноевропейской цивилизацией Гитлер, «святую» для Клейна норманскую теорию, также являющуюся плодом Запада³⁹).

Деля мир на «своих» и на врагов (именно так!), которые хотя бы на йоту посмели усомниться в норманизме, Клейн академика Б. А. Рыбакова, выдающегося археолога и историка, признававшего скандинавство варягов, но в духе «советского антинорманизма» весьма приуменьшавшего их роль в нашей истории, характеризует «не просто патриотом, а несомненно русским националистом или, как это сейчас принято формулировать, ультра-патриотом — он был склонен пылко преувеличивать истинные успехи и преимущества русского народа во всём, ставя его выше всех соседних», «всегда придерживался националистических убеждений»⁴⁰ (поняв после моей критики его взглядов, что он весьма «пересаливает» со сведением антинорманизма к проявлению патриотизма и национализма, Клейн в 2014 г. оправдывался, что он «выступал не против патриотизма, а против уродливых форм, которые его выражение

подчас принимает»⁴¹. Но патриотизм есть проявление самых светлых чувств любого народа, и потому уже не может иметь «уродливых форм». Хотя, конечно, им могут прикрываться любые негодяи, как, например, те же германские нацисты, однако их действия имеют, в том числе по решению Нюрнбергского трибунала, иную классификацию).

В том же духе и в том же стиле рассуждают «единоверцы» Клейна и прежде всего его коллеги-археологи (в том числе и те, кто варяжским вопросом не занимается вообще). Так, в 1998–2019 гг. В.Я. Петрухин (главный исторический консультант фильма «Викинг», опозорившего и наш кинематограф, и нашу историю) охарактеризовал современных антинорманистов, в качестве «реаниматоров старых мифов» с «квазипатриотическим воображением», тиражирующих «без научного комментария» труды представителей «кондового антинорманизма» Д.И. Иловайского («чьи построения признавались одиозными уже в дореволюционную эпоху») и С.А. Гедеонова (квалифицировав этого выдающегося историка, о труде которого с глубочайшим почтением отзывались именитые норманисты XIX в. — М.П. Погодин, А.А. Куник и др., лишь как любителя старины). При этом уверяя, что сегодня антинорманисты своими «эпигонскими сочинениями» и «историографическими казусами», в которых отсутствует «исторический анализ», шельмуют оппонентов и возвращают нас прямо в средневековье⁴².

В 2007–2011 гг. филолог Е.А. Мельникова, выступая, как и Клейн, также от имени «академического сообщества», вела речь о всплеске в 2000-е гг. «антинорманизма, причём примитивного, основывающегося на работах середины XIX в.» (антинорманизм возродился «в его “гедеоновском” варианте»), в котором доминируют, как и раньше, патриотические мотивы. И обвинила его сторонников — мифотворцев — в «немцененависти на новый лад» (хотя рассуждения антинорманистов не имеют никакого отношения к немцам, да и ненависти они ни к кому не разжигают). В силу своего базового филологического образования, что не помешало Мельниковой стать (а в норманизме всё строится на чудесах) доктором исторических наук, она считает, демонстрируя незнание историографии, что антинорманисты именуют норманистами всех, кто отказывается «признать варягов балтийскими славянами»⁴³.

В 2007 г. украинский историк Н.Ф. Котляр на страницах российского издания заклеил (выполняя заказ наших норманистов) нынешних русских учёных-антинорманистов как «средневековые обскуранты», «квасные» и «охотно-рядческие патриоты», не способные «на какую бы то ни было научную мысль». Тогда же его французский коллега К. Цукерман говорил, что расцветший ныне антинорманизм осложняет дискуссию, а главное, создаёт «странную атмосферу» борьбы с источниками. В 2009 г. археолог Е.Н. Носов представил пишущего эти строки в качестве автора, своеобразно понимающего патриотизм и воспитанного «на идеологических установках времён тоталитарного общества», выхватывающего, «борясь с “норманизмом” за “самобытное славянство”... из контекста легендарные и полуполулегендарные летописные фразы и сообщения, на которые накручивается масса предположений и домыслов, из чего создаются наукообразные сочинения»⁴⁴.

В 2009–2012 гг. археолог В.В. Мурашёва, относя антинорманистов ко вне- или околонучным кругам, увидела в споре норманистов и антинорманистов спор между «патриотами, которые не могли допустить и мысли об участии выходцев из Скандинавии в процессе образования русского государства и “космополитами”, допускавшими такую возможность». При этом уверяя, что проблеме о роли варягов-скандинавов на раннем этапе отечественной истории к началу XXI в. «можно считать решённой в рамках академической науки», под которой она понимает только археологию, т.к. свою статью 2009 г. адресовала «не археологам (которым и так ясна суть дела), а историкам» (уча Фомина уму-разуму, отнесла известную дискуссию по речи-«диссертации» Г.Ф. Миллера 1749–1750 гг. ко второй половине XVIII в.).

В 2010 г. историк Г.М. Коваленко также эксплуатировал идею, которая со времён А.Л. Шлёцера является *idée fixe* норманизма и без которой он не может существовать, что «многие российские учёные стали антинорманистами главным образом по патриотическим соображениям, считая, что лишь “автохтонное” рождение народа прямо из своей земли гарантирует “правильный” ход истории этой земли и этого народа». В 2010 г. историк С.В. Соколов утверждал, что «антинорманизм возрождается в отечественной науке в агрессивной, радикальной форме с конца 1990-х годов, взяв на вооружение и развив взгляды М.В. Ломоносова и “патриотической школы” второй половины XIX в.», а в 2011–2015 гг. подчёркивал, что для абсолютного большинства антинорманистов «XVIII–XIX вв. важным мотивом была борьба с концепцией в их представлении унижавшей национальное достоинство»⁴⁵. В 2011 г. датский историк Д. Линд (который в 1990 г. на международной научной конференции в Ленинграде пытался дискредитировать в наших глазах нашего величайшего национального героя и духовного ориентира Александра Невского) в российском сборнике назвал сегодняшних антинорманистов «националистами советского стиля», ибо они стремятся освободить российскую историю от скандинавов⁴⁶.

Годом позже историк Е.В. Пчелов, также, разумеется, причисляющий себя к «академическому сообществу», отнёс антинорманистов, с их «псевдонаучными рассуждениями», к «околонучным кругам» и «ура-патриотам от истории». В том же 2012 г. археолог С.В. Воронятов говорил о норманистах, старавшихся быть объективными и исходивших из источников, и антинорманистах, больше апеллировавших к уязвлённому национальному чувству, «отягощённому сегодня ещё и болезненным имперским комплексом» (им «оказались свойственны почвенничество, основанное на агрессивном национализме... и откровенно погромный лексикон». Автор, не ведая всей сложности и глубины варяго-русского вопроса, вёл речь об острой дискуссии М.В. Ломоносова не только с Г.Ф. Миллером, но и с Г.З. Байером, который скончался в феврале 1738 г., т.е. за 11 с половиной лет до октября 1749 г., когда началось публичное обсуждение речи Миллера, а антинорманиста В.Н. Татищева отнёс к норманистам)⁴⁷.

Ситуация, складывающаяся вокруг России после возвращения в её состав Крыма, добавляет новые нотки в уста тех, для кого норманизм стал сутью не

только научного бытия, но и смыслом всей жизни (в том числе и её политической составляющей). Так, 1 марта 2016 г. центр им. А.Д. Сахарова провёл, посредством историка И.Н. Данилевского и филолога Ф.Б. Успенского (а это есть ещё один главный исторический консультант фильма «Викинг»), «дискуссию» на тему «Борьба с норманизмом как инструмент исторической политики», слёзно к кому-то взывая, что норманская теория «становится заложником политической задачи усиления изоляционизма»⁴⁸. Хотя правдивое изложение истории может изолировать только её фальсификаторов и только им, конечно, может быть во вред. Причём к их разоблачению патриотизм не имеет никакого отношения. Потому как главное в науке — не чувства, а истина.

В конце 1870-х гг. В.О. Ключевский сказал, критикуя концепцию антинорманиста И.Е. Забелина, выводившего варягов и русь из земель Южной Балтики: мы «готовы приветствовать патриотич[ескую] попытку г. Забелина вывести наших первых князей из славянской земли, тем более что и до З[абелина] мысль о Балт[ийском] Поморье приходила некоторым на ум даже независимо от какого-либо патриот[ического] побуждения». В 1931 г. и другой норманист — В.А. Мошин — заметил, что «весьма ошибочно мнение, считающее варяго-русский вопрос *борьбою объективной науки с ложно понятым патриотизмом*», и что «было бы весьма занятно искать публицистическую, тенденциозно-патриотическую подкладку в антинорманистских трудах немца Эверса, еврея Хвольсона или беспристрастного исследователя Геденова»⁴⁹. А к этому перечню можно добавить имена немцев Б. Латома, Ф. Хемница, М. Претория, И. Хюбнера, И. Г. Неймана, потомка шведов Г.А. Розенкампа, еврея А.Я. Гаркави, демонстрировавших в XVII–XIX вв. несостоятельность норманской версии, как того и требует вообще-то долг учёного, независимо от того, русский он или нерусский, патриот или не патриот России.

Потому как «объективная научная истина, — напоминал оппонентам А.Н. Сахаров в 2002–2003 гг., — не имеет отношения к патриотическим или антипатриотическим настроениям того или иного автора» («так русское сердце равнодушно относится к фактам происхождения первых князей Северо-Восточной Руси от половчанок, к бракам московских князей с ордынскими княжнами или к тому, что первой русской императрицей была литовская крестьянка Екатерина I — она же Марта Скаврнская. Точно также исследователей мало трогают факты полунемецкого происхождения Петра III или чисто немецкого — Екатерины II») ⁵⁰. Но понимание норманистами объективной научной истины совершенно иное. По этой причине 25 октября 2010 г. Л.С. Клейн, обвиняя этого яркого и принципиального историка во всех «патриотических» грехах, ибо он антинорманист, со страниц сайта «Полит.ру» советовал «Президиуму РАН распустить мундирный институт», т.е. Институт российской истории РАН, во главе которого стоял тогда Сахаров, «и набрать его состав заново, оставив тех, кто серьёзно и самостоятельно работает»⁵¹, т.е. только тех, кто является сторонником норманской версии.

Такое вот понимание научного свободомыслия по-норманистски⁵². А ведь Клейн-то был услышан (причём именно в той части, в которой и хотел быть услышанным). И Сахарова принудили оставить пост (несмотря на то, что 7 де-

кабря 2010 г., когда проходили выборы директора Института, который он возглавлял с 1993 г., за него был подано почти 67% голосов).

Вот против такого убивающего научную мысль «научного свободомыслия» норманистов, стремящихся от имени «академического сообщества» навязать нашей науке и нашему обществу ложное решение важнейшего для нашего самосознания варяго-русского вопроса и потому старающихся дискредитировать и ошельмовать оппонентов, не дающих им, основываясь на всей совокупности источников, извратить историю Руси, и направлена эта книга.

Примечания

- ¹ *Погодин М.П.* Исследования... Т. 2. С. 2; *Первольф И.И.* Варяги... С. 39; *Лебедев Г.С.* Varangica... С. 102, 109; *его же.* От редактора. С. 4–5; *Лебедев Г.С., Жвиташвили Ю.Б.* Указ. соч. С. 87; *Фомин В.В.* Варяго-русский вопрос в интерпретации... С. 232.
- ² *Фортинский Ф.Я.* Варяги... С. 2.
- ³ См., напр.: *Фомин В.В.* Кому... С. 4–5.
- ⁴ *Мошин В.А.* Варяго... С. 69–70; *Шаскольский И.П.* Антиномизм... С. 36–47.
- ⁵ *Мошин В.А.* Главные... С. 620; *его же.* Варяго... С. 13–14.
- ⁶ *Петрей П.* Указ. соч. С. 90, 92; *Rudbeck O.* Op. cit. Т. III. Р. 184–185.
- ⁷ *Bayer G.S.* De Varagis. Р. 275–282, 288–291, 295–304, 309–311; *Байер Г.З.* О варягах. С. 344–348, 350–362.
- ⁸ *Татищев В.Н.* История... Т. I. С. 90, 93, 201, 221, 225, прим. 25 на С. 227, прим. 30 и 31 на С. 228, прим. 39 на С. 229, прим. 61 на С. 231, прим. 73 на С. 232, прим. 3 на С. 307, прим. 11 на С. 308 (за единственным исключением сноски даются на это издание); *Миллер Г.Ф.* О происхождении... С. 386. Во всех случаях, кроме специально оговорённых, курсив, разрядка, жирный шрифт и подчёркивание в цитатах принадлежат авторам.
- ⁹ *Тредиаковский В.К.* Указ. соч. С. 48–53, 199–200, 205–206, 224–225; *Шлёцер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. 337; ч. II. С. 703; *Венелин Ю.И.* Скандинавомания... С. 49–50; *Мошин В.А.* Варяго... С. 22.
- ¹⁰ *Шлёцер А.Л.* Опыт... С. 269, 274, 279, 289, 300, 304–309, 325, 342, прим. 32.
- ¹¹ *Миллер Г.Ф.* О народах... С. 57, 84–86, 89–90, 95–96.
- ¹² *Болтин И.Н.* Критические... С. 119–120, 158; *Мошин В.А.* Варяго... С. 23.
- ¹³ *Шлёцер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. XXVII–XXVIII, ркз-рки, рмв-рмд, рнө-рѣ, рог-род, 50, 67, 286–287, 315, 325–331, 345–347, 359–392, 418, 429, 430, 473; ч. II. С. 259 (пагинация дана автором именно в такой последовательности-арабская, римская, буквенная и вновь арабская).
- ¹⁴ *Sclözer A.L.* Nestor. S. XVI–XXXV; *Ewers J.P.G.* Vom Ursprunge... S. VII; *idem.* Unangenehme... S. 1–16.
- ¹⁵ *Allgemeine...* № 22. S. 177–184; № 23. S. 185–188; *Шевцов В.И.* Г.Эверс... С. 31–32; *его же.* Дворянско... С. 81–82.
- ¹⁶ [*Зубарев Ф.*] Указ. соч. С. 81–103; *Погодин М.П.* О происхождении... С. 6–9, 12, 18, 43, 71, 80–81, 100–102, 108, 110–124, 177; *его же.* Исследования... Т. 2. С. 94–95, 101–102, 109–113, 116, 122, 131, 138, 142–162, 167–183, 189–200, 203–206, 211–215, 308–310, 325; *Зиновьев А.З.* Указ. соч. С. 11, 14–16, 18–21, 25–41, 45–46, 51, 54–63, 70, прим. 59 и 65; *Бодянский О.М.* Указ. соч. С. 62–65, 68; *Сазонов Н.* Указ. соч. № 1. С. 130–151; № 2. С. 306–327; *Руссов С.В.* О древностях... С. 13–15, 57–78, 80, 91–103; *Надеждин Н.И.* Об исторических... С. 97, 100–112, 115–118, 122–125, 129–133, 135; *Федотов А.Ф.* О главнейших... С. I–II, 7–10, 14–92, 96, 105–107; *Венелин Ю.И.* Скандинавомания... С. 26–29, 35–54; *Головачёв Г.Ф.* Указ. соч. С. 39–44, 48–49, 65–66; *Александров А.В.* Указ. соч. С. 4–15, 27–31, 41, 56–61, прим. * на с. 22 (письмо 1), 2–85, 90–91 (письмо 2); *Савельев-Ростиславич Н.В.* Варяжская... С. 10–24, 27, 31, 39–53, 58–60; *Славянский сборник...* С. XVII–XXVII, XXXV–XXXIX, XLVIII–LIV, LIX–LXX, LXXIV–LXXV, LXXIX–LXXX, LXXXIII–LXXXVIII, XCV, CVII–CXVI, CXIX–CXXI, CXLIV, CLXVI, CLXXI–CLXXII, CXCV, прим. 54 на с. XLII, прим. 527 на с. CCXXVII; *Старчевский А.В.* Указ. соч. С. 124–126, 141–142, 260–269, 277–279, 282–284; *Попов А.Н.* Шлёцер; *Соловьёв С.М.* Герард... С. 39–69; *его же.* Писатели... Стб. 1317–1388; *его же.* Август... Стб. 1539–1576; *Бестужев-Рюмин К.Н.* Русская... С. 208–212, 217, 223–224, 227–228, 231–232, 88–96 (нумерация «Введения» и собственно «Русской истории» не является общей); *его же.* Биографии... С. 6–171, 176–179, 199–200, 206; *Иконников В.С.* Очерк...; *его же.* Август...; *Лашинюков И.В.* Указ. соч. С. 1, 4–7; *Дополнения А.А. Куника.* С. 445–462, 687–697; *Забелин И.Е.* Указ. соч. Ч. I. С. 37–132, 165, 348, 498–499; *Коялович М.О.* Указ. соч. С. 133–298, 336–449, 488–623; *Свистун Ф.И.* Указ. соч. С. 11–23; *Браун Ф.А.* Варяжский... С. 570–573; *его же.* Русь... С. 366–367; *Ключевский В.О.* Лекции... С. 396–452; *Загоскин Н.П.* История... С. 336–362; *Тарановский Ф.В.* Указ. соч. С. 1–43; *Багaley Д.И.* Указ. соч. С. 151–158; *Любавский М.К.* Древняя... С. 163–174; *Пархоменко В.А.* Норманизм... С. 71–74; *Мавродин В.В.*

- Борьба...; *Черепнин Л. В.* Русская... С. 162–217; *его же.* А. Л. Шлёцер... (1966). С. 183–219; то же. (1984). С. 45–73; *Шаскольский И. П.* Норманская... историографии. С. 223–236; *его же.* Норманская... науке; *его же.* Вопрос... С. 128–176; *его же.* Норманская... (1978). С. 152–165; *его же.* Антинорманизм... С. 35–51; *Пештич С. Л.* Русская... Ч. I; ч. II; *Вилинбахов В. Б.* Об одном... С. 333–345; *Шушарин В. П.* Указ. соч. С. 229–288; *Алпатов М. А.* Русская... (1973). С. 10–49; *его же.* Варяжский... С. 31–45; *его же.* Русская... (1985). С. 9–81; *Калинина Т. М.* Норманский... С. 144–153; *Лысов В. П.* М. В. Ломоносов... (1983); *его же.* М. В. Ломоносов... (1992); *Мельникова Е. А., Петрухин В. Я.* Послесловие. С. 230–245; *Гаврилова Л. М., Шапиро А. Л.* Указ. соч. С. 87–95; *Булкин В. А., Дубов И. В., Лебедев Г. С.* Русь... С. 12–26; *Авдусин Д. А.* Современный... (1988). С. 23–34; *Белковец Л. П.* К вопросу... С. 154–166; *её же.* Г. Ф. Миллер в оценке... С. 111–122; *её же.* Россия в немецкой... С. 17–45; *Фроянов И. Я.* Мятёжный... С. 75–106; *Хлевов А. А.* Норманская... (1994); *его же.* Норманская... (1997); *его же.* Об основных... С. 34–38; *Славяне и Русь.* С. 209–435; *Кузьмин А. Г.* История... Кн. 1. С. 71–87; *его же.* Начало... С. 29–56; *его же.* Облик... С. 214–256; *Умбрашко К. Б.* Полемики... С. 21–43; *Иванников Д. А.* Указ. соч. С. 33–39; *Кураев И. В.* Указ. соч. С. 27–33; *Гадло А. В.* Указ. соч. С. 14–39; *Меркулов В. И.* Варяго...; *его же.* Откуда...; *его же.* Эволюция... С. 77–; *его же.* Рюрик... С. 54–74; *Историография истории России до 1917 года.* Т. 1; т. 2; *Королёв А. С.* Можно... С. 88–102; *его же.* Приазовская... С. 64–77; *Грот Л. П.* Начальный... С. 12–22; *её же.* Гносеологические... С. 111–117; *её же.* Утопические... С. 321–338; *её же.* Путь... С. 103–202; *её же.* Шведские... С. 35–46; *Пузанов В. В.* Древнерусская... С. 184–193; *его же.* Образование... С. 5–20; *Галкина Е. С., Колинченко Ю. В.* К истокам... С. 69–79; *Атанов П. А.* Указ. соч.; *Клейн Л. С.* Спор...; *Дитяткин Д. Г.* Византийские... С. 87–90; *его же.* Концепция... С. 160–163; *его же.* Южно-балтийская... С. 245–263; *его же.* Славяно-балтийская концепция С. А. Геденова. С. 82–88; *его же.* С. А. Геденов...; *его же.* Исторические... С. 205–217; *его же.* Варяжская... С. 126–137; *его же.* Начало... С. 3–13; *его же.* «...Протест... С. 65–72; *его же.* Причерноморская... С. 237–245; *его же.* Призвание... С. 102–110; *его же.* «Знаменитый... С. 54–58; *его же.* Проблема...; *его же.* Славяно-балтийская концепция в советской... С. 179–187; *Каратовская В. В.* Указ. соч. С. 5–10, 17–21; *Свердлов М. Б.* М. В. Ломоносов...; *Соколов С. В.* Концепция... (диссертация); то же (автореферат); *его же.* Концепция... (2015); *Горькова Л. В.* Густав Эверс о проблеме... С. 148–156; *её же.* Понтийская... С. 16–21; *её же.* Густав Эверс о роли... С. 52–54; *Пашков С. В.* Дискуссия М. П. Погодина и Н. И. Костомарова... С. 180–186; *его же.* Дискуссия М. П. Погодина и М. А. Максимовича... С. 158–164; *его же.* Оценка... С. 106–109; *его же.* Дискуссия М. П. Погодина и Н. И. Надеждина... С. 86–89; *его же.* Отношение... С. 147–154; *его же.* Разбор... С. 160–169; *его же.* Концепция...; *Исакова Л. В.* Густав Эверс и его концепция... (диссертация); то же (автореферат); *её же.* Иоганн... (2018). С. 69–82; *её же.* Иоганн... (2021). С. 249–257; *Карпенко А. А.* Указ. соч. С. 60–77; и др.
- ¹⁷ *Сухотин Л. М.* Указ. соч. С. 61–76; *Мошин В. А.* Главные... С. 610–625; *его же.* Варяго... С. 11–95; *Погодин А. Л.* Варяги... С. 93–135; *Шмурло Е. Ф.* Курс... С. 361–387.
- ¹⁸ *Фомин В. В.* Норманизм и его истоки. С. 18–30; *его же.* Варяжский вопрос... (2000). С. 37–45; *его же.* Русские... С. 38–117; *его же.* Норманская проблема... С. 305–324; *его же.* Скандинавomania... С. 230–257; *его же.* Скандинавы... С. 180–187; *его же.* Варяжский вопрос (2003). С. 257–269; *его же.* Кривые... С. 83–127; *его же.* Российская... С. 6–54; *его же.* Варяжский вопрос... (2005). С. 320–326; *его же.* Ломоносов и Миллер: два... С. 3–62; *его же.* Варяги и варяжская...; *его же.* Варяго-русский вопрос в отечественной историографии... (автореферат); *его же.* Истоки... (2005). С. 126–129; *его же.* Ломоносов и Миллер: уроки... С. 21–35; *его же.* Варяго-русский вопрос в трудах А. Г. Кузьмина. С. 42–63; *его же.* История разработки... С. 3–72; *его же.* Ломоносов; *его же.* Имя... С. 35–45; *его же.* Оценка... С. 5–25; *его же.* Историография... С. 17–28; *его же.* А. Г. Кузьмин и его вклад... С. 131–144; *его же.* Народ... С. 170–189; *его же.* Начальная...; *его же.* Варяго-русский вопрос в отечественной и зарубежной... С. 56–68; *его же.* Норманистская версия... С. 11–70; *его же.* Формирование... С. 39–54; *его же.* Ломоносов-историк... С. 74–82; *его же.* Варяго-русский вопрос и некоторые... С. 339–512; *его же.* Великий... С. 152–172; *его же.* Ломоносовофобия... С. 203–521; *его же.* М. В. Ломоносов и дискуссия... С. 57–70; *его же.* Норманская проблема. С. 203–256;

- его же. Примечания. С. 449–566; его же. Варяго-русский вопрос в трудах Д.И. Иловайского... С. 18–44; его же. Д.И. Иловайский... С. 55–69; его же. М.В. Ломоносов и русская... С. 137–209; его же. Слово о Ломоносове. С. 6–68; его же. А.Г. Кузьмин об истоках... С. 37–41; его же. Голый...; его же. Фальсификации современного... С. 265–283; его же. Начало Руси в трудах... С. 363–405; его же. Ультранорманизм в прошлом... С. 22–69; его же. М.В. Ломоносов-историк... С. 94–102; его же. Варяго-русский вопрос в творчестве... С. 5–13; его же. К 400-летию... С. 229–248; его же. Страсти... С. 55–72; его же. Труды... С. IV–XVI; его же. Критика... С. 17–25; его же. Норманистская сущность... Ч. 1. С. 98–164; ч. 2. С. 60–97; его же. Сокрушение... С. 6–110; его же. Выдающиеся... С. 214–231; его же. Дореволюционные... С. 85–94; его же. С.М. Соловьёв... С. 34–51; его же. Ультранорманизм отечественной... С. 24–44; его же. «Научный... С. 44–68; его же. История Руси глазами... С. 116–124; его же. Варяго-русский вопрос в интерпретации... С. 231–253; его же. Варяго-русский вопрос в советской науке... С. 2313–2324; его же. Дискуссия... С. 132–153; его же. «Ультранорманизм»... С. 124–137; его же. Варяго-русский вопрос в прошлом... С. 12–59; его же. Варяго-русский вопрос в эмигрантской... С. 121–136; Фомин В.В., Исакова Л.В. Указ. соч. С. 151–174; и др.
- ¹⁹ Ewers J.P.G. Vom Ursprunge... S. 47–53; Лелевель И. Указ. соч. Ч. 9. № 1. С. 46–52; № 2. С. 91–99; № 3. С. 163–170; ч. 11. № 15. С. 138–140; № 16. С. 188–189; ч. 12. № 19. С. 50–51; Томсен В. Указ. соч. С. 17–19, 73, 80–86; Ловмянский Х. Русь... С. 57–88; Stender-Retersen A. Der älteste... S. 1–12; Riiß H. Op. cit. S. 267–282; Latvakangas A. Varjagiongelman...; idem. Riksgrundarna. S. 9–459; Нильсен Й.П. Указ. соч.; Шольц Б. Варяжский... С. 194–204; её же. Немецко... С. 105–116; Scholz B. Op. cit; и др.
- ²⁰ Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 44–45, 192–193.
- ²¹ Хрестоматия... С. 9.
- ²² Фомин В.В. Варяго-русский вопрос в отечественной историографии... (диссертация). С. 40; его же. Слово к читателю. С. 10.
- ²³ См., напр.: Ладога и истоки... С. 204, прим. *; Носов Е.Н. Послесловие. С. 356, прим. 1; Клейн Л.С. Фо па... С. 649–659.
- ²⁴ Клейн Л.С. Спор... С. 9, 89, 208; Шинаков Е.А. Образование... (2009). С. 17; Пузанов В.В. Образование... С. 16; Фомин В.В. Голый... С. 147, 154.
- ²⁵ Мусин А.Е. «Столетняя... С. 223, 230–231.
- ²⁶ Kunik E. Die Berufung... Bd. II. S. VIII, X, XIII–XIV, 28; idem. Anhang. S. 834; Публичный... С. 18, 20–21, 26, 34; Куник А.А. Предисловие... С. 136–137, 143; его же. Известия... С. 04–08, 031, 039, 047, 053–054, 057; Дополнения А.А. Куника. С. 396–400, 445–451, 454, 457–459, 460–462, 687, прим. 18; Погодин М.П. Г. Гедеонов... С. 176, 192, 197, 206–207; Артемьев А.И. Указ. соч. С. 123.
- ²⁷ Иловайский Д.И. [Рец.] Известия... С. 223; его же. Начало... С. 10, 15–16, 20, 27, 35–37, 40–46, 76–78, 85, 97–98 и др.; его же. Заключительное... С. 203–208, 305–312.
- ²⁸ Томсен В. Указ. соч. С. 18–20, 26, 40, 45, 79–80, 83 и др.; Ключевский В.О. Ответ... С. 163–169; его же. Значение... С. 123; Браун Ф.А. Варяжский... С. 570–573; его же. Русь... С. 366; БЭ. Т. 4. С. 412–413; Варяжский вопрос. С. 2; Нидерле Л. Указ. соч. С. 203, 208; Шмурло Е.Ф. Курс... С. 362, 364–378.
- ²⁹ Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Указ. соч. С. 257; Петрухин В.Я. Древняя Русь. С. 85.
- ³⁰ Данилевский И.Н. Древняя... С. 75; Горский А.А. Приглашение... С. 9; Романчук А.А. Варяго... (полная версия). Прим. 1.
- ³¹ Клейн Л.С. Норманизм... С. 100; его же. Спор... С. 199; его же. Ещё... С. 337; его же. Фо па... С. 651–652, 654; его же. Ленинградский... С. 346–347; Томсинский С.В. Ленинградский... С. 358; его же. Позвольте... С. 369–375; его же. Черо... С. 154–174.
- ³² Куник А.А. Известия... С. 047, 057.
- ³³ Каратеев М.Д. Указ. соч. С. 190–191.
- ³⁴ <http://pereformat.ru/2014/12/viking-valdemar>
- ³⁵ http://inosmi.ru/social/20170120/238541024.html?utm_source=vk1

- ³⁶ Это «завещание» было сострепано в русле литературного похода против России, «который начался с 1771 г. по заданию французского королевского правительства и был пред-указан Людовиком XV ещё за десять лет до того, на исходе Семилетней войны... Затевавшаяся в Париже антирусская кампания имела задачей снизить международный вес России путём клеветы на русский народ» (*Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 10. С. 734–735).
- ³⁷ *Назаренко А.В.* Goehrke С. С. 177.
- ³⁸ *Клейн Л. С.* Норманизм... С. 91–101; *его же.* Воскрешение... С. 53, 72, 99, 103, 158; *его же.* Спор... С. 7–12, 25, 33, 69, 89–91, 114, 142, 199–201, 204, 209–212, 217, 220, 224, 250–255, 261; *его же.* Трудно... С. 136–138, 614; *его же.* Ещё... С. 337; *его же.* Фо па... С. 650, 652–654; *Фомин В.В.* Ломоносовофобия... С. 359–400.
- ³⁹ См. об этом: *Фомин В.В.* Ломоносовофобия... С. 400–406.
- ⁴⁰ *Клейн Л. С.* Воскрешение... С. 70; *его же.* Воевода... С. 223, 226–227, 230–236.
- ⁴¹ *Клейн Л. С.* Фо па... С. 649.
- ⁴² *Петрухин В.Я., Раевский Д. С.* Указ. соч. С. 256–257; *Петрухин В.Я.* Древняя Русь. С. 84–85; *его же.* Легенда... (2008). С. 42–44; *его же.* Призвание... С. 35; *его же.* Русь из Пруссии. С. 127–129; *его же.* Русь в IX... С. 7, 127, 138, 213–214, прим. 125 на с. 188; *его же.* Русь христианская... С. 458, 485; *Петрухин В.Я., Каменецкая Е.В.* Указ. соч. С. 78, 81; *Петрухин В.Я., Пушкина Т.А.* Указ. соч. С. 309.
- ⁴³ *Мельникова Е.А.* Ренессанс... (2009). № 3. С. 56–58–; № 5. С. 55–57; то же. (2011). С. 67–84. См. также: *Фомин В.В.* Ломоносовофобия... С. 460–496.
- ⁴⁴ *Котляр Н.Ф.* В тоске... С. 343–353; *Цукерман К.* Перестройка... С. 343, 350; *Носов Е.Н.* Послесловие. С. 356, прим. 1.
- ⁴⁵ *Мурашёва В.В.* «Путь... С. 174–175, 179; *её же.* Славяне... С. 36; *Коваленко Г.М.* Русские... С. 15; *Соколов С.В.* [Рец]. Л. С. Клейн. С. 105; *его же.* Концепция... (диссертация). С. 123; *его же.* Концепция... (2015). С. 130.
- ⁴⁶ *Линд Д.Г.* Некоторые... С. 44–54; *Фомин В.В.* Александр Невский. С. 231–232; *Lind J.* Op.cit. С. 217, 221.
- ⁴⁷ *Пчелов Е.В.* Рюрик... С. 4–5; *Воронятов С.В.* Указ. соч. С. 221–223.
- ⁴⁸ <http://www.sakharov-center.ru/discussions/?id=2645>
- ⁴⁹ *Ключевский В. О.* Неопубликованные... С. 176; *Мошин В.А.* Варяго... С. 14–15.
- ⁵⁰ *Сахаров А.Н.* Рюрик... (2002). С. 66; то же (2003). С. 14.
- ⁵¹ https://polit.ru/article/2010/10/25/klejn_about_2conf; *Фомин В.В.* Гольий... С. 145, 152–153.
- ⁵² *Фомин В.В.* Научная... С. 32–48.

Глава 1

ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ НОРМАНСКОЙ ТЕОРИИ (ВЕРСИИ) В ШВЕДСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ XVII ВЕКА

1.1 Проблема зарождения норманской теории (версии) в науке

Разговор об этносе варягов и руси, сыгравших весьма значительную роль в истории нашей страны, следует начать именно с начала: с темы об истоках норманской версии. Это диктуется тем, что истинные причины и обстоятельства, вызвавшие её к жизни, время и место её появления на свет (о чём автор настоящих строк ведёт разговор с 1993 г.) не соответствуют представлениям, возведённым в науку в абсолют, в силу чего они мощно воздействуют на творческую мысль отечественных и зарубежных учёных, плодя в прошлом и настоящем бесконечные исторические и историографические мифы.

Избавиться от которых позволит действительная, а не кажущаяся картина генезиса норманизма, что самым положительным образом отразится на перспективах решения варяго-русского вопроса, сможет придать конструктивный характер дискуссии о племенной принадлежности руси, варягов и варяжских князей, ставших во главе крупнейшей европейской державы раннего Средневековья, именуемого в ПВЛ Русь, Русская земля, Русская страна, населённая русью, русскими, русинами, говорящими на русском языке и живущими по «закону русскому» (в 2012 г., в год празднования 1150-летия зарождения российской государственности, академик А. О. Чубарьян, превративший вверенный ему Институт всеобщей истории РАН в оплот и рассадник ультра-норманизма, назидательно внушал неправду, говоря о плодотворности работы совместной российско-украинской комиссии историков: «Не будем забывать, что само Древнерусское государство звалось “Киевской Русью”»¹. Это как раз

и надо забыть, ибо оно звалось «Русь» и «Русская земля». Вместе с тем надо забыть точно такие же учёные фикции, как Древнерусское государство и Древняя Русь. Хотя бы потому, что в науке не используются названия, например, Древняя Польша, Древняя Чехия, Древняя Швеция. И совсем уж режет слух название энциклопедии, изданной в 2014 г.: «Древняя Русь в средневековом мире»).

При принципиальных разногласиях по всему кругу обсуждаемых вопросов норманисты и их оппоненты демонстрируют ещё одно единодушие, в данном случае во взглядах на проблему возникновения норманизма, видя в его «отце-основателе» выходца из Пруссии Г.З. Байера (1694–1738). Выпускник Кёнигсбергского университета, ещё на родине получивший известность как религиовед и ориенталист, с декабря 1725 г. занимал кафедру древностей классических и восточных языков Петербургской Академии наук (Г.Ф. Миллер отмечает, что он в Кёнигсберге был библиотекарем). В Санкт-Петербург учёный прибыл в феврале 1726 года. За двенадцать лет проживания в России Байер написал шесть книг и более тридцати статей на самые разнообразные темы, в том числе по русской истории², быстро исчезнувших из памяти его современников. Но совершенно иная судьба выпала на долю его статьи-«диссертации» «De Varagis» («О варягах»), опубликованной в 1735 г. на латинском языке в «Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae» («Комментариях императорской Петербургской Академии наук»)³. По верному замечанию М.А. Алпатова, «именно это произведение определило место Байера в исторической науке»⁴.

Статью «О варягах» выделяют из числа прочих его работ по той причине, что на неё уже не одно столетие смотрят как на давшую жизнь норманской концепции образования Русского государства, как на положившую «начало дискуссии по так называемому норманскому вопросу»⁵. Вместе с тем неперенным спутником такого утверждения является тезис, что Байер первым поднял и сам вопрос о происхождении варягов-руси⁶, т.е. он представляется не только родоначальником норманизма, но и родоначальником варяжского вопроса вообще. «Начало Руси, — задавал в 1802 г. тон таким рассуждениям А.Л. Шлёцер, — не теперь отыскано, ибо слава эта принадлежит Б а й е р у», и что он «первый объяснил точно в а р я г о в». Последние слова за Шлёцером повторил А.З. Зиновьев. С.М. Строев, В. Шеншин, О.М. Бодянский и Ю.И. Венелин также считали, что вопрос о варягах первый поднял Байер.

В том же духе затем говорили Н. Сазонов, М.А. Максимович, Н.И. Надеждин, П.С. Савельев, Н.В. Савельев-Ростиславич, М.П. Погодин, К.Н. Бестужев-Рюмин, П.П. Пекарский, В.О. Ключевский. Байера, словно подытоживал в 1899 г. Н.П. Загоскин, называли «отцом» норманизма, заложившим «те краеугольные положения, которые до наших дней продолжают лежать в основе доводов этой школы». То же самое утверждалось в 1903 г. в двух томах «Большой энциклопедии». Причём в этом популярном издании отмечалось, что он был первым, кто подтвердил рассказ ПВЛ о норманском происхождении варягов (хотя в летописи на такое происхождение нет и намёка) показаниями других, преимущественно византийских источников. О Байере, как родоначальнике норманской теории, шла речь в 1913 г. и на страницах «Русской энциклопедии», также

с подчёркиванием того, что исходным её пунктом явилось летописное Сказание о призвании варягов⁷.

В послереволюционный период в адрес Байера те же самые слова произносили советские и эмигрантские учёные — В. П. Бузескул, В. А. Мошин (Байер «научно обосновал норманскую теорию», «изучил летопись и поставил с нею в связь иностранные источники»: Бертинские анналы, Лиутпранда, «русские» названия днепровских порогов, византийские источники, «рассказывающие о служивших в Константинополе скандинавских наёмных дружинниках, называвшихся Βάραγγοι», скандинавские саги), Е. Ф. Шмурло, Е. А. Рыдзевская, Н. Н. Ильина (но он совсем не изучал русских летописей и читал отрывки ПВЛ в плохом переводе)⁸. Точно так рассуждали в послевоенный период и «советские анти-норманисты», но в характерном для тех лет стиле: В. В. Мавродин (Байер положил «начало издевательской теории о происхождении Русского государства»), Г. М. Коровин, Л. Н. Пушкарёв, М. А. Алпатов, Д. Н. Шанский (он выдвинул антипатриотическую норманистскую теорию, «заложил основы антинаучной и реакционной норманской теории»)⁹.

Мнение о Байере как создателе норманизма звучит и ныне в работах Э. Д. Фролова (его вывод о решающей роли норманнов в возникновении Русского государства есть «первая научная концепция начала русской истории»), А. А. Хлевова, Г. А. Герасименко, И. В. Тункиной, Н. М. Рогожина, А. А. Чернобаева, О. В. Сидоренко, А. С. Смирнова, К. Б. Умбрашко, Г. М. Коваленко (он заложил научные основы норманизма), Е. В. Пчелова (Байер, «опираясь на иностранные источники IX–XI вв., русские летописные тексты и, что немаловажно, на данные лингвистики, обосновал скандинавское происхождение варягов, которое признано и современной исторической наукой»)¹⁰ (но, надлежит заметить, ещё А. Л. Шлёцер указывал, что Байер «трактует о древней русской истории... только по классическим, северным и византийским, но не русским источникам», да и в советское время Н. Л. Рубинштейн отмечал полное отсутствие у него последних¹¹). В таком же ключе принято рассуждать о Байере и за границей¹².

Учёные в массе своей связывают с Байером «главные доказательства норманского происхождения варягов», выведенные, как они уточняют, «преимущественно по византийским и скандинавским источникам», и «которыми до сих пор, — отмечал в 1872 г. К. Н. Бестужев-Рюмин, — пользуются учёные скандинавской школы». Причём, как подводил в 1897 г. черту П. Н. Милюков, «его главные доказательства норманизма до сих пор остаются классическими»¹³. Байеру и у нас, и за рубежом приписывают введение в научный оборот Бертинских анналов (однако они были опубликованы в 1641 г. в Париже в третьем томе «*Historiae Francorum Scriptores*», причём Байер сделал ссылку на это издание¹⁴), показаний кремонского епископа Лиутпранда (хотя и они увидели свет в 1723 г. в Милане во втором томе «*Rerum Italicarum Scriptores*» Л. А. Муратори) и византийского императора Константина Багрянородного (его сочинение «Об управлении государством», где приведены «русские» названия днепровских порогов, стало достоянием науки также задолго до Байера, т. к. вышло в Париже в 1711 г. во втором томе сборника А. Бандури «*Imperium orientale sive antiquitates Constantinopolitanae*»). Ему также ставят в заслугу сближение «ва-

рягов» наших летописей с «варангами» византийских источников и «верингами» скандинавских саг, заключение, что имена русских князей и их дружинников, звучащие на страницах ПВЛ, суть чисто скандинавские¹⁵.

К числу основоположников норманской теории также традиционно относят немцев Г. Ф. Миллера (1705–1783) и А. Л. Шлёцера (1735–1809), которые, по общепринятому мнению, придали ей завершённый вид, при этом особо выделяется роль последнего (в 2014 г. А. Ю. Дворниченко взялся утверждать, что Миллер в «угаре спора» с Ломоносовым заложил основы норманизма, а тот, соответственно, антинорманизма¹⁶). Миллер, не окончив университетского курса, в начале ноября 1725 г. приехал в Россию, ставшую для него новой родиной. Вклад учёного в развитие норманизма обычно измеряют речью (именуемой, по тогдашней традиции, «диссертацией») «Происхождение народа и имени российского», дружно забракованной в 1749–1750 гг. его коллегами по Петербургской Академии наук, в том числе немцами. Что она из себя представляла в целом, сразу же определил М. В. Ломоносов, указав в 1749 г. на «доводы господина Миллера, у Бейера занятые». В 1761 г. он был более конкретен в своём выводе: Миллер, хваля «превеликого педанта Бейера», «в помянутую закланную диссертацию всё выкрал из Бейера; и ту ложь, что за много лет напечатана в “Комментариях”, хотел возобновить в учёном свете»¹⁷.

О полнейшей зависимости Миллера от Байера согласно писали затем норманисты и антинорманисты. Он в своей речи утверждал, констатировал А. Л. Шлёцер, «Байерово положение, что *варяги* были норманны, ежели не шведы», по мысли Ю. И. Венелина и Н. И. Надеждина, подкреплял его мнение. Н. Сазонов и А. В. Старчевский считали, что Миллер намеревался доказать положение Байера о скандинавском происхождении руси, на взгляд А. И. Артемьева, принял байеровское мнение о происхождении варягов. Согласно С. М. Соловьёву, Н. Н. Буличу и В. С. Иконникову, Миллер развивал «положения Байера о скандинавском происхождении варягов-руси» Как заключал В. О. Ключевский, учёный в речи «сказал мало нового, он изложил только взгляды и доказательства Байера»¹⁸. В советскую эпоху точно так говорили М. Т. Белявский, Н. Л. Рубинштейн, их немецкий коллега П. Гофман¹⁹, в наше время — А. Г. Кузьмин, Ю. Д. Акашев, Т. Н. Джаксон, Н. М. Рогожин²⁰.

Шлёцер прожил в нашей стране несколько очень важных для себя лет (1761–1767), определивших не только его научные интересы, но и его весьма значимое место в науке (как он писал в «Несторе», «я много должен России, так много, что и потомкам моим останется за меня выплачивать»²¹). За его плечами были Виттенбергский и Гёттингенский университеты, пребывание в Швеции (1755–1758), где он ознакомился со шведской историографией. В 1768 г. Шлёцер опубликовал на родине монографию «Опыт изучения русских летописей», основные положения которой были развиты, по его же пояснению, «с переменами и, кажется, с большею исправностию», в самом знаменитом его произведении: «Несторе», печатание которого началось в ноябре 1800 г.²² Этот труд, названный в честь человека, с именем которого Шлёцер связывал создание древнейшей летописи — ПВЛ, положил начало триумфальному шествию норманизма, и в первую очередь в России.

Шлёцер, излагая свой окончательный вариант видения русской истории, руководствовался принципом, который с энтузиазмом давно культивировался в Западной Европе и который он чеканно изложил в вышедших в 1802 г. мемуарах: русская нация «обязана благодарностью чужеземцам, которым с древних времён одолжена своим облагорожением»²³. Кого и за что должны благодарить русские, учёный обстоятельно разъяснял на всём протяжении «Нестора», надолго ставшего самой главной книгой для всех специалистов по истории Руси: до прихода скандинава Рюрика Восточная Европа представляла собой «пустыню», в которой всё было «покрыто мраком» и в которой «малочисленные и полудикие» люди жили порознь, «без всякого сношения между собою» («небольшие орды» «бродили, может быть, здесь везде подобно овцам, не имевшим пастуха»), жили «без правления... подобно зверям и птицам, которые наполняли их леса» («здесь всё ещё было дико, земля и жители»), «нигде не видно, чтобы у них были князья, а старейшины» (за исключением лишь древлян), «у них не было никаких законов», «скотоводства» и «большого звероловства», т.к. «у них не было снастей и такого оружия», без которого нельзя «нападать на сильных зверей», не имели «никакого сношения с южными народами».

И «кто знает, — резюмировал историк на фоне созданной собственным воображением, как он сам же оценил, «пустоты» русской истории до Рюрика, при этом как германец твёрдо считая, что именно германцы «назначены были судьбою рассеять в обширном северо-западном мире первые семена просвещения», — сколь долго пробыли бы они ещё в етом состоянии, в етой *блаженной* для получеловека бесчувственности, ежели не были *возбуждены*» его братьями по крови — германцами-скандинавами, распространившими в их землях «человечество». После чего категорично-требовательно подчеркнул, что «*русская история* начинается от пришествия Рурика и основания русаго царства» шведами²⁴ (и тут же в самой резкой форме, как и в случае с Г. Эверсом, обрывал тех, кто не видел ни пустоты, ни дикости «в ужасном... простирающемся расстоянии от Новгорода до Киева». Так, заключения немца-экономиста А. К. Шторха, высказанные в 1800 г., что через Русь шла оживлённая торговля между Азией и Западной Европой, что благодаря торговле появились на Руси как города, так и первые князья, и что «Рюрик нашёл свой народ уже обладающим значительно и выгодною торговлей», назвал «глупой сказкой» и возмущался тем, сделав при этом довольно примечательную оговорку, «каким образом учёный человек... мог попасть не токмо на *ненаучную*, но и *уродливую* мысль о древней Руси (которая, конечно, бы опровергла всё, что до сих пор о ней думали)»²⁵).

В историографии принято приписывать ключевой постулат норманизма об основании шведами Русского государства Шлёцеру²⁶, хотя он лишь повторил (при этом назвав её авторов) идею шведов В. Бринга и Ю. Тунмана, которую они высказали в 1769 и 1774 годах. По Брингу, варяги-шведы после долгого владычества на Руси были изгнаны, но затем у них были выпрошены три брата, которые положили «основание далеко распространившейся власти сего государства». Тунман, твёрдо отстаивая мысль, что именно его предки основали Русское государство, закреплял эту посылку словами, ставшими в устах

норманистов «аргументом», что в ней «никто не сомневается» (однако сомневавшихся в норманизме среди немецких учёных было немало в первой половине XVIII в.). Заклинание шведа-германца Тунмана немец-германец Шлёцер сопровождал категоричным уточнением, адресованным прежде всего русским исследователям: «*Ни один учёный историк в этом не сомневается*»²⁷.

Тем самым провозгласив норманистов (а таковыми тогда в большинстве своём были шведы) единственными представителями науки и объявив несогласных с ними вне её (в «Предуведомлении» к «Нестору» Шлёцер, ведя разговор о необходимости издания «очищенной» ПВЛ, а данный процесс, в его видении, сводился к тому, чтобы «из 10 чтений надобно было избрать одно настоящее или отгадать, ежели избрать было невозможно», прямо называет имя того, кто помог ему, пристрастно «отгадывая» летопись, увидеть в руссах шведов: «...*Нестор* ошибся, различа руссов и шведов, доказано Тунманом»²⁸. Хотя в 1768 г., до «доказательства» Тунмана, превратившего Шлёцера в яркого норманиста, он связывал русь с югом Восточной Европы и беспощадно высмеивал шведских авторов XVII в., многогласно заявлявших о принадлежности руссов к своему народу, потому как «Нестор чётко отличает русских от шведов». Категорично не принимал тогда учёный и другого их тезиса, что варягами были исключительно только шведы: «Недоказуемым остаётся то, что варяги Нестора были именно шведами», и видел в них норманнов вообще: «Потому и Лутипранд называет русских Northmannos, а не Sveones». В 1769 г. в «Изображении российской истории» Шлёцер под варягами понимал шведских, датских и норвежских воинов²⁹).

У Шлёцера был ещё один принцип, которым он руководствовался и который был им изложен в марте 1764 г. в письме профессору физики Петербургской Академии наук Ф.У.Т. Эпинусу: «Без истории древних европейских народов, которая требует профессиональных филологических знаний, без древней шведской истории... наконец, без критического усвоения славянского языка в русской истории делать нечего»³⁰. Учёный, особо выделив шведскую историю, в конечном итоге превратил её в ту отправную точку, от которой в обязательном порядке следовало отталкиваться при реконструкции прошлого Руси (а так уже действовали шведские донаучные авторы XVII в.). В июне указанного года он в своих «Мыслях о способе обработки русской истории», представленных в Петербургскую Академию для назначения его профессором истории и для поручения написания ему истории России, в обработке которой, по его словам, ещё ничего не сделано, утверждал, что «исландские и шведские историки не оценённые для русской истории». И много лет спустя Шлёцер продолжал уверять, что история Руси тесно связана с «северо-скандинавской»³¹.

В отношении того, что конкретно Шлёцер внёс в развитие идей норманизма, представителями разных взглядов на этнос варягов высказаны опять же довольно схожие оценки. Так, М.А. Максимович полагал, что он обновил «мнение Байера или, точнее сказать, мнение Тунмана о варягах и русах». Н.И. Надеждин видел в нём «слепого энтузиаста русских летописей, обожателя Нестора», придавшего «нордманскому происхождению Руси... каноническую несомненность». Даже норманисты, констатировал М.О. Коялович, «соглашаются,

что к исследованию Байера Шлёцер не прибавил ничего существенного». Но, не приемля такой позиции, заметил: «Шлёцер прибавил весьма смелую опору главнейшему положению Байера, именно тому, что до призвания князей русские не знали цивилизации и ею обязаны германскому элементу». Ф.И. Свистун указывал, что он присвоил себе теорию Байера о скандинавском происхождении руси, ничем, по существу, её не дополнив.

«Нестор» Шлёцера, говорил В.О. Ключевский, это «не результат научного исследования, а просто повторение взгляда Нестора... Там, где взгляд Нестора мутился и требовал научного комментария, Шлёцер черпал пояснения у Байера, частью у Миллера. Трудно отыскать в изложении Шлёцера даже новый аргумент в оправдание этой теории». П.Н. Милюков заключал, что Байер, по сути, исчерпал варяжский вопрос, в связи с чем «самое большее, что мог сделать Шлёцер, это — снабдить извлечение из Байера некоторыми частичными возражениями и поправками». В 1998 и 2003 гг. А.Г. Кузьмин, подчёркивая, что Шлёцер, «по существу, не прибавил ни одного нового аргумента к норманизму», но внёс значительный вклад «в систематизацию концепции норманизма, попытавшись укрепить её фундамент за счёт русской летописи», укрепляя тезис о том, «что до варягов-шведов у славян не было государства, и можно говорить “только о диких и порознь живущих небольших народах”»³². Довольно парадоксальным выглядит мнение крупнейшего дореволюционного специалиста в вопросах историографии В.С. Иконникова, утверждавшего в 1911 г., что Шлёцер «ограничил значение норманизма» в русской истории³³.

В науке был поставлен и вопрос о мотивах, заставивших немецких учёных обратиться к одной из самых узловых проблем нашей истории и интерпретировать её в шведско-германском духе, о качестве их доказательной базы, об их роли в развитии русской исторической мысли. Ещё великий В.Н. Татищев, высоко ценя труды Байера, которые, по его признанию, ему «многое неизвестное открыли», в то же время отметил его ярко выраженную тенденциозность: «он же со избытком ко умножению прусских, а уничижению русских древних владений пристрастным себя показал», что и привело его к «неправым» натяжкам. Байеру кажется, пояснял Ф. Эмин, что в России без чужестранцев ничто быть не могло. Статья «О варягах», по оценке Ю.И. Венелина, носит «исключительно патристический» характер, ибо в ней «всё жертвуется для того, чтобы доказать *благовоспитанность рыцарства* баснословной Скандинавии», что она «есть попытка пояснить собственно не русскую, а шведскую древность» по причине «*безотчётного пристрастия*» автора к Скандинавии³⁴.

О том, что Байер и Шлёцер, проникнутые немецким патриотизмом (узким немецким субъективизмом), старались «онемечить древнюю Русь», что увлекало их за пределы исторической истины, вели речь Н.В. Савельев-Ростиславич, Н.А. Иванов, Е.И. Классен, И.Е. Забелин, М.О. Коялович (что результат исследований гордого «в своём немецком сознании» Байера был «крайне вреден науке русской истории, потому что авторитетно отрезал путь к изучению того же предмета с русской точки зрения», и что под его влиянием значительная часть русских учёных стремится «видеть у нас всё иноземного происхождения»). С мнениями антинорманистов соглашались их оппоненты: П.Г. Бут-

ков (пером Шлёцера управляло предубеждение, будто наши славяне во всём обязаны «шведским рослагенцам, т. е. *лодошникам*»), А. И. Артемьев (он, рассуждая о дикости славян, имел намерение их унижить, дабы выставить в лучшем свете норманнов и доказать, что они принесли с собою образованность), К. Н. Бестужев-Рюмин (взгляд увлечённого немецким патриотизмом Шлёцера на Русь как на страну ирокезов, куда только скандинавы внесли свет просвещения — веру, законы, гражданственность, «представил русскую историю в ложном свете»)³⁵.

В 1931 г. В. А. Мошин, норманист и автор одной из лучших историографических работ по варяго-русскому вопросу, конкретизировал, что Шлёцер перенёс в Россию методологические требования гёттингенской исторической школы (и свои научные воззрения, образованные под её влиянием). Причём суть одного из них сводилась к идее «об особой роли германцев, в частности, норманнов в развитии правовой и политической культуры в Европе». Высказанная впервые Тацитом, «противопоставлявшим здоровые и твёрдые начала германского быта римской испорченности», она при посредстве гуманистов перешла «в литературу нового века» и получила особую популярность в XVIII веке. В связи с чем процесс образования Руси виделся Шлёцеру «аналогичным тому, который происходил в Западной Европе — как следствие завоевания восточных славян германским племенем» норманнов, принёсшим в Восточную Европу, «в эту культурную пустыню» «первые начатки цивилизации»: «свою веру, мифологию, право, семейные обычаи и т. д.»³⁶

В целом норманская теория, заключал в 1860 г. Н. И. Костомаров, есть выдумка немецких учёных, вызванная чувством превосходства «своей породы пред славянами», якобы не способными, «без влияния немецкого элемента, к устройству государственной и гражданской жизни». Она была обусловлена, обобщал в 1909 и, уже будучи в эмиграции, в 1923 г. Ф. В. Тарановский, правовыми, политическими и историческими взглядами XVIII в., «вером у исклучиву творачку акцију и свемоћ законодавца и представом о нарочитој улози германаца, у појединости скандинаваца или нормана у процесу развитка правне и политичке културе у Европи». По причине чего работавшие тогда в России немцы глядели на восточных славян как «неку *tabulam rasam*», на которой скандинавы «нацртали прва начела правног и политичког поретка»³⁷.

С этими выводами антинорманистов совпадает заключение крупнейшего представителя норманизма прошлого века, датского лингвиста А. Стендер-Петерсена, который в 1953 г. сказал, что варяжский вопрос «часто используется для лженаучных обобщений. Можно привести заявления мнимых исследователей, гласящие, что древние скандинавы, так сказать, от природы были одарены особой способностью создавать государственно-политические и административные организации, в то время как славяне, в частности, русские, напротив, по врождённой им психике были лишены этой способности». В 1960 г. он же, критикуя известного русского филолога-германиста Ф. А. Брауна, с великим энтузиазмом только и рассуждавшего, особенно оказавшись после революции вне пределов России, о превосходстве норманнов над восточными славянами, заметил: «Исходя из таких, фактически романтических представлений о пре-

имуществах норманской цивилизации, сообщение летописи Нестора истолковывалось как свидетельство того, что древняя Русь, не имевшая государственности, была завоёвана инициативными и предприимчивыми норманнами³⁸.

В 1870-х гг. антинорманист И. Е. Забелин назвал ещё несколько причин, по его мнению, породивших норманизм. Подчёркивая, что Байер, Миллер и Шлёцер были проникнуты «учёным и патриотическим предубеждением» «о великом историческом призвании германского племени, как всеобщего цивилизатора», и потому им было свойственно смотреть на всё «немецкими глазами и находить повсюду своё родное германское, скандинавское», он констатировал: но немецкая учёность «больше всего знала свою западную, немецкую историю, и совсем не знала, да и не желала знать истории славянской», и что «немецкая учёность искони веков почитала славян племенем исторически очень молодым, диким, ничтожным и во всём зависимым от немцев. Ещё большими варварами казались ей русские». В связи с чем начало русской истории объяснялось Байером, Миллером и Шлёцером «скандинавским происхождением самой руси». Причину возникновения норманизма в петровские времена учёный видел также в том, что «положение русских дел в первой половине 18-го века во многом напоминало положение славянских дел во второй половине 9-го века». Поэтому призвание немцев Петром I «для устройства в дикой стране образованности и порядка лучше всего объясняло до последней очевидности, что не иначе могло случиться и во времена призвания Рюрика»³⁹.

Вывод об антирусской направленности норманизма был полностью принят в послевоенной советской науке, чему способствовали Великая Отечественная война и тот факт, что нацисты идеологически обосновывали им свою агрессию против СССР. Как утверждал Гитлер, демонстрируя прекрасное знание главного вывода германских норманистов, «организация русского государственного образования не была результатом государственно-политических способностей славянства в России; напротив, это дивный пример того, как германский элемент проявляет в низшей расе своё умение создавать государство», и что «в течение столетий Россия жила за счёт этого германского ядра своих высших правящих классов». Потому, вещало это чудовище немцам, прививая им чувство исключительности и готовя их к порабощению нашей Родины, «сама судьба как бы хочет указать нам путь своим перстом: вручив участь России большевикам, она лишила русский народ того разума, который породил и до сих пор поддерживал его государственное существование». Фюреру в унисон вторило другое чудовище, также хорошо понявшее главное в норманской теории, — Гиммлер: «Этот низкопробный людской сброд, славяне, сегодня столь же не способны поддерживать порядок, как не были способны много столетий назад, когда эти люди призывали варягов, когда они приглашали Рюриков»⁴⁰. В силу чего норманизм достиг в фашистской Германии наивысшего пика популярности и стал важной частью идеологии нацизма⁴¹ (чтобы подкрепить бредовые фантазии гитлеров и гиммлеров материальными свидетельствами, подручные Розенберга в 1942–1943 гг. на территории оккупированной Ленинградской области вели, в поисках могилы Рюрика, раскопки⁴²).

Нацисты, полагая себя потомками варягов (якобы те как скандинавы принадлежали к германцам), призванных для наведения порядка среди восточных славян, превратили норманизм в практическое руководство к своим членоконенавистническим действиям на территории нашего Отечества. Так, в инструкции «12 заповедей поведения немцев на Востоке и обращения их с русскими», вручённой в секретном порядке «сельским управляющим», настойчиво повторялась перифраза из ПВЛ: «...Наша страна велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите и владейте нами!». Этим же «сельским управляющим» за три недели до нападения на СССР внушалось, что «русские всегда хотят оставаться массой, которой управляют. В этом смысле они воспримут и немецкое вторжение. Ибо это будет осуществлением их желания: “Приходите и владейте нами”. Поэтому у русских не должно создаваться впечатления, что вы в чём-то колеблетесь. Вы должны быть людьми дела, которые без лишних слов, без долгих разговоров и без философствования чётко и твёрдо выполняют то, что необходимо. Тогда русские будут вам услужливо подчиняться»⁴³.

(У германских нацистов, развязавших мировую бойню, были многочисленные предшественники, на протяжении длительного времени обрабатывавшие сознание Западной Европы разговорами, с обязательной апелляцией к норманизму, об исторической, политической и культурной неспособности славянских народов. Как суммировал в 1870–1871 гг. их воззрения на славян, Россию, русских и русскую историю В.И. Ламанский, славянское племя есть «раса несравненно низшая», что «торжество и господство германизма на Востоке предопределено самим божественным Промыслом», что «в оба лучшие, самые блестящие периоды» истории России «ею управляли: в киевский — норманны, в петербургский период — немцы. Норманны заложили Русское государство и наметили мечом его пределы. Благодаря им русский народ не держится теперь огрубляющего духа мусульманства, а исповедует христианство, хотя, конечно, и в самой низшей форме православия», что в целом германцы, помимо христианства, принесли славянам «образованность, начала гуманности, справедливости и истинной свободы». В свете чего этими «мыслителями» и «теоретиками» от истории ставились конкретные политические задачи, затем взятые, как и их идеи, на вооружение Гитлером: «Германия непременно должна увеличиться и раздвинуть свои границы далее на славянский север- и юго-восток»⁴⁴).

В 1948 г. М.Н. Тихомиров появление норманизма в России в 30-х гг. XVIII столетия объяснял тем, что для «немецких учёных доказательства того, что восточные славяне в IX–X вв. были сущими дикарями, спасёнными из тьмы невежества варяжскими князьями, были необходимы для утверждения их собственного господства в той стране, народ которой имел свою древнюю и великую культуру. И немцы-академики немедленно принялись за дело, заказанное им вельможными немцами-сановниками». Поэтому, подводя черту под своими рассуждениями историк, норманская теория «с самого начала не была простой теоретической проблемой, а знаменем воинствующих немецких придворных кругов, и служила сугубо политическим целям». В 1955 г. он вновь отметил, что

эта версия «в сущности, выполняла заказ правительства Бирона, поскольку она стремилась исторически объяснить и оправдать засилье иноземных фаворитов при дворе Анны Ивановны»⁴⁵.

Точка зрения Тихомирова, став одним из принципиальных положений советской историографии, получила в творчестве М.А. Алпатова определённое развитие. Также характеризуя норманизм как откровенно антирусское явление, учёный увидел в нём идейный реванш за Полтаву, за победу в Северной войне, после которых «в России существовал большой национальный подъём». Но Байер, проникнутый, как и все академики-иностранцы, антирусским настроением, «мечом Рюрика» нанёс «удар по национальным амбициям русских с исторического фланга», выдвинув тезис о том, что «русские не умели создать даже своего государства, им его создали варяги — предки тех самых шведов, победой над которыми так кичатся русские». Закljučая, что «варяжский вопрос родился не в сфере самой науки, а в сфере политики», и что Сказание о призвании варяжских князей, веками служившее прославлению Руси, было превращено Байером в средство поношения русского народа и его государства, Алпатов резюмировал: «В этом состояла *политическая* задача бироновщины, которая господствовала в стенах Петербургской Академии наук»⁴⁶.

В целом же в послевоенной советской науке стало аксиомой, что создатели норманизма Байер, Миллер, Шлёцер — это высокомерные, самодовольные немцы, свысока смотревшие на всё русское, «культуртрегеры», приехавшие, по словам Б.А. Рыбакова, «в медвежью Россию приобщать её к европейской культуре»⁴⁷ и выдумавшие «антинаучную» и «реакционную» норманскую теорию (даже в работах, далёких от истории, например, в комментариях к трудам Н.Г. Чернышевского 1953 г. Байер характеризовался как «немецкий реакционный историк, пытавшийся доказать культурную отсталость древней Руси и скандинавское происхождение российской государственности»⁴⁸).

Антинорманисты упрекали и в первую очередь Г.З. Байера в грубейших ошибках и бездоказательности. Так, В.Н. Татищев причину его «неправых» натяжек и «немалых погрешностей» видел, помимо «патриотической» тенденциозности, ещё в том, что «ему русского языка, следственно, русской истории, не доставало», т.к. он не читал летописи, «а что ему переводили, то неполно и неправо», поэтому, «хотя в древностях иностранных весьма был сведом, но в русских много погрешал», что он, «не зная русской истории и географии разных времён, правильно сочинить неудобно». М.В. Ломоносов в ходе обсуждения речи «диссертации» Г.Ф. Миллера «О происхождении народа и имени российского» отмечал, что Байер «впал в превеликие и смешные погрешности», одна из которых заключалась в том, что он, «последуя своей фантазии... имена великих князей российских перевёртывал весьма смешным и непозволенным образом для того, чтобы из них сделать имена скандинавские», в связи с чем «Бейеровы перевёртки» нельзя «признать... за доказательства»⁴⁹.

Справедливость слов Татищева и Ломоносова подтверждают норманисты. Г.Ф. Миллер, говоря и в своей речи, и во время её обсуждения о «диссертации» Байера «О варягах» и превознося его за «божественный талант и редчайшую

учёность», вместе с тем констатировал, что он «утверждался... токмо на малом имян сходстве, которое в таком деле за доказательство принять не прилично», поэтому, например, половцев, «взирая на одно сходство имян», связал с Полоцком. Значительно позже первый наш историограф подчеркнул, «чтобы успешно работать в области русской истории, ему недоставало только знания русского языка»⁵⁰. А.Л. Шлёцер, также рассыпаясь в комплиментах Байеру, которые затем ритуально будут повторять наши норманисты («величайший литератор и историк своего века», «критик первого разряда» и пр.), вместе с тем обращал внимание на тот принципиальный важности факт, что он излагает русскую историю не по русским источникам. Ибо, писал Шлёцер с явной иронией, за двенадцать лет пребывания в России, Байер — «великий знаток языков... которого не испугал даже китайский язык» (для чего даже «начал страшный *китайский словарь* в 26 томах»), «занимаясь древнейшей русской историей» и «будучи русским профессором», — по-русски «никогда не хотел учиться». В связи с чем, будучи зависимым «всегда от неискусных переводчиков» летописи, будучи не способным «даже отличить настоящего Нестора от сумнительной» Степенной книги и при этом слишком много веря сагам, наделал «важные» и «бесчисленные ошибки». Поэтому у него «учиться российской истории» есть тоже самое, если ей учиться «из Герберштейна, из Шетхена»⁵¹.

В подобном ключе затем вели речь о Байере, начиная с Н.М. Карамзина (он худо знал «нашу древнюю географию»⁵²), многие наши специалисты до-революционного времени. Однако несмотря на критические замечания, высказанные в его адрес и ставившие под самое серьёзное сомнение его выводы о начале Руси, для норманистов он являл тогда, как выразил это мнение П.Н. Милюков, «истинный тип германского учёного-специалиста», владевшего всеми приёмами классической критики и, как утверждал ранее корифей нашей науки С.М. Соловьёв, мастерски решившего вопрос о происхождении варягов-руси. В предвоенные годы в советской науке о Байере (равно как о Миллере и Шлёцере) также говорилось с пиететом, что особенно проявилось в труде Н.Л. Рубинштейна «Русская историография» (1941), в которой он характеризуется в качестве крупнейшего учёного своего времени, по-новому представившего русским их же древнюю историю⁵³.

Великая Отечественная война коренным образом изменила отношение к Байеру (а также к Миллеру со Шлёцером), т.к. с его именем прежде всего ассоциировался норманизм, взятый германскими нацистами на вооружение. Уже на совещании историков в ЦК ВКП(б), состоявшемся в мае-июле 1944 г., подчёркивалось, во-первых, что «не преодолено влияние немецких учёных-норманистов, развивавших идеи несамостоятельного происхождения российской государственности». Во-вторых, критиковалась как монография Рубинштейна, ибо в ней «был смазан вопрос о борьбе русской историографии с немецким засильем», так и те работы советских историков (М.В. Нечкиной, С.В. Бахрушина), в которых «немецкие историки изображаются как основоположники русской исторической науки»⁵⁴ (хотя тогда же К.В. Базилевич указывал, но его мало кто услышал, что Миллер и Шлёцер «были крупными историками» и что они оказали влияние на нашу науку⁵⁵).

В 1945 г. В.В. Мавродин назвал немецких учёных, с которыми ассоциировалось начало норманской теории, «псевдоучёными». Двумя годами позже С.А. Семёнов-Зусер уверял, что Байер с явным пренебрежением смотрел на русскую науку и культуру и что Миллер в его же духе фальсифицировал русскую историю. В 1948 г. М.Н. Тихомиров весьма резко отозвался о Байере, назвав его «бездарным и малоразвитым воинствующим немцем, с отсутствием настоящего интереса к науке и её задачам», и утверждая, что «перед нами так и рисуется тупоумная физиономия “крупного” лингвиста, для которого одинаково звучат и “Moskau”, и “Musik” “мужской”». А посвящённый ему раздел монографии Рубинштейна расценил как «самый неправильный по своим выводам» во всей книге и как «совершенно неприкрытый восторженный отзыв о Байере», в целом отметил неверные положения автора «в первую очередь в оценке историографии XVIII в.»⁵⁶.

Ситуацию в науке тогда серьёзно накаляла параллельно борьба «с низкопоклонством перед Западом». Редакционная статья номера журнала «Вопросы истории», завершавшего 1948 г., призвала к борьбе с буржуазной идеологией и отметила, что Н.Л. Рубинштейн, труд которого «содержит ряд серьёзнейших ошибок», неправильно оценивает роль иностранных учёных XVIII–XIX в., работавших в России, и преклоняется «перед иностранщиной вообще». Годом позже В.В. Мавродин подчёркивал, что опасным и вредным является тот профессорский объективизм, с которым Рубинштейн характеризует «немецкую свору» — Байера, Миллера, Шлёцера, и что так написать о человеке, исказившем до неузнаваемости русскую историю, «можно только утратив чувство советского патриотизма, скатившись к реакционному космополитизму»⁵⁷. В 1955 г. Тихомиров к озвученным уже словам добавил, что сочинения Байера, «основанные главным образом на изучении иностранных свидетельств о России, страдают грубейшими ошибками» и что их деятельность «принесла не столько пользы, сколько вреда для русской историографии, направляя её по ложному пути некритического подражания иноземной исторической литературе»⁵⁸.

Такая тональность в разговоре о немецких историках стала нормой в науке, в ней также нормой стало именовать их «псевдоучёными», злобно фальсифицировавшими историю Руси и тенденциозно искажавшими факты, «реакционными немецкими учёными», извращавшими историю русского народа⁵⁹. Подобное отношение к ним вызвало в 1957 г. законное возражение Л.В. Черепнина, заметившего, что «ошибочные, а в ряде случаев тенденциозные утверждения немецких исследователей, несомненно, наносили ущерб русской науке», но вряд ли следует изображать их «бездарными, тупыми и невежественными людьми», и что перед русской исторической мыслью они имеют заслуги. Позицию Черепнина в данном вопросе попытался оспорить в 1961 г. М.Т. Белявский, державшийся мнения Тихомирова, но исследователи в конечном итоге отдали предпочтение всё же первой⁶⁰. В связи с чем разговор о немецких историках постепенно приобрёл более сдержанный и конструктивный характер. Разумеется, не может быть никакого сомнения в том, что, как подчёркивалось неоднократно автором этих строк, имена немцев Байера, Миллера, Шлёцера есть такое же достояние русской исторической мысли, как и имена русских Та-

тищева, Ломоносова, Карамзина, и что они имеют весьма значимые заслуги перед русской исторической наукой⁶¹.

Взгляд на Байера как родоначальника норманской версии не является единственным взглядом на проблему её возникновения. В 50-х гг. прошлого века за рубежом были высказаны мнения, ставящие на место Байера, либо известного Миллера, либо малоизвестного Пауса, но при этом по-прежнему оставляя за столицей Российской империи роль колыбели норманизма. В 1957 г. польский историк Х. Ловмянский пришёл к выводу, что хотя Байер и пытался заложить «первые научные основы норманской проблемы», «однако он не был норманистом». Но источники, конкретизировал свою мысль учёный, им собранные и опубликованные, были использованы для подтверждения норманской теории Миллером, который «своим, не только нетактичным, но и не соответствующим исторической действительности утверждением о завоевании России в результате победного похода шведов вызвал негодование среди слушателей и молниеносную отповедь М.В. Ломоносова (1749). С этого момента разгорелась полемика по норманской проблеме». Через сорок лет наш соотечественник А.А. Данилов, видимо, идя в своих рассуждениях вслед за Ловмянским, сказал, что Миллер в речи, произнесённой в 1749 г. на торжественном заседании Академии наук в связи с годовщиной вступления Елизаветы Петровны на престол, «впервые сформулировал основные положения “норманской теории” возникновения русского государства»⁶².

Утверждения Ловмянского и Данилова страдают весьма серьёзными фактическими погрешностями. Во-первых, Миллеру не довелось выступить в 1749 г. на торжественном собрании Академии наук. Во-вторых, хотя речь его и была рассмотрена 23 августа того же года на соединённом Академическом и Историческом собрании (где присутствовали все профессора Академии и Академического университета), но она не вызвала ни «негодования среди слушателей», ни «молниеносной отповеди» Ломоносова, бывшего на том собрании. Более того, речь была тогда одобрена и разрешена к печати с учётом исправления замечаний, поступивших от президента Академии К.Г. Разумовского и коллег Миллера. Но вместе с тем в суждениях о нём как об учёном, которому принадлежит приоритет в норманском, шире, в варяжском вопросе, имеется определённый резон, что видно из наблюдений М.А. Алпатова, опубликованных после его смерти (в 1982 и 1985 гг.).

Историк, ведя речь о первом номере «Sammlung russischer Geschichte» (1732), отметил, что журнал открывается статьёй Миллера о русской летописи, где он «рассказал о варягах, пришедших из Скандинавии». Как заключал Алпатов, эта первая «статья Миллера о древней Руси — та самая статья, которая вскоре послужила толчком для не знавшего русского языка Байера к созданию “норманской теории”»⁶³. Из приведённых слов видно, что Байер никак не мог быть родоначальником норманизма, коль мнение о норманстве варягов Миллер высказал за три года до выхода в свет его статьи «О варягах» (в 1989 г. А.Н. Котляров также назвал Миллера «создателем норманской теории» и, следуя за Алпатовым, указал, что его пояснения к издаваемой им ПВЛ сыграли роль первотолчка для развития в России норманистского течения⁶⁴).

Действительно, Миллер, начав публиковать в 1732 г. в «*Sammlung russischer Geschichte*» («Собрание русской истории») извлечения из списка Радзивилловской летописи (с которой в Кёнигсберге по приказу Петра I была снята копия) с 860 по 1175 г., т.е. в основном из ПВЛ, предварил их небольшим вступлением, в котором пояснил, что не считает имя «варяг» собственным. Не приняв точку зрения (но без оглашения её сторонников), что имя это происходит от древнеготского *waṛg*-волк, Миллер сказал, что варягами в IX–X вв. именовали норманнов, «которые, возможно, так называли себя при первом прибытии на русский берег, и, тем самым, дали повод тому, что в дальнейшем это слово, из-за незнания северного языка, рассматривалось как имя собственное». При этом он полагал, что большинство варягов происходило из северных стран и особенно из норвежского королевства, что подтверждается, по его мнению, обширными связями Руси с Норвегией в последующие столетия и о чём так много говорит исландец Снорри Стурлусон. Рассуждая таким образом, учёный не мог понять только одного: как могли «норвежские и древние датские поэты и историки в своих произведениях забыть об этом»⁶⁵. В примечании к летописи Миллер пояснил, что на Русь были приглашены три брата «варяжской национальности» — Рюрик, Синеус, Трувор. Во второй части первого тома «*Sammlung russischer Geschichte*» (1733) историк, публикуя выдержки из Стурлусона, его свидетельство о женитьбе русского князя Ярослава Мудрого на Ингигерде, дочери шведского короля Олава Шётконунга, сопроводил уточнением, что он был супругом «варяжской принцессы»⁶⁶.

В 1959 г. исследователь из ГДР Э. Винтер выступил с идеей, что «основателем норманской теории» является Паус. Иоганн Вернер Паус (1670–1735), выходец из Саксонии и магистр философии, с осени 1701 г. (или с зимы 1702 г.) находился в России (до этого в 1700–1701 гг. жил в Швеции), с 1703 г. (или с 1704 г.) учительствовал в московской школе шведского пастора Э. Глюка, где преподавал «ученикам старших классов риторику, политику, философию, физику, логику, этику». После смерти Глюка стал директором его школы, но очень быстро рассорился с учителями, учениками и их родителями, и школа вскоре была закрыта. Впоследствии служил гувернёром и секретарём в русских дворянских домах, и даже был одним из наставников царевича Алексея Петровича (с 1725 г. числился переводчиком при Академии наук).

По совету воспитателя царевича барона Г. Гюйсена Паус обратился к изучению летописей, работал с ПВЛ, со Степенной книгой, с Никаноровской летописью. По заказу Миллера перевёл, с серьёзнейшими ошибками, на немецкий и латинский языки Петровский список Радзивилловской летописи (её немецкий перевод и был опубликован в первом томе «*Sammlung russischer Geschichte*»). По словам Пауса, он был близок с Байером и оказал большое влияние на него как историка. Паус оставил после себя подробный рассказ о возникновении и истории своих литературных работ («*Observationes*», 1732)⁶⁷, исходя из которого Винтер и пришёл к выводу о нём как «основателе» норманской теории. Это заключение абсолютно несостоятельно, но оно показывает, что норманистские настроения были широко распространены среди оказавшихся в России выходцев из Западной Европы до Байера и вне всякой связи с ним.

1.2 Норманская теория (версия) как шведский взгляд на русскую историю

В науке существует ещё один взгляд на время, место и причины зарождения норманской версии. Согласно ему, её истинные истоки связаны с эпохой Смутного времени. О наличии подобных разработок в западноевропейской и в первую очередь в шведской историографии начала XVII — первых десятилетий XVIII в. упоминали Г.З. Байер, В.Н. Татищев, В.К. Тредиаковский, А.Л. Шлёцер, Г. Эверс, Ю.И. Венелин, Ф.А. Браун⁶⁸. Из всех исследователей прошлого только норманист А.А. Куник поднимал, начиная с 1844 г., вопрос о предшественниках Байера⁶⁹, но лишь мимоходом и ограничившись при этом весьма короткими, хотя и во многом верными выводами, оставшимися незамеченными в науке. Во-первых, из-за глубоко укоренившегося в сознании учёных взгляда на Байера как на родоначальника норманизма. Во-вторых, из-за случайного и отсюда самого поверхностного знакомства с работами действительно первых норманистов, в связи с чем им было придано ошибочное значение, которое не позволяло разглядеть их подлинную суть (к ним затем норманисты обращались лишь в качестве примера, как им казалось, широкого бытования в XVII в., следовательно, и ранее в России и Швеции мнения о шведской природе варягов).

О зарождении норманской теории в шведской донучной литературе XVII в., услужливо следовавшей в фарватере внешней политики своего государства, обращённой против России и её целостности, говорит с 1993–1994 гг., с привлечением важных документов из Sweden Riksarkivet, пишущий эти строки, постоянно приводя тому новые аргументы и уточняя детали⁷⁰. В 1995 г. в Финляндии на шведском языке была издана монография А. Латвакангаса, который ведёт, также основываясь на неизвестных и малоизвестных нашей науке фактах, весьма содержательный разговор на ту же тему⁷¹. В 2000 г. в ФРГ и в России вышли работы Б. Шольц, уделившей пристальное внимание добайеровскому периоду в разработке варяго-русского вопроса и прежде всего в весьма заполитизированной, по заключению исследовательницы, шведской историографии⁷². В 2007–2023 гг. о политической подоплёке возникновения норманизма в Швеции в начале XVII в., а также о готицизме и рудбекианизме, ставших его духовными истоками, обстоятельно рассуждала, также с использованием оригинального материала, Л.П. Грот⁷³.

А.А. Куник, отрицая за Байером титул родоначальника норманизма, «первым норманистом» называл шведа Петра Петрея, который, по его словам, «хотя и довольно неудачно» заявил о себе в этом качестве в 1615 г.⁷⁴

В биографии шведского дипломата и историка Петра Петрея (Petrus Petrejus, по-шведски Peer Persson de Erlesunda), человека во многом авантюристического склада, не всё ясно: родился он около 1570 г. в Упсале в семье ректора соборной школы, впоследствии епископа Петра Бенедикти Эланда (вестеросского, а затем линчепингского, «т. е. второго лица в иерархии шведской церкви после упсальского архиепископа»), умер в Стокгольме — по официаль-

ной версии — от чумы в 1622 г. (есть предположение, отмечает Ю.А. Лимонов, что он был отравлен). В 1588–1590 гг. учился, не отличаясь «никакими особенными интеллектуальными достижениями», в гуманитарном лицее имени Юхана III, где изучал историю, теологию, древние языки, естественные науки и откуда был исключён за плохое поведение. Затем Петрей отправился в Грейсвальд, а оттуда в один из лучших университетов Северной Германии — Марбургский, в котором обучался короткое время (1592–1593) и из которого был также исключён (а «за буйное и безнравственное поведение, за вечные истории с властями по причине пьянства и неуплаты долгов Петрей был отлучён от семьи и лишён наследства»). В 1595 г. он поступил в личную канцелярию герцога Карла — правителя Швеции с 1594 г. (с 1604 г. — король Швеции Карл IX), а в конце 1601 г., в связи со всё более возрастающим интересом Швеции к своему восточному соседу, неумолимо сползавшему в пропасть страшной Смуты, был послан в Россию, где пробыл четыре года в качестве либо лекаря, либо фармацевта.

Ю.А. Лимонов, указывая, что «лекарь, аптекарь наиболее удобная профессия при сборе информации», характеризует Петрея как «политического агента» своего правительства при московском дворе (своего рода «резидента шведской разведки», которому были подчинены все шведские специалисты в Москве и все выходцы из шведской Лифляндии). При этом поясняя, что деятельность его была направлена «на сбор информации об отношении русского правительства к шведской короне», а также всевозможных сведений о прошлом и настоящем России (по признанию самого Петрея, его интересовало буквально всё из жизни русских: вера, богослужебные обряды, нравы, обычаи, занятия, ремёсла, торговля, военное искусство, правление, гражданское устройство, недавние войны между шведами, поляками и русскими, география их страны и пр.), что, видимо, за время пребывания в России Петрей непосредственно посылал в Стокгольм депеши-донесения (при этом установив «тесные контакты с представителями самых разных слоёв русского общества, в том числе близких ко двору. Судя по всему, швед выучил русский язык, что, естественно, во многом способствовало целям и задачам “свейского лекаря”»). А.И. Плигузов и И.А. Тихонюк констатируют, что «будущий король Карл IX ждал от своего советника надёжной информации о событиях в России». О том же пишут С.Ю. Шокарев и А.В. Толстиков.

Свою роль шпиона Петрей сыграл превосходно, в связи с чем его заслуги по возвращению на родину (в конце 1605 г.) были высоко оценены: он стал одним из доверенных лиц короля Карла IX и получил должность придворного историографа. В 1607–1613 гг. Петрей, выполняя ряд важных дипломатических поручений, несколько раз посещал Россию (в 1608 г. привозил Василию Шуйскому предложение «о помощи в подавлении нестроений» среди его подданных и совместной борьбе с поляками, после заключения Выборгского договора находился в 1609–1610 гг. в войске Я.П. Делагарди, действовавшем в русских землях, направлялся в 1611 г. королём в Нарву к Лжедмитрию III — «псковскому вору», в 1612–1614 гг. посещал оккупированные шведами Ивангород, Орешек, Новгород). В 1615 и 1617 гг. Петрей участвовал в посольствах в Данциг, Данию,

Голландию, принимал участие в составлении Столбовского договора. Как отмечают его биографы, «способный к языкам и обладающий страстью к приключениям, Петрей весьма подходил для подобных поручений»⁷⁵.

Будучи незаурядной личностью, Петрей успешно совмещал роль дипломата и роль историографа. В 1608 г. он выпустил в свет «Реляцию», представлявшую собой краткий обзор русской истории за 1601–1608 гг., и в основе которой, заключал Лимонов, лежали его реляции-донесения, переданные из Москвы⁷⁶ (и эта небольшая книга, по мнению Г.М. Коваленко, «подготовила почву для шведского вооружённого вмешательства в русские дела»⁷⁷), а в 1611 г. — «Краткую и благодетельную хронику обо всех свеярикских и гётских конунгах, правивших как внутри страны, так и за её пределами, от первого конунга Магога... до ныне правящего Карла IX». Но самым знаменитым его трудом стала «История о великом княжестве Московском», опубликованная в 1614–1615 гг. в шести отдельных частях в Стокгольме на шведском языке, а в 1620 г. — с дополнениями и исправлениями — на немецком в Лейпциге (в шведском издании изложение событий доведено до 1612 г., в немецком — до 1617 г.)⁷⁸.

При написании «Истории о великом княжестве Московском» Петрей широко использовал западноевропейские и русские материалы (С. Герберштейна, П. Одерборна, М. Меховского, А. Гваньини, К. Буссова, архивные документы, фрагменты летописей, устные источники)⁷⁹. Причём настолько широко, что исследователи даже усомнились в самобытном характере его сочинения. В связи с чем в 1859 г. Н.Г. Устрялов заключил, что Петрей в части о Борисе Годунове и самозванцах почти целиком переписал «Московскую хронику» К. Буссова «с немногими выпусками и дополнениями». Значительно позже И.И. Смирнов вообще охарактеризовал его «Историю» как компиляцию, целиком основанную на названном памятнике. Такая точка зрения вызвала возражение со стороны Ю.А. Лимонова, наоборот, утверждавшего в 1968 г., что это «Хроника» Буссова во многом зависит от «Реляции» Петрея. В 1989 г. А.И. Плигузов и И.А. Тихонюк отметили, что в «Истории о великом княжестве Московском» «основные сведения были заимствованы из Хроники Конрада Буссова». В 1997 г. С.Ю. Шокарев, соглашаясь, что Петрей активно обращался к труду последнего, вместе с тем предположил, что его информатором был и голландец И. Масса.

В 1998–1999 гг. Ю.А. Лимонов дал весьма высокую оценку «Истории о великом княжестве Московском»: она «включает в себя все группы источников, объединяя академическую традицию с опытом и знаниями чисто практическими, взятыми из профессиональной деятельности политического агента, дипломата, разведчика». И в целом отнёс эту работу «к одному из первых, если вообще не к первым сочинениям Нового времени о России» (по причине чего шведскую историографию надлежит полагать «родоначальником нового направления в европейской историографии»)⁸⁰. В 1976 г. М.А. Алпатов, выделяя такие источники Петрея, как сочинения Герберштейна, Одерборна, Буссова, польских авторов и русские летописи, посчитал, что главными источниками всё же были его личные наблюдения и устная историческая традиция, с которой он ознакомился в России. В 1995 г. финский историк А. Латвакангас говорил, что «История» Петрея «достаточно самостоятельна по своей природе»

и что она, хотя её большая часть информации заимствована из Герберштейна, «приобрела актуальную шведскую окраску»⁸¹.

Высоким «штилем» начиная «Историю о великом княжестве Московском», Петрей сразу же излагает официальную, прусскую, версию происхождения русской династии, содержащуюся в «августинской» легенде: «Следуя по стопам древних писателей Трога Помпея, Аппиана Александрийского, Юлия Цезаря и других, им подобных, я намерен, в коротких словах, рассказать о земле москвитян или русских, местности её и положении, о государях и великих князьях, в ней правивших, начиная с трёх князей, Рюрика, Синеуса и Трувора, надобно полагать, родных братьев, родом из Пруссии, господствовавших в 752 году по Р.Х., до ныне царствующего великого Михаила Фёдоровича, избранного москвичами в 1613 году». Но затем, исписав большое число страниц, он вдруг заявляет, что было новостью для тогдашнего образованного мира, «от того кажется ближе к правде, что варяги вышли из Швеции».

Неожиданность такого вывода тем показательнее, что Петрей вначале прямо признался в безуспешности своих попыток установить народность варягов: «В русских сказаниях и летописях упоминается народ, называемый у них варягами, с коими вели они большую войну и были принуждены платить им дань ежегодно по белке со всякого дома. *Но я нигде не мог отыскать, что за народ были варяги* (курсив мой. — В.Ф.)». Из этих слов хорошо видно, что историограф приступил к написанию книги, не имея конкретного ответа на давно интересующий его вопрос. Как явствует из дальнейшего изложения, получить его помогла речь новгородских послов, произнесённая 28 августа 1613 г. в Выборге перед претендентом на русский престол — герцогом Карлом-Филиппом, братом шведского короля Густава II Адольфа. Петрей так передаёт обстоятельства этой встречи: новгородцы настаивали на переезде герцога в Новгород, «поставляя на вид, что Новгородская область, до покорения её московским государем, имела своих особенных великих князей, которые и правили ею; между ними был один, тоже шведского происхождения, по имени Рюрик, и новгородцы благоденствовали под его правлением».

Этому свидетельству самих русских о шведских корнях их первого князя и родоначальника хорошо известной Западной Европе династии Рюриковичей, более 700 лет правившей на поражающих воображение огромных пространствах Восточной Европы, Петрей без всяких затруднений (велика сила мотивации!) нашёл лингвистические и геральдические «подтверждения». Например, слово «варяги» он вывел из названий «области Вартофта, в Вестер-Готландии» и «области Веренде в Смаланде», откуда мог быть родом «главный вождь» варягов, называемый по месту рождения «Вернер, и от того варяг, а его дружина — варяги». Нет особой разницы, уверял вместе с тем Петрей, с той же лёгкостью продолжая создавать норманистские «аргументы», между именами первых русских князей и шведскими именами, ибо «русские не могут так правильно произносить иностранные слова, как мы, но прибавляют к ним лишние буквы, особливо когда произносят собственные имена; так Рюрик мог называться у шведов — Эрик, Фридерик, Готфрид, Зигфрид или Родриг; Синеус — Сигге, Свен, Симон, Самсон; Трувор — Туре, Тротте или Тифве» (как со справедливой

иронией замечает Л.П. Грот, самое забавное состоит в том, что имена Erich, Frederich и Roderich «есть заимствованные имена в шведском именослове!». Но подобные мелочи норманистов не волновали с самого начала).

К незамысловатым псевдолингвистическим конструкциям, которые, забегая вперёд, в норманизме станут, по причине отсутствия исторических аргументов, самыми наиглавнейшими «доказательствами» скандинавства варягов, Петрей присовокупил такого же рода «научный» результат проведённых им сравнений псковского и новгородского гербов («бычья голова в венце» и всадник, поражающий дракона) со шведскими дворянскими гербами, глубокомысленно резюмируя, что «сколько не приводилось мне видеть шведских дворянских гербов, меж ними в самом деле есть несколько сходных с вышеназванными гербами: из того верно можно заключить, что эти трое братьев пришли из Шведского государства». Шведское происхождение варягов, по Петрею, вытекает из одного ещё факта: «В наших летописях есть ясные известия, что шведы с русскими вели сильные войны, взяли страну их и области вооружённою рукой, покорили, разорили, опустошили и погубили её огнём и мечом до самой реки Танаиса (Дона. — В.Ф.) и сделали её своею данницею» (в собственно русских автор видел роксолан Птолема и Плиния)⁸².

Под «нашими летописями» Петрей понимал прежде всего «*Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus*» («История всех готских и шведских королей») последнего католического архиепископа Швеции Юханнеса (Иоанна) Магнуса (1488–1544), вышедшую в Риме в 1554 году. Этот, как его характеризуют специалисты, «громадный ультрапатриотический латинский панегирик о всех королях ётов и свеев», вобравший в себя исландские саги (труд Магнуса, включает Л.П. Грот, это безбрежная фантазия на исторические темы, в которой вымышленные предки шведо-готов «стали впервые бороздить восточноевропейские реки от Балтики до Чёрного моря, совершая на всём пути победы, и в которой история скифов выдана за историю шведо-готов»)⁸³, Петрей положил в основу своей популярной «Краткой и благодетельной хроники» 1611 г., переизданной с дополнениями в 1614 (доведена уже до Густава II Адольфа) и 1656 годах.

По словам А. Латвакангаса, хроника Петрея, используемая в Швеции в качестве учебника, буквально вбивала в головы читателей мифологизированную Магнусом шведскую историю и формировала у них соответствующее мнение об отношениях, существовавших на протяжении столетий между русскими и шведами. С некоторым недоумением финский исследователь констатирует, что это было за мнение: «Красной нитью через всю книгу проходит какая-то странная враждебность, даже там, где речь идёт о ранней истории»⁸⁴. Но при этом в хронике, в которой автор «постарался обрисовать в духе готицизма подвиги древних шведских конунгов и утверждал, что они завоевали полмира, достигнув пределов Азии, и собирали дань со всех земель к востоку и югу от Балтийского моря», т.е. и с территории нынешней России, «ни слова не говорится, — отмечает Грот, — о шведском происхождении русских князей». Более того, в 1614 г., когда уже начала выходить шведская версия «Истории о великом княжестве Московском», было опубликовано второе издание названной хроники, в котором Петрей указал, что «не нашёл в русских хрониках каких-либо сведений

о завоеваниях шведских конунгов, но это и понятно, поскольку хроники начинают рассказ с прихода Рюрика, Синеуса и Трувора из Пруссии в 562 г.»⁸⁵. Хотя самое малое время спустя в названной «Истории» Петрею сначала «кажется ближе к правде, что варяги вышли из Швеции», а затем он уже «верно заключает», что Рюрик, Синеус и Трувор «пришли из Шведского государства».

Свою посылку о варягах-шведах швед Петрей отстаивает, оспаривая иные мнения на сей счёт: название варягов «нельзя не найти ни у нас, ни в других местах, то многие стали держаться мнения, что варяги были родом из Энгер-на в Саксонии, или из Вагерланда в Голштинии; но это невозможно и не имеет никакого основания». Но вместе с тем он тут же, а данный факт показывает, что «первый норманист» ясно осознавал отсутствие «всякого основания» у своего заключения о принадлежности варягов к шведам, предлагает «многим» и «некоторым», утверждающим о приходе варягов не из Швеции, определённый компромисс, по которому его предки всё равно сыграли важную роль в их приглашении на Русь: «...Но только они должны сознаться, что шведы пособили русским в этом деле, по доброму соседству, дружбе и сношениям и лучше хотели видеть иноземных государей на царстве у русских, нежели их собственных правителей, потому что шведам довольно была известна их варварская, отвратительная и бесстыдная жизнь и природа, почему они и старались лучше иметь своими соседями чужеземных князей, нежели русских природных государей; потому-то и оказали этим чужеземцам всякое пособие и проводили их через Швецию по Варяжскому морю, как упомянули мы выше»⁸⁶.

«История о великом княжестве Московском» Петрея получила самое широкое хождение в Западной Европе как весьма авторитетное издание по русской истории, была в XVII в., констатирует А. Латвакангас, «одной из самых читаемых и цитируемых»⁸⁷. Так, А. Олеарий, крупнейший учёный Германии, неоднократно посещавший нашу страну, в своём популярном «Описании путешествия в Московию» (1646) упоминает Петрея и его труд. Довольно скоро последний оказался в России. В тобольской ссылке (1661–1676) с ним ознакомился, охарактеризовав его автора как «клеветник», «лаятель и хулитель народа [нашего] Петрей-немчин», хорват Ю. Крижанич, подчёркивая, что каждая страница его книги «полна вся ядовитых, оскорбительных обидных слов и лживых рассказов» (в Сибирь «Историю» Петрея привёз ссыльный поляк)⁸⁸. С сочинением Петрея работал, находясь в шведском плену в 1700–1718 гг., А. И. Манкиев, отмечая при этом, что «безмозгий поп Петрейус» «во всех своих книгах народ русский без чистой совести и срама ругает»⁸⁹. Даже через сто с лишним лет после выхода в свет «История» Петрея была представлена — в шведском и немецком изданиях — на книжном рынке, что позволяло специалистам долгое время получать версию о шведском происхождении варягов из первых рук: В. Н. Татищев приобрёл её, будучи в Швеции в декабре 1724 — апреле 1726 г.⁹⁰, М. В. Ломоносов — в феврале 1740 г. в Германии, в Марбурге (купил лейпцигское издание 1620 г.)⁹¹.

Ещё большую известность получило в Западной Европе мнение новгородцев о шведском происхождении Рюрика благодаря другому шведскому государственному историографу Ю. Видекинду, растиражировавшему его «Историю

ей десятилетней шведской войны в России XVII века», опубликованной в 1671 г. на шведском языке (её также, кстати сказать, приобрёл Татищев), а на следующий год в несколько сокращённом варианте — на латинском (в ней освещаются в основном события с 1607 г. вплоть до Столбовского мирного договора февраля 1617 г.). В этом труде Видекинд, поощряемый очень жаждавшим в 1668–1672 гг. войны с Россией канцлером М.Г. Делагарди (сыном Я.П. Делагарди), во-первых, характеризует интервенцию своих соотечественников против России в Смутное время как «справедливая» и «законная».

В связи с чем стремится показать представителей шведского командования того периода, запятнавших себя кровавыми «подвигами» на нашей земле, — Я.П. Делагарди и Э. Горна — «в духе полного их бескорыстия по отношению к Московскому государству и, наоборот, представить действия русских в виде сплошной цепи обманов, вероломства, нарушений договоров и т. п.», что якобы и понуждало шведов к ответным действиям. Во-вторых, он продолжил сказ хорошо знакомой ему «Истории о великом княжестве Московском» Петрея о «золотом веке» шведско-новгородских связей в древности и противопоставил им насилие Москвы по отношению к Новгороду: «Из древней истории видно, что за несколько сот лет до подчинения Новгорода господству Москвы его население с радостью приняло из Швеции князя Рюрика». И вместе с тем назвав имя того русского, кто 28 августа 1613 г. преподнёс этого предводителя варягов в качестве шведа. Им оказался глава новгородского посольства, архимандрит новгородского Спасо-Хутынского монастыря Киприан⁹².

После Петрея и, особенно, Видекинда у шведских авторов XVII в. этнос варягов не вызывал никакого сомнения, хотя они знали сочинения западноевропейцев (С. Герберштейна, П. Одерборна, А. Гваньини, например) и нашу «августинскую» легенду, согласно друг с другом и независимо друг от друга проводившие широко распространённую в Западной и Восточной Европе древнюю версию о выходе варягов из пределов славянской Южной Балтики. Взгляд Петрея на варягов как на шведов получил дальнейшее развитие в диссертации Р. Штрауха «Московская история», защищённой в 1639 г. в Дерптском университете. В 1675 г. в Лундском университете шведская природа варягов в несколько иной редакции доказывалась в диссертации Э. Рунштейна «О происхождении свео-готских народов» (в ней автор утверждал, что при переселении «свео-готов» из Скандинавии в Скифию вместе с ними «из Росландии или Рослагена, части Упландии, вышли и роксоланы», в его понимании рутены или русские, и подчёркивал, что «“после ремиграции свео-готов из Швеции в Скифию” этнонимы многих из них сохранили следы пребывания в Скандинавии: аланы получили название от провинции Олондингар (Ålândingar et Olândingar), а роксоланы — имя выходцев из Росландии (Roslandia) или Рослагена (Roslagia)»⁹³. О Швеции как родине варягов говорили в 1672, 1689 и 1698 гг. О. Берелий и О. Рудбек (при этом последний, по его словам, уже «ясно» производит «из Швеции поколения великих князей»)⁹⁴.

В 1731 г. профессор права и этики Лундского университета А. Моллер защитил диссертацию «De Varegia» («О Варегии»), «в задачу которой входило, — указывает Л.П. Грот, — опровергнуть аргументацию, доказывавшую происхождение

варягов из Вагрии... и доказать шведское происхождение варягов» (о южнобалтийской, славянской Вагрии, как родине варягов, сказали независимо друг от друга в 1544 и 1549 гг. немцы С. Мюнстер и С. Герберштейн, и эту идею до середины XVIII в. воспроизводили в своих трудах практически все немецкие историки). Именно у него, поясняет исследовательница, «впервые встречается мнение, что раз выходцы со Скандинавского полуострова под именем норманнов совершали грабительские походы на Западе, то, конечно же, они должны были их совершать и на Востоке Европы» (а «этот же самый довод, — заостряет внимание Грот, — не устают повторять и современные норманисты!»). Моллер «тут же начинает сочинять “историю” этих нападений»: на восточное побережье Балтийского моря «нападали, конечно же, шведы, которые... быстро установили власть над местным населением прибрежной части Гардарики»⁹⁵.

В 1734 г. профессор права и истории Абоского университета А. Скарин представил «Историческую диссертацию о начале древнего народа варягов», в его понимании, шведов. Нисколько не сомневаясь, что имена Рюрика, Синеуса и Трувора суть шведские Rörekr, Siggeir, Tuares (а также приведя варианты имён, данные Петреем), он уверял, под влиянием всё более нарастающих разговоров о Рослагене, что братья-варяги прибыли именно из Упланда (данный тезис станет одной из «истин» норманской версии). Причём Скарин, положив в основу своих рассуждений выводы О. Рудбека, на которого много ссылается, и слова Киприана в передаче Ю. Видекинда издания 1672 г., демонстрирует хорошее знание русских летописей (А. Л. Шлёцер отмечает, что «ещё один *Нестор*, а с ним и *Степенная книга* убежали за границу в Финляндию! Шведский асессор *Линдгейм* вывез их с собою из плена в город Або» и перевёл из них кое-что для диспута, затеянного «диссертацией» Скарина) и русской истории: «Тогда архимандрит Киприан, посланный епископом и другими новгородцами, другой Гостомысл» сказал, что «был получен князь из шведов Рюрик»⁹⁶ (Г. М. Коваленко в 2007 г. утверждал, что в исследованиях этого шведа «прослеживается влияние основоположника норманской теории Г. З. Байера»⁹⁷, хотя статья последнего «О варягах» вышла годом позже, в 1735 г.).

Шведские авторы XVII — первой трети XVIII в., получив информацию о принадлежности Рюрика к их народности, которая быстро превратилась у них в навязчивую идею, начинают активно формировать источниковую базу норманизма. В 1878 г. А. А. Куник, приведя мнение Киприана о «шведском происхождении» Рюрика, отметил: «Это семечко упало не на бесплодный камень, и шведам, воспользовавшимся намёком новгородцев, принадлежит честь заложения первых камней в здании норманистики. Первая, хотя и слабая попытка труда с подобным направлением была напечатана в 1615 г. В течение того же XVII ст. убеждение в призвании первых русских князей утвердилось в Швеции, причём шведы обратили внимание на Væring-j-ar исландцев и на собирательное Rôtsi финнов; шведские пленные оценили даже значение Несторовой летописи по отношению к варяжскому вопросу прежде, чем Байер по переводу фрагментов привёл её в связь с иностранными свидетельствами». И если, заключал учёный, не существует никакой антинорманистской школы, то «норманисты, напротив, образуют старую школу, возникшую в 17 столетии» и насчи-

тывающую уже 250 лет, и что «в период времени, начиная со второй половины 17 столетия до 1734 г. (т.е. до выхода в 1735 г. статьи Г.З. Байера «О варягах». — В.Ф.), шведы постепенно открыли и определили все главные источники, служившие до XIX в. (т.е. до выхода в 1802–1809 гг. «Нестора» А.Л. Шлёцера. — В.Ф.) основой учения о норманском происхождении варягов-руси»⁹⁸.

Но это далеко не полный перечень вклада шведов добайеровского времени в разработку норманизма. Заложив его основы и постоянно пополняя его источниковый фонд, они вместе с тем определяли новые темы в варяжском вопросе и выдвигали доказательства, столетиями в науке ошибочно приписываемые Г.З. Байеру, Ю. Тунману и А.Л. Шлёцеру, творившим век и более спустя (и приписываемые им, несмотря на давно введённые в науку противоречащие тому факты, до сих пор⁹⁹ — по привычке, по незнанию и преднамеренно, потому как сразу же видна искусственная природа норманской версии и полнейшая несостоятельность её выводов. Так, в 2010 г. Г.М. Коваленко сказал, что в середине и второй половине XIX в. «классики норманизма датчанин В. Томсен и русский учёный А.А. Куник сформулировали основные положения и систему аргументации норманской теории»¹⁰⁰, хотя всё это было сделано задолго до них). Именно шведы в период до 1735 г. отождествили летописных варягов с византийскими «варангами» и «верингами» исландских саг, слово «варяг» выводили из древнескандинавского языка, шведскими также полагали имена русских князей. Указали они и на якобы существующую лингвистическую связь между именем «Русь» и Рослаген¹⁰¹, небольшой частью береговой полосы области Упланд, что напротив Финского залива, жители которой во время войны должны были поставлять корабли для морского ополчения.

Например, литератор и крупный сановник Ю. Буре (1568–1652) в словаре древнешведского языка выводил финское слово ruotsolainen — «швед» (производное от Ruotsi — «Швеция») — от древних названий Рослагена Rohden и Rodh-zlagen и считал, что название это произошло от ro — «грести» и rodher — «гребец»¹⁰². Упсальский профессор И.Л. Локций (1598–1677) «переименовал» гребцов и корабельщиков Рослагена в роксолан¹⁰³, по мысли шведов, в русских. А.А. Куник объяснял в 1862 и 1875 гг., что «имя Roþr (с придыхательным t), Roðen (с придых. d, вместо чего ныне употребляется Roslagen = общество гребцов) впервые принято за имя роксоланов (т.е. русских) самими шведами XVII столетия по недостаточному знанию ими своего древнего языка, и это ввело в заблуждение других» (в том числе самого Куника), и что в тот же век «следующее место в Упландском законнике: “Rôdh-s-ins útskyldir” шведы перевели неправильно: tributa Rôxolanorum (русских) вместо Rôslagiae, и этим долго вводили других в обман»¹⁰⁴.

(Отождествление роксолан, о которых свидетельствуют, например, Страбон, Плиний, Тацит, Птолемей, и русских уже имело к указанному Куником времени свою историю: впервые роксолановская версия была выдвинута, вероятно, в середине XV в. Э.С. Пикколомини; в 1517 г. польский историк М. Меховский указал, что «Руссия, некогда называвшаяся Роксоланией», через четыре года его соотечественник И. О. Дециус именовал Русь «или Рутенией, или Роксоланией», в 1525 г. новокомский епископ П. Йовий и венский учёный И. Фабр

утверждали, что московиты «некогда... именовались роксоланами» и что Русь «издревле населяли роксоланы... откуда... пожалуй возникло и название Руси». В 1549 г. С. Герберштейн подчёркивал, приводя разные мнения о происхождении имени Россия: «Однако большинство считает, что “Руссия” — это изменённое имя “Роксолания” (Roxolania)». Как отмечал польский хронист XVI в. М. Бельский, «иные чают, что роксоляне, а московские люди тому не верят». Ныне А. Пауль констатирует: представление о том, что роксоланы есть древнее название русских, когда те ещё были язычниками, «было вполне понятно в учёном мире Германии ещё в XVIII веке»¹⁰⁵).

Побывавший в русском плену Х. Бреннер¹⁰⁶ в 1723 г. выступил с идеей, говорит Л. П. Грот, что «имя русь произошло от названия финнами шведов как “rotzalainen” или “rossalainen”, а последнее, в свою очередь, произошло от Рослагена». В 1730 г. в Стокгольме на немецком языке вышли «Записки» также испытавшего тяготы русского плена Ф. И. Страленберга, в которых повторялась идея Бреннера, что «фины Шведское государство Родслаген называли», «ибо шведское слово Родаре в немецком языке гребца значит» и что «фины весь шведской народ от ближней ко оной провинции Родслаген и Руодсалаине... называли» (однако он тут же подчёркивал, что слово «Русь» «в российском языке знаменует русыя или желтоватая волосы» и что славяне стали прозываться русскими «отчасти от имени Рурика, первого новгородского государя, отчасти же предписуется реке Русе, которая течёт при городе, Старая Руса называемом, и впадает в Ильменское озеро»).

Грот отмечает, что А. Моллер в 1731 г. собрал воедино и соображения Рунштейна «о роксоланах из Рослагена, и рассуждения Буре о финском *rodzelainen*, происшедшем от Рослаген, в свою очередь образованном от шведского глагола *ro*, выстроил их в уже привычном нам порядке: *Roxolani* или *Russi* произошли от *Ruotsi* — финского названия Швеции»¹⁰⁷ (мысль о трансформации «Рослагена» в «Руотси», а затем в «Русь» донесут до широкого читателя швед Ю. Тунман и немец А. Л. Шлёцер, соответственно, в 1774 г. и в 1802 г., в связи с чем в науке сложится традиция именно с ними связывать это одно из главных положений норманизма¹⁰⁸. И лишь только с 1844 г. А. А. Куник начнёт утверждать, что к слову *rodsen* — «гребцы», — на которое указал двумя столетиями раньше Буре и которым называли жителей прибрежной части Рослагена, посредством финского *ruotsi* восходит название «Русь»¹⁰⁹).

В свете изложенного понятно, почему Куник, хотя ему были известны не все приведённые факты, не только отрицал за Байером лавры «отца-основателя» норманской теории, но и оценил его конкретный вклад в её копилку намного скромнее, чем это обыкновенно делается. Байер, заключал он, лишь ввёл в научный оборот Бертинские анналы, неизвестные шведским сочинителям XVII — первой трети XVIII века. В целом же характеризуя, начиная с «первого норманиста» П. Петрея, шведскую литературу, посвящённую русским варягам, Куник отметил её сильное влияние на Байера и определил время с 1614 по 1734 г. как период «первоначального образования норманской системы»¹¹⁰ (в 2014 г. Л. С. Клейн убеждал, демонстрируя, а это «качество» присуще всем норманистам и особенно археологам, весьма слабое понимание историографии, что

«отысканный недавно швед XVII в. Петрей никакого влияния на российскую науку не имел»¹¹¹).

В 1988 г. известный археолог Д.А. Авдусин, коснувшись темы о предшественниках Байера, дал ей, к сожалению, неправильную трактовку, опять же уводящую разговор по этому принципиально важному вопросу в сторону. Верно указав, что Байера и Миллера «не совсем справедливо (аналогичные взгляды высказывались и до них) считают основоположниками норманизма», исследователь в подтверждение своих слов сказал: «Ещё в 1613 г. в записке, подготовленной к переговорам между шведским и новгородским посольствами и опубликованной в 1671 г. под названием “Шведы в России”, Ю. Видекинд так обосновывал “законность” территориальных притязаний к России: “Новгородцы знают из своей истории, что у них некогда был великий князь из Швеции по имени Рюрик, и было это за несколько столетий до того, как Новгород был подчинён Москве”» (на основе этой посылки в 1999 г. было высказано мнение, что, «видимо, 1613 г. является датой рождения норманизма», возникшего, почитала Н.И. Васильева, в «недрах шведского МИДа той эпохи»)¹¹². Но Видекинд не мог в 1613 г. подготовить никакой записки по причине своего рождения то ли в 1618, то ли в 1620 г. (умер он в 1678 г.)¹¹³, да и сама «История десятилетней шведской войны в России начала XVII в.» есть не записка, а весьма объёмистая книга в несколько сот страниц, изданная в 1671 году.

Куник затрагивал вопрос о предшественниках Байера по нескольким причинам, которым он, как норманист, придавал исключительно важное значение. Во-первых, с целью доказать оппонентам, обвинявшим Байера в «немецком патриотизме» и антирусских настроениях, что норманская теория не является его выдумкой (равно как и выдумкой шведов). Во-вторых, а это есть главное, заставлявшее Куника постоянно обращаться к данной теме, слова Киприана он выдавал за наглядное свидетельство «живучести в России XVI–XVII в. традиции видеть в варягах именно шведов» и «общеизвестности» «предания о шведском происхождении варяго-россов в XVII веке», утверждал, что «в 16-м и 17-м столетиях голоса живых русских проникли в Швецию, и навели учёных её на мнимую “выдумку”». Потому как непоколебимо был уверен, в силу своих норманистских пристрастий, что глава новгородского посольства ссылался «на предание, — почерпнутое, конечно, из одних только русских летописей, — о происхождении Рюрика из Швеции» (новгородцы, дополнительно говорил Куник, чтобы побудить шведов принять их предложение о призвании на престол одного из шведских королевичей, ссылались «совсем нешуточно на летописи, по которым будто бы Рюрик, при потомках которого процветал Новгород до самого ига московского, был когда-то тоже призван из Швеции»)¹¹⁴.

А такой довод был весьма впечатляющим, особенно воздействовавшим на русскую аудиторию, хотя и не новым. В подобном ключе расценивалось мнение Киприана о шведских корнях родоначальника русской династии в отечественной и зарубежной историографии как до Куника, так и после него¹¹⁵. А.Л. Шлёцер в своих рассуждениях пошёл ещё дальше, явно жертвуя при том нормами исторической критики. Отметив, «но всего удивительнее то, что в XVII стол. даже сами русские считали за решённое дело, что призванные варяги были шведы»,

он в качестве примера привёл показания шведов Ю. Видекинда и А. Скарина, в свою очередь озвучивших слова Киприана о Рюрике. И на основании лишь этих данных, не имеющих оригинального характера, заключил, что и в Швеции давно уже верили в норманство варягов, в подтверждение тому назвав затем ещё труды О. Верелия и О. Рудбека, также задолго до Г. З. Байера доказывающих шведскую природу варягов.

По мнению финского исследователя А. Латвакангаса, речь Киприана говорит в пользу того, что новгородцы начала XVII в., проявляя интерес к своей ранней «политической истории», не сомневались в шведском происхождении Рюриковичей, в связи с чем попросили у шведского короля на престол одного из сыновей. Для усиления эффекта сказанному Латвакангас ссылается, как это в 1844, 1876–1877 и 1925 гг. делали А. А. Куник, В. Томсен и Ф. А. Браун на «Сказание об осаде Тихвинского монастыря в 1613 г.» шведами, в котором они именуются «варягами» (тогда же Куник и с той же целью показать, что русские всегда понимали под варягами исключительно шведов, привёл пояснение поздней Софийской первой летописи, называющей в рассказе о Невской битве 1240 г. войско, разбитое Александром Ярославичем, «силой варяжской»)¹¹⁶.

В-третьих, Куника вынудила обратиться к фигуре Киприана позиция ряда учёных, либо пытавшихся нейтрализовать выводы, которые делались на основании его слов о Рюрике (так, М. А. Максимович убеждал в 1837 г., что из них «совсем не следует Шлёцеровского заключения о мнении русских XVII в. относительно руси» и «что на Руси в прежние века не считали руссов ни скандинавами вообще, ни шведами, в частности»¹¹⁷). Либо поставивших под сомнение, по причине прекрасного знания и глубокого понимания русских источников, достоверность сказанного архимандритом в передаче Видекинда (на первенство Петрея в этом вопросе указал Куник, хотя его труд был хорошо известен предшествовавшим исследователям. Начиная со Шлёцера, соответствующая ссылка давалась по Видекинду, а имя Петрея упоминалось лишь в ряду тех, кто в XVII в. касался «августинской» легенды¹¹⁸).

Первым заключение Шлёцера, что «в начале XVII века сами русские были уверены, что Нестор именовал варягами-русью шведов», оспорил в 1808 г. его ученик Г. Эверс: «Если даже не подозревать этого архимандрита в том, что он выразил данное мнение, исходя скорее из политических соображений, а не из благоразумной оценки, я всё же не вижу ни одной причины предполагать, что оно было в то время повсеместно распространено». Вскоре и норманист Н. М. Карамзин усомнился в правоте заключения Шлёцера: «Но справедливо ли сие обстоятельство? Видекинд мог выдумать его». «Предположение Карамзина, — отмечал в 1845 г. антинорманист Н. В. Савельев-Ростиславич, — имеет на своей стороне всю вероподобность... *Говорил ли* что Киприан, и что именно говорил — никому не известно, потому что речь его до нас не дошла». Позже и С. А. Гедеонов вёл речь о «мнимых словах архимандрита», «изобретённых» Видекиндром. В 1894 г. М. М. Тебеньков предположил, что слова последнего «есть плод его шведской, патриотической фантазии».

Но параллельно с тем Савельев-Ростиславич и Гедеонов всё же допускали, как и Эверс, что Киприан мог нечто подобное сказать о Рюрике. Так, полагал

первый, Новгород, «угрожаемый Делагардием, конечно, должен был, по крайней мере, показывать вид, что благоприятствует избранию шведского принца». По словам второго, Киприан, как «человек начитанный и учёный», «действовавший с определённой политической целью, мог бы, конечно, вымучить из древних летописей... шведское происхождение Рюрика. Если бы Видекиндово известие не было изобретением, то Киприану, а не Байеру принадлежала бы честь быть основателем норманской школы». Но в то же время они решительно утверждали, что такое мнение не может быть подтверждено ни одним русским «памятником древности» и что «здесь не может быть речи о предании». Как резонно заметил при этом Гедеонов, «чистый немец по духу, если не по рождению, Герберштейн не умолчал бы о таком предании; говорит же он о мниморимском происхождении Рюрика»¹¹⁹.

Карамзин, Савельев-Ростиславич и Гедеонов, принимая слова Киприана за «изобретение» Видекинда, ошибались. Ни Видекинд, ни Петрей ничего не выдумали, и сказанное Киприаном зафиксировано документально. В Государственном архиве Швеции хранится официальный отчёт о переговорах шведов и новгородцев, состоявшихся в Выборге 28 августа 1613 года. Согласно ему, архимандрит сказал следующее: новгородские послы прибыли, чтобы признать герцога Карла-Филиппа, брата короля, «их царём и великим князем с просьбой, да согласиться следовать с ними в Новгород. ... Новгородцы по летописям могут доказать, что был у них великий князь из Швеции по имени Рюрик, несколько сот лет до того, как Новгород был подчинён Москве, и по их мнению, было весьма важно иметь у себя своего великого князя, а не московского»¹²⁰ (А. Латвакангас, подчёркивая, что Видекинд непосредственно работал с этим документом, отметил наличие в литературе сомнения в том, что Петрей был с ним знаком. Предполагается, что он знал об обсуждаемых на переговорах вопросах лишь со слов участвовавших в них новгородцев и шведов¹²¹).

Однако официальный отчёт представляет собой лишь одну из версий речи Киприана. Другая содержится в хранящихся в том же архиве «Путевых записках от июня 1613 г. вплоть до февраля 1614 года» лично присутствовавшего на выборгских переговорах Даниэля Юрта де Гульфреда, секретаря Карла-Филиппа. У него слова Киприана в части о Рюрике звучат совершенно по-иному и без всякой связи со Швецией: «На что архимандрит отвечал: что они прежде уже отвечали и желали бы снова повторить и при этом заверить, что, как то явствует из старинных летописей, имели новгородские господа испокон у себя своего великого князя. И что с самого начала никаких дел с московскими господами не имели. И ещё оповестил о том, что последний (так в тексте. — В.Ф.) из их великих князей был из Римской империи по имени Родорикус»¹²².

Причины, приведшие новгородских послов в Выборг, были следующие. В ночь на 16 июля 1611 г. шведы, благодаря предательству холопа Ивашки Шваля, тайком проведшего их в Новгород¹²³, овладели им (Е.И. Кобзарева подчёркивала, что «шведские военные историки рассматривают взятие Новгорода как блестящий подвиг, образец тактического искусства»). Через несколько дней, 25 июля, захватчики силой навязали его жителям договор¹²⁴, который, по точной оценке С.М. Соловьёва и С.Ф. Платонова, «был написан победителем»¹²⁵. И этот по-

бедитель внёс в него пункт о подтверждении Тявзинского мира 1595 г. и Выборгского договора 1609 года. Под его же диктовку новгородцы обязывались жить в мире со Швецией, не принимать польского монарха (27 августа 1610 г. Москва принесла присягу польскому королевичу Владиславу как царю, но при условии, что он обязательно перейдёт в православие, затем ему присягнули Новгород и другие русские земли), а «покровителем и против врагов защитником» признавали шведского короля Карла IX, «его наследников мужеского пола и преемников и королевство шведское».

«Сверх того, — читается далее в документе его главное условие, — мы, новгородцы, избираем и просим которого-нибудь из сыновей державнейшего короля... или принца Густава Адольфа, или принца Карла Филиппа, и с его наследниками мужеского пола, в цари и великие князья владимирские и московские, и утверждаем присягою сие избрание, в силу коего и государство Московское и княжество Владимирское признать имеют державнейшего короля своим покровителем, а его королевского величества сына своим царём и великим князем, исключая всех других» (т. е. стать ему в будущем, возможно, и русским царём. Причём в договоре, отмечали Соловьёв и Платонов, обосновывая мысль о том, что договор был продиктован шведами, «даже не было требования, чтобы новгородский государь был православным»). Захватчики, весьма торопившие события, принудили новгородцев обещать «отправить в скорейшем времени к державнейшему королю полномочных послов для постановлений с ним и сыном его о важнейших делах обоих государств»¹²⁶.

«Увлекательное приключение» шведов, а именно так охарактеризовал шведский историк К. Гримберг¹²⁷ масштабную агрессию против нашей страны своих соотечественников, 24 июня 1610 г. под Клушино предавших союзнический долг (и тем самым перечеркнувших Выборгский договор 23 февраля 1609 г.: Я. П. Делагарди под Клушино «дал слово Жолкевскому разорвать союз с царём Василием и отступил к Новгороду»¹²⁸, а вместе с ним и все обязательства русской стороны, в связи с чем Василий Шуйский незамедлительно аннулировал этот договор¹²⁹), привело к попытке отделения Новгорода от России в виде вассального по отношению к Швеции «Новгородского королевства» (но Л. Е. Морозова считает, что после захвата шведами Новгорода новгородский митрополит Исидор «стал вынашивать план создания отдельного Новгородского государства во главе со шведским принцем Карлом-Филиппом»¹³⁰).

Это «Новгородское королевство», навсегда соединяемое со шведской династией («если бы даже, — поясняет С. Ф. Платонов, — Московское государство и выбрало себе другого царя не из шведского дома»), должно было существовать почти в тех же границах, в которых находилась Новгородская республика до подчинения Москве, за исключением города Корелы (Кексгольм, современный г. Приозерск), захваченного шведами в марте 1611 г. (согласно секретному протоколу от 28 февраля 1609 г. к Выборгскому договору, Корела с уездом, т. е. Приладожье, передавалась шведам, тогдашним нашим союзникам, «в вечное владение» за обещанную ими военную помощь). В зависимой от Швеции «королевичевой державе» вначале предусматривалось сохранение новгородских обычаев и законов¹³¹. Но по июньской инструкции 1613 г. Густава II Адольфа

комиссарам эти права серьёзно урезались, причём «не исключалась возможность колонизации Новгородской земли: выходцы из шведских земель получали те же права, что и новгородцы»¹³².

В 1610–1612 гг. шведы захватили, в поисках, если следовать стилю Гримберга, новых «увлекательных приключений» и в счёт «долга» России, якобы вытекавшего из условий ими же похороненного Выборгского договора, Корелу, Старую Ладугу, Тихвин, Старую Руссу, Орешек, Копорье, Ям, Гдов, Порхов, Ивангород, пытались овладеть Колой, Сумским острогом и Соловецким монастырём, создали угрозу Вологде и Белоозеру (на такие «приключения» их дополнительно толкало решение собственного правительства, согласно которому «находящиеся на военной службе дворяне служат без жалования и существуют за счёт военной добычи», в связи с чем «стало правилом отдавать города на разграбление»)¹³³. В целом, всё происходило на Северо-Западе России так, как позже ёмко сказала Новгородская третья летопись краткой редакции, «от Московского государства отлучишася неволею великою и пленом»¹³⁴. По словам Видекина, в которых и спустя 50 с лишним лет сквозит нескрываемое сожаление по упущенной возможности присоединения к Швеции русских земель, «в этом предприятии всё как бы выходило по желанию шведов: казалось, что скоро либо вся Московия покорится шведскому принцу, либо по крайней мере её окраинные области станут добавлением к Шведскому королевству»¹³⁵.

В 2008 г. А.А. Селин, отказываясь видеть в действиях шведов, оккупировавших северо-западные земли России, агрессию, вёл речь о «новгородско-шведском политическом альянсе в 1611–1617 гг.» (или установлении в Новгороде администрации Я.П. Делагарди-И.Н. Одоевского), который, представляя собой «феномен развития отечественной государственности», следует рассматривать как проблему «взаимоотношения двух соседских культур, имевших к 1611 г. значительный опыт взаимодействия». В свете чего считает, что «современные публицисты часто продолжают эксплуатировать миф о шведах-завоевателях, стремившихся в начале XVII в. поработить Россию», и что всерьёз принимать тезис В. Ульяновского, высказанный в 2006 г., «о “немецком плене” новгородцев и “годах шведской оккупации/интервенции” не приходится». В 2010 г. Г.М. Коваленко убеждал, что «Новгород в Смуту в известном смысле был островком относительной стабильности», причём «конфликты на религиозной почве не зафиксированы вообще»¹³⁶.

Полнейшая надуманность утверждений Селина и Коваленко видна по многим документам, в том числе и тем, которые они сами приводят (так, например, последний констатирует, что шведами было разорено около 170 монастырей и церквей). Видна и потому, наконец, что когда Новгород в 1617 г. шведами был возвращён России, то его опись показала, что этот «островок относительной стабильности» был полностью ими разорён (и Ладога была «тотально разорена, в ней оставалось всего 27 дворов. В руинах оказались монастыри и церкви. Город пришлось заново заселять»), а всё его население составляло не более 5 000 человек, т.е. по сравнению с началом XVII в. сократилось почти в 6 раз. Ещё весной 1614 г. Густав II Адольф наказывал Я.П. Делагарди, «чтобы тот на случай крайней нужды покинул Новгород, предварительно сделав город и кре-

пость бесполезными для русских, то есть, сжёгши их, сравнив с землёю», а в июне «в ответе к московским боярам король укоряет их в неблагодарности и грозит поступить с Новгородом так, как поляки поступили с Москвою»¹³⁷ (и по сути сдержал своё королевское слово).

Идея приглашения на русский престол шведского королевича зародилась среди самих русских ещё до захвата шведами Новгорода (по некоторым данным, этот вопрос обсуждался боярами после свержения Василия Шуйского) и по их подсказке. В целом она была, подытоживал Г.А. Замятин, делом Я. П. Делагарди, В. И. Бутурлина и П. П. Ляпунова (сегодня историки отмечают особенную заинтересованность в осуществлении такого плана первого из них). В августе 1610 г. командующий шведским войском на территории России Делагарди в письме к новгородцам и москвичам, пытаясь противодействовать планам Польши, с которой Швеция с 1600 г. находилась в состоянии войны (боевые действия между ними в Ливонии велись с большими перерывами по 1629 г.), предостерегал их от избрания царём сына польского короля и советовал им сделать выбор в пользу одного из шведских принцев.

Он же в ходе переговоров с новгородцами в марте-апреле 1611 г. передал предложение Карла IX избрать на русский престол своего сына. Приехавший в мае в Новгород от Ляпунова представитель ополчения Бутурлин, сторонник союза со Швецией против Польши, предложил Делагарди «съезд, на котором объявил, что вся земля просит короля дать на Московское государство одного из сыновей». Эта встреча произошла 4 июня. 8 июня состоялись переговоры между ним и воеводой Новгорода князем И. Н. Одоевским и В. И. Бутурлиным, которых московские бояре уполномочили просить шведов идти к Москве. Тогда Делагарди вновь предложил избрать в цари королевича, но договорённость в том не была достигнута. Затем новгородское посольство было отправлено в Москву. 23 июня 1611 г. совет Первого ополчения, стоявшего под столицей, составил, с целью получения помощи шведов против поляков (к тому времени к первопрестольной подошёл Я. Сапега и объявил войну ополчению), «приговор», что «все чины Московского государства признали старшего сына короля Карла IX... достойным избрания великим князем и государем московитских земель».

2 июля из-под Москвы приехал в Новгород И. Бакланов с письмом и списком с «приговора» об избрании на Российское государство шведского принца Густава Адольфа, и с повелением Бутурлину съезжаться с Делагарди и поставить его в известность об этом решении (а в Швецию был отправлен С. Е. Отрепьев, «чтобы сообщить о готовности русских избрать шведского королевича на московский престол»). Бутурлин встречался со шведами, но опять же ничего не было решено¹³⁸ (воевода понял, пояснял В. В. Похлёбкин, что согласие на призвание шведского королевича приведёт к отделению «от России в пользу Швеции Карелии и Ижорской земли — именно так и только так ставили вопросы шведы». Потому он и разорвал переговоры и ушёл с верными ему войсками в Ярославль. Е. И. Кобзарева, напротив, считала, что Бутурлин тайно заключил со шведами договор об уступке города. Явно ошибалась исследовательница и в оценке соглашения шведов с Новгородом, утверждая, что «после вступле-

ния шведов в город представители новгородской феодальной верхушки заключили с ними договор», пытаясь «скорректировать в своих интересах не вполне устраивающую их политику московского правительства»¹³⁹).

29 октября 1611 г. умер Карл IX, и трон перешёл к его старшему сыну — Густаву II Адольфу. В ноябре 1611 г. новгородский посол И. Якушкин привёз в Швецию «от новгородцев грамоту с предложением избрать на русский престол одного из сыновей Карла IX» (о его смерти в Новгороде не знали). В январе 1612 г. ответ нового короля доставил в Новгород П. Петрей. 23 января новгородцы отправили в Швецию посольство во главе с архимандритом Юрьевского монастыря Никандром просить о приезде на царство Карла-Филиппа. На сейме в Нючепинге монарх объявил послам, «что сам он только новгородским царём быть не желает, а хочет быть общерусским царём, а в случае невозможности этого предпочитает отторжение от России части её территории и присоединение её постоянно к Шведскому королевству». Но вместе с тем король сказал, что младший брат его будет отпущен для занятия новгородского и, возможно, московского престола только в случае прибытия за ним представительного новгородского посольства, которое должно официально сделать соответствующее предложение от имени всех жителей Московского государства. В конечном итоге была достигнута договорённость о приезде в ближайшее время юного герцога, которому на тот момент не было и одиннадцати лет, в Выборг, где новгородцы в лице своих послов должны будут принести ему присягу. В июне Петрей привёз в Стокгольм официальную просьбу новгородцев отпустить принца Карла-Филиппа на русский престол¹⁴⁰.

В начале 1613 г. посольство Никандра, пребывавшее в Швеции, было извещено королём, что Карл-Филипп в начале февраля прибудет в Выборг. На прощальной аудиенции послы ещё раз просили герцога быть их царём. Но его отъезд задерживался. Существует мнение, что отбытию принца в Россию препятствовал его брат, король Густав II, с самого начала пытавшийся навязать новгородскому посольству в качестве царя свою кандидатуру, но натолкнулся на противодействие, т. к. новгородцы не хотели стать подданными Швеции. Не отпускала сына в Россию и вдовствующая королева-мать¹⁴¹. Думается, тому была ещё одна причина, которая заключалась в том, что шведская сторона не очень-то надеялась на успех той роли, которую она отводила Карлу-Филиппу.

В письмах к Делагарди Густав II то выговаривает ему, что напрасно он так решительно уверял новгородцев о полном согласии королевича быть их царём, то рекомендует «туже натягивать поводья и держать русских в своих руках». Первое, что должен сделать командующий в данной ситуации, внушал ему король, это добиться от русских выгодных условий. Лишь заручившись таковыми, можно с уверенностью будет «говорить с ними об избрании Карла Филиппа в московские цари». Если же этого не произойдёт, то необходимо будет «начать с русскими переговоры о мире, то есть требовать полного удовлетворения за убытки, понесённые Швецией в московской войне». Если же они не согласятся с таким предложением, то необходимо, ставил точку шведский монарх, «немедля объявить им войну. Шведам всего важнее захватить Псков, важный и по своей торговле, и как форпост шведских владений — Лифляндии

и Финляндии» (в 1613 г. шведы пытались взять Тихвин, Гдов, в ходе восстаний в мае-июне изгнавшие захватчиков, в 1614 г. захватили Старую Руссу, Бронницы, Порхов и Гдов, в 1615–1616 гг. неудачно пытались овладеть Псковом)¹⁴². Только 18 июня 1613 г. из Стокгольма, где ещё не знали об избрании на Российское царство Михаила Романова (эту информацию специально задерживал Я.П. Делагарди, и она была доведена до короля лишь в начале июля Э. Горном, прибывшим из Новгорода в Стокгольм), в Выборг отбыл, в сопровождении королевских полномочных послов и посольства Никандра, Карл-Филипп¹⁴³.

(Королевская инструкция комиссарам предписывала, «если не удастся договориться о вхождении Новгорода в состав Швеции, разграбить Новгород и Новгородскую область, изгнать из Новгорода всех жителей, если удастся, разорить Псков». Лишь после того как Делагарди внушил им, что новгородцы настаивают на избрании королевича царём, послы отказались от попыток добиться присоединения Новгорода к Швеции. Согласно той же инструкции, между Швецией и Россией необходимо заключить вечный мир, торговля на Балтике «должна быть исключительною монополией шведов... Права торговать с русскими должны быть лишены немцы, датчане, поляки, голландцы, англичане, итальянцы и другие». Но если в Выборг явятся представители одного Новгорода, «то предложить им отдаться Швеции и управляться одним королём с Швецией, на таких, например, условиях, как Литва соединена с Польшей»)¹⁴⁴.

Тогда же король известил новгородцев об отъезде брата в Выборг и потребовал прибытия туда официальных лиц — «из Новгородского государства и от всего Русийского царства присланы» — для предложения ему русского престола и заключения в связи с этим договора со шведскими уполномоченными. 9 июля Карл-Филипп достиг Выборга. 6 августа новгородцы получили сообщение, что герцог ожидает полномочных послов не только от Новгородского государства, «но и Владимирского, Московского и всего Росийского царствия», и чтобы они «писмяны со слёзы велели молити и покорне бити челом, чтобы их королевское величество вас и всё Росийское государство нашего князского величества парсуною государем царём и великим князем всеа Руси пожаловали».

В Выборг было направлено посольство под началом архимандрита Спасо-Хутынского монастыря Киприана «бити челом ото всего Ноугородцкогo государства», чтобы герцог «на богодарованный свой престол на Ноугородцкогo государство государем царём и великим князем свой государьской подвиг учинити». Одновременно с тем из Новгорода отбыло, под давлением Я.П. Делагарди, посольство игумена Отенского монастыря Дионисия к боярам в Москву, чтобы те, как это было договорено с ними ранее, также направили своих представителей в Выборг, где был бы учинён (словно и не было ни избрания Земским собором Михаила Романова, ни его венчания 11 июля на царство) договор об избрании в цари Карла-Филиппа (посольство добралось только до Торжка, где было задержано представителями московской власти)¹⁴⁵. Шведская делегация в Выборге была очень недовольна тем, что, как выражает это настроение Петрей, новгородские послы прибыли «без полномочий, чтобы только поздравить с приездом его княжескую милость от Новгородской области, и чем скорее, тем лучше, сопровождать его в Новгород». Пока королевские послы рядили,

как быть (они же «не могут так поспешно продолжать столь важное дело по одним только требованиям и просьбам новгородцев»), 28 августа 1613 г. состоялась первая аудиенция новгородских послов у шведского принца, в ходе которой Киприан в своей речи упомянул Рюрика¹⁴⁶.

Встаёт закономерный вопрос: в каком контексте он был упомянут или какая версия его слов о Рюрике — официального отчёта о переговорах шведов и новгородцев, состоявшихся в Выборге 28 августа 1613 г., или частных записок Даниэля Юрта де Гульфреда — соответствует истине? И ясный ответ на этот вопрос даёт свидетельство Юрта, в котором, что сразу же говорит в пользу его достоверности перед отчётом, содержится лейтмотив «августинской» легенды о происхождении Рюрика «от рода римского царя Августа», со времени Ивана Грозного в обязательном порядке присутствовавший в речах наших послов применительно ко всем русским правителям прошлого и современности без какого-либо исключения (точно также обстояло дело и в официальных документах. Так, например, в записи от 19 мая 1606 г. вступившего на российский престол Василия Шуйского в качестве прародителя нового царя назван Рюрик, «иже бе от римскаго кесаря». В его окружной грамоте от 20 мая того же года говорится о восшествии на трон «по степени прародителей наших, его ж дарова Бог великому государю Рюрику, иже бе от римскаго кесаря»¹⁴⁷).

Следуя этому давно устоявшемуся дипломатическому этикету, а также для придания особого смысла своего обращения к шведам, высказавшим претензии по поводу статуса посольства, представляющего собой только Новгород, Киприан в начале выступления озвучил «римскую версию» происхождения Рюрика как первого правителя независимого Новгорода, отсюда способного к принятию самостоятельных решений, имеющих силу закона для всей Русской земли. Что и зафиксировал Юрт, лишь поняв слова, что Рюрик «от рода римска царя Августа», в буквальном смысле, за свидетельство его выхода «из Римской империи» (данную версию именно в таком ключе в Швеции и воспринимали: 3 октября 1612 г. Густав II Адольф в письме новгородцам, обещая им скорый приезд брата, подчёркивал, «что в России всё будет сохранено в прежнем виде, так, как было “от римских царей до Фёдора Иоанновича”»¹⁴⁸). О точности записи Юртом речи Киприана говорит также тот факт, что шведский переводчик Hans Flörich (а переговоры велись на немецком языке)¹⁴⁹, излагая речь посла, ошибся и назвал Рюрика не первым, а «последним» новгородским князем¹⁵⁰. Юрт внёс ошибку в свои записки, причём назвав Рюрика Родорикусом (Родерикусом) из-за определённого созвучия этих имён, что, впрочем, несколько не удивительно: не только в прошлом, но и сейчас имя Рюрик как у нас, так и за рубежом рассматривается в тесной связи с именем Родерик¹⁵¹.

Отсутствие у Юрта указания на шведское происхождение Рюрика более чем красноречиво. Как человек, связанный с большой политикой и потому придававший значение всему, что видел и слышал, секретарь герцога, несомненно, зафиксировал бы этот факт. В любом случае, в силу хотя бы своей необычности он бы получил отражение в его записках (как в них отразилась «римская версия» начала Рюрика). Вместе с тем факт принадлежности к шведской крови первого русского князя и основателя знаменитой династии в Европе, сидевшей

на русском престоле до 1598 г., при огромной политической значимости его для Швеции, до Столбовского мира 1617 г. пытавшейся всеми мерами отторгнуть от России Новгородские земли, был бы надлежащим способом (незамедлительно и с большим шумом, услышанным бы на континенте) использован шведами. Потому как «вся русская политика Карла IX в Смутное время, — констатирует Г.В. Форстен, — была направлена исключительно к территориальному расширению Швеции на восток», и что ту же политику в отношении России проводил его сын Густав II Адольф¹⁵².

С самого начала стремясь воспользоваться внутренними неурядицами России, «чтобы извлечь из них выгоду для Швеции», он «во всех своих письмах к губернаторам Финляндии повторял одно: непременно и безотлагательно доставлять ему все приходящие из России сведения, стараться через шпионов узнать истинный ход дел в ней». Ещё в октябре 1606 г. Карл IX поставил перед своими комиссарами, находившимся в войсках в Ливонии, театре военных действий с поляками, задачу привлечь на свою сторону нескольких русских бояр и привести под покровительство Швеции какие-нибудь русские города, «в особенности желательно было бы переманить к себе новгородцев». Вначале это планировалось достичь переговорами, но если они закончатся безрезультатно, то им предписывалось «по крайней мере увеличить внутреннюю смуту в России, пользуясь которою не трудно будет овладеть» Новгородом (в 1607 г. монарх, как о том свидетельствует Ю. Видекинд, предъявил свои «наследственные» права на русские города — Корелу, Орешек и Ивангород).

Желание увеличить в России смуты Карл IX неоднократно высказывал в последующие годы, всё больше и больше разжигая свой аппетит (но, уверяет А.А. Селин, «оригинально» толкующий политику шведов в отношении истерзанной Смутой России, в посланиях шведского короля 1609 г. «в Московское государство с призывом сохранять верность Шуйскому» «можно обнаружить, что идеология, содержащая в призыве сопротивляться Литве и Польше, гораздо ближе современным ура-патриотам. ... Это не просто послание союзника политического, но скорее — единомышленника»). 24 декабря 1606 г. он — «союзник» и «единомышленник» — писал тем же адресатам, что «надо пользоваться временем смут в России, ибо пока между русскими нет единства, нетрудно составить себе там партию приверженцев и через неё действовать в свою пользу».

2 сентября 1607 г. монарх предлагал одному из своих комиссаров «подкупом склонить на сторону Швеции русских наместников Кексгольма, Нотебурга и Ивангорода», 21 мая следующего года другому комиссару: «в виду слухов об усиливающихся неурядицах в России, хорошо было бы нечаянно напасть на Кексгольм и занять его», 8 ноября наказывает «графу Мансфельду завоевать Ивангород, и, заручившись этой крепостью, двинуться далее в глубь России». 10 января 1609 г. Карл IX вновь объяснял комиссарам, что «настал такой удобный случай воспользоваться смутами России для территориального обогащения шведской короны, что упускать его невозможно». 30 июня того же года Делагарди получил прямые указания относительно того, что желательно взять крепости на Северо-Западе России, и в первую очередь Новгород.

После свержения в июле 1610 г. В. Шуйского шведский монарх предписывал своим военачальникам употребить все силы на захват Новгорода. 30 августа он говорил фельдмаршалу Э. Горну, что «нам всего важнее собственная польза, а потому и следует позаботиться о вознаграждении за все понесённые нами убытки», в связи с чем «во что бы то ни стало удержать в нашей власти Новгород до тех пор, пока не выяснится положение дел в России». В марте 1611 г. Делагарди получил от короля, спешившего урвать от истерзанной смутами России кусок пожирнее, инструкцию напасть на Новгород. В письме к нему же 28 мая 1611 г. Карл IX, подчёркивая, что «все ваши практики должны быть направлены единственно к тому, чтобы прикрепить к шведской короне Ивангород, Нотебург, Ям, Копорье, Гдов», особенно настаивал на захвате Новгорода. Поэтому радость его была безграничной, когда город был взят: он повелел в Упсале и во всей Упландии 17 сентября «в церквах торжественно благодарить Бога за великое приобретение». Позже его преемник, Густав II, советовал тому же Делагарди, ставшему главой шведской военной администрации Новгорода, не рисковать и уже думать не о новых завоеваниях, как тот предлагал, а удержать во власти шведов всё то, что ими было захвачено¹⁵³.

С этой целью он, первоначально планируя сам принять царскую корону, стал жаловать некоторых своих подданных новгородскими землями¹⁵⁴ или конфисковывать их в пользу формального правителя принца Карла-Филиппа¹⁵⁵ (как проговаривается Видекинд об истинных намерениях шведской элиты, «его королевское величество мог бы, прикрываясь именем герцога, заявить претензии на часть России»¹⁵⁶). В инструкции уполномоченным короля, сопровождающим его брата в Выборг, указано требовать, если не так пойдут переговоры, «вечной уступки» всех русских городов (захваченных и ещё незахваченных шведами), лежащих к западу от линии, проведённой от Пскова к Архангельску¹⁵⁷. Когда уполномоченные в ходе переговоров в сентябре 1613 г. обратились к Густаву II за разъяснениями по поводу того, что новгородские послы просят Карла-Филиппа прибыть на русскую территорию, то он чётко обрисовал так нужную ему перспективу: «Если со стороны владимирцев и москвичей согласие не последует на избрание герцога, то необходимо захватить Новгородскую область за вознаграждение за понесённые Швецией убытки в войне»¹⁵⁸.

А. С. Кан справедливо заключал, что путём избрания на русский престол Карла-Филиппа шведское правительство рассчитывало «дополнительно поживиться за счёт ослабевшей России»¹⁵⁹. К тому же, как доказывал Делагарди в письмах королю, вдовствующей королеве-матери и сановникам, данное событие «было бы для Швеции единственной возможностью оказывать реальное влияние на Россию»¹⁶⁰. Однако при этом ни в шведских документах того времени, ни в переписке короля Густава II Адольфа с Я. П. Делагарди и Э. Горном, в частности, в которых весьма обстоятельно анализировалась ситуация в России, взвешивались шансы Карла-Филиппа на избрание на Российское царство и изыскивались любые, даже самые маловажные возможности для удержания захваченных территорий, и в чём неопределимую роль мог сыграть факт шведского происхождения родоначальника русской династии, да ещё некогда стоявшего во главе Новгорода, на который прежде всего претендовала Швеция,

личность Рюрика не фигурирует абсолютно¹⁶¹. А ведь хорошо известно, какое огромное значение во все времена придавалось апелляциям к древности, к традиции, что являлось питательной средой для создания многочисленных легенд и мифов, получавших, в силу возлагаемых на них задач, статус действительного факта, способного дать толчок к событиям реальным. Здесь же ничего не надо было выдумывать: сама история как бы приходила на помощь Швеции.

В данном случае следует напомнить слова Карла IX, обращённые 1 октября 1606 г. к комиссарам. Говоря, что было бы хорошо, «если бы какие-нибудь русские города отдались под покровительство Швеции», он отмечал желательность перехода на сторону Швеции именно Новгорода. Для чего «комиссарам указывалось войти в сношения с новгородцами и представить им, что прежде, ведь, они были вполне самовластны и свободны и только коварством московитов были привлечены на сторону великих князей московских», т. е. активно пытаться пробудить в них, обращением к прошлой вольности Новгорода, сепаратистские настроения. При этом подчёркивалось, что «шведский король готов теперь оказать им содействие в избрании собственного от Москвы независимого правителя и употребить все старания к тому, чтобы новгородцы снова стали свободными».

С ещё большей бы силой, несомненно, зазвучала эта программа шведов, к реализации которой они так энергично приступили через неполные пять лет, если бы в ней присутствовало имя Рюрика. Но его нет, а это значит, что в 1606 г. его никто не мнил шведом, хотя историю Новгорода в Швеции знали и знали очень хорошо. Нет ни слова о шведских корнях русской династии и в трёх воззваниях шведского короля ко всем чинам Московского государства (15 июня и 24 сентября 1608 г., 4 января 1609 г.), где он говорит о стремлении Польши и её ставленника Лжедмитрия II искоренить в России православие, а себя представляет «бескорыстным доброжелателем», готовым по зову русских прийти к ним на помощь¹⁶² (об этом нет ни слова и в его воззвании 1605 г. к жителям Новгородской области, которых он пугает планами папы римского, желающего учинить «в России великую смуту и кровопролитие, с целью искоренить в ней греческую веру»¹⁶³).

Хотя более удобного повода указать на шведское происхождение зачинателя русского правящего дома, пресёкшегося совсем недавно, было, конечно, не найти, и что могло бы придать замыслам Швеции в отношении России, в условиях величайшей смуты в умах её граждан, невероятную силу, способную в полном объёме удовлетворить интересы шведов на востоке. Да и весьма заманчиво, разумеется, было бы для шведов представить русских монархов, носителей царского и великокняжеского титула, который, как отмечал герцог Остерготландский Юхан, «высоко ценится среди государей, обладание этим титулом рассматривается как большая честь» (потому он и поддерживал идею избрания Карла-Филиппа на русский престол)¹⁶⁴, потомками шведа Рюрика, следовательно, его высоких династических качеств. 4 октября 1614 г. Густав II в инструкции, данной послам, направленным в Москву, указывал, что Новгород в прошлом «был самостоятельным княжеством и теперь он по законам войны принадлежит Швеции»¹⁶⁵. И опять никакой апелляции к «шведу» Рюрику, которая и в этом случае была бы очень уместна.

Ведя разговор по рассматриваемому сюжету, нельзя также забывать, что архимандрит Киприан совершенно не мог отступить от предписаний «приговора», данного его посольству 27 июля 1613 г. новгородскими митрополитом Исидором, вторым лицом в нашей церковной иерархии, новгородским воеводой И. Н. Одоевским и всеми новгородцами («приговоры» и «наказы» в русской дипломатической практике представляли собой подробные инструкции, которые выдавались послам для ведения переговоров и которым они должны были неукоснительно следовать). Вот что писал Киприан из Выборга митрополиту и воеводе 12 января 1614 г.: «И мы, господа, по вашему наказу, приехав к своему государю... к Карлусу Филиппу... в город Выбор, да ему государю о походе в Новгород били челом... ..И у нас что было в наказе писано, и мы то всё исполнили по вашему наказу, государю о всём многижда подлинно били челом и полномочным великим послом». Далее он, сообщая, что королевич не соглашается идти в Новгород «доколе Владимирское и Московское государства в одно место с Ноугородцким не содиначатся — и вам про то давно ведомо, что государю однолично на одно Ноугородцкое государство не хаживать», буквально выговаривает им: «А вы пишете к нам в грамотах, велите промышляти смотря по тамошнему делу... а нам как промышлять по здешнему делу смотря, помимо вашъ наказ и ваших грамот? а от вас к нам ни о чём имянно не писано»¹⁶⁶.

Действительно, «промышлять» по своему усмотрению посольство Киприана не могло, т. к. было уполномочено предложить Карлу-Филиппу только новгородский престол: «Милости просити неотступно, чтоб его пресветлейшество Ноугородцкое государство... пожаловал»¹⁶⁷. В «приговоре» посольству ничего, конечно, не сказано о Рюрике (читается лишь фраза «о прежних великих государех»), хотя, учитывая извечный новгородский сепаратизм в отношении центра, будь то Киев или Москва, его имя могло присутствовать в этом документе, а уж тем более в том случае, если бы он действительно был шведом.

Имя Рюрика отсутствует в переписке и переговорах новгородцев с Д. Т. Трубецким и Д. М. Пожарским, в окружных грамотах последнего к русским городам за май-ноябрь 1612 г., где наряду со многими вопросами поднимался вопрос об избрании шведского королевича на московский престол (да при этом ещё указывалось как на благоприятное обстоятельство, что он желает перейти в православие). Не упоминается Рюрик в переговорах Пожарского «с товарищами» с новгородскими послами, состоявшихся в июле 1612 г. в Ярославле, на которых представители Новгорода, подчеркнув, что они утвердились «просить к себе в государи шведского королевича», убеждали руководителей ополчения «быть с нами в любви и соединении под рукою одного государя». Пытаясь рассеять все сомнения в пользу такого решения, послы приводили разные аргументы, казавшиеся им весомыми, но ни разу при этом не обратились ни к летописным варягам, ни к самой фигуре родоначальника русской династии¹⁶⁸.

«Новый летописец» обстоятельно повествует, как русские просили «на Московское государство немецково королевича Филиппа», подчёркивая при этом полное согласие официальных представителей Москвы с решением новгородцев: «И будет, король свитцкой даст брата своего на государство и крестит в пра-

вославную христианскую веру, и мы тому ради и хотим с новгородцы в одном совете быть». В Псковской первой летописи читается статья «О царьском избрании на Московское государство», где говорится о переговорах со шведами по вопросу занятия Карлом-Филиппом престола¹⁶⁹. Но ни в этих летописях, ни в других наших памятниках того времени нет ни ссылки, ни намёка на шведское происхождение Рюрика. Речь о том не идёт и в тех документах, которые отражают переговоры о приглашении на российский престол представителя шведской королевской семьи.

Так, в шведско-новгородском договоре июля 1611 г., давшем начало официальным переговорам по этому вопросу, и в ходе которых в августе 1613 г. Киприан якобы назвал родоначальника угасшей русской династии шведом, без комментариев упомянут Рюрик в традиционном для такого рода бумаг контексте: «от времени пришествия в Россию великого князя Рюрика до Феодора Ивановича». Наконец, отсутствует имя Рюрика в переписке Д. М. Пожарского со шведами¹⁷⁰, в посланиях шведского короля к руководителям Второго ополчения. Более того, Густав II сам настоятельно советовал не избирать на русский престол чужих государей, а, как говорится в «Утверждённой грамоте» (май 1613 г.) об избрании на российский престол Михаила Фёдоровича, «обратиб на Московское государство государя, изыскав из русских родов, хтоб прежним великим природным государем нашим, царём росийским, был в сродстве»¹⁷¹.

Поэтому, одно из объяснений появления Рюрика в качестве шведа в отчёте о переговорах 28 августа 1613 г. видится в следующем. По всей вероятности, Киприан, коснувшись «римской версии» происхождения основателя династии Рюриковичей, вместе с тем произнёс фразу, подобную той, что содержится в «приговоре» посольству Никандра от 25 декабря 1611 года. А в нём читается, что все жители Московского государства избрали себе царём «свийского Карла короля сына, которого он пожелует дать. ...Чтобы он государь пожаловал, дал из дву сынов своих королевичей князя Густава Адолфа или князя Карла Филиппа, чтобы им государем Росийское государство было по прежнему в тишине и в покое безмятежно и кровь бы крестьянская престала; *а прежние государи наши и корень их царьской от их же варезского княженья, от Рюрика* (курсив мой. — В.Ф.) и до великого государя... Фёдора Ивановича всеа Руси был»¹⁷². В «приговоре» посольству Киприана выделенные слова отсутствуют, но он, что хорошо видно по отчёту, произнёс их в обращении к Карлу-Филиппу. И эти слова шведы спокойно могли принять на свой счёт, поняв их также в буквальном смысле, как поняли они и «начало» Рюрика «от рода римского царя Августа». Что было именно так, наглядно иллюстрирует практика интерпретации этих слов в отечественной и зарубежной историографии.

«Приговор» посольству Никандра был опубликован в 1846 году. Уже на следующий год П. С. Савельев растолковал слова, что «прежние государи наши и корень их царьской от их же варезского княженья, от Рюрика», именно в норманистском духе: наши памятники, по его заверению, «до позднейшего времени на своём книжном языке продолжали называть шведов варягами». В 1851 г. С. М. Соловьёв увидел в них «мнение о скандинавском происхождении варягов-руси... это мнение древнейшее, древнейшее в науке, древнейшее в народе».

Даже антинорманист Д.И. Иловайский в 1871 г. на их основе высказал мысль, что «напрасно Байер считается родоначальником норманской теории; эта теория в общих чертах уже существовала в древней России». В 1913 г. Г.А. Замятин нашёл в тех же словах одно из объяснений того, почему новгородцы обратились именно к шведскому королю: «Очевидно в вопросе о происхождении первых русских князей новгородцы были, выражаясь языком XIX века, норманистами». Эти же слова «приговора» воспроизвёл в 1931 г. в качестве факта, подтверждающего шведскую природу варягов, В.А. Мошин¹⁷³.

В 1995 г. А. Латвакангас привёл цитату из «приговора» посольства Никандра также в качестве доказательства шведского начала Рюриковичей, что и толкнуло новгородцев, уверял он, на мысль обратиться с известной просьбой к шведскому королю Карлу IX. Как рассуждал в 1997–2010 гг. Г.М. Коваленко по поводу выделенных слов, «одним из аргументов в пользу шведского кандидата было его родство с пресёкшимся царским родом». В 2000–2008 гг. В.Я. Петрухин обнаружил в них прямую отсылку «к легенде о призвании варягов». С ссылкой уже на Петрухина Д.А. Мачинский в 2009 г. «изобрёл» исторический факт, «что и сами Рюриковичи (в лице Иоанна Грозного), и новгородцы (послы, а возможно и сам архимандрит Киприан) знали сохранявшиеся изустно предания о том, что Рюрик с русью пришли именно от шведов». В 2010 г. Е.В. Пчелов слова «приговора» посчитал за прямое указание на шведов¹⁷⁴.

Ситуация на переговорах, конечно, совершенно отличалась от кабинетной обстановки, в которой учёные принимали в прошлом и принимают сейчас фразу «от их же варяжского княженья» за несомненное наличие «норманистских настроений» в русском обществе. С учётом неизбежной трансформации формы и содержания произнесённого при переводе, с учётом того, что речи не протоколировались, а записывались (точнее, восстанавливались по памяти) по окончании встречи, то слово «варяжский», стоявшее рядом с именем Рюрика, и было понято, а затем и зафиксировано в качестве этнонима «шведы». Но этому в первую очередь способствовало то обстоятельство, о котором верно сказал М.А. Алпатов в отношении Петрея, но которое следует приложить ко многим его соотечественникам, — это пристрастие интервентов¹⁷⁵. К тому же смотревшим на историю русско-шведских отношений через призму трудов Магнуса и «Хроники» Петрея, т.е. воспринимая, отмечает А. Латвакангас, русских варварами и врагами, а себя относя к античной культуре¹⁷⁶. И это пристрастие интервентов, во всём искавших себе выгоду, привело к тому, что в рассматриваемой части отчёт о переговорах был попросту сфальсифицирован шведами, по политическим соображениям выдавшими Рюрика за своего единоплеменника. Даниэль Юрт вёл свои записи, согласно обязанностям секретаря, во время самих переговоров¹⁷⁷, в связи с чем очень близко передал смысл речи Киприана, поэтому у него ничего не сказано о шведском происхождении Рюрика, а лишь отмечено его «римское» происхождение, на которое только и указал архимандрит.

Сам же термин «варяжский» «приговора» посольству Никандра, некритично воспринимаемый в науке, не несёт конкретной этнической нагрузки, поскольку был приложен к шведам лишь как к части западноевропейского, «варяжско-

го» мира (и приложен точно также, как тогда к ним прилагали термин «немцы», типа: «Петрей-немчин», «Пётр Петрей, немец» у Ю. Крижанича¹⁷⁸, «немецкий королевич Филипп» «Нового летописца»). О его бытовании в России в начале XVII в. именно в широком, этнически неопределённом значении говорит тот же П. Петрей: «...Русские называют варягами народы, соседние Балтийскому морю, например, шведов, финнов, ливонцев, куронов, пруссов, кашубов, поморян и вендов, а Балтийское море зовут Варяжским», т.е. относят к варягам не связанных между собой по крови германцев, финнов, куршей, славян Южной Балтики и какие-то ещё другие, не попавшие в перечень, «например», европейские народы. Исходя из той же традиции, что уже несколько столетий бытовала на Руси и в России и которую зафиксировал Петрей, Крижанич в 1660-х гг. именовал варягами восточно-балтийские племена: местность, где находится Новгород, была «некогда населена варягами или чудью, народами литовского языка», а имена Рюрик, Трувор, Синеус, Ильмень, Ладога и др. «похожи не на славянские или немецкие, а на варяжеские литовские слова»¹⁷⁹.

Не может быть, конечно, и речи о том, как утверждает Г.М. Коваленко, не желая принимать во внимание уже прозвучавшие в науке объяснения, что фраза «прежние государи наши и корень их царьской от их же варяжского княженья, от Рюрика» свидетельствует в пользу родства Карла IX и его детей с пресёкшейся русской династией, в родоначальнике которой он видит шведа (видимо, вслед за ним в 2009 г. В.Н. Козляков утверждал, что ради поддержки Карла-Филиппа «в Швеции готовы были даже вспомнить “летописный аргумент” родства с Рюриком как прежних русских царей, так и нынешних шведских королей»¹⁸⁰). Но династия Ваза не была связана с Рюриковичами кровно уже потому, что воссела на шведском престоле, по решению риксдага, в 1523 г. (её наследственный характер был провозглашён в 1544 г.) и никакого отношения к древним правителям Швеции не имела, т.к. сведения о роде Вазы, указывал Г.В. Форстен, начинаются с Нильса Кеттильссона под 1371 годом.

Обо всём об этом прекрасно знали в России, и тем, что они «не прирожденные свейские государи» (т.к. происходят от «мужичьего рода» и избраны на трон), постоянно упрекал представителей дома Ваза Иван Грозный, заставляя первого короля этой династии Густава I (отца Карла IX) и его сыновей Эрика XIV и Юхана III просить, зачастую весьма унижительно, проявлять в их адрес доброе и подобающее королям отношение. Так, видя, что ни угрозы войн, ни сами эти войны не могут заставить царя признать шведских королей равными себе (их он считал лишь регентами), Эрик XIV обещал ему выдать жену своего сводного брата Юхана, герцога Финляндского, младшую сестру польского короля Сигизмунда II Августа Екатерину Ягеллонку, что даже было обговорено в первой статье договора Швеции и России 16 февраля 1567 года. А в начале 1570-х гг. уже сам Юхан III, муж Екатерины, пошёл на фабрикацию подложной родословной, переданной русской стороне, в которой его род Ваза увязывался с древними конунгами, но при этом не опускался глубже 1160-х гг. (Форстен констатировал, что в Швеции с приходом к власти дома Ваз появились утверждения о его родстве либо с Эриком Святым, погибшим около 1160 г., либо со Стенкилем II, правившем с 1054 года. Но в этих, как и в других попытках искусственно привязать но-

вую династию к древним королям Швеции никогда не звучало имя Олава Шёткунга, отца Ингигерды, в которой принято видеть супругу Ярослава Мудрого)¹⁸¹.

К сожалению, Н.М. Карамзин ещё больше запутал ситуацию, сложившуюся вокруг фигуры Киприана. Ибо он утверждал, ссылаясь на А.Л. Шлёцера, что, по свидетельству Ю. Видекинда, «Киприан, депутат Новгорода, убеждая бояр московских избрать в цари шведского принца Карла, сказал, что и первый князь наш был из Швеции»¹⁸². Но Шлёцер говорил лишь о переговорах в Выборге, на которых архимандрит, «отряжённый епископом и другими именитыми новгородцами, сильно настоял на том, чтобы шведского королевича *Карла* избрать великим московским князем», и привёл затем известные слова Киприана в передаче Видекинда¹⁸³. Подача Карамзиным информации о Киприане была растиражирована в науке (например, М.П. Погодиным, А.А. Куником, К.Н. Бестужевым-Рюминым)¹⁸⁴, хотя тот никогда не убеждал московских бояр избрать на русский престол шведского принца и потому не мог увещевать их примером, что «и первый князь наш был из Швеции». С определённой миссией Киприан посещал Москву, но посещал в январе 1615 г. и не с той целью, что приписал ему Карамзин.

Несмотря на провал в январе 1614 г. переговоров в Выборге, т.к. к этому времени вся Русская земля, за исключением Новгорода, признала Михаила Романа своим царём (потому Карл-Филипп отказался «от претензий на Россию и Новгород в пользу Густава II Адольфа» и покинул Выборг¹⁸⁵), Швеция всеми способами старается сохранить за собой Новгород. 25 января Э.Горн объявил новгородцам, что если Москва не поставила герцога в русские цари, то тот не желает быть только на одном Новгородском государстве. Поэтому, запрашивал Горн, «хотите ли вы его королевское величество и его королевских наследников, свейских королей, своими прямыми государи и короли имети и почитати, и его королевскому величеству и им прямую покорную верность и послушание своё оказати, и свейския короны не яко порабощённые, но яко усобное государство, и якоже Литовское государство Полскому королевству, також в вечное время причитати и воплотити? ... И его королевское величество произволил, что вам его королевскому величеству и его королевским наследником, однолично, яко великому князю Новгородцкого государства, крест целовати».

Затем фельдмаршал произнёс слова, показывающие всю проформу его запроса: «его королевское величество правду имеет Новгородцкое государство себе и своим наследником во веки удержати». После чего новгородцам был предъявлен ультиматум: «И внегда московские люди к мирному соединению не приставают, но явную войну и недружбу противу Свиского королевства всчинают, и для того вам, Новгородцкого государства людем, то размышляти, понеже вы под его королевского величества и свийския коруны оборону поддались, что вам одноконечно и покровенно московских людей дружими или недружими оказатись и называтись, занеж вам двум государем вдруг прилепиться не уме-ти: потому бы его королевскому величеству ведати, что чинити?»¹⁸⁶.

«Долго новгородские начальные люди, — читаем у С.М. Соловьёва, — не отвечали на страшный запрос; наконец после неоднократного повторения его выпросили отсрочку (до Пасхи, до 9 апреля. — В.Ф.), чтоб о таком великом царственном деле посоветоваться с гостями и земскими людьми и взять у всяких

людей о том письмо, за их и за отцов их духовных руками». И новгородцы ответили Горну, что, раз присягнув «государю своему» королевичу Карлу-Филиппу, то останутся верны своей клятве: «и ему государю быти государем и великим князем на Ноугородцком государстве», и «ныне нам, мимо его государя королевича и мимо прежние наши записи, велеможному королю и его наследником свейским королём креста целовати не мочно, и под свейскою коруною быть не хотим, хотя и помереть за своё крестное целованье, в чём стоим в правду, и не хотим слыти крестопреступники».

При этом новгородцы заостряли внимание на том, что в нарушении договора 25 июля 1611 г. обители и церкви «от немецких от ратных людей до основания разорены и розграблены», иконы «опоруганы, расколоты и пожжены, и мощи многие святых из гробов выметаны и опоруганы», колокола многих церквей и монастырей вывезены «в Свейское государство» и что литовские люди, которые служат шведскому королю, «уездных людей крестьян жгут и мучат и на смерть побивают, и на правежи от ваших приказных людей в налогах без сыску иные на смерть побиты, а иные обесились и в воду метались, а иные обезвечены и посямест лежат» (о своём нежелании идти «под свейскую корону» новгородцы сообщили и в своей челобитной Густаву II Адольфу. В целом шведы в 1614 г. три раза пытались заставить их присягнуть ему, но всегда встречали решительный отказ)¹⁸⁷.

Киприан (его посольство вернулось в Новгород в августе 1614 г.) поддержал и благословил новгородцев, кто решил «умереть за православную веру», но шведскому королю «креста не целовать». Митрополит Исидор упросил Э. Горна отправить в Москву посольство, которое, как объяснялось ему, убедило бы бояр признать Карла-Филиппа русским царём, «и если они не послушаются, то новгородцы поцелуют крест королю». Вместе с дворянами Я. М. Боборыкиным и М. Д. Шеврук-Муравьёвым хутынский архимандрит в середине января 1615 г. отбыл в Москву. В столице открылся реальный замысел новгородцев: послы просили милости у государя от имени всех новгородцев, что по неволе целовали крест королевичу, и чтобы он вступился за Новгород, который не мыслит себя без России.

Царь сначала держал делегацию под стражей шесть недель, затем выпустил: Новгород был прощён. По приказу Михаила Фёдоровича послам выдали две грамоты: одну, явную, от бояр, где те сурово выговаривали новгородцам и называли их изменниками «за совет покориться шведскому королевичу», а вторую, тайную, — от самого государя, в которой он сообщал новгородцам, что «вины им все отдал». По возвращению послов был объявлен боярский ответ, а царская милостивая грамота в списках стала тайком распространяться в Новгороде для поддержания духа горожан. Но о ней было донесено Э. Горну. Посольство было арестовано, дворяне отосланы в Швецию, а самому Киприану от оккупантов, как с болью и состраданием отмечал летописец, «много мука бысть; биша бо его немилостивно; послеж того бою биша на правеже до умертвия, и стужею и гладом моряху»¹⁸⁸.

В данном случае нельзя не заметить, что Е. И. Кобзарева весьма, конечно, преувеличивала, говоря о прошведских настроениях новгородцев, и что решение о признании Михаила Романова было для них «не совсем простым делом.

... Однако жестокость шведов не оставляла новгородцам возможности выбора и предопределяла их обращение к Москве»¹⁸⁹. Однако настроения новгородцев с самого начала были иными. Г.В. Форстен, пересказывая встречу новгородцев с Карлом-Филиппом, которая состоялась в Выборге 28 августа 1613 г., акцентировал внимание на словах новгородского гостя С. Иголкина, прозвучавших на требование шведских послов, чтобы «уполномоченные от Новгорода подтвердили свою верность и покорность герцогу крестным целованием и собственноручною подписью и поклялись свято соблюдать свой договор с Яковом Делагарди». На что Иголкин ответил: «О какой клятве идёт тут речь... ужь не намерены ли шведы подчинить русских своей короне? Но русские также мало желают отдаться Швеции, как и подчинится Польше» (в передаче Видекина: «Русские не подчинятся и шведской власти, как не подчинились польской, пока останется в живых хоть младенец в колыбели»).

Касаясь событий 1614 г., когда Горн и Делагарди пытались склонить новгородцев на свою сторону, Форстен особенно подчеркнул: «По общему свидетельству всех шведских источников, русские только и мечтали о том, как бы поскорее свергнуть с себя иноземное иго». Он же привёл письмо сменившего в Новгороде Делагарди Горна королю от 12 декабря 1614 г., где констатируется, что, во-первых, «ни в ком он не нашёл готовности и даже желания отдаться Швеции. Новгородцы так высоко ставят свою самостоятельность, так они воодушевлены мыслью иметь своего русского царя, что готовы во имя этого пожертвовать своею жизнью». Во-вторых, русские, «убрав осенью хлеба... немедленно сожигают всю солому, чтобы только лишить шведов корма для их лошадей»¹⁹⁰ (в связи с чем нельзя принять как тезис Е.А. Кобзаревой о попытке «посольства архимандрита Киприана добиться создания независимого Новгородского государства во главе с шведским королевичем», потому как подобной цели посольство и не могло ставить, так и тезис Я.Н. Рабиновича, что «после избрания Михаила Романова новгородцы оказались перед тяжёлым выбором: либо нарушить присягу Карлу Филиппу (признав царём Михаила Романова), либо остаться верным присяге заморскому принцу, создав при этом собственное государство во главе со шведским королевичем». Но тактические действия новгородцев, вызванные Смутой и шведской оккупацией, нельзя принимать за их стратегию)¹⁹¹.

Остаётся добавить, что последний раз вопрос о притязаниях на русский престол шведская сторона попробовали поднять на Дедеринских переговорах. 4 января 1616 г., когда Я.П. Делагарди напомнил, что новгородцы «крест королевичу Карлу целовали» и потому русским надо «в своём приговоре устоять и королевича Карла Филиппа на Московское государство принять», то князь Д.И. Мезецкий в резкой форме ответил ему: «Что ты за бездельное дело затеваешь? Мы королевича не хотим, да и сам государь ваш к боярам писал, что, кроме московских родов, никого на Московское государство из иноземцев не выбирать... и только вперёд станете об этом говорить, то нам не слушать». 5 и 7 января шведские послы вновь попытались продолжить разговор на ту же тему, но, встретив решительный отпор, поняли полнейшую его бесперспективность и перевели его в плоскость требований от России уступок в пользу Швеции больших территорий и выплаты контрибуции¹⁹².

Но история самого этого «бездельного дела» на сём не завершилась. Потому как политические круги Швеции сфабриковали (а опыт в таких делах у них имелся, и он не ограничивался вышеупомянутой ложной родословной дома Ваза, изготовленной для Ивана Грозного по приказу короля Юхана III четырьмя десятилетиями ранее), нацеливаясь на долговременную перспективу, фальшивку, согласно которой у новгородцев был «великий князь из Швеции по имени Рюрик». Вот почему она не оказалась забытой и погребённой в архивах шведского внешнеполитического ведомства, а кем-то из очень высокопоставленных лиц была рекомендована Петрею для включения, т.е. для массового тиражирования, в его «Историю о великом княжестве Московском» (точнее пересказана ему на словах, т.к. он, а в этом случае прав А. Латвакангас, не был знаком с официальным отчётом о переговорах, причём пересказана с весьма политически своевременным добавлением, своего рода «агиткой», что «новгородцы благоденствовали» под правлением шведа Рюрика).

И Петрей в столь спешном порядке вносил эту фальшивку в текст уже готовой книги, что позабыл убрать из неё версию о выходе Рюрика с братьями из Южной Балтики. Если в самом начале своего повествования он обещается рассказать о русских правителях, «начиная с трёх князей, Рюрика, Синеуса и Трувора, надобно полагать, родных братьев, родом из Пруссии», то через большое число страниц вдруг говорит: «от того кажется ближе к правде, что варяги вышли из Швеции», а затем совсем уже утвердительно заявляет: «верно можно заключить, что эти трое братьев пришли из Шведского государства» (добавляя к тому, что Новгород в старину был «особым государством, имел своих князей и правителей»¹⁹³). За этими довольно неуклюжими манипуляциями Петрея стояли чёткие внешнеполитические интересы Швеции на востоке (не случайно вторую часть своего труда он посвятил Карлу-Филиппу¹⁹⁴, до своей смерти, последовавшей в 1622 г., зримо олицетворявшему собой эти интересы). А вместе с тем её не менее масштабные агрессивные замыслы в отношении западноевропейских прибалтийских государств, в целом её устремления на гегемонию в Северной Европе, с которыми она в 1611 г. вступила в период, именуемый в шведской науке эпохой Великодержавия и заканчивающийся смертью Карла XII в 1718 году.

1.3 Причины зарождения и распространения в Швеции в XVII в. шведского взгляда (норманизма) на русскую историю

С 1523 г., с выходом Швеции из Кальмарской унии и приходом к власти Густава I Ваза (1523–1560), её внешняя политика стала вестись, подчёркивал в 1946 г. шведский историк И. Андерссон, в новом стиле, агрессивном и почти рискованном, направленном на покорение чужих территорий. В 1570-х гг., отмечал позже его советский коллега И. П. Шаскольский, «стала вырисовываться

конечная цель внешней политики — превращение Швеции в великую державу, достижение господства на Балтике и на всём севере Европы»¹⁹⁵. И эта цель была успешно достигнута в результате Тридцатилетней войны, в которую Швеция вступила через 11 лет после её начала, в 1629 г., и в ходе которой захватила многие экономические и стратегические позиции в Северной Германии.

По условиям Вестфальского мира 1648 г. к ней отошли Бременская и Верденская епархии, Висмар, Западная Померания со Штеттином, часть Восточной Померании, острова Рюген, Узедом, Волин, и тем самым были поставлены под контроль устья «важнейших рек — Везера, Эльбы и Одера. Шведская гегемония на Балтике была установлена и признана державами» (а по миру, заключённому в Брёмсебру в 1645 г. с Данией, Швеции переходили норвежские области Емтланд и Херьедален, острова Готланд и Эзель, а также область Халланд на юге Скандинавского полуострова на 30 лет. Как констатируют сегодня шведские авторы, условия этого «договора означали, что датское окружение Швеции прорвано и Дания перестала играть ведущую роль на Балтике»). Ещё до Тридцатилетней войны Швеция владела Финляндией, Эстляндией, Карелией, Ингерманландией, а в ходе её прибрала Курляндию, Лифляндию с Ригой, Дерптом и Ревелем, часть Восточной Пруссии и Литвы.

После перехода в их руки чуть ли не всего южнобалтийского Поморья шведы начали смотреть на Балтийское море исключительно как на своё внутреннее море, как, если использовать их лексику того времени, на «шведское озеро», и при Карле X Густаве (1654–1660) решили стать полновластными хозяевами на Балтике¹⁹⁶. В связи с чем они развязали в 1655–1660 гг., с мыслью захвата прибалтийских польских земель (пруско-литовского побережья), войну с Речью Посполитой. Но эти замыслы преграждали путь к Балтийскому морю усиливающейся в ходе русско-польской войны России (1654–1667), что привело к русско-шведской войне 1656–1658 годов. Первая северная война, как ещё называют шведско-польскую войну 1655–1660 гг. (в неё были втянуты империя Габсбургов, Бранденбург, Дания, Голландия), утвердила преобладание Швеции на Балтике (были закреплены её права на ливонские земли) и увеличила её владения. При этом она обрела столь вожаделенный трофей — южную оконечность Скандинавского полуострова Сконе, с древности принадлежавшую Дании (Ю. Видекинд в шведском издании своей «Истории» подчёркивает, что «“господином” Балтийского моря “является шведский король”»)¹⁹⁷.

Издавна Швеция преследовала чёткие цели и на востоке. По мнению датского исследователя К. Расмуссена, главной целью её попыток военной силой закрепиться на землях вокруг восточной части Финского залива было управление русским экспортом в Западную Европу. Ещё в 50-х гг. XII в. она начала «крестовые походы» в Финляндию: «Первый из них (1157 г.) привёл к подчинению юго-западной части финских земель. Вторым “крестовым походом” (1249–1250 гг.) была покорена центральная Финляндия, а третьим (1293–1300 гг.) — западная часть Карелии» (как подчёркивает Д. Хейвуд, этот поход был «бесстыдно» нацелен на христианский Новгород). В этом движении «с мечом и с крестом» Швеция прямо затронула интересы Новгородской Руси и даже попыталась, желая оттеснить русских «язычников» от Балтийского моря, захватить Невский

торговый путь, что не позволил ей сделать в июле 1240 г. Александр Ярославич. С обретением Швецией независимости Густав I Ваза, активизируя внешнюю политику, обратил внимание «на традиционное (с XII в.) восточное направление шведской агрессии — в сторону России, на Карельский перешеек и на берега Невы».

Густав I Ваза, камуфлируя истинные цели и стремясь заручиться поддержкой западных государств, пугал их русской угрозой и свои агрессивные действия на востоке объяснял исключительно интересами обороны (этот тезис превратится в дежурный мотив в его устах и в устах его преемников): «Россия может стать столь же могущественной державой на Балтике, как Турция в Азии и Африке. Силы христиан на Балтике могут быть расколоты подобно силам греков, которые дали туркам возможность построить империю». Посему монарх, отмечал Г.В. Форстен, «носился с обширными планами оттеснить московского государя дальше на восток и отделить его китайскою стеною от Европы». Так, в 1555 г. шведские послы внушали ливонцам, что «вполне спокойными соседние державы могли считать себя только в том случае, если московские владения будут совершенно отрезаны от моря»¹⁹⁸.

Сын Густава I король Юхан III (1568–1592) энергично приступил к реализации планов отца, стремясь не только совершенно отрезать русских от Балтийского моря, но как можно дальше отбросить их от него и «целиком подчинить шведскому контролю все морские пути из России на Запад», т.е. взять под контроль русскую торговлю. В связи с чем в 1580 г., на заключительном этапе Ливонской войны (в неё Швеция вступила в десятью годами ранее), когда стало ясно, что её Россия проиграет, была разработана развёрнутая программа шведских территориальных приобретений за счёт предельно обескровленного долгой войной и опричниной соседа. Согласно этой, как её именуют в зарубежной историографии, «Великой восточной программе», придавшей мощнейший импульс натиску шведов на восток и лёгшей, по точной оценке Шаскольского, «в основу всех последующих завоевательных планов шведских правящих кругов рубежа XVI–XVII вв. по отношению к России», планировалось захватить русское побережье Финского залива, города Ивангород, Ям, Копорье, Орешек и Корелу с уездами, большую часть русского побережья Баренцева и Белого морей, Кольского полуострова, северной Карелии, устье Северной Двины с Холмогорским острогом, т.е. овладеть всей территорией между Ладогой и Арктикой, установить «контроль над всей торговлей на Балтике и в Северном Ледовитом океане», включить в свои владения Новгород, Псков, ливонские города, «провести новую шведскую границу по Онеге, Ладоге, через Нарову».

К осуществлению этой антирусской программы шведы приступили незамедлительно: в 1580–1581 гг. они овладели Корелой и восточной частью Карельского перешейка, примыкавшей к Ладожскому озеру, Нарвой, Ивангородом, Ямом и Копорьем с уездами (данные территории перейдут Швеции по Плюсскому перемирию 1583 г., но будут возвращены России по Тявзинскому миру 1595 г.), в том же 1583 г. пытались взять Орешек, предпринимали несколько попыток захвата торгового пути через Архангельск, Мурманского берега и побережья Белого моря. Нисколько не ослабевала Швеция натиска на восток в последую-

щее время, параллельно с тем стремясь к господству на Балтийском море, т.е. в Северной Европе. Её притязания на статус монопольной «владычицы морской» шведские послы полно высказали русским ещё в конце 1594 г., в преддверии заключения «вечного» мира в Тявзине. Наши представители, убеждая шведов, что им «всех поморских и немецких государств гостям и всяким торговым людям, землёю и морем задержки и неволи чинить не пригоже», в ответ слышали твёрдый отказ, в котором уже звучали великодержавные нотки: «Мимо Ревеля и Выборга торговых людей в Иван-город и Нарву с их товарами нам не пропускать, потому что море наше и в том мы вольны».

Другой сын (младший) Густава I Карл IX (стоял во главе Швеции с 1594 г., король в 1604–1611), желая «контролировать русскую торговлю, которая велась в основном через порты Северного Ледовитого океана... считал необходимым расширение границ шведского государства на север». По его смерти, указывал Г.В. Форстен, «отношения Швеции к России остаются неизменными; под внешним видом дружбы скрывалось своекорыстное желание ослабить вконец восточного соседа, лишить его западных областей и стать прочною ногою на восточном побережье Балтийского моря». И всё это, или почти всё, удалось ей достичь в Смутное время. Столбовский мир 1617 г. закрепил за ней, констатируют ныне шведы Я. Мелин, А.В. Юханссон, С. Хеденборг, «Ингерманландию (Нотебург, Ям, Копорье, Ивангород с округой), а также Корельский уезд. Всё побережье Финского залива стало, таким образом, шведским, и Россия оказалась полностью вытеснена с Балтийского моря», которого она, как тогда посчитал сын Карла IX и его преемник Густав II Адольф (1611–1632), лишилась навсегда (взятие Швецией под свой контроль морских путей, связывающих нашу страну с Западной Европой, привело к тому, что русская торговля шла теперь только через шведские города). К 1621 г. шведы завоевали всю Восточную Прибалтику (М.Б. Свердлов подчёркивал, что в 1620-х гг. Густав II Адольф превратил «Швецию после успешных военных реформ в мощную морскую державу с прекрасно организованной и вооружённой армией»)¹⁹⁹.

Последовательная реализация шведами «Великой восточной программы», направленной против России и её жизненно важных интересов, противодействие наших предков «увлекательным приключениям» северного соседа, усугубившим Смуту, провал его грандиозного плана, связанного с Карлом-Филиппом, желание любой ценой удержать оккупированные русские земли резко усилили в шведском обществе антирусские настроения. Градус их накала лаконично и без дипломатических излишеств выразил в 1615 г. король Густав II, внук Юхана III, на века сформулировав стратегическое направление внешней политики Швеции: «Русские — наш давний наследственный враг»²⁰⁰.

В негативно-уничижительной оценке русских несколько не церемонились и другие представители высшего слоя Швеции. Так, Г. Горн в ходе переговоров осенью 1613 г. в Выборге, столкнувшись с упорным нежеланием новгородцев приносить присягу шведскому монарху, повторял, подчёркивает Е. И. Кобзарева, «уже ставшие традиционными формулировки относительно того, что русские являются варварами, что их религия, законы, язык сильно отличаются от шведских. Варварство порождает упорство этой нации». Вдовствующая коро-

лева Кристина, мать Густава II Адольфа и Карла-Филиппа, на заседании Государственного совета в январе 1614 г. «напоминала о том, что варварская сущность русских достаточно хорошо известна», а несколько позже сменивший Я.П. Делагарди Э. Горн «указывал, что русские всё ещё не избавились от варварских предрассудков в вопросе о престоле»²⁰¹.

С ростом антирусских настроений в Швеции целенаправленно и настойчиво лепился, посредством большого числа сочинений, образ русских как самых ненавистных врагов и самых низких варваров. В этом деле в канун и на самой заре эпохи Великодержавия усердствовал всё тот же Петрей. В «Реляции» 1608 г. он уверяет, что наказание «всемогущим Богом» России Смутой было ниспослано русским «за гордыню, безбожие, поклонение идолам, еретичество, зло, несправедливость и жестокую тиранию, в которую кровавый пёс Иван Васильевич, московский князь, поверг как своих подданных, так и иностранцев». Продолжая формировать у читателей (и не только шведских) негативное представление о России, Петрей пишет, что Борис Годунов «был любезный, умный и осторожный человек, но при этом очень лживый и злобный».

А ведь на изданиях его «Краткой и благодетельной хроники» (1611, 1614, 1656), ставшей учебником, выросло, отравляясь её русофобским духом, не одно поколение шведов. В том же откровенно националистическом духе воспитывал он сограждан и в «Истории о великом княжестве Московском», которая, по оценке Ю. Крижанича, является «клеветнической, язвительной, шутовской, ругательной книгой. ... Никто не может изобразить проклятых бесов более худшими, мерзкими, безобразными, страшными, чем он изображает наш народ. Он делает нас хуже турок, татар, самоедов и всех адских бесов». И также справедливо автор заметил затем: «Немцы (т.е. иностранцы вообще. — В.Ф.) считают поэтому истинным всё, что лает этот клеветник, и поэтому напрасно думают много плохого о нашем народе»²⁰².

Действительно, швед Петрей в «Истории о великом княжестве Московском» настойчиво твердит (проявляя, по словам того же Крижанича, «свою глупость и собачью злость»²⁰³) о «варварской, отвратительной и бесстыдной жизни и природе» русских правителей, о «честолюбии, надменности и дерзости» «свиного» Ивана Грозного, о том, что «москвитяне по природе чрезвычайно грубы, распущены и невежливы в своих нравах, ухватках и разговорах» (аттестует их «как людей коварных, злобных и недостойных доверия»), что библейский Мосох (сын Иафета и внук Ноя), с которым связывали тогда происхождение москвитян-русских, был «гнусный и жестокий нравами и привычками, также и своими грубыми и отвратительными делами», пугал читателей словами, что «русские днём и ночью думают и ломают голову, каким бы новым способами мучить людей: вешать, или варить, или же жарить их?»²⁰⁴.

На протяжении всего XVII в. антирусские настроения шведского общества дополнительно и также энергично разогревали полемические сочинения против православия. Так, «в 1620 г. придворный проповедник Юхан Ботвид защитил в Упсальском университете диссертацию, озаглавленную: “Христиане ли москвиты”?...» (и потому для вытравления православия на приневских землях, отошедших к Швеции по Столбовскому миру 1617 г., где проживало рус-

ское и финно-угорское православное население, «была избрана постепенная насильственная лютеранизация»), а в 1675 г. ревельские пасторы И. Швабе и. Герхард в книге «Цурковь Московский», переизданной, по понятным соображениям, в годы Северной войны, утверждали, «что московиты никуда не годные христиане», что, следовали уже политические выпады, Иван Грозный — это «дивовище человеческое, неслыханный мучитель и зверь свирепейший» и что «тоlikое мучительство они же московитяне под великим московским князем Алексеем Михайловичем в Лифляндской земле починили и для того достойни, чтоб их имя вечного молчания тьма покрыла».

Такая точечная и всесторонняя «промывка» мозгов привела к тому, что «понятия “варварство” и “варвары”, — констатируют финские и немецкие исследователи, — относительно русских в XVII в. в шведской публицистике имели особенное значение» и заменили их обычную характеристику XVI столетия как «язычники»²⁰⁵ (к концу XII в., отмечал Дж. Линд, шведы «всё чаще стали рассматривать русских как языческих соседей по Балтийскому побережью, против которых было естественно организовать крестовые походы». С. Якобссон указывал, что русские именуются «язычниками» в папских буллах с середины XIII в. и что в XIV в. такое употребление в шведском языке растёт²⁰⁶).

Надлежит сказать, что у этих «страшилок», ставших неперемненными атрибутами внешней политики Швеции, имеется своя предыстория. Так, Юхан III в ходе Ливонской войны, в сентябре 1582 г., в послании к ореховскому наместнику и воеводе и всем боярам с предложением перейти к нему на службу, называет Ивана Грозного тираном и предлагает русским воеводам рассудить «его великое тиранство, гордость и нехрестыятельных и безбожных дел, кои он на многие лета сотворил естъ. И напоследок и сына своего не пощадил, но его сам убил и извёл»²⁰⁷ (шведы свои «страшилки» о русском царе широко пропагандировали на Западе, где их и без того хватало. Как, например, пугал Западную Европу Г. Штаден в 1579 г., что он находился на службе Ивана Грозного, «исконного врага всего христианства и неописуемого тирана»²⁰⁸).

В конце прошлого столетия А. Д. Щеглов, анализируя «Историю северных народов» брата вышеупомянутого Ю. Магнуса О. Магнуса, изданную в 1555 г., рассчитанную «и на шведского, и особенно на зарубежного европейского читателя» (она затем выходила, кроме латыни, на итальянском, французском, немецком, голландском и английском языках), отметил как политическую направленность данного труда, так и в целом негативное восприятие его автором русских («московитов», «рутенгов»), которые воспринимаются им врагами и «язычниками». Указывая на русофобию этого, как его принято характеризовать, историка-гуманиста, учёный заключил, что «руссофобские настроения в Швеции были традиционны в силу вооружённого противостояния русских и шведов в средние века и раннее новое время. С этим противостоянием во многом была связана антиправославная идеология, восходящая ко времени крестовых походов в Карелию и на Русь и представленная в средневековых источниках».

Щеглов обращает внимание и на тот важный момент, что Магнус развивает идеологию готицизма, «идею превосходства шведов над другими народами», является сторонником обращения православных в католицизм²⁰⁹

(основу родившегося в Германии и скандинавских странах в XVI–XVII вв. готицизма, разъясняет Л. П. Грот, составили мифы о великих подвигах готов, которые развивались в пику итальянским гуманистам, очернявшим готов как разрушителей Рима и римской цивилизации: «На волне этого исторического энтузиазма родилась идея о том, что готы-германцы или просто германцы выступали не разрушителями Рима, а законными и прямыми наследниками Римской империи и римской цивилизации», что они понесли традиции Рима в Европу и что именно благодаря германскому гению «были созданы монархии и сильные державы Европы». Причём особая роль в этих исторических исканиях выпала на Швецию, поскольку её юг носил название Гёталанд, которую по созвучию стали связывать с прародиной готов, «откуда они якобы вышли и начали свои завоевания в Европе». Так маленькая Швеция оказалась в центре внимания континентальных мыслителей, а шведские политические мифы пришлось очень под стать идеям готицизма. При этом особенный успех ожидал шведский исторический вымысел о великих деяниях предков шведов в русских землях²¹⁰).

В 2000 г. М. А. Юсим в рецензии на двухтомный труд шведско-финского геральдиста Л. Тенгстрёма (1997 г.) подчеркнул: «Основная мысль, проводимая автором, заключается в том, что шведские короли династии Вазы использовали в своей официальной пропаганде негативные черты облика московитов, сложившиеся в представлениях европейцев к XVI в.» (и дожившие, как показывает Тенгстрём, до наших дней), что русским приписывали жестокость, коварство, гордыню, склонность к пьянству, разврат, свирепость, агрессивность, привязанность к рабству и к деспотической форме правления, воплощением которого казалось царствование Ивана Грозного, что Густав Ваза ставил московитов на одну доску с турками и язычниками и что «врагам христианства шведские короли в своей пропаганде противопоставляют миф о собственном происхождении от готов, освободивших Францию и Испанию от римского ига». М. Ю. Медведев тогда же и в рецензии на ту же работу вёл речь о крайней степени идеологической напряжённости той эпохи, о знаковых клише, благодаря которым формировался «образ русского врага (восточного варвара, “мало разнящегося с турком”) и образ его антипода (цивилизованного рыцаря)»²¹¹.

Поэтому остаётся только согласиться с А. С. Мыльниковым, который, касаясь слов Густава II Адольфа: «Русские — наш давний наследственный враг», подытоживал: «Мнение короля в концентрированной форме выражало традиционный курс шведской восточной политики — а ведь ряд шведских авторов XVII в., Петрей в первую очередь, этот курс отражали»²¹². И шведские авторы того столетия, верноподданнически отражая данный курс и всемерно желая поспособствовать его торжеству, а также считая, в полном согласии со многими своими соотечественниками, Россию «наследственным врагом»²¹³, обратились к варягам, некогда господствовавшим на Балтийском море (потому и именуемом в древности на Руси, в Западной Европе и на Востоке Варяжским морем, «море варанков», «море Варенгов») и основавшим русскую династию Рюриковичей, доказывая их шведское происхождение (параллельно с тем прославляя свою историю IX–XI вв., ибо о ней ничего существенного не сообщают поздние,

чрезмерно хвастливые исландские саги, в основном рассказывающие о действиях в Западной Европе лишь норвежцев и данов).

Тем самым стремясь «исторически» подкрепить притязания Швеции на господство на Балтике, во всём Поморье, на земли Восточной Прибалтики и северо-западные территории России, к чему шведы так настойчиво и с очень большими потерями — материальными и людскими — стремились с середины XII века. А это означает, что Швеция желала не только поставить своего восточного соседа в полнейшую зависимость от себя: экономическую, военную и политическую, но и исторически привязать его к себе, утверждая о якобы шведском фундаменте мощного Русского государства (она словно предчувствовала, что через сто лет с небольшим её великодержавность сокрушит, по замыслу Истории, именно Россия, и пыталась ликвидировать причину своей катастрофы). Параллельно с тем, как констатировала в 2023 г. Л. П. Грот, основополагающей идеей первых шведских норманистов «было стремление доказать, что насельниками Восточной Европы в древности были предки финнов и предки шведов», появившиеся здесь задолго до появления русских, «т. е. шведский политический миф работал на вытеснение русских из собственной истории. Этим как бы обосновывалось особое историческое “право” Швеции на завоёванные новгородские земли в Смутное время»²¹⁴.

«Первый норманист» Петрей (как его назвал А. А. Куник), закладывая основу норманской версии, выражал шведский взгляд на русскую историю, нацеленный на удовлетворение, за счёт совершенно обескровленной и обессиленной Смутой России, далеко идущих планов Швеции, долженствовавших превратить её в великую державу. Придворный историограф был преданным слугой своего короля и своего отечества. На алтарь служения им он положил всю свою жизнь и все свои сочинения, в одном из которых — «Истории о великом княжестве Московском» — обосновывал права шведского ставленника на русский престол обращением, как того настоятельно потребовала политическая ситуация, к седой старине: к русским варягам середины IX в. и к личности их лидера, с которым традиционно связывалось начало Русского государства. Обратился и представил Рюрика и его окружение в качестве шведов не только Швеции, но и всей Европе. Причём насколько менялась эта политическая ситуация, настолько же корректировался им шведский взгляд на наших варягов. А. Латвакангас, сравнивая шведское и немецкое издания книги Петрея, отметил, что если в первом он выводит варягов только из Швеции, то во втором — «из Шведского королевства, или присоединённых к нему земель, Финляндии или Лифляндии». Как резюмирует учёный, учитывая атмосферу, царившую после Столбовского мира, а также интересы шведов в Лифляндии, то эти дополнения понятны²¹⁵.

Политическую направленность шведской «приватизации» Рюрика Петреем вскрыл в 1993–1994 гг., продолжая и далее разрабатывать эту тему, автор настоящих строк. На неё же указывают другие исследователи. В 1997 г. С. Ю. Шокарев подчёркивал, что Петрей, выступая «прежде всего как апологет шведской интервенции», относит Рюрика с братьями к шведам, «стремясь обосновать права герцога Карла-Филиппа на русский трон». В 1999–2000 гг. немецкий историк

Б. Шольц констатировала, что он, по причине своей «шведско-национальной приверженности», «впервые старался использовать варяжский вопрос в политической борьбе Швеции с Россией» и пытался доказать шведское происхождение варягов, «чтобы затем вывести из этого право шведов вмешиваться в русскую политику и исторически оправдать вступление иноземных правителей на царский престол», и что «эту политическую тенденцию продолжили в шведской историографии Алгот Скарин и Олоф Далин». В том же ключе, но значительно обстоятельнее, рассуждает ныне Л. П. Грот²¹⁶.

Надлежит сказать, что у шведов ко времени Петрея уже имелся серьёзный опыт использования историографии, по оценке В. В. Похлёбкина, «как оружие в борьбе за определённую направленность политики». В 1523 г. Швеция, объединённая с 1397 г. с Норвегией и Данией (под эгидой последней) в неравноправную для себя Кальмарскую унию, вооружённым путём вышла из неё, и шведским королём был избран Густав I Ваза. В 1544 г., когда была провозглашена наследственность этой династии, датчане настояли на том, чтобы их король Христиан III, как и короли времён Кальмарской унии, носил на своём гербе герб Швеции. В 1557 г. он видоизменяет униатский герб, и шведские три короны оказались под датскими леопардами, а на государственной печати Дании герб Швеции был помещён под датским и норвежским. В этих действиях Густав I усмотрел посягательство на свою корону, что и указал датскому монарху, укоряя его в желании вовлечь Швецию в новую войну. Противостояние между Швецией и Данией являлось борьбой за господство на Балтийском море и за территорию Сконе, и потребовало, отмечает Похлёбкин, «идеологического обоснования претензий», и выдвинуло «необходимость создания концепции истории Дании, соответствующий моменту и задачам внешней политики».

В 1553 г. в Дании увидело свет новое издание датской рифмованной хроники («Римкронике»), которая быстро дошла до Швеции, вызвав негативную реакцию её главы. Не зная, что речь идёт лишь о переиздании давно известного сочинения, он в изложении событий времени унии усмотрел прямую насмешку над Швецией и поспешил взять реванш, коим явилась «История всех готских и шведских королей» Ю. Магнуса, опубликованная в 1554 году. В Дании она была встречена с большим неодобрением в силу враждебности, которой были проникнуты все известия, касающиеся датской истории. В 1558 г. Густав I повелел издать несколько отрывков из датской рифмованной хроники с пояснениями, написанными в самом решительном тоне, причём не обошлось без прямых ругательств. Автором большей части этой «ответной» хроники, переведённой на датский язык, был сам король, положивший в основу своих рассуждений о Дании и её отношении к шведам труд Магнуса. В ответ датское правительство заказало описание датской истории со времени Саксона Грамматика (ум. около 1220) до XVI в. профессору Х. Сванингу, назначенному государственным историком. В 1561 г. вышла его «История короля Ханса», цель которой заключалась в том, чтобы «шведы видели, как хорошо им было во времена унии».

«История короля Ханса» ещё больше подлила масла в огонь взаимной ненависти Швеции и Дании и явилась прелюдией Северной семилетней войны ме-

жду ними (1563–1570), в ходе которой борьба на литературно-историческом фронте не затихала ни на минуту. И о беспристрастности «исторических» трудов той поры, подчёркивал Г.В. Форстен, «не может быть и речи, и они имеют значение лишь на столько, на сколько знакомят нас с настроением общества, с его политическими страстями и интригами»²¹⁷. Датско-шведское «историческое» противоборство длилось долгое время. Настолько долгое, что в нём поучаствовал и Петрей, причём ещё до того, следует заметить, как объявил варягов шведами, т.е. придворный историограф к моменту написания «Истории о великом княжестве Московском» уже показал себя искушённым бойцом в «баталиях» за «блестящее прошлое» Швеции. В 1611 г. он в «Краткой и благодетельной хронике», следуя своему первоисточнику «Истории всех готских и шведских королей» Ю. Магнуса и курсу правящих кругов своей страны, позволил себе много резких выпадов против датчан, в связи с чем они потребовали его наказания. По совету властей Петрей бежал в Германию, откуда смог возвратиться лишь только в 1621 г., когда скандал затих²¹⁸.

Как резюмировал в 1974 г. А.С. Кан, если шведские исторические сочинения XVI в. отличались определённой независимостью по отношению к королевскому правительству, то «последующая же историография была совершенно верноподданнической, выполняла роль рупора монархическо-лютеранской правительственной пропаганды», а государственные (королевские) историографы («рикс-историографы») выполняли «прямые задания королей под их контролем»²¹⁹ (то же самое подчёркивают и современные исследователи: в XVII в. шведская историография «превращается в орудие великодержавной монархическо-лютеранской правительственной пропаганды»²²⁰). Одним из таких заданий и было задание «превратить» варяга Рюрика, с которым ассоциировалось начало русского бытия и начало русской государственности, в шведа. Петрей и идущие за ним представители шведской донучной историографии XVII в. — Р. Штраух, Ю. Видекинд, Э. Рунштейн, О. Верелий, О. Рудбек и пр. — блестяще выполнили, твёрдо веря, опьянённые дурманом готицизма, в особую миссию своей родины на востоке (вот почему новгородцы, по «агитке» Петрея, «благоденствовали» под «правлением» шведа Рюрика, по «агитке» Видекинды, прозвучавшей в период расцвета шведского великодержавия, «с радостью приняли из Швеции князя Рюрика»), госзаказ. И поставили задолго до Г.З. Байера варяжский вопрос и решили его, с привлечением источников, трактуемых в удобном им духе, и изобретением ложных аргументов (прежде всего псевдолингвистических), в пользу шведов (как в 2009 г. признал Л.С. Клейн, «всё это дотошный Фомин... вытащил на свет божий. Тем самым зарождение норманизма приобретает смысл особой политизированности»²²¹).

Вместе с тем к созданию шведами норманской версии привела их непоколебимая убеждённость в исключительности собственной роли в мировой истории, которая на несколько столетий помутила их сознание и которую ещё в 1750 г., т.е. в эпоху Просвещения, со всей серьёзностью излагал согражданам (да и не только им) будущий государственный историограф О. Далин: «Мы, как шведы, должны благодарить творца за преимущество пред многими другими, которого нам не единый народ оспаривать не может»²²². И шведские «истори-

ки» и «историографы», ощущая, как все их соплеменники, своё «преимущество пред многими другими» народами, со всеземным размахом и пьянящим упоением, не оставляющим места для рассудка, с XV в. занимались, при поддержке и по заданию властей, мифологизацией своей истории (на что их дополнительно вдохновляло знакомство с сочинениями авторов прошлого: например, готский историк VI в. Иордан сравнивал Скандинавию с «мастерской, [изготавливающей] племена», или «утробой, [порождающей] племена», выводил готов от сына Иафета Магога и приписал своим сородичам подвиги скифов; а в схолии к немецкому хронисту XI в. Адаму Бременскому сказано, что «данов, свеонов, норманнов и прочие народы Скифии римские писатели именуют гиперборейями. Марциан превозносит их многими хвалами»²²³).

В «Прозаической хронике», составленной в 1450-х гг. и изданной в 1615 г., когда политике великодержавия потребовалось историко-идеологическое обоснование, «впервые в шведской исторической литературе отождествляются древнешведские ёты и готы, фантастически возвеличивается вся история Швеции» от библейского потопа до времени создания хроники. «Отец шведской истории» Э. Олай (ум. 1486) в «Хронике готов», увидевшей свет в том же 1615 г., излагает историю Швеции «с “древнейших” времён (от рождения Иисуса) до времени самого автора» и также выводит своих предков от готов, завоевателей Рима. В 1554 г. в Риме выходит (издана затем в Базеле в 1558 г., в Кёльне в 1567 г., раскупалась в Лондоне нарасхват и постепенно стала одним из наиболее популярных сочинений) «История всех готских и шведских королей» Ю. Магнуса, оказавшая, отмечают специалисты, на шведскую историографию последующих полутора веков наибольшее влияние (она представляет собой, по характеристике А. В. Толстикова, «гимн многочисленным моральным достоинствам и славным свершениям готов и их потомков шведов» и была, отмечает уже Л. П. Грот, официальной историей Швеции, воздействовавшей на умы страны вплоть до XVIII в.).

В этой истории, идеями которой массово проникались шведы, с восторгом узревая под их гипнозом всё новые и новые миражи в своём «великом» прошлом, Швеция «выступает как мать-прародительница других народов, и к легендарным шведским королям исландских саг примыслены новые — восемь Эриков (до Эрика Святого) (погиб в 1160 г. — В. Ф.) и шесть Карлов (до Карла Сверкерссона) (правил в 1161–1167 гг. — В. Ф.)», Магог, внук Ноя, зачислен не только в праотцы, но и в первые короли готов-шведов, история скифов преподнесена в качестве истории готов, да и многие герои древности оказались готами, ибо их готские имена были искажены. В генеалогических таблицах 1598 г. Э. Е. Тегеля, находившегося на службе правителя Швеции герцога Карла, через шесть лет ставшего королём Карлом IX, данный библейский персонаж также преподносится в качестве «праотца» и «первого шведского и готского короля»²²⁴. «Первым конунгом» он предстаёт и в череде «свеярикских и гётских конунгов» хроники Петрея 1611 г. (а через три года с той же степенью «историзма» придворный историограф выдаст варягов за шведов).

Шведы, ведомые безграничными националистическими амбициями, не только закладывали в основу собственного бытия ветхозаветную историю, но

и присовокупляли к ней иные истории, отводя в них главную роль своим предкам. Как сегодня демонстрирует Грот на обширном материале (малознакомом или вовсе незнакомом нашим исследователям), в Швеции в XVI–XVII вв. усиленно шла не только пропаганда готицистских идей о происхождении шведов от древних завоевателей мира — готов, якобы вышедших из Швеции (и отождествлённых со шведским племенем ётов, или гётов), и о превосходстве шведов над другими народами, но и жёсткая увязка их истории с историей Древней Греции, что порождало новые исторические мистификации. В конечном итоге бесцеремонная прививка шведами родной истории к весьма престижному древу античной истории привела к тому, что они стали «рассматривать себя как основоположников древнегреческой цивилизации, образовавшей фундамент европейской культуры, а заодно и как основателей крупнейшего восточноевропейского государства — Древней Руси». В этом процессе мифологизации шведской истории, идущем стремительно и столь же стремительно завоёвывавшем умы (как просвещённые, так и не очень, причём не только в Швеции), исключительно важную роль сыграло несколько лиц.

Так, вышеупомянутый И. Л. Локций в 1647 г. утверждал, что первыми готскими, следовательно, шведскими законодателями были «*Замолкис*, ученик *Пифагоров*, и *Дикеней*», и что уже в III в. существовали писанные готские законы. В 1685 г. философ и поэт Г. Штэрнфельм (1598–1672) в своём трактате о гиперборейцах развивал идею властителя дум образованных слоёв шведского общества и бывшего учителя будущего короля Густава II Адольфа Ю. Буре (1568–1652), к которой тот пришёл в 1610–1613 гг., т. е. в самом начале эпохи Великодержавия. Идею, согласно которой Скандинавский полуостров является страной гипербореев/скифов/готов древнегреческих мифов, «а гипербореи, от которых древние греки получили самых древних богов — это свеи, и, следовательно, древнегреческие культы — скандинавского происхождения» (Аполлон и его сын Ньёрд — это искажённые шведские Один и Норд, имя последнего — Север — греки перевели на свой язык как Борей).

В географических названиях тех же мифов Штэрнфельм усмотрел искажённые скандинавские топонимы, например, «в Эликсии или острове гипербореев он опознал Helsingör или Heligsond в Западной Норвегии», а в собственных именах гипербореев выявил якобы искажённые скандинавские имена, например, имя гиперборейского мудреца Абариса, упоминаемого Геродотом и посвятившего самого Пифагора в тайны природы (следовательно, древние греки приняли свои знания из Скандинавии), есть «Ewart или Iwart». А также утверждал, что во многих источниках, в частности, у Диодора Сицилийского (I в. до н. э.) повествуется о событиях древней шведской истории, что «Скандинавия была колыбелью многих народов-завоевателей, которые могли выступать под разными именами, но благодаря их завоеваниям распространялся язык, поэтому шведский язык занимает особое положение благодаря своей древности». Ученик Штэрнфельма О. Верелий (1618–1682), первый профессор Упсальского университета в области изучения шведских древностей, «положил начало сравнительному анализу исландских саг с целью обоснования выводов своего учителя о скандинавском происхождении гипербореев». И своей публикацией

«Гервардовой саги» в 1672 г. он оказал, резюмирует Грот, большую поддержку традиции готицизма, причём её рассказы о событиях, связываемых с Восточной Европой, в его редакции могли сравниться лишь с фантазиями Ю. Магнуса (в названном труде Верелий и ведёт речь о варягах-«скандинавах»).

В 1679–1698 гг. О. Рудбек (1630–1702), профессор медицины (а также астроном, ботаник, зоолог, филолог, топограф, инженер, архитектор, пиротехник, поэт, певец и пр.²²⁵) в трёхтомной «Atlantica» («Атлантида»), исходя из посылки, отмечает Грот, что за именами многих народов и стран у древних авторов скрываются прямые предки шведов и Швеция в древности и что с течением времени это забылось, с огромным рвением взялся реконструировать, мешая источники и свои фантазии и вкладывая в уста древних авторов то, что ему заблагорассудится, «утраченную шведскую историю». По причине чего осуществляя, констатирует и А. В. Толстиков, настоящий произвол в отношении источников, «открывая» в них скрытый смысл и метафорически его истолковывая. В итоге Рудбек отвёл Швеции, отождествив её с Атлантидой Платона (атлантический акрополь — со Старой Упсалой, храм Аполлона — с языческим капищем свеев в Упсале), центральное место в европейской истории, включая древнегреческую, древнеримскую, скифскую, русскую, и представил её колыбелью общеевропейской культуры, а предков шведов — древнейшим населением Восточной Европы.

А в качестве доказательства того объявляя слова, принадлежавшие иным историям и культурам, а также то, что они обозначали, шведскими (подобная «этимологизация» станет ключевой в формировании системы доказательств норманистов). Так, имя Магога — это явное шведское имя Мангог, означающее «могучий герой», в связи с чем страна Гога и Магога, упоминаемая в Библии, «находилась в Швеции, а шведы были князьями над финнами и русскими», что имя Борей принадлежало древнему шведскому конунгу, а название Имейской горы, о которой говорит, например, Страбон, образовано от имени великана Имира из «Младшей Эдды». И лишь только самую малость взглянув на самую узловую проблему нашей истории всепроникающим шведским оком, этот чудотворец легко развязывает её посредством таких же словопроизводств: выводит термин «варяги» от древнешведского warg-волк и заставляет «шведских волков»-«варягов» бороздить Балтийское и южные моря вплоть до Спарты, в острове русов видит милую его сердцу Швецию, или «Warg-öön», т. е. «Волчий остров». А почему она получила это имя, разъяснил Верелий в «примечании к Гервардовой саге: от великого разбоя на море, поскольку волки (Wargur) — это те, кто грабят и опустошают и на суше, и на море».

С «Волчьего острова», продолжает Рудбек незамысловатое плетение норманистских словес, на Русь пришли три брата Roderik Warg (Рёрик Волк, «его родственники или девери/зятя... правили в Литве, Финляндии, Швеции и Норвегии»), Sinaus и Trygo (в старых летописях рассказывается, что своими первыми королями русские считают тех, кто пришёл с острова Варгён, который находился по другую сторону Балтийского моря, из чего ясно, что это была Швеция). Таким образом, вдальблывал взращённому на готицизме читателю свои фантазии Рудбек, «великокняжеское имя русской династии явилось из Швеции,

когда мы к ним пришли», что Ладога есть Алдога саг, а объединитель Новгорода и Киева Вальдемар (Владимир Святославич) являлся потомком Эрика Вэдерхата, короля Швеции (сказочного персонажа, менявшего направление ветра поворотом своей шляпы. Как не заметить, что такой сюжет очень бы даже украсил «кинохалтуру» норманистики «Викинг», знай о нём её главные консультанты В. Я. Петрухин и Ф. Б. Успенский).

Стремясь навязать тому же доверчивому читателю представление о владычестве шведов над народами Восточной Европы с древности, следовательно, обосновать их историческое право быть вершителями судеб русских во все времена, Рудбек с тем же вдохновением повествует, что венды, анты, славяне были под властью Германариха, а «задолго до нашего Германариха, во времена Александра Великого Один, вернувшись в Швецию, уже тогда подчинил себе все эти королевства и разделил их между своими детьми, и один из них... получил Гордарики или Nogord, т. е. Ryssland» (видя в царских скифах шведов, уверял, что «русские или славяне были батраками или слугами» у них). В 1693 г. он инициировал публикацию перевода «саги о братьях Эгиле и Асмунде и их путешествиях на восток». Причём автор комментариев к тексту саги её переводчик П. Салан убеждал, что хазары и варяги, бравшие дань с русских, могли быть только шведами (в отношении этих слов Грот точно заметила: «...Ещё бы немного, и хазар тоже объявили бы шведами. Но их Бог миловал, пронесло!»)²²⁶.

Что сотворил Рудбек с умами своих сограждан, точнее, чем их надолго отравил, видно из слов француза П. Видаль-Накэ, констатирующего в 1981 г., что он «создал национальный миф, где оказались объединёнными предание о Ное и его потомках и готская легенда», провозгласил Швецию «прародиной человечества», что в период правления Густава II «идея о готском первородстве стала национальным скандинавским мифом». Очень близко к тому рассуждают А. С. Мыльников (готицизм при Карле IX и особенно Густаве II был возведён «почти что на уровень государственной идеологии Шведского королевства»), А. В. Толстиков («Атлантида» Рудбека есть апофеоз готицизма, «пример “патристической науки”»). Ныне Л. П. Грот, указывая, что особую поддержку готицизм получил при Густаве II, констатирует, что при нём «представление о древнем величии шведских королей и грандиозных масштабах их завоеваний достигло апогея своего развития и легло в основу шведской историографии».

Озвучила исследовательница и заключения шведских специалистов в отношении главного апологета мнимой славы Швеции Рудбека. Он, диагностировав Ю. Свеннунг, довёл «шовинистические причуды фантазии до полного абсурда». Эмпиризм Рудбека, по мнению П. Бейля, «граничил с паранойей». Его «причуды фантазии», отмечает Грот, давно получили негативную оценку в шведской историографии, а само его имя породило понятие «рудбекианизм», являющееся синонимом басноплётства в истории. Приговор ему и ему подобным давно вынесен и в других науках. А. Л. Шлёцер в 1764 г. резюмировал, что «существует множество маленьких сочинений, написанных иностранцами, особенно шведами, о русской истории... Отчасти то небольшое хорошее, что в них хранится, покрыто таким слоем ложных, бесполезных или общеизвестных фраз, что чтение их требует своего рода самопожертвования». Через четыре года он Руд-

бека назвал «шутником» и «начитанным дикарём» со «своими снами и галлюцинациями». А в «Несторе», приведя слова К. Г. Делиуса, «что никакая история не может представить такого бреда учёной фантазии, как шведская», подчеркнул: в XVII в. «в Швеции почти помешались на том, чтобы распространять глупые выдумки, доказывающие глубокую древность сего государства и покрывающие его мнимую славою, что называлось любовью к отечеству»²²⁷.

Свой националистический взгляд на русскую историю, т. е. одну из «шовинистических причуд фантазии», шведские авторы XVII в. выражали шумно и на разных языках: шведском, немецком, латинском, в связи с чем он находит многочисленных приверженцев вне Швеции. Особенно благосклонно было принято германскими мыслителями континентальной Европы, под воздействием тех же готицистских идей, сочинение Рудбека (оно выдержало несколько изданий на шведском и латинском языках)²²⁸. «В конце XVII — первой половине XVIII в., — говорит Грот, — Рудбек был популярен в первейших западноевропейских салонах, такие авторитеты, как Вольтер, курили ему фимиам». Точно так поступали и другие виднейшие представители французского Просвещения — Монтескьё, Руссо, Шатобриан, давая тем самым «фальсификаторам шведского политического мифа входной билет в мир общеевропейской науки»²²⁹.

Но вместе с тем Западная Европа тогда была ещё далека от полной капитуляции перед придуманной шведами норманской теории. Так, её категорически не приняли задолго до русского М. В. Ломоносова, которого ошибочно преподносят в качестве родоначальника антинорманизма, немецкие учёные — эти подлинные первые антинорманисты. Так, например, прусский историк М. Преторий в 1688 г. утверждал, что русские призвали себе князей «от народа своей крови» «из Пруссии и с ними сообщённых народов», но только, как решительно он отметал норманизм, не из Дании или Швеции²³⁰. Но через 100 лет с небольшим другой прусский историк А. Л. Шлёцер, справедливо ведя речь о «глупых выдумках» шведских сочинителей XVII в., помешавшихся на мнимой славе своего отечества, вместе с тем не захотел увидеть, что точно такой же глупой выдумкой этих националистов является норманская теория, чётко нацеленная на решение конкретных практических задач, направленных против России (причём из всех бредовых фантазий шведов XV–XVII вв. в науке осталась только эта теория). И правы были, конечно, те исследователи, которые считали, что варяго-русский вопрос родился не в сфере науки, а в сфере политики. Но только не в той, о которой они говорили. По верному заключению Д. А. Авдусина от 1986 г., «у колыбели норманизма стоял шведский великодержавный национализм»²³¹.

Глубоко заблуждается современный финский учёный К. Таркиаинен (а до него так заблуждались многие), полагая, что Петрей благодаря именно русским традициям получил исходный пункт для своего норманистского толкования варяжской проблемы, «вероятно, из-за участия в Выборгских встречах»²³². Роль переговоров в Выборге в августе 1613 г. в качестве исходного пункта для норманистского толкования придворным историографом варяжской проблемы несомненна, но «русские традиции» здесь не причём (как не причём и никакая традиция со стороны к тому, что он преподнёс библейского Магога в качестве

«свеярикского и гётского конунга». В данном случае весьма уместно привести слова А. Л. Шлёцера, высмеивавшего готицистские басни шведов XVII–XVIII вв., которые они всему свету рассказывали о своём прошлом, пытаясь тем самым заполнить его пустоту: «Антикварию прежде сего были не только легковёрными, но даже часто бесстыдными людьми. Одному шведу вздумалось, будто он в отечестве своём нашёл следы *Магога*: бредни свои рассказал он глупым людям, которые повторили их за ним и после этого вздор этот назван *преданием народным*»²³³). И лишь только отчасти можно согласиться с мнением шведского историка Э. Нюлена, прозвучавшим в 1982 и 1986 гг.: «Весьма лестным для шведского национального самосознания было утверждение средневековых источников, что Киевская Русь получила начала государственности из коренной области шведов»²³⁴. Потому как все средневековые источники совершенно молчат о подобном «экспорте» государственности из Швеции на Русь.

О том же молчат, не проводя никаких аналогий между норманнами (скандинавами, шведами) и варягами русских летописей, все соотечественники Петра XIV–XVI вв.²³⁵ Хотя шведские авторы XVI в., повально заражённые идеями мифотворческого готицизма, легко превращавшего иные истории в историю шведскую, уже начинают вкраплять своих предков, приписывая им небывалочудесные действия, в русские древности, но при этом нисколько не касаясь ни варягов, ни всего того, что с ними обычно связывают. Например, пастор Я. Гислонис (ум. 1590) в кратком историческом обзоре мировой истории «*Chronologia seu temporum series*», опубликованном в 1592 г. (т. е. за 22 года до появления первых частей «Истории о великом княжестве Московском» Петра) и повествующем о прибытии «готов, или шведов» в Скандинавию, о последующем их расселении по многим землям, где они прозвались разными именами, «называет конкретные даты жизни и славные подвиги некоторых шведских королей, до сих пор не обнаруженных шведской медиевистикой. Так, он сообщал о некоем короле Инго II, который в 900 г. прошёл огнём и мечом всю Россию вплоть до Дона, или о короле Ингере, который в 937 г. с флотилией в 1000 судов выступил против русского короля».

Однако, указывает Л. П. Грот, в своих «хвалебных писаниях Гислонис ни словом не упомянул о таких шведских подвигах, как основание древнерусской династии и древнерусского государства, не названы им были и имена древнерусских князей — всё это выходило даже за рамки его необъятной фантазии». Никаких аналогий между скандинавами и варягами не проводила и вся европейская литература той же эпохи, затрагивающая истории Швеции и России. Как отмечает Грот, «немецкая традиция XVI–XVII вв., или шире — традиция общеевропейская, которой следовала и Швеция, в рамках своих знаний о мировой истории ничего не знала о связи Швеции с древнерусской историей». «Более того, — заостряет она внимание на факте, с особенной силой зазвучавшем в науке в последние годы, — в это же время публиковались работы немецкоязычных авторов, где говорилось о варягах как населении Вагрии»²³⁶.

В данном случае показателен пример с одной из лучших книг XVI в., содержащей тщательно отобранный огромный массив сведений по истории, географии, биологии и использовавшей не дошедшие до нас источники. Речь идёт

о «Космографии» немца С. Мюнстера, вышедшей в 1544 г. в Базеле. А показателен потому, во-первых, что одним из вдохновителей её написания был шведский король Густав I Ваза, призывавший автора воспеть величие и славу готов. Мюнстер, выполняя столь ответственный заказ, скрупулёзно проследил историю шведских правителей и посвятил свой труд, над которым работал долгих 18 лет, Густаву I²³⁷. Но при этом ничего не сказав о связи древних шведов и их конунгов с русскими варягами. Ибо ни у него, ни у его современников, включая шведского монарха, стремившегося прославить в Европе прошлое Швеции, а очень хорошо известные, как то вытекает из изложения Мюнстера, варяги бы тому очень поспособствовали (и вместе с тем очень сильно бы задели самолюбие русского царя Ивана Грозного, категорически не желавшего общаться с ним на равных), и мысли не было о такой связи. Во-вторых, показателен тем, что Мюнстер в соответствующем месте не только прямо называет родину русских варягов — южнобалтийскую славянскую Вагрию: Рюрик был из народа «вагров» или «варягов», но и преподносит эту информацию в качестве общепринятой истины. «Отождествление Мюнстером варягов с ваграми, — заключает Грот, — причём дополненное упоминанием их главного города Любека, не вызвало в европейских образованных кругах никаких нареканий, из чего проистекает вывод: в XVI в. в европейской исторической науке не существовало идей о “германстве” варягов. Это тем более очевидно, что Мюнстер был крупным учёным своего времени»²³⁸.

О связи шведов с варягами правящие круги в Швеции не помышляли и позже. Выше говорилось, что в начале 1570-х гг. сын Густава I Юхан III, стараясь доказать Ивану IV свою равенность ему, следовательно, равенность Швеции России, пошёл на фабрикацию подложной родословной, увязывающей род Ваза с древними конунгами. Первым из них назван Карл Сверкерссон, правивший в 1161–1167 гг., т. е. и в этом случае ни короля, ни его окружение, где были придворные «историографы», хорошо уже поднаторевшие в фальсификациях родной истории, варяги IX–X вв., основавшие правящую в России династию Рюриковичей (представителя которой Юхан III унижительно умолял, как это делали его отец и брат, Эрик XIV, «учинить себе в братстве» и позволить непосредственно вести переговоры с ним, а не с новгородским наместником), не привлекли абсолютно никакого внимания (хотя более удобного момента с выгодой для себя обыграть варяжское, якобы «шведское» происхождение Грозного шведам было не найти, к тому же в условиях Ливонской войны).

Тогда же член шведского посольства абоского архиепископа Павла Юстена, отправленного Юханом III в Россию в 1569 г. и задержанного там на несколько лет, «толмач живучи Аврам в государя нашего царстве лазучил и выписывал родство государя нашего и разряды (курсив мой. — В.Ф.), и человек Аврамов за то кажен... а во всех землях таким лазукам милости не кажут» (подобных любителей русских секретов было немало: шведские шпионы были, как утверждает Г.В. Форстен, даже при особе царя). Но и в родословной Ивана Грозного взгляд шведских специалистов в области генеалогий нисколько не задержался на тех же варягах, от которых он — надменный по отношению к их королям потомок Рюрика — вёл свой род²³⁹. Да и сам Петрей, что также весьма симпто-

матично, приступив к написанию «Истории о великом княжестве Московском», не скрывал тщетность всех своих немалых усилий по поиску ответа на мучивший его (и его патронов) вопрос: «Но я нигде не мог отыскать, что за народ были варяги», хотя был не только близок к официальным кругам, но и являлся придворным историографом, обязанным знать основные моменты истории своего народа и государства.

И, разумеется, не рассказ ПВЛ о призвании варягов послужил исходным пунктом возникновения норманизма и варяго-русского вопроса вообще, а слова Киприана об этносе Рюрика в подаче шведских политиков и историографов, сквозь призму которых стали смотреть и на сам этот рассказ, и на саму историю Руси. Хотя архимандрит Киприан и не касался этноса Рюрика, но его слова о «варяжском» происхождении последнего, т.е. о выходе родоначальника русской династии из пределов Западной Европы и принадлежности к кругу европейских монархов, многие из которых возвеличивались, также не имея к нему никакого отношения, началом от римского императора Августа, были преднамеренно истолкованы шведами за свидетельство причастности варяжского князя к их народности и в таком виде были внесены ими в официальный документ. Норманистская же литература эту фальшивку выдала за извечное мнение самих русских о скандинавском происхождении варягов, в связи с чем летописцев стали преподносить, в нарушение норм критики, как «первых норманистов» и даже как «сознательных творцов норманской концепции» истории Руси.

Однако наши летописцы никогда не связывали варягов, активных участников строительства Русского государства, со шведами. Не связывали даже тогда, когда сопоставляли древнюю историю Руси и Швеции и проводили в них определённые параллели. В Оболенском списке Псковской первой летописи, содержащем её редакцию середины XVI в., под 1548 г. помещён рассказ «О прежнем пришествии немецком и о нынешнем на Новгородскую землю, и о нашествии богомерскаго свеискаго короля Густафа с погаными латыни на Рускую землю, и о клятве их». Его автор, говоря о шведах и зная об особенностях происхождения у них королевской власти, пишет, что «земля же бе их не славна, но не ведома бе и не слышна, поне же худа и мала бе земля, и людие грубы и не мудры бяху... Исперва не бе в них короля, но князь некий от иныя земля начат владети ими, яко же и у нас в Руси приидоша князи от варяг и начаша владети Рускою землёю; и начат сии свеиский князец разбоем кормитися и богатети.....Свеиский король не исперва бе кралевством, но егда обогате от разбоя и чюжие грады плени, тогда и короля себе нарече. И из начала Руския земля сии погании латина свеичи и ливонские немцы, не слышано бысть пришествие их, коли бы пришли на Новгородскую и Псковскую землю воевати, и до Батыева пленения»²⁴⁰.

И мысль о шведском происхождении Рюрика и русских варягов впервые печатно огласил в 1614–1615 гг. на шведском, а в 1620 г. — на немецком, как его охарактеризовал за эту ложную мысль в 1808 г. Г. Эверс, «простодушный пустомеля *Петпей*»²⁴¹. Утверждая действительно пустое, но из этого пустого произросла норманская версия, принятая за бесспорную научную истину, историо-

граф простодушным, конечно, не был. Напротив, влекомый желанием, в том числе под влиянием готицистских фантазий, творить мнимую славу своего отечества, он первым, как давно уже считают в Швеции, сказал, «что шведы заложили основы русского государства»²⁴². Хотя, по оценке финского учёного А. Латвакангаса, норманистское толкование Петрея было «ещё осторожным»²⁴³. Однако осторожничать ему было ни к чему: ведь варягами-«шведами» он не только возвеличивал Швецию, но и «исторически» обосновывал и усиливал ими, по команде властей, шведский натиск на восток.

Само же время от его «Истории о великом княжестве Московском» до «Атлантиды» Рудбека, т. е. 1614–1698 гг. представляет собой первый этап в развитии норманской версии, в рамках которого она, как шведский взгляд на русскую историю, не только вполне сложилась, но и стала умопомрачающей *idée fixe*. Е. А. Мельникова в 2014 г. согласилась с тем, о чём давно говорит автор настоящих строк, но с поправкой на свою убеждённость в норманстве варягов, что зарождение и дальнейшее развитие норманской проблемы «было отягчено политическими и идеологическими мотивами» и что норманская интерпретация начала Руси была впервые использована в политических целях в XVII в. — «факты скандинавского (шведского, по мнению, шведских историков) происхождения Рюрика и присутствия скандинавов в Восточной Европе в 9–10 вв. были использованы в Швеции для утверждения политики экспансионизма в Восточной Европе»²⁴⁴.

Второй этап в развитии данной фикции был обусловлен Северной войной, открывшейся громкими победами Швеции, но закончившейся для неё грандиозной катастрофой. А завершает его статья немецкого учёного и русского академика Г. З. Байера «О варягах» 1735 года. Суть этого этапа можно выразить словами Б. Шольц и Л. П. Грот: что, по причине ущемления национальной гордости, «особый оттенок приобрели историографические изыскания шведских писателей по древнерусской истории», что в них сильно «выражены политические тенденции» и что «наиболее значительные шведские исследования о происхождении русских и варягов появились после того, как Швеция лишилась своего господствующего положения в Балтийском регионе (Ништадтский мир 1721 г.), уступив первенство России. В этих трудах шведские авторы (их Шольц относит к «патриотическому исследовательскому направлению». — В. Ф.) с помощью исторических аргументов стремились узаконить претензии на господство, которое уже нельзя было осуществить силовыми методами»²⁴⁵.

Но что уже никак невозможно было осуществить силовыми методами после победы России в Северной войне, превратившей её в главного игрока в Северной Европе и положившей конец великодержавным амбициям Швеции (по Ништадтскому договору та «утратила почти все свои континентальные владения и из господствующей на Балтике державы превратилась в государство среднего ранга с ограниченными внешнеполитическими задачами»²⁴⁶), можно было достичь более мощной, чем прежде, пропагандой идеи о принадлежности варягов к шведской крови, т. е. идеи о государственном превосходстве шведов над русскими «варварами», унизившими их национальное самолюбие в глазах всей Европы. А такой опыт в Швеции был уже накоплен богатый.

Он был значительно приумножен в годы Северной войны, когда шведская пропагандистская публицистика «поносила» «москвитов-никониан», «шведы в своих “письмах” и “листах”, адресованных соотечественникам и западноевропейскому читателю, изображали своего восточного неприятеля агрессором и варваром, чуждым европейской культуре», «глумились над Петром», печатали карикатуры на него и русских воинов, представляли Карла XII «в образе Георгия Победоносца, убивающего русского змия», утверждали, что король, «принуждённый иметь дело с варварским государством, похож на человека, намеревающегося убить дикого зверя; он наносит ему один за другим жестокие удары, но животное, почувствовав раны, свирепеет ещё более»²⁴⁷.

Идея о государственном превосходстве шведов над русскими, воспринимаемыми низкосортными людьми (почти что дикими зверьми и животными), громко звучала, с использованием и приумножением наработок предшественников, в устах Х. Бреннера, А. Моллера, А. Скарина. Так, Скарин стремился, подчёркивает Л. П. Грот, «показать древние корни шведского владычества в России через доказательство шведского происхождения варягов. Основным источником вдохновения для Скарина являлась “Атлантида” Рудбека и весь её миражный гигантизм, который мыслился как реальная история древней Швеции». И, относя основание Одином Великой Швеции, в состав которой входила Московия, к 24 г. по Р.Х., этот швед был непреклонен в своём выводе, что «великие правители Московии... не могли произойти от каких-то неизвестных славян, они произошли от нашей готской плоти и крови».

Б. Шольц указывает, что Россия, согласно Скарину, «была частью великой шведской империи, в течение столетий находилась под господством шведского королевского дома. Легенду о призвании варягов он увязал со Смутным временем, когда рассматривалась кандидатура шведского принца на вакантный царский престол. Таким образом он пытался обосновать права Швеции на управление Россией». В целом подытоживая свой весьма содержательный разговор о шведских норманистах добайеровского времени, немецкая исследовательница констатирует: что «попыток научно-исторического подхода» у них не найти и что интерпретации Петрея и Скарина «ближе других к тому, что в литературе понимается под “норманской теорией” в негативном смысле: русским отказывалось в способности создать собственное государство и управлять им, и тем самым исторически оправдывается чужеземное господство»²⁴⁸.

Рассуждения шведских авторов о варягах-шведах, активных участниках русской истории, с самого начала были предназначены не только для внутреннего потребления, но и для внешнего. И постепенно идея о государственном превосходстве шведов над русскими находит поддержку за пределами Швеции. В том числе в Германии, где изначально, как это следует из трудов С. Мюнстера и С. Герберштейна, в варягах видели южнобалтийских славян. Но уже в 1717 г. учёный из немецкого г. Гюстрова Г. Ф. Штибер отверг мнение своего земляка Ф. Томаса, доказывавшего, полемизируя с П. Петреем, что Рюрик вышел из славянской южнобалтийской Вагрии, и, напротив, убеждал читателя в том, что основатель знаменитой русской династии был скандинавом²⁴⁹. В труде «Семь диссертаций о происхождении русских», опубликованном в 1731 г. в Дрездене

и Лейпциге, филолог и историк И. Х. Шетген утверждал, опираясь на заключение шведа Х. Бреннера, что Русское государство имело отношение к шведам²⁵⁰.

Однако окончательно мысль о варягах-«норманнах» европейскому научному сообществу была привита посредством Г. З. Байера. И привита в силу того, что немецкий историк работал в Петербургской Академии наук и что его статья «О варягах» вышла в 1735 г. на латинском языке в «Комментариях» той же Академии. Поэтому его мнение о скандинавской природе варягов и родоначальника династии Рюриковичей было воспринято на Западе как мнение самих русских, выраженное русским учёным. Вот почему в знаменитой французской энциклопедии XVIII в. — «Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers» — в 1756 г. была помещена краткая информация о варягах, излагающая точку зрения Байера: в «диссертации», опубликованной в Петербурге, он демонстрирует, что варягами были шведские, датские и норвежские воины, находившиеся на службе у русских (причём свой вывод он «доказывает» тем, что все имена варягов, начиная с Рюрика, есть «имена датские, шведские или норвежские», т. е. прямо повторяет посылку его «диссертации» «О варягах», что «есче от Рюрика все имяна варягов, в русских летописях оставшиися, никакого иного языка, как шведского, норвежского и датского суть»)²⁵¹.

Хотя интеллектуалы-энциклопедисты наверняка знали, что статья Байера «О варягах» не содержит ничего оригинального и лишь обобщает давно известные «аргументы» норманизма, что, впрочем, хорошо видно из слов её же автора: «Сказывают же, что варяги у русских писателей были из Скандинавии и Дании»²⁵². А такое сказывать могли только шведские сочинители XVII — первой трети XVIII века. Как подчёркивал в 1875 г. А. А. Куник, «Байеру известны были... шведские отзывы 17-го и 18-го столетий о варягах, хотя он и не цитировал всех их» (о том же говорил в 1993–2005 гг. пишущий эти строки)²⁵³. Но что это были за отзывы конкретно и как они отразились на отношении Байера к русской истории, впервые продемонстрировала в 2012 г. Л. П. Грот на оригинальном материале — на переписке немецкого учёного со шведскими историками во время его проживания в Кёнигсберге, а затем, с февраля 1726 г., в Санкт-Петербурге. Проведённый ею скрупулёзный анализ показывает, что Байер свою статью писал по совету и подсказкам шведов, подсовывавших ему в качестве источников фантазии Ю. Магнуса, О. Рудбека, О. Верелия, а вместе с ними и собственные измышления. Например, вышеупомянутый Х. Бреннер в переписке с Байером обсуждал вопросы «этимологии» русских и славянских названий днепровских порогов в своей трактовке.

В письме 1731 г. к профессору Упсальского университета Ю. У. Росенадлеру Байер отмечал, что он очень увлечён этимологиями Рудбека, а в письме к секретарю архива Древностей Ю. Хелину в августе следующего года сообщал, «в частности, что он прочёл диссертацию Моллера, которая вызвала у него большой интерес» (сегодня Е. В. Пчелов, скользя по самой поверхности историографии варяжского вопроса, уверяет, что Байер, опираясь «на данные лингвистики, обосновал скандинавское происхождение варягов, которое признано и современной исторической наукой». Но «данные лингвистики» он либо позаимствовал у Рудбека, либо «увлечённо» творил их по его же шаблону. Как резюмиро-

вал в 1855 г. С. М. Соловьёв, по сути повторяя М. В. Ломоносова, Байер к своим «странным» словопроизводствам шёл «путём внешних филологических сближений», впадая при этом «в крайность»: Москва «от Москового, т. е. мужеского монастыря; Псков от псов, город псовый», а «в имени Святослав непременно хочет видеть скандинавский корень *свен*; во Владимире — Валдемера, в Всеволоде — Визавалидура». Да и не открывал он, вопреки В. Я. Петрухину, финского наименования Швеции Ruotsi, потому как и это «открытие» было сделано шведами задолго до него).

Начитавшись «шовинистических причуд фантазии» о русских варягах, накопленных шведами за 120 лет и «любезно» навязанных ему шведскими коллегами, пропагандистами лжеваряжского величия Швеции, выпускник богословского факультета Кёнигсбергского университета Байер, изучавший жизнь и эпоху Христа и совершенно не знавший ни русской истории, ни русских источников, безоговорочно принял эти галлюцинации за исторические реалии и озвучил их в статье «О варягах» (хотя немецкая традиция до Байера, в его время и позже выводила варягов с южного берега Балтийского моря). Так, абсолютно по О. Рудбеку он «обосновывал» идею о шведском происхождении варягов: «...Скандия от некоторых называется Вергион и что оное значит остров волков» (выше отмечалось, что имя «варяг» производил в 1732 г. от *warg*-волк и Г. Ф. Миллер, а данный факт указывает на общий источник этих немецких учёных — шведскую историографию, совершенно мутную от мифов и фантазий, из которой они черпали свои познания об истории Руси).

Выхода статьи Байера, констатирует Грот, «ждали в Швеции с большим нетерпением. Моллер поторопился прислать ему текст диссертации, которую Байер прочитал уже в 1732 г. и успел включить в свою статью с похвалами в адрес Моллеровой учёности» (Байер, как можно судить по названию его статьи «*De Varagis*»/«О варягах», видел в ней прямое продолжение «диссертации» Моллера «*De Varegia*»/«О Варегии», т. е. Швеции). А «один из шведских корреспондентов Байера, крупный деятель шведской культуры Эрик Бенцелиус в письме к своему брату писал, что у него заранее слюнки текут от предвкушения прочтения статьи Байера». Как подводит черту исследовательница, шведские историки «стремились распространять сведения о своих “варяжских” находках среди иностранных учёных, пытались сделать и эти идеи достоянием общеевропейской исторической мысли»²⁵⁴. Посредством Байера им очень даже это удалось: его статья, приготовленная по их заказу и по их рецептам, была преподнесена энциклопедическим изданием, освящённым именем высочайшего авторитета той эпохи — Д. Дидро — и просвещающим читателей (и не только Франции) по многим вопросам, в том числе науки, в качестве абсолютной истины и достижения именно русской исторической мысли.

Вместе с тем взгляд Байера на проблему происхождения варягов был шире рамок шведского взгляда на историю Руси. Потому как он одновременно говорит о приходе в её земли «варягов» из Норвегии (в чём видно влияние Г. Ф. Миллера, в 1732 г. выводившего их в первую очередь из норвежского королевства) и из Дании. Судя по вышеприведённым словам М. Претория от 1688 г., последняя в качестве родины варягов давно фигурировала в литературе. К такому

выводу авторов XVII в. могли подтолкнуть, во-первых, известие западноевропейского хрониста Титмара Мерзебургского (ум. 1018). Хронист, рассказывая о войне Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного за киевский стол, в которую вмешался тесть последнего польский король Болеслав Храбрый, зафиксировал со слов очевидцев (немецких наёмников в польском войске) наличие в 1018 г. в Киеве «стремительных данов»²⁵⁵.

Во-вторых, французская литература XVII века. В книге, изданной в 1607 г., француз Ж. Маржерет, служивший в 1600–1606 гг. офицером Б. Годунову и Лжедмитрию I, в следующих словах доносил до соотечественников начало династии Рюриковичей: «Согласно русским летописям, считается, что великие князья произошли от трёх братьев, выходцев из Дании, которые около восьмисот лет назад завладели Россией, Литвой и Подолией, и Рюрик, старший брат, стал называться великим князем владимирским». В 1649 г. вышел в свет историко-географический труд другого француза — Ф. Бриэ, который также связывал Рюрика с Данией. Как в 1878 г. задавался вопросом А.А. Куник, вывод варягов из Дании не был ли сделан Маржеретом на основании того, что ПВЛ «при перечислении различных видов варяжских племён о датчанах не упоминает»?²⁵⁶. Однако к такому предположению можно прийти, лишь многие годы специально занимаясь варяжским вопросом, да ещё будучи изначально предубеждённым в норманстве варягов (и именно так будут полагать два с лишним века спустя учёные-норманисты).

По словам Н.Г. Устрялова и М.А. Алпатова, Маржерет, хотя и знал русский язык, вряд ли при этом пользовался летописями и сюжет о варягах, скорее всего, слышал, по мнению Алпатова, в пересказе кого-нибудь из русских²⁵⁷. Последнее звучит более чем невероятно. Если бы такое мнение действительно бытовало среди русских того времени, то оно, несомненно, многократно было бы зафиксировано в отечественных памятниках, а тем более в записках иностранцев, часто и в большом числе проживавших в те годы России. Но, как вынуждены были признать, отмечая тем самым безуспешность подобных попыток, С. Герберштейн, посещавший Россию дважды (1517 и 1526), и П. Петрей, бывший в Москве одновременно с Маржеретом, что они ни от самих русских, ни из летописей ничего не могли узнать (по словам Петрея, «отыскать», что отражает очень большую настойчивость его усилий), «что за народ были варяги»²⁵⁸.

В действительности, суждения Маржерета и Бриэ, о выходе Рюрика из Дании представляет собой перенос общеевропейского мнения, отражённого в 1540-х гг. С. Мюнстером и С. Герберштейном, о славянской южнобалтийской Вагрии как родине варягов, на политическую карту Западной Европы начала XVII века. Вагрией называлась территория между Балтийским морем и реками Траве (Травной) и Свентине (Святыней) и озером Плонское на западе, т.е. северо-восточный угол современного Шлезвиг-Гольштейна, который венчает остров Фембре (Фемарн)²⁵⁹. В 1139 г. она была присоединена к Гольштинии, а в 1386 г. произошло объединение последней и Шлезвига в фактически единое государство. В 1460 г. гольштинская династия пресеклась, и датский король Кристиан I Ольденбург был избран на шлезвиг-гольштинский престол на правах личной унии Дании со Шлезвиг-Гольштейном²⁶⁰ (входил в состав Дании до 1864 г.). По-

этому появление Дании в работах французских авторов как того места, откуда вышли варяги, объясняется тем, что она, поглотив Вагрию, заслонила и подменила её собою в представлении европейцев. Отсюда Дания у Маржерета выступает лишь в роли географического ориентира. Сама же трансформация Вагрии в Данию очень скоро привела к тому, что Рюрика часть западноевропейцев, например, Г. В. Лейбниц, стала мыслить именно датчанином (что было известно Байеру, знавшему труды Лейбница).

Чрезвычайная популярность произведений Мюнстера и Герберштейна в Западной Европе известна (их работы там неоднократно переиздавались на разных языках), и долгое время европейцы, обращаясь к истории России, повторяли их мысли. Но придавая им, в связи с разными обстоятельствами, в том числе и изменившимися политическими реалиями, приведшими к постепенному стиранию из их памяти Вагрии, современное звучание. В связи с чем приведённый пример вариации мнения Мюнстера и Герберштейна о родине варягов не является единственным. Так, французский историк и натуралист К. Дюре (ум. 1611) утверждал в своём «Всёобщем историческом словаре», изданном в 1613 г., что новгородцы по совету Гостомысла призвали Рюрика, Синеуса, Трувора «из Вандалии»²⁶¹. Подобное заключение он сделал, исходя из слова Герберштейна, что родиной варягов могла быть только южнобалтийская Вагрия, «область вандалов» (германские источники называют балтийских и полабских славян «венедами» и «вандалами», причём, отмечает А. Г. Кузьмин, «вандалы» и «венеды» «понимаются как разные названия одного и того же этноса»)²⁶².

А. Майерберг, глава посольства Священной Римской империи германской нации в России в 1661–1662 гг., сообщал читателю, что «некогда правили русскими братья Рюрик, Синеус и Трувор родом из варягов или вагров, князей славянского народа у Каттегата и Зунда (название проливов, соединяющих Балтийское и Северное моря. Зунд — немецкое название, принято именовать Эресунн. — В. Ф.). Взяв с собой двоюродного брата Олега, они разделили между собою власть над Русью, предложенную им тамошними коренными жителями по внушению и совету граждан Великого Новгорода для того, чтобы эти братья обороняли их от киевлян, войну с которыми они едва выиграли»²⁶³. М. А. Алпатов был уверен, что Майерберг, хотя и ссылается на летописи, материал брал, скорее всего, не из них. В связи с чем приведённый отрывок он охарактеризовал не как летописный, а как «русифицированный» вариант варяжской легенды, и предположил, что «в этой обрусевшей форме сказ о варягах бытовал в устной традиции в московских придворных кругах, с которыми посланник германского императора соприкасался в течение года». Не исключал учёный также тот вариант, что эти сведения «вошли из какого-либо списка летописи, до нас не дошедшего»²⁶⁴. В свете примеров различных модификаций мнения Мюнстера и Герберштейна о родине варягов авторами XVII в. заключение Алпатова выглядит абсолютно несостоятельным.

Начало третьему этапу в развитии норманской фикции было положено войной Швеции против России 1741–1743 гг., в которой она пыталась, также активно разыгрывая «варяжскую» карту, повернуть время вспять и вновь превратить Балтийское море, некогда именуемое Варяжским по его хозяевам — варягам,

которых «приватизировали» шведы, в «шведское озеро», далеко отбросив от его берегов глубоко ненавистного восточного соседа, порушившего её великодержавную мечту. По словам А. Н. Котлярова, война вызвала «бурную шовинистическую пропаганду и волну националистического “духовного” подъёма. Крайне живучим русофобское направление осталось и после неудачной попытки реванша»²⁶⁵. Разумеется, война и венчающая её очередная катастрофа Швеции вызвали к жизни новые работы по варяжскому вопросу, принадлежавшие лицам, авторитетным в церковной и научной жизни страны, а значит, и новые «факты» в пользу шведского взгляда на русскую историю.

Так, в год окончания бесславной войны в актах королевского Учёного общества гётеборгский епископ Г. Валлин напомнил, несомненно, для поднятия увядшего духа сограждан, что русские варяги были шведами. В том же 1743 г. королевский библиотекарь и секретарь коллегии древностей Э. Ю. Биорнер (1696–1750), рассуждая в «Историко-географическом очерке о варягах», «героях скандинавских», убеждал, зеркально отражая предшествующую историографию и её «методы» работы и потому без каких-либо проблем штампуя, по образцу «начитанного дикаря» О. Рудбека, псевдолингвистические «аргументы» норманизма, что благодаря этим героям «все главные русские области украсились шведскими названиями»: Белоозеро есть Биелсковия или Биалкаландия, Кострома — замок Акора и крепость Акибигдир, Муром — Мораландия, Ростов — Рафестландия, Рязань — Ризаландия, Смоленск — Смоландия. Доказывая, «что варяги у королей скандинавских и в особенности шведских, были оберегателями границ», Биорнер, как горячий любитель своей старины (т. е. тот же мифотворец), даже знает их генеалогию «от первого варяга Тругва (Tryggve) или Трувора, жившего в VI столетии, до Герндера (Herander), или Рюрика и Рвильяна или Синеуса, которые явились в VIII столетии»²⁶⁶.

«Открытия» Биорнера, как и аналогичные «открытия» его соотечественников, приписывающие шведам чужую древность, эффектно воздействовали на умы учёных материковой Европы, постепенно превращая их в апологетов шведского взгляда на русскую историю. Как, например, резюмировал в 1768 г. А. Л. Шлёцер, «Моллер, Байер, Скарин и Биорнер написали подробные, полные учёности труды, по сути, об одном и том же»²⁶⁷. Так тогда думало, видимо, уже подавляющее большинство западноевропейского научного мира. Хотя совсем ещё недавно норманская версия шведов вызывала, под влиянием древней традиции, озвученной С. Мюнстером и С. Герберштейном, прямой протест немецких учёных: ещё в 1741 г. М. И. Бэр в вышедшей в Лейпциге на латинском языке «Мекленбургской истории» (через 18 лет был издан её немецкий перевод) отверг мнение П. Петрея о выходе варягов из Швеции и доказывал южнобалтийское происхождение Рюрика и его братьев Синао и Трувора²⁶⁸.

Но ложную идею, выставляющую Швецию в качестве государственного начала России, нанёсшей два сокрушительных поражения этой «сверхдержаве» Северной Европы, уже ничто не могло остановить. В том числе и по причине её всё более и более громкого звучания, окончательно заглушившего инакомыслие западноевропейских учёных. В чём огромную роль сыграла выходявшая в 1746–1762 гг. трёхтомная «История шведского государства» шведского жур-

налиста, драматурга, поэта, библиотекаря королевской библиотеки, учителя кронпринца и — за впечатляющую пропаганду мифического величия Швеции в прошлом — государственного историографа О. Далина (1708–1763).

В 1989 г. А. Н. Котляров, полагая, что «к середине XVIII в. на почве великодержавных “ётских” традиций в шведской исторической литературе возникло норманистское течение», заключил: «Значительный вклад в становление скандинавского норманизма, политически враждебного России, внёс Олаф Далин». Затем, изложив его основные положения, историк ещё раз подчеркнул, что «норманизм в историографии Скандинавии, действительно, с момента возникновения был окрашен в антирусские тона». А в 1992 г. добавил к сказанному, что «созданный им исторический образ “восточного соседа” являлся возвращением к пропагандистским антирусским стереотипам времён Северной войны». По оценке Б. Шольц, данной в 2000 г., «норманская теория», отказывающая русским «в способности создать собственное государство и управлять им, и тем самым исторически оправдывается чужеземное господство», «нашла своё завершение в официозной “Истории шведской империи” Улофа фон Далина: он написал о России как о провинции этого государства»²⁶⁹.

Ложная идея шведского первоотлчка в русской истории мощно звучит у Далина потому, что его труд, доведённый до 1611 г., был создан по прямому заказу короля Фредрика I, испившего из рук русских самые горькие чаши в шведской истории: в годы его правления были заключены с Россией унижительный Ништадтский мирный договор 1721 г. и Абоский мир 1743 г., почти дословно повторивший основные условия предыдущего трактата, нарушенного так жаждавшими реванша шведами. По пояснению самого Далина, за написание «Истории шведского государства» он взялся «частью по собственной своей охоте к истории, и дабы услужить моему отечеству; частью по благосклонному к тому приглашению, какое высокопочтенные государственные чины соблаговолили учинить в своём его королевскому величеству представлении от 7 сентября 1743 года»²⁷⁰ (а в указанный день в Або состоялся обмен ратификационными грамотами. И такое совпадение случайностью, конечно, не назовёшь).

Следовательно, «приглашение» приступить к историческому реваншу Далину, горевшему желанием услужить отечеству, было дано от короля и «высокопочтенных государственных чинов» спустя ровно три недели после заключения 18 августа мира в Або, ещё более уменьшившего роль Швеции в европейских делах и вместе с тем прибавившего международного авторитета России и укрепившего её господствующее положение на Балтийском море (дополнительно к тем землям, которые отошли к ней по Ништадтскому миру, в 1743 г. Швеция передавала России часть юго-восточной Финляндии, а также избирала наследником своего престола выдвинутого русской стороной родственника императрицы Елизаветы Петровны — гольштинского герцога Адольфа-Фридриха, двоюродного дядю её племянника, будущего Петра III)²⁷¹.

Далин, разделяя, отмечает А. Н. Котляров, «реваншистские настроения значительной части дворянско-бюргерских шведских политиков», порождённые поражениями в войнах с Россией 1700–1721 и 1741–1743 гг., красочно, в духе былой сладкой великодержавности, рисовал читателю, эксплуатируя его жела-

ние уйти от суровой действительности в мир иллюзий, в «золотой век», в котором ему находиться было комфортно, и идя давно проторённой дорогой (ссылаясь в том числе и на Г.З. Байера), картину шведского начала русской жизни и государственности. Вместе с тем объясняя ему, почему это начало не могло быть иным. Потому как около 125 г. н. э. судебная власть североскандинавского правителя Гёте (Гота) простиралась «над той частью *России*, которая ныне называется *Новгородской губернией*», а в 860-х гг. конунг Гвитсерк покорил Голмгардское царство, которое смирилось и признало «царские права его, полученные им по мужской линии чрез многие колена от своего отца и прародителей». В 864 или 865 г. он вместе со своим племянником «шведским принцем» Аслеиком (Аскольдом или Аскольдом Диаром) совершил поход на Константинополь, причём в его войске, «без сомнения, было множество *шведов*».

Со смертью Гвитсерка «Голмгардская, Чудская и Русская земли привыкли к безначалию. *Хазары* и *славене* подняли смятения, делали набеги и возмущения, так что всё, казалось, приближается к разрушению». Но в 900 г. (все даты у Далина сдвинуты вперёд) «собрались почётнейшие люди *Голмгардского* царства, *Гостомысл*, мудрый и знатнейший человек *Новагорода*», посоветовал обратиться к «*Варяжскому* или *Шведскому* государству» и испросить себе «верховного начальника», «ибо верховная власть и право покровительства с давних времён имели *упсальские* короли над сими *восточными* землями». Просьба русских совпала с желанием шведов «власти своей на *Россию* не упустить из рук» «от себя или древнего *Инглингова* рода, который тут столь долго царствовал», и на Русь «для взятия наследственных своих земель во владение» был послан принц Рюрик-Роэрик (Эрик Биэрнзон, 10–12 лет от роду), которого сопровождали Трувор (Тригве, Туар, Туре или Трондер) и Синиаутер (Синев, Снийо, Сне-Оттар, Суне или Суэн, Свен), «искренние его друзья, родственники или полководцы».

Свои рассуждения, невероятно многоречивые и путанные по причине полнейшего отсутствия фактов, Далин завершает на самой высокой ноте: что Эрик Биэрнзона, «пришед, прекратил все смятения, особливо в *Киевской* области, которой князья, кажется, происходили от *Инглинга*; восстановил опять Голмгардский престол» и что тогда «как бы новый мир восприял в *России* своё начало, и в истории сего царства является новый свет. *Славяне*, составлявшие тогда часть онаго, получили токмо при сём случае и в начале десятого столетия буквы, научились писать, и стали навёртывать свои происшествия (т.е. создавать летописи. — В.Ф.), хотя это было не много и непорядочно». Одновременно с тем он утверждает, что Швеция «покровительствовала Голмгардскому государству», что «государство сие состояло под верховным начальством *шведской* державы» (по причине чего «голмгардская история» имеет отношение к шведской), что при Ярославе Мудром «*варяги* и *скандинавы* всегда были, так сказать, подпорами *российскому* государству», а «армия» его сына Владимира, воевавшего с византийцами, «состояла большею частию из *шведов* и *скандинавов*». И лишь приход монголов разорвал пуповину, связывающую — с начала II в. — Русь со Швецией: «Новое правление, новый язык, новые обычаи и законы уничтожили древнюю связь с *варягами*; помрачили древний блеск и весь народ

преобразили». Имена русских князей после Рюрика Далин представляет, разумеется, скандинавскими: Олег-Олоф, Игорь-Инге, Святослав-Свендослав, Владимир-Вальдемар, Ярополк-Гаральд, в пользу чего приводит «довод», впервые озвученный Петреем и ставший в работах норманистов непреложной истиной, что «наши *скандинавские* имена часто искажены были».

При помощи этого же универсального «рудбековского» ключа (точнее, исторической отмычки), легко раскрывающего любые загадки истории, Далин объясняет название русскими шведов «варягами»: они, как и финны, плохо выговаривая две согласные буквы, всегда выпускают первую, в связи с чем вместо *сверигов* (*sverige*) произносили «*вареги* или *варяги*». А корень слова «варяги» предлагает видеть в слове «вари», которое с древнего финского, лапландского и эстляндского языков переводится как «гора», т.е. «варяги» или «веринги» означали «горные жители» (в том же стиле он легко раскрыл и появление названия Швеции: от «*Сеэ, Зез, Сиав, Свеи*, то есть, *море, вода*», отсюда «*Зе-Рике, Сви-Рике, Севе-Рике, Зез-Рейх*, то есть — *морское царство*»).

Верный взгляду (отравившему сознание многих поколений шведов) на чуть ли не мессианскую роль своих древних сородичей в мировой истории, Далин убеждал, что они под именем «варягов» («верингов») служили византийским императорам со времени Константина Великого, т.е. с первой трети IV века. А все сомнения в том отметал словами, на которых изначально покоится шведский взгляд на русскую историю: «...что они из *Скандинавских* мест пришли, сие никакого не требует доказательства». Далин также утверждал, что «*Рослаген* или *Родес-Лаген*, о котором в древнем *упландском законе* упоминается... имеет название от *го*, весло, а посему от древнего скифского и греческого слова *Русь*, река, течение воды, отчего, кажется, и Россия наименована» (но при этом всё же отметил, ссылаясь на Снорри Стурлусона, что «ещё в 13 веке *Рослаген*, или пятая часть *древней Швеции*, называлась *Сиа-Ландиею*»)²⁷².

«История шведского государства», в которой доказательства в пользу шведского происхождения варягов заменены пустыми и напыщенными разглагольствованиями, родоначальника, по характеристике Котлярова, «великодержавного “крайнего” норманизма» Далина произвела огромное впечатление на шведского читателя, вскормленного на победах и идеях превосходства над всеми другими народами, но в течение 22 лет перенёсшего два небывалых потрясения, виной которым были, по его искреннему убеждению, едва ли не самые последние из них — русские. «Книга сия была принята, — восторженно представлял в 1756 г. немецкой аудитории профессор И.К. Денерт собственный её перевод, — в отечестве своём с таким уважением, о каковом, может быть, нигде не ведают. Знатные и простые, учёные и неучёные нашли в ней любовь к истине, образ ума, рассудок, искусство в толковании и выражении всего того, что токмо могло заключать в себе новое и изящное»²⁷³. Эти чувства «знатных и простых, учёных и неучёных» сограждан Далина совершенно понятны, потому как такая «любовь к истине» услаждала их «великодержавный» слух, врачевала их тяжелейшие душевные раны и тешила их предельно уязвлённое национальное самолюбие, навсегда созидая воображаемое величие Швеции над Россией и превращая её поражение в вечное торжество, которое силой оружия этим

ненавистным «варварам» не сокрушить. Ибо своим приобщением к государственной жизни, к цивилизации они обязаны побеждённым шведам-«варягам».

Причём стремление к историческому реваншу и доказательству небывалого было настолько велико у шведов, что они буквально негодовали на исторические памятники, содержащие информацию, противоречащую их, по оценке К. Г. Делиуса, бреду учёной фантазии. Так, А. Л. Шлёцер с удивлением отмечал в 1768 г. «предвзятое отношение» к русскому летописцу «патриотически настроенного шведского учёного» и норманиста А. Моллера, в 1756 г. «оскорблённого до глубины души тем, что Нестор рассматривал Эстляндию и Лифляндию русскими землями» (а в 1802 г. в качестве примера «множества смешных глупостей, которыми запятнали себя иностранцы, писавшие о России», привёл мнение того же автора, что Нестора не существовало вообще. Но коль нет источника, то можно утверждать всё, что вздумается, т. е. любую чушь).

По той же причине, вопреки заверению Денерта, не все в Швеции «с таким уважением» приняли гимн Далина, многотомно пропетый им во славу отечества. Как писал в 1768 г. Шлёцер, когда он «позволил себе усомниться в утверждении своих предшественников, что уже Гомер и Орфей воспевали шведов, то группа священников пришла 12 ноября 1747 г. в риксдаг, выразив недовольство новшествами Далина и предложив среди прочего исправить его книгу. На роль корректора предлагался г-н Гиоранссон, чья шведская история... начинается с 1951 года от сотворения мира»²⁷⁴ (гнев служителей церкви пал на Далина потому, что он позволил сделать самые робкие шажки на пути освобождения родной истории из плена мифов и басен, говоря, например, что Ю. Магнус «весьма много запутал шведскую историю», что Рудбека «не можно читать без удивления великим его дарованиям, но следовать ему с достоверностью историческою есть дело совсем невозможное», что «древняя шведская история покрыта таким мраком». Хотя сам же, указал Шлёцер, занимаясь «учёным враньём», «сочинил беспрерывную хронологию в древней шведской истории с 150 г. по Р.Х. до 829»²⁷⁵).

В своём панегирике Далину Денерт также подчеркнул, что «сей книге приносили похвалу не в одной токмо Швеции: но и в самой Германии... приняты были меры доставить также и на немецком языке соотчим своим книгу, толь много выхваляемую»²⁷⁶. И его книга была, действительно, «толь много выхваляемой» повсюду, что в плену её ложных идей оказался тогда чуть ли не весь учёный мир. Чему дополнительно способствовали (прямо и косвенно), под тем же умопомрачающим гипнозом готицизма, властители дум того времени — французские просветители XVIII века.

«Я не знаю, — славословил скандинавов в 1748 г., вскоре после выхода первого тома «Истории шведского государства» Далина, Ш. Л. Монтескьё в своём самом знаменитом сочинении «О духе законов», не скрывая скептического отношения к широко известному в Западной Европе О. Рудбеку, но в главном следуя за ним, — указал ли пресловутый Рудбек, столь восхвалявший в своей Атлантике Скандинавию, на то великое преимущество, которое ставит народы, населяющие эту страну, выше всех народов в мире: именно на то, что они были источником свободы Европы, т. е. им мы обязаны почти всей той свободой, которой пользуются в настоящее время люди. Гот Иордан назвал север Ев-

ропы фабрикой человеческого рода. Я бы скорее назвал его фабрикой орудий, которыми сокрушают выкованные на юге цепи. Здесь образуются те мощные народы, которые выступают из своей страны для того, чтобы уничтожить тиранов и рабов и заявить людям, что поскольку природа создала их равными, то разум может побудить их стать зависимыми только ради их собственного благополучия». Провозглашая германское народное вече эпохи Тацита «зародышем», из которого развилось сословное представительство, философ превозносил «скандинавов за то, что своими походами они разнесли благодетельные начала демократии вне границ прежней Германии»²⁷⁷.

Идеи Монтескьё моментально разлетелись по всему свету (по словам С. М. Соловьёва, «О духе законов» имело «громадный успех» и быстро получило «важное значение во всей образованной Европе»²⁷⁸). И ими тут же стали руководствоваться, ещё сильнее закрепляя их в представлении читателя, другие знаменитости, рассуждавшие о прошлом и настоящем Европы. В 1756 г. Д. Дидро, о чём разговор шёл, в популярной «Энциклопедии, или Толковом словаре наук, искусств и ремёсел» говорил, с ссылкой на «диссертацию» русского академика Г. З. Байера, густо замешанной на «шовинистических причудах фантазии» шведов XVII — первой трети XVIII в., о скандинавском происхождении русских варягов. В 1759 г. Ф. М. Вольтер в первом томе «Истории Российской империи при Петре Великом» объяснял, что история этой крупнейшей державы мира есть «подтверждение и дополнение к истории Швеции»²⁷⁹. А данный том увидел свет в Женеве и тут же был перепечатан в Гааге, в 1761 г. — в Лионе, Амстердаме и Лейпциге²⁸⁰, т. е. и это мнение о производности русской истории от истории шведской также быстро было усвоено Западной Европой.

1768 г. в Германии вышла речь-«диссертация» Г. Ф. Миллера «О происхождении народа и имени российского», повторявшая идеи Байера и Далина и ещё больше закрепившая в сознании западноевропейцев, опять же при помощи члена Петербургской Академии наук, да к тому же занимавшему официальную должность «государственного историографа» Российской империи, истину о варягах как норманнах. Миллеровед С. С. Илизаров пишет, что она была издана анонимно. Но её публикация под названием «*Origines gentis et nominis russionum*» представляет собой латинский вариант его речи, опубликованной, наряду с русским вариантом, к её прочтению 6 сентября 1749 г. на публичном собрании Петербургской Академии наук, и на котором значится, что она «изъяснена» «*Gerardo Friderico Mullero Historiographo Imperatorio Universitatis Rectore, atque Professore Academiae Scientiarum Imperatoriae, Regiaeque Societati Londinensi adscripto*», т. е. «Герардом Фридрихом Миллером, императорским историографом, ректором университета и профессором Академии наук, членом Лондонского королевского общества»²⁸¹. При этом А. Л. Шлёцер, содействующий публикации речи, якобы уже озвученной перед русскими учёными, следовательно, ими уже одобренной, намеренно умолчал, что «диссертация» Миллера была забракована в ходе её открытого обсуждения в 1749–1750 гг. его коллегами — русскими и немцами — по Петербургской Академии наук.

Влияние шведских сочинителей, энергичных и вездесущих проповедников шведского взгляда на русскую историю, и весьма почитаемых в то время

французских мыслителей, активных проводников мысли о преобладающей роли германцев в европейской истории, особенно сильно проявилось в воззрениях немецких исследователей. Что из себя стали представлять в конечном итоге их воззрения, полно охарактеризовал в 1845 г. А.В. Александров. Говоря о силлогистике «прежних немецких писателей: “кто *храбр*, тот, вероятно, был *немец*”», посредством которой они легко «разъясняли» прошлое, учёный констатировал: «Западные историки, доселе державшие всемирную историю на своей опеке, без зазрения совести всю её скривили в свою пользу: своих предков поставили единственными деятелями, — славяне словно не существовали». Это непреодолимое стремление «скривлять» историю славян в пользу германцев, охарактеризованное в 2003 г. А.Г. Кузьминым как «наивный германецентризм»²⁸², вначале самым серьёзным образом сказалось на творчестве первого официального российского историографа (с ноября 1747) Г.Ф. Миллера, которому тогда же поручалось в самой ближайшей перспективе сочинять «генеральную российскую историю» (или «историю всей Российской империи»)²⁸³.

6 сентября 1749 г. на торжественном заседании Петербургской Академии наук, посвящённом тезоименитству Елизаветы Петровны, дочери сокрушителя великодержавия Швеции, Миллер должен был произнести речь «Происхождение народа и имени российского» (несомненно полагая её в качестве начала «генеральной российской истории»). А так как он понимал под варягами скандинавов, то и озвучил значительную долю тезисов Далина (Котляров отмечает, что речь Миллера и «История шведского государства» Далина «обнаруживают полное сходство в местах, касающихся событий “до Рюрика”. ... Почти дословно совпадают описания экспансии викингов “на Востоке” в IX в., когда Рагнар Ладборг, по словам Миллера, “завоевал Россию, Финляндию и Биармию и отдал оные земли во владение своему сыну Витзерку”»²⁸⁴). В ходе последующего обсуждения речи-«диссертации» Миллер своё преклонение перед «известным историком» Далиным выразил тем, что поставил его, стремясь таким «доводом» убедить Ломоносова в правильности норманской версии, в один ряд со знаменитыми авторами древности Фукидидом и Ливием²⁸⁵. Но не убедил. Напротив, критика русского Ломоносова и немцев-академиков И.Э. Фишера и Ф.Г. Штрубе де Пирмонт была настолько убедительной, что под её воздействием он расстался с норманистскими заблуждениями, одновременно абсолютно разувевшись в Далине, которому ещё в 1750 г. щедро курил фимиам.

И в 1761 г. он указывал, что «есть также следы *роксолян Швеции*, что можно доказать *шведскою* провинциею *Рослаген* и именем *россалеин*, под которым *чухонцы* разумеют всю *шведскую* нацию. Но из того не следует, чтоб господин *Далин* был прав, когда немалую часть российской истории внёс в *шведскую* свою *Историю*». Затем в 1773 г. подчеркнул, что тот «употребил в свою пользу эпоху варяжскую, дабы тем блистательнее учинить *шведскую* историю, чего однако она не требует, и что историк всегда не к стати делает, если он повести своей не основывает на точной истине и неоспоримых доказательствах» (вместе с тем сказав, что «одна *шведская* провинция называется, неизвестно почему, *Рослаген*. ... Может статься, что и *роксолане* в *Швецию* перешли и имя своё провинции *Рослаген* сообщили»). Остановившись на идеях Далина о русской

истории (что Аскольд «был от колена шведских Инглингов», что Рюрик — это шведский принц Эрик Биорнзон, что Русь «была под шведскою державою и покровительством» и пр.), Миллер заключил: «Сии и иные многия тому подобныя Далиновы положения, основывающиеся на одних только вымыслах, или скромнее сказать, на одних только недоказанных догадках»²⁸⁶.

Показательно, что интерпретация Далиным прошлого Руси в удобном шведам смысле, враждебно смотревшим на Россию и стремившимися покровительству с ней на арене истории, вызвала резкое неприятие со стороны других известных норманистов. В 1768 г. А. Л. Шлёцер констатировал, во-первых, что Далин, если бы лучше знал источники, «то мог бы сэкономить время, затраченное на вписывание истории Древней Руси в первую часть своей “Истории шведского государства”». Во-вторых, что ни он, ни почти все его соотечественники, утверждая о шведской природе варягов, не приводят тому доказательств: «Недоказуемым остаётся то, что варяги Нестора были именно шведами». Как заключал Шлёцер, «двойное заблуждение» привело к такому выводу Далина: «Сначала он предположил, что варяги были шведами, а затем, исходя из этого, посчитал, что Русь в ту эпоху да и потом ещё долгое время находилась под господством Швеции. Вот так логика!».

А в 1802 г., ведя речь о «смешных глупостях» писавших о России иностранцев, немецкий учёный в качестве примера привёл *«Далинов роман о Голмгордском царстве»*, в котором начальная история Руси *«переделана на выворот»* и считается «только за часть шведского государства», что история русских князей после Рюрика «приклеена к шведской истории», и в итоге охарактеризовал рассуждения автора о русской истории как *«Далиновы бредни»*. В 1816 г. Н. М. Карамзин говорил «о всех нелепостях учёного Далина», «весьма склонного к баснословию» и обратившего «сказки древних о гетах и скифах в шведские летописи!». Сочинение Далина «теперь не имеет, — подытоживалось в 1893 г. в «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, — никакого значения по совершенному отсутствию критики»²⁸⁷.

Однако его «История» была космически далека от науки в самый момент своего появления на свет. При этом сыграв, как и подобные ей «истории» многочисленных верелиев, рудбеков, моллеров, скариных, наполненные, если использовать оценку Шлёцера, бреднями о русской истории, огромное значение в распространении шведского взгляда на русскую старину в западноевропейской и российской науке. А также в насаждении в ней псевдонаучных приёмов, благодаря которым шведские авторы XVII–XVIII вв., ведомые своей безудержной «любовию к отечеству», легко обращали русские древности в скандинавские, посредством их выстраивая всю систему «доказательств» норманизма. То что эти приёмы (методы) действительно не имеют отношения к науке, свидетельствует тот факт, что они были подвергнуты критике самими же норманистами.

В 1768 г. Шлёцер, рассуждая об этимологическом произволе «шутника» О. Рудбека, сказал в адрес современных ему рудбеков, воспитанников просвещённого XVIII в., с той же ловкостью фокусников создававших любые «лингвистические аргументы», посредством которых с той же ловкостью ими возводились эфемерные конструкции, засорявшие науку: «Неужто даже после всей той раз-

рухи, которую рудбекианизм учинил, пройдясь по древним векам, они всё ещё не устали творить из этимологий историю, а на простом, может быть, случайном совпадении слов выстраивать целые теории?», которые проникают «в наши лучшие пособия по истории». Он же в 1802 г. подчеркнул, что «*сходство в именах, страсть к словопроизводству* — две плодovитейшие матери догадок, систем и глупостей» и что «если дадут мне сотню русских имен и слов, то с помощью известного рудбековского... искусства возьмусь я отыскивать столько же подобных звуков в малайском, перуанском и японском языках». Рудбек своими словопроизводствами, основанными «на одном только внешнем сходстве звуков», возбуждал, говорил в 1856 г. С. М. Соловьёв, «отвращение и смех в учёных»²⁸⁸ (но рудбекианизм никуда не исчез и остаётся быть главнейшей базой норманизма — псевдолингвистической).

Также далека была от науки монография другого шведа Ю. Тунмана, вышедшая в 1774 г. в Лейпциге и вобравшая в себя все норманистские выдумки его соотечественников о русской истории и, в первую очередь, гремевшего тогда Далина. Признавая, что шведы никогда не именовали себя русами, Тунман, прекрасно понимая, что этот факт означает приговор норманизму, возвращённому в Швеции, прибёг к проверенному способу — словопроизводству рудбеков XVII в., вслед за ними утверждая, что из финского названия Швеции Ruotsi образовалась славянская форма «русь». А данную посылку пояснял точно такой же ложной посылкой, что восточные славяне «почти по необходимости должны были называть шведов по-фински; ибо отдаление от моря, а от сего затруднительное сношение с самими шведами, делало то, что *настоящее* имя шведов не так скоро сделалось им известно». Отсюда руссы «были *шведы*, происшедшие из Скандинавии и говорившие скандинавским языком».

После чего он доложил европейскому научному сообществу, хорошо уже подготовленному к такому заключительному аккорду многолетних навязчивых разглагольствований о шведах, что «скандинавы, или норманны в пространном смысле, основали Русскую державу» (этот тезис, который станет главным постулатом норманизма, представляет собой один из мифов шведской истории, поскольку в реальности шведы ничем не проявили себя в «эпоху викингов»). Тунман, делая такую «приписку» к истории своих предков, осознавал данное обстоятельство, поэтому и использовал не термин «шведы», а неопределённые «скандинавы, или норманны в пространном смысле», словно они составляли в IX–X вв. единый народ, живущий в рамках одной страны, одного политического образования).

Тезис германца Тунмана об основании скандинавами-германцами Русского государства узаконил в 1802–1809 гг. в науке германец А. Л. Шлёцер. Потому как именно германцам, по его убеждению, было предназначено сеять первые семена просвещения в Европе (В. А. Мошин отмечает, что особенно популярным учение Монтескьё было в Гёттингене, где его и воспринял Шлёцер) и что восточные славяне-«получеловеки» «были *возбуждены*» скандинавами, положившими начало русской государственности. Став под влиянием Тунмана стопроцентным норманистом (в 1768 г. он связывал русь с Причерноморьем), Шлёцер, видя, что ПВЛ явно различает шведов и руссов (а мнение в обратном «надобно

доказать тем более, что сам Нестор именно различает *шведов* и *русов*»), «изобрёл» особый вид скандинавов — русов, родиной которых была Швеция: «*Варяги* есть имя *общее*, заключающее в себе множество *видов*, как то: *шведы, норвеги, англичане, датчане*, а *русы* составляют пятый онаго вид».

И вместе с тем он вдохнул новую жизнь в другой аргумент шведских авторов XVII в., отринутый Миллером под влиянием как критики Ломоносова, так и своего более глубокого вхождения в варяго-русский вопрос: в Рослаген, уверяя, что именно из этого названия образовались финское «Ruotsi» и славянская «Русь» и что из этого округа вышли варяги-русь, давшие славянам своё имя, как, например, «*Галлия* прозвалась *Францією* от своих победителей германских *франков*» (но норманисты считают, что Шлёцер, приняв гипотезу Тунмана, доказывавшего норманство руси тем, что финны Ruotsi «называют всех шведов», дополнил её указанием «на связь термина Ruotsi со шведским словом Roslagen, как называется часть шведской береговой полосы области Упланда на Балтийском море, напротив Финского залива»)²⁸⁹.

В свете сказанного ошибочным выглядят заключения И. П. Шаскольского, А. А. Хлевова, Г. М. Коваленко, что «до революции норманизм был специфически русским явлением, течением внутри русской исторической науки», что зарубежные учёные XVIII — начала XX в. специально почти не занимались варяжским вопросом, что норманская теория «фактически отсутствовала в зарубежной» историографии XVIII в., что тогда же «Рюрик не стал известной фигурой в научном мире Швеции» и что норманский вопрос становится там «самостоятельной проблемой в середине» следующего столетия²⁹⁰.

Ибо всё обстояло иначе. Зародившись и прочно закрепившись в шведской литературе XVII в., в 1800-х гг. норманская версия начала Руси и русской государственности пустила глубокие корни и капитально разрабатывалась в западноевропейской исторической науке. Г. Ф. Миллер и Г. З. Байер, вобрав на родине основные положения норманизма, перенесли его в Россию, где это учение приобрело особое политическое звучание в силу проведения им резкой грани между «цивилизаторским» Западом и «диким» Востоком, всё более углубляемой исследователями (как в России, так и за её пределами) XVIII — начала XIX века. Так, Ф. Г. Штрубе де Пирмонт, считая руссов частью «готфских северных народов», утверждал, начиная с 1753 г., что они принесли законы восточным славянам, которые те не имели²⁹¹. Роль Запада в деле приобщения «дикого» Востока с его «получеловеками»-славянами к «цивилизации» довёл до абсурда А. Л. Шлёцер, придав новый импульс работам своих европейских коллег в области варяжского вопроса (он, по оценке немца Е. И. Классена, «упоённый народным предубеждением» германцев, «предположил, что руссы должны быть обязаны германцам своим просвещением, гражданственностью, своим строем и самобытностью»). Вместе с тем Классен констатировал, что скептицизм ряда западноевропейских авторов «домогается затмить в истории русской всё прекрасное и самобытное, а в западной истории он отвергает только дурное»²⁹².

В 1923 г. Ф. В. Тарановский подытоживал, что «норманска теорија је у самој ствари била априорна»²⁹³. Но, возникнув как миф, порождённый «шовинистическими причудами фантазии» шведов XVII в., эта теория, представляющая

собой шведский взгляд на русское начало, получила в западноевропейской, а затем в российской науке широчайшее распространение. А получила потому, что её мощно подпитывали другие мифы, долго считавшиеся абсолютными истинами (их ведь отстаивали мировые авторитеты!) и в массовом порядке изрекаемые со страниц научных и популярных изданий, с университетских и школьных кафедр. Прежде всего сей миф, активно и массово культивируемый представителями германского мира, о преобладающей роли германцев в европейской истории и особенно в славянской. Такой подход к объяснению прошлого Европы окончательно закрепили науке ведущие представители классической немецкой философии И.Г. Фихте и Г.В.Ф. Гегель. Фихте в 1800 и 1806 гг. в работах «Замкнутое торговое государство» и «Основные черты современной эпохи» утверждал, что именно германцы привили народам «иногo происхождения» (бывшие «пугливыми земнорождёнными дикарями, лишёнными всякого развития») основную германскую систему «обычаев и понятий», христианство, культуру и что они создали «истинное государственное устройство».

С особой же силой рассуждения об «исторических» и «неисторических» народах, способных и неспособных создавать государства, из которых к первым были отнесены германцы, ко вторым — славяне, звучали в устах Гегеля. Так, в «Философии истории» (читал её в Берлинском университете в 1822–1831 гг., была издана в 1837 и 1840 гг.) он очень низко отозвался, как это делал двумя десятилетиями ранее А.Л. Шлёцер, о государственных возможностях славян: что «в Восточной Европе мы находим огромную *славянскую* нацию, обитавшую на западе вдоль Эльбы до Дуная... Однако вся эта масса исключается из нашего обзора потому, что она до сих пор не выступала как самостоятельный момент в ряду обнаружений разума в мире» (как заметил Г.В. Вернадский, «в пренебрежении к восточно-европейской истории не последнюю роль, несомненно, сыграли расовые предрассудки, особенно традиционное презрение германцев к славянам. Показательно, что даже такой выдающийся мыслитель как Гегель не нашёл места для славян в своей “Философии истории”»).

Параллельно с тем знаменитый философ говорил, в полном единомыслии опять же со Шлёцером, что на германцев «была возложена задача не только принимать понятие истинной свободы за религиозную субстанцию при служении мировому духу, но и свободно творить в мире, исходя из субъективного самосознания», что в них «жил совершенно *новый дух*, благодаря которому должен был возродиться мир, а именно свободный, самостоятельный, абсолютное своеобразие субъективности». Характеризуя скандинавов, согласно мифу о викингaх, всё больше набравшему обороты под особенным влиянием известной, наверное, в каждом уголке тогдашней Европы «Frithiofs saga» шведа Э. Тегнера, как «рыцари в чужих странах», Гегель, обращаясь к широкой аудитории, тысячами голосами разносившей слова своего кумира по всему свету, резюмировал: «часть их направилась в Россию и основала там русское государство»²⁹⁴ (а эти слова не только становились основами восприятия европейской и русской истории, но и служили питательной средой для создания антирусских теорий).

А к принятию такой мысли о роли скандинавов в нашей истории, вышедшей в 1769 и 1774 гг. из-под пера шведов В. Бринга и Ю. Тунмана и воспринятой в качестве непреложной истины благодаря немцу А.Л. Шлёцеру, заранее отлучившему от науки тех, кто не может понять данное «учёное историческое доказательство», потому как «*ни один учёный историк в этом не сомневается*», в целом, к принятию «германоцентризма» было совершенно готово русское образованное общество. Ибо оно, объяснял в 1876 г. И.Е. Забелин, «воспитанное на беспощадном отрицании русского варварства, и потому окончательно утратившее всякое понятие о самостоятельности и самобытности русского народного развития, точно также не могло себе представить, чтобы начало русской истории произошло как-либо иначе, то есть без содействия германского и вообще иноземного племени». У русских образованных людей, заключал он, в глубине их национального сознания лежало «неотразимое решение», что «всё хорошее русское непременно заимствовано где-либо у иностранцев»²⁹⁵.

И это «неотразимое решение» буквально на генетическом уровне было не только передано последующим поколениям, но было ими ещё более усилено. Как, например, убеждал своих студентов известный западник Т.Н. Грановский, «какой необъятный долг благодарности лежит на нас по отношению к Европе, от которой мы даром получили блага цивилизации и человеческого существования, доставшиеся ей путём кровавых трудов и горьких опытов»²⁹⁶. В свете подобных представлений о Западной Европе «историки наши, — подчёркивал в 1839 г. в адрес норманиста Н.А. Полевого (но и не только его) В.Г. Белинский, не сомневавшийся в норманстве варягов и руси, — ищут в русской истории приложение к идеям Гизо о европейской цивилизации, и первый период меряют норманским футом, вместо русского аршина!..» (через два года он также справедливо заключил, что русская история, по причине измеряемости её «не русским аршином, а европейским футом... остаётся для нас более загадкою, чем для иностранцев»).

В 1884 г. антинорманист М. О. Коялович, отметив явное желание значительной части соотечественников «видеть у нас всё иноземного происхождения» и возводить эти воззрения в абсолют, в отношении Е.Е. Голубинского сказал, а его слова также приложимы ко многим, что «пристрастие автора к норманскому или точнее шведскому влиянию у нас даже в области религиозной доходит иногда до геркулесовых столбов» («он самым решительным образом приписывает варягам-норманнам и начало, и утверждение у нас христианства») и что «новый недостаток сравнительного приёма нашего автора, — большее знание чужого, чем своего». Параллельно с тем весьма авторитетная часть научного мира (М.П. Погодин, скептики) выразила и культивировала, говорил И.Е. Забелин, мысль «об историческом ничтожестве русского бытия». И не удивительно, конечно, что в нашей науке быстро утвердилась привычка, если процитировать Кояловича, «унижать и поносить всё своё» («нас учили, — значительно позже в унисон с ним подчеркнёт И.Л. Солоневич, — оплёвывать всё своё и нас учили лизать все пятки всех Европ — “стран святых чудес”»)²⁹⁷.

Принятию норманской версии западноевропейскими учёными в качестве непреложной истины способствовало также то обстоятельство, что события

в Восточной Европе середины IX — середины XI в., в которых участвовали варяги, были поставлены ими в прямую связь с событиями в Западной Европе конца VIII — середины XI в., где главными героями были скандинавы, по причине чего в них стали видеть летописных варягов. Большую роль в том сыграли мнения о родине и этнической природе варягов, высказанные, в силу вышеназванных причин, с одной стороны, французами Маржеретом и Бриэ в 1607 и 1649 гг. («выходцы из Дании»), с другой, шведами Петреем в 1614–1615, Штраухом в 1639, Видекиндом в 1671–1672, Верелием в 1672, Рунштейном в 1675, Рудбеком 1689 и 1698 гг. («шведы»), попавшие в том же столетии на уже очень хорошо возделанную почву о масштабных действиях норманнов в Западной Европе, в связи с чем дали повод говорить ещё об одном объекте их экспансии — Восточной Европе и прежде всего Руси. Как предельно чётко выразил эту мысль в западноевропейской историографии А.Л. Шлёцер в 1802 г.: «Никто, кто только что-нибудь читал о *норманнах*, не может принять *варягов* ни за кого более, кроме норманнов». И затем он привёл примеры нападений норманнов на европейские страны: «Вся немецкая и французская история от IX до X стол. наполнена великими и ужасными делами сих непобедимых морских разбойников», чтобы ими показать, что никто кроме этих дерзких разбойников не мог, конечно, бывать на Руси. И неужели они, «осмелившиеся ходить из Балтийского моря до Италии, не делали высадок по берегам сего моря, хотя тут не столько представлялось им добычи, как в южных странах?».

В нашей науке, чтившей практически всё сказанное Шлёцером, понятно, не могли думать иначе. Так, великий Н.М. Карамзин, рассуждая о варягах и отмечая, что в IX в. на Балтийском море господствовали скандинавы, которые под именем норманнов «громили тогда Европу», утвердились в Ирландии, овладели Нормандией, основали королевство Неаполитанское, покорили Англию, открыли Америку, вслед за Шлёцером задавал вопрос: «Предпринимая такие отдалённые путешествия и завоевания, могли ли норманны оставить в покое страны ближайшие: Эстонию, Финляндию и Россию?». И тут же давал на него положительный ответ, основанный лишь на одной «великой вероятности». А говоря о походе Олега на Царьград, пояснял, что его воины «плавали в крови несчастных, терзали пленников, бросали живых и мёртвых в море....Так в сие же самое время, норманны, единоземцы Олеговы, свирепствовали в Западной Европе». В.В. Григорьев убеждал, что каспийский поход русов 912/913 гг. «носит все качества и признаки других норманских походов», что их же набег под 943 г., «начинает тем, что они, поднявшись рекою Куром, подступили к Бердаи. Один этот образ действия уже показывает норманнов, которые всегда вторгались по течению рек»²⁹⁸.

М.П. Погодин искренне недоумевал, как он выразился, по поводу «чистой нелепости» антинорманистов: «Или норманны не были у нас? То есть, норманны ездили и селились в Голландии, Франции, Англии, Ирландии, Испании, Сицилии, на островах Оркадских, Ферерских, на отдалённой и холодной Исландии, в Америке — и не были у нас, ближайших своих соседей!» Но такого, заявлял историк, быть не могло, ибо норманны не могли оставить в покое Русь, «самую для них удобную, подлежащую и подходящую. Да они с неё-то и на-

чать должны были!». А объясняя постоянно проводимые им параллели «между историей норманнов у нас и историей норманнов в прочих странах Европы», подчёркивал: я «вижу везде отражение одного народа», у которого одни и те же приёмы, «один и тот же характер, один и тот же образ действия», «одни и те же обычаи, верования, поверья, до малейших подробностей»²⁹⁹. В том же духе затем рассуждали все дореволюционные сторонники норманнской версии (М. Славянский, А. А. Куник, В. О. Ключевский, А. Е. Пресняков)³⁰⁰, наша эмиграция (Ф. А. Браун, А. Л. Погодин, В. А. Мошин), некоторые «советские антинорманисты» (М. А. Алпатов)³⁰¹. Точно такой же «аргумент» ныне приводят и наши норманисты (В. Я. Петрухин, Р. Г. Скрынников, Е. В. Пчелов, А. А. Горский, Л. С. Клейн, Е. А. Мельникова)³⁰², и зарубежные (Э. Роэсдаль, Р. Буайе)³⁰³.

В 1931 г. В. А. Мошин верно констатировал, правда, говоря о XVIII в., что призвание варягов было поставлено «в связь с норманнской колонизацией вообще», но эти слова полностью относятся и к предшествующему столетию. Значительно позже, в 1965 г., И. П. Шаскольский справедливо заметил, что «идея о создании Древнерусского государства в результате норманского завоевания не основывается на прямых показаниях источников, а является искусственной конструкцией, базирующейся на аналогии с событиями так называемой “эпохи викингов” на западе Европы, где норманны в IX–XI вв. действительно завоевали большие области и целые страны (Нормандию, Англию, Сицилию) и образовали там свои государства»³⁰⁴. Вот почему ни в Западной Европе, ни в России почти не было сомнения в том, что, как выразил эту мысль Р. Ю. Виппер, «варяги — единоплеменники норманнов, нападавших на западноевропейские страны во второй половине IX и в начале X века»³⁰⁵.

Разумеется, действия норманнов конца VIII — середины XI в. в Западной Европе являются историческим фактом, однако он давно и самым серьёзным образом искажён посредством идеализации эпохи викингов и самих викингов, что привело к образованию, по оценке французского учёного Р. Буайе, данной в 1986 г., мифа о викингах (до российского читателя его выводы в 1999 г. донёс немецкий историк Р. Зимек; свои идеи профессор Сорбонны полно и детально изложил в монографии 2004 г., изданной в России в 2019 г.). По заключению Буайе, о викингах «написано много, часто без знания предмета, обычно на основе шаблонных и ложных представлений, с готовностью поддерживаемых как самими скандинавами, так и нами, в силу закоснелого романтизма, который вскормлен американскими фильмами». Заострил он внимание и на том, что миф этот существует уже около тысячи лет, и его формировали саги, особенно «саги о древних временах», стремившиеся идеализировать своих героев, и в начале XIX в. его раздувал «скандинавский романтизм, беременный национализмом (датчанин А. Эленшлегер или шведы Э. Тегнер и особенно Э. Г. Гейер)»³⁰⁶.

Уже в Средневековье «в Скандинавии начинает, — развивал мысль Буайе Зимек, — формироваться миф о викингах», который сложился и стал популярным в XVIII–XIX веках. Согласно этому мифу, викинги, предстающие в многочисленных аутентичных источниках пиратами, варварами, грабителями и безжалостными убийцами (о том же говорят и поздние саги), уже выглядят благородными воинами, бесстрашными первооткрывателями и поселенцами,

«викингами-джентльменами», носителями развитой культуры раннесредневековой Скандинавии (так, некоторые авторы, указывает англичанка Ж. Симпсон, «стали приписывать всё положительное в характере англичан тому, что среди их предков были викинги»). Распространению этого мифа, на взгляд Зимека, во многом способствовал знаменитый шведский поэт Э. Тегнер, который вероятно, «несёт главную ответственность (или вину) за общую направленность искажения». Викингов и их эпоху Тегнер, страдающий двумя недугами — ипохондрией и ненавистью к России, вызванной поражением Швеции в войне 1808–1809 гг. и потерей финских земель, превозносил в «Frithiofs saga/Cage о Фритьофе», написанной по мотивам исландских саг и в завершённом виде опубликованной в Стокгольме в 1825 г. (о её громадной популярности говорит тот факт, что она была переведена на большинство европейских языков, включая русский, причём в Германии вышло очень большое число её переводов, выдержавших десятки переизданий).

Причём Зимек подчеркнул, ведя речь о публикации в 1737 г. вышеупомянутого Э. Ю. Биорнером сборника саг «Nordiska Kämpadater», что «подбор произведений в этой антологии сильнейшим образом повлиял на содержание мифа о викингах, а может быть, и разделил ответственность за создание самого мифа, поскольку стал источником для таких людей, как Эленшлегер, Гейер и Тегнер, которые благодаря этой публикации получили возможность ссылаться на средневековые тексты» (но данную ответственность должны разделить и наши историки первой половины XIX в., боготворившие скандинавов и прославлявшие их мифические подвиги на Руси). Солидаризируясь с Буайе, призвавшим в 1992 г. освободить эпоху викингов от мифов, немецкий исследователь резюмировал, что «нам неизменно следует проводить различие между викингами — населением Скандинавии в эпоху викингов, и “викингами” — созданиями, населяющими миф о викингах», который «вышибает почву из-под ног историка».

В 2015 г. английский историк Д. Хейвуд объяснял: дикими варварами «норманны оставались до XIX в., когда наступила эпоха национального романтизма (точнее будет сказать, романтического национализма. — В.Ф.). ... Превратившись в европейское захолустье, скандинавские королевства утратили влияние на международные дела... В результате у скандинавов возникло непреодолимое искушение обратиться к героической эпохе, когда они правили миром». Под влиянием того же романтизма изменился и смысл слова «викинг»: из средневекового обозначения морского грабителя, «то есть пирата, и вовсе не обязательно скандинавского», он превратился в синоним «скандинавов раннего Средневековья. Тогда же викингов “оснастили” варварскими рогатыми шлемами, что выглядит романтично, однако исторически недостоверно (заблуждение родилось из-за неверной атрибуции шлемов бронзового века как викингских). И эти шлемы также закрепились в массовом сознании». «Вместе с тем, — заострял внимание Хейвуд, — возникла тенденция преуменьшать их жестокость, считая описания монахов-хронистов преувеличением»³⁰⁷.

Два года спустя А. Е. Мусин констатировал, что «норманский миф», восходящий к поискам национальной идентичности Нового времени, существует в Западной Европе «в самых различных формах: научных, политических, идео-

логических, эстетических». О массе мифов и заблуждений, касающихся как поведения, внешности, мировосприятия викингов, так и самого этого термина, в 2021 г. вёл речь и А.А. Хлебов. При этом указывая, что в Скандинавии и за её пределами расцвела историческая реконструкция эпохи викингов, которая является «эффективным средством общественного воспитания и трансляции традиций», и отмечая роль голливудского видеоряда в мифологизации общества, включая и наше (при этом археолог не отказал себе в удовольствии озвучить один из мифов о викингах: их эпоха «была своего рода “звёздным часом” Скандинавии, когда её вклад во всемирную историю был исключительно велик и значим»)³⁰⁸.

Миф о викингах усиливается по нарастающей сегодня потому ещё, что, как отмечали в 2012–2013 гг. Л.П. Грот и пишущий эти строки, он мощно поддерживается международным туристическим бизнесом, и его активно «раскручивает» российский бизнес, торгуя «родной историей, превращая её в “Скандленд” и отдавая её древности на потеху туристам-скандинавам». И под прессом этого бизнеса, для которого история лишь способ зарабатывания денег, без проблем «прогибаются» учёные. Как, например, сказал в 2011 г. датский историк Дж. Линд, уча российский коллег «жизни»: «Перед лицом гигантских сил рынка, наводнивших мир своим образом викинга, историки, даже если они попытаются это сделать, не смогут повернуть время вспять, на те исходные позиции, когда викинги ещё не получили свой нынешний образ. Поэтому нам, вероятно, следует принять викинга во всём его нынешнем скандинавском облачении, вместе с рогами на шлемах и бородами лопатой. Мы можем даже порадоваться тому, что индустрия туризма использует брэнд “Викинг”, гарантирует и нам лучшую продажу наших работ».

Но наши археологи-норманисты и так давно знают, как жить и как на родной истории «делать» деньги. Тот же Линд привёл слова заведующего центра по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского музея-заповедника С.В. Трояновского: «Викинги на Новгородской земле были другими — они не воевали, не захватывали города, они были вынуждены договариваться. Если это мы покажем европейцам, вся Скандинавия будет здесь в качестве туристов»³⁰⁹. А точно такие же идеи обуревают и украинских археологов. В 2006 г. В.П. Коваленко и А.П. Моця, говоря, что, «привлечённые духом викингов, в Шестовицу потянулись любители исторических реконструкций», и что в 2001 г. там на базе международной археологической экспедиции прошёл первый «Фестиваль исторического фехтования и славяно-варяжской культуры», поделились очень желанным: «В перспективе и в мечтах в Шестовице видится первый в Восточной Европе живой игровой музей-заповедник славяно-скандинавской истории — научно-просветительное и одновременно культурно-развлекательное предприятие нового типа»³¹⁰.

Стоит добавить, что применительно к русской истории миф о викингах, будто бы именуемых на Руси варягами, наполнился дополнительным содержанием, суть которого изложил А.Л. Шлёцер: «малочисленные и полудикие» восточные славяне, эти «получеловеки», жившие «без правления», были «возбуждены» скандинавами, основавшими «русскую державу». Время поубавило резкость этих

слов, но их суть не устают тиражировать норманисты. Так, в 1925 г. эмигрант Ф.А. Браун уверял, что если викинги на западе «заставали уже вполне определившуюся государственную власть, организационно более сильную, чем они, вследствие чего они поневоле приспособлялись к ней и всюду скоро растворялись в плотно сложившейся общественности», то на Руси «они наталкивались на политически ещё бесформенную и раздробленную среду, ощущавшую потребность в сплочении, но не умевшую или не успевшую организовать: вот почему эти пришельцы, сильные своей военной организацией, стали центром политической кристаллизации и, быстро превратившись из наёмных защитников в руководящих властителей,... наложили свою печать на первичную форму русской государственности».

То же самое звучит в нашей науке сегодня. В 2012 г. С.П. Щавелев по случаю 1150-летия российской государственности говорил (и повторив эти слова на следующий год), что «горсточка» викингов (шведов, норвежцев и отчасти датчан) во главе с Рюриком «основала целое государство, даже в начале своего развития равное по площади среднему европейскому королевству». Причём викинги, выступавшие носителями более сложной культуры и обладавшие соответствующим менталитетом — первооткрывателей, авантюристов, лидеров, «основали Русь потому, что местный социум был готов принять их помощь. Более того, стороны оказались нужны друг другу в равной степени. Аборигены не могли дальше развивать торговые связи и военные операции... без технического, информационного опыта варягов, их бесстрашного менталитета. Варяги, в свою очередь, нуждались в людских и денежных ресурсах больших земель, чтобы продолжить свою экспансию на широких просторах континента»³¹¹.

И последнее. Возникновение мифа о варягах-шведах, являющегося частью огромного мифа о викингах, вышибающего «почву из-под ног историка» и подлежащего, несомненно, изгнанию из науки³¹², имеет ещё одно объяснение. Хорошо известно, что собственно шведы почти не участвовали в походах викингов на Запад, где действовали, согласно показаниям источников, датчане и норвежцы. Однако желание (по оценке Д. Хейвуда, «непреодолимое искушение») представить своих предков в качестве полноправных и активных участников «эпохи викингов» оказалось у шведских мифотворцев XVII–XVIII вв. столь велико, что этому комплексу несостоявшихся героев оказалось посильным не только создать — на фоне всё более растущего восхищения у тогдашней Европы норманнами, которых проклинала 1000 лет назад, — псевдоистину о шведах-варягах и повести их на «вакантный» Восток (на Русь), но и навязать её науке. А норманисты затем всё замечательно объяснили.

Так, например, А.А. Куник подчёркивал, что шведы редко бывали на западе, т.к. действовали на Руси под именем варягов. В.О. Ключевский убеждал, что если в Западной Европе действовали даны, то в Восточной Европе — шведы. Датчанин В. Томсен также проводил идею, что в западном направлении шли переселенцы главным образом из Дании и Норвегии, в восточном же — преимущественно из Швеции. Точно так рассуждали Е.Е. Голубинский, Ф.А. Браун, Ю.В. Готье, Р.Ю. Виппер. В середине XX в. датчанин А. Стендер-Петерсен провёл своего рода «демаркационную линию», идущую с севера на юг от о. Готланд

по Висле и речным системам восточной Галиции до Чёрного моря, на запад от которой «мы не встречаем представителей движения восточного, шведского, а на восток от неё мы не встречаем викингов». Швед Х. Арбман, говоря о движении древних шведов на восток, пояснял, что Ладога, Ильмень, Нева, Волхов «напоминали им родные долины озера Меларен». Т. Н. Джаксон, Г. В. Глазырина, Е. А. Мельникова не сомневаются, что естественным направлением движения норвежцев и датчан было западное, а шведов — восточное³¹³.

Шведский взгляд на русскую историю, порождённый мифом о викингах, давно привёл к тому, что за рубежом и у нас история Руси воспринимается неотъемлемой частью шведской истории IX–XI вв., причём самой её блестящей. Выше приведены слова Г. Ф. Миллера, сказанные в 1773 г. в адрес «Истории шведского государства» шведа О. Далина, что он «употребил в свою пользу эпоху варяжскую, дабы тем блистательнее учинить шведскую историю». В 1965 и 1974 гг. И. П. Шаскольский констатировал: современные шведские учёные стремятся показать, что главным содержанием их истории IX–XI столетий «были не события внутренней жизни страны, а походы в Восточную Европу и основание шведами Древнерусского государства», и что в этом некоторые шведские авторы видят самое яркое событие шведской истории «эпохи викингов», «самое большое достижение Скандинавии»³¹⁴.

В 1986 г. археологи А. Н. Кирпичников, И. В. Дубов и Г. С. Лебедев подчёркивали, что несколько больших походов киевских князей на Византию в 860-х — 1040-х гг. (а также свободный воинский промысел «русов» в Закаспии), «по существу, составили основное военно-историческое содержание шведской “эпохи викингов”, как походы в Англию — для датчан и норвежцев». В атмосфере таких разговоров о «золотых веках» скандинавской истории А. А. Горский в 2004 г. заметил, что «вопрос о роли норманнов в формировании Руси несёт в себе некоторый риск как раз не для русского, а для шведского исторического сознания: ведь если “отнять” активную деятельность на Руси, “шведский вклад” в движение викингов окажется близким к нулю — в Западной Европе действовали почти исключительно датчане и норвежцы»³¹⁵. На что год спустя пишущий эти строки ответил: «Но это проблема всё же шведской, а не российской исторической науки»³¹⁶.

Проблема нашей науки — это установление принципиально важной для нас истины в варяго-русском вопросе, неизбежно ведущей к пониманию того, что «самое яркое событие шведской истории “эпохи викингов”» есть самое ложное событие шведской истории, рождённое шведским взглядом на русскую историю, впервые высказанным пустомелей Петреем.

Примечания

- ¹ Чубарьян А. О. Указ. соч. С. 4.
- ² Миллер Г. Ф. История императорской... С. 513; Пекарский П. П. История... Т. I. С. 180–196; Милюков П. Н. Указ. соч. С. 72–73; Фролов Э. Д. Указ. соч. С. 62–65.
- ³ Bayer G. S. De Varagis. P. 275–311; Байер Г. З. Указ. соч. С. 344–362.
- ⁴ Алпатов М. А. Русская... (1985). С. 16.
- ⁵ Афиани В. Ю. и др. Указ. соч. С. 355.
- ⁶ Фортинский Ф. Варяги... С. 1–2; Хлевов А. А. Норманская... (1997). С. 7.
- ⁷ Шлёцер А. Л. Нестор. Ч. I. С. XXVII, рм; Зиновьев А. З. Указ. соч. С. 16; Скромненко С. [Строев С. М.]. Критический... С. 7; Шенин В. Указ. соч. (№ 11). С. 137; Бодянский О. М. Указ. соч. С. 64; Сазонов Н. Указ. соч. (№ 1). С. 134; Венелин Ю. И. Скандинавомания... С. 26; Максимова М. А. Откуда... С. 83, прим. 3; Надеждин Н. И. Об исторических... С. 101–102; Савельев П. С. Известие... С. 3; Савельев-Ростиславич Н. В. Варяжская... С. 22; Славянский сборник... С. XV; Публичный... С. 12; Бестужев-Рюмин К. Н. Русская... С. 90; Лекции... Бестужева-Рюмина... С. 6–7; Пекарский П. П. История... Т. II. С. 425; Погодин М. П. Борьба... С. 153; Ключевский В. О. Лекции... С. 397–398; Загоскин Н. П. История... С. 336–337, 357; БЭ. Т. 2. С. 423; т. 4. С. 412, 414; РЭ. Т. 4. С. 2.
- ⁸ Бузескул В. П. Указ. соч. С. 47; Мошин В. А. Варяго... С. 20; Шмурло Е. Ф. Курс... С. 362; Рыдзевская Е. А. Древняя... С. 128; Ильина Н. Н. Указ. соч. С. 27, прим. на с. 20.
- ⁹ Мавродин В. В. Образование... (1945). С. 381; *его же*. Борьба... С. 7, 9; Коровин Г. М. Указ. соч. С. 17; Пушкирёв Л. Н. Академия... С. 35; Алпатов М. А. Русская... (1985). С. 16–17; Шанский Д. Н. Историческая... С. 138.
- ¹⁰ Фролов Э. Д. Указ. соч. С. 66; Хлевов А. А. Норманская... (1997). С. 6; Герасименко Г. А. Указ. соч. С. 40; Тункина И. В. Указ. соч. С. 27; Рогожин Н. М. Историография... Г. З. Байер... С. 119; Чернобаев А. А. Немецкие... С. 127; Сидоренко О. В. Указ. соч. С. 59; Бузескул В. П. Указ. соч. С. 492; Смирнов А. С. Указ. соч. С. 399; Умбрашко К. Б. Историография... (2008). С. 66; *его же*. Историографические... С. 23; *его же*. Историография... (2014). С. 24; Коваленко Г. М. Русские... С. 13; Пчелов Е. В. Рюрики... С. 10.
- ¹¹ Рубинштейн Н. Л. Указ. соч. С. 97, 153.
- ¹² См., напр.: Пиккио Р. Указ. соч. С. 27; Bazyłow L. Op. cit. S. 22; Ruff H. Op. cit. S. 273; Schramm G. Op. cit. S. 21.
- ¹³ Бестужев-Рюмин К. Н. Русская... С. 210, 90; Милюков П. Н. Указ. соч. С. 72–73.
- ¹⁴ Bayer G. S. De Varagis. P. 280; Байер Г. З. О варягах. С. 346.
- ¹⁵ Бестужев-Рюмин К. Н. Русская... С. 90–92; Томсен В. Указ. соч. С. 37, прим. 2; Загоскин Н. П. Русские... С. 52; Афиани В. Ю. и др. Указ. соч. С. 356, 364–366, 368; Мошин В. А. Варяго... С. 20; Фомин В. В. Ломоносов. С. 444–445, прим. 10 и 11.
- ¹⁶ Дворниченко А. Ю. Зеркала... С. 11.
- ¹⁷ Ломоносов М. В. ПСС. Т. 6. С. 24–26, 31–32; т. 10. С. 233.
- ¹⁸ Шлёцер А. Л. Нестор. Ч. I. С. рмв; Сазонов Н. Указ. соч. (№ 1). С. 137; Старчевский А. В. Указ. соч. С. 262; Венелин Ю. И. Скандинавомания... С. 46; Надеждин Н. И. Об исторических... С. 101; Артемьев А. И. Указ. соч. С. 2; Соловьёв С. М. Герард... С. 57; *его же*. История... Кн. 12. С. 285; Булич Н. Н. Указ. соч. С. 85; Иконников В. С. Очерк... С. 7; Ключевский В. О. Лекции... С. 402, 483, прим. 35.
- ¹⁹ Белявский М. Т. М. В. Ломоносов и русская... С. 96; Историография истории СССР (1961). С. 84; Гофман П. Указ. соч. С. 207.
- ²⁰ Славяне и Русь. С. 237; Кузьмин А. Г. Начало... С. 33; Акашев Ю. Д. Указ. соч. С. 5; Джаксон Т. Н. Герард... (2001). С. 16; Рогожин Н. М. Историография... Г. З. Байер... С. 123.
- ²¹ Шлёцер А. Л. Нестор. Ч. II. С. 139.
- ²² Шлёцер А. Л. Нестор. Ч. I. С. 4, XXXII–XXXIII; Соловьёв С. М. Август... Стб. 1542–1543, 1545, 1574, 1576; Бестужев-Рюмин К. Н. Биографии... С. 150–171; Иконников В. С. Август... С. 2–4.
- ²³ Общественная... С. 164.

- ²⁴ Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. нд-не, 51–52, 295, 304–306, 325, 368, 419–420, 422; ч. II. С. 168–169, 175, 178–180, 259–260, 288–289; ч. III. С. 347–348, 351; Мошин В.А. Варяго... С. 25.
- ²⁵ Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. род, 388–390, ч. II. С. 259; Милуков П.Н. Указ. соч. С. 141–143.
- ²⁶ См., напр.: Хлезов А.А. Норманская... (1997). С. 14.
- ²⁷ Thunmann J. Op. cit. S. 371–372; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 366–367, прим. ** на с. 325.
- ²⁸ Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. XVIII, XXVI, 327–328.
- ²⁹ Шлёцер А.Л. Опыт... С. 268–269, 272, 279–283; *его же*. Изображение... С. 5.
- ³⁰ August Ludwig... S. 47.
- ³¹ Общественная... С. 31, 290, 296.
- ³² Максимович М.А. Откуда... С. 10, 32, 125, прим. 53; Надеждин Н.И. Об исторических... С. 108, 125; Коялович М.О. Указ. соч. С. 161; Свистун Ф.И. Указ. соч. С. 13; Ключевский В.О. Лекции... С. 451; Милуков П.Н. Указ. соч. С. 73–74; Славяне и Русь. С. 248; Кузьмин А.Г. История... Кн. 1. С. 74; *его же*. Начало... С. 38; *его же*. Облик... С. 216.
- ³³ Иконников В.С. Август... С. 58, прим. 2.
- ³⁴ Татищев В.Н. История... Т. I. С. 90, 225, 228, прим. 31; Примечания В.Н. Татищева. С. 252; Эмин Ф. Указ. соч. С. 65, прим. а; Венелин Ю.И. Скандинавизация... С. 29, 47.
- ³⁵ Бутков П.Г. Оборона... С. 3; Артемьев А.И. Указ. соч. С. 3–4; Савельев-Ростиславич Н.В. Предисловие. С. 3, 6; *его же*. Варяжская... С. 15, 22–24; Славянский сборник... С. VIII, XVIII, XXIII, XXXVIII–XXXIX, XCV, CCXXVII–CCXXVIII; Иванов Н.А. Общее... С. 23–26, 39, 243–247, 250–251; Коялович М.О. Указ. соч. С. 33, 36, 136, 144, 163, 273, 289, 551; Классен Е.И. Указ. соч. С. 21–23; Бестужев-Рюмин К.Н. Русская... С. 217; *его же*. Биографии... С. 170, 199; Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 88; История Академии наук СССР. С. 398.
- ³⁶ Мошин В.А. Варяго... С. 24–25.
- ³⁷ Костомаров Н.И. Начало... С. 28; Тарановский Ф.В. Указ. соч. С. 1–2, 16, 20; Тарановский Ф.В. Op. cit. С. 81–82.
- ³⁸ Stender-Petersen A. Varangica. P. 242; *idem*. Der älteste... S. 3–4.
- ³⁹ Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 51–52, 55–64, 88; ч. 2. С. 69–70.
- ⁴⁰ Цит. по: Чивилихин В. Указ. соч. С. 358–359; Откуда есть... Кн. 1. С. 6.
- ⁴¹ Пауль А. Норманизм... (2014). С. 55–61; то же (2015). С. 237–244.
- ⁴² Бернев С.К., Ковалёв Б.Н. Указ. соч. С. 365–372.
- ⁴³ Андерле А. Указ. соч. С. 91; Нильсен Й.П. Указ. соч. С. 57; Кузьмин А.Г. Начало... С. 7–8; *его же*. Облик... С. 219, 222.
- ⁴⁴ Ламанский В.И. Геополитика... С. 106–113.
- ⁴⁵ Тихомиров М.Н. Русская... С. 95; *его же*. Развитие... в России... С. 191.
- ⁴⁶ Алпатов М.А. Как... С. 119–120; *его же*. Русская... (1973). С. 12, 31, 46–47; *его же*. Русская... (1976). С. 6; *его же*. Варяжский... С. 32–34, 40, 42; *его же*. Русская... (1985). С. 9–14, 17–19.
- ⁴⁷ Мавродин В.В. Борьба... С. 8; Сахаров А.М. Историография... С. 57–58; Рыбаков Б.А. Киевская Русь... С. 295; *его же*. Мир... С. 47.
- ⁴⁸ Чернышевский Н.Г. ПСС. Т. XVI. С. 686, прим. 7.
- ⁴⁹ Татищев В.Н. История... Т. I. С. 90, 93, 201, 225, прим. 3 на с. 225, прим. 39 на с. 229, прим. 73 на с. 232, прим. 2 на с. 307; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 24–25, 31–32, 41.
- ⁵⁰ Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 374, 377, 379; *его же*. История императорской... С. 513, 515.
- ⁵¹ Шлёцер А.Л. Опыт... С. 306; *его же*. Нестор. Ч. I. С. рзі, рм-рма, 49, 52–55, 391–392; Общественная... С. 4, 47–49, 305, 395.
- ⁵² Карамзин Н.М. История... Т. I. Прим. 513.
- ⁵³ Соловьёв С.М. Август... Стб. 1539; Милуков П.Н. Указ. соч. С. 71, 81, 122, 128; Рубинштейн Н.Л. Указ. соч. С. 96–97.
- ⁵⁴ Стенограмма... № 2. С. 49, 56–57, 61; № 3. С. 95–96; № 4. С. 84–86; № 9. С. 65–67, 74.
- ⁵⁵ Там же. № 5–6. С. 79–80.
- ⁵⁶ Мавродин В.В. Образование... (1945). С. 382; Семёнов-Зусер С.А. Указ. соч. С. 12, 16, 19; Тихомиров М.Н. Русская... С. 94–96, 99.
- ⁵⁷ Против объективизма... С. 5, 9; Мавродин В.В. Борьба... С. 7–9.

- ⁵⁸ Тихомиров М. Н. Развитие... в России... С. 170, 190–191.
- ⁵⁹ Гурвич Д. М. Указ. соч. С. 110, 113; Мавродин В. В. Борьба... С. 7–9; Белявский М. Т. Работы... С. 116–117, 120; *его же*. М. В. Ломоносов и русская... С. 93–97; Тихомиров М. Н. Исторические... С. 69; Астахов В. И. Указ. соч. С. 105–106; Фруменков Г. Г. Указ. соч. С. 9–14; Алпатов М. А. Русская... (1973). С. 12; Очерки истории СССР. IX–XV вв. С. 29–30.
- ⁶⁰ Черепнин Л. В. Русская... С. 188–191, 210–211; Белявский М. Т. М. В. Ломоносов и русская... С. 96, прим. 16; Шапиро А. Л. Историография... по XVIII век. С. 144, 222–224; Рогожин Н. М. Историография... Г. З. Байер... С. 141.
- ⁶¹ Фомин В. В. Варяги и варяжская... С. 14; *его же*. Варяго-русский вопрос в отечественной историографии... (автореферат). С. 19; *его же*. Ломоносов. С. 113, 341.
- ⁶² Ловмянский Х. Русь... С. 59–60; Данилов А. А. Указ. соч. С. 397.
- ⁶³ Алпатов М. А. Неутомимый... С. 118; *его же*. Русская... (1985). С. 19–20.
- ⁶⁴ Котляров А. Н. Развитие... С. 7, 9.
- ⁶⁵ Müller G. F. Nachricht... S. 4, anm. *.
- ⁶⁶ Auszug russischer Geschichte nach... S. 10, anm. **; Auszug russischer Geschichte des X... S. 119, anm. **.
- ⁶⁷ Миллер Г. Ф. История императорской... С. 553; Пекарский П. П. Наука... С. 126–132; *его же*. История... Т. I. С. XVIII, XX, 319; Винтер Э. И. В. Паус... С. 313–322; Славяноведение... С. 261–262; Шарыткин Д. М. Указ. соч. С. 42; Савельева Е. А. Издание... С. 507–509.
- ⁶⁸ Bayer G. S. De Varagis. P. 276–279, 295–297; Татищев В. Н. История... Т. I. С. 291; т. IV. С. 82; Тредиаковский В. К. Указ. соч. С. 199, 205; Общественная... С. 297; Шлёцер А. Л. Нестор. Ч. I. С. 367; Ewers J. P. G. Vom Ursprunge... S. 49–50, 53, anm. 2; Венелин Ю. И. Скандинавома-ния... С. 36–37; Браун Ф. А. Варяжский... С. 570.
- ⁶⁹ Kunik E. Die Berufung... Bd. I. S. 115–116; [Бутков П. Г.]. [Рец.] «Die Berufung... С. 62; Дополне-ния А. А. Куника. С. 461; Замечания А. Куника. (1878). С. 1–4; Куник А. А. Известия... С. 031, 039, 047, 054–055.
- ⁷⁰ См., напр.: Фомин В. В. Норманизм и его истоки. С. 18–30; *его же*. Кто... С. 59–62; *его же*. Норманская проблема... С. 305–324; *его же*. Варяги и варяжская... С. 8–57; *его же*. При-чины... С. 43–49; *его же*. Норманизм как порождение... С. 159–165; *его же*. Ультранорма-низм в прошлом... С. 22–30; *его же*. К 400... С. 229–248; *и др.*
- ⁷¹ Latvakangas A. Riksgrundarna. S. 130–185, 352–374.
- ⁷² Шольц Б. Варяжский... С. 194–204; *её же*. Немецко... С. 109–111; Scholz B. Op. cit. S. 115–286, 321–339.
- ⁷³ См., напр.: Грот Л. П. Генезис... С. 144–146; *её же*. Утопические...; *её же*. Путь...; *её же*. О Рос-лагене... С. 386–393, 437–458; *её же*. Смутное... С. 85–100; *её же*. Прерванная... С. 8–33; *её же*. Западноевропейские... С. 32–36; *её же*. Изображение... С. 180–181; Клёсов А. А., Грот Л. П. Указ. соч. С. 257–263.
- ⁷⁴ Куник А. А. Известия... С. 031.
- ⁷⁵ Петрей П. Указ. соч. С. I–X; Реляция... С. 7–22; Буссов К. Указ. соч. С. 10; Biographiskt Lex-ikon... Bd. 11. S. 164–168; Nordisk Familjebok. Bd. 15. Kol. 942; Svenska män... Bd. 1. S. 104; Tarkiainen K. Op. cit. S. 244–283; Алпатов М. А. Русская... (1976). С. 54–68; Лимонов Ю. А. Но-вые... С. 99–100; *его же*. Сочинение шведского... С. 106–108, 111; Шокарев С. Ю. Указ. соч. С. 469–470; Latvakangas A. Riksgrundarna. S. 132–137; Scholz B. Op. cit. S. 141; Коваленко Г. М. Русские... С. 64–65; Грот Л. П. О Рослагене... С. 390–391; *её же*. Смутное... С. 86–96; *её же*. Прерванная... С. 9–26; Толстиков А. В. Пётр... С. 129–142; Смута... С. 171.
- ⁷⁶ Лимонов Ю. А. Сочинение шведского... С. 107–108.
- ⁷⁷ Коваленко Г. М. Русские... С. 63.
- ⁷⁸ Сказания иностранных... С. IX, XI.
- ⁷⁹ Устрялов Н. Г. Сказания... С. 7; Аделунг Ф. Указ. соч. Ч. II. С. 145; Лимонов Ю. А. «История... С. 260–270; *его же*. Сочинение шведского... С. 109–112; Scholz B. Op. cit. S. 142–144.
- ⁸⁰ Устрялов Н. Г. Сказания... С. 7; Буссов К. Указ. соч. С. 41, прим. 3 на с. 7; Лимонов Ю. А. Со-чинение П. Петрея... С. 141–142; Смута... С. 171, 239; Шокарев С. Ю. Указ. соч. С. 465, 469–471.

- ⁸¹ Алпатов М. А. Русская... (1976). С. 54–57; *Latvakangas A. Riksggrundarna*. S. 132.
- ⁸² *Petrejus P. Regni...* S. 2–6; *idem. Historien...* S. 139–144; *Петрей П.* Указ. соч. С. 1, 85, 90–92, 312 (сноски на это произведение везде даются по изданию 1867 г.); *Грот Л. П.* Имена... С. 246; *Клёсов А. А., Грот Л. П.* Указ. соч. С. 262.
- ⁸³ История Швеции. С. 8; *Грот Л. П.* Западноевропейские... С. 32–33.
- ⁸⁴ *Latvakangas A. Riksggrundarna*. S. 136–137.
- ⁸⁵ *Грот Л. П.* Генезис... С. 145; *её же.* Утопические... С. 322; *её же.* Путь... С. 150, 152; *её же.* О Рослагене... С. 389; *её же.* Смутное... С. 97; *её же.* Прерванная... С. 27–28; *Клёсов А. А., Грот Л. П.* Указ. соч. С. 258–259.
- ⁸⁶ *Петрей П.* Указ. соч. С. 90–93.
- ⁸⁷ *Latvakangas A. Riksggrundarna*. S. 136.
- ⁸⁸ *Олеарий А.* Указ. соч. С. 320; *Крижанич Ю.* Указ. соч. С. 488–489, 504, 624; *Пушкарёв Л. Н.* Юрий... С. 127.
- ⁸⁹ [Манкиев А. И.]. Указ. соч. С. 8, 294, 298.
- ⁹⁰ *Татищев В. Н.* История... Т. I. С. 292; т. VII. С. 424, прим. 49; *Пекарский П. П.* Новые... С. 27; *Юхт А. И.* Указ. соч. С. 182.
- ⁹¹ *Ломоносов М. В.* ПСС. Т. 10. С. 433; *Куник А. А.* Сборник... Ч. II. С. 350; *Летопись жизни...* С. 51, 58; *Павлова Г. Е., Фёдоров А. С.* Указ. соч. С. 101, 359.
- ⁹² *Widekind J.* Op. cit. P. 403; *Видекинд Ю.* Указ. соч. С. 280; *Пекарский П. П.* Новые... С. 27; *Svenska män...* Bd. 1. S. 342; *Гейман В. Г.* Сочинение... С. 511–512, 517–520; *Хорошкевич А. Л., Плигузов А. И., Коваленко Г. М.* Указ. соч. С. 521, 525–526, 533, 537–540, 557–559; *Latvakangas A. Riksggrundarna*. S. 130.
- ⁹³ *Мыльников А. С.* Картина... Этногенетические... С. 269; *его же.* Славяне... С. 148–149; *его же.* Картина... Представление... С. 56.
- ⁹⁴ *Verelius O.* Op. cit. P. 19, note 192; *Rudbeck O.* Op. cit. Т. II. P. 518; Т. III. P. 184–185.
- ⁹⁵ *Münster S.* Op. cit. S. 1420; *Герберштейн С.* Указ. соч. С. 60; *Latvakangas A. Riksggrundarna*. S. 352–355; *Грот Л. П.* О Рослагене... С. 443–445; *её же.* Шведские... С. 39.
- ⁹⁶ *Scarín A.* Op. cit. P. 73–76, note r на p. 56; *Шлёцер А. Л.* Нестор. Ч. I. С. рлз-рли; *Грот Л. П.* О Рослагене... С. 445–447.
- ⁹⁷ *Коваленко Г. М.* Скарин А. С. 436.
- ⁹⁸ Замечания А. Куника. (1878). С. 1–2; *Куник А. А.* Известия... С. 039, 047, 054, 057.
- ⁹⁹ См., напр.: *Пузанов В. В.* Древнерусская... С. 185; *его же.* Образование... С. 82.
- ¹⁰⁰ *Коваленко Г. М.* Русские... С. 15.
- ¹⁰¹ Замечания А. Куника. (1878). С. 6, 8; *Куник А. А.* Известия... С. 039.
- ¹⁰² *Шаскольский И. П.* Вопрос... С. 132, прим. 13.
- ¹⁰³ *Розенкамф Г. А.* Обзорение... С. 259.
- ¹⁰⁴ *Куник А. А.* Предисловие... С. 138–139; Дополнения А. А. Куника. С. 441; *Куник А. А.* Известия... С. 039.
- ¹⁰⁵ *Меховский М.* Указ. соч. С. 94; *Герберштейн С.* Указ. соч. С. 57–58, 287, прим. 34; *его же.* Записки о Московии. Т. II. С. 289, прим. 36; *Мыльников А. С.* Картина... Этногенетические... С. 155; *Соколов С. В.* Концепция... (автореферат). С. 15–16; *Пауль А.* Роксоланы... С. 9.
- ¹⁰⁶ *Савельева Е. А., Беспярых Ю. Н., Возгрин В. Е.* Указ. соч. С. 281, коммент. 54.
- ¹⁰⁷ Записки капитана... С. 12, 24, 77; *Пекарский П. П.* Наука... С. 354–355; *Грот Л. П.* О Рослагене... С. 444, 447–448; *её же.* Шведские... С. 38–40; *её же.* Призвание... (2012, 2013). С. 288–291.
- ¹⁰⁸ См., напр.: *Мошин В. А.* Варяго... С. 25; *Ловмянский Х.* Русь... С. 60, 65; *Шаскольский И. П.* Вопрос... С. 131–132; *Хлевов А. А.* Норманская... (1997). С. 16.
- ¹⁰⁹ *Kunik E.* Die Berufung... Bd. I. S. 163–167.
- ¹¹⁰ Дополнения А. А. Куника. С. 461; Замечания А. Куника (2015). С. 230; то же. (1878). С. 2, 4.
- ¹¹¹ *Клейн Л. С.* Фо па... С. 651.
- ¹¹² *Авдусин Д. А.* Современный... (1988). С. 23–24; *Васильева Н. И.* Указ. соч. С. 12.
- ¹¹³ *Svenskt biografiskt*. S. 722; *Nordisk Familjebok*. Bd. 20. Kol. 418; *Latvakangas A. Riksggrundarna*. S. 130–131; *Хорошкевич А. Л., Плигузов А. И., Коваленко Г. М.* Указ. соч. С. 521, 524.

- ¹¹⁴ Kunik E. Die Berufung... Bd. I. S. 116; [Бутков П.Г.]. [Рец.] «Die Berufung... С. 62; Дополнения А.А. Куника. С. 430, 461; Замечания А. Куника. (1878). С. 2–3; Куник А.А. Известия... С. 039.
- ¹¹⁵ Погодин М.П. О происхождении... С. 48; *его же*. Исследования... Т. 2. С. 37; Cronholm A. Op. cit. S. 224.
- ¹¹⁶ Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. 1. 367–369, прим. ** к с. 325; Kunik E. Die Berufung... Bd. I. S. 112, 116–118; [Бутков П.Г.]. [Рец.] «Die Berufung... С. 61–62; Томсен В. Указ. соч. С. 101; Браун Ф.А. Варяги... С. 327; Latvakangas A. Riksgrundarna. S. 131–132.
- ¹¹⁷ Максимович М.А. Откуда... С. 127–128, прим. 53 и прим. 23 на с. 103.
- ¹¹⁸ Bayer G. S. De Varagis. P. 276; Байер Г.З. Указ. соч. С. 344–345; Dalin O. Op. cit. S. 410; Далин О. Указ. соч. Ч. 1. Кн. 2. С. 675, прим. а; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. 1. С. 285.
- ¹¹⁹ Ewers J.P.G. Vom Ursprunge... S. 134, anm. 10; Карамзин М.Н. История... Т. I. Прим. 108; Савельев-Ростиславич Н.В. Варяжская... С. 37–38; Славянский сборник... С. XXXVI; Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 399, прим. 48; Тебеньков М.М. Указ. соч. С. 43.
- ¹²⁰ Sweden Riksarkivet. Muskovitica 17. Relation...
- ¹²¹ Latvakangas A. Riksgrundarna. S. 130, 134–135.
- ¹²² Sweden Riksarkivet. Muskovitica 17. Liber...
- ¹²³ Седов П.В. Шваль И. С. 536.
- ¹²⁴ См. о дате заключения договора: Коваленко Г.М. История... С. 243, прим. 26; *его же*. Договор... С. 131–132. Ср.: Похлёбкин В.В. Внешняя... С. 192.
- ¹²⁵ Новгородские летописи. С. 355–356; Соловьёв С.М. История... Кн. 4. С. 701; Платонов С.Ф. Лекции... С. 329; Кобзарева Е.И. Шведская... С. 23–25; Селин А.А. Новгородское... С. 187.
- ¹²⁶ СГГД. Ч. 2. С. 554–555, 557; Соловьёв С.М. История... Кн. 4. С. 701; Платонов С.Ф. Лекции... С. 329.
- ¹²⁷ Нордландер И. Указ. соч. С. 285.
- ¹²⁸ Рабинович Я.Н. Порховское... С. 12.
- ¹²⁹ Рабинович Я.Н. Малые... С. 16; Селин А. [Рец.] Я.Н. Рабинович. С. 179.
- ¹³⁰ Морозова Л.Е. Смута... С. 264.
- ¹³¹ СГГД. Ч. 2. С. 559; Арсеньевские... Ч. I. С. VI; Костомаров Н.И. Смутное... С. 572; Платонов С.Ф. Лекции... С. 329; История Швеции. С. 186; Похлёбкин В.В. Внешняя... С. 185; Кобзарева Е.И. Шведская... С. 247–248, 307.
- ¹³² Там же. С. 268–270.
- ¹³³ Гиппинг А.И. Указ. соч. С. 259, 263; История Швеции. С. 186; Кобзарева Е.И. Шведская... С. 11, 53, 68, 99–100, 123–124, 153–154, 170–171, 200–201, 221; Рабинович Я.Н. Порховское... С. 12–13.
- ¹³⁴ БАН. Успенск. № 210. Л. 83; РНБ. Собр. Титова, 3250. Л. 170; F. IV. 623. Л. 153; СПБИРИ РАН. Собр. Арх. ком. № 28. Л. 184; Рабинович Я.Н. Порховское... С. 12.
- ¹³⁵ Гейман В.Г. Сочинение... С. 516.
- ¹³⁶ Селин А.А. Новгородское... С. 7, 10–11, 18, 50, 77, 206, 231–233, 244, 323, 341–342, 350, 416, 488, 491, 556, 559, 608, 615, 624, 693–695 и др.; Коваленко Г.М. Русские... С. 70.
- ¹³⁷ Арсеньевские... Ч. I. С. 38; Форстен Г.В. Политика... (Октябрь). С. 203–206; Фигаровский В.А. Указ. соч. С. 54–55, 59; Карташёв А.В. Указ. соч. Т. 2. С. 87–88; Кирпичников А.Н., Сарабьянов В.Д. Старая Ладога... С. 24, 45–46; Гейман В.Г. Сочинение... С. 517–518; Кобзарева Е.И. Шведская... С. 13, 19, 27, 79, 133–134, 203–204, 246, 271, 331, 382–383, 388; Енин Г.П. Шведская... С. 56, 60; Рабинович Я.Н. Малые... С. 19, 23; Селин А.А. Новгородское... С. 250, 385, 393–395, 400, 411, 414, 626, 693–694; Коваленко Г.М. Шведская... С. 537; *его же*. «Знаменит... С. 30; Фомин В.В. Новгород... С. 69–79.
- ¹³⁸ Бантыш-Каменский Н.Н. Указ. соч. С. 143; Соловьёв С.М. История... Кн. 4. С. 698; Костомаров Н.И. Смутное... С. 566–568; Замятин Г.А. Указ. соч. С. 18; Седов П.В. Захват... С. 118–119; Коваленко Г.М. История... С. 240, 244–245; *его же*. Ошибка... С. 43–44; *его же*. Карл... С. 237–238; *его же*. Русские... С. 71–72; Гейман В.Г. Сочинение... С. 515–516; Хорошкевич А.Л., Плигузов А.И., Коваленко Г.М. Указ. соч. С. 552; Кобзарева Е.И. Шведская... С. 21–22, 77–79,

- 82–84, 92, 105, 109–112, 119–129, 136–141, 203–229, 233, 245–247, 251, 254–260, 266, 286–287, 385.
- ¹³⁹ Похлёбкин В.В. Внешняя... С. 192; Кобзарева Е.И. Смута. С. 209; *её же*. Шведская... С. 5, 22–23, 123, 129–133, 296, 353, 384.
- ¹⁴⁰ Бантыш-Каменский Н.Н. Указ. соч. С. 144–145; Реляция... С. 20–21; Форстен Г.В. Политика... (Октябрь). С. 186; Похлёбкин В.В. Внешняя... С. 193; Кобзарева Е.И. Шведская... С. 166–167, 174–176, 199–200, 231, 249–253; Толстиков А.В. Пётр... С. 138–139. Бантыш-Каменский утверждает, что в 1612 г. Карлу-Филиппу было 16 лет, но шведский принц родился 22.04.1601 и умер 25.01.1622 г. (Nordisk Familjebok. Bd. 11. Kol. 379; Svenska män... Bd. 4. S. 188).
- ¹⁴¹ Форстен Г. Политика... (Октябрь). С. 186; Коваленко Г.М. Договор... С. 133; *его же*. Ошибка... С. 45; *его же*. Русские... С. 72; Кобзарева Е.И. Шведская... С. 209–211, 234–236.
- ¹⁴² Форстен Г. Политика... (Октябрь). С. 186–188, 201, 207–212; Рабинович Я.Н. Порховское... С. 13–14.
- ¹⁴³ Форстен Г. Политика... (Октябрь). С. 191; Фигаровский В.А. Указ. соч. С. 69; Похлёбкин В.В. Внешняя... С. 193; Коваленко Г.М. Ошибка... С. 46; Кобзарева Е.И. Новгород... С. 18; *её же*. Шведская... С. 266, 271.
- ¹⁴⁴ Форстен Г. Политика... (Октябрь). С. 189–190; Кобзарева Е.И. Шведская... С. 270, 291, 303.
- ¹⁴⁵ ДАИ. Т. 2. С. 4–10; Бантыш-Каменский Н.Н. Указ. соч. С. 145; Похлёбкин В.В. Внешняя... С. 193; Кобзарева Е.И. Шведская... С. 273, 275–286, 386–387; Селин А.А. Новгородское... С. 374–375.
- ¹⁴⁶ Петрей П. Указ. соч. С. 311; Форстен Г. Политика... (Октябрь). С. 193–194; Кобзарева Е.И. Шведская... С. 291–308, 326–327, 380–381.
- ¹⁴⁷ СГГД. Ч. 2. С. 299, 303.
- ¹⁴⁸ Кобзарева Е.И. Шведская... С. 231.
- ¹⁴⁹ Форстен Г. Политика... (Октябрь). С. 193.
- ¹⁵⁰ Latvakangas A. Riksgrundarna. S. 130, not 5.
- ¹⁵¹ Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. III. С. 101, прим. *; Голлман Г.Ф. Указ. соч. С. 36–37; Рыбакин А.И. Указ. соч. С. 169; Latvakangas A. Riksgrundarna. S. 101; Грот Л.П. Имена... С. 304, 308, 319.
- ¹⁵² Форстен Г.В. Политика... (Февраль). С. 341, 349; *его же*. Балтийский... Т. II. С. 88.
- ¹⁵³ Форстен Г.В. Политика... (Февраль). 1889. С. 328, 332–349; *его же*. Балтийский... Т. II. С. 72–73, 81, 85, 87–88, 121; Гейман В.Г. Сочинение... С. 512, 514; Кобзарева Е.И. Шведская... С. 17, 39, 53, 64–65, 104, 111, 124–125; Селин А.А. Новгородское... С. 608.
- ¹⁵⁴ Форстен Г.В. Политика... (Октябрь). С. 186; *его же*. Балтийский... Т. II. С. 119–120.
- ¹⁵⁵ Сьундберг Х. Указ. соч. С. 274.
- ¹⁵⁶ Гейман В.Г. Сочинение... С. 516.
- ¹⁵⁷ Форстен Г.В. Балтийский... Т. II. С. 123.
- ¹⁵⁸ Форстен Г.В. Политика... (Октябрь). С. 195.
- ¹⁵⁹ История Швеции. С. 186.
- ¹⁶⁰ Коваленко Г.М. Ошибка... С. 45.
- ¹⁶¹ Арсеньевские... Ч. I. С. 15–16, 33–54 и др.; ч. II. С. 3–42.
- ¹⁶² Форстен Г.В. Политика... (Февраль). С. 333; *его же*. Балтийский... Т. II. С. 72, 78–81.
- ¹⁶³ Форстен Г.В. Политика... (Февраль). С. 329.
- ¹⁶⁴ Кобзарева Е.И. Шведская... С. 232.
- ¹⁶⁵ Там же. С. 356.
- ¹⁶⁶ ДАИ. Т. 2. С. 24–25; Соловьёв С.М. История... Кн. 5. С. 76; Селин А.А. Новгородское... С. 169.
- ¹⁶⁷ ДАИ. Т. 2. С. 7.
- ¹⁶⁸ СГГД. Ч. 2. С. 588–591, 593–599; ААЭ. Т. 2. С. 356–360; ДАИ. Т. 1. С. 286–294; Соловьёв С.М. История... Кн. 4. С. 721, 723–726; Фигаровский В.А. Указ. соч. С. 67–69; Кобзарева Е.И. Шведская... С. 26, 128–129, 134–161, 172, 199–244.
- ¹⁶⁹ ПЛ. Вып. 1. С. 129–131; ПСРЛ. Т. 14. Кн. 1. С. 112, 119.
- ¹⁷⁰ СГГД. Ч. 2. С. 591–592.

- ¹⁷¹ То же. Ч. 1. С. 613; *Петрей П.* Указ. соч. С. 301; *Соловьёв С. М.* История... Кн. 4. С. 698; кн. 5. Т. 9–10. С. 86.
- ¹⁷² ДАИ. Т. 1. С. 283–284.
- ¹⁷³ *Савельев П. С.* Мухаммеданская... С. CLXX; *Соловьёв С. М.* История... Кн. 1. С. 86, прим. 143 к т. 1; *Иловайский Д. И.* Разыскания... С. 236–237; *Замятин Г. А.* Указ. соч. С. 23; *Мошин В. А.* Варяго... С. 19.
- ¹⁷⁴ *Latvakangas A.* Riksgrundarna. S. 131, not 4; *Коваленко Г. М.* Ошибка... С. 44; *его же.* Великий... С. 38; *его же.* «Знаменит... С. 30; *его же.* Русские... С. 13, 64, 72; *Петрухин В. Я.* Древняя Русь. С. 370; *его же.* Сказание... С. 79 81; *Мачинский Д. А.* Некоторые... С. 493; *Пчелов Е. В.* Рюрик. С. 73.
- ¹⁷⁵ *Алпатов М. А.* Русская... (1976). С. 62, 68.
- ¹⁷⁶ *Latvakangas A.* Riksgrundarna. S. 135–137.
- ¹⁷⁷ *Форстен Г.* Политика... (Октябрь). С. 193.
- ¹⁷⁸ *Крижанич Ю.* Указ. соч. С. 488, 624.
- ¹⁷⁹ *Петрей П.* Указ. соч. С. 90; *Крижанич Ю.* Указ. соч. С. 287, 624–625.
- ¹⁸⁰ *Козляков В. Н.* Указ. соч. С. 74.
- ¹⁸¹ *Форстен Г. В.* Борьба... Прим. 2 на с. 256, прим. 1 на с. 257; *Фомин В. В.* Иван... С. 399–418.
- ¹⁸² *Карамзин Н. М.* История... Т. I. Прим. 108.
- ¹⁸³ *Шлёцер А. Л.* Нестор. Ч. I. С. 325, прим. **.
- ¹⁸⁴ *Погодин М. П.* О происхождении... С. 48; *Kunik E.* Die Berufung... Bd. I. S. 115–116; [*Бутков П. Г.*]. [Рец.] «Die Berufung... С. 62; *Славянский сборник*... С. XXXVI; *Бестужев-Рюмин К. Н.* Русская... С. 89, прим. 1.
- ¹⁸⁵ *Форстен Г. В.* Политика... (Октябрь). С. 199–200; *Latvakangas A.* Riksgrundarna. S. 130, not 1; *Кобзарева Е. И.* Новгород... С. 21; *её же.* Шведская... С. 313–314.
- ¹⁸⁶ ДАИ. Т. 2. С. 29, 31–32; *Кобзарева Е. И.* Шведская... С. 317–321, 388.
- ¹⁸⁷ ДАИ. Т. 2. С. 41–47, 56–63; *Соловьёв С. М.* История... Кн. 5. С. 77; *Фигаровский В. А.* Указ. соч. С. 70–71.
- ¹⁸⁸ *Летопись о многих*... С. 297–299; *Арсеньевские*... Ч. I. С. 28; *Бантыш-Каменский Н. Н.* Указ. соч. С. 147; *Грамота новгородского*... С. 73–82; *Фигаровский В. А.* Указ. соч. С. 53–72; *Кобзарева Е. И.* Шведская... С. 27, 322–372, 380–381, 388.
- ¹⁸⁹ *Кобзарева Е. И.* Социальный... С. 49–50; *её же.* Смута. С. 218; *её же.* Переговоры... С. 353.
- ¹⁹⁰ *Форстен Г.* Политика... (Октябрь). С. 194–195, 202; *Арсеньевские*... Ч. I. С. 39; *Селин А. А.* Новгородское... С. 221, прим. 260, а также с. 365.
- ¹⁹¹ *Кобзарева Е. И.* Новгород... С. 20, 23; *её же.* Шведская... С. 245; *Рабинович Я. Н.* Малые... С. 21.
- ¹⁹² *Соловьёв С. М.* История... Кн. 5. С. 85–89.
- ¹⁹³ *Петрей П.* Указ. соч. С. 46.
- ¹⁹⁴ *Грот Л. П.* Путь... С. 152; *её же.* О Рослагене... С. 389.
- ¹⁹⁵ *Андерссон И.* Указ. соч. С. 156–162; *История Швеции.* С. 167.
- ¹⁹⁶ *История Швеции.* С. 188–192, 237–238; *Самаркин В. В.* Указ. соч. С. 186–188; *Мелин Я., Юханссон А. В., Хеденборг С.* Указ. соч. С. 107, 113–118, 123–124; *Очерки истории СССР. XVII век.* С. 132, 493.
- ¹⁹⁷ *История Швеции.* С. 202–205; *Хорошкевич А. Л., Плигузов А. И., Коваленко Г. М.* Указ. соч. С. 528, 559.
- ¹⁹⁸ *Форстен Г. В.* Балтийский... Т. I. С. 18–19; *История Швеции.* С. 91; *Кирпичников А. Н., Дубов И. В., Лебедев Г. С.* Русь... С. 293–297; *Расмуссен К.* Указ. соч. С. 316; *Мелин Я., Юханссон А. В., Хеденборг С.* Указ. соч. С. 49, 78; *Кобзарева Е. И.* Шведская... С. 6, 16–19, 209, 234, 315; *Хейвуд Д.* Указ. соч. С. 405–406.
- ¹⁹⁹ См., напр.: *Соловьёв С. М.* История... Кн. 4. С. 258; *Шаскольский И. П.* Столбовский... С. 6, 24, 27–28; *История Швеции.* С. 165–168, 185–187; *Кобзарева Е. И.* Шведская... С. 6–8, 16, 19, 64–65, 111, 114, 315–316, 382; *Мелин Я., Юханссон А. В., Хеденборг С.* Указ. соч. С. 98, 105, 112; *Larsson L.-O.* Op. cit. S. 212–219; *Селин А. А.* Новгородское... С. 695; *его же.* [Рец.] Я. Н. Рабинович. С. 180; *Фролов Р. А.* Русско... (2010). С. 19–20; *его же.* Русско... (2012). С. 97–102; *Свердлов М. Б.* М. В. Ломоносов... С. 41, 822.

- ²⁰⁰ Мыльников А. С. Славяне... С. 149; *его же*. Картина... Представление... С. 137; *его же*. Россия... С. 113.
- ²⁰¹ Кобзарева Е. И. Шведская... С. 307, 315, 357.
- ²⁰² Крижанич Ю. Указ. соч. С. 488–489.
- ²⁰³ Там же. С. 624.
- ²⁰⁴ «Достоверная... С. 172–174; Петрей П. Указ. соч. С. 86–87, 92–93, 385; Мыльников А. С. Славяне... С. 148.
- ²⁰⁵ Шарыпкин Д. М. Указ. соч. С. 25–27; Мыльников А. С. Славяне... С. 149; *его же*. Россия... С. 113; Scholz B. Op. cit. S. 145.
- ²⁰⁶ Линд Дж. Почитание... С. 195; *его же*. Загадочная... С. 202; Якобссон С. Указ. соч. С. 168.
- ²⁰⁷ Селин А. А. Новые... С. 35–36.
- ²⁰⁸ Штаден Г. Указ. соч. С. 15, 29.
- ²⁰⁹ Щеглов А. Д. Указ. соч. С. 230–238; Грот Л. П. Генезис... С. 141.
- ²¹⁰ См., напр.: Грот Л. П. Генезис... С. 138–139; *её же*. Западноевропейские... С. 34–35.
- ²¹¹ Юсим М. А. Указ. соч. С. 385–388; Медведев М. Ю. Указ. соч. С. 388–389.
- ²¹² Мыльников А. С. Славяне... С. 149; *его же*. Картина... Представление... С. 137.
- ²¹³ Нордландер И. Указ. соч. С. 286.
- ²¹⁴ Грот Л. П. Изображение... С. 180.
- ²¹⁵ Latvakangas A. Riksgrundarna. S. 133.
- ²¹⁶ Шокарев С. Ю. Указ. соч. С. 471; Шольц Б. Варяжский... С. 195, 200; *её же*. Немецко... С. 109; Scholz B. Op. cit. S. 145–151; Грот Л. П. Путь... С. 107, 143–152; *её же*. О Рослагене... С. 387–393; *её же*. Призвание... (2012, 2013). С. 37–48; *её же*. Смутное... С. 85–86, 94–95; *её же*. Прерванная... С. 9–10, 23.
- ²¹⁷ Форстен Г. В. Балтийский... Т. I. С. 13–16, 268; Похлёбкин В. В. Состояние... С. 174.
- ²¹⁸ Svenska män... Bd. 6. S. 104.
- ²¹⁹ История Швеции. С. 9.
- ²²⁰ Хорошкевич А. Л., Плигузов А. И., Коваленко Г. М. Указ. соч. С. 524.
- ²²¹ Клейн Л. С. Спор... С. 216.
- ²²² Далин О. Указ. соч. Ч. 2. Кн. 1. С. XXXV.
- ²²³ Иордан. Указ. соч. Прим. 74 и 75 на с. 65–66; Швеция... С. 121; Петрухин В. Я. Русь христианская... С. 114.
- ²²⁴ История Швеции. С. 7–9; Мыльников А. С. Картина... Этногенетические... С. 269; *его же*. Славяне... С. 152–153; Толстиков А. В. Анатомия... С. 172; Грот Л. П. Генезис... С. 139; *её же*. Путь... С. 121–131; *её же*. О Рослагене... С. 356–357, 458; *её же*. Призвание... (2012, 2013). С. 23–31, 35–37.
- ²²⁵ Толстиков А. В. Анатомия... С. 169.
- ²²⁶ Грот Л. П. Генезис... С. 141–148, 151; *её же*. Начальный... С. 12–22; *её же*. Гносеологические... С. 111–117; *её же*. Утопические... С. 321–338; *её же*. Путь... С. 104–176; *её же*. О Рослагене... С. 312–321, 391, 439–442; *её же*. Призвание... (2012, 2013). С. 22–63, 82–84, 100–101, 119–120; *её же*. Прерванная... С. 67–68; *её же*. Имена... С. 421–423; Толстиков А. В. Анатомия... С. 169, 181–186; Клёсов А. А., Грот Л. П. Указ. соч. С. 136–137.
- ²²⁷ Шлёцер А. Л. Опыт... С. 268–270; *его же*. Нестор. Ч. I. С. 390, 429; ч. II. С. 115; Общественная... С. 297; Видаль-Накэ П. Указ. соч. С. 381–382, 384; Мыльников А. С. Картина... Этногенетические... С. 268–269; Толстиков А. В. Анатомия... С. 173; Фомин В. В. Начальная... С. 14–16; Грот Л. П. Генезис... С. 139, 147; *её же*. Утопические... С. 329–331; *её же*. Путь... С. 121, 124, 127, 153, 161; *её же*. Шведские... С. 36–37.
- ²²⁸ Красникова О. А. Указ. соч. С. 116.
- ²²⁹ Грот Л. П. Генезис... С. 148; *её же*. Путь... С. 165; *её же*. Западноевропейские... С. 33; *её же*. Изображение... С. 181; Коваленко Г. М. Изучение... С. 91–92.
- ²³⁰ Praethorius M. Op. cit. Liber II. Caput 2. § VI. P. 17.
- ²³¹ Авдусин Д. А. Современный... (1986). С. 121–122.
- ²³² Latvakangas A. Riksgrundarna. S. 135.
- ²³³ Шлёцер А. Л. Нестор. Ч. III. С. 205.

- ²³⁴ Нюлен Э. Указ. соч. С. 168.
- ²³⁵ История Швеции. С. 7–10.
- ²³⁶ Грот Л. П. Путь... С. 131–133; *её же*. Призвание... (2012, 2013). С. 31–32.
- ²³⁷ Замысловский Е. Е. Указ. соч. С. 66–68; *Latvakangas A.* Riksgrundarna. S. 117; Грот Л. П. Генезис... С. 140–141; *её же*. О Рослагене... С. 450–451.
- ²³⁸ Münster S. Op. cit. S. 1420; Грот Л. П. Призвание... (2012, 2013). С. 32–33.
- ²³⁹ Сб. РИО. Т. 129. С. 289; Форстен Г. В. Балтийский... Т. I. С. 26–27; Коваленко Г. М. Посольство... С. 67–87; Фомин В. В. Иван... С. 408–409.
- ²⁴⁰ ПЛ. Вып. 1. С. 117.
- ²⁴¹ Ewers J. P. G. Vom Ursprunge... S. 53, anm. 2.
- ²⁴² Svenska män... Bd. 6. S. 104.
- ²⁴³ Latvakangas A. Riksgrundarna. S. 133.
- ²⁴⁴ Мельникова Е. А. Норманская... С. 560.
- ²⁴⁵ Шольц Б. Немецко... С. 110–111; Scholz B. Op. cit. S. 151, 245–320; Грот Л. П. Шведские... С. 37.
- ²⁴⁶ История Швеции. С. 278.
- ²⁴⁷ Шарыткин Д. М. Указ. соч. С. 30, 35–39, 49, 61–62, 69.
- ²⁴⁸ Шольц Б. Немецко... С. 110–111; Scholz B. Op. cit. S. 263–286; Грот Л. П. О Рослагене... С. 443–446.
- ²⁴⁹ Thomas F. Op. cit. S. 9–14; Мильников А. С. Картина... Этногенетические... С. 131–135; Scholz B. Op. cit. S. 201–214; Меркулов В. И. Немецкие... С. 137.
- ²⁵⁰ Latvakangas A. Riksgrundarna. S. 293–294; Грот Л. П. Шведские... С. 37–39; *её же*. Призвание... (2012, 2013). С. 288–289.
- ²⁵¹ Bayer G. S. De Varagis. P. 281; Байер Г. З. Указ. соч. С. 347; Грот Л. П. Шведские... С. 43.
- ²⁵² Bayer G. S. De Varagis. P. 280, 292–293; Байер Г. З. Указ. соч. С. 346, 352.
- ²⁵³ Дополнения А. А. Куника. С. 461; Фомин В. В. Норманизм и его истоки. С. 25; *его же*. Норманская проблема в западноевропейской... С. 314; *его же*. Варяги и варяжская... С. 36.
- ²⁵⁴ Байер Г. З. О варягах. С. 354, 358; Соловьёв С. М. Писатели... Стб. 1358–1359; Грот Л. П. Генезис... С. 148–151; *её же*. О Рослагене... С. 439, 447–449; *её же*. Шведские... С. 35–46; *её же*. Призвание... (2012, 2013). С. 60, 84, 100–103, 172–173, 282–300; Пчелов Е. В. Рюрик... С. 10; Петрухин В. Я. Русь христианская... С. 471.
- ²⁵⁵ Титмар Мерзебургский. Указ. соч. VI, 32; Назаренко А. В. Немецкие... С. 137, 143; Bayer G. S. De Varagis. P. 280, 292–293; Байер Г. З. Указ. соч. С. 346, 352.
- ²⁵⁶ Маржерет Ж. Указ. соч. С. 10, 231; Briet Ph. Op. cit. P. 229; Куник А. А. Известия... С. 038.
- ²⁵⁷ Устрялов Н. Г. Сказания... С. 254, прим. 195; Алпатов М. А. Русская... (1976). С. 28, 30.
- ²⁵⁸ Герберштейн С. Указ. соч. С. 60; Петрей П. Указ. соч. С. 90.
- ²⁵⁹ Первольф И. И. Германизация... С. 119; *его же*. Варяги... С. 45.
- ²⁶⁰ Энциклопедический... Т. V. С. 354; т. IX. С. 125–126; Рогинский В. В. Указ. соч. С. 126–127.
- ²⁶¹ Duret C. Op. cit. P. 846.
- ²⁶² Герберштейн С. Указ. соч. С. 60; Откуда есть... Кн. 1. С. 11; кн. 2. С. 687, прим. к с. 595.
- ²⁶³ Путешествие в Московию... С. 105.
- ²⁶⁴ Алпатов М. А. Русская... (1976). С. 119–120.
- ²⁶⁵ Котляров А. Н. К происхождению... С. 6.
- ²⁶⁶ Тредиаковский В. К. Указ. соч. С. 199; Руссов С. В. Письмо... Ч. 31. С. 117–119; Пекарский П. П. Новые... С. 23.
- ²⁶⁷ Шлёцер А. Л. Опыт... С. 279.
- ²⁶⁸ Beer M. I. Op. cit. P. 30–35.
- ²⁶⁹ Котляров А. Н. Развитие... С. 13–14; *его же*. К происхождению... С. 11; Шольц Б. Немецко... С. 111; Scholz B. Op. cit. S. 299–304.
- ²⁷⁰ Далин О. Указ. соч. Ч. 1. Кн. 1. С. XVIII–XIX.
- ²⁷¹ История Швеции. С. 278, 295; Похлёбкин В. В. Внешняя... С. 233, 241–242.
- ²⁷² Dalin O. Op. cit. S. 46–47, 78, 234, 306, 409–418, anm. m на s. 34, anm. y на s. 47, anm. b на s. 306; Далин О. Указ. соч. Ч. 1. Кн. 1. С. 71–72, 123–124, 385–386, прим. f на с. 51, прим. g на с. 137, прим. c на с. 438, прим. b на с. 503; ч. 1. Кн. 2. С. 674–687, прим. o на с. 654; ч. 2. Кн.

1. С. XXXV; Biographiskt Lexikon... Bd. 4. S. 39–49; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 359–366; История Швеции. С. 10; Котляров А.Н. Развитие... С. 13.
- ²⁷⁵ Dalin O. Op. cit. S. I; Далин О. Указ. соч. Ч. 1. Кн. 1. С. I; Котляров А.Н. К происхождению... С. 11–12, 15.
- ²⁷⁴ Шлёцер А.Л. Опыт... С. 260, прим. 28 на с. 340, прим. 39 на с. 344; *его же*. Нестор. Ч. I. С. рме, прим. *.
- ²⁷⁵ Далин О. Указ. соч. Ч. 1. Кн. 1. С. V, XVI–XVII, 9; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 315.
- ²⁷⁶ Dalin O. Op. cit. S. II; Далин О. Указ. соч. Ч. 1. Кн. 1. С. I.
- ²⁷⁷ Монтестьё Ш. Указ. соч. С. 300, 391.
- ²⁷⁸ Соловьёв С.М. История... Кн. XIII. С. 477–479, 487.
- ²⁷⁹ Гурвич Д. Указ. соч. С. 113.
- ²⁸⁰ Фомин В.В. М.В. Ломоносов и русская... С. 194–195.
- ²⁸¹ Mullero G.F. Origines... S. 283–340; Илизаров С.С. Предисловие. С. 16.
- ²⁸² Александров А.В. Современные... С. 24, 68 (письмо 2); Кузьмин А.Г. Начало... С. 36.
- ²⁸³ Материалы. Т. 8. С. 595–596; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 346.
- ²⁸⁴ Котляров А.Н. К происхождению... С. 13.
- ²⁸⁵ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 44, 51; Фомин В.В. Примечания. С. 505, прим. 77.
- ²⁸⁶ Миллер Г.Ф. Краткое... С. 101–102; *его же*. О народах... С. 85, 89–90, 92.
- ²⁸⁷ Шлёцер А.Л. Опыт... С. 279, 333; *его же*. Нестор. Ч. I. С. 346, 359–366, 473, прим. * на с. рме, прим. * на с. 369; Карамзин Н.М. История... Т. I. Прим. 96, 106; Энциклопедический словарь... Т. X. С. 42.
- ²⁸⁸ Шлёцер А.Л. Опыт... С. 268–269, 274–275, 300; *его же*. Нестор. Ч. I. С. 429; ч. II. С. 114–115; Соловьёв С.М. Август... Стб. 1547.
- ²⁸⁹ Thuntpann J. Op. cit. S. 371–377; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 316–317, 325–330, 342–343, прим. *; Мошин В.А. Варяго... С. 24–25; Грот Л.П. Западноевропейские... С. 37.
- ²⁹⁰ Шаскольский И.П. Норманская... историографии. С. 226; *его же*. Современные... С. 335; *его же*. Норманская... науке. С. 12, прим. 10; *его же*. Норманская... (1971). С. 44; *его же*. Норманская... (1978). С. 153; *его же*. Антинорманизм... С. 44, прим. 29; Хлезов А.А. Норманская... (1994). С. 10; *его же*. Норманская... (1997). С. 17; Коваленко Г.М. Русские... С. 18.
- ²⁹¹ Штрубе Ф.Г. Слово... С. 3–4, 6, 11, 13, 15, 17, 26; *его же*. Рассуждения... С. 120–125.
- ²⁹² Классен Е.И. Указ. соч. С. 18, 22.
- ²⁹³ Тарановский Ф.В. Op. cit. С. 81.
- ²⁹⁴ Фихте И.Г. Указ. соч. С. 291–292, 492–494, 498, 533–534, 554–563; Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. С. 97, 323–324, 329–330; Вернадский Г.В. Киевская... С. 7; Шушарин В.П. Указ. соч. С. 262–263; Славяне и Русь. С. 3.
- ²⁹⁵ Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 52, 65.
- ²⁹⁶ Цит. по: Коялович М.О. Указ. соч. С. 270, прим. 1.
- ²⁹⁷ Белинский В.Г. <Рецензии... С. 19, 596, прим. 193; *его же*. История... С. 485; Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 116; Коялович М.О. Указ. соч. С. 468, 551–552; Солоневич И.Л. Указ. соч. С. 151.
- ²⁹⁸ Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. 1. С. XXVII, 271–273; Карамзин Н.М. История... Т. I. С. 55–56, 104; Григорьев В.В. Указ. соч. С. 240, 248, 257.
- ²⁹⁹ Погодин М.П. О происхождении... С. 123; *его же*. О важности... С. 554; *его же*. Ответ... С. 215; *его же*. Исследования... Т. 1. С. 449; т. 2. С. 217; т. 3. С. 1–8, 201–207, 235–238, 367, прим. 851; *его же*. Норманский... С. 2; *его же*. Г.Гедеонов... С. 211–212; *его же*. Древняя... Т. I. С. 5, 8; *его же*. Новое... С. 100; *его же*. Борьба... С. 146–147; Барсуков Н.П. Указ. соч. Кн. 8. С. 123.
- ³⁰⁰ Славянский М.И. Указ. соч. С. 8–9; Куник А.А. Предисловие... С. 142; Ключевский В.О. Русская... Т. I. С. 149–150, 157–158; Пресняков А.Е. Лекции... С. 294–295, 310.
- ³⁰¹ Браун Ф.А. Варяги... С. 310–313; Погодин А.Л. Вопрос... С. 269; Мошин В.А. Варяго... С. 19, 25; *его же*. Начало... С. 292; Алпатов М.А. Варяжский... С. 34.
- ³⁰² Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Указ. соч. С. 268, 281; Петрухин В.Я. Древняя Русь. С. 95, 144; *его же*. Русь и Хазария... С. 158; *его же*. Русь в IX... С. 185–186, 257; Скрынников Р.Г. Русь... С. 16, 36, 38; *его же*. Крест... С. 15; Пчелов Е.В. Рюриковичи. С. 14; Горский А.А. Русь. С. 37;

- его же. Первое... С. 59, 81, прим. 312; Клейн Л. С. Спор... С. 201; Мельникова Е. А. Скандинавы в Восточной... С. 79.
- ³⁰³ Розсдаль Э. Указ. соч. С. 245; Буайе Р. Указ. соч. С. 138, 192.
- ³⁰⁴ Мошин В. А. Варяго... С. 19; Шаскольский И. П. Норманская... науке. С. 85.
- ³⁰⁵ Виппер Р. Ю. История средних... С. 187.
- ³⁰⁶ Буайе Р. Указ. соч. С. 5, 22–23, 30, 371–377, прим. 1 на с. 208 и др.
- ³⁰⁷ Зимек Р. Указ. соч. С. 9–12, 14–16, 23–25; Викинги. С. 19; Симпсон Ж. Указ. соч. С. 13; Хейвуд Д. Указ. соч. С. 14–15.
- ³⁰⁸ Мусин А. Е. «Столетняя... С. 229; Хлевов А. А. Кто... С. 6–8, 12–13.
- ³⁰⁹ Lind J. Op. cit. С. 220; Фомин В. В. Гольий... С. 315–316; Грот Л. Имена... С. 354.
- ³¹⁰ Коваленко В. П., Моця А. П. Викинг... С. 43.
- ³¹¹ Браун Ф. А. Варяги... С. 312; Щавелев С. П. 1150. С. 18–19; его же. Дань... Кн. 1. С. 92–94.
- ³¹² См.: Ильина Н. Н. Указ. соч.; Фомин В. В. Ломоносовофобия... С. 435–436.
- ³¹³ Куник А. А. Предисловие... С. 158–159; Ключевский В. О. Русская... Т. I. С. 148, 151, 157–158; Томсен В. Указ. соч. С. 72, 77; Голубинский Е. Е. Указ. соч. (1880). С. 54; Браун Ф. А. Варяги... С. 313; Готье Ю. В. Железный... С. 258; Виппер Р. Ю. История средних... С. 188; Stender-Petersen A. Varangica. P. 246; Стендер-Петерсен А. Указ. соч. S. 151; Арбман Х. Указ. соч. С. 85–86; Джаксон Т. Н. К методике... С. 142; ДРЗИ. 1999. С. 410–411, 416; ДРЗИ. Т. V. С. 24.
- ³¹⁴ Миллер Г. Ф. О народах... С. 89; Шаскольский И. П. Норманская... науке. С. 27; История Швеции. С. 64.
- ³¹⁵ Кирпичников А. Н., Дубов И. В., Лебедев Г. С. Русь... С. 287; Горский А. А. Русь. С. 37.
- ³¹⁶ Фомин В. В. Варяги и варяжская... С. 474.

Глава 2

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ОЦЕНКЕ М.В. ЛОМОНОСОВА- ИСТОРИКА

2.1 Г.Ф. Миллер и А.Л. Шлёцер — инициаторы уничижительно-негативной оценки Ломоносова как историка

Наше время, обогатившее историческую науку важными открытиями и достижениями, вместе с тем достаточно плодотворно на рождение более чем сомнительных выводов, претендующих якобы на новое слово. В их ряду стоит идея, увязывающая появление варяго-русского вопроса и норманизма с анти-норманистом М.В. Ломоносовым. В 1996–1997 гг. Э.П. Карпеев несколько раз подчеркнул, что Г.З. Байер не был основателем норманской теории и что её не следует рассматривать «как откровенно антирусское направление». Утверждая вслед за М.А. Алпатовым, что варяжский вопрос возник не в сфере науки, а в области политики, он данный тезис наполнил прямо противоположным содержанием: «При этом не антирусской политики, выразителем которой выставляется Байер, а скорее, амбициозно-национальной, пламенным выразителем которой был Ломоносов». В 1998 г. И.Н. Данилевский в унисон Карпееву сказал, что именно Ломоносову «мы в значительной степени обязаны появлению в законченном виде так называемой “норманской теории”». «Точнее, “химии адъюнкту Ломоносову”, — с нескрываемой иронией завершал он свою мысль, — принадлежит сомнительная честь придания научной дискуссии о происхождении названия “русь” и этнической принадлежности первых русских князей вполне определённого политического оттенка»¹.

Заключения Карпеева и Данилевского не вызвали в науке возражений (кроме, наверное, у автора этих строк в 2005–2006 гг.), что полно характеризует ситуацию, сложившуюся в ней вокруг как проблемы этноса варягов и руси, так и проблемы Ломоносова-историка. Бесценный вклад нашего великого соотече-

ственника в становление и развитие многих отраслей науки бесспорен, и о нём, как гениальном учёном, на конкретных примерах своих сфер знаний говорят химики, физики, геологи, литераторы, лингвисты и другие их собратья по научному цеху (по оценке выдающегося математика, академика В.А. Стеклова, этот «умственный великан», охватывая и выполняя «сразу громадное количество задач, часто не совместимых друг с другом», опередил «своим гением на целое столетие всех своих современников» и уровень тогдашнего научного понимания²). Но как только речь заходит об исторических сочинениях и воззрениях Ломоносова, то в устах подавляющего большинства историков (и выдающих себя за таковых, но суждения которых затем тиражируют профессионалы) звучит тональность самая негативная, при этом в качестве главных обвинительных пунктов ему предъявляют его антинорманизм и его роль в обсуждении в 1749–1750 гг. речи-«диссертации» Г.Ф. Миллера, на то время яро исповедующего норманизм³.

Состоятельность такой оценки Ломоносова-историка сомнительна уже потому, что она, во-первых, исходит от приверженцев шведского взгляда на русскую историю, к тому же придавших ей, уклоняясь от разговора по существу, ярко выраженный политический характер. Взгляд Ломоносова на этнос варягов, т. е. русский взгляд, смотрящий на начало Руси своими глазами и предлагающий свои, самостоятельные выводы, норманисты квалифицируют как якобы ложно понятый патриотизм, что позволяет им, в силу своего двухсотлетнего тотального господства в российской науке, выводить за её рамки Ломоносова (и антинорманизм в целом). Во-вторых, данная оценка абсолютно априорна, поскольку подавляющая часть критиков Ломоносова никогда не занималась и не занимается изучением ни его богатого исторического наследия, ни сложнейшего и многогранного варяго-русского вопроса. На что указывает такой ещё факт, который вряд ли был терпим в других науках, что многие из них — не-историки (филологи и даже геолог с «технарём», коим, к примеру, является Э.П. Карпеев), присвоившие себе право говорить и поучать несогласных с их мнением профессиональных историков от имени исторической науки.

В-третьих, превознося «диссертацию» Миллера как научный шедевр, безудержно поющие ему дифирамбы также никогда, за исключением единичных случаев (например, А.А. Куника, потому и назвавшего эту речь «препустой»), её не держали в руках. В 2006 г. норманист С.С. Илизаров подчеркнул, издавая «диссертацию», дошедшую до нас почти в 1000 экземплярах (чуть раньше её опубликовал автор настоящих строк), что она, похоже, «почти никем из бесчисленного количества участников двухсотпятидесятилетнего спора по так называемой “норманской теории” не читалась»⁴. В-четвёртых, норманисты своё неприятие Ломоносова-историка навязывают науке и обществу посредством нагромождения ошибок, нелепостей, лжи и подтасовок очень хорошо известных фактов и деталей его биографии, его исторических трудов, его опровержения норманской версии, а также жизни Петербургской Академии наук его времени, что свидетельствует, с одной стороны, о самых поверхностных знаниях ими этих тем, с другой, об их опять же явной и изначальной тенденциозности и предвзятости к самому великому сыну России.

К слову сказать, он никогда не был, вопреки заверению Данилевского, «химии адъюнктом». 28 января 1742 г., т. е. через семь месяцев по прибытию из Германии, Ломоносов был определён (с 1 января) адъюнктом физического класса Петербургской Академии наук (до этого он работал в ней, не состоя в штате). Как отмечено в протоколе Академической Канцелярии, студент Ломоносов ещё в июле 1741 г. «специмен (работу, свидетельствующую о научной способности. — В.Ф.) своей науки... в Конференцию (в Академическое собрание. — В.Ф.) подал, который от всех профессоров... опробован, к тому ж и в переводах с немецкого и латинского языков на российский язык довольно трудился». Спустя три с половиной года, 22 июня 1745 г., Академическое собрание единогласно решило, заслушав 14 июня его «диссертацию» «О металлическом блеске», присвоить ему звание профессора химии (17 июня академик И.Г. Гмелин в том же собрании объявил, что он профессию химика Ломоносову «совершенно уступает»), после чего 18 июля Сенат определил: «По показанному Канцелярии Академии наук представлению и по достоинству профессоров быть при той Академии Ломоносову профессором химии».

25 июля Елизавета Петровна утвердила данное решение (26 июля указ императрицы был объявлен Ломоносову «при собрании Правительствующего Сената», а 30 июля «священник Андреевского собора привёл его к присяге и дал подписать печатный текст “клятвенного обещания”». 7 августа последовал сенатский указ о назначении Ломоносова профессором, и 12 августа он торжественно был введён в Академическое собрание, где получил «место среди профессоров»⁵. Именно в этом звании («химии профессор», как подписан его «репорт» в Канцелярию Академии от 21 июня 1750 г.⁶) Ломоносов участвовал в дискуссии по речи Миллера «О происхождении народа и имени российского», инициированной её же автором.

При жизни Ломоносову не составляло большого труда отстаивать своё видение родной истории и варяжского вопроса в спорах с выходцами из немецких земель Г.Ф. Миллером и А.Л. Шлёцером, потому как оно строилось на основе тщательного анализа большого числа источников (отечественных и иностранных), сочинений зарубежных специалистов. Однако его кончина, последовавшая 4 апреля 1765 г., позволила им, опираясь на имевшийся у них научный авторитет (который в глазах русских норманистов, чуть ли их не обожествляющих, достигнет неимоверных высот) и на свои профессорские звания, одного — Петербургской Академии наук, другого — Гёттингенского университета, без всяких помех взять реванш как для себя, так и для норманизма. И взять способом, не имеющим к науке отношения, но спокойно прижившимся в ней, а именно клеветой и очернительством. Первым это сделал, по своему возвращению на родину, Шлёцер. В 1768 г. в Пруссии вышла его работа «Опыт изучения русских летописей», в которой он подчеркнул, что если качество последних «таково, как я их описываю, то прежний **ЛОМОНОСОВСКИЙ** метод работы с русской историей придётся оставить, поскольку он является ненаучным и авантюрным»⁷ (а этот приговор был вынесен им в «Предисловии», написанном в июле 1767 г. в столице России, т. е. спустя 10 месяцев после того, как из-под его же пера вышло хвалебное вступ-

ление — без подписи — к «Древней Российской истории» Ломоносова, озаглавленное «К читателю»).

Затем Миллер в книге «О народах, издревле в России обитавших», увидавшей свет в Петербурге в 1773 г. и там же в 1788 г. переизданной, уверял, что «искусной российской писатель» Ломоносов «в истории и не оказал... себя искусным и верным повествователем» (да ещё добавив, со смесью зависти и усмешки, что он «во всех почти науках прославиться старавшийся»), а его взгляд на славянскую природу варягов есть «мнение в самой вещи несправедливое, ни от какой прикрасы не может получить себе хорошего виду», при этом назвав его доказательства существования Неманской Руси «ничтожными»⁸. И так историограф говорил тогда, когда в варяжском вопросе уже во многом сам стоял на позиции Ломоносова и также, как и он, выводил варягов и русь из пределов Южной Балтики (но только из другого её района).

Показательно, что в 1755 и 1773 гг. Миллер весьма нелестно отозвался и об «Истории Российской с самых древнейших времён» В.Н. Татищева (в 1749 г. не пожалевшего, кстати заметить, добрых слов в адрес первой главы его «Истории Сибири», а в 1750 г. пытавшегося смягчить накал страстей вокруг его «диссертации»), отрицая за ней, по оценке С.Л. Пештича, научное достоинство. Ибо, резюмировал Миллер в статье «О первом летописателе российском преподобном Несторе, о его летописи, и о продолжателях оных», «кто историю читает только для своего увеселения, тот подлинно сими его трудами будет доволен... а кто далее желает поступить, тот может справливаться с самим Нестором и с его продолжателями», т. е. противопоставил труд Татищева летописям (хотя сама его статья представляет собой, установила Г.Н. Моисеева, перепечатку пятой, шестой и седьмой глав «первоначальной» редакции) «Истории Российской», присланной Татищевым в Академию наук, причём историограф заимствовал и мнение её автора «о значении русских летописей как исторических источников, и его вывод о “главнейших” списках Несторовой летописи»).

Позже, в 1773 г., Миллер, приписывая русским абсолютно несвойственное им чувство национального превосходства, неподдельно возмущался тем, что Татищев родиной варягов считал Финляндию: как это он мог, тридцать лет трудясь над своим сочинением и проштудировав большое число источников и немецкую историографию, «прилепиться к мнению для сограждан его столь оскорбительному»⁹ (о чуде, т. е. угро-финнах, как составной, наряду со славянами, части русского народа говорил, не видя в том, разумеется, ничего оскорбительного, и Ломоносов, при этом отмечая «древнее величество» и «могущество» — «большее нынешнего» — чудских народов в древности, что некоторые из них «купно» со славянами призывали варягов-россов. Поэтому сегодня и С.В. Соколов напрасно пишет, что при обсуждении речи Миллера его «лингвистические изыскания... не удовлетворяли также дискурсу славности и знатности, поскольку указывали происхождение имени русь с финнами — народом, который, по представлениям той эпохи, не мог считаться “славным”»¹⁰).

Также примечательно, что и Шлёцер в 1768 г. дал крайне низкую оценку Татищеву как историку. Говоря, что он внёс «огромный вклад в историю древней Руси» и что ещё неизданная его «История» сослужит «хорошую службу тем, кто

довольствуется лишь общими знаниями о древней русской истории», немецкий учёный всё же резюмировал: «Однако добросовестному, критичному... педантичному историку, который не принимает на веру ни одной строчки и к каждому слову требует свидетельств и доказательств, от неё нет никакого проку», что иностранные источники у него отсутствуют полностью, т. к. «не понимал ни старых академических, ни новых языков и был вынужден обходиться переводами на русский язык»¹¹ (но великий наш историк знал латынь, древнегреческий, немецкий, польский, был знаком с тюркскими, угро-финскими и романскими языками¹²).

В самом начале XIX в. Шлёцер решил, расписываясь тем самым в бессилии опровергнуть антинорманистские аргументы Ломоносова, вычеркнуть его из науки (хотя в апреле 1765 г., по смерти учёного, рвался сказать ему похвальное слово, но получил от академиков, которые были в основном немцами, отказ¹³). В 1802 г. в мемуарах, посвящённых своему пребыванию в России (точнее, части его: с ноября 1761 по начало 1765 г.), наполненных, по заключению В.Ф. Кеневича, личным чувством, по оценке Г.П. Блока, грубой брани и беззастенчивой лжи о Ломоносове¹⁴, и в «Несторе», которыми затем зачитывались, глубоко пропитываясь их идеями, зарубежные и отечественные учёные, он действительно в самой грубой и оскорбительной форме отказал русскому гению в праве считаться историком (одновременно с тем безудержно восхваляя себя в таком качестве и только себя выставляя единственным специалистом по русской истории, которая, в связи с его отбытием из России, «заснула»¹⁵).

Отказал, уверяя, что русский учёный — «совершенный невежда во всём, что называется историческою наукою, он не мог пуститься в обсуждение моего плана («Планы занятий» 1764 г. — В.Ф.); он даже не мог его понять», ибо этот «грубый невежда» ничего не знал, «кроме своих летописей»: «Я в своём плане только вскользь назвал множество имён и книг, упомянул так много источников, ... о которых он тут услышал в первый раз в жизни», и что, а тут уже явственно звучали нотки национального превосходства, «так мало понимал меня даже учёный немец Миллер... Чего же было ждать от Ломоносова?». Действительно, что можно было ждать от человека, знавшего, как это внушал Шлёцер научному миру, безропотно, за самым незначительным изъятием, ему внимавшему, «в совершенстве только свой язык» и только «свои летописи».

Однако наш гений в совершенстве владел, что позволяло ему работать как с источниками (причём в оригинале), так и всегда быть в курсе всех новейших достижений европейской исторической науки, древнегреческим, латинским, немецким, французским и несколькими славянскими языками. «Положительно можно утверждать, — говорил в 1865 г. славист П.А. Лавровский, — о сведениях его в польском, сербском и болгарском». Коллега Ломоносова академик И.Э. Фишер, пользовавшийся славой отличного латиниста, подчёркивал, что он «пишет по латыни несравненно лучше Миллера», а сын Шлёцера и его первый биограф-панегирист, профессор Боннского университета Х. Шлёцер назвал оппонента отца «первым латинистом не в одной только России». В «Российской грамматике», стоит добавить, Ломоносов привёл примеры из латинского, греческого, немецкого, древне немецкого, французского, английского, итальянско-

го, не уточнённых азиатских, абиссинского, китайского, еврейского, турецкого, персидского, финского языков, из иероглифического письма древних египтян.

Помимо большого числа отечественных источников, и прежде всего летописей, Ломоносов проработал (и не один раз!), начиная ещё с учёбы в Славяно-греко-латинской академии, широкий круг разноязычных источников и трудов. Отчасти это можно судить хотя бы по его работам, в которых имеются ссылки на Геродота, Ливия, Непота, Страбона, Плиния, Квинта Курция, Тацита, Птолемея, Солина, Спартиана, Прокопия Кесарийского, Иордана, папу Григория I Великого, Павла Диакона, Феофана Исповедника, патриарха Фотия, Константина Багрянородного, Льва Грамматика, Гергия Кедрина, И. Зонару, Гельмольда, Арнольда Любекского, Саксона Грамматика, Снорри Стурлусона, Ф. Блондуса, А. Кранца, М. Кромера, М. Стрыйковского, Э. Линденброга, П. Петрея. Отчасти это можно судить и по его отчётам. Так, например, за 1751 г. он отмечал: читал «Крамера, Вейселя, Гелмолда, Арнолда и другие», за 1752 г. — «Кранца, Претория, Муратория, Иорнанда, Прокопия, Павла Дьякона, Зонара, Феофана Исповедника, Леона Грамматика и иных».

Зимой-весной 1753–1754 гг. им было взято из Академической библиотеки много иностранных изданий, включая, а так он будет поступать и позже, уже ранее изученные: «История» Геродота, «Хронография» Феофана Исповедника, двухтомная «Сокращённая история» Г. Кедрина, «Славянская хроника» Гельмольда, «Анналы» И. Зонара, «Деяния данов» Саксона Грамматика, двухтомный «Круг земной» Снорри Стурлусона, «Языческая религия кимвров» Т. Арнкила, «Хроника древней прусской, лифляндской и курляндской истории» М. Вайсселя, двухтомник «Древние писатели венгерской истории», неутончённое сочинение А. Кранца, «Тридцать книг о происхождении и деяниях поляков» М. Кромера, сборник «Писатели северной истории германцев и соседних с ним народов» Э. Линденброга, «О происхождении и деяниях гетов» Иордана, «Северная история» Л. Паулина, «Деяния и следы датчан вне Дании» Э. Понтопидана, «Готический мир» М. Претория, «История Норвегии» Т. Торфея, двухтомник «Представление о древних странах, или полная география, разъясняющая лик земного круга от начала Рима до времён Константина» Х. Целлария, «Сага об Олаве Трюггвасоне» Я.И. Реенхельма (а также, как это недавно установил А.Ю. Самарин, словарь «Fennici lexici tentamen» Д. Юслениуса, первую грамматику латышского языка Г. Адольфа, «Историю славянского языка» И.Л. Фриша, «Geographia Sacra seu Phaleg et Chanaan» С. Бохарта, «Церковную историю» Сократа Схоластика). Причём многое из названного указано Ломоносовым в «Древней Российской истории», к которой Шлёцер написал в сентябре 1766 г., по поручению Академического собрания, предисловие.

Ломоносов-химик, продолжал множить Шлёцер свой перечень претензий к нему, «об учёном историке... вовсе не имел понятия; конечно, он мог читать летописцев и полагал, что этого достаточно, чтобы быть историком», однако «считал себя универсальным гением и претендовал на монополию в русской истории», думая, «что только он один... мог работать по русской истории» (не что подобное было сказано им и в отношении Миллера). Его же критика в адрес Шлёцера есть «ругательства», «оскорбления», «невероятное невежество», «на-

гая бессмыслица». Чувство ненависти, которое питал немецкий учёный к давно усопшему, совершенно лишило его объективности. Причём настолько, что и в отношении других научных занятий Ломоносова, принёсших ему мировую славу, убеждал читателя: «Но он даже в них остался посредственностью, и всё-таки почитал себя во всём величайшим».

Хотя, к примеру, немец Г.В. Крафт, физик и математик, академик Петербургской Академии наук, учитель Ломоносова по университету при последней, дававший на его «диссертации», написанные им в статусе студента и адъюнкта, высокие отзывы, назвал его в письме от 27 января 1754 г. к правителю Канцелярии Петербургской Академии наук И.Д. Шумахеру и изначальному врагу Ломоносова «un génie supérieur» — «гением, превосходящим всех». Другой академик и также немец, профессор элоквенции и поэзии Я.Я. Штелин сразу после смерти Ломоносова решил изложить «краткую биографию знаменитого человека, оказавшего великие заслуги отечеству, наукам и искусствам, человека, можно сказать, необыкновенного», подчеркнув при этом: «Исполнен страсти к науке; стремление к открытиям». Ровно через 100 лет и опять же немец, академик-филолог Я.К. Грот, изумлялся «неистощимостью этого богатыря мысли и знания». Впрочем и сам немец Шумахер в январе 1754 г. в письме великому Л. Эйлеру констатировал, что у Ломоносова «замечательный ум и что у него особенное пред прочими дарование, того не отвергают и здешние профессора и академики».

В полном противоречии со словами Шлёцера находится и мнение других германцев — шведских академиков, которые, в апреле 1760 г. констатируя, что их русский коллега «давно уже преименитыми в учёном свете по знаниям заслугами славное приобрёл имя», единогласно решили (и это несмотря как на серьёзнейшие противоречия между Швецией и Россией, которые закончатся не одной ещё войной, так и на отторжение Ломоносовым норманизма, захлестнувшего всю Швецию): «И того ради Шведская королевская академия наук за благо изобрела славного сего г. Ломоносова присоединить в своё сообщество» (тезис о посредственности Ломоносова вообще Шлёцер усиленно культивировал потому, что его широкая известность в Европе, его авторитет как выдающегося естествознателя, с именем которого был связан ряд важнейших научных открытий, создавали самые серьёзные трудности в опровержении его антинорманистских идей, следовательно, в утверждении концепции Шлёцера).

Категорически не принимая Ломоносова в качестве историка, Шлёцер одновременно категорически не принимал его и в качестве филолога: он хотел быть монополистом в области русского языка, хотя в языке, как и в истории, «был чистый натуралист: он не понимал, что тому и другому, как всякой науке, можно и должно было учиться» (и Шлёцер в грамматике «имел пред ним значительное преимущество»). И не принимал по той причине, что русский учёный, автор «Российской грамматики», которая есть, по общему мнению лингвистов, «первая полная научная нормативная грамматика русского литературного языка» и которая вплоть до 30-х гг. XIX в. служила «образцом для всех последующих грамматик», весьма твёрдо стоял на почве учёной этимологии (в его грамматике В.Г. Белинский, отрицавший за Ломоносовым каче-

ство историка, видел «дивное, великое дело» и отмечал в нём «глубокое знание русского языка», а Я.К. Грот, говоря о редкости его филологического дара, подытоживал, что «русские вправе гордиться появлением у себя, в середине XVIII столетия, такой грамматики, которая не только выдерживает сравнение с однородными трудами за то же время у других народов... но и обнаруживает в авторе удивительное понимание начала языковедения»).

В связи с чем Ломоносов правомерно отвергал псевдолингвистические, в стиле О. Рудбека, построения, посредством которых Г.З. Байер и Г.Ф. Миллер пытались решить варяго-русский вопрос в пользу скандинавов. Это в полной мере испытал на себе и Шлёцер за свою «Русскую грамматику», написанную на скорую руку (всего за четыре месяца и при весьма плохом знании русского языка) по инициативе одного из самых главных врагов Ломоносова — И.И. Тауберта. Потому как тот, будучи зятем и ближайшим помощником И.Д. Шумахера, многие годы крепко державшего управление Петербургской Академии наук в своих руках, стремился пресечь издание на немецком языке «Российской грамматики» русского учёного, над которой тот работал почти десять лет. Причём Тауберт, будучи членом Академической Канцелярии, «всячески старался, — пояснял Ломоносов, — останавливать печатание оныя, а Шлёцеру ускорял печатать в новой Типографии скрытно, которой уже и напечатано много листов, исполненные смешными излишествами и грубыми погрешностями, как ещё от недалеко знающего язык российский ожидать должно, купно с грубыми ругательствами».

«Смешные излишества и грубые погрешности» Шлёцера были вызваны тем, что он, ведомый идеей об особой роли германцев в истории Европы, представил русские слова производными из германских языков: «дева» от немецкого «Dieb» — вор, нижнесаксонского «Tiffe» — сука, голландского «teef» — непотребная и называемая непечатным словом женщина; «князь» от «Knecht» — холоп (утверждал о связи между «боярин, барин» и «баран», т. е. дурак. Миллер, отмечал К.Н. Бестужев-Рюмин, «никак не мог помириться со сравнительным методом, вынесенным Шлёцером из Гёттингена, и бранил его Рудбеком»). В августе 1764 г. Ломоносов, ознакомившись с такой оскорбляющей честь и достоинство родного языка и родного народа «этимологией», придуманной тем, кто вырос, по его словам, «на филологии», закончил отзыв на его грамматику очень резкими, но объяснимыми словами (и не предназначенными для печати): «Из сего заключить должно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина» (в октябре он резюмировал, что грамматика Шлёцера «достойна вечного погашения и забвения»).

Прикрывая не застаревшую почти за сорок лет обиду яростным бичеванием Ломоносова, будто мало слышавшего «об учёной этимологии» Шлёцер всё же признаёт несостоятельность связи русского «князь» и немецкого «Knecht», т. е. признаёт правоту критики Ломоносова: «Положим, что моё этимологическое сравнение было *неправильно*» (хотя и считает его «пустяком», с которым Ломоносов обегал «всех князей и всех их науськал на меня», в связи с чем на «меня стала давить новая тяжёлая масса — всё княжество». Однако именно под влиянием этой критики он уже сам, спустя всего четыре года, в 1768 г., бу-

дет осаживать многочисленных западноевропейских рудбеков в лингвистике и в истории. В 1767 г. Ф.А. Эмин резонно заметил, что сходство слов «Knecht» и «князь» равно тому, если немецкое «König», «у вестфальцев произносимое конюнг», сопоставить с русским «конюх». Шлёцер и ему не простит такого неуважительного отношения к своей особе).

Не довольствуясь уничтожающим приговором Ломоносову-историку и филологу, не допускавшему фантазий ни в истории, ни в лингвистике, Шлёцер представил его образованной и благородной читательской аудитории начала XIX в. совершенно далёким от идеала учёного и просвещённого человека, более того — даже серьёзной помехой в развитии наук в России, утверждая, что по его вине Петербургская Академия наук тогда «не сделалась тем, чем она могла и должна была бы сделаться при других обстоятельствах — первую и самую блестящую Академией наук во всём нашем литературном мире». При этом щедро наделяя его шокирующими пороками: препятствовал изданию ПВЛ и «Истории Российской с самых древнейших времён» Татищева, донёс двору об оскорбляющей честь государства речи Миллера, был полон «грубого злословия... варварской гордости» и «страшного гнева» против Шлёцера, он клеветник, кляузник, пьяница (его «ужасное пьянство» и «чудовищные дебоши в пьяном виде», что «он наконец сделался нечувствительным к менее возбудительным вину и ликёрам и придерживался простой водки, которую пил чрез меру; часто он хмельной приходил заниматься в Канцелярию и в Конференцию»), невежда-инквизитор, дикарь, «хищный зверь» и т. п.

Упорно рисуя отталкивающий портрет Ломоносова как «полуучёного, но всё ещё полуварвара» и Геркулеса массагетов (в тогдашнем понимании, дикарей), Шлёцер не жалеет самых чёрных красок: он, узнав о наличии у него летописей, «из которых за границею можно сделать вредное употребление... выдумал свой план — *огрбить меня*», и даже стремился, исходя из «учёной ревности», «не только к удалению меня из Академии... но и к моей гибели, в серьёзном значении». В последнем, по причине той же «учёной ревности», Шлёцер обвинил и другого своего, по собственной же оценке, «необузданного врага» — немца Миллера, в доме которого, ибо был приглашён им в качестве домашнего учителя и для помощи ему в учёных занятиях, прожил на всём готовом первые семь месяцев пребывания в Петербурге и который в 1764 г. вместе с Ломоносовым выступил против его назначения профессором истории. Причём он даже был тогда, по уточнению неистового гёттинггенского Зоила, «бесконечно опаснее» русского Ломоносова (именно Миллер, согласно стилю той эпохи, «донёс» в июне 1764 г. Академическому собранию, что Шлёцер по приезду в Россию ставил не научные задачи — собрать материалы, которые на родине «мог бы употреблять с большею прибылью: но я не вижу, какой чести и пользы Россия из того ожидать себе имеет», т. к. его «склонность к вольности в описании может подать повод издавать в печать много такого, что здесь будет неприятно». После уже и Ломоносов «доносил» в Сенат, что Шлёцер может вывезти скопированные «многие исторические известия, ещё не изданные в свет», которые опубликует «по своему произволению, известно ж, что и здесь издаваемые о России чрез иностранных известия не всегда без проку

и без ошибок, служащих России в предосуждение, сверх того, Гмелин и Шап недоброхотные нам примеры показали»¹⁶⁾.

Полагая, что сказанного в отношении Ломоносова недостаточно, Шлёцер навесил на него, с той же целью максимально дискредитировать в глазах Европы его русский взгляд на русскую историю, ярлык ультранационал-патриота и воинствующего шовиниста: Миллер «в 1749 году намеревался публично читать речь, в которой старался доказать, что Рюрик пришёл из Швеции. Но уже напечатанная речь была истреблена по наущению Ломоносова, потому что в то время было озлобление против Швеции» (да ещё говоря, для усиления эффекта своих слов, что Миллер, «горячий патриот» России, «не умел пресмыкаться — а кто тогда мог подняться вверх, не пресмыкаясь?», был подавлен и запуган «неслыханными придирками и интригами» настолько, что от страха за речь образумился лишь к 1755 г.), что «русский Ломоносов был отъявленный ненавистник, даже преследователь всех нерусских», что «он совершенно серьезно утверждал, что ни один иностранец не мог и не должен был заниматься ни древней, ни новой русской историей», что он и «Русскую грамматику» Шлёцера отверг лишь по той причине, что её осмелился написать иностранец.

Поэтому, высокомерно вершил Шлёцер суд-расправу над совершенно беззащитным Ломоносовым, равно как и над другими русскими исследователями XVIII в., не принявшими шведского взгляда на прошлое своей Родины: они, выдавая «варягов за славян, пруссов или финнов», не могли понять «учёное историческое доказательство» их принадлежности к скандинавам, хотя «*ни один учёный историк в этом не сомневается*» (а эти слова, характеризуя нулевой уровень всей доказательной базы немецкого учёного, стали в науке, в которой правят бал норманисты, тестом, определяющим, кто учёный, а кто нет). А так как среди них «нет ни одного учёного историка» (они есть «монахи, писаря, люди без всяких научных сведений, которые читали только свои летописи, не зная, что и вне России тоже существует история, не зная кроме своего родного языка ни одного иностранного, ни немецкого, ни французского, ещё более латинского и греческого»), то и плачевны результаты деятельности этих «так называемых историков». А характеризуя Татищева в качестве «ученика в истории», который совершенно был неучён, в его в глубоких размышлениях о прошлом Восточной Европы до IX в. увидел «татищевские бредни».

Почая других, что историк должен вечно оставаться «верным истине» и стоять «выше предрассудков и страстей», ничего не умалчивая «из подлости» и ничего не искажать «из злобы», Шлёцер обвинил русских учёных в патриотизме, убивающем в них историка (но тут же разглагольствуя о «своём русском патриотизме» и «русской гордости»). При этом приписав Татищеву чувство, которого тот не знал совершенно: ему якобы «было невыносимо, что история России так молода и должна начаться с Рюрика в IX столетии. Он хотел подняться выше!», в связи с чем составил «бестолковую смесь сарматов, скифов, амазонок, вандалов и т. д.» (стоит привести слова Татищева, сказанные им в «Предъизвещении» и которыми он руководствовался, идя в изложении русской истории без оглядки на европейцев и намного глубже времени призвания варягов, что и вызвало гнев Шлёцера: «нас европейские историки тем порицают, якобы мы

историей древних не имели и о древности своей не знали», «что все европейские преславнейшие историки, сколько бы о русской истории не трудились, о многих древностях правильно знать и сказать бес чтения наших не могут», что посредством описания истории скифов, сарматов, аланов, гунов, аваров и других, «прославившихся в здешних странах в древности народах», «неприятелей наших, яко польских и других, басни и сусчие лжи, к поношению наших предков вымышленные, обличатся и опровергнутся»).

«Возможно ли, — ставил крест Шлёцер на национально-русской исторической науке, предложившей трудами Татищева и Ломоносова, основанными на глубоком анализе источников, но прежде всего, как того и требует историческая критика, отечественных, своё видение истории России, категорично отвергаемое этим «русским патриотом», — чтобы (древних) русов не признали за шведов *потому* только, что тогда были в ссоре со шведами», и что если «Миллеру запрещают произнести речь о варягах потому лишь, что там варяги выводятся из Швеции; если для России считают унижением то, что Рюрик, Синеус и Трувор были морскими разбойниками; то никакой прогресс в историографии невозможен» (на его взгляд, запрет речи Миллера был вызван ещё тем, что он «первый осмелился усумниться» в существовании Гостомысла)¹⁷ (но первым в том усомнился и отверг, по его оценке, «выдуманного» Гостомысла Ю. Крижанич, подчёркивая в своей «Политике», что к достоверному рассказу о призвании варяжских князей «некий тогдашний льстец присочинил и пришил [историю] о Гостомысле и его совете» и что «придуманно это имя “Гостомysl” — тот, кто замыслил пригласить на Русь гостей»¹⁸). Позже, в 1843 г., дерптский профессор Ф. Крузе с прозрачным намёком говорил, как немец и норманист также считая себя носителем абсолютной истины, что «теперь уже миновало то время, когда история, вследствие ложно понимаемого патриотизма, подвергалась искажениям»¹⁹.

В деле дискредитации (точнее, уничтожения) Ломоносова-историка Миллер и Шлёцер не знали пределов. Дополнительно они, нисколько при этом себя не афишируя, вели на страницах немецких изданий мощную атаку на давно почившего оппонента. В результате чего в Германии, в том числе в «Гёттингенских учёных ведомостях» (в которых рецензирование русских изданий организовал Шлёцер), были опубликованы, как установила в 1962 г. Т.А. Быкова, а в этом её затем поддержал С.Л. Пештич, «видимо, инспирированные самим Шлёцером, недоброжелательные рецензии» на труды Ломоносова, грубо порочащие и их, и его имя (типа: «сохрани Господь читателей от таких русских историй», как говорилось, например, в издаваемой в Гёттингене «Allgemeine historische Bibliothek» ещё о не поступившем в продажу немецком переводе «Древней Российской истории»). В 1991 г. Р.Б. Городинская, констатируя появление значительного количества откликов в немецкой печати второй половины XVIII в. на вышедшие на немецком, английском французском и итальянском языках «Древнюю Российскую историю» и «Краткий Российский летописец», отметила, что в них «совершенно отчётливо прослеживается влияние, а быть может, и авторство, А.Л. Шлёцера и, вероятно, Г.Ф. Миллера». При этом она подчеркнула, что в ряде работ немецких учёных того же периода, «посвящённых Миллеру и Шлёцеру, также нашло их враждебное отношение к Ломоносову»²⁰.

Страстное желание немцев-историков изгнать Ломоносова из исторической науки шло вразрез с традицией видеть в нём, наряду с другими результатами его сверхкипучей деятельности, историка. Так, в 1765 г. академик Петербургской Академии наук Я.Я. Штелин высоко отозвался об исторических трудах почившего коллеги: «Великие творения его в области поэзии, красноречия, грамматики, отечественной истории, физики, математики и астрономии». К шедеврам отнёс граф А.П. Шувалов «Летописи России» Ломоносова («великого человека» и «первого учёного России», который «всё обнял он и во всём успел»), т. е. его исторические работы, сказав об этом в брошюре, вышедшей в 1765 г. в Париже.

В 1767 г. Ф.А. Эмин, говоря, что в «Древней Российской истории» Ломоносова имеется «не мало... несходов» и во многом дискутируя с её автором, однако признал, что он «лучше и основательнее описал нашу древность, нежели многие чужестранные историки», и что суждения немецких авторов, которые «все силы своего разума употребляют», пытаясь это доказать, о скандинавской природе варягов «не имеют никаких доказательств и произошли от одного мысленного их мечтания», ибо никто из древних авторов не причислял варягов к шведам (утверждая вслед за Ломоносовым, что «варяги состояли из разных племён и языков» и что восточные славяне призвали тех, «кто их разуметь и с их нравами согласиться могли», а именно из славянской Пруссии, Эмин в адрес Байера вполне резонно заметил, что «можно ли от пустых имён, и от малого сходства речей производить важные исторические действия?»)²¹.

И.А. Дмитриевский в статье «Известия о некоторых русских писателях», опубликованной в 1768–1774 гг. в Германии и во Франции, говорил, что Ломоносову «мы обязаны... также кратким начертанием нашей истории», т. е. «Кратким Российским летописцем». В 1772 г. Н.И. Новиков с гордостью напомнил соотечественникам, что Ломоносов, муж «великого разума, высокого духа и глубокого учения», «упражнялся во всех философических и словесных науках, в химии, с её разными частями; а особливо прилежал к физике экспериментальной... в механике и истории нашего отечества». В 1774 г. М.Н. Муравьёв подчеркнул, что великий разумом Ломоносов — «честный человек, сын отечества, ревнитель добрых дел, рачитель общественного блага, Росс именем и делом» — «стал всюду известен испытательствами природы физическими, химическими, историческими сочинениями». Через пять лет И.К. Голеневский назвал его «истории Российской учитель». И.П. Елагин, который в 1750-е гг. вёл с Ломоносовым острую литературную борьбу, в «Опыте повествования о России», опубликованном в 1803 г., сравнивал его с великими историками древности и в конечном итоге констатировал: «Его несравненным пером оставленная нам первая часть Русского повествования («Древняя Российская история». — В.Ф.) свидетельствует, коль отменным и в предложении приключений обладал он искусством», что смерть «зловредно отняла у отечества нашего продолжение прекрасного его творения» (вместе с тем автор подчёркивал, что «История» Татищева есть «бесценное сокровище» для всех, кто намеревается сочинять отечественную историю и называет Миллера «трудолюбцем», собравшим «великое число запасов к сочинению повествования Русского»)²².

Эту национальную традицию уже в новых условиях ярко и мощно выразил в 1825 г. великий А.С. Пушкин, причём из всех многочисленных занятий Ломоносова, озарённых его невиданным гением, поставив на первое место именно историю: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он всё испытал и всё проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, даёт законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытия Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает махины, дарит художества мозаическими произведениями и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка»²³.

Разумеется, в XVIII в. в России можно было услышать и другое мнение. Так, и Екатерина II 8 сентября 1791 г. в письме собиравшему известия о России французскому писателю Сенаку де Мельяну указала, что «изыскания Ломоносова очень поверхностны». Представляется, что эти слова были написаны в силу её сильнейшего увлечения В.Н. Татищевым, что видно и из сказанного ниже: «Историк Татищев — совсем другое; это был ум человека государственного, учёного и знающего своё дело»²⁴. Возможно, в том сыграли роль и вышеприведённая оценка Миллера, и оценка кого-то из ближайшего окружения императрицы, например, Елагина, игравшего в жизни государыни важную роль, в целом её изначально не слишком благожелательное отношение к Ломоносову.

Жёсткая антиломоносовская позиция Миллера и Шлёцера шла вразрез и с формирующимся в сознании Западной Европы в целом положительного, не без критики, конечно, отношения к историческим трудам Ломоносова, посредством которых она впервые стала знакомиться с прошлым своего таинственного восточного соседа. Так, в рецензии на «Краткий Российский летописец» (в 1765, 1767, 1771 гг. был издан на немецком языке, в 1767 г. на английском), помещённой в 1773 г. в «Historisches Journal von Mitgliedern des königlichen historischen Instituts zu Göttingen», резюмируется, что до сих пор иностранцы «не имеют ещё ни одного связного произведения по российской истории» и что «мы в нашем распоряжении не имеем ничего лучшего, чем очерк Ломоносова, который, по крайней мере, служит к тому, чтобы мы могли ясно себе представить по летописям последовательность русских великих князей до Петра I, в хронологическом порядке, а также по приложенному в конце... родословному списку — происхождение русских властителей и их родство с другими европейскими королями и князьями» (в предисловии его английского издания отмечено, что он написан одним «из самых одарённых и учёнейших людей» России).

В рецензиях 1769 и 1772 гг. на «Древнюю Российскую историю» (вышла в 1768 г. на немецком, трижды — в 1769, 1773, 1776 гг. — на французском, в 1772 г. на итальянском), опубликованных в разноязычных «Neue Zeitungen von gelehrten Sachen», «Journal des beaux-arts et des sciences», «Journal encyclopédique» и «Effemeridi letterarie di Roma», констатируется, что «точность и порядок, приущие этой истории, заставляют сожалеть, что г. Ломоносов не смог продолжить её. Нужно воздать хвалу ясности его суждений и его щепетильности; удале-

ны все басни, которые в истории неизвестных или древних народов искажают сведения об их происхождении и устраняют истину», что «эта полезная книга... проливает свет на часть русской истории, которая имеет ещё много тёмных мест и совсем не обработана», что «вот появилась хорошо изложенная и истинная история русского народа, после столь глупых, ложных и нелепых трактатов».

Речь в «Древней Российской истории» идёт, говорится в предисловии французского издания, выполненного по инициативе П. Гольбаха, о народе, «о котором до настоящего дня имелись лишь очень неполные сведения. Отдалённость времени и мест, незнание языков, недостаток материалов наложили на то, что печаталось о России, такой густой мрак, что невозможно было отличить правду от лжи». Англичанином У. Коксом в 1784 г. было сказано, а его мнение в 1797 г. повторила «Encyclopaedia Britannica», что «Древняя Российская история» представляет собой «сочинение большого достоинства, так как она разъясняет трудный и неясный период в летописях этой страны». Ломоносов, как подытоживал в 1936 г. Д.С. Мореншильдт в монографии, вышедшей в Нью-Йорке, «одним из первых сообщил Франции, что ещё до Петра Россия была организованным государством и обладала своей собственной культурой»²⁵. Однако об этом наш гений сообщил всей Европе и сообщил первым.

2.2 Дореволюционные норманисты об исторических возможностях Ломоносова

Резко порывая с национальной российской традицией, мнение Миллера и Шлёцера, вычёркивающее Ломоносова из числа историков, с великим энтузиазмом было подхвачено в России самыми авторитетнейшими представителями исторической и филологической наук, литературы, а также, что весьма симптоматично, революционной мысли, ведшей Россию к гибели. Тон в последней задал её «родоначальник» А.Н. Радищев, синхронно с Миллером и Шлёцером привнёсший в разговор о Ломоносове-учёном и Ломоносове-историке пренебрежительно-уничижительные нотки. В своём знаменитом «Путешествии из Петербурга в Москву», вышедшем в 1790 г. и расходившемся затем в списках, критикуя его поэзию за монархизм (т. е. за патриотизм) и сожалея, что этот «великий муж» «не достиг великости в испытаниях природы» (т. к. ничего нового в естественных науках не открыл), в отношении его исторических трудов заключил, с присущей всем судьям Ломоносова категоричностью и апелляцией к только им ведаемой истине: «Следуя истине, не будем в Ломоносове искать великого дееписателя, не сравним его с Тацитом, Реналем или Робертсоном»²⁶.

А в трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии», написанном в 1792–1796 гг. и опубликованном в 1809 г., утверждал, опустившись до повторения грязных сплетен, коими так богата жизнь великих, и придавая им вид всеизвестных фактов: «Кто не знает, что Ломоносов наш не мог писать стихов,

не напиваясь почти в полпьяна водкою виноградною?»²⁷. Эти слова Радищева, как и параллельно прозвучавшая такая же клевета Шлёцера об «ужасном пьянстве» Ломоносова, привели к тому, что тема порока пьянства русского гения стала, ещё больше его принижая, окарикатуривая и демонизируя, дежурной темой наших норманистов²⁸. Причём в её «раскрутке» их никогда не смущал действительно всем известный факт, что алкоголизм, к тому же смолоду, никого не превращает в гения, да ещё такого невиданного — ни до, ни после — масштаба, как Ломоносов.

Само же мнение о Ломоносове-неисторике не просто без раздумий подхватили в России, но с таким жаром и постоянством повторяли в популярных печатных изданиях, с университетских и гимназических кафедр, что оно ярко засияло, как затёртый медный грош, ложным золотом истины и стало казаться в глазах подавляющей части нашего образованного общества незыблемым научным фактом. Хотя в 1827 г. А.З. Зиновьев указывал на оскорбительные для Ломоносова отзывы иностранцев, прежде всего Шлёцера. Позже П.П. Пекарский отмечал, что последний, «часто пристрастный в своих рассказах, когда речь заходила о его друзьях и недругах, довольно пренебрежительно» отозвался об «Оде на взятие Хотина» (1739) Ломоносова (а ведь именно с ней В.Г. Белинский связывал рождение русской литературы), и что из его мемуаров видно, «какого он был высокого мнения о собственных своих занятиях и с каким презрением относился потому к грамматическим и историческим трудам Ломоносова». Затем такие крупные историки, как К.Н. Бестужев-Рюмин и В.О. Ключевский предупреждали коллег, что Шлёцер со значительной долей пристрастия передаёт историю русской исторической науки и «с немецким пренебрежением» относится «ко всем русским исследователям русской истории»²⁹.

Но вместе с тем эти учёные-норманисты, указывая, отмечая и предупреждая о такой вопиющей научной несправедливости и ошибке, всё равно глазами Шлёцера продолжали смотреть на Ломоносова, ибо для многих наших соотечественников умопомрачающую силу имеют мнения иностранцев о русской истории и её деятелях. Шлёцер, надо сказать, очень хорошо разобрался в психологии той части русского общества, которая составляет его политическую и интеллектуальную элиту и которая выстраивает прошлое, настоящее и будущее своей страны согласно представлениям чужеземцев, не имеющим ничего общего ни с её историей, ни с её законными интересами. Говоря о времени пребывания в России, он констатировал в 1802 г., «что титул “иностранец” для образованного русского... священный»³⁰ (о «чужебесии» славян вообще и русских в частности говорил Ю. Крижанич, поясняя, что «чужеземцам мы во всём верим... а самих себя и своего рода стыдимся и отрекаемся от него»). В 1845 г. А.С. Хомяков вёл речь об «умственном порабощении» и «страсти к подражанию» нашей интеллигенции, признающей просвещением «всякий плод досуга немецких философов и французских портных». Как заключал И.Л. Солоневич, рассуждая о причинах катастрофы 1917 г., едва не погубившей нашу страну, «русская историография за отдельными и почти единичными исключениями есть результат наблюдения русских исторических процессов с нерусской точки зрения», с точки зрения западноевропей-

ских шаблонов³¹. А такой ситуация остаётся и ныне, что видно на примере разработки варяжского вопроса).

Причём русские норманисты, глядя на Ломоносова глазами немца Шлёцера, со временем начинают предъявлять всё более возрастающие претензии к своему великому соотечественнику, аргументировано отвергавшему мысли, в плену которых они сами с удовольствием блуждали и «заблуждали» других, в связи с чем всё более негодующий разговор начинают вести о нём вообще: и историке, и человеке (особенно негативно трактуя его роль в обсуждении речи Миллера). При этом стараясь как можно отрицательнее и уничижительнее, в ряде случаев с нотками презрения, отозваться о нём (хотя в основе своей они являлись искренними почитателями его талантов, но только, Боже упаси, не таланта историка). И факт неприятия Ломоносова-историка был столь очевидным, что даже некоторые из принципиальных его критиков вынуждены были обратить внимание на такое состояние дел, компрометирующее науку. Так, академик П.П. Пекарский констатировал, что академик П.С. Билярский, специально занимавшийся биографией и творчеством учёного, «считал как бы обязанностью своею в разных примечаниях к своим материалам высказывать какое-то странное, личное нерасположение к Ломоносову» и обвинять его в том, к чему он совершенно не был причастен. Впрочем, сам Пекарский испытывал «странное, личное нерасположение» к своему гениальному предшественнику. Так, указывая на несправедливые отзывы Шлёцера о Миллере³², по поводу же его самых нелепых оценок Ломоносова проявил полнейшее согласие.

Также весьма показательно, что неприятие Ломоносова-историка шло, по мере всё большего заражения влиятельной части нашей интеллигенции западническими (по оценке от 1873 г. очевидца этого губительного для России процесса К.Н. Бестужева-Рюмина, «крайним западничеством»³³) и революционными идеями, резко отчуждавшими её от Родины и логично переводившими в стан многочисленных её хулителей-клеветников и врагов-печориных, рука об руку с усиливавшейся намеренной дискредитацией понятия «патриотизм» (а с ним ассоциировалась преданность и верность престолу) и того светлого и естественного чувства, которое оно выражало. Чувства, особенно характерного для русского народа и превратившего его в великий народ, дорожащего своей свободой и независимостью, в создателя великой многонациональной державы, выдержавшей более чем тысячелетнюю проверку временем и устоявшей в борьбе с многочисленными западными и восточными хищниками.

Так, в 1825 г. Ф. Зубарев, словно позабыв о невиданном патриотическом подъёме 1812 г., спасшем Россию и искупившем русской кровью «Европы вольность, честь и мир», резюмировал: «Мелочный патриотизм, презирающий всё чужое». В том же духе размышляли многие, в том числе более чем знаковые фигуры для России, слова которых были определяющими для их сограждан. Например, Л.Н. Толстой в «Круге чтения» тщательно собрал нелестные оценки, данные разными людьми патриотизму, включая часто затем цитируемое из С. Джонсона: «Последнее прибежище негодяя — патриотизм». Несомненно, «антипатриотическую копилку» великого писателя, а туда им вносились и соб-

ственные соображения по поводу этого, по его оценке, «порока», ради которого люди совершают самые «ужасные злодеяния», украсили бы, знай он их, слова А.Л. Шлёцера, считавшего «за ничто физическое отечество; привязанность к нему он сравнивает с привязанностью коровы к стойлу»³⁴.

Подобные настроения, порождённые «крайним западничеством», не могли не породить в российской элите (так ещё выражавшей свой страх перед собственным народом и свою ненависть к нему) русофобии («Как сладостно отчизну ненавидеть / И жадно ждать её уничтоженья»), на наличие которой обращали внимание истинно просветлённые русские умы в том же XIX веке. Например, А.С. Пушкин отмечал в 1830-х гг., имея в виду «крайних западников», радовавшихся нашим поражениям и рыдавших над нашими победами: «И нежно чуждые народы возлюбил, / И мудро свой возненавидел» (да и Л.Н. Толстой устами графа Н.А. Ростопчина констатировал в «Войне и мир»: «Наши боги — французы, наше царство небесное — Париж»)³⁵. Ф.И. Тютчев 20 сентября 1867 г. в письме к своей дочери Анне советовал её мужу И.С. Аксакову написать статью, «которая была бы сейчас как нельзя более кстати» и в которой «следовало бы рассмотреть современное явление, приобретающее всё более патологический характер. Речь идёт о русофобии некоторых русских — причём весьма почитаемых»³⁶ (в 2008 г. венгерский историк Д. Свак констатировал наличие не только внешней, но и внутренней русофобии: «мнения самих россиян, отдельных групп внутри России»³⁷).

«Крайнее западничество» (причём незаметно для многих его выразителей перерастающее в русофобию, выдаваемую за объективизм, за правду) весьма влиятельной части нашей интеллигенции, образованной по европейским лекалам и потому снисходительно-презрительно посматривавшей на всё русское (иначе себя и не могла вести помесь французского с нижегородским, далёкая от истинного благородства и самоуважения), взрастило нескольких поколений разрушителей России, приведших её к страшному 1917 году. Одним из проявлений «крайнего западничества» явилась активно и массово тиражируемая в науке и общественно-политическом сознании России отрицательная оценка Ломоносова-историка, данная ему Миллером и Шлёцером и тем самым выдающая шведскому взгляду на нашу историю своего рода охранительную грамоту, что ставило его вне критики именно русских учёных и превращало в непогрешимый догмат, а его антипод — русский взгляд — лишь в домysel ура-патриотов. Её распространяли, начиная с Н.М. Карамзина, при этом особо нажимая, с одной стороны, на научность норманской версии, с другой, на патриотизм Ломоносова и его единомышленников, отечественные специалисты дореволюционной эпохи. Их дело с той же энергией продолжили исследователи XX в. и текущего XXI столетия (небольшой паузой явилось несколько послевоенных десятилетий), и всё также одну неправду нагромождая на другую. Об этом неоднократно писал автор настоящих строк (как и о том, что в защиту нашего гения как историка раздавались сильные голоса)³⁸. И потому стоит ограничиться наиболее показательными примерами из трудов авторитетных представителей как науки, так и общественной мысли, отмечая их подтасовки и фальшивки во имя торжества норманизма.

В 1845 г. властитель умов тогдашней, прежде всего молодой России В.Г. Белинский, увидев почему-то в Ломоносове предтечу своих идейных противников — славянофилов, действительно неистово набросился на «надуториторический патриотизм» учёного, в основе которого лежал убеждение, будто бы скандинавское происхождение варяго-русов позорно для чести России». Вместе с тем знаменитый критик, публицист и, как принято характеризовать часть русского общества, расшатывавшую его устои (счищавшую, по выражению Белинского, с «расейской» публики грязь), революционный демократ также уничижительно говорил о последователях Ломоносова в борьбе со шведским взглядом на русскую историю — русских Н.В. Савельеве-Ростиславиче и Ф.Л. Морошкине, русине Ю.И. Венелин и немце Г. Эверса, этих «самозванных патриотах», которые «ложным» и «мнимым патриотизмом прикрывают свою ограниченность и своё невежество и восстают против всякого успеха мысли и знания», фанатично ненавидят немцев и отрицают их заслуги в разработке русской истории³⁹.

По мнению С.М. Соловьёва, детально изложенному в 1854–1856 гг., врагам Миллера «давалась полная возможность притеснять его», потому как он «не был искателем, не умел напоминать о себе, лишний раз побывать здесь и там, лишний раз поклониться... он был робок, застенчив... и видел, как люди, думавшие всего менее об исполнении своих обязанностей, о честном труде, опережали его и, ставши наверху, ненавидели его как живой, хотя и молчаливый укор» (и эта характеристика качеств Миллера с той поры намертво прописалась в норманистике, рисуя весьма нереалистичный портрет его как человека, никогда не допускавшего умаления своего достоинства и своих заслуг). При этом историк подчёркивает, всё так же сводя выступление Ломоносова против Миллера к тому, что признавать скандинавское происхождение варяжских князей «было оскорбительно для народного самолюбия» (всё это затем повторил в 1854 г. Н.Г. Чернышевский)⁴⁰.

Популярный критик, публицист и, как Белинский с Чернышевским, революционный демократ Н.А. Добролюбов, к словам которого также особенно внимала студенческая молодёжь, в 1859 г. ещё твёрже закрепил в её сознании идею, и так уже представлявшую собой аксиому: русские академики, во главе которых стоял Ломоносов, полагали, «что унизительно будет для русских, если придётся сознаться, что варяги были норманны!», по причине чего ими была запрещена «диссертация» Миллера. Поэтому, выносил он свой «революционно-демократический» приговор этим «патриотам», «теперь мы считаем предосудительными действия почтенных академиков и не оправдываем в этом случае даже Ломоносова» (Добролюбов, любивший пройтись по русскому как далеко непрогрессивному, не знал, или этот факт был ему совершенно безразличен, что сочинению Миллера категорично отказали в научности одновременно с русским Ломоносовым такие «русские» академики, как немцы И.Э. Фишер и Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, и что академик В.К. Тредиаковский, природный «русак», напротив, благожелательно отзывался о ней в сентябре 1749 г.)⁴¹.

В 1865 г., т. е. в год 100-летия со дня смерти Ломоносова историк русской литературы Н.Н. Булич, в монографии, посвящённой его памяти, в стиле Шлё-

цера представил своего героя антигероем, виновником всех бед, выпавших на долю немца Миллера. Преподнося последнего как человека, «отдавшего всю жизнь стране ему чуждой», утверждал, что, во-первых, господствовавшая при императрице Елизавете «русская партия наделала ему множество неприятностей, и в числе лиц, более всего враждебных к Миллеру, к крайнему сожалению, нам приходится говорить о Ломоносове, увлечённом ложно понятым патриотическим чувством, если не чем-либо другим, гораздо более худшим» («Всю полезную, честную и трудолюбивую деятельность Миллера... Ломоносов старается опозорить и выставить в самом непривлекательном свете», для этого собирая даже сплетни. Причём Булич не сказал, хотя и вёл разговор на данную тему, что благодаря прежде всего Ломоносову от Миллера в 1747 г. была отведена очень грозная буря, инициированная П.Н. Крекшиным).

Во-вторых, из-за усилий «возбуждённой» его речью русской партии в Академии дело по ней получило печальный исход (и только лишь Тредиаковский был справедлив в своём мнении, высказанном «скромно, с полным уважением к науке и с научными приёмами»). «Стоя за честь России», Ломоносов, игравший «главную роль обвинителя во всём этом следствии», всё свёл к тому, «что Миллер сознательно и преднамеренно оскорбил русский народ». В итоге, резюмировал Булич, грубо искажая факты и навязывая читателю, как это уже делали до него, ложные причинно-следственные связи, «за эту несчастную речь он был “штрафован понижением чина в адъютанты”, лишён ректорского звания в университете» (хотя его понижение в должности состоялось по совокупности нескольких причин, среди которых «диссертация» была далеко не самой главной. Настолько не главной, что С.М. Соловьёв при перечислении «преступлений» Миллера, из-за которых он подвергся разжалованию, её даже не назвал).

После обсуждения «диссертации», нагнетал ещё больше атмосферу Булич, Ломоносов не пропускал «ни одного случая, чтобы повредить Миллеру», мешал, например, успеху его журнала «Ежемесячные сочинения», «на который всегда смотрел враждебно», писал на него жалобы, мелочно нападал на него в ходе обсуждения «Истории Сибири». «Но высшая степень вражды Ломоносова к Миллеру, — негодовал автор, — раскрывается в злом доносе, поданном им президенту в январе 1761 года. Здесь опозорена вся полезная, многотрудная деятельность Миллера и сам он выставляется врагом России», политическим преступником, сознательно желавшим вреда России. И «точно в такие же отношения» Ломоносов вступил к «отцу критического изучения наших летописей — известному Шлёцеру», ибо своими «нападками» приостановил печатание его «Русской грамматики», доносил на него, что он хочет вывести за границу русские рукописи, убеждал, что «Шлёцер человек вредный для России»⁴².

Причём «злым доносом» Булич назвал, говоря канцелярским языком, докладную записку или, согласно стилю тех лет, «представление», «доношение», «репорт» Ломоносова на Г.Ф. Миллера и И.И. Тауберта «Для известия о нынешних академических обстоятельствах», поданную на имя президента Академии наук К.Г. Разумовского, т. е. она является официальным документом, который готовился открыто — его черновик написан писарской рукой с поправками Ломоносова. И в нём он, будучи с 1757 г. советником Академической Канцелярии,

доводил до сведения своего непосредственного начальника серьёзные ошибки и проступки в деятельности конференц-секретаря Миллера, ведавшего делами Академического собрания и, по сути, являвшегося его председателем, и советника Академической Канцелярии Тауберта (к Я.Я. Штелину, также члену Канцелярии, у него претензий не было), от чего сильно страдали как дела Академии, так её престиж в стране и за рубежом.

Например, Ломоносов вёл речь о злоупотреблениях Тауберта академическими финансами (по словам П.П. Пекарского, «в честности Тауберта сильно сомневался не один Ломоносов»). Он затем ещё трижды, в ноябре-декабре того же 1761 г., также нисколько не таясь «доносил» о том же Разумовскому, подчёркивая, что я «не должен и не могу более молчать и видеть академические несчастья... Ежели ж ваше высокографское сиятельство не соизволите сей важной моей долговременной жалобы уважить... то принуждён буду принять законную смелость непременно» сообщить о том, в силу указа Петра I от 20 января 1724 г. (и даже привёл его полностью, чтобы у президента не возникли сомнения в законности действий Ломоносова), в Сенат или самой императрице «для избавления восходящих наук в нашем отечестве от наглого утеснения». Но Разумовский ничего не предпринял. И лишь Екатерина II, неоднократно убедившись в его нечистоплотности (в 1765 г. она, отмечая расхищение книжных и рукописных фондов Академической библиотеки, во главе которой стоял этот человек, лаконично заключила: «Тож выкрал»), в 1766 г. отстранила его от дел. Хотя Тауберт и принимал участие в перевороте 28 июня 1762 г., приведшем её на трон, за что спустя три недели, 19 июля, был «произведён в статские советники и библиотекариусы ея императорского величества».

Ломоносов констатировал вместе с тем, что Тауберт, по примеру своего тестя И.Д. Шумахера, «приводит в междусобия членов Профессорского собрания, отчего следует остановка в приращении наук», в целом «чинит наукам препятствия», является недоброжелателем российским учёным. А в реляции о важном успехе русских войск в Семилетней войне — о взятии 29 сентября 1760 г. столицы Пруссии Берлина, содержащейся в немецком издании «Санктпетербургских ведомостей», выпускаемых Академией наук и вышедших по данному случаю самым крупным тиражом, — «две погрешности в переводе на немецком языке с русского, которые его нерадением сделаны, касались до ущербу чести русского оружия, пропустил без следования, хотя при дворе весьма не годовали и больше нежели за погрешность почитали» (надо подчеркнуть, что намного раньше недовольство Таубертом выражали академики-иностранцы и в первую очередь немцы — И.Г. Гмелин, И. Вейтбрехт, Г.Ф. Миллер, П.Л. Леруа, Г.В. Рихман. Сначала своё недовольство им они «донесли» в июне 1745 г. его родственнику И.Д. Шумахеру. А затем, не получив ответа, перенесли дело в Сенат, говоря о невероятном самовластии последнего и о безотчётном употреблении «академических денег», приложив к своей просьбе и письмо к нему, где был упомянут Тауберт. Однако в этом действии Булич, а о нём он знал наверняка, не увидел никакого «злого доноса»).

В отношении Миллера Ломоносов обращал внимание президента на действия, не совместимые с должностью конференц-секретаря Академического

собрания, потому как они есть «явный... подкоп добрым академическим успехам!». Так, с 1745 г. «Комментарии», представлявшие собой основное издание Академии наук и редактором которых с того времени являлся Миллер, выходят с очень большим опозданием, достигающим 4 и 5 лет, что он в 1760 г. самоуправством уволил из Академии У.Х. Сальхова и с Таубертом пытался отобрать у него диплом на звание академика. Одновременно он подчёркивал, что «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие», редактором которых с 1755 г. был также Миллер, «содержат в себе важные политические ошибки, ежели ошибками назвать можно», за которые он был вызван в Конференцию при императрице и получил выговор. Это, во-первых, в статье 1760 г. о запорожских казаках в майском номере, в связи с чем пришлось перепечатать «лист» и «выкинуть» отдельные слова, т. к. «Иностранная коллегия и без того затруднение имеет отвечать о набегах из Запорожья». Во-вторых, в июльском номере того же года «в примечании андreeвских казаков Персии присвоает, что в Иностранной коллегии негодуют».

Ломоносов также указал на случаи тенденциозности Миллера при изложении русской истории (тот с ноября 1747 г. официально занимал должность «историографа Российского государства»): что «ни единого не выпустил в свет сочинения, где бы не было великого множества пустоши, и нередко досадительной и для России предосудительной», что «он больше всего высматривает пятна на одежде российского тела, проходя многие истинные её украшения», «пишет и печатает на немецком языке смутные времена Годуновы и Растргины, самую мрачную часть российской истории, из чего чужестранные народы худые будут выводить следствия о нашей славе. Или нет других известий и дел российских, где бы, по последней мере, и добро с худом в равновесии видеть можно?». Причём он «в разных своих сочинениях вмещает свою скаредную диссертацию о российском народе по частям» (а эти замечания во многом были вызваны победами России в Семилетней войне над Пруссией, родиной Миллера). И по поводу историографа последовала решительная реакция Разумовского: апрельская книжка «Сочинений и переводов, к пользе и увеселению служащих», где должна была быть напечатана последняя часть «Опыта новейшей истории России», содержащая описание Смуты, вышла без неё, а Миллер, по его словам, «получил “жестокий выговор” от высшего правительства за “некоторые в его сочинениях о российской истории находящиеся непристойности”»⁴³.

Упрощённый взгляд, по принципу «свой-чужой», «хороший-плохой», согласно которому Ломоносов только и строчил на Миллера «доносы», далёк от истины и нарочито уводит разговор о их взаимоотношениях в сторону. Потому как и Миллер, также будучи живым человеком со свойственными ему чувствами и мотивами, писал, если использовать лексику Булича, «доносы» (в его написании, «donoschenie»). Так, находясь в Сибири, «в особенности отличался» тем, что отправлял, подчёркивал крупнейший специалист по истории российской науки XVIII в. П.П. Пекарский, в том числе в Сенат «весьма пространные и многословные донесения» на всех, кто каким-то образом «нарушал» его «самостоятельность» — на Г.В. Стеллера, В.И. Беринга, В.Н. Татищева, местные власти. Писал Миллер «доносы» и на своих коллег по Академии, в том числе на

Ломоносова. Например, 24 февраля 1755 г. он ставил Разумовского в известность по поводу его ссоры с Тепловым при обсуждении предложений по поводу пересмотра регламента Академии наук 1747 г.: «Сего февраля 23 дня учинился спор от г. советника Ломоносова против советника г. Теплова с такими словами, для которых г. советник Теплов объявил к протоколу, что за учинённым ему от г. советника Ломоносова бесчестием присутствовать с ним в академических собраниях не может; тако ж и г. советник Шумахер говорил, что своё присутствие впредь за излишнее признавает» (о своей солидарности с ними заявил и автор докладной, прося и его освободить от участия в этих собраниях).

Президент внял этому «доносу», объявив 10 марта 1755 г. Ломоносову выговор и отстранив его от участия в работе Академического собрания. А когда Миллер узнал о существовании представления «Для известия о нынешних академических обстоятельствах», прямо его касающегося, то решительно пошёл в контратаку и в марте 1761 г. натравлял Г.Н. Теплова, ближайшего и доверенного лица президента Академии наук, на Ломоносова: «Верьте мне, сударь, Ломоносов — это бешеный человек с ножом в руке. Он разорит всю Академию, если его сиятельство не наведёт в ней в скором времени порядок»⁴⁴ (в январе 1755 г. Миллер «доносил» Разумовскому, апеллируя к его самолюбию, что «Ломоносов не только то, что я делаю, ни во что не ставит, но и дерзает критиковать и опровергать то, что ваше высокографское сиятельство изволили приказать или апробовать или что целым собранием определено в его небытность»⁴⁵).

В 1873 г. С.М. Соловьёв свой взгляд на дискуссию по «диссертации» Миллера повторил более подробно в двадцать третьем томе «Истории России с древнейших времён», подчёркивая, что 1749–1750 гг. — это время самое тяжёлое в его служебной жизни. А через три года добавил в двадцать шестом томе, что Ломоносов и после дискуссии чинил препятствия Миллеру, «зорко следил за каждым шагом» его деятельности по русской истории, не проводит ли он каких-нибудь нехороших мыслей, не оскорбляет ли величия русского народа, постоянно придирался, постоянно протестовал», что «против продолжения деятельности Шлёцера в Академии с обычною своею страстностию вооружился Ломоносов. Его подозрительность к немцам, к их властолюбивым, вредным замыслам была возбуждена в высшей степени», причём «самую сильную выходку сделал» он против грамматики Шлёцера⁴⁶.

Литературовед А.Н. Пыпин отмечал в 1880–1890-х гг., что при обсуждении своей «диссертации» Миллер «едва не был обвинён в политическом преступлении» что в «этих обвинениях принял участие и Ломоносов, который всю свою жизнь относился к нему крайне враждебно, считая его недостаточным патриотом», и что русский учёный с «озлоблением» нападал на Шлёцера. В целом, как подводил черту автор, чуть ли не во всех бедах российской науки XVIII в. выставляя виноватым несдержанного Ломоносова с его «безусловным» патриотизмом и приумножая негатив, уже высказанный в его адрес, «можно пожалеть, что желание господствовать в Академии и необузданность характера помешали установиться здоровым отношениям Ломоносова с двумя немецкими академиками, которые оказали тогда и после великие заслуги для русской науки, именно для русской историографии. Это были Шлёцер и Миллер». Причём, по

мнению Пыпина, «мелочная, грубая война» с немцами «нисколько не помогала делу русского просвещения», ибо для Ломоносова они могли стать «чрезвычайно полезными союзниками, а не врагами, какими он их делал»⁴⁷.

В.О. Ключевский утверждал, что нападки Ломоносова «на Миллера не просто личного свойства: они вытекали из его патриотических взглядов» (но при этом историк пояснил, а такое пояснение тогда было крайне редко: «по академическим обычаям речь Миллера была отдана на рассмотрение комиссии»), что антинорманизм Ломоносова есть «патриотическое упрямство» и что в целом Байер и Миллер, сделав первый приступ к учёному решению варяжского вопроса, «задели щекотливое национальное чувство и надолго лишили русскую историческую мысль способности с научным спокойствием отнестись к вопросу». Также и план разработки русской истории Шлёцера вызвал у русского академика «крайнее раздражение»⁴⁸. В 1897 г. будущий организатор и лидер партии кадетов П.Н. Милюков охарактеризовал Ломоносова в качестве представителя «патриотическо-панегирического» направления, где главными были не знание истины, а «патриотические преувеличения и модернизации», ведущие своё начало от Синописиса, стремление «приодеть русскую историю в приличный времени ложно-классический костюм»⁴⁹.

Известный филолог И.В. Ягич в 1910 г. подчёркивал, что Ломоносов — сын «Архангельской губернии, великорусское население которой до сих пор славится расовыми превосходствами», что эта «личность крупная и даровитая, соединяющая дикий нрав с большим талантом», что его борьба «против всех немецких академиков... превратилась в конце концов в грубые личные оскорбления», что он «не умел воздерживаться от национального самомнения» и «бывал несправедлив как по отношению к Миллеру, так и ещё более по отношению к Шлёцеру». Причём, «бесспорно, под влиянием оскорблённого личного самолюбия», изобразил его «Русскую грамматику» «как нечто вредное и обидное для русских». В целом, как резюмировал славист, «ему было суждено сделаться помехой для других, самому же ощущать постоянные уколы»⁵⁰.

В 1946 г. П.Н. Берков заметил, что благодаря усилиям дореволюционной историографии на свет появилось несколько легенд о Ломоносове, одна из которых гласила, как это хорошо видно хотя бы из приведённого обзора, что он боролся «с иноземцами только потому, что они иноземцы»⁵¹. В среде учёных той эпохи такой же «истиной» стало и мнение А.Л. Шлёцера о нём как неисторике. Вместе с тем в их трудах стало нормой параллельно весьма высоко отзываться о заслугах перед русской исторической наукой Байера, Миллера и, особенно, Шлёцера (но его низкие оценки, данные двум первым как специалистам по русской истории, приняты не были). Причём чем выше давалась оценка им, тем ниже она ставилась Ломоносову (да и всем русским историкам XVIII в.).

Так, например, в 1829 г. Н.А. Полевой очень негативно отозвался о возможностях А.И. Манкиева, В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, Ф.А. Эмина, М.М. Щербатова, И.М. Стриттера, И.П. Елагина как историков, ибо они не имели «ни истинного понятия о дееписании, ни надлежащих приготовлений к труду». При этом дополнительно бросив в адрес Ломоносова: «Говорят, что он писал по приказанию. История не была его уделом» и что он не далёк от Манкиева «до-

стоинством историка». В 1836 г. Д.Н. Бантыш-Каменский в популярном «Словаре достопамятных людей Русской земли» отметил, что Ломоносов не был историком и русской историей занимался «по убеждению друзей», а «Древнюю Российскую историю» писал, будучи «понуждаемый Шуваловым» (не преминув тут же добавить со слов отца, а тот мог услышать такую весёленькую байку только от своего непосредственного начальника — Г.Ф. Миллера, что этот достопамятный представитель Русской земли «неумеренно употреблял горячие напитки, от коих лицо его было всегда багрового цвета. Однажды императрица Елисавета прислала Ломоносову за одну оду воз, наполненный медными деньгами: всего было тысяча рублей. Стихотворец, обрадованный подарком, велел выложить мешки подле кровати своей, купил ковш, почерпал оным в мешках и отправлялся — *в кабак*»). В том же 1836 г. Н.Г. Устрялов вынес приговор Ломоносову, Манкиеву, Щербатову, Елагину, Эмину, Стриттеру: они не принесли пользы отечественной истории, что «История Российская» Татищева, «при строгих требованиях исторической критики, не имеет почти никакой цены»⁵².

В.Г. Белинский, в 1845 г. желчно представляя «расейской» публике «исторические подвиги Ломоносова», характеризовал его как человека учёного и гениального, «но решительно не знавшего истории», которая совсем не была его предметом. Ибо он «и в истории был таким же ритором, как и в своих надутых одах на иллюминации... и поэтому в русской истории искал не истины, а “славы россов”», в связи с чем в его трудах нет «ничего, кроме надутого риторического пустословия и суесловия о древней славе россов» (в письме писателю и своему близкому другу В.П. Боткину в феврале 1847 г. Белинский отозвался о возможностях Ломоносова как историка более прямо и совсем уже грубо: он «был в естественных науках великим учёным своего времени, а по части истории он был равен ослу Тредьяковскому: явно, что область истории была вне его натуры»). Ломоносову Белинский противопоставлял немцев, стоявших «в отношении к истории как науке неизмеримо выше его, потому что они глубоко чувствовали и сознавали необходимость строгой и холодной критики, чтоб очистить историю от басни» (абсолютизируя роль Шлёцера в нашей науке, Белинский был не в состоянии увидеть его явную тенденциозность даже в вышеприведённых несурзных этимологических «штудиях», считая лишь, что он «смешно ошибался в производстве некоторых русских слов»)⁵³.

С.М. Соловьёв окончательно закрепил своим авторитетом в науке уже сложившийся взгляд на Ломоносова, указывая, что он, «отец русской науки», «не родился историком, не был приготовлен к занятию историею как наукою вообще», что его могучий талант оказался «недостаточным при занятии русской историей, не помог ему возвыситься над современными понятиями», что исторические занятия были чужды ему «вообще, а уже тем более занятия русскою историею», что учёный смотрел на историю «с чисто литературной точки зрения и, таким образом, явился у нас отцом» литературного направления, которое затем долго господствовало в нашей науке и в котором «риторический элемент» преобладал «над научным, историческим», и «что Ломоносов был историк в своих одах и поэт или ритор в истории».

В ином ключе ведёт Соловьёв речь о немецких учёных, из которых особо выделяет «осторожного и проницательного критика» Шлёцера, положившего прочное основание как научной обработке источников по русской истории и прежде всего летописей, так и самой науке русской истории. Ибо его «Нестор» «лёг в основу исторического направления в нашей науке» (т. е. Шлёцер является родоначальником этого направления), ему принадлежат «первый разумный взгляд на русскую историю... научное введение русского народа в среду европейских исторических народов», уразумение достоинства русской истории, в связи с чем требовал, «чтобы она обрабатывалась достойным образом, а не так, как её изображали риторы XVIII века» (на этом фоне Ломоносов выглядит ещё более неприглядным в свете «истины» о злоупотреблении им спиртным: «нам тяжело теперь говорить о пороке, которому был подвержен Ломоносов, о тех поступках, которые были следствием его *шумства*»)⁵⁴.

По сути, в том же духе вели свой разговор о Ломоносове и немецких историках П.П. Пекарский (В.П. Лысцов верно заметил, а его слова можно отнести ко всем норманистам, что, «справедливо отмечая достоинства и заслуги Миллера как способного и трудолюбивого собирателя исторических источников, Пекарский неправомерно распространяет высокую оценку» и на его речь), Н.Н. Булич (Ломоносов историей России «стал заниматься случайно, не по призванию и без всякой подготовки» и «прибегал к вину»)⁵⁵, В.С. Иконников, К.Н. Бестужев-Рюмин, А.Н. Пыпин (Ломоносов «не оставил серьёзного труда» и в пьяном виде «творил вещи весьма жестокие»), В.О. Ключевский (он случайно, лишь по воле Елизаветы Петровны, принялся «за изложение русской истории — работу, ему наименее сподручную»), П.Н. Милюков (пренебрежительно, почти что брезгливо отнёс Татищева, Ломоносова, Щербатова, Болтина к «допотопному миру русской историографии... миру мало кому известному и мало кому интересному»)⁵⁶.

В 1911 г., когда Россия чествовала 200-летний юбилей своего величайшего сына, М.В. Войцехович дал, суммируя оценки прежде всего А.Л. Шлёцера, С.М. Соловьёва, Н.Н. Булича, П.Н. Милюкова, заключительную оценку подавляющей части российских учёных Ломоносову-историку и оценку самую отрицательную. Ибо оставленное им «историческое наследие несравненно ниже его... ниже века и исторической мысли его некоторых современников», потому как «в своих исторических взглядах он не только не поднялся выше тогдашнего уровня, не только не шагнул вперёд и не заглянул дальше других своим пытливым взором, как это он сумел сделать во всех других областях, но как будто даже попятился назад, стал отрешиваться» от новых, скромных приобретений русской исторической науки, которые находим у Миллера и ещё в большей степени у Шлёцера. И своей «Древней Российской историей» он, выполняя срочно заказанную и совершенно чуждую ему работу, создал, посредством литературных приёмов, даже «нечто отрицательное, с чем науке русской истории считаться не приходилось, и что последующими исследователями рассматривалось как печальное недоразумение, не достойное ни гения Ломоносова, ни его научной репутации» (одновременно было отказано в научности и труду В.Н. Татищева, ибо он также испытал влияние Синописа и ему также «ещё неизвестна была научная обработка источника»)⁵⁷.

К многоголосому хору норманистов, так дружно и в каждом новом поколении отказывающих Ломоносову в праве быть историком (что уже вызывает серьёзное сомнение в их объективности, потому как раз доказанное не требует, если оно, конечно, имеет отношение к науке, постоянных доказательств), присоединился в 1915 г. крупнейший марксист и лидер меньшевизма Г.В. Плеханов. В своей «Истории русской общественной мысли» он говорил, ссылаясь на С.М. Соловьёва, что история никогда не была призванием Ломоносова, что «из его обработки источников не вышло ничего замечательного», что «он не понял задачи историка», ибо смотрел на неё «с чисто литературной точки зрения и таким образом создал литературное направление в русской исторической науке», что его «Древняя Российская история» «вышла чем-то вроде нового похвального слова» и пр., пр. (вместе с тем Плеханов заметил, что он «был чрезвычайно выдающимся естествоиспытателем»)⁵⁸.

А какое воздействие производили массовые рассуждения норманистов — учёных и не учёных, революционеров и не революционеров — о Ломоносове на молодые умы его потомков, для которых он с невиданным самопожертвованием закладывал основы многих наук, мечтая о том, «чтобы выучились россияне, чтобы показали своё достоинство», чтобы могли «произотти многочисленные Ломоносовы»⁵⁹, свидетельствует очерк «Карамзин» выпускника историко-филологического факультета Петербургского университета (открытого, стоит напомнить, именно по детальному проекту «умственного великана» через 54 года после его кончины) Е.А. Соловьёва, вышедший в 1894 г. в серии «Жизнь замечательных людей», созданной «для простых людей». В нём автор (а его карьера историка не задалась, и он стал литературоведом), будучи норманистом и потому всё уже зная доподлинно о Ломоносове, мимоходом вразумлял простой люд, так гордившийся великим выходцем из своей среды, что в XVIII в. производить руссов от норманнов «было неприлично, т. к. означало представлять русских подлым народом и опускать случай к похвале славянского народа», что если Шлёцер — «первый человек, заслуживающий имени историка в строгом смысле слова», то Ломоносов с «бубнами и литаврами» всё свёл в русской истории «главным образом к красоте описания и восхвалению прошлого... В результате появилось нечто вроде героической поэмы, надутой и неискренней, но в выдержанном высоком штиле. О достоверности Ломоносов не заботился, и надо удивляться, как это он ещё сравнительно мало переврал фактов», и что его «героические поэмы, называвшиеся “русской историей”», «проникнуты одной и той же вполне определённой идеей, — именно, что русский народ велик и что величие его создано самодержавством»⁶⁰.

Приведёнными самыми негативными высказываниями о Ломоносове-историке буквально была переполнена наша дореволюционная историческая наука, и их с готовностью принимали и дублировали, при этом внося в них ещё более негативно-нетерпимые нотки, филологи, всякого рода критики, публицисты, очеркисты и революционеры всех мастей. Хотя все эти высказывания являются в основе своей лишь повтором мнения Шлёцера, а не итогом самостоятельного, непредвзятого и взвешенного изучения исторического наследия Ломоносова. Как заметил в 1911 г. М.В. Войцехович, невольно указывая на не-

состоятельность такого рода оценок, «отец» («апостол») русской науки Ломоносов «наименее изучен как автор трудов по русской истории. Эта сторона его всеобъемлющей деятельности как-то осталась в тени»⁶¹, что, однако, нисколько не помешало ему самому не следовать своему верно поставленному диагнозу и в небольшой статье, помещённой в сборнике, посвящённом юбилею русского гения, крайне негативно отзываться о нём как историке.

Насколько не вязалась с фактами такая оценка Ломоносова-историка, показывают его же критики. Тот же Шлёцер в сентябре 1766 г., обращаясь в предисловии к «Древней Российской истории» Ломоносова «К читателю», написанном по поручению Академического собрания, подчёркивал, что автор «собрал с великим прилежанием из иностранных писателей всё, что ему полезно казалось к познанию состояния России прежде Рурика; и притом описал жития осьми первых великих князей, сидевших на российском престоле от 862 до 1054 года». В связи с чем, резюмировал Шлёцер, «полезный сей труд содержит в себе древние, тёмные и самые ко изъяснению трудные российской истории части. Сочинитель, конечно, не преминул бы оной далее продолжать, ежели бы преждевременная его смерть... доброго сего предприятия не пресекла»⁶².

С.М. Соловьёв констатировал, что в первой части «Древней Российской истории», где разбираются источники, «иногда блещит во всей силе великий талант Ломоносова, и он выводит заключения, которые наука после долгих трудов повторяет почти слово в слово в наше время», что у него имеются «любопытные и правильные замечания», что «читатель поражается блистательным по тогдашним средствам науки решением некоторых частных приготовительных вопросов», например, о славянах и чуде, как древних обитателей в России, о дружинном составе «народов, являющихся в начале средних веков», о глубокой древности славян, восторгался его «превосходным замечанием о составлении народов», заострял внимание на том, что именно Ломоносов показал отсутствие этнического содержания в термине «варяги». А в 1855 г. заключил, что Татищеву и Ломоносову «принадлежит самое почётное место в истории русской науки в эпоху начальных трудов».

Важны и те слова Соловьёва, которые он произнёс как ректор Московского университета 12 января 1877 г. на торжественном собрании по поводу открытия памятника Ломоносову перед зданием вверенного ему вуза. Сравнивая его с Петром I, историк подчеркнул: Ломоносов своим деятельным участием «в разрешении важных вопросов, занимавших европейскую науку, заставил западных учёных с уважением относиться к представителю русской мысли и знания», что до него у русских не было языка, «способного выразить всё мыслимое и вместе с тем языка народного, общепонятного. Такой язык дал русскому народу Ломоносов» и что он «сознавал тесную связь между частями истории народа исторического». И, как завершал Соловьёв свою речь главным выводом, адресованным, конечно, и хулителям величайшего соотечественника, что «долго, долго русские люди в школах своих по сочинениям Ломоносова учились писать, думать и чувствовать по-русски», и что он — отец русской науки — на своём многотрудном, часто многострадальном поприще вёл борьбу за русские интересы, за русскую науку, за русскую школу.

Позже и В.О. Ключевский говорил, что Ломоносов смелее, чем Татищев, взялся за дело, что «его критический очерк в некоторых частях и до сих пор не утратил своего значения», что «в отдельных местах, где требовалась догадка, ум, Ломоносов иногда высказывал блестящие идеи, которые имеют значение и теперь. Таковы его мысли о смешанном составе славянских племён, о том, что история народа обыкновенно начинается раньше, чем становится общеизвестным его имя». А в «Курсе русской истории» учёный развивает идею Ломоносова, хотя и не называет его имени, что русский народ образовался «из смеси элементов славянского и финского с преобладанием первого». Одобрительно отозвался он и о «Кратком Российском летописце с родословием», который «во всё царствование Екатерины был довольно распространённым школьным руководством по русской истории». И М.В. Войцехович утверждал, что Ломоносов обнаруживает немало проницательности, что некоторые частные вопросы получили у него «блестящее разрешение, несмотря на скудость тогдашних научных средств», а некоторые его догадки впоследствии получили научное подтверждение, что его предположения по варяжскому вопросу «принесли свою долю пользы, внося некоторые поправки в объяснение» норманистов и заставив их «основательнее аргументировать свои положения»⁶³.

Более того, некоторые норманисты солидаризировались с ним в ряде важных позиций его критики оппонентов. Он, констатировал П.П. Пекарский, подметил в замечаниях на «диссертацию» «довольно справедливо какое-то особенное довольство, с которым Мюллер указывает все неудачи и неудачи славян», и обратил внимание на неправоту Миллера, выводившего имя Холмогор «от Голмгардии, которым его скандинавцы называли». При этом сам Пекарский констатировал, что в «Русской грамматике» Шлёцера «нашлось не мало такого, с чем никак не согласятся записные филологи. Ломоносов... несмотря на недостаток строго филологической подготовки, при одном практическом знании родного языка, легко отыскал ошибки и промахи Шлёцера». В.О. Ключевский также резюмировал, что в речи Миллер «по своему задорному характеру... обострил выводы Байера, каждому положению придавал форму, щекоотливую для русского самолюбия». Причём историк хотя и считал, что Ломоносов «до крайности резко разобрал» грамматику Шлёцера, но в то же время признал его правоту: «Действительно, странно было слышать от ученика Михаэлиса такие словопроизводства, как боярин от баран, дева от Dieb, князя от Knecht»⁶⁴.

Норманисты вместе с тем подтверждали мнение Ломоносова о «наглости» и «самохвальстве» Шлёцера, что ставило под сомнение его отрицательные оценки, данные многим специалистам, работавшим на ниве русской истории. Так, С.М. Соловьёв отзывался о нём как об одном «из самых самолюбивых, самых желчных и самых жёстких людей», и не сомневался, что «враждебное чувство» Шлёцера к Миллеру проистекало из его оскорблённого самолюбия, потому как считал себя гораздо выше его «по способностям и учёному приготовлению». П.П. Пекарский резюмировал, что он «был самого неуживчивого и сварливого характера и притом чрезвычайно высокого мнения о самом себе, своих знаниях и пр.». А.Н. Пыпин отмечал, что в характере Шлёцера «было раздражающее высокомерие, отзывавшееся и в его сочинениях». В.О. Ключевский говорил

о его «надменности», о наличии у него «нервного расстройства вместе с пламенным воображением» и «чрезвычайно распухшего самолюбия»⁶⁵. Норманисты смогли в полной мере убедиться в тенденциозном отношении Шлёцера к Ломоносову и на примере того факта, что он злонамеренно возвёл на своего покойного научного противника поклёп, который ещё больше его дискредитировал и затмевал суть дела, сложившегося вокруг речи Миллера. Ибо в «Несторе» и мемуарах Шлёцер сообщал всей Европе, что именно он «донёс двору» об оскорбительной для «чести государства» этой речи и что она, напечатанная, «была истреблена по наущению Ломоносова»⁶⁶. При этом прекрасно зная, что Миллер инициаторами её обсуждения считал П.Н. Крекшина и И.Д. Шумахера. Знал, но без всякого смущения запустил свою фальшивку.

Первым эту ложь Шлёцера в адрес Ломоносова, уже ставшую в науке одной из «истин» и изрядно его замаравшую, отверг в 1854 г. С.М. Соловьёв, указав, что всё началось по инициативе Крекшина, который, давно сердитый на Миллера за то, что он «по приказанию Сената цензуровал его исторические сочинения, начал распускать по городу слухи, что в речи Мюллеровой находится многое, служащее к уменьшению чести русского народа», после чего советник Канцелярии Академии наук Шумахер направил её на освидетельствование академиком на предмет «не сыщется ль во оной чего для России предосудительного». П.С. Билярский и Н.А. Лавровский пришли к выводу, что завязка следствия была изобретена одним Шумахером. П.П. Пекарский заключил, что у истоков дела Миллера стоял асессор Канцелярии Академии наук Г.Н. Теплов, которого поддерживал Шумахер. М.И. Сухомлинов, точно заметив, что судьба «диссертации» «послужила поводом к несправедливым нареканиям на Ломоносова», на фактах продемонстрировал что почин и руководство в этом деле принадлежали Шумахеру и что русский учёный действовал не тайно, а открыто, предлагая свои возражения по сочинению Миллера в присутствии всех академиков и самого автора, от которого выслушивал весьма резкие ответы⁶⁷.

С начала XIX в. в нашей науке, параллельно с процессом усиления позиций норманизма, возвеличивания роли немецких учёных в разработке русской истории и отрицания роли в том Ломоносова, набирал силу и другой процесс — процесс критики норманской версии и развенчания культа Байера, Миллера, Шлёцера. Причём существенную роль в том сыграл последний, дав низкую оценку Байеру и Миллеру как историкам. Именно он заострял внимание на незнании Байером русского языка и русских источников, в связи с чем тот, смотря на русскую историю лишь через призму скандинавских и византийских памятников, наделал в ней «важные» и «бесчисленные ошибки». Одновременно с тем Шлёцер подчёркивал неподготовленность Миллера решать вопросы начальной истории Руси (по его словам, он был «невеждой» во всех отраслях иностранной литературы), т. к. не обладал для того необходимым уровнем знаний, подтверждением чему является изданная с большими ошибками ПВЛ⁶⁸.

Однако и авторитет самого Шлёцера начинает ставиться под сомнение. Причём почти сразу же после выхода первых трёх выпусков его знаменитого «Нестора». В 1806 г. в «Московских учёных ведомостях» профессор И.Г. Буле опубликовал рецензию на монографию И.Ф. Круга «Критические разыскания о древних

русских монетах», в которой говорит, что он «хорошо знает русский язык, и потому может лучше и правильнее разбирать и изъяснить», нежели Шлёцер. При этом рецензентом особо было подчёркнуто, что Круг подтвердил некоторые летописные события, достоверность которых оспаривал последний, и доказывает основательно и подробно, что Россия задолго до правления Святослава «находилась на высшей степени образования, нежели как обыкновенно думают» (Шлёцер в своём отзыве 1806 г. на тот же труд Круга, хотя и отметил, что он «очень часто поправляет его, улучшает и дополняет», но продолжал утверждать о недостоверности договоров Олега и Игоря с Византией, Слова о полку Игореве, монеты Ярослава Мудрого. И прежде всего категорично опротестовывал мнение, шедшее вразрез с его представлением, о дикости Руси)⁶⁹.

Процесс критики норманизма и его ведущих представителей усилился к середине 1860-х гг., когда Россия торжественно праздновала, в условиях проведения великих реформ и освобождения крестьян от крепостной зависимости, тысячелетие своего государственного бытия, за исходную точку которого был взят летописный год призвания варяга Рюрика. А затем отмечала столетие со дня смерти своего великого сына — выходца из крестьян, и когда она и в нём и о нём многое стала открывать либо из забытого, либо из вовсе ещё неизвестного. Свою роль в том сыграл и столетний юбилей Московского университета, неразрывно связанного с именем Ломоносова. Постепенно усиливающийся интерес к огромному и почти неизученному наследию гениального учёного всё больше сосредоточивался на его исторических трудах, что позволяло воочию убеждаться в несправедливости мнений норманистов, высказанных в их адрес.

Разрушению представлений, созданных о Ломоносове Шлёцером, инициатором его посмертного гонения как историка, способствовали вместе с тем успехи антинорманизма. Успехи, которые в 1841–1845 гг. ёмко выразил В.Г. Белинский, так беспощадно бичевавший Ломоносова и антинорманистов, но при этом, надлежит отдать ему должное, увидевший, под влиянием их трудов, что утверждения носителей шведского взгляда на русскую историю абсолютно голословны. Потому как «ещё не отыскано», подчёркивал он, следов влияния скандинавов «на нравы, обычаи, характер, ум, фантазию, законодательство и другие стороны славянской народности новгородцев», хотя, а справедливость этих слов более чем очевидна, «о них-то, прежде всего и следовало бы позаботиться Шлёцеру и его последователям»⁷⁰. Несостоятельность норманизма, освящённого именем немца А.Л. Шлёцера, в 1808–1814 гг. продемонстрировал его ученик, немец Г. Эверс, который, видя, на какой ложной основе выстраивается эта система, заключил, что проблема варягов затмевается «ложным светом произвольной этимологии», что «ослеплённые великим богатством мнимых доказательств для скандинавского происхождения руссов историки не обращали внимание на то, что в древнейших северных писаниях не находится ни малейшего следа к их истине» (в связи с чем метко охарактеризовал отсутствие у скандинавов преданий о Рюрике как «убедительное молчание») и что норманская теория «основана на недоразумениях и ложных заключениях»⁷¹.

Обстоятельная критика Эверсом норманизма, аргументированный показ им древнего пребывания руси на юге Восточной Европы и отсутствия её свя-

зи со Скандинавией, привела к тому, что учёные — отечественные и зарубежные — начали критиковать шведский взгляд на русскую историю. А это заставило многих из них, в том числе норманистов, иными глазами смотреть и на Ломоносова, и на Байера, и на Миллера, и на Шлёцера. Так, Н.М. Карамзин пытался доказать, что Байер «худо знал нашу древнюю географию» и «излишно уважал сходство имён» (в связи с чем производил название Москвы от «монастыря Москвой. А имя Москвой — от “муж” и “мужик”, то есть мужская обитель»). Отмечал он и плохое знание Миллером ПВЛ и не скрывал своего удивления от его «доказательств»: «Далин, весьма склонный к баснословию, отвергает древнюю Историю Саксонову. Несмотря на то, Миллер в своей академической речи с важностью повторил сказки» выдумщика Саксона Грамматика «о России, заметив, что Саксон пишет о русской царевне Ринде, с которою Один прижил сына Боуса, и что у нас есть также сказка о Бове королевиче, сыне Додона: “имена Боус и Бова, Один и Додон сходны: следственно не должно отвергать сказаний Грамматика!”» (при этом подчёркивая, что Эверс «пишет умно, приятно; читаем его с истинным удовольствием и хвалим искренно»)⁷².

В 1816 г. и норманист Г.Ф. Голлман заметил в адрес Шлёцера, что «самый великий учёный... легко принимает гипотезу, имеющую вид истины, за историческую истину, если для своего предположения нарочно приискивает и подбирает доказательства». Другой сторонник норманизма И.С. Фатер в 1821 г., локализуя вслед за Эверсом (и характеризуя его труд как «очень ценное сочинение») русь в Причерноморье, констатировал, что Ломоносов есть «великий муж», филолог, поэт, физик и историк. И. Лелевель, также убеждённый в норманстве варягов и руси, в 1824 г. заострял внимание на том, что Шлёцер «скуп на похвалы» русским специалистам и «не открыл никаких обширных видов, которые могли руководствовать исследователей летописей», «смеялся» над сагами, хотя они могут быть полезны для истории, и глубоко заблуждался (а за ним и Карамзин), считая, что норманны, с которыми связывал основание государства у восточных славян, были образованнее их. При этом с недоумением фиксируя, что источники совершенно молчат о пребывании скандинавов на Руси⁷³.

И.Г. Нейман в 1825 г. пытался доказать, что даже из самих скандинавских писателей не смогли ещё подобрать ни одного свидетельства в пользу норманства руси и что Эверсу принадлежит честь особенного обращения внимания на восточные источники для русской истории. Двумя годами позже А.З. Зиновьев, восхваляя Байера, признал, что он, не владея русским языком и повторяя неискренних переводчиков, «наделал грубые ошибки». Напомнил автор и заключение Шлёцера, что Миллер, не зная русского языка и положившись на мнение «незнающего переводчика», приписал ПВЛ игумену Феодосию. В 1829 г. Ю.И. Венелин резюмировал, что представления о норманской руси, которой никогда не существовало, «есть плод жалкого толкования или фантастического произведения некоторых изыскателей»⁷⁴.

В. Шеншин, в 1834 г. превознося Байера, вместе с тем подчеркнул, что он «не знал по-русски», для критики летописи ничего не сделал и «занимался русскою историею как побочным для себя делом». Шлёцер же, критикуя летописцев, «ввёл в критику излишний скептицизм». Также он констатировал, что ан-

тинорманисты опровергают старое «не без основания». В тот же год С.М. Строев отметил, что большинство исследователей, «веруя безотчётно в учёные, но не всегда справедливые разыскания Шлёцера и Карамзина», что гипотезы норманистов обрели «непреложный авторитет» и что некоторые считают «преступлением» не признавать его. Но вот явился Эверс, «который с удивительным самоотвержением вооружился против целой фаланги учёных», державшихся норманской природы руссов. Однако над ним собралась гроза, «и дело его считалось уже проигранным, как вдруг явился... защитник его Нейман; но и он имел одну участь с Эверсом: его публично объявили человеком, заблудившимся в деле историческом». Хотя их преступление состояло лишь в том, «что они осмелились не признавать руссов за норманнов»⁷⁵.

В 1835 г. О.М. Бодянский также указал на совершенную зыбкость основы норманизма, что его сторонники «имели на своей стороне давность, авторитет многих учёных, ставших без дальнего рассуждения под их знамёна; в особенности этому способствовал решительный, диктаторский голос Шлёцера». Но их система вызвала против себя оппозицию в лице Эверса, гипотеза которого, основанная «на строжайшем пересмотре и оценке исторических материалов», уже принята известнейшими ориенталистами — немцами И.С. Фатером, Й. Гаммером и другими. В том же году М.Т. Каченовский, весьма высоко отзываясь о заслугах Шлёцера, признал: «Но он же утвердил нас и в некоторых заблуждениях». Тогда и Н. Сазонов, говоря о несомненных достоинствах Миллера-историка, вместе с тем констатировал, что ему не доставало способности критика: он принимал сказку о Бове-королевиче за исторический источник и «не только безразборчиво верил нашим летописям и Саксону Грамматику, но даже иногда собственные свои предположения, однажды сказанные, после уже почитал за дело совершенно доказанное»⁷⁶.

В 1830-х гг. Ю.И. Венелин, рассуждая о «скандинавомании», поразившей русских учёных, говорил, что Байер, по причине незнания даже обыкновенного русского, не читал летописи, что Снорри Стурлусона, «который не только что всё основывает на одних сказках... но и сам их сочиняет», объявил «из всех веков и людей самым достойным веры и самым правдоподобным», что статья «О варягах» показывает его безотчётное пристрастие к Скандинавии, что его учёность, «подстрекаемая пристрастием в делах критических, вреднее и опаснее самого неведения. Прошу сказать, что можно ожидать от сего человека, который даже имена *Святослава* и *Владимира* произвёл из скандинавского?!». В целом, отмечая тенденциозность словопроизводств норманистов, которые заключались «в одном приискивании *созвучий* в шведском, датском и исландском языках!», констатировал, что они «своею галиматьёю отуманили начало российской истории и заставили Нестора противоречить самому себе».

Приведя заключение Эверса, не верившего «историческим чудесам» шлёцеристов, ловко орудующих словопроизводством, вводящим в заблуждение, Венелин пояснял, что Байер и Шлёцер «превратили» летописные имена в скандинавские, желая «ввести в Россию шведов. Их поддерживало легкоеверие и беспечность их последователей, кои думали, что в самом деле всё, не кончающееся на *-слав* и *-мир*, произошло из худощавой Скандинавии». Говоря, что на

созвучия нельзя полагаться, ибо ко всем именам послов Олега и Игоря «можно найти созвучные, и даже тождественные не только у скандинавов, но и у прочих европейских и азиатских народов», он отметил предельную лёгкость в создании норманистами псевдолингвистических аргументов: «...Всякому слову в мире можно найти или сделать подобозвучное, стоит только переменить букву, две, и готово доказательство». Венелин, подчёркивая «обширные заслуги» Миллера, упоминал «с уважением о Шлёцере как об издателе», но предупреждал, что «мы должны критически смотреть на его выводы, как изыскателя» (он и его легковёрные русские последователи «часто Нестора заставляют говорить и думать, чего им хочется»). Указывая, что статья Байера «О варягах» есть следствие «рудбековских его догадок» и что Шлёцеру «хотелось именно искать варягов в Скандинавии вопреки словам Нестора», историк вполне правомерно ставил вопросы: позволительно ли ему выводить народ русь «из Скандинавии, о коем история совершенно ничего не знает? С каких пор и по какому правилу критики уполномочен он заменять глубокое молчание истории своими выдумками?»⁷⁷.

В 1837 г. Н.А. Иванов констатировал, что доказательства «диссертации» Миллера «кажутся нам не только слабыми, но даже неосновательными». Тогда же М.А. Максимович отмечал, что Ломоносов придерживался древнего мнения о южнобалтийской природе варяжской руси, что этому мнению «он первый у нас дал учёно-систематический вид» и отрёшил большую часть тех вымыслов, которыми и наша, и чужеземная старина... потешалась в своих исторических помыслах и школьных мудрованиях о происхождении и прозвании русов» и что «Древняя Российская история» Ломоносова есть «первое начало истории русской». Вместе с тем Максимович указал, что «всеобъемлющий Ломоносов остановил» Миллера, стремившегося в речи провозгласить скандинавство руси и что затем «трудолюбивый Миллер был продолжателем и распространителем... сходного с Ломоносовым давнего мнения о пришествии руссов из Пруссии», в целом оказал в последискуссионный период «великие услуги».

По словам Максимовича, Шлёцер, обновивший в «Несторе» заключения Байера и Тунмана, есть «образец терпения в труде и нетерпимости в мнении», исключил разные события, лица и даже народы из ПВЛ, «как “старые и вздорные” сказки, как новые, глупые вставки и дурацкие переделки, как подложные и умышленные подделки», коих не мог он сообразить и изъяснить, из коих нельзя вывести что руссы были *шведы*? Разве не положил он клеймо отвержения на скандинавские саги наравне с Иоакимовою летописью...? ... И не сказал ли он... что между всеми русскими, писавшими до него (до 1802 г.) русскую историю, не было ни одного учёного историка?... И всё потому, что никто из них не держался его *шведской грамоты!*». Учёный также напомнил, что Карамзин, с которого началось господство норманизма, следуя точке зрения Шлёцера, поворотил её «несколько на Ломоносовское (ибо русов шведских он привёл к нам через Пруссию)» и что Каченовский распространяет отрицательный дух шлёцеровского критицизма на всё древнерусское (на следующий год Максимович ещё раз указал, что «никто из русских писателей от Нестора до Ломоносова не признавал скандинавских немцев своими прародителями»)⁷⁸.

В том же 1837 г. Н.И. Надеждин, относя В.Н. Татищева, Ф.А. Эмина, М.М. Щербатова, В.К. Тредиаковского к дилетантам, заключил: «Осторожнее и рассудительнее был Ломоносов. Натуралист по обязанности, литератор по призванию, он вышел на поле для него чуждое, но необыкновенная организация головы предохранила его и здесь от совершенного падения», и что его исторические труды отличаются, «по крайней мере, воздержностью и здравомыслием суждений». Одновременно он констатировал, что Байер «слишком много доверял словопроизводству» и не сумел «внушить должного уважения к критике», вёл речь о «самонадеянности Шлёцеровского догматизма», представлявшего все тёмные места ПВЛ «глупейшими сказками» переписчиков и отрицавшего за ними, а также сагами исторического содержания, и напомнил, что многие учёные затем исправляли его ошибки. А также подчеркнул, тем самым невольно солидаризируясь с принципиальной позицией Ломоносова, важную истину, следование которой избавило бы науку от тупика, в котором она оказалась благодаря норманизму: «И наши летописи, эти первые, безыскусственные отголоски народного самоощущения, будут служить нам живым укором, если мы станем создавать русскую историю по чужим образцам, если будем смотреть сами на себя сквозь стекло, оцветлённое иноземным толком»⁷⁹.

Два года спустя А.Ф. Федотов, в целом характеризуя Байера, Миллера и Шлёцера в качестве «наших первоучителей», особенно выделял Байера: он «первый положил краеугольный камень, на котором доньше зиждется критическая наша история», уничтожил верования во многие басни, указал на новые источники — византийские и западные, но незнание русского языка обрекло его на грубые ошибки. Миллер же важное смешивает с мелочным, нарушает правила здоровой критики, «в нём замечен недостаток способности критика: он безразлично верит свидетельствам разновременным, отечественным и иноземным, лишь бы они подкрепляли его мнение... и собственные свои предположения, однажды сказанные, выдаёт за аксиомы, не заботясь о доказательствах». Погрешал и Шлёцер, ибо «нередко доходит до странных заключений», не принятых наукой, например, сомневался в достоверности русско-византийских договоров, неправильно толковал летописные выражения и др. Затронув варяго-русский вопрос историк отметил, что норманская теория, подкреплённая именами Байера, Миллера, Тунмана, Карамзина, Круга, Френа, надолго обратилась в догмат и для исследователей, и для читателей (хотя после возражений Эверса некоторые положения норманистов «решительно теряют доказательную свою силу»). Тогда как мнения Татищева и Ломоносова приводили «только в насмешку, как пример *неучёной фантазии*». Видя в Ломоносове основателя «нового учения о руссах», автор заключил: он «не вдруг, а после довольно продолжительных учёных приготовлений выступил на историческое поприще», что его голос «везде важен, и его должно выслушать со вниманием».

М.А. Максимович, в 1841 г. абсолютно не принимая утверждение М.П. Погодина, что Ломоносов о русской истории говорил «наудачу», вновь сказал, что наш первый историк занимался историей профессионально: изучал русские и иностранные источники, делал из них сотни выписок. При этом заметив оппоненту, только и ссылавшемуся на громкие имена сторонников норманской

версии, что «именитость не есть ручательство за истину», что Шлёцер есть не отец «нашей исторической критики» и что от него родился наш исторический скептицизм: «Как самопроизвольно и небрежно обходился он с Несторовой летописью?», из которой «вовсе не видно скандинаво-немецкого происхождения Руси», что этого не следует из византийских и арабских известий. Вместе с тем автор, перечислив некоторые его ошибки — отвержение саг, «совершенное отвержение для нашей истории скифов, сарматов, роксолан и проч.», его сомнения в походах Игоря на Византию, якобы выдуманные «Нестором из патриотизма», напомнил Погодину, что он сам же «опроверг так искусно главное Шлёцерово утверждение, будто варяги-русь были *шведы!*»⁸⁰.

В 1842 г. Ф.Л. Морошкин пришёл к выводу, что у нас не будет истории, достойной русского народа, пока мы «будем верить Шлёцеру и его продолжателям. Шлёцер не понимал Нестора и вообще заставлял летописцев говорить так, как ему было угодно, порицая всё, что было противно его системе». Тем самым он искажал текст летописей и положил ложным главное начало отечественной истории, ибо «везде начинается с Рюрика; рассматривать русский быт до времён Рюрика он считает как бы преступлением». Тогда же Н.В. Савельев-Ростиславич, говоря, что «немцам ещё простительно: они хоть из патриотизма хотят онемечить древнюю Русь», задавался вопросами: «а наши-то, некоторые писатели, из-за чего хлопочут, стремясь поддержать явные несообразности немецких писателей?». И тут же давал на них ответ: из рабского поклонения Байеру. При этом заключая, что «немецкое направление Байерово-Шлёцеровской школы повредило нашей истории и остановило её успехи», В тот же год и Ф. Святной сказал, что Шлёцер «наперекор точным словам летописи вывел русь из свеи»⁸¹.

Н.А. Иванов в 1843 г. резюмировал, что мнение Шлёцера о Ломоносове-историке представляет собой поверхностное рассуждение о ходе русской историографии, что он «довольно часто порицал наугад, порою — умышленно приводил ложные цитаты», что в своём затмевает спорный вопрос о начале, характере и развитии летописания, что как неверен его взгляд на древнейший быт славян до Рюрика (на что указали Эверс и Лелевель) и на начало русской истории лишь с призвания варягов (отмечая, что этот «неумолимый судья чужих ошибок», страдая закоренелым недугом пристрастия, автор убедительно продемонстрировал, что его вердикт о Татищеве как «бесстыдным вралю, обманщике, сказочнике» является «вопиющей неправдой», «хулой», причём он сам, как и Миллер, многое заимствует из него). Не умаляя достоинств Байера, Иванов констатировал, что он не знал русских летописей, поплатившись за это «тяжкими промахами», и что Татищев заслуженно упрекал его за пренебрежение летописями, за грубые погрешности. В связи с чем «напрасно толкуют, будто краеугольный камень для критических изысканий относительно отечественной истории положил Байер». Однако его критика поселила в наших умах робкое недоверие «к собственным силам» и убеждение «в неизбежности постороннего руководства», что «замедлило развитие в нас самостоятельных идей о нашем прошедшем... идей, которых нельзя приобрести заимствованиями и которые даются лишь несомненным упованием на своё сердце, на свою мысль, на своё нравственное призвание» и что направление, которому

следовал Татищев, «существеннее и важнее, нежели разрывчатые, побочные изыскания Байера». В 1844 г. М.Н. Макаров повествовал «о нелепой в основании системы скандинавского происхождения» Рюрика и его руси⁸².

В 1845 г. норманист А.И. Артемьев напомнил, что академики Ф.Г. Штрубе де Пирмонт и И.Э. Фишер, видя в варягах норманнов, в своих отзывах на «диссертацию» Миллера возражали на каждой странице. Тогда же Н.В. Савельев-Ростиславич подчёркивал, что Ломоносов есть первый русский учёный историк, раньше всех постигший «истинные начала исторической критики», что его исторические труды «умно и хорошо» написаны, потому и были ««приняты с немалым удовольствием» и за границею» (указывая вместе с тем, что Миллер после дискуссии также, как и Ломоносов, связывал варяжскую русь с роксоланами, проживавшими, по его мнению, при впадении Вислы в Балтийское море, и что Карамзин также вслед за Ломоносовым выводил русь из района Немана), что он не увлекался созвучиями и «искал других оснований, более твёрдых, более верных для исторической критики» и что «как глубоко проникал он в сущность исторической критики, утверждая, что имя “Русь не должно производить и начинать от времени от времени пришествия Рурика к новгородцам”».

Савельев-Ростиславич твёрдо считал, что немецкое направление Байеро-Шлёцеровской школы повредило нашей истории, «остановив её правильное развитие мнимым объяснением Нестора». Ибо Байер, Миллер и Штрубе де Пирмонт, погрязнув в «сказочном болоте» саг, ничего не сделали для русской древности, а «только забавлялись ловлей созвучий», что первый из них по незнанию русского языка не понимал летописи, хотя и взялся их объяснять, по слабости критики принял исландские саги «за чистую монету», превратно истолковывал византийских авторов, которых не понимал, и всю свою норманистскую систему основал не на факте, а на созвучиях и на шатком «если». Второй же принял нашу сказку о Бове-королевиче за исторический источник, а третий, выходя «за пределы исторической истины», приписал летописцу свои личные мнения, диаметрально противоположные ему, подкрепив их «беззаконием филологической инквизиции», насильно навязал Ломоносову «разные нелепицы». В целом резюмируя, что труды скандинавоманов противоречат «здравомыслящей филологии,... всем условиям исторической логики и критической догматики», Савельев-Ростиславич указал: но чтобы спасти свою систему, они ополчились против Ломоносова, причислив его «к неучёным историкам за то, что не согласился с Байеровой гипотезой о происхождении руси из Скандинавии», и начали «уверять, что он уже отстал от успехов немецко-русской исторической критики, и потому повторяет ужаснейшие нелепицы»⁸³.

А.В. Старчевский, в 1845 г. превознося труды «величайшего литератора и историка своего века» Байера, отметил, что он был лишён «главнейшего средства» для исследования русской истории, ибо не знал русского языка и не использовал русские памятники. Два года спустя А.Н. Попов, специально обратившись к анализу концепции русской истории Шлёцера, назвал несколько важных её положений, не имеющих опоры в источниках: что восточные славяне до прихода варягов находились в диком состоянии, что история Руси должна была начаться завоеванием, как им начались «все западноевропейские истории», что

новгородцы получили имя от своих победителей руссов-«шведов». Ведя речь о манере работы Шлёцера с Начальной летописью, позволявшей ему сводить её показания в пользу норманизма, заметил: во всех затруднительных случаях он «сваливает вину» на переписчиков Нестора, якобы искаживших его, и стремится восстановить «первоначальные слова летописца».

В том же 1847 г. М.П. Погодин, один из самых верных продолжателей дела Шлёцера по норманизации Руси (К.Н. Бестужев-Рюмин называл его ревностным учеником немецкого учёного, принявшим все крайности его концепции), признал, отвечая на критику Попова, принципиальную ущербность подхода своего кумира (следовательно, и идущих за ним) к разрешению варяго-русского вопроса, что «результаты Шлёцеровы теперь уже ничего не значат». В 1855–1857 гг. С.М. Соловьёв отмечал, что Байер занимался «странными» словопроизводствами, что Шлёцер преувеличивал византийское влияние на летописи. Вместе с тем он подчеркнул с особым значением, что важная заслуга М.Т. Каченовского «состояла в старании сблизить явления русской истории с однохарактерными явлениями у других и, что всего важнее, преимущественно у славянских народов, причём отрицание скандинавского происхождения Руси освобождало от вредной односторонности, давало простор для других разнородных влияний, для других объяснений, от чего наука много выигрывала»⁸⁴.

После Г. Эверса мощнейший импульс критике «норманского взгляда на начало Русского государства» и самым громким его именам придал в 1862–1863 гг. С.А. Гедеонов, блестяще продемонстрировав, отстаивая вслед за Ломоносовым южнобалтийское славянское происхождение варягов-руси, принципиальной важности факт: «Полуторастолетний опыт доказал, что при догмате скандинавского начала Русского государства научная разработка древнейшей истории Руси немыслима»⁸⁵ (и с чем во многом вынуждены были согласиться его знаменитые оппоненты-норманисты А.А. Куник и М.П. Погодин). В 1864 г. славист В.И. Ламанский отверг мнение академика А.А. Куника, что Ломоносов в понимании истории России стоял ниже не только Миллера и Шлёцера, но и своих русских современников, и потому только умам пристрастным и ограниченным может казаться «каким-то великим человеком, трагическим героем». Ламанский также заключил, что Миллер «своим громадным трудолюбием действительно оказал русской науке услуги великие, с благодарностью у нас признанные. Но при этом он не отличался ни особыми дарованиями, ни чистотой, бескорыстной привязанностью к нашему народу», и что Шлёцер, хотя «своими дарованиями и учёностью далеко превосходил Миллера, но вовсе не знал России... и в самой Германии, гордой своим патриотизмом, никто его не называет человеком великим и гениальным, за исключением разве его сына»⁸⁶.

В год столетия смерти Ломоносова, в 1865 г., норманист Я.К. Грот, понимая, какое препустое, оскорбительное и сдерживающее развитие науки обвинение в национальной ограниченности и слепой ненависти к иноземцам бросают «богатырю мысли и знания» Ломоносову русские сторонники норманской версии, отметил, что «сам он с большею частью академиков оставался в хороших товарищеских отношениях. Если он ссорился с иноплеменниками — Миллером, Шлецером, Гришовом, Эпинусом, то имел подобные неудовольствия и с сооте-

чественниками своими — *Сумароковым, Тредьяковским, Тепловым и Румовским*. Как человек высокого ума, как пламенный патриот, *Ломоносов* не мог не желать, чтобы русская Академия со временем пополняла свои ряды из собственных сынов России... но *Ломоносов* уважал германскую науку и благодарно сознавал всё, чем был ей обязан. Дружба его с *Гмелином, Рихманом, Штелином, Брауном, Эйлером* и другими доказывает, что он был выше племенных предрассудков, несовместных ни с обширным умом, ни с истинным образованием»⁸⁷.

Тогда же П.А. Лавровский, сказав, что Ломоносов для России «был и есть беспримерным явлением, недостижимым великаном», который в разработке науки «возвысился... до изумительных размеров», констатировал, что он в обработке русской истории, как и на «не открытой прежде почве» русского языка, натолкнулся «также на непечатую ещё почву и вынужден был сам и удобрять, и вспахивать, и засеивать и охранять её», совершив тем самым «много трудный подвиг», что до него не было труда, обнимающего бы в общих чертах историю России, что он в стремлении написать сочинение, на которое не были способны иностранцы, «вооружился всеми источниками, какие только могли найдутся у него под руками», хотя тогда ещё не было переводов большинства приводимых им греческих и латинских авторов, а «полное же знание немецкого языка давало возможность справляться и с учёными исследованиями немцев, имевшими какое-либо отношение к затрагивавшимся вопросам в русской истории». В итоге добросовестнейшее трудолюбие Ломоносова, прозорливость ума, обширность и глубина знаний позволили ему создать серьёзные исторические труды (причём, по очень точному замечанию Лавровского, «только пламенной любовью ко всему своему, родному, следует объяснять и плодотворные успехи учёных исследований Ломоносова»).

Так, «Краткий Российский летописец» представляет собою руководство по русской истории, «какому подобного не предлагала тогдашняя литература». А уже одни оглавления первой части «Древней Российской истории», «свидетельствуют ясно о широте и глубине его воззрений и о строгой систематичности в изложении», что «существеннейшие вопросы, как старобытность славянского племени в Европе и происхождение варяго-русов, в заключительных выводах и в наши дни продолжают ещё решаться подобным же образом, хотя и забываем при этом о Ломоносове». Например, «должны согласиться, что все почти доказательства старобытности», приводимые П.И. Шафариком, «читаем мы и у Ломоносова, хотя и в кратчайшем виде и с несравненно меньшими ссылками», а его вывод о варягах, по сути, повторён «в замечательнейшем сочинении г. Геденова... побудившем сделать кое-какие уступки ревнивых представителей скандинавизма, уважаемых гг. Погодина и Куника».

Но и частные вопросы решил Ломоносов «во множестве», например, указание на родство венгров с чужью («ведь только в наше столетие филология дошла до этого убеждения, а сами мадьяры, кажется, убедились в этом только с 1864 года, после почтенного сочинения Гунфальви»). Вместе с тем учёный также точно назвал источники заблуждений и несправедливых претензий к Ломоносову: «Но русские привыкли судить о своих и великих людях по отзывам Запада»⁸⁸. В 1872–1882 гг. норманист К.Н. Бестужев-Рюмин резюмировал, что

Байер, «по какой-то странной прихоти не хотевший выучиться по-русски», делал «крайне грубые ошибки, когда касался русских источников», и вообще «неясно различая годные источники от негодных». К приведённой выше точке зрения учёного, что Шлёцер «представил русскую историю в ложном свете», следует добавить и другие его слова: критика этого учёного «есть критика здравого смысла и во многом уже неудовлетворительна», что он, «видел всё спасение в немцах и всё понимал только в западных формах: оттого, оказав великие услуги русской науке, этот учитель внёс в неё и много заблуждений, с которыми ещё и в наше время приходится бороться».

В 1876 г. И.Е. Забелин, приведя крайне негативные отзывы немцев И.Д. Шумахера и А.А. Куника о «диссертации» немца Г.Ф. Миллера, заметил: говорить, что русские учёные засудили её «из одного патриотизма, значит извращать дело и наводить недостойную клевету на первых русских академиков». Ломоносов, подчёркивал Забелин, раскрыл всю несостоятельность рассуждений Миллера, но нелепее всего считал тезис, что имя «русь» заимствовано от чухонцев-финнов. Это мнение «было отвергнуто, как мнение смешное и нелепое, не имевшее никаких учёных оснований», и что в целом «немецкая критика» Миллера оказалась слабее критики Ломоносова, которая до сих пор несколько не состарилась и ни мало не опровергнута и подтверждается «новой учёностью (в трудах г. Гедеонова), достоинствам которой и учёные-норманисты отдают полную справедливость». Вместе с тем Забелин обращал внимание на неподготовленность Байера и Миллера к занятию, по незнанию русского языка и русских источников, историей России и на их тенденциозность, на то, что «Шлёцер, строгий и суровый критик», решил раз навсегда, что ненорманистский взгляд «есть мнение не-учёное» и что норманистам после него «не требовалось никакого самостоятельного знания и труда. Достаточно было только крепче держаться за Шлёцера и приводить уже обработанные, готовые доказательства из его же сочинений». Историк также указал, демонстрируя, сколько напрасного труда было потрачено исследователями, слепо поверившими в одну из фантастических идей Шлёцера, — идею о восстановлении «очищенного Нестора».

М.О. Коялович в 1884 г. выразил роль Ломоносова в нашей науке словами, что он глубоко понимал русскую историю и что «вся область русско-славянских древностей давала Ломоносову богатые средства установить свой, *русский, взгляд на вещи* (курсив мой. — В.Ф.), и он здесь воздвиг себе довольно прочный памятник». А в отношении Миллера сказал, что он «гораздо больше принёс пользы русской науке, несмотря на меньшую свою даровитость и гораздо меньшую учёность». Байер же — это «совершенный невежда в области русской исторической письменности, не ознакомившийся даже с русским языком» и занимавшийся «чудовищной» филологией. Назвав план Шлёцера разработки летописей удачным и отметив, что в его основе лежит труд Татищева, историк выразил невысокое мнение о самом итоге этого проекта — много-томном «Несторе». Ибо пали желание Шлёцера восстановить подлинный текст ПВЛ, его утверждения о диком состоянии восточных славян до призвания варягов, большей частью даже его объяснения текста летописи, его предубежде-

ния против позднейших летописных списков» (указывая на его «невыносимое самохвальство и глумление над другими», «истинно немецкую наглость», «величайшее презрение» к русским людям, Коялович заключил, «что Шлёцер был в нашей науке то же, что Бирон в Русской государственности») ⁸⁹.

В 1890-х гг. В.О. Ключевский, говоря об опасности филологического направления, данного Байером и Миллером историческому вопросу (варяжскому), резюмировал: они, не положив критического изучения Сказания о призвании варягов «в основу исследования, подорвали доверие к своим выводам, которые от того получили вид их субъективных тенденциозных догадок, а не толкований исторических взглядов русских книжных людей XI–XII в.». В 1897 г. П.Н. Милюков, ведя речь о том, что гимназист Миллер, «едва пробывший год в Лейпцигском университете», прибыл в Россию, нисколько не помышляя о науке, отмечал отсутствие у него «строгой школы и серьёзной учёной подготовки», видел в нём «здорового, сильного чернорабочего», обладавшего «колоссальным трудолюбием, не сопровождавшемся учёностью». В 1911 г. и другой норманист, В.С. Иконников, подчёркивал, что комментарии Шлёцера в значительной степени «носят филологический характер», что по тогдашнему состоянию научных данных и свойственному ему скептицизму, он «отрицательно относился к широким выводам (Шторха) об обширной торговле Востоком и Балтийским побережьем через Россию» и что его воззрения, «а потом и Нибура нашли у нас полное выражение в так наз. скептической школе» ⁹⁰.

На следующий год И.А. Тихомиров, прекрасно понимая, почему Ломоносова пытаются вывести за рамки исторической науки, показал, какие мнения, высказанные им против норманизма, сохраняют свою силу и разделяются не только антинорманистами: отсутствие норманского влияния на русский язык, славянская природа названий Холмогор и Изборска (а на их скандинавском характере настаивал в «диссертации» Миллер), происхождение руси от роксолан. А также его указания на совершенно разрушающие норманскую теорию факты: что в Скандинавии неизвестно имя Руси, что в скандинавских источниках нет информации о призвании Рюрика, что варяжские князья клялись славянскими, а не норманскими божествами, что термин «варяги» был приложим ко многим европейским народам. Научную значимость антинорманизма Ломоносова Тихомиров видел прежде всего в том, что он выступил против норманистского толкования летописных имён, которые «коверкались в угоду теории на иностранный лад, как бы на смех и к досаде русских»: Ломоносов «первый поколебал одну из основ норманизма — ономастику... он указал своим последователям путь для борьбы с норманизмом в этом направлении».

Достоинство трудов Ломоносова, считал Тихомиров, заключается также в том, что он устранил из русской истории баснословия (отрицал происхождение Москвы от Мосоха, сомневался «относительно грамоты Александра Македонского», якобы данной славянам), в его выводе, что не существует несмешанных наций. Говоря о мыслях Ломоносова об участии славян в великом переселении народов и разрушении Западно-Римской империи, исследователь резюмировал, что они, «в настоящее время сделавшиеся ходячими истинами, будучи выражены полтора-два столетия тому назад да ещё не специалистом-историком,

указывают только на гениальность Ломоносова». Учитывая «состояние русской исторической науки того времени и имея в виду цель, для которой составлен Краткий летописец», Тихомиров согласился с оценкой, данной ему П.А. Лавровским, а «Древнюю Российскую историю» охарактеризовал как первый научный труд, основанный на первоисточниках, написанный понятным «обыкновенному читателю» языком и имеющий цель «самым изложением вдохнуть любовь к истории своего отечества и уважение к предкам», что делает её «одним из выдающихся исторических произведений XVIII века»⁹¹.

Однако звучание голосов дореволюционной поры, или критиковавших взгляды Байера, Миллера и Шлёцера, или защищавших Ломоносова-историка, мало сказалось на науке и на общественном сознании. Потому как оно совершенно тонуло в океане славословий норманистов в адрес их теории, прочно утвердивших в массовом сознании ложную формулу: признавать норманизм — дело науки, не признавать — ненаучно. А при тотальном господстве доктрины норманистов, при массовом тиражировании их работ, принадлежавших самым первым историкам России, в русле идей которых шло в основном формирование исторического сознания русского общества, негативной оценке исторических трудов Ломоносова было обеспечено чуть ли не всеобщее признание.

Голос защитников Ломоносова — историка и ниспровергателя шведского взгляда на русскую историю — звучал слабо ещё и потому, что его привычным манером «глушила» священная в глазах наших норманистов заграница. Её отношение к русским антинорманистам в концентрированном виде изложил в 1877–1891 гг. перед английскими, немецкими, шведскими и русскими читателями, доведя до предельной крайности, датский лингвист В. Томсен, «Начало Русского государства» которого стало для адептов норманской теории её новой библией, заменив в этом значении давно обветшавший «Нестор» Шлёцера. Смотри на начало Русского государства глазами скандинава, учёный, используя излюбленный и абсолютно беспроблемный приём норманистов, обвинил сторонников русского взгляда на тот же процесс, включая, по его характеристике, «известного писателя Ломоносова», в патриотизме, не позволяющем им принять мысль об иноземном происхождении имени русского народа и неприятный для них факт основания Русского государства «при помощи чужеземного княжеского рода, — как будто подобное обстоятельство может заключать в себе что-нибудь оскорбительное для великой нации». Заявляя, что норманство варягов и руси одинаково удовлетворяет «всех трезво смотрящих на дело русских и иностранных исследователей», датчанин представил инакомыслящих национальными фанатиками, не имеющими отношения к науке: сочинения антинорманистов (из их числа он выделил лишь труд С.А. Гедеонова) «не могут даже иметь притязаний на признание их научными: истинно научный метод то и дело уступает место самым шатким и произвольным фантазиям, внушённым, очевидно, более нерассуждающим национальным фанатизмом, чем серьёзным намерением найти истину», а их умозаключения «внушены таким легкомысленным скептицизмом, при котором всё на свете с помощью ненаучных умствований может быть объявлено сомнительным»⁹².

Надо назвать ещё один логический итог борьбы норманистов, в первую очередь отечественных, против Ломоносова, который выразил В.И. Ленин, вместе с миллиоковыми готовивший 1917 г. (и питавший, оказывается, одинаковые с ними чувства к самому величайшему русскому человеку, олицетворявшему собой Россию). Сделал это будущий вождь большевистской партии в одной из своих самых известных работ «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения», вышедшей в марте 1902 г., которую массово изучали в до- и послеоктябрьскую эпохи. И в которой он, повторив слова какого-то «товарища»: «Как много появилось у нас в последнее время социал-демократических Ломоносовых!», поясняет, что тот имел «в виду поразительную склонность многих из склонных к “экономизму” лиц доходить непременно “своим умом” до великих истин... и игнорировать при этом, с великолепным пренебрежением гениального самородка, всё то, что дало уже предыдущее развитие революционной мысли и революционного движения». После чего заключил, что «именно таким самородком является Ломоносов-Мартынов» и что «Ломоносовы отличаются не только тем, что они многого не знают (это бы ещё было полбеда!), а также и тем, что они не сознают своего невежества. Это уже настоящая беда»⁹³.

В 1961 г. крупный советский специалист в области историографии А.М. Сахаров справедливо сказал, что антинорманистские идеи Ломоносова в дореволюционное время «не могли получить одобрения в науке, где норманизм стал официальной теорией происхождения Древнерусского государства», в связи с чем норманисты «попытались набросить тень на занятия великого учёного историей, третируя эти занятия как ненаучные»⁹⁴. Судя по словам Ленина, русские норманисты не только успешно решили эту задачу к началу XX в., но и смогли превратить имя великого Ломоносова, «гения, превосходящего всех», если вспомнить слова немца Г.В. Крафта, и равного которому не знает мировая история (в 1820-х гг. англичанин Д. Боуринг назвал русского учёного «необычайным гением», его соотечественник А. Гранвиль — «необычайным человеком, чьи разнообразные таланты были высшего порядка», французский историк П.-Э. Лемонте вёл речь «о всеобъемлющем гении Ломоносова»⁹⁵), в синоним самоуверенности, косности и невежества. И в первую очередь в истории.

Одновременно с тем устами высочайшего тогда научного авторитета, летописевода и академика А.А. Шахматова провозгласив, в связи с резким усилением в нашей науке в ходе начавшейся новой Смуты, после времени их поражений и упадка, норманистских настроений, культ Шлёцера как специалиста по русской истории вообще (следовательно, Байера и Миллера). По его словам, произнесённым в 1908 г., «научное изучение древней русской истории начато великим Шлёцером. Им были намечены вопросы, подлежащие дальнейшей разработке, им были определены способы и приёмы исследования. После Шлёцера в основание исследования должна была быть положена критическая разработка древнего текста, а этой разработке должно было бы предшествовать восстановление текста по дошедшим до нас данным»⁹⁶. Однако невозможность восстановления первоначального текста ПВЛ он признает через восемь лет, в 1916 г.⁹⁷, т. к. ложной была, на что указывалось задолго до Шахматова, сама посылка кумира наших норманистов о воссоздании «очищенного Несто-

ра». И таким же ложным был весь его взгляд на русскую историю, взгляд, сформулированный шведскими авторами-мифотворцами XVII века.

2.3 Советская, эмигрантская и современная наука о Ломоносове-историке

Вывод о несостоятельности Ломоносова-историка и прямо обратный вывод о Байере, Миллере и Шлёцере благополучно переключался из науки дореволюционной в науку советскую. И это при том, что он был выходцем из крестьян, т. е. имел «чистокровно пролетарское» происхождение, так почитаемое тогда в СССР — в государстве победившего пролетариата, и что в те же годы коренному демонтажу были подвергнуты чуть ли не все положения предшествующей историографии, будто бы стоявшей на службе интересов классовых ненавистников и угнетателей крестьян и рабочих. «Страстность» выступления русских учёных против речи-«диссертации» Миллера продолжали объяснять, как это объясняли буржуазные историки С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, П.Н. Милюков, тем, что он «нанёс величайшее оскорбление русскому народу, настаивая на его варяжском происхождении», что в отношении Ломоносова к трактовке варяжского вопроса «немецкими учёными выразился протест русского национального чувства, вызванный временем Бирона»⁹⁸.

Более того, в условиях тотального насаждения идей интернационализма (а они приведут, вкупе с другими причинами, к гибели СССР) и беспощадно-кровавой борьбы с проявлениями «великодержавного шовинизма», как большевики цинично-презрительно характеризовали патриотизм русского народа, превративший его в великий народ и создателя многонациональной державы, спасшей от уничтожения сотни народов, всё также старательно лепился, как и в проклинаемую на все лады «мрачную эпоху» царизма, образ самого выдающегося представителя русского народа Ломоносова, сотрудничавшего и дружившего с иностранцами, как нетерпимого националиста и ксенофоба. Так, в 1923 г. Н.А. Рожков утверждал, демонстрируя сущность и «объективность» классового подхода (позже его самого, используя этот же «универсальный» метод, заклеивают как «мелкобуржуазного историка»⁹⁹), что выходец из зажиточных крестьян, сторонник самодержавия и «патриот в духе того времени, националист Ломоносов этой цели хотел служить и в своей “Российской истории”. Именно из патриотизма он отверг норманскую теорию и сделал варягов славянами», по той же причине отрицательно относился к немцам, занимавшимся русской историей. В 1925 г. была переиздана «История русской общественной мысли» Г.В. Плеханова, в которой патриарх российского марксизма пропагандировал взгляд С.М. Соловьёва на Ломоносова как не историка¹⁰⁰. Разумеется, негативное отношение к нему всё также продолжала нагнетать и работа В.И. Ленина «Что делать?», которая тогда выходила массовыми тиражами

(как отдельными изданиями, так и в составе трёх изданий сочинений «вождя мирового пролетариата») и изучалась миллионами.

Параллельно с тем советские исследователи в том же полномыслии с дореволюционными коллегами, о которых пренебрежительно отзывались с марксистского свысока и которых неустанно корили за отсутствие у них классового подхода, вели хвалебный разговор о немце Миллере. При этом всё также выставляя виновником его злоключений русского Ломоносова с его патриотизмом (совершенно ненужным в пролетарском государстве, элита которого первоначально так жаждала мировой революции). Согласно, например, Г.А. Князеву, «Ломоносов и другие из “русской партии” травили» Миллера как немца, что после одной ссоры со своим «главным врагом» Ломоносовым он был даже разжалован в адъюнкты, что его понятия об объективности историка — быть «верным истине, беспристрастным и скромным», быть как бы «без отечества, без веры, без государя» — «шли вразрез с тем, что требовалось от историка как представителями господствующего тогда класса, так и учёными из среды Академии, отстаивавшими национальную гордость русского народа (напр. Ломоносов)»¹⁰¹ (примечательно, что Князев, а так будут поступать и другие «ломоносово- и миллероведы», искусственно противопоставляя членов Петербургской Академии наук по национальному признаку, не обмолвился о том, что «диссертацию» немца Миллера одновременно с русскими учёными отвергли их немецкие коллеги И.Э. Фишер и Ф.Г. Штрубе де Пирмонт).

В 1937–1940 гг. С.В. Бахрушин и А.И. Андреев в своих статьях безудержно славословили Миллера, превосходя в этом деле дореволюционных норманистов (что из экспедиции в Сибири он вернулся учёным европейского масштаба, что он резко порвал, обладая «строгой научностью критических методов», с «лженаучными исследовательскими приёмами, которые господствовали в феодальной историографии» и т. п.). Но когда Миллер в 1749 г. в речи «попытался приложить свои революционные критические методы к изучению древнейшей русской истории», то ему дали понять, насколько это политически опасно. Обвинённый в политическом выпаде против России (однако такой серьёзнейший по тем временам проступок ему никто и не инкриминировал, иначе бы всё для него закончилось катастрофой), учёный, «уличённый в “подозрительных поступках” политического свойства, подвергся серьёзным репрессалиям и был переведён с должности профессора на должность адъюнкта», а в конце 1749 г. серьёзно заболел. И если немецкий исследователь «стоял всё-таки на уровне исторической науки середины XVIII в.», то возражения его «противника», «врага» и «недруга» гениального русского учёного Ломоносова по поводу «Истории Сибири» «не всегда стояли на уровне современной науки» (в письме секретарю ЦК ВКП(б) А.С. Щербакову, председательствовавшему на Совещании по вопросам истории СССР в ЦК ВКП(б) в мае-июле 1944 г., Бахрушин вновь утверждал, что «Ломоносов как историк стоял не вполне на высоте современной ему западноевропейской и русской науки»).

Дополнительно Бахрушин говорил, что «у правящих кругов Петербурга Миллер был всё время на подозрении как человек политически неблагонадёжный», «всегда был мишенью политического нападения, всегда находился на

ниточке от обвинения в политическом преступлении, что он в течение ряда лет подвергался придирам, оскорблениям и всяческим унижениям «со стороны враждебно настроенных к нему товарищей по Академии и Академической Канцелярии», что его научные работы подвергались придиричливой цензуре, что в его «проекте» публичной речи 1749 г. «захотели увидеть политический выпад против России», что «в 1748 г. его принудили принять русское подданство, но этим унижительным отречением от родины он не купил себе спокойствия», что бдительные зоилы, т. е. Ломоносов, в 1761 г. открыли в его «сочинении Российской истории» «непристойности». А Андреев горячо убеждал, что главным противником Миллера при обсуждении его речи явился не занимавшийся тогда систематически русской историей «химик по специальности» Ломоносов, что Миллер «на основании, главным образом, трудов Байера и летописей» выступил «с норманской теорией происхождения русского государства, которой позже, в XVIII–XIX вв., придерживались многие русские историки»¹⁰².

В том же собственно ключе шёл разговор о Ломоносове и его оппонентах в работах по истории отечественной исторической науки. В 1941 г. вышла «Русская историография» Н.Л. Рубинштейна, который, заключали С.Л. Пештич и А.М. Сахаров, в оценке исторического потенциала Ломоносова находился под влиянием дореволюционной науки¹⁰³. Действительно, в полнейшем единении с ней (в ряде случаев даже усиливая норманистские тезисы) и её же словами он вёл речь о поруганном национальном чувстве Ломоносова, лишь во имя национальной гордости восставшего против норманской теории, оскорблявшей национальное чувство и унижавшей русский народ. И также твёрдо историк-марксист Рубинштейн считал, как это твёрдо и дружно считали до «Великого Октября» подавляющее большинство историков-немарксистов, что Ломоносов не был «историком-специалистом» и что лишь с полемики с Миллером началась его научная деятельность в области истории России.

Рубинштейн одновременно с тем восхвалял немецких учёных: работы Миллера есть совершенно новый этап в развитии русской исторической науки, он положил начало научной критике источника, Шлёцер владел настоящим научным методом — филологическим методом критики текста, которым вооружал русского историка. Но в первую очередь он выделял Байера, крупного лингвиста, знатока многих языков, привёзшего в Россию «метод филологической критики», и отмечал настойчиво проводимую им в работах «строгость научной критики, точность научного доказательства». Причём среди его тщательных исследований прежде всего была названа постановка «варяго-русского вопроса на основе непосредственного изучения скандинавских материалов».

Рубинштейн, с такой лёгкостью расставляя акценты в истории сложнейшего варяжского вопроса, в то же время демонстрирует глубоко неверное понимание хорошо известных фактов. Так он уверяет, что в дискуссии по речи Миллера Ф.Г. Штрубе де Пирмонт выступил на стороне норманистов (но этот академик также, как и Ломоносов, нашёл её, хотя и был норманистом, «предосудительной России» и выступил против её публичного оглашения и издания). И несколько раз озвучил мысль (а за ним, также не вникая в суть названного вопроса, её повторял ряд историков), дающую ложное представление о пози-

ции Татищева по варяжской проблеме: что в её решении он «пошёл за Байером и дал систематическую сводку всех доводов о норманском происхождении руси, в дальнейшем повторяемых в основном всеми норманистами» (на том же Совещании в ЦК ВКП(б) историк, стремясь нейтрализовать прозвучавшую критику в своей адрес по поводу восхваления немецких учёных, заявил, что Татищев был «норманистом» и что Миллер лишь повторял его теорию).

Вероятнее всего, к такой серьёзной ошибке его привело поверхностное заключение П.Н. Милюкова, что «Татищев принял исследования Байера целиком в свой вступительный том, посвящённый этнографическому и географическому введению»¹⁰⁴. Однако и этот наш великий соотечественник был антинорманистом (за что на него, как и на Ломоносова, с таким невиданным в науке ожесточением буквально набросился Шлёцер) и выводил Рюрика «не из Швеции, ни Норвегии, но из Финляндии». А в «Истории Российской» он поместил в сокращённом варианте, сопроводив её критическими замечаниями, перевод статьи Байера «О варягах» в качестве 32 главы под названием «Автора Феофила Сигефра Беера о варягах», принятой Рубинштейном за мнение Татищева (собственное понимание проблемы этноса варягов, включая её историографию, он полно изложил в 31 главе «Варяги, какой народ и где был», а также озвучив его в примечаниях к 17, 32 и в 46 главам, а также в других работах. Согласие с Байером он проявил лишь в том, что Рюрик не мог быть родом из южнобалтийской Вагрии)¹⁰⁵. Как заключил в 1948 г. М.Н. Тихомиров, у Рубинштейна имеются положения не только спорные, но и прямо неверные: он буквально расправился с Ломоносовым и представил русскую историческую мысль XVIII в. своего рода филиалом западноевропейской¹⁰⁶.

Ситуация, сложившаяся в науке в предвоенный период вокруг проблемы Ломоносова-историка, зеркально отражалась в учебном процессе, жёстко формируя тем самым воззрения будущих научных работников и учителей. В связи с чем во «Введении в русскую историографию» (автор Н.Л. Рубинштейн) учебника «История СССР» для студентов исторических факультетов университетов и педвузов (вышел в 1939 г. под редакцией В.И. Лебедева, Б.Д. Грекова, С.В. Бахрушина, переиздан в 1948 г.) нет ни слова ни о нём, ни о его исторических сочинениях. Но при этом представлены, понятно, в каком виде, немецкие учёные, состоятельность норманистских воззрений которых была подорвана именно аргументацией Ломоносова. Он же не упомянут и в разделе «Историческая наука» главы «Русская культура XVIII в.», написанной Ю.В. Готье, в котором основное место отведено прославлению роли немецких учёных в разработке прошлого России¹⁰⁷.

В той же тональности звучал и голос эмиграции. В 1925 г. А.Л. Погодин уверял, что если бы Ломоносов не питал непреодолимой ненависти к немцам, «и если бы эти последние не кололи глаза русским учёным, что они, немцы, дали русскому народу не только науку, но и само государство, то весьма возможно, что простой и ясный рассказ Начальной летописи о варягах не вызвал бы никакого сомнения и не породил бы бесконечной литературы». В 1931 г. В.А. Мошин, ведя речь о дискуссии по «диссертации» Миллера, подчёркивал: Ломоносов, в своём отзыве на неё «не ограничился лишь научными доводами, а присоеди-

нил к этому опасение, “не предосудительно ли славе российского народа будет, ежели его происхождение и имя положить толь поздно, а откинуть старинное, в чём другие народы себе чести и славы ищут”, и что “ежели положить, что Рюрик и его потомки, владевшие в России, были шведского рода, то не будут ли из того выводить какого опасного следствия”». «Так родилось, — подытоживал учёный, — варягоборство, вначале принявшее характер не столько научной полемики, сколько ставшее борьбою за национальную честь».

8 июня 1935 г. П.Н. Милюков на празднике «День русской культуры» в Париже произнёс речь: «М.В. Ломоносов (личность и историческая роль)», в которой остался верен своему отрицательному взгляду на Ломоносова как историка, показав тем самым, что совершенно не извлёк уроков из краха Российской империи (в чём был очень сильно повинен): что по желанию императрицы ему пришлось засесть за несвойственное занятие, что его «Древняя Российская история» есть результат подневольной работы, что он «воспользовался этой своей официальной профессией (но по указу Елизаветы Петровны 1745 г. Ломоносов был назначен «профессором химии», и никаких других «официальных» профессий за ним не значится. — В.Ф.) для борьбы с гораздо более серьёзными, чем его работа, трудами академических немцев, Миллера и Шлёцера, запятнав себя доносами, под предлогом патриотического негодования на умаление российской славы»¹⁰⁸ (мировоззренческие установки Милюкова, сказавшиеся и на оценке Ломоносова-историка, ёмко выразил эмигрант П.Н. Савицкий: «Ты с виду сух и прозаичен, / Европе предан всей душой, / В уничижении методичен / Всего, что Русь несёт с собой»¹⁰⁹).

Агрессия фашистской Германии и её союзников против нашей Родины, Великая Отечественная война, массовые патриотизм и самопожертвование советского народа, приведшие к Великой победе мая 1945 г., издание в 1950–1959 гг. Полного собрания сочинений М.В. Ломоносова, празднования 200-летия Московского государственного университета, одним из основателей которого он был, и 250-летия со дня его рождения дали мощный импульс к изучению исторического наследия учёного и прежде всего по варяго-русскому вопросу. И анализ этого наследия, тщательно проведённый специалистами конца 40-х — начала 60-х гг. (М.Н. Тихомиров, Д.М. Гурвич, М.Т. Белявский, Г.Г. Фруменков, А.М. Сахаров и др.), показал, что оно «заслуживает глубокого изучения», что труды Ломоносова по истории России «не были ни дилетантскими, якобы уступавшими по эрудиции трудам немецких академиков», ни случайными, достойно занимают место рядом с его гениальными творениями в области естественных наук и их значение в целом таково, что позволяет признать за ним право выдающегося» русского историка, сыгравшего выдающуюся роль в формировании отечественной исторической науки.

Вместе с тем была опровергнута «ложная версия о том, что Ломоносов никогда не интересовался историей и если и начал ею заниматься в 1753 г., то лишь по “принуждению свыше”», было показано, что его интерес к истории пробудился во время учёбы в Москве, что в качестве эксперта по историческим вопросам учёный выступает уже в июле 1747 г., что к подготовке «Древней Российской истории» он приступил задолго до поручения двора. В дальнейшем,

самостоятельно и весьма критически изучив большое число отечественных и иностранных памятников, в первую очередь летописи, а также историческую литературу, Ломоносов стал прекрасным знатоком русской и всеобщей истории, в силу чего построил русскую историю на фоне мировой и начал историю Отечества, в отличие от Байера, не с момента призвания варягов, а с древнего времени, что было новым и важным построением в науке и что его выводы поражают своей новизной и имеют интерес в настоящее время.

При тогдашнем состоянии исторической науки, при ограниченности круга доступных источников Ломоносов смог «глубоко и верно определить направление разработки основных проблем, выдвинуть положения и высказать гениальные догадки, получившие 200 лет спустя блестящее подтверждение»: например, по вопросам этногенеза славян и их древнего пребывания в Европе (что затем подтвердит знаменитый славист П.И. Шафарик), об их участии в разрушении Римской империи, о доваряжском периоде нашей истории, о существовании термина «Русь» на юге вне всякой связи с севером и варягами, об участии в сложении русского народа, помимо восточных славян, других народов, о сложном этническом составе скифов. Характеризуя «Древнюю Российскую историю» как выдающийся научный труд, исследователи заключали, что она была крупным событием в нашей науке (и особенно при этом выделяли её первую часть «О России прежде Рурика») и долгое время единственным учебником русской истории, заменившим устарелый «Синописис» (своеобразной учебной книгой являлся и «Краткий Российский летописец»). И правомерно заостряли внимание на том, что «за весь XVIII в. академики из иностранцев не написали русской истории, хотя и были якобы исполнены всевозможными научными доблестями», и что «ошибки Ломоносова были ошибками его времени, а то, что он сделал для исторической науки, является ценнейшим вкладом».

По своим историческим знаниям Ломоносов, заключали учёные, стоял не ниже, а выше Миллера, к тому же он занимался вопросами языкознания и историей литературы, что давало ему большое преимущество перед оппонентом, обнаруживает большую осведомлённость в латинской и древнегреческой историографии, читает эти труды не в переводе, а в оригинале, ибо прекрасно владел латинским и древнегреческим языками, верно указывает на ненаучность приёмов Миллера, игнорировавшего показания русских источников и следовавшего только скандинавским сагам, и на «антинаучную лингвистику» Миллера и Байера в объяснении русских имён (в оценке вклада Шлёцера в копилку нашей исторической науки было сказано, что его основной недостаток построений — это «стремление дать “очищенного” Нестора», отрицательно сказавшееся на последующем изучении летописей, а также отмечено, что именно он «всем своим авторитетом европейски известного историка и источниковеда направил историографическое изучение Ломоносова по неправильному пути»).

А также констатировалось, что остроту вопросу о начале Руси придал не Ломоносов, а немецкие историки, что он не стремился во чтобы то ни стало прославить древних славян и русский народ, что до сих пор норманисты не могут ответить на те вопросы, которые когда-то поставил перед ними русский ге-

ний (например, почему на Руси не было ни одного города, который носил бы скандинавское название), что мысли о происхождении русского народа, высказанные Ломоносовым в ходе дискуссии, были затем включены в «Древнюю Российскую историю» и «Краткий Российский летописец», т. е. были давно и основательно им продуманы (было отвергнуто и обвинение в его адрес в «особом «немцеестве»», в особой нелюбви к Миллеру, ибо он поддержал коллегу в споре с Крекшиным, положительно оценил его «Историю Сибири»). Историк ГДР П. Гофман поражался тому, что аргументация Ломоносова нашла широкое отражение в последующих работах Миллера. Отмечая несправедливость его слов, что Ломоносов не был искушён в истории, учёный заключил: он стоял на высоте исторической науки своего времени, тогда как его оппонент был ограничен как историк и к источникам относился почти всегда совершенно некритически. Тогда же соотечественник Гофмана Э. Винтер обращал внимание на самохвалство и заносчивость немецкого патриота Шлёцера¹¹⁰.

Но все эти выводы советские исследователи перечёркивали, сами того не замечая, своими также громко звучащими словами, что Ломоносов боролся с Миллером и Шлёцером со свойственными ему «горячностью» и «необузданностью», что антинорманисты непомерно раздували его некоторые, часто неудачные мысли и гипотезы, и в первую очередь о славянской природе варягов, но советская наука не приняла данного утверждения. Из чего непреложно вытекало, что Ломоносов в споре с норманистами ошибался в главном, значит, ошибался в частностях. Следовательно, Ломоносов-антинорманист уступал им — норманистам — как историк, на чём всегда и настаивала дореволюционная норманистская историография. При этом только и говорилось, как повелось с А.Л. Шлёцера в целях дискредитации антинорманизма Ломоносова, о патриотических устремлениях и патриотической направленности его творчества, что он в дискуссии с Миллером «выступил как учёный патриот», боролся с «антипатриотизмом» и норманизмом «немецких псевдоисториков» со всей страстью великого русского патриота¹¹¹.

Подняться до действительной оценки Ломоносова-историка, на многочисленных источниках (отечественных и иностранных) продемонстрировавшего несостоятельность фундаментальных положений норманской теории, советские исследователи были не в состоянии, т. к. сделать это им не позволяла норманская теория, с которой они расстались во второй половине 30-х гг. лишь на словах и потому находились, часто того не подозревая, в её цепком плену. Приняв тогда марксистскую концепцию возникновения Русского государства, согласно которой оно возникло только в силу внутренних причин — социально-экономического развития восточнославянского общества и без всякого внешнего воздействия, — причём призывание варягов представляло собой абсолютно случайное явление в русской истории, наши учёные, объявив себя самыми подлиннейшими антинорманистами, продолжали видеть в варягах скандинавов и свой «антинорманизм», замешанный на цитатах из классиков марксизма-ленинизма, выражали, в основном, многоголосыми проклятиями в адрес норманизма и пустопрениями с ним. В таких условиях, конечно, никого не интересовали ни доводы Миллера в пользу норманства варягов, ни их опровержение

Ломоносовым, ни в целом его контраргументы норманизму, а сам разговор о дискуссии между ними вёлся с повтором всех легенд норманистов.

В свете изложенного неудивительно, что во второй половине 50-х — середине 60-х гг. в науке, незаметно для глаз, исповедовавших норманизм, и под его прямым воздействием (мощно усиленным влиянием «оттепели», заставившей учёных во многом разувериться в состоятельности тогдашних официальных догм) ревизии были подвергнуты, с вбросом фальшивых «истин», весьма авторитетными представителями науки те положения о Ломоносове, которые в ней так активно культивировались и продолжали культивироваться.

Так, в 1957 г. Л.В. Черепнин в историографическом курсе для студентов, высоко отзываясь о его исторических трудах и говоря, что он, в борьбе с норманизмом выступив со всей страстью русского патриота, подверг сокрушительной критике работы Байера и особенно Миллера. Но в то же время подчёркивал, что его отождествление варягов со славянами лишено научного основания, что некоторые лингвистические соображения Ломоносова (например, словопроизводство «роксолане» — «россияне») не могут быть признаны научно убедительными, что он проявлял слабость, когда задачи исторического исследования подчинял потребностям текущей политике царизма. «Слабость» Ломоносова-историка вытекала и из утверждения Черепнина, что он отрицательно относился к «Истории Сибири» Миллера, т. к. «в отдельных случаях стоял на охранительной позиции, отвечавшей политике царизма. И его замечания в этих случаях лишены научной ценности» (но именно Ломоносов без всяких проволочек в августе 1750 г. и рекомендовал первую часть «Истории Сибири» к печати). В 1966–1984 гг. исследователь, рассматривая взаимоотношения Ломоносова и Шлёцера, резюмировал, что первый вместо научной полемики применил «методы идейной борьбы», т. е. его искренняя забота о достоинстве своего Отечества и народа объективно принимала ложное направление¹¹².

В 1965 г. С.Л. Пештич в монографии о русской историографии XVIII в., на долго ставшей компасом для специалистов, провёл анализ трудов Ломоносова, Миллера и Шлёцера. Но взвешивал их, как «советский антинорманист», лишь на весах норманизма. В связи с чем, невзирая на высокий слог о Ломоносове, пальму первенства на историческом поприще отдал его научным противникам. Хотя при этом и отмечал, что Миллер, бывший всю жизнь воинствующим норманистом, как историк не был способен «к широкому обобщениям и глубокому анализу исторических событий», что в начале 1730-х гг. он приписал П.В.Л. Феодосию, что в конце 40-х гг. уступал Ломоносову в понимании предмета истории и что за 50 лет занятий русской историей так и не смог составить её полного обзора. Но вместе с тем уверял, что Начальная летопись привлекала Миллера более, чем его оппонентов, что его позиции в источниковедческом отношении были более серьёзно обеспечены, чем у его противников. И, смешивая принципиально разные вопросы, которые необходимо рассматривать раздельно, заключил, что вклад Миллера в изучение истории Сибири, в собирание многочисленных источников перекрывают его норманистские заблуждения.

И тут же проводил мысль о национальной тенденциозности Ломоносова, что норманизм Миллера был неприемлем для национального патриотизма. Чита-

теля убеждают в необоснованности выступления Ломоносова против норманской теории и слова, что у неё была «прочная историографическая традиция в средневековой отечественной литературе и летописании», а также утверждение о «норманизме» автора ПВЛ в вопросе образования государства у славян Восточной Европы (антинаучный тезис норманистов о «норманизме» летописцев проводили многие историки второй половины XIX — середины XX в., но в разговор о Ломоносове его привнёс Пештич). Тогда как вывод русского историка о выходе варяжских князей из Пруссии и их славянстве не выдержал научной проверки. Само представление Ломоносова о Пруссии как родине варягов учёный связал с политической ситуацией периода Семилетней войны, когда Восточная Пруссия входила, с января 1758 по июнь 1762 г., в состав России, т. к. он искал в истории подтверждение её прав на завоёванную территорию. Но, во-первых, варяжских князей из Пруссии выводит известная «августинская» легенда, возникшая во второй половине XV в. и приобретшая в следующем столетии официальный характер в качестве родословной русских государей. Во-вторых, Ломоносов о Пруссии, как родине варягов, сказал задолго до Семилетней войны — в своём втором отзыве на речь Миллера осенью 1749 г.¹¹³ (и эти факты Пештич знал, но желание норманиста подвести под концепцию Ломоносова политическую базу и тем самым лишить её научности заставили его сотворить очередной миф).

Параллельно с процессом принижения значимости Ломоносова-историка шёл процесс постепенного возвеличивания в том же качестве немецких учёных (причём активное участие в этом процесс приняли, как и в досоветское время, учёные, далёкие не только от проблем начальной истории Руси и варяжского вопроса, но и от самой истории вообще. Так, например, в 1958 г. вышла работа покойного специалиста по международному праву В.Э. Грабаря, в которой было сказано о запрете «диссертации» Миллера и о неприятии его последующих работ, что он являл собою образец научного исследователя, стремившегося к беспристрастности, и что «больше всего невзгод Миллер претерпел за время с 1746 г. по 1754 г. В 1750 г. он был разжалован из академиков в адъюнкты»¹¹⁴).

Разговор о Ломоносове-историке и его научных противниках вёлся в конце 60-х — начале 80-х гг. в прорезанной колее, без обращения к собственно источникам. Так, например, признанный специалист в изучении истории науки России и Западной Европы М.А. Алпатов развивал тезис Шлёцера о непризнании русскими шведского происхождения Рюрика из-за ссоры со шведами, объяснял, что создатель выдающихся исторических трудов Ломоносов ошибался, отрицая норманство Рюрика, что его аргументация в пользу славянства варяжского князя не выдержала испытания временем и что немецкие специалисты, вооружённые достижениями западной исторической науки, в научном плане сыграли прогрессивную роль и т. п.¹¹⁵

Из всех работ рассматриваемого периода особняком стоят статьи и монографии филолога и крупнейшего ломоносововеда Г.Н. Моисеевой. И стоят в силу как неподдельного стремления выяснить основы исторических воззрений Ломоносова, так и совершенно нового подхода к решению проблемы Ломоносова-историка. Обратившись в 1962–1980 гг. к сочинениям (историческим и поэти-

ческим) Ломоносова и архивам, в которых ею были открыты 44 рукописи с его пометами (а их более 3000 на полях и в тексте), учёный установила, что, «судя по тем спискам, на которых сохранились приписки и пометы Ломоносова, он знал все основные рукописи, которые могли быть доступны к началу 50-х гг. XVIII в.» (причём их целенаправленное изучение жадный до знаний юноша начал в годы обучения в Славяно-греко-латинской академии).

Это, например, ПВЛ, Киево-Печерский Патерик, Хронограф редакции 1512 г., Софийская первая, Никоновская, Воскресенская, Новгородская третья и четвёртая, Псковская летописи, Казанская история (Казанский летописец), Сказание о князьях владимирских, «Летописец начала царства царя и великого князя Иван Васильевича», Степенная книга, Новый летописец, Двинской летописец, Иное сказание, «История о великом князе Московском» А.М. Курбского, послания Ивана Грозного и Курбского, «Сказание» Авраамия Палицына, исторические повести о битве на Калке, о приходе Батые на Рязань, о Куликовской битве, многочисленные повести о стрелецком восстании, сочинения о Петре I, Родословные и Разрядные книги, жития Ольги, Бориса, Глеба, Александра Невского, Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Фёдора Ростиславича Смоленского и Ярославского и др. (в ряде случаев их разные редакции и списки), а также церковно-учительная и церковно-богослужебная литература. Проведя масштабное и глубокое исследование, которого так остро не хватало науке, Моисеева заключила, что совершенно необоснованными выглядят утверждения дореволюционных учёных о незнании Ломоносовым русских исторических памятников. Напротив, задолго до 1749 г., т. е. до обсуждения «диссертации» Миллера, он «владел уже большим кругом источников... изучил важнейшие летописи и умел критически воспринимать их известия», обладал запасом знаний в области исторических фактов (по этой причине в конце 1748 г. В.Н. Татищев попросил именно его оценить свою «Историю Российскую» и написать предисловие), продумал характер русских летописей, хронографов, степенных, решал вопрос о составителях сводов.

Изучение летописей дало Ломоносову неоценимый материал при анализе научной ценности «диссертации» Миллера. Рассуждая о его первом отзыве на неё от 16 сентября 1749 г., Моисеева указала, что он написан менее чем в две недели. После чего заключила: «Если бы этому не предшествовала большая работа над русскими летописями, если бы Ломоносов не был знаком с трудами иностранных авторов о России, если бы, наконец, он не разрабатывал свою самостоятельную концепцию истории России, его “Замечания” ограничились бы общим заключением о характере работы или анализом политической позиции автора», что без предварительного изучения вопроса он не мог бы высказать своё самостоятельное мнение по важнейшим вопросам истории России и что эти замечания содержали в себе вчерне наброски будущей «Российской истории». В последующих отзывах «ещё полнее раскрылись глубокие знания Ломоносова в области древнерусских литературных и исторических памятников, его умение проникать в самую суть изучаемого вопроса, раскрыть взаимосвязь разноречивых фактов». В целом он, подвергнув всестороннему рассмотрению речь Миллера, показал её несостоятельность путём сопоставления с данными

русских источников и, в первую очередь, — с ПВЛ (к тому же исследовательница резюмировала, что «Древняя Российская история» представляет собой исторический труд нового типа, а также напомнила, какое большое место в творчестве Ломоносова занимала личность Петра I)¹¹⁶.

Но в условиях торжества в тогдашней науке «советского антинорманизма», что означало безраздельное господство приправленного марксизмом норманизма, когда побудительные мотивы, приведшие Ломоносова к занятию историей, объяснялись лишь его патриотизмом, ослепившим его и не позволившим ему увидеть якобы всем «очевидное» — норманство варягов, яркие и новаторские работы Г.Н. Моисеевой не могли оказать влияние на изменение взгляда на Ломоносова-историка. Более того, они, безоговорочно приняв основополагающий тезис норманской версии о скандинавской природе варягов, придали этой версии невиданную ранее силу и размах, возведя её в ранг непререкаемого догмата марксистской историографии, сомнение в котором означало сомнение в состоятельности самого марксизма. К тому же к середине 80-х гг. в нашей науке кардинально поменялась атмосфера, о чём наглядно свидетельствует статья И.П. Шаскольского «Антинорманизм и его судьбы», вышедшая в 1983 году.

В ней признанный научный авторитет, прикрываясь марксизмом, категорически отказал истинному антинорманизму, отрицавшему норманство варягов, в научности и предложил вывести его за рамки науки. Ибо, утверждал он, повторяя Шлёцера, многие из антинорманистов не были историками-профессионалами (но таковым не были, как известно, и норманисты Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлёцер, Н.М. Карамзин). И если научная норманская теория, убеждал Шаскольский, не была изобретена Байером и Миллером, а была взята ими из русской донаучной историографии — из летописи, то гипотеза призвания варягов из Южной Балтики была заимствована Ломоносовым и Тредиаковским «из легендарной традиции, содержащейся в некоторых поздних летописях и исторических сочинениях XVI–XVII вв.». После революции, заключал автор, антинорманизм стал течением российской эмигрантской историографии, где и скончался, а его возрождение на почве советской науки невозможно¹¹⁷.

Изменившаяся ситуация в советской исторической науке, чётко заявившей о своей норманистской сущности, а также бурные политические процессы, протекавшие в СССР с середины 80-х гг., не замедлили сказаться на важной для нашей историографии проблеме, напрямую связанной с варяго-русским вопросом: можно ли считать Ломоносова историком или нет? Причём её взялись решать, как и раньше, лишь по линии искусственного противопоставления Ломоносова и Миллера (у каждого из которых есть, разумеется, свои достоинства и недостатки, большие и малые, но это не означает, что между ними следует постоянно проводить бесплодные ристалища, в которых исчезает суть и их дискуссии, и суть самой проблемы начала Руси), да ещё противопоставляя, в нарушении принципа историзма, замечаниям Ломоносова 1749–1750 гг. на речь оппонента все его последующие работы, во многих случаях уже бесспорно несущие печать его высокого профессионализма как историка.

И решать, часто даже не заглядывая ни в труды Ломоносова, ни в труды немецких учёных, в первую очередь, в речь-«диссертацию» Миллера (при этом продолжая говорить о ней только «высоким штилем»), не вникая в показания всей совокупности разновременных, разнохарактерных и разноречивых источников, в особенности мнений об этносе варягов и руси, предложенных у нас и за рубежом. Но вместе с тем с великим усердием сводя антинорманизм Ломоносова к патриотизму, национализму и невежеству, а подход немецких учёных и прежде всего Миллера к начальной истории Руси характеризуя как «научный» и «объективный». Явственно это зазвучало уже в середине «перестройки», параллельно с процессом освобождения «советского антинорманизма» от марксизма (а его «прах» со своих ног он стряхнул очень быстро и столь же стремительно поменял «плюсы» на «минусы», и наоборот). В условиях, когда «советские антинорманисты» начали, по мере приближения конца советской эпохи, а затем сразу же после её краха, осуждать то, под чьим знаменем они полстолетия «били» и «добили», по их громким победным реляциям, «антинаучную» норманскую теорию, беспощадно клеймить то, чему они так горячо ещё вчера поклонялись и что всему миру торжественно преподносили в качестве одного из главнейших достижений передовой советской исторической науки, — «советский антинорманизм». А именно: что в советское время был осуществлён возврат к антинорманистским воззрениям XIX в. в их крайнем националистическом виде, что советские учёные испытывали мощный гнёт официального антинорманизма, как, например, утверждали на закате СССР и на заре новой России Л.П. Белковец (1988) и А.А. Молчанов (1992)¹¹⁸.

В такой атмосфере категорического неприятия антинорманизма разговор о Миллере как историке стал во многом приобретать, а иначе и быть не могло, антиломоносовскую направленность. И приобретать потому, что именно немец Миллер якобы олицетворяет собой все неимоверные невзгоды и страдания, выпавшие на долю норманизма, есть его главный «великомученик», потому как совершенно невинно пострадал за отстаивание науки от русского патриота и антинорманиста Ломоносова, превозносимого в качествах историка только русскими патриотами всех мастей: дворянскими, буржуазными, советскими (т. е. вместе с тем навязывалось, как это самоубийственно и играючи делала дореволюционная историография, негативно-пошлое отношение к патриотизму).

Иллюстрацией к сказанному являются работы Л.П. Белковец 1988–1989 годов. Ведя речь о заслугах Миллера перед отечественной исторической наукой и подкрепляя её только ссылками на мнения В.Н. Татищева (о работах которого, по её утверждению, с неменьшим уважением писал Миллер), М.М. Щербатова, Н.М. Карамзина, С.М. Соловьёва, П.П. Пекарского, К.Н. Бестужева-Рюмина, В.О. Ключевского, С.В. Бахрушина, А.И. Андреева, Н.Л. Рубинштейна и др., она констатировала, как сторонница норманства варягов уже всему зная цену, что особняком в историографии XVIII в. стоит оценка исторических трудов Миллера, данная Ломоносовым, который «не принял норманистской концепции происхождения Русского государства Миллера и все его труды подвергал суровой и беспристрастной критике». Уверяя, что верхушка Академии наук

поддерживала и подогревала неприязнь в отношениях Ломоносова и Миллера, учёный резко осудила нашего академика: «Если признать справедливыми все замечания, высказанные Ломоносовым в адрес Миллера, можно сделать вывод, что он был врагом России». И увидела в последнем человека, стоявшего у истоков исторической науки в России, крупного её авторитета, успешно осуществлявшего поиск истины, ибо «должность историка, полагал он, заключается в трёх словах: “быть верным истине, беспристрастным и скромным”».

Горечи в разговор о судьбе Миллера добавила также очень далёкая от правды информация, которая давно не звучала в науке, но которая теперь «пропишется» в работах норманистов, что обсуждение его речи закончилось переводом автора из профессоров в адъюнкты (хотя этот перевод состоялся по десяти причинам). Но, как завершала Белковец свои рассуждения с оптимизмом, интерес к творчеству Миллера усиливается, заново формируется объективный подход к его наследию и к оценке его места в истории русской науки и что с появлением новых публикаций археологов о скандинаво-русских отношениях в период образования и начального развития древнерусского государства «настала пора и для объективной оценки речи-диссертации... которую мы долгое время игнорировали, делая вид, что её не существует»¹¹⁹.

В формировании в современной науке «объективного подхода» к наследию Миллера, значит, автоматически к наследию Ломоносова, немаловажную роль сыграли работы А.Б. Каменского, вышедшие в 1989–2005 годах. Обрисовав несомненные достижения этого исследователя в области истории, географии, картографии, этнографии, лингвистике, археологии, издательской деятельности, он обратился к дискуссии 1749–1750 гг., в оценке которой, по его заверению, не хватает объективности. И тут же изрёк эту «объективность», давно расписанную норманистами в деталях: что если к решению варяжского вопроса «профессиональный» (но не «придворный») историк Миллер «подходил именно как учёный, а имевшиеся в его распоряжении источники (которые он, кстати, в то время знал лучше Ломоносова) иного решения и не допускали», то для русского академика норманистская трактовка родной истории была неприемлема как антипатриотическая, ибо видел в ней прежде всего аспект политический, связанный с ущемлением русского национального достоинства, и что он, пользуясь высоким покровительством, подчас выдвигал против своего оппонента не столько научные, сколько политические обвинения.

В целом «политическая подоплёка научного спора между учёными предопределила административный характер его завершения: “скарденная диссертация” Миллера была предана огню. Историк был нанесён ощутимый удар, от которого он в полной мере не оправился до конца жизни». Вместе с тем автор вёл речь о глубоко патриотической и вместе с тем объективно ошибочной позиции Ломоносова в споре с Миллером об истории, ибо тот пытался показать всё без изъяна, без прикрас («историк должен казаться без отечества, без веры, без государя... всё, что историк говорит, должно быть строго истинно и никогда не должен он давать повод к возбуждению к себе подозрения к лести». Но эти слова он сказал и в другое время, и по другому поводу и совершенно другому лицу). Ломоносов же выступал, выражая «идеологию охранительства, казённо-

го патриотизма», за создание в истории «запретных зон» (давать неправильную трактовку фактам, событиям, словам — фирменный знак норманистов).

Вместе с тем Каменский, говоря, что образ Ломоносова как «положительного героя», существующий сегодня в научной и научно-популярной литературе, закрывает путь к познанию истины и что его много лет возвеличивали за счёт Миллера, привёл несколько примеров того, как этот «положительный герой» третировал последнего: в ноябре 1748 г. «направил президенту Разумовскому специальный рапорт, в котором обвинил Миллера в нарушении присяги и в том, что он, по сути, совершил предательство» (но это был не частный «спецрапорт» Ломоносова, а официальный документ: рапорт Академической Канцелярии с подробным изложением дела о переписке Миллера с французом Ж.Н. Делилем, покинувшим Россию в 1747 г. и обоснованно подозреваемым в шпионаже в пользу Франции. И он подписан, в порядке очерёдности, всеми членами комиссии, созданной по распоряжению президента Академии наук от 18 октября: И.Д. Шумахером, Г.Н. Тепловым, Я.Я. Штелиным, Х.Н. Винсгеймом, Ф.Г. Штрубе де Пирмонтом, В.К. Тредиаковским и М.В. Ломоносовым, выполнявшим роль секретаря, «которому было поручено “соединить в одно общее мнение” высказывания всех участников следствия»)¹²⁰.

Вот в такой тональности и стали вести разговор по началу разработки ваярского вопроса в России, с невероятной абсолютизацией роли немецких учёных в нашей исторической науке, Т.Н. Джаксон (увидела «в трудах академиков-немцев подлинно академическое отношение к древнейшей русской истории» и говорила о ложно понимаемом патриотизме, на котором густо замешан этот вопрос), М.Б. Некрасова (Ломоносов, конечно, профессиональным историком в сегодняшнем понимании не был и взяться его за перо историка побудили патриотические соображения, «что он противостоял оппонентам, выступавшим во всеоружии достижений западной исторической науки». Но при этом он, что никак не согласовывалось со сказанным и никак не объяснялось, указал на серьёзные недочёты речи Миллера и «первым заглянул в “баснословный” период русской истории и сделал это достаточно профессионально»)¹²¹ и многие другие.

Идя по нарастающей, этот разговор становился всё более жёстким, в ряде случаев агрессивным и всё больше обраставшим ложью с целью развенчания Ломоносова как «положительного героя» и перевода его, в том числе посредством раскручивания старых небылиц и создания новых, в разряд антигероев, следовательно, автоматического наделения высочайшими качествами историков Байера, Миллера, Шлёцера. Например, археолог А.А. Формозов (по характеристике С.П. Щавелева, «правдолюбец» и борец «за русскую культуру, за гуманизм, за научную истину»¹²²) уверял, что Миллер-историк — это «специалист высокого класса», который перенёс много тягот (например, конфликт с П.Н. Крекшиным, причём автор не пояснил, ибо данный факт не вписывается в его антиломоносовскую концепцию, что Ломоносов тогда поддержал не русского Крекшина, а немца Миллера), что Шлёцер способствовал изданию «Древней Российской истории» Ломоносова (и это не соответствует действительности: в набор её новый вариант автор сдал в феврале 1763 г., а в марте

Академическая Канцелярия определила печатать книгу «с крайнею поспешностию». 11 сентября 1766 г. академики приняли решение выпустить в свет уже отпечатанный первый том труда покойного коллеги с добавлением предисловия, написание которого было поручено Шлёцеру. 15 сентября тот представил краткое предисловие на немецком языке, переведённое затем на русский язык).

Рассуждая о дискуссии по речи Миллера (и утверждая, опять-таки в силу слабого знания известных фактов, что она была подготовлена в 1747 г. и что для её разбора Шумахер назначил в 1747–1750 гг. ряд комиссий, тогда как она, а это совсем уж хрестоматийное, была написана в 1749 г. и обсуждалась в октябре 1749 — марте 1750 г., и потому к ней никакого отношения не имел обыск у Миллера, который состоялся в октябре 1748 г. по делу его переписки с астрономом Ж.Н. Делилем), Формозов намеренно представил Ломоносова единственным её ниспровергателем, стремившимся скомпрометировать противника с политической стороны, подвёл читателя к выводу, что именно по его настоянию был уничтожен её тираж, а Миллер переведён из профессоров в адъюнкты. После чего добавил, что борьбу с ним Ломоносов продолжал до конца своих дней, выступая, например, против напечатания его «Истории Сибири» (хотя среди неутомимых в преследовании историографа, затягивавших издание этого сочинения, П.П. Пекарский и С.М. Соловьёв называли И.Д. Шумахера и Г.Н. Теплова, а не Ломоносова. Недавно и Ю.Х. Копелевич отметила, что во многом немец Шумахер замедлял работу Миллера над «Историей Сибири»).

Полностью принимая оценку, которую дал В.Г. Белинский историческим воззрениям Ломоносова и которую поддержали С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, Н.Г. Чернышевский, Г.В. Плеханов, а в советские годы один только Н.Л. Рубинштейн, Формозов подытоживал, что он, хотя и интересовался родной историей «с юных лет, немало читал по этой теме, но никогда не занимался в архивах, как Миллер, не анализировал первоисточники, как Шлёцер», что методами критики источников, выработанными уже к этому времени за рубежом, Ломоносов не владел, что в целом представления русского учёного «о начале русской истории отвечали уровню полуучёных-полудилетантских изысканий его времени. Всё это давно пройденный этап в развитии науки». Его же «Древняя Российская история», написанная по желанию императрицы Елизаветы, отличавшейся «редким невежеством», представляет собой панегирическую речь с двумя заранее заданными тезисами: глубокая древность россиян и громкие успехи их князей и царей¹²³ (В.О. Ключевский, стоит в данном случае заметить, характеризовал «дщерь Петрову» коротко и ёмко как «умная»¹²⁴).

С.С. Илизаров, видя в Миллере «первопроходца русской исторической и географической наук», кредо которого «быть верным истине, беспристрастным и скромным», подчёркивал, что он, будучи человеком доброжелательным, гордым и самолюбивым, никогда не выступал зачинщиком ссор, хотя у него довольно рано сложились напряжённые отношения с коллегами по Академии наук, в том числе Ломоносовым (опять-таки хорошо известно, что Миллер, как отмечал А.Л. Шлёцер, отличался необыкновенной вспыльчивостью, в связи с чем часто бывал инициатором громких скандалов в Академии. И П.П. Пекарский констатировал, что Миллер, по современным отзывам, не обладал сдер-

жанностью и уступчивостью. Г.А. Князев также говорил о его резком, вспыльчивом и неуживчивом характере, и что «своей запальчивостью он нажил себе много врагов и среди академиков, и среди подчинённых, к которым Миллер был весьма взыскателен, требователен, суров и, вероятно, груб»). Апофеозом же гонений на Миллера стало обсуждение в 1749–1750 гг. его речи, следствием чего «явилось беспрецедентное разжалование историографа из академиков в адъюнкты с очень сильным сокращением жалования»¹²⁵.

Т.А. Володина, вновь провозгласив неувядаемый тезис норманистов, что внимательное и непредвзятое «изучение источников неизбежно приводит к пересмотру традиционных оценок» Ломоносова, свой пересмотр ожидаемо свела к давно известному. А именно: что «злосчастный» Миллер попадал из одной передрыги в другую, в том числе и «за недостаток патриотизма и “скарёдное поношение” России в его диссертации», что официальный бард в елизаветинское время и знаменитый автор од и похвальных слов Ломоносов, которым «владела пламенная страсть, которую можно выразить в одном слове — Россия. Она подвигла его ввязаться в драку с Миллером и серьёзно заняться изучением российской истории», что он «был слишком увлечён своим национально-патриотическим чувством, чтобы холодно взвешивать факты на весах исторической критики», что он писал с национальным пафосом и под воздействием «гипертрофированного национального воодушевления». Портрет Ломоносова-патриота дополнял любимый норманистами мазок: широта и размах ломоносовской натуры, вносившие «в чинные заседания академической Конференции привкус хмельного ушкуйничества, наряду с научными заслугами подкреплялись и высокими связями академика» (благодарность к нему И.И. Шувалова и императрицы Елизаветы), в силу которых им был получен «чин коллежского, а позднее и статского советника, хотя академиком чины не полагались».

(Действительно, не полагались, т. к. Табель о рангах появился до учреждения Академии наук, но при этом у ряда академиков — у некоторых намного раньше Ломоносова — имелись чины, например, у Х. Гольдбаха, Я.Я. Штелина, Ф.У.Т. Эпинуса. Причём до произведения Ломоносова — «за его отличное в науках искусство» — в коллежские советники в 1751 г., что сразу же переводило его в VI класс, дающий право на потомственное дворянство и присутствие на дворцовых приёмах, т. е. коренным образом изменяло его общественное, служебное и имущественное положение, он формально продолжал считаться черносотным крестьянином. Да и Миллер имел те же самые чины, что и Ломоносов: чина коллежского советника он добивался с 1753 года. В конечном итоге его многолетние хлопоты, а в них нет ничего предосудительного, ибо в сословном обществе член Академии наук без ранга выпадал, справедливо замечает М.И. Фундаминский, из иерархической системы, т. е. имел весьма низкий социальный статус, увенчались успехом: в 1765 г. он получил чин коллежского советника, а в 1783 г. ему был пожалован чин действительного статского советника. Нельзя порицать Миллера и за то, а этот факт также не бросает тени на его научные занятия, что перед своей кончиной он выхлопотал себе орден Св. Владимира 3-й степени. Нельзя порицать и Шлёцера, который в 1803 г. был награждён, выпросив эту милость у Александра I тем же орденом, только

4-й степени, также позволившим ему получить дворянское достоинство Российской империи и чин надворного советника. К тому же, следует напомнить, Шлёцеру покровительствовала императрица Екатерина II, и что лишь благодаря ей он и стал академиком, а не был, как это полагалось, избран академиками).

Володина, стараясь ещё больше увеличить расстояние, отделяющее Ломоносова от науки истории, утверждала, что положения, высказанные им в ходе дискуссии с Миллером, содержали много наивного (например, произведение россиян от роксолан), что он «с гордостью заявляет, что не потерпит ничего оскорбительного в русской истории» (но такие слова им нигде и никогда не произносились), что, стремясь доказать величие и автохтонность славянского народа, «прибегает к построениям, из которых видно, что Ломоносов остался глух ко всем возражениям Миллера, упорствуя в стремлении “удревнить” российскую историю», что в том же духе он «блестяще» разбил норманизм, ибо «само слово “норманны” просто ни разу не упоминается в “Кратком Российском летописце”» (однако это слово там присутствует в §1, как присутствует оно и в «Древней Российской истории», да и иные, конечно, были аргументы у русского учёного, не оставившего никаких шансов норманизму, реанимированному в нашей науке Шлёцером), что его вывод варяжской руси из Пруссии связан, говорилось по С.Л. Пештичу, но без ссылки на него, с внешнеполитической ситуацией: в ходе Семилетней войны Восточная Пруссия была занята российскими войсками.

Сводя аргументацию Ломоносова, прозвучавшую в ходе дискуссии, лишь к его патриотической экзальтированности, Володина подчёркивает, выражая, как это повелось задолго до неё, отрицательное отношение к учёному посредством также лексики, что «в патриотической запальчивости он не особенно считался со средствами, доказывая величие российского народа», поэтому «сколько яду и даже политического доноительства содержится в его напаках на Г.З. Байера и Миллера, усомнившихся в подлинности легенды об Андрее Первозванном» (но как Ломоносов мог «доносить» в 1749 г. на Байера, если тот умер в 1738 г.), и что он в отношении Миллера прямо намекал на политическую опасность и вредность его научных изысканий, хотя должен был чувствовать, «что прибегает здесь к запрещённому приёму, но слишком велика была его страсть и стремление доказать... всему миру не только равенство, но и первенство России в прошлом и настоящем». Говоря об авторитетности и значимости «Краткого Российского летописца», Володина видит в нём имперско-националистический тип интерпретации российской истории — «ломоносовский». И противопоставляет ему рационально-критический подход — «Шлёцеровский», главной задачей которого являлось избавление от «баснословия» и опора на факты, установленные в результате научной критики источников и здравого смысла¹²⁶ (о полемике Ломоносова с Байером в 1749 г., как уже отмечалось, ведут речь и другие норманисты¹²⁷).

О высоком градусе антиломоносовского настроения нашей науки конца прошлого — начала текущего столетия свидетельствует такой ещё факт, что очернительством Ломоносова-историка энергично занялись негуманитарии. Э.П. Карпеев (кандидат технических наук, в 1993–2002 гг. стоял во главе музея

М.В. Ломоносова) в книге «Ломоносов. Краткий энциклопедический словарь» (вышла в 1999, переиздана в 2009) доносил до читателя, что он «начал занятия историей не как историк-профессионал, а как русский патриот, поэтому и задачи, которые ставил перед собой, были патриотическими», и что такие задачи определили его метод изложения истории. Создавая же «психологический портрет» Ломоносова (в 1999 г. он был опубликован ещё и в академическом журнале «Вопросы истории естествознания и техники»), автор не смог пройти мимо темы, без которой наш гений словно и не русский и на которой норманисты стараются заикнуть внимание читателя: во время учёбы в Москве ему приходилось жить «в углах, с дворовыми людьми, с которыми тоже не могло быть общих интересов, кроме, пожалуй, исподволь приобретённой под их влиянием склонности к “зелёному змию”»¹²⁸.

Ложь всегда разбивается о факты. Хорошо известны слова Ломоносова, сказанные в мае 1753 г. в письме И.И. Шувалову: обучаясь в Славяно-греко-латинской академии (1731–1735), «имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели». И одно из таких «пресильных стремлений» — это, как было подчёркнуто с непрошедшей горечью, передающей степень всех тогдашних мытарств взрослого уже человека, «несказанная бедность: имея один алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумаги, на обувь и другие нужды (включая и съём «углов». — В.Ф.)»¹²⁹. И выжить в таких условиях, приносящих тяжелейшие физические и душевные страдания, когда месяцами задерживали мизерное жалование (что заставляло подрабатывать, обучать, например, детей священника), выжить вдали от отчего дома, без поддержки родных, да ещё при склонности к «зелёному змию», что означало быстро спиться и пропасть, было невозможно.

Всякого рода карпеевым, специально клеветующим на Ломоносова, надо напомнить, что при склонности к алкоголю Ломоносов вряд бы так блестяще учился в Славяно-греко-латинской академии (прохождение её полного курса было рассчитано на 13 лет, само же обучение было разделено на восемь классов). Причём первые три нижних класса академии закончить, с выдержкой экзаменов, за один только 1731 год. Зачисленный 15 января он с такой жадностью, по словам его коллеги и друга Я.Я. Штелина, «набирался сведений», что уже в конце марта был переведён во второй класс, 15 июля — в третий (т. е. «он уже освоился, — подчёркивает А.А. Морозов, — с начальной латынью и мог приступить к более основательному изучению латинской грамматики»), в конце декабря — в четвёртый. А 1 сентября 1732 г. «уже перешёл в первый средний класс — пиитику, употребив таким образом на прохождение наук в младших “школах” вместо минимально положенных четырёх лет всего полтора года» (тогда как, отмечает С.К. Смирнов, «ученики мало даровитые и ленивые сидели по несколько лет в одном классе»: по четыре и более).

Да при этом за три года так «перелопатить» библиотеку академии, располагавшую отличным книжным фондом для занятий почти всеми гуманитарными науками, в особенности филологией и историей (и которая только в начале 1732 г. пополнилась, по завещанию архиепископа Гавриила Бужинского, раз-

ноязычными 385 книгами), что она, как записано в академической биографии Ломоносова, уже «не могла насытить жадности его к наукам». В связи с чем он отпросился учиться в Киево-Могилянскую духовную академию, пешком проделал далёкий путь (протяжённостью в оба конца более полутора тысячи километров) и в «мати градом Русьским» также без усталы работал в богатейших книжных фондах. В конечном итоге Ломоносов, ученик предпоследнего класса «философии» академии, оказался в числе «в науках достойных» 12 её воспитанников, которые, согласно указу Сената от 30 сентября 1735 г., в декабре были отправлены на учёбу в Петербургскую Академию наук¹³⁰.

В 1999 г. вышла книга доктора геолого-минералогических наук С.И. Романовского, в которой он, представляя себя в качестве борца с «демагогическим псевдопатриотизмом» советского ломоносововедения, «непредвзято» (а по этому слогу сразу узнаёшь норманиста) и «без ненужной патриотической возторженности» (потому как русский патриотизм есть «фанаберия», «коллективная мания величия»), в самой резко отрицательной и развязной форме отозвался о Ломоносове-историке и учёном вообще («его имя сохранилось лишь в истории нашей национальной науки. История же мировой науки вполне может обойтись без него». Однако не обошлась: в 1912 г. американский историк науки Г. Сартон говорил, что наш соотечественник «действительно, является предшественником Лавуазье со всех точек зрения» и что он предугадывал законы сохранения материи и движения).

И если Ломоносов — это патриот «своего отечества и охраняет его от “вредной” информации», и история для него есть наука партийная, поэтому он и «отталкивался от целесообразности; аргументация же его носила не столько научный, сколько политический характер, за “правдой” он апеллировал не к учёным, а к своим покровителям», то Миллер — «прежде всего учёный, и для него ничего, кроме истины, не существует», поэтому он опирался только на факты. Дополнительно норманист от геологии повествовал, что заносчивый и самолюбивый Ломоносов с неудобоваримым нравом «позволял себе многое, вовсе не совместимое с его учёными занятиями... Он мог, например, явиться на заседание Академии наук “в сильном подпитии”, мог затеять драку в стенах Академии, мог оскорбить и унижить человека». Ссылаясь на А.Б. Каменского (впрочем, его выводами только и руководствуясь), указал, что Ломоносов, понимая патриотизм учёного, мягко сказать, весьма своеобразно, направил президенту Академии наук «“доносительную докладную” на Миллера, обвинив — ни много, ни мало — в “политической неблагонадёжности”», и что он вообще не гнушался «писать на Миллера доносы и в высшие сферы, наклеивая на него ярлык “антипатриота”»¹³¹ (но у Ломоносова нет такого «ярлыка», да и слов «патриот»-«антипатриот» его время не знало).

Антиломоносовский настрой норманистов возрастал по мере приближения и празднования 300-летних юбилеев со дня рождения Миллера (1705) и Ломоносова (1711), 1150-летия Великого Новгорода (2009) и 1150-летия зарождения российской государственности (2012). С каким-то неистовством (можно сказать, ненавистью) обрушился в 2003 г. (повторив многое в 2009) на Ломоносова К.А. Писаренко. Создавая самый негативный фон к разговору о нём как че-

ловеке и как историке и используя при этом, наверное, весь набор печатных грубых слов, он изобразил великого Ломоносова (внёсшего, по В.О. Ключевскому, «первое русское и очень крупное имя в историю европейского научного знания») в качестве «хама и скандалиста», «нахала», «грубияна», «драчуна», «человека дурного», «дебошира», «наглеца», «выскочки», пьяного кутилы: он злоупотреблял алкоголем, «прикладывался к вину и водке у себя дома или в ближайшем трактире», с утра поднимал «настроение кружкой-другой спиртного».

И этот, как в изобилии лились оскорбления, «ленивый студент», «непутёвый адъюнкты», «беспутный гений», «невоспитанный мужик», имевший слишком взбалмошный, скверный, «воинственно-бешеный» характер и не обладавший внутренним благородством («ему ничего не стоило по любому поводу обматерить человека или ударить кулаком в лицо»), старался посильнее оскорбить и унижить ненавистных немцев, «часто нарочно приходил на Конференцию на веселе. Скандалил, ругался и угрожал побить академиков при первом же удобном случае». Однако ему всё сходило с рук, благодаря протекции Шумахера, который помог «этому неотёсанному, но подающему надежды мужику выбиться в русские профессора», но архангельский мужик предал его¹³².

Писаренко, с садистским наслаждением втаптывавший в грязь величайшую гордость и славу России, символ исполинских возможностей русского народа, шёл дорогой, проторённой норманистами, на протяжении уже более двух столетий настойчиво дискредитирующих Ломоносова (в ряде случаев, по причине его именно русского происхождения) и с этой целью искажающих факты. Точно так действует бесцеремонный «ломоносовед», попутно щедро делясь разными выдумками. Факты же показывают, что правитель Академической Канцелярии И.Д. Шумахер семь месяцев не зачислял своего, по Писаренко, «протезе» в штат Академии и лишь только 8 января 1742 г. наложил на его прошение на имя императрицы о принятии на службу в Академию резолюцию: «Быть ему, Ломоносову, адъюнктом физического класса» (причём это прошение было не первым). Хотя Ломоносов имел полное право претендовать на иную должность. Потому, как им было подчёркнуто в том же прошении, он был послан «в Марбургский университет для научения математики и философий с таким обнадежением, что ежели я, нижайший, мне указанные науки приму, то определить меня, нижайшего, здесь экстраординарным профессором».

И желание Ломоносова, пребывавшего в статусе малообеспеченного студента Академии наук уже шесть лет, получить должность профессора имело под собой все основания. Как пояснял 5 марта 1736 г. в докладной Кабинету министров тогдашний президент Академии И.А. Корф о посылке на учёбу в Германию «советника Берг-Коллегии сына» Г.У. Райзера, «поповича» Д.И. Виноградова и «крестьянского сына» Ломоносова, «для большего помянутых людей к прилежности поощрения можно таким образом снабдить, что ежели они в означенных науках совершены будут, пробы своего искусства покажут и о том надлежащее свидетельство получают, то по возвращении своём в профессора экстраординарные удостоены». Все перечисленные Корфом условия Ломоносовым были с избытком выполнены, на что он и указал в прошении, но их проигнорировал именно Шумахер, полномостный хозяин Академии наук. Тот же

Шумахер затем усиленно противился назначению Ломоносова профессором. 30 апреля 1745 г. Ломоносов пишет на имя императрицы прошение о назначении профессором химии, что, наконец, дало ход делу. Причём в мае он прямо сказал Шумахеру, продолжавшему препятствовать его законному повышению по службе: «В самом деле, вам принесёт более чести, если я достигну своей цели при помощи вашего ходатайства, чем если это произойдёт каким-либо другим путём». Как вспоминал в конце 1750-х гг. наш гений, «Шумахер неоднократно так отзывался: я-де великую прошибку в политике своей сделал, что допустил Ломоносова в профессоры»¹³³.

В 2004–2006 гг. А.А. Формозов вновь затронул, усиливая ранее сказанное, тему «Ломоносов и Миллер». Согласно ему, немцы являлись «кастовыми специалистами», несущими в Россию строгую науку. В связи с чем Миллер, опиравшийся на критику источников, «был обвинён в политических ошибках, понижен в чине (из академиков в адъюнкты) и переведён из Петербурга в Москву» (однако его понижение в чине состоялось в октябре 1750 г., а решение о переезде в первопрестольную, где он был назначен, с чином коллежского советника, главным надзирателем в недавно учреждённом Воспитательном доме, но вскоре стал руководить архивом Коллегии иностранных дел, было принято Екатериной II 1 января 1765 г., т. е. более 14 лет спустя после перевода учёного в адъюнкты и без малейшей связи с ним. Причём всё было сделано по согласию с Миллером и с его «оставлением при Академии в звании историографа»).

Ломоносов же есть «дипломированный функционер», готовый «превратить историческую науку в служанку государства, не сознавая, видимо, что в таком случае о науке как таковой говорить не приходится» (для него история являлась разновидностью риторики, обслуживающей «заранее заданные тезисы о величии и древности предков русского народа»), что он «горой стоял за “Синописис”», наполненный нелепицей, и что для него «характерна старая донаучная манера составления истории». Какое-то болезненно-радостное выискивание Формозовым зловерностей, если вспомнить оценку С.М. Соловьёва, «отца русской науки», закончилось выводом, что «идея обслуживания наукой политических лозунгов — функционерства, — выдвинутая Ломоносовым, была чревата большими опасностями для дальнейшего развития русской археологии. К счастью, провести в жизнь эту программу тогда не удалось» (в 1995 г. археолог был удовлетворён тем, что Ломоносов «не смог подарить народу ни полноценный научный труд о прошлом России, ни новый вариант мифа, приемлемый для массового читателя»)¹³⁴.

В 2005 г. вышел каталог выставки «От Рейна до Камчатки. К 300-летию со дня рождения академика Г.Ф. Миллера», неверно подающий ряд важных фактов из его жизни (да и до Камчатки он не доехал, что станет в октябре 1750 г. одной из причин, по которой состоится его перевод в адъюнкты). Так, например, В.П. Козлов утверждал, что в Россию Миллер прибыл не для ловли чинов и благополучия» (хотя будущий историограф прибыл в наше Отечество именно для этого, ибо сам пишет, что хотел породниться с И.Д. Шумахером посредством женитьбы на его дочери, к которой заочно «воспылал» чувствами, и унаследовать его должность). А говоря о мечте Миллера написать полную российскую

историю, Козлов резюмировал, что он стал заложником своего происхождения и что российские реалии второй половины XVIII в. обрекли индивидуальный научный проект учёного на провал.

(Но в деле реализации этой мечты ему никто не препятствовал, и учёный в меру своих возможностей её старался осуществить. Однако, как констатировал благожелательно относившийся к нему С.Л. Пештич, «в результате 50-летних занятий по русской истории... не смог составить полного обзора её, мало-мальски завершённого или оформленного». Поэтому, когда И.М. Штриттер/И.Г. Стриттер приступил к написанию учебника по истории для школ, «то, ознакомившись с материалами литературного наследства Миллера, хранящегося в известных “миллеровских портфелях”, не нашёл почти ничего, что могло бы ему пригодиться для составления учебного руководства». «Удивительно однакож, — не скрывая недоумения, писал Штриттер 9 ноября 1783 г. академику Я.Я. Штелину, — что покойный историограф, кроме своих исторических таблиц (т. е. родословных — *В.Ф.*), ничего не оставил обработанного по русской истории. Поэтому я сам собираю материалы из летописей»).

В том же каталоге Н. Охотина-Линд уверяла, что многие сочинения Миллера «не имели больших шансов увидеть свет при жизни автора: политизированный взгляд на науку, царивший в те годы в Академии, не был в состоянии принять и признать строго научный, беспристрастный метод работы Миллера, постоянно подвергавшегося всевозможным идеологическим нападкам»¹³⁵ (но все исторические работы Миллера выходили именно при его жизни на русском и немецком языках¹³⁶. А если что-то и не вышло, то это лишь потому, что Академии не по силам было тогда всё издать. Так, и многие труды Ломоносова, особенно по химии и географии, отмечает Г.М. Коровин, «остались неопубликованными и, следовательно, неизвестными даже специалистам»¹³⁷).

В юбилейном для Миллера 2005 г. состоялись конференции, на которых конечно, не могли обойти вниманием ни его «диссертацию», ни отношения к нему Ломоносова. Так, например, А.Ю. Дворниченко подчёркивал, что никаких норманистских «заблуждений» у Миллера не было, а была научная гипотеза, на которую каждый учёный имеет полное право» (хотя чуть ранее он сказал, что «надуманность» норманской теории бросается в глаза). Г.А. Тишкин и А.С. Крымская повторили за Т.А. Володиной, что Миллера притягивали к ответу «за недостаток патриотизма и “скарёдное поношение” России в его диссертации». Затем, ссылаясь уже на А.Б. Каменского, заключили, что «концепция Миллера, основанная на тщательном изучении источников, выглядела убедительнее, чем эмоциональные, патриотические заявления Ломоносова» (при этом они почему-то характеризуют Миллера, возглавлявшего университет при Академии наук, как «ректор Санкт-Петербургского университета», хотя тот был основан лишь в 1819 г. (и по проекту Ломоносова) на базе Главного педагогического института. А само написание речи-«диссертации» отнесли к 1750 г.: Миллер, оставив пост ректора, «посвятил себя истории. Теперь он увлёкся русской древностью» и подготовил это сочинение)¹³⁸.

Показательно, что 300-летний юбилей Миллера Э.П. Карпеев ознаменовал похоронами «мифа о Ломоносове», созданного после Великой Отечественной

войны для пропаганды «идеи превосходства всего русского над иностранным» (но «забыв» сказать, как он сам в 1986–1989 гг., не жалея чернил и бумаги, воспевал, получая неплохие гонорары, русского гения). К числу мифических «открытий» и достижений, приписанных тогда Ломоносову и льстивших национальному тщеславию, автор отнёс и тезис, что он якобы разгромил норманизм: его «задевало, что о происхождении российского народа и этнонима “Русь” взялся судить иностранный учёный, у которого отсутствуют патриотические побуждения и который свои выводы основывает на “Повести временных лет”, где, по мнению Ломоносова, имеются “досадительные” вставки, которые, считал он, не соответствуют действительности». Но Ломоносов нигде вообще не говорит о вставках в ПВЛ, да и Миллер свои выводы основывал на исландских сагах, «Деяниях данов» Саксона Грамматика и на «вымыслах», как сам затем сказал, шведа О. Далина. И только в шести случаях он сослался на ПВЛ, причём используя её лишь в качестве иллюстрации к своим выдумкам. Карпеев-«технар», ставя крест на Ломоносове-историке, заключил, что в проявлениях антинорманизма главную роль играла политическая, идеологическая позиция авторов. А с чьих позиций этот самозванный историк, собственно, смотрел на варяго-русский вопрос, видно из его слов, что выводам Байера о норманстве варягов доверял первый серьёзный отечественный историк В.Н. Татищев¹³⁹.

В 2004–2006 гг. А.В. Головнёв представил Ломоносова в качестве человека, наметившего северную перспективу в истории России, но вместе с тем, как антинорманист, и пресёкшего её, т. к. лишил ключевого звена — участия северных германцев, т. е. норманнов. И проиллюстрировал сказанное его реакцией на «диссертацию» Миллера, в которой тот «с убийственной педантичностью обнажил священные таинства русской истории», заявив о германских корнях россов (варягов). Как в целом завершал автор свои рассуждения, Ломоносов, ополчившись на «норманизм», «выразил стихийный бунт русского народа против собственной истории», «отверг установленную Миллером связь имени “русь” с финским названием шведов “россалейна”», и что «едва ли российская наука помнит иной пример столь тягостной защиты диссертации. Историк Миллер понёс наказание за несвоевременное знание»¹⁴⁰ (но ни диссертации, ни её «защиты» в современном понимании не было, а проходило, согласно академическим правилам, обсуждение сочинения члена Академии, от чего был освобождён указом Екатерины II лишь Шлёцер).

В 2007 г. В.В. Пузанов изъяснялся языком ультраантинорманистов первой половины XIX в.: что варяжская легенда говорит «о норманском происхождении варягов, руссов и родоначальников русской княжеской династии», что эту информацию подтверждают многие другие отечественные и зарубежные источники и что на основании их показаний первые норманисты, признав скандинавское происхождение Рюрика с братьями, логично пришли к выводу о норманском происхождении Русского государства. Ведя речь о дискуссии 1749–1750 гг., он уверял, что «тогда впервые в научный спор вмешались политические соображения и оскорблённое национальное достоинство русских» и что реакция на «диссертацию» Миллера «была излишне болезненной, даже если признать некорректными отдельные положения и выводы автора. Сыграли свою весомую

роль и не вполне зрелое национальное самосознание русских, и младенческое состояние отечественной исторической науки»¹⁴¹. В 2007–2011 гг. В.Я. Петрухин, полностью разделяя «уничтожительную, но справедливую характеристику», данную Ломоносову как историку В.Г. Белинским, представил его в качестве адепта донаучной «средневековой этимологической конструкции (М. Стрыйковский и др.)», отождествлявшей по созвучию варягов и полабское племя вагров (однако Ломоносов вообще не упоминает последних, и только раз у него в «Древней Российской истории» названа Вагрия, да и варягов-русь он выводит не из Вагрии и от вагров), а Байера как «основателя российской научной историографии»¹⁴².

В 2009–2010 гг. Л.С. Клейн, подчёркивая, что обладавшие солидными знаниями, добросовестностью и трудолюбием Байер, Миллер и Шлёцер создали норманскую теорию (в том числе с опорой на показания летописи, тем самым открыв значительное участие скандинавских германцев в создании русского государства), резюмировал: их заслуги перед русской наукой бесспорны. Причём заслуги Миллера вообще «колоссальны», «но при жизни они не признавались, а после смерти, особенно в XX в., имя его чернилось и усиленно предавалось забвению». Параллельно с тем Клейн много говорил о безосновательных «крикливых ультрапатриотических эскападах» Ломоносова, о ставшей уже практически общим мнением низкой оценке его трудов, что он, как «страстный патриот и универсальный учёный», первым поднял, не стесняясь в выражениях, голос против норманистских построений Миллера. При этом не скрывая, «что выступает не только против сомнительных научных построений, выдаваемых за непреложные истины, но и против оскорбления патриотических чувств» (но в таком случае выходит, что подобная мотивация была у академиков-немцев И.Э. Фишера и Ф.Г. Штрубе де Пирмонта, также давших «диссертации» Миллера отрицательную оценку). Поэтому, стремясь парализовать противника, Ломоносов «использовал в борьбе не только научные опровержения, но чисто политические обвинения».

Дополнительно Клейн антимиллеровский настрой Ломоносова объяснял тем, что в первой половине 1743 г. академики, «выведенные из терпения пьяными загулами и буянством академика Ломоносова» (хотя не было ни того, ни другого, да и академиком он стал лишь летом 1745 г.), жаловались на него императрице. А только что вернувшийся из Сибири Миллер «принимал деятельное участие в наказании Ломоносова. Ломоносов объявил, что никогда не простит ему этого участия» (показательно, что при изложении дела Крекшина против Миллера Клейн, также, как и Формозов, и по той же причине не называет Ломоносова в числе тех, кто спас немецкого учёного от самого серьёзного наказания и тем самым сберёг его для науки, ибо дело это, взятое под контроль Сенатом, касалось происхождения правящей династии).

Изгоняя Ломоносова из числа историков, Клейн уверял, что «современная наука признаёт: Михаил Ломоносов, выдающийся естествоиспытатель, был предвзятым и потому никудышным историком, стремился подладить историю к политике и карьерным соображениям, и в их споре был, несмотря на частные ошибки, несомненно, кругом прав Миллер». Ибо историограф, при-

верженный фактам, «подошёл к своей задаче со всей серьёзностью историка. ... Он использовал летописную легенду о призвании варягов и все доступные ему данные об участии варягов (норманнов) в создании русского государства и о северном, скандинавском происхождении имени “русь”. Тогда как русский учёный черпал свои знания из Синописа и не работал с летописями (выше приведён перечень летописей, которые он изучал и из которых сам Клейн листал, наверное, только ПВЛ. В 2011 г. В.П. Леонов и Е.А. Савельева, обратившись к фондам Библиотеки Академии наук, отметили, что им «было изучено 14 летописей и летописцев, пять Степенных книг... шесть разрядных и родословных книг, два жития, два хронографа», и что особенно тщательно он проработал Радзивилловскую летопись и готовил её к публикации). Отсюда, по Клейну, некоторые аргументы Ломоносова «совсем плохо вязались с фактами, даже если судить с точки зрения требований науки того времени. И Миллер умело воспользовался этим». Причём если он осуществлял кредо «быть верным истине, беспристрастным и скромным», то Ломоносов «искал в истории прежде всего основу для патриотических настроений и полагал, что русскую историю должен излагать “природный россиянин”».

(В ходе дискуссии таких слов академик не произносил. Но спустя почти 15 лет сказал в проекте регламента Академии наук, написанном не позднее марта 1765 г., т. е. незадолго до смерти, что, во-первых, в §13 — «когда будет довольство учёных людей, тогда... академики и адъюнкты быть должны природные россияне по доброму примеру Парижской академии, где все академики — природные французы». Во-вторых, в §33 — чтобы историограф был «природный россиянин» и «не был склонен в своих исторических сочинениях ко шпынству и посмеянию». В-третьих, стоит указать, в §36 регламента Петербургской Академии наук 1747 г., составленного немцем Шумахером и русским Тепловым, подчёркивалось, «что за первый случай учреждение» Академического собрания «не может быть сочинено иначе, как из иностранных по большей части людей; а впредь должно оно состоять из природных российских», а в §13 отмечалось, что адъюнктами надлежит назначать по возможности русских. В конце 1750-х гг. Ломоносов заметил, что если Академия и впредь будет «состоять по большей части из иностранных», то получается, что «природные россияне к тому неспособны». По оценке С.М. Соловьёва, он был «неутомимым провозгласителем» мысли, «что всё в России должно существовать для русских, для развития русских сил, каждое учреждение должно как можно скорее наполниться русскими деятелями и снабжать ими другие, младшие учреждения»).

Клейн, утверждая, что Ломоносов и его приспешники трактовали речь Миллера как зловерный выпад против славян и «сформировали жупел норманизма (но термин «норманизм» в русской науке появился только в XIX в. — В.Ф.), продержавшийся более двух веков», резюмировал: учёный «был лишён профессорского звания, а “диссертация” его не допущена к публикации. Он был уволен и с поста ректора. Таким образом, первый ректор первого русского университета был удалён со своего поста за норманизм» (но «диссертация» ещё до её обсуждения была опубликована очень большим по тем временам тиражом, а с должности ректора Академического университета Миллер был уво-

лен, что подробно излагает П.П. Пекарский, без какой-либо связи с «диссертацией». И, разумеется, нет в указе президента Академии наук Разумовского среди обвинений «Миллера в ряде грехов» такого греха, как утверждал Клейн, что он «позорит Россию!»).

В целом же, как подводил черту, по собственной характеристике, «объективно-мыслящий» археолог, что «нынче защиты диссертаций стали куда короче и гораздо спокойнее. Но и в те времена случай был всё же из ряда вон выходящий», и что нам теперь издалека очень хорошо видно, что Байер, Миллер, Шлёцер «блюли пользу науки, а Ломоносов мешал ей»¹⁴³ (и так сказано про одного из создателей русской науки, в том числе исторической, про одного из основателей Московского университета, в котором он вводил, следует заметить, должность профессора истории, и по проекту которого был открыт Санкт-Петербургский университет, про выдающегося учёного, заслуги которого чтит мировая наука, и который, по точным словам академика Я.К. Грота, искал «истины, любя выше всего науку». При этом всемерно заботясь о подготовке отечественных научных кадров, убеждая, например, в 1754 г. конференц-секретаря Академии Г.Ф. Миллера в необходимости приглашения немецких профессоров, имевших прежде всего опыт — многолетний и успешный — чтения лекций студентам: «Правда, что в Академии надобен человек, который изобретать умеет, но ещё более надобен, кто учить мастер»¹⁴⁴).

В 2010 г. С.И. Маловичко в привычном для норманистов ключе рассуждал, апеллируя, в нарушение принципа историзма, ко многим историческим сочинениям Миллера, вышедшим в том числе уже после смерти Ломоносова, что нет никаких данных в пользу того, «что Ломоносов “тщательно изучал источники русской истории, в частности, летописи”» (т. е. очередной «ломоносовед» не потрудился ознакомиться с трудами ни учёного, ни Г.Н. Моисеевой), что он исходил из «полезности» сообщений источника «для конструирования положительного исторического образа России», защищал «свою источниковую базу голословным патриотизмом» и не старался отличить исторические источники от исторических сочинений. Тогда как Миллер делал попытку провести различие между ними, «применял приёмы критики источников», отдавал «предпочтение, например, летописи Нестора, нежели более позднему сочинению московской поры», стремился «избегать всего того, что ни по каким историческим известиям доказано быть не может». Весьма ожидаем и главный вывод Маловичко: «Но если в историографической культуре, которую представлял Ломоносов, социальные функции историописания доминировали над научными, то историографическая культура, носителем которой являлся Миллер, признавала приоритет научной функции перед социальной»¹⁴⁵.

В 2010 г. Е.В. Пчелов тиражировал в серии «ЖЗЛ» мысль, что Байер, Миллер и Шлёцер «действительно были учёными в полном смысле этого слова, обладавшими хорошей профессиональной подготовкой в области истории и филологии». Отмечая, что «именно работа “О варягах” считается первым трудом, с которого начался в России научный “норманизм”», автор резюмировал: «Байер показал себя настоящим учёным-историком, применившим к решению проблемы о том, кем были варяги, источниковедческий подход. По сути, именно

он очертил основной круг исторических источников раннего Средневековья (по дальнейшему уточнению, и летописи. — В.Ф.), опираясь на данные которых можно было предложить аргументированную версию» и что все дальнейшие исследования варяжского вопроса «основывались на том комплексе данных, который был им собран и представлен в этой статье».

Рассуждая о «диссертации» Миллера, Пчелов уверял, что имена первых русских князей и послов, «русские» названия днепровских порогов, приводимые им в качестве доказательства скандинавства варягов, действительно имеют скандинавскую этимологию. По его мнению, Шлёцер, поставив задачу воссоздания истинного Нестора (однако эта задача была отвергнута в XIX в. как антинаучная), по сути, стал основоположником научного изучения русских летописей, что в варягах он, вслед за Байером и Миллером, «видел конечно же скандинавов, причём эта мысль была облечена им в самую крайнюю форму», поставив тем самым под удар всю «норманистскую» аргументацию, и что он «великолепно уловил и основное направление будущих околонорманистских споров и блестяще выразил их суть: “Худо понимаемая любовь к отечеству подавляет всякое критическое и беспристрастное обрабатывание истории...”».

Говоря, что гениальный Ломоносов оставил яркий след в отечественной исторической науке и что его «Древняя Российская история» была первой увидевшей свет историей России, которую написал профессиональный русский учёный, автор заключил, что в целом он «как бы продолжал старую традицию историографии XVI–XVII веков... находясь в стороне от выработки методов критического анализа источников, которые уже начали формироваться в европейской науке Нового времени». Выразил Пчелов и своё негативное отношение к В.Н. Татищеву, преподнеся книгу украинского историка А.П. Толочко (2005), в которой тот обвинил в подлогах и мистификациях великого русского историка, в качестве «доказательного исследования» демонстрирующего недостоверность «татищевских известий», и сам утверждал, что Татищев занимался «своего рода исторической реконструкцией, домысливая многие ситуации и вводя новые сведения»¹⁴⁶.

Маховик антиломоносовской кампании был настолько мощно раскручен «взвешенным и объективным норманизмом», что несколько не ослабил обороты в 2011 г., когда Россия чествовала 300-летие со дня рождения своего самого выдающегося сына (отмеченного, кстати сказать, без подъёма, вяло и формально, несоизмеримо как величину этого гиганта, так и его невероятно важному — сакральному — значению в жизни нашей Родины). Причём, эта кампания, в ходе которой всё также целенаправленно «сыскивались», преподносились и фабриковались факты, чернящие его, велась в том числе изданиями, специально откликнувшимися на этот юбилей (т. е. всё шло в русле традиции, начало которой положили, по причине полнейшей неспособности опровергнуть антинорманистские аргументы нашего гения, Миллер и Шлёцер).

А.А. Горский объяснял, что Г.З. Байер и опиравшийся во многом на его работы Г.Ф. Миллер «достаточно педантично, в духе немецкой науки, проштудировали известные в то время свидетельства» и пришли к выводу, лежащему на поверхности, что варяги, которыми были основатель русской династии

Рюрик и его окружение, являлись скандинавами, или норманнами. Говоря, что Миллер «выступил с диссертацией» (хотя он с ней не выступал), но «Ломоносов, учёный-энциклопедист, до того специально историей не занимавшийся (свои исторические труды он напишет позднее), раскритиковал работу Миллера как “предосудительную России”». В связи с чем она была признана ошибочной, а её тираж подвергся уничтожению. А.Б. Каменский, выставя Ломоносова, с повтором всего, что говорил ранее, гонителем Миллера и доносчиком на него, уверял: он «обвинял своего оппонента именно в политических прегрешениях и всячески доказывал его неблагонадёжность. И это касалось не только знаменитой диссертации Миллера “О происхождении имени и народа русского”, но и других его сочинений»¹⁴⁷.

Следует заострить внимание на двух статьях сборника «Новое о Ломоносове: Материалы и исследования. К 300-летию со дня рождения» (вышел в 2011 г. под грифом Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН). Ответственный редактор сборника С.С. Илизаров подчёркнуто утверждал, делаясь этой старой «новостью» и вводя в разговор Миллера, юбилей которого давно бы вроде уже достойно отметили (но что-то настойчиво заставляет петь и петь ему дифирамбы, превращая его в какого-то неправдоподобно-идеального человека, только и желавшего и делавшего всем добра, а антиподом ему обязательно выставя Ломоносова), что этот «великий русский учёный и просветитель» никогда не выступал зачинщиком ссор. Выше приведены обратные мнения на сей счёт А.Л. Шлёцера, П.П. Пекарского, Г.А. Князева.

Хорошо известен тот факт, что в самом начале своей академической карьеры Миллер сплетничал и доносил на академиков Шумахеру, «который, — пояснял Ломоносов, — всевал между ними ссоры, пользовался их несогласием и чинил всякие им огорчения», за что они его дружно провалили в 1730 г. при выборах в профессора истории. А профессор философии и физики И.А. Браун, очевидец грубейшей ссоры Миллера с профессором юриспруденции немцем Г.Ф. Федоровичем, происшедшей в декабре 1762 г., констатировал, что её «зачинщиком» и «обидающим» был Миллер и что имело место «бесчестное и наглое выведение» Федоровича из Академического собрания. В 1764 г. Ломоносов вспоминал, что он «не токмо ругал Федоровича бесчестными словами, но и взащей выбил из Конференции». Сам историограф затем «сознался, что дал волю рукам», не помня при этом, «выпроваживал ли он Федоровича “взащей”, “за плечо” или “за рукав”».

И очень много неприятностей — открыто и тайно — он доставлял именно Ломоносову (согласно его словам, сказанным в апреле 1760 г., Миллер «нигде не пропускает случая, чтобы какое-нибудь зло против меня вселять»). Например, в сентябре 1755 г. Миллер, являясь конференц-секретарём Академического собрания, добился (а начал он свою интригу ещё в августе 1754 г.) его отстранения с кафедры химии и передачи её У.Х. Сальхову, «донося» президенту Академии наук, что Ломоносов мало в химии упражняется, т. к. занимается историей, «и не без пользы будет другого профессора химии призвать в академическую службу». Через семь лет, в августе 1762 г., Разумовский распорядился, по инициативе Миллера, Тауберта и Теплова, передать Географи-

ческий департамент, во главе которого стоял Ломоносов, Миллеру, но Ломоносов, опротестовав «ложные доношения» своих противников и указав, что последний «всегда из зависти препятствовать старается», сохранил департамент за собой¹⁴⁸.

В выше рассмотренном «представлении» (январь 1761) «Для известия о нынешних академических обстоятельствах» на имя президента Академии наук К.Г. Разумовскому Ломоносов констатировал, что по отпискам Миллера «внесены обо мне несправедливые рассуждения в учёных ведомостях». Таким образом он прямо высказал, объяснял П.П. Пекарский, что Миллер «подушал из Петербурга к сочинению на Ломоносова критик за границей» и что «эти постоянные хлопоты Шумахера, а потом Мюллера сообщать как можно скорее все статьи Ломоносова к заграничным учёным с прибавлением, что автор их хвастается новыми открытиями своими, такие хлопоты предпринимались, конечно, не в видах распространения известности Ломоносова в Европе, а с затаённой мыслью получить из Германии неблагоприятные отзывы, чтобы потом колоть самолюбие, действительно немалое, нашего академика. Напомним при этом, что в 1754 году враждебные отношения к Ломоносову его сочленов из чужеземцев выражались не только в подушениях немецких учёных писать неодобрительные против него разборы, но и в сочинении стихотворных сатир», в одной из которых (а именно из неё Карпеев с Писаренко и черпали вдохновение) пошло рассказывается о жизни Ломоносова: он пил водку, к которой пристрастился в Славяно-греко-латинской академии, «пьянствовал с прислугой и дрался с ребятами; этим он прославился и превознёсся. За то сделали его студентом, и тогда он стал пить водку день и ночь», «сёкшался» в Марбурге с дочерью портного, а вернувшись в Россию, «бесчестит Эйлера, Лейбница и даже Ньютона».

Утверждая, что Миллер всегда был защищающейся стороной, Илизаров даёт читателю ложный ключ к пониманию причин невзгод, выпавших на его долю: «Так было и в его отношениях с Ломоносовым, который всю жизнь не мог простить Миллеру участия в коллективном протесте профессоров Академии наук, неоднократно в 1742 и 1743 гг. оскорблённых Ломоносовым». Но в таком случае он не должен был прощать и других десять профессоров, которые в апреле-мае 1743 г. три раза «доносили», т. е. жаловались на него императрице Елизавете Петровне и особой Следственной комиссии при Сенате (6 мая в «всепокорнейшем доношении» они просили «приказать» арестовать Ломоносова). Не прощать в том числе И.Г. Гмелина, отмечая затем его «доброе сердце», Г.В. Рихмана, с которым позже очень крепко сдружился, Я.Я. Штелина, с которым был особенно близок в последние годы своей жизни. А ведь благодаря этим «доносам» комиссия нашла Ломоносова, указывал В.И. Ламанский, «достойным лишения живота, или, по крайней мере, наказания на теле и лишения состояния», причём он более семи месяцев пробыл под арестом. В январе 1744 г. Сенат даровал ему свободу «для его довольного обучения», но с условием публично просить у профессоров прощения. 27 января 1744 г. адъюнкты Ломоносов прочёл в Академическом собрании «предписанную ему формулу извинения на латинском языке перед профессорами и скрепил её своей подписью». Причём имен-

но «Миллер составил издевательское “Покаяние”, которое Ломоносов был обязан публично произнести и подписать»¹⁴⁹.

Какие чувства в целом историограф питал к своему коллеге, видно, во-первых, из того, что, когда 2 мая 1763 г. Ломоносов указом Екатерины II был уволен «в вечную от службы отставку», Миллер (не зная, что 13 мая императрица востребовала свой указ из Сената назад, приказав считать его «небывшим») радостно сообщал 16 мая в Лейпциг И.Х. Гебенштрейту, «наконец» «Академия освобождена от г. Ломоносова». Во-вторых, своё отношение к его смерти выразил 18 апреля 1765 г. в письме знаменитому географу А.Ф. Бюшингу «сердечными» словами, что с Ломоносовым «не вымерли все худорасположенные ко мне» (а «худорасположенных» было много у Ломоносова, причём значительно больше, чем у Миллера. о чём свидетельствует буквально его крик души, прозвучавший 30 декабря 1754 г., когда он обратился, из-за «коварных предприятий», к И.И. Шувалову с просьбой перевести его, всегда боровшегося «с гонителями наук... несмотря на свои опасности», из Академии в другое учреждение, «лучше всего в Иностранную коллегию, где не меньше могу принести пользы и чести отечеству, а особливо имея случай употреблять всевозможные архивы к продолжению “Российской истории”»). В-третьих, Миллер сделал в июне 1762 г. запись для потомков о его «беспрестанном пьянстве», цена которой точно такая же, что и словам Шумахера, сказанным в письмах в марте, июле и августе 1749 г. Теплову в адрес Миллера: «гордость и самонадеянность до того ослабили его рассудок, что он почти оступел», и, как «я вам много раз писал, он есть «плут и великий лжец».

В разговоре про «диссертацию» Миллера также звучало давно знакомое, что «она после чрезвычайно долгого и тенденциозного обсуждения была запрещена», в связи с чем «русская историческая наука лишилась первого научного сочинения по истории этногенеза народов, населявших Россию» (однако тема и содержание этого сочинения совершенно иные), что главным и беспощадным критиком Миллера был Ломоносов, который тогда постепенно вовлекается в изучение древней русской истории, что в дискуссии по ней «научные аргументы у большинства оппонентов быстро перешли в плоскость политических обвинений... Впервые в истории молодой русской науки учёный» — «академик, ректор академического университета, российский историограф, член Лондонского королевского общества и проч., до конца отстаивавший право на свободное творчество» — «был наказан не за дисциплинарный проступок или недостойное поведение, а за научный труд», и переведён в адъюнкты (Ломоносова Илизаров представил баловнем судьбы, ибо «ему, как никому среди современников, удивительно много прощалось». И высоко отозвался о его «психологическом портрете», созданном Карпеевым, ибо он, видимо, только один осмелился подойти к написанию биографии Ломоносова «многомерно»)¹⁵⁰.

В том же сборнике «Новое о Ломоносове» доктор химических наук А.М. Смолеговский столько «нового» открыл в жизни своего великого коллеги, что счёл необходимым предупредить: излагаемое им не является его дискредитацией (ибо в советское время биографии наших выдающихся деятелей культуры создавались «наподобие житий Святых»). Но прежде всего сказал (хотя в норма-

нистике это давно не «новость»), что труд Ломоносова «Древняя Российская история» издал Шлёцер (к чему, как уже указывалось, тот совершенно не был причастен. Да и только в январе 1765 г. Шлёцер стал членом Академии наук, причём в обход мнения академиков: был назначен, согласно указу Екатерины II, ординарным профессором истории на особых «кондициях»: высокий оклад, трёхмесячный отпуск и прямо представлять свои сочинения императрице, минуя Академическое собрание и Канцелярию).

Затем Смолеговский добавил в «копилку» Шлёцера, что он в 1766 г. опубликовал и «первое жизнеописание национального гения»: «Приложение к предисловию этой книги и составили биографические заметки о Ломоносове». Но никакого приложения к предисловию «Древней Российской истории», которое только и было поручено написать Шлёцеру, не существует. Небольшой биографический очерк о Ломоносове немецкий учёный поместил в своих мемуарах, вышедших в Германии в 1802 г. и изданных в России в 1875 г., и он по времени был далеко не первым (первой является биография Ломоносова, опубликованная в 1772 г. Н.И. Новиковым, в 1784 г. в более подробной редакции, автором которой считается М.И. Верёвкин, она читалась в первой части Полного собрания сочинений учёного). В-третьих, «новым» о Ломоносове следует считать и «открытие» 1999 г. Карпеева, что во время учёбы в Москве он, вынужденный жить с дворовыми людьми, «пристрастился к выпивке». Настойчиво ведя речь об этом пагубном пристрастии Ломоносова, Смолеговский среди версий его смерти перечислил, потому как сообщение о том И.И. Тауберта Г.Ф. Миллеру в Москву 8 апреля 1765 г. оставляет «простор для домыслов», чахотку, любовь к «зелёному змию» и «нарушение правил лечения от него».

(Хотя что можно домышлять из слов Тауберта: Ломоносов умер «после нового припадка его прежней болезни, которую он получил вследствие простуды»? Но тогда какой простор для домыслов даёт, но, разумеется, только от мыслей, очень далёких от поиска истины, жалобы Миллера К.Г. Разумовскому в июле и сентябре 1746 г.: «Болезнь у меня ипохондрическая, которая начало обыкновенно имеет от многих трудов, а потом и часто приключается от досады и от печали», и из-за которой «по неделям он не может приняться за работу». Или его слова в автобиографии: «Многие оные труды причинили мне в Якуцке тяжкую ту ипохондрическую болезнь, которая препятствовала мне ехать до Камчатки, от которой я и по возвратном моём приезде несколько лет ещё весьма сильно страдал в Санкт-Петербурге», или описание той же болезни в 1737 г., сделанное его товарищем по сибирскому путешествию Гмелиным: «Сия болезнь состоит в жестоком биении сердца и превеликом страхе, который по переменах приходит, а иногда три и четыре дня не перестаёт с таким движением пульса, что я часто обмороков опасался».

Болезни стали преследовать Ломоносова с конца 1740-х гг., и он не раз указывает на «жестокую ножную болезнь», на «частый лом в ногах и раны», а в 1762 г. с 21 февраля по 10 мая академик из-за болезни не бывал в Академии. Однако при этом писал научные труды и конструировал, но в июне вновь слёг в постель. Как отмечал академик 24 июля в письме канцлеру М.И. Воронцову, «тяжкая моя болезнь, снова усилившись в другой ноге, не даёт мне покоя и свобо-

ды не токмо из дому, но ниже и с постели вытти». В тот же день он обратился к Екатерине II с прошением уволить его из академической службы, т. к. «пришло моё здоровье в великую слабость, и частый лом в ногах и раны не допускают меня больше к исправлению должности, так что прошлой зимы и весны лежал я двенадцать недель в смертной постеле и ныне тяжко болен». В феврале 1763 г. Ломоносов сообщал Воронцову, что освободился «почти от долговременной моей болезни» (в январе и феврале), а затем весной того же года «у него было три приступа, когда он “в тяжкой болезни, едва жив остался”». С 26 октября по 14 декабря 1764 г. по болезни он опять не мог бывать в Академии. Насколько всё было серьёзно, можно судить по письму 9 ноября живущему с ним по соседству Я.Я. Штелину, в котором, объясняя, что по причине «слабости ног» не может его посетить, покорно просил «после обеда чашку чаю выкушать, чем я весьма много одолжен буду»).

Смолеговский, стремясь «узаконить» версию смерти Ломоносова, которая ему по душе и по сердцу, выдумал — ещё одна «новая» норманистская фантазия — его поездку на родину, которая якобы состоялась в феврале или марте 1765 г. (но на ней наш гений, что хорошо известно даже по школьной программе, ни разу не бывал с момента ухода из дома в декабре 1730 г.): «Незадолго до своей кончины он навестил “родные пенаты” и, поддавшись уговору земляков, “угостился”» (потому как учёный принимал, пояснял весьма осведомлённый в таких вопросах специалист, лекарство против алкоголя, действие которого «резко менялось на противоположное при принятии даже небольшой порции спиртного»). Как отмечено в биографии Ломоносова, а в ней последние годы его жизни расписаны часто по дням, с 1 февраля до 4 марта 1765 г. он дома работал с документами, которые ему присылались и как советнику Академической Канцелярии, и как руководителю академических университета и гимназии, писал письма, изучал образцы руд, два раза присутствовал в Адмиралтейской коллегии, где обсуждались вопросы подготовки морской экспедиции по поиску «пути на Восток северным Сибирским океаном» к восточным берегам Азии (проект Северного морского пути, разработанный Ломоносовым, начнёт реализоваться в 1930-х гг.), 28 февраля присутствовал в Канцелярии, 1 марта посетил Академическую гимназию. 4 марта Ломоносов после заседания в Адмиралтейской коллегии, на котором окончательно была утверждена его «Примерная инструкция морским командующим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на Восток северным Сибирским океаном», заболел, и ровно через месяц величайшего русского человека, которого норманисты выставляют на посмешище и поругание, не стало.

В-четвёртых, чтобы усилить силу предыдущих слов, Смолеговский вёл речь о беспорядках в пьяном виде Ломоносова в 1742–1743 гг., которые с 7 октября 1742 г. по 15 декабря 1743 г. разбирала «специально созданная следственная комиссия». Но особая Следственная комиссия при Сенате была учреждена Елизаветой Петровной 30 сентября 1742 г. по делу И.Д. Шумахера, поводами чему стали «донесение» в Сенат астронома Ж.Н. Делиля, обвинившего его в том, что он наносит ущерб Академии, в которой к тому же «не старались русских обучать и призвать в науках, а употреблено и произведено токмо почти немцев, кото-

рые государству не много пользы учинили», и «доношение» на него же, поданное А.К. Нартовым императрице за подписью 11 человек. И именно дело Шумахера разбиралось с 7 октября 1742 г. по 14 декабря 1743 года.

В-пятых, Смолеговский подчёркивает, а здесь чувствуется влияние Писаренко, что Ломоносова каждый раз спасал Шумахер, чрезвычайно высоко ценивший его природный талант и научную эрудицию. Хотя в названный период судьба руководителя Академической Канцелярии буквально висела на волоске, и ему уж точно было не до Ломоносова. Будучи обвиняемым «в недостаточных по Академии поступках, в испровержении наук и в похищении многой казны, что всё состояло в 38 пунктах», включая употребление казённой французской водки «на свои домашние потребности», он тогда (к тому же с 7 октября по 28 декабря находясь под арестом) мог думать только о своём спасении. Благоприятный исход его дела — указом Сената 5 декабря 1743 г. Шумахер был восстановлен в должности, за которым стоял прежде всего влиятельный И.Г. Лесток, лейб-медик императрицы, — благоприятно сказался, с целью всё замять, и на судьбе всех, кто выступил против него и кто скоро сам попал в число обвиняемых (причём часть из них в январе 1743 г. была арестована): в июле 1744 г. императрица отпустила им все их вины. А до того в январе был прощён Ломоносов, поддержавший выступивших против злоупотреблений Шумахера. Как отмечал С.М. Соловьёв, из бумаг Следственной комиссии «сохранилась ведомость о колодниках, содержащихся по этой комиссии; имена колодников оканчиваются следующим именем: “адъюнкт Михайла Ломоносов”»¹⁵¹.

В том же юбилейном 2011 г. В.И. Турнаев, коснувшись ситуации, сложившейся в 1748 г. вокруг Миллера в связи с его перепиской с Делилем, прямо по-большевистски заключил, что Ломоносов тогда, «надо признать, сыграл далеко не лучшую свою роль, став... пособником реакции». Наш светлый гений стал «пособником реакции» также, конечно, вопреки показаниям источников (которые «худорасположенных» к нему мало когда интересовали). Ещё в России астроном Ж.Н. Делиль находился в подозрении в шпионаже в пользу Франции, подтверждённом затем документально. 30 мая 1747 г. он по дороге на родину отправил Миллеру из Риги письмо, в котором, назвав Петербургскую Академию наук «corps phantastique» — «корпусом фантастическим», напомнил об их уговоре написать что-то об Академии за границей и просил «вручителю сего письма» отдать документы, которые Делиль оставил у Миллера.

Копия этого письма в сентябре 1748 г. оказалась в Канцелярии, которая ещё до того строго «определила»: академикам и профессорам «под штрафом запретить, а жалованных почётных членов просить», чтоб с Делилем никак не общаться, «ни прямо, ни посторонним образом корреспонденции не вести, також и не сообщать ему учёных дел» (сам он был исключён из числа почётных членов Академии и лишён назначенной ему пенсии). Во исполнение данного распоряжения Миллер, как и другие его сослуживцы, доложил Канцелярии, что переписывался с Делилем, но его письма не сохранил и не высылал ему документов, касавшихся Академии. Но теперь оказывалось, что между ними существовало тайное соглашение относительно их какого-то совместного «предприятия», о чём Миллер умолчал.

Содержание письма весьма задело академическое руководство. Ибо, возмущался Г.Н. Теплов, «Делиль корпус Санктпетербургской Академии почитает за фантастический, т. е. мнимый и недостойный того почтения, какое о нём учёные люди в свете имеют». В октябре началось разбирательство, в котором, по «определению» президента Академии наук К.Г. Разумовского, должен был принимать участие, наряду с И.Д. Шумахером, Г.Н. Тепловым, Я.Я. Штелиным, Х.Н. Винсгеймом, Ф.Г. Штрубе де Пирмонтом, В.К. Тредиаковским, и Ломоносов. В конечном итоге всё завершилось для Миллера благополучно. Хотя в ордере Разумовского от 19 ноября 1748 г. было всё же подчеркнуто: историограф, подозреваемый в том, что «якобы он соглашался с бывшим Академии членом Делилем поносить честь Академии ея и.в. и тех людей, которые к правлению оныя всемилостивейше от ея величества учреждены», «не оправдался, но разными и несогласными своими ответами в том же подозрении себя оставил», и что ему будет учинён «пристойный выговор за его столь подозрительные поступки». Но вместе с тем президент, выражая надежду, что Миллер «придёт в чувство и свои худыя намерения отменит», позволял ему «быть по-прежнему у своего дела» и «всегда пользоваться всеми манускриптами из архивов, которые ему понадобятся, брав их с распискою»¹⁵².

Остаётся привести позиции по рассматриваемому вопросу наиболее активных сегодня норманистов. В 2014 г. Е.А. Мельникова уверяла, что Миллер, опираясь на летописные известия, «отстаивал скандинавское происхождение наименований “русь” и “варяг”, а также имён первых русских князей и признавал скандинавов основателями Русского государства». На следующий год В.Я. Петрухин утверждал, что основатель научной российской историографии Байер, начав критическое изучение источников по русской истории, указал «на очевидное скандинавское происхождение варягов и имени *русь* в соответствии с летописным преданием о призвании из-за моря руси и варяжских князей», что Миллер следовал традиции ПВЛ «о тождестве руси и варягов: первые русские князья имели скандинавское происхождение. Последний тезис был весьма несвоевременен... Россия продолжала соперничать со Швецией на Балтике. Академическая комиссия, в которую входили Тредьяковский и Ломоносов, не допустила Миллера к выступлению с его речью (текст был уничтожен методами средневековой инквизиции)».

И Ломоносов, расправившись с Миллером, получил место придворного историографа» (но официальным историографом как был, так и оставался до конца своих дней Миллер), а «обвинение в том, что исследователи древнейшей летописной традиции стремятся принизить славу древнего славянского народа, и стремления подменить летописные известия о варяжском происхождении руси средневековыми этимологиями (россияне/роксоланы и т. п.) с тех пор стали свойственны для “антинорманизма”» (но варяжское происхождение руси, что не является тождественным скандинавскому, не отрицалось ни Ломоносовым, ни большинством антинорманистов). В 2019 г. археолог добавил к сказанному, что со времени Ломоносова в норманистах видят исконных врагов русского народа и его культуры¹⁵³.

По мере избавления нашего общества и науки от шока «демократических преобразований», вылившихся в том числе и в неприкрытое глумление над родной историей и её святынями, по мере осознания того, что «объективный подход» к оценке наследия Миллера есть не что иное, как открытая дискредитация «патриота» Ломоносова, уже превращавшаяся, например, под пером А.А. Формозова и Л.С. Клейна, буквально в расправу над ним за его научное инакомыслие, причём этот подход преследует цель в новых политических условиях привести науку к жёсткому норманистскому стандарту, стали нарастать голоса в защиту Ломоносова. Например, в 1998–2003 гг. А.Г. Кузьмин, многие годы занимавшийся варяго-русской проблемой, до тонкостей знавший все её источниковедческие и историографические стороны, напомнил научной общественности, по сути, неизвестные ей доводы Ломоносова, которым ничего так и не могут противопоставить норманисты (отсюда, мягко говоря, и их нерасположенность к нему). Так, им была продемонстрирована нелогичность произведения имени «русь» от финского названия шведов «руотси», ибо «имя страны может восходить либо к победителям, либо к побеждённым, а никак не к названиям третьей стороны». А опираясь на окружное послание византийского патриарха Фотия, доказал пребывание росов на Чёрном море до призвания Рюрика, тем самым перечеркнув мнение Миллера об отсутствии до 862 г. в Причерноморье этнонима «русь».

Высоко оценил Кузьмин его заключения, когда он, отвергнув попытки Байера выдать имена русских князей за скандинавские, указал, что «на скандинавском языке не имеют сии имена никакого знаменования» и что сами по себе имена не указывают на язык их носителей. А также отметил позитивный характер лингвистических наблюдений Ломоносова (одно из которых, что в русском языке почти нет германизмов), открытие им «Неманской Руси», его вывод, что варяги — общее имя многих народов, его отождествление славянского Перуна и литовского Перкуна, объединение им проблем руси и роксолан. Весьма ценны наблюдения Кузьмина, что Байер вообще не анализировал Сказание о призвании варягов, что русским именам он отыскивал лишь параллели, без этимологизации самих имён, что и Миллер, признавая неудовлетворительность своего «владения русским языком, считал это и не особенно важным, поскольку русские источники представлялись ему чем-то побочным даже и при изучении русской истории». В связи с чем для него главным источником были датские и скандинавские саги, изложенные Саксоном Грамматиком и Снорри Стурлусоном, причём он целиком доверял заключённым в них легендам, не обратив при этом внимание на то, что в сагах русь отделяется и отличается от скандинавов.

Само же преимущество Ломоносова перед немецкими учёными заключалось в гораздо более глубоком понимании сущности и связей между явлениями внешнего мира. Тогда как «немецкая учёность» вместо сколько-нибудь обоснованной теории брала за основу наивный германоцентризм, через призму которого рассматривались и все явления истории славян и руси». А в дискуссии по речи Миллера он превосходил оппонента не только по методу, но и по широте эрудиции, при этом справедливо упрекая его в произвольном обраще-

нии с источниками. Причём, как заметил Кузьмин, не совсем точно начинать антинорманизм с Ломоносова, но именно он «предложил аргументы, которые вошли в прямое столкновение с норманской концепцией»¹⁵⁴.

В 2003 г. И.Я. Лосиевский сказал, в ряде случаев критически относясь к историческим выводам Ломоносова, что его интерес к родной истории, видимо, возник в детстве, что в годы учёбы в Москве, Киеве и Германии он целенаправленно знакомился с источниками и исторической литературой. А ведя речь о нём как о состоявшемся историке, констатировал, что в этом качестве он достаточно объективен. Указывая, что «Древняя Российская история» есть первая изданная отечественная монография по истории России и давая ей высокую оценку, автор резюмировал, что она создана на широкой базе источников и исследований, что на её страницах история России впервые была рассмотрена в контексте истории славян и в мировом контексте, что эта картина впечатляет и сейчас, в том числе и потому, «что написана она великим художником слова, первооткрывателем возможностей русского языка, одним из основоположников (вместе с В.Н. Татищевым) русской научно-исторической прозы». И выделил несколько принципиально важных выводов этого труда, в котором отсутствует абсолютизация русских источников: о древности пребывания славян в Европе, являющийся большим научным достижением и подтверждаемый современными археологическими и лингвистическими исследованиями, о наличии «баснословия» в начальной истории всех народов, выделение доваряжского периода.

Положительно отзываясь об исторических сочинениях Миллера и Шлёцера, Лосиевский при этом отметил, что они изобилуют неточностями, ошибочными наблюдениями, в чём русский учёный усматривал неуважение к нашим источникам, плохое или недостаточное их знание, укорял оппонентов в недостаточном знании языка, тогда как «лингвистические замечания Ломоносова, действительно, неоспоримы». Подчёркивая, что начавшиеся ещё в XVIII в. разговоры «о некоей природной неприязни Ломоносова к немцам... совершенно не соответствуют действительности», вместе с тем заключил: что он, «борясь с “немецким засильем, порой увлекался, перегибал палку”» (был «воинствующим патриотом»), не всегда был объективен в отношении своих немецких коллег, «их мнений и заслуг, не всегда проявлял корректность в спорах», хотя и они были и заносчивы, и нетерпимы к какой-либо критике¹⁵⁵.

В 2007 г. В.И. Меркулов, справедливо охарактеризовав Миллера в качестве выдающегося русского историка, заметил, что его позиция по варяжскому вопросу претерпела развитие и что эволюция его взглядов объясняется как влиянием Ломоносова, так и тем, что со временем он стал серьёзным исследователем, поистине русским учёным¹⁵⁶. Тогда же А.Е. Шикло констатировала, что в ходе дискуссии по его «диссертации» Ломоносов правильно определил территориальные границы расселения славян (от Эльбы до Волги, от Прибалтики и Дона до Дуная и Балкан), подчёркивал, что русский народ начинает свою историю задолго до призвания варягов, отверг утверждение норманистов о низком культурном уровне восточных славян, их отсталости, полагал, что они до прихода варягов имели монархическое правление, вёл речь о единстве всех на-

родов, каждый из которых, включая русский, является частью всемирной истории. Про Байера ею было сказано, что он в статьях по русской истории меньше всего пользовался русскими источниками, ибо не знал русского языка, про Шлёцера, что он, «восстанавливая “очищенного” “Нестора”,... не учёл выводов историков своего времени о том, что летописи создавались разными авторами, которые имели в своём распоряжении неодинаковые источники и преследовали при создании летописи разные цели»¹⁵⁷.

В юбилейный для Ломоносова 2011 г. вышел ряд работ, на которых следует особо остановиться. Прежде всего это статьи авторитетных специалистов в области русской исторической мысли М.Ю. Лачаевой и Г.Р. Наумовой (в соавторстве с А.В. Никоновым). Лачаева, отмечая универсальный талант Ломоносова, резюмировала, что он стоял у истоков русской национальной науки в целом и русской исторической науки в частности, что его исторические работы, в первую очередь «Древняя Российская история», заложили важные основы рождавшейся русской историографии, явились новым словом в науке (им были высказаны «новые для своего времени представления о поступательном характере исторического развития как смене периодов упадка и расцвета, о характере исторического процесса, который совершался путём конфликтов внутреннего и внешнего характеров»). И правомерно указала, что его занятия историей «были связаны с выработкой национального самосознания, отстаиванием экономической, политической и культурной независимости России. Представитель народа, он органически воспринял и пронёс через всю жизнь чувство высокого патриотизма, которым пронизаны его исторические труды».

Исследовательница вместе с тем заострила внимание на том, что Ломоносов, прекрасно зная историографию и широкий круг разных источников, представлял для критикуемых им немецких учёных непреодолимую преграду, что привычным средством борьбы с ним, начало которому положили Миллер и особенно Шлёцер, в течение последних двух с половиной веков являлись попытки его дискредитации, когда критика начиналась с обвинения в «ложном» понимании им патриотизма, что его научная позиция в столь актуальном для современной науки варяго-русском вопросе традиционно переводится в политическую плоскость, представляется излишне политизированной и утверждается об «очевидной ошибочности» его антинорманизма (причём лишь самая малая часть критиков выдающегося учёного конкретно занималась этим сложнейшим вопросом), что его гражданственность «имела глубинную философскую основу», что «исключительная самостоятельность Ломоносова и как историка, и как поэта проявилась в том, что он сделал и историографию, и литературу неотделимыми от начала государственного», сочетал в себе литературный талант и новейшие научные знания, необходимые для высшего синтеза (более детально Лачаева свой взгляд на затронутые ей сюжеты изложила в 2018 г.)¹⁵⁸.

Наумова и Никонов проводили мысль, что обращение Ломоносова к прошлому «не в последнюю очередь было связано с практическими задачами борьбы за интересы “российского народа”, за укрепление отечественной государственности, за развитие русской науки и русской культуры» («он и не скрывал своей гражданской позиции», но её наличие не является недостатком для ис-

торика). Поэтому неизбежны были его столкновения с немецкими историками, пытавшимися доказать историческую неспособность русских к созданию государственности. Однако эти столкновения «объясняются не особенностями его характера, а его личной и научной позицией, совестью учёного и воззрениями русского патриота», и именно с позиций своих утверждений о высоком уровне развития восточных славян в доваряжский период он выступил против главных идей «диссертации» Миллера.

Они также подчёркивали, что именно с научной стороны Ломоносов «оказался совершенно прав, когда отвергал тезис норманистов о “вторичности” нашего государства и, следовательно, исторической судьбы русского народа по сравнению со странами и народами Западной Европы». Напоминая, что Ломоносов один из первых поставил вопросы о социальном строе Руси, изучения городов её эпохи, исследовал систему данничества, терминологию («челядь», «холопы», «подданство» и др.), авторы резонно подытоживали: «Нам, живущим уже в XXI в., остаётся только в очередной раз удивляться и восхищаться той способностью научного предвидения, которая позволила русскому национальному гению ещё в XVIII в. верно уловить тенденции псевдонаучного “протаскивания” чуждых и опасных для русского самосознания идей, которые предпринимались под личиной “академической науки”... И сделано это было на попрание исторических исследований» (многое из сказанного Наумова повторила и развила в 2017 г.)¹⁵⁹.

Параллельно как с названными статьями, так и с идущими потоком работами, в которых преднамеренно искажался и очернялся образ Ломоносова-историка, в 2011 г. вышла монография М.Б. Свердлова «М.В. Ломоносов и становление исторической науки в России». Значимость этого труда, по достоинству уже оценённого коллегами, отметившими её фундаментальный вклад в разработку проблемы «Ломоносов как историк»¹⁶⁰, тем важна, что оно написано убеждённым сторонником норманской версии. Но при этом автор, не приемля взгляд Ломоносова на этнос варягов и руси, по-настоящему глубоко изучил исторические труды и его, и Байера, и Миллера, и Шлёцера, а также эпоху, в которой и под воздействием которой они создавались. В связи с чем весьма качественно овладев предметом разговора, поставил, во многом согласуясь с мнениями антинорманистов, самую высокую оценку Ломоносову-историку. Одновременно с тем констатируя, что в исследованиях, посвящённых Ломоносову-историку, преобладает одномерное изложение патриотического содержания его творчества (причём Свердлов, неоднократно и пространно отвлекаясь на освещение известных тем и сюжетов биографии Ломоносова, не запятнал себя обращением к грязным мифам о его «пьянстве-буянстве», позорящим нашу науку и не имеющим отношения к разговору о нём как учёном).

Труд Свердлова, по сути, всеохватывающий и многомерный, и потому следует остановиться на его главных выводах, кардинально расходящихся с норманистской классикой, у истоков которой стояли Миллер и Шлёцер. Прежде всего он отметил, что Ломоносов «преодолеl все препятствия, выдержал все трудности и стал одним из лучших учеников Славяно-греко-латинской академии. В годы юности ему был свойственен интерес, в частности, и к истории».

Ведя речь об обучении Ломоносова в университете при Петербургской Академии наук и в Германии, историк указал на универсальность его таланта, в равной мере способного к освоению точных и гуманитарных знаний, что за границей он получил высшее университетское образование, профессиональную подготовку в естественных и гуманитарных науках, что свойственный ему интерес к родной истории «был углублён сведениями о всемирной истории, преимущественно античной и западноевропейской», что его познания во всех этих отраслях интеллектуальной деятельности находились на современном для первой половины XVIII в. уровне.

Рассматривая конфликт Г.Ф. Миллера и П.Н. Крекшина, Свердлов констатировал, что последний в 1747 г., возводя правящую династию к Рюрику, затронул тем самым проблему государственную, что Миллер отвергал его утверждение о выходе Рюрика из южнобалтийской Вагрии, что тот «доносил» императрице об ошибках Миллера и что обвинения приобретали характер политический и могли иметь тяжелейшие последствия для него (мог быть обвинён в антироссийских настроениях). Но включённый в состав комиссии по разрешению этого спора Ломоносов поддержал немецкого учёного, после чего сам превратился в объект нападок Крекшина, который «попытался обвинить в оскорблении царствующей династии теперь и членов академической комиссии, созданной по поводу его “доношения” на Г.Ф. Миллера» (как заключал исследователь, именно с того времени русский учёный начал постоянное изучение отечественной истории вместо прежнего постоянного интереса к ней). Ломоносов, говорил далее Свердлов, поддержал Миллера и при обсуждении и в публикации его первого тома «Истории Сибири» (лишь предложив в качестве дружеского совета и в достаточно мягкой форме вычеркнуть тот текст, который мог стать причиной гонений, причём историограф этому совету и последовал). После чего заключил: приведённые факты «позволяют пересмотреть широко распространённое мнение, в соответствии с которым Ломоносов изначально являлся постоянным оппонентом, а то и противником Миллера». Вместе с тем отметив, что в ходе разбирательства осенью 1748 г. переписки Миллера с Ж.Н. Делилем Ломоносов старался ему помочь, а также высоко оценив его отзыв на «Предъизвещение» «Истории Российской» В.Н. Татищева, данный в январе 1749 г., т. е. до дискуссии по речи Миллера.

Обратившись к самой дискуссии, Свердлов акцентировал внимание на обстоятельствах, которые, на его взгляд, придали дискуссии политический характер. Это прежде всего правительственная инструкция, данная 6 мая 1748 г. редакции издаваемых Академией наук «Санктпетербургских ведомостей», которая ужесточала контроль над содержанием публикуемых статей, т. е. ужесточала идеологическое и административное давление властей: «В писании от всякого умствования и предосудительных экспресий удерживаться, особливо что к предосуждению России или ея союзников касается, в Ведомости не вносить же». А также правительственное давление на дискуссию (но такого давления не было, ибо обсуждение речи Миллера не выходило за рамки Академии наук, во главе которой стоял чиновник очень высокого ранга — граф К.Г. Разумовский. Однако отнести его к членам правительства никак нельзя).

Оценивая потенциал Миллера в преддискуссионный период в качестве специалиста по истории Руси, Свердлов признал, что в этой области он не являлся профессионалом и к тому же не знал языка летописей. В связи с чем зависел от переводчиков и «последовательно изучить историю древнерусского периода он не мог. Характерны для него были также малообоснованные утверждения, свойственные начальному периоду разысканий о русской истории, что вызвало критику коллег». Им также было указано, что на Миллера повлияли легендарные повествования «Деяний датчан» Саксона Грамматика и «шведская школа» О. Рудбека, что деформировало понимание им поставленных в «диссертации» сложнейших научных проблем. В связи с чем он повествовал о вымышленных событиях и персонажах, и древнейшая политическая история приобрела у него «полуфантастический вид вследствие компилятивного применения разных по происхождению исторических источников и логического метода, который подменял научный анализ этих источников».

Исследовав тот экземпляр речи Миллера, с которым работал Ломоносов, оставив на нём свои пометы, Свердлов констатировал: он обоснованно заключил, не абсолютизируя достоверность летописей, «что Миллер “весьма немного читал российских летописей”», а также обратил внимание на иллюстративное использование оппонентом иностранных источников, поскольку тот «считал достоверными те из них, сведения которых совпадают с авторским мнением». Тем самым в своих критических замечаниях Ломоносов объективно поддержал «другой, аналитический подход к изучению русских и иностранных источников, обстоятельное исследование их известий о древних народах, правителях, об исторической географии», с которым ознакомился по первой редакции «Истории Российской» Татищева (правомерны, подчёркивал Свердлов, его указания на ошибочность изменения Миллером славянского названия Изборска на германское Иссабург, отрицание им в Киеве князя Дири и др., что он, поддерживая давнюю идею о связи этнонимов *рос*, *рус* с югом Восточной Европы «и дополнив её их распространением с юга на север Восточной Европы,... проявил гениальную интуицию» и что, «возможно, по наблюдениям исследователей, этноним *росы* восходил к иранской языковой основе»).

Рассматривая многочисленные пометы Ломоносова на Петровской копии Радзивилловской, Никоновской, Воскресенской летописях, Степенной книги, Лицевом своде, «Житии княгини Ольги», «Повести о Батыевом нашествии», «Житии Александра Невского», «Повести о Куликовской битве» (в ряде случаев изучая разные их списки) и др., Свердлов резюмировал: академик «стремился проверить собранные им сведения, прежде всего те, на которые он обратил особое внимание, сопоставить их с соответствующими известиями в других произведениях древнерусской письменности», последовательно собирал материалы по генеалогии княжеских родов, вводил многочисленные материалы, в том числе архивные, которые хорошо знал, в научный оборот. А изучая пометы Ломоносова на Петровской копии Радзивилловской летописи (к которой постоянно обращался во время дискуссии, положив её в целом в основу изложения начальной истории Руси), отметил его значительную аналитическую работу над сложнейшим историческим текстом.

Подытоживая рассуждения о дискуссии, Свердлов подчеркнул, что она показала значительную роль Ломоносова в процессе становления нашей исторической науки (например, отмечая, что в изучении истории Руси определяющее значение имеют отечественные источники, он признавал необходимость привлечения иностранных письменных памятников, и «как учёный постоянно требовал не мнений, а доказательств»). Одновременно с тем подчеркнув: Миллер «не только не учёл критические замечания своих оппонентов, но и словесно оскорблял их, невзирая на чины и учёные звания». В связи с чем появился указ К.Г. Разумовского от 6 октября 1750 г., в котором перечислялись прежние дела Миллера, вменяемые ему в вину, а также длительное обсуждение «диссертации» и его поведение во время этого обсуждения, когда он оскорблял коллег.

Вместе с тем Свердлов также очень скрупулёзно проанализировал, дав им замечательные характеристики, «Древнюю Российскую историю», предваряющий её «Краткий Российский летописец», замечания Ломоносова на «Историю Российской империи при Петре Великом» Вольтера, очерки о стрелецких восстаниях и правлении царевны Софьи, хранящиеся в Российской национальной библиотеке и написанные на французском языке «Хронологические таблицы памятных фактов, относящихся к истории императора Петра Великого», «Сокращённое описание России», «Описание С.-Петербурга и его окрестностей», «Описание города Москвы», в создании которых участвовал Ломоносов, «или они подготавливались под его руководством и редакцией» (т. е. исследователь расширил число его исторических работ). В конечном итоге им было сказано, что Ломоносов как историк представлял собой тип истинного учёного, использовавшего опыт предшественников и открытого для других теорий, что многие его исторические идеи «сохранили своё конструктивное содержание до наших дней, а некоторые из его наблюдений раскрывают свою значимость лишь в контексте новейших исторических исследований. Такое свойство исторических идей характерно для творчества гениев».

При этом заметив, что Миллер и Шлёцер, «которые претендовали на особое значение в изучении истории России, не создали и не могли создать обобщающих трудов, ей посвящённых», что последний уделял внимание созвучиям слов и их подобию, приводившим «к странным и ошибочным соединениям понятий», за что его критиковал Ломоносов, что в своём плане обработки русской истории он отказывался от предшествующего исследовательского опыта, «что противоречило основам исторической науки, которая предполагает сохранение такого опыта и критического его изучения», и что он был человеком эмоциональным, во многом субъективным в личных отношениях. Байер же устанавливал тождества слов, топонимов, гидронимов, хоронимов по их созвучиям, в результате чего сомневался в славянском характере имени Святослав (первую часть этого имени считал «нормандской», а вторую — славянской, германское начало видел и в другом чисто славянском имени — Владимир)¹⁶¹.

Автор данных строк пришёл к теме «Ломоносов-историк» через многолетнее занятие всеми аспектами варяго-русского вопроса. В ходе работы над его разрешением было обращено внимание на упорное стремление норманистов, только и повествующих о патриотической подоплёке исторических взглядов

Ломоносова-антинорманиста, категорически исключить его из числа историков. Хотя исторический, археологический, нумизматический, лингвистический и генетический материал, как давно известный специалистам, так и постоянно пополняющийся, убеждает в совершенно обратном. И объяснению тому причин и показу выдающейся роли Ломоносова в изучении истории России, прежде всего ранней, связанной с самым сложным и заполитизированным вопросом нашей науки — варяжским, учёный посвятил, начиная с 2004 г., большое число исследований: статей, монографий, часть докторской диссертации.

Стараясь быть не только максимально объективным в оценке исторических трудов Ломоносова и немецких учёных, но и приблизить читателя к их оценке, т. е. сделать разговор на эту тему по-настоящему содержательным, он издал с комментариями все исторические сочинения нашего гения (2011, совместно с замечательным историком А.Н. Сахаровым)¹⁶², речь-«диссертацию» Г.Ф. Миллера (2006), которую норманисты, отзываясь о ней в самых превосходных степенях, не только не публиковали (С.С. Илизаров это сделал лишь в 2006), но и не указывали, что её жёстко критиковали в XVIII–XIX вв. немцы И.Э. Фишер, Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, А.Л. Шлёцер, А.А. Куник, статью/«диссертацию» Г.З. Байера «О варягах» (2006), монографию А.Л. Шлёцера «Опыт изучения русских летописей» (2015), впервые увидевшую свет на русском языке (а в ней, увидевшей свет в 1768 г., учёный рассуждает о руси, в отличие от «Нестора» начала XIX в., в антинорманистском духе)¹⁶³, исторические источники (прежде всего совместно с А.Г. Кузьминым в 1993 г. Лаврентьевскую летопись, содержащую ПВЛ)¹⁶⁴.

Параллельно с тем Фомин, также сопровождая их комментариями, опубликовал малознакомые нашей науке работы антинорманистов и норманистов, вышедшие в XIX–XX вв. и ставшие библиографическими редкостями — Ю.И. Венелина, С.А. Геденова, М.П. Погодина, А.А. Куника, А.Ф. Гильфердинга, В.А. Мошина, Н.Н. Ильиной¹⁶⁵ (сейчас сданы в печать используемые в настоящем труде монографии исследователей XIX в. А.И. Павинского и И.А. Лебедева по истории южнобалтийских славян). И которые, с одной стороны, помогают понять многие сложности, в том числе искусственного характера, мешающие установлению истины в варяго-русском вопросе, с другой, дают очень важный материал для её достижения. Всё отмеченное позволило ему прийти к обоснованному выводу, «что имена немцев Байера, Миллера и Шлёцера являются таким же достоянием русской исторической мысли, как и имена русских Татищева, Ломоносова, Карамзина и других замечательных деятелей нашей науки», и что они имеют «весьма значимые заслуги... перед русской исторической наукой». Но вместе с тем продемонстрировать на фактах ошибочность их многих взглядов на русскую историю и в первую очередь на варяжский вопрос.

Вместе с тем пишущий эти строки показал, наряду с другими специалистами, надуманность претензий, выдвигаемых теми же норманистами великому В.Н. Татищеву (новый поход против него начал в 2005 г. украинский историк А.П. Толочко, к которому у нас присоединились многие, например, Е.В. Пчелов, впавший в восторг от работы украинского коллеги, потому что она демонстрирует недостоверность т. н. «татищевских известий»)¹⁶⁶. А в 2016–2018 гг. Фомин

участвовал в переиздании трудов Татищева в семи томах, отметив в вводной статье к «Истории Российской с самых древнейших времён», что они являются фундаментом отечественной исторической науки и что, говоря словами С.М. Соловьёва по поводу т. н. «татищевских известий», вызывающих отторжение сторонников норманской версии по причине их «антинорманистского» звучания, что Татищеву мы обязаны «сохранением известий из таких списков летописи, которые, быть может, навсегда для нас потеряны; важность же этих известий для науки становится день ото дня ощутительнее»¹⁶⁷.

Примечания

- ¹ Карпеев Э.П. Г.З. Байер... (1996). С. 49–50; *его же*. Г.З. Байер... (1997). С. 23–25; Данилевский И.Н. Древняя... С. 44; *его же*. Образование... (16–17).
- ² Стеклов В.А. Указ. соч. С. 5–8, 65, 80, 88–89, 94, 103, 110, 133, 165, 185.
- ³ Излагая взгляды на Ломоносова-историка через призму оценки его отношения только к варяго-русскому вопросу, пишущий эти строки особо заостряет внимание на работах, в которых целенаправленно, пытаясь дискредитировать заслуги великого учёного-анти-норманиста на историческом поприще, рисуется его негативный образ, что не видят некоторые коллеги, предъявляя к моим историографическим обзорам, посвящённым Ломоносову, ненужные претензии (см. напр.: Соловьёв К.А. Указ. соч. С. 5, прим. 11).
- ⁴ Илизаров С.С. Предисловие. С. 13.
- ⁵ Материалы. Т. 5. С. 29; т. 7. С. 439–440, 448–449, 479, 498, 518–519; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 338–339, 742, 750–752; Билярский П.С. Материалы... С. 64–68; Летопись. С. 64, 90; Павлова Г.Е., Фёдоров А.С. Указ. соч. С. 105, 108–109, 121.
- ⁶ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 60.
- ⁷ Шлёцер А.Л. Опыт... С. 252–253.
- ⁸ Миллер Г.Ф. О народах... С. 97–98.
- ⁹ Миллер Г.Ф. О первом... С. 6; *его же*. О народах... С. 98–99; Пешич С.Л. Русская... Ч. II. С. 218; Моисеева Г.Н. Из истории... С. 134–136; *её же*. Ломоносов... (1971). С. 143, 163–164, 171; Фомин В.В. Ломоносов. С. 65–66.
- ¹⁰ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 99–100, 115–120, 129, 131, 185–186; Соколов С.В. О чём... С. 128.
- ¹¹ Шлёцер А.Л. Опыт... С. 305–306.
- ¹² Кузьмин А.Г. Татищев. С. 337.
- ¹³ Иконников В.С. Август... С. 27.
- ¹⁴ Общественная... С. III; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 9. С. 829; Михаил Ломоносов... С. 342.
- ¹⁵ Общественная... С. 70–73, 190–191; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 2–4, рми-рнз, рое.
- ¹⁶ Академик Петербургской Академии наук И.Г. Гмелин, участник Второй Камчатской экспедиции, в изданном в 1751–1752 гг. заграницей по своему отъезду из России «Путешествии по Сибири с 1733 по 1743 год», «насмешливо писал о русском народе и его вере» (и что привлекло в Петербурге, отмечал в 1753 г. И.Д. Шумахер, «большое внимание»). А член Парижской Академии наук аббат Ж. Шапп д'Отерош, в феврале 1761 — январе 1762 гг. побывавший в составе астрономической экспедиции в России и получивший всемерную поддержку со стороны Петербургской Академии и правящих кругов, в «Путешествии в Сибирь, совершённом по приказу короля в 1761 году», изданном в 1768 г. на французском, а затем на голландском, английском и немецком языках, охулил «русский народ ещё резче, чем это сделал Гмелин» (Ломоносов М.В. ПСС. Т. 9. С. 421, 798, 807–808, прим. 3 на с. 835; т. 10. С. 229, 314–315, 734–735, прим. 6 на с. 673; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 452).
- ¹⁷ Татищев В.Н. История... Т. I. С. 81; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 7. С. 400–401, 404–405, 408, 411–417, 424, 509, 844, 850–861, 866; т. 9. С. 410–429, 822–827, 830–836, 838–843; т. 10. С. 308–310, 389–390, 545, 579, 853; Эмин Ф. Указ. соч. С. 36–37; Общественная... С. 3, 26, 30, 48, 51–56, 70–73, 153–155, 164, 187, 192–231, 238–244, 272–273, 460–461, 464–465; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 2–3, XV–XVII, XXIX–XXXI, ркз-рки, рмв-рмд, рнө-рѣ, 50, 67, 120, 303, 391–392, 418–419, 429–430, 433, прим. ** на с. 325; ч. II. С. 695; ч. III. С. 91; Белинский В.Г. Литературные... С. 44; *его же*. Николай... С. 675; Ламанский В.И. Михаил... С. 293; Билярский П.С. Материалы... С. 257, 699–702, 705–708, 726; Грот Я.К. Очерк... С. 16, 37–38; Куник А.А. Сборник... Ч. II. С. 383, 387; Лавровский П.А. О трудах... С. 23–25, 27, 33–34, 39–45; Пекарский П.П. Дополнительные... С. 49; *его же*. История... Т. I. С. 389–390, 628; т. II. С. 528; Соловьёв С.М. История... Кн. XIII. С. 546–547, 553–554; Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии... С. 155; Булич С.К. Указ. соч. С. 213–219; Иконников В.С. Август... С. 59–60; Летопись. С. 60–63, 226, 228–232, 235; Мохначёва М.П. Указ. соч. С. 49, 51, 77; Фомин В.В. М.В. Ломоносов... (2012). С. 140–

- 143, 167–178; Самарин А.Ю. Указ. соч. С. 48–57; Свердлов М.Б. М.В. Ломоносов... С. 604–669; Михаил Ломоносов... С. 38, 71, 343, прим. 107.
- ¹⁸ Крижанич Ю. Указ. соч. С. 625–626.
- ¹⁹ Крузе Ф. Происходят... С. 38.
- ²⁰ Быкова Т.А. Указ. соч. С. 241–242, 247; Пешищ С.Л. Русская... Ч. II. С. 237; Черепнин Л.В. А.Л. Шлёцер... (1966). С. 208; Городинская Р.Б. Указ. соч. С. 130–131.
- ²¹ Эмин Ф. Указ. соч. С. 35–37, 46–48, прим. а на с. 4, прим. а на с. 65, прим. а на с. 124, прим. а на с. 126, прим. а на с. 128, прим. а на с. 130, прим. б на с. 137, прим. а на с. 203, и др.; Куник А.А. Сборник... Ч. II. С. 385; Михаил Ломоносов... С. 37.
- ²² Новиков Н.И. Указ. соч. С. 127–128; Елагин И.П. Указ. соч. С. XXV–XXIX; Михаил Ломоносов... С. 33–35, 37, 43, 239, 246, 248, 277–279, 295, 440–441, 452.
- ²³ Пушкин А.С. О предисловии... С. 12.
- ²⁴ Сб. РИО. Т. 42. С. 199.
- ²⁵ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 593, 882–883; Mohrenschildt D. Op. cit. P. 286; М.В. Ломоносов в воспоминаниях... С. 211–220; Михаил Ломоносов... С. 190; Быкова Т.А. Указ. соч. С. 246, прим. 18; Соколова Н.В. Указ. соч. С. 164; Сомов В.А. Указ. соч. С. 146–147.
- ²⁶ Г.Т.Ф. Рейналь и У. Робертсон — французский и английский историки XVIII века.
- ²⁷ Михаил Ломоносов... С. 263, 270–273, 275. Ср.: Моряков В.И. Указ. соч. С. 114–125.
- ²⁸ Лысов В.П. М.В. Ломоносов... (1983). С. 25–26, 56–57, 81, 146, 159, 201, 238–239; *его же*. М.В. Ломоносов... (1992). С. 21, 85–86, 88–89, 134, 202; Фомин В.В. Ломоносовофобия... С. 258–260, 263–264, 312–313, 326, 498–500.
- ²⁹ Зиновьев А.З. Указ. соч. С. 56, 70, прим. 65; Белинский В.Г. Литературные... С. 65, прим. *; *его же*. Портретная... С. 613, 717, прим. 6133; Пекарский П.П. История... Т. II. С. 298, 835; Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии... С. 169; Ключевский В.О. И.Н. Болтин. С. 133; *его же*. Лекции... С. 449.
- ³⁰ Общественная... С. 164.
- ³¹ Крижанич Ю. Указ. соч. С. 496–497; Хомяков А.С. Мнение иностранцев... С. 558–559, 562–563, 572; Солоневич И.Л. Указ. соч. С. 24, 30, 93–94.
- ³² Пекарский П.П. История... Т. I. С. 308–309; т. II. С. 261–262, 664–665.
- ³³ Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии... С. 303.
- ³⁴ [Зубарев Ф.] Указ. соч. С. 100; Головачёв Г.Ф. Указ. соч. С. 62; Толстой Л.Н. Круг... С. 331–333.
- ³⁵ Пушкин А.С. Собр. соч. Т. 2. С. 533; Толстой Л.Н. Собр. соч. Т. 5. С. 310.
- ³⁶ Тютчев Ф.И. Указ. соч. С. 269, 271.
- ³⁷ Свак Д. Указ. соч. С. 121–129.
- ³⁸ См., напр: Фомин В.В. Ломоносов. С. 11–225; *его же*. Ломоносовофобия... С. 203–521.
- ³⁹ Белинский В.Г. Славянский... С. 366–395.
- ⁴⁰ Соловьёв С.М. Герард... С. 57–59; *его же*. Писатели... Стб. 1354, 1357; *его же*. Август... Стб. 1565, 1568; Чернышевский Н.Г. <Из № 11... С. 72–75.
- ⁴¹ Добролюбов Н.А. Указ. соч. С. 297.
- ⁴² Соловьёв С.М. История... Кн. 12. С. 287–288; Булич Н.Н. Указ. соч. С. 80–81, 83–85, 87–93, 96–107.
- ⁴³ Материалы. Т. 10. С. 63; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 9. С. 65–66, 680–681, 759, 761; т. 10. С. 35, 80, 228–238, 244–255, 286, 645–646, 648, 656–657, 669–675, 680–689, 866, прим. 5; Билярский П.С. Материалы... С. 491; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 46–47, 380, 652–654, 658–670; Соловьёв С.М. История... Кн. 9. С. 406–407, 412–414; кн. XI. С. 565–569; кн. XIII. С. 515.
- ⁴⁴ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 289–290, 519–520, 547–554, 672, 837–838; Билярский П.С. Материалы... С. 0103–0104, 283–294; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 25–26, 315–317, 326, 329, 335–337, 652; т. II. С. 574; Летопись. С. 245–246.
- ⁴⁵ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 648.
- ⁴⁶ Соловьёв С.М. История... Кн. 12. С. 274–275, 285–288; кн. XIII. С. 553–554.
- ⁴⁷ Дополнения А.А. Куника. С. 640, прим. 5; Пыпин А.Н. Русская... С. 582–585; *его же*. История... Т. I. С. 143–146; *его же*. Ломоносов... С. 702–703; *его же*. История... Т. III. С. 488, 491–492, 495, 498–500, 516–518, 522–523.

- ⁴⁸ Ключевский В.О. Лекции... С. 400–412, 446, 484, прим. 51; *его же*. Значение... С. 123.
- ⁴⁹ Миллюков П.Н. Указ. соч. С. 7–8, 10, 32–35, 100, 122–123, 125, 133, 146.
- ⁵⁰ Ягич И.В. Указ. соч. С. 83–86.
- ⁵¹ Берков П.Н. Указ. соч. С. 244.
- ⁵² Полевой Н.А. История... Т. 1. С. 28–30; Бантыш-Каменский Д.Н. Указ. соч. С. 194, 198 и прим. **; Устрялов Н.Г. О системе... С. 8–11, 13–14.
- ⁵³ Белинский В.Г. Славянский... С. 373–375, 378–381, 384; *его же*. ПСС. В 13 т. Т. XII. С. 331, 549.
- ⁵⁴ Соловьёв С.М. Герард... С. 39–69; *его же*. Писатели... Стб. 1350–1356, 1360, 1362; *его же*. Н.М. Карамзин... Стб. 1391–1392, 1397–1398; *его же*. Август... Стб. 1539–1576; *его же*. Шлёцер... Стб. 1577–1584, 1610; *его же*. История... Кн. XI. С. 545–546, 549–551; кн. 12. С. 277–280, 283–290; кн. XIII. С. 534–536, 543–552; Киреева Р.А. Указ. соч. С. 106, 134–135, 178–179.
- ⁵⁵ Пекарский П.П. История... Т. I. С. LXVI, 309, 338, 380–381, 405; т. II. С. 144–145, 427–428, 432–435, 473–475, 505–506, 560, 569–570, 610–613, 721–728, 760, 793–795, 824–836; *его же*. Наука... С. 320; Булич Н.Н. Указ. соч. С. 80–82, 86–87, 93–96, 105; Лыццов В.П. Жизнь... С. 45.
- ⁵⁶ Иконников В.С. Очерк... С. 8; Бестужев-Рюмин К.Н. Русская... С. 208–211, 217; *его же*. Биографии... С. 159; Пыпин А.Н. История... Т. III. С. 517–518; Ключевский В.О. И.Н. Болтин. С. 134; *его же*. Лекции... С. 397–400, 405–412, 415, 439–440, 448–452, прим. 35 и 50 на с. 483, прим. 51 на с. 484, прим. 90 на с. 487, прим. 124 на с. 488; Миллюков П.Н. Указ. соч. С. 20, 31–35, 50, 71–95, 103, 108, 119, 122–131, 146–147.
- ⁵⁷ Войцехович М.В. Указ. соч. С. 60–70, 74–75, 77–79, 83–87.
- ⁵⁸ Плеханов Г.В. Указ. соч. (1915). С. 212–218.
- ⁵⁹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 357, 539.
- ⁶⁰ Соловьёв Е.А. Указ. соч. С. 58–63, 65.
- ⁶¹ Войцехович М.В. Указ. соч. С. 60.
- ⁶² Ломоносов М.В. Древняя...
- ⁶³ Соловьёв С.М. История... Кн. 1. С. 87–88, 100, 198, 250–253, 276, прим. 142, 147, 148 к т. 1; кн. XI. С. 547–548; кн. XIII. С. 535–536; *его же*. Писатели... Стб. 1350–1351, 1353–1355; *его же*. Воспомятая... С. 546–549; Ключевский В.О. Памяти И.Н. Болтина. С. 171; *его же*. Лекции... С. 408–410; *его же*. Русская... Т. I. С. 301–323; Войцехович М.В. Указ. соч. С. 82–83.
- ⁶⁴ Пекарский П.П. История... Т. II. С. 430–431, 434, 824–825, 835; Ключевский В.О. Лекции... С. 402, 447; Наумова Г.Р. Указ. соч. С. 87.
- ⁶⁵ Соловьёв С.М. Август... Стб. 1545, 1550–1156; *его же*. История... Кн. XIII. С. 548–549; Пекарский П.П. История... Т. II. С. 824–825, 835; Пыпин А.Н. Русская... С. 584; *его же*. История... Т. I. С. 145; Ключевский В.О. И.Н. Болтин. С. 133; *его же*. Лекции... С. 441.
- ⁶⁶ Общественная... С. 48; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. рмв.
- ⁶⁷ Соловьёв С.М. Герард... С. 57–58; Билярский П.С. Материалы... С. 756; Лавровский Н.А. Указ. соч. С. 158–159; Пекарский П.П. Дополнительные... С. 50, прим. 1; *его же*. История... Т. II. С. 423–424, 429; Сочинения М.В. Ломоносова. С. 104–107, втор. пагин.
- ⁶⁸ Общественная... С. 4, 48; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. рма.
- ⁶⁹ Kuntik E. Verschiedene... S. XXXVI–XXXVIII; [Бутков П.Г.]. Очерк... (Ноябрь). С. 24–25, 33–35, 38; (Декабрь). С. 43–44, 47–48.
- ⁷⁰ Белинский В.Г. Россия... С. 121; *его же*. Славянский... С. 376.
- ⁷¹ Ewers J.P.G. Vom Ursprunge... S. 102, 113–115, 131–132, 162, 179–184; Эверс Г. Указ. соч. С. 18–19, 63, 71, 133, 148–153.
- ⁷² Карамзин Н.М. История... Т. I. С. 320, прим. 71, 72, 96, 106, 283, 513; т. II–III. Прим. 301 к т. II.
- ⁷³ Голлман Г.Ф. Указ. соч. С. 17; Фатер И.С. Указ. соч. № 9. С. 21; Лелевель И. Указ. соч. Ч. 9. № 1. С. 49; № 2. С. 97–99; № 3. С. 168; ч. 11. № 15. С. 139.
- ⁷⁴ Погодин М.П. О жилищах... С. 43, 60; Зиновьев А.З. Указ. соч. С. 11, 14–19, 70, прим. 59; Венелин Ю.И. Древние... С. 21, 175.
- ⁷⁵ Шенишин В. Указ. соч. № 11. С. 136–137, 140, прим. *; № 12. С. 217; Скрамненко С. [Строев С.М.]. О недостоверности... № 49. С. 388–391.
- ⁷⁶ Бодянский О.М. Указ. соч. С. 64; Каченовский М.Т. О кожаных... С. 335; Сазонов Н. Указ. соч. № 1. С. 144; № 2. С. 317–318.

- ⁷⁷ Венелин Ю.И. Скандинавомания... С. 27–29, 35–54; *его же*. [О происхождении... С. 37–38, 41, 44–50, 56–70.
- ⁷⁸ [Иванов Н.А.] Россия... С. 15; Максимович М.А. Откуда... С. 5, 10–13, 32, 59–61, 64, 136–147, прим. 3–4, 6 на с. 83–86, прим. 14 на с. 91, прим. 53 на с. 125; *его же*. Критико... С. 533.
- ⁷⁹ Надеждин Н.И. Об исторических... С. 97, 100–108, 117–118, 123–124, 129–136.
- ⁸⁰ Федотов А.Ф. О главнейших... С. 9, 14–42, 46–47, 56, 69–81; Письмо г. Максимовича... С. 198–211.
- ⁸¹ Морошкин Ф.Л. Указ. соч. С. 6, 18, 69, 111, 122; Савельев-Ростиславич Н.В. Предисловие. С. 6–7; Святной Ф. Что... С. 3.
- ⁸² Иванов Н.А. Общее... С. 23–33, 36–48, 52–64, 137–145, 206, 209, 243–247, 250–251; Макаров М.Н. Указ. соч. С. 56–57, 59.
- ⁸³ Артемьев А.И. Указ. соч. С. 2; Савельев-Ростиславич Н.В. Варяжская... С. 10–24, 27–28, 31, 39–49, 51; Славянский сборник... С. XV–XIX, XXI, XXIII–XXV, XXVII, XXXVIII–XXXIX, XLVIII–XLIX, I, LI–LXX, LXXIII–LXXXVIII, LXXXI–LXXXIII, CV, CVII, CXVI, CLXVI, CLXXI–CLXXII, CCXXVII–CCXXXIV.
- ⁸⁴ Старчевский А.В. Указ. соч. С. 124–126; Попов А.Н. Шлецер. С. 28–29, 40–44, 49, 51, 56–60; Погодин М.П. О трудах... С. 169–170; Соловьёв С.М. Каченовский... С. 82–83; *его же*. Писатели... Стб. 1358–1359; *его же*. Август... Стб. 1539, 1557–1558, 1573; *его же*. Шлёцер... Стб. 1582; Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии... С. 199–200.
- ⁸⁵ Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 56.
- ⁸⁶ Ламанский В.И. Михаил... С. 247–254, 279–280, 289–290.
- ⁸⁷ Грот Я.К. Очерк... С. 17.
- ⁸⁸ Лавровский П.А. О трудах... С. 21–22, 46, 49–56.
- ⁸⁹ Бестужев-Рюмин К.Н. Русская... Т. 1. С. 209–210, 217; *его же*. Биографии... С. 169–170, 178–179, 199; Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 51–53, 64–90, 97, 499; Коялович М.О. Указ. соч. С. 135–136, 148–151, 156–163, 176, 289.
- ⁹⁰ Ключевский В.О. Значение... С. 123; Милюков П.Н. Указ. соч. С. 74–78, 81–82; Иконников В.С. Август... С. 57–61, 69.
- ⁹¹ Тихомиров И.А. О трудах... С. 41–64.
- ⁹² Томсен В. Указ. соч. С. 18–19, 45, 64.
- ⁹³ Ленин В.И. ПСС. Т. 6. С. 65–68.
- ⁹⁴ Сахаров А.М. Ломоносов... С. 5.
- ⁹⁵ Пушкин А.С. О предисловии... С. 12; Соколова Н.В. Указ. соч. С. 169, 172.
- ⁹⁶ Шахматов А.А. Разыскания... С. III.
- ⁹⁷ Шахматов А.А. Повесть... С. LVIII.
- ⁹⁸ Андреев А.И. Ломоносов... С. 291; Рыдзевская Е.А. Древняя... С. 128.
- ⁹⁹ Черепнин Л.В. Историография. С. 46; Историография истории СССР (1971). С. 14.
- ¹⁰⁰ Рожков Н.А. Указ. соч. Т. 7. С. 142.; Плеханов Г.В. Указ. соч. (1925). С. 153–158.
- ¹⁰¹ Князев Г.А. Указ. соч. Стб. 29–40.
- ¹⁰² Бахрушин С.В. Г.Ф. Миллер... С. 19–51, 60–65; Андреев А.И. Труды... С. 66–69, 79–107, 113, 117, 127–132; *его же*. Ломоносов... С. 286, 289–292; Стенограмма... № 9. С. 74.
- ¹⁰³ Пешич С.Л. Русская историография о М.В. Ломоносове... С. 71; *его же*. Русская... Ч. I. С. 35–36; Сахаров А.М. Ломоносов... С. 14.
- ¹⁰⁴ Милюков П.Н. Указ. соч. С. 99; Рубинштейн Н.Л. Указ. соч. С. 81, 87–92, 95–115, 151–166; Стенограмма... № 9. С. 65–66.
- ¹⁰⁵ Татищев В.Н. История... Т. I. С. 289–310, 372, прим. 17 и 19 на с. 115, прим. 26 на с. 117, прим. 7 и 15 на с. 226, прим. 33 на с. 228, прим. 54 на с. 231, прим. 1, 5 и 6 на с. 307, прим. 28 на с. 309; т. IV. С. 82, 102; т. VII. С. 220, 282; *его же*. Избранные... С. 96, 205–206.
- ¹⁰⁶ Тихомиров М.Н. Русская... С. 94, 96, 99.
- ¹⁰⁷ История СССР. Т. I. С. 10, 78, 90, 743–744.
- ¹⁰⁸ Погодин А.Л. Вопрос... С. 269; Мошин В.А. Варяго... С. 14, 21, 25; Чествование... С. 36–37.
- ¹⁰⁹ Дурновцев В.И. Указ. соч. С. 712.

- ¹¹⁰ Тихомиров М.Н. Русская... С. 95–98; *его же*. Развитие... в России... С. 191–204; *его же*. Исторические... С. 64–73; Гурвич Д.М. Указ. соч. С. 107–119; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. М., Л., 1952. С. 551, 574, 577 (при анализе историографии рассматриваемого времени ссылки даются именно на это издание, во всех остальных-на издание 2011 г.); т. 9. С. 409–416, 822–831; Белявский М.Т. Работы... С. 116–122; *его же*. М.В. Ломоносов... (1961). С. 92–100, 103–106; Фруменков Г.Г. Указ. соч. С. 4–8, 18, 54; Коровин Г.М. Указ. соч. С. 17, 37–38, 43–45, 50, 224–291; Пештитч С.Л. Русская историография о М.В. Ломоносове... С. 64, 72–73, 76; *его же*. Русская... Ч. I. С. 20, 224; Сахаров А.М. Ломоносов ... С. 3–17; Историография истории СССР (1961). С. 15, 19; Гофман П. Указ. соч. С. 204–211; Винтёр Э. М.В. Ломоносов... С. 265–271; Морозов А.А. Указ. соч. С. 100–180; и др.
- ¹¹¹ Тихомиров М.Н. Русская... С. 97–98; *его же*. Развитие... в России... С. 197; *его же*. Исторические... С. 70; Гурвич Д.М. Указ. соч. С. 107, 109–110, 113–119; Белявский М.Т. Работы... С. 116, 122; *его же*. М.В. Ломоносов... (1961). С. 93, 97, 105–106; Сахаров А.М. Ломоносов ... С. 11–12; и др.
- ¹¹² Черепнин Л.В. Русская... С. 163–164, 181, 187–217; *его же*. А.Л. Шлёцер... (1966). С. 184–188, 195–199, 205, 212–213, 216–217, прим. 58 на с. 192; то же (1984). С. 45–73.
- ¹¹³ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 26–28, 49–50; Пештитч С.Л. Русская... Ч. II. С. 164, 168–187, 191–192, 196, 199–200, 203–209, 213, 215, 217–220, 222–230, 236–241.
- ¹¹⁴ Грабарь В.Э. Указ. соч. С. 112–113.
- ¹¹⁵ Алпатов М.А. Как... С. 119–120; *его же*. Русская... (1973). С. 12–14, 31, 46–47; *его же*. Русская... (1976). С. 6; *его же*. Варяжский... С. 32–34, 40–42; *его же*. Неутомимый... С. 117–124; *его же*. Русская... (1985). С. 9–19, 22–27, 36–42, 45–47, 53, 58–59, 61–71.
- ¹¹⁶ Моисеева Г.Н. К вопросу... (1962). С. 253–257; *её же*. Ломоносов... (1962). С. 181–194; *её же*. М.В. Ломоносов и польские... С. 140–142; *её же*. М.В. Ломоносов на Украине. С. 88–92, 97–98; *её же*. Ломоносов... (1971). С. 8–24, 60–61, 66–68, 72–127, 130–140, 145–146, 150, 156, 201, 223, 232, 239–240; *её же*. Древнерусская... С. 49–57, 204; Славяноведение... С. 224–225.
- ¹¹⁷ Шаскольский И.П. Антиномизм... С. 35–51.
- ¹¹⁸ Белковец Л.П. Г.Ф. Миллер в оценке... С. 118; *её же*. Россия в немецкой... С. 40; Молчанов А.А. Древнескандинавский... С. 45.
- ¹¹⁹ Белковец Л.П. Г.Ф. Миллер... (1988). С. 111–122; *её же*. Г.Ф. Миллер... (1989). С. 22–24, 27–29; *её же*. Россия... (1988). С. 17–47; *её же*. Россия... (1989). С. 3–4, 9–16, 26–27, 39–41.
- ¹²⁰ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 178–186, 638; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 25–26, 335–338, 381; Каменский А.Б. Академик... С. 144–159; *его же*. Работал... С. 21; *его же*. Ломоносов... С. 39–48; *его же*. «Под сению... С. 388–389; *его же*. Миллер. С. 447–449; *его же*. Судьба... С. 374, 380, 383–385; *его же*. Герард... С. 38–47.
- ¹²¹ Джаксон Т.Н. Варяги... С. 82; Некрасова М.Б. Михаил... (1995). С. 21–27; то же (2001). С. 19–24; *её же*. Отечественная... С. 12–15.
- ¹²² Щавелев С.П. Дань... Кн. 1. С. 119; кн. 2. С. 224–225, 246–254, 465.
- ¹²³ Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. рмз; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 353–354, 405–407; Соловьёв С.М. История... Кн. 12. С. 283–284, 287; Формозов А.А. Классики... С. 9–11, 14, 16–28; Копелевич Ю.Х. Указ. соч. С. 480.
- ¹²⁴ Ключевский В.О. Русская... Т. III. С. 208.
- ¹²⁵ Общественная... С. 26, 171; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 335, 631; т. II. С. 382–383; Князев Г.А. Указ. соч. Стб. 30–31, 38–39; Илизаров С.С. Академик... (1996). С. 65; *его же*. Академик... (1997). С. 160–165, 173; Академик Г.Ф. Миллер-первый... С. 5–10; Москва в описаниях... С. 45–46, 59.
- ¹²⁶ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 115–116, 122, 127, 185; т. 9. С. 748, 846–847; т. 10. С. 190, 292–293, 352–353, 458–460, 560–562, 570, 643, 719, 754, 758, 762, 801–803, 858, 865–866, 870–872; Миллер Г.Ф. История императорской... С. 583; *его же*. Описание... С. 155; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 372–373, 402–403, 645–646; Фундаминский М.И. Указ. соч. С. 55, 61–63; Михаил Ломоносов... С. 383, 408–409; Володина Т.А. История... С. 12–43; *её же*. У истоков... С. 5–18; *её же*. Учебная... С. 31–33, 38–39; *её же*. Учебники... С. 110–114.
- ¹²⁷ См., напр.: Смирнов А.С. Указ. соч. С. 17–18.

- ¹²⁸ Ломоносов: Краткий... С. 55, 63, 67–68, 105–106; Карпеев Э.П. Ессе... С. 251; *его же*. «Се человек... С. 106–121.
- ¹²⁹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 479.
- ¹³⁰ Полное собрание законов... Т. IX. № 6816. С. 584; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 348; Штелин Я.Я. Указ. соч. С. 36; Веревкин М.И. Указ. соч. С. 59; Смирнов С.К. Указ. соч. С. 182; Пекарский П.П. История... Т. II. С. 286–287; Летопись. С. 24–25, прим. 24; Морозов А.А. Указ. соч. С. 112–118, 126–150, 172–173, 178–180.
- ¹³¹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 5–6, 52–73. См. также: Леонова Л.С. Указ. соч. С. 126–141.
- ¹³² Ключевский В.О. Памяти А.С. Пушкина. С. 581; Писаренко К.А. Повседневная... С. 294–304, 328–342, 351–354, 835; *его же*. Ломоносов... С. 65–68.
- ¹³³ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 46, 275–276, 326–329, 337–339, 434–435, 706, 741–743, 748–755; Куник А.А. Сборник... Ч. II. С. 229–230, 359–360; Михаил Ломоносов... С. 133.
- ¹³⁴ Миллер Г.Ф. Описание... С. 151–152; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 390; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 737; Формозов А.А. Классики... С. 28; *его же*. Русские... (2004). С. 15–20, 25; *то же* (2006). С. 15–20, 25.
- ¹³⁵ Стриттер-И.М. Указ. соч. С. б/н.; Пекарский П.П. О переписке... С. 128–129; Пешич С.Л. Русская... Ч. II. С. 217; Козлов В.П. Указ. соч. С. 5–6; Охотина-Линд Н. Указ. соч. С. 36.
- ¹³⁶ См., напр.: Миллер Г.Ф. Сочинения...; *его же*. Избранные...
- ¹³⁷ Коровин Г.М. Указ. соч. С. 26.
- ¹³⁸ Дворниченко А.Ю. Г.Ф. Миллер... С. 11, 16–17; Тишкин Г.А., Крымская А.С. Указ. соч. С. 19–21.
- ¹³⁹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 20, 24, 31, 60; Карпеев Э.П. Русская... С. 26–36, 130–133.
- ¹⁴⁰ Головнёв А.В. Северная... С. 483–485; *его же*. Исторический... С. 313–314.
- ¹⁴¹ Пузанов В.В. Древнерусская... С. 185–186.
- ¹⁴² Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 108; Петрухин В.Я. Легенда... (2008). С. 41–42; *его же*. Русь из Пруссии. С. 127–129; *его же*. Русь... С. 232–234.
- ¹⁴³ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 8. С. 937; т. 10. С. 52–53, 141–142, 148–149; Уставы Российской... С. 53, 58–59; Билярский П.С. Материалы... С. 51–52; Пекарский П.П. История... Т. II. С. XXVI–XXVII, XXXII; Соловьёв С.М. История... Кн. XIII. С. 560; Летопись. С. 79; Михаил Ломоносов... С. 373, прим. 169; Клейн Л.С. Спор... С. 15–25, 89, 239–240, 250–255, 258; *его же*. Трудно... С. 136–138, 614; Леонов В.П., Савельева Е.А. Указ. соч. С. 242–251. О несостоятельности взглядов Клейна на русские древности, о его многочисленных ошибках и натяжках в интерпретации варяжского вопроса и его историографии см.: Фомин В.В. Ломоносовофобия... С. 353–406; *его же*. Гольи...
- ¹⁴⁴ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 507, 514, 831–836; Грот Я.К. Очерк... С. 5; Фомин В.В. Слово о Ломоносове. С. 6–68.
- ¹⁴⁵ Маловичко С.И. Указ. соч. С. 283–297.
- ¹⁴⁶ Пчелов Е.В. Рюрик. С. 51, 53–54, 56, 72, 74–87. См. также: Фомин В.В. Труды... С. IV–XVI.
- ¹⁴⁷ Горский А.А. В дыму... С. 172–179; Каменский А.Б. Человек... С. 18; Фомин В.В. Слово о Ломоносове. С. 52–59.
- ¹⁴⁸ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 9. С. 269–274, 672–675, 754–757; т. 10. С. 44–45, 279, 286, 299–300, 304–305, 538, 562–564, 598, 725–726, 849, 867–868; Пекарский П.П. История... Т. II. С. 555–556; Летопись. С. 380; Павлова Г.Е., Фёдоров А.С. Указ. соч. С. 333–334.
- ¹⁴⁹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 229; Билярский П.С. Материалы... С. 31–52; Ламанский В.И. Ломоносов... С. 7; Пекарский П.П. История... Т. II. С. 348, 545–546; Белявский М.Т. М.В. Ломоносов... (1955). С. 82–84; Летопись. С. 78–79; Михаил Ломоносов... С. 135–143, 368–373.
- ¹⁵⁰ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 9. С. 763–764, 919–920; т. 10. С. 518–519, 660–661, 694; Пекарский П.П. Дополнительные... С. 49, 87; *его же*. История... Т. I. С. 24–25, 33, 54–55, 393; т. II. С. 785–786; Илизаров С.С. М.В. Ломоносов... С. 83–84, 91, 103, 120, 125, 132.
- ¹⁵¹ Материалы. Т. 5. С. 376–380, 561–594; т. 7. С. 158–163; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 9. С. 914–916, 928; т. 10. С. 276–279, 312, 351–353, 396, 559, 565, 592, 706–710, 737, 745–746, 762, 880–881, прим. 1 на с. 864 и с. 869; Миллер Г.Ф. Описание... С. 152; Общественная... С. 198–199; Пекарский П.П. Дополнительные... С. 88; *его же*. История... Т. I. С. 33–44, 327, 343; Соловьёв С.М. История... Кн. XI. С. 536–545; Андреев А.И. Труды... С. 83; Летопись. С. 374–376, 379,

- 415–418; Павлова Г.Е., Фёдоров А.С. Указ. соч. С. 170; Михаил Ломоносов... С. 189, 372–373; Смолеговский А.М. Указ. соч. С. 292–293, 297, 301, 303–304, 306, 309, 315, 324; Фомин В.В. Разработка... С. 92–100.
- ¹⁵² Материалы. Т. 8. С. 715–717; т. 9. С. 274–276, 556–557; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 61, 173–186, 287, 548, 632–639, 856–857; Пекарский П.П. История... Т. II. С. 383; Турнаев В.И. Указ. соч. С. 62, 64. О «деле» Делиля см: Фомин В.В. Ломоносовофобия... С. 308–311.
- ¹⁵³ Мельникова Е.А. Норманская... С. 560; Петрухин В.Я. Русь в IX... С. 21–22, 212–214; *его же*. Русь христианская... С. 457, 464, 480.
- ¹⁵⁴ Славяне и Русь. С. 237–238, 247, 414, прим. 53, 54, 60, 64; Кузьмин А.Г. История... Кн. 1. С. 73; *его же*. Начало... С. 30–31, 34–38, 40, 358, коммент. 38.
- ¹⁵⁵ Лосиевский И.Я. Указ. соч. С. 6–24.
- ¹⁵⁶ Меркулов В.И. Эволюция... С. 77–83.
- ¹⁵⁷ Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Указ. соч. С. 69–73, 83–85.
- ¹⁵⁸ Лачаева М.Ю. Принципы... С. 85–94; *её же*. История... С. 214–226, 229–243.
- ¹⁵⁹ Наумова Г.Р., Никонов А.В. Указ. соч. С. 39–51; Наумова Г.Р. Указ. соч. С. 83–91.
- ¹⁶⁰ Каштанов С.М., Столярова Л.В. Указ. соч. С. 1142–1147.
- ¹⁶¹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 25–26, 28, 41, 49; Свердлов М.Б. М.В. Ломоносов... С. 11–12, 24–26, 30–31, 34, 63, 70–79, 84–86, 102–103, 119, 151, 204, 217, 257–258, 264, 299, 303, 312–321, 327–333, 336, 341–355, 371–374, 385–386, 392–417, 471, 480–481, 529–545, 548–588, 595–669, 674, 687–701, 708–714, 725–738, 740–797, 802–812, 815–817, 826–833.
- ¹⁶² Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 7–232; Фомин В.В. Примечания. С. 437–566.
- ¹⁶³ Байер Г.З. О варягах. С. 344–362; Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 366–398; Шлёцер А.Л. Опыт... С. 251–354.
- ¹⁶⁴ С. Повести...; Повесть временных лет / Сост., примеч. и ук. А.Г. Кузьмина, В.В. Фомина. Вступ. ст. и перевод А.Г. Кузьмина (2014); *то же*. (2016); Приложения // Фомин В.В. Начальная... С. 232–268.
- ¹⁶⁵ Венелин Ю.И. Скандинавомания... С. 25–81; *его же*. Известия... С. 95–107; Гильфердинг А.Ф. Указ. соч.; Гедеонов С.А. Варяги и русь (издания 2004, 2005 и 2018 гг.); Куник А.А. Предисловие... С. 135–166; Погодин М.П. Г. Гедеонов... С. 175–241; Мошин В.А. Варяго... С. 11–102; Ильина Н.Н. Указ. соч. С. 19–136.
- ¹⁶⁶ См., напр.: Фомин В.В. Страсти... С. 55–72; *его же*. Труды... С. IV–XVI. Ср.: Гимон Т.В. Татищевские... С. 803–804.
- ¹⁶⁷ Татищев В.Н. История... Т. I–VII; Соловьёв С.М. Писатели... Стб. 1347; Фомин В.В. Труды...

Глава 3

М.В. ЛОМОНОСОВ И Г.Ф. МИЛЛЕР КАК ИСТОРИКИ

3.1 Предыстория обсуждения речи-«диссертации» Г.Ф. Миллера

Чтобы установить, соответствует ли истине торжествующий в науке негативный приговор М.В. Ломоносову как историку, вынесенный и беспрестанно культивируемый норманистами, надлежит обратиться, чего так они старательно избегают, к первоисточникам: к «диссертации» Г.Ф. Миллера «О происхождении народа и имени российского», которую обычно преподносят в качестве высочайшего образца исторической мысли того периода, и материалам её обсуждения 1749–1750 гг., в первую очередь замечаниям на неё Ломоносова. При этом детально сверяя их с уровнем развития исторических знаний, с одной стороны, времени дискуссии, с другой, нашего времени, тем самым определяя качественное состояние доказательной базы учёных и соблюдение ими принципа историзма. В связи с чем необходимо сразу пояснить, что на «диссертации» XVIII в. не следует смотреть через призму сегодняшнего их статуса, как это ошибочно делают, о чём уже говорилось, А.В. Головнёв и Л.С. Клейн.

В эпоху Ломоносова и Миллера «диссертациями» называли как научные работы, так и посвящённые какому-то важному событию или лицу торжественные речи (совершенно разные по жанру сочинения Ломоносова и Миллера, с которыми им было поручено выступить 6 сентября 1749 г. на торжественном заседании Академии наук и о которых будет речь, Канцелярия называет «диссертациями»¹). Согласно правилу Петербургской Академии наук, вытекающему из ряда положений её уставов 1724 и 1747 гг., «диссертации» студентов, адъюнктов, профессоров и академиков подвергались обязательному обсуждению на заседаниях Академического собрания (именуемого также Профессорским собранием и Конференцией), которые нередко длились месяцами (данное правило распространялось на рукописи и переводы трактатов, представленные в Академию «для апробации» лицами, не имеющими к ней отношения).

На этих заседаниях, проходивших обычно раз в неделю, «диссертацию» надлежало прочитать, освидетельствовать и лишь только в случае одобрения отдать в печать (подобная щепетильная забота Академии о своей репутации позволила ей в кратчайшие сроки стать «крупным мировым научным центром. В 1736 г. известный французский физик Дорту де Меран писал: “Петербургская академия со времени своего рождения поднялась на выдающуюся высоту науки, до которой академии Парижская и Лондонская добрались только за 60 лет упорного труда”»²). К тому же 24 марта 1748 г. Канцелярия Академии наук постановила: для просмотра и апробации «кем-нибудь или обще всеми» сочинений профессоров университета («как на латынском, так и на российском и других языках») быть Историческому собранию («особливому профессорскому собранию»), в котором «всё то прочтено и пересмотрено быть имеет, что в департаменте историческом сочинено будет, такожде и сочинения, стихотворения, критические, философские и все гуманиора (т. е. гуманитарного характера. — В.Ф.), а притом и расположение, касающееся до Университета и Гимназии, а потом общим согласием представлено в Канцелярию для исполнения» (и заседания которого должны проходить еженедельно)³.

Такой экспертизе подверглись в 1739 и 1741 гг. три «диссертации» студента Ломоносова, присланные из Германии, рецензентами которых выступили академики Г.В. Крафт, И. Вейтбрехт, Л. Эйлер, Х. Гольдбах, Х.Н. Винстейм. Многочисленные его «диссертации», изобретения, сопровождавшиеся демонстрацией опытов, и переводы трудов европейских авторов рассматривались на Академическом собрании и после, когда Ломоносов был уже адъюнктом и академиком (выше указывалось, что за «диссертацию» «О металлическом блеске», тема которой 3 мая 1745 г. была задана Академическим собранием в качестве испытательной «для получения места среди профессоров» и которая была представлена им 28 мая, академики единогласно удостоили Ломоносова профессорского звания). При этом ряд «диссертаций» учёного вызывала у высокого собрания вопросы и отправлялась, что было в порядке вещей, на доработку.

Например, «Проект конструкции универсального барометра» (1749), позволявшего измерить силу притяжения Луны, Солнца и других небесных тел, т. е. приливообразующих сил, что тогда считалось неосуществимым, «ночезрительная труба» (1756), представляющая собой прототип современного прибора ночного видения. Показательна в данном плане судьба его «Краткого руководства к риторике на пользу любителей сладкоречия», в марте 1744 г. отклонённого Академическим собранием по причине отрицательного заключения Миллера (причём абсолютно формального: оно написано на русском, а не на латинском языке, материал изложен более кратко, чем в других курсах риторики). Ломоносов затем несколько лет трудился над ним и в 1748 г. издал знаменитое «Краткое руководство к красноречию» (или «Риторику»), утвердившее основы начала русской литературной речи и получившее высокую оценку современников, в том числе многочисленных читателей, от имени которых книготорговцы её «беспрестанно» спрашивали.

Более того, некоторые его «диссертации», несмотря на уже имевшиеся положительные отзывы российских академиков, были подвергнуты, по инициативе

И.Д. Шумахера, стоявшего во главе Канцелярии Академии наук, дополнительному рецензированию с привлечением европейских научных авторитетов. Так, в июле 1747 г. Канцелярия отправила статьи Ломоносова «Физические размышления о причинах теплоты и холода» и «О действии химических растворителей вообще» «к почётным Академии членам Эйлеру, Бернулию и к другим, какое об оных мнение дадут и можно ли оные напечатать, ибо о сём деле из [з]дешных профессоров ни один основательно рассудить довольно не в состоянии». Как сообщал (в том числе лично президенту Академии наук К.Г. Разумовского) в ноябре того же года Л. Эйлер из Берлина (куда он переехал из России в 1741 г.), «я чрезвычайно восхищён, что эти диссертации «не токмо хороши, но и превосходны, ибо он изъясняет физические и химические материи самые нужные и трудные, кои совсем неизвестны и невозможны были к истолкованию самым остроумным учёным людям, с таким основательством, что я совсем уверен о точности его доказательств», что Ломоносов «одарован самым счастливым остроумием для объяснения явлений физических и химических. Желать надобно, чтобы все прочие Академии были в состоянии показать такие изобретения, которые показал г. Ломоносов».

Направлял Шумахер Эйлеру (да и другим европейским знаменитостям) работы Ломоносова и в последующие годы, ожидая, отмечает П.П. Пекарский, неблагоприятные отзывы. Однако великий Эйлер всегда с высочайшей похвалой отзывался о «диссертациях» «мудрейшего Ломоносова» и его «прекрасных дарованиях»: «Сколь много проникательству и глубине вашего остроумия в изъяснении претрудных химических вопросов я удивлялся», «как я всегда удивлялся счастливому твоему остроумию, которым в толь разных науках превосходишь и натуральные явления с особливим успехом теоретически изъясняешь». А как настраивал Шумахер Эйлера против Ломоносова, видно из его письма от 1 января 1754 г.: у Ломоносова «замечательный ум и что у него особливое пред прочими дарование, того не отвергают и здешние профессора и академики. Только они не могут сносить его высокомерия и тщеславия, что будто бы высказанный им в разсуждении («Изъяснения, надлежащие к Слову о электрических воздушных явлениях». — В.Ф.) мысли новы и принадлежат ему. ... В особенности не намерены они простить ему, что в своих примечаниях он дерзнул нападать на мужей, прославившихся в области наук». На что Эйлер ответил 23 февраля: я прочитал сочинение Ломоносова «и нигде там не мог приметить, чтобы он презрительно писал о великих людях».

Причём «диссертации» Ломоносова содержали не только важнейшие открытия, свидетельствовавшие об успехах отечественной науки (непременный секретарь Берлинской Академии наук И.Г.С. Формей в октябре 1753 г. сообщал Ломоносову, характеризуя его как «искусный химик», что в своём журнале «Новая германская библиотека, или литературная история Германии, Швейцарии и северных стран» «я пространно и с удовольствием описал вашу прекрасную диссертацию о светлости металла»), но и столь необходимый тогда инструмент для её дальнейшего развития. Так, в «Волфианской экспериментальной физике», переведённой Ломоносовым на русский язык и ставшей первым учебником по данной дисциплине (вышла в свет в 1746, переиздана в 1760–1761),

впервые была создана научная терминология в области физики (до Ломоносова, отмечал С.М. Соловьёв, названия научных трудов, выпускаемых Академией наук, в русском переводе были громоздкими и непонятными, и что он — «даровитейший из членов Академии» — создал для науки язык).

И сам Ломоносов давал, по распоряжению Академического собрания, отзывы — положительные и отрицательные — на сочинения коллег и сторонних лиц (например, на «диссертации» В.К. Тредиаковского, Г.В. Рихмана и С. Клингштерна, на лексиконы К.А. Кондратовича и Г. Дандоло, на «Историю Сибири» Г.Ф. Миллера, на трагедию А.П. Сумарокова «Гамлет» и его «Эпистолы», на труды С.П. Крашенинникова «Описание земли Камчатской» и И.Г. Гмелина «Путешествие по Сибири», на речи-«диссертации» С.П. Крашенинникова и И.А. Брауна, которые должны были прозвучать на публичном собрании Академии наук)⁴. Экспертизе коллег должны были подвергнуться, о чём преднамеренно умалчивают норманисты, «диссертации» академика Ломоносова и профессора Миллера («по тогдашнему академическому уставу, — поясняет П.П. Пекарский, — члены Академии исторического класса не принадлежали к числу академиков, но числились при университете и назывались профессорами. Между ними был Миллер»⁵), с которыми им предстояло выступить, по поручению президента Петербургской Академии наук К.Г. Разумовского, данному 23 января 1749 г., на «асамблее публичной» — на торжественном заседании Академии, назначенном на 6 сентября, на следующий день после «высочайшего тезоименитства»⁶.

3 апреля предписывалось, с целью дать порученному делу официальный ход и чёткий порядок его осуществления, направить Ломоносову и Миллеру указы, чтобы они «немедленно сделали свои сочинения... После сего Академическому собранию, Историческому департаменту... в то время, когда из Канцелярии велено будет, вместе собраться, профессорския сочинения прилежно выслушать... и сообщить свои мнения, касающиеся до поправления и до большего совершенства тех дел. После всё то набело переписать... и послать в Москву, к его высокографскому сиятельству господину президенту для апробации» (в первопрестольной год — с декабря 1748 г. по декабрь 1749 г. — находились императрица, весь двор и все высшие государственные учреждения, там же обязан был быть по должности Разумовский. В связи с чем 17 декабря он распорядился об «учреждении» двух канцелярий Академии: «Санктпетербургской», в которой остаётся Шумахер, и «Главной Московской»: «а за мною в Москву ехать другому Канцелярии члену, Теплову, с потребным числом канцелярских служителей»). Однако если тема «диссертации» Ломоносова была сразу чётко обозначена как «похвальная речь» («панегирик») Елизавете Петровне, то тема «диссертации» Миллера не была спущена сверху: он должен написать «сочинение об учёной материи» («об исторической материи»), причём президент предложил «на его волю избрать какой угодно ему предмет»⁷.

Выбор докладчиков, к которым он испытывал острейшую неприязнь (потому и говорил в письме Г.Н. Теплову 9 февраля 1749 г. о склонности к нахальству того и другого), был сделан устройтелем «асамблей» И.Д. Шумахером. Он же 8 февраля просил президента дать Ломоносову своего рода план «диссертации» (и вместе с тем опять же прописал процедуру её прохождения): в «ука-

зе написать... чтоб он не забыл в диссертации приписать похвалу основателю Академии гдрю имп. Петру Великому и покровительнице ныне достохвально владеющей гдрне императрице, после б объявил о начале, происхождении и нынешнем состоянии химии, а потом бы описал некоторые новые опыты, и ту сочинённую диссертацию объявил бы в собрании академиков, а потом подал бы здесь в Канцелярию для отсылки к апробации к вашему в. гр. сиятельству, которую по апробации б напечатать дозволено было»⁸.

9 февраля Канцелярия Академии наук поручила Ломоносову выступить с похвальным словом Елизавете Петровне, подтвердив своё решение выдачей 7 апреля соответствующего предписания — ордера⁹ (подобные почётные поручения государственного уровня выполнялись членами Академии и до, и после. Так, например, 1 августа 1726 г. Г.З. Байер на немецком языке произнёс в честь Екатерины I — на публичном собрании Академии наук и «в её высочайшем присутствии» — «хвалебную речь». На другом таком же собрании, состоявшемся 4 марта 1728 г. по случаю коронации Петра II, опять же Байер прочёл напечатанное «стихотворение по-латыни, в героическом размере воспевавшее новокоронованного императора». Он же стихами на латыни, надлежит добавить, пожелал счастья императору 25 мая после его обручения с Марией Меншиковой. В сентябре 1762 г. Г.Ф. Миллер выступил с речью в публичном Академии собрании в честь Екатерины II после её коронации»¹⁰).

К работе над словом Ломоносов приступил практически сразу, не оставляя при этом своих других многочисленных и неотложных дел (либо заявленных им в планах, либо поручаемых от имени президента Академии, Канцелярией). В его отчёте о работе за январскую (первую) треть 1749 г., поданном 8 мая в Канцелярию, сказано, что «зачал сочинять слово похвальное к будущему в сентябре месяце публичному Академическому собранию». 26 мая в плане работ на майскую треть он уже ставил перед собой задачу «приводить похвальную речь к окончанию», и одновременно с тем «продолжать опыты в Химической лаборатории... поправлять и помогать сочиня[ть] “Российский лексикон” (рукопись этого словаря русского языка, заключавшего в себе около 40 000 слов, утеряна. — В.Ф.), и начатые прошлого года диссертации оканчивать».

«Слово похвальное императрице Елизавете Петровне», написанное на русском языке, Ломоносов передал в «Санктпетербургскую» Канцелярию Академии 3 августа, которая в тот же день отправила рукопись в Москву К.Г. Разумовскому. «Слово» было весьма высоко оценено президентом, и он начертил на его титульном листе: «Печатать по сему» (тем самым вынося, что позволял ему §17 регламента Академии наук и художеств 1747 г., окончательный вердикт как её первого лица — печатать без обсуждения). 10 августа Г.Н. Теплов отослал его в Петербург (через неделю Шумахер, отвечая ему, говорил: «очень рад, что вы нашли столь превосходным панегирик г. Ломоносова и желаю, чтоб речь г. Миллера заслужила такое же одобрение»). 18 августа Шумахер, обязав Ломоносова представить речь на латинском языке, приказал её русский текст, «оставя все имеющиеся при Типографии дела печатать... с крайним поспешением как днём, так и ночью»¹¹.

Совершенно иначе обстояло дело с «диссертацией» Миллера «об учёной материи», над которой ему было поручено работать одновременно с Ломоносо-

вым. 3 августа, когда «репортом в Главную Канцелярию Академии наук» было послано «к апробации» «Слово» Ломоносова, «Санктпетербургская» Канцелярия констатировала: «А что касается до речи, которую сочиняет господин профессор Миллер, и она и по сие время в здешнюю Канцелярию не подана». А не была подана прежде всего потому, что историограф взялся за разрешение, да ещё в несколько месяцев, сложнейшей темы русской истории, которой до этого не занимался вовсе. В связи с чем он и не мог представить её истинных масштабов. Лишь только позже учёный, объясняя провал «диссертации», заметил: она была сочинена за три месяца, «что для такой материи, которую из историков всех народов собрать было должно, весьма мало»¹² (для сравнения: по его же словам, сказанным в «репорте» К.Г. Разумовскому от 17 марта 1747 г., «при рассмотрении сочинённого комиссаром Крекшиным родословия... я почти четыре месяца трудился»¹³, потому как всё для него было абсолютно ново).

К тому же этой сложнейшей «материи» Миллер не мог уделить должного внимания, т. к. его приоритетом в то время были совершенно иная история и иные века: «по возвратном моём из Сибири приезде, — подчёркивал он в автобиографии, написанной в 1775 г., — главнейшее моё попечение состояло в сочинении Сибирской истории, по собранным мною архивским спискам и собственным примечаниям». По свидетельству А.Л. Шлёцера от 1768 г., «Миллер поначалу также посвятил себя древней российской истории, как следует из объявления, где он в 1732 году анонсирует выход Saml. Russ. Gesch. Однако, как известно, затем последовало его десятилетнее путешествие по Сибири, вернувшись из которого он занялся другими темами». И занялся, по уточнению самого Миллера, «новой русской историей и писать о ней», по причине чего, резюмировал П.Н. Милюков, «центр тяжести в изучении русской истории должен был передвинуться из глубокой древности в XVI–XVIII столетие»¹⁴.

И этот центр тяжести (не отличавшийся дотоле основательностью, потому-то перед поездкой в Сибирь, замечает С.В. Бахрушин, «он имел, однако, лишь некоторое “знакомство с теми из находившихся в Академической библиотеке книгами и рукописями”, которые он “учился переводить при помощи переводчика”») передвинулся во время его нахождения в Сибири (во Вторую Камчатскую экспедицию профессор истории отправился в августе 1733 г.). Вернувшись в феврале 1743 г. в Петербург Миллер практически весь ушёл в изучение и систематизацию собранного на необозримых сибирских просторах, которые «до Нерчинска и до Якуцка объездил» (по собственному подсчёту, в целом за это путешествие «он проехал 31362 версты»)¹⁵, в течение 9 с половиной лет огромного материала — исторического, географического, археологического, лингвистического, этнографического. В результате чего постепенно складывалась — в ходе неустанной работы, формирующей в нём качества историка, — «История Сибири», начатая в разных разделах, а затем в целом (о её сочинении он прямо говорит в декабре 1741 г.) в упомянутой экспедиции, имевшей широкие практические и научные цели. Как констатировал Миллер в предисловии к своему труду, «понеже при отправлении моём в Сибирь главное намерение к тому склонялось, чтоб историю сей пространной земли обстоятельно описать» (как того собственно и требовала инструкция, данная ему Академией перед отбытием в экспедицию).

И им в выполнении этой задачи многое уже было сделано в Сибири. 7 августа 1746 г. в «Реэстре» «репортов, и доношений, и описаний, и рисунков, и всяких вещей в Правительствующий Сенат и в Академию наук», отправленных Г.Ф. Миллером и И.Г. Гmeliным из Сибири, «и что с нами в Санкт-Петербург привезено и в Академию отдано, и что ещё при нас находится», упомянуты его многочисленные «обсервации исторические», «историческое и географическое описание» уездов, история и описание «Аргунских серебряных заводов», описания рек, сухопутных и водных путей, «Известие о реке Амуре и о разграничении с Китайским государством», «Известия о морском ходе из реки Лены ради обретения восточных стран, сочинённые из дел якуцкой архивы и из словесных сказок якуцких обывателей», истории и описание крепостей и городов, посланные Миллером в Петербург в 1734–1742 гг. (большим подспорьем ему в работе над «Историей Сибири» явилась, следует заметить, «Сибирская история» С.У. Ремезова, приобретённая им в 1734 г. в Тобольске)¹⁶.

1 апреля 1743 г. Миллер «всепоподданейше» поднёс императрице часть «Истории Сибири». В тот же день в Академию наук из «кабинета ея и.в.» поступил указ: «поданную ея и.в. от профессора Миллера книгу “Описание сибирских народов”, перевести на российский диалект». 9 апреля Канцелярия распорядилась: «книгу немецкаго языка, содержащую в себе описание Сибири» отослать «переводчику Ивану Голубцову, при указе, в котором написать, чтоб он... сию книгу рачительно, со всяким тщанием и всевозможным поспешением на российский язык переводил, а по переводе при рапорте своём взнёс в Канцелярию». 2 ноября Голубцов «репортовал» об окончании перевода¹⁷. Затем в истории написания «Истории Сибири» наступила длительная пауза, которая на короткий срок была прервана 11 марта 1745 г., когда Канцелярия постановила: перевод книги Миллера «Историческое описание Сибири» «для подания в кабинет» отдать автору для исправления, после чего её надлежало переписать к 1 апрелю. Как констатирует А.И. Андреев, в последующих документах «не нашлось никаких следов того», что данное постановление было реализовано.

Но всё кардинально изменилось в августе 1746 г., когда Канцелярия написание «Истории Сибири» взяла под неусыпный контроль, настойчиво при этом торопя автора. Потому как, заостряла она 7 августа его внимание, «на Сибирскую историю», которая на Миллера «с 733-го года положена», «столько уже иждивений и времени положено, что ежели она теперь оставлена или другим каким делом воспрепятствована будет, то из того привеликий ущерб интереса государственного воспоследовать может». Тогда же ему было предписано подать на имя К.Г. Разумовского (только что в мае 1746 г. ставшего — в 18 лет — во главе Академии) «репорт, в котором объявил бы, каким он методом оную сочинять намерен, дабы господин президент о том сведом быть мог, и старался бы оную как можно скоро к концу приводить». В тот же день, 7 августа, в упомянутом «Реэстре» среди «описаний», которые «Миллер о Сибири дать намерен», названы: «Журнал всему пути профессорам Гмелина и Миллера», первая часть которого «на бело переписана и к подаче готова», «История Сибирская», первая книга которой «с прописанием принадлежащих документов» поднесена Елизавете Петровне в апреле 1743 г. «для высочайшей

апробации», «Географическое описание Сибири по губернскому разделению в провинции, уезды и дистрикты», «Географическое описание по рекам», «Описание о всяких поведениях и о вере всех живущих в Сибири народов», «Описание торгов, происходящихся в Сибири», «Описание нынешнего состояния Сибири», «Описание всяких в Сибири находящихся древностей». Завершался этот перечень словами: «А оных описаний сколько когда свершится, то тогда и подано будет».

В сентябре архив Конференции принял от Миллера переплетённый том «Истории Сибири, кн. 1-я», «содержащий 4 главы на немецком языке с приложением русских архивных документов». 14 сентября учёный в «репорте» на имя президента пояснил, «что о “методе”, по которому он сочиняет сибирскую историю, можно судить по первой книге; если же в чём-либо этот “метод” неправилен, то просит дать указания». Подчеркнув вместе с тем, что «у меня столько к печатанию приготовлено, что один пресс в год того не напечатает». Однако процесс выхода в свет написанного им был довольно непрост, и его протяжённость зависела в том числе от него самого. 29 ноября и 30 декабря 1746 г. ему приказывалось (и от имени Разумовского, и по указу «ея и.в. самодержицы всероссийской», ибо Академия наук была подотчётна только ей, и потому от её имени делались распоряжения и выносились решения, касавшиеся внутренней жизни этого учреждения): чтобы он русский перевод книги «о сибирской истории на немецком языке», которую в 1743 г. подал императрице и которая тогда же была прислана в Академию, «сам пересмотрел, исправил и в такое состояние привёл, чтоб оную напечатать было можно, и потом бы внёс в Канцелярию, где о напечатании сей книги надлежащее решение учинено будет». 17 января Миллер в «репорте» президенту сообщал: «Ныне же, по полученному от вашего графского сиятельства указу, упражняюсь я во исправлении российского перевода сочинённой мною Сибирской истории».

19 февраля 1747 г., в соответствии с его предыдущим «репортом», было «определено»: ему «вторичным приказом подтвердить, чтоб он Сибирскую свою историю и географию, и все до Камчатской экспедиции касающиеся описания, прежде всего и оставя все другия дела, к такому окончанию приводил, чтоб оныя можно было при Академии напечатать». В связи с чем Миллер 17 марта докладывал Разумовскому, что, во-первых, «моя охота больше склоняется к скорому окончанию сибирских описаний, разве когда препятствие имею от других дел, которые мне отправлять велено», во-вторых, исправляет перевод своей книги, который может занять ещё месяц, в-третьих, к печатанию им вообще приготовлено 6 книг: «Сибирская история», «География сибирская по провинциям, уездам и дистриктам», «География по рекам», «Описание народов», «Описание о сибирских торгах» и «Описание нашего сибирского путешествия», в-четвёртых, если президент соизволит «приказать из оных книг какую или все напечатать, то в продолжении от меня остановки не будет». 27 марта Канцелярия определила: «означенные шесть книг от него, Миллера, отданы в Конференцию, о том справиться с профессором Винцгеймом (Х.Н. Винсгейм, конференц-секретарь Академии. — В.Ф.); а буде не отданы, то требовать от него, Миллера, чтоб оныя подал в Канцелярию».

В начале июля 1747 г. Миллер сдал перевод в Канцелярию, которая 7 июля приняла решение отослать его Ломоносову с тем, чтобы, он, «разсмотря и исправя, при репорте взнести в Канцелярию» (а в это время Ломоносов участвовал в разбирательстве спора Миллера с Крекшиным по поводу происхождения Романовых и принял сторону первого). Указ о рассмотрении «Истории Сибири» был направлен ему 11 июля, а чуть позже и сама рукопись. Распоряжение Канцелярии было им исполнено, и рукопись с его замечаниями была возвращена автору. 1 ноября 1747 г. Канцелярия приказывает Миллеру, чтоб он, оставя все иные академические дела, «камчатския известия вместе» с И.Э. Фишером (зимой 1739 г. выехал в Сибирь на смену Миллеру, вернулся в начале 1747 г.) «немедленно в порядок привёл и оныя в Канцелярию в таком состоянии, чтоб оныя печатать можно, без отговорок или дальнейшего представления подал». 6 ноября, как записано в материалах Канцелярии, «профессор Миллер обязывается служить ей и.в. при Академии наук историографом» по инструкции, которая ему будет дана от президента или от Канцелярии (с назначением жалования 1200 руб. в год).

В тот же день Миллер ознакомился с условиями будущего контракта, сопроводив их своими пояснениями. Так, в отношении пункта «Сибирскую историю и прочия сибирския описания таким образом производить, чтоб всякой год можно было напечатать по одной книжке», он с довольно большим оптимизмом написал: «Сие, когда Бог даст здоровье, весьма можно мне исполнять; я могу делать и больше того, токмо чтоб я имел то удовольствие, чтоб зачинали печатать, которыя уже к печатанию приготовлены. По третьему пункту, когда окончается Сибирская история, то я употреблён буду к сочинению истории Всероссийской империи по тому плану, который мною сочинён». В отношении же пункта, что он назначается не только историографом, но и профессором при университете, Миллер просил, ибо должность историографа требует «довольно трудов», его «от чтения лекций при университете освободить».

9 ноября Миллер передал в Канцелярию первую часть «сочинённой Сибирской истории вновь поправленную (с учётом замечаний Ломоносова. — В.Ф.), которую прошу чтоб соизволено было напечатать. А в оной более я поправлять ныне не имею, разве что при корректуре случиться может». В тот же день эту рукопись объёмом в 134 листа получил «для просмотра» Фишер «с таким приказанием, чтоб он своё мнение об оной в Канцелярию письменно подал». После чего её следовало отдать переводчику И.И. Голубцову, «дабы он её свёл с своим переводом и с подлинником согласил», а уж затем «как немецкую, так и русскую историю», после подписания президентом, направить в печать. Причём при корректуре автору «позволяется переменять некоторые речи... а новых мнений или целых параграфов никоим образом не вписывать» (данное решение было продублировано 26 ноября).

На следующий день Канцелярия Академии наук определила заключить с Миллером контракт о его вступлении в должность «историографа Российского государства» (потому как следует «к сему делу употребить природнаго российского и верноподданнаго человека»), поясняя своё решение тем, что он, «как профессор истории, употреблён уже в часть некоторую истории российской, то есть послан был в Сибирь для собирания всех потребных примечаний

и для сочинения сибирской истории, и там около десяти лет пробыл на двойном жаловании ея и.в. против своего здешняго оклада, чего ради иному сие дело вверить не надлежит, как ему, Миллеру». Согласно новой должности Миллеру (пункты 1 и 3) надлежало сочинить «генеральную российскую историю».

Но прежде всего (пункт 2) он обязан был «начатыя свои дела, на которыхы уже столько иждивения ея и.в. употреблено, а именно — Сибирскую историю, в которой бы иметь достоверное описание положения всей Сибири географического, веры, языков всех тамошних народов и древностей сибирских, и таким образом с профессором Фишером производить, чтоб всякой год издать можно было по одной книжке путешествия». Причём в пункте 4 указывалось, что Миллер «от лекций уволен, то вместо того отправлять ему ректорскую должность при университете по данной ему впредь инструкции», а в пункте 6 — ежели впредь он «так прилежно будет в положенных на него делах трудиться, то Канцелярия Академии наук будет тем довольна, то обещает она стараться награждение ему чинить особое, или денежною суммою, или прибавкою жалованья, или награждением ранга, смотря по его заслугам. Ежели же он, Миллер, поступит противно должности своей, которая ему вручается не инако, как верноподданному и присяжному рабу ея и.в., в таком случае он подвергается штрафу, какого учинится достоин по указом ея и.в.» (все условия определения были внесены в контракт, заключённый с ним 20 ноября).

19 ноября, когда было принято решение назначить адъюнкта Фишера профессором истории в университете, где ему надлежит читать студентам лекции, «которые Канцелярия заблагоразсудит», и ректором Академической гимназии, ему также наказывалось «в российской особливо истории трудиться, а наперёд с профессором Миллером собранныя в Камчатской экспедиции известия в порядок привести и способствовать ко отдаче в печать оных» (эти же пункты были прописаны в его контракте от 28 ноября). 23 декабря Миллер отметил в своём предложении в Канцелярию по поводу создания департамента российской истории, что он с Фишером сочиняет «книги» и что «намерение при историческом департаменте наиболее касается до Сибирской истории, что-бы оную с принадлежащими прочими сибирскими описаниями к концу привести». 30 декабря Канцелярия требует, чтобы авторы согласовывали между собой работу, 27 января 1748 г. вновь указывает Миллеру, чтобы он, ни на что не отвлекаясь, всё «лишнее время» употребил «на историю сибирскую, дабы как наискорее она сочинена и опубликована в народ быть могла», а 3 февраля ему была «отдана сочинённая им о Сибири книга с примечаниями профессора Фишера обратно, с таким приказанием, дабы оные Миллер и Фишер по силе прежних резолюций сношение обо всей сибирской истории имели обще».

24 марта Канцелярия, определяя принять на службу Миллера «историографом и профессором университета», во-первых, напомнила, что по контракту он обязался «описание положения всей Сибири географического, веры, языков, всех тамошних народов и древностей сибирских сочинить, а когда окончается Сибирская история, тогда он обязался к сочинению истории всей Российской империи, по плану, который им будет представлен и апробирован от Канцелярии», и что ему в помощь «для сочинения Сибирской истории» дан профес-

сор истории Фишер. Во-вторых, что 27 января авторам было предписано: «им сочинения свои таким образом производить, дабы они между собою приватно согласяся — кому какую из них часть к сочинению взять на себя и чтоб всё то, что ими сочинено будет, особенно от всякаго прочтено было ими по согласию и принесено при репорте за руками обоих в Канцелярию для напечатания».

Но, констатировала Канцелярия, «усмотрено между ими партикулярное несогласие, и от того не только по сие время в деле, на их положенном, чинится совершенная остановка, но и впредь, уповательно, время будет проходить напрасно и интерес ея и.в. знатный пропадать будет вотще». А чтобы того не случилось и чтобы вообще сочинения профессоров университета «кем-нибудь или обще всеми были просмотрены и апробованы», то по указу императрицы Канцелярия определила: «быть для сих необходимых нужд особливому профессорскому собранию» — Историческому, в котором «всё то прочтено и пересмотрено быть имеет, что в департаменте историческом сочинено будет... а потом общим согласием представлено в Канцелярию, для исполнения» и которое «быть должно всякую неделю по одинажды... во весь год безперерывно» (в его состав были введены Г.Ф. Миллер, П.Л. Леруа, Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, Я.Я. Штелин, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Х.Г. Крузиус, И.Э. Фишер, И.А. Браун, адъюнкты И.И. Тауберт). 14 апреля она же постановила: «А высокий ея и.в. интерес и честь Академии требует, дабы собранные в Камчатской экспедиции известия к концу привести, напечатать и в народ сообщить», в связи с чем Историческое собрание «ежедневно иметь» до тех пор, чтобы «камчатское экспедиционное дело ко окончанию приведено будет»¹⁸.

20 апреля в присутствии Шумахера секретарю Исторического собрания В.К. Тредиаковскому отданы «профессора Фишера о Сибирской истории примечания с ответом профессора Миллера для показания в Историческом собрании другим профессорам». После чего там началось обсуждение первых глав «Истории Сибири», которое сразу же приняло затяжной характер, в том числе из-за споров и пререканий соавторов — Миллера и Фишера. В связи с чем Канцелярия 15 мая 1748 г., резюмировав, что в собрании «вместо того, чтоб дело надлежащее производиться могло с поспешением, происходят напрасные споры и досадительные разговоры, которые учёным людям непристойны», «определила»: присутствовать в нём «Канцелярии академической члену, господину асессору Теплову... чтоб он все сибирские дела... как наискорее к концу привести понуждал», а если кто из профессоров «ссорам причину подаст», то немедленно сообщить о том Канцелярии, «которая не оставит таких меры принять, чтоб впредь никто столько дерзновенен быть не отважился».

28 мая Миллер «репортом» ставил последнюю в известность, что хотя Фишер «по контракту и по определению канцелярскому обязан в сочинении Сибирской истории и прочих, до Сибири касающихся описаний мне помогать; однако ж он, за другими делами, которыми он отягощён, сего труда снести не может». На что Шумахер тогда же ответил: «Профессор Фишер историографу Миллеру придан как помощник и товарищ, чтоб собранные на камчатском и сибирском пути известия в такой порядок привести, дабы их напечатать можно было». А на его жалобу по поводу переводчика И.И. Голубцова, от которого «мало мне помочи

в переводах», вынес решение: ежели Миллер «книгу о Сибири окончил», то отдать её В.И. Лебедеву, «которую он переводить может тогда, когда в ведомостной экспедиции дела у него не будет, а между тем употреблять и Голубцова».

В ходе обсуждения в адрес труда Миллера прозвучали от его коллег много замечаний — существенных и не очень, подлежащих исправлению (причём на заседаниях Исторического собрания в апреле-июле читались и обсуждались только замечания Фишера). Так, например, 3 июня ими было указано: «...Надлежит ли историографу следовать всему без изъятия, что ни находится в каком подлиннике», и «что историограф долженствует потопить следовать подлинникам, пока не будет иметь законных причин не полагаться на их верность, ибо слово *следовать* много в себе заключает, то есть следовать слепо и без всякого сомнения». Несомненно, что под влиянием задаваемых ему вопросов Миллер 11 июля 1748 г. предложил отправить в Москву либо его, либо Фишера «для пополнения Сибирской истории» документами из Сибирского приказа.

3 августа переводчик Лебедев представил в Канцелярию новый перевод первой главы «Истории Сибири». На следующий день рукопись была направлена Ломоносову на заключение, которое надлежало сделать «как наискорее»: «достоин ли тот перевод отдать для напечатания» (днём ранее академик приступил к строительству Химической лаборатории, которого добивался более шести лет и которое было разрешено высочайшим указом ещё 1 июля 1746 г.). 10 августа 1748 г. Канцелярия приняла решение: «Историю Сибири» Миллера «немедленно печатать на русском языке» тиражом 1325 экземпляров (а коль скоро будет готов латинский перевод, то печатать её и на латинском языке). 12 августа Ломоносов направил в Канцелярию «репорт», в котором вынес столь нужный для Миллера положительный вердикт: «...Помянутая книга напечатания достойна. Малые погрешности, которые больше в чистоте штиля состоят», могут быть легко исправлены самим переводчиком (А.Б. Каменский же путает, и вряд ли случайно, разные отношения Ломоносова к первой части «Истории Сибири» и к последующим главам, обсуждение которых шло уже в 1751 г.).

Того же числа Канцелярия, изложив заключение Ломоносова, подтвердила своё постановление от 10 августа: книгу Миллера «отослать для печатания в типографию. А корректуру оной книги править переводчику Голубцову, понеже оный при том деле некоторые годы находится». 19 числа типография получила соответствующее предписание и оригинал «Истории Сибири». Но по разным причинам, в том числе по вине Миллера, выход её затягивался (он всё больше расширял рамки своего труда, вводил массу подробностей, приводил целиком тексты документов). 10 и 14 октября 1748 г. Канцелярия информировала, что первая глава «производится в печать, которую велено при типографии как наискорее печатать», но автор «корректуру той книги поправляет неоднократно и у себя удерживает, и тем течение должит, и происходит от того остановка и интересу ея и.в. трата». Для того «чтоб остановки в типографии не было», она приказала править корректору Голубцову, а Миллера, «за недовольностью российского языка, от того отменить» (однако он продолжал править корректуру). 18 ноября Фишер объяснял Канцелярии, что «приказано мне пересмотреть и переправить дела» Миллера, «то я делаю дома».

Не оставляя напряжённой работы над «Историей Сибири» Миллер весной-летом 1749 г., потому как надлежало сличить её перевод на русский язык с оригиналом, сдать в типографию, контролировать правку корректур (что также поглощало много времени, так нужное для написания «диссертации»). Более того, 3 мая он подал в Канцелярию «доношение», в котором указал на необходимость увеличить объём «Истории Сибири»: «Понеже печатанье первого тома Сибирской истории к концу приходит и только осталось прибавить предисловие и две небольшие летописи сибирские, на которые я в Истории часто ссылаюсь». В связи же с тем, что «Санктпетербургская» Канцелярия противится этому, ибо летописи не прошли «апробацию» президента, то следует, требовал он, послать их в Москву «и требовать на них подтвердительной президентской апробации. И того ради я оныя летописи при сём Канцелярии предъявляю».

Дождаясь ответа из первопрестольной, Миллер приостанавливает печатание своего многотрудного детища. 8 мая «Санктпетербургская» Канцелярия предложила строгим указом «из Главной Канцелярии Академии наук подтвердить, чтоб никакой книги, какая бы она не была, печатать не начинать, пока она совсем готова и от господина президента апробирована не будет, для того наипаче, дабы во время печатания не внесено было что-нибудь к предосуждению Академии, или не остановилась от того работа, к ущербу ея и.в. интереса». Просьбе же Миллера «прибавить» к печатающейся «Истории Сибири» две летописи («Тобольскую» и «Сибирскую») рекомендовалось отказать: «его предложение о печатании летописцев при его истории, которые без нужды наполнены жалованными грамотами, довольно видно, что он никакого другого намерения не имеет, как только свою историю увеличить и время проводить» (и летописи затем «особливо» напечатать). В тот же день вся информация о ходе работы по изданию «Истории Сибири» была отправлена в Москву.

5 июня последовал указ (как обычно, от имени императрицы), согласно которому летописи, после ознакомления с ними Разумовского, печатать было запрещено. «Чего ради, — подчёркивается далее в документе, — и предисловие к Сибирской истории, которое господин Миллер, сочинив, прислал для апробации, переменено на основании сего определения, вместе с обстоятельствами, до сибирской истории касающимися, которое предисловие для напечатания посылается при сём». 13 июня в протоколе Канцелярии, повторяющем данный указ, в его силу «определено: присланное предисловие, подписанное его сиятельства Академии наук президента рукою, при той Истории печатать, а помянутой летописи в печать не издавать», о чём послать «указы» Миллеру и в Конференцию «и при оных сообщить с того предисловия точныя копии».

Так труд Миллера лишился предисловия своего сочинителя, от которого, по его словам, он «многия себе пользы надеялся» и которое было заменено предисловием главы «Санктпетербургской» Канцелярии (16 марта 1749 г. Шумахер, прося Теплова выслать ему предисловие Миллера, уже прочитанное в Историческом собрании и посланное в Москву помимо Канцелярии. А получив его, стал убеждать «Главную Московскую» Канцелярию в негодности этого предисловия к изданию, ибо оно «больше клонится на распространение суетной его славы, нежели к чести президента и Академии», а затем и вовсе предложил

заменить его собственным). Это крайне оскорбительное для Миллера решение явилось результатом совместных происков Шумахера и Теплова, которых П.П. Пекарский и С.М. Соловьёв охарактеризовали, особенно в случае с «Историей Сибири», как «неутомимых в преследовании» Миллера. Причём первый подчёркивал, что Шумахер «является непримиримым врагом Мюллера; передаст эту вражду своему родственнику Тауберту и успевает внушить то же чувство Теплову, имевшему влияние на академические дела при Разумовском».

(И эта вражда к Миллеру была столь сильной, что Шумахер, не довольствуясь изъятием его предисловия к «Истории Сибири», попытался вообще отстранить историографа от работы над ней. В связи с чем 17 июля писал Теплову, что академик Ф.Г. Штрубе де Пирмонт «даст нам второй том Сибирской истории, а она никогда не кончится тем способом, каким за неё принялись». Во-вторых, ещё в марте 1749 г. правитель Канцелярии «послал книгу Миллера в отпечатанных уже листах В.Н. Татищеву, вероятно, — подчёркивает А.И. Андреев, — в надежде получить о ней неблагоприятный отзыв». Но ошибся. В ответе историка от 30 марта звучит, при малом числе отмеченных недостатков, например, «Лызова истории не читал», в целом весьма лестная оценка: что «с великим моим удовольствием» прочитал её и что, «хотя в ней есть нечто поправления и дополнки требующие и может достаточнее сочинена бысть», «сие есть начало русских участных историй, и нельзя инаго сказать, как хваления и благодарения достойная в ней». Причём имеется и второй отзыв Татищева на «Историю Сибири», запрошенный уже Тепловым и отосланный ему 28 апреля 1749 года. В отличие от первого он довольно развёрнут и состоит из 27 замечаний. Как при этом было подчёркнуто Татищевым, «я что примечу нужное к поправлению, всегда нераскрытно моё мнение объявляю, но в сей... находятся такие обстоятельс[т]ва, которые требуют внятнейшаго рассмотрения к осторожности, и хотя я нечто... записал, однакож в Академию не послал, а приложил к вам, чтоб его сиятельс[т]во г. президент, усмотря, что потребно исправить, оной определил». И эти замечания были переданы Миллеру).

15 июня 1749 г. Миллер предложил, потому как уже напечатанная первая часть «Истории Сибири» «довольной толщины не имеет», а летописи в неё отказано внести, приобщить к книге две главы, уже освидетельствованные в Историческом собрании и переведённые на русский язык, и которые подаются сейчас, «дабы соблаговолено было приказать перевод ещё исправить господином адъюнктом Модерахом, после чего мне ещё смотреть надлежит, всё ли по моему мнению переведено, и потом можно будет для печатания требовать от его графского сиятельства господина президента апробацию». Но К.Ф. Модераху 20 июня был отослан только немецкий и русский текст пятой главы, которую ему надлежало освидетельствовать с оригиналом и исправить перевод, сделанный Голубцовым. Итогом напряжённого труда Миллера, стоившего ему много времени и сил — в первую очередь душевных (Пекарский отмечал, что историк «вообще был человек нрава крутого и самолюбивый»), стала подача в «Санктпетербургскую» Канцелярию 8 июля 1749 г., как он пишет в своём «доношении», «Сибирской моей истории глава пятая, по-русски переведённая Иваном Голубцовым, а поправленная адъюнктом, господином Модерахом, которая

теперь в состоянии, чтобы оную напечатать, а глава шестая хотя также переведена, однако ещё не поправлена и впредь подана быть имеет» (переводы глав 2–5 на «освидетельствование» Ломоносову не посылались). В конечном итоге первая часть «Истории Сибири», состоящая из пяти глав, вышла, а в том весьма важную роль сыграли Ломоносов и Татищев, в мае 1750 г.¹⁹

Ситуация со столь драгоценным для Миллера временем весной-летом 1749 г. усугубилась тем ещё, что 20 апреля, т. е. вскоре после постановки перед ним президентом Академии наук задачи по написанию «диссертации», ему было поручено, опять же от имени императрицы, чтение лекций в Академическом университете. Трудно сейчас точно сказать о причинах грозы, разразившейся в тот день над головой профессора древностей и истории литеральной (литературной) Х.Г. Крузиуса (24 июля 1747 г. с ним был заключён четырёхлетний контракт, по которому он «обещает высокий ея и.в. интерес и Академии честь и пользу всячески наблюдать», а ежели он «сей контракт чем нарушит или противно академическому регламенту поступит, в таком случае и сей контракт будет недействителен»²⁰). Ясно только одно: причина эта являлась столь веской, что он был мгновенно, т. к. контракт с ним истекал через два с лишним года, уволен со службы (в указе скупом отмечено, что его поступки «весьма худы и к Академии очень предосудительны». П.П. Пекарский привёл слова Шумахера, подчеркнувшего, что Крузиуса «можно принять снова в Академию только некоторое время спустя, и притом обязав подпискою, что он будет заниматься единственно своими обязанностями, ни во что не вмешиваясь, и главное *не клевета ни на кого, а тем паче на целый народ*», после чего историк заключил: «Что значили последние слова — разгадки в современных бумагах не нашлось»).

Чтобы не прерывать учебный процесс (и «за недостаток при нынешних обстоятельствах в университете профессоров»), Фишеру было приказано «учить в университете элоквенции (и вместе с тем продолжить лекции Крузиуса. — В.Ф.), а историографу Миллеру — истории (всеобщей, лекции по которой до того читал Фишер. — В.Ф.), и притом немедленно выписать другого способного и в латинском штиле искусного человека, которому быть ректором или проректором за триста за шестьдесят рублёв годового жалованья, да на дорогу выдать ему сто рублёв»²¹. Этот неожиданный указ, который путал все его планы и который очень громко аукнулся ему летом-осенью 1750 г., весьма встревожил Миллера. И он, пытаясь частично нейтрализовать его воздействие на свою судьбу, 1 мая озвучил в «доношении» в Канцелярию «некоторые трудности» по поводу продолжения лекций Фишера. Во-первых, по контракту ноября 1747 г. «освобождён я при университете от чтения лекций; напротив того, я обязался к исполнению ректорской должности и быть историографом и приготовить в каждый год одну книгу моих трудов к напечатанию, что исполнять по сие время по крайне моей возможности я старался». Во-вторых, как ректор «я отягощён всякими делами, которых много времени у меня отнимают и гораздо могут почтены быть против одной профессорской лекции».

В-третьих, продолжал перечень «трудностей» Миллер, «по должности историографа безпрестанно я упражняюсь в сочинении Сибирской истории и прочих туда принадлежащих описаний», которые «по определению... господина

президента по возможности поспешать приказано», в-четвёртых, при её печатании «я наблюдаю и перевод русский, дабы погрешностей в языке и в штиле в нём не осталось, и корректуры правлю, в чём много времени проходит». В-пятых, «сверх того, велено мне к будущему Академии наук публичному собранию приготовить учёную диссертацию, что также требует своего времени». Указав ещё четыре пункта, связанных с отсутствием времени и с тем, «что чтением лекций не так государству полезным быть могу, как другими делами, на которые я по сие время употребил больше прилежания», Миллер попросил объявить ему: «какие дела из прочих, на меня положенных, вместо исторических лекций оставить велено, дабы я за неисполнением того, к чему я по контракту обязался, не имел опасаться какого штрафа»²². На что 2 мая последовало решение: послать «доношение» Миллера, «для рассмотрения и резолюции, в Москву... а между тем исполнять ему продолжением исторических лекций по посланному к нему минувшего апреля 27-го дня под № 702 указу непременно». Ознакомившись с присланными документами, «Главная Московская» Канцелярия 5 июня отослала в столицу «указ ея и.в. самодержицы Российской», в котором приказала Миллеру «те лекции и с другими положенными на него делами исправлять до тех пор, доколе на место Крузисово другой приедет»²³.

Ожидая решение Разумовского (оно было получено 12 июня), историограф 5 июня «доносил» в «Санктпетербургскую» Канцелярию: «В пользу приказанных мне исторических лекций при университете и за неимением для студентов книг зачал я сочинять табели хронологическия, яко компендиум истории универсальный всем знатнейшим приключениям прошедших веков, церковным, гражданским и литеральным, по установлению всех лучших авторов», что эти «табели... можно положить впредь за основание оным историческим лекциям» и что их можно напечатать на латинском и русском языках. Испрашивая согласия Разумовского на продолжение работы над «компендиумом», Миллер предупредил, прямо выражая тревогу по поводу «диссертации» и сожаление о времени, упущенном на её написание: «А до получения о том определения, намерен я остановить оное дело, а вместо того приготавливаться буду к публичной ассамблее, от которого приуготовления с начала мая месяца я было отстал, для приказанных мне лекций при университете»²⁴.

13 июля «Санктпетербургская» Канцелярия, отметив, что не признавала Миллера «доношение о сочинении и печатании генеральной истории табельми хронологическими», потому как, во-первых, нет необходимости в их издании, ибо они имеются на латинском языке, во-вторых, в указе лишь написано, чтобы он продолжил лекции Фишера, в-третьих, нельзя печатать компендиум, пока он не будет рассмотрен и «апробирован», в-четвёртых, Миллер, жалуясь, что у него столько дел, «не знает, что ему начать, и потому невозможно ничего доброго сделать, а о других причинах не упоминая», постановила: послать его «доношение», ибо он того «неотступно требует», в Москву. 25 июля поступил ещё один указ от имени императрицы, изложенный в «определении» за подписью Шумахера: объявить Миллеру «особливым указом, чтоб по силе прежняго указа продолжал лекции Фишеровы с того места», где тот остановился, а таблицы его хронологические, как их только освидетельствует Историческое собрание и рекоменду-

ет к печати, «немедленно напечатаются к его собственной славе и употреблены будут при зачатию нового курса лекций исторических». О том, что Миллер «весьма должно докончить» «оную табель» (хотя он уже сам заявил в Историческом собрании о её ненадобности, т.к «сочинена в то время, когда ещё студенты не имели книг, которые могли бы им служить основанием к универсальной истории»), «Санктпетербургская» Канцелярия настаивала 10 августа: «и о том не соизволил ли Главная Канцелярия... подтвердить ему указом»²⁵.

В таких условиях сочинение «диссертации», требующее тишины и душевного равновесия (как он сам говорил в сентябре 1746 г., что для работы над «Историей Сибири» требуется в первую очередь, «чтоб мысли были спокойны и от печали и от неудовольствия не было бы какого помешательства»), не могло отличаться постоянством и сосредоточенностью. Поэтому, да ещё возложив на себя непосильную задачу, Миллер медленно работает над нею, в связи с чем не укладывается в сроки. 9 июля он передал для перевода с латинского языка на русский первую тетрадь, 27 июля — вторую. 2 августа по распоряжению Шумахера студенты стали переписать его речь, «состоящую в двадцати листах». И лишь только 3 августа, когда «Слово» Ломоносова уже было отослано в Москву, автор принёс всю «диссертацию» адъютанту К.Ф. Модераху, которому 11 июля официально было поручено, оставив все другие переводы, её «немедленно перевести на российский язык» (после чего показать «для апробации» автору и передать в Канцелярию для переписки). Причём, как «доносил» Модерах 5 августа в Канцелярию, Миллер в первых двух тетрадях, «уже переведённых, в разных местах переменил, которые потому снова переводить надлежит», в связи с чем просил себе помощника для завершения перевода (в помощь ему был придан, с оставлением всех других своих дел, В.И. Лебедев)²⁶.

Но то, что выходило из-под пера Миллера, сразу вызвало немалую озабоченность главы «Санктпетербургской» Канцелярии. 7 августа Шумахер, ставя Г.Н. Теплова в известность, что Миллер вручил ему латинский текст речи для отправки академическому начальству, прямо выразил своё отрицательное отношение к ней: «Прошу вас, прочтите её внимательно. Он излагает предмет с большою ерудициею, но, по моему мнению, с малым благоразумием, ибо, во имя Господа, зачем разрушать, при помощи шведских и датских писателей, мнение, столько стоившее сочинителям, работавшим для прославления нации?». Через три дня Шумахер вновь делился тревогой с Тепловым: «г. президент приказал Миллеру четыре месяца тому назад приготовить речь для торжественного собрания, предоставив на его волю избрать какой угодно ему предмет. До сих пор он её не кончил и выбрал предмет самый скользкий, который не принесёт чести Академии, напротив не преминет навлечь на неё упреки и породить ей неприятелей. Всему причине тут гордость. Так как эта речь академическая, то автору её очень хорошо известно, что её необходимо прочитать в Конференции и рассмотреть профессорам, но он также знает, что многие не одобряют его разглагольствий, и потому-то он так долго медлит с своею речью, чтобы не оставалось времени на рассмотрение её».

14 августа, как рапортовала «Санктпетербургская» Канцелярия в первопрестольную, Миллер «взнёс... при доношении первая две тетради российского

перевода сочинённой им диссертации, которая для апробации, а по апробации для пересылки сюда, посылается при сём» (до этого половина диссертации на латинском языке была отправлена в Москву). 17 августа Шумахер в письме Теплову отмечал, что «апробованную речь» Ломоносова «я получил, которая и печатать приказана, остаток же речи сочинения профессора Миллера, состоящий в полтретье тетратях, ко апробации посылается при сём, о котором прошу, чтоб с резолюциею не помешкав сюда купно с первыми той речи двумя тетратями прислана была, чего в ожидании пребываю». И вместе с тем настоятельно подчёркивая: «Так как времени очень мало, чтобы разжёвывать заключающееся в ней содержание, то было бы хорошо, когда бы его сиятельство соблаговолил приказать г. Миллеру высказаться гадательно, чтобы не обижать никого. ... И самое главное в этом случае есть то, что президент не рискует ничем своим одобрением, а профессора могут быть тем только довольны» (тогда же адъюнкт Модерах доложил, что перевод сочинённой Миллером «на латинском языке диссертации» окончен им 14 августа).

19 августа из Москвы в столицу была возвращена та часть «диссертации», которая была написана на латинском языке, с приказом: сочинённую Миллером «диссертацию», т. е. всю, хотя другая её половина ещё не была рассмотрена Разумовским и Тепловым, «для освидетельствования отослать в Академическое собрание и, избрав бы от господ академиков письменное удостоверение, печатать не упуская времени, как скоро она в Академическом собрании прочтена и освидетельствована будет, не отписывая в Москву... а при том те три строчки, которые в конце диссертации замечены, оныя б исключить». В тот же день Шумахер распорядился: а) «диссертацию» «отослать в Академическое собрание немедленно, с тем чтоб... исполнение учинено было непродолжительное, дабы возможно оную к назначенному... времени напечатать»; б) «диссертацию и похвальное слово на пресветлый и торжественный праздник тезоименитства ея и.в... напечатать в типографии немедленно на российском и латинском языках» по 500 экземпляров каждое. 21 августа Шумахер докладывал Теплову, что «его сиятельство прекрасно поступил, передав диссертацию г. Миллера на суд гг. профессоров. Они уже работают над нею и сделают так, что все останутся тем довольны, как равно и г. Миллер. Если бы напечатать его речь в том виде, как она есть, то все профессора согласны, что это было бы уничижением для Академии».

Через два дня на соединённом Академическом и Историческом собрании, на котором присутствовали все профессора Академии и Академического университета, включая Ломоносова, сочинение Миллера было, по оценке П.С. Биллярского, «торопливо» рассмотрено и разрешено к печати «после исправления некоторых мест по приказанию президента, а также мест, отмеченных профессорами». Но, как уведомлял 24 августа Шумахер Теплова, «Миллер не хочет уступить, а другие профессора не хотят принять ни его мнения, ни его способа изложения». А 28 августа добавил, что речь его «была наполнена ошибками против грамматики и истории и выражениями грубыми и обидными, то это все откинули, насколько позволяли время и уступчивость г. Миллера» и что он сам, прочитав её, сказал автору (характеризуя его при этом как «плут и великий лежец»), «что не думаю, чтобы его сиятельство одобрил когда-нибудь его речь

в том виде, как она есть, и что было бы лучше изложить этот предмет с большею осторожностью, чтобы не обидеть никого».

28 августа в журнале «Санктпетербургской» Канцелярии записано, что в «Главную Канцелярию... послано при репорте по одному экземпляру на русском и латинском языках речей», предназначенных для оглашения 6 сентября, которые «в Академическом и Историческом собрании освидетельствованы и к напечатанию удостоены». Но это было только намерение. Как подчёркивал сам Шумахер, 31 августа «послал все книги, чтобы они прибыли в Москву 5 сентября, согласно приказанию его сиятельства». Билярский указывал, что речь Миллера была напечатана — на русском и латинском языках — 31 августа, и её экземпляры были отправлены в Москву. 2 сентября было разослано печатное приглашение Академии на публичное собрание 6 сентября, в котором сообщалось, что профессор, ректор академического университета и историограф Г.Ф. Миллер «читать будет диссертацию о начале российского народа, и от чего оный так называется», профессор химии М.В. Ломоносов «говорить похвальное слово ея императорскому величеству», а профессор астрономии Х.Н. Винсгейм «предложит астрономическую задачу для решения всем в Европе находящимся учёным людям, с объявлением награждения тому, кто оную основательнее решит и яснее истолкует».

Но 3 сентября из Москвы прибыл курьер, привёзший распоряжение Разумовского, датируемое 31 августа, о переносе «асамблеи» на 25 ноября, «к высочайшему дню восшествия» Елизаветы Петровны на престол, и в котором правителю «Санктпетербургской» Канцелярии поручалось «распорядиться о приноровлении изготовленных речей Ломоносова и Миллера... к этому дню». «В этом только смысле, — указывал П.С. Билярский, — и сделано было Шумахером распоряжение 4 сентября» (в тот же день этот искусный интриган в письме Теплову подчеркнул, что «мы оба были очень заняты в одно и тоже время торжественным собранием, но весьма различно: вы — для уничтожения, а я для осуществления его», что, если президент Академии «находил полезным отложить это собрание, то это будет самую лучшею причиною, которую можно сказать» ранее приглашённым и «что у его сиятельства были свои причины изменить решение, но не приводить притом ни одной») ²⁷.

3.2 Обсуждение речи-«диссертации» русскими и немецкими коллегами Г.Ф. Миллера и его итоги

Однако спустя два дня ситуация кардинально изменилась, потому как отсрочкой публичного собрания Шумахер решил воспользоваться, чтобы переустраховаться, для организации пересмотра торопливо рассмотренной 23 августа Академическим собранием «диссертации» Миллера (тем самым стремясь, несомненно, избежать скандала, который случился с Крузиусом четыре с поло-

виной месяца назад и который мог дорого стоить ему, как устройтелю «асамблеи»). В связи с чем 6 сентября, как записано в протоколе «Санктпетербургской» Канцелярии, было «определено»: академикам И.Э. Фишеру, Ф.Г. Штрубе де Пирмонту, В.К. Тредиаковскому, М.В. Ломоносову, адъюнктам Н.И. Попову и С.П. Крашенинникову её «как наискорее освидетельствовать, не сыщется ль в оной чего для России предосудительного и, по свидетельстве, объявить им о том свои мнения письменно в Канцелярию».

Вместе с тем Миллеру было рекомендовано, как гласит другой протокол от того же 6 сентября, ибо его речь к будущей «асамблее... не во всём прилична будет», её «переправить и сделать так, чтобы приличествовала к оному впредь назначенному времени, и сим крайне поспешать» для её заблаговременной апробации и печатании на русском и латинском языках (здесь же говорится и о переработке «Слова» Ломоносовым). Как подытоживал тогда Шумахер в письме к Теплому, «станем думать только об исправлении панегирика... начала и конца речи г. Миллера». На следующий день он распорядился отослать в «Главную Канцелярию» «репорт» о том, что авторам дана команда переделать свои сочинения и что велено «профессорам Фишеру, Штрубе, Тредиаковскому, Ломоносову и адъюнктам Крашенинникову и Попову» освидетельствовать «диссертацию» Миллера. 13 сентября именем президента было подтверждено решение Канцелярии, «чтоб с крайним поспешением приготовленная» Миллером к 6 сентября «диссертация переправлена им была приличностью к 25 числу будущего ноября... и так, чтоб за неделю до того времени, по апробации», была бы напечатана на латинском и русском языках и «в Москве она быть могла»²⁸.

13–16 сентября Фишер, Штрубе, Тредиаковский, Ломоносов, Крашенинников и Попов представили в «Санктпетербургскую» Канцелярию «репорты», в своей основной массе выносившие «диссертации» Миллера, по сути, тот же вердикт, который был высказан многими членами Академии при первом знакомстве с нею в августе (как то вытекает из письма Шумахера Теплому от 24 августа: «Миллер не хочет уступить, а другие профессора не хотят принять ни его мнения, ни его способа изложения»). Но только теперь используя навязанную правителем Канцелярии формулировку: речь была охарактеризована как «предосудительная России». Академия, заключал Штрубе де Пирмонт, «справедливую причину имеет сомневаться, пристойно ли чести ея помянутую диссертацию публично читать и напечатавши в народ издать» (в «Предуведомлении» к «Рассуждениям о древних россиянах», вышедшим в 1791 г. Штрубе напоминал, что «около сорока лет назад тому» Миллер предлагал «о начале россиянина понятия, совсем несходные с краткими и ясными показаниями наших летописцев и с известиями чужестранных историков, которые, зная сей древний народ, первые об оном писали», что и побудило, признаётся он, его самого заняться тем же вопросом). «Ещё решительнее, — отмечал П.С. Билярский, — осудили диссертацию Попов и Крашенинников».

В свою очередь Ломоносов резюмировал, что она, поставленная на «зыблущихся основаниях», «весьма недостойна, а российским слушателям и смешна, и досадительна, и, по моему мнению, отнюдь не может быть так исправлена, чтобы она когда к публичному действию годилась». Иначе звучала оценка

Тредиаковского: «...Разумею, что автор доказывает токмо вероятно, а не достоверно... .. Следовательно, я не вижу, чтоб во всём авторовом доказательстве было какое предосуждение России». Вместе с тем он выразил свой негативный настрой против Ломоносова, с которым у него давно шло поэтическое соперничество: «всё предосуждение зделал сам себе сочинитель выбором толь спорныя материи, ведая, что многие искусныи в том ему будут прекословить, а особливо больше всех и грубее самоназвавшийся у нас историк, который не знает ни аза, как у нас говорят, в глаза» (по оценке В.А. Мошина, Тредиаковский, «отчасти из личного нерасположения к Ломоносову, высказался за принятие тезисов Миллера»)²⁹.

15 сентября Канцелярия, констатируя получение отзывов названных лиц, подчеркнула, не беря на себя окончательное решение дела: «но понеже оныя мнения так несогласны, что ту материю в действе оставить сумнительно, и в таком случае здешней академической Канцелярии того решить без воли Академии наук господина президента невозможно». В связи с чем они посылаются «с особливым человеком на почте в Москву, к его высокографскому сиятельству, при репорте, с требованием о том немедлительнейшей резолюции, дабы тем к назначенному времени печатью и прочим управиться можно было заблаговременно». 16 сентября это было сделано. Тогда же Шумахер сообщал Теплову, что «с самого начала диссертация г. Миллера не имела чести мне понравиться, но я не находил её столь ошибочною, как описывают гг. профессора и адъюнкты». После чего предложил: «не найдёте ли вы удобным предложить его сиятельству приказать лучше на этот раз выбрать предмет из физики по математическому классу и отложить речь г. Миллера до другого времени, потому что невозможно согласить мнения гг. профессоров с авторскими»³⁰.

21 сентября Главная Канцелярия Академии наук в предписании, автором которого является Теплов, отметила, что сочинения Ломоносова и Миллера, которые «за крайним поспешением недоставало времени тогда довольно освидетельствовать», после чего «определила учинить следующее»: «похвальное слово профессора Ломоносова к славе Академии наук и к его собственной чести оставить так, как оно и прежде было уже от г. президента апробовано, и перепечатать только те приличности, которые сам г. Ломоносов отменить захочет при переносе Слова своего от 6 сентября к 25 ноября», не ожидая на ту отмену никакого утверждения от президента (28 сентября данное решение было доведено до Ломоносова, и уже на следующий день он сдал незначительно исправленный текст, с учётом того, что речь его прозвучит в «высочайший день восшествия» императрицы на престол, который 5 октября был послан в типографию, а 6 ноября, в печатном виде, — в Москву).

По поводу же «диссертации» Миллера следовало заключение иного рода: «... Усмотрено из поданных мнений... профессоров Штруба, Тредиаковского, Ломоносова, Фишера, адъюнктов Крашенинникова, Попова», что в ней «крайния неудобства находятся к изданию в свет при столь знатной оказии, и что диссертация его ни материею своею, ни мнениями, ни слогом, ниже переводом, не соответствует как намерению г. президента, так и его, автора, собственному. Главное же самое, кроме многих других, несходство и непристойность, те

которые по всей его диссертации так разсеяны, что оныя речи никаким образом уже поправить не можно, разве вовсе отложить: а именно что автор намерение... имел представить слушателям позорище (картину. — В.Ф.) славных и великих дел российского народа... во всей речи, ни одного случая не показал к славе онаго, но только упомянул о том больше, что к безславию служить может, а именно как их многократно разбивали в сражениях, где грабежом, огнём и мечом пустошили и у царей их сокровища грабили».

Причём «на последок удивления достойно, с какою неосторожностью употребил экспрессию, что *скандинавы победоносным своим оружием благополучно себе всю Россию покорили*: как то видеть можно в примечании профессора Ломоносова §3 и адъюнкта Попова §6». На основании изложенного выносился вердикт: «диссертацию», «собрав чёрную и белую рукописную, отдать в архиву Исторического собрания, а напечатанную и с корректурами хранить до указа под особливою канцелярскою печатью, не выпуская ни под каким видом ни единого экземпляра... в свет, дабы со столь многими сумнительствами и важными погрешностями не мог себя подвергнуть автор дальнейшему толкованию, а исправя при времени оную мог при подобной оказии употребить». А вместо неё поручалось к «асамблее» 26 ноября «приготовиться в физической материи» академикам Г.В. Рихману и Х.Г. Кратценштейну: «Одному сочинить диссертацию, а другому на оную ответ именем Академии ж».

Предписание, полученное в Петербурге 27 сентября, на следующий день было повторено ордером «Санктпетербургской» Канцелярии, при этом указавшей: 1) «диссертацию... совсем уничтожить» (смысл данного распоряжения норманисты трактуют в буквальном смысле, хотя в такой форме лишь дублировалось решение вышестоящей инстанции); 2) «оную ж диссертацию, рукописную, чёрную и белую, на обоих языках, с переводами, от него, господина профессора (Миллера. — В.Ф.), взяв указом в Канцелярию, и при указе ж отослать в исторический архив... где б иметь её в крайнем сохранении, дабы оная каким образом в свет не вышла, чего для оную запечатать канцелярскою печатью» (Штрубе, Тредиаковский, Ломоносов, Попов и Крашенинников также должны были отосланные им «диссертацию» Миллера как на русском, так и на латинском языках вернуть «в Канцелярию при репортах, за печатью своею, сего числа неотменно»); 3) когда же Рихман и Кратценштейн сочинят свои «диссертации» «и в Канцелярию поданы будут, тогда оныя отослать в Академическое собрание, где б оное было освидетельствовано и всякий бы подал особливо своё мнение, достойно ли оное к изданию в печать и в публику на свет»³¹.

Подобного исхода дела Миллер не ожидал, потому как 22 сентября он представил в Канцелярию новое начало своей речи, приспособленной, вместо дня тезоименитства императрицы, ко дню её коронации, полагая, вероятно, что она будет одобрена для публичного собрания, как вдруг получил 28 сентября процитированный ордер, неимоверно задевший самолюбие историографа. Исполнив его 29 сентября, 2 октября он подал жалобу президенту Академии наук, указывая на то, что Канцелярия требовала отзывы только у тех членов Исторического собрания, которые ему «недоброхотствуют, и для того помянутая

его диссертация совсем опорочена, и что ему никакой критики никто не показал, то он и оправдаться не мог, а ему де Миллеру из сего следует немалое поношение, что прежде объявлено уже несколько было печатным листком в народе, что он будет диссертацию в асамблеи читать, а напоследок де отрешён». К.Г. Разумовский приказал в недельный срок «исследовать» речь «Академическому и Историческому собранию и прислать общую от обоих собраний апробацию, и сей экзамен произвести при нём самом Миллере в Генеральном собрании без всякого пристрастия». При этом подчеркнув, давая надежду автору, что если он «по совету своих товарищей заблаговременно ещё оную поправить может, то его сиятельству приятнее будет его материя при первой асамблеи произвести в действо, нежели иную какую»³².

16 октября Шумахер, отвечая Теплому на его письмо от 9 октября, докладывал, что «следствие» в Академическом собрании о диссертации Миллера в силу приказа президента «учинено будет немедленно». Вместе с тем он уповал на то, что глава Академии «не преминет надлежащим образом оштрафовать» её автора, т. к. тот не устыдился ему «безчестно оболгать, ибо он без всякого основания Санктпетербургскую Канцелярию Академии наук обвиняет, якобы она диссертацию его дала следовать тем только членам, которые ему противны; но она, однакож, поручила следствие... диссертации таким членам, о которых она надеялась, что они в состоянии разсуждать или о самой материи, или о переводе». А профессора Г.В. Рихман, Г. Бургаве, И.А. Браун, Х.Г. Кратценштейн, И.Х. Гебенштрейт и адъюнкт М. Клейнфельд «затем обойдены, что они, по первом прочтении диссертации... сказали, что российская история до их профессии не касается, и потому они разсуждать об ней не могут». Х.Н. Винсгейму же «не поручено оное в следствие» потому, что Миллер «мог бы на то протестовать, понеже они оба чрез несколько лет ссоры имели о российской географии; а сверх того, профессор Винсгейм занят многими другими делами».

18 октября Шумахер распорядился, согласно решению Разумовского, послать «профессорам и адъюнктам обеих собраний» Х.Н. Винсгейму, Я.Я. Штелину, Ф.Г. Штрубе де Пирмонту, Г.В. Рихману, В.К. Тредиаковскому, М.В. Ломоносову, Г. Бургаве, И.Э. Фишеру, И.А. Брауну, Х.Г. Кратценштейну, И.Х. Гебенштрейту, С.П. Крашенинникову, Н.И. Попову и М. Клейнфельду по экземпляру напечатанной «диссертации» на русском и латинском языках. С приказанием, чтобы они с 23 октября начали «следовать» её в Генеральном собрании в присутствии Миллера по два часа каждый день, «пока весь экзамен окончится, и выслушали б предлагаемыя на то от него оправдания и прилежно б рассмотрели, тако-го ли она состояния, чтоб её без предосуждения славе Империи и чести Академии так, как она ныне есть, или исправя, привести в такое состояние, чтоб к будущей асамблее печатать можно было для отвращения всякого подозрения о некоем пристрастии». Причём допускалось, что кто-то из них «не захочет разсуждать оной диссертации», в связи с чем он должен дать письменное объяснение, «и ежели отговорка его будет основательна, то оный, смотря по состоянию дела, от того уволен быть имеет». Протокол обязывалось вести Крашенинникову: «однако в том собрании давать ему и свой голос и, по окончании экзамена, репортовать ему о всём Канцелярии»³³.

19 октября Шумахер информировал Теплова, что «профессора и адъюнкты теперь трудятся над диссертациею Миллера и в понедельник начнут битву. Я предвижу, что она будет очень жестока, так как ни тот, ни другие не захотят отступить от своего мнения». Вновь отмечая, «что она написана с большою учёностью, но с малым благоразумием», глава Канцелярии апеллирует к авторитету Г.З. Байера, «который писал о том же предмете в академических Комментариях, излагал свои мнения с большим благоразумием, потому что употреблял все возможные старания отыскать для русского народа благородное и блистательное происхождение, тогда как г. Миллер, по уверению русских профессоров, старается только об унижении русского народа. И они правы».

В том же письме глава Канцелярии точно определил главный «источник» Миллера: «Если бы я был на месте автора, то дал бы совсем другой оборот своей речи. Я бы изложил таким образом: происхождение народов весьма неизвестно. Каждый производит их то от богов, то от героев. Так как я буду говорить теперь о происхождении русского народа, то изложу... различные мнения писателей по этому предмету и потом выскажу своё мнение, поддерживая его доказательствами, довольно — по крайней мере, по моему рассуждению — убедительными. Такой-то и проч. Я же, основываясь на свидетельствах, сохранённых шведскими писателями, представляю себе, что русская нация ведёт своё начало от скандинавских народов. Но откуда бы ни производили русский народ, он был всегда народом храбрым, отличавшимся геройскими подвигами, которым следует сохраниться в потомстве. По краткости времени мы коснёмся только замечательнейших, отложив прочие до другого случая. Здесь бы он мог говорить о подвигах князей, царей, императоров и императриц. Но он хотел умничать!» (на следующий день Конференция приняла решение о вторичном обсуждении сочинения Миллера)³⁴.

Чрезвычайное (Генеральное) собрание (т. е. совместные заседания Академического и Исторического собраний) приступило к обсуждению «диссертации» Миллера 23 октября, и по его окончанию, на которое президент первоначально отвёл неделю, каждый из участников должен был подать личное мнение. На собрании Миллер, как это предложил Ломоносов, читал своё сочинение «с начала до конца», а присутствующие высказывали замечания по каждому параграфу, «начиная с младшего чина». 24 октября таковые изложил Ломоносов, а Миллер дал на них устные ответы. 25 октября их спор продолжился. Затем, по поданным ими материалам, эти выступления были внесены Крашенинниковым в протокол 24 октября (возражения Ломоносова, в которых он обещался не только «истолковать происхождение россиан от роксолан», но и опровергнуть аргументы оппонента по всем вопросам, затронутым в «диссертации», были потом повторены им в развёрнутом виде во втором отзыве, подготовленном между 25 октября и 3 ноября 1749 г.)³⁵.

Тогда же свои замечания представили Н.И. Попов, С.П. Крашенинников, И.Э. Фишер и Ф.Г. Штрубе де Пирмонт. Как описывал Миллер Теплову 26 октября саму процедуру обсуждения, «мне сообщают возражения, я на них отвечаю, вот и всё»³⁶. Но это безмятежно-спокойное «вот и всё» не соответствовало действительности. 30 октября Шумахер сообщал Теплову, что «Миллер теперь видит,

что промахнулся с своею диссертациею *De origine gentis russicae*, потому что один Попов задал ей шах и мат, указав на столько грубых ошибок, которых он решительно не мог оправдать. Мне сказывали, что когда Попов говорил Миллеру: *tu, clarissime autor, nostram gentem infamia afficis* (ты, славнейший автор, чинишь нашему народу бесчестье. — *В.Ф.*), то тот почти лишился чувств. Теперь он сказывается больным и не хочет более ходить в Конференцию». После чего глава Канцелярии охарактеризовал речь как «галиматья г. Миллера, которою он хочет разрушить всё, что другие созидали с таким трудом».

28 октября Крашенинников «репортом объявил» в «Санктпетербургскую» Канцелярию, что «Академическое и Историческое оба собрания, включая тех господ профессоров, кои просили в Канцелярию от того дела увольнения (Я.Я. Штелин, Х.Н. Винсгейм, И.Х. Гебенштрейт, Х.Г. Кратценштейн, Г.В. Рихман, М. Клейнфельд. — *В.Ф.*), во всю прошедшую неделю трудились; однакож порученного дела не могли окончить, и требовано: повелено ль будет на сей неделе оное следствие продолжать, или оставить?». Та, рассмотрев «репорт» и отметив, что «сие следствие зависит от приказания... президента» и что она сама не может его остановить, 30 октября «определила»: в Профессорское собрание послать «указ, которым подтвердить, чтоб оное следствие как бы наискорее имело быть окончено», а мнение собрания, в какое время последнее может быть закончено, донести до Канцелярии, после чего она доведёт его до президента. На следующий день Крашенинников «репортовал»: «по мнению де того собрания господ профессоров, объявленное следствие прежде трёх недель не может приведено быть ко окончанию, а прежде де окончания нельзя объявить, можно ли оставить оную диссертацию так, как она ныне есть». 2 ноября эта информация была направлена в Москву³⁷.

После чего её обсуждение, не дожидаясь ответа, продолжилось. Подробные возражения Ломоносова (второй отзыв) были поданы, судя по протоколу, 3 ноября (тогда учёный, беспокоясь, как и Штрубе де Пирмонт, о престиже Академии, подчеркнул: «В публичном действии не должно быть ничего такого, что бы российским слушателям было противно и могло бы в них произвести на Академию роптание и ненависть. Но я рассуждаю, что они, слыша в сей диссертации толь новое своё происхождение, на догадках основанное, проименование своё от чухонцев, презрение древних своих историй и частые россиян от шведов разорения, победы, порабощения и опустошения, о которых они прежде не слыхали, конечно не токмо на господина Миллера, но и на всю Академию и на её командиров по справедливости вознегодуют»). «Объекции» Ломоносова были переписаны и посланы 6–7 ноября Миллеру, переставшему посещать Чрезвычайное собрание и лишь присылавшему некоторые ответы Крашенинникову. Причём он потребовал переводчика, чтобы перевести на латинский язык возражения Ломоносова для помещения их в своих ответах, ссылаясь на возможность новых споров. Но получил отказ (Шумахер предложил употребить для этого находившегося при Миллере студента А.П. Горланова)³⁸.

Однако быстро прошли и эти три заявленные недели. 22 ноября Крашенинников вновь извещал, «что исследование не кончено, между прочим потому, что Миллер сказался больным и не только не был в некоторые дни в заседа-

нии, но и не присылал ответов; почему и самые заседания наконец на некоторое время отменены». Через неделю он же «репортом», отосланным в Москву, объявил, что «диссертация в Генеральном собрании, за его г. Миллера болезнию, не совсем ещё освидетельствована, и он на učinённые ему вопросы не отвечивал». На основании чего «Санктпетербургская» Канцелярия 30 ноября постановила: поскольку «диссертация» «не надобна ныне в скорости, того ради Генеральному собранию приказано, чтоб для той диссертации Чрезвычайное своё собрание, пока г. проф. Миллер выздоровеет или на сообщённые ему вопросы пришлёт ответ, или его в. гр. сиятельство учинит о том другое какое определение, оставить, и каждое б собрание, дабы напрасно времени не тратить, обыкновенные свои труды продолжало»³⁹.

Действительно, спешить уже было не надобно. Ещё 27 ноября Канцелярия распорядилась послать в Москву «репорт» с сообщением, что публичное собрание, посвящённое «пресветлому и торжественному празднику восшествия ея и.в. на всероссийский престол», 26 ноября прошло «в академических палатах» в присутствии множества знатных особ «надлежащим образом, до кого что принадлежало, со всякою исправностию говорено» (предварительная «апробация» речей Г.В. Рихмана и Х.Г. Кратценштейна состоялась 5 и 13 октября). После чего было подчеркнуто, что «диссертация» Миллера, «за неокончанием об оной надлежащего в Профессорском собрании за его, господина Миллера, поныне болезнию, следствия, уничтожилась»⁴⁰, т. е. автоматически, как казалось Шумахеру, снялась с повестки дня, исчезла из жизни Академии, отчего должна быть забыта.

Однако 8 января 1750 г. Г.Н. Теплов на заседании Академического собрания объявил приказ президента продолжить её рассмотрение в течение двух недель, «и изложив все возражения и ответы на них Миллера, представить дело в Академическую Канцелярию, которая, по приказанию президента, потом должна была сообщить это тайному советнику Татищеву» (30 мая, за полтора месяца до смерти, великий наш историк в письме Шумахеру указал, пытаясь, возможно, разрядить атмосферу по поводу «диссертации», что, хотя Миллер — «человек преучёный и многим чтениям преисполнился, памятию и рассуждением преодарён» — «в раз[г]лагольствии о начале народа русского иначе, нежели я, писал, но я не хотел ни его порочить, ни моего более изъяснять, а отдам в его лучшее рассуждение, дабы ему дать причину лучшее изъяснение издать», т. е., как комментирует А.Г. Кузьмин, «Миллер сам поймёт, что к чему»)⁴¹.

Заседания Чрезвычайного собрания возобновились 20 января, и закончились они не через две недели, а 8 марта (таким образом, обсуждение «диссертации», инициированное её автором, вместо первоначально планируемой недели, вылилось в пять с половиной месяцев и заняло 29 заседаний). На одном из первых его заседаний Теплов предложил, чтобы ускорить процесс «экзамена» речи, только слушать представляемые «объекции» и ответы, «а чей правда, о том бы не рассуждали», т. к. «мнению-де после будут взяты на всю диссертацию». Возражения подавались в письменном виде, переводились на латинский язык и передавались Миллеру. Тот приносил свои ответы, разделённые на детальные пункты и также написанные по-латыни⁴². И в первую очередь он прочитал начало своего ответа Ломоносову, который в протоколе не приведён, за-

тем перешёл к ответам другим лицам и, наконец, на заседаниях 1, 2, 5 и 6 марта огласил обширный ответ Ломоносову в 70 пунктах, который был вписан целиком в протокол 6 марта. После 8 марта, когда заседания закончились, протоколы «посланы были кругом» по всем профессорам. Тогда и были сделаны на полях протокола 6 марта замечания Ломоносова на ответы Миллера, которые впервые были опубликованы в 1952 г. в качестве третьего отзыва на речь⁴³.

Параллельно с тем Миллер пытался изменить ситуацию, которая грозила ему самыми серьёзными осложнениями и которая сложилась по причине увольнения со службы Х.Г. Крузиуса, в связи с чем историографу «указом ея и.в.» от 20 апреля 1749 г. было вменено чтение лекций в Академическом университете. 22 января 1750 г. он подал в «Санктпетербургскую» Канцелярию «доношение», в котором вначале подчеркнул, что по указу президента «определён я при университете ректором и по контракту обещано мне дать на сию должность инструкцию, которую я ещё не получил». После чего предложил: «Необходимо надобно на место профессора Крузиуса определить другого такого ж профессора, в латинском языке, в древностях и в критике и в литеральной истории искуснаго, для продолжения той пользы, которую студенты от сих лекций преж сего имели»⁴⁴. Но 24 января в журнале Канцелярии записано, что лекции Крузиуса «в университете неотменно отправлять гимназии ректору и профессору господину Фишеру»⁴⁵.

Несмотря на столь сложную и нервную обстановку, Миллер в конце марта 1750 г., т. е. сразу после завершения обсуждения «диссертации», решился на очень важный для себя шаг, навечно связавший его с Россией. 27 марта 1750 г. в протоколе «Санктпетербургской» Канцелярии записано, что «прусский уроженец из Герфорта Герард Фридрих Миллер заключённым в Канцелярии Академии наук контрактом обязался, что он по смерти свою службе ея и.в. не покинет и быть в академической службе должен, которое его обязательство не иначе, как только собственно до него одного касается, а не с фамилиею его, то есть с женою и с детьми, разумеется, того ради Правительствующему Сенату о том представить во известие доношением, с требованием о надлежащей по указом резолюции». В тот же день «принял намерение остаться вечно в России, в подданстве ея и.в.» и «уроженец вествалской из Пермонта» Штрубе де Пирмонт. 23 апреля Сенат приказал по «указу ея и.в.»: «находящихся при оной Академии профессоров» Миллера и Штрубе де Пирмонта «по их желанию и обязательству в российскую службу вечно принять и привести к присяге и определить их в штат академический по рассмотрению той Канцелярии». Последняя 2 мая распорядилась во исполнение высочайшего указа: «объявленных господ профессоров Миллера и Штруба числить вечно в российской службе, и для того привести их к присяге в люторской кирхе актуарису Албому и подписныя их присяги подать в Канцелярию и хранить при деле, а для ведома в Академическое и Историческое собрании послать указы»⁴⁶ (П.П. Пекарский утверждает, что Миллер присягу на российское подданство дал 29 января 1748 г., и с тех пор эта дата присутствует в литературе⁴⁷).

Вместе с тем к финалу приближалась, абсолютно независимо от «диссертации», ректорская карьера Миллера. 16 июня 1750 г. он направил в адрес Теплова

«предложение», в котором объяснялся по поводу его обвинений (а они прозвучали 11 июня, когда учёный попросил устранить препятствия, чинимые «ему в продолжение начатой им “Сибирской истории”»). Во-первых, Миллер не исполняет своей должности, «в чём обязался по контракту издавать ежегодно по одной книжке Сибирских... описаний и путешествий, а ныне первый том Сибирской истории напечатан», а другой «к печатанию ещё не изготовил», за что может «быть в ответе и без жалования». Во-вторых, ему «ставилась в вину бесполезная трата времени на такие труды, как его диссертация о происхождении русского народа и защита её в академических собраниях, на писание диссертации о сибирских древностях, которые от него никто не требовал, и на сочинение диссертации “о истории татарской”».

Приводя тому возражения, Миллер указывал, что в 1743–1750 гг. он выполнял по поручению Академии наук, помимо подготовки к изданию «Истории Сибири», «другие работы, не имеющие отношения к его прямым обязанностям» (например, разбор родословных Крекшина, сочинение университетского регламента, написание «диссертации» о происхождении русского народа), не имел помощи со стороны Фишера, переводчиков, копиистов и прочих, обращал внимание «на медленность в опубликовании его трудов, представленных уже в 1743 г.». Причём вину за последнее историограф возлагал лично на Шумахера: «всячески он советник препятствовал, чтоб моих трудов ничего в наружии не вышло и в ней Академии и другим людям не известно было».

Подчёркивая при этом, что «продолжение Сибирской истории, яко самого любимого мне дела... остановку иметь не может, ибо хотя сегодня приказать второй том зачинать, напечатать можно: шестая глава, которая во 2-м томе будет первая, давно изготовлена... А о следующих главах не извольте печалиться, будут готовы, когда будут надобны». Но вместе с тем объясняя Теплову, что это будет сделано тогда, когда «вы изволите приказать исполнение чинить, по контракту выдавать за прошлые годы недоданное жалованье, стараться о награждении (обещанном от имени императрицы Анны Ивановны при отправлении во Вторую Камчатскую экспедицию. — В.Ф.), определить впредь жалованье, чем бы я мог пропитание иметь без нужды, но вместе с тем не налагать на меня дела, которые надлежащим по контракту делам препятствуют, и чтоб переводчики, студенты и копиисты... мне споможествовали и послушны были»⁴⁸.

Несомненно, что данное «предложение» послужило поводом к тому, что 18 июня 1750 г. (Пекарский даёт дату 20 июня) Миллер был уволен с должности ректора Академического университета. Как записано в протоколе Канцелярии, с подчёркиванием главных причин такого решения, хотя ему «множественно... повелено было, чтоб он собранные на сибирском путешествии известия привёл в такое состояние и подал бы в Канцелярию, дабы их напечатать можно было, однакож он около семи лет со времени приезда его сюда из путешествия не подал больше пяти глав Сибирской истории, которая тотчас и напечатаны, объявляя, что утруждён многими делами; но дабы не мог он чинить никаких отговорок и дело его надлежащим порядком продолжалось, то отныне увольняется он от всех других дел, кроме сего, и от ректорства; напротив того, давать ему по часу в день лекции историческая в университете».

В тот же день от ректорства в Академической гимназии был освобождён, причём с той же формулировкой, что и Миллер, И.Э. Фишер: хотя ему «веле-но было продолжать лекции профессора Крузиуса, но того и поныне не учинено, под таким видом, что смотрение над студентами и ректорство в гимназии столь много ему труда причиняют; но дабы весьма потребных лекций не упустить, то за полезно разсуждено его... от смотрения над студентами и от ректорства в гимназии уволить... и ему повелевается, чтоб он помянутыя лекции прилежно продолжал и учиненныя на сибирском путешествии примечания привёл в порядок» (т. е. вместе с Миллером сосредоточится над подготовкой к изданию остальных глав «Истории Сибири»). Ректором в университете и конректором в гимназии был назначен С.П. Крашенинников (в 1764 г. Ломоносов, вспоминая об этих событиях, явно сочувствовал Миллеру: «Между тем Миллер с Шумахером и с ассессором Тепловым поохолодился и для того оставлен от ректорства, а на его место определён адъюнкт Крашенинников, как бы нарочно в презрение Миллеру, затем что Крашенинников был в Сибири студентом под его командою, отчего огорчение произошло ещё больше»).

19 июня Канцелярия указала (повторив всё ровно через месяц), «что от сего времени» от Миллера «никакое сочинение, кроме того, к чему он действительно контрактом обязался, принято не будет и в собрании Историческом кроме Истории Сибирской, которая из Канцелярии прислана будет, отнюдь ничего для слушания от него не принимать. А понеже усмотрено, что в первом томе Истории Сибирской, который уже напечатан, большая часть книги не что иное есть, как только копии с дел канцелярских, а инако бы книга надлежащей величины не имела, то чрез сие накрепко запрещается, чтоб никаких копий в следующие томы не вносить, а когда нужно упомянуть какую грамоту или выписку, то на стороне цитировать, что она действительно в академическом архиве хранится». Также ему было предписано «продолжение Истории подавать на немецком языке прямо в Канцелярию, когда что сочинено будет, а до переводов русских дела никакого не иметь и стараться о переводах в Канцелярии»⁴⁹.

Приближалась к своему концу и затянувшаяся история с «диссертацией» Миллера. 21 июня, т. е. через три дня после его увольнения с поста ректора, состоялось Чрезвычайное собрание, на котором 13 академиками и адъюнктами, в том числе Ломоносовым (четвёртый отзыв), были поданы на неё письменные отзывы. После чего всё обширное дело — «экзамен диссертации» Миллера — было направлено в Канцелярию Академии наук для принятия окончательного решения⁵⁰. И этот «экзамен» был не в пользу Миллера. Причину чего П.С. Билярский и П.П. Пекарский видели в том, что «даже те академики, которые вовсе не желали бы вредить ему, должны были признать вопрос не решённым, спорным; иной не мог скрыть, что мнения Миллера действительны щекотливы для русского чувства; кто-то заметил ещё, что споров было бы меньше, если бы Миллер был осторожнее в выражениях». Причём «нельзя не заметить во многих возражениях против Мюллера особенного к нему нерасположения, что можно объяснить отчасти его не совсем уживчивым нравом и язвительностью, доходившею в спорах до грубости»⁵¹.

(Следует сказать, что свой сентябрьский отзыв 1749 г. несколько подправил и В.К. Тредиаковский: «Когда я заключил, что речённая Миллерова диссертация есть вероятна, и ещё вероятнее всех других, как на наших природных свидетельствах главным своим делом утверждённая; и что возможно ей быть печатной: то я заключил токмо о весьма вероятном ея главнейшем грунте, и не так всеконечно разумею, чтоб ей быть в таком состоянии, в котором она ныне напечатана. Есть, что в ней надлежит переменить, исправить, умяхчить, выцветить». В 1758 г. он, уже отстаивая славянский характер прибывших с Южной Балтики варягов-руси, скажет, что речь эта, «освидетельствованная всеми членами академическими нашлась, что как исполнена неправости в разуме, так и ни к чему годности в слоге»⁵²).

Затишье для историографа закончилось 7 сентября, когда всем профессорам была послана записка о приказе К.Г. Разумовского, что, согласно «новоподписанному учреждению об университете и гимназии», следует начать чтение лекций с 10 сентября. На записке Миллер написал: «Не могу я себе представить, чтоб новоподписанное университетское учреждение до меня касалось, ибо по заключённому мною с его высокографским сиятельством господином президентом контракту уволен я от лекций в университете, а напротив того определён другой профессор истории для чтения лекций. Сверх того я в двух доношениях, в одном мая 1-го числа 1749 году, а в другом июня 30 дня сего 1750 года, пространно предложил причины, для которых не могу я давать лекций в университете». 13 сентября «Санктпетербургская» Канцелярия в протоколе отметила: «понеже профессору истории... по параграфу 15-му назначено читать лекции по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам 12-й час и толковать универсальную историю с хронологиєю и европейскую историю и политическую географию» с 10 сентября, однако Миллер «на той записке своеручно подписал, что он от лекций по контракту в университете уволен, и хотя в контракте его, заключённом ноября 20 дня 747 году, в 4-м пункте и написано, что он от лекций уволен, то вместо того отправлять ему ректорскую должность при университете, которой он уже не отправляет».

Более того, по второму пункту контракта он обязывался «всякий год издать по одной книжке Сибирской истории, но от подписания контракта, чему безмала по се время три года, только одну книжку Сибирской истории выдал, да и та не такое удовольствие имеет, как бы ей быть надобно, а жалованье от начала контракта получал полное». Поэтому лекции «определено ему ныне читать вместо того, к чему он контрактом обязался, а ныне того не исполняет». Если же Миллер не будет читать лекции, то, начиная с 10 сентября, «в силу онаго учреждения определено, «вычитать за каждый час дневное его по окладу жалованье, а когда он при лекциях не будет, о том подавать профессору Крашенинникову в Канцелярию репорты. Чего ради на сию сентябрьскую треть жалованья ему, Миллеру, без особливаго указа не производить». 17 сентября Крашенинникову последовал, «за подписанием» Шумахера, «указ ея и.в. самодержицы всероссийской» о возможном наложении такого штрафа на историографа, а 21 сентября он «призван был» в Канцелярии, «где ему объявлено определение», подписанное 13 сентября.

В ответ учёный 26 сентября подал своему непосредственному начальнику, Разумовскому, «доношение» (по оценке П.П. Пекарского, «решительную жалобу на Шумахера и Теплова, обвиняя их в несправедливости»). В котором прежде всего объяснял, почему не может читать лекции: «каждому, кто университетские лекции давал, известно, что ко оным потребна некоторая привычка, а к историческим особливо изустное знание или память всем приключениям с начала света по наши времена. Я же оную привычку не имею, потому что чрез восемнадцать лет, как в Сибирь был отправлен, никаких лекций не давал и книг иностранных исторических, кроме касающихся до Российского государства, не читывал, по которым бы я мог обновлять память вышеченым историческим приключениям; но только я упражнялся в обстоятельном описании всея Сибири и в познании российской истории и всего внутреннего России и пограничных с Сибирью азиатских держав состояния, приуготовляя тем себя к исполнению должности российского историографа и к другим, Российскому государству полезным службам».

Затем Миллер подчеркнул, что названные «члены Академической Канцелярии вашему высокографскому сиятельству доносили о мне не так, то я оное приписываю зависти их и ненависти для бывших мне с ними в государевых делах и в партикулярных частых ссор», что «я, за многими от них мне учинёнными великими обидами, давно бы должен был на них просить о сатисфакции» и что «ныне же, как дело то того дошло, что не токмо чести, но и жалованья государеваго без всякой моей вины меня хотят лишить». В связи с чем просил у Разумовского «против их неприятельского гонения милостивой протекции». Ведя же разговор о «Истории Сибири», он указал, что Теплов «во многих компаниях... ту мою книгу хулит сам, в чём не запирается, и, может быть, тем он притчину подал, что и другие с ним в согласие вступили». Хотя, как заострял Миллер внимание: если и есть в его книге погрешности, то они не могут быть важными, потому как до сдачи в печать её профессора читали, «и что сомнительно показалось, в Историческом собрании поправлено, а прочее общим господ профессоров рассуждением апробовано»⁵³.

28 сентября на чрезвычайном заседании Академического собрания было зачитано — в качестве высочайшего указа — решение Главной Канцелярии от 24 сентября, согласно которому была поставлена последняя точка в судьбе «диссертации» Миллера. В его преамбуле по поводу мнений «профессоров и адъюнктов» о ней от 21 июня сказано, во-первых, что «профессоры из иностранных совсем рассуждать о том за незнанием их российского языка и за неведением подлинно российской истории отказались; а другие из них же отдают оное на рассуждение природных россиан; а иные объявляют, чтоб некоторые места в той диссертации выпустить, а напротив того касающиеся до важности в сём деле пункты обстоятельнее описать». Во-вторых, что российские профессора Ломоносов, Крашенинников и адъюнкт Попов «речь к напечатанию и публике весьма не опробовали и совсем предосудительною для России признали». В-третьих, профессор Тредиаковский «во мнении своём между прочим написал, что она диссертация есть вероятная и возможно ей быть напечатанной, токмо же есть что надлежит в ней переменить и исправить; следовательно

но ни один профессор так и не опробовали, чтоб как та диссертация сочинена, так бы её и напечатать». В конечном итоге было определено: «диссертацию» «совсем уничтожить, и что она диссертация по мнению г-д профессоров и по разсуждению Канцелярии А.Н., так как она предосудительная России, в свет не выдавана и со всем уничтожена, о том Профессорскому собранию ведать»⁵⁴.

Однако «диссертация» Миллера не была, как утверждается в науке (да ещё именую его речь «книгой»⁵⁵, уничтожена (на этот факт указали в 1962 г. М.М. Гуревич и К.И. Шафрановский, видя причину в том, что такое решение «исходило только от одной Академии»)⁵⁶. И выражение «совсем уничтожить» в данном случае означало только одно — отвергнуть, подвергнуть полному забвению и сдать в архив (в пользу чего говорит также фраза: «в свет не выдавана и со всем уничтожена», а также сообщение «Санктпетербургской» Канцелярии от 27 ноября 1749 г., что «диссертация» Миллера «уничтожилась», т. к. состоялось публичное собрание Академии, на котором она ещё могла прозвучать). В связи с чем 24 января 1751 г. «унтер-библиотекарь» Академической библиотеки И.И. Тауберту было «предписано, — констатирует Пекарский, — хранить при библиотеке экземпляры речи Миллера: 6 рукописных, русских 488 и латинских 491»⁵⁷ (Е.В. Пчелов утверждает, неизвестно откуда беря эти данные, что напечатанный тираж «диссертации», «за исключением трёх экземпляров, был уничтожен»⁵⁸). Причём она, посредством, видимо, того же Тауберта оказалась в руках А.Л. Шлёцера, который неоднократно ссылается на неё в «Несторе»⁵⁹.

Более того, «диссертацию» Миллера хорошо знали тогда западноевропейские учёные, т. к. список с её латинского текста, посланный Шлёцером И.К. Гаттереру в Гёттинген, был издан в 1768 г. в «Allgemeine historische Bibliothek» (к 1773 г., по признанию Миллера, она была там напечатана «вторым уже тиснением»)⁶⁰. С основными её положениями, несколько изменёнными под воздействием прозвучавшей в ходе дискуссии критики (теперь он умалчивал «о войнах древних северных народов, против *Голмгарда* или *Новагорода* учинённых»), могли ознакомиться и русские читатели. В 1761 г. «диссертация» была опубликована как вводная часть большого исследования Миллера, посвящённого истории Новгорода («Краткое известие о начале Новагорода»), одновременно на страницах «Сочинений и переводов к пользе и увеселению служащих» и академического журнала «Sammlung russischer Geschichte». Затем её материал был также частично включён в книгу «О народах, издревле в России обитавших» (1773, переиздана в 1788)⁶¹.

Но «уничтожение» речи Миллера явилось прелюдией к другому испытанию в его жизни. 6 октября в протоколе «Санктпетербургской» Канцелярии изложено решение К.Г. Разумовского (было оглашено 8 октября в Академическом собрании) о лишении его, «по силе генерального регламента 25-й главы», на год профессорского звания и переводе в адъюнкты, «с жалованьем, считая от сего числа», 360 рублей в год. А наказывался он потому, что мешал, как поясняет президент, его старанию «корпус академический в произведении наук и художеств время от времени в лутчее приводить состояние и распорядки», как это мешали делать профессора Ж.Н. Делиль и Х.Г. Крузиус, за что он «безвременно принуждён был, от Академии отрешив, отослать» их из России. После чего

в протоколе в порядке очерёдности перечисляются «вины» (числом десять) Миллера, вызвавшие понижение его академического статуса.

Во-первых, в 1748 г. «следовался... по письмам, писанным к нему» покинувшим в мае 1747 г. Россию Ж.Н. Делилем, «которые касаются до ругательства академического корпуса (т. е. престижа Петербургской Академии наук, названной Делилем «корпусом фантастическим». — В.Ф.) и до некоторого умысла против чести Академии, о котором он с Делилем во Франции соглашался и пересылки делал». Проблема переписки Миллера с последним (по которой, как уже говорилось, в октябре-ноябре 1748 г. Академия наук проводила расследование, оставившее историографа «в подозрении», но с обещанием Разумовского учинить ему «пристойный выговор, за его столь подозрительные поступки») была поставлена главным пунктом ещё по одной и более чем важной причине.

Дело в том, что астроном Делиль, находясь в России с 1726 г., занимался шпионажем в пользу своего правительства, в результате чего у нашего противника в руках оказалась «богатая коллекция ценнейших в стратегическом отношении русских карт. Это были карты побережий Финского залива, Балтийского, Чёрного, Белого, Каспийского морей, планы морских портов и крепостей, в том числе Петербурга, Кронштадта, Шлиссельбурга, Нарвы, Ревеля, Риги, Архангельска, Астрахани и др., карты границ Русского государства с Польшей, Швецией, Турцией, Китаем и т. п.», а также секретная карта географических открытий Второй Камчатской экспедиции, обследовавшей северное и восточное побережье Сибири, берега Северной Америки» (видимо, чтобы окончательно не растерять остатки государственной тайны, 8 апреля 1746 г. было предписано «взнести в Кабинет ея и.в. завтрашняго числа по утру» имеющиеся при Академии «карты Камчатской экспедиции, чёрные и белые, какие есть, письменные или печатные, не оставляя ничего»).

Помимо этой деятельности, о которой начали громко говорить и за пределами Академии (в августе 1742 г. Шумахер ставил Сенат в известность, что Делиль отправляет во Францию секретные материалы Второй Камчатской экспедиции), он собирал, по словам его французского биографа А. Инара, «о Российской империи всякого рода сведения, могущие снабдить Францию ценными указаниями». Цена как украденным Делилем карт, так и всем вообще его «ценным указаниям» о России, способным резко ослабить её обороноспособность и перечеркнуть её независимость в проведении внешней политики, особенно возросла с момента назревания конфликта между Россией и Францией, закончившегося разрывом дипломатических отношений в 1748 г. (П.Н. Милоков не сомневался, что именно за историю с Делилем Миллер и был «временно разжалован из профессоров в адъютанты»).

Во-вторых, Миллер, притворившись во время Второй Камчатской экспедиции больным, не поехал на Камчатку, как ему изначально предписывалось, чтобы «учинить» и её описание, а отправил туда студентов (ныне профессора С.П. Крашенинникова «и других»), и «пользуясь напрасно чрез девять лет немалым иждивением... и оттуда ничего иного не привёз, кроме собранных из сибирских архивов по большей части копий с грамот, летописцев и других канцелярских дел, что тамошними служителями учинено. А оное самым бы малым

ижданием можно было получить чрез указы Правительствующаго Сената, не посылая его, Миллера, на толь великом жалованье содержащагося». И при этом «кроме одной книжки Сибирской истории, которая для величины наполнена многими канцелярскими делами и копиями, по сие время ничего не видно». Ко всему же, «чтоб привести всё дело сибирской экспедиции в замешательство», уговорил «товарища его путешествия» И.Г. Гмелина выехать за границу, причём тот сам ныне признаётся, что «такое преступление и вероломство учинил по советам и научению его, Миллера» (П.П. Пекарский констатировал, что во время пребывания зимой 1735–1736 гг. в Якутске «у Миллера и Гмелина явилась впервые мысль уклониться от поездки с Берингом в Камчатку»).

В-третьих, в прошлом 1749 г. «сочинил диссертацию о начале российского народа», которая была отдана «свидетельствовать некоторым профессорам и адъюнктам», а после его жалобы велено было её «генерально всем профессорам и адъюнктам вторично свидетельствовать, не предосудительна ль она для России, и о том бы каждый подали свои мнения, то ни один профессор и адъюнкт той его диссертации за основательную не признали и чтоб её так напечатать, как она есть (для предосуждения России) не апробовали». Причём на это ушло много времени: «люди от своих дел отняты были иногда чрез целый год, второе, многократно обыкновенные профессорския собрания отставливаны были для исследования его неосновательных споров, следовательно, по причине его, Миллера, деньги за то время напрасно исходили, и совсем тем он, Миллер, ни в чём не оправдался, а оказал себя больше охотником упражняться в процессах, нежели попечение иметь о истинном деле» (к тому же Крашенинникова, который вёл протоколы и «который при том почти первый голос» давал, «из единой, как видно, злости поносил» и говорил Г.Н. Теплову и некоторым профессорам, что «он, Крашенинников, был у него под батожьём»). В-четвёртых, при президенте «ругал» Теплова «клеветником и лжецом» и от всего при этом отпирался. В-пятых, членов Канцелярии письменно обвинил в пристрастии и несправедливости к нему, хотя ими «все дела от мала до велика производятся по моей точно апробации, и тем он, Миллер, господ членов Канцелярии Академии наук клеветает напрасно».

В-шестых, «ссылается на контракт свой, что ему то должно делать, к чему он обязался, а то от него отнято», потому как «ни половины того не исполнял, что ему надлежало». При этом забыв, что он теперь подданный России, «и в таком случае уже не на контракт смотреть надлежит, но того только слушать надобно, что от команды исполнять ему приказано будет. Однако он тому всему ослушен и вместо других дел, кои бы ему по контракту исполнять следовало, в университете лекции читать поныне не принимался и совсем упрямылся, и всю свою бытность в единых только ссорах недельных и несогласиях по корпусу академическому препроводит и тем у себя и у своих товарищей каждого должность отправлять мешает и делает по Канцелярии напрасныя затруднительства». В-седьмых, И.Д. Шумахер просит «о сатисфакции», т. к. «обещан ложно» в письме Миллера президенту. В-восьмых, и М.В. Ломоносов требовал на него «просить в бесчестии», ибо тот назвал его «недоброхотным, следовательно, пристрастным, чем его почёл за нарушителя присяжной его должно-

сти», а также «в своих ответах и письмах в Профессорское собрание писал», что Ломоносов имел на него «худое умышление и своё отечество обманывал».

В-девятых, Н.И. Попов также требовал «сатисфакции», ибо Миллер признал его «доносителем и называл... пристрастным и бездельным человеком, который будто бы на него по злобе умысел делает, следовательно, присяги своей ни честности не наблюдает», и сверх того объявлял Попова «совсем недостойным того, чтоб он мог рассудить о его умствованиях, за его крайним незнанием его, Миллеровой, мудрости». В-десятых, на «сатисфакции» настаивает и Теплов, т. к. Миллер назвал его при президенте «клеветником и лжецом». В целом, как резюмировал сам президент, в этих рассуждениях историограф «многих продерзостей и крайнего безпокойства, и ссор, и нанесённых обид своим командирам и товарищам, чем он не точию Канцелярии, но и мне самому чинит недельными своими вымышлениями предосудительство и затруднения, и тем отводит каждого от настоящего дела, чрез что пропадает академическая честь и польза и тратится напрасно время и интерес».

В резолютивной части ордера особо подчёркивается, что взыскание налагается на Миллера «за единыя его ругательства командиров его и его товарищей и за ослушание команды и дерзостные поступки». Миллеру вместе с тем предписывалось: «и в Академическом собрании и нигде ему не присутствовать за склонностию его к ссорам, а отправлять в университете ту должность, которую пред сим в учреждении университетском исправлять ему велено. А ежели и тому будет ослушан, то по первому определению чинить у него вычет из жалованья, буде же и то его к надлежащему пути и исполнению не обратит, то имеет быть отослан в надлежащее место, к суду» (но к чтению лекций он так и не приступил, на основании чего производился вычет из его жалованья). Спустя четыре с половиной месяца, 21 февраля 1751 г., после «просительного своеручного письма» президенту Миллеру вернули, «в надежде его надобности в Академии и ожидании многих от него дел, на которые не малое уже иждивение... положено», «чин и достоинство профессорское», жалованье в 1000 рублей в год (причём «было велено жалованье ему профессорское произвести за то время, которое он и адъюнктом был»). Вместе с тем приказывалось «от всех дел его уволить, оставя токмо при одном сочинении Сибирской истории, и сколько когда им оной на немецком языке написано будет, оное подавать ему для переводу на русский язык в Канцелярию».

История, произошедшая с Миллером, не является единичной. Выше говорилось о Х.Г. Крузиусе, уволенном без всяких разбирательств вообще. 28 мая 1743 г. Ломоносов, а речь об этом также шла по жалобе профессоров, в том числе Миллера (по словам П.П. Пекарского, он «во всём этом деле принимал деятельное участие»), был арестован. Причём Следственная комиссия при Сенате возвела на него «обвинение в таких преступлениях, за которые по законам того времени полагалось битьё батогами или плетьюми, а то и смертная казнь» (комиссия, передавая материалы по делу Ломоносова в Сенат, при этом доложив обо всём императрице, предлагала «учинить наказание» ему за «неоднократные неучтивые, и бесчестные, и противные поступки как комиссии, так и Академии в конференции... также и в Немецкой земле, по силе государственных

прав»). Слава Богу, обошлось. Сенат в январе 1744 г. помиловал адъюнкта Ломоносова, приказав «во объявленных учинённых им предерзостях у профессоров просить прощения» и жалование ему в течение года выдавать «половинное» (Пекарского этот приговор поразил «своею снисходительностью»), но в июле по указу императрицы ему начали выдавать «полное жалование»⁶².

По заключению П.П. Пекарского, из «обвинений» Миллера «видно только невежество канцелярского начальства и личная его вражда к Мюллеру». Собственно же инициатором унижительного для историографа понижения в чине явился советник Академической Канцелярии Г.Н. Теплов, управляющий, по оценке Пекарского, «всеми действиями тогдашнего президента Академии графа Разумовского». И об этой неприглядной роли советника в курсе были его современники. Как прямо указывал ему в январе 1761 г. Ломоносов, говоря о его непостоянстве и следовании «стремлению своей страсти, нежели общей академической пользе»: «Из многих примеров нет Миллерова чуднее. Для него положили вы в регламенте быть всегда ректором в Университете историографу, сиречь Миллеру; после, осердясь на него, сделали ректором Крашенинникова; после примирения опять произвели над ним комиссию за слово *Akadémie phanatique* [Академия фанатичная] (Ломоносов по памяти неправильно воспроизвёл слова Делиля. — В.Ф.), потом не столько за дурную диссертацию, как за свою обиду, низвергнули вы его в адъюнкты и тотчас возвели опять в секретари Конференции с прибавкою вдруг великого жалования, представили его в коллежские советники, в канцелярские члены; и опять мнение отменили»⁶³.

3.3 Исторические знания Ломоносова накануне дискуссии, или почему «всё обнял он и во всём успел»

В рассуждениях о полемике Ломоносова и Миллера симпатии большинства специалистов априори находятся на стороне историографа. Тому способствуют несколько обстоятельств, которые в обязательном порядке принято подчёркивать в литературе. О первом из них речь только что шла, хотя Ломоносов не был инициатором ни обсуждения речи Миллера (а был вовлечён, как и другие его коллеги, в этот процесс руководством Академии), ни его наказания. При этом лишь выступая против её публичного оглашения и последующего распространения⁶⁴. Второе заключается в том, что Ломоносов, как это начал говорить А.Л. Шлёцер, якобы не мог терпеть иностранцев, потому-то он и третировал Миллера. «Вздорны — пишет Б.И. Краснобаев, — обвинения Ломоносова в нетерпимости, нелюбви к “немцам”. Они распространялись его недругами из числа приверженцев клики Шумахера-Тауберта, с которой он вёл борьбу принципиальную, отнюдь не личную»⁶⁵.

Но к распространению и этой неправды в большей мере причастны российские норманисты, игнорирующие факты дружбы Ломоносова с работавшими

в России иностранными учёными. Так, после трагической гибели Г.В. Рихмана, с которым, по признанию Ломоносова, его связывали «согласие и дружба», он принимает живейшее участие в судьбе его семьи, оставшейся без средств существования. 26 июля 1753 г., т. е. уже в день смерти Рихмана, Ломоносов просит И.И. Шувалова исходатайствовать «бедной вдове его или детям до смерти. За такое благодеяние Господь Бог вас наградит, а я буду больше почитать, нежели за своё». 30 августа он обращается к другому влиятельному царедворцу, вице-канцлеру М.И. Воронцову с просьбой склонить президента Академии наук К.Г. Разумовского оказать семье погибшего, впавшей в крайнюю нужду, материальную поддержку (а в октябре 1761 г. распорядился принять в Академическую гимназию «на казённом содержании» двух его сыновей. Стараниями Ломоносова старший из них был произведён в декабре 1764 г. в студенты). Говорит Ломоносов о «добром сердце и склонности к российским студентам» И.Г. Гмелина, читавшего «им в Сибири лекции, таясь от Миллера, который в том ему запрещал», а в отношении И.А. Брауна отмечал его «всегдашнее старание о научении российских студентов и притом честная совесть особливой похвалы и воздаяния достойны». Был очень близок с Я.Я. Штелиным, которого единственного называл в письмах другом и который последние дни пробыл с умирающим Ломоносовым⁶⁶.

Ломоносов, которого рисуют национал-патриотом и непримиримым борцом за «чистоту» рядов российской науки, рекомендовал для работы в Академии наук немецких учёных, например, И.К. Шпангенберга, К. Дахрица. Причём он самым решительным образом опротестовал мнение весьма им почитаемого Л. Эйлера, выступившего против приглашения И.К. Шпангенберга и И.П. Эбергарда. Объясняя в мае 1754 г. Миллеру (с обращением: «Благородный г. профессор, государь мой!»), почему Эйлер отклонил кандидатуру Эбергарда, Ломоносов подчеркнул вместе с тем свою полнейшую беспристрастность в вопросах науки: он «Невтоновой теории в рассуждении цветов держится. Я больше, нежели г. Ейлер, в теории цветов с Невтоном не согласен, однако тем не неприятель, которые инако думают». В марте 1763 г. в Академическом собрании русский академик защитил Я.Ф. Шмидта, карты которого, составленные для нового «Российского атласа», пытался поставить под сомнение Миллер. И в этом его поддержало большинство присутствовавших.

В отношении выдающегося немецкого учёного и своего учителя Х. Вольфа Ломоносов проявил беспримерный такт. Видя, что его физические воззрения вошли в диаметрально противоположное противоречие с взглядами этого мыслителя, Ломоносов несколько лет не решался опубликовать результаты своих наблюдений. Как он признавался 12 февраля 1754 г. в письме «мужу славнейшему и несравненному» Эйлеру, что не может «предложить на обсуждение учёному свету» «мысли о монадах», хотя «твёрдо уверен, что это мистическое учение должно быть до основания уничтожено моими доказательствами, однако я боюсь омрачить старость мужу, благодеяния которого по отношению ко мне я не могу забыть; иначе я не побоялся бы раздражить по всей Германии шершней-монадистов». И своё глубочайшее почтение к нему Ломоносов трепетно сохранял всю жизнь (я многим обязан «славному Вольфу», именовав его «своим благодетелем и учителем», у которого искал защиты)⁶⁷.

Ломоносов, которому приписывают даже «национальную ненависть» к Миллеру, полностью поддержал его (о чём частично речь шла) в конфликте 1746–1747 гг. с П.Н. Крекшиным. Крекшин, получив отрицательный отзыв Миллера на своё «Родословие великих князей, царей и императоров всероссийских», в котором возводил Романовых к Рюрику, в доношении в Канцелярию Академии наук 23 февраля 1747 г. обвинил его «в собирании хулы на русских князей», а затем пожаловался в Сенат на то, что он «о фамилии Романовых подал в Канцелярию Академии наук письменно, будто эта фамилия Захарьиных и Юрьевых, что ложно и противно закону». К разрешению этого связанного с царствующей династией дела, находившегося под контролем Сената, были привлечены, «для пресечения» спора Миллера и Крекшина, Штрубе де Пирмонт, Тредиаковский и Ломоносов.

И в чью пользу он был решён и, прежде всего, благодаря кому, видно из жалобы Крекшина в Сенат 4 декабря 1747 года. По его словам, Миллер, «не зная истины, заблудил и высочайшую фамилию неправо простою дворянскою дерзнул писать, и профессеры Ломоносов, Тредиаковский и Штрубе в неведении же сию лжу за истину признавали». После чего потребовал привлечь их к делу, т. е. он намеревался уличить в государственном преступлении и Миллера, и членов комиссии. Ломоносов же решительно встал на сторону *немца* Миллера (отзыв комиссии, защитивший его от более чем серьёзного навета, писан вчерне им)⁶⁸ и выступил против *русского* Крекшина, потому как всегда и во всех вопросах стоял за правду (но для А.Б. Каменского этот случай — лишь пример корпоративной солидарности, вызванной «необходимостью защиты авторитета Академии»⁶⁹, странный, конечно, в свете разглагольствований автора о крайне пристрастном отношении Ломоносова к Миллеру).

Всю свою научную жизнь Ломоносов следовал принципу, который он изложил в заметках по физике в начале 40-х гг.: «Я не признаю никакого измышления и никакой гипотезы, какой бы вероятной она ни казалась, без точных доказательств, подчиняясь правилам, руководящим рассуждениями». Имелся ещё один принцип, которым он также всегда руководствовался и который высказал в январе 1761 г. Теплову, а в этом и есть весь Ломоносов, живший только интересами страны: «За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве и против отца своего родного восстать за грех не ставлю... Что ж до меня надлежит, то я к сему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятельми наук российских бороться, как уже борюсь двадцать лет; стоял за них смолода, на старость не покину» («я бы охотно молчал и жил в покое, да боюсь наказания от правосудия и всемогущего промысла, который не лишил меня дарования и прилежания в учении и ныне дозволил случай, дал терпение и благородную упрямку и смелость к преодолению всех препятствий к распространению наук в отечестве, что мне всего в жизни моей дороже»)⁷⁰.

И речь здесь идёт не о борьбе с иностранным засильем в науке, а за торжество в ней правды и справедливости, о чём хотя бы говорят случай с Крекшиным и многократные столкновения Ломоносова с одним из самых влиятельных лиц в Академии наук Тепловым, в котором — в русском человеке! — он видел гонителя наук российских. Наши норманисты, выставя Ломоносова по сути

ксенофобом, игнорируют не только приведённые факты. Они игнорируют то обстоятельство, что наш светлый гений был взращён на православных ценностях, которые вобрали в себя лучшие качества народов, составивших русскую нацию, и в которых нет места даже для малейшей неприязни к инородцам⁷¹. На тех ценностях, благодаря которым в XVIII в. тысячи иностранцев без каких-либо проблем вливались в русское общество (причём многие в самую элитную его часть) и которые в 1759 г. позволили, например, «арапу Петра Великого», прадеду А.С. Пушкина, дослужиться до чина генерал-аншефа. И вообще странно, конечно, говорил М.Н. Тихомиров, обвинять Ломоносова в «немцеедстве», женатого на немке, учившегося в Германии и никогда не забывавшего о своём пребывании в этой стране⁷².

Отношения между Ломоносовым и Миллером были, разумеется, очень непростыми, но на них нельзя смотреть только с позиций последнего, якобы «гонимого и оскорблённого». За себя и за свои интересы он всегда умел, как уже отмечалось, постоять и отличался, указывал Шлёцер, «необыкновенной вспыльчивостью», которую не научился укрощать, «несмотря на неприятные столкновения, которые имел в Академии по возвращению из Сибири; кажется, что при глубоком сознании своего достоинства и недостойности своих преследователей, от этих неприятностей он ещё более озлоблялся. Он приобрёл множество сильных, тайных и явных, врагов между товарищами желанием господствовать, а между подчинёнными своей суровостью».

В 1758–1759 и 1764 гг. Ломоносов вспоминал, что «по приезде Миллеровом из Сибири, где он разбогател и приобрёл великую гордость, какие ссоры, споры, тяжбы с Шумахером были, описать невозможно: все профессорские собрания происходили в ссорах». Свой характер проявил Миллер и при обсуждении «диссертации». «Каких же не было шумов, браней и почти драк! — с некоторой долей иронии говорил Ломоносов. — Миллер заелся со всеми профессорами, многих ругал и бесчестил словесно и письменно, на иных замахивался в Собрании палкою и бил ею по столу конференцскому. И, наконец, у президента в доме поступил весьма грубо, а пуще всего асессора Теплова в глаза обесчестил. После сего вскоре следственные профессорские собрания кончились, и Миллер штрафован понижением чина в адъютанты»⁷³ (когда в 1761 г. Ф.М. Вольтер в резкой форме не принял замечания Миллера и Тауберта на опубликованный в 1759 г. первый том своей «Истории России при Петре Великом», то историограф — и в этом проявился его характер — не простил такого отношения к себе и, по словам С.М. Соловьёва, постарался «низложить пред учёным светом своего врага и обидчика»⁷⁴).

Третьим из обстоятельств, определяющих расположение наших учёных именно к Миллеру, является их убеждённость лишь в патриотической подоплёке выступления Ломоносова против норманизма, только в силу политических причин — реакция на бироновщину и антишведские настроения — добившегося запрета «диссертации» Миллера, якобы отстаивавшего истину. Хотя при этом они не говорят, что на принципиальные её ошибки одновременно с Ломоносовым указали и немцы — И.Э. Фишер и Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, — которых невозможно записать в патриоты. И которые, пояснял В.А. Мошин, «в своих

рецензиях возражали на каждую страницу доклада» Миллера. Причём Штрубе, «наиболее жестоко критиковавший доклад Миллера, в сущности расходился с ним лишь в частностях, признавая норманское происхождение руси»⁷⁵.

А затем и другие немцы, причём самые большие «светочи» норманизма, также отказали «диссертации» Миллера в научности: А.Л. Шлёцер видел во многих её положениях «глупости» и «глупые выдумки»⁷⁶, А.А. Куник же в целом охарактеризовал её как «препустая»⁷⁷. Тем самым они признали принципиальную правоту Ломоносова в оценке этой речи. Следовательно, отметили домыслы об отсутствии в его критике каких-либо серьёзных оснований, кроме как только патриотических. Нельзя также забывать, что инициатором обсуждения сочинения Миллера, которое он назвал «галиматъей», был немец И.Д. Шумахер, но не русский Ломоносов. Если же ситуацию в нашей науке середины XVIII в. воспринимать только как борьбу патриотов и непатриотов, т. е. анти-норманистов и норманистов, то нельзя тогда понять, почему к этому времени были опубликованы все работы Г.З. Байера, в которых утверждалось норманство варягов, но никто из русских учёных не препятствовал их выходу в свет. Более того, русский перевод статьи Байера «О варягах» был включён В.Н. Татищевым в первый том своей «Истории Российской», а в 1767 г. К.А. Кондратович выпустил его отдельным изданием⁷⁸.

Кроме того, с норманистских позиций тогда выступали иностранные учёные, жившие в России, но им никоим образом не возбранялось высказывать это мнение, в том числе публично. Так, 6 сентября 1756 г. Штрубе де Пирмонт на торжественном собрании Академии наук произнёс речь «Слово о начале и переменах российских законов», где доказывал норманское происхождение норм Русской Правды и утверждал, что россы «были народ германской, живущий вне пределов Германии» и законы которых «наиболее согласуются» с законами шведов. И это далеко «непатриотичная» речь, если говорить языком норманистов, прозвучала на торжествах, посвящённых тезоименитству императрицы Елизаветы Петровны, и нисколько не была вменена в вину немцу, к тому же некогда служившему секретарём у ненавистного русскими Э. Бирона. Три года ранее те же мысли он проводил в «диссертации» «Рассуждения о древних россиянах» (была издана в Петербурге на французском языке в 1785 г., на русском — в 1791 г.), подчёркивая, что руссы представляли собой часть «готфских», т. е. германских северных народов⁷⁹ (кстати сказать, и Миллер в последискуссионный период выводил варяжскую русь от роксолан-«готфов», и никто ему в этом не препятствовал).

За границей также не сомневаются, что Ломоносову норманская теория казалась обидной для русского самосознания. К этому мнению, взращённому именно нашей наукой, там ещё добавляют: он «опасался, что шведский король, ссылаясь на шведское происхождение первой русской династии, снова может претендовать на русский престол». Такой «аргумент» не брали в расчёт даже шведские монархи XVII в., когда их придворные историографы создавали норманскую версию, направленную против России (к тому же эти короли не имели никакого отношения к конунгам древности, в силу чего даже теоретически не могли ни на что претендовать). Весьма курьёзным является и другой вы-

вод норвежского историка Й.П. Нильсена: в начале XIX в. варяжский вопрос в большей степени потерял характер патриотического спора, возможно, и по той причине, что взамен «германских» государств Швеции и Пруссии главным противником России стала наполеоновская Франция⁸⁰.

Подобные мысли, как и слова Шлёцера, что во времена Ломоносова «было озлобление против Швеции», выглядят полнейшим абсурдом в свете хотя бы факта избрания 30 апреля 1760 г. его почётным членом Шведской академии наук (которая, в свою очередь, не испытывала, несмотря на все сложности в русско-шведских отношениях, «озлобления» против России). И Ломоносов с искренними словами благодарности к «славнейшей академии» «за столь великую и особенную милость, от знаменитейшего общества полученную», принял это почётное звание, которым очень гордился и который значится на титульном листе его «Древней Российской истории»⁸¹. Сомнительность слов Шлёцера проступает и в том, что Россия всегда умела прощать своих врагов, в связи с чем не могла, конечно, испытывать «озлобления против Швеции». Поэтому абсолютно прав был Н.В. Савельев-Ростиславич, сказав в 1845 г., что шведское происхождение Рюрика отвергалось не из-за «ссоры» со Швецией, а по причине «явной несообразности» с указаниями ПВЛ⁸².

Рассматривая причины противостояния Ломоносова и Миллера как противостояние русского и немца, норманисты, чрезмерно преувеличивая роль «патриотического фактора» и упрощённо сводя принципиальную позицию Ломоносова лишь к нему, отчего из поля их зрения выпадают подлинные причины полемики между ними. А этих причин две, и они названы Ломоносовым. Прежде всего неприятие речи Миллера он объяснял в ходе дискуссии тем, что она, служа «только к славе скандинавцев или шведов... к *изъяснению нашей истории почти ничего не служит* (курсив мой. — В.Ф.)», т. е. фактически не имеет никакого отношения к русской истории (подобное позже, как указывалось, говорил Миллер в адрес шведа Далина). Затем в 1764 г. Ломоносов добавил, что Миллер при сочинении «диссертации» «из российской истории... избрал материю, весьма для него трудную, — о имени и начале российского народа», а академики в ней «тотчас усмотрели немало неисправностей и сверх того несколько насмешливых выражений в рассуждении российского народа»⁸³.

Четвёртое из обстоятельств, заставляющих специалистов всё также априори занимать сторону Миллера, заключается в том, что Ломоносов, по их мнению, не был профессиональным историком, тогда как Миллер являлся таковым да к тому же занимал должность историографа. У истоков данного мнения стоял Шлёцер. Эту мысль затем всемерно закрепляли, в том числе и советские учёные, считавшие себя истинными антинорманистами (например, С.Л. Пештич в 1961 г. утверждал, что если иностранные учёные прошли, «как правило, университетскую школу», то их русские оппоненты «специальной исторической подготовки не имели»⁸⁴). Но, если понимать профессионализм лишь в этом смысле, то, во-первых, Ломоносов не был тогда профессиональным филологом, однако создал «Российскую грамматику», которая, констатируют лингвисты, свидетельствует «о глубокомыслии, блистательной одарённости и широких знаниях её составителя», шедшего «непроторённым путём, не имея ни одного

предшественника», и которая «служила в течение весьма долгого времени образцом для всех последующих грамматик». Роль Ломоносова в истории языка очень точно описал А.А. Бестужев (Марлинский): «гений Ломоносова... озарил полночь. Он пробился сквозь препоны обстоятельств, учился и научал, собирал, отыскивал в прахе старины материалы для русского слова, созидал, творил — и целым веком двинул вперёд словесность нашу. Русский язык обязан ему правилами, стихотворство и красноречие — формами, тот и другие — образами»⁸⁵.

Не был Ломоносов и профессиональным литератором, но В.Г. Белинский, говоря о его «Оде на взятие Хотина (1739), отметил, что «двадцативосьмилетний Ломоносов — Пётр Великий русской литературы», её отец, создатель и основатель»⁸⁶. Не был он и профессиональным астрономом, но открыл, в отличие от 112 астрономов, также наблюдавших прохождение Венеры по солнечному диску 26 мая 1761 г., нахождение у неё атмосферы (спустя тридцать лет после небольшой полемики немецкий и английский астрономы И.И. Шретер и Ф.В. Гершель признали существование атмосферы у Венеры, тот же факт позже подтвердил французский астроном Д.Ф. Араго)⁸⁷. И таких «не был» можно привести ещё, но везде Ломоносов показал себя высочайшим профессионалом.

Во-вторых, не то, что в «профессора истории», но даже в историки не готовились немецкие учёные, но они стали таковыми, как и Ломоносов, в ходе самостоятельной и многолетней работы. Байер, ещё в школе начав изучать языки (древние и восточные) и историю церкви, продолжил своё образование на богословском факультете Кёнигсбергского университета, где защитил диссертацию о словах Иисуса Христа на кресте («Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»), которая принесла ему известность. Затем, занимаясь в основном Востоком и Китаем, он читал лекции о Гомере, Платоне, штудировал средневековых и северных авторов, вникал в историю Пруссии. Миллер, менее двух лет пробыв в Рингельнском и год в Лейпцигском университетах (но так и не закончил их, т. е. не имел полноценной «университетской школы»), проявил интерес к этнографии и экономике, причём с молодых лет, по его собственному признанию, «до возвращения моего из путешествия, сделанного по Англии, Голландии и Германии (т. е. до августа 1731 г. — В.Ф.), я более прилегал к полиграфии Моргофа (работа Д.Г. Моргофа «Polyhistor» 1688 г. посвящена изучению истории литературы в Германии. — В.Ф.), к истории учёности, к сведениям, требуемым от библиотекаря. Обширная библиотека моего отца воспитывала во мне эту склонность. Я поддерживал её в университетах и путешествиях».

Шлёцер, проучившись около трёх лет на богословском факультете Виттенбергского университета, защитил там в 1754 г. диссертацию «О жизни Бога». Затем год слушал лекции по филологическим и естественным наукам в Гёттингенском университете, где увлёкся, под влиянием представителя библейской экзегетики И.Д. Михаэлиса, филологической критикой Библии и увлёкся настолько, что решил посвятить себя религии и библейской филологии (будучи в 1755–1758 гг. в Швеции, написал ряд работ). С 1759 г. он в том же Гёттингенском университете более двух лет года изучал медицину (получил по ней учёную степень), естественные науки, метафизику, этику, философию права, математику, политику, статистику, юриспруденцию и др. И осваивал всё это

потому, что мечтал совершить путешествие в Палестину, дабы затем написать большой труд «О животных Библии со стороны естественно-исторической»⁸⁸.

В начале 1980-х гг. М.А. Алпатов подчёркивал, что Ломоносов «шёл на бой с противниками, вооружёнными достижениями западной исторической науки». Те же слова эхом отозвались в устах М.Б. Некрасовой в 1995–2000 гг.: русский учёный, не будучи «профессиональным историком в современном понимании», «противостоял оппонентам, выступавшим во всеоружии достижений западной исторической науки»⁸⁹. Но в университетах Байер, Миллер, Шлёцер, получая типичное для того времени эрудитское образование, могли вооружиться «достижениями западной исторической науки» только в области древней истории, да и то лишь, по оценке Шлёцера, в главных событиях. Ибо другие периоды в истории человечества тогда никого не интересовали. «Даже средневековая история, — указывал П.Н. Милюков, — считалась недостаточно достойным сюжетом для исторической науки того времени, знавшей только свои *origines* да своих классиков».

Поэтому всеобщей истории, пояснял ранее К.Н. Бестужев-Рюмин, не существовало в преподавании, вместе с тем отмечая, что «отсутствие критики, отсутствие общих взглядов было ещё чрезвычайно чувствительно в Германии, тогда как в других странах уже начиналось иное понятие об истории... Германия же жила средневековыми компендиумами». Ситуация изменилась, подчёркивал исследователь, когда в науку вступил И.К. Гаттерер, а затем, по возвращению из России, А.Л. Шлёцер. Позже П.Н. Милюков и В.С. Иконников дополняли, что в то «время исторические произведения мало ещё отличались от хроник и в университетах история не имела самостоятельного значения»⁹⁰. Из сказанного вытекает, что до своего прибытия в Россию немецкие учёные мало что знали из средневековой истории и не имели абсолютно никакого представления о русской истории, начав к ней приобщаться только по приезду в Петербург и только в той мере, в какой они овладевали русским языком.

Некоторое исключение представляет Шлёцер, который перед отъездом в наше Отечество два с половиной месяца, по его словам, «усиленно изучал Россию» и «узнал почти всё главное, что об этом государстве можно было тогда узнать вне его пределов». Какого качества были эти знания, признаёт он сам: к в середине XVIII в. Россия была для заграницы «*terra incognita*, или, что ещё хуже», совершенно ложно представлена «иностранцам большей частью людьми недовольными». Прибыл он в Петербург в ноябре 1761 г. по приглашению Миллера для обучения его сыновей и для помощи «в учёных трудах». После чего начинает постепенно, посредством Миллера, приобщаться к прошлому России. В марте 1764 г. в письме Ф.У. Эпинусу он сообщал, что «русская история стала моим занятием в такой степени, что я без всякого раздумья хотел заменить ею библейскую филологию».

Хотя ещё тогда мысль о путешествии на Восток не покинула его. По возвращению на родину учёный думал издать свою «*Russica*» (материалы по русской истории и статистике), «а на вырученные деньги прогуляться на Синай». И только в июне 1764 г. в «Планах занятий», представленных в Академическое собрание, Шлёцер сказал, что желает посвятить себя русской истории. И обе-

щал за три года создать «продолжение на немецком языке русской истории от основания государства до пресечения рюриковой династии, по русским хроникам (но без сравнения их с иностранными писателями) с помощью трудов» Татищева и Ломоносова (при этом самоуверенно назначая себя первопроходцем в изучении русской истории и перечёркивая всё, что было сделано до него: её «обработка... имеет несколько иное значение. Это не значит продолжать то, на чём другие остановились, — *но начать сначала*») ⁹¹.

Так что лишь с этого времени Шлёцер, ещё недостаточно владея русским языком (в 1763 г., по его признанию, «ещё не мог сносно говорить по-русски» ⁹²), по-настоящему занялся русской историей. Дополнительным стимулом тому послужило его назначение в обход мнения академиков в январе 1765 г. Екатериной II профессором истории Академии наук для занятия «древней российской историей» на особых «кондициях», составленных самим Шлёцером (помимо высокого жалованья — 860 руб. в год, какой тогда получали немногие академики, он выхлопотал неслыханную привилегию — предоставлять свои труды лично императрице или тому, кому она поручит их рассмотрение, минуя, в нарушение всех правил, Академическую Канцелярию и Конференцию) ⁹³. И всё больше он будет втягиваться в изучение истории России по своему возвращению в Германию, когда станет преподавать её и когда станет работать над привезёнными из Петербурга материалами (особенно с начала 1790-х гг. ⁹⁴).

Однако Шлёцер так и не смог выполнить своего обещания, данного в «Планах занятий». Как он признавался в 1769 г. в «Истории России. Первая часть до основания Москвы», написанной с привлечением «Истории Российской» Татищева и изданной в карманном формате на немецком языке: я написал её «пять лет тому назад для детей», для этого употребления она была довольно хороша, но «для серьёзных читателей я не способен написать связную русскую историю, тем менее для учёных историков-критиков». Спустя треть столетия Шлёцер в предисловии к «Нестору», представляющему собой комментарии к летописным известиям, сличаемым по разным спискам, вновь сказал, что «отказываюсь от *всеобъемлющего* начертания... а ограничиваюсь только *Нестором* и его ближайшим продолжителем, с небольшим до 1200 г.» ⁹⁵ (но труд заканчивается 980 г.).

Ломоносов, взрастая на русском Севере, аккумулировавшем народную память, с детства, правомерно отмечал В.И. Ламанский, впитывал историю Родины. По мнению Г.Н. Моисеевой, его мировоззрение складывалось «под непосредственным влиянием исторически сложившихся особенностей севернорусской культуры — хранительницы древнерусского письменного наследия» ⁹⁶. Затем исключительно важную роль в становлении Ломоносова как историка сыграла учёба в Славяно-греко-латинской академии (также Заиконоспасское училище при Заиконоспасском монастыре или Спасские школы) в 1731–1735 гг., классическое учение которой, по оценке академика Я.К. Грот, «поставило его на твёрдую почву европейской цивилизации: оно положило свою печать на всю его умственную деятельность, отразилось на его ясном и правильном мышлении, на оконченности всех трудов его» ⁹⁷.

Слушая в академии курсы истории, а также пиитики и риторики, укреплявшие его интерес к истории вообще, он, овладев в совершенстве латынью и читая по-древнегречески, по собственному желанию изучает отечественные и зарубежные источники (прежде всего летописи). В биографии учёного отмечается (с его слов, как подчёркивал Я.Я. Штелин), что «в свободное от учения время сидел... в семинарской библиотеке и не мог начитаться», где ему, «сверх летописей, сочинений церковных отцов и других богословских книг, попало в руки его малое число философских, физических и математических книг. Заиконоспасская библиотека не могла насытить жадности его к наукам, прибегнул к архимандриту с усиленною просьбою, чтоб послал его на один год в Киев учиться философии, физики и математики». Там, в древней столице Руси Ломоносов приумножал знания русской и европейской истории «в чтении древних летописцев и других книг, написанных на славенском, греческом и латинском языках»⁹⁸ (но в годы ученичества в Москве он не ограничивался «семинарской библиотекой». Это можно судить по его реплике, поданной Миллеру, переезжавшему в марте 1765 г. в первопрестольную и требовавшему рукописи из Библиотеки Академии для продолжения своих занятий русской историей, что там историограф «найдёт оных довольно к своему употреблению как в Синодальной библиотеке, так и на Печатном дворе и в Посольской архиве»⁹⁹).

С января по сентябрь 1736 г. Ломоносов был студентом Петербургской Академии наук, где прежде всего принялся изучать немецкий язык, столь распространённый тогда в Академии. Под руководством адъюнкта В.Е. Адодурова он начал осваивать математику, под руководством профессора Г.В. Крафта экспериментальную физику и одновременно самостоятельно совершенствуя свои познания в области стихосложения¹⁰⁰. Затем по распоряжению Кабинета министров отправляется вместе с двумя товарищами на учёбу в Германию, где в 1736–1739 гг. являлся студентом одного из лучших европейских университетов того времени — Марбургского (а в этом факте нельзя не видеть перст судьбы, ведь в том же университете в 1592–1593 гг. учился швед П. Петрей, заложивший основы норманской версии, разгромленной Ломоносовым). В университете он учился, посещая лекции на философском и медицинском факультетах, под руководством ректора, знаменитого философа, физика, математика (и ученика Г.В. Лейбница) Х. Вольфа, «мирового мудреца», как его тогда именовали, иностранного почётного члена Петербургской Академии наук.

И учился весьма отменно. В августе 1738 г. Вольф в письме президенту Петербургской Академии наук И.А. Корфу отмечал, что из русских студентов у Ломоносова, «по-видимому, самая светлая голова между ними», а в январе и августе следующего года сообщал тому же корреспонденту, что «более всего я ещё полагаюсь» на его успехи и что «я не могу не сказать, что в особенности Ломоносов сделал успехи и в науках»¹⁰¹. В конечном итоге «университетскую школу» он закончил блестяще, получив там разностороннее образование. Как характеризовал Вольф своего воспитанника в июле 1739 г.: «Молодой человек с прекрасными способностями, Михаил Ломоносов со времени своего прибытия в Марбург прилежно посещал мои лекции математики и философии, а преимущественно физики, и с особенною любовью старался приобретать основатель-

ные познания. Нисколько не сомневаюсь, что если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то он со временем, по возвращении в отечество, может принести пользу государству, чего от души и желаю».

Показательно, что Вольф, давший Ломоносову путёвку в науку, не переставал следить за его успехами и восхищаться ими. Так, 6 августа 1753 г., т. е. спустя 14 лет после их последней встречи, он написал своему ученику: «С великим удовольствием я увидел, что вы в академических “Комментариях” себя учёному свету показали, чем вы великую честь принесли вашему народу. Желаю, чтобы вашему примеру многие последовали» (Д.А. Цыганков подчёркивает, что «научный императив Вольфа заключался в очищении науки от догм, средневековой схоластики и придания процессу получения истины характера научного поиска». Всё это было привито Ломоносову, в том числе, отмечает С.В. Перевезенцев, и «черты немецкой основательности»). На медицинском факультете Ломоносов, где он слушал преимущественно лекции по химии и получил звание «кандидата медицины», также произвёл самое наилучшее впечатление. «Весьма достойный и даровитый юноша Михаил Ломоносов, — не жалел похвалы в его адрес профессор химии и декан факультета Ю.Г. Дуйзинг, — студент философии, отличный воспитанник ея императорского величества государыни императрицы Всероссийской, с неутомимым прилежанием слушал лекции химии, читанные мною в течение 1737 года, и что, по моему убеждению, он извлёк из них немалую пользу»¹⁰². Затем Ломоносов ещё почти год учился во Фрейберге у профессора И.Ф. Генкеля металлургии и горному делу.

В инструкции, данной Академией Ломоносову в августе 1736 г. перед выездом в Германию, предписано, что он должен обучаться химии и горному делу, «а притом учиться и естественной истории, физике, геометрии и тригонометрии, механике, гидравлике и гидротехнике», а также «стараться ему о получении такой способности в русском, немецком, латинском и французском языках, чтоб он ими свободно говорить и писать мог, и притом учиться прилежно рисованию»¹⁰³. Успешно овладевая на чужбине всеми этими науками, Ломоносов по собственному почину занимался риторикой, изучением западноевропейской литературы, стихотворными переводами, писал стихи, создал труд по теории русского стихосложения. Не оставил он за границей и своей давней тяги к истории России, о чём говорит приведённый выше факт приобретения им в феврале 1740 г. «Истории о великом княжестве Московском» П. Петрея. А в «Оде на взятие Хотина», написанной в 1739 г., Ломоносов сопоставляет Петра Великого и Ивана Грозного, в связи с чем С.М. Соловьёв резюмировал: «Способность автора сопоставить их таким образом основывалась на изучении им русской истории, которое и дало ему твёрдую почву, устанавливало его навсегда русским человеком. ...Он умел понять смысл русской истории». В той же оде и в «Письме о правилах российского стихотворства» (1739) Ломоносов использовал значительное число источников в виде выписок, сделанных в России: Казанский летописец, «Летописец начала царства царя и великого князя Иван Васильевича», Степенную книгу, Никоновскую летопись, ряд сочинений о Петре I, «Хронику польскую, жмудскую и всей Руси» М. Стрыйковского¹⁰⁴.

Вернувшись на родину в июне 1741 г., Ломоносов с головой окунается в работу: в январе 1742 г. он был назначен адъюнктом физического класса Петербургской Академии наук, в июле 1745 г. — профессором химии. Но его сверхчеловеческая энергия не могла ограничиться только химией. И учёный плодотворно действует во многих других научных сферах, пролагая, как подчеркнул в 1921 г. академик В.А. Стеклов, «новые пути почти во всех областях точных наук», опередив «своим гением на целое столетие всех своих современников» и стремясь «охватить и выполнить сразу громадное количество задач, часто не совместимых друг с другом». Можно только поражаться, не скрывал изумления великий математик, «каким образом успевал один человек в одно и то же время совершать такую массу самой разнообразной работы» и «с какой глубиной почти пророческого дара проникал он в сущность каждого вопроса, который возникал в его всеобъемлющем уме».

Несмотря на свою невероятную загруженность и по должности, и по личным многогранным интересам, практически целиком поглощавшую всё время неутомимого исследователя (а его дополнительно отнимали разного рода поручения руководства Академии и царского двора), этот, по характеристике Стеклова, «умственный великан» продолжал настойчиво углублять свои познания в области истории России. И, всё более попадая под её власть и всё более понимая её суть, Ломоносов в апреле 1742 г. отнёс «гисторию», наряду с математикой и физикой, к трём главным наукам¹⁰⁵ (хотя историей тогда заниматься было весьма непросто. Как отмечал 25 сентября 1746 г. В.Н. Татищев в письме президенту Академии наук К.Г. Разумовскому, «у нас сие гисторическое искусство и труд презирают, не токмо сами трудиться не хотят, но другим от незнания или злости препятствуют, и так Россия от чужестранных принуждена терпеть клеветы и поношения»¹⁰⁶. Последнее, несомненно, во многом мотивировало Ломоносова на занятие родной историей).

Исторические знания Ломоносов жадно черпал из книг и из источников, причём используя их показания в силу своих занятий буквально всем, что тогда вбирало в себя понятие «наука», в разных работах. Так, в «Первых основаниях горной науки», написанных в 1742 г., он ссылается на Геродота, что «кирпичи в стенах вавилонских были соединены минеральной смолой из реки Иса». В «Кратком руководстве к красноречию» (вышло в 1748 г.) обширно цитируются римские историки Ливий, Курций, Тацит, византиец Кедрин¹⁰⁷. 24 февраля 1746 г. астроном Ж.Н. Делиль в Академическом собрании обратился к Ломоносову и Тредиаковскому, как к работающим с летописями, с просьбой извлекать и собирать из «исторических книг такого рода либо из дневников и анналов все те рассказы, где речь идёт о необыкновенных небесных явлениях». И оба академика «обещали, если дело не так спешно, то они, при чтении русских книг, будут отмечать рассказы, сюда относящиеся». А хронологически ранний пример прямой ссылки на рукописные произведения, констатировала Г.Н. Моисеева, «находим в выступлении Ломоносова в 1747 г.» в связи со спором Миллера и Крекшина. И этими памятниками являются Проложное житие княгини Ольги, Степенная книга, Синописис, Патриарший список Никоновской летописи, Новгородская третья летопись,

неуточнённые им «подлинные российские родословные книги», Сказание о князьях владимирских¹⁰⁸.

О раннем обращении Ломоносова к целенаправленному изучению родной истории свидетельствуют также его слова, прозвучавшие в декабре 1759 г. в письме к М.И. Воронцову: «Через пятнадцать лет нёс я на себе четыре профессии, то есть в обоем красноречии, в истории, в физике и в химии» (отсчёт он ведёт от момента своего назначения профессором химии — с 25 июля 1745 г.). А десятью годами ранее, 26 ноября 1749 г. в «Слове похвальном Елизавете Петровне», прочитанном в торжественном собрании Академии, он устами императрицы со знанием дела изложил задачу, которая очень важна для укрепления безопасности и суверенитета России и которую необходимо незамедлительно решать русским историкам: «Не описаны ещё дела моих предков и не воспета по достоинству Петрова великая слава»¹⁰⁹.

Авторитет Ломоносова, если напомнить характеристику Г.Н. Моисеевой, «как глубокого и разностороннего историка, трезво и внимательно оценивающего свидетельства источников», выходит далеко за стены Академии наук. В январе 1749 г. из подмосковного Болдина именно его, а не официального историографа Миллера, попросил отрецензировать первый том своей «Истории Российской» (второй редакции) В.Н. Татищев. Лестно оценив этот труд и написав к нему «Посвящение», Ломоносов особенно отметил «Предъизвешение», сказав в письме автору 27 января 1749 г., что «оное весьма изрядно и во всём достаточно и поправления никакого не требует»¹¹⁰. Столь высокая оценка предисловия, в котором Татищев впервые в нашей науке обосновал принципы понимания истории, задачи её изучения, отбора и критики источников, в свою очередь полно характеризует Ломоносова как историка. Его заключение, подчёркивал М.Б. Свердлов, свидетельствует «о том, что к началу 1749 г. он хорошо разбирался в вопросах теории и историографии исторической науки»¹¹¹.

К указанному году он хорошо разбирался во многих её вопросах, в первую очередь, в варяго-русском, интерес к которому у него пробудился очень давно. В преддверии своего возвращения в Россию Ломоносов из Марбурга обратился в апреле 1741 г. с просьбой к Д.И. Виноградову (товарищу по учёбе в Германии, находившемуся во Фрейберге) выслать три книги из числа тех, что оставил, покинув этот город из-за конфликта с И.Ф. Генкелем в мае 1740 г., а именно риторiku француза Н. Коссена, стихи любимого немецкого поэта И.Х. Гюнтера и сочинение П. Петрея (а также «деньги за, может быть, проданные книги») ¹¹². Возникает вопрос: почему Ломоносов, оставшийся к тому времени без средств существования, не хотел расстаться именно с названными книгами? В отношении Коссена и Гюнтера всё предельно ясно. Именно в рамках тематики этих трудов шла тогда интенсивная работа Ломоносова, вылившаяся в 40-х гг. в новационные исследования по риторике и поэзии. Внимание же к Петрею было вызвано тем, что у него Ломоносов впервые встретил пояснение, положившее начало норманизму в шведской историографии XVII в. (а затем европейской), «что варяги вышли из Швеции».

И это пояснение никак не вписывалось в материал, который был связан с призванием варягов и который Ломоносов хорошо знал (он ещё в оде 1741 г.

указал, что по совету Гостомысла на Русь прибыли с берегов «Варяжских вод» Рурик, Трувор и Синав)¹¹³. В Библиотеке Академии наук имеются рукописи, поступившие в её фонды до 1749 г., т. е. до начала дискуссии по «диссертации» Миллера, и хранящие пометы Ломоносова той же поры. Например, в Патриаршем списке Никоновской летописи третьей четверти XVI в. (а в ней только одной более 500 его помёт) им особо отчёркнуты те места, где излагается Сказание о призвании варягов. А в Хронографе редакции 1512 г. и Псковской летописи учёным выделена иная, чем в ПВЛ, версия Сказания, т. е. он сравнивал различные его редакции. И в других летописях Г.Н. Моисеева нашла следы его работы над теми текстами, где речь идёт о варягах (например, отмечено предложение, что Ягайло «съвокупи литвы много и варяг, и жемоти и поиде на помощь Мамаю», причём Ломоносов, поставив на полях NB, сделал сноску пунктиром вниз и написал «варяги и жмудь вместе»).

Те же самые следы хранит материал, с которым осенью 1734 г. Ломоносов работал в Киеве. Так, в рукописи Киево-Печерского Патерика он подчеркнул ту часть, где говорится о Варяжской пещере, в которой «варяжский поклажай есть, понеже съсуди латиньстии суть. И сего ради Варяжскаа пещера зовётся и доныне», а на полях приписал: «Latini wasi[s]» («латинские сосуды»). Моисеева же установила, что в 1747 г. Ломоносов для разрешения спора между Крекшиным и Миллером «обращался к древнерусским рукописям и к родословным книгам», в Патриаршем списке Никоновской летописи выявила пометы, имевшие отношение к этому спору, в ходе которого анализировались родословные Рюриковичей и Романовых¹¹⁴. В пользу целенаправленного интереса учёного к варягам до 1749 г. говорит и тот ещё факт, что к этому времени он очень хорошо знал статью Байера «О варягах», упоминая её в дискуссии с Миллером (вместе с тем упоминая и другие его работы).

В разговоре об исторических взглядах Ломоносова обычно указывают (а этот факт был отмечен Миллером), как он ошибался, полагая пруссов славянами¹¹⁵. Однако подобными заблуждениями и погрешностями полна, в силу своего младенческого состояния, наука того времени (и потому, как верно заметил в 1854 г. С.М. Соловьёв, ведя речь о трудах Миллера, «чтобы при чтении писателей XVIII века не смеяться над одними из них и с уважением отзываться о других, должно постоянно иметь в памяти состояние наук везде в то время»¹¹⁶). Причём исторических заблуждений и ошибок куда больше у немецких учёных (но благодаря в том числе и их трудам тогда в нашем Отечестве зарождалась историческая наука, зарождалась вместе с нею и критика источников). Так, Байер, констатировал Ф.И. Страленберг, причислял «к финам литовской, лифляндской и эстляндской народы, есче ж и древних прусов». Он, уже подчёркивал Шлёцер, совершал «большую ошибку», включая «латышей из Лифляндии в класс финских народов»¹¹⁷.

На Кавказе Байер увидел народ «дагистанцы», а в «Казахии» «древнейшее казацкого народа поселения упомянутие», Волянъ же разместил «при Двине реке». По поводу чего Татищев заметил: что «Дагистанъ не есть особый народ, но общее всех в горах Кавказских обитающих народов звание персидское, по-русски тоже горские», что «казацкого народа древность Беера подобными

именами не одна обманула» и что Волынь располагалась «по Бугу и Стиру рекам». Опять же немецкий учёный уверял, что в Сибири «и по сие время» живёт народ финского языка, именуемый чудь, а «чудь иное есть, как не самое имя скиф». И вновь Татищев разъяснял, что в Сибири нет такого народа и что «чудь и скиф разных языков и разное знаменование» (А.Г. Кузьмин, конечно, прав, говоря, что «именно татищевский беспристрастный анализ должен привлекаться в качестве оценки “научной строгости” и просто эрудированности Байера», что хорошо видно прежде всего по очень большому числу исправлений Байера, которые содержатся в комментариях Татищева на его работы, включённые им в свою «Историю Российскую с древнейших времён» в виде глав 16, 17 и 32)¹¹⁸.

О нелепых многочисленных «погрешностях» Байера говорил в 1767–1768 гг., а затем в «Несторе» Шлёцер: он не различал «н» от «к», «почему вместо *бужане* читал *бужаке* и заговорил о татарских *буджаках*; вместо *новгородци* читал *ковгородци* и забрёл в *Кабарду*», напомнил, что «одних только *полотчан* никто более, подобно *Байеру*, не смешивает с *половцами*»¹¹⁹. Днепровский же «Витичев» в сообщении Константина Багрянородного обратил, указывал Карамзин, в западновинский Витебск, а французы-бретонцы стали у него, это уже по замечанию Венелина, англичанами-британцами¹²⁰. О причинах, приведших Байера к таким грубым ошибкам, полно сказали Татищев, Шлёцер, Карамзин. И Ломоносов не отступал от истины, когда вёл речь о «превеликих и смешных погрешностях» этого историка, следующего «своей фантазии»¹²¹.

Имеются ошибки и у Шлёцера, который в «Несторе» титул «хакан» Бертинских анналов принял за имя шведского «королька» Гакона (отправившего в 839 г. послов в Константинополь), писал о бедствиях Руси в монгольский период, датируемый им 1224–1462 гг., считал емь ижорцами, в «Изображении российской истории» рассказывал европейским, а затем русским читателям, что «Александр Невский побил при Неве литву», в «Опыте изучения русских летописей» утверждал, что в основе литовского и латышского языков «лежит славянский язык и они относятся к славянской группе языков так же, как английский относится к германской». Здесь же, говоря о полезности «естествознания в изучении истории народов», для сравнения Шлёцер привёл мнение «Михаэлиса о нахождении рая на берегу Каспийского моря» (в математике, стоит добавить, увидел «бесполезную для просвещения науку»), а в «Представлении всеобщей истории» (1772), полагая, что «мир существует около 6000 лет», выделил период «от сотворения до потопа» («есть самый пустой: ни памятника, ни летописи из него не осталось») и период «от потопа до Рима»¹²².

Более того, с его именем связаны принципиальные ошибки, очень дорого обошедшиеся науке (в ряде случаев она и сейчас продолжает платить по их счетам). Так, он категорично отрицал существование летописей до ПВЛ, хотя и знал противоположное тому мнение В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера, И.Н. Болтина. По оценке А.Г. Кузьмина, «колоссальный ущерб науке нанесло представление о том, что автором “Повести временных лет” был один летописец — Нестор, писавший якобы в начале XII в.». В связи с чем истинная разработка истории летописания началась позже, когда был установлен сводческий характер лето-

писей. Изучению летописей долгое время мешало и убеждение Шлёцера, преувеличивавшее византийское влияние на русские летописи.

Учёный привнёс в науку и тезис, ссылаясь при этом на ПВЛ, о совершенно низком уровне развития восточных славян, что затем долго будут повторять его русские последователи, а несогласных с тем резко обрывал, как обычно не стесняя себя в выражениях, например, немцев А.К. Шторха и Г. Эверса. И до сих пор в зарубежье судят, согласно Шлёцеру, о возможностях наших предков. Так, по словам Р. Портнера, русь «была неспособна к собственному управлению и созданию государственного порядка, так что норманны должны были прийти для того, чтобы эти джунгли расчистить и дисциплинировать их жителей». Г. Ротте убеждает читателей, что в своей истории русские, поздно выйдя на историческую арену и не имея собственных культурных традиций, всегда имели поводырей, сначала византийцев, потом скандинавов, хазар, а с XII в. немцев¹²³. Варяги, говорил английский историк А.Дж. Тойнби, «заложившие первоначально русскому государству путём захвата контроля над внутренними судоходными путями, что дало им власть над примитивными славянскими племенами в глубине страны, являлись, видимо, скандинавскими варварами»¹²⁴.

В угоду норманистской концепции Шлёцер в «Несторе» пытался вычеркнуть из науки выводы, в том числе Байера и Ломоносова, основанные, соответственно, на показаниях Бертинских анналов и сочинении константинопольского патриарха Фотия, что «народ русский прежде Рурика» был. Потому как руссы, напавшие на Константинополь, «были совсем отличный от нынешних руссов народ, и следовательно, не принадлежит к русской истории»¹²⁵. Он же навязывал науке мнение, что русская история начинается лишь «от пришествия Рурика» и основания русского «царства» (в чём Л.В. Черепнин увидел сильное отставание «от исторической науки своего времени»). Именно авторитетом ПВЛ, пояснял А.Г. Кузьмин, Шлёцер «стремился укрепить тезис о том, что до призвания германоязычных варягов-русов не было на Руси и Русского государства, а, следовательно, и русской истории в полном смысле этого слова»¹²⁶.

За Шлёцером и Н.М. Карамзин вёл отсчёт русского бытия с призвания варягов, ибо это «происшествие важное, служащее основанием Истории и величия России». Затем С.М. Соловьёв подчёркивал в «Истории России с древнейших времён», имевшей огромную читательскую аудиторию, включая заграничную, что «призвание первых князей имеет великое значение в нашей истории, есть событие всероссийское, и с него справедливо начинают русскую историю. В 1896 г. в публичных лекциях князь С. Волконский доносил до американского слушателя, что «имя Рюрика является исходной точкой русской истории»¹²⁷. Хотя русская историческая наука до Шлёцера высказала свой, верный, взгляд на свою историю. Ещё в 1716 г. А.И. Манкиев выделил доваряжский период в русской истории. Затем В.Н. Татищев в первом томе «Истории Российской» специально рассмотрел историю народов, населявших Восточную Европу в глубокой древности. М.В. Ломоносов, прекрасно понимая, в том числе и в силу занятий естественными науками, в которых ему не было равных в мире, что ничто не появляется из ничего, показал, что своими корнями Русь, как организованное государство, уходит глубоко в предшествующую эпоху. В связи с чем первую

часть «Древней Российской истории» полностью отвёл эпохе, предшествующей призванию Рюрика¹²⁸.

В целом же, по оценке В.О. Ключевского, Шлёцер есть «критик, а не историк во всём своём исследовании, ибо он, собственно, не двинулся ни на шаг вперёд сравнительно с самим Нестором в понимании фактов» и «не был достаточно подготовлен к научному изучению истории России. Он сам признаётся, что неспособен написать сколько-нибудь хорошую историю России для серьёзного читателя», хотя и ставил, стоит напомнить, перед собой такую цель¹²⁹. Но более всего скептически отзываются специалисты об исходном уровне исторических знаний Миллера. Шлёцер говорил, что он имел «хорошие основания, особенно в классической литературе», приобретённые им в гимназии. Но пребывание в Петербурге и десятилетнее сибирское путешествие «стёрли всё дочиста», а дискуссия надолго отбила у историографа охоту к русской истории, «для занятия которою у него без того не доставало знания классических литератур и искусной критики».

П.Н. Милюков, называя Миллера «здоровым, сильным чернорабочим» с колоссальным трудолюбием, не сопровождавшимся учёностью, отмечал «самые недостатки его, как учёного, — отсутствие строгой школы и серьёзной учёной подготовки», и что, «приехав в Россию без серьёзной учёной подготовки, он позабыл в России и то, что знал до приезда». С.В. Бахрушин констатировал: «Но ниоткуда не видно, чтобы он прошёл хорошую школу работы над источником». По словам С.Л. Пештича, Миллер по сравнению со Шлёцером «не имел такой блестящей научной историко-филологической подготовки» и даже в годы обсуждения «Истории Сибири» «недостаточно знал древнерусский язык» (точнее, тогда он плохо владел русским языком и потому свой труд писал по-немецки). А.Л. Шапиро указывал, что Миллер, «не окончив курс университетских наук, и к историографическим штудиям прибился случайно». Д.Н. Шанский, напротив, уверен, что на родине он получил «разносторонние знания»¹³⁰.

Знания на родине Г.Ф. Миллер, разумеется, получил. Но, направляясь в 20 лет в Россию, он нисколько не помышлял о научной карьере. Потому как пределом его мечтаний было стремление стать зятем И.Д. Шумахера и затем наследовать его должность — библиотекаря Библиотеки Академии наук. Вначале он становится студентом Академии, а в начале 1728 г., будучи адъюнктом, был допущен для сочинения академической газеты «Санктпетербургские ведомости», содержащей обзор иностранной прессы (одновременно издавая «Примечания» к ней). Параллельно с тем всё больше входя в доверие к Шумахеру, «который в это время оказывал ему, — отмечает П.П. Пекарский, — безграничную доверенность, так что когда он в конце 1729 года уехал в Москву, то Мюллер, по управлению академическими делами, занимал его место». В 1728–1730 гг. он «выполнял обязанности секретаря Конференции и Канцелярии, выдавал в библиотеке книги, вёл корректуру в типографии» и иностранную переписку, наблюдал за печатанием разных академических изданий¹³¹.

И нисколько при этом не занимаясь никакими науками и не участвуя потому, вопреки утверждению М.А. Ермолаевой, ни в какой исследовательской работе. Однако в июле 1730 г. — в неполные 25 лет — Миллер, не имея закон-

ченного университетского образования и сочинений по истории, стал профессором истории Петербургской Академии наук (по сердитой реплике А.Л. Шлёцера, «не будучи ничем ещё известен публике и не зная по-русски»). Причём он стал таковым вопреки мнению академиков, среди которых были одни лишь иноземцы (в основном немцы) и которые недолюбливали его за наущничество правителю Канцелярии. И потому в профессора он был произведён указом президента Академии Л.Л. Блюментроста по протекции Шумахера.

М.В. Ломоносов в 1755–1759 и 1764 гг. объяснял, что Шумахер в целях укрепления своей власти использовал студента Миллера, который, «ходя по профессорам, переносил друг про друга оскорбительные вести и тем привёл их в немалые ссоры, которыми их несогласием Шумахер весьма пользовался, представляя их у президента смешными и неугомонными. Сверх того, по высокомерию своему презирал оных почтенных мужей и делал многие досады, почему прозван был *flagellum professorum*, то есть бич профессоров». И Миллеру в профессорстве академики отказали, «для того ли, что признали его недостойным, или что он их много обидел, или и обое купно было тому причиною». Но его покровитель «им же в досаду выпросил у Блюментроста, чтобы с Эйлером, Гмелиным, Вейтбрехтом и Крафтом, свидетельствованными и удостоенными, неудостоенный Миллер произведён был в профессора». В том числе без обязательного в таком случае специмена — работы, свидетельствующей о научной способности (как заметил П.Н. Милюков, «Ломоносов очень правдоподобно изобразил роль Миллера в первые годы его академической службы»).

К непосредственному изучению русской истории Миллер приступил лишь во второй половине 1731 г., когда окончательно расстроились его планы войти в семью Шумахера. «Тогда, — вспоминал Миллер свой конфликт с ним в августе того же года, навсегда испортивший их отношения, — у меня исчезла надежда сделаться его зятем и наследником его должности. Я счёл нужным проложить другой учёный путь — это была русская история, которую я вознамерился не только сам прилежно изучать, но и сделать известною другим в сочинениях по лучшим источникам. Смелое предприятие! Я ещё ничего не сделал в этой области и был ещё не совсем опытен в русском языке, однако полагался на мои литературные познания и на моё знакомство с теми из находившихся в академической библиотеке книгами и рукописями, которые я учился переводить при помощи переводчика. Г. Байер, объяснявший древнюю русскую историю и географию из греческих и северных писателей, подкреплял меня в этом предприятии»¹³².

Таким образом, «“предприятие” заняться русскою историей, — заключал Милюков, — было вызвано у Миллера не столько учёными, сколько практическими соображениями»¹³³. Эти практические соображения, к тому же в силу слабого представления задач, стоящих перед историком, очень долго довлели над ним, в связи с чем он многие годы, прокладывая «учёной путь», скользил по самой поверхности русской истории, нисколько не проникая внутрь, ибо всю свою работу над ней с самого начала свёл в основном к составлению родословных таблиц. Потому как «желание найти покровителей среди знати, — отмечал С.В. Бахрушин, — побудило его заняться генеалогическими изыска-

ниями» (в октябре 1748 г. Миллер объяснял, «что я зачал сочинять родословные таблицы... с 1730 года по должности историка». А в автобиографии констатировал, что «и прежде и после Сибирского моего путешествия трудился я много в сочинениях родословных таблиц для российской истории»)¹³⁴.

О степени вхождения Миллера в русскую историю и сложнейший мир летописей свидетельствует тот факт, что он, опубликовав в 1732–1735 гг. в «*Sammlung russischer Geschichte*» немецкий перевод извлечений из Радзивилловской летописи с 860 по 1175 г., т. е. выбранных в основном из ПВЛ, приписал её «игумену Феодосию», что за ним повторил Байер в статье «О варягах»¹³⁵. В науке, в том числе западноевропейской, на одну ошибку стало больше, и сколько бы она там продержалась, не укажи на неё В.Н. Татищев¹³⁶. В «диссертации» Миллер, отдать ему должное, признал эту ошибку, говоря (под влиянием, как указывает С.М. Соловьёв, Татищева), что ПВЛ написал Нестор, который ошибочно был им назван Феодосием. Затем он ещё несколько раз повторил, что при издании «была учинена ошибка» — не Нестор, а игумен Феодосий. И объяснял, что переводчик И.В. Паус «назвал Нестора Феодосием по недоразумению, потому как «он был монахом в монастыре, основанном игуменом Феодосием»¹³⁷.

Появление мифического Феодосия в качестве автора ПВЛ — далеко не единственная ошибка Миллера в её издании на русском языке по причине весьма плохого знания и понимания им русской истории. Так, жену крестителя Руси Владимира Святославича византийскую царевну Анну переименовал в Анастасию, приняв за женское имя «Настаса» Корсунянина (и опять на эти ошибки обратил внимание Татищев), превратил имя Блуд в «Пут», неверно прокомментировал тот отрывок летописи, где говорится о потомках Ярослава Мудрого, а касогов, с которыми Мстислав Тмутараканский двинулся на Русь в 1023 г., представил в качестве «казаков». За ним и Байер говорил, что этот князь предпринял поход против «соседственных до Кавкаских гор распространившихся козаков» (показательно, что за «козаков» Миллер принимал «косогов» и много лет спустя в работе «О начале и происхождении козаков» 1760 г.)¹³⁸.

В целом перевод выдержек из ПВЛ был настолько ошибочен, что Миллер в 1755 г. признал: они «во многих местах неисправны». Тем самым он, по оценке Шлёцера, «публично объявил дурным весь перевод», кишевший ошибками и совершенно непригодный для исторической науки, а «грамматическая ошибка» переводчика («абсолютного неуча» и плохо владевшего русским языком, но эти слова в равной степени относятся и к Миллеру как издателю) в отношении автора ПВЛ «вызвала серьёзное историческое заблуждение, которое впоследствии получило широкое распространение» за границы, вошла во все издания и сохранялась там вплоть до конца 1770-х гг.¹³⁹ (ПВЛ в составе Радзивилловской летописи Ломоносов именует как ««летопись Нестора», хотя в «Камерном каталоге» 1742 г. Библиотеки Академии наук, представляющем собой первое печатное описание фондов этого книгохранилища, она числится под названием «Летописец Феодосия черноризца Печерского монастыря о начале России с продолжением по 6713 год»¹⁴⁰. Но учёный не повторил ни эту ошибку, ни ту, что присутствует в «*Sammlung russischer Geschichte*»).

И позже Миллер демонстрировал ошибочные представления о русской истории и её источниках. Так, в конце 40-х гг. он Сильвестра, чьё имя в качестве составителя ПВЛ присутствует в ряде летописей, выдавал за игумена Никольского, а не Выдубицкого монастыря, на что несколько раз указывал Татищев, а в «диссертации» утверждал: Нестор доказывает, «что Кий ходил войною под Царьград»¹⁴¹. А в «Кратком известии о начале Новгорода», по характеристике С.Л. Пештича, «упрощённом описании новгородской истории», увидел в боярах, которых так называли «по своему высокомерию», выборных лиц, термин же «тысяцкий», по словам того же исследователя, «не без наивности» объяснял тем, что «по имени его явствует, что он должен был стараться о благополучии многих тысяч человек»¹⁴².

Приведённые ошибки объясняются, разумеется, и слабым знанием Миллера русского языка, а тем паче языка летописей, что долгое время закрывало ему доступ к самым важным источникам (по его собственному признанию от 1760 г., в 1732 г. он «не был в состоянии сам читать русские сочинения, а должен был прибегать к переводчику». Но точно так историограф поступал и спустя треть века. Так, переезжая в 1765 г. в Москву, потребовал отправить с ним «на академическом содержании бывшего при нём переводчика Самсона Волкова»¹⁴³). А это обстоятельство, понятно, не позволяло ему достичь истинных профессиональных высот в изучении именно начальной истории Руси. Вот почему С.М. Соловьёв в 1855 г. констатировал, что труд Татищева был издан «с искажённого списка» и что его печатание «было поручено человеку, неспособному не только исправить искажения, но даже уразуметь настоящий смысл сочинения, чему лучшим доказательством служит непонятый смысл предисловия к Ядру Российской истории»¹⁴⁴. Печатанием труда Татищева занимался Миллер (первый том «Истории Российской» вышел в 1768 г.), он же написал предисловие к «Ядру Российской истории» А.И. Манкиева, изданному в 1770 г. и ошибочно приписанному им же князю А.Я. Хилкову.

Пребывание Миллера в Сибири (1733–1743) привело к тому, что у него там появились, а речь об этом шла, иные научные приоритеты: он сам говорит, что открытие в Сибири «некоторых неизвестных дотоле документов подало ему повод заняться новою русскою историею и писать о ней»¹⁴⁵, т. е. о событиях XVI–XVIII веков. Последующая работа над материалом, вывезенным из экспедиции, и прежде всего над «Историей Сибири», затем её длительное обсуждение и многочисленные правки, вызвали огромный для науки — шестнадцатилетний — перерыв (до дискуссии 1749–1750 гг.) в его интересе к ранней истории Руси¹⁴⁶. Возвращаться к началу русской истории учёному было незачем и в споре с Крекшиным, т. к. в том не было необходимости. Ибо тогда всё свелось лишь к генеалогическим исследованиям: 29 октября 1748 г. историограф отмечал: «А паче родословныя таблицы у меня умножились по имевшемуся с комиссаром Крекшиным спорном деле, для которого я принуждён был больше прежнего за ними трудиться». В биографии, говоря, что родословными занимался и до Сибири, и после, Миллер подчеркнул: «Сей труд приносил ту пользу, что когда в 1746 г. комиссар Крекшин вздумал произвести фамилию Романовых от древних великих князей посредством князей Романовичей Ярославских, а Пра-

вительствующий Сенат препоручил исследовать сие дело Академии, то я в состоянии был не только доказать неосновательность оного вымышления, но и сочинить новую и достоверную фамилии Романовых родословную таблицу»¹⁴⁷.

Занятия генеалогией, относящейся к вспомогательным историческим дисциплинам, помогают решать исторические задачи, но они не могут подменить собственно исторические изыскания. Тем более по вопросам, не связанным с генеалогиями, да ещё отстоящим по времени очень далеко от исследователей и имеющим практически ещё неизученный источниковый материал. Таким вопросом и был вопрос «О происхождении имени и народа российского», к которому Миллер впервые обратился лишь весной 1749 г., когда ему было поручено подготовить речь к торжественному заседанию Академии наук. Будучи не готовым к раскрытию им же избранной темы, он, чтобы представить «диссертацию» в назначенный срок, пошёл по пути, о котором одинаково сказали, а их слова приведены выше, и антинорманист Ломоносов, и норманист Ключевский, указавшие на заимствование Миллером «взглядов и доказательств Байера», в свою очередь опиравшегося в своей «диссертации» «О варягах» (по оценке историографа, «весьма остроумно сочинённой») на выводы шведских авторов XVII — первой трети XVIII века. При этом обильно приправив их измышлениями О. Далина, прозвучавшими незадолго до этого, что и заставило его, по оценке А.Г. Кузьмина, усилить норманистский акцент «там, где Байер оставлял возможности и иного решения», в связи с чем он не увидел, «что как раз в использованных им сагах “Русь” отделяется и отличается от скандинавов»¹⁴⁸.

3.4 Дискуссия историков Ломоносова и Миллера по варяго-русскому вопросу

Но всё это видел Ломоносов. Многолетняя работа с отечественными и иностранными памятниками и разноречивой исторической литературой превратила его ко времени дискуссии в высокопрофессионального историка (поэтому анахронизмом звучат слова И.Н. Юркина, произнесённые в 2011 г., что «научное соревнование с Миллером активизировало обращение Ломоносова к исследованиям в области российской истории»¹⁴⁹). Об уровне квалификации Ломоносова-историка свидетельствует его отношение к источникам, и этот уровень диктовался как предыдущим занятием историей, так и всем кругом научных интересов, в котором он показал себя к 1749 г. выдающимся учёным, в совершенстве владеющим методами научного познания. Выше приведены были его слова, сказанные на заре научной деятельности: «Я не признаю никакого измышления и никакой гипотезы, какой бы вероятной она ни казалась, без точных доказательств, подчиняясь правилам, руководящим рассуждениями». В 1759 г. академик, имея уже мировую славу, предельно точно сформулирует важнейший методологический принцип, которым всегда руководствовал-

ся во всех своих научных занятиях: «Из наблюдений устанавливать теорию, чрез теорию исправлять наблюдения — есть лучший способ к изысканию правды»¹⁵⁰.

А изыскание правды в истории идёт посредством изучения источников, «без которых, — чётко скажет Ломоносов в январе 1753 г. — отнюдь ничего в истории предпринять невозможно»¹⁵¹. Прекрасно понимая это и в 1749 г., и ранее, он сразу же увидел односторонность их отбора Миллером, этого пути к ошибкам. Причём вопрос об источниковой базе оппонента Ломоносов, что характеризует его профессионализм, поднял в первом пункте своего первого отзыва на «диссертацию», указав, что он использовал только иностранные свидетельства, совершенно игнорируя русские (из них историограф привлёк в нескольких случаях немецкий перевод изданной им Кёнигсбергской летописи, содержащей ПВЛ, при этом опять-таки ошибочно утверждая, что «Нестор называет Гостомысла *старейшиною*», да ещё ту информацию, что «житьё святых великих княгини Ольги имянно написано *от варяг бо русью прозвяхомся*» и что новгородцы «может быть, победили биармцов и их столицу раззорили, о чём имеем некоторое свидетельство в старинном новгородском софейском летописце»).

Справедливо указав, что автор «диссертации» «весьма немного читал российских летописей» (по заверению Миллера, «в России скудно было известиями о древних приключениях»), Ломоносов далее замечает, что он тенденциозно пользуется показаниями иностранных памятников, которых употребляет, а такие слова также подтверждают профессионализм академика как историка, «весьма непостоянным и важному историографу непристойным образом, ибо где они противны его мнениям, засвидетельствует их недостоверными, а где на его сторону клонятся, тут употребляет их за достоверных», при этом отдавая предпочтение «готическим басням»¹⁵². Именно из «готических басней» (сag) он взял то, «чего в домашних не находим», подкрепляя свои выводы ссылками прежде всего на шведов О. Верелия, О. Рудбека и датского историка Т. Торфее (1636–1719). И в первую очередь взял из «Деяний данов» Саксона Грамматика, в которых повествуется о многовековых войнах датчан с русами, жившими в западной часть нынешней Эстонии — провинции Роталия-Русия и Вик с островами Эзель и Даго.

Однако если Ломоносов знал, что эти события имели место на балтийском Поморье, то Миллер ошибочно перенёс их в историю нашей Руси. В связи с чем в её прошлом появились, ещё до Рождества Христова, небывалые «российские цари» (например, Бой, Олимар, Енев, Даг, Радбард), которых затем взял под защиту «дацкой король» Фротон III, «по исчислению *Торфееву*» живший в III в. н.э., и сын которого Фридлев «в России воспитан... и в России царствовал». А затем, по смерти отца своего, с помощью войска, данного ему «российским царём», «на отеческий престол возведён». Параллельно с тем в «диссертации» утверждалось, что датские и шведские короли постоянно предпринимали походы «в Россию», в связи с чем новгородцы «часто состояли под властью норвежцов и датчан» (например, славный многими победами «дацкий король» «Регнер Лотброк», живший во времена Карла Великого, «завоевал Россию, Финландию и Биармию», и отдал их «во владение своему сыну *Витзерку*»).

Другим основополагающим источником по русской истории для Миллера стали исландские саги, из которых он выводил, например, что «без сумнения *Герравда Богатыря* причислять должно к российским царям, котораго дочь *Гейрриду* взял себе в супружество норвежец *Авгмунд-флок*, которому по сему сродству досталась во владение немалая часть России» и т. д. и т. п. При этом историограф хотя и отмечал, что у датчан и норвежцев древняя история «наполнена баснями, и написана больше для своей похвалы», но вместе с тем жёстко задаёт цель своего сочинения: из их истории «то объявлю... что скандинавы всегда старались наипаче о приобретении себе славы российскими походами», что именно они «победоносным оружием благополучно покорили себе Россию» и что именно они, придя «к новгородцам, дань с них взяли и царей им поставили, потом для купечества поехали в Киев. А оттуда в Грецию. И хотя их наконец из России выгнали, однако в таком почтении были, что новгородцы призвали их назад торжественным образом для принятия над ними и над соседственными народами владения»¹⁵³.

То же самое он говорил в ходе дискуссии (видя свою роль в ней в утверждении «исторической справедливости»), уточняя и добавляя, что «варяжские князья Рурик и его братья имели над новгородцами владение, не по просьбе, но войною», что такое завоевание являлось делом обычным, т. к. новгородцы «часто были под норвежским и датским владением» и что, конечно, нет никакого бесчестия русским в том, что ещё до учреждения российского государства новгородцы были покорены норманнами, потому как именно от этого «подлинная слава происходит фамилии великих князей, царей и императоров российских, преидущей от Рурика»¹⁵⁴ (выше приведено заключение А.Н. Котлярова, что русскую историю до Рюрика Миллер излагает по О. Далину, хотя в «диссертации» его имя и не упоминается).

Потому-то русский учёный, перед которым предстала шведская редакция история Руси, согласно, по оценке Шлёцера, «*Далиновым бредням*», имевшая в условиях неослабевающих реваншистских настроений правящих кругов Швеции явный, даже помимо воли Миллера, политический подтекст (ибо в речи «на всякой почти странице русских бьют, грабят *благополучно*, скандинавы побеждают, разоряют, огнём и мечом истребляют»), заключил, что надо «опустить историю скандинавов в России», т. к. она «состоит из нелепых сказок о богатырях и колдунах, наподобие наших народных рассказов вроде сказки о Бове-королевиче, поэтому кажется весьма странным, что славнейший автор, признавший лживость этих рассказов, тем не менее рассматривает их как истинные». В связи с чем посоветовал «от стран. 23 до 44 всё должно было автору почти без остатку выкинуть» (что составляет, при объёме «диссертации» издания 1749 г. в 54 страницы, почти 41 процент).

Важно вместе с тем подчеркнуть, что Ломоносов не абсолютизировал показания отечественных источников. Но в то же время предостерегал от отказа от них лишь на том основании, что «и в наших летописях не без вымыслов меж правдою, как то у всех древних народов история сперва баснословна, однако правды с баснями вместе выбрасывать не должно, утверждаясь только на одних догадках». В отношении этих слов А.Г. Кузьмин сказал, что «провозгла-

шённый здесь методологический принцип в большой мере противоположен байеровскому: «лучше признать своё неведение, чем заблуждаться». Ломоносов призывает к бережному отношению к источнику и обоснованию не только утверждений, но и отрицаний¹⁵⁵. А данный принцип является признаком высочайшего мастерства историка, оберегая его от тенденциозности и заблуждений (в последующих работах Ломоносов ссылается, выбирая из них крупницы истины, на показания Саксона Грамматика и исландского автора Снорри Стурлусона¹⁵⁶).

Уровень доказательств Миллера, уровень его как источниковеда и как знатока ранней русской истории, а также запрограммированность самой «диссертации» полно характеризует его реакция на упоминание Ломоносовым Бовы-королевича, героя русской волшебной богатырской повести, к исходу XVI в. снискавшей в России огромную популярность (восходит к средневековому французскому эпосу о Бово д'Антоно конца XII — начала XIII в.¹⁵⁷): «Не помню, чтобы я когда-нибудь слышал рассказ о королевиче Бове; на основании имени подозреваю, что он, пожалуй, согласуется с северными рассказами о Бове, брате Бальтера (см. дисс., стр. 26); если бы это было так, то он ещё больше иллюстрировал бы связь между обоими народами». Н. Сазонов, в 1835 г. по праву высоко чтя заслуги учёного перед российской исторической наукой, по поводу приведённого «аргумента» Миллера только и мог сказать, что «это уже превосходит всякую меру». Историограф так и не избавился от мысли, что сказка о Бове-королевиче есть исторический источник. В 1761 г. в «Кратком известии о начале Новгорода» он, считая, что все саги повествуют о войнах древних скандинавов против «Голмгарда» или Новгорода, подчеркнул: «и достопамятно, что есть и российские скаски, например: о Бове Королевиче, которых много с оными сходствуют»¹⁵⁸.

Миллера как источниковеда характеризует и тот ещё факт, что он отдавал предпочтение перед ПВЛ, окончательно сложившейся в начале XII в., Никоновской летописи, созданной в 20-е гг. XVI в., причём на том только основании, что она «подписанием руки Никона патриарха утверждена», тогда как копия Радзивилловской летописи, содержащей Начальную летопись, которой пользовались Ломоносов и Попов, наполнена, по его мнению, многими ошибками¹⁵⁹ (сегодня С.И. Маловичко, а за ним С.В. Соколов уверяют, что Ломоносов «не разделял письменные источники по степени их приближённости к описываемым событиям»¹⁶⁰. Но в ПВЛ он справедливо видел, в отличие от Миллера, самый древний и главный источник по начальной истории Руси).

Правоту Ломоносова, ставившего, в отличие от Миллера, летописи неизмеримо выше скандинавских саг в деле разработки русской истории, подтвердили именитые норманисты. Так, А.Л. Шлёцер в 1767–1768 и 1802–1809 гг. особо выделял русские летописи из числа всех памятников, ибо они есть «бесценные сокровища, на которых основывается вся истинность российской истории». При этом по праву ставя во главу угла ПВЛ («мой Нестор» есть «отец русской истории») и отмечая, что она превосходна «в сравнении с беспрестанной глупостью» саг, называл их «безумными исландскими сказками» и «бреднями исландских старух». После чего резюмировал, во-первых: «И заслуживали ли сии глупости того, чтобы Байер, Миллер, Щерб... внесли их в русскую исто-

рию и рассказывали об них с такой важностью, как будто об истинных происшествиях. Всё это есть не иное, что как глупые выдумки», которые необходимо выбросить «из всей русской древнейшей истории». Во-вторых, «не подумайте однако же, чтобы сии сказочники хотели обманывать с намерением: всё презрение падает только на тех, кто им верит»¹⁶¹ (подобный гиперкритицизм по отношению к сагам, а его ранее выражал и Е.П. Елагин, назвав Снорри Стурлусона «лжетворцом» и в целом сравнив эти «сказки» со сказками о Бове Королевиче и Еруслане Лазаревиче, для науки, конечно, не приемлем. И следует согласиться с В.А. Мошиным, отметившим, что в «фантастических исландских сагах» всё же «можно открыть некоторый исторический материал»¹⁶²).

Н.М. Карамзин противопоставлял саги («сказки, весьма недостоверные») летописям, заметив в отношении Миллера, что он в своей речи «с важностью повторил сказки» Саксона Грамматика о Руси, вёл речь об исландских «басенниках», «которых хронологию определяет Торфей наугад» (при этом напоминая, что «Лейбниц, Ире, Маллет, Шлёцер признают их более романами, нежели историею»). В 1837 г. П.И. Шафарик заключил: саги «слишком мутны и подозрительны, чтобы считать их одинаковой важности с нашими отечественными летописями, или даже, как того хотят некоторые, отдать им преимущество перед последними». В.Г. Васильевский в 70-х гг. XIX в. констатировал, что «самые почтенные и основательные исследователи русской истории при пользовании сагами редко дают себе ясный отчёт в том, с какого рода источниками они имеют дело, то есть забывают первую обязанность критика». Т.Н. Джексон ранее и теперь также отмечает, что к сведениям саг и у нас, и за рубежом относятся «без должного критического внимания», часто принимают за вполне достоверные, в связи с чем их нередко используют «при построении малообоснованных гипотез»¹⁶³.

В 1773 г. Миллер в работе «О народах, издревле в России обитавших» был уже значительно сдержаннее в оценке саг, говоря, что «находится в них много бесполезного, гнусного и баснословного, а особливо что нельзя отсюда выбрать никакого согласного летосчисления». «Однако, — верно он ставил точку, — по сему не должно ещё опровергать всего, что там ни упомянуто». Ещё раньше он, постепенно уточняя, в корне поменял свой взгляд и на русские источники, прежде всего летописи. Так, в 1755 г. историограф констатировал, что Нестором «российския ж деяния с половины IX века описаны уже с довольными обстоятельствами, и от того времени с точным показанием лет, когда что достопамятного происходило, непрерывно продолжаются». Пройдёт немного, и в 1760–1761 г. учёный уже с нотками нескрываемого восторга подчёркивал, что летописи представляют собой «собрание российской истории, толь совершенное, что никакой народ подобным сокровищем, толь много лет в непрерывном продолжении включающим, хвалиться не может»¹⁶⁴.

Ломоносов нисколько, естественно, не ошибался, констатируя, что «иностранные писатели ненадёжны» при изучении истории России, т. к. имеют «грубые погрешности». В полном согласии с ним в 1755 г. был уже и Миллер, указывая, что если пользоваться только иностранными авторами, то «трудно в том изобрести самую истину, ежели притом» не работать с летописями и хроно-

графами, «которые для их точности и совершенства особой похвалы достойны; и когда притом не наблюдать, чтоб ничего российским летописям прекословенно не принимать за правду» (здесь, конечно, не только влияние Ломоносова, но и Татищева, который в своём труде, а он, отмечал Шлёцер, долгое время ходил «по рукам» в многочисленных списках, подчёркивал: «все европейские преславнейшие историки, сколько бы о русской истории ни трудились, о многих древностях правильно знать бес чтения наших не могут», т. к. не знают русского языка). А через два года Миллер опубликовал очень важную статью «Предложение, как исправить погрешности, находящиеся в иностранных писателях, писавших о Российском государстве», где указал, что их сочинения о России наполнены «премногими погрешностями».

После чего произнёс слова, перекликающиеся с «патриотическими», как их характеризуют норманисты, словами Ломоносова, произнесёнными по поводу предосудительности «диссертации» Миллера, «славе российского народа»: очень много в этих работах «недостаёт того, что потребно к обстоятельному знанию о России и что повторяются в них разные известия, писанные лет тому сто и за двести, к безславию российского народа». Миллер верно указал на причину такого состояния дел: «Всё, что иностранные о России знают, то передано им от иностранных же. А большая часть из них не знали сами довольно о том, что писали». Причём «некоторые, по-видимому, и хотели России отомстить за то, что, будучи в её пределах, не сыскали себе щастия по их желанию». В 1761 г. он добавил, что иностранцы недолго «в России обретались», в массе своей не знали русского языка, и «то они слышали много несправедливо, худо разумели, и неисправно разсуждали»¹⁶⁵.

В том же ключе речь вёл в 1767 г., под несомненным влиянием Татищева, Ломоносова, Миллера, и Шлёцер, также констатируя бесчисленные погрешности, связанные «с грубым незнанием и смешными баснями», «какие мы в чужестранных немецких, французских, английских и шведских книгах, даже до гишпанских, об отечестве нашем читаем». При этом подчеркнув (в стиле Ломоносова), что их ложные понятия о русской истории «не меньше противны исторической правде, сколь к обиде нашей клонится». А в первой части «Нестора», характеризуя работу немецкого историка, профессора Г.С. Трейера (1683–1743) «Введение в Московскую историю» (1720), излагающую её с Ивана Грозного до 1617 г. и лишь на основе записок иностранцев, он коротко, но точно сказал: «Слепца водили слепцы»¹⁶⁶.

В норманистской литературе по понятным причинам не принято заострять внимание на том, в чём же конкретно заключалась «безупречная» аргументация Миллера, утверждавшего ею «научную истину», — скандинавство варяжской руси, и что ей противопоставлял Ломоносов со своим «гипертрофированным патриотизмом». Хотя эта аргументация более чем красноречива. Так, Миллер за Байером утверждал, что не было Аскольда и Дира, а «был только один Осколд, по чину своему прозванный *Диар*, которое слово на старинном готфском языке значит *судью* или *начальника*»¹⁶⁷. Назвав мнение Миллера «неосновательною догадкою», Ломоносов отверг его, заручаясь показаниями ПВЛ, М. Стрыйковского «и других авторов». Однако приоритет Ломоносова в исторической ре-

билитации Дира был не только забыт в науке, но и стал приписываться Шлёцеру, опубликовавшему в 1773 г. статью «Oskold und Dir»¹⁶⁸.

Миллер, подчёркивая, что «что россияне от литовцов, лифляндцев и курляндцев вообще именуются *гудде*» (готы), подытоживал, «из чего, как кажется, явствует, что они или знатнейшая их часть, по мнению соседственных народов, произошли от готфов». В системе доказательств этого тезиса учёный попал в плен выводов скандинавских учёных: «*Рудбеково* мнение было, что Голмгардия находилась у реки Двины, на том месте, где она в Белое море впадает. Утвердить сего ни на чём больше не можно, как на имени старинного города *Холмогоры*», который «назывался в древния времена Голмгардиею, то по перенесении оттуда владения в Новгород, могло перенесено быть туда и имя от соседних народов»¹⁶⁹ (Hólmgarðr и Холмогоры отождествил датчанин Т. Торфей¹⁷⁰). Заключение, что имя родных ему Холмогор произошло «от Голмгардии, которым его скандинавцы называли», разбивало простое объяснение Ломоносова (по заключению П.П. Пекарского, «весьма верное»): «Имя Холмогоры соответствует весьма положению места, для того что на островах около его лежат холмы, а на матёрой земли горы, по которым и деревни близ одного называются, напр., Матигоры, Верхние и Нижние, Каскова Гора, Загорье и проч.» (впрочем, ясность такого контрдовода нисколько не смутила Миллера, всё также утверждавшего в 1761 г., что «*Гольмгард*, кажется, был сперва имя старинного города *Колмогоры*, столицу *виармцов*, откуда оно распространилось до *Новогорода*»)¹⁷¹.

По тому же принципу Миллер превратил, за неимением соответствующих примеров, название г. Изборска в скандинавское: «Ибо он от положения своего у реки Иссы именован *Иссабург*, а потом ево непрямо называть стали Изборском». На что его оппонент коротко, но исчерпывающе заметил: «Весьма смешна перемена города Изборска на Иссабург», указывая при этом на «славянские имена старинных городов российских», т. е. на полное отсутствие скандинавских названий в топонимике Руси. Мысль Миллера попытался закрепить в науке А.Л. Шлёцер, говоря, что Изборск, кажется, «прежде назывался *Исабург*, следственно, по-скандинавски, и назван так по одной тамошней реке *Иссе*. Если это справедливо, то он основан варягами».

Как заметил Н.М. Карамзин, заостряя внимание на тенденциозности Миллера, что он, «желая скандинавским языком изъяснить имя его, говорит, что Изборск значит *Исаборг*... т. е. город на реке Исе. Но Иса далеко от Изборска». В 1840 . другой норманист П.Г. Бутков, поясняя, что Исса вливается в р. Великую выше Изборска «по прямой линии не ближе 94 вёрст», привёл наличие подобных топонимов в других русских землях. Поэтому, заключал он, нельзя «отвергать славянство в имени» Изборска «только потому, что скандинавцы превращали наш *бор*, *борск* на свои *борг*, *бург*, а славянские *грады* на свои *гарды*, есть тоже, что признавать за шведское поселение, построенный новгородцами на своей древней земле в 1384 году город Яму, носящий поныне имя Ямбурга со времени шведского владения Ингерманландиею 1611–1703 года, или искать греческих полисов в наших городах *Три-поле*, *Карга-поле*, *Чисто-поле*... или приписывать шведской столице Стокгольму славянское происхождение: ибо наши предки в XIV, XVI, XVII и даже в XVIII веке писали её *Стекольным*»¹⁷².

В 1986–1988 гг. норманисты Т.Н. Джаксон и Т.В. Рождественская констатировали: Изборск — «славянский топоним», говоря при этом, что зафиксированное в памятниках «написание “Изборскъ” (только через -з- и без -ъ- после него) указывает на невозможность отождествления форманта Из- с названием реки Исы (Иссы)». Если же допустить, добавляли лингвисты, что «Изборск» возник из скандинавского языка, «то придётся признать, что имя возникло вопреки одному из основных топонимических законов — закону ряда». В 1994 г. их немецкий коллега Г. Шрамм, ведущий речь о «русских шведах» и считающий, что Северная Русь «возникла как следствие усилий викингов, направленных на установление связи с Волжским путём», резюмировал: «Я охотно признаю, что славянская этимология названия Изборск пока имеет больше шансов на успех» и что он сам «намеревался уже не раз» выбросить «на свалку» гипотезу о «городе на Иссе» (и так сказал весьма предвзято настроенный учёный, делающий «топонимические выкладки лишь на базе своей концепции о существовании на Руси скандинавских “опорных пунктов”», склонный «некоторые названия типично славянского облика неоправданно выводить из северогерманских языков» и пытающийся даже в славянском названии г. Белоозера найти скандинавскую основу, потому как твёрдо уверен, что до прихода шведов русские не знали городов, т. к. они возникли как норманские поселения)¹⁷³.

В предвоенные годы крупнейший специалист в области скандинавских древностей Е.А. Рыздзевская подытоживала, «что ни один из больших древнерусских городов не носит названия, объясняющегося из скандинавского», и что «ни один из них не был основан скандинавскими пришельцами». Историк М.Н. Тихомиров в 1962 г. был более конкретен в своём заключении: «во всей древней Руси не было ни одного города, который восходил бы ко временам первых русских князей и носил бы скандинавское название» (по его справедливым словам, «даже название Ладога не может быть без натяжки выведено из скандинавских корней»). Данный вывод через 10 лет полностью подтвердил польский лингвист С. Роспонд, констатируя совершенное отсутствие среди названий русских городов IX–X вв., а это есть время самого пика деятельности варягов и руси среди восточных славян, «скандинавских названий... и наличие названий угро-финского происхождения» (в названии Изборска учёный видел притяжательное прилагательное от личного имени «Изборск», отметив, что эту этимологию выдвинул в 1921 г. финский языковед-славист И. Миккола)¹⁷⁴.

Но миражный «Иссабург» Миллера продолжает волновать (по причине полного отсутствия на Руси скандинавских топонимов) воображение археологов, в связи с чем они пытаются превратить его в реальность в истории, игнорируя приведённые заключения исследователей, в том числе лингвистов, подтверждающих правоту Ломоносова. И чтобы ликвидировать непреодолимое препятствие, указанное Карамзиным и Бутковым, первоначально Изборск некоторые из них (остро нуждаясь в лингвистической поддержке своих норманистских построений) «основывали» в конце IX в. на месте будущего Пскова, в низовьях р. Великой при впадении в неё р. Исы.

Так, Д.А. Мачинский в 1986 и 1990 гг. (и позже, в 2007–2009 гг.) убеждал, что название р. Великая «является переводом финского Иса — “великая”... как и сей-

час называется один из главных притоков Великой» (хотя лингвист А.И. Попов, на которого он ссылается, лишь сказал в 1981 г., что название притока р. Великой Иса/Исса сопоставимо с финским «iso» — большой, великий), после чего заключил: «Таким образом, наряду со славянским вариантом издревле мог существовать и финско-скандинавский топоним Исборг или Исаборг, т. е. — “град на Исе”, или “Велиград”, “Вышеград”» (а тем самым Мачинский как бы выполнил наказ, который ему дал в начале 70-х гг. его учитель — археолог М.И. Артамонов: «Дославянский предшественник Изборска назывался, надо полагать, не славянским именем, а как-то иначе, подобно Ладоге — Альдейгобургу»)¹⁷⁵. В 1988 г. филологи Т.Н. Джаксон и Т.В. Рождественская отвергли идею Мачинского о «граде на Исе», заметив, что топонимы Jsburg и Yseborg на картах Московии конца XVI — начала XVII в. «вряд ли являются отражением древнего названия, как подразумевает автор, а скорее, транскрипцией местного звучания, сопровождаемым характерным для топонимии народно-этимологическим переосмыслением»¹⁷⁶.

Но несколько слов Мачинского хватило для того, чтобы его коллега С.В. Белецкий в 1990–1997 гг. с великим энтузиазмом взялся уверять, что город, в конце IX в. возникший на Иссе, не был не финско-скандинавским, не славянским, «а чисто скандинавским: он принадлежит к топонимическому ряду на -borg и переводится как “город на Иссе”». В 30-х гг. XI в. Исуборг-Isaborg был уничтожен при крещении «огнём и мечом», и часть его жителей вынуждена была переселиться почти за сотню километров на новое место — Труворово городище, перенес на него наименование погибшего города, возможно, получившее уже славянизированную форму Изборск. С топонимом «Исуборг», объяснял Белецкий, параллельно использовался топоним Пъсков, который был возрождён, «но уже применительно к основанному на месте сожжённого Исуборга древнерусскому городу»¹⁷⁷. Недавно и Л.С. Клейн говорил, приписывая Попову слова, что Изборск назван, «по предположению этимологов (А.И. Попов, Г. Шрамм) — по реке Иза, или Иса (финно-язычное “Великая”), и назван он Исуборг, что в славянской переделке дало Изборск»¹⁷⁸.

Приведённые «научные» мнения археологов появились лишь потому, что, согласно Сказанию о призвании варягов, брат Рюрика Трувор сел в Изборске, но в его археологических материалах IX–X вв. абсолютно отсутствуют скандинавские вещи. Как многократно пояснял В.В. Седов, несколько десятилетий занимавшийся раскопками Изборска, название этого города, основанного славянами в славянском окружении и в котором славяне составляли основу его населения на протяжении всей истории поселения, является славянским: «< др.-рус. боръ “хвойный, преимущественно сосновый лес” или антропоним *Изборъ», при этом подчёркивая, что «скандинавская этимология (<Isaborg “крепость на р. Иса”: G. Schramm) представляется неубедительной» (в 2006 г. А.Г. Манаков также акцентировал внимание на славянском названии Изборска). Ведя речь о ремесленном и торговом направлении экономической жизни Изборского городища в IX — начале X в., о полиэтничности его жителей, Седов особо подчеркнул, что «ни в домостроительстве, ни в культовых элементах, ни среди вещевых материалов не обнаруживается явных маркеров», свидетельствующих о проживании выходцев из Скандинавии»¹⁷⁹.

По вердикту археолога К.М. Плоткина, в 1989 и 1993 гг. специально обращавшегося к рассмотрению состоятельности «археологического комментария» Белецкого к гипотезе Мачинского, «Изборск всегда оставался на своём месте, у истоков р. Бдеха (известной также под названием Иса), а Псков — на своём месте, в низовьях р. Великая или Moede/Muddow». В 1994 г. историк И.П. Шаскольский, сославшись на заключение лингвиста С.Г. Халипова, что «определение *iso* не может быть применено в финском (следовательно, и в близкородственном эстонском) языке к такому объекту, как река», резюмировал: «И главное — Изборск лежит не на реке Великой (на её берегах расположен Псков), а на несколько десятков километров западнее; более того, Изборск находится вообще в стороне от больших водных путей»¹⁸⁰.

В доказательстве норманства варягов Миллер, следуя за тезисом Байера, что финны «шведов, не ведомо по какой причине, и поныне называют *россами*, по их языку *россалеине*», утверждал: «Новгородские славяне услышав имя россов от финнов, оным всех из северных стран пришельцов нарицали, почему и варяги от славян россиянами названы. А потом и сами славяне, будучи под владением варягов, имя россиян приняли». Подчёркивая при этом для придания веса своим словам что «подобным почти образом как галлы франками, и британцы агличанами именованы»¹⁸¹. Происхождения «россов» от шведов Ломоносов охарактеризовал как «на догадках основанное», а сами доводы в пользу этого назвал «нескладными вымыслами» (и указал, что в этой идее «состоит главное дело его всей диссертации»).

Один из «нескладных вымыслов», коему, действительно, нет объяснения ни с позиции здравого смысла, ни с позиции науки, он видел в словах Миллера, что «чухонцы (т. е. финны. — В.Ф.) варягам и славянам имя дали»: как это «два народа, славяне и варяги, бросив свои прежние имена, назвались новым, не от них происшедшим, но взятым от чухонцев». Говоря об исторических примерах перехода имени победителей на побеждённых, приведённых Миллером, Ломоносов заметил, что «пример агличан и франков... не в подтверждение его вымысла, но в опровержение служит: ибо там побеждённые от победителей имя себе получили. А здесь ни победители от побеждённых, ни побеждённые от победителей, но все от чухонцев!»¹⁸² (и сам Миллер в ходе дискуссии уже не принимал в расчёт третью сторону: «Ибо поданные числом бывают хотя и больше, однакож легче имя себе получить от победителей, нежели победителям от побеждённых, как о том многие истории учат нас»¹⁸³).

В унисон с Ломоносовым говорили затем не только его сторонники, но и многие норманисты. Например, А.Л. Шлёцер в 1768 г., когда ещё не полностью находился под влиянием шведских норманистов, резюмировал: во-первых, «мне кажется невероятным, что целый народ заимствовал для собственного обозначения иностранное название другого народа», во-вторых, «те, кто считает Рюрика шведом, находят этот народ без особых трудностей. *Ruotzi*, — говорят они, именно так и сегодня называется Швеция на финском языке, а швед — *Ruotzalainen*: лишь слепой не увидит здесь русских! И только Нестор чётко отличает русских от шведов. Более того, у нас есть много средневековых известий о шведах... ни одно из них не указывает, что когда-то какой-либо народ назы-

вал шведов русскими. Почему финны называют их Ruotzi, я, честно признаться, не знаю». О.И. Сенковский с недоумением восклицал: «Если только другие народы давали им название руссов, то очень странно, что нордманны, покорив славянские земли, приняли имя, чуждое своему языку и себе, и основали империю под иностранным и, конечно, обидным для себя прозвищем!». М.П. Погодин согласился с С.А. Гедеоновым, что финское название Швеции Руотси не связано с именем Русь. К.Н. Бестужев-Рюмин находил «странным», чтобы скандинавы сами называли «себя именем, данным им финнами»¹⁸⁴.

Правоту Ломоносова об отсутствии связи между именами «Русь» и «Ruotsi» подтверждают современные зарубежные и отечественные лингвисты Ю. Мягисте, А.В. Назаренко (историк, филолог по образованию), Г. Шрамм, О.Н. Трубочёв, К.А. Максимович, являясь при этом сторонниками норманской версии. В 1973 г. Мягисте (эстонец, с 1945 г. проживал в Швеции), столкнувшись с «непреодолимыми» историко-фонетическими трудностями, отказался от мысли о скандинавской основе названия «Русь». В 1980–2013 гг. Назаренко продемонстрировал на основе данных верхненемецкой языковой традиции, что этноним «русь» появляется в южнонемецких (дунайских) диалектах не позже рубежа VIII–IX веков. Это имя отложилось в топониме Баварской восточной марки Ruzarâmarcha, т. е. «Русская марка», а во второй половине IX в. в Восточно-франкском королевстве был составлен Баварский географ, в котором рядом с хазарами находится народ русь. И эти факты, заострял он внимание, усугубляют трудности в объяснении имени «Русь» от финского Ruotsi.

Причём в Ruzarâmarcha и Ruzzi огласовка этнонима *русь* совпадает со славянской: «и там, и здесь — долгий звук “у”», тогда как в гипотетическом скандинавском прототипе этнонима *русь*, «который обычно реконструируется как *hrôp* с предполагаемым значением “поход на гребных судах”», — долгий звук «о». Следовательно, «оригиналом для южнонемецких форм послужил этноним или топоним с *û* в корне». Указывая на отсутствие в древнескандинавском явного и однозначного прототипа финского *rôtsi* (при этом отмечая, что не объясняется переход прибалтийско-финского *ts* в славянское *s*), Назаренко подвёл черту: уже в первой половине IX в. «носители этнонима “русь”, кем бы они не были этнически, пользовались славяноязычным самоназванием». Также учёный, опираясь на византийские свидетельства, констатировал, что «какая-то Русь была известна в Северном Причерноморье на рубеже VIII и IX вв.», до появления на Среднем Днепре варягов¹⁸⁵.

В 1982 г. Шрамм в статье, специально посвящённой происхождению имени «Русь», «указав на принципиальный характер препятствий, с какими сталкивается скандинавская этимология, предложил выбросить её как слишком обременительный для “норманизма” балласт». Через двадцать лет он, охарактеризовав идею происхождения названного имени от Ruotsi как «ахиллесова пята», т. к. не доказана возможность перехода *ts* в *s*, был более категоричен в своём выводе: «Сегодня я ещё более решительно, чем в 1982 г. заявляю, уберите вопрос о происхождении слова *Ruotsi* из игры!»¹⁸⁶.

В 1990-х гг. Трубочёв неоднократно подчёркивал, что скандинавская этимология для Русь или хотя бы для финского Ruotsi не найдена. И своё профес-

сиональное неприятие этой этимологии академик завершил верными словами: нас пытаются уверить, что мы своё собственное имя «получили от финнов, как-то при этом даже не дают себе труда задуматься над социологическим и социолингвистическим правдоподобием этого ответственного акта. Ведь к заимствованию побуждает *престиж дающей стороны*, а был ли он тогда (более тысячи лет назад!) в нужном размере у небольших и вынужденно малочисленных и небогатых во всех отношениях племён примитивных охотников и рыболовов, которыми были на памяти истории (и археологии) так и не поднявшиеся до уровня собственной государственности финны (XX век — не в счёт)». Вместе с тем он заострил внимание на том, что по всей финской периферии — северной и восточной — *ruotsi* означает «русский, Россия» и что «*периферия обнаруживает и сохраняет прежде всего архаизмы (слова, значения)*».

В 2006 г. Максимович, развивая идеи Трубачёва, резюмировал, что скандинавская версия «остаётся не более чем догадкой — причём прямых лингвистических аргументов в её пользу нет», и что в лингвистике, как и в математике, доказательства типа «определения одного неизвестного (**rôp(e)R*) через другое (*Ruotsi*)... не имеют силы». Во-первых, этимология имени «Руси» в интерпретации В. Томсена «отвергнута германистами, поскольку в скандинавских источниках сложные *rôdsmaen* и *rôdsbyggjar* не встречаются вообще, а термин *rôdskarlar* 'жители Рослагена' засвидетельствован лишь с XV в. — при этом данный тип сложения, содержащий *s*, по соображениям исторической фонетики, не может быть древнее XIII в.». Следовательно, «даже если фин. *Ruotsi* было заимствовано от шведов, это не могло произойти ранее XIV в., когда этноним Русь уже насчитывал как минимум пять веков письменной истории». Во-вторых, гипотеза С. Экбу о существовании якобы в VI–VII вв. гипотетической праформы *rôp(e)R* («гребля»), к которой якобы восходит финское *Ruotsi*, наталкивается «на трудности историко-фонетического характера».

В-третьих, скандинавская версия не объясняет, почему древнейшие варианты названия Руси «в немецких источниках, начиная с IX в. (*Ruzara*, *Ruzzi*, *Ruzi*)», происходят с юга Германии, и, «как показывает наличие в корне *u*, заимствованы из славянского (древнерусского) языка, хотя более естественным было бы заимствование данного слова на *севере* Германии непосредственно из древнешведского (но тогда с корневым *o*, как в **rôps*)». В-четвёртых, она не объясняет то «странное обстоятельство», «что восточные славяне, имевшие *непосредственные* контакты со скандинавами, почему-то заимствовали основу **rôds-* опосредованно, через финнов». В-пятых, в рамках этой версии не находят удовлетворительного ответа вопросы, поставленные ещё С.А. Гедеоновым, и к тому же ей противоречат многочисленные сообщения византийских и восточных авторов о «русах», локализирующие её в Северном Причерноморье¹⁸⁷ (к сказанному надлежит добавить, что слово «*Ruotsi*» в финском языке зафиксировано лишь применительно к XVI–XVII вв., что, конечно, не позволяет переносить его на раннее время, а тем более на IX столетие, по причине чего разговор о связи «*Ruotsi*» с «Русью» есть разговор надуманный).

Достоянием науки также стал, хотя и не сразу, и вывод Ломоносова, что «имени русь в Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря нигде не слы-

хано» (и Миллер в «диссертации» утверждал, что в Скандинавии не находим никаких следов имени «русь», но в ходе дискуссии убеждал Н.И. Попова в том, что тот «обманывается», отрицая существование там народа русь)¹⁸⁸. Выше указывалось, что ещё швед Ю. Тунман в 1774 г. констатировал: «шведы никогда не называли себя русами». Затем М.П. Погодин подчёркивал, что «в Швеции неизвестно было название руссов». Наконец, в 1876–1877 гг. датский лингвист В. Томсен, по его словам, «охотно признавая» данный факт (уже такие слова потребовались для сохранения реноме норманской версии), сказал, что скандинавского племени по имени русь никогда не существовало и скандинавские племена «не называли себя русью». Вслед за новым своим кумиром то же самое начали говорить наши и зарубежные норманисты. Тем самым признавая, что варяги и русь, прибывшие, согласно ПВЛ, в 862 г. в Северо-Западные пределы Восточной Европы, не были связаны со скандинавским миром. Именной по этой причине саги, отмечает А.Г. Кузьмин, «ни разу не помещают “русь” в Швеции, вообще в Скандинавии. В отличие от норманистов, скальды и сказители знали, что там её никогда не было»¹⁸⁹.

Ломоносов подчёркивал, что «варягами назывались народы, живущие по берегам Варяжского моря» и что новгородцы западные народы «варягами называли». Но Миллер утверждал в «диссертации» иное: варяги, «хотя известно, что тем именем никакой в *Скандинавии* народ особливо не назывался; однако сие можно заподлинно доказать, что они ни из какой другой земли выехали как из Скандинавии». А в ходе дискуссии уверял: первые варяги «отчасти были датчане, отчасти норвежцы и редко из шведов» и «неверно, что все племена у Варяжского моря носили название варягов». Однако в 1773 г. он уже убеждал, ознакомившись к этому времени, по мере овладения русским языком, с источниками, на которых основывал почти четверть века тому назад свой вывод Ломоносов, что во всей округности Балтийского моря «не было никогда такого народа, который бы собственно *варягами* назывался» и что «под именем *варяг* надлежит разуметь... людей, кои не только к мореплаванию, но и к воинской науке были склонны», которые «могли состоять из всех северных народов и из каждого состояния людей» (С.М. Соловьёв ставил Ломоносову в особую заслугу именно то, что он заметил дружинный состав варягов, отрицая тем самым этническое содержание термина «варяги», и вслед за ним понимал под варягами европейские дружины, «составленные из людей, волею или неволею покинувших своё отечество и принуждённых искать счастья на морях или в странах чуждых», «сбродную шайку искателей приключений»)¹⁹⁰.

Ломоносов, продолжая разговор об общем значении термина «варяг», указал на тот принципиальной важности факт (а на него он будет указывать, что говорит о давней проработки им самой этой идеи, в «Древней Российской истории» и «Кратком Российском летописце»), что в Сказании о призвании варягов летописец выделяет русь из числа других варяжских (западноевропейских) народов и не смешивает её со скандинавами: он «варягов различает на свиев, на готов, на урмян (норманов), инглян (ингрян) и на русь. Следовательно, сии варяги жили по разным местам»¹⁹¹. Ту же мысль затем проводили норманисты А.Л. Шлёцер, И.С. Фатер (летописец «сказал весьма ясно, что сии ва-

ряги зовутся русью, как другие шведами, англянами: следственно, русь у него отнюдь не шведы»), М.П. Погодин, Ф. Крузе¹⁹². В 2007 г. академик В.Л. Янин, обратившись к Сказанию о призвании варягов, также заострял внимание на том, что «те варяги, которые были призваны в бассейн Ильмена и Волхова, не были ни шведами (Свеями), ни германцами (Урманями), ни британцами (Англянами), ни готландцами (Готами); они называли себя Русью»¹⁹³.

Ломоносов обоснованно заострил внимание на факте отсутствия сведений о Рюрике в скандинавских источниках. Почему, спрашивал учёный в ходе дискуссии Миллера, тот «нигде не указал отца Рюрика, его деда или какого-нибудь скандинава из его предков? Он поступил неразумно и вообще опустил то, что является самым важным в этом вопросе. Но, конечно, он не может найти в скандинавских памятниках никаких следов того, что он выдвигает». Пройдёт время, и Ломоносов в «Древней Российской истории» заметил, что если бы Рюрик был скандинавом, то «нормандские писатели конечно бы сего знатного случая не пропустили в историях для чести своего народа, у которых оный век, когда Рурик призван, с довольными обстоятельствами описан». В 1808–1814 гг. Г. Эверс, продолжая тему, поднятую предшественником, констатировал, что «ослеплённые великим богатством мнимых доказательств для скандинавского происхождения руссов историки не обращали внимание на то, что в древнейших северных писаниях не находится ни малейшего следа к их истине», после чего ёмко и исчерпывающе охарактеризовал факт молчания скандинавских преданий о Рюрике как «убедительное молчание».

Ибо и Ломоносову, и мне кажется очень невероятным, что «Рюрикова история» «не дошла, по преданию, ни до одного позднейшего скандинавского повествователя, если имела какое-либо отношение к скандинавскому Северу. Здесь речь идёт не о каком-либо счастливом бродяге, который был известен и важен только немногим, имевшим участие в его подвигах. Судьба Рюрика должна была возбудить всеобщее внимание в народе, коему принадлежал он, — даже иметь на него влияние, ибо норманны стали переселяться в таком количестве, что могли угнетать словен и чудь». Развивая мысль далее, учёный также резонно сказал: «...Как мог соотечественник Рюрик укрыться от людей, которые столько любили смотреть на отечественную историю с романической точки. После Одина вся северная история не представляет важнейшего предмета, более удобного возвеличить славу отечества». Причём сага, подчёркивал Эверс, «повествует, довольно болтливо», о походах своих героев на Русь «и не упоминает только о трёх счастливых братьях. Норвежский поэт Тиодолф был их современник. Но в остатках от его песнопений, которые сохранил нам Снорри, нет об них ни слова, хотя и говорится о восточных вендах, руссах». После чего справедливо заключил: «Всего менее может устоять при таком молчании гипотеза, которая основана на недоразумениях и ложных заключениях»¹⁹⁴.

Выводы Ломоносова и Эверса ещё больше усиливает судьба младшего современника Рюрика Ролло (ум. около 932), который, начиная с 876 г., т. е. ещё при жизни русского Рюрика, неоднократно грабил Францию и в 889 г. обосновался в низовьях Сены. А в 911 г. основал, крестившись, микроскопическое герцогство Нормандское (лишь через 200 лет с лишним оно дорастёт до пло-

щади около 30 тыс. кв. км., тогда как Русь к этому времени занимала более 1 млн. кв. км.) и принёс присягу французскому королю Карлу III Простоватому, став его вассалом, обязуясь защищать его от прочих норманнов и бретонцев¹⁹⁵. И этот скандинав — то ли норвежец, то ли дан — сагам известен, потому как он был в скандинавской истории. Эверс, в ответе на возражение Шлёцера Ломоносову, что шведы и датчане долго не знали, «какое счастье составил себе в Нормандии земляк их, морской разбойник *Рольф*», правомерно заметил: «Конечно, долго не знали, но узнали же наконец от достовернейшего и многознавшего дееписателя скандинавского севера, часто упоминаемого Снорри», которому погибшие древнейшие исторические памятники доставили «известия об отдалённом Рольфе и позабыли о ближайшем Рюрике?».

И это при том, что саги, отмечал в 1845 г. Н.В. Савельев-Ростиславич, абсолютно ничего не сообщая о Рюрике и об основании им Русского государства, «не упускали случая похвастать даже самыми ничтожными подвигами, иногда и не бывальыми». Скандинавы, говорил в 1876 г. Д. Щеглов, справедливо обращая внимание на несоизмеримость микрокосмоса нормандского, запечатлённого в скандинавских памятниках, и космоса русского, в них не отражённого, основали на Руси «в продолжение трёх десятков лет государство, превосходившее своим пространством, а может быть, и населением, все тогдашние государства Европы, а между тем это замечательнейшее событие не оставило по себе никакого отголоска в богатой скандинавской литературе. О Роллоне, овладевшем одною только провинцией Франции и притом не основавшем самостоятельного государства, а вступившем в вассальные отношения к королю Франции, саги знают, а о Рюрике молчат»¹⁹⁶.

По верному замечанию А.А. Куника, «*древнейшим источником для истории каждого народа служит язык его*». Его оппонент С.А. Гедеонов также подчёркивал, что «из признаков влияния одной народности на другую самые верные представляет язык»¹⁹⁷. В данном аспекте и следует рассматривать важное возражение Ломоносова Миллеру, говорившему о присутствии большого числа скандинавов на Руси, «столь тесно потом» со славянами соединившихся. На что Ломоносов ответил: если бы русь была скандинавской, «то бы от самих варяжских владетелей, от великого множества пришедшего с ними народа и от армией варяжских... должен бы российский язык иметь в себе великое множество слов скандинавских». Ведь, завершал он свою мысль, проводя при этом уместную параллель, «татара хотя никогда в российских городах столицы не имели... но токмо посылали баскак или сборщиков, однако и поныне имеем мы в своём языке великое множество слов татарских».

И Шлёцер констатировал, в полном согласии именно с Ломоносовым, не находя в русской истории следов норманнов, что на Руси «всё делается *славенским!* явление, которого и теперь ещё совершенно объяснить нельзя», что «славенский язык нимало не повреждается норманским, которым говорят повелители» (объяснение чему видел в малочисленности норманнов на Руси) и что «из смешения обоих очень различных между собою языков (славянского и скандинавского. — В.Ф.) не произошло никакого нового наречия». При этом учёный не смог скрыть явного противоречия между тем, что утверждал и что

должно было бы наблюдаться на самом деле в нашем языке, если бы русь действительно принадлежала к скандинавскому миру: «Как иначе напротив того шло в Италии, Галлии, Испании и прочих землях? Сколько германских слов занесено франками в латинский язык галлов и пр.!»¹⁹⁸.

Решительно отверг Ломоносов и тезис Миллера, что «русские» названия семи днепровских порогов, приведённые Константином Багрянородным, принадлежат скандинавскому языку¹⁹⁹ (в нашей науке вопрос об этих названиях впервые затронул, озвучив уже имеющиеся мнения на сей счёт, Байер в статье, опубликованной в 1744 г., т. е. после его смерти, в «Комментариях императорской Петербургской Академии наук» и в сокращённом варианте включённой Татищевым в свой труд в качестве 16 главы²⁰⁰). Свою идею Миллер проводил и в 1773 году. На следующий год швед Ю. Тунман в обосновании тезиса, что Русское государство создали его предки, важное место отвёл «русским» названиям порогов, объясняя их из скандинавских языков. Но качественная сторона таких интерпретаций вызвала возражения даже у Шлёцера, который в 1802 г. заметил, что некоторые из них «натянуты» (при этом полагая, что «русские» названия порогов «очевидно, по большей части суть скандинавские»)²⁰¹.

В целом цену предложенных их толкований выразил в 1808 и 1814 гг. Г. Эверс. Указывая, что «неутомимый» Ф. Дурич объяснил «русские» названия порогов из славянского «также счастливо», как и Ю. Тунман из скандинавского, а И.Н. Болтин из венгерского, он не без улыбки резюмировал: «Наконец, может быть, найдётся какой-нибудь словоохотливый изыскатель, который при объяснении возьмёт в основание язык мексиканский». Вместе с тем учёный правомерно заметил, что если бы русы были норманнами, «то сие должно бы быть видно не из семи названий порогов, но из всего языка подвластного народа. Именно этого нельзя сказать о словенах». Причём, столь же справедливо подчеркнул историк, «при исследованиях исторических давно уже признано за правило, что этимология некоторых слов порознь может служить только к подтверждению доказанного положения, а основания истины должны быть гораздо прочнее». Но такого основания у «истины» Тунмана нет²⁰².

Ломоносов отмечал, что Миллер ошибочно «толкует имён сходства в согласие своему мнению», утверждая, ссылаясь на Байера, «что варяжския имена, сколько их в наших историях находится, почти все были скандинавския». При этом академик указал на то, что, во-первых, имена наших первых князей в объяснении Байера, который, «последуя своей фантазии», «перевёртывал весьма смешным и непозволенным образом для того, чтобы из них сделать имена скандинавския; так что из Владимира вышел у него Валдамар, Валтмар и Валмар, из Ольги Аллогия, из Всеволода Визавалдур и проч.», не согласуются «с особами государскими» (т. е., обращал внимание А.Г. Кузьмин, «княжеские имена были своего рода титулами, означающими особое величие»).

Во-вторых, «что на скандинавском языке не имеют сии имена никакого знаменования» (причём для германцев было характерно явление, отсутствующее в реалиях Руси и с недоумением отмеченное Шлёцером, ожидавшим, естественно, иной результат: «Германские завоеватели Италии, Галлии, Испании, Бургундии, Картагена и пр. всегда в роде своём удерживали германские имена,

означавшие их происхождение»). О весьма вольных «лингвистических заключениях» Байера, роднивших его с Рудбеком, вели речь многие учёные (в том числе и Миллер). Байер, отмечал Н.М. Карамзин, слишком «уважал сходство имён, недостойное замечания, если оно не утверждено другими историческими доводами». В.О. Ключевский, говоря о его способе переименовывать имена летописных героев в скандинавские, признал, что «впоследствии многое здесь оказалось неверным, натянутым, но самый приём доказательства держится доселе». Лингвистический произвол, чинимый Байером своими «перевёртками», наглядно представил Ломоносов в ходе дискуссии: «Ежели сии Бейеровы перевёртки признать можно за доказательства, то и сие подобным образом заключить можно, что имя *Байер* происходит от российского *бурлак*»²⁰³.

Как заключал свои рассуждения о летописных именах Ломоносов, они не указывают на язык их носителей и потому не могут считаться при разрешении варяжского вопроса доказательствами: «Почти все россияне имеют ныне, — задавал он в 1749 г. Миллеру вопрос, оставленный без ответа, — имена греческие и еврейские, однако следует ли из того, чтобы они были греки или евреи и говорили бы по-гречески или по-еврейски?» (эту важную мысль учёный высказывал ещё до дискуссии: за год до неё он в «Кратком руководстве к красноречию» заметил, что «от знаменования имени неоспоримых доводов составлять не можно, кроме одних догадок или мнений»). И правота Ломоносова видна в свете показаний Иордана, отметившего в VI в. факт давнего активного международного обмена именами: «Ведь все знают и обращали внимание, насколько в обычае племён перенимать по большей части имена: у римлян — македонские, у греков — римские, у сарматов — германские. Готы же преимущественно заимствуют имена гуннские» (Эверс напоминал, что «Шлёцер сам хотел прежде, по строгим законам критики, исключить совершенно собственные имена из всякого исторического исследования, когда сии в подобном случае подали повод к важным заключениям») ²⁰⁴.

Профессионально показав ошибочность взглядов Миллера на русскую историю, Ломоносов представил своё видение, не лишённое, разумеется, определённых шероховатостей, варяжского вопроса, повторив его в «Кратком Российском летописце» и в более развёрнутом виде представив в «Древней Российской истории» (т. е. он задолго до 1749 г. во всех деталях, высказанных во время дискуссии и отточенных в последующих трудах, продумал свою концепцию начальной истории Руси). Констатируя, что «имени русь в Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря нигде не слышано» и «то явствует, что русь-варяги жили на полуденных берегах помянутого же моря к востоку или западу», он указал на название устья Немана Руса. Тем самым Ломоносов установил факт бытия в прошлом славянской Неманской Руси (и этот факт признаёт, но со своим толкованием, ряд норманистов), откуда, по его мнению, пришли к призывавшим их племенам варяго-русские князья.

Само же наименование части южнобалтийских варягов русью учёный связал с роксоланами (при этом верно говоря, что данный этноним может читаться как «россоланы», но ошибочно связывая иранское племя роксолан со славянами): они «происходили от древних роксолан или россос», переселив-

шихся «от Чёрного моря к берегам Балтийским», и заключал, опираясь на топонимический материал, что варяго-россы жили «при устьях реки Немени или Русы», «которая от сих варягов русских своё имя имеет». Миллер же возражал: «нельзя доказать... что варяги-россы жили в Пруссии», что Ломоносов не может подкрепить свои выдумки о южнобалтийском происхождении руси «свидетельствами историй», утверждал, что «ни у кого из писателей в уме никогда не было, кроме автора киевского “Синописа”, варягов признавать за славян»²⁰⁵.

В данном случае историограф вновь поступил, если использовать оценку Ломоносова, «непристойным» для историографа «образом», ибо был в курсе существования таких «свидетельств истории». Так, Г.З. Байер в статье «О варягах» привёл известия «августинской» легенды, мнение С. Герберштейна о южнобалтийской Вагрии как родине варягов, точку зрения немецких историков XVII в. Ф. Хемница и Б. Латома, что Рюрик был выходцем из ободритского (южнобалтийского славянского) княжеского рода. Наконец, Ломоносов пользовался четвёртым изданием «Генеалогических таблиц» И. Хюбнера (1725), имевшемся в Библиотеке Академии наук²⁰⁶, в которых Рюрик выступает в качестве потомка вендо-ободритских королей. И Миллер, несколько лет проработав её библиотекарем, знал, конечно, о наличии в её фондах этого труда (не зря академик Г.Б. Бюльфингер в июле 1730 г. из достоинств Миллера, которые можно учитывать при его избрании в профессора, особенно выделил «умение пользоваться здешней Библиотекой»²⁰⁷).

Однако Миллер, по мере роста своего профессионализма как историка, уже в работах 1761 и 1773 гг. не проходил, хотя и не принимал их в расчёт, мимо заключения Герберштейна (но он «обманулся в сходстве имён *вагриев* с варягами») и «бесполезных стараний» «мекленбургских писателей». При этом указывая, под давлением аргументов приняв идею Ломоносова, на нахождение Руси на южнобалтийских берегах (только не соглашаясь с его мнением о выходе «варяг россов из *Пруссии...* от *Мемеля*») и полагая варяжскую русь, видя в ней роксолан-готов (т. е. германцев; причём, по его словам, кроме роксолан нет никакого другого народа, «который бы лучше служил к объяснению *варягов россов*»), также в Пруссии, куда они переселились из России, но только «около реки Вислы на морском берегу». Потому как согласно Географу Равенскому (Ровенский Аноним, конец VII–VIII в.), изданному в 1688 г., через отечество роксолан «течёт самая большая река, называемая Висла».

Вместе с тем даже считая, что, может быть, «роксолане в Швецию перешли, и имя своё провинции *Рослаген* сообщили»²⁰⁸ (но во время обсуждения «диссертации» историограф ничего и не хотел слышать о связи роксолан с русской историей, о чём писали, а мнения некоторых из них Ломоносов приводит, многие европейские авторы XVI–XVIII вв.: «нельзя говорить, что название руссы произошло от роксоланы», что «нельзя доказать... что роксоланы переселились к Балтийскому морю». На что его оппонент заметил, сформулировав ключевой принцип беспристрастности, которым должны руководствоваться историки: хотя Миллер «происхождение россиян от роксолан и отвергает, однако ежели он прямым путём идёт, то должно ему всё противной стороны доводы на среде поставить и потом опровергнуть»²⁰⁹).

Затем Н.М. Карамзин допускал, под влиянием «августинской» легенды и «русского» топонимического материала в Пруссии, возможность призвания варягов-руси из последней (куда они, полагал историк, пытаясь хоть как-то согласовать норманскую версию с противоречащими ей фактами, могли переселиться из Швеции, «из самого Рослагена» и, «долго обитав между латышами, ... могли разуместь язык славянский и тем удобнее примениться к обычаям славян новгородских». Его на такую мысль наводили, помимо прочего, название Прусской улицы в Новгороде и Географ Ровенский, указывающий, «что близ моря, где впадает в него река Висла, есть отечество *роксолан*; думают, наших россов, коих владение могло простираться от Курского залива до устья Вислы»). Причём Карамзин не сомневался, что само название Пруссия «произошло от реки Русы или Русны»: «...Издавна назывались Курский залив *Русною*, северный рукав Немана или Мемеля *Руссою*, окрестности же их *Порусьем*».

В 1840 г. И.П. Боричевский, отталкиваясь от мнения Карамзина о руссах в Пруссии, от свидетельств Географа Ровенского, Титмара Мерзебургского, Адама Бременского, Гельмольда и др., констатировал, что руссы-норманны обитали в разных местах южных берегов Балтики и в сопредельных странах. При этом он особое внимание обращал на нижнюю часть Немана. Показательна в этом плане эволюция взглядов одного из самых активных приверженцев норманской теории М.П. Погодина. Вначале выводя варягов исключительно из Скандинавии, он со временем начинает полагать их на южном побережье Балтики. А в 1874 г., буквально перед своей кончиной, окончательно заключил: «...Я думаю только, что норманскую варягов-русь вероятнее искать в устьях и низовьях Немана, чем в других местах Балтийского поморья»²¹⁰.

В пользу выхода варяго-россов из пределов Неманской Руси Ломоносов привёл, увязав их воедино, факты, отдалённые большими расстояниями, что Перуна «почитали, в поганстве будучи, российские князья варяжского рода» и что его культ был распространён на славянском побережье Балтийского моря²¹¹. И для такого сравнения и следующего из него вывода имеются все основания. Так, немецкий хронист XII в. Гельмольд называет главного бога земли вагров — Прове (в некоторых списках — Проне), в котором видят искажённое имя славянского Перуна. В числе кумиров священной крепости на о. Руяне стоял Перунец. И.И. Первольф констатировал, что четверг у люнебургских славян (нижняя Эльба) ещё на рубеже XVII–XVIII вв. назывался «Перундан», т. е. день Перуна, олицетворявшего в их верованиях огонь небесный, молнию, а этот факт, обращал внимание А.Г. Кузьмин, предполагает широкое распространение культа Перуна и признание его значимости²¹² (стоит добавить, что на Южную Балтику выводит не только имя Перуна, но и характер изображения божеств, установленных, согласно ПВЛ, Владимиром в 980 г.²¹³).

Но помимо Неманской Руси Ломоносов затем укажет и на другие территории южной и юго-восточной Балтики, где многие памятники зафиксировали проживание русов (и эти факты также стали достоянием науки). Подчёркивая в «Древней Российской истории», что имя русь «не должно производить и начинать от времени пришествия Рурика к новгородцам», академик констатирует

вал: оно широко и давно бытовало на «полуденных берегах» Варяжского моря. Например, жители о. Рюгена «назывались рунами» (остров этот разноязычные источники именуют ещё как Русия, Рутения, Руйяна, а его жителей русами, рутенами, ранами), а Куршский залив «слыл в старину Русна». Вместе с тем говоря, что в древности «весьма знатен был город Ротала», располагавшийся недалеко от устья Западной Двины: «Близ Пернова, на берегу против острова Езеля, деревня, называемая Ротала, подаёт причину думать о старом месте помянутого города, затем что видны там старинные развалины». По поводу последних слов А.Г. Кузьмин заметил, что указание на деревню Ротала «и развалины около неё представляют значительную ценность. По Саксону Грамматику получается так, что именно здесь находилась столица рутенов-русов, с которыми вели постоянную борьбу датские конунги»²¹⁴.

(Этот датский хронист, совершенно непонятый Миллером, страну рутенов-русов, с которыми издавна воевали его предки, именует Русцией и Рутенией и один раз упоминает их город Роталу, взятый и разрушенный данами. О степени противостояния между этими народами можно судить также по тому факту, что, как пишет хронист, когда-то «своими грабежами и жестокостью наше Отечество терзал морской разбойник Рёдо, [родом] из рутенов». Одновременно с Саксоном Грамматиком и Генрих Латвийский неоднократно упоминает в Восточной Прибалтике Роталию, роталийцев, т. е. русов-рутенов, «области роталийские» в контексте противостояния эстов немецким крестоносцам и локализует Роталу в районе приморья. В борьбу за Роталию втянулись затем датчане, которые в 1219 г. вторглись в Северную Эстонию, а в 1226 г. вновь, как некогда их далёкие предки, разграбили и сожгли Роталу²¹⁵. Следует в этой связи подчеркнуть, что, как отмечали эстонские исследователи, памятники I–IV вв. островов Сааремаа и Муху и северо-запад части материка в значительной степени различаются от памятников других районов Эстонии — украшениями, традициями и даже характером хозяйства, т. е. там обитали, по их мнению, иные, не древнеэстонские племена²¹⁶).

Ломоносов, ведя речь о существовании, кроме Киевской Руси, других «Русий», тем самым доказал, что «российский народ был за многое время до Рурика». Но эту мысль категорически отрицал Миллер и в речи, и во время её обсуждения («что прежде Рурика россиян в России не было»). Однако в 1761 и 1773 гг. уже сам утверждал, что «*россы были и прежде Рурика*» и что киевские россы нападали, по сообщению византийских источников, на Константинополь под предводительством Аскольда до прибытия Рюрика в Восточную Европу²¹⁷. А утверждал потому, что Ломоносов в ходе дискуссии заострил, опираясь на показания хорошо известного к тому времени свидетельства константинопольского патриарха Фотия, его внимание на существовании дорюриковой руси в Причерноморье. А эту идею затем отстаивали и приводили в её пользу новые доказательства как норманисты, так и антинорманисты XVIII — начала XXI в.: А.Л. Шлёцер, Г. Эверс, Н.М. Карамзин, И.С. Фатер, Н.И. Надеждин, Н.А. Иванов, П.И. Шафарик, И.Г. Нейман, С.М. Соловьёв, Д.И. Иловайский, Е.Е. Голубинский, В.Г. Васильевский, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, А.А. Шахматов, Л.В. Падалко, В.А. Пархоменко, Г.В. Вернадский, Д.Т. Березовец, В.И. Абаев, Д.Л. Талис,

О.Н. Трубачёв, А.Г. Кузьмин, В.В. Седов, Е.С. Галкина, Я.Л. Радомский, П.П. Толочко, К.А. Максимович и другие.

Прекрасное знание Ломоносовым источников русской и европейской истории и историографии (в замечаниях на речь он апеллирует к показаниям Страбона, Плиния, Тацита, Спартиана, Прокопия Кесарийского, Иордана, папы Григория I Великого, Бертинских анналов, патриарха Фотия, ПВЛ, Константина Багрянородного, Саксона Грамматика, М. Стрыйковского, неутончённым «нашим летописцам» позднего времени, Никоновской летописи, Новгородской третьей летописи, Прологу, Синопису, к сочинениям Х. Гарткноха, Х. Целлария, Г.З. Байера), его превосходство над Миллером в методологическом плане позволили ему продемонстрировать стремление оппонента «покрыть истину мраком». В связи с чем учёный заключил, что «оной диссертации никоим образом в свет выпустить не надлежит», ибо «вся она основана на вымысле и на ложно приведённом во свидетельство от господина Миллера Несторовом тексте», и потому может составить «бесславию» Академии наук.

3.5 Ломоносов и Миллер: уроки полемики

Время показало, что Ломоносов правомерно обращал внимание на политическую подоплёку норманизма, изначально в нём присутствующую, говоря, что в «диссертации» Миллера находятся «опасные рассуждения», а именно: «происхождение первых великих князей российских от безымянных скандинавов в противность Несторову свидетельству, ... частые над россиянами победы скандинавов с досадительными изображениями... России перед другими государствами предосудительны, а российским слушателям досадны и весьма несносны быть должны». В этих словах и в словах, «что ежели положить, что Рурик и его потомки, владевшие в России, были шведского рода, то не будут ли из того выводить какого опасного следствия», обычно видят единственный мотив выступления русского учёного против норманской теории.

Разумеется, патриотизм и эмоции в этом деле не могли не присутствовать, но они были явлениями, так сказать, второго порядка, ибо Ломоносов прежде всего выступил против фальсификации начальной истории Руси, в угоду чему совершалось явное насилие над источниками. И вряд ли ему можно вменить в вину то, что он на заре зарождения исторической науки в России встал на защиту исторической правды, желая ознакомить с ней отечественного и зарубежного читателя. Поэтому большим смыслом наполнены его слова, произнесённые во время дискуссии, и актуальность которых с тех пор только усилилась: «Я не требую панегирика, но утверждаю, что не терпимы явные противоречия, оскорбительные для славянского племени», т. е. русских.

На той же проблеме он заострял внимание и позже, констатируя в 1764 г., что выехавшие из России иностранцы «с одного того, что только видели, писали и издавали о ней ругательные известия». На актуальность данной про-

блемы указывает тот факт, что её видел не только русский Ломоносов. В 1802 г. Шлёцер говорил о «множестве смешных глупостей, которыми запятнали себя иностранцы, писавшие о России». Спустя более полувека, в 1854 г., и немец Е.И. Классен, ведя речь о пустословии и недобросовестности западноевропейских норманистов, подчеркнул в полном согласии с Ломоносовым: «Мы знаем, что история не должна быть панегириком, но не дозволим же им обращать русскую историю в сатиру»²¹⁸ (и с той поры число «смешных глупостей» иностранцев, заикливаемых на идее своего превосходства над нами, возросло неимоверно, а сейчас прибывает прямо на глазах).

Для высказанных Ломоносовым опасений политического свойства имелись все основания. Была ещё очень свежа в памяти война со шведами 1741–1743 гг., принёсшая русским очередную победу, но не остудившая реваншистские настроения Швеции (где они будут долго кипеть и станут причиной ещё не одной войны с нами). К тому же совсем-то недавно, в последние месяцы 1748 г., Швеция, подстрекаемая Францией и Пруссией, начала, пишет С.М. Соловьёв, настолько явно проявлять свою враждебность, что Россия стала энергично готовиться к отражению нападения²¹⁹. И в такое напряжённое внешнеполитическое время русский профессор Миллер взялся утверждать (да ещё в год сорокалетия Полтавской виктории, ставшей переломной в Северной войне со шведами), что скандинавы «победоносным оружием благополучно покорили себе Россию», проводить идею о шведском происхождении Рюрика и варягов, стоявших, по тогдашним понятиям, у истоков Русского государства (тем самым историограф, представляя его в качестве продукта норманского импорта, лишал русских государственных начал и ставил их ниже многих западноевропейцев).

Эта «порука» чести и достоинству русского народа планировалась для «изъяснения» на торжественном заседании Петербургской Академии наук, приуроченном к одним из главных на то время государственным («пресветлым») праздникам — сначала ко дню тезоименитства (именин) императрицы Елизаветы Петровны, дочери сокрушителя великодержавия Швеции и ровесницы Полтавы, а затем к годовщине её восшествия на престол, т. е. на мероприятиях самого высокого государственного уровня (в предыдущие годы на подобных мероприятиях Академии присутствовали не только первые лица государства, включая его главу, но и представители иностранных держав). И потому озвучь свои идеи Миллер в такой день и перед такой аудиторией, то Швеция получила бы из рук самих русских серьёзный «исторический» козырь, который много бы попортил им крови, а престижу России на международной арене был бы нанесён существенный урон.

В условиях национального подъёма понятна забота Ломоносова о международном престиже своей Родины, зависящем не только от её настоящего, но и от её прошлого. Вот почему он в «панегирике», что резко контрастировало с речью Миллера, говорит о «преславных» победах «Петровой дщери» «над внутренними и внешними врагами» и предрекает ей будущие победы, превозносит её предков и особенно Петра Великого, попиравшего «поверженное неприятельское оружие» и «в мужественной своей дщери живущий», именует шведов «злодеями» и «кичливыми сопостатами», которых она кротко наказа-

ла: «Побеждена Швеция ея оружием, но больше побеждена великодушием», напоминает шведам о их поражении на «полях Полтавских» и нахождении затем в плену «многия тысячи их народа» и др. (как заключал П.П. Пекарский, «причём довольно резко напоминалось о победах русских при Полтаве и Вильманстранде»²²⁰, взятом в самом начале войны 1741–1743 гг.).

О своём престиже тогда усиленно пеклись все европейские страны, не оставляя без внимания ничего, что могло бы принести урон их чести и, тем самым, уменьшить их влияние на мировой арене. В этом плане показательна обеспокоенность И.Д. Шумахера, которую он выразил 4 декабря 1749 г. в письме Г.Н. Теплову. Сообщая, что похвальная речь Ломоносова императрице на торжественном заседании Академии была принята с одобрением, он подчеркнул: в ней имеются выражения, которые могут показаться обидными прусскому и шведскому правительствам²²¹. Многоопытный Шумахер, чтобы упредить возможные проблемы в такой весьма чувствительной сфере, как международные отношения, завёл разговор всего лишь из-за того, что Ломоносов несколько раз упомянул о победах русских над шведами в Северной войне и войне 1741–1743 годов. Пруссию же он прямо нигде не назвал, но в его фразе о «завистнике благополучия нашего», который «дерзнёт неистовым или коварным озлоблением миролюбивое монархини нашае сердце на гнев подвигнуть», то, несмотря на свою отдалённость, «помыслит, что не флот Российский, но целая Россия к берегам его пристала», т. е. она ответит ему всей своей мощью, видели намёк на прусского короля Фридриха II²²² (и эти слова оказались пророческими).

Европа того времени была полна противоречий, заканчивающихся войнами и тут же ведущих к новым. В октябре 1748 г. завершилась многолетняя война за «австрийское наследство», в которую были втянуты многие государства, в том числе Россия (её вступление в войну на стороне Австрии спутало все планы Пруссии и особенно Франции), что привело в декабре следующего года, по оценке С.М. Соловьёва, к «страшному раздражению» — окончательному разрыву дипломатических отношений между последней и Россией). Но Аахенский мир 1748 г. дипломаты рассматривали «только как перемирие, и враждующие державы искали себе союзников на случай новой войны». Особую активность в этом плане развивал прусский король Фридрих II, оторвавший от Австрии Силезию и почти сразу же вновь начавший бряцать оружием, стараясь при этом натравить на Россию в первую очередь Швецию, полную реваншистских настроений после 1721 и 1743 гг. (ещё в январе 1746 г. наш резидент в Копенгагене И.А. Корф сообщал, «что между Пруссией, Швецией и Польшей подготавливается тайный тройственный союз против России. Швеция обещает уступить Пруссии шведскую Померанию, а Пруссия “напротив того обязуется всею силою Швеции в возвращении назад Лифляндии вспомоществовать”. Польша, в свою очередь, претендовала на Киев, Смоленск и Украину». На войну с Россией Пруссия подстрекала и Турцию, а Франция в 1745–1747 гг., чтобы помешать вступлению России в войну за «австрийское наследство», обещала «султану побудить шведское правительство сделать диверсию против России»).

Как выражала в марте 1749 г. русская сторона свою озабоченность австрийскому послу в России Бернесу, «король прусский в такое время, когда вся Европа

вождем покоем пользуется и ничего неприятельского опасаться не имеет, такие великие военные приготовления, сильные рекрутские наборы, знатное умножение своей армии предпринимает. Ласкательное мнение, которое он иногда имел бы, чтобы шведскую Померанию себе присвоить, а напротив того, Швеции к завладению Эстляндского и Лифляндского герцогств вспоможение показать», т. е. тех земель, которые перешли к России «на вечные времена» по условиям Ништадского мира (в октябре 1750 г. Петербург разорвал, в ответ на оскорбления, нанесённые нашему послу «перед другими чужестранными министрами», дипломатические отношения с Берлином. Как поясняет Соловьёв, разрыв был «главным образом, следствием шведских дел»)²²³.

Действия Пруссии приведут, при активном содействии Франции, пытавшейся доминировать в Европе, к Семилетней войне (с разрывом дипломатических отношений с Россией Франция начала с новой силой проводить политику «восточного барьера», стремясь «отгородить Россию от остальной Европы и снова отбросить её к границам конца XVII в.», «создать одновременные осложнения для России на северо-западе, в Прибалтике, на западе и на юге»²²⁴). В условиях назревания войны европейские государства, зная себе цену в настоящем и свои устремления в будущем, всемерно вставали на защиту своего прошлого. И Россия не желала быть своей историей, вопреки мнению, в 1759 г. выраженному — под влиянием норманизма — в первом томе «Истории Российской империи при Петре Великом» Ф.М. Вольтером, «подтверждением и дополнением к истории Швеции» (этот же знаменитый представитель европейского Просвещения в 1731 г. «просвещал» читателей «Историей Карла XII» тем, что до Петра I «московиты были менее цивилизованы, чем обитатели Мексики при открытии её Кортесом. Прирождённые рабы таких же варварских, как и сами они, властителей, влачили они в невежестве, не ведая ни искусств, ни ремёсел и не разумея пользы оных». Позже, в 1748 г., в «Анекдотах о царе Петре Великом», изданных в Дрездене, он также говорил о варварском состоянии допетровской России²²⁵). А уж тем более не должна была давать и малейшего повода кому-то к мысли, которую выражал в ходе Северной войны «гуманнейший немец Лейбниц, следовавший, казалось, с любовью за делами Петра, но не находивший странным при этом желать иногда Карлу XII завоевания всей России для более успешного превращения её в просвещённую страну»²²⁶.

Поэтому Россия не могла предстать перед своими будущими противниками и союзниками такой, какой её рисовал Миллер. А именно, если привести заключение Ломоносова, «частые россияне от шведов разорения, победы, порабощения и опустошения», или, как это выразил на основании отзывов академиков и адъюнктов в своём заключении на «диссертацию» Миллера Теплов 21 сентября 1749 г.: он «ни одного случая не показал к славе» российского народа, «но только упомянул о том больше, что к бесславию служить может, а именно как их многократно разбивали в сражениях, где грабежом, огнём и мечом пустошили и у царей их сокровища грабили»²²⁷. В конечном итоге Миллер поймёт, под воздействием весьма нелицеприятной для себя критики, свой серьёзный политический просчёт, в целом откажется от заблуждений в отношении начальной истории Руси. В этом плане показательны его слова, произнесённые

в 1773 г., что речь хотя и напечатана в Гёттингене «вторым уже тиснением, но сочинитель онаго никакого в том не имеет участия». И далее этот, по оценке А.Г. Кузьмина, «человек высокой честности и добросовестности» сказал с высоты приобретённых за последискуссионный период знаний, не стесняясь открыто признать правоту оценок оппонентов, данных его «диссертации» в 1749–1750 гг., что «поелику мы со дня на день более поучаемся, то сочинитель, если б было его посоветовались, много сделал бы ещё в оном перемены»²²⁸.

Как историк Ломоносов ставил перед собой задачу, чётко высказанную в январе 1753 г. в письме И.И. Шувалову: «Коль великим счастьем я себе почесть могу, ежели моею возможною способностью древность российского народа и славные дела наших государей свету откроются». Но об этом он помышлял давно. В «Посвящении» к «Истории Российской» В.Н. Татищева, написанном в январе 1749 г., Ломоносов, обладая высочайшей гражданской ответственностью, обращал внимание на ненормальную ситуацию, которая могла негативно сказаться на настоящем и будущем Российского государства: «но как оное возрастало, и умножение его могущества и славы коль тяжким затруднениям подвержено было, и как оные преодолены, о том весьма немногие знание имеют, лишаясь достоверного описания деяний российских, чрез что похвала государей, заслугами своими Россию одолживших, равно как и древнего российского народа славное имя затмевается, и добрые примеры мужественных поступков и премудрых поведений остаются в закрытии»²²⁹.

И можно только гадать, что было бы им сделано на поприще родной истории, в открытии её — во всех проявлениях (в «тяжких затруднениях» и их «преодолениях», т. е. в поражениях и победах) — для соотечественников, если бы она одна была его уделом (а ведь только историей всю свою жизнь занимались Миллер и Шлёцер). Но и того, что он сделал, одновременно блестяще проявив себя во многих других науках, вполне достаточно, чтобы признать Ломоносова историком и без норманистской предвзятости взглянуть и на него, и на его наследие (как это сделал в 2011 г. М.Б. Свердлов). К тому же не забывая, что в обработке русской истории он, указывая П.А. Лавровский, натолкнулся, совершая «этот многотрудный подвиг», «на непочатую ещё почву и вынужден был сам и удобрять, и вспахивать, и засеять и боронить её»²³⁰. От чего ни в коей мере не пострадают весьма значимые заслуги немецких учёных перед русской исторической наукой (хотя, конечно, не представляется возможным принять заключение Т.Н. Джаксон, увидевшей в трудах Байера, Миллера и Шлёцера по варяжскому вопросу «подлинно академическое отношение к древнейшей русской истории, основанное на изучении источников»²³¹).

Великий Эйлер в одном из писем за 1754 г. с восхищением говорил Ломоносову, что «я всегда изумлялся Вашему счастливому дарованию, выдающемуся в различных научных областях»²³². Таким же счастливым дарованием, помноженным на свойственное ему трудолюбие и желание дойти до самой сути дела, обладал наш гений и в истории, нисколько не жертвуя при этом ни истиной, ни своей очень высокой научной репутацией. Что и позволило ему, выдающемуся естествоиспытателю (а занятия многими точными науками выработали у него практику самого тщательного и тончайшего анализа материала, и эту практи-

ку он перенёс на свои исторические исследования, распространив, как совершенно справедливо заключал М.Б. Сverdлов, «поиск общих закономерностей в историческом развитии России»²³³), написать — и только по своей инициативе, без всяких на то приказов и требований со стороны — «Краткий Российский летописец» и «Древнюю Российскую историю».

Значение «Краткого Российского летописца» состоит в том, что им, по оценке П.А. Лавровского, «добросовестнейшее трудолюбие» Ломоносова представило «как бы остов русской истории» (а в нём в сжатой и яркой форме изложен в виде основных событий огромный период от первых известий о славянах до Петра I включительно, с приложением «Родословия российских государей мужеского и женского полу и брачных союзов с иностранными государями», начинающегося Рюриком и заканчивающегося Петром Великим). И с этим «остовом русской истории» настолько сильно жаждало ознакомиться русское общество, что в 1760–1775 гг. он вышел тремя изданиями и большим для того времени общим тиражом — 4200 экземпляров (но и этого тиража так остро не хватало, что книгу переписывали от руки, в связи с чем она получила довольно широкое распространение в списках. Такой невероятный интерес к своему труду познает затем лишь Н.М. Карамзин). И тут же стал учебником, по которому взросло несколько поколений героев России, следовательно, её побед, в том числе над Наполеоном²³⁴. По нему начинала своё знакомство с русской историей и заграница.

«Древняя Российская история», увидевшая свет в 1766 г., т. е. уже после смерти своего автора (в работе над которой он душой блуждал «в древностях российских»²³⁵), и заканчивающаяся 1054 г., явилась крупным событием в научной и общественной жизни России второй половины XVIII — начала XIX в. (о её востребованности говорит тот факт, что в период 1784–1804 гг., т. е. за 20 лет, была трижды издана в «Полном собрании сочинений» учёного и была одной из самых популярных книг XVIII в.). Она, по оценке Г.Н. Моисеевой, представляет собой «исторический труд нового типа. Принципиально новым был сам подход к построению труда. ... “Древняя Российская история” — не летописный рассказ, приближённый к читателю XVIII в. путём модернизации языка, а исследовательский труд, явившийся результатом изучения самых разнообразных источников и подчинения их цельной исторической концепции автора. Ломоносов впервые отделил авторское начало от передачи источника, сделав тем самым значительный шаг в развитии исторической науки»²³⁶.

Подобной истории ни Байер, ни Миллер, ни Шлёцер, якобы исполненные, если ещё раз привести слова М.Н. Тихомирова, «всевозможными научными доблестями», не написали (по оценке М.Б. Сverdлова, также уже озвученной, Миллер и Шлёцер «и не могли создать обобщающих трудов», посвящённых России)²³⁷. Хотя на Миллера, официально назначенного 20 ноября 1747 г. «историографом Российского государства», и возлагалось, по завершению «сибирской истории», сочинение «истории всей Российской империи». В «определении» Академической Канцелярии от 10 ноября это ему поручалось одному, а в контракте, подписанном десятью днями позже, — совместно с Фишером: «Когда окончится Сибирская история, тогда он, Миллер, с профессором Фишером употреблён будет к сочинению всей Российской истории».

23 декабря 1747 г. историограф в предложениях, касавшихся исторического департамента, подчеркнул, что, приводя «Сибирскую историю» «к концу», «однако при том можно и то наблюдать, как бы к сочинению общей всероссийской истории собиранием всяких к тому потребных известиев дорогу предуготовлять с такою пользою, чтобы по окончании сибирской истории без продолжения времени оную сочинять можно было». В связи с чем Канцелярия 27 января 1748 г. определила: «Пока сибирская история сочиняется, стараться надо историографу (а также И.Э. Фишеру и Х.Н. Винстейму. — В.Ф.)... надлежащее собрание потребных известий делать к общей всероссийской истории, и ежели чего собою сделать не могут, о том доносить Канцелярии, которая в том старание своё прилагать будет». Но важнейшее государственное задание по написанию Миллером русской истории, в связи с которым он и «определялся» историографом, не было им выполнено (как фиксировала 31 декабря 1752 г. Академическая Канцелярия, известно, что Миллер «много начинает, а ничего к концу не приводит, порученное же ему российской и сибирской истории и географии сочинение в даль откладывает»).

Затем в марте 1766 г., при своём назначении руководителем архива коллегии иностранных дел, в письме вице-канцлеру А.М. Голицыну, оказавшему в том серьёзную протекцию, Миллер обещал, что не упустит случая «воспользоваться архивом для всего, что касается истории России, и в этом отношении буду руководствоваться образцом лучших историков, пользовавшихся подобными же преимуществами». Возможно под влиянием этого обещания Екатерина II через год обратилась к нему с предложением написать «генеральную российскую историю», однако он ответил многозначительным отказом и рекомендовал ей князя М.М. Щербатова. В 1769 г. от историографа поступило предложение, «чтобы Академия наук под его наблюдением составила историю России, для которой он в течение 45 лет собирал разнообразные материалы». Академия приняла это предложение, но реального также ничего не было сделано²³⁸.

А об уровне вхождения и понимания русской истории Ломоносова и Шлёцера красноречиво говорит предложенная ими её периодизация. В феврале 1763 г. русский учёный в записке в Канцелярию отмечал, передавая первые две части «Древней Российской истории» в печать, что они охватывают период до смерти Ярослава, «то есть до первого главного разделения самодержавства российского» (начинается от княжения Рюрика, а в первой части говорится «О России прежде Рурика»), третья часть — «до Батыева нашествия, то есть до порабощения российского татарами»; четвёртая — до Ивана III, «когда Россия вовсе свободилась от татарского нашествия» (эти части, в том числе рукопись, с которой осуществлялся набор, пропали, и их судьба до сих пор не известна). В периодизации Ломоносова нынешний дипломированный историк увидит много знакомого для себя, чего совершенно не скажешь по поводу этапов, формально выделенных Шлёцером в 1768 г.: I. Рождение Руси, с 862 по 1015 гг. — 150 лет. II. Период раздробленности, с 1015 по 1216 гг. — 200 лет. III. Период угнетения Руси, с 1216 по 1462 гг. — 250 лет. IV. Период побед, с 1462 по 1725 гг. — 300 лет. V. Период процветания России, с 1725 г.»²³⁹

«Древняя Российская история» сыграла важную роль в формировании национального самосознания (русского духа) русского народа, в возвращении и укреплении в нём светлого чувства исторического оптимизма, который был так необходим России в решении грандиозных задач эпохи Екатерины II, Павла I и Александра I, в истинном знакомстве читателя, включая западноевропейского, с начальными веками нашей истории. В данном труде Ломоносов в завершённом виде представил, и это в условиях ещё необработанности русской и европейской историй, выдающиеся открытия, вошедшие в сокровищницу отечественной и мировой исторической науки. Например, о равенстве народов перед историей, об отсутствии «чистых» народов и сложном их составе, о «дальней древности славянского народа» («народы от имён не начинаются, но имена народам даются»), о скифах и сарматах как древних обитателях России, о сложном этническом составе скифов.

Также впервые в науке он вёл речь об участии славян в Великом переселении народов и падении Западно-Римской империи, о складывании русской народности на полиэтнической основе, о высоком уровне развития русской культуры («немало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели»), о прибытии Рюрика в Ладогу, о родстве венгров и чуди (к такому выводу сами венгры придут лишь через 100 с лишним лет в ходе ожесточённой полемики между приверженцами угро-финского и тюркского происхождения венгерского языка, которая вошла в историю венгерской науки под названием «угро-тюркской войны»), что христианство распространялось на Руси задолго до её крещения (оно «прежде сего троекратно начиналось»)²⁴⁰. Ломоносов, указывая В.О. Ключевский, в летописях «нашёл, что в русской старине есть и деяния важные, “разные дела и герои, греческим и римским подобные”». Таким образом были намечены «и дальнейшие задачи русской историографии и даже часть её метод: предстояло вскрыть в источниках достойное знания содержание русской истории и путём сравнительного изучения поставить его рядом с историей других народов. ... Сравнение однородных явлений неизбежно вело к общим выводам, к познанию законов истории, и достаточно припомнить рассуждение Ломоносова об образовании народов путём племенных смешений, его положение, что “народы от имён не начинаются, но имена народам даются”, чтобы видеть, как полезен был для русской историографии этот приём даже в своём зачатке»²⁴¹.

Комплексный анализ исторического наследия Ломоносова, состояния исторических знаний его времени и нынешнего уровня их развития показывает, что он был, несмотря на определённые заблуждения и ошибки, характерные для исторической мысли XVIII в., одним из ярчайших её представителей, умело использовал метод исторической критики и придерживался принципа историзма, обладал широкими и глубокими познаниями в отечественной и всемирной истории, в оригинале знал все известные на его время письменные источники и исследования западноевропейских учёных, имеющие отношение к прошлому славян и русских. «Правда, — подытоживал в 1865 г. П.А. Лавровский, — теперь попадают сочинения, предлагающие несравненно больший список имён авторов и сочинений; но было бы крайне опасно поручиться за

самостоятельную обработку цитируемых источников; нередко случается, что новейшие наши учёные иногда не видели и в глаза того или другого латинского или греческого сочинения, на которые ссылаются лишь по указаниям или извлечениям уже в готовых исследованиях. Не при таких условиях находился Ломоносов: в его время не только не было переводов большинства приводимых им авторов, но не было и новых сочинений, которыми бы мог он пользоваться по всем сторонам поднимавшихся вопросов»²⁴².

Ломоносов много и плодотворно занимался эпохой и личностью Петра I, стрелецкими бунтами, в целом историей XVII века. В 1757 г. он написал «Примечания» на рукопись первых восьми глав «Истории Российской империи при Петре Великом» Ф.М. Вольтера (где исправил многочисленные ошибки и неточности, в том числе концептуального характера, и эти замечания, хотя и в неполной мере, были приняты автором), подготовил для него «Описание стрелецких бунтов и правления царевны Софьи» (которое европейская знаменитость во многих случаях почти дословно воспроизвёл), «Сокращённое описание самозванцев», «Сокращение о житии государей и царей Михаила, Алексея и Феодора», «Сокращённое описание дел государевых» Петра Великого (вопреки распространённому мнению, что судьба двух последних произведений неизвестна, они дошли до нас, как установил автор настоящих строк, в составе «Краткого Российского летописца»), в 1760 — «Замечания на первый том “Истории Российской империи при Петре Великом” Вольтера» (недавно М.Б. Свердлов расширил число исторических исследований, связанных с именем Ломоносова). Ему же принадлежит «Краткая история о поведении Академической Канцелярии в рассуждении учёных людей и дел с начала сего корпуса до нынешнего времени». Написанная в июле-августе 1764 г. в качестве записки императрице Екатерине II, она представляет собой первый обзор деятельности Петербургской Академии наук с момента её основания и проникнута главной идеей нашего гения, на реализацию которой он положил всю свою жизнь без остатка, «чтобы науки возросли и распространились в России»²⁴³.

Разумеется, сказанное о Ломоносове-историке несколько не ставит под сомнение то, что было сделано на историческом поприще Миллером. Можно лишь повторить как за норманистом Н. Сазоновым (1835), что он «заслуживает вечную благодарность всех любителей отечественной истории», так и за антинорманистом Н.В. Савельевым-Ростиславичем, что Миллер оказал «великие заслуги русской истории» (1842). Или же за Н.И. Новиковым (1772), не принадлежавшим ни к тому, ни к другому лагерю: «Сей учёный муж за многие и полезные свои труды великой достоин похвалы»²⁴⁴. Вечную благодарность он заслуживает и за свою преданность России. Прожив богатую на события жизнь и пройдя через взлёты и падения, он искренне выразил в 1775 г. смысл своего бытия в стране, ставшей ему, по его же добровольному решению, Родиной: «Итак, служу я Российскому государству пятьдесят лет и имею то удовольствие, что труды мои от знающих людей несколько похваляемы были. Сие побуждает во мне желание, чтоб с таковым же успехом и с общенародною пользою продолжать службу мою до последнего часа моей жизни, чувствуя себя к тому Божиим милосердием ещё в нарочитых силах»²⁴⁵.

Воистину, и служил как преданный сын Отечества до последнего вздоха, и труды его «похваляемы» были намного больше, чем он сам говорил. В целом же итог его научной деятельности несравненно больше того, что сделали в науке (а на данный факт указывали, например, в 1865 и 1872 гг. Н.Н. Булич и К.Н. Бестужев-Рюмин) Байер и Шлёцер. И объяснение тому, видимо, находится в словах Миллера, когда он, «испрашивая» в апреле 1780 г. у Екатерины II, «чтоб меня пожаловали небольшим числом недвижимого деревенского имения в наследство», сказал: «Чрез то награждена будет и пятидесятилетняя моя в России служба, по коей во всей империи нет старее меня служителя, действительно в службе находящегося. А дети мои, коих я воспитал для услужения отечеству — и действительно они служат капитанами, — прямые будут сыны отечества, потому что иностранный человек, пока он в России не исполщён, всегда будет иностранцем»²⁴⁶.

Вот такими иностранцами и оставались для России Байер и Шлёцер. И если бы первый из них не написал «диссертацию» «О варягах», то его имя вообще бы мало кто знал спустя даже самое малое время после его кончины. По верному замечанию П.Н. Милюкова, второй, находясь в России, работал, «во-первых, для своей славы, во-вторых, для Германии»²⁴⁷. Славу при жизни он приобрёл всевропейскую, в силу чего для наших норманистов стал непререкаемым авторитетом, апелляцией к которому они подменяли научную аргументацию, шельмовали и изгоняли из науки инакомыслие. Но при всём славословии в адрес этого учёного, обильно льющемся в нашей науке уже более 200 лет, его идеи ненадолго пережили его самого.

Выше говорилось, что в 1847 г., т. е. спустя всего 38 лет после смерти Шлёцера и выхода последней части «Нестора», один из самых верных его продолжателей по норманизации Руси М.П. Погодин констатировал, признавая тем самым принципиальную ущербность и его, и, следовательно, своего подхода к объяснению ранней истории Руси, что «результаты Шлёцеровы теперь уже ничего не значат» и что «за шведов с руотси и Рослагеном, за его понятия о вставках, за понтийских руссов, и пр. и пр. — прости его Господи!»²⁴⁸. Но два результата Шлёцера прижились — и невероятно крепко — в нашей науке. Это его ультра-норманизм и вытекающий из него, под видом «объективного подхода», скептицизм к русской истории, к её свершениям, к её героям, к первым русским историкам, что самым серьёзным образом мешает не только развитию исторической мысли, но и развитию нашего самосознания, тем самым сдерживая проявление духовной и интеллектуальной мощи нашего народа.

С целью достижения истинного понимания значимости историка Миллера и историка Ломоносова надлежит, во-первых, понимать, что из их наследия, и прежде всего, в области варяго-русского вопроса соответствует уровню развития науки как середины XVIII в., так и нашего времени. Во-вторых, «изучая какую-либо историческую концепцию, — правомерно указывал в 1978 г. крупнейший знаток проблем историографии А.М. Сахаров, — надо хорошо представлять себе как ту эпоху, в которой эта концепция вырабатывалась, так и ту эпоху, которой она посвящена» (этому требованию большинство критиков нашего гения не соответствует). В-третьих, в рассуждениях о работах и идеях Ло-

моносова и Миллера строго придерживаться хронологического принципа, что не позволит скатиться в субъективизм в оценке их творчества и заслуг. Да при этом ещё помнить, что цитируемые норманистами слова Миллера, которые они обращают против Ломоносова: «быть верным истине, беспристрастным и скромным... он должен казаться без отечества, без веры, без государя»²⁴⁹, были произнесены им спустя много лет после дискуссии 1749–1750 гг.²⁴⁹, и потому не имеют никакого отношения к его характеристике как историка той поры.

Ломоносов и Миллер, конечно, не друзья, но они не были и смертельными врагами. Они — люди со своими принципами и взглядами на жизнь и обязанности учёного, в том числе историка. И не следует при этом делить российское научное сообщество того времени на «немецкую» и «русскую» партии. Потому как тогда в одной «партии» состояли, объединённые общими интересами, и русские, и иностранцы (например, Ломоносов и Миллер вместе выступили в 1764 г. против назначения Шлёцера профессором истории). Когда же их интересы расходились, то бывшие «однопартийцы» начинали вражду между собой, а затем вновь объединялись, а затем вновь интриговали друг против друга («сколько раз, — говорил Ломоносов в письме Г.Н. Теплову от 30 января 1761 г., — вы были друг и недруг Шумахеру, Тауберту, Миллеру и, что удивительно, мне?»). Причём всего этого было в избытке ещё в те времена, когда среди академиков не было ни одного русского. Так, разрешение Сената отправиться во Вторую Камчатскую экспедицию Миллер спустя годы оценил следующим образом: «Я был этому рад, потому что таким образом избавлялся на долгое время от неурядицы в Академии и, удалённый от ненависти и вражды, мог наслаждаться покоем, завися только от самого себя», а, говоря о ненависти к себе со стороны Шумахера с 1732 г., подчеркнул: «Для избежания его преследований я вынужден был отправиться в путешествие по Сибири»²⁵⁰.

И никто, конечно, не оспаривает весьма важных и многих заслуг Миллера в области истории Руси, истории XVI–XVIII вв., истории Сибири, летописания, картографии, археографии, этнографии, лингвистики, археологии, географии, издательской деятельности. Но при этом они не имеют к варяго-русскому вопросу никакого отношения. Как к нему не имеют никакого отношения и выдающиеся труды Ломоносова по химии, физике, астрономии, филологии... Нельзя забывать, что Миллер всю свою долгую творческую жизнь, а это 53 года (за отправную точку берётся июль 1730 г., когда он был назначен профессором истории), занимался исключительно только историей и очень близкими ей сферами, тогда как у Ломоносова не было возможности уделять ей и свой талант, и своё время без остатка.

Ибо параллельно с тем он весьма плодотворно работал в совершенно далёких от неё научных областях — химии, физике, металлургии, лингвистике, астрономии, географии (физической и экономической, последнее название, кстати, было введено именно им) и др., где обессмертил своё имя и прославил Россию, к тому же ещё блестяще проявив себя в поэзии и живописи. И это за время как минимум вдвое меньше, чем судьба отвела на занятия наукой Миллеру: либо 26 лет (если брать во внимание «Физическую диссертацию о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении корпускул», присланную студен-

том Ломоносовым из Марбурга в апреле 1739 г.), либо и того меньше: в июне 1741 г. Ломоносов в статусе студента приступил к работе в Академии наук, адъюнктом стал в январе 1742 г., а профессором был избран единогласно в июле 1745 г. (т. е. в этом качестве проработал неполные 20 лет).

При этом каким-то непонятным образом успевая, если вспомнить изумление математика В.А. Стеклова, не понаслышке знающего, что такое научный труд, «в одно и то же время совершать такую массу самой разнообразной работы», да ещё «с какой глубиной почти пророческого дара» проникая «в сущность каждого вопроса, который возникал в его всеобъемлющем уме». С такой же глубиной своего дара он проникал в самый начальный и самый трудный период истории своего Отечества, в связи с чем, по точной оценке М.О. Коялович, смог «установить свой, русский взгляд на вещи, и он здесь воздвиг себе довольно прочный памятник»²⁵¹. Но этот естественный русский взгляд на историю Руси его потомки заменили, в силу своих западнических настроений, ложным шведским взглядом, дающим ложную картину нашего прошлого, а его родоначальника только и делают, что валяют в грязи. Не гнушаясь при этом дискредитировать его русский взгляд на начальную историю Руси принципиальной подменой понятий, также выставляющей его позицию в варяжском вопросе в ложном свете. По словам М.Б. Некрасовой, произнесённым в 1995 и 2001 гг., русский гений выступил против «“норманской” (варяжской) концепции происхождения древнерусской государственности». В 2010 г. Г.М. Коваленко сказал то же самое: «Саму постановку вопроса о варяжских корнях российской государственности он посчитал не только национальным оскорблением, но и политической ошибкой»²⁵².

Однако историк Ломоносов так вопрос примитивно не ставил и связывал начало государства у восточных славян именно с варяжской русью (варяго-россами), но только не видел в ней норманнов и выводил её не из Скандинавии. Как отметил он в 1749–1750 гг. в замечаниях на «диссертацию» Миллера, варяги и Рюрик «были колена славенского, говорили языком славенским, происходили от древних роксолан и были отнюдь не из Скандинавии, но жили на восточно-южных берегах Варяжского моря, между реками Вислою и Двиною». О том же он вёл речь в 1760 г. в «Кратком Российском летописце», подчёркивая, что «славяне новгородские и чудь выбрали себе государем Рурика, который пришёл с родом своим и с варягами-россами на владение и на поселение», и что «варяги-россы в знатном множестве не токмо пребывание, но и самодержавную власть утвердили, и посему с варягами сими соединённые славяне обще проименовались россами». Наконец, в самом подробном виде изложил свой взгляд на варягов, на их родину и их роль в русской истории в восьмой, девятой и десятой главах «Древней Российской истории» (1766)²⁵³.

Саму варяжскую концепцию с норманской отождествили (а у них это в крови — отождествлять неотожждествляемое) сторонники шведского взгляда на русскую историю, пытаясь уже априори навязать его читателю. Так, А.А. Хлевов варяжский вопрос именует «норманской проблемой»/«норманским вопросом», Л.С. Клейн говорит о «варяжском (норманском) вопросе», о «“норманском вопросе” — о роли варягов в сложении Древнерусского государства», В.В. Мурашёв

ва и Е.Н. Носов — о «норманской»/«варяжской» проблеме, А.А. Горский — о «славяно-варяжской дилемме», о «варяжском, или норманском, вопросе». В 2014 г. Е.А. Мельникова в энциклопедической статье разъясняла, также специально соединяя несоединяемое, что «норманская проблема, варяжский вопрос — определение роли скандинавов в происхождении Древнерусского государства в рамках двух историографических направлений: норманизма (приписывание скандинавам функции создателей Русского государства) и антинорманизма (отрицание участия скандинавов в его образовании)»²⁵⁴. Но отождествление варягов и руси с норманнами отсутствует в источниках, на что указывал Ломоносов, а с ним в данном вопросе затем проявил солидарность Шлёцер, например. Вопреки чему археолог В.Я. Петрухин уверяет, преднамеренно вводя читателя в заблуждение, что летописная традиция возводит «начало Руси к призванию из-за моря варяжских (норманских) князей», что источники указывают на скандинавское происхождение названия русь, что «в летописи, — эхом отзывался другой археолог Л.С. Клейн, — описано призвание варягов-норманнов как начало истории Древнерусского государства»²⁵⁵.

В 1911 г. М.К. Любавский, говоря о Ломоносове, справедливо констатировал неразрывность двух его ипостасей — великого учёного и великого патриота: «Польза Отечества — была второю идеею, которая связывалась у Ломоносова с научными знаниями. Для Ломоносова так же, как и для Петра, наука, знание были орудиями, средствами государственного строительства. С каким бы учёным проектом он ни выступал, он всегда в качестве лейтмотива выдвигал пользу Отечества. И на все свои учёные занятия смотрел не как на удовлетворение своих личных потребностей и стремлений, а именно как на служение Отечеству. ... Он вёл свои учёные занятия при высоком подъёме духа, при сильном напряжении нравственного сознания: он чувствовал всегда и сознавал, что, занимаясь наукою, он служил в каждый данный момент Богу, Отечеству. И этот высокий душевный подъём, кроме таланта, был несомненным условием его научных успехов»²⁵⁶.

А такой высокий душевный подъём должен быть у всех занимающихся наукой. Тогда обязательно будут высокие достижения. Возможно даже, как у Ломоносова, всю свою жизнь положившего на поиск истины во многих науках, включая историю. Поэтому настоящий разговор есть выражение глубочайшего уважения к нему как величайшему сыну России и к его заслугам в изучении её прошлого, а не проявление, по А.А. Хлезову, «культа Ломоносова»²⁵⁷. Потому как эти заслуги, на протяжении уже двух столетий подвергающиеся грубейшему искажению и охаиванию, необходимо защищать. Как необходимо защищать реальные заслуги Байера, Миллера, Шлёцера и других историков вне зависимости и от их взгляда на этническую природу варягов и руси, и от их национальности. Ибо того требует культ Истины и научная порядочность.

Примечания

- ¹ Материалы. Т. 10. С. 74; *Биларский П.С.* Материалы... С. 122.
- ² *Афиани В.Ю., Хартанович М.Ф.* Указ. соч. С. 19.
- ³ Материалы. Т. 9. С. 125–126.
- ⁴ *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 1. С. 425, 543, 547, 573, 578–581; т. 2. С. 648–649, 675–678; т. 3. С. 512–519, 539–541; т. 4. С. 523–524, 729–740; т. 7. С. 791–792, 805–813; т. 9. С. 615–616, 619–635, 933–958; т. 10. С. 284, 314–315, 436–438, 500–505, 553, 572–578, 598, 742–743, 748–752, 799–800, 829, 872–874; *Биларский П.С.* Материалы... С. 68, 77, 96, 248–258; *Михаил Ломоносов...* С. 195–201; *Пекарский П.П.* История... Т. II. С. 378–380, 526–529; *Соловьёв С.М.* История... Кн. XI. С. 548, 563; *Летопись.* С. 44, 60–63, 79–80, 88–90, 92, 108, 110, 113, 116, 137–138, 153, 166, 169–170, 309, 381–382; *Билык В.Я.* Указ. соч. С. 41–69; *Летопись Российской...* С. 355, 361, 366–367; *Павлова Г.Е., Фёдоров А.С.* Указ. соч. С. 383–387; *Фомин В.В.* Ломоносов. С. 232–242.
- ⁵ *Пекарский П.П.* Дополнительные... С. 44, прим. 1; *его же.* История... Т. I. С. 51, прим. 1.
- ⁶ *Уставы Российской...* С. 57; *Материалы.* Т. 9. С. 717–718, 778; т. 10. С. 21, 65, 74, 77–78; *Биларский П.С.* Материалы... С. 130–131; *Пекарский П.П.* История... Т. II. С. 402–403.
- ⁷ *Материалы.* Т. 9. С. 608–609, 717–718; т. 10. С. 34; *Пекарский П.П.* Дополнительные... С. 46.
- ⁸ *Биларский П.С.* Материалы... С. 122–123; *Михаил Ломоносов...* С. 148, 380; *Пекарский П.П.* Дополнительные... С. 43–45; *его же.* История... Т. II. С. 401–402.
- ⁹ *Материалы.* Т. 9. С. 718–719; *Летопись.* С. 139, 142; *Летопись Российской...* С. 359.
- ¹⁰ *Миллер Г.Ф.* История императорской... С. 488, 513, 554–555, 569, 577, 579; *его же.* Описание... С. 155; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. XLI–XLII; БЭ. Т. 2. С. 423; *Алпатов М.А.* Неутомимый... С. 122; *его же.* Русская... (1985). С. 22.
- ¹¹ *Уставы Российской...* С. 54; *Материалы.* Т. 10. С. 65, 74; *Биларский П.С.* Материалы... С. 130; *Пекарский П.П.* Дополнительные... С. 47, 49; *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 8. С. 954–957; т. 10. С. 378; *Летопись.* С. 143–144, 147–148.
- ¹² *Материалы.* Т. 10. С. 65; *Илизаров С.С.* Предисловие. С. 15.
- ¹³ *Материалы.* Т. 8. С. 405.
- ¹⁴ *Шлёцер А.Л.* Опыт... С. 350, прим. 108; *Миллер Г.Ф.* Описание... С. 152; *Миллюков П.Н.* Указ. соч. С. 75; *Фомин В.В.* Ломоносов. С. 276.
- ¹⁵ *Миллер Г.Ф.* Описание... С. 151–152; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 321–332.
- ¹⁶ *Миллер Г.Ф.* История Сибири. С. 158, 453–454; *Материалы.* Т. 8. С. 198–209; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 330; *Бахрушин С.В.* Г.Ф. Миллер... С. 18–20, 27, 35; *Андреев А.И.* Труды... С. 70–79, прим. 4 на с. 67.
- ¹⁷ *Материалы.* Т. 5. С. 622–623, 981, 985.
- ¹⁸ *Миллер Г.Ф.* [Проект... С. 357; *его же.* Описание... С. 152; *Материалы.* Т. 7. С. 297; т. 8. С. 186, 211–213, 302, 331, 361, 384, 404–405, 418–419, 499, 582, 587–590, 594–597, 606–611, 658, 669; т. 9. С. 41–43, 55, 125–126, 150–151; *Биларский П.С.* Материалы... С. 88; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 46, 342–346, 617–618, 622–626, прим. 3 на с. 338; *Бахрушин С.В.* Г.Ф. Миллер... С. 40–41; *Андреев А.И.* Труды... С. 79–84, 117; *Летопись.* С. 110; *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 10. С. 551, 857, прим. 8; *Стецкевич Е.С.* Указ. соч. С. 40.
- ¹⁹ *Материалы.* Т. 7. С. 384–385; т. 9. С. 161, 209–210, 239–240, 242–243, 360, 371, 460, 480, 556, 627, 748–750; т. 10. С. 9–10, 17–23, 29, 40, 52, 759; *Татищев В.Н.* История... Т. VII. С. 437–440; *его же.* Записки. С. 343–344, 346, прим. 1 к № 252 на с. 409; *Миллер Г.Ф.* История Сибири. С. 158–164, 455–460; *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 9. С. 620, 936–937; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 25–26, 53–54, 316–317, 348, 352–354, 363, 680; т. II. С. 381–382; *Соловьёв С.М.* История... Кн. 12. С. 283–287; *Князев Г.А.* Указ. соч. С. 32; *Андреев А.И.* Труды... С. 85–93; *Летопись.* С. 125–126, 128, 130; *Павлова Г.Е., Фёдоров А.С.* Указ. соч. С. 231–233; *Каменский А.Б.* Судьба... С. 386; *Летопись Российской...* С. 360–361; *Фомин В.В.* Ломоносов. С. 441–443; *его же.* Примечания. С. 453–454, 509–516, 553, 858–859.
- ²⁰ *Материалы.* Т. 8. С. 677; т. 10. С. 77; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 692–693; *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 10. С. 750, 838.

- ²¹ Материалы. Т. 9. С. 735; т. 10. С. 57, 745, 751–752; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 695–696, 772.
- ²² Материалы. Т. 9. С. 156, 740–741.
- ²³ Там же. С. 745, 751–752; т. 10. С. 7–8, 17.
- ²⁴ Там же. С. 5.
- ²⁵ Там же. С. 45, 57–58, 69.
- ²⁶ Там же. С. 41, 63, 66; *Андреев А.И.* Труды... С. 83, 113.
- ²⁷ Протоколы заседания... С. 206; Материалы. Т. 10. С. 71, 74–76, 84; *Биярский П.С.* Материалы... С. 129–132, 755–756; *Пекарский П.П.* Дополнительные... С. 46–50; *его же.* История... Т. I. С. 16, 51, 56, 359–360; т. II. С. 401–403; Сочинения М.В. Ломоносова. С. 109, втор. пагин.; *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 8. С. 955; Летопись. С. 139, 142, 149; Летопись Российской... С. 364; *Фомин В.В.* Ломоносов. С. 226–229, 271–277.
- ²⁸ Материалы. Т. 10. С. 83–85, 93–94; Сочинения М.В. Ломоносова. С. 110, втор. пагин.; *Биярский П.С.* Материалы... С. 132, 756; *Пекарский П.П.* Дополнительные... С. 50; *его же.* История... Т. II. С. 144–145, 247.
- ²⁹ *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 6. С. 16–20; *Биярский П.С.* Материалы... С. 756–758, 763; *Штрубе Ф.Г.* Рассуждения... С. I; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 689; т. II. С. 427, прим. 1; *Мошин В.А.* Варяго... С. 21.
- ³⁰ Материалы. Т. 10. С. 94–95; *Пекарский П.П.* Дополнительные... С. 51; Летопись. С. 149.
- ³¹ Протоколы заседания... С. 211; Материалы. Т. 10. С. 103, 110–113; *Биярский П.С.* Материалы... С. 763–765; Сочинения М.В. Ломоносова. С. 110–111, втор. пагин.; *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 8. С. 955–956; Летопись. С. 150.
- ³² *Биярский П.С.* Материалы... С. 765–766; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 360; т. II. С. 432.
- ³³ Материалы. Т. 10. С. 132, 134–135, 237; *Биярский П.С.* Материалы... С. 133, 766–767.
- ³⁴ Протоколы заседания... С. 214; *Пекарский П.П.* Дополнительные... С. 51–52; *его же.* История... Т. I. С. 56–57.
- ³⁵ РГАДА. Ф. Портфели Миллера. № 199. Оп. 1. 48. № 2. Л. 2об.-3, 11об.; *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 6. С. 20–33; *Биярский П.С.* Материалы... С. 134; *Пекарский П.П.* История... Т. II. С. 435; *Фомин В.В.* Примечания. С. 460.
- ³⁶ РГАДА. Ф. Портфели Миллера. № 248. Тетр. 3. Л. 160–162.
- ³⁷ Материалы. Т. 10. С. 148, 151–152, 239; *Биярский П.С.* Материалы... С. 133–134, 137; *Пекарский П.П.* Дополнительные... С. 52–53; *его же.* История... Т. I. С. 57–58.
- ³⁸ РГАДА. Ф. Портфели Миллера. № 248. Тетр. 3. Л. 182–183; Протоколы заседания... С. 214; *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 6. С. 32–33.
- ³⁹ Протоколы заседания... С. 215; *Биярский П.С.* Материалы... С. 138, 767.
- ⁴⁰ Протоколы заседаний... С. 212–213; Материалы. Т. 10. С. 162; Летопись Российской... С. 365, 367.
- ⁴¹ Протоколы заседаний... С. 218; Материалы. Т. 10. С. 243; *Татищев В.Н.* Записки. С. 358–359; *Биярский П.С.* Материалы... С. 139, прим. *; *Кузмин А.Г.* Татищев. С. 330.
- ⁴² РГАДА. Ф. Портфели Миллера. № 248. Тетр. 3. Л. 203–207; *Биярский П.С.* Материалы... С. 767.
- ⁴³ *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 6. С. 33–59; *Пекарский П.П.* История... Т. II. С. 435–440.
- ⁴⁴ Материалы. Т. 10. С. 246–248.
- ⁴⁵ Там же. С. 257.
- ⁴⁶ Там же. С. 354–355, 366, 368, 384, 393–394; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 332.
- ⁴⁷ *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 346; *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 77; *Ломоносов.* С. 105.
- ⁴⁸ *Андреев А.И.* Труды... С. 94–95.
- ⁴⁹ Материалы. Т. 10. С. 438, 442–443, 447, 476–477, 487–488; *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 10. С. 283; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 361–362.
- ⁵⁰ *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 6. С. 59–60.
- ⁵¹ *Биярский П.С.* Материалы... С. 767; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 360.
- ⁵² *Тредиаковский В.К.* Указ. соч. С. 202–203, 222, 224–226, прим. 2 на с. 200; *Пекарский П.П.* История... Т. II. С. 247.

- ⁵³ Материалы. Т. 10. С. 550, 555–556, 563, 567; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 362–363; *Андреев А.И.* Труды... С. 96.
- ⁵⁴ Протоколы заседаний... С. 243; *Билярский П.С.* Материалы... С. 144–145.
- ⁵⁵ См., напр.: *Миллер Г.Ф.* Из истории... С. 511.
- ⁵⁶ *Гуревич М.М., Шафрановский К.И.* Указ. соч. С. 284–285.
- ⁵⁷ Материалы. Т. 10. С. 134, 583; *Билярский П.С.* Материалы... С. 766; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 361, прим. 1.
- ⁵⁸ *Пчелов Е.В.* Рюрик. С. 79.
- ⁵⁹ *Шлёцер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. 14, 49, 61, 215, 303; ч. II. С. 96.
- ⁶⁰ *Mullero G.F.* Op. cit.; *Миллер Г.Ф.* О народах... С. 97; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 405.
- ⁶¹ *Миллер Г.Ф.* Краткое... С. 100–103; *его же.* О народах... С. 84–99; *Müller G.F.* Kurzgefasste... S. 381–392.
- ⁶² Протоколы заседаний... С. 244; Материалы. Т. 5. С. 313–316; т. 8. С. 78–80; т. 10. С. 581–586, 588–589, 610, 614, 620, 636; *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 9. С. 420; т. 10. С. 287, 548, 551, 632–636, 710, 745–746, 856–858; *Пекарский П.П.* Дополнительные... С. 20, 86–88; *его же.* История... Т. I. С. 128–129, 134–142, 326–327, 335–336, 342, 344–345, 349–351, 363–365, 624, 628; т. II. С. 340–348; *Миллюков П.Н.* Указ. соч. С. 92; Сочинения М.В. Ломоносова. С. 142–144, втор. пагин.; *Андреев А.И.* Труды... С. 96; *Фомин В.В.* Ломоносовофобия... С. 306–313.
- ⁶³ *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 10. С. 551; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 365; т. II. С. 424.
- ⁶⁴ *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 6. С. 20, 60.
- ⁶⁵ *Краснобаев Б.И.* Указ. соч. С. 133.
- ⁶⁶ Материалы. Т. 9. С. 429–432, 734, 739–740, 751, 759–761; т. 10. С. 7, 10, 32–33; *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 9. С. 588–589, 913; т. 10. С. 280, 293, 484–485, 488–489, 816, 819; Материалы для истории русской... С. 1, прим. *; *Меншуткин Б.Н.* Михайло... С. 151–152; *его же.* Жизнеописание... С. 226; *Бабкин Д.С.* Биографии... С. 39–40; *Кладо Т.Н.* Указ. соч. С. 91–96.
- ⁶⁷ *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 1. С. 115; т. 9. С. 277, 749–751; т. 10. С. 240, 275, 286, 503, 506–508, 597; 676–677; *Летопись.* С. 232, 235, 251, 262, 345, 351–353, 387; *Павлова Г.Е., Фёдоров А.С.* Указ. соч. С. 83–84.
- ⁶⁸ Материалы. Т. 8. С. 237–239, 360–361, 368, 399–400, 405, 408, 513–514, 517; *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 6. С. 8–10; *Билярский П.С.* Материалы... С. 88–93; *Пекарский П.П.* Дополнительные... С. 22–24; *его же.* История... Т. I. С. 343; т. II. С. 369–371; *Фруменков Г.Г.* Указ. соч. С. 6–7; *Фомин В.В.* Примечания. С. 449–453.
- ⁶⁹ *Каменский А.Б.* Ломоносов... С. 41.
- ⁷⁰ *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 1. С. 115; т. 10. С. 548, 553–554.
- ⁷¹ См. об этом подробнее: *Перевезенцев С.В.* Русская... С. 33–35, 44–45; *его же.* Тайны... С. 36–40; *его же.* Смысл... С. 25–28.
- ⁷² *Тихомиров М.Н.* Исторические... С. 69.
- ⁷³ *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 10. С. 45, 279, 300, 726; *Общественная...* С. 26.
- ⁷⁴ *Соловьёв С.М.* Герард... С. 55–56, 65; *Фомин В.В.* Примечания. С. 522–527.
- ⁷⁵ *Мошин В.А.* Варяго... С. 21, 23.
- ⁷⁶ *Шлёцер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. 52–53; *Греков Б.Д.* Ломоносов... С. 20.
- ⁷⁷ Дополнения А.А. Куника. С. 640, прим. 5.
- ⁷⁸ *Татищев В.Н.* История... Т. I. С. 292–307; *Байер Г.З.* Сочинение... С. 1–56.
- ⁷⁹ *Штрубе Ф.Г.* Слово... С. 3–6, 11–17, 26; *его же.* Рассуждения... С. 120–125; *Пекарский П.П.* История... Т. I. С. 685, 689; *Мошин В.А.* Варяго... С. 23–24.
- ⁸⁰ *Нильсен Й.П.* Указ. соч. С. 7, 14–15.
- ⁸¹ *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 3. С. 577–579; т. 10. С. 542–543, 579–580, 850; *Летопись.* С. 336, 359.
- ⁸² *Савельев-Ростиславич Н.В.* Указ. соч. С. 51–52; *Славянский сборник...* С. LIX–LX.
- ⁸³ *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 6. С. 31; т. 10. С. 287–288.
- ⁸⁴ *Пештич С.Л.* Русская... Ч. I. С. 196.
- ⁸⁵ *Марлинский А.* Указ. соч. С. 194–195; *Грот Я.К.* Очерк... С. 37–38; *Лавровский П.А.* О трудах... С. 23–25, 27, 34, 37, 39–45, 49–56; *Соловьёв С.М.* История... Кн. 12. С. 282–283; *Меншуткин Б.Н.* Михайло... С. 88; *Ломоносов М.В.* ПСС. Т. 7. С. 858–861.

- ⁸⁶ Белинский В.Г. Портретная... С. 613, 717, прим. 6133; *его же*. Взгляд... С. 8–9.
- ⁸⁷ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 4. С. 363–376, 769–774; Пекарский П.П. История... Т. II. С. 748–750; Стеклов В.А. Указ. соч. С. 169–170; Куликовский П.Г. Указ. соч. С. 42–48; Шаронов В.В. Указ. соч. С. 7–40.
- ⁸⁸ Миллер Г.Ф. История императорской... С. 644; Общественная... С. 1–2, 303; Головачёв Г.Ф. Указ. соч. С. 40–41; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 181–187, 309–310, 317–318; Соловьёв С.М. История... Кн. XIII. С. 546; Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии... С. 150–153, 158; Миллюков П.Н. Указ. соч. С. 89; Иконников В.С. Август... С. 2–5; Джаксон Т.Н. Шлёцер... С. 62.
- ⁸⁹ Аплатов М.А. Русская... (1985). С. 61; Некрасова М.Б. Михаил... (1995). С. 23; *то же* (2001). С. 21.
- ⁹⁰ Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии... С. 158, 166–168; Миллюков П.Н. Указ. соч. С. 71–72, 82–86, Иконников В.С. Август... С. 51.
- ⁹¹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 9. С. 826–828; August Ludwig... S. 46; Общественная... С. 3, 9, 31, 76–80, 84–85, 104, 169, 176, 180, 288–290; Соловьёв С.М. Август... Стб. 1561–1564; *его же*. История... Кн. XIII. С. 552; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 374–375.
- ⁹² Общественная... С. 169; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 3–4, 38.
- ⁹³ Билярский П.С. Материалы... С. 733–736.
- ⁹⁴ Мавродин В.В., Пешич С.Л., Якубский В.А. Указ. соч. С. 225.
- ⁹⁵ Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. XXXVII; Соловьёв С.М. Август... Стб. 1571.
- ⁹⁶ Ламанский В.И. Михаил... С. 269, 275–279; Моисеева Г.Н. Ломоносов... (1971). С. 60–61, 107, 223.
- ⁹⁷ Грот Я.К. Очерк... С. 38.
- ⁹⁸ Материалы для истории русской... С. 3; Бабкин Д.С. Биографии... С. 17–19, 53, 58; Моисеева Г.Н. М.В. Ломоносов на Украине. С. 90; *её же*. Ломоносов... (1971). С. 74–76; Пешич С.Л. Русская... Ч. II. С. 168–169; Павлова Г.Е., Фёдоров А.С. Указ. соч. С. 51–52, 58–59.
- ⁹⁹ Билярский П.С. Материалы... С. 738; Моисеева Г.Н. Ломоносов... (1971). С. 121.
- ¹⁰⁰ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 7. С. 782; Бабкин Д.С. Биографии... С. 58; Летопись. С. 30–31; Павлова Г.Е., Фёдоров А.С. Указ. соч. С. 61–72.
- ¹⁰¹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 275; Куник А.А. Сборник... Ч. II. С. 271–272, 280, 305; Летопись. С. 39–40.
- ¹⁰² Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 570–572, 705; Куник А.А. Сборник... Ч. II. С. 301–302; Летопись. С. 46; Перевезенцев С.В. Учитель... С. 33–46; Цыганков Д.А. Указ. соч. С. 20.
- ¹⁰³ Куник А.А. Сборник... Ч. II. С. 247; Илизаров С.С. М.В. Ломоносов... С. 88–89.
- ¹⁰⁴ Соловьёв С.М. История... Кн. XI. С. 547–548; Моисеева Г.Н. Ломоносов... (1971). С. 12–14, 16, 72–105, 150, 232.
- ¹⁰⁵ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 9. С. 399; Стеклов В.А. Указ. соч. С. 80, 88–89, 133, 171–172, 185.
- ¹⁰⁶ Татищев В.Н. Записки. С. 322–323.
- ¹⁰⁷ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 5. С. 384; т. 7. С. 145, 157, 180–181, 184, 211, 267, 275, 347, 360, 368–369.
- ¹⁰⁸ Летопись. С. 98; Моисеева Г.Н. Ломоносов... (1971). С. 18, 21, 84, 89, 99, 122–125, 134–135.
- ¹⁰⁹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 8. С. 254; т. 10. С. 535, 846.
- ¹¹⁰ *То же*. Т. 6. С. 12–13; т. 10. С. 461–462; Летопись. С. 138–139; Вдовина Л.Н. Указ. соч. С. 142–146, 149–150.
- ¹¹¹ Свердлов М.Б. М.В. Ломоносов... С. 546.
- ¹¹² Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 433; Куник А.А. Сборник... Ч. I. С. XXV–XXVI, XXX; Павлова Г.Е., Фёдоров А.С. Указ. соч. С. 96–98.
- ¹¹³ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 8. С. 39; Моисеева Г.Н. Древнерусская... С. 201.
- ¹¹⁴ Моисеева Г.Н. Ломоносов... (1962). С. 184, 187–189; *её же*. М.В. Ломоносов на Украине. С. 90; *её же*. Ломоносов... (1971). С. 74–76, 84, 90–91, 99, 114; *её же*. Древнерусская... С. 53, 55; Клосс Б.М. Никоновский... С. 271; Свердлов М.Б. М.В. Ломоносов... С. 604–655.
- ¹¹⁵ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 40–41.
- ¹¹⁶ Соловьёв С.М. Герард... С. 43.

- ¹¹⁷ Записки капитана... С. 20–21; Шлёцер А.Л. Опыт... С. 291; Соловьёв С.М. Писатели... Стб. 1359.
- ¹¹⁸ Татищев В.Н. История... Т. I. С. 186, 189, 208, 221, 299, прим. 8 на с. 202, прим. 17 на с. 203, прим. 3 на с. 225, прим. 8 и 9 на с. 226, прим. 61 на с. 231, прим. 73 на с. 232; Кузьмин А.Г. Начало... С. 31.
- ¹¹⁹ [Шлёцер А.Л.] Предисловие. С. 24; Шлёцер А.Л. Опыт... С. 350, прим. 110; *его же*. Нестор. Ч. I. С. 57, 192–193.
- ¹²⁰ Карамзин Н.М. История... Т. I. Прим. 513; Венелин Ю.И. Скандинавомания... С. 33.
- ¹²¹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 24.
- ¹²² Шлёцер А.Л. Опыт... С. 291–292, 308, прим. 36 на с. 353; *его же*. Изображение. С. 13; *его же*. Нестор. Ч. I. С. ла, 321–324; *его же*. Представление... С. 58, 60, 64–65, 84; Карамзин Н.М. История... Т. I. Прим. 73.
- ¹²³ См. об этом: Толочко П.П. Спорные... С. 100, 109.
- ¹²⁴ Тойнби А.Дж. Указ. соч. С. 371.
- ¹²⁵ Bayer G.S. De Varagis. P. 281; Байер Г.З. О варягах. С. 347; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. XXVIII, 258, 315; ч. II. С. 86, 107, 109–110, 114.
- ¹²⁶ Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 418–419; Черепнин Л.В. А.Л. Шлецер... (1966). С. 212; Кузьмин А.Г. Начало... С. 38.
- ¹²⁷ Карамзин Н.М. История... Т. I. С. 55, 60, 93; Соловьёв С.М. История... Кн. 1. С. 8–9, 91, 101, прим. 162 к т. 1; кн. 7. С. 10; Волконский С. Указ. соч. С. 13.
- ¹²⁸ [Манкиев А.И.] Указ. соч. С. 1–25; Татищев В.Н. История... Т. I; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 99–130, 131.
- ¹²⁹ Ключевский В.О. Лекции... С. 449, 451–452.
- ¹³⁰ Общественная... С. 30, 48; Миллюков П.Н. Указ. соч. С. 75–78, 81–82; Бахрушин С.В. Г.Ф. Миллер... С. 27–28, 50; Пештич С.Л. Русская... Ч. II. С. 213–214; Шапиро А.Л. Историография... по XVIII век. С. 155; *его же*. Историография... до 1917 года. С. 191; Шанский Д.Н. Запальчивая... С. 29.
- ¹³¹ Материалы. Т. 6. С. 63–64; Миллер Г.Ф. История императорской... С. 526, 558–559, 573; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 310–312; Миллюков П.Н. Указ. соч. С. 74; Бахрушин С.В. Г.Ф. Миллер... С. 26; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 826; Джаксон Т.Н. Герард... (2001). С. 15; Копанева Н.П. Указ. соч. С. 13–15; Басаргина Е.Ю. Указ. соч. С. 56–57.
- ¹³² Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 44, 189, 267–268, 271, 595–598, 700–701, 884–885; Миллер Г.Ф. История императорской... С. 617–619, 644; Соловьёв С.М. Август... Стб. 1554–1555; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 312, 315–318, 338; Миллюков П.Н. Указ. соч. С. 74, 92–93; Бахрушин С.В. Г.Ф. Миллер... С. 26–27; Ермолаева М.А. Указ. соч. С. 137.
- ¹³³ Миллюков П.Н. Указ. соч. С. 75.
- ¹³⁴ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 287, 538; Миллер Г.Ф. История Сибири. С. 201, прим. 10; *его же*. История императорской... С. 568; *его же*. Описание... С. 153; Материалы. Т. 8. С. 80; т. 9. С. 58; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 351–352; Бахрушин С.В. Г.Ф. Миллер... С. 26, 63; Пештич С.Л. Русская... Ч. II. С. 171.
- ¹³⁵ Müller G.F. Nachricht... S. 1; Auszug russischer Geschichte nach... Stud. I. S. 9–33; Stud. II. S. 93–113; Stud. III. S. 171–195; Stud. IV. S. 349–358; Stud. V. S. 359–406; Stud. VI. S. 455–494; Bayer G.S. De Varagis. P. 303 (305); Байер Г.З. О варягах. С. 358, 365.
- ¹³⁶ Татищев В.Н. История... Т. I. С. 309, прим. 30.
- ¹³⁷ Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 373; *его же*. Разговор... С. 84; *его же*. О первом... С. 7–8; *его же*. История императорской... С. 553, 645; Müller G.F. Versuch... S. 6–7; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 319.
- ¹³⁸ Татищев В.Н. История... Т. I. С. 308, прим. 15; Моисеева Г.Н. Из истории... С. 130, 132–133; *её же*. Ломоносов... (1971). С. 166, прим. 88.
- ¹³⁹ Миллер Г.Ф. Разговор... С. 84; [Шлёцер А.Л.] Житие... С. V; *его же*. Опыт... С. 260, 304–307; *его же*. Нестор. Ч. I. С. ркд, рма; Общественная... С. 48; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 319.
- ¹⁴⁰ Моисеева Г.Н. Ломоносов... (1971). С. 126, 151, 166; Фомин В.В. Примечания. С. 484, прим. 32.

- ¹⁴¹ Татищев В.Н. История... Т. I. С. 119, 121–122; Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 373; Пештич С.Л. Русская... Ч. II. С. 214.
- ¹⁴² Миллер Г.Ф. Краткое... С. 124; Пештич С.Л. Русская... Ч. II. С. 221–222.
- ¹⁴³ Müller G.F. Versuch... S. 7; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 391–392.
- ¹⁴⁴ Соловьёв С.М. Писатели... Стб. 1349.
- ¹⁴⁵ Сазонов Н. Указ. соч. № 1. С. 136; Старчевский А.В. Указ. соч. С. 262.
- ¹⁴⁶ Миллюков П.Н. Указ. соч. С. 75, прим. *.
- ¹⁴⁷ Миллер Г.Ф. Описание... С. 153; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 352.
- ¹⁴⁸ Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 377; Славяне и Русь. С. 237; Кузьмин А.Г. Начало... С. 33.
- ¹⁴⁹ Юркин И. Указ. соч. С. 85.
- ¹⁵⁰ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 1. С. 115; т. 4. С. 163.
- ¹⁵¹ То же. Т. 10. С. 475.
- ¹⁵² Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 373–376, 383, 391–396; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 16–17, 60.
- ¹⁵³ Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 368, 376–392; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 100–101; Славяне и Русь. С. 228, 415.
- ¹⁵⁴ РГАДА. Ф. Портфели Миллера. № 199. Оп. 1. 48. № 2. Л. 30 об., 34 об., 35, 56 об.-57.
- ¹⁵⁵ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 16–18, 31, 57; Славяне и Русь. С. 413, прим. 52.
- ¹⁵⁶ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 101, 115–116, 121, 124, 129, 158, 367.
- ¹⁵⁷ Дробинский А.И. Указ. соч. С. 106–107.
- ¹⁵⁸ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 54–55; Миллер Г.Ф. Краткое... С. 101; Сазонов Н. Указ. соч. № 1. С. 144.
- ¹⁵⁹ РГАДА. Портфели Миллера. Ф. 199. Оп. 1. 48. № 2. Л. 42–42 об., 48 об.
- ¹⁶⁰ Маловичко С.И. Указ. соч. С. 285–286; Соколов С.В. Концепция... (2015). С. 134.
- ¹⁶¹ [Шлёцер А.Л.] Житие... С. I–IV, X; *его же*. Опыт... С. 255–259, 264–265, 271, 277, 299, 311–312, прим. 31 на с. 341; *его же*. Нестор. Ч. I. С. 4–7, иі-кв, лв-лг, лз, мд-ни, ча-чв, риі-роі, ркд-рлв, 17–21, 49, 52–55, 62, 65, 84, 107, 149, 184, 273, 276–285, 394–395, 399, 420, 425–426, прим. * на с. 426; ч. II. С. 22–31, 257–258, 422; ч. III. С. 222–223.
- ¹⁶² Елагин И.П. Указ. соч. С. 34–36, 64, 87, прим. * на с. 35 и на с. 69; Мошин В.А. Начало... С. 45.
- ¹⁶³ Карамзин Н.М. История... Т. I. С. 51, 55–56, прим. 78, 96, 106, 485; Шафарик П.И. Указ. соч. Т. II. Кн. 1. С. 106, 108; Васильевский В.Г. Варяго... С. 223; Джаксон Т.Н. К методике... С. 128, 138, 140, 142; *её же*. Древняя... С. 13–14.
- ¹⁶⁴ Миллер Г.Ф. Разговор. С. 84; *его же*. О первом... С. 5; *его же*. Опыт... С. 159; *его же*. О народах... С. 89; Müller G.F. Versuch... S. 6.
- ¹⁶⁵ Татищев В.Н. История... Т. I. С. 81, 83, 130–131; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 16; Миллер Г.Ф. Разговор... С. 83; *его же*. Предложение... С. 15–18; *его же*. Опыт... С. 159; Müller G.F. Versuch... S. 5; Общественная... С. 49, 55; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. рмд.
- ¹⁶⁶ [Шлёцер А.Л.] Предисловие. С. 5–6; *его же*. Нестор. Ч. I. С. рли.
- ¹⁶⁷ Байер Г.З. О варягах. С. 350–351; 363; Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 392–393.
- ¹⁶⁸ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 19, 31–32, 58–59; Фомин В.В. Ломоносов. С. 278.
- ¹⁶⁹ Bayer G.S. De Varagis. P. 294; Байер Г.З. О варягах. С. 353; Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 383, 395.
- ¹⁷⁰ Джаксон Т.Н. Древнерусские... С. 70; *её же*. AUSTR... С. 84.
- ¹⁷¹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 32; Миллер Г.Ф. Краткое... С. 101; Пекарский П.П. История... Т. II. С. 434.
- ¹⁷² Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 397; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 18–19; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 338; Карамзин Н.М. История... Т. I. Прим. 278; Бутков П.Г. Оборона... С. 61–62.
- ¹⁷³ Джаксон Т.Н., Рождественская Т.В. Несколько... С. 24–27; *их же*. К вопросу... С. 223–229; Шрамм Г. Указ. соч. С. 145–150; Шаскольский И.П. Русско... С. 156; Васильев В.Л. Архаическая... С. 19.
- ¹⁷⁴ Рыдзевская Е.А. К варяжскому... № 7. С. 504; *её же*. Древняя... С. 136; Тихомиров М.Н. Исторические... С. 70; Роспонд С. Структура и стратиграфия... С. 21, 62.

- ¹⁷⁵ Артамонов М.И. Первые... С. 284; Попов А.И. Следы... С. 31; Мачинский Д.А. Этносоциальные... С. 20–22; *его же*. О роли... С. 112, 117–118; *его же*. Некоторые... С. 505; *его же*. Второе... С. 156.
- ¹⁷⁶ Джаксон Т.Н., Рождественская Т.В. К вопросу... С. 225.
- ¹⁷⁷ Белецкий С.В. Происхождение... С. 10–13; *его же*. Изборск... С. 112–114; *его же*. Возникновение... С. 142–146, 149.
- ¹⁷⁸ См. об этом: Фомин В.В. Голый... С. 78–81.
- ¹⁷⁹ Седов В.В. Восточные... С. 56–57; *его же*. Племена... С. 176; *его же*. Топоним... С. 24–26; *его же*. Роль... С. 106; *его же*. Конфедерация... С. 246; *его же*. Международные... С. 354, 359; *его же*. Изборск... С. 4, 91–92; *его же*. Становление... С. 45; *его же*. Первые... С. 25–30; *его же*. Изборск. С. 324; Манаков А.Г. Указ. соч. С. 118.
- ¹⁸⁰ Плоткин К.М. Об Изборске... С. 27–28; *его же*. К вопросу... С. 115; Шаскольский И.П. Русско... С. 156.
- ¹⁸¹ Bayer G.S. De Varagis. P. 294; Байер Г.З. О варягах. С. 353; Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 396.
- ¹⁸² Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 18, 29, 32, 60.
- ¹⁸³ РГАДА. Ф. Портфели Миллера. № 199. Оп. 1. 48. № 2. Л. 45, 46.
- ¹⁸⁴ Шлёцер А.Л. Опыт... С. 280–281; Сенковский О.И. О происхождении... С. 152; Погодин М.П. Г. Гедеонов... С. 179; Бестужев-Рюмин К.Н. Русская... С. 93.
- ¹⁸⁵ Назаренко А.В. Об имени... С. 46, 50, 54–57; *его же*. Имя... С. 88, 93, 96, 104–106; *его же*. Докиевский... С. 241; *его же*. Происхождение... С. 127–128; *его же*. Немецкие... Комментар. 48 на с. 41, комментарий. 38 на с. 83, комментарий. 39 на с. 88; *его же*. Goehrke С. С. 177; *его же*. О языке... С. 77–79; *его же*. Древняя Русь на международных... С. 32–33, 49; *его же*. Русь IX века. С. 34–35; Nazarenko А. Op. cit. Sp. 1112–1113; ДРЗИ. 1999. С. 297–302; ДРЗИ. 2013. С. 287–294; ДРЗИ. Т. IV. Комментар. 18 на с. 29, комментарий. 12 и 13 на с. 33, комментарий. 18 на с. 34.
- ¹⁸⁶ Шаскольский И.П. Русско... С. 158–159; Назаренко А.В. Goehrke С. С. 177; Schramm G. Op. cit. S. 98–104, 107.
- ¹⁸⁷ Трубачёв О.Н. В поисках... С. 162–165; Максимович К.А. Указ. соч. С. 14–56; Фомин В.В. К вопросу... С. 198–214.
- ¹⁸⁸ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 26; РГАДА. Портфели Миллера. Ф. 199. Оп. 1. 48. № 2. Л. 26–26 об., 35 об.; Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 395–396; Пешищ С.Л. Русская... Ч. II. С. 228.
- ¹⁸⁹ Погодин М.П. О происхождении... С. 110, 118; *его же*. Исследования... Т. 2. С. 142–143, 149; Томсен В. Указ. соч. С. 80, 82; Славяне и Русь. С. 469.
- ¹⁹⁰ РГАДА. Ф. Портфели Миллера. № 199. Оп. 1. 48. № 2. Л. 35 об.; Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 377, *его же*. О народах... С. 85–87, 90; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 26, 28–29, 50, 121, 185; Соловьёв С.М. История... Кн. 1. С. 87, 198–199, 250, прим. 142, 147, 148 к т. 1.
- ¹⁹¹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 26, 121–122, 185.
- ¹⁹² Миллер Г.Ф. Краткое... С. 101; *он же*. О народах... С. 85, 87, 92; Шлёцер А.Л. Опыт... С. 279–281; *его же*. Нестор. Ч. I. С. 316–317, 330, 421; Фатер И.С. Указ. соч. № 5. С. 45; Погодин М.П. О происхождении... С. 110–115; *его же*. Исследования... Т. 2. С. 142–146; Крузе Ф. Происходят... С. 45.
- ¹⁹³ Янин В.Л. О начале... С. 209.
- ¹⁹⁴ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 57, 130; Ewers J.P.G. Vom Ursprunge... S. 179–184; Эверс Г. Указ. соч. С. 148–151.
- ¹⁹⁵ Джонс Г. Указ. соч. С. 228–231; Викинг. С. 60–63; Ласкавый Г.В. Указ. соч. С. 69, 75, 78, 87–94; Буайе Р. Указ. соч. С. 186–187; Мельникова Е.А. Укрощение... С. 22–23, 25–26; Бодуан П. Указ. соч. С. 232–233; Хейвуд Д. Указ. соч. С. 135–137.
- ¹⁹⁶ Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 372; Ewers J.P.G. Vom Ursprunge... S. 183; Эверс Г. Указ. соч. С. 151; Савельев-Ростиславич Н.В. Указ. соч. С. 14, 20–22; Славянский сборник... С. XVIII, XXIV; Щеглов Д. Первые... С. 223.
- ¹⁹⁷ Дополнения А.А. Куника. С. 399; Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 238.
- ¹⁹⁸ Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 376, 392; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 27–28, 44–45; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 357, прим. * на с. 343; ч. II. С. 171–172; ч. III. С. 475–476.

- ¹⁹⁹ Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 378; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 25–26, 28.
- ²⁰⁰ Татищев В.Н. История... Т. I. С. 184–208, прим. 35 на с. 205; Пештитч С.Л. Русская... Ч. II. С. 223.
- ²⁰¹ Миллер Г.Ф. О народах... С. 95; Thunmann J. Op. cit. S. 371–372, 386–390; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 382, прим. * на с. 330.
- ²⁰² Ewers J.P.G. Vom Ursprunge... S. 162; Эверс Г. Указ. соч. С. 133, 138–139.
- ²⁰³ Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 378; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 17, 24–25, 41, 225; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. III. С. 475; Карамзин Н.М. История... Т. I. Прим. 71; Ключевский В.О. Лекции... С. 398; Славяне и Русь. С. 414, прим. 63.
- ²⁰⁴ Иордан. Указ. соч. С. 72; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 25, 41; т. 7. С. 159, прим. 6; Эверс Г. Указ. соч. С. 70–71.
- ²⁰⁵ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 18, 22, 26–29, 32, 42, 49, 122–130, 185–186; Фомин В.В. Примечания. Прим. 9 на с. 472, прим. 22 на с. 476.
- ²⁰⁶ Байер Г.З. О варягах. С. 344–346, 354; Фомин В.В. Примечания. С. 453, прим. 7.
- ²⁰⁷ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 701.
- ²⁰⁸ Миллер Г.Ф. Краткое... С. 101–102; *его же*. О народах... С. 63–64, 92–93, 95–98.
- ²⁰⁹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 24, 34, 49; Фомин В.В. Примечания. С. 531, 533.
- ²¹⁰ Карамзин Н.М. История... Т. I. С. 58, прим. 111; Боричевский И.П. Указ. соч. С. 174–182; Погодин М.П. Борьба... С. 297–298, 384, 389–390.
- ²¹¹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 27, 123–124.
- ²¹² Гельмольд. Указ. соч. I, 52, 83; Лебедев И.А. Последняя... С. 45, 154; Первольф И.И. Германизация... С. 12, 64; Любавский-М.К. История... С. 50; Кузьмин А.Г. «Варяги»... С. 53; *его же*. Начало... С. 309, 338–339; Откуда есть... Кн. 2. С. 689–690.
- ²¹³ Кузьмин А.Г. Начало... С. 211, 213, 309, 318, 338–339, 347.
- ²¹⁴ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 23, 28–29, 124; Славяне и Русь. С. 468, прим. 79 на с. 415.
- ²¹⁵ Саксон Грамматик. Указ. соч. Т. 1. 2.1.6–7; 5.7.1; 6.1.1; 6.2.1; 6.5.9; 6.5.14; 7.9.7; 7.9.17; 9.4.32; Генрих Латвийский. Указ. соч. С. 71–72, 130, 132, 153, 157–158, 165–166, 173, 176, 183–184, 198, 202, 205, 209, 238.
- ²¹⁶ История Эстонской ССР... С. 58.
- ²¹⁷ РГАДА. Ф. Портфели Миллера. № 199. Оп. 1. 48. № 2. Л. 25 об.-26 об., 38 об.; Миллер Г.Ф. О происхождении... С. 371, 395; *он же*. Краткое... С. 101; *он же*. О народах... С. 87–89.
- ²¹⁸ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 31–33, 40, 50, 58, 60; т. 9. С. 421; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. рме; Классен Е.И. Указ. соч. С. 9.
- ²¹⁹ Соловьёв С.М. История... Кн. 12. С. 8–9.
- ²²⁰ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 8. С. 239–246; Пекарский П.П. История... Т. II. С. 406.
- ²²¹ Пекарский П.П. Дополнительные... С. 53; *его же*. История... Т. II. С. 408.
- ²²² Ломоносов М.В. ПСС. Т. 8. С. 239, 243–244, 246–248, прим. 34 на с. 959.
- ²²³ Соловьёв С.М. История... Кн. XI. С. 470–498, 510–525; кн. 12. С. 53–58; Очерки истории СССР. Россия во второй четверти XVIII в. С. 408–422.
- ²²⁴ Там же. С. 418, 422.
- ²²⁵ Вольтер. Указ. соч. С. 23–24; Свердлов М.Б. М.В. Ломоносов... С. 590–595.
- ²²⁶ Коялович М.О. Указ. соч. С. 455.
- ²²⁷ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 32–33; Билярский П.С. Материалы... С. 764.
- ²²⁸ Миллер Г.Ф. О народах... С. 97; Кузьмин А.Г. Татищев. С. 329.
- ²²⁹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 12; т. 10. С. 474–475.
- ²³⁰ Лавровский П.А. О трудах... С. 52–53.
- ²³¹ Джаксон Т.Н. Варяги... С. 82.
- ²³² Ченакал В.Л. Указ. соч. С. 442.
- ²³³ Свердлов М.Б. М.В. Ломоносов... С. 809.
- ²³⁴ Лавровский П.А. О трудах... С. 50–53; Шамрай Д.Д. Указ. соч. С. 282–284; Пештитч С.Л. Русская... Ч. II. С. 187; Фомин В.В. «Краткий... С. 14–23.
- ²³⁵ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 503.

- ²³⁶ Моисеева Г.Н. Ломоносов... (1971). С. 145; Фомин В.В. Примечания. С. 528–540; *его же*. М.В. Ломоносов... (2012). С. 181–188.
- ²³⁷ Тихомиров М.Н. Русская... С. 98; Свердлов М.Б. М.В. Ломоносов... С. 832.
- ²³⁸ Материалы. Т. 8. С. 596, 607–608, 611, 669; т. 9. С. 42; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 345–346, 394–395; Милюков П.Н. Указ. соч. С. 47, 77–79; Андреев А.И. Труды... С. 104, 121.
- ²³⁹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 9. С. 408–409; Шлёцер А.Л. Опыт... С. 284–285; Бабкин Д.С. Нераскрытая... С. 174, 178, 180; Моисеева Г.Н. Ломоносов... (1971). С. 205.
- ²⁴⁰ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 96–120, 131, 169.
- ²⁴¹ Ключевский В.О. Памяти И.Н. Болтина. С. 171.
- ²⁴² Лавровский П.А. О трудах... С. 52.
- ²⁴³ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 66–92, 224–226; т. 10. С. 316; Пештич С.Л. Русская... Ч. II. С. 195, 198; Горелова С.И. Указ. соч. С. 345; Фомин В.В. Примечания. С. 517–527; *его же*. М.В. Ломоносов... (2012). С. 189–196.
- ²⁴⁴ Новиков Н.И. Указ. соч. С. 141; Сазонов Н. Указ. соч. № 1. С. 139–140; Савельев-Ростиславич Н.В. Предисловие. С. 4.
- ²⁴⁵ Миллер Г.Ф. Описание... С. 157.
- ²⁴⁶ Пекарский П.П. История... Т. I. С. 400.
- ²⁴⁷ Милюков П.Н. Указ. соч. С. 92.
- ²⁴⁸ Погодин М.П. О трудах... С. 169–170.
- ²⁴⁹ Пекарский П.П. История... Т. I. С. 381.
- ²⁵⁰ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 10. С. 551; Пекарский П.П. История... Т. I. С. 25–26, 321, 336–338.
- ²⁵¹ Коялович М.О. Указ. соч. С. 151; Стеклов В.А. Указ. соч. С. 171–172.
- ²⁵² Некрасова М.Б. Михаил... (1995). С. 22; *то же* (2001). С. 20; Коваленко Г.М. Русские... С. 14.
- ²⁵³ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 18, 21–29, 35–38, 41, 49, 122–130, 185–186.
- ²⁵⁴ Хлевов А.А. Норманская... (1997). С. 3, 17, 68; Клейн Л.С. Спор... С. 8; *его же*. Трудно... С. 214; Горский А.А. Начало... С. 15–17; *его же*. В дыму... С. 173; Мурашёва В.В. «Путь... С. 174; Носов Е.Н. Послесловие. С. 351; Мельникова Е.А. Норманская... С. 560.
- ²⁵⁵ Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Указ. соч. С. 237, 257; Петрухин В.Я. Древняя Русь. С. 84–85; Клейн Л.С. Трудно... С. 136.
- ²⁵⁶ Любавский М.К. XVIII век... С. 21–22.
- ²⁵⁷ Хлевов А.А. Об основных... С. 37.

Глава 4

РАЗРАБОТКА ВАРЯГО- РУССКОГО ВОПРОСА В 1802–1940-Х ГОДАХ

4.1 Торжество ультранорманизма А.Л. Шлёцера в науке и общественном сознании России в первой половине XIX века

Дискуссия по «диссертации» Г.Ф. Миллера, в которой М.В. Ломоносов сыграл важную, но не исключительную роль, почти на 60 лет избавила нашу науку и наше общество от норманистских заблуждений. Ситуация в корне изменилась в начале XIX в., когда в Пруссии (1802–1809), а затем в России (1809–1819) вышел «Нестор» А.Л. Шлёцера, где он, обновив мнения предшественников, придал им, с присущими ему яркостью, критическим талантом и хлёстко-хвастливым слогом (беспощадно жалящим противников) убеждать даже в случаях отсутствия аргументов, завершённый вид, положив, тем самым, начало четвёртому этапу развития норманской теории. Преимущественно его глазами теперь стали смотреть на этническую принадлежность варягов и руси учёные всего мира, а посредством их — и образованные люди всей планеты. И прежде всего нашего Отечества, где суждения иностранцев в отношении родной истории не только всегда пользовались особым расположением, но зачастую возносились, в силу непомерных западнических настроений, до невероятных высот.

До такой же невероятной высоты была вознесена шведоцентристская трактовка Шлёцером начала Руси (а её он начал утверждать давно, подчёркивая, например, в 1772 г., что Русское государство «произошло в Новгороде 862 года через норманнов, усилилось покорением другого норманского царства в Киеве 882 года»). И чтобы ни у кого не возникало соблазна ей возразить, историк увенчал её «аргументом», гипнотически воздействовавшим особенно на русских историков (да и для них, собственно, предназначавшийся), что «*ни один учёный историк в этом не сомневается*» (так Шлёцер повторил «аргумент» шведа Ю. Тунмана 1774 г., что в основании Русского государства скандинавами «никто не сомневается», являющийся перефразировкой слов другого шведа, О. Далина в 1746 г., что варяги «из Скандинавских мест пришли, сие никакого

не требует доказательства»). И, действительно, мало кто из русских специалистов, стремясь, если использовать выражение И.А. Забелина, «носить мундир исследователя европейски-учёного», смел теперь сомневаться «в этом».

Иначе незамедлительно был бы поставлен вне науки, жёстко подмятой норманизмом, как это сделал Шлёцер с теми их соотечественниками, которые решали варяжский вопрос в силу своей научной свободы и объективности не в норманистском духе: «Но как между всеми русскими, писавшими до сих пор русскую историю, *нет ни одного учёного историка* (курсив мой. — В.Ф.), то не удивительно, что все Тат., Лом., Щерб... всё ещё выдают варягов за славян, пруссов или финнов, что, однако же, 60 лет тому назад Байер так опроверг, что никто, могущий понять учёное историческое доказательство, не будет более в том сомневаться»¹. Потому-то русские исследователи и стали яркими апологетами «учёного исторического доказательства» западноевропейских норманистов, отринув русский взгляд на историю Руси Татищева и Ломоносова (как резко выговаривал в 1825 г. Н.М. Карамзин М.П. Погодину за издание «Предварительных критических исследований» Г. Эверса, «если есть какая-нибудь истина, то это та, что Рюрик, Синеус, Трувор были норманны: это для меня так же ясно, как то, что Сципион был римлянин»²).

Причём отринули почти не раздумывая, ибо, во-первых, были западниками («Как с ранних пор, — свидетельствовал в начале 1820-х гг. А.С. Грибоедов, — привыкли верить мы, что нам без немцев нет спасенья!»). Во-вторых, раболепно преклонялись перед западноевропейской исторической наукой, прежде всего германской, и потому очень старались соответствовать в глазах западноевропейских норманистов статусу «учёного историка». В связи с чем добровольно сами себя записали в вечные ученики науки западной, видя свою задачу лишь в повторении и развитии её азов (часто — самых нелепых) об истории своей Родины (а такой комплекс неполноценности не был присущ нашим мыслителям XVIII в., поэтому они, впитав многие философские и исторические идеи Западной Европы, в изучении прошлого России были совершенно самостоятельны, следовательно, оригинальны).

Как совершенно искренне выразил в 1836 г. представление о степени нашей умственной немощи известный историк Н.Г. Устрялов, «русские учёные ещё юные атлеты на поприще образованности»³ (выходило, что у нас не было ни М.В. Ломоносова, по трудам которого Западная Европа начала научно познавать русскую историю, ни Н.М. Карамзина, которым зачитывалась та же граница. А ведь таким образом наша интеллигенция, сладостно занимавшаяся самобичеванием и самоунижением, незаметно перераставшими в самоненавистничество, запускала в действие механизм самоуничтожения, который сработает в 1917 году. Причиной такой позиции был предельно крайний скептицизм «просвещённой» России в отношении неё самой и её интеллектуальных возможностей, который полно продемонстрировал в том же 1836 г. П.Я. Чаадаев и который был взращён западничеством и норманской версией начала Руси).

Разумеется, отечественная историческая наука, попав, по точному заключению А.С. Хомякова в 1846 г., в «умственное порабощение» к Западу, могла двигаться «раболепно в колеях, уже прорезанных Западом». Это «умственное

порабощение» ещё больше культивировала заражённая германоцентризмом и норманизмом немецкая классическая философия, в лице, прежде всего, Гегеля, восторженно принимаемая молодой порослью России. «Когда я начал жить, — вспоминал Л.Н. Толстой, — гегельянство было основой всего: оно носилось в воздухе, выражалось в газетных и журнальных статьях, в исторических и юридических лекциях, в повестях, трактатах, в искусстве, в проповедях, в разговорах. Человек, не знавший Гегеля, не имел прав говорить; кто хотел познать истину, изучал Гегеля. Всё опиралось на нём» (по свидетельству С.М. Соловьёва, «Гегель кружил всем головы»)⁴. И частью этой истины (для овладения ею русские молодые люди, как, например, И.С. Тургенев в 1838 г., буквально толпами устремлялись в Берлин⁵) было утверждение знаменитого философа, покоящееся на словах его соотечественника Шлёцера, а того — на тезисе шведов, что норманны основали Русское государство.

В-третьих, русские «учёные историки» преклонялись перед Шлёцером, поверив его словам, что он стремится, дабы «одним разом кончить весь спор», «открыть учёному читателю историческую истину» (потому как «*первый закон в истории*, — с восторгом звучало в унисон с ним по всей России, — *не говорить ничего ложного*»). И возведя его в величайший авторитет, а его «Нестора» — в ранг своего рода священного писания, в которое надо, под страхом отлучения от науки, слепо верить и, согласно только его догмам, говорить о начале бытия родного им русского мира, при этом панически страшась быть заподозренными в патриотизме. Повторяя за ним без раздумий, что варяги — это, как ясно означено в летописях, общее название германских жителей Балтийского и Немецкого морей, есть скандинавы «и именно шведы».

И вслед за ним продолжать гипнотизировать читателя доказательствами (как он их сам сгруппировал) того, «что варяги происходят из Скандинавии»:

1) финны шведов до сих пор называют руссами (Упландский берег ещё и теперь называется Рослагеном);

2) из Бертинских анналов выводится «второе главное доказательство»: «Люди, называемые в Германии *шведами*, *Sueonos*, в Константинополе называют себя *руссами*, *Rhos*» (причём Шлёцер, прочитав титул «хакан» как скандинавское личное имя Гокан, сделал красноречивое признание, показывающее, что шведам можно приписать всё. Если кто-то вздумает опровергать «моё объяснение о *Гокане* тем, что в шведской истории не говорится, чтобы *тогда* был король сего имени, тому отвечаю я вопросом: есть ли у нас *тогдашняя* шведская история?». Её нет и сейчас, а то, что выдают за неё, представляет собой спорное толкование редких известий исландских саг, в которых главными героями выступают норвежцы и даны, тогда как шведы находятся далеко на периферии их повествования. В 1862–1875 гг., А.А. Куник констатировал, что у шведов, если оставить в стороне рунические надписи, «нет исторических источников 9–12 столетий»);

3) как доказал Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, «шведские и датские законы удивительное имеют сходство с древнейшими русскими законами, известными под названием *Руской правды*, которые даны были новгородцам Руриковым праправнуком *Ярославом*» (и при этом по примеру Штрубе упор делая прежде всего на сходство её статьи № 11: «Аще кто поедет на чужем коне, не прошав его,

то положить 3 гривне» и статьи ютских законов: «Кто поедет на чужом коне, без воли того, кому он принадлежит, тот платит за то три марки»). И также за Шлёцером тиражировать аргументы шведа Ю. Тунмана в пользу того, «что руссы были точно шведы»: 1) «сам Нестор выводит сих руссов из Скандинавии, заключает их под общим названием *варягов*... и уверяет, что Новгородская область прозвалась от них *Русью*»; 2) «русские» названия днепровских порогов у Константина Багрянородного «суть скандинавские (древлешведские)» (но вместе с тем Шлёцер всё же отметил, как уже указывалось, что интерпретация Тунманом некоторых из названий порогов «натянута», предупреждая тем самым, что их норманистское толкование сомнительно)⁶.

Сотворив себе кумира в лице Шлёцера, русские учёные трепетали перед его именем, почти боялись ему возразить (хотя он умер в 1809 г.), и его идеи о шведском начале Руси ослепляюще горели на скрижалях нашей науки. Ибо «резкий и полемический тон Шлёцера, — разъясняя в 1836 г. Ю.И. Венелин, — его сарказмы при обширной начитанности и, весьма часто, при справедливых замечаниях приобрели ему тот авторитет, которому нелегко решатся противоборствовать юные, ещё неопытные умы. Шлёцер утверждал смело, и где недоставало ему достаточного довода, там он прибегал к сарказму или даже к парадоксу, — и все замолкли»⁷. И замолкли надолго, только и твердя навсегда заученное, если процитировать М.П. Погодина от 1847 г., что «его приёмы, его уроки, его впечатления, его огонь — о, их достанет ещё на много поколений, имеющих уши слышать и разум разумети! Студент, который на первых годах не восхитится Шлёцером, тот не занимайся русской историей».

В 1860–1871 гг. Погодин, выражая мнение подавляющего большинства тогдашней науки, тиражировал мысль, что Шлёцер есть «великий учитель»⁸ (в своём безудержном восхищении им русские исследователи оказались, как это часто у нас бывает, впереди всех. При этом даже не задумываясь над тем, что «в самой Германии, гордой своим патриотизмом, — указывал в 1864 г. В.И. Ламанский, — никто не называет его человеком великим и гениальным, за исключением разве его сына»⁹. Хотя тот же Погодин прекрасно осознавал пагубность абсолютизации всего западного, включая наш страх перед «общественным мнением» Западной Европы, и с горечью подчёркивал, ведя, правда, речь о внешней политике России в преддверии и период Крымской войны, что «последний бродяга европейский... значил у нас больше всякого высшего ума отечественного» и что «пред пустозвонными словами иностранца мы готовы всегда преклонять главу, а своих слушать не хотим»¹⁰).

Под воздействием культа Шлёцера Карамзин отсылал ему на одобрение в Гёттинген первый том своего труда (как сказал К.Н. Бестужев-Рюмин, к Шлёцеру «за советом указано было обращаться Карамзину»)¹¹. Выдающийся государственный ум, граф Н.П. Румянцев, много сделавший для развития отечественной исторической науки, упрекал за этот поступок учёного, которому в 1803 г. высочайшим повелением было поручено написать историю России. Заметив ему, что «Байер да Шлёцер Вас по рукам связали», что Шлёцер «не понимал или не хотел понимать нашей древности — он смешал с грязью предков наших и каких-то выдуманных им в Гёттингене уродов, получело-

веков, погрязших в скотской бесчувственности, велит признавать русскими славянами!»¹².

В-четвёртых, их ультранорманистский настрой многократно усиливался тем ещё, что взгляд Шлёцера на русскую историю был подкреплён, констатировали антинорманисты О.М. Бодянский, М.А. Максимович и И.Е. Забелин, авторитетом Н.М. Карамзина. «Как выразителя, — уточнял Забелин, — русского европейски-образованного большинства, вообще мало веровавшего в какие-либо самобытные исторические достоинства русского народа. И великий немецкий учёный и великий русский историк смотрели одинаково и вообще на славянский, и в особенности на русский мир. И тот и другой почитали этот мир в истории пустым местом, на котором варяги-скандинавы построили и устроили всё, чем мы живём до сих пор»¹³. В 1931 г. норманист В.А. Мошин указывал, что в лице Карамзина «норманская школа получила сильную поддержку». И нынешние норманисты — иностранные и отечественные — также с ним связывают, по их оценке, «рекламу» и «пропаганду» идей Шлёцера в России¹⁴ (а с учётом того, что его труд переводился — полностью или частично — на французский, немецкий, итальянский, польский, сербский и китайский языки¹⁵, то его автор, являясь в глазах зарубежных специалистов и простых читателей не только выдающимся представителем, но и самим символом русской исторической науки, был пропагандистом идей норманизма и за пределами своего Отечества).

В силу названных причин шведский взгляд на историю Руси, выставляющий её в качестве «пустого места», и при этом освящённый, как заострял внимание в 1845 г. Н.В. Савельев-Ростиславич, ПВЛ¹⁶, произвольно взятой норманистами в свои союзники («всякий желающий отвергать скандинавское происхождение руссов, — категорично заявлял М.П. Погодин в 1826 г., — должен непременно прежде опровергнуть Нестора»¹⁷), стремительно восторжествовал в отечественной науке, словно плата за великую победу русского духа над Наполеоном и подвластной ему Западной Европой, сыны которой были обречены сгинуть в полях России. Взгляд, который в 1931 г. Мошин охарактеризовал как ««ультранорманизм» шлёцеровского типа»¹⁸ (этот ультранорманизм господствовал в шведской литературе, теперь он восторжествовал повсеместно).

Более того, русские последователи немецкого учёного, приняв его ультранорманизм за путеводную нить в разработке родной истории, с таким энтузиазмом неопитов стали рассказывать о том, чего не было в ней совершенно, что превосходили своего учителя в её норманизации (и в этом процессе не боясь ему возражать). Благодаря именно их трудам, уже оплодотворившим зарубежную науку и задававшим в ней тон в рассуждениях о варягах и руси, норманская версия приобрела среди российских специалистов силу непреложной догмы, отступление от которой считалось посягательством на самую честь науки (и потому в неё безостановочным потоком лились всё новые и новые «объективные обоснования» шведского взгляда на нашу историю).

Шлёцер очень сильно желал увидеть в русских древностях тотальное проявление германского начала и германского духа. Но, не обнаружив в реалиях Руси IX–XI вв. того, что так горячо доказывал, всё свёл к тому, что «победители и побеждённые скоро смешались друг с другом». В то же время он не смог

пройти мимо фактов, которые никак не вязались с его выводами. И признал, например, отсутствие влияния скандинавского языка на русский, объясняя это тем, что шведов среди восточных славян «было очень немного» — «горсть», раз из смешения этих очень разных языков «не произошло никакого нового наречия», и что вообще «славенский язык нимало не повреждается норманским», тогда как «сколько германских слов занесено франками в латинский язык галлов и пр.!». Но тут же вопреки этому факту из летописной фразы, что «суть новгородстии людие до днешняго дни от рода варяжьска», заключил: «варяги долгое время составляли большую часть жителей новгородских; почему и язык их (древлешведский) остался тут в преимущественном употреблении».

Не смог немецкий историк скрыть искреннего недоумения (ибо также априори ожидал абсолютно иного) по поводу того, как новгородские словене поглотили «своих победителей: всё делается *славянским!* явление, которого и теперь ещё совершенно объяснить нельзя. ... И даже от самих *варягов* через 200 лет не осталось более ни малейшего следа: даже скандинавские собственные имена уже после Игоря истребляются из царствующего дома и заменяются славенскими (которые после даются вместе с греческими)», что вообще восточные славяне, «по неизвестным нам причинам, рано сделались главным народом»¹⁹. Русские почитатели Шлёцера не «заметили» этих слов, но всему остальному, произнесённому им в адрес Руси, придали воистину исполинские размеры, которым бы невероятно удивился их идол.

Так, Карамзин в полном согласии со Шлёцером вёл «Историю Государства Российского с 862 г.», потому как призвание варягов-норманнов есть «присшествие важное», есть основание «истории и величия России», что Рюрик в 864 г., по смерти братьев «присоединив области их к своему княжеству, основал монархию Российскую» и был первым самодержцем российским (в 1811 г. в «Записке о древней и новой России» он объяснял венценосному адресату, что «Скандинавия, гнездо витязей беспокойных... дала нашему Отечеству первых государей, добровольно принятых славянскими и чудскими племенами» для властвования над собой). Используя логику норманизма, построенную лишь на допущениях и вероятностях, историк резюмировал: в то время, когда «варяги овладели странами чуди, славян, кривичей и мери, не было на Севере другого народа, кроме скандинавов, столь отважного и сильного, чтобы завоевать всю обширную землю от Балтийского моря до Ростова: то мы уже с великою вероятностью заключить можем, что летописец наш разумел их под именем варягов». А чтобы обратить сию вероятность «в совершенное удостоверение», он прибавлял «к ней следующие обстоятельства» (которые громко звучали до него и которые звучат, во много раз ещё сильнее, сейчас):

1) имена Рюрика, Синеуса, Трувора — «суть неоспоримо норманские»; 2) «русские славяне, будучи под владением князей варяжских, назывались в Европе *норманны*» (Лиутпранд говорит, что русов «именуем и норманнами»); 3) в XI в. византийские императоры имели «особенных телохранителей, которые назывались *варягами*... и состояли большею частию из норманнов. Слово *Vaere*, *Vara* есть древнее готфское и значит *союз*», толпы скандинавов, направляясь на Русь, «могли именовать себя варягами в смысле *союзников* или товарищей. Сие нари-

цательное имя обратилось в собственное»; 4) «русские» названия днепровских порогов Константина Багрянородного «кажутся скандинавскими»; 5) «законы, данные варяжскими князьями нашему государству, весьма сходны с норманскими», а «слова *тиун*, *вира* и прочие, которые находятся в *Русской Правде*, суть древние скандинавские или немецкие»; 6) ПВЛ сообщает, «что варяги живут на море Балтийском к западу и что они разных народов: урмяне, свие, англяне, готы. ... И так сказание нашего собственного летописца подтверждает истину, что варяги были скандинавы». Но вместе с тем Карамзин признал, не придавая этому факту, от которого все его рассуждения повисали в воздухе, никакого значения, что в скандинавских сагах нет ни слова о Рюрике и его братьях. Причём он был убеждён в том, что норманны открыли «себе в VIII или в IX веке путь в Неву и Ладожское озеро», что к нам пришло много норманнов (Шлёцер же вёл речь о «горсти» их), которые «были первыми чиновниками, знаменитейшими воинами и гражданами; составляли отборную дружину и верховный совет», и которые, будучи образованнее славян и финнов, «могли сообщить им некоторые выгоды новой промышленности и торговли».

Норманны, продолжал Карамзин перечислять перечень придуманных их громадных заслуг перед нашей историей, «принесли с собою общие гражданские законы... известные нам по договорам великих князей с греками, и во всём согласные с древними законами скандинавскими», включая суд божий — испытание водой и железом (говоря о статье Правды Ярослава № 11, указал, что «сей закон слово в слово есть повторение древнего ютландского и ещё более доказывает, что гражданские уставы норманнов были основанием российских»), что «варяги, законодатели наших предков, были их наставниками и в искусстве войны», что от них же восточные славяне заимствовали «искусство мореплавания», что «первые известия о нашем древнем купечестве относятся уже ко временам варяжских князей», что «вместе с верховною княжескою властью утвердилась в России, кажется, и система *феодалная, поместная* или *удельная*, бывшая основанием новых гражданских обществ в Скандинавии и во всей Европе, где господствовали народы германские».

Историограф также утверждал, что Олег, «соблюдая обычай скандинавов и всех народов германских», разделил добычу во время похода на Константинополь «с воинами и полководцами, не забыв и тех, которые остались в России», что ПВЛ сохранила норманские имена послов Олега и Игоря, что, судя по «русским» названиям днепровских порогов, «около половины X века говорили в России двумя языками» — русским и славянским, что «русским назывался скандинавский, бывший, конечно, несколько времени в употреблении между нашими князьями и вельможами норманского происхождения, но мало-помалу оставленный ими» (потому как, легко объяснял Карамзин, превращая тезис Шлёцера в один из «железных контрдоводов» норманской версии, которым с тех пор объясняется отсутствие фактов присутствия скандинавов на Руси, рассказывая об их очень быстрой ассимиляции славянами, они «приходили в Россию большею частию без семейств, и женились на славянках; дети, воспитываемые матерями, должны были знать лучше язык их, нежели отцовский, которому надлежало совсем исчезнуть в третьем или четвёртом колене»).

Уверая вместе с тем, что «некоторые скандинавские и шведские слова доньше остались в языке русском; например: *Besman безмен, Grus груз*», и что один из пяти языков, которыми владел, как о том писал его сын Владимир Мономах, великий князь Всеволод Ярославич, был, конечно, «скандинавский». А отстаивая мнение фантазёра О. Рудбека о происхождении названия Ладоги, отвергнутое Г.Ф. Миллером, убеждал, что она была построена скандинавами, «завоевателями северных областей славянских», прежде ещё Рюрика. И объяснял, как он сделал это «научное открытие»: «Ежели откинуть слог *ga*, *Альдейгабург* может значить на готфском языке *старый город*; но вероятнее, что сие имя дано ему от Ладожского озера, которое называлось *Альдеск, Альда...* и даже *Альдога*», и что «имя *Альдога*, от перестановки двух букв превратилась в Ладогу; так стали в России называть сей город, отбросив окончание *бург*». Закрепил он в нашей науке и мысль Шлёцера (заимствованную тем у шведов) о прямой связи названий шведского «Рослагена» — финского «*Ruotsi*» — и славянского «Русь». Потому как «Несторовы варяги-русь обитали в королевстве Шведском, где одна приморская область издавна именуется *Росскою, Ros-lagen...* Финны, имея некогда с *Рос*-лагеном более сношения, нежели с прочими странами Швеции, доньше именуют *всех* её жителей вообще *россами, ротсами, руотсами*». И тут же подчеркнув, что «сие мнение основывается ещё на любопытном свидетельстве историческом» — Бертинских анналах, в которых впервые упоминаются россы, принадлежащие «к народу *шведскому*»²⁰.

Приведённые идеи Шлёцера и Карамзина вызывали протест даже у норманистов. И прежде всего у будущего русского академика И.Ф. Круга, который положил начало критике «Нестора» Шлёцера, в 1805 г. показав несостоятельность многих его выводов. И как заключалось в рецензии 1807 г. на его монографию «Критические разыскания о древних русских монетах», изданную сначала на немецком языке, он в целом продемонстрировал, что русские «были совсем не в таком состоянии, как вообще думают»²¹ (годом раньше немецкий философ И.Г. Буле, а его слова были выше приведены, сказал, опираясь на аргументы Круга, куда значительно сильнее: Русь задолго до 970-х гг. «находилась на высшей степени образования, нежели как обыкновенно думают»). В 1811 г. Н. Брусилов совершенно не принял тезиса Шлёцера, что лишь с 862 г. начинается Русское государство, потому как «оно существовало задолго» до пришествия руссов, что «славяне ещё до Рюрика имели уже города, торговлю и, вероятно, ремёсла и художества; следственно, политическое их бытие было уже основано», что Русь была более просвещённой, нежели как это считается²² (а такие мысли проводили антинорманисты Татищев, Ломоносов, Эверс).

В 1824 г. польский историк И. Лелевель не убоился оспорить утверждение высочайших авторитетов науки, Шлёцера и Карамзина, что норманны были образованнее славян. Оспорил тем, что указал на факт отсутствия на Руси следов пребывания скандинавов. Причину чего, будучи норманистом, ошибочно видел в том, что они в Восточную Европу «ничего не принесли с собою» (хотя «толпы их беспрестанно приходили к славянам» даже в X в.) и «покорились существовавшему порядку вещей», поклонялись Перуну. А не принесли потому, что эти бедные и нищие бродяги стояли ниже по уровню развития восточных

славян, у которых существовал «в высокой степени гражданский порядок», имелись земледелие, торговля, деньги, общие законы, множество обширных городов. Тогда как в диком отечестве скандинавов почти не было городов даже в самую блестящую эпоху их завоеваний («спрашиваю, был ли хотя один город в Скандинавии около 1000 года, который бы мог сравниться с Киевом»).

И как завершал свои рассуждения учёный, «это не гипотеза, не предположение... но очевидная истина, основанная на современных происшествиях и описаниях»²³ (позиция Лелевеля не была исключением в польской науке. В 1807–1824 гг. Л. Суворецкий, В. Скороход-Маевский, Ю.Б. Раковецкий и З.Д. Ходаковский, считая «славян особым культурно-историческим типом, развившимся самобытно из того же общего источника, откуда произошли и германцы», сходство «некоторых верований и обычаев у славян и германцев объясняли не заимствованием, а одинаковостью условий быта, создавшего одинаковые кодексы морали с одной стороны, и существованием общих преданий, вынесенных обоими народами из древнего общего источника». Раковецкий в своём двухтомном труде о Русской Правде полемизирует с Карамзиным, отрицая влияние норманнов на культуру и право восточных славян²⁴).

Однако слова Лелевеля глушились мощнейшим хором норманистов, и ничто уже не могло остановить победного марша ультранорманизма, ранее бывшего навязчивой идеей лишь только шведских авторов XVII–XVIII вв., с её помощью поддерживавших и разогревавших, по мере надобности, антирусские настроения. Но после Карамзина ставшей такой же *idée fixe* для отечественных исследователей, утверждавших и приумножавших её с куда большей категоричностью и безапелляционностью. «Русское государство, — чуть ли не по-военному рапортовал в 1824 г. тот же Н. Брусилов, сравнительно ещё недавно основательно оспаривавший этот тезис, — подобно государствам на Британских островах и в Сицилии, основано норманнами. Истина сего неоспоримо доказана». В 1829 г. И. Кайданов, нисколько не уступая Брусилову ни в лаконичности, ни в оценке значимости шведов в русской истории, пафосно говорил о Рослагене: «Здесь начало нынешнего государства Российского», ибо он есть родина варяго-русов, «коим отечество наше одолжено и именем своим, и главным своим счастьем — *монархическою властью*»²⁵.

В 1829 г. Н.А. Полевой, искренне недоумевая, что «ни имени варягов, ни имени руси» в Скандинавии нет, вместе с тем был непреклонен в мнении, что летописи говорят о варягах как жителях Скандинавии, что «финны доныне называют шведов россами, что они сами «называли себя русь, именем, не означавшим ни страны, ни народы», но восходящим к наименованию «гребцов и воинов в лодках: последние именовались руси или роси. Отчего весь Упландский берег, где было одно их главных морских становищ, получило название Рослагена (места сборища руссов)». А себя русами скандинавы именовали среди славян потому, что имя это «ставили они себе за честь, как имя, означавшее их звание: морские воины», было именем Рюриковых дружин. Будучи непоколебимо убеждённым в том, что скандинавами «начинается история русского народа», автор открывал эту историю «вводным повествованием» о скандинавской истории, содержащем подробное описание Скандинавского полуострова

и жизни его отважных насельников, гордившихся «волею необузданною». Рассказывая о «малочисленности варягов» на Руси, Полевой подчёркивал: «но эти немногие, закалённые в бурях и битвах, были ужасны», «наложили иго рабства на славян и финнов, срубили городки для своего пребывания», «начинали постоянно жить в сих притонах, покоряли туземцев» и основывали небольшие варяжские государства, «открыли сообщения между Балтийским и Чёрными морями», положили начало общественного быта, начало Русского государства (Рюрик, которого историк считал «мифическим», ввёл правление, основанное «на скандинавских понятиях о слабой власти великого князя или главного князя над другими князьями»), что торговля с Византией, вероятно, была монополией варяжских князей и дружин.

Под умопомрачающим гипнозом ультраанорманизма он увидел в Русской Правде «смешение законов скандинавских и германских, древних славянских обычаев, даже греческих и церковных законов», и «выявил» в ПВЛ «целый ряд поэм» «скандинавских бардов», в которых «явный скандинавский и германский образ рассказа, даже прямое сходство некоторых со скандинавскими сагами». А также утверждал, что Чёрное море называлось Русским, «по имени грозных выходцев из Скандинавии», что они, служа византийскому императору, «пели похвалы ему на скандинавском языке», что византийцы называли готов союзниками — федератами (т. е. повторял мысль шведского учёного Ю. Ире, которую не принял Н.М. Карамзин), что «это название готы перевели на свой язык словом: Vaeringar, а греки изменили в варанг, отчего явилось варяг», что имя варяг, перенятое нашими предками от византийцев, есть имя собирательное, означающее «всех обитателей Скандинавии, отличая в числе других варяжских народов отдельный народ русь» (а скандинавское имя «конунг» переменялось «в славянских землях на имя князя, встречаемое с древнейших времён у славян»).

В том же ключе Полевой давал характеристики русским князьям: Олег Вещий по делам своим являлся «истинным варягом: дикий, необузданный никакими препятствиями» (в походе на Византию его, возможно, сопровождали скальды, поэмы которых «явно внесены в наши летописи»), что Святослав Игоревич представлял собой «последнее усилие норманского духа» (его поход на Византию также сопровождали скальды, причём его «голубые глаза, плоский нос показывали в нём потомка варягов»), что Владимир Святославич, пришедший к власти благодаря наёмникам-скандинавам, «первый начал решительно отставать от скандинавских обычаев» (вероятно, на его пиршествах скальды провозглашали «свои эпические, лирические и драматические песнопения»), а его сын Мстислав Храбрый есть «последний из потомков скандинавских», и что с Ярославом Мудрым кончилась перенесённая из Скандинавии «норманская феодальная система», определившая собой «особый характер русской истории, кончающийся нашествием монголов».

Вместе с тем по-шлёцеровски историк объяснял читателю, возвращая в нём, как делалось тогда уже чуть ли не в массовом порядке, чувство безудержного восхищения скандинавами и чувство пренебрежительного отношения (с оттенком некоторого презрения) к своим предкам: дикие и грубые славяне, в кото-

рых нельзя предполагать большей против норманнов образованности, «представляли нечто спокойное, кроткое и мирное», были рабами норманнов (и тут же Полевой заклинал, как это водится у норманистов, что картина начала Руси, изложенная им, «беспристрастным повествователем», «верна и справедлива». Ибо, охаивал он, в духе того же Шлёцера, всё более входившем в моду у «беспристрастных повествователей», патриотизм, «чувство любви к отечеству, уважение к славе предков, ложно смешиваемое с желанием славы и счастья отечеству в настоящее время, не должны вводить в заблуждение историка»).

Однако «самобытность славян превозмогла скандинавские обычаи», и в конечном итоге, в том числе по причине малочисленности скандинавов, «народность славян преодолела таким образом народность варягов» (при Владимире «различие между славянином и руссом исчезло»). Вследствие чего варяги «утратили свои народные отличительные черты: религию, язык и обычаи», славянский язык при Владимире совершенно превозмог их язык, хотя «следы разности оставались долго и дошли до нас в названиях урочищ и городов», что «множество двойных слов в русском языке, особенно на выражение одного предмета, введено было варягами» (но в качестве подтверждения только и привёл «русские» названия днепровских порогов). Культивировал Полевой и идею (также дожившую до наших дней и характеризующую уровень доказательной базы норманистов, точнее, как её отсутствие, можно без труда заполнить любыми фантазиями) о том, что скандинавы «приняли религию покорённых ими славян, не находя в ней большого различия: Перун заменил им Одина, и власть Волоса, бога скотов и пажитей, легко могла быть понята варягами среди славянских народов, знавших земледелие и скотоводство»²⁶.

В 1834 г. О.И. Сенковский, анализируя «Эймундову сагу» и уверяя (вопреки предостережению Шлёцера), что лишь только по исландским сагам следует воспроизводить русскую историю и что «история России начинается в Скандинавии», буквально переселил последнюю в Восточную Европу. «Нетрудно видеть, — заключал он, и здесь самым кардинальным образом поправляя этого немецкого учёного с его жалкой «горстью» шведов на Руси, — что не горстка солдат вторглась в политический быт и нравы человеков, или так называемых славян, но что вся нравственная, политическая и гражданская Скандинавия, со всеми своими учреждениями, правами и преданиям поселилась на нашей земле; эта эпоха варягов есть настоящий период Славянской Скандинавии; ибо хотя они скоро забыли свой язык... но очевидно оставались норманнами почти до времён монгольских» (явный отзвук идеи О. Далина), и что сами шведы смотрели на Русь как на «новую Скандинавию», «как на продолжение Скандинавии, как на часть их отечества».

Провозглашая, что «настоящий характер эпохи был русский, или скандинавский, а не славянский», автор решительно подводил черту: восточные славяне утратили «свою народность, и, вместе с приятием имени руссов», сделались «скандинавами в образе мыслей, нравах и даже занятиях», что привело к общему преобразованию «духа понятий, вооружения, одежды и обычаев страны» (не преминув укорить Карамзина в том, что он слепо доверился летописи и потому не заметил всего этого), к образованию славянского языка из сканди-

навского и что Ярослав Мудрый был «норманн душою и сердцем»²⁷ (и эти идеи профессора Петербургского университета были весьма благосклонно приняты практически всеми норманистами. Как, например, восторгался, анонсируя его статью «Скандинавские саги», должествующую выйти в первом томе «Библиотеки для чтения» 1834 г., Ф.В. Булгарин в последнем номере своей газеты «Северная пчела» за 1833 г., она «должна сделать переворот в истории русской и в исторической критике. ... Статья сия может возбудить споры и сомнения, потому что он ниспровергает исторические поверья, но эта статья всемирная, будет переведена на все языки. Всё в ней ново, оригинально, умно, ясно; всё связано логикой и извлечено из логики». В 1852 г. в Копенгагене вышло новое издание «Эймундовой саги» с комментариями, основанными на статье Сенковского. В 1924 г. лингвист Ф.А. Браун в публикации, увидевшей свет в Германии, признал комментарий Сенковского «в некоторых отношениях устаревшим; но, в основном, довольно правильным»²⁸).

В духе ультранорманизма Шлёцера и радостно превосходя его, рассуждали тогда все сторонники норманства варягов и руси. Например, в 1836 г. Н.Г. Устрялов объяснял, почему только норманны могли быть нашими варягами: «один взгляд на дела потомков Рюрика удостоверит, что только воинственный норманн мог быть праотцем русских князей, в коих живо отражаются все черты норманские» (само расширение пределов Руси «было следствием норманского характера») ²⁹. Годом позже в «Энциклопедическом лексиконе» Сергей Александрович Геденов ³⁰ толковывал соотечественникам, что скандинавы положили «пределы своеволию славянских дикарей», что «воинственный гений норманнов одушевил их новою жизнью и повёл быстрыми шагами по стезе просвещения», что славяне переняли от своих господ право родовой мести, суд божий, всю юридическую номенклатуру и чинопоставления, ну а те, в свою очередь, легко приняли религию славян, и Перун заменил им Одина ³¹.

В 1837–1843 гг. С.К. Сабинин уверял, что славяно-русский язык образовался от сношений скандинавов со славянами, что из скандинавского языка в русский взяты «имена чинов, жилищ, домашних вещей, животных» и даже «самые укоризненные слова» (нецензурные?), что из Скандинавии перешло «основание всего нашего древнего быта», в том числе «обыкновение мыться в субботу», дарить детям на зубок. А для подтверждения своих мыслей он слово «боярин» вывел из исландского *Baejarmenn/Baejarmen* — «граждане», «служащие при каком-либо дворе» (скандинавское происхождение этого термина «научно» отстаивали норманисты до в 1912 г., когда А.А. Шахматов — сторонник норманской версии — показал его принадлежность кельтам). «Замечательно, — не устал делиться своим безграничным восторгом Сабинин, — что религия в древней России была скандинавская, а не славянская», что восточнославянские божества Велес и Перун есть скандинавские Один и Тор. Но всего этого ему показалось крайне мало, и протоиерей, излагая что-то вроде программы норманистов на будущее (а её принципиальной линии они следуют поныне), выражал непреклонную уверенность в том, что «мы откажемся от Кия, построившего будто бы Киев, а *Киев* назовём скандинавским именем *Kaup* (Кёйп), *Kiöb*, *Kjöbing*, *Kjobstadt*, т. е. местом торговли, торговым городом; что в *Волосе*,

боге скота, узнаём мы Волда (Вольса), Водека, Вуодана, Одина; что мы откроем в именах рек *Волга, Двина, Нева, Нарва, Днепр, Рось* имена скандинавские и пр.».

Причём Сабинин, с целью объяснить свой тезис о всепроникающем воздействии скандинавов на жизнь восточных славян, прибёг к другому ложному тезису, согласно которому масса этих руссов на Руси «превосходила массу славян, а не славяне превосходили числом руссов» (чтобы представить масштабы такого ультранорманистского видения, надо указать, что население Руси около 1000 г. составляло, по оценке специалистов, например, Б.Ц. Урланиса и Х. Ловмянского, как минимум 4,5 миллиона). В соответствующем духе он предлагал рассматривать и этимологию имени «славяне», и в нём, конечно, узрев плод творчества норманнов: «...Я, читая в скандинавских диалектах *slav, slaf, slaven, slafen*, множ. *slaverne, slavene, slaferne, slafene*, что значит *слабые, подчинённые, подручники*, всегда воображаю себе: не это ли носили и мои предки». Свои псевдлингвистические мудрствования в духе шведа О. Рудбека (ставшие нормой в работах наших норманистов и давшие им гору таких же «аргументов») автор замыкал вопросом: «...*Рось* или *Русь* не есть только перевод имени *слава* на скандинавские диалекты, ибо *Ros* значит в них *слава*?»³².

До каких небесных высей вознёсся «ультранорманизм» шлёцеровского типа» в работах наших учёных того времени, полно выразил в 1825–1874 гг. крупнейший историк М.П. Погодин, за 50 лет своей научной деятельности воспитавший лекциями в Московском университете, многочисленными монографиями, статьями и обзорами очень большое число энергичных пропагандистов шведского взгляда на русскую историю (сегодня в его стиле и его духе рассуждают наши норманисты). И прежде всего он уверял, что Нестор варягов считает норманнами, ибо был окружён ими, они могли рассказать ему «о своих подвигах и подвигах предков, как их соотечественники рассказывали дома сочинителям саг», что в целом «все описания Нестора точь в точь с описаниями западных летописей о норманнах».

Ставя, как это тогда уже было общим правилом, основание Руси в связь с деятельностью норманнов на Западе и, будучи абсолютно убеждённым в том, что «действие, приёмы, осанка, походка наших варягов-руси... суть норманские», Погодин говорил, что ни одно известие ПВЛ «не противоречит норманскому происхождению варягов-руси» (наши летописцы описывают варягов «почти одними и теми же словами, какими латинские, греческие и арабские описывают прочих норманнов»), что «русь, водворившись в Киеве, ходила... во все стороны, верная своему норманскому происхождению», что Олег Вещий, оставив Новгород, «пошёл воевать по норманскому обычаю, куда глаза глядят», т. е. «в самом отечестве своём норманские князья часто переменяли тогда местопребывание», и затем, придя в Киев, хитростью «умертвил Аскольда и Дира», потому как «норманны часто употребляли хитрости друг против друга», что их мечта овладеть Константинополем была достойна «норманской крови».

Подтверждение норманства варягов-руси учёный видел и в том, что у варягов «*красота уважалась*», а «известно, как норманны уважали красоту», что у наших князей «*многожёнство* допускалось», и «норманские обычаи были совершенно те же», что «*баню* очень любили норманны, которые ходили в оные

по субботам», что «норманны любили пировать: Руси есть веселие пити, сказал Володимир» (и наши княжеские пиры есть копия пиров норманских конунгов), что «конское мясо, употреблявшееся Святославом... было любимым кушаньем у норманнов», что «сватовство норманское видно из описания брака Володимерова», что «война была любимое занятие норманнов», что «ослепление было обыкновенно у скандинавов», что «турий рог, упоминаемый столь часто в наших старинных песнях, слишком известен норманнам и употребляется особенно при тостах».

Точно такого же свойства были и характеристики, даваемые им русской элите (абсолютно в духе Н.А. Полевого, труд которого в 1830 г. самым беспощадным образом разнёс в пух и прах): Олег Вещий есть «удалый», «истый» и «гордый норманн», Святослав Игоревич имел «норманский характер», воспитан был «в бранных норманских обычаях» и «мечтал только о кровавых сечах или пирах за столом Одиновым, в чертогах Валгаллы», дочь конунга Рогволода Рогнеда, — «гордая и страстная, истая норманка» (история которой «есть чистая норманская история, и встречается беспрестанно в их сказаниях. Одной её довольно было бы для убеждения в норманстве этих людей, приходивших из-за моря»), Ярослав Мудрый был верен «норманской природе, в нём обновлённой», его брат Мстислав Храбрый есть «истинный витязь в норманском духе».

Норманство княгини Ольги историк объяснял тем, что «она приняла христианскую веру... ибо первые христиане у нас были норманны», что во всей жизни княгини и её поступках «виден дух более норманский, нежели славянский», что в том, как правительница Руси разговаривала, по свидетельству Константина Багрянородного и ПВЛ, с византийским императором и его послами, — «видишь пред собою величавую норманку» (в публичной дискуссии 19 марта 1860 г., проходившей в Петербургском университете, на «аргумент» Погодина: «Вспомните, как Ольга, прибыв в Константинополь, на аудиенции императора едва склонила пред ним свою голову, когда все падали до земли. Это чистая норманка», Н.И. Костомаров под смех порядка двух тысяч присутствовавших подхватил: «Чистая славянка, чистая литвинка и всякая другая!»). В целом все русские князья «по своему происхождению, духу, образу жизни, мыслей и действий были чистые норманны», ходили войною во все стороны, «расширяя пределы своих владений и вводя везде норманские порядки», являлись собой, усердно прививал он норманское к славянскому, «норманских», «скандинавских витязей» (а такая прививка закончится тем, что славянское слово «витязь» под пером В.О. Ключевского окончательно обретёт скандинавскую основу).

Вместе с тем заверяя, что в Эймундовой саге мы видим «живьём наших норманских князей... находим разительное подтверждение известиям нашей летописи», что патриарх Фотий изобразил «живо норманскую русь», что свидетельство автора рубежа X–XI вв. Иоанна Диякона есть «наиважнейшее, наидрагоценнейшее известие, выше известия Бертинских летописей, выше Литупранда и Дитмара!» («нечего говорить, сколько норманского удовольствия оно мне доставило»). Тезис, что «арабские свидетельства о наших руссах совершенно согласны со скандинавскими», Погодин подтверждал, прежде всего,

ссылкой на сообщения Ибн Фадлана, мнениями датского учёного Ф. Магнуса-на, который указал на тождество обычаев русских со скандинавскими, и русского академика, шведа по национальности А.М. Шегрена, также отметившего «сходство скандинавских обычаев с русскими, описанными у арабов».

До предела заполнив нашу историю представителями «самого деятельного и удалого народа в Европе того времени» (ещё до призвания «смышлёные пришельцы», которым были нужны меха и которые затем были изгнаны, основали Изборск, Торжок, Белоозеро, Ростов, Муром, Бежецк, Волок Ламский, распространили новгородскую торговлю до самого устья Волги), Погодин вёл речь о том, что «первый период русской истории» — «норманский период» (это определение, не сходявшее с его уст, он даже вынес в название двух своих монографий), обнимавший собой историю Руси с момента призвания норманнов (у которых, естественно, «была сага о Рюрике и о прибытии его в Новгород») до смерти Ярослава Мудрого. И в этот период, продолжал воспевать исследователь скандинавов и их гигантские свершения на Руси (почти равные подвигам богов!), добровольно призванные скандинавы соединили славянские племена «в одно целое», дали «своё имя нарождавшемуся государству» — Русь, «составляли главную, господствующую часть городов славянских и финских, и военное, высшее сословие нового государства». Причём даже Болгарии при Свято-славе «выпадал жребий сделаться Русью, Нормандией».

И чуть ли не на все явления жизни Руси самого значимого свойства они наложили свою печать: язык «варягов-руси, дошедший до нас в собственных их именах, именах днепровских порогов и некоторых словах гражданственных, обличает их норманское происхождение», русский язык есть «язык северный, Norrena» (норрена, норвежско-исландское наречие, отличное от шведского языка), который «мало-помалу потерялся» в славянском языке, но «все норманские слова держались долее в Новгороде», наша историческая поэзия перенята от скандинавов, а русская былина ведёт своё происхождение от исландской саги. И «христианством обязаны мы варягам точно так же, как и гражданским устройством», скандинавскими являются (осуществлял он «предсказание» Сабинина) названия рек Нева, Ижора, Луга, Нарва, «норманской в своём основании» есть Русская Правда («закон Русский» договоров с византийцами), законы и обычаи русские-норманские «сохранились между нами, как верования, как имена, как язык, как дух» (кровная месть, вира, суд двенадцати граждан, наказание за езду на чужом коне, испытание железом, «лествичное правило» и др.).

Но при этом в «норманский период» «удалые норманны» «были почти совершенно отдельным племенем от славян, — они жили вместе, но не сплавливались, не составляли одного народа», их влияние «на славян было более наружное — они образовали государство. ... Славяне платили дань, работали — и только, а в прочем жили по-прежнему». Как в высшей степени «народ тихий, спокойный, терпеливый» и «покорный», предки наши «приняли чуждых господ без всякого сопротивления, исполняли всякое требование их с готовностью, не раздражали ничем и всегда были довольны своей участью». И лишь только в следующую эпоху скандинавы сделались славянами, потерялись «в славянском населении, оставив следы только в гражданском устройстве и правительстве».

Причём тогда же сообщение между Русью «и северными государями... не прерывалось ни на минуту. Наши князья у норманнов, норманские у нас всегда находили родственную помощь и убежище» (а дружина «пополнялась преимущественно выходцами с дальнего севера»), русские князья посылали «за помощью к норманнам, и получали её всегда столько, сколько было нужно» (так, Владимир у них собрал себе рать), в связи с чем их всегда окружали норманны («туземцы совершенно не употреблялись, обречённые на любезное своё земледелие»). Однако понимая, что его доказательная база норманства варягов и руси условна и шатка, свою позицию учёный венчал главным для норманистов «доводом»: «все серьёзные исследователи русской истории в течение 150 лет принимали норманское происхождение Руси».

Ультранорманистским представлениям (по точной оценке М.А. Максимовича, толчению воды «в скандинавской ступе»), несмотря на довольно серьёзные уступки оппонентам, Погодин оставался верен до конца и с юношеским жаром проводил их в жизнь, уверяя, что они подтверждаются письменными источниками и работами, прежде всего, Г.З. Байера, А.Л. Шлёцера, А.Х. Лерберга, Х.Д. Френа, И.Ф. Круга и Н.М. Карамзина (а Максимовичу в 1841 г. внушал: «Было время, что и мне не хотелось никак не признать Рюрика иноплеменником, норманном, да надо, мой друг, уступить учёной необходимости»). В 1874 г., за год до смерти, он в монографии «Борьба не на живот, а на смерть с новыми историческими ересями» всё также был непреклонен в мнении (причём «только благодаря норманской электризации, — по его красноречивому пояснению, — написал эти строки»), что, «все наши древние до управления, до гражданского устройства относящиеся слова суть норманское... бояре, тиуны, гридни, гости, смерды, люди, ябедники, верви, дума, губа, вира, ряд, скот, гривна, стяги... В мужах княжих, отроках и детских, добрых людях, дружине, рабиче, огнищанах, закупах слышится перевод»³³.

Крайности утверждений Погодина, т. е. отступление от науки, были столь явственными, что вызвали принципиальные возражения и у норманистов. К.Н. Бестужев-Рюмин резюмировал в 1870-х гг., что он, под влиянием Шлёцера написав второй и третий тома своих «Исследований», всё приписал «скандинавскому, т. е. германскому влиянию: и религию, и право, и обычаи». Отмечая в полном согласии с оппонентами негативное воздействие норманской версии на русское общество, историк подчеркнул: странно, «что Погодин, которого русское чутьё держало настороже против всего, что вредно национальному развитию и что противно внутренней правде, поддался этому заблуждению»³⁴. В 1931 г. эмигрант Е.Ф. Шмурло, оценивая наследие Погодина, констатировал: его семитомные «Исследования» и др. представляют собой «полусырой материал», на основе которого им позже «была написана „Древняя русская история до монгольского ига“». Два тома с атласом. М., 1872. Ценность сохранил один только атлас»³⁵ (очень жёстко сказано, но справедливо).

Та же крайность норманизма (в которой ныне «взвешенный и объективный» А.А. Хлевов видит, что довольно симптоматично, «вполне научное явление», коим стал норманизм к 1840-м гг.) наличествует в работах российских академиков Х.Д. Френа и И.Ф. Круга, выходивших на немецком языке и потому пре-

красно знакомых западноевропейскому научному миру (но вместе с тем последний указывал в своём посмертно изданном в 1848 г. труде, что многое как в Русской Правде, так и в целом в древнерусском государственном устройстве абсолютно противно тому, что содержится в законах и учреждениях германских племён, считал, отступая от норманистского канона, начальной формой, от которой произошло русское имя, не финское слово Ruotsi, а греческую форму Ῥῶς/Rhos Бертинских анналов, что Нестор нашёл это имя у византийцев, которые таким способом обозначали норманских пришельцев, известных им с 839 г., и внёс в ПВЛ. В связи с чем в нём нельзя видеть «последовательного до фанатизма» норманиста, как полагал С.А. Гедеонов³⁶).

Также важную роль в распространении норманизма в Западной Европе и России сыграл своими знаменитыми «Славянскими древностями» словацкий учёный П.И. Шафарик, утверждавший, например, в унисон со своими русскими коллегами, что варяго-русский язык есть скандинавский язык, на котором звучат названия днепровских порогов у Константина Багрянородного³⁷. Но куда большую роль в том сыграл осевший в России А.А. Куник в двухтомнике «Призвание шведских родов финнами и славянами», вышедшем на немецком языке в Петербурге в 1844–1845 гг. и ставшем для норманистов новой путеводной звездой по причине выявленной антинорманистами полнейшей научной несостоятельности «Нестора» А.Л. Шлёцера, о которой открыто вынужден будет сказать в 1847 г. самый яркий его русский «ученик» М.П. Погодин (в этом статусе труд Куника заменит в 1870–1890-х гг. книга датчанина В. Томсена «Начало Русского государства», во многом «вышедшая» именно из «Призвания шведских родов финнами и славянами» Куника).

В первом томе Куник, негодуя на характеристику Ю.И. Венелина, данную норманизму и норманистам как «скандинавомания и скандинавоманы», и называя оппонентов, прикрываясь авторитетом ПВЛ, которая не содержит и намёка на норманство варягов и руси, «противниками Нестора», утверждает, что под варягами везде понимаются только норманны, что термин «варяг» возник от выдуманного им слова *Varang, коим могли называть себя готские и герульские «федераты» (т. е. учёный следовал тогда точке зрения Ю. Ире), что от них это имя приняли норманны, дружины которых заняли в столице Византии место готско-герульских отрядов, что византийские «варанги» — это норманская стража византийских императоров, имя которых затем было перенесено на всех норманнов, что тождество норманнов и руси доказывает финское название шведов ruotsi, в основе которого лежит слово rodsen — «гребцы» (отсюда — Рослаген), что этих schwedischen rodsen славяне узнали «при посредстве финнов под именем “руссов”» (причём существование Карпатской Руси не противоречит норманской теории, ибо и туда со временем проникло их влияние).

Во втором томе норманское происхождение руси Куник доказывает (решительно отвергая «случайные филологические созвучия» и сближения имени русь с роксоланами, ругами южнобалтийского Рюгена и руссами VII в. на Кавказе арабского автора ат-Табари) тем, что Снорри Стурлусон называет Русь «Великой Швецией», «что шведские рунические надписи рассказывают о путешествиях викингов к Чёрному морю», что имена, начиная с Рюрика, норманна из ко-

ролевского рода, русских князей и их окружения являются норманскими (имя «мужественного конунга» Олега Вещего есть Hålogi, что указывает на норвежскую область Галогаланд). Дополнительно учёный ведёт разговор о скандинавских обычаях князя Святослава (он верил в Валгаллу, а в его войске находились валькирии), уверяет, что известия византийских житий Стефана Сурожского и Георгия Амастридского, Бертинских анналов о «schwedischen Rodsen-росах» и «rodsisch-schwedischen Chagan» 839 г., а также сообщение арабского географа эль-Катиба (точнее, ал-Йа'куби) о нападении шведских росов на испанскую Севилью в 844 г. говорят о норманнах-росах до возникновения Руси, что норманской была и русь, осаждавшая (по ПВЛ) в 866 г. Царьград.

В «очень ясных» сообщениях императора Леона (о «народе северных скифов»), Ибн Фадлана, Константина Багрянородного («русские» названия порогов имеют «норманские формы», росы у него — норманский народ, жертвоприношения которого на о. Хортица можно объяснить только из норманской мифологии), Лиутпранда, Льва Диакона, продолжателя Феофана (о названии росов «дромитами»), ПВЛ и др. Куник видит, сопоставляя со скандинавскими сагами и руническими надписями, несомненные указания на норманские черты руси, рассуждает о непрерывных, оживлённых и дружеских отношениях между Швецией («Варяжской страной») и Русью («русской Нормандией») «в первые два века русской государственной истории», вёл, как и М.П. Погодин, речь о «норманском периоде» (периоде норманского господства) в русской истории³⁸ (и позже, например, в 1875 г., несколько умерив, под воздействием критики С.А. Гедеонова, свой ультра норманистский пыл, он продолжал рассуждать в том же стиле: что Аскольд и Дир «по норманскому обычаю испросили у военачальника своего Рюрика позволение вступить в византийскую военную службу» и что Святослав составил «эпоху в истории восточного норманства»³⁹).

4.2 Способы утверждения ультра норманизма и их научная несостоятельность, или «результаты Шлёцеровы теперь уже ничего не значат» (М.П. Погодин), но их «ставили в угол, как ненужный, но требуемый приличием обряд» (В.О. Ключевский)

Не ограничиваясь общими, но из авторитетных уст звучавшими рассуждениями, что норманнам русские обязаны своим государственным бытием, что их дикие предки переняли от них даже «обыкновение мыться в субботу» и т. п., русские последователи Шлёцера объявили, благодаря чудодейственной «норманской электризации», скандинавскими (германскими) значительное число важных русских слов, ставших серьёзным «козырем» в пользу их концепции истории Руси, потому как он наглядно показывал, чем восточные славяне

якобы обязаны северным пришельцам: князь, боярин, дружина, дума, оружие, господь-господин, груз, колокол, котёл, город, гость, гридь, купец, безмен, луда, ладьа, люди, меч, муж, вервь, верста, вира, муж, мыто, навь, нети, обель, огнищанин, оружие, смерд, терем, холоп, челядь, якорь и др. Следовательно, какой самый ничтожный уровень общественного бытия своих подданных те застали.

Причём Колумб «Славянской Скандинавии» О.И. Сенковский грозился привести сотни примеров славянских заимствований из германского, но при всём старании смог «наскрести» лишь несколько. Хотя их должно было быть невероятно много, потому как русский язык образовался, по его же убеждению, из скандинавского (а ему громогласно вторили многие). «Татары, — стоит в данном случае привести слова М.В. Ломоносова, — хотя никогда в российских городах столицы не имели, а следовательно, ни гарнизонов, ни гвардии при себе не держали, но токмо посылали баскак или сборщиков, однако и поныне имеем мы в своём языке великое множество слов татарских»⁴⁰. А ведь время присутствия варягов на Руси — в отличие от монголов самого непосредственного — и их активной деятельности во всех сторонах её жизни занимает два столетия: с середины IX до середины XI в., что лишь немного меньше периода ордынского ига.

Те же идеи по поводу русского языка, что проповедовали Сенковский, Сабинин, Погодин, задолго до них и параллельно с ними проводил И.Ф. Круг (ибо у них был один и тот же ведущий — Шлёцер). Он твёрдо считал, что древнескандинавский язык — *Norrœna* — по причине нахождения в Новгороде при Рюрике множества скандинавов не только долго там бытовал, но даже какой-то период там господствовал, что знатнейшие из славян, преклоняясь перед троном для приобретения благосклонности прибывших русских/норманских князей, весьма вероятно, стали изучать их язык и заставляли учить его своих детей, что простые люди в том им подражали, что князь Игорь, возможно, посылал сына Святослава в Новгород для изучения «*nordischen Sprache*», что норманны принесли на земли, названные по их имени Русью, уже существовавшее у них норманское письмо, что один из экземпляров русско-византийских договоров, вероятно, был написан на норманском языке. Норманскими Круг считал слова, которые готовил для внесения в новое издание академического словаря: князь, пенязь, усерязь, витязь, шеляг, стерляг, пуд, суд, град, грид, ряд, скот, хлеб, шнек, полк, вира, месячина, дума, броня, мыто, мытарь, свёкор, снеть, рухлядь, весь, ремень, люди, кнут, нетий и др.

В 1848 г. А.А. Куник, позиционирующий себя в России в качестве пионера в области сравнительного исторического языкознания, резюмировал, ведя речь о рассуждениях Круга о языке норманно-русов IX–X вв., что он «обнаруживает иногда необыкновенно верный филологический такт, какой можно редко встретить у историков того времени». Но уже в 1862 г. утверждал, под воздействием критики С.А. Гедеонова, что только четыре слова «я постоянно ставил, на основании лингвистических законов и исторических фактов, в связь с норманнами, именно: *гридь, скот, щеляг, стерляг*». Тогда же Куник, прекрасно осознавая зыбкость «лингвистических фактов» присутствия норманского элемента в русской жизни, указал, развивая (и продолжая это делать в последующее время) спасительную для норманизма идею А.Л. Шлёцера и Н.М. Карамзина

о стремительном растворении скандинавов в среде восточных славян, якобы потому и не оставивших никаких следов своего пребывания в их истории. И параллельно с тем отрекаясь от давно обветшалого тезиса Шлёцера, ещё по инерции культивируемого русскими учёными: «Норманны начали ославяниваться уже во втором поколении... Христианство было принято норманнами сперва в Цареграде и потом перенесено в Россию, уничтожило последние следы различия между норманнами и славянами, из которых те и другие были до тех пор, конечно, дикими, только не в Шлёцеровом смысле»⁴¹.

Согласно ультраанорманизму, в скандинавские с рудбековской ловкостью переделывались имена русских князей и их окружения, в том числе бесспорно славянские, заняв в своём скандинавском облики одно из центральных мест в системе доказательств норманнской теории. «Лингвистические доводы норманистов, — заметил в 1878 г. Ф.Я. Фортинский, — основаны не столько на этимологии слова варяг, сколько на объяснении из скандинавского языка имён первых наших князей и их приближённых». Действительно, норманисты А.А. Куник и Ф.А. Браун в разные годы в один голос говорили, что данные имена составляют «твёрдый оплот норманистов», наиболее их веское доказательство (показательно, что в 1913 г. на страницах «Русской энциклопедии» Браун из лингвистического набора норманистов оперировал только этим «аргументом») ⁴².

Начало практике выдавать чуть ли не все летописные имена за скандинавские, основанной на игре, по оценке С.А. Геденова, «пустых созвучий» и названной Н.П. Загоскиным «филологической эквилибристикой»⁴³, положили шведские авторы XVII века. Однако в науке она стала обязательным руководством к действию благодаря заключению Г.З. Байера от 1735 г., что «еще от Рюрика все имена варягов, в русских летописях оставшиеся, никакого иного языка, как шведского, норвежского и датского суть; и сие не темно и не слегка наводится». Старательно подыскивая этим именам (по образцу шведа Рудбека, этимологиями которого был, по собственному признанию, «очень увлечён») самые отдалённые скандинавские «пустые» созвучия, Байер не без сожаления признал, что не нашёл ничего подобного только к имени Синеус.

Но вместе с тем выразил уверенность в благоприятном исходе такого поиска: «Другого брата имени Синея еще я между северными народами не нашёл» (и этот поиск успешно завершат его продолжатели: славянское имя Синеус они «научно» будут выдавать за шведское имя Signiutr). Во всех же остальных случаях Байер не испытал никаких затруднений, перевёртывая летописные имена, по оценке М.В. Ломоносова, «весьма смешным и непозволенным образом для того, чтобы из них сделать имена скандинавские». Так, не отрицая, что имя Святослав славянское, учёный настаивал на том, что оно «с началом норманским» (Свен), а в имени Владимир увидел перевод, означающий либо «лесной надзиратель» (от немецкого «wald» — «лес», здесь Байер привёл не совсем устраивавшее его мнение почившего в 1676 г. немецкого филолога Ю.Г. Шоттеля, всё же понимая, что князь не мог быть лесником), либо, как полагал уже сам, первая часть этого имени означала некогда «поле битвы»⁴⁴.

А.Л. Шлёцер, руководствуясь духом статьи «великого Байера» «De Varagis» (она «есть настоящий образец благоразумной и учёной этимологии и срав-

нения имён»), уверял, что Рюрик, Синеус и Трувор — это настоящие «древле-шведские имена, только немного испорченные в чужой земле» (первым такое сказал, надлежит напомнить, в 1615 г. «пустомеля» П. Петрей, а в 1746 г. ему вторил в своих, по оценке Шлёцера, «бреднях» другой швед О. Далин: «Наши скандинавские имена часто искажены были»). А чтобы не быть голословным, немецкий учёный озвучил «неиспорченные» переписчиками варианты их имён, в том числе приведённые в 1734 г. также шведом А. Скариным: «RURIK, *Ruricus, Rōrik, Rorek, Rhrorekur*, Ruricus архиепископ Реймский, *Roderich*; TRUWOR, *Thruwar, Truere, Truve, Trygye, Trugr*; SINEUS, *Snio, Sinniuter, Signiuter, Siniam, Sine*» (и Рогволод-Рагвалд есть «истое скандинавское имя, которое часто попадает в исландских сагах», и потому этот полоцкий князь, отец Рогнеды, первой жены князя Владимира, был скандинав)⁴⁵.

Н.А. Полевой, не без сожаления резюмируя, что «слишком рано являются у нас Святославы, Рогволоды, Ярополки, Олеги», задавался вопросом: «Были ли это испорченные и составные имена: Сфенд-олаф, Ренгвальд, Jarl-полк, Олаф, подобно Игорю (Ингварь); Свенельду (Свенгельд), Владимиру (Вольдемар)»? А также уверял, что его далёкие предки, вероятно, переводили имена норманнов и что, «в таком случае, окончание слов могло заменить скандинавские *wij* и *rik*; Allrik мог превратиться в Всеслава, Thiodrik во Вышеслава, и проч.», и даже в имени воеводы Владимира Святославича Волчий Хвост видел «явный перевод!» со скандинавского. Сергей Александрович Гедеонов без всяких исключений утверждал, что имена варягов, звучащие в летописи, «неоспоримо норманские». Эту же идею проводил М.П. Погодин, демонстрируя вместе с тем, как она просто осуществляется на практике: «имя Малуши, может быть, есть то же, что и Малфрид, с переменою норманского окончания на словенское». И потому её сын Владимир, в очередной раз возносился учёный в своих безграничных фантазиях, «получил норманское воспитание и слишком хорошо знал по-нормански» (о смерти некой «Мальфред» сообщает под 1000 г., без каких-либо пояснений, ПВЛ: «Преставися Мальфред». Хотя далее в сообщении о кончине Рогнеды уточняется, что она «мати Ярославля»)⁴⁶.

А.А. Куник говорил от лица всех «несторовцев» (т. е. якобы защитников мнения ПВЛ о якобы норманстве руси и варягов, и потому беспощадно заставляющих её издавать скандинаво-германские звуки), что не только большая часть летописных имён «вполне соответствует др.-северным, но что, кроме того, во многих явно бросаются в глаза чисто *шведские* звуковые законы». И, прикрываясь выдуманными им законами, он, представляя себя ещё и в качестве языковеда, убеждал, что в имени Владимир окончание на *мир* заимствовано от готго-германского, а первая часть имени Святослав есть готское «*svinths*» — крепкий, сильный (лингвист В.Н. Топоров в 1989 г. указал, что «историческое тождество слов *mirъ*: и.-ир. *Mit(h)ra* представляется доказанным», а ранее М. Фасмер отмечал, что слово «святой» характерно для всех славянских языков и восходит к праславянскому **svęť*).

Вместе с тем Куник превратил мнение Полевого в норманистскую реальность, убеждая, что имя воеводы Волчий Хвост может быть только переводом норманского имени «*Wolfsschwanz*» (а в 1878 г. он сказал, что заморский нор-

манн Рогволод — по-шведски Ragwald — основал «особое княжество в Полоцке на Двине» и даже мог послать посольство к германскому императору Оттону II в 973 г. в Кведлинбург)⁴⁷ (в «Анналах» Ламперта Херсфельдского, написанных в 1077–1078/9 гг., отмечается, что к императору прибыли с «великими дарами», наряду с представителями других народов, какие-то русы, по мнению ряда учёных, представлявшие киевского князя Ярополка⁴⁸. Хотя речь, очевидно, идёт о посольстве южнобалтийской руси, вероятно, с о. Рюгена).

Тотальная норманизация русской истории и вытекающее из неё неудержимое стремление связывать имена ПВЛ только со скандинавским (германским) миром, привела к тому, что Куник, своим упомянутым двухтомником на многие годы во многом определивший, особенно его лингвистической составляющей, вектор разработки варяжского вопроса у нас в стране и за рубежом, «с высокой долей вероятности» (а в такой форме он обычно излагал свои мысли, принимаемые его сторонниками уже за несомненные исторические факты) отнёс в 1845 г. к норманнам Илью Муромца⁴⁹ (тогда же он Нестора представил в качестве «малоросса» — «Kleinrusse», таковыми названы и его «земляки»⁵⁰). В русле той же повальной норманизации Руси шли западноевропейские учёные, во многом ведомые идеями и выводами российских коллег. Так, «Новая энциклопедия истории Средневековья», вышедшая на немецком языке в 1853 г., доносила до читателей истину (её через в 1914 г. «обоснует», тенденциозно интерпретируя археологический материал, швед Т.Ю. Арне), «будто Русь состояла из скандинавских колоний». А знаменитый норвежский историк П.А. Мунк тогда же утверждал в «Истории норвежского народа», что в XI в. «все славяно-русы говорили скандинавским языком»⁵¹ (спустя четыре года он был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук).

Многоголосое славословие в адрес норманнов, звучавшее, за совсем малым исключением, из уст представителей нашей науки первой половины XIX в., также многоголосое преподносилось в качестве непререкаемой истины. Как заклинал в 1846 г. И.Д. Беляев в рецензии на первые три тома «Исследований» М.П. Погодина (видя в них «путеводную звезду» для новых поколений учёных): «весь норманский период нашей истории получил большую или меньшую ясность и определённую» и его доказательства «о норманском происхождении руси, несмотря на все усилия скептиков и отчаянных славянофилов, остались непоколебимы и приняты всеми учёными». В связи с чем, традиционно заклинал Беляев, «в нашей истории все столетние споры и толки о норманнах должны прекратиться. Это истинная и неотъемлемая заслуга автора». Вместе с тем сам рецензент, заражённый ультранорманизмом своего университетского учителя, повествовал о «норманском духе» и «норманской удали» новгородцев ещё до прихода варягов-норманнов, что «наши древние законы и формы администрации были чисто норманские», что древние князья и их дружины имели «чисто норманский характер», причём Киев так «переполнился» норманнами, «что иностранцам казался норманским городом».

Годом позже в весьма обширном отзыве на те же тома Погодина К.Д. Кавелин, будучи несколько сдержаннее в своей оценке, также их абсолютизировал: всё происходившее «у нас с призвания варягов до кончины Ярослава» Пого-

дин «присваивает одним скандинавам. В этом, конечно, есть преувеличение, односторонность, но за неё нельзя слишком винить автора. До некоторой степени она — достоинство и заслуга». После чего подытоживал: «Погодин исчерпал скандинавский элемент в древнейшей русской истории. Всё, что носит хотя бы слабую его печать, им собрано и отмечено, так что будущим исследователям в том же направлении вряд ли достанется сказать что-нибудь существенно новое» (но норманистика есть такое «поле чудес», что «существенно новое» на нём прорастает, а такова природа всякого сорняка, включая исторического, постоянно и в огромном количестве)⁵².

Славословие норманнов мощно усиливала и мощно расширяла границы его гипнотического воздействия на всё российское общество романтическая литература, весьма увлечённая, в силу разных причин, скандинавоманией. В том числе под влиянием европейских романтиков, Н.М. Карамзина, мифа о викинг-ах (к популяризации которого руку приложили и швед Э. Тегнер в 1820-х гг., и наши ультранорманисты), скандинавских саг, публикуемых на русском языке и бывших, как констатирует Д.М. Шарыпкин, «участницей литературного процесса в России эпохи романтизма». В первой половине XIX в. было столь «модно» обращаться к теме «древние скандинавы» вообще и «варяги-скандинавы» в частности, что им в своём творчестве уделяли значительное внимание известные наши литераторы (К.Н. Батюшков, А.И. Одоевский, М.Н. Загоскин и др.).

Декабрист К.Ф. Рылеев в думе «Рогнеда», изданной в 1825 г., сказал о Роголоде словами героини, обращёнными к сыну Изяславу: «Родитель мой, твой славный дед / От тех варягов происходит, / Которых дивный ряд побед / Мир в изумление производит. / Покинув в юности своей / Дремучей Скании дубравы, / Вступил он в землю кривичей / Искать владычества и славы / ... / И скоро дед твой овладел / Обширной Севера страной». А в набросках к незаконченной думе «Вадим» восклицал: «Насыляет Скандинавия / Властелинов для славян!». Другой декабрист, Ф.Н. Глинка, в 1818 г. в журнале «Сын Отечества» прославлял, несомненно, под впечатлением идей Монтескье, жизнь древних скандинавов: страны Севера, где «никогда не раздавался обидный человечеству звук оков», «справедливо могут наименоваться колыбелью свободы».

Роман А.Ф. Вельтмана «Светославич, вражий питомец» (1835) «насыщен, — отмечает Шарыпкин, — историческими экскурсами, носящими фантастико-романический характер», и на Руси он, следуя сагам, которые ставит выше ПВЛ, «в изобилии» находит скандинавские эпонимы, варяги говорят у него на тарабарщине — условно-«скандинавском» языке, который сопровождается русским переводом (в отношении авторских примечаний В.Г. Белинский заключил с иронией, хотя сам исповедовал норманизм: «В них у него всё происходит от немцев; сам Адам чуть ли не немец»). Его же перу принадлежат исторические труды, в одном из которых — «О господине Новгороде Великом» (1834) — в качестве примера пребывания на Руси скандинавов приведено название города Валдай, потому как, а «норманистско-лингвистические» фантазии не знают границ, «оно составлено из *Wald* — лес и *Ey* — остров». Причём Вельтман поясняет, какой «железной аргументацией» он руководствуется: «Покуда верьте мне на слово; а я прибавлю ещё несколько слов насчёт... скандинавов, которые

надавали всему свои прозвания; наприим. Уральские горы происходят от слова *Urfill*, т. е. граничные горы; греки переименовали это слово в *Riphæos*; *Биармия* от *Bär-ta*, или *Bjor-ta Медвежья земля*. Ко всему же он «подозревает», что Рюрик, Синеус и Трувор были сыновья норвежского конунга Харальда Прекрасноволосого: «Рерик, Сиграуф и Гудрауфур»⁵³ (хотя этот Харальд был, как «вписывают» его в привычную нам хронологию, отсутствующую в сагах, младше Рюрика и умер приблизительно в 928 г.⁵⁴).

Ультранорманизм, будучи уродливым проявлением нашей тяжелейшей болезни — западничества, глубоко поразил нашу науку и наше образованное общество, и потому ему верили на слово, превратил русскую историю в производное от шведской, в приложение к ней, в череду необъяснимых событий, открыл, по словам Д.И. Иловайского, «небывалый *норманский период*» в русской истории⁵⁵ (и эту небывальщину проповедовали многие учёные, например, А.А. Куник и Ф.А. Браун⁵⁶). Вместе с тем сама «мода, — как охарактеризовал это явление в 1844 г. бывший его «пленник» М.Н. Макаров, — онемечивать начало Руси»⁵⁷, столь резко входила в противоречие не только с показаниями источников, но и с элементарным здравым смыслом, что подверглась критике со стороны тех норманистов, кто не был до конца одурманен фимиамом, который беспрестанно курился скандинавам, и кто мог потому слышать оппонентов.

Так, в 1839 г. В.Г. Белинский, своей беспощадной критикой противников норманизма во многом усиливший в науке и обществе неприязненное отношение к антинорманизму в целом, вместе с тем заметил в адрес Н.А. Полевого и многих его современников, что «историки наши ищут в русской истории приложение к идеям Гизо о европейской цивилизации, и первый период меряют норманским футом, вместо русского аршина!...». В 1877 г. чешско-русский славист И.И. Первольф пародийно изложил суть ультранорманизма, окарикатуривавшего наше государственное начало: «варяго-русы — скандинавские норманны — это сделалось... исторической аксиомой... Русь, Русская Правда, боярин или боярин, вервь, град, ряд, полк, весь, навь, смерд, вено и проч., всё это оказывается поклонниками Одина и Тора, да и этот последний житель Валгаллы едва ли не переселился на берега Днепра, переименовав только фамилию в Перуна. Всё делали на Руси скандинавские норманны: они воевали, грабили, издавали законы, а те несчастные словене, кривичи, северяне, вятичи, поляне, древляне только и делали, что платили дань, умыкали себе жён, играли на гуслях, плясали и с пением ходили за плугом, если не жили совсем по-скотски». Ф.И. Успенский резонно заметил в 1888 г., что если могущество Руси связано со скандинавскими князьями и их скандинавскими дружинами, «то они похожи на чародеев, о которых рассказывается в сказках»⁵⁸.

В своих оценках того же явления антинорманисты были более лаконичны и конкретны. Ю.И. Венелин в 1836 г. исчерпывающе определил его как «скандинавомания», Степан Александрович Гедеонов в начале 60-х гг. — как «ультраскандинавский взгляд на русский исторический быт», Д.И. Иловайский десятилетием позже — как «крайний норманизм»⁵⁹. В 1841 г. М.А. Максимович, рассуждая о взглядах современников-норманистов на историю Руси, подчеркнул: «Это видение скандинавства руссов, теперь господствующее в нашей ис-

тории, иногда обращается почти в болезнь умозрения», а выводы О.И. Сенковского охарактеризовал в качестве «миражей, призраков исторических»⁶⁰ (в 1931 г. норманист В.А. Мошин в полном согласии с антинорманистами тот же настрой нашей науки определил, о чём речь уже шла, как «ультранорманизм»).

На то, каким образом формировался этот «ультраскандинавский взгляд на русский исторический быт» и как в науке создавались «призраки исторические», указывали антинорманисты. Ещё М.В. Ломоносов в первом отзыве на речь Г.Ф. Миллера заметил, что «из одного сходства имён» нельзя «выводить следствия». Затем Г. Эверс решительно выступил против «ложного света произвольной этимологии», потому как «мы видим только сходство звука, но самое величайшее сходство не предохраняет от заблуждения». Ибо «в самых далёких между собою странах звуки по одному случаю часто бывают разительно сходны: кто не почёл бы имён Лохман и Свенванга за германския или скандинавския, если бы сии имена не были бы ему известны прежде? И между тем то принадлежит арабу, а сие китайцу». Н.В. Савельев-Ростиславич подчёркивал, что «*желание сблизить саги с летописью, сказки с былью, а это неминуемо увлекло изыскателей в мир догадок, ничем не доказанных, и заставило нещадно ломать звуки на этимологической дыбе*»⁶¹.

Дерптский историк И.Г. Нейман, ведя речь о том, как норманисты заставляют «русские» названия днепровских порогов непременно быть только скандинавскими (германскими), резюмировал, что этот результат уже «по необходимости брать в помощь языки шведский, исландский, англо-саксонский, датский, голландский и немецкий... делается сомнительным». Норманисты «считают, — уточнял Н.И. Костомаров, — что названия порогов написаны неверно и поправляют их». М.М. Тебеньков, говоря, что названия порогов «трактуются по корням германским с большою натяжкою», справедливо подытоживал: «С такою же точно натяжкою их можно произвести и от корней славянских (как это делал Эверс) и от литовских (Костомаров)» (а В.Н. Юргевич, стоит добавить, спокойно вывел эти названия из венгерского языка)⁶².

И.Е. Забелин, касаясь норманистской интерпретации летописных имён, правомерно отметил её совершеннейшую зыбкость, потому как их «лингвистически можно, с равным успехом, растолковать из любого языка» (как бы иллюстрируя эти слова, Г.М. Барац в 1910 г. имена договоров Олега и Игоря преподнёс в качестве чисто русских, отчасти еврейских, половецких, литовских и заключил, что «не видно между ними ни одного мужского имени скандинавского»). Д.И. Иловайский и Н.П. Загоскин констатировали, что сторонники норманства варягов исправляют, основываясь на созвучиях и всевозможных натяжках, имена собственные ПВЛ «в сторону скандинавского происхождения их», благодаря чему почти все они оказываются скандинавскими, даже чисто славянские. Причём, как верно указал Иловайский, «розыски русских имён в норманской истории и мифологии начались... прямо с предвзятой мыслью. Норманисты шли от того положения, что русь пришла из Скандинавии и, следовательно, имена её должны быть скандинавские». «И замечательно, — завершал свои наблюдения историк, — что между известными *историческими* именами Скандинавии мы не находим соименников Олегу и Игорю, и наоборот, наиболее употреби-

мые исторические имена у скандинавов, каковы Гаральд, Эрих, Олаф, Эдмунд и другие, совсем не встречаются в русских летописях». В целом же, как подводил черту в 1874 г. Д.Ф. Щеглов, «норманисты в филологических доказательствах, оказавшихся потом большей частью неудовлетворительными, нашли главную опору своей теории»⁶³.

Ю.И. Венелин и Н.В. Савельев-Ростиславич заостряли внимание на способе, коим норманист XVIII в. Ф.Г. Штрубе де Пирмонт представил русско-славянского бога Перуна скандинавским Тором: «Так как филологический переход очень неловок от *Тора* к *Перуну*, то Перуна прежде превращает в *Феруна*; и выводит наизнанку, что-де готическое *th* изменилось в *ф* или *n*, и что-де русские изменили *th* в *p* потому, что и этолийские греки греческую *θ* произносят как *φ*!», т. е. выстроил, с целью «доказать скандинавизм русской (славянской) мифологии», ряд «Перун-Ферун-Терун-Тер-Тор». В 1909 г. Ф.В. Тарановский отметил, что первый исследователь древнего русского права Штрубе, «приступая к исследованию Русской Правды, отправлялся от готовой схемы норманской теории, выработанной Байером и Миллером. Когда Шлёцер приступил к разработке по летописям древнего периода русской истории, он застал уже рассуждения Струбе, признал его выводы и использовал их в качестве одного из доказательств скандинавского происхождения варягов». Таким образом получался «заколдованный круг: национальность варягов служила предпосылкой заключения о заимствовании постановлений Русской Правды из германских народных законов, а затем “изумительное” сходство с ними Правды служило одним из доказательных средств для установления национальности варягов»⁶⁴.

Справедливость замечаний оппонентов в полной мере подтверждают норманисты (речь об этом частично шла). А.Л. Шлёцер, рассуждая о смешной склонности «связывать одинакие названия, несмотря ни на время, ни на место, ни на язык, а как попало», предостерегал, получив хороший урок от М.В. Ломоносова: «*Сходство в именах, страсть к словопроизводству* — две плодovитейшие матери догадок, систем и глупостей». Живописуя при этом, как «если же слово... не имеет заметной с другим созвучием, то его поднимают на этимологическую дыбу и мучат до тех пор, пока оно, как будто от боли, не закричит и не даст такого звука, какого хочется жестокому словопроизводителю». В 1825–1864 гг. М.П. Погодин, отмечая, что «так соблазнительны и обманчивы звуки!», констатировал, что толкования некоторых днепровских порогов у академика А.Х. Лерберга «натянуты».

А.А. Куник в 1845 г. признал «лингвистические» выводы Г.З. Байера крайне неверными и «отчасти насильственными» (но при этом сам точно так поступая в интерпретации летописных имён, действуя лишь несколько тоньше). Позже, в 1864 г., показывая несостоятельность толкования Штрубе и Шлёцером титула «хакан» Бертинских анналов в качестве личного скандинавского имени Гакон, Куник заметил (а его слова отражают суть этимологий норманистов): «Струбе, Шлёцер и др. брались за дело слишком легко, схватывая на удачу, какое случилось, скандинавское личное имя». Выше приводилась оценка В.О. Ключевского способа востоковеда Байера переименовывать имена летописных героев в скандинавские: «Впоследствии многое здесь оказалось неверным, натянутым, но

самый приём доказательства держится доселе»⁶⁵, т. е. до конца XIX в. (но то же самое следует сказать и о XX в., и идущем XXI столетии).

В 1851 г. С.М. Соловьёв обратился, на примере в первую очередь М.П. Погодина, к принципиальной критике вопроса, «который так долго господствовал в нашей исторической литературе, именно к вопросу о норманском влиянии». Показательно, что этой критикой историк и начинает свой первый том «Истории России с древнейших времён», и его заканчивает. Причём в «Предисловии» Соловьёв сразу же отмечает, что «при начале русского общества не может быть речи о *господстве* норманнов, о норманском периоде» (вместе с тем говоря, что скандинавы не стояли «выше славян на ступенях общественной жизни, следовательно, не могли быть среди последних господствующим народом в духовном, нравственном смысле»). Далее критикует Соловьёв Погодина за то, как он своё упорство видеть везде только одних норманнов воплощал на деле и создавал аргументы-фигиции, которые, в свою очередь, порождали подобные. Во-первых, пропагандирует тезис, «что наши князья, от Рюрика до Ярослава включительно, были истые норманны», в то время как Пясты в Польше, возникшей одновременно с Русью, действуют точно таким же образом, что и Рюриковичи, хотя и не имели никакого отношения к норманнам. Во-вторых, что, «отправившись от неверной мысли об исключительной деятельности варягов во всё продолжение первых двух веков нашей истории», Погодин «старается объяснить все явления из норманского быта», тогда как они были в порядке вещей у многих европейских народов.

В-третьих, важное затруднение для Погодина представляло «то обстоятельство, что варяги-скандинавы кланяются славянским божествам, и вот, чтобы быть последовательным, он делает Перуна, Волоса и другие славянские божества скандинавскими. Благодаря той же последовательности Русская Правда является скандинавским законом, все нравы и обычаи русские объясняются нравами и обычаями скандинавскими». «Таковы, — заключал учёный, — вредные следствия того одностороннего взгляда, по которому варяги были исключительными действующими в начальном периоде нашей истории». В конечном итоге историк, охарактеризовав, не увидев тому свидетельств, «влияние скандинавской народности на славянскую» как очень незначительно, объяснил этот факт по Шлёцеру и Карамзину: они «при своей численной незначительности быстро сливались с туземцами, тем более что в своём народном быте не находили препятствий к этому слиянию».

На защиту Погодина и его идей в том же 1851 г. моментально поднялся К.Д. Кавелин, полагая, что выступление Соловьёва против «полновесного в настоящем вопросе авторитета» Погодина, «против влияния варягов и норманского периода не выдерживает критики». И хотя сам же вёл речь о «крайности» этого учёного, но подчёркивал, что она «более близкая к истине, чем мнение г. Соловьёва»⁶⁶ (в своих воспоминаниях последний позже очень жёстко скажет: «Погодин засел в варяжский период, остановился здесь; вследствие прекращения движения явилась плесень», он «ничего не делал дальше варягов, дошёл до нелепых крайностей, запутался, завяз»⁶⁷). Однако мнение Соловьёва о начальной истории Руси — есть мнение Погодина, лишь только без некоторых его

крайностей: варяги суть скандинавы, на известиях ПВЛ «основывается мнение о скандинавском происхождении варяго-руси,... это мнение древнейшее, древнейшее в науке, древнейшее в народе», свидетельство летописи подтверждается свидетельствами иностранными (Бертинскими анналами, Лиутпрандом), «известием арабских писателей о нетождестве варягов, руси и славян», именами первых русских князей и их дружинников, что до призвания варягов у восточных славян не было «правды, т. е. беспристрастного решения споров, не было у них устава, который бы все согласились исполнять, не было власти, которая бы принудила слушников к исполнению принятого устава».

Соловьёв не сомневался и в том, что «поклонник Тора легко становился поклонником Перуна», потому как различие было только в названиях, что варягам-русам был известен, ещё ранее прихода Рюрика, «великий водный путь из Балтийского моря в Чёрное; давно они усаживались между племенами, жившими у его начала», «что шайки их давно усаживались на берегах Чёрного и Азовского морей и оттуда опустошали окрестные страны», что они в виде малочисленных дружин искали «службы при дворе императора», что норманны — это «первые купцы, первые посредники... между славянскими племенами и греками, они же главным образом посредничают и при введении христианства в Русь», что Киев ещё до Аскольда и Дира был притоном варягов, совершавших нападения «на греческие области», что Олег Вещий сосредоточил в своих руках не только «варяжскую шайку», но и «силы всех северных племён», и потому соединил «два конца великого водного пути», в результате чего «по его берегам образовалась первоначальная Русская государственная область».

Согласно убеждению Соловьёва, новорождённая Русь находилась в беспрепятственных отношениях с норманнами: «от них пришли первые князья, норманны составляли главным образом первоначальную дружину, беспрестанно являлись при дворе наших князей, как наёмники участвовали почти во всех походах», что с Рюрика началась «важная деятельность наших князей — построение городов, сосредоточение народонаселения», что от варягов пришло правительственное начало, что разрозненные и враждующие, в силу «родового быта», славянские и финские племена были приведены в связь завоеванием скандинавов. И далее историк утверждал, что русы-норманны в 913–914 и 943–944 гг. опустошили берега Каспийского моря, что в целом «влияние скандинавского племени на древнюю нашу историю было сильно, ощутительно», что новгородец Улеб, в 1032 г. ходивший на Железные ворота в Заволочье, был (а это в 1871 г. повторил за ним М.П. Погодин, и сейчас повторяют норманисты, например, А.А. Молчанов), «очень может быть», сыном ярла Рагнвальда, стоявшего во главе Альдейгаборга, данного в приданное Ярославом своей жене Ингигерде (сегодня историк Е.В. Пчелов уверяет, что научный взгляд Соловьёва на норманскую проблему «позволил наконец вывести её за рамки политических спекуляций и открыл пути для сугубо научного решения этого вопроса». Эти слова показывают непонимание им историографических проблем, потому как Соловьёв, мало отличающийся в своих взглядах на начало Руси от Погодина, боролся лишь с его ультраанорманизмом. И по этой причине не принял бы «липовую» скандинавскую генеалогию Рюрика,

которую придумал Пчелов, но которая в голову не приходила даже ультра-норманисту Погодину)⁶⁸.

О своём пути, приведшем к превращению русского Велеса в скандинавского Одина (предложив, как и Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, несколько вариантов «перевоплощения» его имени: Один-Вольд/Воольд-Волос; Один-Вуодан-Водек-Волд/Вольс-Волос), довольно простодушно говорил С.К. Сабинин: он шёл не через источники, а «через умозаключение» (причём тут же признаваясь, что не нашёл в сагах, чтобы Один назывался богом скота). Он же откровенно делился соображениями, посредством какого «волшебного фонаря» можно без затруднений осветить древности собственного народа: «Нужно только научиться нам исландскому языку, познакомиться с рунами, с эддами, с сагами, с писаниями, относящимися к ним, не более»⁶⁹. И тогдашние аргументы норманской версии действительно являлись лишь плодом «умозаключения» её приверженцев и на проверку оказывались несостоятельными, что наглядно иллюстрирует пример из норманистской псевдолингвистики — пример мнимых заимствований русских слов из шведского языка.

А.Л. Шлёцер констатировал, что в русском языке не заметно влияния скандинавского языка. И другой представитель германского мира Г. Эверс со знанием дела сказал, что «германских слов очень мало в русском языке» и что «сии немногие столько же обнаруживают верхненемецкое происхождение, как и скандинавское» (вместе с тем он заострил, вслед за Шлёцером, внимание на том, что в русском языке полностью отсутствуют скандинавские термины, связанные с судоходством). В 1834 г. С.М. Строев в ответе О.И. Сенковскому заметил, что в русском языке «не видать никаких следов влияния скандинавского». Два года спустя Ю.И. Венелин констатировал, обращаясь к М.П. Погодину, объяснявшему норманство варягов примерами из русского языка, что «ни малейшего следа шведских слов не находим в русском языке»⁷⁰.

В 1849 г. лингвист И.И. Срезневский, специально обратившись к вопросу заимствования в русском языке слов иностранных, точно подметил, что «решение этого вопроса тем затруднительнее, что ему мешать может... само пристрастие, желание доказать ту или другую любимую мечту, желание, которому иногда ничего не стоит защищать чистую неправду и оспаривать чистую правду». Признавая варягов скандинавами, он вместе с тем указал на тенденциозность, в которую впадают сторонники взгляда особенного влияния скандинавов на Русь: «Уверенность, что это влияние непременно было и было сильно во всех отношениях, управляла взглядом и позволяла подбирать доказательства часто в противность всякому здравому смыслу». Вместе с тем учёный весьма удивлялся мнению И.Ф. Круга, всю жизнь свою занимавшегося одним древним периодом русской истории, что славяне в древности «князей не имели, следовательно, не могли иметь и особенного названия для них, а заняли они его от германцев, которые издревле имели Kong=King=Konung=König».

Срезневский, проведя тщательный анализ слов, приписываемых норманам, которыми увлекали «пристрастных и простодушных», показал нескандинавскую природу большинства из них — боярин, вервь, вира, верста, господь, гость, гридь, дума, князь, луда, люд, меч, мыто, навь, нети, обел, огнищанин,

оружие, смерд, терем, якорь, город, дружина, колокол, котёл, лодия, муж, стяг, холоп, цепь, челядь (ибо они есть общеславянские). И пришёл к выводу, что «остаётся около *десятка* слов происхождения сомнительного или действительно германского, каковы напр. *тивун*, *шильник*, *ябетник*, и если по ним одним судить о степени влияния скандинавского на наш язык, то нельзя не сознаться, что это влияние было очень слабо, почти ничтожно» (но, как резюмировал Гедеонов, я не могу допустить с Срезневским «и того *десятка* слов происхождения сомнительного или действительно германского... и к которым причисляет слова *тивун*, *шильник* и *ябетник*. Слова, каковы, напр., *шильник* и *шнека* не идут к вопросу о норманском происхождении Руси; их позднейшее происхождение от германского и скандинавского языков имеет известное историческое основание в торговых и иных сношениях Новгорода со шведами и немцами в XII–XIV столетиях и доказывает происхождение руси от норманнов, как английские, голландские и французские слова в русском языке доказывают происхождение руси от англичан, голландцев и французов»)⁷¹. Заключение Срезневского не прошло мимо внимания историков-норманистов (например, С.М. Соловьёва) и поубавило их ультранорманистские настроения⁷². Эти же настроения поубавило столь же объективное заключение академика Я.К. Грота, которое он — также норманист — огласил в 1873 г.: «...Сношения древней Руси со скандинавским Севером мало оставило следов в языке её народа»⁷³.

Манера работы норманистов с источниками полно проявилась тогда и в их потребительском отношении к ПВЛ, которая сводилась к тому, что они заставляют её говорить, указывали Г. Эверс и Ю.И. Венелин, то, что от неё хотят услышать. Затем М.Н. Макаров и Н.И. Костомаров констатировали, что норманисты (Погодин, Бутков) на свой лад перетолковывают летопись. М.А. Максимович конкретно вёл речь о том, как «самопроизвольно и небрежно» обращался с ней Шлёцер. С.А. Гедеонов, также отмечая его «непростительно вольное обхождение» с летописью («где Нестор мешает ему, он укоряет его вставками; где случай наводит его на факты, явно опровергающие его систему, он или молчит, или довольствуется бесплодным на них указанием»), заострял внимание на том, что норманская теория принимает и отвергает её текст «по усмотрению». Правомерность приведённых оценок антинорманистов подтвердил крупнейший специалист в области летописания и сторонник норманизма М.Д. Присёлков, сказав в 1940 г. о «величайшем произволе» Шлёцера, с которым он «очищал» Нестора⁷⁴ (полнейший произвол по отношению к источникам — характерный стиль норманистов всех времён и народов. Как сказал в 1955 г. Г.В. Вернадский в отношении работы «Происхождение России» поляка Х. Пашкевича, вышедшей годом ранее в Лондоне, когда свидетельство источника противоречит его мнению, он, «не колеблясь, исправляет текст»⁷⁵).

А в основе такого произвола, убивающего науку, лежала предубеждённость норманистов в своей правоте, сила которой была столь велика, что они (и делая это часто невольно, в силу бессознательного ультранорманистского рефлекса) до неузнаваемости преображали исторические источники, не только наполняя их нужным себе содержанием, но и в желательном для себя духе «исправляли» их тексты, тем самым вбрасывая в науку очередной рукотвор-

ный «довод» в пользу скандинавства варягов и руси. Как это делалось, видно на примерах, связанных с высокочтимыми именами А.Л. Шлёцера, Н.М. Карамзина и востоковеда Х.Д. Френа. Первый из них утверждал ультранорманизм в том числе апелляцией к появившемуся в летописях во второй половине XV в. указанию на то, что варяжские князья — Рюрик и его братья — пришли «из немец». Исходя лишь из того, что «большая часть славянских народов называется так собственно *германцев*», он придал этому известию силу аргумента в пользу того, что «варяги суть германцы (немцы)». Ибо летописное предание, завершал Шлёцер свою мысль, позабыв происхождение призванных на Русь князей, «ничего более не знало, кроме того, что они немцы»⁷⁶.

«Силу доказательную имени немец» в установлении этноса варягов затем защищали широко известные в России и за рубежом учёные (А.Х. Лерберг даже привёл подборку летописных известий, в которых шведы и готы названы «немцами»). Особенно активно это «доказательство» отстаивал М.П. Погодин, подчёркивая, что в ряде летописей «вместо *варягов* поставлены *немцы*. Это известие примечательно, показывая, кого разумели под варягами и средние летописатели, ближайшие к ним и к Нестору». Сам же факт замены одного термина на другой он объяснял тем, что «пока имя варягов было общепонятно, до тех пор и употреблялось, а впоследствии летописатели начали для ясности заменять оное известнейшим». Точно так рассуждали тогда и затем А. Рейц, А.А. Куник, П.Г. Бутков, М.С. Грушевский, А.А. Шахматов. Причём Куник, с одной стороны, убеждал, что «нельзя доказать, чтобы в древнейшие времена славянское название германцев «немцы» было употреблено и не к германским народам». С другой, категорично оспаривал мнение о значении термина «немцы» как иноземцы вообще и увязывал его прежде всего со шведами, приводя тому, как и Лерберг, примеры («свейские немцы» и пр.)⁷⁷.

Однако точка зрения Шлёцера не имеет ничего общего с фактами, на которые задолго до него обращали внимание иностранцы, прежде всего шведские учёные, работы которых он хорошо знал (ему принадлежит труд «Новейшая история учёности в Швеции»). Так, швед Ю.Г. Спарвенфельд, живший в Москве в 1684–1687 гг., в «Славянском лексиконе» слово «немчин» пояснил как «иноземец»⁷⁸. Немец Ф.И. Страленберг, после Полтавы 13 лет проведший в русском плену, в 1730 г. доводил до сведения читателя, что «под именем немца прежде россияне почитай всех европейских народов разумели, которых по словенски или по руски говорить не знали. Ныне же сие об одних... германах разумеется»⁷⁹. Тем более, конечно, не могли не знать все нюансы бытования этого термина в своём родном языке русские исследователи, энергично закреплявшие в науке довод Шлёцера.

Ведал же об этом ещё плохо владевший в 1749 г. русским языком немец Г.Ф. Миллер, подчеркнув в «диссертации»: «Когда же упоминается, что князья варяжские приехали из *немец*, которым именем разумеются ныне германцы, то тем мнение наше о отечестве варягов не опровергается. Ибо никому истории наши хоть мало знающему не известно быть не может, что издревле все западные народы, выключая одних славенских, в России называны были немцами»⁸⁰. Другой немец Г. Эверс прямо опротестовал мнение Шлёцера. Соглашаясь с ним,

что сейчас во всех славянских языках «немцем называют германца», он вместе с тем указал: «Но прежде это слово имело общее значение по отношению ко всем народам, которые говорили на непонятном для словен языке» (потому под варягами-«немцами» не следует понимать исключительно германцев. Очень широкое значение термина «немцы» отмечал и Н.М. Карамзин: «Предки наши действительно разумели всех иноплеменных под именем немцев»⁸¹.

Но говоря так, историк, столкнувшись с варягами-«немцами» в письме Ивана Грозного к шведскому королю Юхану III от 11 января 1573 г., превратил их в «шведов». Так, если царь утверждает, что «в прежних хрониках и летописцах писано, что с великим государем самодержцем Георгием-Ярославом на многих битвах бывали варяги, а варяги — немцы, и коли его слушали, ино то его были», то в передаче норманиста Карамзина звучало: «Народ ваш искони служил моим предкам: в старых летописях упоминается о варягах, которые находились в войске самодержца Ярослава-Георгия: а варяги были шведы, следственно его подданные»⁸² (сам разговор об Ярославе Мудром завёл русский монарх, специально в ходе Ливонской войны заостряя внимание на исторических правах России на Прибалтику, против чего силой оружия выступила в 1570 г. ещё и Швеция, в своём послании Юхану III в октябре 1571 г.: «Потому при нашем прародителе при великом государе Ярославе Георгии, которой в чюди в своё имя в Вифлянскои земле град Юрьев поставил... А не токмо Вифлянская земля и Свеиская послушна была, и заморские немцы на воину с ним хаживали, то в летописцах в старых и в кроноках написано»⁸³).

В редакции Карамзина слова Грозного, выдаваемые за подлинные, цитировали С.М. Соловьёв (1842), А.А. Куник, датский лингвист В. Томсен (а с ними и другие), используя их в качестве аргумента в пользу не только норманства варягов, но и «норманистских настроений» русского общества (письмо царя — наглядный пример «живучести в России XVI–XVII в. традиции видеть в варягах именно шведов»)⁸⁴. При этом даже не задумываясь над тем, по причине ультра норманизма, что царь никак не мог в самый разгар Ливонской войны дать Юхану III — в лице варягов-шведов своего прародителя Ярослава Мудрого, покоривших ему земли будущей Ливонии, — очень важный исторический аргумент в обосновании притязаний на неё, тем более тогда, когда за обладание этой территорией уже шла русско-шведская война⁸⁵.

В полном согласии с Карамзиным поступил в 1823 г. с «антинорманистскими» показаниями ад-Димашки (1256–1327) Х.Д. Френ. Арабский географ, повествуя о «море Варенгском» (Варяжском) и используя какое-то несохранившееся древнее известие, поясняет, что варяги «суть славяне славян (т. е. знаменитейшие из славян)». Ю.И. Венелин, остановившись на этих словах, заметил, что, во-первых, «норманнолюбцы в арабах никакой не могут иметь подпоры», во-вторых, пристрастие академика Френа, трактовавшего арабские известия «прямо в подтверждение Байеро-Шлёцеровского учения», придало им совершенно иное звучание. Потому как, откровенничал прекрасный знаток арабского языка, «я очень сомневаюсь в правильности текста», и «мне пришло в голову» прочитать иначе: варяги «живут насупротив славян», т. е. напротив славянского южнобалтийского побережья, значит, в Скандинавии. Как, с оправ-

данным возмущением резюмировал Венелин, «мы дожили до неслыханного в летописях исторической критики подвига, т. е., что то свидетельство, которое в полной мере сообразно с Нестором опровергает всё учение Байеро-Шлёцеристов и громогласно объявляет славянизм варягов, приняли за главнейшее доказательство норманизма, шведизма, сего народа, за доказательство и подтверждение, говоря, того, что именно опровергается!!!!»⁸⁶.

Всё та же норманистская тенденциозность авторитетного тогда ориенталиста Френа сразу увидела в русах Ибн Фадлана кого надо: «...Во всей той картине, которую представляет нам арабский писатель о положении русов на Волге, во время Игоря, сына Рюрика, мы снова находим норманнов, как их описывают около того самого времени франкские и английские писатели». В 1838 г. сообщению эль-Катиба (ал-Йа'куби) о нападении русов на Севилью он посвятил статью с кричащим названием: «Новое доказательство того, что основателями Русского государства были норманны». Тогда же его коллега П.С. Савельев, подхватив в названии своей статьи сей победный клич, вместе с тем признал, что в текстах восточных авторов Френ «всегда видел доводы в пользу скандинавского происхождения русов, хотя в сих известиях... не говорится положительно об этом предмете», и что ни один восточный историк вообще не сообщает ясного известия о происхождении русов⁸⁷.

По точному замечанию от 1869 г. А.А. Котляревского, «мнение о норманстве арабской руси составилось не вследствие разбора и оценки арабских свидетельств, а от готовой гипотезы о норманском происхождении имени Русь». И только по этой причине немецкий востоковед Й. Маркварт в 1903 г. предложил, что наименование одного из видов русов «ал-Луд'ана», содержащееся у ал-Мас'уди, необходимо читать «ал-Урдм'ана», т. е. «норманны» (в 1964 г. также специалист по Востоку В.Ф. Минорский, настаивая именно на таком прочтении, разъяснил «специфику» работы норманистов со сложнейшими восточными источниками: «При расшифровке малоизвестных арабам европейских имён приходится думать не только о сходстве написания с именами, известными в других языках, но и возможности, соответственно, восстановить арабское начертание, другими словами — не только о внешних сравнениях, но и о палеографии», другими словами — как можно «научно» подогнать любой текст под свою умозрительную концепцию. Точно такой подгон он сам совершил в 1937 г., посчитав, что название «Дарья-йе гурзьян», т. е. «Грузинское море»/Чёрное море «Пределов мира от востока к западу», написанных около 982 г., «является не чем иным, как искажённым “Дарья-йе варанг”, т. е. Варяжским морем»)⁸⁸.

В арсенале норманистов имеется ещё один способ работы с не устраивающими их показаниями источников — это способ отрицания. Так, в угоду своей концепции, связывающей имя «русь» исключительно только со скандинавским Севером, они пытались вычеркнуть из истории черноморскую русь, нападавшую на Византию как до призвания варягов, так и до времени их закрепления в Киеве. А.Л. Шлёцер, отнеся её к «неизвестной орде варваров», неизвестно откуда пришедшей и затем неизвестно куда канувшей, заключил, «*руссы*, бывшие около 866 г. под Константинополем, были совсем отличный от нынешних *русов* народ, и следственно не принадлежат к *русской* истории». Это мнение пол-

ностью поддержал в 1816 г. немецкий учёный Г.Ф. Голлман⁸⁹. Позже А.А. Куник, прекрасно осознавая, что арабские, византийские, русские и западноевропейские свидетельства о присутствии руси на берегах Чёрного моря в дорюриково время полностью сокрушают норманизм, утверждал, что они «положительно не выдерживают критики» и «несостоятельны полностью». В связи с чем категорически отверг позицию С.М. Соловьёва, отделявшего русь от варягов и видевшего в ней народ, до Рюрика живший на юге Восточной Европы, а «повинного» в доказательстве бытия южной руси в доваряжский период Г. Эверса обвинил в поверхностном отношении к делу. За Куником и другие повторяли, «что мнимые известия о руссах в России до Рюрика у писателей» армянских, персидских, арабских и византийских «не имеют исторической достоверности»⁹⁰.

Но, несмотря на подобные заверения, значительная часть научного мира, в том числе норманисты (включая зарубежных), успешно разрабатывала тему давнего пребывания руси в Причерноморье. Чему огромный импульс придал в 1808 и 1814 гг. Г. Эверс, потрясший тем самым, по признанию норманиста Н. Сазонова от 1835 г., «систему скандинавского происхождения Руси»⁹¹. В 1931 г. и норманист В.А. Мошин выделял его доказательство пребывания руси на Чёрном море до 862 г. (он заострял внимание на свидетельстве «Хронографии» Феофана, которая, описывая поход в 774 г. Константина V против болгар, рассказывает, что император, послав вперёд против болгар флотилию, позднее сам приплыл к Дунаю на *ροῦσία χεῶνδια*, которые интерпретируют либо как «красные корабли», на чём настаивал Г.З. Байер, либо как «русские корабли». Последнее толкование принял Эверс, выводя отсюда, что русские, проживая на северных берегах Чёрного моря, плавали по нему уже в VIII столетии). Как подводил своего рода черту в 1869 г. востоковед Д.А. Хвольсон, отмечая, что арабы именуют Чёрное море Русским, что русы обитают на его берегах и что по нему ходят исключительно их суда: «Из этого видно, что руссы, по крайней мере во второй половине IX века уже жили около Чёрного моря; противное этому мнение гг. Погодина и Куника поэтому не имеет никакого веса»⁹².

Д.И. Иловайский указал на ещё один приём работы норманистов с восточными известиями, локализующими русь на юге Восточной Европы: всё, что прямо противоречит их теории в этих свидетельствах, «то неверно и ошибочно. Что сообщается тёмно и запутанно, истолковывают в пользу возлюбленных скандинавов». Причём в данных источниках, подчёркивал историк, ничто не указывает на норманство руси (подобное говорили и до него, близко к тому скажет затем датчанин В. Томсен), но норманисты «преспокойно относят к скандинавам всё, что арабы говорят о руссах» — и высокий рост, и стройность, и русые волосы, и одежду, и мечи, и любовь к выпивке. Хотя сообщение Ибн Фадлана о разделе имущества покойного на три части, резонно заметил он, «совершенно удовлетворительно объясняет происхождение славянского слова *тризна*, которым обозначалось погребальное пиршество или поминки»⁹³.

Несмотря на явные недоразумения, которыми так полна норманская теория, несмотря на явное стремление её приверженцев, по оценке С.А. Геденова, обсуждать русские древности «(иногда и бессознательно) с точки зрения скандинавского догмата», плодом чего явились многочисленные ошибки и заблуж-

ждения, несмотря на то, что, как признавал в 1841 г. правоту антинорманистов норманист В.Г. Белинский, скандинавы «не оставили по себе никаких следов ни в языке, ни в обычаях, ни в общественном устройстве», в нашей науке той поры восторжествовало мнение А.Л. Шлёцера, суть которого выразил М.О. Коялович: признавать норманизм — «дело науки, не признавать — ненаучно»⁹⁴. Ибо, как считали тогда и как считали в советское время, например, И.П. Шаскольский в 1983 г., «многие антинорманисты XVIII–XIX вв. (Ломоносов, Гедеонов и др.) ясно сознавали скрытую антирусскую направленность норманизма «и откровенно заявляли», что они выступают против него «из патриотических соображений» (но Ломоносов, Гедеонов и «др.» такого никогда не говорили). И выступали они против норманской теории «не из научных позиций, а из соображений дворянско-буржуазного патриотизма и (Иловайский, Грушевский) национализма». Их построения носили «любительский, дилетантский характер, не основывались на серьёзном изучении источников, а наоборот — исходили из представления о возможности произвольно приспособлять показания источников к любым домыслам и догадкам».

Одновременно с тем, фиксировали в 70–90-х гг. XIX в. эту ведущую к неизбежным ошибкам научную аномалию И.Е. Забелин и И. Филевич, норманисты вселяют «величайшую осторожность и, можно сказать, величайшую ревнивость по отношению к случаям, где сама собою оказывалась какая-либо самобытность Руси, и в то же время поощряя всякую смелость в заключениях о её норманском происхождении». В результате чего к «крайностям немецкой школы... наша наука внимала с благоговением, в полном убеждении, что это “последнее слово в науке”». Забелин, указывая, что не на стороне антинорманистов «была наука или, лучше сказать, общее мнение учёных людей, которым, конечно, гораздо легче было повторять Шлёцеровские зады, чем копаться в новых источниках», констатировал: «Для утверждения норманства руси и о великом влиянии на нашу жизнь варягов не требовалось никакого самостоятельного знания и труда. Достаточно было только крепче держаться Шлёцера и приводить уже обработанные, готовые доказательства из его сочинений»⁹⁵.

Вследствие этих причин и особенно в силу того, что шведский взгляд на русские древности, возведённый Министерством народного просвещения в ранг официальной теории (и потому долженствующий в обязательном порядке присутствовать во всех учебниках), был освящён западноевропейской историографией и самыми знаковыми фигурами российской науки, его небывалому размаху в России содействовала ещё и атмосфера, которая совершенно не благоприятствовала изысканиям антинорманистов. И прежде всего — это прямое и узаконенное «строгой» наукой оскорбление несогласных с норманской версией начала Руси. Уже говорилось, что А.Л. Шлёцер называл М.В. Ломоносова «совершенным невеждой» в исторической науке и вообще не видел среди наших историков XVIII в. «ни одного учёного историка». Подобный тон в разговоре об оппонентах переняли последующие поколения норманистов.

П.И. Шафарик, авторитет которого за границей и в России в области славянской истории был огромен, в 1837 г. утверждал, что норманисты «усиленным трудом» доказали справедливость своих позиций «основательными и ра-

зительными доводами, достаточными для опытного и беспристрастного судии, а недостаточными только для невежд или предубеждённых ценителей» (и как «опытный и беспристрастный судия» тут же повторял отвергнутое, что русами именовали скандинавов, обитателей небольшого Рослагена)⁹⁶. Тогда же он в одном из писем подчеркнул, что «о варягах-руси можно ещё написать новую книжечку, чтоб известное верное лучше утвердить и известное ложное лучше отстранить (ибо о новых открытиях могут думать только мечтатели и глупцы), но чтоб можно было это сделать с честью после Шлёцера и Погодина, должно для того иметь хорошее филологическое образование (это положение спустя почти 40 лет А.А. Куник возведёт в абсолют. — В.Ф.) и дух беспристрастия, которых, к сожалению, у молодых русских историков не примечается»⁹⁷.

Выше был приведён отзыв В.Г. Белинского, данный в 1845 г. антинорманистам Н.В. Савельеву-Ростиславичу, Ф.Л. Морошкину, Ю.И. Венелину, Г. Эверсу, «мнимым патриотизмом» прикрывающим «свою ограниченность и своё невежество». «Невежами» именовал в 1846 г. оппонентов и М.П. Погодин, а годом ранее П.В. Киреевского, критиковавшего его воззрения и норманизм в целом, назвал в письме к С.П. Шевырёву «глупцом», а тех, кто уже ознакомился с его статьёй в черновом варианте — «скотами» и «невежами» (Погодин в последние годы своей жизни, отмечал А.А. Куник, «считал прямым позором для русской науки возобновление в ней спора о норманском происхождении варяго-руси»). В 1837 г. Н.И. Надеждин теорию Эверса, отважившегося восстать против норманизма, после Шлёцера получившего «каноническую несомненность», охарактеризовал как «ересь неслыханного сумасбродства»⁹⁸ (однако в весьма близкую «ересь» автор скоро сам впадёт при надлежащем знакомстве с источниками, отмечая, что между учёными, выводившими русь с юга, главное место принадлежит Эверсу⁹⁹).

В 1875 г. А.А. Куник, ратуя от имени «строгой науки» за свободу научного исследования, отнёс несогласных с норманизмом к категории «научных обскурантов», которые, мало знакомые с областью сравнительной лингвистики, не заботятся, за немногим исключением, совладать со всем «запасом имеющихся источников, вообще даже не стараются пополнить пробелы своих познаний в этой области» и упражняются «в отрицании фактов, которые в 9-м веке представляются совершенно естественными явлениями» и которые являются точными положениями (но тут же в противоречии со своими словами говоря, что антинорманисты «в будущем могли бы оказывать делу весьма значительные заслуги, продолжая по-прежнему высказываться против всякого шаткого или превратного толкования источников»). Позже А.Е. Пресняков вёл речь о «псевдопатриотических тенденциях» в разговоре о «скандинавском элементе», видевших в умалении его роли «в истории славянства защиту своего национального достоинства и самобытности, и вошло (это умаление. — В.Ф.), в конце концов, в состав историографической традиции, содержание которой не всегда соответствует “установленным результатам научной работы”»¹⁰⁰.

Как заметил в 1876 г. И.А. Забелин, «всякое пререкание даже со стороны немецких учёных почиталось ересью, а русских пререкателей норманисты прямо обзывали журнальною неучью и их сочинения именовали бреднями». На

такую ненормальную ситуацию для науки, позволявшую сторонникам норманской версии, пользуясь её официальным статусом, вводить в заблуждение русское общество по поводу важного для него вопроса начала Руси и беззастенчиво не только шельмовать, но и травить своих оппонентов, обращали внимание даже те исследователи, которые считали варягов скандинавами. «Всякий, — констатировал в 1877 г. И.И. Первольф, — кто не верил в норманскую гипотезу, в скандинавское происхождение варягов и руси, прослыл за еретика». И.И. Срезневский, на следующий год восхищаясь монографией антинорманиста С.А. Гедеонова «Варяги и Русь», назвал среди важных качеств учёного его решимость «бороться с такими силами, которых значение окрепло не только их внутренней стойкостью, но и общим уважением». В 1899 г. антинорманист Н.П. Загоскин дал исчерпывающую характеристику возможностям этих сил, монополизировавших в науке право на истину и тщательно ограждавших свою монополию от любых посягательств: вплоть до второй половины XIX в. поднимать голос против норманизма «считалось дерзостью, признаком невежественности и отсутствия эрудиции, объявлялось почти святотатством. Насмешки и упрёки в вандализме устремлялись на головы лиц, которые позволили себе протестовать против учения норманизма. Это был какой-то научный террор, с которым было очень трудно бороться»¹⁰¹.

И этот научный террор не знал пощады ни к кому: ни к великому Ломоносову, ни к его последователям, ни к мёртвым, ни к живым. Так, Куник в 1875 г. высокомерно-пренебрежительно (а это неуязвимый стиль норманистов в оценке оппонентов, которым они по существу ничего не могут возразить) отозвался о Д.И. Иловайском как об учёном, быстро снискавшем своими разработками начальной истории Руси «авторитет в обширном кругу малосведущих людей», утверждал об отсутствии у него методического разбора источников и о его поверхностном знакомстве с историографией варяго-русского вопроса, относил его к «представителям “ненаучной филологии”». В «Большой энциклопедии», вышедшей под редакцией либерального народника С.Н. Южакова и будущего кадета П.Н. Милюкова, утверждалось в 1903 г., что работы Иловайского как против норманской теории, так и «о Руси у Чёрного и Азовского морей, не признаны строгой исторической критикой», что он не находится «на высоте современной исторической науки» и что его учебники составлены «без достаточного знания исторических фактов и их объяснения»¹⁰².

В 2001 г. И.В. Бабич объяснила, что неприятие политических взглядов историка «“образованное общество” конца XIX в.» «механически переносило на его труды», что «эти настроения выразились в настоящем “походе” на Иловайского, развёрнутом на страницах толстых журналов» по случаю выхода в 1890 г. третьего тома «Истории России», что на рубеже XIX–XX вв. в глазах образованного общества Иловайский «стал синонимом историка-ретрограда, погрязшего в маловажных мелочах. Об этом писали С.Ф. Платонов и В.И. Ульянов (Ленин), А.И. Деникин и В.В. Маяковский», что «безусловное осуждение историком всех революционных выступлений в 1905 г. вызвало резкое неприятие большинства образованных людей (о том же тогда и позже вели речь А.Н. Шаханов, А.Н. Фукс, Л.В. Чекурин, указавший, что в год 60-летия историка «состоялась до-

говорённость о его скорейшем “уничтожении” и что Милюков в 1891–1892 гг. инициировал отрицательные отзывы на его «Историю России»). В целом, как констатировали в 1996 г. В.А. Дурновцев и А.Н. Бачинин, «Иловайщина» стала синонимом идеологической реакции, воплощала ненавистный русской революционной традиции строй»¹⁰³.

Участием в «научном терроре» против антинорманистов не запятнали себя, дав, критикуя их идеи, взвешенные характеристики крупнейшим антинорманистам XIX в., известные норманисты Ф.А. Браун, А.А. Шахматов, М.К. Любавский, В.А. Мошин, Е.А. Рыдзевская и др. Лингвист Браун в 1892–1899 гг. отмечал, что «в некоторых случаях содействуют решению вопроса противники норманизма лучше сторонников его, метко указывают на слабые и спорные пункты в подробностях теории норманистов». Шахматов подытоживал в 1904 г. что здравая критика, внесённая в понимание Сказания о призвании варягов «Эверсом, Костомаровым, Геденовым, Иловайским и другими, показала всю шаткость основания, на котором строили своё здание норманисты». Научную заслугу антинорманистов Любавский видел в том, что они «отодвинули назад в более древнее время прибытие варягов-руси в нашу страну. Так, ими было указано, что имя русь является в памятниках гораздо ранее 862 года, в самом начале IX века»¹⁰⁴.

В 1931 г. Мошин подчёркивал, что «никак не могу согласиться с распространённым мнением о научной ценности антинорманистских трудов... Эверса, Костомарова, Юргевича, Антоновича никак нельзя причислять к дилетантам, а, по моему мнению, этот эпитет нельзя приложить и к Иловайскому, филологические доказательства которого действительно слабы», «но который в области чисто исторических построений руководился строго научными методами, и доказал свою большую эрудицию в русской истории прекрасным трудом “История России”». Причём ряд его открытий, «осветив по-новому различные моменты древнейшей истории Руси, получили всеобщее признание, и заставили даже наиболее упорных его противников внести в свои конструкции необходимые корректуры», принять, например, его идею о существовании Черноморской Руси. И, как подводил черту учёный, в целом ни одна из работ — ни норманистов, ни их противников — по варяго-русскому вопросу «не погибла без пользы». Рыдзевская заметила, «что касается специальной полемики по варяжскому вопросу, то большое значение имели работы антинорманистов» Геденова и Иловайского, и что «антинорманисты вообще выдвигали не только значение автохтонного славянского элемента, но и целого ряда влияний — хазарского, угорского, полабско-славянского, иранского. В этом их преимущество перед норманской школой с её узким и односторонним историческим кругозором». Уместно привести здесь и слова С.М. Соловьёва, сказавшего в отношении «Древнейшего русского права в историческом его раскрытии» Г.Эверса: «Эта книга составляет эпоху в моей умственной жизни, ибо у Карамзина я набирал только факты; Карамзин ударял только на мои чувства, Эверс ударил на мысль; он заставит меня думать над русскою историею»¹⁰⁵.

В советской науке, хотя и иногда, но всё-таки слышались отзывы о заслугах антинорманистов (например, в работах Ю.В. Готье 1930 г., В.В. Мавродина

1946–1949 гг.¹⁰⁶). Но с полным торжеством в ней «советского антинорманизма» утвердилось в отношении дореволюционных антинорманистов мнение, в полной мере выраженное, о чём речь шла, «антинорманистом» И.П. Шаскольским. Перешло оно и в современные труды. Так, в 1994–1997 гг. А.А. Хлезов, представляя в своём лице «взвешенный и объективный норманизм» и характеризуя антинорманизм как только результат «предвзятой идеологической установки», произнёс в форме неутешительного приговора: «Даже несмотря на мощное качественное усиление в лице С.А. Гедеонова и Д.И. Иловайского, лагерь антинорманистов лежал вне магистральной линии историографии»¹⁰⁷. В сущности, Хлезов прав, хотя и имел в виду совершенно иное. «Магистральная линия историографии», сиречь норманизм, далеко не у всех вызывала желание двигаться в означенном ею направлении, ибо слишком явной была её тенденциозность.

В целом же заслуга антинорманистского меньшинства перед наукой заключается в том, что оно выступило против намного превосходящего силами изворотливого противника, не гнушавшегося всеми средствами дискредитировать оппонента и его идеи, выступило против казавшегося незыблемым мнения шумного большинства, имевшего своим союзником давнюю традицию, освящённую первыми именами отечественной и зарубежной науки, а вместе с тем образованное общество и власть, не дало науке обратиться в состояние умертвляющего застоя, принудило «скандинавоманов» отказаться от многих догм и даже признать, что в состав варягов входили представители многих народов, в том числе южнобалтийские славяне. А это всё больше размывало норманскую теорию, делая беспредметным сам разговор о норманстве варяжской руси. И в первую очередь в плане рассуждений о связи имени «Русь» с названием шведского Рослагена, в целом, о шведских корнях русского имени (а в данном вопросе солидарность с антинорманистами проявили некоторые их оппоненты).

В 1808–1814 гг. Г. Эверс указал, что «древнейшее название Упландии, и у Снорри, и, наконец, ещё в 13 столетии употребительное, было Сиаландия, Sialand (Seeland)» и что Рослаген/Родеслаген «встречается прежде всего в утверждении Упландских законов королём Биргером (1295 г.), и потому ничего не может доставить для объяснения русского имени в 9 столетии» (но название Рослаген стало прилагаться к прибрежной части Упланда лишь в конце XV в.). В 1816 г. Г.Ф. Голлман, ведя речь о «натяжках» Шлёцера, заметил, что слово Ruotsi «столь не сходно со словом *русы*, что на нём никак нельзя основаться», и что в летописи не говорится о выходе русов именно из Скандинавии. В 1825 г. и другой немецкий историк И.Г. Нейман подытоживал, что из самих скандинавских писателей так и не смогли подобрать ни одного свидетельства в пользу норманства руси, ибо никто не знает норманнов, которые назывались бы русами.

В том же 1825 г. М.П. Погодин заключил (развивая сказанное в 1846 г.), что Рослаген ничего не доказывает в пользу шведского происхождения варягов и руси. Ибо Швеция в пору их призвания не составляла единого целого, и в её пределах обитало множество мелких, независимых друг от друга племён, только одно из которых называлось шведами (но норманисты не принимают в расчёт

этого факта и рассматривают Швецию IX–XI вв. в качестве не только единого целого, но и какой-то сверхдержавы, способной на проведение грандиозных, даже по сегодняшним меркам, мероприятий на огромных просторах Европы, Азии и даже Северной Америки) и что «начальствующего короля или царствующего королевского дома не было ещё тогда в Швеции». По оценке историка, Шлёцер, выводя из Рослагена варяго-русь и объясняя его название финским наименованием шведов «руотси», «впал сгоряча в противоречие с самим собою». Ибо шведы, по убеждению немецкого учёного, начали называть себя росами, услышав данное имя от финнов, следовательно, дома они так себя не именovali, а это означает, что они шли не из Рослагена (если же они называли себя россами, как уроженцы Рослагена, то их нельзя почитать шведами и нельзя понимать Бертинские анналы, как понимали Тунман и Шлёцер)¹⁰⁸.

В 1827–1828 и 1839 гг. потомок шведов Г.А. Розенкампф довёл наблюдения Эверса до логического конца. Указывая, что у Снорри Стурлусона отсутствует название Рослаген и что берега Упландии в старину именовались Sialand, Seeland (поморская земля), он констатировал: слова Ruotsi и Рослаген, «по-видимому, не доказывают ни происхождения, ни отечества руссов», ибо Rodslagen (корабельный стан) производно от rodhsi-гребцы — «слова шведские ro, ros, rod значат: грести вёслами или идти на гребле; roder вёсла, rodare гребец, и на древнем языке rodi, rodhsi. Буква d в произношении слова почти не слышна и впоследствии выпускалась» — так Rodslagen и стал звучать как Roslagen. Причём Rodslagen-Roslagen, т. е. главное место, «откуда лодьи отправлялись в море», не был принят как географическое название самой области. Отмечая, что в Упландском своде законов 1296 г. нет, как полагал Эверс, обозначения Rodslagen, что термин rodhsi употребляется в нём лишь в смысле профессии, что в том же значении он используется в общем Земском уложении середины XIV в., составленном из областных сводов, и «которому следовало уложение 1733 года» (т. е. ещё в XVIII в. этот термин употреблялся в Швеции только в профессиональном значении), Розенкампф заключил: упландские гребцы-«ротси» не могли сообщить своё имя Руси.

И потому удивительно, «что Шлёцер мог так ошибиться и принимать название военного ремесла за имя народа» (параллельно с тем он вслед за Эверсом указал на факт, уничтожающий норманизм с его Рослагином, что названия Руси и русов были известны византийцам до прихода Рюрика и варягов)¹⁰⁹. В 1837 г. Н.А. Иванов, говоря, что «нынешний *Рослаген* не назывался так в древности», а именовался Роден, заострил внимание на том, что буква *с* входит в название Род-лагена «только по грамматической форме германских языков для обозначения родительного падежа» и «что *росс* или *русс* не означает *гребца* по-шведски». Заключение Эверса, Розенкампфа и Иванова развивали С.А. Бурачёк, Ф.Л. Морошкин, Н.В. Савельев-Ростиславич (нет никакой связи между «Rod's-lagen» и Русь, и потому «в Швеции никогда не было области русской»). Рослаген, констатировал в 1854 г. Е.И. Классен, «не составляет никакой области, это название слишком громко для приморского местечка, могущего, конечно, вместить 5000 торговых людей с их балаганами, но при оседлой жизни недостаточное и для 500 душ»¹¹⁰.

Некоторые положения норманизма, подводил в 1839 г. черту норманист А.Ф. Федотов под воздействием критики Эверса, «решительно теряют доказательную свою силу»: например, «кто примет теперь в число доказательств» Рослаген и «сходство Правды Ярослава с законами скандинавскими»¹¹¹ (А.Л. Шлёцер, как отмечалось, особо заострял внимание на тезисе Ф.Г. Штрубе де Пирмонта о сходстве ютских законов с Правдой Ярослава. Но Эверс показал, что они были обнародованы датским королём Вальдемаром II в 1240 г., т. е. «223 года спустя после Правды и посему не могли служить оной основанием», а «великое сходство между сими двумя законами» объяснял предположением, что у них был общий германский источник. Однако в 1846 г. М.П. Погодин продолжал утверждать, игнорируя эти выводы, что статьи Правды Ярослава являют германское происхождение: кровная месть, вира, «суд 12 граждан», закон о езде на чужом коне «есть чисто скандинавский». Он также считал, что скандинавскими нормами являются постановления Правды Ярославичей об испытании железом и о судебном поединке. За авторитетами их норманистские выдумки повторяло наше образованное общество, да ещё стараясь о том сообщить Западной Европе. Так, декабрист Н.И. Тургенев в книге «Россия и русские», которая вышла в 1847 г. на французском языке в Париже, Брюсселе, Гааге и на немецком в Берлине, объяснял западноевропейцам, что «первыми законами русского народа были законы норманнов»¹¹²).

Доводы, приводимые антинорманистами против норманистской «истины», что от шведского Рослагена прозвалась Русская земля, были столь убедительны, что заставили А.А. Куника в 1844 г. отказаться от неё. И начать говорить, с присущими для норманистов допусками, что посредством финского названия Швеции *Ruotsi* имя «Русь» восходит к шведскому слову *rodsen* — «гребцы» (от *roder* — «весло», «гребля»), которое прилагалось к жителям общины гребцов Рослагена и которые могли называться «*Rodhsin*» (от *Rôdhs*), «*Rooskarlar* (*wörtlich Rudermänner*)», а «довольно значительное береговое пространство в окрестностях Стокгольма приняло от них название “Рослаген”, т. е. гребельной общины, потому что делилось на таковые». А так как среди послов, отправленных для приглашения варяго-русов, были эсты и ижорцы, «то можно, кажется, допустить, что они направили свой путь к наиболее им известному шведскому берегу, коего поселенцы были им издавна знакомы». И там они наткнулись «на людей, которые по ремеслу своему назывались “родсами”, славянам стали известны посредством финнов под именем руси, а по языку принадлежали к великому шведскому племени»¹¹³.

Но и эта версия «языковеда» Куника, понятно, ничего не стоила. В 1859 г. В.И. Ламанский продемонстрировал, что слово «Русь» своею формою не обличает финского происхождения от *Ruotsi*, т. к. имеются греческие, литовские и славянские слова, также оканчивающиеся на *ь* (скифь, корсь, жмудь, сербь, волянъ и др.). Отмечая, что славяне познакомились со шведами не через финнов, а непосредственно, учёный подчеркнул, что летопись отделяет русь и от шведов, и от других норманских племён и что нет названия народа, происшедшего «от его рода занятий или промысла». В связи с чем весьма сомнительно, чтобы русь была «ничто иное, как *Rodsin*, члены корабельного стана, что назы-

вался у шведов *Rodslagen*, или с пропуском *d, Roslagen*», и что, заострял он внимание на этой несущице, шведы в 839 г. перед Людовиком Благочестивым «на вопрос кто они? что за люди? и какого роду? стали бы отвечать Rodsin — гребцы». К тому же это слово в IX в. было понятно каждому немцу (как оно понятно ему и сегодня), и Бертинские анналы не преминули бы перевести и объяснить его, «если бы *Rhos* было бы всё одно, что *Rodsin*» (и здесь задав вполне уместный вопрос: «если бы русь были — гребцы, стали бы немцы называть нас русами?»). Вместе с тем Ламанский напомнил о наличии в пределах Карпатской Руси до 30 поселений, которые, иронизировал он, «стоят в известном родстве со шведскими Rodsin (гребцами). Вероятно, в подтверждение этого положения г. Куник указал на деревню Русин в нынешней Галиции, которая может быть населена норманнами», непонятно каким образом обратившимися «в чистых русаков, которых ещё в настоящее время легко поймёт русский с Байкала»¹¹⁴.

В целом уровень и обстоятельность критики антинорманистами «“ультранорманизма” шлёцеровского типа» невольно выразил в 1847 г. один из самых его ревностных сторонников М.П. Погодин: «Результаты Шлёцеровы теперь уже ничего не значат» и что «за шведов с руотси и Рослагеном, за его понятия о вставках, за понтийских руссов, и пр. и пр. — прости его Господи!» (а годом ранее он сказал, что «догадка» немецкого учёного А.К. Шторха «о древнем сообщении европейского севера с азиатским югом через Россию возвращает себе цену, отнюдь не заслуживая, как оказывается, той насмешки, которой подверг её неумолимо-своенравный Шлёцер»¹¹⁵). Но эти «результаты Шлёцеровы» породили многие другие ложные «результаты» норманской версии, а те третьи, а третьи четвёртые и т. д., и почти все они, преподносимые от имени «строгой»/«высокой»/«академической» науки, дожили до сего дня.

Критикуя противную сторону, антинорманисты одновременно с тем совершенно по-новому поставили саму варяго-русскую проблему, далеко выведя её за рамки разговора по линии исключительно Русь-Скандинавия. И резко расширив круг источников по этой проблеме и широко раздвинув горизонты русской истории, они более органично вписали его в ткань европейской истории второй половины I тысячелетия н.э. Но как всякое любое начинание, нарушавшее научный покой, антинорманизм вызывал мощное противодействие и издевательские насмешки уже априори, хотя, когда эмоции спадали (параллельно со стиханием восторга в адрес Шлёцера), доводы его сторонников становились достоянием науки. Так, если взять, например, труд Ф.Л. Морозкина «Историко-критические исследования о руссах и славянах» (1842), суть которого лаконично выразил М.П. Погодин: он «находит Русь везде»¹¹⁶, то многие высказанные в нём мысли, которым действительно не хватало серьёзной проработки, со временем обрели доказательную базу (причём он подчёркивал, с ссылкой на Э.И. Эйхвальда, что «готские названия порогов могут восходить к временам владычества готов в Черноморье»¹¹⁷).

М.В. Ломоносов был первым в науке, кто отметил отсутствие имени «русь» в Скандинавии, указал на существование «Белой и Чермной» (Неманской) Русий, на наличие «русской» топонимики на её территории и пребывание руси-ругов на о. Рюгене, на присутствие русских в южных пределах Руси задолго до

прихода Рюрика. В.К. Тредиаковский говорил, что «померанские руги» и есть варяжская русь. Затем Г. Эверс, заключив, что «естественнее искать руссов при Русском море (Чёрном. — В.Ф.), нежели при Варяжском (Балтийском. — В.Ф.)», доказал существование руси, издревле присутствующей на юге Восточной Европы. В 1835 г. М.Т. Каченовский констатировал, что имя «Русь» шло с юга на север, а не наоборот¹¹⁸. Одновременно с тем глава «скептической школы» и её представители, крайне «омолаживая» русскую историю, в то же время сыграли важную роль в возвращении в науку разговора о южнобалтийских славянах и их связи со своими восточнославянскими сородичами¹¹⁹. Каченовский около 1830 г., писал А.А. Куник, «указывал своим слушателям на исчезнувших балтийских славян, как на родичей варяго-руссов, несмотря на то, что история последних была в то время ещё мало разработана и являлась Каченовскому с его последователями совершеннейшею „terra incognita“»¹²⁰.

Но круг русских древностей не замкнулся на Южной Балтике и на Причерноморье. В 1820–1880-х гг. благодаря изысканиям антинорманистов, например, С. Руссова, Ю.И. Венелина, Ф.Л. Морощкина, М.А. Максимовича, Ф. Святного, Н.В. Савельева-Ростиславича, Н.И. Костомарова, И.Е. Забелина, Д.И. Иловайского, стали достоянием науки как свидетельства византийских, восточных, западноевропейских источников, локализирующих Русь во многих районах Восточной и Западной Европы, так и соответствующий этим показаниям богатый топонимический материал. В результате чего на карте Европы проявились Руси Азовско-Черноморская, сразу несколько южнобалтийских, Дунайская, Карпатская и др., к которым ни шведы, ни скандинавы вообще не имели никакого касательства¹²¹.

Под давлением фактов постепенно начинают соглашаться с оппонентами норманисты. Тому примеры демонстрирует ультранорманист М.П. Погодин (единомышленники представляли его в качестве самого ярого защитника норманской версии, противники — «фанатичного поборника учения норманизма»¹²²). В 1846 г. он произнёс примечательные слова: «Может быть, и я сам увлекаюсь норманским элементом, который разыскиваю двадцать пять лет, и даю ему слишком много места в древней русской истории; явится другой исследователь, который исключительно предаётся славянскому элементу (впрочем, не похожий на нынешних невеж): мы оба погрешим, а наука, истина, умеряя одного другим, выиграет». Но доводы этих «невеж» были настолько убедительны, что историк, не желая впасть в ещё больший научный грех, уже в том году начал постепенный и неумолимый «дрейф» к их берегу.

Так, оценивая свидетельство хрониста XII в. Гельмольда о южнобалтийской Вагрии, Погодин резюмировал: «Чуть ли не в этом углу Варяжского моря, чуть ли не в этом месте Гельмольда, заключается ключ к тайне происхождения варягов-руси. Здесь соединяются вместе и славяне, и норманны, и вагры, и датчане, и варяги, и риустри, и росенгау. Если б, кажется, одно слово сорвалось ещё с языка Гельмольда, то всё стало бы нам ясно, но, вероятно, этого слова он сам не знал!». В 1860 г. историк уже полагал, что на Южную Балтику переселилось из Норвегии «племя скандинавское или готское, которое совершенно покрывало» первых поселенцев-славян, в связи с чем «могут, кажется, примириться все

мнения о происхождении руси», и что «между норманнами могли быть и прочие жители балтийских берегов: славяне, чудь, литва». По прошествии четырёх лет (а затем в 1872 г.) он прямо сказал, под воздействием, по собственному признанию, доводов С.А. Геденова, что «варяги-русь было норманское племя, смешанное или коротко знакомое в IX веке со славянами».

В 1874 г. — за год до кончины — Погодин перевёл взгляд в сторону Неманской Руси, где в эпоху призвания только и могла жить, по его мнению, варяжская русь: «Я думаю только, что норманскую варягов-русь вероятнее искать в устьях и низовьях Немана, чем в других местах Балтийского поморья» (т. е. пришёл в полное согласие, как называл его в 1846 г., с «дилетантом» и «патриотом» Ломоносовым). Вместе с тем он объяснял, что к Вагрии тянуло само её имя, «подобозвучное с варягами, и близкое сходство или даже соседство славян и норманнов». Но его смущало то, что она «находится в наибольшем отдалении от Новгорода и мудрено предположить как знакомство, так и столь продолжительное плавание к нему». Однако при этом он ничего «мудрёного» не видел в своей многосложной идее переселения части скандинавов на южнобалтийское побережье, некоторого их проживания среди тамошних славян и затем их нового «броска», но теперь уже в пределы Северо-Западной Руси, к восточноевропейским славянам. Искусственность этой схемы выразил в 1841 г. М.А. Максимович, правда, говоря о другом историке, по пути которого шёл Погодин: «Замечательно, что и Карамзин, хотя и вывел руссов из Швеции, но сначала ославлял их в Пруссии и потом уже привёл в Новгород»¹²³.

Столкнувшись с фактами существования многих Русий, которых было невозможно увязать со скандинавами, норманисты кардинально меняют своё отношение к вопросу происхождения имени «Русь». Уже в 1838 г. О.И. Сенковский предложил «единственное логическое средство согласить трудность, заключающуюся в несомненном выходе наших руссов из Скандинавии и в отсутствии их имени в скандинавских преданиях». На его взгляд, имя Русь было в IX в., «кажется, общим названием всех нордманнов», простонародным и подлинным, в то время как имя норманны являлось более почётным и благородным, военным и книжным, «которое любили и герои, и поэты», по причине чего оно и отразилось в источниках. Поэтому «бесполезно и хлопотать о том, где жили в Скандинавии руссы, которые переселились в нашу сторону и дали ей своё имя. Вероятнее всего, они вышли из Швеции, но если бы даже они вышли из Дании, Норвегии, Исландии или Гренландии, всё-таки, как скоро они были нордманны, скандинавы или варяги, земля наша должна была прозваться или Нормандиею или *Русью*»¹²⁴.

С 1841 г. М.П. Погодин, осознавая несостоятельность скандинавской интерпретации имени «Русь» и потому стремясь вывести норманскую версию из-под огня критики, начал проводить мысль, что откуда происходит это имя — «открытое поле для догадок» (впрочем, и как первоначальное местопроживание варягов-руси, и как имя варягов). По причине чего «имя Русь своим происхождением есть вопрос только любопытный, а не основной». Однако при этом твёрдо стоя на том, что «принесено ль имя руси было норманнами или только усвоено? Основателями государства в том и другом случае остаются норман-

ны! Вот в чём главное!»¹²⁵. Приблизительно в том же ключе рассуждал тремя годами позже А.А. Куник, также пытаясь придать норманизму новое дыхание. По его мнению, до сих пор рассматривали вопрос о варягах только с внешней стороны. Но пора поставить решение вопроса не целью, а только средством к цели. Тут главное не в имени: не в том, кто такие основатели Русского государства: славяне или финны, германцы или азиаты, «а в том, какой дух принесли они с собою, *какие силы положены и приведены в действие при основании Русского государства*». Видя в основателях Русского государства норманнов, учёный считал, что они вложили в нашу государственность европейский дух. В связи с чем русская государственность, начатая при чужой помощи, для своего дальнейшего развития нуждалась в чужеземных заимствованиях, что хорошо видно на примере реформ Петра I¹²⁶.

С.М. Соловьёв заключал, что «если, по признанию самых сильных защитников норманства, влияние варягов было более наружное, если такое наружное влияние могли одинаково оказать и дружины славян поморских... то ясно, что вопрос о национальности варягов-руси теряет свою важность в нашей истории». А принимая во внимание пребывание руси в доваряжский период на юге Восточной Европы, высказал мысль об отсутствии этнического содержания в термине «русь», полагая, что он, как и имя «варягов», образовавшееся «на западе, у племён германских», являлся «на востоке у племён славянских, финских, греков и арабов таким же общим названием для подобных дружин... означая, как видно, людей-мореплавателей, приходящих на кораблях, морем, входящих по рекам внутрь стран, живущих по берегам морским». В.О. Ключевский также считал, что вопрос о происхождении имени «Русь» и первых русских князей не содержит ключа «к разъяснению начала русской национальной и государственной жизни», как неважно, с его точки зрения, в этом плане и другое — «на балтийском или азовском поморье зазвучало впервые известное племенное название»¹²⁷.

К счастью, этими мнениями научных авторитетов, дающих норманской теории возможность спокойно «жить-поживать», не исчерпывалась наша историческая наука той поры. Норманист И.И. Срезневский подчёркивал, что «надобно быть слишком равнодушным к судьбам русского народа, надобно быть не-русским, чтобы не домогаться положительного ответа» на варяго-русский вопрос, «надобно быть слишком малотребовательным в научном отношении, чтобы удовольствоваться первым встретившимся ответом, могущим показаться сколько-нибудь правдоподобным». И антинорманист И.Е. Забелин отмечал, что «подвиг» руси не «ограничился принесением одного имени»: «мифическая русь представляется первоначальным *организатором* нашей жизни, представляется именно в смысле этого организаторства племенем *господствующим*, которое дало первое движение нашей истории, первое устройство будущему государству, и, словом, вдохнуло в нас дух исторического развития. ... Поэтому и самый вопрос о происхождении руси очень справедливо поставляется на высоту вопроса “об основной, начальной организации Русского государства”»¹²⁸.

Принципиальная правота слов Срезневского и Забелина, а также настойчивость тех, кто не принимал идею о норманстве варягов, с которой давно сжи-

лась наука, вызывали, по причине отсутствия настоящих у них аргументов, нескрываемое раздражение у её защитников. Погодин, борясь, по названию его же труда, «не на живот, а на смерть» с антинорманистами, «нередко прямо бранился» с несогласными с ним¹²⁹. Ключевский не ранее 1876 г. назвал «все эти учёные усилия разъяснить варяжский вопрос... явлением патологии». Я, говорил он, «собственно, равнодушен к обеим теориям, и норманской, и славянской, и это равнодушие выходит из научного интереса». Говорил, но при этом всегда занимал непоколебимую норманистскую позицию, ревностно её оберегая и развивая (одно только, но довольно серьёзно отличало историка от традиционного норманизма и, по его словам, от Погодина «с братией» — это его идея о том, что города у восточных славян существовали до прихода скандинавов). Утверждая в своих работах и на лекциях (на которых воспитывались будущие научные светила, например, П.Н. Милюков, М.М. Богословский, А.А. Кизеветтер, М.Н. Покровский), что ПВЛ под варягами понимает германские народы — шведов, норвежцев, готов, англов, что эти варяги, «как и черноморская Русь, по многим признакам (Бертинские анналы, «русские» названия днепровских порогов, «проворные даны» в Киеве у Титмара Мерзебургского и др. — В.Ф.) были скандинавы, а не славянские обитатели южнобалтийского побережья или нынешней южной России, как думают некоторые учёные».

И варяги-норманны «вошли в состав военно-промышленного класса, который стал складываться в IX в. по большим городам под влиянием внешних опасностей». Они, появившись для охраны торговых путей и торговых оборотов в торговых городах, являлись, согласно Начальной летописи, обычными обывателями таких городов восточных славян, «издавна наполняли их в таком количестве, что образовали густой слой в составе их населения, закрывавший собою туземцев», и были там в IX в. господствующим классом («особенно людно скоплялись они в Киевской земле»), что благодаря этому вооружённому классу, который затем сосредоточился вокруг киевского князя (вождя «торгово-оборонительной вооружённой дружины»), он подчинил «себе остальные города и племена восточных славян», что «варяжские толпы, не переставая приливать на Русь из-за моря, мирно уживались с туземцами».

Рассуждая в полнейшем согласии и со своим учителем Соловьёвым, и с его учителем Погодиным, учёный объяснял, что в IX–XI вв. норманны «постоянно приходили на Русь или с торговыми целями, или по зову наших князей, набравших из них свои военные дружины», что «Олег, ещё истый варяг, с мужами своими, в большинстве, если не исключительно, тоже варягами, “по русскому закону” клялись» соблюдать договор с Византией, что «в большинстве, если не исключительно» в его походе на неё участвовали норманны, что в X в. «решительное большинство в тогдашнем составе княжеской дружины принадлежало... заморским варягам», что, видимо, «варяжский элемент преобладал в составе дружины ещё и в XI в.» (причём «старшие и богатые младшие князья выводили в поле по две и по три тысячи человек дружины»).

Ключевский не сомневался и в том, что ПВЛ считает русь «варяжским племенем, а варягов то признаёт общим названием разных народов германского племени», «каковы шведы, готы англты, то как будто видит в них особое племя,

принадлежащее к числу этих народов наравне с русью» (русь, по всем известиям, — это «народ или класс... с скандинавской примесью, сильный на море торговлей и наездами», около середины IX в. покоривший восточных славян), что «имена первых русских князей-варягов и их дружинников почти все скандинавского происхождения; те же имена встречаем и в скандинавских сагах», восходящих «иногда к очень древнему времени», что на Руси во главе заморских пришельцев, составлявших «военно-промышленные компании», становились вожди, получавшие «значение военных начальников охраняемых ими городов. Такие вожди в скандинавских сагах называются *конингами*, или *викингами*» (последний термин историк начал массово прилагать, чего раньше вроде бы не наблюдалось, к летописным варягам, используя далее словосочетание «варяжские викинги»), что эти слова перешли, согласно твёрдым правилам языкознания, «и в наш язык, получив славяно-русские формы *князя* и *витязя*», что скандинавы внесли в управление Руси и её право «несколько своих административных и юридических понятий вместе с терминами *ябетник*, *тиун*, *гридь*, *вира*, с княжения Игоря явились первыми проводниками христианства на Руси, при язычнике Владимире дали ей первых христианских мучеников из своей среды».

Особо при этом отмечая, что Рюрик с дружиною — партия «других варягов, которых звали русью», — были призваны по военному наёмному договору для противостояния каким-то внешним врагам (так, в Ладоге он построил крепость «для защиты туземцев от земляков-пиратов», где и уселся, чтобы «быть поближе к родине, куда можно было бы укрыться в случае нужды»), что эти «наёмные сторожа повели себя завоевателями», превратились из союзников во властителей и основали во второй половине IX–X в. «варяжские княжества»: Новгородское, Белоозерское, Изборское, Киевское, Полоцкое, Туровское, причём «такие княжества появлялись и в других местах Руси, но исчезали бесследно» (добавляя, с целью нейтрализации южнобалтийской версии происхождения варягов, с особенной силой прозвучавшей из уст С.А. Гедеонова, что «подобное явление совершалось в то время и среди славян южнобалтийского побережья, куда также проникали варяги из Скандинавии»).

Затем эти «владения варяжских конингов» были соединены, волей или неволей, под властью варяжского киевского князя в Русское государство, что русь времени уже Олега была смешанным варяго-славянским классом, «который господствовал над восточными славянами и вёл дела с Византией», что в подчинённых областях киевский князь сажал своих наместников, которые были слабо связаны с центром и которые «были такие же конинги, как и князь киевский», считавшийся только старшим между ними и в этом смысле называвшийся «великим князем русским», что города, в которых сидели его наместники со своими дружинами, «были ещё варяжские княжества, только союзные с киевским», что в X в. русью, «по Константину Багрянородному и арабским писателям, назывался высший класс русского общества, преимущественно княжеская дружина, состоявшая в большинстве из тех же варягов» (многие из идей историка окажутся весьма востребованными норманистами, в том числе шведским археологом Т.Ю. Арне, в котором он, видимо, и пробудил идею о массовой колонизации Руси скандинавами).

Вместе с тем Ключевский и другие, по его оценке, «сидевшие и учившиеся под опекой норманской гипотезы», всё больше начинали тяготиться ею, однако в силу традиции и слепого преклонения перед авторитетами не желали, да и не могли что-либо изменить («мы боялись сделать новую догадку, поставить факты в новую комбинацию, не сделанную прежде»). Подчеркнув при этом, «что наша скромность создавала странное положение в науке гипотезе норманистов. Мы чувствовали, что в ней много нескладного, но не решались сказать что-либо против неё. Мы её сохранили как ученики её создателей и не знали, что делать с ней как преподаватели. Открывая свой курс, мы воспроизводили её, украшали заученными нарядями и ставили в угол, как ненужный, но требуемый приличием обряд»¹³⁰ (археолог С.В. Воронятов считает, по причине весьма неудовлетворительного знания историографии как варяжского вопроса, так и наследия в этой области Ключевского, что он в своих «Набросках по “варяжскому вопросу”», а выше они также цитировались, «сумел обозначить проблему, назвать нерешённые и неразрешимые на тот момент вопросы и имел смелость двинуться дальше, отказавшись от крайностей», постарался подняться над противоборствующими концепциями — норманизмом и анти-норманизмом, следствием чего явилось создание им «торговой теории» «происхождения русских городов, а с ней и Русского государства в целом»¹³¹).

4.3 «При догмате скандинавского начала Русского государства научная разработка древнейшей истории Руси немыслима» или сокрушение С.А. Гедеоновым ультра-норманизма А.Л. Шлёцера и его русских последователей

Но в отличие от В.О. Ключевского полны были решимостью бороться с «требуемым приличия обрядом», сковывающим науку, не боялись думать и ставить факты в новую комбинацию, его современники-анти-норманисты, что с блеском продемонстрировал Степан Александрович Гедеонов (1816–1878). В 1862–1863 гг. он опубликовал к тысячелетию призвания варягов во главе с Рюриком (и официальному празднованию Тысячелетия Российского государства) «Отрывки из исследований о варяжском вопросе», а в 1876 г. их переработанное и расширенное переиздание — в двух частях — под названием «Варяги и Русь» (к созданию своего фундаментального труда выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета, откуда он вышел с учёной степенью кандидата, т. е. в числе самых лучших выпускников, и основательными познаниями в истории и классической филологии, приступил в 1846 г., начав писать рецензию на первые два тома «Исследования, замечания и лекции о русской истории» М.П. Погодина)¹³².

Своё выступление против «мнимонорманского происхождения Руси» Гедеонов, вобравший в своё творчество лучшие достижения предшественников и прежде всего Г. Эверса, которого высоко чтит как своего «руководителя», объяснил в простых словах, актуальность которых со временем только возрастала: «Полуторастолетний опыт доказал, что при догмате скандинавского начала Русского государства научная разработка древнейшей истории Руси немыслима». Говоря об искусственности и бессилии норманизма, «основанного не на фактах, а на подобию звучания и недоразумениях», потому и возведшего «истукана с норманскою головою и славянским туловищем», он уточнил: русская история «одинаково невозможна и при умеренной, и при неумеренной системе норманского происхождения Руси» (умеренный норманизм, по его оценке, происходит из сознания внутреннего бессилия норманистов, из «невозможности согласовать чисто спекулятивные воззрения норманской теории с разрушающими их в конце положительными историческими фактами») ¹³³.

Столь принципиальная позиция учёного была продиктована доскональным знанием предмета разговора, обширной историографической и источниковой базами варяго-русского вопроса (чему способствовало безупречное владение им многими языками — древними и новыми), превосходным знанием всех периодов европейской истории, что вкупе и привело к отрицанию им «скандинавского догмата». Его стремление охватить все известные к тому времени источники, его методы исторической критики, его объективность были высоко оценены авторитетными противниками. В 1862 г. А.А. Куник, констатируя значительную запутанность варяжского вопроса, увидел в нём решительного противника норманизма, который, «кроме того, что строго держится в границах чисто учёной полемики... отличается от своих предшественников тем, что не слегка берётся за дело, а после довольно обширного изучения источников и сочинений своих противников старается решить вопрос новым способом».

При этом особо подчеркнув, что для опровержения его положений Гедеонов произвёл обширные разыскания, что он «выступил против меня с большим запасом остроумия и с обширною начитанностью», «производил суд надо мной» с неумолимым ригоризмом, что строго и осмотнительно разбирает имена Рюрик, Синеус, Трувор, Олег, Ольга, Игорь, Владимир, что он метко «раскрывает слабые стороны и пробелы во взгляде норманской школы на отношения византийских варангов к русским варягам и северным варингам», и что вообще «в его полемике главною заботою всегда остаётся самое дело». Спустя два года М.П. Погодин признал, что Гедеонов осмотрел варяго-русский вопрос «со всех сторон, переслушал всех свидетелей, сравнил и проверил все показания, много думал о своих заключениях», а десять лет спустя назвал его труд «почтенным». Примечательно, как слова Куника и Погодина совпали с мнением антинорманиста Н.И. Костомарова, высказанным в 1877 г.: «Гедеонов владеет необычайною эрудициею и отличается беспристрастною здоровою критикою, глубокомыслием и проницательностью» ¹³⁴.

Отправной точкой рассуждений Гедеонова стало тонкое его наблюдение, которое с той же силой звучит и ныне: «Байер, Миллер, Тунман и Шлёцер трудились над древнейшей историей Руси, как над историей вымершего народа, об-

ращая внимание только на письменную сторону вопроса. ...Они провозглашали норманское происхождение Руси, не мало не заботясь о том, отозвалось ли это норманство в истории и жизненном организме онемеченного ими народа»¹³⁵. Констатируя азбучное, что следы влияния одного народа на другой должны отразиться не в именах, не в названии речных порогов, а в главных моментах народной жизни, учёный на широком круге источников впервые в науке показал, а это одна из самых лучших и особенно впечатляющих частей его труда, что «норманское начало» не отразилось «в основных явлениях древнерусского быта» (как, например, отразилось, совершенно справедливо заострялось им внимание, «начало латино-германское в истории Франции, как начало германо-норманское в истории английской», причём «Англия и Нормандия были общескандинавским, национальным приобретением»).

Не отразилось, перечислял, анализируя и сопоставляя, Гедеонов, ни в языке, ни в язычестве, ни в праве, ни в народных обычаях и преданиях, ни в летописях, ни в действиях и образе жизни первых князей и окружавших их варягов, ни в государственном устройстве, ни в военном деле, ни в торговле, ни во всём том, что составляло саму жизнь Руси (что «даже поверхностного взгляда на начало русского язычества достаточно для определения разноплеменности руси и норманнов»). Особенно при этом подчёркивая, показывая несостоятельность апелляций самозванных «защитников» Нестора — «несторовцев» — к Начальной летописи, что она «всегда была и останется, наравне с остальными памятниками древнерусской письменности, живым протестом народного русского духа против систематического онемечения Руси» (ни ПВЛ, «ни история не знают на Руси двух друг другу противоположных народностей, скандинавскую и славянскую»).

Касаясь вопроса скандинавских заимствований в русском языке, Гедеонов заметил: «К словам, долженствующим обнаружить влияние норманского языка на русский вследствие призвания варяжских князей, норманская школа вправе отнести только такие, которые, являя все признаки норманства, с одной стороны, не встречаются у прочих славянских народов, а с другой, не могут быть легко и непринуждённо объяснены из славянских этимологий» (в качестве примера он привёл норманистские этимологии слова «боярин», которые не объясняют, «каким образом германо-скандинавское *ból-jaul*, исландское *baear-mann*» перешли к хорватам, словенцам, сербам, полякам, чехам, рагузинцам, молдаванам, валахам, венграм). Заручаясь выводами лингвистов и проведя свой детальный анализ, он заключил, «что русский язык не принял от скандинавского *ни одного слова*» и что «покуда не будет выяснено, каким образом из мнимоскандинавских слов, будто вошедших в русский язык, большая часть обретаётся и у прочих славянских народов, остальные же просто и без натяжек объясняются из славянских этимологий, историческая логика не может допустить норманства в словенорусском наречии».

Указав, что выводить все имена от Рюрика до Ярослава «из норманского начала... это значит, основывать русскую историю не на фактах, не на исторической логике, а на этимологических случайностях и созвучиях», исследователь сформулировал важнейшее правило, долженствующее стать в науке непрелож-

ным законом, способным оградить её от фантазий, с апломбом рождаемых от имени лингвистики: «Ни здесь, ни при исследовании других явлений народных историй лингвистический вопрос не может быть отделён от исторического; филолог от историка». Правомерно напомнив вместе с тем, что «в продолжении около полутора столетия годов мы были обмануты, с одной стороны, крайне неверными и принуждёнными словопроизводствами Байера; с другой, положительными уверениями Шлёцера в их непогрешимость, учёность и благоразумие». После чего Геденов на богатом ономастическом материале продемонстрировал отсутствие, за некоторым исключением, в именослове Руси германско-скандинавских имён, отсутствие имени Рюрик у шведов, но широкое хождение его у материковых европейских народов, в том числе у западных славян. О появившихся в литературе разговорах, старающихся объяснить отсутствие следов влияния норманнов на жизнь восточных славян «немедленным слиянием обоих начал», он высказался весьма определённо: «Ни в каком случае норманская школа не выиграет от данного ею старому делу нового оборота; принимая быстрое поглощение скандинавского элемента славянским, она должна вслед за тем отказаться от всего, что до сих пор составляло её мнимую силу».

Абсолютно, конечно, прав учёный в том, что никакими случайностями не может быть объяснено «молчание скандинавских источников о Рюрике и об основании Русского государства» (хотя и признаёт некоторое участие скандинавов в русских событиях IX–XI вв., например, шведов-дружинников под именем Rhos русского кагана в 839 г., скандинавские названия днепровских порогов, но считает этих скандинавов «не основным, а случайным элементом в нашей истории»). Повторив при этом важное наблюдение Эверса (а у его истоков стоял Ломоносов), что норвежский скальд Тиодольф был современником Рюрика и его братьев, но в сохранившихся у Снорри Стурлусона остатках его песен нет о них и речи, хотя вместе с тем «говорится о восточных венетах, то есть о руси». Прав он и в том, что норманские конунги никак не могли поклоняться славянским Перуну и Волосу, ибо они «тем самым отрекались от своих родословных; Инглинги вели свой род от Одина».

И «вообще, — напоминал Геденов общеизвестное, — промена одного языка на другое не знает никакая история» (Погодин, считая Перуна и Велеса скандинавскими божествами, в данном случае верно заметил, что Олег и его «чистые норманны... не могли бы клясться чужими богами, богами, которым не верили: всякой клянётся своею клятвою»). Говоря, что источники, на которых основывается норманская теория, «или сами по себе неверны или неверно поняты новейшими толкователями», он дал совершенно иное прочтение, например, Бертинских анналов, Лиутпранда, восточных авторов, показывая, что эти памятники работают не на норманизм, а против него. Вместе с тем подчеркнув, что «ни северная, ни общегерманская мифология не знают почти ничего, что бы подходило к известиям Константина Багрянородного о жертвоприношениях руси на острове св. Григория».

В отношении утверждений А.Л. Шлёцера о «дикости», а С.М. Соловьёва о «младенчестве» восточных славян перед приходом варягов, исследователь сказал, что они необходимы лишь только для того, чтобы «согласовать исто-

рическую вероятность с теорией о скандинавском происхождении Руси; добровольная подчинённость славянских племён игу полудиких норманнов логически немыслима, если не представить этих племён стоящими в IX веке на несравненно низшей против своих скандинавских властителей степени гражданского состояния». Эти теории ведут к отрицанию княжеской власти у восточных славян до варягов, что является наряду с норманизмом ещё одним «каноническим догматом русской истории». Однако доваряжская история знает князей, воевод, бояр, княжих мужей, денежные пени, налоги, пошлины, право, торговлю, города, т. е. «всех условий общественной жизни». По справедливому замечанию Гедеонова, «норманская теория не объясняет ни причин, ни последствий призвания; и те, и другие чисто славянского свойства». И видя в Сказании о призвании варягов конкретное историческое событие (отрицаемое тогда многими), охарактеризовал его как исключительно славянский факт. Ибо восточные славяне никак не могли пригласить к себе князей из чужого, враждебного племени, не знающих ни языка, на котором должны выслушивать призывания родов, ни права, по которому им надлежит судить своих подданных.

Гедеонов, на фактах демонстрируя «отсутствие положительных следов норманского влияния на Русь», одновременно с опорой на источники показал участие в развитии исторического русского быта западнославянского начала, вёл речь о весьма давних связях (торговых, религиозных, родственных) племён Северо-Западной Руси с южнобалтийскими славянами (вендами), о том высоком месте, которое занимали вендские князья в славянском мире, в конечном итоге приглашённые на Русь. В связи с чем резюмировал, что в трёх главных проявлениях народной жизни русского народа — «в праве, языке и религии» — видны непреложные следы вендского начала в русской истории и прежде всего Новгорода. В «домашнем быте варяжских князей» он выделял черты, которые отделяют их от норманнов и сближают со славянами, акцентировал внимание на особенности только русского и вендского права, не знающего ни телесных наказаний, ни смертных казней, которыми изобилуют германские законы. Славянский характер варяжских князей вытекает из того ещё, что они «не только не касаются коренных постановлений словено-русского общества, но ещё при первой возможности подчиняются добровольно его основным законам».

Рассматривая термин «варяги», Гедеонов отметил его позднее появление в соответствующих этим языкам формах в скандинавской, арабской и греческой среде: 20–30-е гг. XI века. Показав, что из скандинавского *væringi* никак не могли произойти ни русское варяг, ни византийское βαράγγος, и заостряя внимание на факте (а на него уже указывалось в науке), что верингами саги именуют исключительно только тех скандинавов, кто служил в византийском варангском корпусе, он доказывает появление «варяжского имени» в Византии в связи с учреждением в 980 г. корпуса варягов-варангов, состоявшего из отправленных тогда Владимиром наёмных варягов, среди которых преимущественно уже были норманны. И лишь только от греков последние приняли название варангов под формою *væringi-væringjar*. Само слово варяг учёный считал перешедшим на Русь посредством балтийских славян из германского *wari* (wehr) — оборона (оружие) с прибавлением к нему суффикса -ag-: *varag-*

варяг — мечник, ратник, обозначавшее балтийских славяно-норманских пиратов и равнозначное слову *viking*. У восточных славян, завершал Гедеонов свою мысль, *varag* вскоре перешло из нарицательного «в географическое-народное, в смысле франк на Востоке: им стали обозначать все те народности, от которых выходили балтийские пираты-варяги», а впоследствии всех иноземцев.

Он был твёрдо убеждён в том, что варяги и русь — это две отдельные народности, осознанно слитые летописцем в одну. Причём первых не считал особым народом, но видел в них прежде всего балтийских славян, а русь полагал местным, восточнославянским населением, живущим в Поднепровье до призвания варягов, на которых затем перешло её имя. Заметив, что разве могли варяги, если их считать шведами, переменить своё настоящее имя «свеи» на финское прозвище *Ruotsi*, Гедеонов продемонстрировал всю тщетность попыток отыскать Русь в Швеции. И в конечном итоге подытожил, что «генетическое шведское русь не встречается, как народное или племенное, ни в одном из туземных шведских памятников, ни в одной из германо-латинских летописей, так много и так часто говорящих о шведах и о норманнах». Тогда как от «Волги-Рось до Немана-Русь и до Куришгафской Русны всё пространство земли», занимаемое славянами и литовскими племенами, «покрыто реками, носящими названия Рось, Русь, Роса, Руса».

В то же время указывая, что норманисты не могут объяснить «ни перенесения на славяно-шведскую державу финского имени шведов, ни неведения летописца о тождестве имён свеи и русь, ни почему славяне, понимающие шведов под именем русь, прозывающие самих себя этим именем, перестают называть шведов русью после призвания», ни почему свеоны Бертинских анналов отличают себя «тем названием, под которым они известны у чуди», ни почему «принявшие от шведов русское имя финские племена зовут русских славян не русью, а вендами *Wänälaiset*». В связи с чем им следует, звучали приговором его слова, отказаться от изобретённого «*Rôdhs*, да и то ещё под несуществующей у норманнов грамматической формой», т. к. «вымышленными словами исторических предположений не доказывают». Касаясь же версии норманиста И.Ф. Круга, не принимавшего во внимание связь имени «Русь» с финским *Ruotsi*, историк резонно заметил, что он, тем самым, осознал «случайность его созвучия со славянским русь».

Вместе с тем Гедеонов квалифицированно отверг всякую возможность выведения термина «Русь» от финского *Ruotsi* и более чем убедительно продемонстрировал «случайное сходство между финским *Ruotsi*, шведским *Roslagen*ом и славянским русь», которое соблазняет того, кто уже предубеждён в норманстве варягов-руси (заметив также, что «беспримерному», «этническому несклоняемому» греческому *Ῥῶς* «соответствует только одна собирательная, славянская форма русь», одинаковая в единственном и множественном числе, что не свойственно германо-скандинавским языкам). Напоминал Гедеонов и тот давно известный факт, не оставляющий никакого шанса шведскому взгляду на нашу историю: предположение о давнем существовании Руси на берегах Чёрного моря уничтожает «всякую систему норманского происхождения Руси». Важным в связи с этим является и его мнение по поводу информации

хроники византийского писателя последней трети X в. Псевдо-Симеона, что «руссы, они же дромиты, прозвались своим именем от некоего храброго Роса, после того как им удалось спастись от ига народа, овладевшего ими и угнетавшего их по воле или предопределению богов»: дело «не в том, что был ли действительно какой-то Рус прародителем русского племени, а в том, что любознательному византийцу, допрашивавшему русина IX–X-го века о происхождении его народа и народного имени, этот киевский русин не сказал (по общепринятому со времён Шлёцера мнению), что народ 'Рѡс, нападавший на греков в 865–907 годах, получил своё имя от поработивших его за три или за сорок лет шведских Рѡдсов; а производил русь и имя Руси от туземного, славянского Руса»¹³⁶.

О научной значимости труда Гедеонова красноречиво говорят оценки, которые давали ему ведущие норманисты, и прежде всего те, чьи положения он обоснованно либо отверг, либо поставил под самое серьёзное сомнение. В 1862–1878 гг. А.А. Куник, назвав сочинение Гедеонова «в высшей степени замечательным», а самого автора «замечательно-проницательным критиком», признал, что против ряда его доводов ничего нельзя возразить, а другие заслуживают серьёзного внимания, что некоторые из антинорманистов («анти-несторовцев», ибо Нестор есть «самый старинный норманист»), «главным образом г. Гедеонов, беспощадно раскрыли слабые стороны норманской школы, которые и вызывали противоречие. Само дело от этого только выиграло», «что иное свидетельство, до сих пор считавшееся неопровержимым или безусловно важным для решения варяжского вопроса, автор рассматривает с новой стороны или указывает правильные границы его значению». Причём увидел его самое сильное возражение против норманистской интерпретации Бертинских анналов, а также констатировал, что Гедеонов указал на мнимую связь готских федератов и византийских варангов (он окончательно потряс «мою веру в происхождение варангов от федератов»), выдуманную весьма почтенным в своё время шведским лингвистом Ю. Ире, что он, «руководимый верным историческим чутьём, почти угадал истину, отрицая существование особого легиона варангов в Византии до 980 г.», и что впервые подметил в записке готского топарха «источник о существовании Черноморской Руси в 10-м веке».

Куник, впечатлённый трудом Гедеонова, сказал по поводу норманизма, которому посвятил свою жизнь и свой недюжинный талант, что «трудно искоренять исторические догмы, коль скоро они перешли по наследству от одного поколения к другому», что его сторонники XVIII–XIX вв. разбирали «главные свидетельства не с одинаковой обстоятельностью и не без пристрастия» и приписывали «норманнам такие вещи, в которых последние были совершенно неповинны». А по поводу книги «Норманский период русской истории» (1859) Погодина заметил, что в ней имеются «не всегда доказанные положения», а в «Борьбе не на живот, а на смерть с новыми историческими ересями» (1874) автор не всегда придерживается строго научной разработки «источников, и преимущественно древнейших» (вместе с тем Куник, стараясь снизить эффект выводов Гедеонова, тогда и позже пропагандировал тезис А.Л. Шлёцера и Н.М. Карамзина, явившийся для норманской версии спасательной «соло-

минкой», о быстрой ассимиляции скандинавов славянами, при этом упрекая оппонентов в его непонимании)¹³⁷.

М.П. Погодин признавал в 1864 и 1872 гг., что после Г. Эверса у норманской системы не было такого сильного и опасного противника как Гедеонов (самое основательное, полное и убедительное опровержение норманизма принадлежит ему), что его исследование «служит не только достойным дополнением, но и отличным украшением нашей историко-критической богатой литературы по вопросу о происхождении варягов и Руси... Приятно даже уступать ему, потому что он действительно ослабляет силу некоторых наших доказательств, исправляет несколько данных, указывает пропуски, представляет дельные замечания и дополнения», «доказывает славянское происхождение многих слов (броня, волхв, гридь, гридин, коляда, обел, скот, смерд), кои мы считали норманскими», «рассуждает об именах, в которых норманская школа видела, правда, одно из важнейших доказательств» («соглашаюсь, что он колеблет успешно силу этого доказательства»), отверг «связь федератов с верингами» и что, читая его исследования, «удостоверяешься, что между нашими норманнами могло быть много славян» (хотя в 1841 г. горячо убеждал и себя, и читателей своего журнала «Москвитянин», что все вместе доказательства о скандинавстве варягов-руси «составляют такую каменную цепь, которой никаким наскоком и натиском прорвать едва ли кому удастся»)¹³⁸.

Но более откровенно в отношении результатов работы Гедеонова высказался в 1874 г. Н.П. Ламбин: «он, можно сказать, разгромил эту победоносную доселе теорию... по крайней мере, расшатал её так, что в прежнем виде она уже не может быть восстановлена». И уже сам учёный, будучи активным норманистом (вёл, например, разговор о наличии «норманского» периода в русской истории, заканчивающегося 972 г., годом смерти Святослава), говорит о «несостоятельности» этой теории и признаёт, что она «доходит в своём последовательном развитии до выводов и заключений, явно невозможных, — до крайностей, резко расходящихся с исторической действительностью. И вот почему ею нельзя довольствоваться! Вот почему она вызывала и вызывает протесты!...» (подытоживая, что после ударов, нанесённых норманской теории Гедеоновым, вряд ли кто из норманистов решится отстаивать идею о существовании в IX в. и переселении к нам «какого-то варяжского *народа русь*», Ламбин стал проводить мысль, впервые, видимо, высказанную Н.С. Арцыбашевым и сегодня культивируемую В.Я. Петрухиным, что «никакого народа русь нигде и никогда не бывало», что под русью следует понимать дружину, «воинский союз, общество пиратов, викингов», состоявшую «преимущественно из шведов» и включавшую в себя «князя, членов его династии и, может быть, несколько сот мужей», и что известие ПВЛ — варяжские князья привели с собою «всю русь» — означает привели с собою «всю дружину, называвшуюся русь (*Rôds*)», как это звучит в поздних летописях, т. е. имя «*русь*» есть «исключительно *служебное*»). Весьма важна и оценка С.М. Соловьёва, данная «Отрывкам» Гедеонова сразу же после их выхода в свет: ему «принадлежит честь за то, что он заставляет начального летописца указывать на славянское происхождение варягов-руси»¹³⁹.

Как заключал в 1876–1877 гг. датчанин В. Томсен, не видевший никакой учёности в трудах русских антинорманистов, сочинение Гедеонова, «по крайней мере, производит впечатление серьёзной обдуманности и больших познаний». В те же годы В.О. Ключевский указывал, что «Отрывки» Гедеонова «составили новую эпоху в развитии спора». В речи, посвящённой 900-летию крещения Руси, византинист Ф.И. Успенский заострял внимание на весьма значимом научном событии, связанном с именем Гедеонова: «С 1870-х годов обозначилась средняя научная партия, вызванная капитальным трудом Гедеонова», представители которой «признают, что за норманской теорией остаются теперь две твердыни: скандинавские имена первых русских князей и днепровские пороги. Но они делают уступку и антинорманизму, признавая, что норманский элемент в России не обнаруживает почти никакого воздействия на внутреннюю жизнь новгородцев, полян и кривичей». В 1931 г. В.А. Мошин резюмировал, что работа «Варяги и Русь» «сильно пошатнула основания норманской теории» и что «беспристрастный исследователь» Гедеонов похоронил «“ультранорманизм” шлёцеровского типа», побудив тем самым «учёных к новым наблюдениям над языческой культурой восточных славян, результатом чего явилось создание сложной картины истории русской культуры в её непрерывном естественном развитии»¹⁴⁰.

Мнения противников и единомышленников Гедеонова (хотя те и другие даже в рамках своих направлений далеко не во всём сходились между собой) в оценке его монографии в принципе совпадали, что стало первым случаем за всё время разработки варяжского вопроса. Д.Ф. Щеглов подчёркивал, что «сами норманисты должны были признать силу возражений г. Гедеонова. И в настоящее время норманская теория менее состоятельна, чем она была во времена Эверса, Каченовского и Строева». По словам И.Е. Забелина, он предстал перед оппонентами, «во всеоружии здравой и вполне учёной критики», затмив своей учёностью многие их сочинения и впервые положив «прочное и во всех отношениях очень веское основание и для старинного мнения о славянстве руси». Н.И. Костомаров, говоря, что глубокий и беспристрастный учёный Гедеонов посредством исторических, археологических и филологических доводов «уничтожает враждебное себе учение», «разбивает в пух и прах всю так называемую норманскую систему и совершает свой подвиг с изумительным искусством», не сомневался, что его труд останется одним из самых капитальных памятников русской науки. Против норманизма, констатировал М.О. Коялович, «неожиданно явился сильный противник этого, казалось, неодолимого мнения, — противник, вооружённый громадной, чисто академической научностью», который своим трудом «смутил самых учёных защитников норманства наших призванных князей и заставил отказаться от некоторых положений».

Н.П. Загоскин заострял внимание на том факте, что Гедеонов возвращает «балтийским славянам ту роль по отношению к нашей древней истории, которую со времён Байера насильственно навязывали норманнам». По мнению И.А. Тихомирова, его пером «окончательно уничтожена была привычка норманистов объяснять чуть не каждое древнерусское слово — в особенности соб-

ственные имена — из скандинавского языка; после трудов Гедеонова количество мнимых норманских слов, сохранившихся в русском языке, сведено до минимума и должно считаться единицами; следовательно, одно из норманских влияний — именно в языке — отошло в область преданий и должно считаться окончательно сданным в архив»¹⁴¹. Благодаря Гедеонову, в один голос утверждали представители противоположных лагерей, в науке всё больше получает поддержку мнение, что варяги и русь «племена совершенно различные». По оценке, например, норманиста С.Ф. Платонова, книга Гедеонова «заставила многих норманистов отказаться от смешения варягов и руси и тем самым сослужила большую службу делу»¹⁴².

Доводы, представленные Гедеоновым против норманизма, вынудили его столпов совершенно иными глазами взглянуть на состояние изучения варяжского вопроса, позволили им увидеть и понять порочность произвола, чинимого над источниками в угоду норманской версии. «Нет сомнения, — признавал Куник в 1862 г. в «Предисловии» к публикуемым в «Записках Академии наук» «Отрывкам из исследований о варяжском вопросе» Гедеонова, — что норманисты в частностях преувеличивали значение норманской стихии для древнерусской истории, то отыскивая влияние её там, где... оно было или ненужно, или даже невозможно, то разбирая главные свидетельства не с одинаковой обстоятельностью и не без пристрастия». Чтобы умерить пыл слишком ретивых единомышленников, исследователь открыто отмежевался от тех, кто поступался наукой: «...Я не принадлежу к крайним норманистам» и «вовсе не думаю норманизировать древнюю Русь». Более того, говоря о своей работе «Призвание шведских родов финнами и славянами» (1844–1845), вошедшей в «золотой фонд» норманизма и немало сделавшей для его торжества, он прямо сказал: «...Я должен теперь первую часть своего сочинения объявить во многих местах несоответствующею современному состоянию науки, да и вторую часть надобно, хоть в меньшей мере, исправить и дополнить».

А ведь в момент подготовки этого, по словам норманистов, их «евангелия» к печати его автор писал М.П. Погодину, что оно, построенное на «обдуманых лингвистических исследованиях, связанных историческими доказательствами и основанных на твёрдых принципах сравнительной словено-нормандской грамматики», направлено на то, «чтобы навсегда защитить оспариваемые положения русской и польской истории от всех лжеумудрствований и неточных неграмматических этимологий». Более чем лестно отзывались об этой книге «единоверцы» Куника. Он, отмечалось в 1844 г. в рецензии именно на первую её часть, подлежащей теперь самой коренной переделке по «вине» Гедеонова, будучи учеником «новой школы языкознания», возведшей филологию «на степень науки точной и положительной», положил для решения вопроса о Швеции как родине руссов «основание, которым исследования освобождаются от произвола». Чуть более тридцати лет спустя В. Томсен подчёркивал, что сочинение Куника, «появление которого составляет эпоху в истории решения вопроса», представило в высшей степени важные материалы для всестороннего освещения всех его частных вопросов. И значительно позже, в 1914 г., А.С. Лаппо-Данилевский полагал, что в этом труде, открывшем его автору путь в Академию

наук, ему «удалось твёрже обосновать и развить учение о скандинавском происхождении князей, основавших русское государство».

Под воздействием мощной эрудиции и безупречной логики Гедеонова Куник и Погодин вынуждены были снять многие свои выводы и существенно сместили акценты в других. В 1862 г. Куник в замечаниях к «Отрывкам из исследований о варяжском вопросе», в которых, по желанию Гедеонова, должен был его критиковать (несвойственная норманистам открытость к диалогу), наоборот, с ним во многих пунктах согласился. И признал опровержение связи Roslagena с русской историей совершенно справедливым, говоря, что он сам, начиная с 1846 г., не допускает генетической связи между Рослагом и Русью, потому как «сопоставление слов Roslag и Русь, Rôs является делом невозможным уже с лингвистической стороны». А в 1864 г. категорично заключил: норманская школа обанкротилась со своим Рослагом. Погодин также безоговорочно принял контрдоводы Гедеонова по поводу связи финского названия Швеции Руотси и шведского Рослагена с именем «Русь»: он «доказывает, и, охотно сознаюсь, с большим успехом, что посредством финского названия для Швеции Руотси и шведского Рослагена объяснять имени Русь нельзя, нельзя и доказывать ими скандинавского её происхождения. Ruotsi, Rodhsin есть случайное созвучие с Русью».

К.Н. Бестужев-Рюмин признал, и в первую очередь также под воздействием Гедеонова, что «едва ли, впрочем, название народа происходит от общины гребцов» и что «как-то странно допустить, чтобы скандинавы сами называли себя именем, данным им финнами». Затем датский лингвист В. Томсен констатировал, повторяя за антинорманистами, которых-то и за учёных не считал, что «первый слог имени *Roslagen*... есть не именительный, но родительный падеж древнего шведского существительного *rop-er* (*rod*, древнорм. *roðr*), собственно: гребля... судоходство, плавание», что «самое имя *Roslagen* появляется слишком поздно для того, чтобы быть принятым в соображение», и что нет «никакой прямой генетической связи между Рослагином как географическим именем и *Ruotsi* или Русью»¹⁴³ (но менее чем через три десятилетия новое поколение норманистов вернётся, по причине отсутствия действительных фактов, к этим «аргументам», сданным в утиль их предшественниками, понимавшими силу аргументов оппонентов).

Вместе с тем в науке указывалось — и норманистами, и антинорманистами — на недостатки монографии Гедеонова (который, как и всякий новаторский труд, не был, конечно, их лишён) и прежде всего той части, где историк обосновывал своё решение варяжского вопроса. С.М. Соловьёв резюмировал, что его «Отрывки» замечательны своею отрицательною стороною, где опровергаются «некоторые мнения учёных, держащихся скандинавского происхождения варягов-руси; но положительная сторона исследования не представляет ничего, на чём бы можно было остановиться» (то же самое говорил и Ф.Я. Фортинский). Согласно И.И. Первольфу, лингвистические доказательства Гедеонова «страдают таким же недостатком, в каком он упрекает норманистов, то есть они натянуты и даже нередко ошибочны». И в конечном итоге заключил, что концепция Гедеонова является несостоятельной (но тут же при-

зная, «что между балтийскими и восточными... славянами искони были известные сношения, о том не может никакого сомнения»). И.В. Шаровольский в 1904 г. был также негативно категоричен, что «филологическая сторона работы Гедеонова вообще крайне слаба»¹⁴⁴.

Резко отрицательным было суждение антинорманиста Д.И. Иловайского. С одной стороны, он отметил, что критика Гедеонова наносит норманистам «неотразимые удары и весьма метко разоблачает их филологические и этнографические натяжки», заставив главных представителей «скандинавской школы» — Погодина и Куника — «сделать ему некоторые довольно существенные уступки» (отказавшись, среди прочего, от русов в Севилье и от шведских родов). С другой, его собственную славяно-балтийскую теорию, которая не вязалась с концепцией рецензента (видел в варягах норманнов, а в варяжской легенде басню), посчитал настолько безнадёжной, что не пожелал тратить время на её опровержение. Не принял теорию Гедеонова другой известный антинорманист — Н.И. Костомаров. В 1914 г. Д.И. Багалей, подчёркивая, что Гедеонов есть автор капитального, самого крупного исследования по варяго-русскому вопросу, заключил, что насколько убедительна аргументация в отрицательных соображениях автора, отвергающих норманскую теорию, «насколько слаба в положительной части его *славянской* теории»¹⁴⁵.

Но главное, что имеет значение для настоящего разговора, состоит в следующем: оппоненты Гедеонова, независимо от своих взглядов на этнос варягов, отмечали высочайший уровень его критики норманской версии, об истинности которой внушалось со школьной скамьи, отчего она была естественным состоянием общества. Как ёмко выразил такой настрой Н.И. Костомаров, «собственно, что касается до поражения норманизма, г. Гедеонов — неотразим»¹⁴⁶. Это во-первых. Во-вторых, следует помнить, что учёный пришёл к выводам о теснейших связях восточных и южнобалтийских славян, по сути, лишь на основе только письменных источников, и эти выводы ныне полностью подтверждают лингвистика, археология, антропология, нумизматика, ДНК-генеалогия.

Эффект появления монографии Гедеонова «Варяги и Русь» был усилен тем ещё, что в том же 1876 г. вышли работы антинорманистов Д.И. Иловайского (1832–1920) и И.Е. Забелина (1820–1908). Как объяснял свою позицию в начале 70-х гг. Иловайский, и под которой подписались бы — без исключения — все противники норманизма, «не вдруг, не под влиянием какого-либо увлечения мы пришли к отрицанию» системы скандинавской школы, а только «убедившись в её полной несостоятельности», в присутствии в ней натяжек и противоречий, в её искусственном построении, и что благодаря ей «в нашей историографии установился очень лёгкий способ относиться к своей старине, к своему началу». При этом он особо отметил в 1888 г. то обстоятельство, которое и вызвало у него сомнения в научной состоятельности шведского взгляда на русскую историю: «Я сам безусловно следовал норманской системе, пока не занялся специально этим вопросом» (то же самое может сказать и автор этих строк). Категорически не приемля норманской теории как теории антиисторической (на её стороне, «кроме стольких почтенных деятелей науки, находится и сила давней привычки») и отжившей свой век (но «она до сих пор продолжает причи-

нять вред науке Русской истории, а следовательно, и нашему самопознанию»), исследователь в 1871 г. справедливо заключил, что её сторонники «оказали столько заслуг науке российской истории, что, и помимо вопроса о призвании варягов, они сохраняют свои права на глубокое уважение».

Историк, акцентируя внимание на несоответствие норманизма фактам, говорил, «чем глубже вникаешь в этот вопрос, тем более и более выступают наружу натяжки и противоречия норманской системы». Напоминая при этом, что, например, от связи Рослагена с Русью «добросовестно отказались уже сами представители норманистов (после монографии г. Гедеонова)», что, как продемонстрировал Д.А. Хвольсон, «у арабских географов название Руси уже в начале X века встречается и на берегах Чёрного моря, и на берегах Волги, и что в такое короткое время, которое протекло со времени призвания варягов, не могло это название распространиться от Новгорода на такое огромное пространство» к концу IX в. «от горсти пришельцев» (так, названия Англия и Франция «распространялись и укреплялись за ними в течение столетий»). «Можно ли придумать, — резюмировал Иловайский по поводу конструкции Ruotsi-Русь, — комбинацию более наивную и менее серьёзную! Тут не выходит главного: как же сами-то русские славяне стали называть себя русью? Откуда, из каких источников видно, что новгородцы познакомились с норманнами через финнов?» Вместе с тем он в 1872 и 1880 гг. указал на очередную уловку оппонентов, прямо свидетельствующую об отсутствии исторических аргументов в пользу их теории: некоторые из норманистов уже высказали мысль, что «якобы вопрос о происхождении Руси есть вопрос не исторический, а филологический». Говоря, что «филологическая сторона» рассуждений норманистов есть «гадания и натяжки» на заданную тему, Иловайский подчеркнул, что история не может расходиться с филологией и «что филология, которая расходится с историей, никуда не годится и пока отнюдь не имеет научного значения».

Сам же антинорманизм учёного был, так сказать, половинчатым, в связи с чем в нём нельзя видеть, как полагал, например, Е.Ф. Шмурло, «непримиримого антинорманиста». Ибо под варягами он понимал норманнов, с X в. бывавших на Руси в качестве «гостей или наёмных дружинников». Причём «не из бедной, — подчёркивал историк, — полудикой Скандинавии проникали тогда в Россию семена цивилизации, а разве наоборот, из Руси в Скандинавию». В руси же видел славянское племя, которое изначально проживало в Среднем Поднепровье и было известно под именем поляне-русь/роксолане/россалане. Но по вине позднейших переписчиков варяги и русь, выступающие в ПВЛ как два совершенно особых народа, были смешаны в «один небывалый народ» (и потому в их случайном смешении заключается корень всего вопроса: как только отделим русь от варягов, то вся норманистская система «превращается в прах»).

Ведя речь о существовании славянского Днепровско-Русского княжества уже в первой половине IX в., Иловайский считал реальным существование в это же время на Таманском полуострове Азовско-Черноморской Руси (или Артании/Тамархии восточных и византийских известий), «которая в нашей летописи потом внезапно, почти без всяких предварительных указаний, является в виде особого Тмутараканского княжества». Он без колебаний связывал с этой

Русью (по которой Чёрное море издавна называлось «Русским морем») византийские свидетельства о нападении руси на Константинополь в IX в., о крещении руси в 860-х гг. и о русской митрополии 879 г., «русские письма» и «русина», встреченные Кириллом в Корсуне в 860–861 гг., сообщения восточных авторов о походах руси на Каспийское море в 913–914 и 943–944 годах. Учёный, видя в варяжской легенде, на которую, по его убеждению, и опирается норманская теория, именно легенду и более ничего, всемерно проводил мысль, что не было никакого призвания варяжских князей и что «туземная» русь сама основала своё государство, распространив затем своё владычество с юга на север.

Констатируя отсутствие следов норманнов в русской истории (хотя чуть ли не все основные явления нашей государственной жизни объявляются скандинавскими), Иловайский ставил перед оппонентами вопросы, по сию пору остающиеся без вразумительных ответов: если русь — скандинавы, то почему они в договорах Олега и Игоря «клянутся славянскими божествами Перуном и Велесом, а не скандинавскими Одином и Тором?», почему они — якобы династия и в целом господствующий класс — так быстро изменили своей религии? (на что М.П. Погодин смог отреагировать лишь в свойственном для норманистов стиле, демонстрируя тем самым, как исторический анализ разных во всех отношениях языческих религий подменяется установлением сходства формального порядка: «Но почему Вы знаете, что между этими божествами не было соответствия? Перун разве не близок Тору?»).

При этом историк указывал, что в середине IX в. Швеция была ещё бедно населена, что наиболее сильный тогда норманский народ, даны, в своих морских походах шёл на запад, а норвежцы «были также малочисленны, как шведы и также стремились на запад, как датчане». И если вообще «никакой Руси в Скандинавии того времени источники не упоминают» (причём они, включая исландские саги, не знают и о пришествии руси из Скандинавии), то эти же памятники, заострял внимание Иловайский, фиксируют Руси не только в пределах Восточной Европы (Днепровская, Азовско-Черноморская), но и на южных берегах Балтийского моря, на Дунае (Ругиланд в Паннонии), в Закарпатье (Угорская/Карпатская Русь, которая «есть живой протест против норманистов, и поэтому они вооружаются на неё всеми силами») ¹⁴⁷ (Иловайского, как и Гедеонова, критиковали, отмечая его существенный вклад в борьбу с норманской версией, сами антинорманисты. Так, в 1877 г. Н.И. Костомаров сказал, что его филологические доказательства «чрезвычайно слабы и до крайности произвольны». В 1914 г. Д.И. Багалей заключил, что гораздо менее убедительна положительная сторона его теории, состоящая в отождествлении руси с роксоланами. Согласно А.Г. Кузьмину, его «попытки объяснить “русские” имена из славянских языков лишь скомпрометировали и многие плодотворные идеи» ¹⁴⁸).

И.Е. Забелин, акцентируя внимание на том, что восточными славянами до Рюрика был пройден долгий путь развития и что задолго до него в их земле «было всё, к чему он был призван, как к готовому», решение варяго-русского вопроса связывал со славянской Южной Балтикой, ибо оттуда пришли в Восточную Европу и варяги, и русь. Варягами Забелин именовал все славянские пле-

мена, проживавшие «в богатой торговой и воинственной приморской стране между Одрой и Эльбой» (но в первую очередь вагров) и создавшие там высочайшую материальную культуру, не имевшую себе равных в Поморье (но вместе с тем допускал присутствие «в числе славянских варягов и скандинавских их товарищей по морю»). Именно эти южнобалтийские варяги, будучи отважными мореходами и господствуя на Балтике, заложили и развили балтийскую торговлю, которую затем силой присвоили себе немцы.

В ходе естественной колонизации балтийские славяне в давние времена вступили во владения своих восточноевропейских сородичей, основав там Новгород. Степень активности связей между двумя славянскими мирами, продолжавшихся вплоть до завоевания немцами южнобалтийского побережья (в натиске немцев и датчан учёный видел главную причину переселения славяно-варяжских дружин на восток), характеризует призывание в начале IX в. на Северо-Запад Руси князей из Ругии, где проживала летописная русь (историк понимал под Ругией область, лежащую между реками Одером и Травой, и связывал это название с о. Рюгеном-Руяной-Раной, подчёркивая, что там имя рус и рос господствует, что ряд памятников этот остров называет «Русией» и что его жители пользовались особенным почётом среди всех южнобалтийских славян). Та же Балтийская Русь дала начало и южной Руси, в незапамятные годы переселившись на берега Днепра.

Свою идею учёный доказывал в том числе обращением к топонимам, прежде всего содержащим коренные звуки руг, рог, рус, рос и тянущимся с южного побережья Балтики на восток, которые, по его справедливому убеждению, маркируют продвижение южнобалтийских славян, включая русов, в земли своих восточных сородичей¹⁴⁹ (антинорманист Костомаров считал, что филологические соображения Забелина «чрезвычайно произвольны, между тем автор отважно выдаёт их как бы за решённый приговор науки». Будучи приверженцем иного взгляда на этнос варягов и руси и отрицая вслед за Иловайским достоверность варяжской легенды, он в унисон с ним говорил в адрес антинорманистов, доверявших её показаниям, что «правдоподобнее окажется теория норманистов, чем тех, которые во чтобы то ни стало силятся привести в Новгород прибалтийских славян, лишь бы разбить немецкие учёные и патриотические идеи о германском господственном просветительстве»¹⁵⁰).

Совокупный резонанс работ Геденова, Иловайского и Забелина, вышедших одновременно в крупнейших научных центрах России — Петербурге и Москве (тогда же в Киеве увидел свет первый том посмертного издания сочинений, по характеристике А.А. Куника, «норманофоба старого закала» М.А. Максимовича¹⁵¹), был столь велик, что в 1878 г. тот же «несторовец» Куник с горечью констатировал, что «норманофобы» и «антинесторовцы», подняв в «роковом» 1876 г. «бурю против *норманства*», устроили «великое избиение норманистов», «отслужили панихиду по во брани убиенным норманистам»¹⁵². Успех, действительно, был ошеломляющий. Как в 1877 г. обрисовал его масштабы под влиянием одного только Геденова Н.И. Костомаров, норманизм окончательно разбит, рассеян, уничтожен «и притом не на основании предположений и соображений, а при помощи исторических фактов и логических умозаключений, какие

только возможны под пером человека, обладающего громаднейшею учёностью и начитанностью».

Тогда же И.И. Первольф, будучи сторонником норманской теории, заметил, что в последние времена поборники её «значительно усмирились; храбрейший из них (Погодин. — *В.Ф.*) ушёл в Валгаллу, с ужасом смотря на размножившиеся исторические ереси». В 1896 г. другой норманист, Ф.И. Успенский, увидел ослабление той же теории «в том, что она давно уже не может привести ни одного нового положения в свою защиту». Через три года Н.П. Загоскин, констатируя, что норманизм «в своей ультра-радикальной байеро-шлёцеровогодинской форме становится в наши дни явлением всё более и более редким», говорил, что Гедеонов нанёс ему «удар, по-видимому, смертельный»¹⁵³.

4.4 Возрождение ультра-норманизма археологами и лингвистами, и прежде всего скандинавами В. Томсеном и Т.Ю. Арне

Но от этого удара норманизм смог скоро оправиться и вернуть себе господство в науке. Тому способствовала прежде всего кончина Гедеонова, с которой прекратилась набравшая в печати обороты дискуссия по его книге и, в целом, по варяго-русскому вопросу. За обсуждением своей монографии Степан Александрович, много болевший в последние годы (в 1874 г. он вышел в отставку), тщательно следил. И к лету 1878 г. подготовил ряд статей, из которых собирался составить дополнение к «Варягам и Руси» в виде третьей части, где давал ответы на критические замечания и куда включил не вошедшие в 1876 г. главы об Угорской и Черноморской Русиях. Причём Гедеонов пророчески сказал, что «настоящего, строго научного опровержения моих заключений до сих пор не последовало, да и, вероятно, не будет». Но смерть учёного, случившаяся 15 сентября 1878 г., не позволила этим планам сбыться¹⁵⁴. С уходом из жизни звезды первой величины антинорманизма в его рядах не осталось столь авторитетной как в науке, так и в обществе фигуры, снискавшей бы признание беспристрастного исследователя и способной, поэтому, окончательно развенчать норманизм. К тому же начала постепенно снижаться активность Н.И. Костомарова, И.Е. Забелина, Д.И. Иловайского, да и сам варяго-русский вопрос стал терять актуальность.

«С конца XIX в., — пояснял А.Г. Кузьмин, — интерес к теме начала Руси заметно ослабел. Общественный интерес сдвигался ближе к современности, чему способствовало обострение социальных противоречий». Вместе с тем в нашей науке начинает всё больше преобладать историко-филологическая тематика, посредством филологии усилившая в ней германское влияние, «поскольку именно в Германии более всего занимались индоевропейскими проблемами, причём само направление сравнительного языкознания носило название

“индогерманистики”, что как бы автоматически ставило в центр исследований Германию и германцев» (и такая зависимость, указывал историк, русской филологической школы от германской «не изжита и до сих пор: все этимологии начинаются с отыскания германских параллелей», при этом предполагается при отыскании таких параллелей, что славяне обязательно заимствовали у германцев, а не наоборот).

А к каким «научным результатам» ведёт зависимость нашей филологической школы от германской, прокомментировал в 1922 г. Г.А. Ильинский. Критикуя теорию прародины славян А.А. Шахматова, лингвист подытоживал: она передаёт «действительность в совершенно ложном освещении», т. к. Шахматов преувеличивал влияние германцев на славян и на славянский язык, утверждая, что славяне заимствовали от своих соседей на западе «свою материальную культуру, свой военный быт и политическое устройство». Хотя из этимологических словарей Э. Бернекера и А.Г. Преображенского «он мог бы убедиться, что многие из приведённых им якобы германских слов на самом деле имеют совсем другое происхождение» (такое «прогерманское» настроение не могло не сказаться на позиции Шахматова и большинства представителей отечественной науки в варяжском вопросе. Как констатировал в 1904 г. И.В. Шаровольский, издавна с особенным рвением изучаются скандинавские слова, зашедшие к славянам, причём все они «заимствуются» лишь из шведского языка).

Одновременно Кузьмин отметил столь же существенный недостаток и другой нашей науки, также превращающей историю Руси в приложение к истории германско-скандинавской: «За германскими и скандинавскими археологами следовала и зарождавшаяся русская археология»¹⁵⁵. И она, несмотря на свои молодые лета, очень много сделала для реабилитации норманизма, ибо оперировала многочисленными вещественными находками, в силу своей природы с огромной силой воздействующими на сознание. Но интерпретация которых давалась по указке зарубежных археологов, к которой их русские коллеги, в силу своего изначального «скандинавского догмата» и комплекса ученичества, относились с полнейшим доверием¹⁵⁶. Как это происходило на деле, проиллюстрировал в 1872 г. Д.И. Иловайский: «Наша археологическая наука, положась на выводы историков-норманистов, шла доселе тем же ложным путём при объяснении многих древностей. Если некоторые предметы, отрытые в русской почве, походят на предметы, найденные в Дании или Швеции, то для наших памятников объяснение уже готово: это норманское влияние. При этом не берутся в расчёт два самых простых обстоятельства»: что «многие вещи одной и той же фабрики помощью торговли распространялись на весьма обширное пространство» и что «многие сходные предметы встречаются нередко совершенно у разных народов, не находившихся никогда в сношениях между собой».

Правота слов антинорманиста Иловайского подкрепляется выводами тогдашних исследователей, выросших, что нужно подчеркнуть, с сознанием абсолютной правоты норманской теории. Как в 1897 г. обеспокоенно били тревогу специалисты в вопросах археологии И.И. Толстой и Н.П. Кондаков: «Но скандинавская археология организовалась ранее других — правда, весьма, односторонне и ложно, и ранее опубликовала запас древностей своих собствен-

ных и чужих, у себя найденных; поэтому именем “скандинавского” стиля названы были многие вещи в русских древностях, ничего не имевшего общего с варяжским», в их понимании, норманским (тем самым она изначально задавала нашим учёным ложные ориентиры, ложные пути и ложные цели, естественно, приводившие их к ложным выводам). В 1911 г. историк М.В. Довнар-Запольский также указал, что «в археологии многие предметы известны под именем скандинавских по традиции, от той поры в развитии науки, когда норманское влияние предполагалось весьма значительным». Уже в советскую пору, в 1933 г., археолог и также норманист В.И. Равдоникас заметил в адрес своих «буржуазных» предшественников, что они, если «и пытались продвинуться куда-то дальше голого вещеведения, были в полном плену у традиционных исторических схем. Возьмите статью такого археолога, как А.А. Спицын, “Археология в темах начальной русской истории” и вы увидите, как он подгоняет свой материал к построениям таких историков, как Платонов, Шахматов и т. д.».

В 1994 г. А.А. Хлевов уверял, что «порождённая патриотическим интересом к истории своей страны, русская археология взялась за дело “без комплексов”, без предубеждений и стереотипов. Объективность — вот основная черта всего дореволюционного наследия археологии в вопросе о варягах», что и придаёт её выводам большую ценность. Но тут же раскрыл, опровергая сказанное, суть «объективности» дореволюционной археологии: с момента своего возникновения она «стояла на достаточно твёрдых норманистских позициях, соглашаясь с высокой и специфической ролью варяжского элемента на Руси. Антинорманизм как отрицание норманского влияния был изначально чужд археологической литературе». При этом указывая, чем была порождена и какой питательной смесью вскармливалась «парадигма археологической норманистики»: «детальный анализ источников и реализация на их основе концепции роли варягов в становлении Русского государства сделали книгу Томсена ценным источником и своего рода “учебником норманизма”», а место, отведённое Соловьёвым в его «Истории» варягам, «было весьма существенным и демонстрировало определяющее направление парадигмы» (в 2021 г. Хлевов назвал Скандинавию «родиной научной археологии», потому она и стала источником всех «исторических» утверждений и построений наших археологов).

Свои рассуждения о норманской теории Д.И. Иловайский в 1872 г. завершил двумя выводами. Во-первых, что особенно вредно она отзывается «на трудах молодых исследователей по части древней русской истории и этнографии, по весьма естественной неопытности берущих за исходные пункты выводы норманизма». Во-вторых, что «вообще норманская струя проникла всюду, где только можно, и затемняла наш кругозор»¹⁵⁷. Однако в этой струе, несмотря на набирающую скорость и вес археологию, с самого начала своего бытия у нас ставшей мощной и деятельной помощницей норманизма, главной пока оставалась лингвистика, которую норманисты без проблем навязали учёным в качестве главной вершительницы сугубо исторического вопроса — варяжского. И заслуга в том принадлежит А.А. Кунику, который в 1875 г., прекрасно понимая, по ком и почему звонят колокола, резюмировал, что невозможно разрешить варяжский вопрос «чисто историческим путём». И потому его решение

выпадает «на долю лингвистики, в области которой, также как и в математике, не могут играть роли ни софизмы, ни сентиментальности». Подчеркнув при этом, что благодаря именно ей норманисты не только отстаивают то, что держится на твёрдых основах, но и представляют тому новые доказательства. Причём Куник тут же продемонстрировал, что в лингвистике, поставленной при его ведущем участии в услужение прихотям норманистов и приоритета которой в разрешении варяжского вопроса он потому-то и добивался, по-прежнему играли роль именно «софизмы» и «сентиментальности» норманизма.

Прежде всего учёный аннулировал своё «научное» объяснение названия «Русь» от *rodsen* — «гребцы», выдвинутое, согласно «лингвистической критике», в 1844 году. Ибо, повторял он давно установленное Г.А. Розенкампом, Н.А. Ивановым, С.А. Бурачком, «в *Rôdhs-ins* буква *s* не основная согласная... а только знак родительного падежа». В связи с чем, «по грамматическим причинам, необходимо отказаться от всякой мысли о *генетической* связи между формой множ. ч. *Rôskarla, Rôdsmaen, Ruodspiggana, Rôspigg-ar...* и формой *ʹRôs* (да финским собирательным именем *Rôts-i*)». После чего в который уж раз приписал (по замечанию Геденова, в пятый или шестой раз) имя «Русь» германскому миру, с помощью лингвистики найдя ему начало на юге (на что его подтолкнули известия о давнем пребывании русов в Причерноморье, которые он до того признавал абсолютно несостоятельными).

Теперь это имя было увязано им с эпическим прозвищем черноморских готов II–III вв. *Hreidhgotar* (предположив его древнейшую форму: *Hrôthigutans* — «славные готы»), где основной первоначальной шведской формой «могла быть *Hrôdhs-*», якобы слышимой в финском *Ruotsi*, ибо «финны не в состоянии произносить две согласные буквы в начале слова», и в славянском *русь* (такой псевдолингвистикой, всё приписывающей в нашей истории шведам, забавлялись шведские рудбеки). Ту же основу *Hrôdhs* Куник видел и в имени Рюрик — «сильный, могучий славой» — в его «древней северной форме *Hrôdh-rekr*» (в 1876 г. В. Томсен указал, «не говоря уже об исторических соображениях, такое толкование является несостоятельным и с фонетической стороны»). Параллельно с тем Куник проводил мысль, но не приводя в её пользу фактов, что уже во времена Тацита финские племена от Курляндии до Ботнического залива называли шведов, преобладавших, как морской народ, на Балтике, *Rôts-i*¹⁵⁸.

Одновременно с Куником абсолютизацию лингвистического материала, что означало окончательный отрыв от исторической основы, проповедовали многие именитые учёные. Как заявил в 1875 г. византист В.Г. Васильевский, «скандинавская теория происхождения Русского государства» покоится, главным образом, на двух столпах: на именах русских князей и на названиях днепровских порогов, которые всё-таки остаются неславянскими, несмотря на разные попытки ненаучной филологии объяснить их по-славянски. С наукою мы не хотим быть в противоречии и, думаем, не находимся» (в 1899 г. историк С.Ф. Платонов сделал красноречивое пояснение по поводу этих «двух столпов»: «самый надёжный материал для определения национальности *руси* — остатки её языка — очень скуден. Но на нём-то главным образом и держится так называемая норманская школа»)¹⁵⁹. В 1892 и 1899 гг. германист Ф.А. Браун, приведя в поль-

зу норманской версии показания иностранных источников (Бертинских анналов, Лиутпранда, восточных писателей), отметил, что центр её тяжести «лежит, однако, не в этих исторических обстоятельствах, а в данных лингвистических» (тем самым в полном согласии с оппонентами признал, как это сделал ранее Куник, что в них норманисты не имеют абсолютно никакой опоры).

Причём лучшие и неопровержимые доказательства лингвистики Браун видел в «русских» названиях днепровских порогов и в, «что имеет решающее значение, собственных именах древнейших русских князей и их сподвижников». Отсюда он внушал, что норманская версия «давным-давно... стала теоремой, неоспоримо доказанной фактами лингвистическими», и что «отвергать основное положение норманистов может только человек, либо вовсе не знакомый с древнегерманскими языками, либо закрывающий глаза перед очевидными фактами. Русское государство, как таковое, основано норманнами». Хотя при этом и подчёркивая, что вопрос о происхождении имени «Русь» является одним из «слабейших пунктов норманской позиции». Но, звучал призыв тенденциозно настроенного исследователя, если бы антинорманистам «удалось доказать нескандинавское происхождение его, то они этим поколебали бы самую основу норманизма, и сторонникам его пришлось бы начать работу сначала»¹⁶⁰.

А этими словами он призывал ни в коем случае не признавать очевидных фактов и продолжать отстаивать и пропагандировать норманизм от имени «строгой науки», занимаясь изобретением лингвистических выдумок, тут же рождавших исторические мифы. В 1880 г. Е.Е. Голубинский (по оценке Иловайского, верующий Кунику более, чем историческим фактам), уверял, упирая только на лингвистику, что имена князей и послов в договорах Олега и Игоря «суть норманские (германские), это совершенно ясно для всякого, кроме наших антинорманистов, которых, по всей справедливости, можно назвать... вообще врагами филологии». Настаивая на происхождении имени «Русь» от Ruotsi, учёный просто отмахнулся от естественного и важного вопроса: «а от чего финны называли норманнов Rotsi-Ruossi, это нас не касается» (но тут же категорично говоря, что названия рек Рось и Руса, которых много в России, не имеют с именем народа русь ничего общего, кроме случайного созвучия).

И столь же просто объяснил причину, по которой норманнов только на востоке стали именовать «русью» славяне, за ними — греки, за греками — арабы: норманны при первом знакомстве с ними не назвались, чтобы не вызвать их насторожённости, собственным именем (варягами), т. к. было хорошо известно, что они морские пираты и разбойники. Поэтому, естественно, что они называли себя именем, которое давали им другие (позже новгородско-киевские славяне стали называть их, как они именовали себя, варягами). Вместе с тем учёный пошёл, во имя спасения норманской теории, находившейся в глубоком кризисе, на обновление её фасада. И потому принял доводы Г. Эверса в пользу пребывания руси в Северном Причерноморье до призвания варягов и преподнёс её в качестве шведов, до 839 г. поселившихся в Тавриде и при устье Дона и слившихся там в одно с остатками своих родичей — готов (и именно азовско-черноморская русь, или варяги-русы, в 860 г. осадила Царьград, а затем

были крещены, и у них была основана первая русская епископия с резиденцией в Матрахе — русской Тмутаракани).

Со временем в Новгороде силой водворились другие норманны — варяги-русы, основавшие там всем известное русское княжество во главе с Рюриком, что они долго не смешивались со славянами, «представляя из себя отдельную владеющую национальность или как бы отдельную господствующую касту... особый народ в народе», что первые христиане на Руси — это норманны, что в правление Игоря норманнов, принявших христианство в Византии, было весьма много, что они в большом числе уходили из Империи в Киев, т. к. там «была ещё своя любезная им Норманния, т. е. ещё приволье жить по-нормански», что они водворили на Руси грамотность, что богослужение киевские варяги совершали, вероятнее, на готском языке, который был для норманнов почти что свой, что Ольга приняла христианство под их влиянием, что «Святослав был в ряду наших князей последний варяг и в то же время варяжский рыцарь в самом полном смысле этого слова» (а его дружина — это «старые славные норманны»), что Владимира, успевшего превратиться из варяга в славянина, норманны-христиане обратили его в христианство¹⁶¹.

Под влиянием антинорманистов и В.Г. Васильевский сконцентрировал своё внимание на Причерноморье, но также, как и Голубинский, заселяя его германцами. Проанализировав византийские жития святых Стефана Сурожского и Георгия Амастридского, он сделал вывод как о знакомстве византийцев с русами до 842 г., так и о общераспространённости имени русов на южном берегу Чёрного моря. После чего отождествил причерноморскую русь с тавроскифами (причём в звуках этого слова имеются элементы, из которых в народном греческом языке, столь склонном к усечениям, могло выработаться название «Рос») и увидел в них готов, готаланов и валанготов, проживавших в Крыму. Варяги-норманны, позднее придя в этот район, перемешались с готами и приняли их язык как церковный (и на готском языке было написано «русское евангелие», которое Кирилл нашёл в Херсоне). Причём учёный и не скрывал, что готская теория «при современном положении вопроса... была бы во многих отношениях пригоднее норманно-скандинавской»¹⁶².

Но, как резюмировал норманист Л. Нидерле, доказательства в пользу этой теории, отделившейся от норманской, «являются архислабыми, и наименее удачно объяснение Васильевского, что древние тавро-скифы являются предками русов». В 1913 г. В.А. Пархоменко точно сказал, что готско-норманская теория, выдвинутая Голубинским и модифицированная Васильевским, явно тенденциозна и придумана «лишь для спасения норманской теории от её краха, страдает запутанностью в объяснениях». По мнению В.З. Завитневича от 1892 г., готская теория в решении вопроса происхождения имени «Русь» «представляет твёрдый и решительный шаг вперёд. Несомненная заслуга её заключается в том, что она центр тяжести в решении этого вопроса перенесла с севера на юг», ибо данное имя не имеет отношения к скандинавам и гораздо раньше призвания варягов, в которых видел скандинавов, встречается именно на юге¹⁶³.

Под влиянием Голубинского и Васильевского идеи Куника о связи имени «Русь» с готами новую жизнь попытался вдохнуть — опять же с помощью лин-

гвистики — в 1890 г. филолог А.С. Будилович. Как констатировал в 1892–1899 гг. Ф.А. Браун, что именно «на лингвистическом разборе названия “Русь” держится вся догадка» Будиловича, пытающегося заменить норманскую теорию готской, и опроверг её прежде всего с лингвистической, а затем и исторической точки зрения. Тогда же и антинорманист В.З. Завитневич сказал по поводу той же догадки, что представители готской теории, не имея основы, «ставят факт как предположение и затем пускаются во всевозможные гадания и соображения с целью обосновать положение, которое ими самими выдвинуто как простая догадка». При этом резюмируя, «что филологические данные представляют весьма шаткую почву для решения рассматриваемого вопроса» и что его окончательное решение «может быть достигнуто только на почве строго исторической»¹⁶⁴, т. е. только на показаниях исторических памятников.

Но они и прежде всего ПВЛ перечёркивают все построения «строгой» науки. Вот почему она в лице Куника в 1875 г., т. е. одновременно с превращением исторического вопроса в вопрос лингвистический, где всё делается «по норманистскому хотению», заключила, что «одними ссылками на почтенного Нестора теперь ничего не поделаешь» и что лучше всего её пока не принимать за исходную точку спора (но при этом навязывая читателю мнение об истинности норманизма тезисом, который вновь зазвучит в наши дни, что «дальнейшее существование названия “норманистов и антинорманистов” не вяжется более с успехом и достоинством науки»). А спустя три года Куник уже прямо сказал, что при настоящем положении спорного вопроса было бы более разумнее ПВЛ «совершенно устранить и воспроизвести историю русского государства в течение первого столетия его существования исключительно на основании одних иностранных источников» (хотя в 1848–1849 гг. говорил, что для первых четырёх веков русской истории «иностранные источники довольно скудны известиями», да и Браун в 1890-х гг. констатировал их «неглавность» при разговоре о варягах и руси)¹⁶⁵. Тем самым Куник, завышая, по сравнению с ПВЛ, возможности зарубежных памятников в решении варяго-русского вопроса, отбрасывал науку на позиции первой половины XVIII в., пройдённые ею благодаря М.В. Ломоносову.

Новое дыхание после учинённого ей С.А. Гедеоновым разгрома норманская теория приобрела ещё потому, что неимоверно велика была сила инерционности, заданная господством ультра норманизма предыдущего времени, которая продолжала тащить науку в соответствующем направлении и в соответствующем духе «образовывать» общество. В 1864 г. М.П. Погодин, принимая его доказательство об отсутствии связи между Русью и Ruotsi, вместе с тем оставался всё также непреклонен в главном: «Для меня очень просто и ясно: было племя норманское русь, которое в 838 году посылало послов в Царьград (Бертинские летописи), в 844 г. нападало на Севилью (Ахмед-эль-Катиб), в 862 году призвано словенцами в Новгород (Нестор)». Как заметил в ответ Гедеонов, «только едва ли помирится наука с этим уж чересчур незатейливым способом решать силой аксиоматического приговора один из самых трудных и сложных вопросов всемирной истории»¹⁶⁶. Однако великий антинорманист ошибся в своём прогнозе, потому как для норманистов, составляющих подавляющее большинство в науке, всё всегда было действительно «очень просто и ясно».

Из собственно русских причин, обеспечивших невероятную живучесть норманизма, следует назвать ещё несколько. Во-первых, как констатировал в 1876 г. И.Е. Забелин, «мнение о норманстве руси поступило даже посредством учебников в общий оборот народного образования. Мы давно уже заучиваем наизусть эту истину как непогрешимый догмат»¹⁶⁷. И этот «непогрешимый догмат» должен был в обязательном порядке присутствовать во всех учебниках (иначе они были бы отклонены), в том числе и в учебниках антинорманиста Д.И. Иловайского. Например, в «Кратких очерках русской истории. Курс старшего возраста», в «Руководстве к русской истории. Средний курс (изложенный по преимуществу в биографических чертах)»¹⁶⁸.

Во-вторых, позиция авторитетных революционеров, идеям которых тогда всё больше внимала молодёжь России и которые, будучи западниками, являлись убеждёнными норманистами. Выше речь шла об отношении к М.В. Ломоносову марксистов Г.В. Плеханова и В.И. Ленина. Но и теоретики анархизма, идеи которых были популярны среди учащихся, М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин «проблему образования Древнерусского государства... в основном, решали в рамках норманской теории»¹⁶⁹. В-третьих, это патриотизм, который норманисты постарались намертво увязать с «антинаучным» антинорманизмом. В связи с чем такой патриотизм всё больше и больше превращался в сознании многих образованных людей, воспитанных в европейском духе, в синоним косности и монархизма, тем самым превращая их в число его фрондёров, оппозиционеров и открытых врагов. Потому как патриоты, озвучивал подобные идеи в 1893 г. журнал «Вестник Европы», сопровождая их глумливым смешком, не могут до сих пор понять, что она «прежде и выше всего опиралась на свидетельства древних источников, где для подтверждения её давал опору сам достопочтенный Нестор», и что эти патриоты «представляются какими-то обиженными казанскими сиротами, когда в вопросах науки может иметь силу только ценность доказательства»¹⁷⁰.

В 1896 г. на X Археологическом съезде Д.И. Иловайский сказал, «что норманская теория отжила свой век в русской науке, и “большинство”, придерживающиеся её... есть большинство шведских, финских, норвежских, датских учёных»¹⁷¹. Но именно они, вначале потомок норманнов датский лингвист В. Томсен, а затем другой их потомок — шведский археолог Т.Ю. Арне сыграли, движимые, как и их кровные и духовные сородичи XVII в., националистическими устремлениями, главную роль в том, что ультранорманизм не только восстал из пепла, но и приобрёл мощное «второе дыхание», при этом активно задействуя в своих трудах всё, что было наработано их русскими единомышленниками. В 1876 г. Томсен прочитал в Оксфорде три лекции, которые в виде книги были изданы: в 1877 г. в Англии под названием «Об отношениях древней Руси к Скандинавии и о происхождении русского государства», в 1879 г. в Германии — «Происхождение русского государства», в 1891 г. в России «Начало Русского государства», а в 1883 и 1888 гг. в Швеции и в 1919 г. в Дании, т. е. в скандинавских странах, под «домашним» названием, для своих, которое уже всё «доказывает», «Основание русского государства скандинавами».

Его книга написана в лёгкой и декларативной форме, ибо ему, разбиравшему «вопрос без пристрастия и национальных предубеждений», всё, как и ранее

М.П. Погодину, «очень просто и ясно»: налицо прямое утверждение ПВЛ, «что племя, основавшее Русское государство и давшее ему своё имя», были скандинавы из Швеции, что это свидетельство подтверждается массой доказательств из других источников — лингвистических («русские» названия днепровских порогов), исторических (Лиутпранд, Иоанн Диакон, восточные авторы, хотя их сочинениями надо пользоваться с большою осторожностью, причём в рассказах Ибн Даста и Ибн Фадлана о погребении русов перемешаны черты норманского и славянского быта), археологических (прежде всего дирхемы и мечи) и что, слышалось также давно знакомое, «серьёзная и добросовестная критика никогда не будет в состоянии опровергнуть этого факта».

С той же «беспристрастностью» Томсен тут же отыскал (вот что значит профессионально взяться за дело) то, что не мог найти А.Л. Шлёцер: в «скандинавском государстве» Русь существовал особый язык — «скандинаво-русское наречие». А оперируя доводами «скандинавской филологии», насчитал в ПВЛ около 90 скандинавских имён, решительно указывающих «на Швецию, в особенности на области Упланд, Зёдерманнланд и Остергётланд как на первоначальную родину русского племени (и даже «чисто скандинавский корень» узрел в названии «мати градом русским»: *Koenugardr* от *koena* — особый вид лодки, т. е. «место для лодок»). Признав наконец от имени норманистов факт, на который указал почти за 130 лет до того М.В. Ломоносов, что скандинавского племени по имени русь не было и что скандинавы «не называли себя русью», лингвист, отстаивая происхождение имени Русь от *Ruotsi*, утверждал на основе одних только предположений, что *Ruotsi* образовалось «от *Rofer* (гребля, судоходство, плавание)»: «Весьма вероятным является предположение, что шведы, жившие на морском берегу и ездившие на противоположный его берег, очень рано могли назвать себя... по своим занятиям и образу жизни, — *rofs-menn* или *rofs-karlar*, или как-нибудь в этом роде, т. е. гребцами, мореплавателями». Со временем в Швеции это сложное существительное, обратилось в имя собственное, которое финны — в первой его части — приняли за название народа. Восточные славяне, познакомившись со шведами через посредство финнов, стали называть скандинавов именем, которое узнали от этих соседей, причём *Ruotsi* перешло в их язык в форме Русь».

Стараясь объяснить, почему шведская история не знает шведской руси, он уверял, что призванная славянами и финнами русь находилась не в Швеции, а будучи первыми переселенцами из названных прибрежных её областей, уже прожила «известное время где-нибудь по соседству с финнами и славянами, вероятно при Ладожском озере» (но себя они так не называли на родном языке, ибо «*русью* они звались только на Востоке») и около середины IX в. подчинила славян своей власти. Слово же «варяг» возникло именно у этой шведской руси (от др.-норманск. *var* — верность, обет, т. е. *Væringi* — «обет в смысле обеспечения», или «человек, положение которого обеспечено по договору», «пользующийся безопасностью и защитой») «с целью обозначения родичей этого племени к западу от Балтийского моря», тех из них, которые стали переселяться из Скандинавии на Русь. Возражая русским антинорманистам (с их «нерассуждающим национальным фанатизмом»), Томсен «весьма легко» предположил,

что «славянские имена божеств представляют собою... переводы соответствующих имён»: Перун=Тор, Волос=Фрей, Бог=Один, потому как «для язычника, находящегося на чужой земле, представляется естественным обращаться с мольбой к местным богам», и что норманны «были в высшей мере шатки в своих верованиях и всегда готовы признавать богов всех стран»¹⁷².

Книгу Томсена на Западе с самого начала рассматривали как исследование, окончательно решившее варяго-русский вопрос, и потому теперь достаточно лишь повторять его положения. Точно так полагали и в дореволюционной России. В советской и современной науке принято считать, что основные положения и аргументы норманизма дал именно этот «крупный учёный, обладавший большими познаниями в скандинавской филологии и истории и сумевший с наибольшей полнотой изложить и со своих позиций аргументировать норманскую теорию», которая в его труде «нашла своё законченное, можно сказать, “классическое” воплощение»¹⁷³. Но наличествует и иная точка зрения. Ещё в 1880 г. А.М. Кубарев и Д.И. Иловайский констатировали, что труд Томсена не представляет собой чего-либо самостоятельного, потому как есть «самое поверхностное повторение мнений и доводов известных норманистов, преимущественно А.А. Куника». Причём в силу «своей отсталости» он, заострял внимание Иловайский, повторяет такие доказательства, которые тот уже снял. В 1931 г. В.А. Мошин, говоря, что датский учёный «своим авторитетом канонизировал норманскую теорию в Западной Европе», одновременно отметил, что он внёс «в изучение вопроса мало такого, что не было бы ранее замечено в русской науке, в особенности в трудах Куника»¹⁷⁴.

В целом же Томсен с помощью псевдолингвистики возродил ультранорманизм, который развенчал С.А. Гедеонов и от которого потому открестился А.А. Куник. И этот ультранорманизм, освящённый именем нового представителя, по убеждению наших учёных, самой передовой западноевропейской науки (в начале XIX в. её олицетворял Шлёцер, в его середине — Куник), придал мощный импульс сплошной норманизации истории Руси (в том числе в работах широко известных в науке славянских историков, например, словенца Ф. Миклошича и особенно чеха Л. Нидерле, убеждавшего, что в пользу норманства руси свидетельствуют Бертинские анналы, Лиутпрандт, Константин Багрянородный, Иоанн Диакон, Титмар Мерзебургский, что византийские источники «упоминают русов как народ франкского происхождения», что скандинавы, подчинив восточнославянские племена и сплотив их в единое целое, создали «таким образом русский народ и русское государство», но «их было слишком мало, и поэтому они вскоре растворились в море славян» и пр. Вместе с тем учёный отказывал в достоверности известиям о пребывании русов на юге Восточной Европы до призвания скандинавской руси — росомонам Иордана и руссам Захария Ритора, поэтому, заключал он, «на них нельзя ссылаться»¹⁷⁵.

Утверждению ультранорманизма в науке отечественной в конце XIX в. способствовали авторитетные в ней археологи и лингвисты. Историк российской археологической науки А.А. Хлевов указывает, что «два десятилетия — последнее XIX и первое XX веков — стали эпохой формирования археологической парадигмы норманской школы и фактически первым этапом, когда исторические

конструкции уступили первенство в оригинальности и свежести археологическим»¹⁷⁶. И «оригинальность и свежесть» этих конструкций проявились, например, в том, что в 1899–1905 гг. В.И. Сизов и А.А. Спицын отнесли, в силу именно тех причин, на которые в 1872 г. заострял внимание Д.И. Иловайский, особо значимые русские древности к скандинавским, например, Гнёздовский некрополь.

Причём Спицын (по характеристике продолжателей его дела Е.Н. Носова и В.Я. Петрухина, «патриарх славяно-русской археологии», «основатель отечественной “исторической археологии”»¹⁷⁷) «связывал самое появление курганного обряда, в том числе сопок и больших “дружинных” курганов, со скандинавским влиянием», уверял, что этот обряд «стал “государственным” после водворения на Руси норманнов как правящего класса», что «наши северные сопки оставлены отчасти самими норманнами, а главным образом новгородцами», перенявшими у них такой обычай, что Гнёздово «обилует русским населением, но господами в нём являлись многочисленные норманны»¹⁷⁸ (абсолютизируя археологический материал, учёный демонстрировал, а это свойство, неумолимо ведущее их к ошибкам, присуще практически всем его коллегам, непонимание письменных источников и в 1899 г. отверг историческую ценность известий Ибн Фадлана. На следующий год востоковед В.Г. Тизенгаузен конкретно продемонстрировал, что такого рода утверждения не имеют «ни малейшего *научного* значения». Полностью солидаризировались с этим заключением в 1929 и 1950 гг. филолог А.И. Соболевский и востоковед А.П. Ковалевский¹⁷⁹).

В 1903–1919 гг. археолог И.А. Тихомиров указывал, «что основная масса погребений Тимерёвского и Михайловского могильников под Ярославлем принадлежит варягам, да и сама курганная традиция принесена в Ярославское Поволжье норманнами», где он был усвоен «туземцами — славянами и финнами». И такие выводы проистекали лишь из априорного шведского взгляда археологов на русские древности. В связи с чем они, констатировал в 1877 г. Иловайский, «раскапывая курганы, везде находят следы целой массы норманнов» (хотя порой между ними всё же вспыхивали споры. Так, если Сизов Гнёздовский курган — «Большой» — не считал вправе приписывать норманнам, то Спицын, напротив, видел в нём курган чисто норманского типа. Но отмечая при этом черты, которые отличают этот курган от «чисто» скандинавских курганов, что, впрочем, его нисколько не насторожило)¹⁸⁰.

Археологи-норманисты, находя в курганах то, что и хотели найти, начали в массовом порядке связывать со скандинавами артефакты, к которым те не имели никакого отношения, да ещё нарекая их «говорящими» названиями, тут же утверждавшимися в науке и провоцировавшими её на рождение новых мифов: «норманские мечи», «крестики скандинавского типа» (последнее название дал крестовидным подвескам Спицын). В свою очередь норманисты сопредельных с археологией наук — историки и филологи — на основе быстро увеличивающегося числа «норманских артефактов» создавая мифы, которые служили отправной точкой для других, а те множили третьи и т. д., активно воздействовали на построения археологов, которые, заручаясь уже выводами, к примеру, филолога А.А. Шахматова и историка С.Ф. Платонова, с куда ещё большим энтузиазмом продолжали открывать «следы целой массы норманнов».

В 1902 г. К.Ф. Тиандер в описании ПВЛ заключения русско-византийских договоров увидел «не простое клятвоприношение оружием своим, но именно *várnatak*» — народное собрание скандинавов, на котором избранные мужи клялись оружием. А ведя речь, с одной стороны, о том, что под 945 г. Игорь клянется на холме, где стоял Перун, заключил: «Но мы знаем, что германцы всегда собирались на холмах и что этот обычай держался ещё после принятия христианства». С другой, цитируя клятву русов договора этого же года, в которой звучит, что «да будут рабы в весь век будущий», резюмировал: «Переход в рабское состояние кажется мне характерным, скорее, для германского быта»¹⁸¹. В 1904–1908 гг. А.А. Шахматов, утверждая, что на норманство варягов и руси «ясно» указывают ПВЛ, скандинавские названия днепровских порогов и др. (под русским языком Константин Багрянородный понимает «древнескандинавский язык», продолжатель Амартола выводит русь от «рода франков»), и пропагандируя теорию двух колонизационных потоков скандинавов на Русь, предложил свою схему её шведского начала. Согласно ей, в VIII–IX вв. среди приднепровских славян появляются «полчища скандинавов» (а такие «измерения» в 1870-х гг. использовали А.А. Куник и В. Томсен), которые, получив имя русь, быть может, под влиянием финнов, садятся в укрепленных местах и начинают покорять местное население. Затем эта русь, заняв южные земли, недружелюбно встречает новых скандинавских пришельцев.

В связи с чем те оседают на Северо-Западе, покоряют финнов и ильменских словен, захватывают верховья Волги. Сами себя они, по-видимому, именуют варягами. Государственность, «складывающаяся понемногу на юге, начинает зарождаться и на севере. Покорители и тут и там ассимилируются с местным населением». И «дают местностям, ими занятым, племенам, особенно тесно с ними слитым, своё название»: русь на юге полянам, варяги — словенам. В неизбежном столкновении (из-за торгового пути «из варяг в греки») двух государственных — русской и варяжской — побеждает первая, т. к. покоилась на более прочных основаниях. И торжество русского начала имело самое решительное значение для судьбы варяжского имени, которое исчезает, т. к. «варяги спешат переименоваться в русских не только на юге, но и на севере». Причём на севере имя русь «означает уже не скандинавов, а киевского князя и его родичей, а также княжеских дружинников; преимущественное же его значение — это жители южного Приднепровья»¹⁸².

В 1908 г. востоковед Ф.Ф. Вестберг, призывая осторожно пользоваться источниками восточных писателей, в их свидетельствах о руси (например, Ибн Хордадбега, Иосиппона, Ибрахима ибн Йа'куба, ал-Бекри, ал-Йа'куби и в первую очередь ал-Мас'уди) увидел, в отличие от В. Томсена, исключительно только норманнов, рассказывал, что шведы ещё до появления Аскольда и Дира образовали «организованную по-военному, занимающуюся грабежом и торговлею, разбойничью колонию в числе 100 000 в северно-славянской земле»¹⁸³ (такая численность русов присутствует у ряда восточных авторов X–XI вв. при описании «острова русов», рассказ о котором, как полагают, относится к IX в.¹⁸⁴). Тогда же барон С.А. Корф вёл речь о мирных славянах, вынужденных поэтому призвать для защиты воинственных пришельцев — норманнов-варягов, пре-

восходивших их «как своей личной энергией и предприимчивостью, так и вооружением и умением вести военное дело» (но ещё до того славяне уже пользовались услугами бродячих варяжских дружин). Так в Новгороде появился «наёмный гарнизон, наёмное войско защитников» во главе с Рюриком и его двумя братьями. Одновременно «по славянским городам бродили, приходили, проходили, уходили и многие другие варяжские находники», «не останавливаясь подолгу на одном и том же месте»¹⁸⁵.

В 1910 г. лингвист А.И. Соболевский посчитал, что названия городов Искоростень и Полкъстень образовались от личных имён Искоростен и Полкъстен, видимо, скандинавского или вообще германского происхождения¹⁸⁶. Два года спустя англичанин А. Бьюри уверял, что шведы в количестве 100 000 человек, перейдя Балтийское море, основали Новгород, захватили всю торговлю Восточной Европы с Багдадом, Итилем и Константинополем и подчинили себе восточных славян¹⁸⁷. В 1913 г. германист Ф.А. Браун на страницах «Русской энциклопедии» говорил, например, что варягами (от *vār* — клятва) именовали всех скандинавов, заморских и селившихся на Руси (при этом князья и дружинники тянули «за собой свои семьи»), что археологические находки в России и Швеции подтверждают правильность летописного приурочения начала скандинаво-русской государственности во второй половине IX в.¹⁸⁸ В 1914 г. А.Г. Преображенский, констатируя, что, «несмотря на многочисленные попытки», так ещё и не объяснено название «Русь», говорил по Томсену, что выведение его из финского *Ruotsi* «следует считать наиболее вероятным» (сокращённое каких-либо древнешведских **rops-menn* или **rops-karlar*)¹⁸⁹.

В те же предреволюционные годы М.К. Любавский объяснял, что Рюрик, Дир, Аскольд, Рогволод, Тур — это конунги, что скандинавские конунги объединили, выйдя из Новгорода, восточных славян, что конунг Олег утвердился в Киеве и, «опираясь на многочисленный здесь скандинавский элемент, заставил себя признать главным вождём всего восточного славянства» и что норманская теория происхождения Русского государства согласуется со Сказанием о призвании варягов, что западноевропейские (Бертинские анналы), византийские (Лиутпранд, Константин Багрянородный, Ионн Диакон) и арабские памятники (Ибн Даста, ал-Катиб) также знают варягов как норманнов. Свой вывод он подкреплял, конечно, и «филологическими соображениями»: прибывавшие в Восточную Европу скандинавы «называли себя *rotsmens*, моряки» (финны это нарицательное имя приняли за собственное, и с их лёгкой руки оно утвердилось за варягами-скандинавами), и что имена первых русских князей и все имена дружинников Игоря, как «легко можно увидеть», являются скандинавскими¹⁹⁰.

Но окончательно ультра норманизм в нашей и зарубежной науке утвердил посредством вещественного материала, по своей природе особо воздействующего на восприятие и сознание, шведский археолог Т.Ю. Арне в книге «Швеция и Восток», изданной в 1914 году. В условиях назревания и начала Первой мировой войны в его взгляде на русскую историю проглядывается явное стремление не только исторически обосновать германский «*Drang nach Osten*», но и представить Россию, в угоду реваншистским настроениям шведской элиты,

ярко выраженным в середине XVIII в. О. Далиным, в качестве продукта торжества шведского духа. Эти реваншистские настроения ещё больше были усилены утратой Финляндии в 1809 г., приведшей к серьёзному ухудшению стратегического положения Швеции. Бывший в 1908–1912 гг. военным атташе в Дании, Швеции и Норвегии граф А.А. Игнатъев констатировал, что «память о великой Швеции, владычице всей Балтики, не изгладилась» в умах шведов и что «Финляндия оставалась для Швеции воспитанной ею “приёмной дочерью”, похищенной могучей восточной соседкой»¹⁹¹. В предвоенные годы в Швеции резко активизировалась столетиями активно культивируемая антирусская пропаганда, делавшая ставку на «русскую угрозу» и пугавшая русской оккупацией, а к союзу с Германией склонялись многие политические деятели, включая короля Густава V, отличавшегося германофильством и убеждённого в неизбежном вовлечении Швеции в войну ради захвата Финляндии¹⁹².

И вот в такой всё более накалявшейся антирусской атмосфере Арне, произвольно трактуя русские находки в пользу древних своих сородичей, выдвинул теорию шведской колонизации Руси в IX–X вв., представляющую собой перепев на археологический лад «бредней», если вспомнить оценку А.Л. Шлёцера, того же Далина. И в том ему очень большое содействие оказали выводы русских исследователей. С одной стороны, историка В.О. Ключевского и филолога А.А. Шахматова, с другой, рассуждения о «русских норманнах» его собратьев по профессии и духу (Ю.В. Готье отмечал, что, «считая древнейший Смоленск, как он представляется по Гнёздовскому могильнику, большой скандинавской колонией, куда варяги иммигрировали в IX в., Арне опирается на мнение А.А. Спицына» 1905 г.: в Гнёздове господами являлись «многочисленные норманны. Это и властители, и носители новых исторических задач, и представители блестящей для того времени внешней культуры. Норманны производят могущественный переворот в жизни кривичей»)¹⁹³ (поэтому ошибочно преподносить Арне в качестве основателя норманизма в археологии¹⁹⁴).

Согласно Арне, в ходе проникновения на Русь значительных групп шведов, среди которых были и ремесленники, их колонии появились на её территории уже в первой половине IX в. (прежде всего в юго-восточном Приладожье и раньше всего на р. Паше), что в IX–X вв. все торговые пути от Балтийского до Чёрного и Каспийского морей были «путями викингов» (но всего важнее был Волжский путь, открытый в первой половине IX в., и торговля с болгарами, хазарами и арабами, причём прямые сношения шведов с хазарами начались около 800 г.). Теорию Арне венчал главный её «научный вывод»: викинги основали Киев и создали государство, в котором составляли господствующий класс (превращавшийся в «обрусевших шведов»), и в X в. повсюду, в позднейших губерниях Петербургской, Новгородской, Владимирской, Ярославской, Смоленской, Черниговской, Киевской вдоль торговых путей «расцвели шведские колонии». Для доказательства своей теории Арне наибольшее значение придавал принципиально важным для понимания древнерусской истории могильникам на р. Паше, в Гнёздове, в Большом Тимерёве и у с. Михайловского, где, по его словам, «имелись наиболее типичные скандинавские погребальные памятники и было найдено наибольшее количество скандинавских вещей»¹⁹⁵ (в своём

разыгравшемся ультранорманистском аппетите Арне приписывал скандинавское происхождение салтово-маяцкой археологической культуре¹⁹⁶).

Столь тенденциозно-археологический взгляд на историю Руси в 1916–1917 гг. встретил протест некоторых наших учёных. Так, И.Н. Бороздин указал, что Арне, излишне увлечённый скандинавизмом, сильно грешит «этим во многих местах своей книги. Усиленно подчёркивая скандинавское влияние, он умаляет финский и, особенно, славянский элемент». Вместе с тем Бороздин заострил внимание на неприменной спутнице «скандинавизма»: «наряду со скандинавским увлечением Арне приходится отметить и его увлечение хазарами». Затем Е.Н. Щепкин, говоря о «смелой картине восточных влияний, которые, по мнению Арне, шли через Хазарию» в Швецию, заключил, в частности: «Более смелостью и остроумием, нежели опорой в письменности, может привлекать к себе догадка Арне, что будто бы под “Sarklant” рунических надписей надо разумеать не арабские земли в передней Азии, а область крепости Саркела на Дону, или (?) Белой Вежи, то есть “Sarkelland” вместо “земли сарацин”»¹⁹⁷ (начавшуюся критику Арне, которая не позволила бы его теории расцвести в науке пышным пустоцветом, глушащим всё живое, перечеркнули революции 1917 г. и кровавая Гражданская война).

О тенденциозности Арне вели речь и в советское время (Д.А. Авдусин, И.П. Шаскольский), ибо он решал «вопрос об этнической принадлежности погребальных памятников... довольно просто: если в погребении найдена хотя бы одна скандинавская вещь, значит — здесь захоронен норманн». Благодаря чему объявил «принадлежащими норманнам целый ряд древнерусских могильников и поселений», хотя «впоследствии скандинавское происхождение многих из этих вещей было поставлено под сомнение или вовсе отвергнуто» (к примеру, «норманских мечей»). Более того, по замечанию польского историка Х. Ловмянского, Арне «причисляет к шведским даже курганы, не содержащие шведских предметов, если они отличаются богатством инвентаря»¹⁹⁸.

В 1915 г. шведский славист Р. Экблом с завидной оперативностью поспешил подкрепить теорию соотечественника лингвистикой, увидев в названиях Новгородской земли (порядка 50) с корнем рус- и вар- (вер-) доказательство расселения скандинавов. При этом его — профессионального лингвиста — несколько не смутил факт полнейшего отсутствия и в Швеции, и в других скандинавских странах топонимов с теми же корнями¹⁹⁹ (вместе с тем Экблом указал на несостоятельность версии Томсена о происхождении имени «Русь» от древнего названия Рослагена Rōfer, т. к. его предположение, что в составных словах с начальным gōrs- содержится форма родительного падежа rōp(er)s, не соответствует действительности, ибо форма родительного падежа от Rōfer должна звучать как Rōfar, что абсолютно не совместимо с rōps-, и тем самым не могло вызвать образование финской формы Ruotsi)²⁰⁰.

В 1917 г. Арне издал сборник своих статей (включая статью «Колонии шведских викингов на Руси», популярно излагающую содержание книги «Швеция и Восток») по истории русско-шведских культурных связей под названием «Великая Швеция» («det stora Svitjod»), уверяя, что так именовалось Русское государство, созданное норманнами и находившееся в политической связи со швед-

ским королевством (И.П. Шаскольский указывал, что приводимое им выражение «det stora Svitjod» есть перевод «на современный шведский язык древнескандинавского выражения “Svitjod hin mikla”», содержащегося в «Саге об Инглингах» и под которым подразумевается «мифическая страна, расположенная где-то к северу от Чёрного моря; в этой стране, согласно саге, некогда жил бог Один и его племя — предки современных шведов, позднее переселившиеся на территорию Швеции и давшие начало шведскому народу». Позже Т.Н. Джаксон констатировала, что название «Великая Свитьод», применяемое ко времени переселения предков шведских и норвежских конунгов — языческих богов-асов во главе с Одином — из Асаланда/Земли асов в Скандинавию, не имеет абсолютно никакого отношения к Руси. О том же говорил в 1998–2004 гг. А.Г. Кузьмин).

Введя в научный оборот название Руси как «Великая Швеция» (а его подхватили другие зарубежные учёные, потому как, во-первых, отпадала необходимость что-либо доказывать, ибо это как раз тот случай, когда форма определяет содержание, во-вторых, оно превратилось, наряду с «норманскими мечами» и «крестиками скандинавского типа», в ещё один говорящий «аргумент» в пользу правоты норманистов), Арне свою теорию подкреплял ещё русским эпосом, с которым обращался, под воздействием националистического самогипноза, с той же непозволительной для учёного вольностью, что и с вещественным материалом. В связи с чем под его волшебным пером предстали норманнами Алёша Попович, Соловей Будимирович, Авдотья Рязанка, Илья Муромец (т. к. он «murman», «Norman», «man från Norden», «Ilja från Norden») ²⁰¹.

Теория Арне являет собой, что вообще характерно для норманизма и всей его продукции, историческую фантазию. Как отметил в 1962 г. английский специалист в области истории викингов и норманист П. Соьер, во-первых, «не может быть, чтобы шведы когда-либо играли на Руси важную роль в качестве поселенцев», во-вторых, «нет никаких археологических свидетельств, способных оправдать предположение о наличии там обширных по территории колоний с плотным населением» ²⁰². Однако отсутствие фактов вообще нисколько не помешало выдумке шведа Арне получить, справедливо резюмировала в 1955 г. эмигрантка Н.Н. Ильина, «большой успех в Западной Европе по причинам, имеющим мало отношения к исканию истины» (её активно проводили прежде всего скандинавские археологи) ²⁰³. Под воздействие этой выдумки моментально попала — так был велик гипноз скандинавской археологии, которая, с ловкостью фокусника превращая «чужое» в «своё», якобы материально подтверждала норманистское прочтение ПВЛ, — наша наука. И прежде всего в лице своего величайшего авторитета, филолога и летописевода А.А. Шахматова, мнения и заключения которого моментально прописывались в исследованиях других специалистов, включая зарубежных («выводы Арне, — появившийся в 1930 г. Ю.В. Готье, — были целиком и без критики» приняты им в работе «Древнейшие судьбы русского племени» 1919 г.).

Тем самым Шахматов безоговорочно признал от лица языковедов, как это сделал чуть раньше его шведский коллега Экблом, лидерство археологии в трактовке варяго-русских древностей (в 2000 г. американский учёный С.Я. Сендерович почему-то говорил, что он «вовсе не обращался к данным археоло-

гии»²⁰⁴). Приняв это лидерство и апеллируя к заключениям Арне, Шахматов в 1915–1919 гг. продолжал развивать идеи, высказанные ранее, всё больше отходя в трактовке варяжского вопроса от науки, начав, например, именовать Нестора и его последователей «норманистами», потому как русь в его представлении означала шведов и Швецию. Под влиянием прежде всего Арне появились новые элементы в шведском взгляде учёного на родную историю: скандинавы пребывали на Руси с самого начала в виде «несметных полчищ», выступали в качестве «могучего бродильного элемента», преподнёс не-норманскую Азово-Черноморскую Русь в качестве норманской, приписал скандинавам создание нескольких государств на Руси.

Самую «древнейшую Русь» во главе с «русским каганом» академик «открыл» в Старой Руссе (увидев в ней «остров русов» восточных авторов). И охарактеризовал её как «военно-организованную, ведущую торговлю, разбойническую колонию численностью» до 100 000 человек, в которой «военная организация приняла государственные формы». К такому «точечному» заключению учёного привела невиданная для других местностей Северо-Западной Руси насыщенность «русской» географической номенклатурой в районе Старой Руссы, на которую он уже глядел глазами шведа Р. Экблома (в 1930 г. норманист Ю.В. Готье заметил, что у гипотезы Шахматова в отношении Старой Руссы совершенно отсутствует археологическое основание). Именно послы этого русского кагана, искавшего союзников в борьбе с хазарами, оказались сначала в Византии, а затем во Франкском государстве в 839 году. Позже русские государства, созданные шведской русью, возникли в Новгороде и в Киеве (где быстро скандинавы ассимилировались и становились славянами). Понимая прозрачность своих построений (хотя он ссылается на археологический материал, показания Бертинских анналов, Амартола, Псевдо-Симеона, Лиутпранда, Ионна Диякона, на «русские»/скандинавские названия днепровских порогов и пр.), Шахматов прямо признал: «Мы говорим о временах, предшествующих историческим свидетельствам; это принуждает нас прибегать к гаданиям, но гадания эти законны и необходимы» (а эти гадания на норманистской гуще и составляют основу норманизма).

Вместе с тем надлежит особо заострить внимание на двух его позициях. Во-первых, на предположении, указывающем на несостоятельность общепринятой норманистской этимологии слова «варяг»: оно «могло возникнуть и не в скандинавской среде, означая первоначально и не скандинавов»: Varang является переделкой имени франков, имевшим, видимо, место в устах аваров и ими переданным как на Балканский полуостров, так и восточным славянам (и тогда «франками-варангами означались вообще германцы»). Во-вторых, коснувшись мнения немецкого востоковеда Й. Маркварта, что финское Ruotsi было бы передано в русском языке, скорее, через Ручь, чем через Русь, исследователь признал: «Диалектически могла быть известна передача Ruotsi и через Ручь», приведя тому в пример зырянское «рочј, рѣчј» — русский²⁰⁵ (остаётся добавить, что Шахматов окончательно вычеркнул из науки некоторые лингвистические «доводы» норманистов. Так, в 1912 г. он отметил кельтскую основу общеславянских слов, приписываемых скандинавам, например, боярин, отец,

щит, тать, слуга, клеть, брага. Как в целом им подытоживалось, славяне заимствовали у кельтов слова, которые относятся к понятию общественного и государственного порядка, к военному делу, к культу, к хозяйственному обиходу, а также ряд собственных имён. Не сомневался исследователь и в том, что некоторые германские слова проникли к славянам через посредничество кельтов²⁰⁶).

Идею о двух волнах прибытия норманнов на Русь параллельно пропагандировали другие учёные предреволюционной поры. Например, К.Ф. Тиандер, который понимал под русью гётов (племя, жившее в Южной Швеции), унаследовавших власть над Приднепровьем от готов, а под варягами жителей северной части Швеции — свеев-шведов. А.Е. Пресняков полностью повторял Шахматова, лишь датируя появление на юге норманнской руси — первых выходцев из Скандинавии — более ранним временем, чем 30-е гг. IX века. При этом отмечая, что его концепцию «очень трудно обосновать историческими и археологическими данными, потому что таких данных очень уж мало» и что его представления о «полчищах» скандинавов и «даже несметных полчищах севернорусов и финнов, предводительствуемых скандинавами», есть «количественные гиперболы — большой недостаток изложения у Шахматова»²⁰⁷.

Ультранорманизм хотя и господствовал в предреволюционную пору, однако имел оппозицию в лице, например, Л.В. Падалко и В.А. Пархоменко, идущих в русле теории Д.И. Иловайского. Согласно Падалко, имя «Русь» связано с югом Восточной Европы, со славянами, которые в глубокой древности смешались с «иранцами скифо-сарматской поры», в результате чего сложились роксаланы — крупнейший этнический конгломерат на пространстве от предгорий Кавказа до р. Днестр. По его объяснению, первая часть названия роксалан есть предикативная приставка «Рокс-Урс-Рос», означающая белый цвет, что в переносном значении обозначает свободу, силу, господство. Таким образом, термин «рус» означал высший слой аланов, который затем перешёл в рамках до-киевской Руси — Тмутараканской (Азовско-Черноморской), возникшей значительно раньше второй четверти IX в. (именно о ней говорят византийские источники, Бертинские анналы, Ибн Фадлан), на всё население и на всю страну, подвластную «руси». Видя же в варягах норманнов, полагал, что путаницу в варяжском вопросе вызвала ПВЛ, отождествившая варягов и русь и утверждающая, что от варягов прозвалась Русская земля.

Пархоменко, рассматривая показания восточных авторов о трёх центрах Руси IX–X вв. — Куябе, Славии и Артании, в последней признал Русь Азовско-Черноморскую (Тмутараканскую), о которой ведут речь византийские жития Стефана Сурожского и Георгия Амастридского, сочинения патриарха Фотия, и заключил, что эта Русь не имеет отношения к варягам-скандинавам. Согласно его окончательному выводу, поляне представляли собой «первую волну юго-восточной Руси» (в результате движения кочевников на запад) на средний Днепр в конце IX в., где им пришлось выдержать столетнюю войну с уличами и древлянами (в ходе которой они завоевали Киев) и где зародилось начало русской государственности. Но, посчитал историк, тенденциозно настроенные поздние летописцы, которые «встречались с норманнами, столь воинственными и тогда в изобилии являвшимися на Русь и игравшими здесь роль», «переоде-

ли» героев старого предания» — представителей Черноморской Руси Аскольда, Олега, Игоря в норманнов и привели их с севера²⁰⁸.

Ультранорманизм пышно цвёл и в работах зарубежных исследователей, причём и в тех из них, которые не имеют отношения к варягам. В качестве примера можно привести монографию финского слависта В.Й. Мансикки «Религия восточных славян» (вышла в 1922 г. в Хельсинки на немецком языке, на русском издана в 2005 г.). Прежде чем подойти к заявленной теме, он, опираясь на работы Т.Ю. Арне, А.А. Шахматова, Л. Нидерле и русских археологов, рассказывает, тем самым поясняя, что служит для его выводов главным источником: на территории Руси наблюдаются следы скандинавского воздействия и «можно установить наличность скандинавских поселений в пределах современных Петроградской, Новгородской, Смоленской, Ярославской, Владимирской и др. губерний».

А ссылаясь на датчанина С. Рожницкого, уверяет, что клятва над оружием в русско-византийских договорах представляет собой норманский обычай, сохранившийся у некрещённой «руси», хотя при этом и указывает на наличие подобной клятвы у остяков (в 1901 г. Рожницкий убеждал, что Русь эпохи Олега, Игоря и Святослава представляла собой чисто военное государство, в котором славяне не обладали никаким голосом. В связи с чем при заключении договоров с Византией за них отвечало варяжское войско, которое клялось Перуном, являвшимся «замаскированным» варяжско-скандинавским Тором, ибо они оба громовники. В 1902 г. норманист К.Ф. Тиандер от мнения Рожницкого не отстал и камня, указывая, что предположение «о тождестве Перуна и Тора навело его на соображения, которые идут в разрез с культурной обстановкой исследуемых случаев», и что он значительно переоценивает роль норманнов на Руси).

Одновременно с тем Мансикка считает, что упоминание в клятвенной формуле 945 г. выражения «будущий век» «также, скорее, относится к сфере скандинавских религиозных представлений, чем древнерусский: свободный скандинавский воин ничего так не боялся, как рабского состояния в Вальхалле». И опять же в полном согласии с Рожницким говорит, что обычай клясться богами (Перуном и Волосом), зафиксированный теми же договорами, есть результат норманского культурного воздействия. Причём только в этом случае «мы поймём то, почему громовник Перун играет такую выдающуюся роль при клятвоприношении. Призывая в свидетели Перуна, русские подражали своим учителям — варягам, признававшим за Тором значение главного карателя за нарушение клятвы» (ведя речь о внеславянском происхождении Перуна, ставит его в связь с матерью Тора Fjorgun).

Затем Мансикка повествует, что в Киеве и Новгороде — в этих центральных пунктах норманского влияния — во времена Владимира стояли «идолы Перуна, которые, по всей видимости, имитировали характерные для скандинавского Севера деревянные изображения Thor'a, украшенные золотом и серебром», что некоторые черты, характерные этому божеству, «были искусственно перенесены на Перуна», что при объяснении погребения Владимира Святославича нельзя обойти молчанием древнескандинавский похоронный ритуал, что, согласно ПВЛ, первых варяжских правителей — Аскольда и Олега Вещего —

«по скандинавскому обычаю похоронили на “горе”», что россы Константина Багрянородного — это норманны, что обряд у огромного дуба на о. Хортица «совершался норманскими торговцами в честь их могущественного патрона Тура в благодарность за пройденный путь», ибо «известно, что у скандинавов дуб считался священным деревом, у которого приносили жертвы и гадания» и который был посвящён громовержцу Тору (хотя хорошо известно, что священным деревом дуб был у многих народов, к примеру, у восточных славян, у которых он был связан с Перуном. По сообщению Гельмольда, одному из главных богов южнобалтийских славян Прове, богу ольденбургской/старградской земли, а в Прове видят один из эпитетов Перуна, посвящались священные дубы).

Рассуждая в такой утвердительно-категоричной форме, не отягощённой аргументацией, Мансикка, во-первых, во многом игнорирует Начальную летопись, полагая, что в ней «изложение событий, относящихся к самой ранней эпохе исторической жизни Руси, к эпохе Рюриковичей и Владимира, отличается фантастическим, легендарным характером». Во-вторых, он, всё же обращаясь к показаниям ПВЛ, использует не подлинный текст Лаврентьевской и Ипатьевской редакций, а его реконструкцию, предложенную Шахматовым в 1916 г., принимая её за оригинал (однако выдающийся наш летописец подчёркивал чисто гипотетический характер своих реконструкций, в связи с чем категорически возражал против их использования в качестве источников. Объясняя это тем, что цель издания реконструкции летописи сугубо утилитарная — это облегчить решение вопросов о её составе и источниках)²⁰⁹. Не удивительно, что при подобном подходе к главному источнику по истории Руси вместо её истории могут появиться лишь наукообразные измышления, вытекающие из норманистских взглядов автора и лишаящие даже общеславянского и праславянского Перуна славянского облика²¹⁰.

4.5 Варяго-русский вопрос в трудах советских и эмигрантских учёных 1920–1948 годов

В целом, ситуацию, сложившуюся в нашей науке в преддверии революционных потрясений, точно выразили в 1965 г. И.П. Шаскольский и Л.С. Клейн, отмечая, что тогда почти прекратились антинорманистские сочинения, и все учёные (по характеристике Клейна, «серьёзные, объективные и передовые»), в той или иной мере занимали позиции норманизма. К этим словам уместно добавить пояснение А.А. Горского от 2009 и 2012 гг., что причиной практического прекращения в то время дискуссии об этнической принадлежности варягов «было, в первую очередь, накопление научных знаний, особенно в области археологии и лингвистики»²¹¹. В 1999 г. Клейн подчеркнул, что норманизм сохранялся в первые послереволюционные десятилетия в советской науке²¹².

Однако норманизм там безгранично воцарился на всё время под видом «советского антинорманизма». Потому как на позициях ультранорманизма изначально и непоколебимо стояла марксистская наука в лице, как принято его представлять, первого русского профессионального историка-марксиста М.Н. Покровского, вобравшего норманистские «истины» в гимназические и студенческие годы (одним из его учителей во время учёбы в Московском университете был В.О. Ключевский). Эти «истины» он популяризировал в 1910 и 1915 гг., а затем перенёс, несмотря ни на революции, ни на гигантские изменения в общественно-политической жизни страны и ни на своё довольно скептическое отношение к дореволюционной историографии, в нарождающуюся под его руководством советскую науку.

Варяжский вопрос Покровский сводил к тому, что восточные славяне называли шведов «русью», заимствовав это имя от финнов, которое они дали шведам, прибывавшим к ним через Балтийское море (название «Руоцы» происходит от древнешведского *rother*, означавшего «греблю», «морскую поездку»), что Русь не была результатом внутреннего местного развития, а явилась следствием «внешнего толчка», данного движением на юг норманнов-шведов, ставших создателями Киевской державы. Ведя речь о заключении с Рюриком — одним «из варяжских конунгов с его шайкой» — «ряда» с целью купить мир, чтобы он оборонял восточных славян от прочих норманских шаек, учёный резюмировал: то, что произошло «в этом случае, нельзя охарактеризовать иначе, как завоеванием в его более мягкой форме, когда побеждённое племя не истреблялось, а превращалось в “подданных”».

На Руси шведы промышляли захватом и продажей самого важного товара — рабов, являлись рабовладельцами и работоторговцами, и в целом их нашествие «с чрезвычайной быстротой создавало на Руси рабовладельческую культуру, яркую и грандиозную». Полагая, что города на Руси образовались около стоянок работоторговцев, Покровский заключал, что шведы составляли первое время господствующий класс городского населения, которое прежде всего и стало называться «русью» («имена первых князей и их ближайших помощников, бояр, сплошь шведские», слова «князь» и «витязь» происходят, вторил он опять же Ключевскому, от шведских «конунг» и «викинг», долговое холопство, «закупничество» пришли к нам из Скандинавии). Позиция, как его окрестила наша эмиграция, «советского Карамзина»²¹³ настолько выразительна, что не оставляет сомнений в её характеристике даже у самых ревностных приверженцев норманской теории. По оценке норвежского учёного Й.П. Нильсена, Покровский есть «отъявленный норманист в своих взглядах на Киевскую Русь»²¹⁴.

Но в первые пятнадцать лет советской власти Покровский был не только, а точнее, не столько учёным, а сколько главой всей советской исторической науки, тем самым жёстко определяя линию её стратегического развития. Тому во многом способствовало его положение в иерархии партийно-советской номенклатуры высшего звена: с мая 1918 г. и до своей кончины (апрель 1932) он был первым заместителем наркома просвещения РСФСР, председателем президиума Комакадемии РАНИОН, бессменным руководителем Государственного учёного совета, членом Комитета по заведыванию учёными и учебными заведениями

ми при ЦИК СССР, ректором Института Красной профессуры, председателем Общества историков-марксистов, заведующим Центрархивом РСФСР и СССР, членом редколлегий ряда научных журналов. И эти весьма важные административные должности позволяли ему держать в своих руках все нити управления разветвлённым научно-организационным аппаратом в области изучения и пропаганды знаний по отечественной истории²¹⁵. Поэтому его взгляд на прошлое России получил в науке широчайшее распространение посредством прежде всего его пятитомной «Русской истории с древнейших времён» (в 1933–1934 гг. она вышла восьмым изданием), а советская творческая интеллигенция вырастала на его «Русской истории в самом сжатом очерке», основном учебном пособии тех лет, неоднократно выходившем в свет, начиная с 1920 года.

Позиция Покровского в варяжском вопросе разделялась всеми тогдашними советскими учёными. Академик С.Ф. Платонов в 1920 г., опираясь, по собственной оценке, на «доброкачественное научное построение» А.А. Шахматова о давнем существовании в северо-западных пределах Восточной Европы шведской руси, укрепил его гипотезу о «варяжском центре на южном берегу Ильменя» тем, что увязал многочисленные древние «русские» названия этого района со скандинавами. При этом лишь подчеркнув, что напрасно Шахматов связывает «остров русов» со Старой Русой, ибо так в целом называлось всё южное Приильменье. Через два года лингвист Н.М. Петровский заключил, рассуждая о книге Шахматова «Древнейшие судьбы русского племени» (1919), что в вопросе о народности Рюрика невозможна иная точка зрения, кроме норманской²¹⁶.

И она, действительно, не могла быть иной, потому как везде, на чём задерживался взгляд норманистов, тут же обнаруживалось «скандинавское», в том числе в топонимике Константинополя. Так, в русском названии «Суд» залива Золотой Рог академик В.М. Истрин в 1922 г. увидел скандинавское наименование пролива *sund*. Тогда же археолог А.А. Спицын, уверяя, «что успехи археологии медленны, — но они именно постольку и прочны, поскольку медленны», изложил эти «пока немногие» успехи: что в IX в. норманны проникали в Финляндию, что они, судя по типам фибул, были готландскими торговцами, что сопки в районе Ладоги и на Сяси принадлежат норманнам, потому как «никому иному их нельзя приписать», что «норманны-русь имели под Болгарами своё погребальное поле», что «при устье р. Которосли в районе Ярославля (д. Тимерёво и Михайловское) известна группа нормано-русских курганов X в. — не менее 1500 насыпей; в верховьях этой реки и в районе Ростовского озера их было не менее того», что у Смоленска расположена «огромная Гнёздовская группа норманских курганов и отчасти сопки» и др.

В 1923 г. филолог В.А. Брим, стараясь примирить норманизм с противоречащими ему источниками и отказаться от его обветшалых догм, в целостном виде предложил свою теорию о независимом существовании на севере и на юге сходных названий «русь» и «рос». Придерживаясь гипотезы, что русью в летописи назывались варяжские дружины вообще, а не какое-то скандинавское племя, он первооснову русского имени увидел в древнешведском *drôt* — толпа, дружина, который строго отвечает финскому *Ruotsi*, и славянскому «Русь», также означавшему «дружина». От *drôt* возникла форма *drôtsi*, а уж от неё образо-

валось слово *drôtsmenn* — дружинник, при заимствовании которого в финский язык др.-сканд. долгое *ō* перешло в дифтонг *uo*, *dr* изменилось в *r*, т. к. финский язык не выносит в начале слова комбинацию согласных, а вторая часть этого слова выпала, что и привело к возникновению слова «Ruotsi». По прибытию северной руси на Днепр её имя быстро и прочно пустило корни среди славян и византийцев. Новое племенное название оживило на юге старую прочную традицию вокруг историко-географического термина «Рось», который появился там в очень древнее время (примеры тому — росомоны, роксоланы) и который держался, вероятно, и как народное имя, «покрывая собою сменявшие последовательно друг друга мелкие народности у Черноморья». В конечном итоге имя «Рось» «закрепилось за племенем, властвовавшим в Киевском государстве, за племенем с л у ч а й н о носившим похожее название “Русь”».

В 1925 г. Ю.В. Готье вёл речь о «славяно-норманском» государстве в Восточной Европе, «которое затем с неизбежными, сменяющими друг друга периодами процветания и упадка существует до наших дней» (вместе с тем он предложил археологам пересмотреть выводы Т.Ю. Арне, которые популяризировал А.А. Шахматов). Тогда же историк-экономист И.М. Кулишер утверждал, что древнейшие поселения норманской руси находились в области между оз. Ильменем и верховьями Волги, представлял скандинавов первыми торговцами на Руси, говорил (с ссылкой на Т.Ю. Арне и А.А. Шахматова), что они открыли путь по Волге в IX веке. В том же 1925 г. А.И. Лященко озвучил мысль, в плену которой уже побывали, заведя туда многих, А.А. Куник и Т.Ю. Арне, что Илья Муромец был скандинавом, ибо его прозвище свидетельствует о связи русского богатыря «с мурманами, т. е. с норвежцами». На следующий год он подчёркивал, что «обыкновенно новые отряды норманнов появлялись на Руси с возобновлением навигации, летом», что рассказы о русской истории, отражённые сагами, заносились в Норвегию и Исландию «удальцами-варягами, соратниками наших “великанов сумрака”», и что в основе «исторических» саг, хотя и небезупречных, как исторические источники, лежат истинные происшествия²¹⁷.

В 1928 г. в первом издании «Большой Советской Энциклопедии», вышедшей под редакцией, в том числе, члена Политбюро ЦК ВКП(б) Н.И. Бухарина и главного историка СССР М.Н. Покровского, внушалось массовому читателю, с одной стороны, что варяги (происходит от скандинавского *var* — обет, союз) — это скандинавы, что «раскопками установлены близ Смоленска следы большого скандинавского поселения начала 10 века» и что в середине IX в. в Восточной Европе «образовался ряд варяжских княжеств (главные — в Новгороде и Киеве)». С другой, крепко вбивалось в его сознание в качестве непогрешимой марксистской догмы, что «норманское происхождение первых рус. князей было установлено ещё в 18 в., в нём не сомневались ни Карамзин, ни Погодин, ни Соловьёв; но великорусский шовинизм чувствовал себя обиженным “немецким” происхождением перв. рус. “государей” — и с 18 в. тянется ряд попыток доказать “истинно-славянское” их происхождение. ... Научного значения эти попытки не имели»²¹⁸.

Таким образом, если в начале XIX в. А.Л. Шлёцер отлучил (и это ему во многом удалось) антинорманистов от науки, приписав им чувство ложно понятого

патриотизма, то теперь от неё они отлучались, будучи уже обвинёнными в более страшном и в совершенно непростительном с точки зрения пролетарской диктатуры грехе — великорусском шовинизме (т. е. патриотизме), уже более 10 лет беспощадно вытравляемом мощным репрессивным аппаратом. И в этих условиях быть объективным в рассмотрении варяжского вопроса значило быть политически неблагонадёжным и могло привести (а такой угрозы никогда не было при, как тогда выражались, «кровавых» царях) к весьма чреватым последствиям. Это было понятно для историков той поры как дважды два, что ещё больше укрепило позиции ультранорманизма, ставшего официальной позицией советской науки (причём борьба с великодержавным шовинизмом быстро проявилась в археологии. Например, в том же 1928 г. А.В. Шмидт возмущался тем, что в работе А.А. Спицына «Расселение славянских племён по археологическим данным» 1899 г. и в книгах И.И. Толстого и Н.П. Кондакова 1890 и 1897 гг. «ярко проходит славянская точка зрения: многие группы памятников, относительно этнической принадлежности которых были колебания, он приписывает славянам»²¹⁹. Так разговор о неславянском в русской истории, выдача славянского за неславянское стали вновь, и очень быстрыми темпами, входить в «моду»).

Параллельно с тем насаждалось — и не только в науке — самое нетерпимое негативное отношение к антинорманизму и видным антинорманистам прошлого (в том числе к М.В. Ломоносову, несмотря на его «правильное» классовое происхождение из крестьян). Так, М.Н. Покровский в «Русской истории в самом сжатом очерке» пояснял, что предание о начале Русского государства варягами историки «часто оспаривали из соображений патриотических, т. е. националистических: им казалось обидно для народного самолюбия русских славян, что их первыми государями были иноземцы»²²⁰. В 1932–1933 гг. в «Большой Советской Энциклопедии» звучало, что политическое лицо И.Е. Забелина — это лицо реакционера и великодержавного шовиниста, что Д.И. Иловайский — это верноподданный историк, мракобес-крепостник, что его «История России» преследовала политические цели обработки общественного мнения «в монархическом черносотенном духе», а «Разыскания о начале Руси» не представляют научной ценности²²¹. Иначе, конечно, звучало со страниц того же издания в 1926 г. о Г.З. Байере: он — «один из первых серьёзных исследователей» древнейшей русской истории, к разработке которой подошёл с научно-критической точки зрения, а в 1933 г. о А.Л. Шлётцере: он приехал в Россию во всеоружии новой западноевропейской учёности²²².

В 1928 г. Ю.В. Готье рассуждал о сильном норманском элементе, составляющем оригинальную черту Тимерёвского и Михайловского могильников близ Ярославля, сославшись при этом на мнение Т.Ю. Арне, «что на месте Ярославля в IX и X веках существовала норманская колония или фактория» (по уточнению Готье, «норманский опорный пункт»). Тогда же Д.Н. Эдинг, докладывая об итогах раскопок Сарского городища 1924–1925 гг. на той же Ярославщине, констатировал: «Обилие скандинавских изделий в районе указывает на внимание норманнов к последнему» (само же «обилие» исчислялось единичными находками: «бронзовая фибула, “обращённая” лунница, гребни, подковка, заклёпка от лодки и бронзовый наконечник ножен меча»)²²³. На следующий год

академик А.И. Соболевский, считая, что «давно умолкли споры норманистов с противниками о названии Русь», пришёл к выводу, что «третье» русское племя восточных авторов (Артания/Арсания), есть «не что иное, как то варяжское государство, которое утвердилось на хазарской территории на северном берегу Понта» (в районе Таманского полуострова, в дельте р. Кубани)²²⁴.

В 1930 г. Готье говорил, уже характеризуя монографию Арне 1914 г. как чрезвычайно ценная и интересная работа, что норманны освободили славян от хазарской дани и с середины IX в. разъезжали «в самых различных направлениях по Восточной Европе», повелевали славянами, грабя и уводя их в рабство, что они проложили путь «из варяг в греки», который весь был в их власти, представлял Ладогу как «норманскую твердыню при входе в Волхов», как очень раннее поселение варягов, предшествовавшее державе Рюрика. Скандинавы, заключал он, «приняли очень видное и деятельное участие в создании первого русского государства, объединившего дотоле разрозненные племена и торговые города», и «для инертного и пассивного славянского населения норманны были тем возбуждающим и вызывающим брожение элементом, который было необходимо привить ему для перехода от разрозненного городского и племенного строя к более развитым общественным формам», не сомневался, что византийские жития Стефана Сурожского и Георгия Амастридского свидетельствуют о появлении уже в первой половине IX в. шаек норманнов на Чёрном море и опустошении ими малоазиатского берега²²⁵.

Столь же бездоказательно и столь же уверенно лингвист В.А. Брим в 1931 г. в статье «Путь из варяг в греки» расписывал с помощью непеременимых для норманистов «волшебных» слов: «вероятно», «возможно», «может быть» и др., хождения скандинавов по восточноевропейским речным путям и прежде всего по пути, название которого звучит в заголовке его статьи. Доказательствами тому для него служили следующие аргументы: «после середины XI в. прекращается, как известно, норманский период в русской истории», «русские» названия днепровских порогов, археологические факты, представленные Арне, и самые-самые глухие упоминания скандинавских источников о действии норманнов где-то на востоке. Отмечая, что именно скандинавские известия о «путешествиях» их героев по Восточной Европе «отличаются необычайной скудостью и неточностью», учёный вместе с тем декларировал, что «из многих других источников, говорящих о пути в Грецию через Русь, ясно видно, что они пользуются для своего описания нередко как раз скандинавскими материалами». А раз всё ясно видно, то Брим повествует, что с середины IX в. «основная масса варягов и вся их общественно-политическая энергия устремляются по Днепру с целью прочно овладеть этим важным путём» и что «в 860 г. они впервые появляются в значительном количестве перед воротами Константинополя». В конечном итоге образовалась «большая система дорог, связывающих Скандинавию с Восточной Европой», которые в скандинавской литературе носят название «austrvegr»-«восточная дорога» или, звучала одна из многих выдумок Брима, «væringvegr»-«варяжская дорога». Причём по этим austrvegr'ам, находившимся «в прочном владении скандинавов», передвигались не только викинги-варяги, военные торговцы, но и паломники в Святые места.

Вера, как известно, горами движет, и потому Брим, рассказывая о пути «из варяг в греки», даже частично восстанавливает «древние скандинавские названия отдельных его этапов». Вместе с тем он убеждал, что в северной части Ладожского озера сохранились сильные скандинавские укрепления, которые финский археолог И.Р. Аспелин в 1913 г. связал с упсальским конунгом Эриком Эмундссоном, ибо в саге об Олаве Святом имеется известие о его больших владениях на востоке: на тинге 1018 г. лагман Торгни произнёс речь, в которой сказал, что «мой дед, помнивший упсальского конунга Эрика Эмундссона, рассказывал о нём, что он в молодые годы каждое лето выезжал в поход, посещал многие края и подчинил себе Финляндию, Карелию, Эстляндию, Курляндию и большие области на востоке. Ещё до сих пор видны земляные валы и другие укрепления, им воздвигнутые»». А эти укрепления, уверял Аспелин, и находились на северных берегах Ладожского озера. Следовательно, строил на этой выдумке Брим свою очередную выдумку, Эрик Эмундссон мог владеть во второй половине IX в. некоторыми областями в северной части Приладожья.

Согласившись с С.Ф. Платоновым, локализовавшим «остров руссов» в области «к югу от Ильмена, направо и налево от Ловати», которая в старину именовалась «Русью», отметил (показывая, как формируется «лингвистическая» база норманистов), что «на Каспле стоит город “Гаврики”, имя которого напоминает норманские Hawrik в Англии и Havre в Нормандии». Археологический материал демонстрирует, заключал он, что Гнёздово в IX–X вв. являлось сравнительно большим скандинавским селением, игравшим «очень значительную роль в русско-скандинавских торговых движениях около 900 г.». В отношении «русских» названий днепровских порогов Бримом было сказано, что именно В. Томсен установил окончательно их скандинавскую природу²²⁶. В 1932 г. И.М. Троицкий информацию ПВЛ, что новгородцы были подчинены варягам и платили им дань, пояснил: это свидетельство находит себе подтверждение в археологических и иных данных, устанавливающих древность торговых сношений норманнов с Востоком через Волжский путь и Ладогу²²⁷.

Своё кредо в целом в варяжском вопросе историческая научная элита СССР чётко выразила в конце 30-х гг. в лице самых авторитетных представителей тем, что объявила об окончательной и бесповоротной победе норманизма. В 1928 г. историк А.Е. Пресняков в сборнике, посвящённом памяти В. Томсена, година со дня кончины которого была превращена у нас в широкое чествование норманизма, провозгласил, что «норманистическая теория происхождения Русского государства вошла прочно в инвентарь научной русской истории». Через два года историк и археолог Ю.В. Готьё ещё больше усилил этот тезис своим категоричным утверждением, что норманский вопрос решён в пользу норманнов и что антинорманизм принадлежит прошлому²²⁸ (тогда, наверное, только раз прозвучал голос, указавший на политический аспект норманизма. В 1931 г. И. Куршанак, предельно резко отзываясь о монографии Ю.В. Готьё «Железный век в Восточной Европе», изданной годом ранее, говорил, что он преувеличивает роль норманнов на Руси, якобы являвшейся «славяно-норманским государством», и тем самым готовит «идеологию интервенции» против СССР «новых» норманнов, способных помочь «установить “военную деспотию”»²²⁹. Тем

самым Куршанак заострял внимание на политической, антирусской подоплёке норманизма, взятого на вооружение Гитлером, рвущемся к власти).

Те же настроения победы норманизма, нацеленные на уничтожение в самом зачатке в том сомнений, господствовали и в эмиграции. Так, Ф.А. Браун в 1925 г. радостно заключал, что «время “варягоборства”, к счастью, миновало» (при этом сделав красноречивое признание, показывающее условность доводов норманизма, ибо шведам можно приписать абсолютно всё: «Мы должны помнить раз и навсегда, что шведская историческая традиция ничего для решения нашего вопроса не даёт и... дать не может», ибо первые записи в Швеции появляются лишь в XIII в.)²³⁰. В.А. Мошин подчеркнул в 1931 г., против норманской теории «теперь уже нельзя спорить»²³¹. И в те годы с норманизмом, возведённом в ранг бесспорной научной истины, действительно никто и не спорил, ибо в эмиграции, как и в СССР, безраздельно царил ультранорманизм, который с энтузиазмом пропагандировали в своих работах исследователи, являвшиеся такими же представителями дореволюционной российской историко-филологической науки, что и их коллеги, оставшиеся в Советской России.

Эмигрантская наука активно оплодотворяла советскую (а сей процесс был обоюдным), и в ней также, во-первых, возрождались аргументы, от которых отказались (под воздействием критики прежде всего С.А. Геденова) столпы норманизма XIX в. историки и лингвисты А.А. Куник, М.П. Погодин, В. Томсен. Во-вторых, активно развивала идеи Т.Ю. Арне, Р. Экблома и А.А. Шахматова. В-третьих, на такой основе и в силу своей тенденциозности легко создавала «факты» и «доводы», посредством которых рисовалась не история Руси, а история великих деяний шведов, приобщивших безвольную массу восточных славян к государственной жизни (но в то же время представители эмиграции демонстрировали несогласие с явно сомнительными положениями норманизма, создали, в отличие от деятелей советской науки, ряд важных обзоров по истории разработки варяжского вопроса, в которых порой довольно критично оценивали выходившие тогда норманистские сочинения и высоко оценивали, по сравнению с советской историографией, достижения антинорманистов минувшего столетия).

Вместе с тем эмигрантская наука, статьи, учебники, монографии которой выходили — в основном на русском языке — в Праге, Мюнхене, Берлине, Софии, Риме, Белграде, Берлине, Нью-Йорке, сильнейшим образом воздействовала в вопросах восприятия и трактовки истории Руси на западную историографию. Как подчёркивает сегодня крупнейший специалист по исторической мысли русской эмиграции 1920–1930-х гг. М.Г. Вандалковская, «за рубежом многие общие курсы истории России, также как и исследования, посвящённые отдельным проблемам российской истории, опирались, как правило, на работы эмигрантских учёных»²³² (но опирались, если вести речь о варяго-русском вопросе, уже имея крепким фундаментом работы датчанина Томсена, шведов Арне и Экблома, русского Шахматова).

В 1922 г. Н.Т. Беляев в лекции, прочитанной в королевском колледже Лондонского университета (была опубликована в 1925 г.), рассказывал о русском «начале начал»: норманны играли «огромную и необычайно плодотворную

роль» на Руси, принесли «с собой новую живую струю молодого мужественного народа», из Византии православие, византийскую культуру, торговлю, искусства, «чудные здания и величественные соборы», одновременно внося в их постройку «свои методы, свои арки, свои колонны, даже свои меры» — «наши аршины и сажени», которые, ославянившись, «пришлись нам по душе и по вкусу», от них же пошла новгородская вольница, затем, «как наследники буйного норманского духа», мы, русские, растеклись по двум материкам²³³. Тогда же в Мюнхене вышла «История России 862–1917» Е.Ф. Шмурло, которая представляла собой учебник для детей эмигрантов старшего возраста и в которой автор старается указать им, в каком направлении должна идти их умственная работа (неоднократно переиздавалась и пользовалась большой популярностью и среди западноевропейцев, была даже переведена на итальянский язык и опубликована в Риме). И «умственная работа» читателя шла по давно накатанному: варяги-норманны, являвшиеся «ничтожной горсточкой», заранее обречённой на бесследное исчезновение, сыграли в русской жизни «роль фермента: дрожжи заквасили муку и дали взойти тесту», они заложили «первый камень в том фундаменте, на котором позже стал строиться весь наш государственный порядок и быт»²³⁴.

Годом позже А.Л. Погодин уверял, что первые попытки государственного объединения восточнославянских, западнофинских и литовско-латышских племён принадлежат «германцам, сначала готам, создавшим в IV в. славное царство Германариха, потом скандинавам», что русские города Константина Багрянородного — это «“гарды” скандинавов, варяго-россов, опорные пункты их владычества», что государство со столицей в Киеве было «проникнуто мировоззрением норманнов» (в центре которого стояли Тор и Один), что в 945 г. некрещёная часть дружины Игоря присягала по своему скандинавскому обряду, что русские князья были тесно связаны со Швецией, что в середине X в. различие русского и славянского элементов было так ещё велико, что даже днепровские пороги носили две категории имён, что «резкое различие двух стихий в жизни тогдашнего русского государства, дружинно-княжеской норманской и народной славянской, хранилось до конца X века» (но норманны-варяги «были осуждены на ассимиляцию с коренным народом»).

Вместе с тем учёный подчёркивал, что «та историческая обстановка, в которой Владимир добился власти, характерна для его норманского самосознания», что первое время он, сын Мальфреды, представляется «ультраваряжским князем», что божества его пантеона являются скандинавскими: «деревянный Перун с серебряной головой и золотыми усами нам ясен: это типичный варяжский Тор, как он изображался в скандинавской мифологии». Рядом с ним, возможно, стояли два истукана золотого Одина — Один-Стрибог и Один-Даждь-бог, а также Мокошь: «Может быть, я не ошибусь, если разоблачу псевдоним Макоши, как Freyr, богиню Фрею многих саг». Симаргл же — это не божество, а «симарыла», т. е. «в память отца своего Святослава, погибшего и оставшегося непогребённым, водрузил памятник Владимир, продолжавший языческую традицию отца. Такие памятники были в варяжском быту»²³⁵ (к приведённым «научным» выводам Погодина привели, помимо его ультранорманизма, заблуж-

ждения В. Томсена, в свою очередь вдохновлённого заблуждениями Ф.Г. Штрубе де Пирмонта, Н.А. Полевого, С.К. Сабина, М.П. Погодина, идея датчанина С. Рожницкого, рассуждения финна В.Й. Мансикки, а также, как можно думать, ещё и российский филолог, академик Ф.Е. Корш, который в 1908 г. предельно уверенно вёл речь о том, что в пантеоне Владимира нет ни одного бога со славянским именем, что «о славянском происхождении имени *Перун* теперь не может быть речи» и что в договорах с византийцами он представлял для варягов «не то громовержца Тора, не то самого Одина»²³⁶.

Важную роль в усилении ультранорманизма в эмиграции в целом в зарубежной науке (да и в советской тоже) сыграла небольшая, но с громадным размахом рисующая массовое присутствие шведов в русской истории статья Ф.А. Брауна «Варяги на Руси» 1925 года. В ней он под влиянием «превосходного разбора» варяжского вопроса В.О. Ключевского, «прекрасной» книги Т.Ю. Арне «Швеция и Восток» и работ дореволюционных археологов Н.Е. Бранденбурга, А.А. Спицына, И.А. Тихомирова, В.И. Сизова, С.И. Сергеева, И.С. Абрамова, В.А. Городцова, Н.И. Репникова (а также «неоспоримых» показаний Бертинских анналов) высказывает догадки «более или менее вероятные».

Согласно этим «догадкам» лингвиста, рассуждавшего в русле идеи о двух волнах прибытия скандинавов на Русь, шведы, с незапамятных времён освоив берега Финского залива, рано вступили в земли восточных славян. В связи с чем задолго до призвания варягов «в городах, возникших по путям хазарской торговли, вращалось уже немало варяжского торгового люда», которые, передвигаясь по всей Руси, уже в первой половине IX в. доходя до Чёрного моря и за него, проложили дорогу, по которой затем прошёл воин. Отмечая молчание скандинавских источников о призвании варягов, объяснил его тем, что никто ни из современников, ни даже из его участников ничего не заметил, и потому «не было повода к сложению хотя бы песни, которая донесла бы до нас память о нём на родину Рюрика». Признавая, что имя «Русь» не может быть объяснено удовлетворительно ни из русского, ни из финского, ни из шведского языков, Браун стал проводить мысль, что оно возникло в точке скрещения двух или трёх языков — в северной части Руси, «где сходились славяне с финнами, вероятнее всего, в области Волхова и озера Ильменя», и где стали оседать первые шведские купцы, которых прибрежные финны знали давно и которых они называли русью по той стране, откуда они пришли — Швеции-Ruotsi.

Слово же Ruotsi есть на финский лад переделанное наименование шведской области Rother, Rothin, «а более официально Roth(r)sländ», т. е. Roslagen: в 1913 г. это название было прочтено в рунической надписи на Пирейском льве (на тенденциозном толковании этих рун шведом Э. Брате уже заострял внимание в 1917 г. историк Е.Н. Щепкин), которую высекали шведы родом именно из этой провинции, служившие в корпусе варангов около середины XI в., когда лев стоял ещё в афинском Пирее (откуда он в 1688 г. был перевезён в Венецию). Жители Рослагена «звались — да они и сами называли себя — “rothskarlar” или rothsmen, т. е. “людьми из Roth’a”, roth’цами», т. е. русью. Вышедшие из указанной области первые торговцы завязали связи с финнами на берегах Финского залива, которые переделали её название «на свой лад в Ruotsi (стра-

на) и Ruotsalaiset (её жители), обобщили затем это название, когда у них стали появляться и другие шведы, не из Roslagen'a, но говорившие тем же языком».

Когда в конце VIII или начале IX в. шведы стали проникать через финскую массу к славянам, то те переняли их имя от соседей уже в финской форме Ruotsi и приспособили к своей речи: «И вот таким-то образом из Ruotsi получилась “Русь”». Скоро широкое применение имени «Русь» сузилось, т. к. значительная часть шведской руси, заключив соглашение с местными властями и поступив к ним на службу в качестве «защитников земли», оседала навсегда в славянских городах и в своих особых поселениях, сливалась с окружавшей их славяно-финской средой. Тем самым рано должно было сказаться отличие этой руси («шведов первого призыва») от той «руси» (варягов «второго призыва»), которая с IX по начало XI в. «непрерывно притекала из-за моря, но возвращалась туда по окончании своих торговых или разбойных дел».

Это размежевание было ускорено, когда оседлая русь объединилась, после смерти Синеуса и Трувора, политически под властью новгородского князя и стала первым «русским» княжеством, «ядром русского государства (именуемого Русь): скандинавы, встретившись с политически ещё бесформенной и раздробленной средой, жаждавшей сплочённости, в силу своей военной организации быстро превратились «из наёмных защитников в руководящих властителей», наложили «свою печать на первичную форму русской государственности». Затем шведская русь перенесла центр политической жизни на Средний Днепр и создала там государство. Но это уже не «чисто скандинавская» русь, а русь «дружинно-княжеская», которая быстро сливается с организованной ею славянской массой, «и очень рано имя “Руси” из термина этнического превращается в термин политический» (имя этому великому славянскому государству дала, «заложив первые камни в его основу», шведская русь). По мысли Брауна, славянская стихия, поглотив первых пионеров — купцов и воинов, не позволила им провести идею колонизации Руси, блеснувшую, «кажется, и в умах государственных мужей Швеции в первой половине IX века». По причине чего, заключал он, на словах дистанцируясь от идеи Т.Ю. Арне (первоначальная ячейка русского государства не есть колония шведов, русская государственность не есть отпрыск шведской), в действительности же рассуждая в е духе.

«Ясную» для себя картину начала русской истории Браун рисовал, опираясь и на предметы скандинавского происхождения, говорящие о пребывании заморских гостей на Руси. Но при этом и без них рассуждая столь же «ясно»: хотя в Полоцке и ближайшей его округе «скандинавских вещей не найдено во все, но принадлежность его к скандинавским центрам засвидетельствована летописью» (но ничего подобного нет ни в ПВЛ, ни в других летописях). Причём этот пример «наглядно показывает, что отсутствие археологических данных не может служить доказательством чего бы то ни было» (т. е. также говори, что хочешь). Полагая вслед за археологами, что за каждой скандинавской вещью непременно стоит принёсший её скандинав, германист внушал: археология многократно доказывает, что скандинавы являлись на Русь не только в качестве купцов и викингов, что «они оседали тут и в одиночку в городах, и группами» (в том числе со своими скандинавскими семьями), в основанных

ими многочисленных селениях, «живя здесь скандинавской жизнью, хороня своих покойников на свой лад», что эти древнейшие скандинавские поселения «довольно густой сетью покрывают весь край до Ильменя, заходя и за это озеро, на что указывают и многочисленные следы имён “Руси” и “варягов” в географической номенклатуре этой области».

Видя в Старой Ладогe скандинавское поселение IX в., построенное на месте более древнего финского, выдавал её за «первую ячейку русского государства», указывал, что через Старую Ладogu по Волхову шла «столбовая дорога, по которой проходили скандинавские витязи, направляясь ко двору Владимира и Ярослава, и только об этой дороге упоминается в сагах». Столь же уверенно Браун говорил, что Ярославский край и близкие окрестности самого Ярославля представляли один из центров скандинавской жизни на Руси, как показали многочисленные находки «и в особенности раскопки Тихомирова и Городцова в селе Михайловском и в Большом Тимирёве», что четырёхугольник, «обозначаемый городами Ростов-Переяславль-Суздаль-Муром... усеян могильниками, в которых найдены многочисленные очень типичные скандинавские предметы» (т. е. «в земле мери и муромы в IX–XI веках жило немало скандинавов»).

Ростов, Суздаль и Муром, продолжал он далее, упоминаются в исландских сагах (а в их окрестностях найдено наибольшее количество скандинавских предметов), «очевидно, захожие исландцы находили здесь своих соотечественников», что крупным центром скандинавской жизни и торговли было Гнёздово, что в целом на Руси, как можно предположить, «в разных местах... сидели такие же скандинавские “князья”, какими были Рюрик и его братья» (например, Рогволод в Полоцке, Тур в Турове, а чисто скандинавское имя Ольги «даёт право предположить, что она была дочерью какого-нибудь князя, засевшего в Пскове»), что в посольстве Игоря находились, наряду с его послами, послы «мелких шведских “князей”, которые либо рассажены великим князем по городам в качестве наместников, либо были ранее независимы, но присоединены к киевскому княжеству Олегом и Игорем». Браун, полагая, что недостаточно всё же ультраанорманизма в его картине шведского начала Руси, предположил, что в Илье Муромце следует видеть отголосок скандинавской старины и что, возможно, князь древлянский Мал был скандинавом²³⁷.

А.Л. Погодин убеждал в том же 1925 г., что достаточно вспомнить о роли норманнов в истории Западной Европы IX–X вв., чтобы не увидеть ничего необычного в рассказе ПВЛ о призвании варягов: после изгнания они собрали новые силы, явились на прежние места и уселись ещё крепче, заняв гарнизонами ряд городов, постепенно это обладание стало превращаться в занятие территории, и на пути «из варяг в греки» расположилась «целая система гарнизонов, превратившая норманнов из случайных завоевателей в создателей государства». Глядя на этот процесс как на процесс постепенной замены одного германского владычества — готского — среди племён Восточной Европы другим — норманским, учёный заявил, «что самый вопрос о происхождении Руси может считаться законченным, и его надо передвинуть в другую плоскость, т. е. остаётся выяснить, через какую среду проникло имя Русь в славянский язык и к какому периоду это проникновение может фонетически относиться».

Отвечая на эти, по его оценке, чисто филологические вопросы, Погодин охарактеризовал мнение В.А. Брима (что Ruotsi от *drōtsmen — дружинники) весьма искусственным, отверг версию В.А. Пархоменко о заимствовании имени Русь из греческого Ρῶς. Столь же категорически он отринул и коренной «догмат» норманизма о переходе слова «Русь» к восточным славянам через посредство финнов, резонно заметив: «Древнефинская среда представляется настолько малокультурной, что трудно себе представить, что название народа, создавшего государственность среди северных славян, к этим последним перешло от финнов». После чего предположил, исходя из предположения «незабвенного основателя научной разработки» варяжского вопроса А.А. Куника, наличие в Швеции родов, с которыми были знакомы славяне и от которых они непосредственно и переняли их название. Причём имя «Русь», заключал историк, могло появиться у восточных славян в готский период, в IV–V вв.²³⁸ (но тогда же А.В. Флоровский счёл проблему происхождения имени русского народа и Русского государства самой сложной задачей начальной русской истории²³⁹).

Г.В. Вернадский в 1927 г. утверждал, что норманны — смелые воины, разбойники и купцы — в самом начале IX в. проникли в земли восточных славян, которые звали их варягами (и русью, причём русью могло называться отдельное племя варягов), к югу от оз. Ильмень основали значительное поселение (вероятно, где стоит город Старая Русса), что затем они вошли в соприкосновение с хазарами, через посредство которых повели усиленную торговлю с арабским Востоком, а после открыли и Днепровский путь, что, судя по византийским источникам, значительные отряды варяго-русов появились на Чёрном море, а в июне 860 г. совершили поход на Константинополь, который должен был окончательно способствовать созданию варяго-русского государства, рассуждал о двух волнах прибытия варягов на Русь (после перехода первой волны на юг в Киев и Царьград новгородские славяне свергли варяжскую власть, а затем призвали новую ватагу «варяжских воинов для того, чтобы отбиться от прежних господ — варягов, осевших в Киеве»). Вместе с тем он объяснял отсутствие каких-либо следов пребывания скандинавов на Руси обычным норманистским штампом: очень скоро «варяги ославились; варяжская дружина (вряд ли особенно многочисленная) быстро растворялась в славянской массе»²⁴⁰.

В 1929 г. Н.Т. Беляев, желая примирить непримиримое — византийские известия о руси, действовавшей в южных пределах Восточной Европы в первой половине IX в., с норманизмом, берущим за точку отсчёта русского бытия призывание варягов 862 г., вёл традиционный разговор о разновременных потоках скандинавов на Русь. Но, соглашаясь с возможностью перехода *roðs* в Русь без содействия финнов, вместе с тем не принял посылку А.Л. Погодина о существовании в Швеции небывалых в её истории родов. А убедившись в правоте заключения С.А. Геденова об отсутствии у шведов имени Рюрик, отчего норманская версия рассыпалась, возобновил в науке разговор, начатый в 1836 г. Ф. Крузе, о тождестве летописного Рюрика и викинга Рорика Фрисландского (Ютландского), якобы приглашённого в 856 г. новгородцами для отражения набегов других викингов (против такой идеи выступили, ибо она рушила классический норманизм, «заточенный» на Швецию, М.П. Погодин и А.А. Куник).

Уверая, что с даном Рориком в Новгород прибыли «шведские» фризы (проживали в большом числе в шведской Бирке), самоназвание которых — «frēsa» или «frēsen» — перешло, посредством финнов, в язык восточных славян как имя «Русь», Беляев увидел в них, по Шахматову, древнейший слой варягов — руссов Рюрика, Аскольда и Дира, которые утвердили имя «русь» в Киеве (но уже в конце VIII или самом начале IX в. норманны появились в Причерноморье). Затем это имя приняла другая волна варягов — норвежцы (галооголандцы) во главе с Олегом Вещим («имя Олег-Helgi указывает и на ту часть Норвегии, откуда он был родом, а именно Галооголанд», название которого произошло от слова «heilagr» — «святой»). Во второй половине X в. появились на Руси новые варяги, «главным образом скандинавского и англо-саксонского происхождения» (как подводил черту Беляев, «многие из наших соседей и ближних, и дальних приняли участие в постройке Русского государства: даны, свеи и фризы-русь, со Скиольдунгом Рюриком во главе, галооголандские нордманы Олега, полоцкие Инглинги — Рогволодовичи». Но всё же создали его коренные ильменские словене, «ядро русского племени и Русского государства»²⁴¹.

Тогда же В.А. Мошин на первом съезде славянских филологов в Праге (его материалы были опубликованы через два года) свой доклад начал, как и ранее А.Л. Погодин, словами что варяжский вопрос «в настоящее время (в его научной трактовке), пожалуй, более является вопросом лингвистики, чем чисто исторической проблемой». Учёный, недоуменно вопрошая, «как хватает смелости у несдающегося антинорманизма выступать против теории, защищаемой всюду признанными лингвистическими и историческими авторитетами?», объяснял, стремясь и этим тезисом оставить поле «научной битвы» за норманистами, что «термины “норманизм” и “антинорманизм”, хотя и ещё не вышли из употребления, — давно уже потеряли своё первоначальное значение и мало пригодны для охарактеризования главных направлений современных исследований». Но, говорил он при этом твёрдым норманистским голосом, «нельзя опровергать факт участия норманнов в образовании русского государства, факт с несомненностью подтверждаемый археологическими данными».

И потому варяжский вопрос — в «его научной трактовке» — свёл к изучению «самого процесса норманнской колонизации в Восточной Европе», «к определению степени культурного воздействия скандинавов на восточных славян, и к выяснению лингвистической стороны вопроса». Хотя ему и без всякого изучения многое было ясно: в течение VIII–IX вв. шёл широкий процесс скандинавской колонизации, которая «создала на территории Восточной Европы, в бассейнах всех больших рек — тогдашних торговых путей — целый ряд независимых норманских княжеств». Обосновавшиеся в крепостях-факториях скандинавы, сделавшись «важнейшим фактором в политическом, экономическом и культурном быту местных славянских народов», собирали с них разную дань, которую затем «отправляли на далёкие мировые ярмарки». При этом также не сомневаясь, что черноморская русь, появившаяся «значительно раньше основания Рюриком “русского государства” в Новгороде», это русские норманны «шведского рода»: «их скандинавские обычаи современные арабские писатели противопоставляют обычаям славян, которых русь грабит

и обращает в рабство» (из черноморских норманских поселений самым значительным, вероятно, была Тмутаракань на Таманском полуострове).

Считая неизбежным мнение «об образовании имени “*русь*” из финского термина Ruotsi, служащего финнам для обозначения Швеции», Мошин отверг как версию А.Л. Погодина, что восточнославянское слово «*русь*» «образовалось без посредства финнов, непосредственно из шведского термина *rods*», так и идею о происхождении Ruotsi от Roslagena, в основе которого якобы лежит древнешведское *göber*-гребля. Отмечая, что слово *rods* «в скандинавском языке не было этническим термином, а имело значение профессии», историк озвучил вывод Г.А. Розенкампа столетней давности, «что слово *rodhsin*-гребцы даже в XVIII-м веке имело значение профессии и никогда не употреблялось в значении племенного термина, который мог бы вызвать образование финского и русского термина Ruotsi-Русь» (одновременно он напомнил, что «Куник в своих позднейших исследованиях отказался от мысли связывать Русь с Рослагеном, а в недавнее время с сомнением относился к этому решению и Шахматов»)²⁴².

В 1931 г. увидело свет актуальное и сегодня (в том числе в силу слабого знакомства нынешних норманистов с историографией данной проблемы) исследование Мошина «Варяго-русский вопрос», впервые подводившее итоги его двухсотлетнего изучения отечественными и зарубежными специалистами (ещё в рукописи оно получила лестный отзыв А.Л. Погодина, а в 1943 г. Г.В. Вернадский оценил этот обзор как превосходный²⁴³, хотя в ряде случаев автор даёт ошибочную информацию по причине как своей непоколебимой веры в истинность норманизма, так и по повтору, в связи с отсутствием в библиотеках Югославии важных работ русских учёных XIX в., историографических заблуждений). Как пояснял Мошин, за написание этой статьи он взялся потому, что варяго-русский вопрос невозможно решить без знания его историографии и что многие краткие его характеристики, попадающиеся в учебниках и популярных трудах по русской истории, не только не дают действительной картины развития вопроса, но часто страдают значительными и вредными ошибками».

И озвучил три такие ошибки, мешающие делу (и продолжающие мешать): «*Во-первых*, весьма ошибочно мнение, считающее варяго-русский вопрос *борьбою объективной науки с ложно понятым патриотизмом*. ... Было бы весьма занятием искать публицистическую, тенденциозно-патриотическую подкладку в антинорманистских трудах немца Эверса, еврея Хвольсона или беспристрастного исследователя Геденова». «*Во-вторых*, ещё более ошибочно мнение, считающее норманскую теорию защитницей летописной традиции о призвании варягов, а антинорманскую — теорией автохтонности руси-славян на их теперешней родине. ... Таким образом, если первая упомянутая ошибка в характеристике варяжского вопроса может быть истолкована как преувеличение важности одной несущественной стороны этой научной борьбы, то вторая ошибка допускает лишь одно объяснение: незнание истории вопроса и легкомысленное желание описать её без самостоятельного изучения, на основании прежних ошибочных характеристик». «*В-третьих*, никак не могу согласиться с распространённым мнением о научной ценности антинорманистских трудов».

При этом он ещё воспроизвёл, полностью соглашаясь с ними, контраргументы антинорманистов, акцентирующих внимание на явных противоречиях норманской теории: «Летописец, например, утверждает, что русь — это одно из норманских племён, живущее на берегах Варяжского моря, тогда как ни один скандинавский или какой-нибудь другой иностранный источник не знает такого племени. Почему летописец различает шведов и русь как два особых племени? Если термин русь произошёл от финского слова *Ruotsi*, — почему славяно-шведское государство приняло не собственное имя шведов, а имя, которым их называли финны? Если восточные неславяне до “призвания” называли шведов “русью”, почему не зовут более этим именем шведов после призвания? Летописец рассказывает, якобы Рюрик, Синеус и Трувор “пояша всю Русь”, т. е. что в Россию вселилось целиком какое-то норманское племя; между тем никакой другой источник не упоминает о каком-либо похожем событии. Почему норманны в 839-м году в Царьграде и в Западной Европе сами себя называют “*Rhos*” — именем, которым их звали финны?» (а рассуждая о запутанности вопроса об имени «русь», привёл абсолютно противоречащее норманистской трактовке свидетельство Псевдо-Симеона, «что русские получили своё имя от некоего храброго Роса, освободившего их от тяжёлого ярма какого-то народа»). И вместе с тем серьёзно критиковал, по собственной оценке, «“ультранорманизм” шлёцеровского типа».

Систематизируя весьма большой и противоречивый историографический материал (начиная с Г.З. Байера), Мошин, например, отмечал особую ценность труда В.Н. Татищева, говорил, что работы Г. Эверса «сыграли большую роль в развитии варяжского вопроса» как критикой норманизма, так и обоснованием исторического бытия черноморской руси (причём его доказательства были приняты рядом норманистов), что наивысший расцвет ультранорманизма приходится на первую половину XIX в. (наиболее выразительными его представителями являлись С. Сабинин, О.И. Сенковский, И.Ф. Круг, М.П. Погодин), что А.А. Куник в «*Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slaven*» строит, по сравнению с полунаучными трудами антинорманистов 40-х гг., «строгую научную и вполне объективную конструкцию вопроса».

Заострял историк внимание и на том, что В.И. Ламанский опровергает этимологию Куника имени «русь» (оно «своей формой не показывает финского происхождения от *Ruotsi*»), что труд беспристрастного С.А. Геденова есть одно из самых солидных исследований, в котором он сильно пошатнул основания норманской версии (похоронил ультранорманизм), что Д.И. Иловайский — это «фанатический, непримиримый враг» норманизма, что монография В. Томсена, многое повторяющая из мыслей Куника, оказала решительное влияние на развитие вопроса, что с начала XX в. большинство учёных принимают норманскую теорию как доказанный постулат и появление варягов на Руси вводят в общие рамки широкого процесса норманской колонизации. Среди наиболее важных трудов того времени Мошин назвал исследования К.Ф. Тиандера, А.А. Спицына и особенно А.А. Шахматова (доказал, что выведение имени «русь» из финского *Ruotsi*, «которым финны называют шведов, безукоризненно с лингвистической стороны», и этот «лингвистический факт доказывает варяжское происхо-

ждение русского государства»), а также статью Ф.А. Брауна «Варяги на Руси». По поводу идеи В.А. Брима о происхождении термина Россия-Русь из двух культурных областей сказал, что она, вероятно, открывает новую фазу в развитии филологической стороны вопроса.

Подводя итоги, Мошин предложил не делить учёных на норманистов и антинорманистов. После чего объяснил, какое решение варяго-русского вопроса необходимо в таком случае принять: «*Нельзя отрицать норманское происхождение руси*», и что «*основание русского государства Рюриком в Новгороде нужно считать одним из эпизодов в широком процессе норманской колонизации на востоке*». Ибо постулат этот доказывают: 1. «Археологические данные, указывающие на существование в Восточной Европе целого ряда норманских центров». 2. «Топографические имена скандинавского происхождения». 3. «Свидетельства источников (нет таких источников. — В.Ф.) о существовании... отдельных норманских государств на территории Восточной Европы», одним из которых «было и Новгородское княжество Рюрика». Но когда «новгородская варяжская группа» получила в свои руки весь путь «из варяг в греки» и оттеснила хазар от Днепра к востоку, открыла путь из варяг в греки, то она стала важнейшим фактором в политической и экономической жизни всех славянских племён, рассеянных в бассейнах упомянутых рек.

По заключению Мошина, лишь «*влияние скандинавской культуры на славян не было велико*». Ибо «с колонизаторской точки зрения, варяги были очень слабы, так как в их отрядах не было женщин. Дети, происшедшие от браков норманнов с славянскими женщинами, должны были чрезвычайно быстро ассимилироваться с окружающей славянской средой». К тому же «скандинавская культура данной эпохи не была более развитой, чем культура восточных славян. Исследования Забелина, Самоквасова, Антоновича, Кондакова в области материальной культуры; Раковецкого, Ланге, Собестианского, Леонтовича, Тарановского в области права; Артемьева, Геденова, Срезневского, С. Бутге, Норрена, Сыромятникова в области языка — показали, что славяне приняли весьма мало элементов скандинавской культуры и, наоборот, сами многое передали скандинавам». В свете чего «роль варягов в России была прежде всего политической, и влияние их, по-видимому, ограничилось тем, что они: 1. дали толчок к образованию русского государства, выполнив внешнее объединение разбросанных славянских племён; 2. своими военными и торговыми предприятиями сблизив восточных славян с Византией и содействуя распространению христианства, создали почву для подготовки внутреннего объединения “свято-русской земли” и 3. передали славянам имя руси»²⁴⁴.

В том же 1931 г. Мошин в статье «Начало Руси. Норманны в Восточной Европе» (она, как и статья «Варяго-русский вопрос», представляет собой часть работы, посвящённой варяжскому вопросу, но в цельном виде — в пяти главах — так и не была издана) развивал свои принципиальные тезисы (норманны дали толчок к образованию Русского государства, имел место быть широкий процесс норманской колонизации на востоке, нужно отказаться от деления исследователей на норманистов и антинорманистов и др.) и весьма увлечённо рисовал скандинавское начало русской истории. Согласно которому первые фактории

норманнов в Северной Руси могли образоваться не ранее VIII в., что уже в начале IX столетия «русские норманны», главным центром которых была Ладога, объединили большие территории Восточной Европы и в его середине признали верховную власть скандинавского государя (как предлагалось на выбор, или датского короля Эрика, или шведского государя Бирки, короля Бьорна, или выгнанного им и впоследствии вернувшегося в Бирку короля Онулда, или, наконец, короля Рорика Ютландского).

Вместе с тем говоря, что остатки скандинавских поселений IX–X вв. густой сетью покрывают целый край к югу от Ладожского озера до Ильменя, что к югу от него «целая область кишит скандинавскими поселениями, рассеянными по всем важнейшим водным путям, идущим от Ильменя» (о чём свидетельствуют названия с корнем «рус»), что археология открыла «*остатки целого ряда*» таких поселений, что норманны были главными посредниками в торговле между Восточной Европой и арабами, что на рубеже VIII–IX вв. на черноморских и азовских берегах появились норманны и основали там свои колонии (включая Таманскую Русь, т. е. «остров русов», откуда совершались набеги на Амастриду, а затем на Константинополь в 860 г., в связи с чем Византия познакомилась со скандинавами), что норманская русь, прибыв в Киев в виде наёмной дружины, захватила власть, что норманны в середине X в. пытались основать княжество в г. Бердаа на Кавказе в устье Куры.

Утверждая, что скандинавский эпос дал русским славянам несколько своих мотивов, что наше язычество обогатилось некоторыми примесями из религии и культа северных германцев, что Сказание о призвании варягов является бродячей легендой, сохранившейся в разных вариациях у многих народов, где германский элемент участвовал в создании государства, что скандинавское влияние отразилось в Русской Правде, историк вместе с тем усилил свой вывод, видя тому причину в невысоком развитии скандинавской культуры, о незначительности норманского влияния на Русь. И потому, заострял он внимание, «не может уже существовать ультранорманистское понимание этого влияния, выводившее некогда почти всю древнерусскую культуру из скандинавского источника. Но невозможно и совершенно отрицать это влияние». Однако всё, что произносил Мошин, было ультранорманизмом, в ряде пунктов лишь несколько откорректированном под воздействием критики оппонентов. Так, рассуждая о влиянии скандинавов на славян, которое, на его взгляд, видно в лексике, праве, язычестве, эпосе, одежде, вооружении, признал, что подобных следов нет в русской культуре. Но и тому дал давнее норманистское объяснение: «Впрочем, говоря о скандинавском влиянии на Руси, нужно всё время иметь в виду, что влияние это было ограничено лишь княжеским двором и ближайшей к нему средой, причём и там его вскоре не стало под влиянием ассимиляционной силы славянского племени»²⁴⁵.

В 1931 г. Е.Ф. Шмурло детально представил в первом томе «Курса русской истории», развивая сказанное девятью годами ранее и излагая вместе с тем историографический материал, свой взгляд на вопрос о происхождении варягов-руси. Придерживаясь теории двух колонизационных потоков скандинавов на Русь, он убеждал, что варяги — одновременно грабители-наильники и тор-

говцы — появились в пределах Руси около 800 г., ведя оживлённую торговлю в землях болгар, бургасов и хазар, что на берегах Ильменя они основали большую колонию, силою подчинив себе местное население: словен, кривичей, чудь и даже мерю, жившую много дальше на восток, в связи с чем сделались хозяевами Волжского пути, что Ильменский каганат — «это полуразбойничье гнездо» — проявляло некоторый уклон к торговле, что у него «видим первые зачатки государственности», что их царёк, видимо, «под влиянием частых сношений с хазарами», носил титул хакана (затем норманны в верховьях Западной Двины основали ещё одну «военную колонию», из которой впоследствии выросло Полоцкое княжество). Ильменская Русь, ставшая известной в Византии и на Западе в 839 г., начала, в лице Аскольда и Дира, первой осваивать Днепровский путь, но какое-то время спустя её представители были изгнаны за море.

Вспыхнувшие раздоры местных племён закончились призванием другой норманской руси, у которой, в отличие от предшественников, «появились общие интересы с местным населением», а её глава Рюрик заложил «первый камень в фундамент нового здания». Со взятием Олегом Киева разрозненные племена были скреплены, а имя «Русь», которое норманны получили от финнов, распространилось на всю страну. Свои рассуждения Шмурло также, как и в 1922 г., венчал выводом, что в русской истории норманны — «ничтожная горсточка» — сыграли «роль фермента: дрожжи заквасили муку и дали взойти тесту», что они «положили начало политическому воспитанию русских племён» и что первые русские князья «заложили первый камень в том фундаменте, на котором позже стал строиться весь наш государственный порядок и общественный быт» (причём они не сразу забыли своё варяжское прошлое, а в описании ПВЛ «Святослав напоминает тех норманских викингов, для которых война, пролитая кровь, зарево пожаров составляли смысл, цель и поэзию самой жизни», и многие бездомные варяги удальцы, надеясь на богатую наживу, охотно стекались под знамёна русских князей)²⁴⁶.

Также в 1931 г. М. Фасмер убеждал, что имя «Русь» восходит к др.-сев. *Rōps-karlar* (стоит в связи с названием *Roslagen*), что русы жития Георгия Амастридского — это норманны, что «русское» ещё в X в. означало скандинавское, что слово «варяг», согласно А. Стендер-Петерсену, первоначально означало «норманский купец, который при вступлении в торговое общество должен был давать гарантии», что «следы викингов» видны в именах князей и их дружинников, в «русских» названиях днепровских порогов, в «скандинавских» археологических находках. И заражённый таким зарядом ультранорманизма, сам «открыл» множество «*Wikingerspiren*», подтверждающих пребывания шведов в Восточной Европе, живших там как во временных, так и в настоящих шведских крестьянских поселениях, т. е. колониях — в Гнёздове, Михайловском, Тимерёве. А именно: 118 топо- и гидронимов — в два с половиной раза больше, чем насчитал в 1915 г. швед Р. Экблом, на которого ссылается. И такого результата профессиональный языковед достиг традиционной для сторонников норманской версии «научной методой» — посредством объявления связи между созвучиями (близкими, не очень и совсем уж далёкими, хотя, как гласит еврейская мудрость, что борода не делает козла раввином). Например, название столи-

цы древлян Искоростень представил образованным от личного скандинавского имени Skarfstein (в 1929–1930 гг. с той же лёгкостью он отыскивал «следы викингов» в истории южнобалтийских славян, а имя их божества Прове-Перуна посчитал заимствованием от имени скандинавского бога Freyr-Фрейра)²⁴⁷.

В 1932 г. А.Л. Погодин, анализируя современную литературу (эмигрантскую, польскую, но больше советскую) по варяжскому вопросу, констатировал, что при её изучении «на каждом шагу встречаешь явные фантазии, не вытекающие из состояния наших источников, тенденции, намерение как-то самого себя убедить в том, что едва ли верит сам исследователь, и проч.». В качестве подтверждения своих слов учёный показал, что система подсчёта Фасмера не соответствует ряду важных методологических требований (более положительно отзываясь о «старых исследователях», из их числа особенно выделил А.А. Куника: то, что сделал он, «замечательно глубиной ума, пониманием важности точного применения научных методов и умением обращать внимание на особенности текста»).

Во-первых, каким образом одиночное поселение в Курской или три названия в Черниговской губерниях могли попасть в число следов скандинавской колонизации. Во-вторых, «в области финского автохтонного населения имена следует объяснять прежде всего из финских языков, и только в случае невозможности этого следует обращаться к источникам иноязычным». В-третьих, имена на Русь надо совершенно исключить из этого обзора. После чего резюмировал, что случайность и произвол автора в толковании географических названий — по причине их случайного созвучия — «с помощью древнесеверных имён и названий бросается в глаза на каждом шагу» (многие из них объясняются из финского и русского языков) и что путь таких толкований есть путь опасный, ибо «при некотором увлечении не трудно будет любое из географических названий возвести к какой-нибудь предполагаемой древнесеверной форме». И потому, заключал учёный, число «следов викингов» на Руси следует значительно сократить.

Остановившись на выводах Р. Экблома и С.Ф. Платонова, прочно вошедших в науку (и уже впитывающей в себя «аргументы» Фасмера), историк подытожил: они вытекают из ложной гипотезы, «что всюду, где мы встречаем географические названия, восходящие к слову Русь, мы имеем остатки древнейшей варяжско-русской колонизации» (а «русские» названия, которыми оперировал Платонов, являются позднейшими, «не имеющими касательства к древнейшей истории русского государства», что сомнительно соединять имя «города Русы с русью» и что нет возможности говорить об округе Русе, «как месте пребывания первоначальной Руси, колонизировавшей Россию»). Опять же отвергая объяснение В.А. Брима этимологии имени «Русь», он высоко оценил его статью «Путь из варяг в греки»: «Она заслуживает внимания как труд, лишённый фантастических и недоказанных гипотез». По поводу же идей В.А. Пархоменко резюмировал, что он постепенно увлёкся в фантастический мир идей.

Излагая собственный взгляд на варяго-русский вопрос, Погодин отнёс движение норманнов на Русь к началу IX в., уверял, что «напрасно искать объяснения имени Руси вне Скандинавии» («ни о каких русах на Крымском полуострове

история не знает», и русь не связана, на что указывал А.А. Куник, с роксоланами) и что «Русь, согласно современному объяснению этого имени, восходит к др.-сев. Rops-karlar, стоящему в связи с местным названием Roslagen». Вместе с тем полагая, что варяги есть общее наименование северогерманских племён, расположенных по Балтийскому морю, т. е. это имя происхождения не этнического, «так же не имеет своей окончательно установленной этимологии, как и русь». А также считая, что договор Игоря с греками 945 г. несёт в себе следы знакомства со скандинавским языком, что варяги шли из Швеции и Норвегии в Новгород не прямо, а из скандинавских поселений в Эстонии, где до сих пор сохранилось шведское население, с которым ещё в XI в. они поддерживали связи (параллельно с тем учёный всемерно отстаивал «старинную теорию» норманского происхождения Польского государства)²⁴⁸.

В 1934 г. Г.В. Вернадский к сказанному ранее добавил: к середине IX в. норманны прочно обосновались среди восточных славян по речным путям от Балтийского к Чёрному морю, что в 850-х гг. одна группа варягов захватывает власть в Новгороде, другая — в Киеве, став там называться «рускими, Русью» (причём вопрос о происхождении имени «Русь», подчёркивал он в духе М.П. Погодина, не имеет первостепенной важности), что после попытки взятия в 860 г. Константинополя варяги-русь начинают играть крупную военно-политическую роль в Причерноморье, что Олег Вещий — Одд скандинавских саг — положил «прочное начало варяго-славяно-русскому государству в Приднепровье» (в 1938 г. историк предположил, что «культ Перуна был принесён на Русь варягами» и что он есть скандинавский Тор)²⁴⁹.

В 1936 г. востоковед В.Ф. Минорский в немецком авторитетном издании «Энциклопедия ислама» отстаивал версию образования имени «Русь» из финского Ruotsi, был непреклонен в мнении, что имена первых русских князей — без сомнения, скандинавские, доказывал норманство варягов и руси обращением к «русским» названиям днепровских порогов, к показаниям Бертинских анналов и, в особенности, восточных источников (ныне коллега Минорского Т.М. Калинина указывает, хотя и исповедует норманизм, на его предвзятость: он «во всех случаях настаивал на скандинавском происхождении русов»)²⁵⁰. На следующий год А.Л. Погодин, обратившись к понятию «внешняя Русь» труда императора Константина Багрянородного «Об управлении империей», пришёл к выводу, что под ним скрывается Рослаген (Родслаген), в основе имени которого лежит Rōds. Утверждая, что шведы, выходявшие оттуда в IX в., называли себя по имени области Rōs, «собирательным именем существительным» (это мнение А.В. Назаренко недавно охарактеризовал в качестве полуфантастической трактовки).

В 1938 г. Погодин убеждал, вызывая в памяти своего знаменитого однофамильца, что русь и варяги — это норманны, преимущественно шведы, что «весь облик Олега варяжский, и скандинавские саги запомнили, разработали легендарный сюжет, сохранённый русской летописью», что Владимир бежал от Ярополка в Швецию (по ПВЛ, он «бежа за море», которое никак не пояснено), что в Киеве знали древнесеверный язык и понимали варяжские слова, что «официальным культом варяжской династии оставалось язычество, принесённое из

Швеции», что Перун и Волос есть скандинавские Тор (Тур, которому в Киеве была посвящена Турова божница) и Один (им имена Перун и Волос дали славянские толмачи). Вместе с тем утверждая, что язычество балтийских славян также сложилось под влиянием норманнов, что идолы Владимира были как у балтийских славян, а те — как у норманнов²⁵¹.

В 1943 и 1948 гг. Г.В. Вернадский, уверовав, под воздействием работы шведского археолога Б. Нермана 1929 г., что исландские саги есть исторический источник, подтверждаемый археологически, в монографиях «Древняя Русь» и «Киевская Русь» говорил, с многочисленными оговорками, что варяги-шведы в V–VI вв. широко исследовали южный и восточный берега Балтийского моря, что в VI в. часть их расселилась в устье Западной Двины, что в следующем столетии у королей Южной Швеции были заморские владения в Курляндии, что к началу VIII в. «Ливония и Эстония являлись частью королевства Ивара, короля Южной Швеции и Дании». После скандинавы, двинувшись по Западной Двине, дошли до верхней Волги и Оки и не позднее 737 г. захватили Верхний Салтов. Откуда, идя по течению Донца и Дона, добрались к 739 г. до Азовского и, между 750–760 гг., до Северокавказского регионов.

Вначале варяги поставили под контроль донецко-днепровский речной путь, а после того как его перекрыли хазары, стали проявлять интерес к Днепру. Приняв название русов от аланского племени рухс-асов («светлых асов», или роксолан, или рокасов), эти «русифицированные» шведы к концу VIII в. создали на территории Дона и Приазовья Русский каганат, контролировавший важнейшие пути международной торговли. К середине IX в. в Старой Руссе возникла связанная с ним торговлей община шведских купцов. Затем на Русь вместе с Рориком Ютландским из Южной Ютландии прибыла «новая русь», состоявшая из датчан. В целом, лишь в Северной Руси учёный выделяет три струи скандинавского потока: «первые два были представлены шведами (Аскольдом и Диром) и датчанами (Рориком)» (его прибытие на Русь состоялось в 855–856 гг.), а третий олицетворяли норвежцы во главе с Олегом. Считая при этом, что поток скандинавов, ставших правящим классом на Руси в IX–X вв., иссяк лишь в конце XI в. и что те из них, которые там постоянно поселялись, быстро растворились, как и древнешведское племя русь, в славянском море.

Концепция Вернадского, в которой ключевое место занимают роксоланы, игравшие важную роль в построениях М.В. Ломоносова, была вызвана к жизни явными несуразицами норманской версии, от которых её хотел избавить автор: что «никакого племени русов не было известно в Скандинавии и не упоминается в скандинавских сагах», что единственная зацепка норманистов Рослаген — это название провинции, а не племени, что, «понимая несостоятельность рослагенского аргумента, А.А. Куник... переместил своё внимание на шведское слов *rodsen* (“гребцы”), которым называли жителей прибрежной части Рослагена. Он предположил, что это слово, *rodsen* (*Rodsi*), а в финском произношении — *ruotsi*, породило название “*русь*”». Однако, акцентировал внимание учёный, как историк категорически не приемля краеугольного постулата норманизма, вызывает споры, «возможна ли в соответствии с законами лингвистики такая трансмутация *ruotsi* в *Rus*. ... Возможно ли в действительно-

сти, что скандинавы, пришедшие на Русь, взяли себе имя в той форме, которая была искажена финнами, встретившимися им на пути? Кроме того, упомянутое название “Rodsī” само по себе гипотетично. ... И наконец, если имя “русь” произошло от искажённого финского ruotsi, то как нам объяснить, что это название (в форме “рось”, Ῥῶς) было известно византийцам задолго до прихода варягов в Новгород?» (отказ Вернадского от признания северного происхождения термина «русь» подвергли жестокой критике норманисты и прежде всего А. Стендер-Петерсен)²⁵².

В той или иной мере случаи критики норманской версии наблюдались в 20–30-е гг. и в СССР. Так, в 1923 г. историк В.А. Пархоменко, излагая происхождение Руси в том виде, как представлял его до революции (с рядом дополнений и уточнений), сетовал на то, что в науке наибольшее внимание «уделялось выяснению вопроса об одном факторе нашей исторической жизни того времени» — скандинавском, хотя на жизнь Руси «ранней эпохи большое влияние имели те разнообразные племена, с которыми ей приходилось иметь дело на степном юго-востоке»: хазары, аланы, черкесы, печенеги, торки, половцы и др. Так, Святослав в описании Льва Диякона «и по своему головному убору, и по костюму, и по всему образу жизни, и по характеру княжеской деятельности, направленной на рискованные марши по отдалённым территориям и добывание даней, это — подлинный тип кочевника. По Святославу естественно заключать и об отце его — Игоре “Старом”», да и у Владимира были черты, в указанном отношении несколько напоминающие его отца. И лишь Ярослав Мудрый, породнившийся и сблизившийся со Скандинавией, «более решительно, чем его отец, повернул Киевское государство в другую сторону».

Годом позже он заключал, что, во-первых, «вопрос о скандинавском происхождении имени “Русь” обследован до последней возможности и в конце концов привёл учёных к стене, разбить которую нельзя остроумными гипотезами». Во-вторых, «ясно одно: норманны не могли жить среди восточного славянства такой массой, чтобы повлиять на культуру и государственность Киевской Руси, стоявшей в связи с рядом сильных и богатых культур юга и юго-востока, а потому не могли они и дать толчка возникновению здесь имени “Русь”, имени известному тут ранее их прихода». В-третьих, «ни исторически, ни географически имя “Русь” не имеет никакой связи с территорией постоянного поселения скандинавов». В-четвёртых, нам неизвестны момент и обстоятельства возникновения у финнов названия шведов «руотси»: «оно могло возникнуть, например, в XI веке, когда скандинавы широкой волной вливались на восточнославянские территории и вместе с восточным славянством, так сказать в рядах его», впитали в себя это старое библейское имя Ῥῶς, данное нам византийцами не позже середины IX столетия.

Рассматривая теорию В.А. Брима, Пархоменко усомнился в её исторической достоверности, т. к. она предполагает слишком раннее массовое утверждение норманнов на русской территории (на Новгородской земле приблизительно на рубеже VIII–IX вв., на Днепре в самом начале IX в.). Однако вместе с тем им было отмечено, что она как будто намечает путь к погашению старых споров вокруг имени «Русь» и порывает с бесплодным севером, ибо надо искать

и «на тучной ниве юга и востока, где искать, правда, вообще труднее и непривычнее, но зато скорее можно ждать благоприятных результатов этих научных поисков». И, как в целом резюмировал Пархоменко, «норманизм — лишь одно из слагаемых, на которых строилась начальная Русь, её государство, её культура; пора серьёзное и усердное приняться тут за изучение других слагаемых, не видя в том измены норманизму, а лишь — восполнение его однобокости»²⁵³.

В 1934 г. в статье «К варяжскому вопросу» и затем в 1939 г. (но этот материал увидел свет почти сорок лет спустя) норманист и скандинавист Е.А. Рыдзевская напомнила принципиально важные факты, противоречащие норманской теории: «что название Русь с норманнами эпохи викингов генетически не связано и что они у себя на родине так не назывались. После чего правомерно заключила: «Что у финнов шведы — Ruotsi, и каково происхождение этого названия — вопрос другой; др.-сев. языку и письменности термин Русь, во всяком случае, совершенно чужд». Он, продолжала далее излагать свои доводы автор, «во всяком случае, не скандинавский. Эпоха викингов его не знает; в рунических надписях наша страна называется Гардар, в древнесеверной литературе — то же или Гардарики, а сравнительно редкое в ней Russia — термин книжный, взятый не из живой речи. В памятниках, написанных на местных языках, а не латинском, географические и этнические обозначения, производные от “Русь”, появляются не раньше XIII–XIV вв.». Заостря внимание на том, что «“Русь” из “Ruotsi” небезупречно в фонетическом отношении», Рыдзевская резюмировала: корень «рус»-«рос» с первой половины IX в. тесно связан «с югом, с относящейся к нему географической и этнической терминологией», при полном отсутствии его в Приладожье и Верхнем Поволжье.

Говоря, что происхождение термина «варяг» до сей поры не установлено окончательно, в целом подытожила: скандинавское влияние на древнерусский язык было сравнительно невелико. Вместе с тем исследовательница, констатируя, что в зарубежной науке вопрос норманской колонизации Руси «особенно выдвинулся за последние 20–30 лет» и что в его пользу в первую очередь используют «каждый факт наличия норманских вещей в погребении или в составе случайной находки», также совершенно справедливо сказала: такое предположение ни в какой мере не оправдывается археологическими находками, которые распространялись посредством торговли или изготавливались по образцам на месте (при этом она под влиянием Т.Ю. Арне вела речь о том, что «скандинавских вещей найдено на нашей территории, как известно, очень много» и что Гнёздово считается, здесь она уже повторяла археолога В.И. Равдоникаса, в свою очередь продублировавшего в 1930 г. мысль Арне в книге, вышедшей в Стокгольме, несомненным постоянным «норманским центром»).

Убеждению западных специалистов, что топонимический материал подтверждает идею о широкой норманской колонизации на Руси, Рыдзевская противопоставила контраргументы: что названия крупных русских городских центров не связаны со скандинавами и что большая часть множества названий более мелких пунктов «оказывается весьма сомнительной». Ведя речь о «ценной» работе М. Фасмера, посвящённой поиску «*Wikingerspuren*» в восточно-европейской топонимике, всё же заметила, что она вызывает принципиаль-

ные возражения, т. к., во-первых, «местное название само по себе, даже, если его можно удовлетворительно объяснить из скандинавского корня, ещё не является прямым доказательством непосредственной связи со скандинавами, а тем более — их поселений на Руси». Во-вторых, почти всё построено на предполагаемых заимствованиях от скандинавов в IX–XI в., а в-третьих, что едва ли есть основание видеть на Руси «широкое и планомерное колонизационное движение в том смысле, как его понимают многие западноевропейские учёные, представляющие его себе в государственном масштабе». Но вместе с тем данные Экблома и Фасмера дополнила порядка 220 названиями, по её мнению, производными от 54 скандинавских слов, в основном личных имён, хотя «в целом ряде случаев» сомневается «в скандинавском происхождении того или иного названия» (в «русских» названиях днепровских порогов она видела скандинавские, ибо норманны ходили по Днепровскому пути)²⁵⁴.

В 1940 г. прозвучали мнения историка А.Н. Насонова и археолога М.И. Артамонова, заострявшие внимание на факте давнего присутствия имени «Русь» в южной части Восточной Европы, что никак не согласуется с норманской версией. «Не подлежит сомнению, — подчёркивал первый, — что в IX в. как у византийцев, так и у арабов с представлением о “руссах” связывалось представление о Тавриде: руссов они представляли себе обитателями Тавра». Второй, отмечая, что из финского руотси (шведы) образоваться название «русь» не могло, указал на южное происхождение (по его убеждению, славянское) этого древнего этнического термина, на то, что в северном Причерноморье в первые века н.э. известны роксоланы, название которых есть скрещённое образование из этнического обозначения «аланы» «и другого, тоже, очевидно, этнического имени “рокс” или “рос”». Несколько позже в наших источниках появляются росомоны; окончание этого племенного названия, по-видимому, того же рода, что и у приблизительно одновременных с ними маркоманов, и может быть отнесено за счёт германской среды, через которую до нас дошёл этот этнический термин. В сирийском источнике VI в. в Восточной Европе указан народ рос, едва ли не тот самый, который фигурировал в двух предшествующих названиях»²⁵⁵.

Но эта критика норманской версии (лучше сказать, замечания в её адрес) и в СССР, и в эмиграции была крайне эпизодической, и велась с позиций норманизма. Потому она ни на что не могла повлиять (минусы норманизма трактовались как несущественные и вполне допустимые в научном процессе недочёты и издержки). И ультранорманизм, который находился в Советском Союзе под патронажем партийно-государственных органов, был непоколебим, и его постоянно «подпитывали» археологи, например, многолетний руководитель раскопок в Старой Ладогe В.И. Равдоникас, во многом смотревший на русские древности именно глазами Т.Ю. Арне (в 1930 г. посчитал его работу «Швеция и Восток» 1914 г. «блестящим вкладом в решение интересующего нас вопроса»). Так, в 1933 г. в докладе на пленуме ГАИМК (ныне — ИИМК) он, отвергая теорию норманской колонизации Руси, повторил ряд её положений: что в «Гнёздовском некрополе имеются и такие курганы, которые являются, безусловно, погребениями норманнов... Город возникал здесь, следовательно, при каком-то непосредственном участии скандинавов», что наличие множества вещей скан-

динавского происхождения в приладожских курганах проливает «свет на значение норманнов в процессе возникновения местного феодализма», что Ладога «была одним из древнейших опорных пунктов для норманнов в их торговых поездках на восток», что, согласно письменным источникам (но таковых нет!), «норманны появляются здесь ещё в первой половине IX в., и с этим нельзя не поставить в связь происходившее как раз в это время превращение Старой Ладоги из примитивного небольшого поселения в город» (тем самым Равдоникас, по оценке И.П. Шаскольского, признал существование норманских колоний в Гнёздове и Ладоге).

Вместе с тем он говорил, что в IX в. норманны в своих сношениях с финнами и славянами занимаются больше грабежом, чем торговлей, что в X в. картина взаимоотношений норманнов с туземным населением Восточной Европы резко меняется, «появляется множество вещей скандинавского происхождения в самых различных районах — в Казанском районе, в районе б. Владимирской и Ярославской губерний, у смоленских кривичей, в Новгородской и Псковской земле, в Приладожье», что «классической для эпохи является фигура норманна, вооружённого с ног до головы профессионального воина и в то же время столь же профессионального и при этом расторопного, расчётливого купца», что «торговля с норманнами и торговля вообще в высокой степени стимулировала расслоение рода у племён Восточной Европы», что вело у них к выделению господствующего класса, который в массе своей состоял, несомненно, из местных элементов, и немногочисленные норманны играли в нём роль руководителей военно-торговыми предприятиями, в частности организацией обороны и пр.²⁵⁶ (по заключению А.А. Хлевова, «этап 1930–1951 гг. с полным правом должен быть определён как “этап Равдоникаса”. Это центральная фигура историографии археологической норманистики», умеренный норманизм которой продолжил традицию дореволюционной археологии²⁵⁷. Всё правильно, кроме определения степени норманизма, ибо она была практически безмерна).

Тот же ультра норманизм параллельно утверждался другими советскими специалистами (в том числе совершенно мимоходом). Например, словами нумизмата Н.П. Бауера, сказанными в 1937 г., что норманны «прошли всю Восточную Европу вдоль и поперёк, их же, вероятно, и разумеет Ибн Фодлан, говоря о руссах, что они массами накопляли диргеми» и доставляли их «в огромных количествах к себе на родину, а также морем в Польшу и к другим западным славянам»²⁵⁸. Или изданием в 1938 г. (впервые) дореволюционных «Лекций по русской истории» А.Е. Преснякова (ум. 1929), которые он читал студентам Петербургского университета. А в них он подчёркивал, что до летописца, отождествившего русь с варягами, видимо, дошла правильная «традиция о том, что “русь” — название норманнов», что на научное значение может претендовать лишь производство имени «Русь» при посредстве финнов, что «находки арабских монет в Скандинавии указывают на скандинавско-арабскую торговлю VIII в.», что «“руссы” арабов» есть ильменские скандинавы, живавшие на «острове русов», т. е. в Новгороде (как это «удачно» извлёк из арабских писателей Ф.Ф. Вестберг), что движение скандинавов по Западной Двине и, вероятно, по Висле «создало раннюю роль скандинавского элемента на черномор-

ском юге (русь) и в западнославянских землях», что к 860 г. уже существовало с центром в Киеве русское княжество, что тогда же на севере «водворились варяги — их центральным пунктом была, по-видимому, Ладога, затем Новгород».

Утверждая далее, что варяги, как сами себя называли скандинавы второй волны колонизации, — это «первоначально дружины скандинавов, приходившие в среду восточных славян со своими конунгами-викингами-князьями», что «возникновение “скандинаво-русской государственности” на севере могло дать толчок и опору более широкому “движению варягов в Россию, на Восток и в Византию”», что это движение совпадает «с отмеченным в летописном предании началом скандинаво-русской государственности», что на месте старого русского княжества в Киеве Олег основал варяжское, что в целом в IX–X вв. скандинавский элемент на Руси действовал с большой энергией — «торговой и боевой; Восточная Европа прорезана рядом путей, по которым варяги проходили то мирно, то бурно, будоража местную племенную жизнь, втягивая местное население в более сложные международные отношения», что, по сообщениям арабских источников, скандинавы нападали (идя то ли с верховьев Волги, то ли с берегов Чёрного моря) на прикаспийские земли в 870-х гг., около 925 г., а в 969 г. русы разгромили Булгар, Итиль и Семендер, чем добились Хазарское царство, потрясённое перед тем победами Святослава, при этом также действуя помимо и независимо от киевского князя²⁵⁹. В 1939 г. в очередном томе «Большой Советской Энциклопедии» историк Я.Я. Зутис напомнил, что норманнов на Руси именовали варягами, что в IX в. они завладели путём «из варяг в греки», что на Восток направлялись норманны, главным образом, «из Швеции и лишь отчасти из Норвегии и Дании. Наоборот, в походах к берегам Зап. Европы преобладали выходцы из Дании и Норвегии»²⁶⁰.

В том же духе разговор о норманнах шёл в статье востоковеда В.В. Бартольда (ум. 1930) «Арабские известия о русах», написанной в 1918 г. и изданной в 1940 г. (вторично увидела свет в 1963 г.): что значительно раньше 870 г. скандинавы начали проникать из Балтийского моря в реки Восточноевропейской равнины, что летописец, «как известно, называет этих скандинавских мореплавателей “варягами” и “русью”», что восточные авторы IX–X вв. знали только русов и им же приписывали набеги, производившиеся скандинавами на берега Атлантического океана, что «уже древнейшие источники говорят о торговых “русах”, приходивших по Дону в страну хазар и, вероятно, более северными путями в страну болгар» и что набеги русов на земли Прикаспийского региона есть набеги скандинавов. Для Бартольда росы Бертинских анналов есть переселившиеся на Русь шведы, жившие не в южной части Руси, как полагал А.А. Шахматов, а у Ильменя²⁶¹.

В 1940 г. летописец М.Д. Присёлков, говоря языком А.А. Шахматова, что в середине X в. киевский князь располагал «огромными полчищами наёмных норманнских отрядов», делился своими открытиями, что договоры с Византией 911 и 944 гг. заключались «не от лица одного великого князя русского, но и от лица его наёмных ярлов», начальников наёмных отрядов скандинавов, что князь Игорь «говорил на нашем языке и им пользовался как языком государственным», что «войска Святослава и высший орган военного их совета гово-

рили по-славянски», что ему удалось освободить Киевское государство от первой и самой высокой волны «наплыва норманских бродячих отрядов» (и не дав тем самым скандинавам здесь осесть и захватить ту или иную область в своё управление), а его сыну Владимиру — от второй²⁶².

Всё приведённое в той или иной мере начнёт вновь звучать на исходе уже советского времени в устах «советских антинорманистов», но с особенной силой зазвучит сегодня. В связи с чем стоит привести важное заключение Преснякова (а его высказывали и до того), которое явственно демонстрирует научную несостоятельность норманской версии, активно им отстаиваемой: «Беда в том, что древнейшая шведская история ещё темнее, чем наша русская. Письменных источников для неё вовсе нет, даже такого типа, как наша летопись. Скудные сведения добываются путём анализа саг, часто спорного», а рунические надписи относятся к XI в. (и на Западе также говорят, например, Г. Джонс, что о Швеции до начала X в. «мы не знаем практически ничего»).

Следовательно, все разговоры о варягах-норманнах у нас и за рубежом ведутся вслепую, по заданной ещё шведскими норманистами XVII в. траектории, ведутся о том, чего не было и о чём не говорят источники. «Но, — как выражал позицию подавляющей части норманистов Пресняков, показывая тем самым, что в отношении рассуждений о деятельности скандинавов на Руси нет вообще-то никаких границ и что пустоту шведской истории можно без проблем заполнять любыми выдумками, — лишь весьма мнимая научная осторожность говорит за несуществование того, о чём у нас нет прямых свидетельств в письменных и вещественных памятниках»²⁶³.

Но если нет научной осторожности, то и нет, понятно, самой науки.

И это есть аксиома.

Примечания

- ¹ Далин О. Указ. соч. Ч. 1. Кн. 1. С. 385, прим. ц; Шлёцер А.Л. Представление... С. 186, 196; *его же*. Нестор. Ч. I. С. 344–345, прим. ** на С. 325; Thunmann J. Op. cit. S. 371; Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 88.
- ² Публичный... С. 32; Погодин М.П. Моё... Стб. 1766–1770; Барсуков Н.П. Указ. соч. Кн. 1. С. 330–331.
- ³ Устрялов Н.Г. О системе... С. 1.
- ⁴ Записки С.М. Соловьёва. С. 60; Толстой Л.Н. Так... С. 332; Сухотин Л.М. Указ. соч. С. 63.
- ⁵ Тургенев И.С. Указ. соч. С. 418.
- ⁶ Тихомиров М.Н. Пособие... С. 77; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. XXIX–XXX, 56, 100, 316, 319, 321–331, 344, прим. * на С. 290, прим. * на С. 325, прим. * на С. 330; Куник А.А. Предисловие... С. 150; Дополнения А.А. Куника. С. 415, 423–424; Мошин В.А. Варяго... С. 25.
- ⁷ Венелин Ю.И. Скандинавомания... С. 53.
- ⁸ Погодин М.П. О трудах... С. 169; *его же*. Древняя... Т. I. С. 107; Публичный... С. 32.
- ⁹ Ламанский В.И. Михаил... С. 249.
- ¹⁰ Погодин М.П. Сочинения. Т. 4. С. 245–246.
- ¹¹ Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии... С. 171.
- ¹² Славянский сборник... С. ССXXX, прим. 223. на С. CIV.
- ¹³ Бодянский О.М. О мнениях... С. 64; Максимович М.А. Откуда... С. 12; Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 88, 92–93.
- ¹⁴ Мошин В.А. Варяго... С. 27; Нильсен Й.П. Указ. соч. С. 20; Хлевов А.А. Норманская... (1997). С. 18.
- ¹⁵ Афиани В.Ю., Козлов В.П. Указ. соч. С. 538–539.
- ¹⁶ Славянский сборник... С. LXXXIII.
- ¹⁷ Погодин М.П. О жилищах... С. 101.
- ¹⁸ Мошин В.А. Варяго... С. 24, 26–27, 33–35, 40, 44, 70.
- ¹⁹ Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 342–343, прим. * на С. 343; ч. II. С. 108, 168, 171–172; ч. III. С. 475–476; Мошин В.А. Варяго... С. 24–25.
- ²⁰ Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 343, прим. *; ч. II. С. 168, 172; Карамзин Н.М. Записка... С. 17, 22; *его же*. История... Т. I. С. 56–60, 93–99, 105, 108–109, 114, 118–120, 141, 163–169, прим. 98, 100, 101, 102, 107–108, 112, 315, 485; т. II–III. С. 9, 15, 17, 31–33, 37, 40, прим. 72, 75, 91, 100, 233 к т. II.
- ²¹ Исторические отрывки. С. 195–200; [Бутков П.Г.]. Очерк... (Ноябрь). С. 23–37.
- ²² Брусилов Н. Историческое... С. 284–287, 290–295.
- ²³ Лелевель И. Указ. соч. Ч. 9. № 3. С. 163–170; ч. 11. № 15. С. 138–140; № 16. С. 189; ч. 12. № 19. С. 50–51. См. также: Полевой Н.А. О новейших... С. 733.
- ²⁴ Мошин В.А. Варяго... С. 33–35.
- ²⁵ Брусилов Н. Догадка... С. 59; Кайданов И. Указ. соч. С. VI–VII.
- ²⁶ Полевой Н.А. История... Т. 1. С. 27, 33–34, 59–67, 81–88, 91–125, 130–136, 140, 144, 148–150, 153–154, 163, 175, 188, 194–207, 213–216, 236–237, 249, 281–282, 285–290, прим. 39, 41, 42, 49, 51, 55, 58 к кн. I; прим. 1, 150, 198, 276, 287 к кн. II; т. 2. С. 17.
- ²⁷ Сенковский О.И. Скандинавские... С. 18, 22–23, 26–27, 30–40, 70, прим. 30; *его же*. Эймундова... С. 47–49, 53, 60, прим. 23.
- ²⁸ Северная пчела. С. 1188; Лященко А.И. «Eymundar... С. 1063–1065, 1084–1085.
- ²⁹ Устрялов Н.Г. Русская... С. 52–53, 55–61.
- ³⁰ Во всех случаях, кроме оговорённых, речь идёт о Степане Александровиче Гедеонове.
- ³¹ Гедеонов С.А. Варяги. С. 9–10. В науке ошибочно эту статью связывают со Степаном Александровичем (см., напр.: Никитина Н.С. Указ. соч. С. 535; Гедеонов Ст. Алек-ч. С. 521).
- ³² Сабинин С.К. О происхождении... С. 44–45, 71, 77–79, 81–83; *его же*. Волос... С. 23, 29–52; Урланис Б.Ц. Указ. соч. С. 86; Ловмянский Х. Русь... С. 99, 153.
- ³³ Погодин М.П. О происхождении... С. 28, 39–43, 50–78 и др.; *его же*. История... С. 165–190; *его же*. Нестор... С. 102–103; *его же*. Откуда... С. 229–231; *его же*. Ответ... С. 212–216; *его же*.

- Исследования... Т. 1. С. IX–X, 491; т. 2. С. 2, 5, 23, 32, 40–54, 60, 67–92, 121–135, 184–188, 384, прим. 288; т. 3. С. 25, 69–99, 108–110, 122–188, 201–207, 232–238, 302–337, 359–386, 400–401, 416–478, 497–519, 537–545; *его же*. Историко... 1. С. 5–10, 57–82; *его же*. Норманский... С. 48–76, 105–107, 138–150; *его же*. О публичном... С. 152–153; *его же*. Г. Гедеонов... С. 177–182, 185–186, 198–212; *его же*. Древняя... Т. I. С. 5–17, 32–62, 73–114, 116–130, 405–407, 522; т. II. С. 3, 19–25, 80–82, 163, 407–410, 448, 512–522, 525; *его же*. Борьба... С. 365, 376–384; Публичный... С. 8, 28–29, 31–33; Барсуков Н.П. Указ. соч. Кн. 8. С. 113–116, 118–121, 125, 136; Пашков С.В. Концепция... С. 15–26.
- ³⁴ Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии... С. 199–200.
- ³⁵ Шмурло Е.Ф. Курс... С. 50.
- ³⁶ Krug Ph. Op. cit. Th. 2. S. 307; [Бутков П.Г.]. Очерк... (Декабрь). С. 71–72; Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 221; Мошин В.А. Варяго... С. 29.
- ³⁷ Шафарик П.И. Указ. соч. Т. II. Кн. 1. С. 232–236.
- ³⁸ Kunik E. Die Berufung... Bd. I. S. VI–XI, XIV–XV, XVII, XXII–XXIII, 1–181; Bd. II. S. 1–496; Мошин В.А. Варяго... С. 20, 36–37.
- ³⁹ Дополнения А.А. Куника. С. 423–424.
- ⁴⁰ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 27–28; Сенковский О.И. Скандинавские... С. 60, прим. 23.
- ⁴¹ Krug Ph. Op. cit. Th. 1. S. 129–141, 157–238; *idem*. Th. 2. S. 241–243, 248–252, 259–260, 265, 274–276, 287–314, 333–338, 445–566, анм. * на с. 249 и 334; Kunik E. Ueber... S. CCXXVIII–CCXXXII, CCXXXVI–CCLIII; [Бутков П.Г.]. Очерк... (Декабрь). С. 58–59, 73–78; Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 68–71; Куник А.А. Предисловие... С. 164.
- ⁴² Куник А.А. Предисловие... С. 138; Дополнения А.А. Куника. С. 694; Фортинский Ф.Я. Варяги... С. 13; Браун Ф.А. Варяжский... С. 573; Варяжский вопрос. С. 2.
- ⁴³ Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 405; Загоскин Н.П. История... С. 349.
- ⁴⁴ Bayer G.S. De Varagis. P. 281–291; Байер Г.З. О варягах. С. 347–352; Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 24.
- ⁴⁵ Петрей П. Указ. соч. С. 92; Далин О. Указ. соч. Ч. 1. Кн. 2. С. 676; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 337; ч. II. С. 100–108, 642–643, 653–654, 703, ч. III С. 98–100.
- ⁴⁶ ЛЛ. С. 126; Полевой Н.А. История... Т. 1. Прим. 55 и 144 к кн. I; Гедеонов С.А. Варяги. С. 7; Погодин М.П. Исследования... Т. 3. С. 95.
- ⁴⁷ Kunik E. Die Berufung... Bd. II. S. 121–194, анм. * на S. 111; Дополнения А.А. Куника. С. 54, 461, 679; Куник А.А., Розен В.Р. Указ. соч. С. 87, 92–93; Фасмер М. Указ. соч. Т. III. С. 585; Топоров В.Н. Об иранском... С. 43–52.
- ⁴⁸ ДРЗИ. Т. IV. С. 117; Пархоменко В.А. Христианство... № 9. С. 494.
- ⁴⁹ Kunik E. Die Berufung... Bd. II. S. 105, анм. *.
- ⁵⁰ Ibid. S. 134.
- ⁵¹ Классен Е.И. Указ. соч. С. 21.
- ⁵² Беляев И.Д. Исследования... С. 168–169, 178–183, 188, 190, 194–197; Кавелин К.Д. Исторические... Стб. 99.
- ⁵³ Рылеев К.Ф. Указ. соч. С. 118–119, 329; В[ельтман] А. Указ. соч. С. 23–25, 33; Белинский В.Г. ПСС. В 13 т. Т. I. С. 209; Шарыпкин Д.М. Указ. соч. С. 124–191.
- ⁵⁴ Джаксон Т.Н. Исландские... (1993). С. 20, 25–27.
- ⁵⁵ Иловайский Д.И. Разыскания... С. 271.
- ⁵⁶ Kunik E. Anhang. S. 831; Браун Ф.А. Гипотеза... С. 56; *его же*. Разыскания... С. 15; БЭ. Т. 14. С. 174.
- ⁵⁷ Макаров М.Н. Указ. соч. С. 56–57.
- ⁵⁸ Белинский В.Г. Критический... С. 41–42, 503, прим. 22; Ламбин Н. Источник... № 6. С. 227, 238–239; № 7. С. 74; Первольф И.И. Варяги... С. 39; Успенский Ф.И. Русь... С. 14.
- ⁵⁹ Венелин Ю.И. Скандинавomania...; Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 442, прим. 247; Иловайский Д.И. Разыскания... С. 303, 317, прим. *.
- ⁶⁰ Максимович М.А. Откуда... С. 13; *его же*. О происхождении... С. 95.
- ⁶¹ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 17; Ewers J.P.G. Vom Ursprunge... S. 162–163, 165; Эверс Г. Указ. соч. С. 18, 70–72, 133; Славянский сборник... С. LIX, CXVI, CXXXI, CCXXVII, прим. 527.

- ⁶² *Погодин М.П.* О жилищах... С. 37, прим. *; *Публичный*... С. 18, 26, 34; *Юргевич В.Н.* Указ. соч. С. 58–69; *Тебеньков М.М.* Указ. соч. С. 33.
- ⁶³ *Щеглов Д.Ф.* Новый... С. 4; *Иловайский Д.И.* Разыскания... С. 302–312, 333, прим. * на с. 310; *Забелин И.Е.* Указ. соч. Ч. 1. С. 199; *Загоскин Н.П.* История... С. 348; *Барац Г.М.* Критико... С. 59–65, 73.
- ⁶⁴ *Венелин Ю.И.* Скандинавомания... С. 52; *Савельев-Ростиславич Н.В.* Предисловие. С. 4: *его же.* Варяжская... С. 17; *Тарановский Ф.В.* Указ. соч. С. 1–6.
- ⁶⁵ *Шлёцер А.Л.* Нестор. Ч. II. С. 114–115, 428–429; *Погодин М.П.* О происхождении... С. 69; *его же.* Исследования... Т. 2. С. 86; *его же.* Г. Гедеонов... С. 181; *Kunik E.* Die Berufung... Bd. II. S. 116; *Публичный*... С. 34; *Замечания А. Куника.* (2015). С. 233; *Ключевский В.О.* Лекции... С. 398.
- ⁶⁶ *Соловьёв С.М.* История... Кн. 1. С. 9, 250–253, прим. 434, 435, 437 к т. 1; *Кавелин К.Д.* Исследования... Стб. 470, 473–474; *Фомин В.В.* С.М. Соловьёв... С. 34–51.
- ⁶⁷ *Записки С.М.Соловьёва.* С. 55.
- ⁶⁸ *Соловьёв С.М.* История... Кн. 1. С. 9, 86–109, 115–116, 187, 248, 250–251, прим. 143 и 147 к т. 1; *Погодин М.П.* Древняя... Т. I. С. 90; *Молчанов А.А.* Ярл... С. 81; *Пчелов Е.В.* Рюрик. С. 98.
- ⁶⁹ *Сабинин С.К.* О происхождении... С. 83; *его же.* Волос... С. 33, 83–84.
- ⁷⁰ *Шлёцер А.Л.* Нестор. Ч. III. С. 152; *Ewers J.P.G.* Vom Ursprunge... S. 128, 162, 266; *Эверс Г.* Указ. соч. С. 139; *Скромненко С.* [Строев С.М.]. Критический... С. 56–60; *Венелин Ю.И.* [О происхождении... С. 44.
- ⁷¹ *Срезневский И.И.* Мысли... С. 130–131, 140–144, 154; *Гедеонов С.А.* Указ. соч. С. 68–69.
- ⁷² *Соловьёв С.М.* История... Кн. 1. С. 252, прим. 435 к т. 1.
- ⁷³ *Грот Я.К.* Филологические... С. 434.
- ⁷⁴ *Ewers G.* Vom Ursprunge... S. 102; *Венелин Ю.И.* Скандинавомания... С. 52; *Максимович М.А.* О происхождении... С. 102; *Макаров М.Н.* Указ. соч. С. 59; *Гедеонов С.А.* Указ. соч. С. 65, 439, прим. 231; *Костомаров Н.И.* Русская историческая... С. 165; *Присёлков М.Д.* История русского... С. 43.
- ⁷⁵ Цит. по: *Шушарин В.П.* Указ. соч. С. 254.
- ⁷⁶ *Шлёцер А.Л.* Нестор. Ч. I. С. 104–105, 317–318, 330, 335, 344, 421; ч. II. С. 167, 188.
- ⁷⁷ *Лерберг А.Х.* Указ. соч. С. 214, прим. 1 на С. 144; *Погодин М.П.* О происхождении... С. 43–45; *его же.* Исследования... Т. 2. С. 33, 38, 98–102, 110, 214, прим. 74 на С. 34; *его же.* Г. Гедеонов... С. 186, 206; *его же.* Новое... С. 99; *Рейц А.* Указ. соч. С. 14, прим. 3; *Kunik E.* Die Berufung... Bd. I. S. 114, anm. *; *Бутков П.Г.* Оборона... С. 123; *Грушевский М.С.* Op. cit. Т. 1. С. 579; *Шахматов А.А.* Сказание... С. 47.
- ⁷⁸ *Мыльников А.С.* Картина... Представление... С. 287.
- ⁷⁹ *Записки капитана*... С. 159.
- ⁸⁰ *Миллер Г.Ф.* О происхождении... С. 397.
- ⁸¹ *Ewers J.P.G.* Vom Ursprunge... S. 113–114; *Эверс Г.* Указ. соч. С. 68–69, 74, прим. 7; *Карамзин Н.М.* История... Т. I. Прим. 42; т. II–III. Прим. 64 к т. II.
- ⁸² Сб. РИО. Т. 129. С. 236; *Карамзин Н.М.* История... Т. IX. С. 219.
- ⁸³ *Иван Грозный.* С. 128–127; *Царь Иван IV Грозный.* С. 222.
- ⁸⁴ *Соловьёв С.М.* Скандинавомания... С. 399; *Kunik E.* Die Berufung... Bd. I. S. 113–115; [*Бутков П.Г.*]. [Рец.] «Die Berufung... С. 61–62; Дополнения А.А. Куника. С. 430; Замечания А. Куника. (1878). С. 2–3; *Томсен В.* Указ. соч. С. 101; Лекции... Бестужева-Рюмина... С. 6.
- ⁸⁵ См. об этом подробнее: *Фомин В.В.* Варяги в переписке... С. 121–133; *его же.* Иван... С. 399–418.
- ⁸⁶ *Frähn F.* Op. cit. S. 191, anm. †; *Венелин Ю.И.* Известия... С. 96, 99, 102–103.
- ⁸⁷ *Frähn F.* Op. cit. S. LVII–LVIII; *Савельев П.С.* Известие... С. 3–8.
- ⁸⁸ *Котляревский А.А.* О погребальных... С. 54; *Минорский В.Ф.* Куда... С. 25; *Новосельцев А.П.* и др. Указ. соч. С. 378.
- ⁸⁹ *Шлёцер А.Л.* Нестор. Ч. II. С. 86–116; *Голлман Г.Ф.* Указ. соч. С. 8–9.
- ⁹⁰ *Kunik E.* Anhang. S. 828; [*Бутков П.Г.*]. Очерк... (Декабрь). С. 78; *Куник А.А.* Предисловие... С. 140; Дополнения А.А. Куника. С. 451, 456, 458–459, 688; *Куник А.А.* Известия... С. 020, 043–045.

- ⁹¹ Сазонов Н. Указ. соч. № 2. С. 322; Фомин В.В. Критика... С. 17–25.
- ⁹² Хвольсон Д.А. Указ. соч. С. 148, прим. с; Мошин В.А. Варяго... С. 26–27, 50.
- ⁹³ Иловайский Д.И. Разыскания... С. 216–218.
- ⁹⁴ Белинский В.Г. Россия... С. 121; Геденов С.А. Указ. соч. С. 60, 326; Коялович М.О. Указ. соч. С. 529.
- ⁹⁵ Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 97; ч. 2. С. 85; Филевич И. Указ. соч. Т. I. С. 62; Шаскольский И.П. Антиномизм... С. 37, 41–42, 49, прим. 30 на С. 44.
- ⁹⁶ Шафарик П.И. Указ. соч. Т. II. Кн. 1. С. 112, 116.
- ⁹⁷ Цит. по: Kunik E. Die Berufung... Bd. II. S. 5, anm. *.
- ⁹⁸ Надеждин Н.И. Об исторических... С. 108; Погодин М.П. Исследования... Т. 3. С. 296, прим. 700; Куник А.А. Известия... С. 03; Барсуков Н.П. Указ. соч. Кн. 8. С. 126–127, 133–134.
- ⁹⁹ Надеждин Н.И. О важности... С. 41, прим. *.
- ¹⁰⁰ Дополнения А.А. Куника. С. 451, 690–691, 696; Пресняков А.Е. Лекции... С. 310.
- ¹⁰¹ Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 88; Перволюф И.И. Варяги... С. 39; Срезневский И.И. Замечания... С. 1; Загоскин Н.П. История... С. 336.
- ¹⁰² Дополнения А.А. Куника. С. 398, 631–633, 689; БЭ. Т. 10. С. 43.
- ¹⁰³ Бабич И.В. Указ. соч. С. 258, 262–263; Шаханов А.Н. Указ. соч. С. 90; Дурновоцев В.И., Бачинин А.Н. Указ. соч. С. 365; Фукс А.Н. Русская... С. 190–191; *его же*. «Краткие... С. 53–54; Чекурин Л.В. Труды... С. 4, 19–20, 32.
- ¹⁰⁴ Браун Ф.А. Гипотеза... С. 46; *его же*. Разыскания... С. 81; Шахматов А.А. Сказание... С. 81; Любавский М.К. Древняя... С. 173.
- ¹⁰⁵ Записки С.М. Соловьёва. С. 60; Мошин В.А. Варяго... С. 14–16, 37, 46, 71; Рыдзевская Е.А. Древняя... С. 129–130.
- ¹⁰⁶ Готье Ю.В. Железный... С. 248; Мавродин В.В. [Рец.] Академик Н.С. Державин. С. 112; *его же*. Борьба... С. 19.
- ¹⁰⁷ Хлевов А.А. Норманская... (1994) С. 12; *его же*. Норманская... (1997). С. 35–36.
- ¹⁰⁸ Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 308, 320; Ewers J.P.G. Vom Ursprunge... S. 132; Эверс Г. Указ. соч. С. 106; Голлман Г.Ф. Указ. соч. С. 17, 25, 28–29; Погодин М.П. О происхождении... С. 110–119, 177; *его же*. О жилищах... С. 60; *его же*. Исследования... Т. 2. С. 142–146, 149–154, 166–167.
- ¹⁰⁹ Розенкамф Г.А. Объяснение... (1827). С. 11–22; *его же*. Объяснение... (1828). С. 145–155, 166; *его же*. Обзорение... С. 249–259.
- ¹¹⁰ [Иванов Н.А.] Россия... Ч. 3. С. 8–10, прим. * на С. 8; Бурачёк С.А. Указ. соч. С. 85, 87, 89–90, 112, 126; Морошкин Ф.Л. Указ. соч. С. 5; Савельев-Ростиславич Н.В. Варяжская ... С. 19, 27, 53, 55; Славянский сборник... С. XXIII, XLII, прим. 54; Классен Е.И. Указ. соч. С. 122.
- ¹¹¹ Федотов А.Ф. О значении... С. 42, прим. *.
- ¹¹² Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. I. С. 324; Ewers J.P.G. Vom Ursprunge... S. 148–151; Эверс Г. Указ. соч. С. 91–93; Погодин М.П. Исследования... Т. III. С. 359–360, 367, 378–379, 381–384, 387; Тургенев Н.И. Указ. соч. С. 212; Житомирская С.В. Указ. соч. С. 624–625.
- ¹¹³ Kunik E. Die Berufung... Bd. I. S. 163–167; Bd. II. S. 108, 326, 378; *idem*. Anhang. 2. S. 833–834; [Бутков П.Г.]. [Рец.] «Die Berufung... С. 67–68.
- ¹¹⁴ Ламанский В.И. О славянах... С. 38–83.
- ¹¹⁵ Погодин М.П. О трудах... С. 169–170; *его же*. Исследования... Т. 3. С. 301; Барсуков Н.П. Указ. соч. Кн. 8. С. 136.
- ¹¹⁶ Погодин М.П. Исследования... Т. 2. С. 178, 203–206; *его же*. Борьба... С. 273.
- ¹¹⁷ Морошкин Ф.Л. Указ. соч. С. 112.
- ¹¹⁸ Ломоносов М.В. ПСС. Т. 6. С. 124; Тредиаковский В.К. Указ. соч. С. 222; Эверс Г. Указ. соч. С. 205; Каченовский М.Т. Из рассуждения... С. 356–357.
- ¹¹⁹ См., напр.: Каченовский М.Т. Из рассуждения... С. 351–388.
- ¹²⁰ Замечания А. Куника. (1878). С. 5.
- ¹²¹ Руссов С.В. Письмо... Ч. 30. С. 463–488; ч. 31. С. 104–126, 337–368; Примечания Ф.Л. Морошкина. С. 343, 347, 349–351; Венелин Ю.И. Окружные... С. 4–6, 8; Морошкин Ф.Л. Указ. соч. С. 18–38, 43–46, 53–54; Максимович М. Откуда... С. 19, 22, 24–27, 30–41; Святой Ф. Что...

- С. 8–10; *его же*. Историко... С. 6, 14, 81–88; *Савельев-Ростиславич Н.В.* Варяжская... С. 59–64; *Славянский сборник*... С. 283–285, 288–289; *Костомаров Н.И.* Начало... С. 9–14; *его же*. Заметка... С. 415; *его же*. Последнее... С. 74; *Публичный*... С. 25, 30; *Забелин И.Е.* Указ. соч. Ч. 1. С. 172–177, 189, 193; ч. 2. С. 3–6, 39–41, 71, 83; *Иловайский Д.И.* Разыскания... С. 218, 222, 225, 241, 244–247, 262, 335–337; и др.
- ¹²² *Загоскин Н.П.* История... С. 336; БЭ. Т. 15. С. 306.
- ¹²³ *Погодин М.П.* Исследования... Т. 1. С. 329; т. 3. С. 29, 523, прим. 700 на С. 296; *его же*. Г. Гедеонов... С. 175–176, 212; *его же*. Новое... С. 114–115; *его же*. Древняя... Т. II. С. 517; *его же*. Борьба... С. 297–298, 319, 384, 389–390; *Публичный*... С. 14–15, 35; *Максимович М.А.* О происхождении... С. 103, прим. 1.
- ¹²⁴ *Сенковский О.И.* О происхождении... С. 149–168.
- ¹²⁵ *Погодин М.П.* Откуда... С. 233; *его же*. Исследования... Т. 2. С. 166–167, 279; *его же*. Г. Гедеонов... С. 180; *его же*. Борьба... С. 384.
- ¹²⁶ *Kunik E.* Die Berufung... Bd. I. S. VII, XVIII–XIX; [Бутков П.Г.]. [Рец.] «Die Berufung... С. 47–48.
- ¹²⁷ *Соловьёв С.М.* История... Кн. 1. С. 87–88, 100, 248, 251, 253, прим. 150 и 173 к т. 1; *Ключевский В.О.* Наброски... С. 114–115.
- ¹²⁸ *Срезневский И.И.* Замечания... С. 2; *Забелин И.Е.* Указ. соч. Ч. 1. С. 44.
- ¹²⁹ *Загоскин Н.П.* История... С. 337.
- ¹³⁰ ЛЛ. С. 30; *Томсен В.* Указ. соч. С. 127; *Ключевский В.О.* Наброски... С. 113, 119–120; *его же*. Варяги... С. 123; *его же*. Русская... Т. I. С. 148–169, 178–182, 193, 209–210, 232–233; *его же*. Ответ... С. 163–169; *его же*. История... С. 38–43.
- ¹³¹ *Воронятов С.В.* Указ. соч. С. 222–225.
- ¹³² *Гедеонов С.А.* Указ. соч. С. 62; *Фомин В.В.* Российская... С. 6–54; *его же*. Жизнь... С. 568–575; *его же*. Сокрушение... С. 75–76.
- ¹³³ *Гедеонов С.А.* Указ. соч. С. 56–59, 384.
- ¹³⁴ *Куник А.А.* Предисловие... С. 137, 143–146; *Погодин М.П.* Г. Гедеонов... С. 175; *его же*. Борьба... С. VI; *Костомаров Н.И.* Русская историческая... С. 179.
- ¹³⁵ *Гедеонов С.А.* Указ. соч. С. 65, 153, 237.
- ¹³⁶ *Kunik E.* Die Berufung... Bd. I. S. 38–47; *Погодин М.П.* Исследования... Т. 3. С. 304–305; *Гедеонов С.А.* Указ. соч. С. 56–59, 64–95, 100, 113–142, 145, 154–238, 266, 288–326, 334–350, 363–375, 379, 383–384, прим. 22 на С. 393, прим. 149 на С. 415, прим. 247 на С. 442, прим. 286 на С. 451; *Дитяткин Д.Г.* Проблема... С. 62–182.
- ¹³⁷ ДРЗИ. Т. III. С. 78, 80; *Куник А.А.* Предисловие... С. 137–138, 143–146, 150, 159, 165; Дополнения А.А. Куника. С. 396, 411, 419–421, 446–447, 451–456, 462; *Куник А.А., Розен В.Р.* Указ. соч. С. 106; *Куник А.А.* Известия... С. 021, 057–058.
- ¹³⁸ *Погодин М.П.* Ответ... С. 216; *его же*. Г. Гедеонов... С. 175–177, 203, 207, 211–212; *его же*. Новое... С. 114.
- ¹³⁹ *Соловьёв С.М.* История... Кн. 1. Прим. 150 к т. 1; *Ламбин Н.* Источник... № 6. С. 226, 228, 233–235, 238–239, 261–263; № 7. С. 68–88, 111.
- ¹⁴⁰ *Томсен В.* Указ. соч. С. 19–20; *Ключевский В.О.* Наброски... С. 118; *Успенский Ф.И.* Русь... С. 7; БЭ. Т. 4. С. 413; *Мошин В.А.* Варяго... С. 12, 15, 42–44.
- ¹⁴¹ *Щеглов Д.Ф.* Новый... С. 3; *Забелин И.Е.* Указ. соч. Ч. 1. С. 42; *Костомаров Н.И.* Русская историческая... С. 179, 183–184; *Коялович М.О.* Указ. соч. С. 529; *Загоскин Н.П.* История... С. 349, 352, 355–356; *Тихомиров И.А.* О трудах... С. 61–62.
- ¹⁴² *Первольф И.И.* Варяги... С. 40, 89; *Платонов С.Ф.* Лекции... С. 77.
- ¹⁴³ *Kunik E.* Die Berufung... Bd. I. S. XVI, 1–4, 163–167; [Бутков П.Г.]. [Рец.] «Die Berufung... С. 47–48; *Куник А.А.* Предисловие... С. 136, 138–139, 143, 164; Дополнения А.А. Куника. С. 439, прим. 1; Замечания А. Куника. (1878). С. 6; *Погодин М.П.* Г. Гедеонов... С. 179–180, 223–224; *Бестужев-Рюмин К.Н.* Русская... С. 93; *Томсен В.* Указ. соч. С. 17, 84–86; БЭ. Т. 11. С. 663; *Лаппо-Данилевский А.С.* Указ. соч. С. 1466–1467.
- ¹⁴⁴ *Соловьёв С.М.* История... Кн. 1. С. 86–87, прим. 150 к т. 1; *Фортинский Ф.Я.* Варяги... С. 47; *Первольф И.И.* Варяги... С. 48, 51, 89, 97; *Шаровольский И.В.* Указ. соч. С. 3, прим. 2.

- ¹⁴⁵ Костомаров Н.И. Русская историческая... С. 179–182; Иловайский Д.И. Разыскания... С. 187, 201, 249, прим. * на С. 188; *его же*. Ещё... С. 650; *его же*. Начало... С. 331–337; Багалей Д.И. Указ. соч. Т. 1. С. 154, 161–178, прим. 1 на С. 154.
- ¹⁴⁶ Костомаров Н.И. Русская историческая... С. 179.
- ¹⁴⁷ Иловайский Д.И. [Рец.] Известия... С. 223–224; *его же*. Разыскания... С. 104–112, 159–160, 185–344, 415–417, 422, 441; *его же*. Ещё... С. 638, 644, 647–648, 650; *его же*. Вопрос... С. 3, 17; *его же*. Начало... С. 331–337, 364, 380–383; *его же*. Историко... С. 6–9; *его же*. Вторая... С. 31–49, 103; *его же*. Основные... С. 118; Погодин М.П. Новое... С. 103; Шмурло Е.Ф. Курс... С. 378; Фомин В.В. Варяго-русский вопрос в трудах Д.И. Иловайского... С. 18–44.
- ¹⁴⁸ Костомаров Н.И. Русская историческая... С. 165, 169; Багалей Д.И. Указ. соч. С. 157, прим. 1; Славяне и Русь. С. 272.
- ¹⁴⁹ Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 46–50, 134–201; ч. 2. С. 31–32, 37–48, 51–61, 64–65, 69–71, 76–89, 97–101. См. также: Колтырин С.А. Указ. соч. С. 276–288.
- ¹⁵⁰ Костомаров Н.И. Русская историческая... С. 176–177.
- ¹⁵¹ Собрание сочинений М.А. Максимович.
- ¹⁵² Куник А.А. Известия... С. X, 04–08, 016, 018, 039.
- ¹⁵³ Костомаров Н.И. Русская историческая... С. 179; Первольф И.И. Варяги... С. 39–40; Загоскин Н.П. История... С. 353, 355; Труды X Археологического... С. 119.
- ¹⁵⁴ СПФ АРАН. Ф. 95. Оп. 4. Ед. хр. 62. Л. 395; Лысенко Т.И., Шаскольский И.П. Указ. соч. С. 53–54; Настенко И.А. Об издании... С. 462–464; *его же*. С.А. Гедеонов... С. 497–510.
- ¹⁵⁵ Шаровольский И.В. Указ. соч. С. 2, прим. 1 на С. 4; Ильинский Г.А. Проблема... С. 423, 429, 432–434, 436; Кузьмин А.Г. История... Кн. 1. С. 81; Славяне и Русь. С. 186, прим. 126.
- ¹⁵⁶ Фомин В.В. Варяго-русский вопрос в интерпретации... С. 231–253.
- ¹⁵⁷ Иловайский Д.И. Разыскания... С. 271–272; Толстой И.И., Кондаков Н.П. Указ. соч. С. 12; Довнар-Запольский М.В. Указ. соч. С. 103; Равдоникас В.И. О возникновении... С. 103; Хлезов А.А. Норманская... (1994). С. 13–16, 21; *его же*. Кто... С. 7. См. также: Кондаков Н.П. Указ. соч. С. 30.
- ¹⁵⁸ Далин О. Указ. соч. Ч. 1. Кн. 1. С. 385, прим. ц; Куник А.А. Известия... С. 016–019; Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 290–291; Томсен В. Указ. соч. С. 85, прим. 10.
- ¹⁵⁹ Васильевский В.Г. Варяго... С. 377; Платонов С.Ф. Лекции... С. 76.
- ¹⁶⁰ Браун Ф.А. Гипотеза... С. 45–58; *его же*. Варяжский... С. 570–573; *его же*. Разыскания... С. 3–4, 17–18; *его же*. Русь... С. 366–367.
- ¹⁶¹ Дополнения А.А. Куника. С. 694; Голубинский Е.Е. Указ. соч. (1901). С. 35–97, 128, 131, 179–181; Иловайский Д.И. Начало... С. 381; Мошин В.А. Варяго... С. 50.
- ¹⁶² Васильевский В.Г. Житие... С. 440–450; *его же*. Труды. Т. 3. С. CX, CXXXIII, CXXXIX–CXLI, CLII–CLIII, CCLXXVII–CCLXXXIV.
- ¹⁶³ Завитневич В.З. Указ. соч. С. 563–593; Нидерле Л. Указ. соч. Прим. 4 на С. 629, прим. 7 на С. 631; Пархоменко В.А. Начало... С. 22–23.
- ¹⁶⁴ Браун Ф.А. Гипотеза... С. 45–58; *его же*. Разыскания... С. 1–18; *его же*. Русь... С. 367; Завитневич В.З. Указ. соч. С. 553, 569–570, 582.
- ¹⁶⁵ [Бутков П.Г.]. Очерк... (Декабрь). С. 61; Дополнения А.А. Куника. С. 397, 399, 457; Куник А.А. Известия... С. 032–033.
- ¹⁶⁶ Погодин М.П. Г. Гедеонов... С. 198; Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 290.
- ¹⁶⁷ Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 1. С. 38.
- ¹⁶⁸ Иловайский Д.И. Краткие... С. 9–10; *его же*. Руководство... С. 3–4; Чекурин Л.В. Русский... С. 32–38.
- ¹⁶⁹ Сафронов О.С. Указ. соч. С. 33.
- ¹⁷⁰ В-н А. Указ. соч. С. 256 и прим. 1.
- ¹⁷¹ Труды X Археологического... С. 118.
- ¹⁷² Томсен В. Указ. соч. С. 14–16, 19–20, 34–130.
- ¹⁷³ См., напр.: БЭ. Т. 4. С. 412, 414; Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 95, 213; Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Послесловие. С. 230; Мельникова Е.А. Тени... С. 18; Пчелов Е.В. Рюрик. С. 98, 204.

- ¹⁷⁴ Иловайский Д.И. Ещё... С. 643; Мошин В.А. Варяго... С. 52–53.
- ¹⁷⁵ Miklosich F. Op. cit. S. 283; Нидерле Л. Указ. соч. С. 184, 192, 201–209, 226, прим. 4 на С. 629, прим. 7 и 19 на С. 631.
- ¹⁷⁶ Хлевов А.А. Норманская... (1994). С. 15.
- ¹⁷⁷ Носов Е.Н. Проблема... С. 43; Петрухин В.Я. Русь в IX... С. 92.
- ¹⁷⁸ Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 96; Авдусин Д.А. Современный... (1988). С. 26; Петренко В.П. Погребальный... С. 9, 30, 33–34, 41, прим. 48; Макаров Н.А. Археологические... С. 70–71.
- ¹⁷⁹ Спицын А.А. О степени... С. 161–166; Тизенгаузен В.Г. В защиту... С. 024–032; Соболевский А.И. Записка... С. 223–224; Ковалевский А.П. О степени... С. 265–266, 290–291, 293.
- ¹⁸⁰ Иловайский Д.И. Начало... С. 313; Третьяков П.Н. У истоков... С. 126; Авдусин Д.А. Скандинавские... С. 79; Дубов И.В. Спорные... С. 24; *его же*. Скандинавы... С. 114.
- ¹⁸¹ Тиандер К.Ф. [Рец.] St. Roźniecki. С. 387–388, 390, 392.
- ¹⁸² Шахматов А.А. Сказание... С. 54–65, 74–77, 81–82; *его же*. Разыскания... С. 324–328, 338–340, 612.
- ¹⁸³ Вестберг Ф.Ф. К анализу... № 2. С. 377–382, 390, 398–399, 402; № 3. С. 3–6, 15, 24–33.
- ¹⁸⁴ ДРЗИ. Т. III. С. 51, 58, коммент. 10 на С. 47; Калинина Т.М. Остров... С. 581.
- ¹⁸⁵ Корф С.А. История... С. 45–57.
- ¹⁸⁶ Соболевский А.И. Два... С. 178–179, прим. 1 на С. 179.
- ¹⁸⁷ Левченко М.В. Указ. соч. С. 40.
- ¹⁸⁸ Браун Ф.А. Варяги. С. 1–2.
- ¹⁸⁹ Преображенский А.А. Указ. соч. С. 226.
- ¹⁹⁰ Любавский М.К. Древняя... С. 151, 155–157, 160–163, 168–176, 188–190.
- ¹⁹¹ Игнатъев А.А. Указ. соч. С. 397, 422, 424; Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. Указ. соч. С. 227.
- ¹⁹² История Швеции. С. 417–423; Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. Указ. соч. С. 222–223.
- ¹⁹³ Готье Ю.В. Железный... С. 253; Авдусин Д.А. Современный... (1988). С. 26.
- ¹⁹⁴ Шаскольский И.П. Известия... С. 52.
- ¹⁹⁵ Arne T.J. La Suède... Р. 7–14, 18–90, 117, 122, 125–126, 207, 220–230; Урланис Б.Ц. Указ. соч. С. 84–86; Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 97–98, 161, прим. 231 на С. 153, прим. 260 на С. 158.
- ¹⁹⁶ Галкина Е.С. Тайны... С. 144.
- ¹⁹⁷ Бороздин И.Н. Указ. соч. С. 277–283; Щепкин Е.Н. Указ. соч. С. 15.
- ¹⁹⁸ Авдусин Д.А. Неонорманистские... С. 114–120; Ловмянский Х. Русь... С. 111–112; Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 97–101, 112, 148; *его же*. О роли... С. 206–207.
- ¹⁹⁹ Ekblom R. Rus... Р. 11–30, 40–57; *idem*. Die Waräger... С. 185–211; Рыдзевская Е.А. Древняя... С. 131.
- ²⁰⁰ Ekblom R. Rus... Р. 8–10; Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 186–187.
- ²⁰¹ Arne T.J. Det stora... С. 1–75; Шаскольский И.П. Норманская... историографии. С. 232; *его же*. Норманская... науке. С. 26, 31–32, 94, 97, 168–172; Джаксон Т.Н. Ещё... С. 151–153; *её же*. Исландские... (1993). С. 52–53, 57, 59–61, 64–65, 224–225; *её же*. Свитьод... С. 722; Славяне и Русь. С. 471–472; Кузьмин А.Г. История... Кн. 1. С. 51–52; Мусин А.Е. «Столетняя... С. 225.
- ²⁰² Сойер П. Указ. соч. С. 241–242, 286, 288–290.
- ²⁰³ Ильина Н.Н. Указ. соч. С. 59; Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 30–31, 98–103, 106, 180.
- ²⁰⁴ Сендерович С.Я. Указ. соч. С. 468.
- ²⁰⁵ Шахматов А.А. Очерк... С. XXI, XXVI–XXXI; *его же*. Введение... С. 10–11, 67–72; *его же*. Древнейшие... С. 43–61; Готье Ю.В. Железный... С. 257.
- ²⁰⁶ Шахматов А.А. К вопросу... С. 9–10, 38–54.
- ²⁰⁷ Тиандер К.Ф. Датско... С. 149–170, 173–186; Пресняков А.Е. Лекции... С. 282–289.
- ²⁰⁸ Падалко Л.В. Указ. соч. (1914). С. 357–382; (1915). С. 5–40; Пархоменко В.А. Христианство... № 9. С. 343–358; № 10. С. 481–495; *его же*. Три... С. 79–87; *его же*. Начало... С. 12–21, 23, 28–32, 36–42, 51–55, прим. 2 на С. 110; *его же*. Русь... С. 127–140.

- ²⁰⁹ Гельмольд. Указ. соч. I, 83; *Гильфердинг А.Ф.* Указ. соч. С. 657, прим. 100; *Тиандер К.Ф.* [Рец.] *St. Rożniecki*. С. 3–4; *Шахматов А.А.* Повесть... С. LVIII, LXVI; *Мансикка В.Й.* Указ. соч. С. 59, 71–72, 75–76, 102, 234, 285–287.
- ²¹⁰ *Фасмер М.* Указ. соч. Т. III. С. 246; *Петрухин В.Я., Толстая С.М.* Указ. соч. С. 330, коммент. IX.
- ²¹¹ *Шаскольский И.П.* Норманская... науке. С. 11–12; *Клейн Л.С.* Спор... С. 133; *Горский А.А.* К спорам... С. 171; *его же.* Первое... С. 8; *его же.* Приглашение... С. 9.
- ²¹² *Клейн Л.С.* Норманизм... С. 94, 99–100.
- ²¹³ *Покровский М.Н.* Русская история с древнейших... (1910). С. 58–59; *его же.* Очерк... С. 53–56; *его же.* Русская история с древнейших... (1920). С. 20–22; *его же.* Русская история в самом... С. 22–23, 25; *Чернобаев А.А.* Покровский... С. 449–451.
- ²¹⁴ *Нильсен Й.П.* Указ. соч. С. 37, 44.
- ²¹⁵ *Артизов А.Н.* Указ. соч. С. 77–78; *Чернобаев А.А.* Покровский... С. 450–453.
- ²¹⁶ *Платонов С.Ф.* Руса. С. 1–5; *Петровский Н.М.* Указ. соч. С. 369.
- ²¹⁷ *Истрин В.М.* Хроника... Т. II. С. 292–293; *Спицын А.А.* Археология... С. 1–12; *Брим В.А.* Происхождение... С. 5–10; *Готье Ю.В.* Очерки... С. 7–8, 13–14, 18; *Кулишер И.М.* Указ. соч. С. 24–27, 148; *Лященко А.И.* Былины... С. 60–61; *его же.* «Eumundar... С. 1061–1062, 1066–1067, 1073, 1086.
- ²¹⁸ БСЭ. Т. 9. Стб. 46–47.
- ²¹⁹ *Шмидт А.В.* Указ. соч. С. 187, 213.
- ²²⁰ *Покровский М.Н.* Русская история в самом... С. 22.
- ²²¹ БСЭ. Т. 25. Стб. 730; т. 27. Стб. 774.
- ²²² То же. Т. 4. Стб. 362; т. 62. Стб. 512–513.
- ²²³ *Готье Ю.В.* Заметки... С. 139, 141; *Эдинг Д.Н.* Указ. соч. С. 65, 68.
- ²²⁴ *Соболевский А.И.* Записка... С. 223–224; *его же.* «Третье»... С. 57–58.
- ²²⁵ *Готье Ю.В.* Железный... С. 246–253, 257–260, 262.
- ²²⁶ *Брим В.А.* Колбьяги. С. 281, 284; *его же.* Путь... С. 227–260.
- ²²⁷ *Троцкий И.М.* Указ. соч. С. 275, 281.
- ²²⁸ *Пресняков А.Е.* Вильгельм... С. 46; *Готье Ю.В.* Железный... С. 248.
- ²²⁹ *Куришанак И.* Указ. соч. С. 115–118.
- ²³⁰ *Браун Ф.А.* Варяги... С. 306–308, 321.
- ²³¹ *Мошин В.А.* Начало... С. 34–35.
- ²³² *Вандалковская М.Г.* Указ. соч. С. 367.
- ²³³ *Беляев Н.Т.* Начало... С. 34–38.
- ²³⁴ *Шмурло Е.Ф.* История... С. 16–19, 35–40; *Дёмина Л.И.* Указ. соч. С. 12–15.
- ²³⁵ *Погодин А.Л.* Опыт... С. 149–157.
- ²³⁶ *Корш Ф.Е.* Указ. соч.
- ²³⁷ *Щепкин Е.Н.* Указ. соч. С. 19–20; *Браун Ф.А.* Варяги... С. 305–338.
- ²³⁸ *Погодин А.Л.* Вопрос... С. 269–275.
- ²³⁹ *Флоровский А.В.* Указ. соч. С. 505.
- ²⁴⁰ *Вернадский Г.В.* Начертание... С. 54–58.
- ²⁴¹ *Беляев Н.Т.* Рорик... С. 220–221, 225, 233, 236–262, 269–270.
- ²⁴² *Мошин В.А.* Главные... С. 610–625.
- ²⁴³ *Вернадский Г.В.* Древняя... С. 284; *Бондарева Е.А.* Указ. соч. С. 296.
- ²⁴⁴ *Мошин В.А.* Варяги... С. 11–95; *Бондарева Е.А.* Указ. соч. С. 294–295.
- ²⁴⁵ *Мошин В.А.* Начало... С. 34–44, 48–51, 56–57, 287–303; *Бондарева Е.А.* Указ. соч. С. 296, 298.
- ²⁴⁶ *Шмурло Е.Ф.* Курс... С. 68–77, 81–82, 361–387; *Горелова С.И.* Указ. соч. С. 348; *Дёмина Л.И.* Указ. соч. С. 11.
- ²⁴⁷ *Vasster M.* Beiträge... S. 142–150; *idem.* Wikingerspuren... S. 3–28.
- ²⁴⁸ *Погодин А.Л.* Варяги... С. 93–94, 97, 102–130; *его же.* Три... С. 118–125.
- ²⁴⁹ *Вернадский Г.В.* Опыт... С. 31, 113.
- ²⁵⁰ *Minorsky V.* Rüs. S. 1276–1278 (1936); *idem* (1937). S. 1–3; *Калинина Т.М.* Восточные... С. 16.
- ²⁵¹ *Погодин А.Л.* Вопрос... С. 270; *его же.* Варяги... С. 93, 117; *его же.* «Внешняя... С. 77–85; *его же.* Варяжский... С. 19, 22, 24–25, 28; *Назаренко А.В.* Территориально... С. 419, прим. 17.

- ²⁵² Вернадский Г.В. Древняя Русь. С. 22, 267–293, 309–312, 334–355, 365–372; *его же*. Киевская Русь. С. 27–31, 40–41, 45, 175 и др.; Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 52.
- ²⁵³ Пархоменко В.А. О происхождении... С. 36–41; *его же*. У истоков... С. 54–56; *его же*. Норманизм... С. 71–74.
- ²⁵⁴ Рыдзевская Е.А. К варяжскому... № 8. С. 485–486, 491–532, 609–616, 618, 620, 626, 629–630, прим. 1 на С. 628; *её же*. Древняя... С. 135–136, 140–141.
- ²⁵⁵ Насонов А.Н. Тмуторокань... С. 80–82, 91; Артамонов М.И. Спорные... С. 13.
- ²⁵⁶ Равдоникас В.И. О возникновении... С. 104, 118, 121–122, 125–129; Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 100, прим. 14; Мусин А.Е. «Столетняя... С. 224.
- ²⁵⁷ Хлевов А.А. Норманская проблема... (1994). С. 18.
- ²⁵⁸ Бауер Н.П. Указ. соч. С. 226.
- ²⁵⁹ Тиандер К.Ф. Датско... С. 169–170, 173–186; Бороздин И.Н. Указ. соч. С. 282; Пресняков А.Е. Лекции... С. 281–294, 310.
- ²⁶⁰ БСЭ. Т. 42. Стб. 371–373.
- ²⁶¹ Бартольд В.В. Указ. соч. С. 19–20, 22–24, 36, прим. 8 на С. 41, прим. 54 на С. 49.
- ²⁶² Присёлков М.Д. Киевское... С. 223, 232–233, 236, 239, 241–246.
- ²⁶³ Пресняков А.Е. Лекции... С. 283–284; Джонс Г. Указ. соч. С. 69.

Глава 5

НОРМАНИСТСКАЯ СУЩНОСТЬ «СОВЕТСКОГО АНТИНОРМАНИЗМА»

5.1 Антинорманизм ложный и антинорманизм истинный советской эпохи

Со второй половины 1930-х гг. наша историко-филологическая наука стала исповедовать «советский антинорманизм». Но это был «антинорманизм» только на словах. В действительности же тотально, при поддержке государственных и партийных органов, исповедовался и укреплялся в науке, общественном сознании, в системе преподавания отечественной истории в школах и вузах норманизм, лишь упакованный в марксистские одежды¹. Так, под видом «советского антинорманизма» начался новый, пятый этап в развитии норманской теории, обильно приправленной мнениями основоположников марксизма-ленинизма по вопросам прежде всего образования и сущности государства.

Тогдашние учёные, будучи норманистами, поменяли приоритеты в своём взгляде на начало Руси и русской государственности. Если раньше они их рассматривали как продукт деятельности норманнов, то теперь приняли одно из главных положений марксизма, согласно которому определяющая роль в процессе складывания государств отводилась внутреннему фактору — социально-экономическому развитию восточнославянского общества. Но раз Русское государство явилось продуктом внутреннего развития восточных славян, то к его созданию не имели никакого отношения варяги. В связи с чем отпадала необходимость в дискуссии по поводу их этнической природы. Говоря так, советские специалисты отправной точкой в реконструкции истории первого восточнославянского государства сохранили основополагающий постулат отвергаемого ими на словах норманизма — варяги суть скандинавы.

При этом, массово тиражируя сей постулат, твёрдо считали себя антинорманистами (историк-марксист, как чеканно выразил кредо советских исследователей в 1984 г. Д.А. Авдусин, «всегда антинорманист»²). Марксистская наука, объяснял, например, И.П. Шаскольский, отрицая «антинаучную» и «клеветни-

ческую» норманскую теорию, признаёт, «как об этом свидетельствуют достоверные источники», что в IX–XI вв. в русских землях появлялись норманны: отряды воинов и купцы, и что, «конечно, признание этих фактов совсем не тождественно согласию с выводами норманизма». Причём подлинная сущность позиции марксистской науки состоит не в огульном отрицании следов норманнов на Руси, а в установлении их достаточно скромной роли «в сложном процессе формирования классового общества и государства» у восточных славян³. Однако никто из «советских антинорманистов» и не думал отрицать «следов» норманнов. Более того, они изъяснялись о них в стиле ультранорманизма, только выставляя внутренний фактор на первый план. Так, согласно мнению С.В. Бахрушина от 1938 г., «варяжские конунги лишь возглавили тот процесс, который шёл внутри славянских обществ Восточной Европы». После чего из его уст лилась старая норманистская песня: что «отдельные конунги со своими дружинами захватывали наиболее важные пункты на речных путях», что так «возникли небольшие варяжские “княжества”» на землях восточных славян, что «один из искателей приключений Рёрек утвердился сперва в Ладогe», а позже в Новгороде, что в Полоцке в X в. «находилось княжество Рёгнвальда», что «конунг Торвард (Трувор)» сел в Изборске и что В. Томсен доказал «скандинавские имена» русских князей.

В X в. у последних, говорил в 1945 г. В.В. Мавродин, существовали многочисленные норманские дружины, что на Русь устремлялись «волны скандинавских искателей славы и добычи», что об их присутствии в русских пределах говорят наличие на её территории «топонимики скандинавско-варяжского происхождения, заимствования в русском языке из скандинавских языков (ящик, гридь, кербь, кнут, лавка, ларь, луда, рюза, скиба, скот, стул, стяг, суд, тиун, шнека, ябетник, якорь), прямые указания русских, византийских, западноевропейских, восточных и скандинавских источников о норманнах в Восточной Европе», что они на «Руси действительно создавали свои княжества, вроде Полоцкого княжества Рогволода», что скандинавское происхождение династии «Рюриковичей», её окружение и связи не могут быть взяты под сомнение⁴.

И во всех случаях свои норманистские конструкции исследователи того времени сопровождали цитатами из трудов классиков марксизма-ленинизма. Особой популярностью при этом пользовалась статья Маркса «Секретная дипломатия XVIII в.», не включённая в советское время ни в одно из собранных сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (её на Западе называют, свидетельствует норвежец Й.П. Нильсен, «сборником явно антирусских статей»⁵). А в ней он в своих рассуждениях о варягах руководствовался, констатирует Л.П. Грот, исключительно А.Л. Шлёцером. В связи с чем рассматривал начало Руси как «естественный результат примитивной организации норманского завоевания», заключал, что «победители и побеждённые слились воедино в России быстрее, нежели в других областях, завоёванных скандинавскими варварами, что предводители очень скоро смешались со славянами, каковое видно из их браков и их имён», что «завоевание и образование государства в империи Рюриковичей носило исключительно готский характер» (и именует Русь «готской Россией»)⁶.

Названная статья, хотя и была опубликована в СССР только в 1989 г., но с ней, в части о варягах, были хорошо знакомы советские учёные, сверяя, таким образом, свой «антинорманизм» с «ультранорманизмом» Шлёцера в его передаче основоположником марксизма, чтимом в Советском Союзе наравне с В.И. Лениным. Так, например, в 1938 г. С.В. Бахрушин именно через призму утверждений Маркса рассматривал сложение «державы Рюриковичей». А в 1971 г. В.В. Мавродин, пересказав основные положения названной статьи, подчеркнул, что её «давно и широко используют советские историки» и что «ошибочно сравнивать взгляды К. Маркса с теориями норманистов» (а этими словами он отвергал мнение Р.П. Конюшей, которая сказала в 1958 г., что Маркс, «касаясь происхождения русского государства, хотя и отмечает следы славянского влияния в Новгороде, исходит в основном из посылок норманистской школы немецких и русских историков России»)⁷.

Многоголосо пропагандируя и утверждая норманизм (включая школьные и вузовские учебники, энциклопедии и популярные издания, в том числе для детей), советские исследователи ни на йоту не сомневались в том, что они, продемонстрировав происхождение Руси как этап внутреннего развития восточнославянского общества задолго до появления варягов-норманнов, «решительно порвали с наследием норманизма», «окончательно разгромили» и «добили норманскую теорию», видели в ней «труп» и «руины»⁸ (но при этом ещё в 60-х гг. продолжая наносить по этому «труп» «новый сильный удар», «жесточкий удар», «решающий удар» или просто «ещё один удар»⁹). Все эти словесные «удары» сопровождалась «ругательными» характеристиками норманской версии: она есть «антинаучная», «лживая и тенденциозная, квази-научная», «реакционная», «клеветническая»¹⁰ (даже «густопсовая», как счёл нужным выразиться в 1949 г. В.В. Мавродин¹¹), враждебная нашему народу и искажающая его прошлое¹², и которую проводили, по оценке Д.С. Лихачёва от 1952 г., «современные псевдоучёные норманисты»¹³.

Дополнительно идеи «псевдоучёных норманистов» (и, разумеется, антисоветчиков) «громили» тезисами, что русь является славянским племенем, издавна проживавшим в Среднем Поднепровье (иногда она признавалась, вслед за В.О. Ключевским и Л.В. Падалко, некой социальной группой, верхушкой, возникшей в среде славян во второй половине VIII в. и включавшей в себя профессиональных воинов, купцов, ремесленников, жителей городов, затем скандинавов, и которая взимала дань с менее развитых в культурном отношении славян¹⁴), что Русь — это исконно местное наименование в Восточной Европе, что Сказание о призвании варягов, в котором видели один из главных аргументов норманистов, есть чисто легендарный рассказ летописца, тенденциозное и полное несуразностей сочинительство летописцев, не имевшее (или практически не имевшее) под собой никакой исторической основы, потому и не способное быть источником (по словам В.В. Мавродина, произнесённым в 1949 г., его «давным-давно следовало сдать в архив вместе с преданием об Адаме, Еве и змие-искусителе, всемирном потопе, Ное и его сыновьях»)¹⁵.

Одновременно «советские антинорманисты» категорично отреклись от антинорманизма истинного, представленного В.Н. Татищевым, М.В. Ломоносовым,

С.А. Геденовым (как «клялся» от лица советских учёных С.В. Юшков в 1949 г., возвращение к его теории «мы не считаем нужной»¹⁶), Д.И. Иловайским, также объявив его «антинаучным» и «тенденциозным, противоречащим «научной марксистской концепции генезиса Древнерусского государства». Ибо его сторонники, равно как и сторонники норманизма, если привести слова корифеев тогдашней исторической науки Б.Д. Грекова, В.В. Мавродина, Б.А. Рыбакова, И.П. Шаскольского, «стояли на одинаково ошибочных методологических позициях» (т. е. немарксистских), что они и их оппоненты были решительными защитниками царизма. Д.А. Авдусин, сам путаясь и путая других, уверял, что первый исследователь Гнёздова В.И. Сизов высказывал до революции «антинорманистские взгляды», а А.А. Шахматов участвовал в закладывании «основы для становления научного антинорманизма» (он обосновал вывод о позднем включении в ПВЛ «легенды о призвании варягов, тем самым поставив под вопрос достоверность её исторического содержания»)¹⁷.

Причём советские учёные, резко дистанцируясь от антинорманизма истинного и извращая его суть, особенно нелицеприятно отзывались о Д.И. Иловайском и его творчестве (в том числе в учебниках по историографии для студентов и в фундаментальных «Очерках истории исторической науки СССР»), что было связано в первую очередь с политической позицией учёного, с его ярко выраженными симпатиями и антипатиями, соответственно, к монархизму и к марксизму (и вместе с тем, любовью к Родине и переживанием за её судьбу, которыми наполнены многие статьи в издаваемой им газете «Кремль», на дух не переносившей революционеров всех мастей, среди которых, заострял внимание историк, было много инородцев). А также по той ещё причине, что нелестной оценки противника норманства руси удостоил сам В.И. Ленин, который в 1902 г. в «Что делать?», ведя речь об оппортунистах, резюмировал, что «иногда называют себя марксистами люди, которые смотрят на историю буквально “по Иловайскому”»¹⁸.

Так, в 1957–1971 гг. В.Е. Иллерицкий клеймил Иловайского как «представителя реакционной дворянской историографии», в учебниках которого «реакционно-монархические убеждения... получили наиболее откровенное выражение», содержали откровенную «пропаганду черносотенной монархическо-крепостнической идеологии». В 1962 г. А.Л. Шапиро назвал учёного «твердолобым реакционером». Согласно заключению А.М. Сахарова от 1978 г., Иловайский, издававший «крайне реакционную газету “Кремль”» и выступавший «с яростными нападками на учение Маркса», «был очень нужен реакционным силам». В 1986 г. А.Н. Цамутали утверждал, что его учебники были проникнуты «крайне реакционным духом» и что он «выступал ревностным защитником интересов самой реакционной части дворянства». А.Н. Фукс в 1982–1987 гг. охарактеризовал Иловайского как апологета самодержавия, крайнего реакционера и компилятора, разжигавшего у учеников «шовинистические и националистические чувства», что норманской теории он противился сознательно, стремясь доказать «незыблемости монархического строя и преимущества русской нации перед другими народами мира»¹⁹ (в полном согласии с «советским антинорманизмом» смотрели на Иловайского эми-

гранты-норманисты: А.В. Соловьёв в 1967 г. вёл речь о «квасных славянофилах типа Иловайского»²⁰).

В силу изложенного «советский антинорманизм» не мог в оценке талантливо-го историка подняться даже до того уровня, который демонстрировали известные дореволюционные норманисты. К вышеприведённым высоким оценкам его взглядов надлежит добавить мнения А.Н. Пыпина, И.И. Первольфа и В.О. Ключевского. По убеждению первого, он «справедливо указывает недостаточность и натянутость многих толкований норманской теории», что не лишены вероятности его предположения «о давней связи киевской Руси с азовским краем». Второй в целом охарактеризовал его сочинения как «прекрасные исторические работы». Третий признал, что если принять выводы Иловайского, то «мы освобождаемся от массы противоречий, неясностей и неразрешимых вопросов, которыми наполнили первые страницы нашей истории Погодин и его предшественники»²¹ (в 1947 г. археолог и этнограф С.П. Толстов, поддержав гипотезу роксолановского происхождения имени «Русь», подчеркнул, что «для нас роксоланы — не славяне» и что гипотеза Иловайского... может быть теперь подтверждена целым рядом внушительных фактов»²². Однако подобные вольнодумства были скоро заглушены «советским антинорманизмом»).

Решительно «советский антинорманизм» отвергал и современный ему истинный антинорманизм, к которому пришла та часть эмиграции, по-настоящему задумавшаяся над причинами страшной катастрофы 1917 г., пролившей моря русской крови и лишившей их Родины. В связи с чем она иными глазами стала смотреть на аксиомы, с детства вбиваемые в головы образованного российского общества и элиты страны (и стала осознавать, что было так чётко высказано в 1968 г. М.Д. Каратеевым, антирусскую направленность норманской версии). По мнению нашего выдающегося философа И.А. Ильина, изложенному в 1950 г. в письме правоведа В.А. Рязановскому, «давно пора сбросить этот шлёщеровски-байеровский гипноз, который странно заморозил русских историков, кончая Ключевским и Струве» (а в одной неопубликованной статье 1940 г. он подчеркнул, что Рюрик — это отнюдь не норманн, «как доселе думают многие», а западный прибалтийский славянин).

В 1955 г. в Париже вышло завершённое в конце 30-х гг. женой мыслителя Н.Н. Ильиной действительно антинорманистское «Изгнание норманнов. Очередная задача русской исторической науки». И этот антинорманизм, и нахождение автора за границей (вместе с мужем в 1922 г. она вынуждена была покинуть Россию на «философском пароходе») в штыки были встречены советскими учёными. В 1964 г. В.П. Шушарин заявил, что «полны домислов и передержек книги дилетантов С. Лесного и Натальи Ильиной». Годом позже И.П. Шаскольский посчитал её труд «дилетантским» и стоящим вне науки. Тогда же Л.С. Клейн назвал Ильину «религиозной фанатичкой». Шесть лет спустя В.В. Мавродин резюмировал: «Произведения некоторых антинорманистов (С. Лесной, Н. Ильина) далеки от науки и враждебны марксизму-ленинизму»²³.

«Бескомпромиссно» борясь с норманизмом, советские историки вводили в науку, не без помощи нашей эмиграции, аргументы, отброшенные, под влиянием антинорманистов XIX в., ведущими норманистами того времени, а также

щедро делясь собственными «антинорманистскими достижениями». Так, в 1936 и 1939 гг. новый лидер советских историков академик Б.Д. Греков своими работами, становившимися эталонами в изучении Руси, растрогал мнение шведских авторов XVII в. (сданное в утиль прежде всего благодаря Г. Эверсу и Г.А. Розенкампу, но в 1925 г. реанимированное Ф.А. Брауном), что русь вышла из «Рослагена»: «Эта гипотеза кажется мне наиболее вероятной». В учебнике «История СССР» (1939, переиздан в 1948) для истфаков университетов и пединститутов он втолковывал подрастающим поколениям «советских антинорманистов», что «Северная Русь, по-видимому, связана со Скандинавией, а именно с частью Швеции на северном берегу Финского залива — Упландом... Прибрежная полоса, лежащая против Финского залива, называлась Рослаген (см. у Томсена)», что термины рос — южного происхождения, а русь — северного, «волею исторических судеб встретившихся и отождествившихся (гипотеза проф. Брима)», что русью звали не какое-то варяжское племя, «а варяжские дружины вообще», и что Рорик Фрисландский в конце 50-х годов IX в. появился, «если верить летописи, в нашей стране».

В 1962–1966 гг. уже другой признанный авторитет нашей науки академик Б.А. Рыбаков вёл речь о том, что в истории Руси существовал «норманский период», который охватывал 882–912 гг. и который олицетворял собой норманский конунг Олег Вещий, захвативший власть в Киеве, что (а эта «истина» затем звучала и в вузовском учебнике для историков) варяги-норманны жили в укрепленных лагерях: под Новгородом «в “Рюриковом городище”, под Смоленском — в Гнёздове, под Киевом — в урочище Угорском», что одним из путей проникновения христиан в Киев был, как он полностью солидаризировался в 1987 г. с норманистом прошлого Е.Е. Голубинским, «приход на службу к киевскому князю варягов из состава константинопольской норманской общины, крещённых скандинавов». А свой «антинорманизм» демонстрируя только тем, что «норманский период» «в русской истории буржуазная наука всегда излишне преувеличивала, растягивая его на несколько столетий»²⁴.

Но дореволюционная наука не оперировала понятием «норманский период»: он не был, констатировала в 1903–1904 гг. «Большая энциклопедия», принят в общее употребление²⁵. Однако эту выдумку, по характеристике В.А. Мошина, «наиболее выразительного представителя ультраинорманизма» Погодина «воскресил» «советский антинорманист» Рыбаков, и её в 1965 г. подхватил точно такой же «антинорманист» И.П. Шаскольский. Через два года В.В. Мавродин и И.Я. Фроянов увидели в таком факте проявление критики «современных норманистских взглядов». А в 1987 г. появление выражения «норманский период» в публикациях Рыбакова положительно восприняли археологи В.А. Булкин, И.В. Дубов, Г.С. Лебедев (в 1997 г. А.А. Хлевов преподнёс выделение «варяжского периода русской истории» «советскими антинорманистами» в качестве важного фактора объективизации знаний о варягах-норманнах)²⁶.

В разговор о варягах, воспринимавшихся с нескрываемым раздражением («тень Рюрика... как и всякая нежить, только мешает живой работе»²⁷, потому как приходилось постоянно и натужно развязывать «антинорманистский» узел, в котором неразрывно переплелись факт признания варягов норманна-

ми с бодренькими уверениями «советского антинорманизма», что такая ситуация не является норманизмом), вносились «передовые» идеи, долженствующие показать их незначимость в нашей истории. Так, в ранг аксиомы была возведена, вопреки показаниям ПВЛ, рассказывающей о весьма активной деятельности варягов во внутренней и внешней жизни Руси, мысль Б.Д. Грекова, что они — «лишь эпизод в истории общества, создавшего Киевское государство». В 1947 г. К.В. Базилевич убеждал, что «во всех главных явлениях исторической жизни Киевской Руси роль норманнов — выходцев из Скандинавии — была совершенно ничтожной». Б.А. Рыбаков в 1960–1966 гг. вообще посчитал, что их историческая роль была не просто «ничтожной», но даже «несравненно меньше, чем роль печенегов и половцев»²⁸.

Дабы вообще свести значимость норманнов в русской истории к нулю или вообще к знаку минус, получил силу закона взгляд, согласно которому скандинавы, как утверждали в 1945–1953 гг. В.В. Мавродин, Б.Д. Греков и Д.А. Авдусин, слова которых также многократным эхом отзывались в науке, «стояли на более низкой стадии общественного и культурного развития, чем восточные славяне, и уже по одному этому не могли принести с собой на Русскую землю ни новой и более высокой культуры, ни государственности»²⁹. Да и что вообще могли принести на Русь, как их нещадно клеймили, «разбойники», «грабители», «авантюристы», «наглые наёмники». Варяги-норманны, перечислял в 1960 г. Рыбаков приписываемые им «советскими антинорманистами» негативные качества, «вероломные», «жадные», «трусливые», «разнузданные», совершавшие на Руси «неблаговидные действия»³⁰ (время сгладит острые углы подобных рассуждений и о норманнах начнут говорить как об участниках строительства славянской знатью Древнерусского государства, но сыгравших в этом деле второстепенную роль³¹).

Но чтобы уж окончательно свести разговор о варягах к минимуму, «советские антинорманисты» — историки, археологи, лингвисты — хором повторяли давний тезис норманистов, рождённый А.Л. Шлёцером по причине отсутствия фактов пребывания скандинавов на Руси: что они там очень быстро ославянились (т. к. женились на славянках), что скандинавская династия русских князей ославянилась уже в третьем поколении (Святослав носил уже чисто славянское имя) и т. п. (и это тогда, когда в жизни русского общества того времени зримо отразилось участие многих народов, в том числе и растворившихся в восточнославянском мире, однако внимание заикливалось на норманнах). При этом отмечая, но не придавая данному факту значения, что в Западной Европе норманны «долго сохраняли свои народные черты, обычаи и утверждения»³² (точно так рассуждала как эмигрантская, так западная наука в целом, например, В.А. Мошин, Г.В. Вернадский, А. Стендер-Петерсен³³).

В науке вместе с тем возобладала идея, что, согласно точке зрения историка М.А. Алпатова, высказанной в 1973 г., «нельзя смешивать два разных по своей значимости вопроса — вопрос о создании государства и вопрос о династии», который является несущественным. Подобным образом тогда рассуждал и лингвист А.И. Попов: «...Вопрос об этнической принадлежности и происхождении династии не имеет прямого отношения к началу государства» (впро-

чем, как и вопрос об этническом происхождении термина «Русь»³⁴. Так в результате очередного принципиального самообмана варяжская проблема была искусственно расчленена на вопрос о создании государства у восточных славян и на вопрос об этнической атрибуции варягов (а также и на вопрос происхождения имени «Русь»), хотя их органическая неразрывность понятна (тем более что в своих построениях норманисты всегда увязывают эти вопросы. Например, в 1979 г. Г.А. Хабургаев, отмечал А.Г. Кузьмин, разъяснял историкам М.Н. Тихомирову и Б.А. Рыбакову, что вопрос о происхождении имени «Русь» «не имеет отношения к происхождению государственности. Но сам норманистскую интерпретацию использует для доказательства гипотезы о норманских колонистах и их преобладании в составе древнерусской знати»³⁵). Норвежский учёный Й.П. Нильсен, характеризуя Б.Д. Грекова в качестве основоположника «советского антинорманизма», пришёл к выводу, что он сделал уступку старым норманистам в вопросе этнической принадлежности варягов, который, в чём Нильсен солидаризируется с ним, «не является решающим»³⁶. Как раз напротив, он-то и есть главный, и если его игнорировать, то варяжская проблема, независимо от самых благих намерений, будет разрешаться только в норманистском духе.

Это настолько очевидно, что было подмечено датским норманистом А. Стендер-Петерсеном. Сопоставив в 1953 г. «антинорманизм» в советской исторической науке и норманизм в зарубежной, он констатировал, что «провести точную, однозначную грань между обоими лагерями теперь уже не так легко, как это было в старину. Нельзя даже говорить о двух определённо разграниченных и взаимно друг друга исключаящих школах. От одного лагеря к другому теперь уже гораздо больше переходных ступеней и промежуточных установок»³⁷. В унисон с ним говорил в 1986–1988 гг. и советский археолог Д.А. Авдусин: «среди западных учёных теперь немало антинорманистов»: «П. Сойер (Англия), Ш. Блиндхейм, А. Стальсберг (Норвегия), К. Рабек Шмидт (Дания), М. Дрейер (Финляндия) и др.», которые, стремясь «к объективному исследованию истории Руси», встали «на позиции научного антинорманизма», суть которого сводилась к тому, что они, активно проповедуя и укрепляли норманизм, вместе с тем весьма серьёзно критиковали совсем уж впавших в скандинавские утопии и фантазии «единоверцев»³⁸.

В советской науке, несмотря на шумные разглагольствования о непримиримой борьбе «советского антинорманизма» с норманизмом, на его некоторые (отсюда неоднозначность в оценке этого явления и его представителей) действительно антинорманистские выводы (разоблачение мифа о больших поселениях скандинавов в русских землях, следовательно, о скандинавской колонизации Руси, противодействие в 1957 г. попытке при составлении проспекта третьего тома «История научного и культурного развития человечества», готовящегося под эгидой ЮНЕСКО, поместить тему о возникновении Древнерусского государства в раздел по истории Скандинавских стран³⁹ и др.), находились учёные, которые называли вещи своими именами. Так, в 1942 г. Л.С. Тивериадский, увидев в версии В.А. Брима о существовании на севере и на юге сходных названий «русь» и «рос» учёный компромисс, «малоудачную попытку примире-

ния типичного норманизма с противоположными ему данными», охарактеризовал позицию академика Б.Д. Грекова, принявшего эту версию, как частичное возвращение к «традиционному норманизму». 10 июня 1944 г. на совещании историков в ЦК ВКП(б) Е.Н. Городецкий прямо сказал, что норманизм дожил «благополучно до наших дней» и что «формальное отрицание норманской теории сопровождается фактическим её признанием», например, в учебниках для высшей и средней школ под редакцией, соответственно, В.И. Лебедева, Б.Д. Грекова, С.В. Бахрушина, и А.М. Панкратовой⁴⁰. Но затем ничего подобного не говорилось более четверти века.

В 1970 г. это молчание, бросая вызов могущественному «советскому антинорманизму», прервал историк А.Г. Кузьмин, демонстрируя тогда и в последующие годы истинное лицо «советского антинорманизма», якобы повергшего «лженаучный» норманизм. Во-первых, заострял он внимание, сосредоточение внимания его приверженцев на основных социально-исторических проблемах «делает беспредметным рассуждение о возникновении государства как автохтонного процесса: представители крайнего норманизма как раз и настаивают на ведущем положении пришельцев-норманнов». Во-вторых, они не пересмотрели «заново многих постулатов норманской теории. Важнейшим из них как раз и является представление о германоязычии и скандинавском происхождении “варягов”, с “призвания” которых один летописец начинал русскую государственность». В-третьих, ошибочно полагать, что, «отдав политическую историю Руси IX–XI вв. норманистам, можно остаться на позициях антинорманизма, опираясь на общий тезис о государстве как продукте внутреннего развития общества».

В-четвёртых, норманизм критикуется главным образом за игнорирование или недооценку марксистского положения об общих и конкретных условиях возникновения государств как спонтанного закономерного процесса, а «представление о незначительной роли в древнерусской истории варяжского элемента делало, по существу, излишним уточнение вопроса о том, что он собой представлял. Фактически же была сделана уступка норманизму: признавалось, что варяги — скандинавы». Следствием чего стал тот факт, что норманская теория имеет «много приверженцев и в современной литературе — исторической, лингвистической, археологической», причём она достаточно представительна в нашей археологии и лингвистике.

Более того, конкретизировал Кузьмин свой вывод, появились работы, «уже прямо смыкающихся с построениями норманизма». Например, ленинградские археологи Л.С. Клейн, Г.С. Лебедев, В.А. Назаренко обнаруживают «значительное количество скандинавского населения и на пути “из варяг в греки”, и по Верхней Волге», а в Киеве скандинавы составляют «социальную верхушку общества. Все эти представления вполне согласуются с легендой о призвании варягов в её норманистской интерпретации». В свою очередь лингвист Г.А. Хабургаев «признаёт преобладание норманно-германской прослойки в социальной верхушке древнерусского общества, то это и есть норманизм в его крайнем проявлении».

Кузьмин, лучше чем кто-либо тогда зная источники и историографию по всем аспектам варяго-русского вопроса, забытые советскими специалистами

или игнорируемые ими (необходимо, указывал он, учитывать «выводы немарксистских учёных прошлого и настоящего»), не только увидел, насколько не соответствует этим знаниям норманистская трактовка этноса варягов, но и увидел те причины, в силу которых современная ему наука была не в состоянии выйти за рамки норманизма. Поясняя, что археологи Клейн, Лебедев, Назаренко (имеется в виду их «антинорманистская» статья 1970 г.) «ни в коем случае не отходят от принципов марксизма, признавая преобладание норманнов в господствующей прослойке на Руси», учёный резюмировал: «Их концепция вызывает сомнения и возражения в конкретно-историческом плане».

Так, «если признать норманскими многочисленные могильники в Приладожье, на Верхней Волге, близ Смоленска, в Киеве и Чернигове, то станет совершенно непонятным», почему «из синтеза норманской и финской культур на Верхней Волге (где славяне якобы появляются значительно позднее норманнов) складывается славяно-русский язык с характерными признаками смешения славянских и финских языческих верований», «почему нет сколько-нибудь заметных проявлений германских верований в язычестве Древней Руси», почему даже в областях, где норманны якобы появились (как на Верхней Волге) намного раньше славян, да к тому же будто бы численно преобладали над последними, «мы не находим “следов” норманских языков, а “варяжские” боги IX–X вв. — это Перун и Велес, но никак не Тор и Один (который, впрочем, тоже не германский, поскольку пришёл с Дона и туда же вернулся)», почему в пантеоне языческих божеств Владимира нет скандинавских божеств, почему в языке ПВЛ «нет германоязычных примесей, а династия Рюриковичей состоит из Святославов, Владимиров и других князей, носивших типично славянские имена» (тогда как в Болгарии «тюркские имена в правящей династии сохранялись два столетия»).

Отмечая, что «последовательный антинорманизм вытекает отнюдь не из патриотических настроений отдельных учёных», Кузьмин пояснил: если в Сказании о призвании варягов говорится, что новгородцы «от рода варяжска», а «мужи Рюрика считаются строителями славянских городов Изборска, Новгорода и Белоозера (причём последний находился в земле веси, куда ещё не проникли славяне), то следует признать, что перед нами либо абсолютно недостоверная легенда, либо варяги — это тоже славяне». Видимо, завершал историк разговор о построениях Клейна, Лебедева, Назаренко, что-то в них не так: «либо факты, либо осмысление» (вообще и то, и другое). А чтобы не впадать в подобные ошибки, «нужно отказаться от традиционного германоцентризма и той наивной “скандинавомании”, которую Ю. Венелин остроумно развенчал ещё полтора столетия назад», и «необходимо более тщательное выяснение природы тех этнических элементов, которые многие археологи и отчасти лингвисты признают северогерманскими». Причём новейший археологический материал всё более убеждает в том, что история Прибалтики и Руси не может быть понята без учёта роли в ней вендской группы славянства. Приведённые слова содержали в себе не только объективную оценку состояния и перспектив разработки варяжского вопроса в советской науке (вернее, их полнейшего отсутствия), но и критику марксистской концепции начала государственно-

сти на Руси, точнее, того, что под ней тогда понималось. Шаг по тем временам, без преувеличения, очень смелый. В 1986 г. Кузьмин пошёл ещё дальше, говоря, что в образовании Руси значительную роль сыграла власть внешняя, в том числе и варяги, выступив тем самым против практики абсолютизации каждого слова классиков марксизма, слепого доверия тому, что им приписывалось.

При этом он указал на факт упрощённой трактовки мысли Ф. Энгельса (ставшей для учёных СССР «ключом» к раскрытию варяжского вопроса), что «государство никоим образом не представляет собой силы, извне навязанной обществу», когда её воспринимали в том смысле, «будто государства вообще не могут возникать в результате завоеваний», что представляло собой попытку «“закрыть” спор норманистов и антинорманистов». Тезис этот, вновь он подчеркнул в 1998 г., «совершенно несостоятелен... Достаточно примеров Англии, Франции, да и многих других государств, для его опровержения» (как пояснял в 2003 г. историк, «у Энгельса речь в действительности шла о независимости от каких-то запредельных сил», и что «возникновение государства в результате завоеваний не только не исключительные, а преобладающие случаи»: так возникали практически все империи)⁴¹.

В 1975 г. археолог Д.А. Авдусин (а он при всём своём «советском антинорманизме» видел и чувствовал многие его нелепости) выражал обеспокоенность по поводу того, «что ограничение норманского вопроса проблемой происхождения Древнерусского государства таит в себе ряд опасностей. Он даёт возможность Л.С. Клейну заявить: “Ни я, ни мои соавторы не считаем нашу позицию норманистской”», а в зарубежных публикациях говорить, «что антинорманизм в советской исторической науке не моден». В 1991 г. С.В. Бушуев и Г.Е. Миронов констатировали, что «советские антинорманисты» «сохранили в неприкосновенности исходную посылку норманской теории о тождестве варягов и норманнов». Начиная с 1999 г. В.В. Фомин называет причины, приведшие к тому, что норманизм из СССР, вопреки декларациям И.П. Шаскольского, никуда не исчезал и выступал в советской науке, прикрываясь марксизмом, под флагом «антинорманизма». Причём исследователи, подчёркивает он, выдавая норманизм за его антипод, создали основательную путаницу в понимании варяжской проблемы, в своих концепциях ранней истории Руси и конкретно-исторических выводах, «что только ещё больше усиливало норманистские настроения в академических кругах, в преподавании отечественной истории в вузах и школах». По мнению Ю.Д. Акашева, высказанному в 2000 г., советские историки-антинорманисты остановились на полпути: признание Рюрика и всех варягов, а многими историками и народа русь норманнами неизбежно ведёт к возрождению и усилению норманской теории⁴².

Но подавляющая часть нашей науки, поражённая норманизмом, не способна видеть явное и потому живёт в мире самовоспроизводящихся фантазматических, навязанных практически всему нашему обществу. И свою монополию на истину они привычно защищают тем, что любое посягательство на неё выдают за происки патриотов (на исходе советского времени термин «патриотизм» специально подвергался, как это было в России в пред- и послереволюционную пору, невероятному очернению и шельмованию). Так, в 1990-х гг. из

уст бывших «советских антинорманистов» звучало, всё также грубо искажая суть и варяжского вопроса, и антинорманизма, на ложном понимании которых выросло поколение учёных, что в советское время господствовал активно поддерживаемый государством антинорманизм «воинствующий» (С.В. Думин, А.А. Турилов), «политический», «патриотический», приглушавший в 30-е гг. скандинавский фактор «как не отвечающий задачам патриотического воспитания. Нападки на норманистов усилились после войны, когда Сталин поощрял великодержавный шовинизм» (А.С. Кан). В 1999–2009 гг. Л.С. Клейн говорил о «советской войне против норманизма». При этом констатируя, невольно обнажая подоплёку «советского антинорманизма» и своё непонимание этого противоречивого историографического явления, что в советское время лишь В.Б. Вилинбахов, А.Г. Кузьмин и В.В. Похлёбкин придерживались *«архаичного мнения, что варяги — не скандинавы, а балтийские славяне... остальные анти-норманисты поголовно признавали варягов норманнами»*⁴³.

Причём Думин, Турилов, Кан, Клейн не объясняли, какой «антинорманизм» и какой «патриотизм» содержится в мнении В.В. Мавродина 1945 и 1949 гг., что «в составе “русов” было большое число норманнов», что они «действительно сыграли большую роль в образовании древнерусского государства и что по русским городам сидели норманские конунги. Позже, в 1967 г., историк оперировал определениями «князья-варяги (конунги)» и «варяжские конунги»⁴⁴ (его монография 1945 г. «Образование Древнерусского государства» вызвала жёсткую реакцию, ибо явно отступала от норм «советского антинорманизма». Как бил тревогу С.А. Покровский, автор «возрождает, по существу, норманистскую теорию». К.В. Базилевич призвал бороться с пережитками норманизма, к которым принадлежит его утверждение «о весьма существенном значении скандинавов в истории Руси». Мавродин всё правильно понял и преуменьшил, как от него и требовалось, значимость роли варягов-норманнов в русской истории. Но в этой критике «советских антинорманистов» своего собрата-«антинорманиста» норвежский историк Й.П. Нильсен разглядел «антинорманистский крестовый поход» и «возрождение» антинорманизма XVIII в.⁴⁵).

Названные обличители «советского антинорманизма» также не объясняли, какой «антинорманизм» и какой «патриотизм» имеется, например, в заключении С.М. Дубровского от 1962 г., что М.Н. Покровский указал на ошибочность норманской теории, считая, что было не призвание норманнов, а завоевание восточных славян в его более мягкой форме, в выводе О.Д. Соколова 1970 г., увидевшего «обстоятельную критику» Покровским норманизма в том, что он вёл речь о зачатках государственности у славян до прихода норманнов⁴⁶, в характеристике М.А. Алпатова 1982 г., вызывающей в памяти М.П. Погодина, что «по своему поведению Рюрик, Олег, Игорь, Святослав — типичные викинги». А также в словах Е.А. Мельниковой, В.Я. Петрухина, Т.А. Пушкиной, произнесённых в 1984 г., что присутствие скандинавов в Ладоге, Новгороде, на торгово-ремесленных поселениях (Рюриково городище, Сарское, Тимерёво) в IX в. «засвидетельствовано письменными и археологическими источниками», в утверждении Г.С. Лебедева, в 1985 г. представившего Русь как «монолитное политическое образование, подчинённое власти одного князя, конунга»⁴⁷.

Выше были приведены рассуждения Б.А. Рыбакова о присутствии норманнов в нашей истории, в связи с чем он выделял в ней «норманский период». И потому слишком поверхностным выглядит мнение И.Н. Данилевского (1998), посчитавшего, что «безусловный “антинорманист”» и «глава советской “антинорманистики”» Рыбаков, борясь с норманизмом, «сам оказывался вынужденным сторонником норманской теории». И Л.С. Клейн заблуждался в 2004–2010 гг., говоря, что «русский националист» Рыбаков «долго в угоду антинорманистским убеждениям» отрицал «весомость скандинавских компонентов в русских древностях». В 2014 г. и А.Ю. Дворниченко ошибался, что академик всю свою научную жизнь был активным противником норманизма⁴⁸. На самом деле позиция одного из самых авторитетных учёных СССР представляет собой норманизм в советской редакции (своего рода ересь). А весь его «антинорманизм» мнимый, ибо он был таким же норманистом, как и его сегодняшние критики (тон ней в 1993 г. задал А.П. Новосельцев, и она грешит не только большой предвзятостью, но часто выходит за рамки приличия⁴⁹). И отличался от них только тем, что хотел, согласно «советскому антинорманизму», максимально приглушить разговор о варягах-скандинавах, ибо их призвание — «это был вполне реальный мелкий провинциальный эпизод»⁵⁰.

Конечное торжество норманизма в советской науке объясняется рядом причин. Во-первых, к нему неумолимо вели как непоколебимая убеждённость советских исследователей в норманстве варягов, так и жёсткий диктат ортодоксального «антинорманизма», посягнувшего на самое святое — на их творческую свободу (потому как не позволял в полный голос говорить о норманнах, а тем более их славословить), что уже само по себе не могло не вызвать его принципиального неприятия (к тому же многие тогда лишь старались казаться «антинорманистами»). Во-вторых, этот «антинорманизм» настолько явно противоречил и себе, и показаниям ПВД, что просто не мог не породить даже у самых искренних первоначально сторонников серьёзные сомнения в своей состоятельности, следовательно, всё более крепнущую веру в истинность того, против чего он был направлен. Недоверие к нему многократно усилили хрущёвская «оттепель», суетливая ревизия наследия И.В. Сталина (в целом ценностей социализма) и неизбежное отсюда разочарование научной общественности в марксистской идеологии, что заставило многих из них совершенно иначе взглянуть на «антинорманизм», который зиждился на её постулатах.

В-третьих, следует в какой-то мере согласиться с Н.И. Платоновой, что издание в 1950–1970-х гг. скандинавских саг, работ А.Я. Гуревича, М.И. Стеблин-Каменского «вскрыли перед читателем целый пласт *принципиально новой информации* о североευропейском средневековье, о Скандинавии тех самых времён, когда по соседству с нею зарождалась и складывалась Русь. Так, открылось широкое поле для всевозможных аналогий, для разработки проблем, мало освещённых в древнерусской письменности»⁵¹ (но саги и нарочито проводимые с их помощью аналогии давно присутствовали в нашей науке, теперь же они были обновлены и актуализированы стремительно набиравшим в СССР обороты мифом о викингах). Сюда стоит добавить и публикации «Скандинавских сборников» (с 1956), проведение (с 1963) всесоюзных конференций по изуче-

нию истории, экономики, языка и литературы скандинавских стран и Финляндии, издание с 1977 г. сектором (возглавляемом историком В.Т. Пашуто и включавшем в себя преимущественно филологов-скандинавистов) истории древнейших государств на территории СССР Института истории СССР корпуса «Древнейшие источники по истории СССР», в котором важную часть составляли скандинавские памятники, а всё это в целом основательно подпитывало соответствующий настрой наших учёных.

В-четвёртых, этот настрой получил, что было тогда очень важно, обоснование в рамках того же марксизма, в чём огромная роль принадлежит трудам «советского антинорманиста» И.П. Шаскольского (в котором Л.С. Клейн, и в наши дни легковерно принимая его «антинорманистские» слова за истинную позицию, видел «несомненного лидера в отстаивании антинорманистской концепции»⁵²). Характеризуя норманскую теорию, как и подобало для тех лет, реакционной и направленной против советской науки и против СССР, Шаскольский вместе с тем указывал на недостатки «советского антинорманизма» (не без умысла оперируя в основном термином «норманны», а не «варяги»). Это прежде всего отрицание деятельности норманнов на Руси в IX–XII в., ибо марксистская наука, указывал он в 1960–1961 гг., признаёт определённую роль внешних влияний «на развитие той или иной страны, в частности России».

В 1964 г. он обосновал идею, подхваченную «советскими антинорманистами», об «удивительной одновременности, синхронности» процессов социального и политического развития на Руси и в скандинавских странах в период формирования классового общества и государства (IX–XI вв.), вызванное «близостью, сходством исторических и природных условий», что опять же заставляло рассматривать их прошлое в неразрывной, но в совершенно надуманной связи. И «подтягивая» историю Швеции (при этом признавая, что от периода IX–X вв. о ней «сохранилось совсем мало письменных сведений») к истории Руси, учёный заключил, что неправы авторы, которые относят формирование классового общества и государства в Швеции к XI в., потому как «Житие Ансгара в 829 г. уже застаёт в Швеции государство (видимо — Свеаланд)», и, возможно, ближе к концу X в. в Швеции сформировалось единое государство. «Примечательно, — подчёркивал Шаскольский, — что почти в то же самое время, в конце IX — начале X в., происходит создание Русского государства», что синхронно в скандинавских странах и на Руси происходит принятие христианства, начало чеканки собственной монеты, поразительную близкую аналогию норвежской вейцле представляет древнерусское полюдь IX–X веков.

В условиях господства норманизма выдержанная в стиле Маркса-Ленина (а также знаменитого древнегреческого баснописца Эзопа) критика Шаскольским официального «антинорманизма» основательно подорвала доверие к нему и качнула маятник симпатии советской науки в сторону норманнов, что вызвало в ней настоящий «скандинавский бум». В связи с чем резко возросло, в первую очередь, количество трудов археологов по русским древностям, на которых тут же обнаруживали «многочисленные» и «бесспорные» следы «героев Севера», причём «старые, традиционные норманистские аргументы, — заметил А.Г. Кузьмин, — неоднократно опровергнутые, вновь предстали как откровения».

Будучи весьма последовательным, Шаскольский в 1961 г. уверял, что именно летописец приписал основание Русского государства норманнам и что без его рассказа о призвании варягов «вряд ли вообще смогла возникнуть норманская теория» (однако ПВЛ, повествуя о варягах и руси на протяжении почти 180 лет: с 859 г. по 1030-е гг., *нигде прямо не обозначает их этнос*. В том числе по этой причине исследователи выдавали варягов и русь за представителей очень большого числа народов). В 1965 г. историк с позиций «достижений современной марксистской науки» раскритиковал норманизм, но вместе с тем преподнёс его «советским антинорманистам» в качестве научной теории «в рамках буржуазной науки», опирающейся «на длительную, более чем двухвековую, научную традицию» и «большой арсенал аргументов». Потому-то с этим сильным противником «эффективную борьбу можно вести только во всеоружии, опираясь на все достижения современной марксистской науки».

О научности норманизма (тогда как антинорманизм он продолжал выводить за рамки науки) Шаскольский говорил и позже: в 1978 и 1983 гг. (параллельно с тем утверждая о наличии «большого числа норманских археологических памятников» на территории Руси). Уже в новых условиях, в 1993 г., историк опять сказал, так и не избавившись от инерционности «советского антинорманизма», что норманская теория, с которой он полемизирует 35 лет, «является, безусловно, научной теорией, содержит немало серьёзных аргументов в свою пользу, которые пока ещё нам трудно опровергнуть». Хотя разве можно побороть тень и опровергнуть то, о чём говорил сам же Шаскольский в 1986 г., что особенный вклад в изучение норманского вопроса (а он только так именовал вопрос варяжский) за последние двадцать лет внесла советская археология, открывшая крупный комплекс находок скандинавского происхождения на Рюриковом городище и расширившая сведения о пребывании скандинавов в Старой Ладоге, Ярославском Поволжье, Гнёздово и др.

В 1988 г. Д.А. Авдусин констатировал, что в исследованиях Шаскольского 50–60-х гг. «норманизм выглядит даже респектабельнее противоборствующего течения», что его монография «Норманская теория в современной буржуазной науке» (1965) содержала основные положения критики антинорманизма, в 1983 г. только сведённые воедино в статье «Антинорманизм и его судьбы», и «способствовала появлению серии работ ленинградских археологов, которые преувеличивали роль скандинавов на Руси и удревняли варяжские находки». В 1998 и 2003 гг. А.Г. Кузьмин сказал в адрес той же книги Шаскольского, что она «реабилитировала норманизм как определённую теоретическую концепцию, вполне заслуживающую серьёзного к ней отношения», причём автор свёл аргументы антинорманистов к словам Ф. Энгельса, будто «государство не может быть привнесено извне», оставаясь в остальном норманистом».

Справедливость оценок Авдусина и Кузьмина видна из слов Л.С. Клейна и его учеников — Г.С. Лебедева, В.А. Назаренко, Е.Н. Носова, произносимых ими с 1965 г.: монография Шаскольского «оказалась чрезвычайно ценной для советской археологической науки», ибо он «детально излагал концепции западных исследователей по варяжской проблеме и истории Древней Руси, обильно цитировал их труды, привёл огромное количество литературы, в том числе по-

чти недоступной в СССР, особенно на периферии». И тем самым «просвещал» отечественную историческую аудиторию от студента до научных работников, не знакомую или знакомую весьма поверхностно со взглядами западных коллег». И Носов был абсолютно искренен, закончив в 2009 г. свой дифирамб Шаскольскому благодарностью: «Спасибо Игорю Павловичу»⁵³.

Носов благодарил Шаскольского, несомненно, и за его участие в декабрьской «дискуссии» 1965 г. в ЛГУ, которая свелась к тому, что, по характеристике Клейна, «лидер» «советских антинорманистов» Шаскольский вёл речь о малочисленности норманнов на Руси и малой степени их участия в складывании Русского государства (как разъяснял он позицию Шаскольского: «...Есть норманисты, есть антинорманисты, а есть позиция советских учёных: ни норманизм, ни антинорманизм, а нечто третье». Но это ни то, ни сё — опять какая-то «неведомая зверюшка» — и есть норманизм в советской редакции). Тогда как другие «советские антинорманисты» — Клейн с учениками — отстаивали мнение дореволюционных норманистов по этим позициям и выиграли, считал их учитель, третью (после дискуссии по «диссертации» Г.Ф. Миллера и диспута М.П. Погодина и Н.И. Костомарова) схватку «антинорманизма с норманизмом». В 1993 г. археолог, вспоминая «дискуссию» 1965 г. (именуя прения единомышленников, разыгранные перед студентами, «Норманской» и «Варяжской баталией»), признал, что тогда его и бывших с ним «не без некоторого резона» обвинили в норманизме и что они камуфлировал норманизм марксизмом⁵⁴.

Причём Клейн подчёркивал в наши дни, пытаясь создать негативный облик «советского антинорманизма» (иначе в глаза бросается, если не принимать во внимание марксистское обрамление, его полнейшее тождество с норманизмом) и раздуть свою роль непримиримого «борца за идею», что по своему напряжению «дискуссия» 1965 г. была «самой острой» (хотя эта «самая острота» абсолютно укладывается в слова норманиста К.Н. Бестужева-Рюмина, произнесённые в начале 1880-х гг.: «Весь вопрос сводится к тому, много ли или мало скандинавского элемента в дружине, скандинавское происхождение вождения которой едва ли можно отрицать»⁵⁵). Да ещё являла собой идейную борьбу, «которая для нас была трудна и опасна», что поражение в ней ему и его сподвижникам могло стоить тюрем и лагерей (по максимуму используя советскую «страшилку», Клейн, рассказывая, что он по вине зловердных «антинорманистов» и КГБ, «смолоду» за ним надзиравшего, ибо он в школьные годы руководил подпольной организацией, в 1981–1982 гг. оказался в тюрьме и лагере, правда не указав статью, по которой загремел в «казённый дом»).

Однако, продолжал геройствовать Клейн, вспоминая «баталию» минувших дней, мы наглядно победили в полемике, сумели отстоять не только своё существование, но и «возможности заниматься объективным исследованием варяжского вопроса в условиях тотального строя и идеологического пресса». В 1999–2015 гг. он сказал, а таковы законы мифотворчества, с куда большим размахом: «Мы отвоевали тогда не только для себя, но и для всех историков возможность ещё некоторое время объективно, невзирая на результаты, заниматься изучением материалов древней Руси» и что «в атмосфере свободы для занятий норманским вопросом выросли многие из следующего поколения

исследователей» (сии «преданья старины глубокой» за Клейном транслируют и другие, всё более преувеличивая, но что поделаешь, законы того же жанра неумолимы, им сказанное, и что в итоге была одержана, по оценке археолога Н.И. Платоновой, «феерическая победа»).

В свете чего Клейн представлял свой «Славяно-варяжский» семинар на истфаке ЛГУ (начал действовать с 1964 г.), который (а себя не похвалить он никак не мог) «возник в ходе борьбы шестидесятников за правду в исторической науке и сложился как очаг оппозиции официальной советской идеологии», в качестве своего рода научного питомника, взрастившего большое число влиятельных фигур в археологии и названных им в 1999 г. «видными славистами»: Г.С. Лебедева, В.А. Булкина, В.А. Назаренко, И.В. Дубова, Е.Н. Носова, В.П. Петренко, С.В. Белецкого и др.⁵⁶ (как вспоминал в 2009 г. Ю.М. Лесман своё «мужание» в этом семинаре с юных лет: он вырос с желанием «работать честно, профессионально и тщательно», а «присутствие и активная роль норманнов в восточноевропейской истории, — сомнений не вызывали (мы на этом были уже воспитаны), антинорманизм был проявлением научной ограниченности и политической конъюнктурности»⁵⁷). И в норманизм названные «слависты» во многом уверовали под огромным влиянием «просветительской» монографии Шаскольского.

Чрезвычайно важная роль принадлежит Шаскольскому в деле дискредитации дореволюционного антинорманизма «с его не очень скрытой национально-патриотической направленностью», в лице прежде всего С.А. Гедеонова, благодаря которому, по признанию крупнейших норманистов XIX–XX вв., наука избавилась от многих принципиальных заблуждений в варяжском вопросе. И творчеству учёного, как и антинорманизму в целом, «советский антинорманист» постепенно давал всё более низкую оценку. В 1960 г. он, подчёркивая, что критическая часть его работы «представляет большую научную ценность», сказал, оставив эти слова без объяснений, что «утверждение автора о происхождении варягов из славянского поморья на современном этапе развития исторической науки не выдерживает критики». Через пять же лет говорил с марксистского свысока, что Гедеонов и Иловайский, дав «серьёзную и основательную критику главных положений» норманизма, «в силу своих идеалистических представлений о процессе возникновения государства не смогли противопоставить отвергаемой ими норманской теории сколько-нибудь убедительное положительное построение, не смогли дать убедительное научное освещение процесса формирования Древнерусского государства».

А в 1983 г. фундаментальный труд Гедеонова «Варяги и Русь», составивший эпоху в науке, Шаскольский охарактеризовал совсем нелестно: в нём «чувствуется налёт дилетантизма». Тогда же он бросил в адрес антинорманистов, стоит напомнить, что побудительным мотивом их борьбы была не наука, а «дворянско-буржуазный патриотизм», а у Д.И. Иловайского — ещё и национализм⁵⁸. Тем самым он вновь от лица «советского антинорманизма» отказал антинорманизму действительному, который стал проявляться в работах советских историков, в научности и возродил главный «довод» норманистов прошлого, авторство которого принадлежит А.Л. Шлёцеру: признавать норманизм — «дело

науки, не признавать — ненаучно», которым они, пользуясь официальным статусом своей теории, не только вводили в заблуждение российское общество, но и беззастенчиво шельмовали и травили оппонентов.

Вместе с тем Шаскольский, будучи одним из влиятельных представителей «советского антинорманизма», навязывал науке негативную оценку о работах В.Б. Вилинбахова, единственного из советских учёных 50-х — 60-х гг., кто занимал подлинно антинорманистскую позицию, но при этом не вступая с ним в открытую полемику. Так, в 1964–1965 гг. он с нажимом говорил, что этот историк пытается возродить старую теорию Геденова и других антинорманистов XIX в., «согласно которой летописные варяги были не скандинавами, а балтийскими славянами. По нашему мнению, эта концепция уже не может оказаться жизнеспособной и вряд ли может быть полезной в деле развёртывания критики современного норманизма». Суть подобных выпадов против себя и против концепции, подкреплённой большим количеством разнообразных источников, точно выразил в 1980 г. сам Вилинбахов: Шаскольский полагает, «что несколькими ироническими фразами можно покончить с проблемой, над которой трудилось несколько поколений учёных»⁵⁹.

Но этих «иронических фраз», прозвучавших в атмосфере повальной убеждённости в норманстве варягов, было достаточно, чтобы в науке сформировался чуть ли не массовый скепсис к идеям Вилинбахова. В 1966 г. археолог П.Н. Третьяков отрицал причастность южнобалтийских славян к истории славян новгородских, указывая, что его археологическая аргументация слабая. Историки В.В. Мавродин, Р.М. Мавродина и И.Я. Фроянов не сомневались в 1970 г., что положения коллеги о переселении славян Южной Балтики в Восточную Европу и их активнейшем участии в образовании Руси «остаются на уровне более или менее остроумных догадок». В 1970-х гг. лингвисты Ф.П. Филин и Г.А. Хабургаев категорично заключили, что сама мысль о появлении славян на Северо-Западе Руси из прибалтийских земель представляет собой «фантастическую» и «исторически недопустимую гипотезу»⁶⁰.

«Советский антинорманизм» основательно также подтачивала, следовательно, в той же степени укрепляла доверие к норманской версии критика трудов её западных приверженцев, которая звучала во второй половине 40-х — начале 60-х годов. Представители нашей науки, являясь норманистами, всю свою критику сводили лишь к тому, что пытались детально разъяснить оппонентам, т. е. тем же норманистам, суть их главной ошибки, которая заключалась, с точки зрения «советских антинорманистов», в непонимании буржуазными коллегами марксистской концепции происхождения Русского государства. Заостряя внимание преимущественно на этом пункте, в котором всё больше разуверялась научная общественность СССР, они вместе с тем говорили о присутствии скандинавов в жизни восточных славян и недостоверности Сказания о призвании варягов, в котором варяги будто бы ошибочно отождествлены со шведской русью⁶¹. Отчего эта критика, хотя и содержала ряд позитивных элементов, в целом представлялась выхолощенной и зачастую имела обратный («просветительский») результат. По причине чего, а также в связи с вышеназванными факторами, усиливавшимися по мере ослабления хватки марксистской идео-

логии, в советской науке начался процесс очищения норманизма от защитной окраски под названием «советский антинорманизм».

Тому в значительной мере также способствовали, с одной стороны, валом идущие с 1960-х гг. публикации археологов. Как вспоминает сегодня археолог В.Я. Петрухин о начале своего обучения на истфаке МГУ в 1967 г., «отношение к норманской проблеме тогда менялось, особенно под воздействием археологии»⁶². С другой, работы датчанина А. Стендер-Петерсена (в основном послевоенного времени), оказавшие огромное влияние на воззрения прежде всего наших археологов и филологов. Этот лингвист, вобрав в себя выводы советских и эмигрантских учёных 20–30-х гг., в чём-то отвергал, что располагало в пользу его позиции, традиционный норманизм, утверждавший об однотипных завоевательных действиях викингов на Западе и на Востоке (например, критиковал Ф.А. Брауна за упрощённый взгляд на шведско-русские связи, которые моделируются по образцу походов викингов на Запад). При этом почти по-«антинорманистски» говоря (вот почему И.П. Шаскольский увидел в его сочинениях слишком умеренный норманизм): он выступает «против господствующей в скандинавской науке романтической теории о том, что основание русского государства было результатом прямого завоевания русского пространства какими-то никогда не существовавшими шведскими викингами», что многие летописные имена не являются славянскими, однако это не повод объявлять их сплошь скандинавскими (хотя тут же утверждал, а подобная игра в «нет» и «да» скандинавам, в которой всегда побеждает последнее, — характерный стиль норманистов, что Святослав по-скандинавски «мог называться Свенельдом»).

Взамен Стендер-Петерсен в публикациях, выходивших на нескольких языках, проводил — под соусом характерных для норманистов заклинаний, что исходит из «чисто объективной интерпретации ряда фактов из истории русско-варяжских отношений», «известных этимологических фактов, которые пора бы считать незыблемыми» и т. д., и т. п., — теорию норманской колонизации Руси Т.Ю. Арне в собственной редакции: «более или менее примитивной земледельческой экспансии». И тут же демонстрируя свою «объективность» словами, что как «датчанин, я должен причислить себя к племени варягов, но родившись в России, я нахожусь под влиянием лучших традиций русской науки» (заражённой смертельным норманистским вирусом).

Согласно рассуждениям этого самозванного «варяга», свеи-землепашцы с побережья средней Швеции, «с незапамятных времён непрерывно», «поколением за поколением, волна за волной», мирно и постепенно двигаясь на восток ради приобретения бесхозяйственных пространств, вклинились «в пограничные области между неорганизованными финскими племенами (чудью, карелами, водью, весью и мерею) и продвигающимися с юга славянами». Причём это стихийное движение нельзя рассматривать «как явление, однородное с движением викингов или норманнов на западе», и оно, возможно, было активировано созданием в Центральной Швеции (в VI–VII вв.) раньше, чем в других скандинавских странах, крепкого государства свейских конунгов — Sveariki, которое своей объединительной политикой «вызывало стихий-

ную эмиграцию на восток, через Аландские острова и вдоль южнофинского побережья через Неву и Ладожское озеро недовольных новым строем свейских бондов-землепашцев».

В результате чего в треугольнике Белоозеро, Ладога, Изборск прочно осело шведское племя — доисторическая русь («das schvedische Ruotsi — oder Rus'-volk»), которое «сначала, может быть, и признавало верховную власть князя свеев в Упсале», т. е. являлось частью шведского государства — Sveariki, созданного фантазией этого «объективного» датчанина. «На это имеются, — заверял он, — известные данные», т. е. данные саг (в том числе речь лагмана Торгни на тинге в 1016 г., цитируемая в «Круге земном» Снорри Стурлусона). Однако данная зависимость продолжалась сравнительно недолго, до начала IX века. Ибо к этому времени шведские колонисты, вступив в мирный симбиоз с финскими, а затем со славянскими племенами и втянувшись в балто-волжско-каспийскую торговлю, приступили в связи с угрозой, исходившей от болгарского и хазарского каганатов, и опираясь на «определённые традиции государственности», принесённые ими с родины (т. е. такой традиции славяне и финны не имели), «к организации самостоятельной государственной и политической жизни», создав древнейшее государство «Русь».

Первоначально Стендер-Петерсен видел в нём Верхневолжский («русский»/«скандинавско-шведский») каганат, существовавший уже в 829 г. и образованный в районе выделенного им треугольника и Верхнего Поволжья. Позже все основные события он перенёс в Приладожье, говоря, что в первой половине IX в. «возникло вокруг Ладоги, а затем при Ильмене под руководством све-ев *первое русское государство*, в создании которого приняли участие и славяне, и финны» и которое взяло в свои руки балто-каспийскую торговлю. Именно этот «Ладожский каганат»/«шведско-русский каганат»/«торговый каганат» (ранее он в том же случае говорил о Верхневолжском каганате), главы которого именовались каганами, заявил о себе в Константинополе и Ингельгейме в 839 г. (это есть «первая, засвидетельствованная источниками дата в образовании русского государства», а вторая — это появление шведской руси под Константинополем в 860 г.). Спустя некоторое время три брата — Рюрик, Синеус и Трувор — пришли из-за моря из Швеции, из Рослагена.

Затем русско-свейские дружины «под предводительством местных конунгов» двинулись на завоевание Днепровского пути, захватили Киев и освободили тамошних славян от хазарской зависимости. Тем самым они завершили создание «норманно-русского государства» — Руси, в котором весь высший слой — князья, дружинники, управленческий аппарат, купцы — состоял исключительно из скандинавов (имена Рюрик, Синеус, Трувор, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Асмуд, Свенельд и др. — сплошь скандинавские, а Тор и Перун, представлявшие собой совершенно разные по социальному значению религии, равнозначны абсолютно). Но в короткое время скандинавы растворились в славянах, что привело к образованию национального единства и созданию в XI в. «особого смешанного варяго-русского языка», в который входили как скандинавские слова, перешедшие затем в русский язык (гридь, скот, шнека, якорь и др.), так и русские, вошедшие впоследствии в шведский (кнут, торг и др.), а также «ги-

бродные слова, наполовину русские, наполовину скандинавские (вроде *tapar-ux* “топор”, *poluta-svarf* “полюдь”, *Gull-varta* “Золотые Ворота” и т. д.).

Однако в области Двины существовало, во главе с «*könig Ragnvald*»-Рогволодом, ещё одно «скандинаво-славянское» государство с центром в Полоцке, которое стремилось «проложить новый путь от Балтийского моря к Днепру, разорвав связь между Новгородом и Киевом». В 980 г. его разгромил «скандинавский каган»-«*könig*» Владимир (отец которого — «*könig Sv’atoslav*», а мать, продолжал лингвист эксплуатировать идею М.П. Погодина, Малфрид. Хотя в 1925 г. польский норманист А. Брюкнер показал беспочвенность отождествления Малуши с Малфрид). Своими безбрежными рассуждениями Стендер-Петерсен буквально наводнил Русь скандинавами-варягами (и посему в названии столицы древлян Искоростен увидел скандинавское личное имя «*Kar(l)stein*», правда, не пояснив, что занесло этого норманна в древлянские дебри и по какой причине славяне называли в его честь город).

Потому как к «беспрерывно» веками идущим на её территорию земледельцам постоянно добавлял всё новые и новые массы их сородичей. Например, купцы, «наплыв» которых в IX–XII вв. в Новгород «был, по-видимому, огромный» (они столь прочно оседали там, что ПВЛ в начале XII в. могла сказать: «все новгородцы сейчас *суть от рода варяжска*»), начиная с конца X в. через Русь в Византию двигались «всё новые авантюристы и искатели счастья с далёкого севера», иногда подолгу гостя и служа «у новгородских и киевских князей», а князь Владимир Святославич привёл из Швеции (он, возможно, в 977–980 гг. бывал ещё и в Норвегии), для борьбы с братом Ярополком, «громадное войско». Это предприятие, уточнял учёный, обладавший недюжинной норманистской фантазией, «было делом отнюдь нелёгким и непростым», т. к. для его реализации ушло три года, ибо «требовалось, вероятно, разрешение конунга», а также «ещё хорошо действующий аппарат вербовки и организации вербовки войска и требовалась финансовая поддержка».

Но Владимир, опираясь на связи торговых товариществ варягов (от др.-сканд. *vār* — «клятва», т. е. «членство в этом товариществе обуславливалось торжественной клятвой в оказании взаимной помощи и в соблюдении обоюдных интересов»), очень быстро взявших «в свои руки организацию балтийско-черноморского товарообмена», и колбягов (от др.-сканд. **kulbing* — члены «торгового, купеческого клуба или товарищества»), действовавших в северных районах Руси среди финских племён, «смог набрать в Швеции желаемое войско и финансировать его перевод в Новгород». И «члены этого войска уже назывались *варягами* — в силу переноса названия с торговых организаций, завербовавших их, на них же самих». Затем «*grosse könig*» Ярослав Мудрый несколько раз «выписывал», также посредством, в основном, торговых организаций варягов, норманские дружины — в 1014, 1018, 1024, 1036 гг. и, может быть, в 1043 г., используя их «в междоусобных и других войнах». При нём термин «варяг» теряет своё первоначальное значение купца-скандинава и получает «значение заморского воина, дружинника-скандинава, скандинава вообще».

Считая вопрос о происхождении термина Русь окончательно решённым («единственно приемлемым с точки зрения строгой филологии») — «как про-

исходящего через финскую среду из древнешведского языка»), его решение Стендер-Петерсен видел в «особенном достижении» норманизма — теории А.А. Куника, усовершенствованной В. Томсеном и покоящейся на двух «предположениях. Во-первых, «их теория основана на предположении, что термин *Русь* так или иначе восходит» к *Rōþer* — древней форме названия шведского поморского края Roslagen. Во-вторых, что, по Томсену, от этого *Rōþer* возникло старинное название гребцов «с побережья указанного края и что назывались они по-древнешведски *rōþs-karlar*, *rōþs-mæn*, *rōþs-buggiar*», а уж от его первой части финны образовали «краткую форму *Rōtsi* (теперешнее *Ruotsi*) как удобное название для приплывавших из-за моря и оседавших среди туземного населения Финляндии и Эстонии заморских выходцев из Швеции. Это название впоследствии перешло от финнов к русским славянам».

Однако, пояснял датчанин, в данной классической теории есть «один серьёзный недочёт», для ликвидации которого он принял «гениальную гипотезу» шведского лингвиста Р. Экблома, по которой термины типа *rōþsbyggjar* (т. е. «люди проливов») образованы от родительного падежа *rōþ(er)s* имени существительного *rōþer*, обозначавшего «пролив между островами, защищённое место для плавания», и что первые шведы из береговых районов средней Швеции и из прибрежных шхер стали последовательно перемещаться на восток по водным путям, т. е. по шхерным проливам вдоль берегов Швеции, через шхеры Аландских островов, Финляндии и Эстонии (при этом часть их осела в прибрежной полосе двух последних областей, и их потомки дожили до нашего времени). Эти переселенцы, встретившись с финнами, «называли себя, в отличие от других свеев, жителями проливов». Медленно продвигаясь вдоль побережья к восточной оконечности Финского залива, они проникли в Приладожье, куда и принесли приобретённое по дороге имя «*Ruotsi*».

А уже от живших там финнов, заключал лингвист, опять же не скрывая гипотетического характера своей версии, «получившееся из этих предпосылок финское **Rōtsi* приняло среди славян», проникших на берега Волхова из верхнего Поднепровья, «форму имени собирательного женского рода *Русь*», коим так первоначально называли поселившихся в Приладожье шведских колонистов (в 1958 шведский языковед С. Экбу заметил в отношении составных слов, будто бы происшедших из формы родительного падежа *rōþs-* от слова *gorer*: «...Мы были достаточно долго в трясине гипотез. Нам неизвестно, существовали ли подобные составные слова в VII или VIII вв., и мы не можем решительно утверждать, что подобные составные слова в это время могли быть переданы через прибалтийско-финское **rōtsi*», причём «нельзя указать такое скандинавское слово, которое являлось бы бесспорным источником для прибалтийского **rōtsi*», т. е. он прямо сказал об эфемерности «лингвистических» выводов Куника, Томсена, Экблома и Стендер-Петерсена, к которым их вела «строгая филология»). Вместе с тем датский исследователь уверял, что автор ПВЛ, «желая ответить на вопрос, *чего ради прозвася Русская Земля*, был принуждён восстанавливать прошлое своей страны по существовавшим в его время сагам-преданиям», включая сагу «народа шведской руси о приезде из-за моря трёх братьев Рюрика, Синеуса и Трувора», а также обращаясь, конечно, «за справ-

ками к той среде, где эти саги-предания лучше всего сохранились», а именно к дружинной и княжеской среде с её варяжскими преданиями.

В целом, как выразил в 1955, 1957 и 1960 гг. Стендер-Петерсен (в том числе на X Всемирном конгрессе историков в Риме) свой взгляд на начало Руси, она возникла в результате действия трёх факторов: скандинавского (внешний импульс), византийского (культурное влияние) и славянского. Утверждая при этом в духе незабвенного А.Л. Шлёцера, что «внешнее влияние или импульсы того или иного рода необходимы для того, чтобы примитивный, живущий племенными порядками народ организовался в государство» и что в «растительной» жизни восточных славян в IX–X вв. произошла вызванная мощными внешними импульсами своеобразная революция, пробудившая их к быстрому культурному развитию и к их вовлечению в мировую торговлю. Носителями этих импульсов были норманны, своей деятельностью создавшие мощную Киевскую державу, в которой они составляли самый верхний слой общества и владычество своё на Руси сохраняли в XI в.⁶³

Вместе с ним так — или почти так — смотрела на генезис и историю Русского государства вся «буржуазная» заграница. Например, в 1946 г. американский учёный С.Х. Кросс, твёрдо считая, что имеется «достаточно доказательств правильности норманской теории», убеждал, ведя речь о примитивной цивилизации восточных славян: скандинавы в ходе своей колонизации Руси принесли им оружие, гончарное производство, металлические вещи, навыки в кораблестроении, социальные институты, способствовали развитию сельскохозяйственной техники. В те же 40-е гг. бельгийский византист А. Грегуар уверял, что «восточные, византийские и западные тексты, совпадая удивительным образом, намечают три этапа и три даты в истории завоевания Руси Скандинавией: 1) начало IX в. — торговые связи; 2) около 839 г. — скандинавское государство близ Новгорода под главенством правителя, который из подражания хазарскому принял титул хакана, и 3) период, который начинается незадолго до 860 г., когда скандинавы обосновались в Киеве и отсюда начали совершать свои нападения на Константинополь»⁶⁴.

В 1946 г. профессор Кембриджского университета Н.К. Чадвик утверждала, что скандинавы были замечательными организаторами Русского государства, что Рюрик, Синеус, Трувор, Аскольд, Дир, Олег (отец Ольги), Игорь, Ольга — это скандинавы и их имена являются скандинавскими (да и чисто славянское имя Ратибор состоит из двух «северных» слов: rath — совет и bera — приносить, т. е. советник), что с Рюрика, Синеуса и Тривора ПВЛ начинается «скандинавский период», что Владимир Святославич есть типичный норманн (и его имя не Владимир, а *scandinavian name Valdimarr*), что Велес, якобы Völsi, есть скандинавский Фрей, что все языческие боги Руси — «это, в сущности, боги скандинавского Олимпа». Вместе с тем она проводила мысль об исключительном влиянии скандинавского эпоса на формирование летописи. Так, рассказы об Олеге (Одде сар) и мести Ольги древлянам — это «норманские саги», предания о Святославе — песни скальдов, сведения о военных действиях русских князей за первую половину XI в. внесены в ПВЛ только со слов дружинников-норманнов (по справедливому замечанию М.Н. Тихомирова от 1948 г., Чадвик, как

специалист по скандинавскому эпосу, твёрдо уверена в том, «что всю русскую древность IX–XII вв. можно легко объяснить скандинавскими сагами», источника «крайне прихотливого и мутного». Затем И.П. Шаскольский в 1960–1961 гг. предельно точно охарактеризовал её рассуждения в качестве «бездоказательной болтовни, не имеющей прямого отношения к науке»⁶⁵).

Подобные настроения были характерны и для нашей эмиграции: в 1967 г. профессор Женевского университета А.В. Соловьёв объяснял В.Т. Пашуто (потому как ищет «только объективной истины, той, которую признавали Карамзин, С.М. Соловьёв, Ключевский и Шахматов: древняя Русь была норманского корня, и против этого ничего не поделаешь»), что было «внедрение варягов-руси из области Рослаген (Rothen/Ruthen или Roths в древних памятниках) сперва в северную часть России, а затем в южную». При этом советовал ему читать работы шведских учёных: «Вы увидите, какое богатство оставили в Швеции варяжские купцы 9–11 веков... Торговля северной (и южной) Руси находилась ещё в 10-м веке прежде всего в руках норманской Руси — это факт, а Вы не приводите сообщение Ибн-Фадлана, ярко описавшего этих варягов-русь в Болгаре» (хотя арабский автор ни словом не обмолвился об этносе русов, с которыми лично встречался в 921/922 гг. на Волге)⁶⁶ (в 1979 г Соловьёв, ведомый мыслью А. Стендер-Петерсена, узрел в русском титуле «великий князь» «влияние скандинавской терминологии: *yfirkonungr* — ‘великий князь’, *smakonungar* — ‘подчинённые князья’»)⁶⁷.

Вскоре в той же тональности повела речь подавляющая часть советских исследователей, постепенно охладевавших к «научному» «советскому антинорманизму» и всё больше симпатизировавших, в том числе в силу, видимо, неистребимых и не всегда осознаваемых западнических настроений нашей интеллигенции, «научному» норманизму (и это чувство стремительно перерастёт в бурную любовь). Как констатировал в 1994 г. А.А. Хлевов, «по существу, вплоть до 1960-х годов вся отечественная “варяжская” литература была, без преувеличения, “рефлексией на Арне”»⁶⁸. Ну, а дальше уже была «рефлексия» на Стендер-Петерсена. В том числе на его «неонорманистскую» формулировку варяжского вопроса, которая станет руководством к действию «советских антинорманистов», убедивших науку, за самым редчайшим исключением, в том, что её основной задачей является исследование «роли скандинавского этнического элемента в истории культурно-политического создания и раннего развития Древнерусского государства»⁶⁹.

Хотя, о чём в один голос говорили в 1960–1965 гг. В.В. Похлёбкин, В.Б. Вилинбахов и И.П. Шаскольский, построения датского лингвиста не имеют «никаких данных ни в письменных, ни в археологических источниках», основаны лишь на общих соображениях и домыслах, в целом представляют собой чисто умозрительную теорию, историческую фантазию, носящую эклектический характер, «ещё более далёкую от конкретных исторических фактов, чем обычные традиционные построения старых норманистов типа Томсена и Куника»⁷⁰. Но такие предостережения об «исторической фантазии», т. е. исторической фальшивке в шуме, поднятом в СССР скандинавским «бумом», всё более набиравшим обороты, мало кто слышал.

Слишком они, благоухавшие дурманящим авторитетом западноевропейских светил, были заманчивы, и в первую очередь для археологов, очень жаждавших быть на уровне этой науки. В том же плане на них оказала огромное влияние работа ещё одного скандинава — шведа Х. Арбмана, которого в 2003 г. «выпускник» «ленинградской археологической школы» А.А. Хлевов представлял, презентуя русское издание его книги «Викинги» 1961 г., в качестве «выдающегося шведского археолога», уверял, что, несмотря на его тезис о скандинавской колонизации Северо-Запада Руси, «в целом позиция автора вполне объективна и, во всяком случае, находится ближе к исторической истине, нежели выводы большинства отечественных специалистов, синхронные ей». Сама же книга, убеждал Хлевов, входит в «золотой фонд мировой научной и научно-популярной литературы, посвящённой эпохе викингов», и фактически закрывает «тему археологического прошлого древней Скандинавии»⁷¹.

А «тему археологического прошлого древней Скандинавии» (автоматически и Руси) Арбман закрывал просто, ибо шёл в русле рассуждений как своего учителя Т.Ю. Турне, так и А. Стендер-Петерсена. Будучи абсолютно убеждённым в истинности норманизма, он вообще не обременял свой труд доказательствами. Потому как для него всё предельно ясно. В связи с чем он, глядевший на историю Руси шведским взглядом, говорил, оперируя лишь предположениями, утвердительным тоном, рисуя ту картину, которую ему хотелось видеть:

– что Бертинские анналы рассказывают о шведах-россах (понятие «рос» возникло, вероятнее всего, от слова «rodr» — «дорога гребцов», «которое дали финны Швеции, назвав её Руотси», стало позднее общим названием скандинавов», проживавших на Руси), что предположительно «к 839 г. на верхней Волге уже было организовано независимое шведское государство по примеру моделей государств болгар и хазар, однако это лишь гипотеза», что колбяги «являлись, возможно, торговцами пушниной, объединявшимися в некоторое подобие торговой гильдии», что «коммерческая активность викингов на Востоке сделала необходимым создание постоянных стоянок для сбора и обмена товарами», одной из которых была Ладога, в слоях которой, датируемых IX–X вв., содержится много предметов шведского происхождения (вполне вероятно, что до прибытия в середине IX в. первых шведов в ней проживали финны);

– что Ладога «лежала на великом скандинавском пути на восток», что в IX–X вв. её район подвергся постепенной колонизации со стороны большого количества шведских викингов, которые широко расселялись «по всей юго-восточной территории Ладожского озера от района Старой Ладоги», что впоследствии эти поселенцы были постепенно ассимилированы местными финскими и также прибывающими славянскими племенами. Но «тем не менее, шведам удалось сохранять свои характерные обычаи, одежду и оружие на протяжении века или, возможно, даже дольше»;

– что в своей торговой деятельности скандинавы, согласно Ибн Хордадбеку, доходили до Гургана и Багдада, что к концу IX в. относятся первые набеги викингов на Восток, что в рамках 910–912 гг. «норманский флот из 16 кораблей пересёк Каспий и атаковал Абаскун», что в 912 г. состоялся, говорит ал-Мас'уди, поход викингов на 500 кораблях (каждый из которых вмещал по 100 человек),

в ходе которого они взяли Баку, но в конечном итоге потерпели поражение, что в 943 г. произошёл, указывает Ибн Мискавейх, ещё один великий набег викингов, что Ибн Фадлан рассказывает о погребальном обычае скандинавов, о котором ему поведал один из викингов, что Ибн Русте сообщает о типичном захоронении шведского князя на Руси (но все названные авторы ведут речь не о викинггах и скандинавах, а о русах, причём Ибн Хордадбех указывает на их принадлежность к славянам), что «большие флоты, участвовавшие в завоевательных походах X века, должны были возглавляться теми норманнами, которые обосновались в Киеве», что ранее, в 860 г., «они атаковали сам Константинополь и снова напали на него в 941 году» (запутавшись в «великих набегах» викингов, археолог ниже уже утверждал, что поход 860 г. «мог быть организован флотом викингов из западной части Средиземного моря, а не Киева»);

– что ПВЛ описывает начало «шведской экспансии в восточном направлении,... которая проводилась главным образом в районе Волги», повествует «об изгнании скандинавов после их первых попыток внести обложение» на Руси, о поселении в 862 г. Рюрика и первых скандинавов на Волхове, о правлении скандинавских князей в Киеве, что русско-византийские договоры были заключены между греками и скандинавами, что существовала созданная в Южной Руси варяжская сага, некоторые известия которой были включены в исландские саги, что информация Константина Багрянородного о нахождении в Новгороде Святослава, сына Игоря, представляет собой надёжное подтверждение о существовании скандинавских правителей в Новгороде, что тот же император описывает начало сбора скандинавских купцов (но он использует только термин «рос»), что днепровские пороги у него носят скандинавские и славянские названия, что в Смоленске и Чернигове открыто много скандинавского материала, относящегося в основном к X в., что Святослав, судя по его имени, «мог иметь (частично) славянское происхождение»⁷².

И этот набор представлений Арбмана о варяго-русском вопросе будет так же, как и идеи Т.Ю. Арне и А. Стендер-Петерсена, звучать («рефлексия»!) в работах и «советских антинорманистов», и сегодняшних «взвешенных» норманистов.

5.2 Ошибочная абсолютизация советскими археологами своей роли в решении варяго-русского вопроса

Наша наука, всё больше убеждаясь в несостоятельности «советского антинорманизма» (а негативное отношение к нему распространялось на труды истинных антинорманистов XVIII–XIX вв.), одновременно с тем получала материальное подтверждение тезиса норманской теории о якобы массовом присутствии скандинавов в русской истории. Такая «материализация» шведского взгляда на русскую историю связана с археологией, с момента своего зарождения в России

слепо следовавшей за скандинавской археологией и в 1960-е гг. возведённой в СССР в ранг исключительного вершителя варяжского вопроса (ниже, по ранжиру, была поставлена лингвистика, а ещё ниже — собственно история). Причём возведённой самими археологами-«антинорманистами», которые придавали скандинавским, большей частью, псевдоскандинавским вещам, найденным в пределах Руси, основополагающее значение в разрешении этого сложнейшего и принципиально важного для нас вопроса, разрешить который могут только историки, потому как именно они используют — и надлежащим образом — всю совокупность источников.

В 1933 г. В.А. Равдоникас на пленуме ГАИМК АН СССР «большую разногласию» в литературе о начальном периоде русской истории объяснял (с осязаемым уже налётом превосходства археолога) тем, «что историки при разработке древней русской истории основывались исключительно на... весьма немногочисленных и относительно весьма поздних письменных источниках» — Русской Правде, ПВЛ, отрывках из западных источников, которые «обсасывались со всех сторон; в них разжёвывалось и пережёвывалось каждое слово, но крайняя ограниченность, односторонность и тенденциозность сообщаемых ими сведений допускали возможность произвольных толкований, заключений и выводов. Другие виды источников, которые могли бы положить некоторую узду на слишком пылкое воображение, — прежде всего, драгоценный по своему обилию и своеобразный по объективности археологический материал и данные этнографии — в исследования не привлекались и, в лучшем случае, служили лишь для иллюстрации к сложившимся у историков независимо от этих источников концепциям». Семью годами позже директор Института материальной культуры (который в 1937 г. был преобразован ГАИМК) М.И. Артамонов был непреклонен в мнении, что «важнейшим источником для познания» времени до конца X в. «являются археологические материалы»⁷³.

Окончательно монополию «истории, вооружённой лопатой», на истину в варяжском вопросе узаконил в науке А.В. Арциховский, чётко сказав в 1962 г. на VI Международном конгрессе по доисторическим и протоисторическим наукам в Риме, а затем, в 1966 г., в нашей печати, что «варяжский вопрос чем дальше, тем больше становится предметом ведения археологии. ... Археологические материалы по этой теме уже многочисленны, и, что, самое главное, число их из года в год возрастает. Через несколько десятков лет мы будем иметь решения ряда связанных с варяжским вопросом загадок, которые сейчас представляются неразрешимыми». Превознося данные археологии, её ведущий представитель дал весьма низкую оценку письменным источникам: для IX–X вв. «они малочисленны, случайны и противоречивы». Вместе с тем он объяснил суть, как её понимали «советские антинорманисты», варяжского вопроса: полемика идёт лишь о значении скандинавов в русской истории⁷⁴.

Оптимистичные заявления ряда археологов в адрес своей науки звучали тогда, когда параллельно высказывались иные мнения на счёт как познавательных возможностей письменных и археологических источников, так и сомнительности в норманистской интерпретации последних. С.В. Бахрушин в 1938 г. справедливо указал, что в их трактовке «возможна очень большая субъективность.

Так, известный шведский археолог Арне построил на них «в высшей степени тенденциозный вывод о сильном проникновении скандинавского элемента в Восточную Европу, вывод, который противоречит всем объективным данным и справедливо опровергается советской археологической наукой». В 1949 г. Б.Д. Греков констатировал, что многие археологи досоветской эпохи «торопились объявлять привозными все находимые при раскопках орудия производства и вещи, имеющие художественную ценность; русскому народу приписывалось производство только глиняных горшков». В 1958 г. археолог М.К. Каргер, говоря о буржуазных коллегах, включая дореволюционных, заключил: они «с преувеличенным вниманием... издавна интересовались вещами скандинавского происхождения, нередко причисляют к этой категории и такие находки, которые не имели к ней ни малейшего отношения».

В 1967 г. другой известный археолог М.И. Артамонов подытоживал, что некоторые из предложенных его коллегами решений заселения славянами Восточно-Европейской равнины «оказываются несостоятельными. Они поспешны и основаны на недостаточном материале». Вместе с тем он указал, что варяжская проблема «не столько сложная, сколько запутанная» в археологии (т. е. исключительно всё заключается в интерпретации материала, носящей сугубо субъективный характер). Так, новгородские сопки раньше приписывали норманнам, затем славянам. Как ставил точку Артамонов, «и то и другое без достаточных к тому оснований». Но тут же сам, также не приводя никаких оснований, допускал возможность проникновения скандинавов на Днепр «в несколько более раннее время», чем образование Русского государства в 882 г.⁷⁵ (оправданно скептические голоса в отношении познавательных возможностей археологии звучали на заре её становления в России. Выше приводились слова Д.И. Иловайского, произнесённые в 1872 г., о предубеждённости археологов. Через два года В.О. Ключевский вообще вёл речь о «фантазиях археологов». В 1877 г. Н.И. Костомаров, говоря о важном для историка подспорье — археологическом материале, подчеркнул, что пользоваться им надлежит «не иначе, как с крайней осторожностью и осмотрительностью», т. е. этот до такой степени скользкий и покрыт тьмою⁷⁶).

Подобные предостережения по поводу увлечённости археологией, которая была тогда повсеместной, звучали и за границей. Например, в 1957 г. польский историк Х. Ловмянский выступил против абсолютизации археологических данных в изучении истории Руси (хорошо зная на примере своей родной науки, к каким норманистским фантазиям это всё приводит). Потому как они не дают «достаточного основания для всесторонней характеристики социально-экономического развития» и ещё меньше пригодны «для исследования политической истории формирования государства. Этой цели прежде всего служат письменные источники», и в первую очередь русские летописи. В 1968 г. английский учёный Г. Джонс заметил, что археологические свидетельства «не всегда самодостаточны и не во всех случаях поддаются толкованию»⁷⁷. Тогда же датский археолог О. Клиндт-Йенсен, анализируя вопрос оценки археологических свидетельств славяно-скандинавских связей, сказал о необходимости «достаточно осторожной интерпретации археологических источников»⁷⁸.

Но эти чрезвычайно важные предостережения, способные уберечь отечественную науку от ошибок и заблуждений принципиального свойства, либо были забыты нашими специалистами, либо остались для них неизвестными. Либо были ими, впадшими в понятную эйфорию под впечатлением от масштабных археологических раскопок, массово открывавших материальные вещи далёкого прошлого (и которые на глазах ломали ложные стереотипы, например, открытие берестяных грамот в Новгороде, произошедшее в июле 1951 г., стало событием эпохальным для изучения древнерусской истории и культуры), и щедро раздаваемых археологами авансов (Л.С. Клейн в 1965 г.: «Ближайшие годы могут дать самые неожиданные результаты»⁷⁹), не услышаны и проигнорированы. В связи с чем ложная посылка, озвученная Арциховским, признанного авторитета в области изучения русских древностей (и развенчавшего ряд мифов норманизма), была подхвачена его коллегами по профессии, растиражирована и навязана советскому научному сообществу (единственным археологом, кто прямо выступил против завышенной самооценки коллегами возможностей своей науки, был, видимо, Д.А. Авдусин. В 1973 г. он, констатируя, что «археологическая аргументация приобрела ещё более важное значение, так как число вещественных источников всё умножается», отметил, но эти слова опять же никто не услышал, что археологические источники часто привлекаются без должного анализа, что «они не всесильны и не могут дать ответ на ряд вопросов, на другие дают ответ лишь приблизительный и лишь на малую их часть отвечают вполне определённо»⁸⁰).

В 1965 г. Г.Ф. Корзухина подчёркивала, что «немногочисленные письменные источники, связанные с Ладогой, уже исчерпаны и могут дать что-нибудь новое только будучи спроектированы на археологические материалы, которым и принадлежит в спорных вопросах решающее слово»⁸¹ (этот же тезис она озвучила и в «дискуссии» 1965 г., поддерживая Клейна⁸²). В 1970 г. Л.С. Клейн, Г.С. Лебедев, В.А. Назаренко продублировали доминанту А.В. Арциховского («интенсивность многолетних штудий привела к тому, что имеющиеся письменные источники практически оказались исчерпанными, а перспективы их пополнения почти что равны нулю, тогда как археология непрерывно обогащается новыми важными фактами»)⁸³ (Клейн во время упомянутой «дискуссии», следуя той же доминанте, таким вот образом распределил обязанности между археологами и историками: фактические материалы «о роли варягов в сложении Древнерусского государства» должны дать главным образом первые, вторым же «предстоит ещё уточнить многие понятия социально-экономического анализа раннефеодального общества и государства: классовая структура, дань как форма эксплуатации и многое другое. Но археологические источники будут главными»⁸⁴, т. е. он недвусмысленно отказывал своим собратьям по науке в праве заниматься варяжским вопросом вообще).

В 1965–1981 гг. И.П. Шаскольский повторял вслед за Арциховским и своими «оппонентами» по «дискуссии» 1965 г., тем самым безоговорочно капитулируя от имени историков перед археологами (а точно так поступила в 1971 г. и другая весьма значимая фигура советской исторической науки — В.В. Мавродин), что если круг письменных источников исчерпан, то число археологиче-

ских продолжает увеличиваться с каждым годом⁸⁵. Ю.Н. Захорук в 1978 г. подчёркивал, что важнейшей чертой советской археологической науки становится историзм, что «только благодаря археологическим источникам оказалось возможным в полной мере раскрыть сущность истории Киевской Руси IX–XII вв., периода, до этого остававшегося не понятным русским историкам». В 1978–1980 гг. А.Н. Кирпичников, Г.С. Лебедев, В.А. Булкин, И.В. Дубов, В.А. Назаренко, полностью разделяя позицию Арциховского, усиливали её тезисами, ещё больше развязывавшими археологам руки в норманизации Руси, что «именно археологические источники создали основу для нового, объективного и равностороннего подхода к варяжской проблеме», который, «не оставляя места для предвзятых, априорных решений, создаёт условия для интенсивного накопления новых материалов и последовательного их осмысления»⁸⁶. Полное согласие с выводом Арциховского, стремительно возведённом в абсолютизм, заявили, в соавторстве с археологом В.Я. Петрухиным и историком Е.Г. Плимаком, филологи-скандинависты Е.А. Мельникова и Т.Н. Джаксон⁸⁷ (ибо благодаря археологам любые их идеи легко обретали материальную основу).

Так, советские археологи были объявлены, с их же подачи и при активном внедрении ими этой ложной мысли, монополистами в разработке варяжского вопроса (историкам было не до него, т. к. занимались решением других, более актуальных, с точки зрения марксистской науки, задач, очерченных, к примеру, Клейном) и высшей инстанцией в его трактовке. Культ непререкаемого мнения археологов, который следовало безоговорочно принять, ибо они якобы доподлинно воспроизводят прошлое, был создан несмотря на то, что письменных памятников по варяго-русской проблеме вполне достаточно для её решения. И число которых в последнее время, как демонстрирует хотя бы богатая подборка А.Г. Кузьмина «Сведений иностранных источников о руси и ругах» (начиная с I в. н.э.), опубликованная в 1986 г. (но дружно игнорируемая норманистами), значительно возросло. Да и совсем недавно, в 2012 г., А.В. Назаренко отмечал, что круг письменных источников лишь по истории Руси IX в. «довольно обширен, более того — он продолжает пополняться»⁸⁸.

Однако все эти письменные памятники — давно и недавно известные — не вписываются в шведский взгляд на историю Руси, этой *idée fixe* нашей науки. К тому же археологи, слабо представляющие себе специфику весьма трудоёмкой и требующей высокой квалификации работы с ними, позволяющей по крупицам добывать из них важнейшую информацию, привыкли придавать своим количественным показателям, даже самым незначительным, к тому же имеющим узколокальный характер и проблематичную датировку, решающее значение. И потому они вводят науку в принципиальные заблуждения своей скороспелой и отсюда весьма «скоропортящейся» продукцией (по оценке А.А. Формозова, изнутри в деталях знавшего этот процесс, «учёными блинами», замешанными в том числе, как отмечает уже ученик Формозова С.П. Щавелёв, на «творческом воображении»⁸⁹, жёстко навешанном норманизмом). А на основе этой продукции затем возводя — в валом идущих статьях, монографиях, диссертациях, страсть к быстрой защите которых, а тут уж не до науки, особенно заметна, — норманистские замки на песке. В связи с чем письменные памятники для них, ко-

нечно, «малочисленны», «случайны» и «противоречивы». Однако уже сами эти характеристики выдают совершенных дилетантов в «штудиях» с ними.

Ибо археологи, монополизировав право на решение чисто исторического вопроса, в разработке которого они должны играть исключительно подсобную роль, не являются, хотя и закончили исторические факультеты, историками в классическом понимании. И прежде всего потому, что их учат работать только с материальными останками прошлого, т. е. вещеведению (как говорил о себе А.В. Арциховский, «в этом не принято признаваться, но я прежде всего вещевед»⁹⁰). Причём, как демонстрирует опыт решения ими варяжского вопроса, вещеведению крайне тенденциозному. Но при этом их не учат работать со сложнейшими и противоречивыми письменными памятниками (а если их археологи всё же используют, то только в виде иллюстрации к своим выводам, опираясь на чьё-то очень нужное им в данный момент мнение, не задумываясь о его качественной стороне). Хотя письменные памятники, объяснял археологам в 1962 г. английский историк П. Соьер, «требуют такого же специального изучения, как и их собственный материал. Непонимание природы исторического источника может иметь самые серьёзные последствия»⁹¹.

Ощутив себя единственными «властелинами» и «вершителями» сугубо исторического вопроса и главными в обеспечении его источниками (да при этом ещё полагая, как делился директор Института истории материальной культуры РАН Е.Н. Носов своими чувствами и чувствами старших коллег, свысока взирающих на историков, что именно конкретная наука археология была, в условиях «советского антинорманизма», той самой «отдушиной, при которой можно было писать и заниматься наукой, оставаясь максимально искренним»⁹²), «советские антинорманисты»-археологи в 1960–1980-х гг. активно вводили в научный оборот мнимые «доказательства» норманства варягов. Причём делалось это нарочито шумно, броскими заголовками работ о находке не только одной, но и самой незначительной скандинавской (чаще, мнимоскандинавской) вещи, что было своего рода «фигой» официальному «антинорманизму», который не мешал вести разговор о варягах-норманнах, но всё же сдерживал его тональность, не давая перерасти ему в безудержное славословие, за которым уж точно науки нет (в 2004 г. украинский археолог Ф.А. Андрощук констатировал, что в 1970–1980-е гг. занятие археологами СССР темой скандинавских древностей на Руси «было, скорее, формой “научного диссидентства”, нежели скрупулёзным изучением источников»⁹³).

Введение в науку корпуса археологических источников, на «глазок» трактуемых скандинавскими и вскоре ставших в толковании варяжского вопроса единственными, оказало, заключал в 1994 и 1997 гг. А.А. Хлевов, «революционизирующее» влияние на спор норманистов и антинорманистов, в немалой степени способствовало решению «норманского вопроса». «Основой переворота в науке о варягах, — резюмировал он, — стала борьба ленинградской школы скандинавистов за объективизацию подхода к проблеме и “реабилитацию” скандинавов в ранней русской истории». Переломным пунктом в том явилась «дискуссия» о варягах 1965 г., когда лидеры «пронорманской партии» Клейн и его ученики Лебедев, Назаренко «сдвинули научный спор с “точки замерза-

ния», придав ему тот импульс, который определил дальнейшее направление поиска исторической истины». Свой пафосный разговор о родной ему «ленинградской школе скандинавистов» Хлезов завершил на самой высокой ноте: эта борьба привела к победе «взвешенного и объективного норманизма, неопровержимо аргументированного источниками как письменными, так и археологическими» (ибо Рюрик, по ПВЛ, «однозначно скандинав»⁹⁴).

При обращении к исследованиям представителей «ленинградской школы скандинавистов», к их результатам и источникам, на которых они строились, к методам и приёмам работы с ними, предстаёт всё же иная картина (позицию пишущего эти строки в полной мере выражают слова А.Г. Кузьмина, подчеркнувшего в 1970 г., что «археология, как и любая другая наука, располагает сложившейся системой исследовательских приёмов и не терпит дилетантского вмешательства. Но когда речь идёт об исторических выводах, то “чистый” историк вправе высказать своё к ним отношение»⁹⁵. И этого права его никто не может лишить).

Во-первых, революционизирующее влияние, приведшее к победе «взвешенного и объективного норманизма», отбросило состояние разработки варяжского вопроса ко времени А.Л. Шлёцера, Н.М. Карамзина и М.П. Погодина. Во-вторых, это влияние проявилось в том, что «максимально искренние» археологи-«антинорманисты», произвольно интерпретируя значимые древности Руси в пользу скандинавов (к которым те, как затем выяснялось, не имели никакого отношения), вводили в науку всё новые и новые «свидетельства интенсивных русско-скандинавских контактов». Само же внимание «советских антинорманистов» было направлено по ложному пути и было сосредоточено на достижении ложной цели — на оценке роли скандинавов на Руси, не имевших никакого отношения к варягам.

Идя в заданном направлении, советские учёные принялись энергично решать, если повторить за А.В. Арциховским, «ряд связанных с варяжским вопросом загадок», давая на них, бредя по норманистскому кругу, понятные ответы. В 1970 г. А.Г. Кузьмин, говоря о появлении в последнее время в советской науке ряда «работ, уже прямо смыкающихся с построениями норманизма», заметил, что «особенно эта “неонорманистская” струя ощущается в археологии», а в 1986 г. прямо сказал, что «сейчас главным прибежищем норманизма является археология»⁹⁶. В 1975 г. Д.А. Авдусин, размышляя об увеличении археологических данных по варяжской проблеме, преподносимых как скандинавские, констатировал: «...Во многих случаях происходит топтание на месте и даже возврат на старые позиции», т. е. на позиции традиционного норманизма. Одновременно с тем он поделился очень важным наблюдением, показывающим, к чему так настойчиво пытаются в конечном итоге свести разговор некоторые археологи-«антинорманисты»: в обсуждении захоронений Гнёздова «наиболее активно обсуждается именно проблема этноса — этнической принадлежности людей, погребённых в его курганах, — та самая проблема, которая якобы не играет роли в норманском вопросе», и что ленинградские археологи стремятся «доказать наличие в Гнёздове значительного количества варягов»-скандинавов⁹⁷.

При иллюстрации норманизма — совершенно умозрительной концепции — археологи задействуют прежде всего немудрёную вводную (а её полно охарактеризовал в 1872 г. Д.И. Иловайский), согласно которой чуть ли не весь не-славянский материал выдаётся за скандинавский и в обязательном порядке связывается, без какого-либо объяснения, с летописными варягами (к тому их ведёт ещё предвзятая установка соотносить артефакты IX–XI вв. либо с германцами, либо со славянами, словно кроме них, никого больше и не было в Восточной Европе). В качестве примера, как неславянское легко превращается в скандинавское, можно привести работы 1969–1970 гг. археолога С.И. Кочкуркиной (включая кандидатскую диссертацию), в которых она представила многие курганы Юго-Восточного Приладожья скандинавскими.

А представила потому, что в курганах обнаружены очаги, фибулы, сломанное оружие, захоронение в ладье, железные гривны, «связанные со скандинавским языческим культом бога Тора и имевшие для норманнов важное религиозное значение» (однако тут же признавая, но не видя в том фатальной угрозы для своей концепции, что пять из них найдены в «женских погребениях, принадлежавших местному населению»). Как резюмировала Кочкуркина, скандинавы-«пришельцы были немногочисленны и через некоторое время ассимилировались местным населением. С середины XI в. Приладожье подверглось активному славянскому влиянию, выразившемуся в проникновении значительных групп населения», т. е. славяне оказались в данном районе на два столетия позже скандинавов (в 1973 г. Кочкуркина свою кандидатскую диссертацию издала, с некоторой редактурой, вызванной критикой, в виде монографии «Юго-Восточное Приладожье в X–XIII вв.»)⁹⁸.

Фиктивность «аргументов» Кочкуркиной продемонстрировала в 1971 г. её коллега Н.В. Тухтина: очаги в Швеции отличаются от приладожских, погребение из кургана № 7 Кочкуркина «ошибочно рассматривает как захоронение в ладье, т. к. найденные в нём железные оковки являются не лодочными заклёпками, а деталями колчана» (единственное же в Приладожье погребение в ладье, которое находилось в кургане № 19, содержит местные черты). Вместе с тем Тухтина подчеркнула, что мода на овальные (скорлупообразные) фибулы и «обычай скреплять юбки именно в финно-угорской среде нашли себе благоприятную почву». Как в целом она подводила черту: «погребальный обряд и инвентарь приладожских курганов настолько однороден, что нет основания для выделения скандинавских некрополей», и курганы эти принадлежат угро-финскому народу вепсов/весь (о том она говорила ещё в 1966 г.)⁹⁹. В 1987 г. Тухтина вновь подчеркнула, что «в подавляющем большинстве курганов со скандинавскими признаками многие черты погребального обряда являются финно-угорскими, конкретно вепскими» и что «в Приладожье почти все погребения со скандинавскими фибулами и согнутым оружием располагались в курганах с устройством насыпей, резко отличным от скандинавского и характерным для местного населения» (в 2000–2008 гг. антрополог С.Л. Санкина подытоживала, что «материал из приладожских курганов IX–XI вв., где отмечен финно-скандинавский синтез в погребальном обряде, «немногочислен и не даёт основания для гипотез о скандинав-

ском происхождении» и «не позволяет ставить вопрос о присутствии скандинавского элемента»¹⁰⁰.

Но в 1996 и в 2014 гг. Кочкуркина продолжала утверждать, не в силах расстаться со стереотипами молодости, что население, оставившее приладожские курганы, было «прибалтийско-финского происхождения и в меньшей степени скандинавского, к которому позднее добавились славяне», и что о контактах двух этносов «свидетельствуют скандинаво-финские погребения»¹⁰¹. Понятны и истоки, и неизбежность её стереотипов: Т.Ю. Арне первые свои миражные норманские колонии на Руси «основал» именно в Юго-Восточном Приладожье, и этот тезис затем повторяли Х. Арбман и А. Стендер-Петерсен. Как заметил в 1960 г. финский учёный М. Дрейер, находки скандинавских вещей в Приладожье столь же мало могут служить доводом в пользу существования там шведского населения, «как и находки хазарских вещей — доказательством наличия здесь хазарского населения и хазарского господства»¹⁰².

Следующий шаг, который предпринимали советские археологи-«антинорманисты» для решения «загадок» варяго-русского вопроса, — это постоянные допуски (предположения) в пользу скандинавов. В погребениях раннекиевской поры, говорил в 1977 и 1986 гг. А.Н. Кирпичников, оружие «прежде всего выступает не этническим, а социальным показателем. Однако именно среди погребённых с оружием мы с наибольшей вероятностью можем искать “русских” норманнов»¹⁰³. И конечно же, с неперенными и дежурными оговорками (которые как бы должны свидетельствовать об их осторожности и объективности), таковых «русских норманнов» они находили. После чего эта вероятность, повторённая пару раз их коллегами, преподносилась уже в качестве неоспоримого и всеми признанного исторического факта (типа: «как хорошо известно», «как уже установлено», «как убедительно доказано» и пр.) и с обвинением тех, кто подобные факты не признавал или в них хотя бы чуть сомневался, в не научности и, конечно, «патриотизме».

Другой шаг советских археологов-«антинорманистов» (а также широко и даже намного «ширше» шагают сегодня их преемники) заключался в безудержной абсолютизации из всего огромного вещественного материала «норманского», удельный вес которого и сегодня довольно микроскопичен и который ими выдаётся за таковой по прямой «подсказке» скандинавских учёных. Потому как те давно занесли очень многое из найденного в своих странах в каталоги и работы как несомненно скандинавское (согласно подобной «национализации», скажем, древностей Восточной Европы можно говорить, по их распространению далеко за её пределами, о масштабной колонизации славянами Западной Европы, Азии и Африки). Да к тому же помещая этот материал в весьма призывательные, но очень нужные им хронологические ниши, и на их основе рисуя ложную картину Руси.

Историки, прямо обращался к ним в 1962 г. англичанин П. Сойер, «не всегда осознают, насколько велика может быть погрешность датировки в археологии», при этом, заострял он внимание, «невозможно установить точную историческую дату материальных находок, объектов и даже стилей и технических приёмов, а значит, установить прочную связь между археологическими открытия-

ми и историческими событиями очень трудно». В 2004 г. французский учёный Р. Буайе, солидаризируясь с Соьером, предупреждал: не надо «слепо доверять всему, что могут заявить археологи», не надо закрывать глаза на несовершенство археологии, т. к. находки трудно достаточно точно датировать даже самыми современными методами¹⁰⁴.

Вопрос о точности археологических дат остро ставят наши и украинские археологи, потому как «неточность датировок, — подчеркнул в 1991 г. О.И. Богуславский ясную истину, — зачастую приводит к неточным выводам». Спустя десять лет К.А. Михайлов отмечал, что находки скандинавских вещей в погребальных комплексах Восточной Европы «не помогут точно указать дату погребения, так как в Скандинавии вещи также датируются приблизительно, в пределах одного или двух столетий». В 2009 г. Д.А. Мачинский высказал малое доверие к «абсолютным датам, основанным на дендрохронологии», и что «дендрохронология Ладоги и Рюрикова городища для середины VIII — конца X в. построена на основе новгородской дендрохронологической шкалы, достоверность которой, к сожалению, в ранней своей части вызывает сомнение» (А.В. Арциховский категорично говорил в 1956 г., что датировки ярусов новгородских мостовых «уже не подлежат уточнению», хотя они уже пересматривались, в связи с чем начало Новгорода стало «старше» на несколько десятилетий)¹⁰⁵.

Условность дат русских находок определяется ещё и тем, что их ставят в неразрывную связь с датами, данные подобным/похожим находкам в скандинавских землях. По поводу чего украинский археолог А.В. Комар в 2012 г. сказал: «Что касается проблемы использования скандинавских хронологических шкал для древнерусского материала, то на сложности и несовпадения на примере предметов вооружения обращал в своё время А.Н. Кирпичников. Работа по синхронизации североевропейской и древнерусской хронологических шкал на современном методическом уровне до сих пор не выполнена». В 2014 г. С.Ю. Каинов, рассуждая о предложенных в 1919 г. норвежцем Я. Петерсеном датировках типов мечей эпохи викингов, полученных на основе норвежского материала, указал, с одной стороны, что «зачастую именно они являются определяющими для хронологической локализации археологических комплексов, которые затем становятся основой для датировки и реконструкции различных исторических процессов, имевших место на той или территории». С другой, что «при этом практически без внимания остаются вопросы корректности самих датировок Я. Петерсена и возможность их переноса на территории, куда мечи импортировались». Привёл Каинов и вывод Ф.А. Андрощука, сделанный в 2013 г., что хронология мечей Петерсена «может быть использована только как очень приблизительная схема относительной датировки мечей»¹⁰⁶.

Изложенное показывает, насколько всё приблизительно у археологов как в датах, выдаваемых ими за надёжно обоснованные (да при этом ещё оказывающимися «омоложёнными» и противоречащими письменным источникам, например, Константину Багрянородному в случае с Новгородом, хронология напластований которого до 1977 г. вообще не шла глубже 953 г.), так и в качественной оценке ими памятников. И этот разноречивый в большинстве своём порождён не поиском истины, в основе которого лежит предельно осторожный

и взвешенный подход, тщательное сопоставление всех видов источников. А порождён он стремлением утвердить в науке умозрительные концепции, т. е. порождён пристрастием археолога, его норманистской тенденциозностью, которая убийственна для науки и которую можно продемонстрировать несколькими — из очень большого числа — показательными примерами.

В 1945 г. В.И. Равдоникас, по словам В.А. Назаренко, «определённо и надёжно» увязал могильник в урочище Плакун (на правом берегу р. Волхова, против Старой Ладogi) с норманнами и датировал его X веком. Но в 1966–1971 гг., когда археологическая наука повально была охвачена «скандинавским бумом», Г.Ф. Корзухина также «точно и устойчиво» прибавила ему целое столетие: могильник возник в IX в., а, возможно, даже в первой его половине (по воздействием таких слов Г.С. Лебедев в 1978 г. твёрдо говорил, что в материалах поселения и в ладожских сопках северные элементы выступают с начала именно этого столетия). В 2002 г. К.А. Михайлов, подчёркивая, что дата камерного погребения № 11 занижена археологами и что ранней датировке Плакунского могильника противоречит ряд принципиальных фактов (вещевой набор из погребений, особенности погребального обряда), в свою очередь поправил Корзухину на 100 лет и отнёс возникновение памятника «к началу X в., а время его функционирования, скорее всего, следует ограничить первой половиной X в.».

Годом позже Д.А. Мачинский отнёс погребение кургана № 11, согласно дендродате, к 890–895 гг. и в целом датировал «варяго-русский» могильник Плакун 880–940 годами. Тогда же Михайлов, продолжая оспаривать раннюю датировку захоронения в указанном кургане, невольно выдал настроение наших археологов, движимое ими в изучении родной истории и наделяющее их богатым «творческим воображением»: «Однако, как бы нам не хотелось удревнить скандинавские древности в России (курсив мой. — В.Ф.), наиболее вероятно, что камера из кургана № 11 и камера из большого кургана на Плакуне (или «сопковидная насыпь», которая не связана с урочищем Плакун, т. к. почти на 300 метров отдалена от него. — В.Ф.) были сооружены в первой половине — середине X в.». В 2008 г. Я.В. Френкель, также демонстрируя сомнительность вывода Корзухиной, констатировал, что в ссылках на её предположение о начале функционирования могильника в первой половине IX в. эту предположительность, например, О.И. Давидан и Г.С. Лебедев опускали (а также заострял внимание на том, что Михайлов в своих работах за 2002–2006 гг. относил начало памятника то к первой половине X в., то к концу предыдущего)¹⁰⁷.

В 1963 г., т. е. буквально в преддверии «скандинавского бума», М.В. Фехнер заключила что «Тимерёвский некрополь является памятником сельского типа, кладбищем нескольких деревень, которым пользовались с конца IX до первой половины XI в. включительно» (об этом могильнике как сельском кладбище, функционировавшем со второй половины VIII до начала XI в., писала в 1941 г. Я.В. Станкевич, вместе с тем отмечавшая, а это мнение в 1961 г. поддержала Е.И. Горюнова, что в Ярославском Поволжье не было встречено ни одного бесспорно скандинавского захоронения), и что датировка большинства его курганов с трупосожжениями — 236 из 358 — «установлено нами по погребальному инвентарю. В отдельных случаях удалось датировать погребения с точностью

до полувека. Датировка же большинства курганов оказалась возможной лишь в пределах целого столетия». Относя основную часть погребений с трупосожжениями во второй половине X в. и выделяя самое малое число, на её взгляд, скандинавских погребений, Фехнер пришла к выводу, что «незначительные группы норманнов» осели в Ярославском Поволжье в X веке. Но через 15 лет И.В. Дубов утверждал, что в том же могильнике «из достоверных 359 погребальных комплексов в число датируемых в пределах 50 лет с большей или меньшей долей вероятности можно включить 215, что составляет более 60%». И потому увязал 9 курганов с трупосожжениями со скандинавами и представил их в качестве древнейшего ядра некрополя, полагая, что скандинавы попали в Ярославское Поволжье в IX в. и что в X в. Тимерёвское поселение носило протогородской торгово-ремесленный характер¹⁰⁸.

Подобные «уточнения» Дубова — как и других его коллег — носят принципиальный характер, но они не есть результат применения каких-то новых методов в датировке и совершенствования методического инструментария, а есть результат господства норманистских настроений в советской «антинорманистской» археологии, посредством волшебной фразы — «большей или меньшей долей вероятности» — целенаправленно удревняявшей время появления скандинавов на Руси. Но точно также задействовались материалы других археологических комплексов, в целом все находки, трактуемые в пользу скандинавов. Так, явный подгон материала под скандинавов продемонстрировали в 1979 г. С.В. Белецкий и Ю.М. Лесман, датируя древнейшие слои Полоцка временем не ранее X в., тем самым стремясь приблизить его возникновение ко времени княжения во второй половине X в., в их понимании, скандинава Рогволода, ибо этим временем датируется ланцетовидный наконечник стрелы и поясная сердцевидная бляшка, связанные с североевропейским кругом древностей. Тогда как Г.В. Штыхов, монографию которого (1975) они рецензировали и который на протяжении многих лет вёл раскопки этого города, датировал, на основе, в первую очередь, лепной керамики, нижний слой на Первоначальном городище VIII–IX вв.¹⁰⁹ (в 2012 г. белорусский историк и археолог Д.В. Дук, изучающий древности Полоцка, резюмировал, что летописная дата его основания — 862 г. — вполне обоснована археологическими данными¹¹⁰).

В 1965 г. И.П. Шаскольский сетовал, что советские археологи продемонстрировали «весьма скромное количество типично скандинавских археологических памятников на территории нашей страны» и что их попытки доказать полное или почти полное отсутствие таких памятников, «была связана с недостаточным знанием материалов скандинавской, особенно, шведской археологии»¹¹¹. Но очень скоро эти материалы были ими, при активном содействии того же Шаскольского, «узнаны» и под их влиянием многие восточноевропейские находки стали трактоваться (и категорично, и предположительно) в качестве «норманских», что сразу же вызвало резкий рост количества «типично скандинавских археологических памятников» на Руси. Как несколько пояснила в 2017 г. археолог Н.И. Платонова, при начавшейся в те годы ревизии имеющихся данных «с позиций строгого подхода», проникнутого «пафосом поиска абсолютно достоверного», «не обошлось без двойных стандартов. Только

на сей раз во всех спорных случаях доминировало утверждение *неславянской* принадлежности раннесредневековых древностей¹¹² (в итоге славяне «оказались» в ряде районов Восточной Европы намного позже скандинавов. Причём эта «истина» также была открыта и активно отстаивается скандинавскими учёными: в лесной зоне Восточной Европы, подчёркивал в нашей печати в 1999 г. датский историк К. Расмуссен, «скорее всего, финно-угры первыми поселились в этом регионе, а за ними пришли викинги, а потом и славянские племена»¹¹³).

Один из конкретных примеров такой тенденциозности проявился в том, что И.И. Ляпушкин в 1966 г., на чём заострял внимание в 1975 г. Д.А. Авусин, «преуменьшил число возможных славянских погребений в Гнёздове, считая, что их было около 40%», и что эти «ошибочные подсчёты были подхвачены» в 1970 г. Л.С. Клейном, Г.С. Лебедевым, В.А. Назаренко, чтобы доказать наличие в Гнёздове значительного количества норманнов. В 1985 г. А.Н. Кирпичников указал, что, несмотря на ряд позитивных исследовательских усилий, ладожские древности как достоверно славянские встретили общее недоверие и перестали учитываться в серьёзных обзорах культуры восточных славян (И.И. Ляпушкин в 1968 и П.А. Раппопорт в 1971 гг.)¹¹⁴. А перестали учитываться лишь по той причине, что в 1965 г. Г.Ф. Корзухина категорично сказала (по сути, повторив тезис датчанина В. Томсена, согласно которому «Ладога действительно лежит вне древней территории славян»): «древнейший период в жизни Ладоги выпадает из истории собственно древней Руси»¹¹⁵.

В 1967 г. М.И. Артамонов, в котором ныне видят одного из «основоположников российской археологии XX в.» и одного из «главных создателей *нового варианта реконструкции этнокультурной истории Восточной Европы*»¹¹⁶, определявшего, таким образом, принципиальные подходы в оценке наших древностей и нашего прошлого, подытоживал, беря во внимание материал, в качестве скандинавского массово вбрасываемый коллегами, в том числе его учеником Л.С. Клейном, в науку, что «новая хронология заселения славянами северо-западной области заставляет пересмотреть старый вопрос о славяно-варяжских (норманских) отношениях» и что славяне, заселяя Приладожье, «попадали в область уже в какой-то мере подчинённую варягам и сами должны были признать их господство». Через пять лет он повторно произнёс (статья вышла посмертно, в 1990 г.) те же слова, подчеркнув, что «на Волхове известны варяжские памятники, датирующиеся концом VIII в. В Ладоге варяжско-финское население было задолго до славян, следов которых до начала X в. в этом городе не обнаружено», и что до X в. славян в Приильменье, где уже находились варяги-норманны, не было¹¹⁷.

Вместе с тем советские археологи, спешно записывая в «норманские» многочисленные находки, стали выдавать их за прямое свидетельство пребывания скандинавов на Руси. Такую странную логику имели в виду в 1982–1986 и 2002 гг. «гэдээровский» археолог Й. Херрман и наш историк А.Н. Сахаров, заметившие, что из распространения восточных монет «не следует делать вывод о непосредственных путешествиях арабских торговцев на Балтику» и что «Скандинавию следовало бы осчастливить арабскими конунгами, поскольку арабских монет и изделий в кладах и захоронениях нашли там немало»¹¹⁸ (но Скандинавию следует осчастливить, если использовать логику норманистов и опираться

на найденное там большое число украшений из Руси, формы и детали восточноевропейского дружинного костюма, а также венгерские сумки-ташки и восточное влияние «в стиле одежды у высших классов Бирки», по крайней мере и русскими обоих полов, и венграми. Как подытоживал в 2004 г. французский учёный Р. Буайе, большая часть вооружения викинга, особенно лук, «его стрелы и пуговицы на его одежде, даже украшения, которые он носил, свидетельствуют о сильном венгерском влиянии»¹¹⁹.

Вещи, найденные в Скандинавии и на Руси и не являющиеся изделиями местного производства, попали в их земли благодаря преимущественно торговле. Во многом именно торговлей объясняли В.П. Шушарин (1964), И.П. Шаскольский (1965, 1979) и В.В. Седов (1983) присутствие скандинавских артефактов в Восточной Европе (по уточнению В.М. Потина от 1968 — «необходимостью скандинавских стран расплачиваться за русское серебро»)¹²⁰. В 1977 г. А.Н. Кирпичников указал, что «киевские воины пользовались изделиями, которые непосредственно попадали к ним путём торговли и грабежа», и что этот факт «ослабляет ясность этнического определения многих дружинных погребений» (о том же он говорил в 1978–1986 гг.). В 1978 г. В.А. Булкин, И.В. Дубов, Г.С. Лебедев заметили, ведя речь о Суздальском ополце, что оно находилось в зоне активных торговых связей с Севером и Востоком, что через него «проходили важнейшие торговые пути, и поэтому в погребальных комплексах частыми находками являются импортные вещи, которые отнюдь не указывают на этническую принадлежность погребённых»¹²¹.

Вооружение и предметы быта можно было, перечислял в 1986 г. А.Г. Кузьмин, «и купить, и выменять, и отнять силой на любом берегу Балтийского моря». По находкам скандинавских вещей (за исключением, вероятно, рунических надписей и амулетов) трудно определить, резюмировала в 1987 г. норвежский археолог А. Стальсберг, попали ли они к восточным славянам в результате торговли или вместе со своими владельцами. В 2003 г. В.В. Седов подчеркнул, «что предметы вооружения североевропейских типов были распространены далеко не только в Скандинавии, они в немалом количестве представлены также в памятниках Польши, Литвы, Северной Руси, Финляндии: ими пользовались представители разных этносов, поэтому они никак не могут служить этноопределяющими маркерами скандинавов»¹²².

Приведённых мнений историков и археологов достаточно для понимания того, что материальные вещи, особенно оружие, предметы украшения и роскоши, независимо от того, где и кем они были произведены, живут самостоятельной жизнью, в течение которой становятся, в силу многих причин, собственностью представителей разных народов и перемещаются на огромные расстояния. Так, в составе большого Гнёздовского клада середины X в. находится индийская монета, превращённая в подвеску, в Ладоге обнаружен египетский скарабей, а в Гнёздове и Новгороде — изделия минусинских ювелиров (т. е. енисейских кыргызов-киргизов)¹²³. В Центральной Швеции при раскопке комплекса при Хельге около оз. Меларен, относящегося к довикинговскому времени и ранней эпохи викингов, найдены маленькая статуя Будды, датируемая V–VII вв., коптская бронзовая чаша того же времени из Египта, брон-

зовый крест VIII в. с посоха ирландского епископа и другие предметы¹²⁴. И эти предметы попали в Швецию по давним торговым путям: бронзовая статуэтка Будды индийской работы, заострял внимание Р. Буайе, не значит, что викинги добирались до тех мест — «такая находка сама по себе свидетельствует о существовании обменной экономики»¹²⁵, в которую были втянуты многие народы.

Нельзя в данном случае не упомянуть серьёзную ошибку археологов, искажавшую историю Ижорского плато. Потому как расположенные на нём в громадном количестве курганы XI–XIII вв. считали древнерусскими, т. к. они полны заупокойными дарами общерусских форм, в результате чего не оставалось места финскому племени водь и его памятникам. Но при тщательном анализе выяснилось, что водские земледельцы в XII–XIII вв. «в изобилии пользовались новгородскими вещами и черты своего этноса сохранили лишь в курганный обрядности — в восточной ориентировке погребённых». Можно также привести и тот факт, что «при раскопках курганов поросских чёрных клубуков обнаружено много русского оружия и другой утвари. Оказывается, что кочевники носили русские шлемы, сабли, кистени и булавы, возможно, кольчуги»¹²⁶.

Известный знаток эпохи викингов П. Сойер указал в 1962 г., называя причину беспочвенности выводов Т.Ю. Арне и Х. Арбмана, что «сами по себе археологические находки... свободны от пристрастности, они не говорят ни за, ни против скандинавов. Тенденциозность создают те, кто работает с этим материалом». Скандинавские вещи в русских захоронениях «ещё не доказывают того, что люди, погребённые в этих могилах, были скандинавами или имели скандинавских предков. Предметы такого рода могут переходить из рук в руки, нередко оказываясь очень далеко от народа, который их изготовил или пользовался им первым. Это может показаться ясным как день, но порой об этом забывают. Некоторые учёные воспринимают обнаружение скандинавских предметов, особенно в России, как доказательство тесных связей со Скандинавией»¹²⁷.

Но что было ясно как день английскому историку и «буржуазному» норманисту, в ином свете тогда представлялось советским археологам-«антинорманистам». Как внушал слушателям своего семинара (будущим, по его оценке, «видным славистам», мыслящим затем только по заданному им норманистскому шаблону и вскоре ставшим задавать тон не только в археологии, но и в реконструкции истории Руси) Л.С. Клейн, ссылаясь в первую очередь на работы шведов Арне и Арбмана: «Во многих местах восточнославянской земли найдены археологические следы пребывания норманнов. ... В Бирке (Швеция) раскопаны могилы знатных норманнов, покойники лежали там внутри срубов, и вот богатые срубные погребения той эпохи обнаружены в Киеве и Чернигове. У скандинавов был обычай погребать воинов в ладье — и под Смоленском, в Гнёздове, обнаружены такие погребения. Хороня своих воинов, норманны ломали их оружие и клали в таком виде в могилу — сломанные мечи обнаружены и в Гнёздовских погребениях»¹²⁸.

Ученики Клейна выросли, и выросли с сознанием безоговорочной правоты своего учителя. Причём свою «антинорманистскую» правоту Клейн внушал им не только посредством вольно интерпретируемых артефактов, но и лингвистики (при этом преподнося себя в качестве не стороннего для неё человека,

ибо какое-то время посещал занятия известного фольклориста В.Я. Проппа). Донося до них, например, что К. Торнквист в 1948 г. отметила около 150 заимствований в русском языке из языка северных германцев и «из них надёжно установлено около 30». И вбивал эту «истину» в юные и податливые умы своих «семинаристов» ещё и такими словами, что норманны «осчастливили» славян княжеской династией и одарили некоторыми полезными вещами, каковы, например, vareжки и щи¹²⁹. Однако результаты шведского филолога совершенно иначе представлял И.П. Шаскольский в 1965 г.: она собрала 115 — но 115 всё же далеко не около 150 — «русских слов, относящихся различными учёными к числу скандинавских заимствований». Причём абсолютное большинство этих слов являются диалектными словами XIX в., к тому же более 20 из выделенных ею 30 слов впервые упоминаются лишь в сравнительно поздних источниках: «XIV–XVII и даже XVIII в. и никак не могут считаться заимствованными у древних норманнов». Торнквист, говорила в 1984 г. Е.А. Мельникова, в результате тщательного анализа «пришла к выводу, сходному со Срезневским», выделив 10 слов, «которые происходят из древнескандинавских языков», при этом констатируя, что «значительная часть заимствований, указанных Томсеном и другими, является либо независимым развитием индоевропейских корней в германских и славянских языках, либо не может с уверенностью доказана»¹³⁰.

Пример с Торнквист наглядно свидетельствует о присущей Клейну, по оценке В.И. Боршевича, наиболее пронизательному и беспристрастному исследователю¹³¹, практике произвольного трактования всех видов источников, переданной им будущим «видным славистам» (в 2001 г. французский историк К. Цукерман довольно точно назвал Г.С. Лебедева, В.В. Булкина, И.В. Дубова, В.А. Назаренко, а вместе с ними и А.Н. Кирпичникова «специалистами в области “скандинавской” археологии»¹³²). Вместе с тем передавая им и чувства высочайшего самомнения, перерастающего в явное самохвальство, с которым они будут бесцеремонно вторгаться в совершенно чуждые для себя научные сферы, навязывая их представителям, считая себя всезнающими и всевидящими борцами за «правое дело», всё новые и самые невероятные откровения, которые беспрестанно плодит шведский взгляд на историю Руси.

5.3 «Советские антинорманисты»-археологи как принципиальные последователи шведов Т.Ю. Арне и его ученика Х. Арбмана (на примере статьи Л.С. Клейна, Г.С. Лебедева и В.А. Назаренко 1970 г.)

Когда ученики Клейна возмужали, он в 1970 г. совместно с двумя из них — Г.С. Лебедевым и В.А. Назаренко — опубликовал (в сборнике под редакцией в том числе своего «оппонента» по «дискуссии» 1965 г. И.П. Шаскольского) статью «Норманские древности Киевской Руси на современном этапе археологиче-

ского изучения» (как отмечали позже В.А. Булкин, И.В. Дубов, Г.С. Лебедев, в ней суммированы конструктивные положения «дискуссии» 1965 г.¹³³), представив в ней научному миру, преднамеренно вводя его в глубочайшее заблуждение, то, чего не было и чего нет. А именно фантазии шведа Т.Ю. Арне и датчанина А. Стендер-Петерсена в перепеве «советских антинорманистов». Декларируя, что к надёжным признакам этнической принадлежности погребения относятся, например, фибулы, браслеты, подвески, сожжение в ладье, камерные погребения, авторы заявили о значительном весе скандинавов в высшем слое «дружинной или торговой знати» Руси.

Этот вес они дали в цифрах: в X в. скандинавы — дружинники, купцы и их жёны, простые воины, ремесленники и, возможно, крестьяне (последних, о которых даже не пробовал говорить в 1914 г. Арне, в массовом порядке повёл в наши края Стендер-Петерсен) — составляли «не менее 13% населения отдельных местностей» Руси по Волжскому и Днепровскому торговым путям, в столичном Киеве — 18–20%, а в Ярославском Поволжье их численность уже «была равна, если не превышала, численности славян»¹³⁴. И такой вес норманнов, якобы входивших в состав верхушки Руси, был столь впечатляющий и одновременно столь ожидаемый, что разом покончил в нашей науке с разговорами о каких-то их жалких «горсточке»/«незначительной кучке», тем самым дополнительно внеся самое серьёзное сомнение в состоятельность «советского антинорманизма».

Как резюмировал в 1974 г. А.Г. Кузьмин, называя статью Клейна, Лебедева, Назаренко и монографию С.И. Кочуркиной 1973 г., «с норманнами теперь связывается подавляющая часть социальной верхушки Древнерусского государства», в связи с чем делается беспредметным рассуждение о возникновении Русского государства в результате внутреннего развития восточнославянского общества. Но это обстоятельство нисколько не насторожило «советских антинорманистов», якобы на дух не переносящих норманизм и своим чутким марксистским обонянием улавливавшим его в далёких буржуазных америках и европах. Более того, статья Клейна, Лебедева, Назаренко была принята ими буквально на «ура». По свидетельству самого Клейна, её появление «приветствовалось во многих обзорах, как отечественных, так и зарубежных. “Ценный вклад”, “позитивная работа”, “первая сводка данных” — это писали не только сторонники, но и антинорманисты» (например, И.П. Шаскольский)¹³⁵.

Хотя П. Сойер, прекрасно зная истинную цену таким «ценным вкладам» скандинавских археологов (норманистскую трактовку Арне и Арбмана многих русских находок он приводил в качестве ярчайшего примера тенденциозной аргументации), ещё в 1962 г. предостерегал учёных — археологов, историков, нумизматов и филологов — от абсолютизации в изучении эпохи викингов какого-то только одного вида источников: они, независимо от узости своей непосредственной задачи, «обязаны использовать весь спектр свидетельств, важно глубокое понимание общего характера всего имеющегося материала в целом». В противном случае их результат не может претендовать на объективность.

После чего английский исследователь прямо предостерег именно историков от безоглядного доверия выводам археологов: «Пытаясь увязать исторические

и археологические данные, очень легко соблазниться самыми удобными гипотезами и отнестись к ним так, как будто они исключают все прочие возможности, поэтому историки, пользующиеся вещественными материалами, должны особенно остерегаться подобных обманчивых доводов». В связи с чем важно всегда помнить, что археология «оперирует гипотезами. ... Историк эпохи викингов должен остерегаться принятия на веру бездоказательных, а иногда и безосновательных домыслов и использования их таким образом, как будто они являются непреложным фактом, не вызывающим сомнения»¹³⁶ (в полном согласии с Сойером в 2010 г. украинский археолог А.В. Комар также историкам разъяснял, насколько сложна в теории археологии проблема «факта». И потому настоятельно советовал им не «касаться напрямую самого археологического материала и не строить на нём собственных выводов. Научная гипотеза не может быть построена на гипотезах!». Для наглядности он заострил внимание на достаточно популярной и сегодня, но ошибочной концепции «пастырской культуры» М.И. Артамонова, который, никогда в реальности не видя «ни материалов Пастырского, ни Пеньковской культуры», родил «классическую "гипотезу у письменного стола"»¹³⁷).

Однако «советские антинорманисты»-марксисты, в отличие от немарксиста Сойера, представлявшего буржуазную науку, которую они нещадно бичевали за «норманизм», воспринимали обманчивые доводы археологов за абсолютную истину, за «непреложные факты, не вызывающие сомнения». В 1971 г. А.С. Кан и А.Л. Хорошкевич отмечали, что статья Клейна, Лебедева, Назаренко есть «первая в советской литературе обобщающая сводка данных о скандинавских древностях на русской территории»¹³⁸. Два года спустя М.Б. Свердлов с ссылкой на неё же подытоживал: «Анализ скандинавских комплексов в X–XI вв. позволяет предположить, что в Восточную Европу переселялись не только знать, дружинники, купцы и их жёны, но и простые воины, ремесленники и, возможно, крестьяне» и «что практически скандинавы великолепно знали географию Восточной Европы» (и вместе с тем оставив без объяснения тот факт, о котором сам же говорит, что они — «великолепные знатоки географии Восточной Европы» — считали столицей Руси Новгород, а не Киев)¹³⁹.

В 1988 г., когда уже шёл процесс расставания с «советским антинорманизмом» (а с ним «была без радостей любовь»), Т.Н. Джаксон и Е.Г. Плимак буквально пели ленинградскому археологическому трио дифирамбы: они, впервые очертив «возможности археологии в решении норманской проблемы», выработали «строго научную и логически последовательную методику определения этнической принадлежности археологических древностей и объективную систему подсчёта "достоверно варяжских комплексов"», представили достаточно объективные суммарные оценки, базирующиеся на широком археологическом материале, присутствия варягов на Руси (в 1993 и 2001 гг. эти слова Джаксон повторила в печати и на телевидении. Совсем недавно, в 2010 г., С.В. Соколов преподнёс ту же статью в качестве «давно вошедшей в число классических публикаций по проблеме»)¹⁴⁰. Однако не представляется возможным согласиться с этими хвалебными отзывами, причём не только в свете уже приведённой оценки А.Г. Кузьмина выводов названных археологов. Потому как

даже некоторые «советские антинорманисты», например А.С. Кан и А.Л. Хорошкевич, несколько усомнились, не будучи археологами, в правильности их методики выяснения «процентного соотношения скандинавских с нескандинавскими курганами», критериев отнесения «бедных вещами курганов, к числу скандинавских: каменная ограда вокруг кургана, находки в кострище обрядового печения, урна, поставленная на глиняную и каменную вымостку, — все эти детали обряда встречаются и у славян, и сами по себе ещё не дают возможности определить этническую принадлежность памятников»¹⁴¹.

В 1975 г. Д.А. Авдусин констатировал, что публикации Клейна, Лебедева, Назаренко (а также ещё одного «видного слависта» Булкина) «вызывают возражения в конкретно-историческом плане, иначе говоря, в методах привлечения источников и приёмах освещения общеисторического фона», в результате чего «строятся сомнительные “теории” с норманистским оттенком». Вроде утверждения Лебедева и Назаренко в статье, вышедшей в Норвегии в 1973 г., о «городской культуре со скандинавскими элементами на Руси во второй половине X века... о значительности скандинавского влияния на прикладное искусство Руси... о проникновении скандинавов на Днепр в IX веке и т. д.» (для чего специально удревели, указал Авдусин уже в 1988 г., скандинавские артефакты в Поднепровье, т. е. сфальсифицировали)¹⁴². Да и мнения других археологов, в том числе учеников разных лет Клейна, никак не согласуются с «перестроечным» оптимизмом Джаксон и Плимака. В 1982 г. И.В. Дубов заострял внимание на том, что одной из сложнейших задач славяно-русской археологии IX–XI вв. как раз является этническое определение древностей. «Отсутствие «надёжных этнических индикаторов, — резюмировал в 1982 г. Р.С. Минасян, — позволяет манипулировать археологическими памятниками в зависимости от концепции того или другого исследователя» (т. е. всё тот же субъективный подход, убивающий объективность, а с ним и истину)¹⁴³.

Разумеется, Клейн, Лебедев и Назаренко осознавали всю сложность этнической атрибуции анализируемых ими находок и комплексов. Но чтобы её обойти, они соотнесли количество скандинавских погребений не с общим числом раскопанных курганов могильника, а лишь с числом этнически определимых и сравнивать его с числом достоверно славянских комплексов. Посредством такого подсчёта в Тимерёвском могильнике под Ярославлем (в нём, по заключению М.В. Фехнер 1963 г., насчитывалось 38% финских, 15% — славянских, 4% — скандинавских), оказалось при отбрасывании 43% погребений неопределимых комплексов и разнесения оставшихся по столетиям (а эта датировка носит условный характер), что «в X в. 75% комплексов принадлежит местному финскому населению, 12% — славянам и 13% — скандинавам»¹⁴⁴. В 2014 и 2016 гг. археолог С.В. Томсинский указал, что подобная методика подсчёта ведёт «к грубым искажениям представлений об исторической действительности», и охарактеризовал громкий вывод Клейна, что «каждый восьмой житель окрестностей Ярославля оказывался варягом, а славян было меньше, чем варягов», как «лукавая математика».

Во-первых, не в «окрестностях», а на Тимерёвском поселении (расположен на правом берегу р. Сечки близ д. Большое Тимерёво в 12 км к юго-западу от

Ярославля, впервые упомянутого в летописи под 1071 г.), «да и то если все погребённые были его обитателями, в чём совсем нет уверенности». Во-вторых, «выясняется, что речь идёт, собственно, о двух-трёх семьях скандинавского происхождения, представители которых, обоёго пола и разного возраста, погребены на могильнике. Вот и всё “присутствие скандинавов”!» (А.Е. Леонтьев в 1989 г. определил население Тимерёва около 130 человек). В 2017 г. Томсинский, считая, что Клейн, Лебедев, Назаренко не осознавали неоднозначности информативности археологических источников и перелицовывали их «из славянского в неславянское», заключил, что в определении этнической принадлежности погребённого «последнее слово будет не за археологами, а за антропологами и палеогенетиками, постоянно совершенствующими свои методики, для которых предметом изучения является сам человек, его останки»¹⁴⁵.

Однако с последними оптимистическими словами Томсинского нельзя согласиться, т. к. народы в ходе давно и постоянно шедших переселенческих процессов основательно перемешивались друг с другом. Это хорошо видно, например, по материалам пшеворской культуры междуречья верхних течений Вислы и Одера (конец II в. до н.э. — начало V в. н.э.), в пределах которой жило смешанное славяно-германское население, к началу нашей эры вобравшее в себя ранее проживавших здесь кельтов. Совместное и длительное пребывание двух этнических групп на одной территории, констатировал в 1979 и 1994 гг. археолог В.В. Седов, вело к появлению общих славяно-германских поселений и могильников, «к сложению двуязычия в отдельных регионах, и к метисации населения»¹⁴⁶. А затем Великое переселение народов ещё больше усложнило антропологическую ситуацию (так, например, с заселением славянами Южной Балтики часть тамошних народов, в том числе германцы, была ими ассимилирована и считала себя славянами).

Поэтому главный вопрос для историка (да и исследователя древностей вообще) заключается не в том, к какому расовому типу принадлежали погребённые, а на каком языке они говорили. Но этот вопрос, к сожалению, останется без ответа. В 2010 г. польский археолог В. Новаковский справедливо подчеркнул, что археология имеет дело с «немыми» источниками (не называющими земель, рек, народов, имён и фамилий), и потому «ответ на вопрос, на каком языке говорили люди, оставившие поселения или же могильники, выходит за пределы возможностей археологии». А попытаться получить ответ на этот вопрос можно лишь сопоставляя археологические выводы с письменными источниками, которые и содержат нужные данные¹⁴⁷ (как точно сказал в 1915 г. И.А. Бунин: «Молчат гробницы, мумии и кости, — // Лишь слову жизнь дана: // Из древней тьмы, на мировом погосте, // Звучат лишь Письмена»).

Искажения Клейна, Лебедева, Назаренко связаны с тем ещё, что картину массового присутствия скандинавов на Руси они рисовали в первую очередь посредством подсчёта камерных погребений середины и второй половины X в., обнаруженных в Ладогe, Пскове, Гнёздове, Тимерёве, Шестовицах под Черниговом, Киеве и выдаваемых за захоронения норманнов, якобы входивших в высший слой «управленцев» восточных славян (после их статьи утверждение о таких захоронениях как типично скандинавских стало общим местом в работах

«советских антинорманистов»). Но русские камерные (именуемые ещё срубными) погребения, а этот обряд, отмечает К.А. Михайлов, формируется и распространяется в 930–960-е гг. (в 2016 г. он насчитал 81 такую камеру¹⁴⁸), произвольно были приписаны скандинавам. Ибо камерные гробницы шведской Бирки (более 120, их большинство датируют X в. и только несколько традиционно относят к IX в.¹⁴⁹), на основании которых воцарилось мнение о норманском характере сходных погребений в Восточной Европе, высказанное в 1931 г. Т.Ю. Арне и активно закрепляемое затем Х. Арбманом, не являются шведскими. А ведь прежде всего именно ими — богатыми погребальными памятниками якобы самых знатных воинов-норманнов — эти археологи доказывали существование на Руси норманских колоний (но о вместе с тем Арбман не считал камерные погребения шведскими по происхождению. Они, по его мнению, возможно, появились в Скандинавии вместе с купцами с континента).

Принадлежность камерных погребений киевского некрополя норманнам отвергал в 1960-х гг. И.П. Шаскольский, поясняя, что набор женских украшений в них вообще не имеет никаких скандинавских черт, что в инвентаре «мужских погребений явно скандинавские вещи вообще отсутствуют» и что в Бирке данный тип погребений «является одним из нескольких обрядов, притом не самым распространённым» (в камерных погребениях на Руси он видел местные, славянские памятники)¹⁵⁰. В 1962 г. П. Сойер выступил против идеи Арне о принесении обряда захоронения в камерных погребениях на Русь норманнами. В 1968 г. другой английский историк Г. Джонс, придерживаясь мнения о скандинавской природе погребений в камерах на Руси, вместе с тем заметил, верно указывая на причину ошибочных заключений археологов-норманистов: «Не исключено, что археологические данные, полученные при раскопках захоронений, интерпретируются пристрастно. Многие разновидности оружия и погребального инвентаря, равно как и практики захоронения, могли использоваться славянами с тем же успехом, что и скандинавами, поэтому более внимательное и объективное изучение находок может, скорее, поколебать, нежели упрочить позиции “норманистов”»¹⁵¹.

Сама же позиция Сойера и Джонса проистекала из того факта, что в зарубежной науке давно обращалось внимание на существование схожих гробниц в Западной и Северной Европе, открытых, например, в Вестфалии и Богемии, т. е. там, где скандинавов точно не было. Вот почему Г.С. Лебедев в 1971–1972 гг. должен был признать (а ведь в 1970 г. он с соавторами утверждал иное), в том числе в кандидатской диссертации, что «генетически камеры Швеции связаны с “княжескими могилами” Средней и Западной Европы. Они замыкают типологическую цепочку, протянувшуюся из глубин железного века, от гальштаттского периода (VII–VI вв. до н.э.)»¹⁵². А.Г. Кузьмин в 1974 г. напомнил, что распространённые в Киеве камерные захоронения имеют определённое сходство со «скифским» обрядом (в 2013 г. украинский учёный П.П. Толочко также сказал, что «камерные срубные могилы имеют традиции в Среднем Поднепровье: в них хоронили умерших здесь в скифское и сарматское время»)¹⁵³.

В 1980 г. шведский археолог А.С. Грэслунд, изучая погребальные камеры Бирки (и отмечая интернациональный характер города), установила (а эта гипоте-

за сейчас весьма популярна), что они не имеют местных прототипов и что их появление связано с иностранными купцами из районов Вестфалии-Фризии-Саксонии¹⁵⁴. Камерные гробницы, указывал в 2002 г. А.Н. Кирпичников, долгое время «считали шведскими, теперь же пришли к заключению, что даже в Бирке они не являются местными». «Камерные погребения в Скандинавии, — констатировали в 2012 г. украинские археологи Ф.А. Андрощук и В.Н. Зоценко, — не признаются скандинавскими исследователями как типично скандинавскими по обряду». Сейчас вопрос происхождения этих погребений повис в воздухе, потому, как подчёркивается, например, в учебнике «Археология» для студентов, он не совсем ясен¹⁵⁵. Но определённо ясно одно — к началу бытия камерных погребений скандинавы не причастны абсолютно, как не причастны они и к их появлению на Руси.

Не причастны норманны и к погребениям в Киеве, где в X в. якобы почти каждый пятый его житель, согласно выкладкам Клейна, Лебедева, Назаренко, был скандинавом. Невольно этот миф уже в 1973 г. полностью разрушила антрополог Т.И. Алексеева, которая, проанализировав захоронения X в. столицы Руси (связываемые с представителями военно-дружинной знати) и сравнив их с германскими, резюмировала: «Сопоставление дало поразительные результаты — ни одна из славянских групп не отличается в такой мере от германских, как городское население Киева» (добавив на следующий год, что «оценка суммарной краниологической серии... показала разительное отличие древних киевлян от германцев»). Как заметил А.Г. Кузьмин по поводу такого вывода ведущего специалиста, изначально убеждённого под влиянием археологов в скандинавском характере погребений, «“поразительность” этих результатов, отмечаемая автором, проистекает из ожидания найти в социальных верхах киевского общества значительный германский элемент, а его не оказывается вовсе»¹⁵⁶ (заключение нашего выдающегося антрополога важны ещё и потому, что она, говорил Д.В. Пежемский, первая не только нашла существенные отличия в строении черепа у славянских и германских народов, но и сумела выразить их в цифровом отношении, разработала соответствующие краниометрические признаки для фиксации этих отличий. Ранее С.Л. Санкина несколько раз поясняла, также ведя речь о заслугах Алексеевой, что «границы значений в германских и восточнославянских группах практически не пересекаются»¹⁵⁷).

Под давлением фактов один из авторов статьи 1970 г. Лебедев печатно признал в 1978 г. (повторив сказанное в 1986 г.), тем самым открыто отрекаясь от фальшивых 18–20% киевских норманнов, что только в одном из 146 погребений киевского некрополя на территории т. н. «Города Ярослава» мог быть захоронен скандинав (погребение № 114): «Судя по многочисленным аналогиям в Бирке, это единственное в городском могильнике Киева скандинавское погребение» (причём датируется оно поздним временем: концом X — началом XI в.), которое «могло принадлежать одному из варяжских наёмников Владимира, осевших в русской столице»¹⁵⁸. В процентном соотношении 1 к 125 (а такое число погребений было выявлено М.К. Каргером, и оно фигурирует в статье Клейна, Лебедева и Назаренко) составляет

0,8%, т. е. в 25 раз меньше того, что привиделось этим ленинградским археологам восемью годами ранее.

Но рождённая тогда очень большая неправда, к которой приложил руку Лебедев, прочно прижилась в науке, дав начало многим другим норманистским неправдам, обретшим статус «истин». Как он подчёркивал в 1995 г., выход статьи стимулировал дальнейшее изучение археологического аспекта «норманской» проблемы¹⁵⁹ (что хорошо видно и по работам самого учёного 1974–1977 гг.: сожжения в ладье и захоронение в камере могильника Плакун «принадлежали скандинавам, осевшим в Ладоге IX в.»; в мужских плакунских погребениях найдены «согнутые, перекрученные наконечники копий. Это — норманский обычай порчи оружия»; ланцетовидные стрелы в одном из ладожских погребений — специфически норманские вещи; «к концу IX в. относятся первые скандинавские погребения Гнёздовского могильника»; нет сомнений в скандинавском происхождении Гнёздовских сожжений в ладье; «древнейший Смоленск, Гнёздовское торжище, по облику близкое скандинавским Бирке и Хедебю»; в Шестовицах камерные погребения, «скорее всего, оставлены варяжскими наёмниками русских князей» и пр.¹⁶⁰).

Вместе с тем статья 1970 г. и сегодня продолжает «стимулировать» норманизм. В 2004 г. Клейн с той же твёрдостью «советского антинорманиста» говорил, что в Ярославском Поволжье в X в. на 12% славян приходилось 13% скандинавов¹⁶¹. И говорил потому, что антропологически его «проценты» невозможно проверить, т. к. преобладающий обряд захоронения в ярославских могильниках — трупосожжение (хотя рядом на Владимирщине, поясняла Т.И. Алексеева, «никаких скандинавских черт в облике населения не отмечается. Это, по-видимому, славянизированное восточнофинское население»¹⁶²). В то же время весьма симптоматично, что тогда Клейн не вспомнил о 18–20% норманнов в столице Руси. Признав, таким образом, что «цифири» эти, которые он в 1970 г. огласил с учениками, есть, а в науке история, представляющей собой фундамент бытия любого народа, надо обязательно называть вещи своими словами, ложь, сознательно рождённая «максимально искренним» Клейном. Но чтобы эта ложь и дальше продолжала мешать науке, Клейн статью 1970 г. переиздал в 2009 г., уверяя, что она «была первой объективной сводкой по норманским древностям Киевской Руси на послевоенном уровне» и наглядно опровергает антинорманизм. Год спустя он продолжал твердить, что руководствуется «точными цифрами» сорокалетней давности, по которым «норманнов в стратегически важных пунктах Северной Руси в IX веке было больше, чем славян. Учитывались не только артефакты, но и обряд погребения»¹⁶³.

Его при этом нисколько не смущало и то гигантское число шведов, которых он выводит на Русь. Выше говорилось, что её население около 1000 г. составляло порядка 4,5 миллиона, т. е. один процент равняется 45 000 человек, что уже есть весьма солидная цифра. Но если 45 000 умножить хотя бы на 5% (наиболее заселёнными как раз были местности по Волжскому и Днепровскому торговым путям, в том числе «стратегически важные пункты Северной Руси»), то получается, что в русских землях побывало как минимум 225 000 шведов (а их должно было бы быть очень много, согласно ещё тому расчёту, который озву-

чили в 1978–1980 гг. А.Н. Кирпичников, Г.С. Лебедев, В.А. Булкин, И.В. Дубов, В.А. Назаренко: «Варяжский военный корпус, судя по тому, что в битвах конца IX–X в. он образовывал самостоятельное тактическое подразделение, составлял от шестой до тринадцатой части общерусской полевой армии». В 1986 г. Кирпичников, Дубов и Лебедев уточнили: во времена Олега и Игоря при больших походах варяги составляли «от $\frac{1}{13}$ до $\frac{1}{8}$ полевого русского войска»¹⁶⁴). И куда тогда подевались следы всех этих сотен тысяч скандинавов, которые должны были заметны во всём и почти на каждом шагу? Но их не было и не могло быть, потому как фантомы никаких следов не оставляют.

Вопреки заверениям Л.С. Клейна¹⁶⁵, и погребения в ладье были свойственны не только скандинавам. Но тогда так считал, следует сказать справедливости ради, не один Клейн: утверждение о принадлежности таких погребений исключительно «героям Севера» опять же было общим местом в работах «советских антинорманистов» и в первую очередь археологов, например Д.А. Авдусина, Г.С. Лебедева, В.Я. Петрухина, В.В. Седова, В.А. Назаренко. Так, по Авдусину, «скандинавским обычаем следует считать погребения в ладье, которое не могло возникнуть у континентального народа», по Петрухину, «этническая принадлежность погребённых в ладье сейчас общепризнана — этот обряд несомненно скандинавский». Такие же слова слышатся и сейчас¹⁶⁶. Хотя, как отметил в 1972 г. Лебедев, сожжения в ладье до эпохи викингов в Швеции неизвестны¹⁶⁷, т. е. этот обряд привнесён туда со стороны. В 2001 г. шведский археолог О. Хиенстранд погребения в ладье из Венделя и Вальстерде, содержащие роскошные находки, связал с переселением групп населения с континента, которые привезли с собой эти предметы роскоши и навыки их изготовления¹⁶⁸.

Подобные погребения, констатировал в 1890 г. на весьма широком круге примеров Д.Н. Анучин, были характерны, помимо скандинавов, многим народам, проживавшим в разных регионах и на разных континентах (в том числе вдали от моря) — в Юго-Восточной Азии, на полинезийских островах, Новой Зеландии, Малайском архипелаге, в Северной Америке, в европейской и азиатской частях России. Причём исследователь заострял внимание на том факте, что «многие народы, имеющие лодки, не пользуются ими для погребения и предпочитают хоронить просто в земле (без гробов или в гробу), или на подмостках, или сжигают трупы и т. д.». И одну из причин использования ладьи при похоронах он видел в существовании у народов представления, что загробный мир находится где-то на земле, но отделён от настоящего водою и находится за пределами обширного моря¹⁶⁹.

Да и Авдусин в 1949–1975 гг. констатировал, что захоронения в ладье встречаются за пределами Скандинавии и у других народов, в том числе и у русских славян: они обнаружены у деревни Туровичи на Соже, в костромских и херсонских курганах, в восточной Карелии до второй половины XIX в. «могилы покрывались перевёрнутыми или распиленными пополам лодками», и даже в XX в. части ладьи знаменовали карельские погребения, а до недавнего времени ханты «хоронили своих покойников в лодках. Следовательно, говорить об этом обычае, как о присущем только скандинавам, — нельзя».

В 1968 г. Н.Н. Велецкая, указывая на великорусское ряжение, «где лодка служит реквизитом при изображении похоронной процессии», и на похороны в лодке у лужицких сербов, резюмировала, «что ладья — типологическое явление, имевшее место и у восточных славян»¹⁷⁰. В 1995–2013 гг. и Петрухин подчёркивал, что «сам ритуал погребения в ладье, будучи характерным для скандинавов, был лишь частью ритуально-мифологического комплекса, связанного с представлениями о путешествии в лодке на тот свет и присущего как скандинавам, так и славянам, а также балтам» (вместе с тем он отмечал и другой общий ритуал: обычай погребения с конём свойственен всем соседям славян, включая финнов, тюрков, скандинавов, балтов и что «традиция сожжения с жертвенными животными может быть признана достаточно архаичной, даже балто-славянской»). В 1999–2001 гг. историк С.В. Перевезенцев напоминал, что в России долго, согласно языческой традиции, «умершего везли либо в ладье, либо в санях»¹⁷¹.

Захоронения в ладье объявляют норманскими потому, что они могли быть только у морского народа, к коему обычно относят лишь норманнов. Как в 1875 г. объяснял своим оппонентам, возмущаясь их непониманием норманистского «ясного», А.А. Куник, считавший, что шведы уже в I в. н.э. преобладали на Балтийском море: «Где можно было найти тогда другой *мореходный* народ, который, подобно норманнам, в течение одного столетия успел бы сплотить в большое единое государство множество финских, литовско-летских и славянских племён, разбросанных по таким обширным равнинам... да мог не только сдерживать сопротивлявшихся посредством *речных походов*, но и приучить их к государственному порядку?»¹⁷².

Но кто кого приучал, если государство у восточных славян возникло на несколько столетий раньше, чем у шведов. Да, и в мореходстве они ничему не могли научить русских, потому как и не были в этом деле учителями. «Странно, — недоумевал ещё А.Л. Шлёцер, — что руссы мореходные названия, которыми так богат норманский язык, заняли от греков». То же самое говорил и Г. Эверс. Однако С.А. Гедеонов подытоживал, что «руссы не получили от греков ни одного названия своих кораблей, а вместе с варягами-вендами употребляли свои туземные, словенские». Хотя на Руси, если послушать норманистов, всё должно было быть так, как это было там, где норманны действительно присутствовали. Так, Р. Буайе подчёркивает, что «французский, английский, ирландский и другие морские лексиконы имеют в немалой части скандинавское происхождение». «Ирландцы, — детализирует Д. Хейвуд, — заимствовали у викингов оружие и кораблестроительные технологии, в гэльский язык вошло множество скандинавских слов, связанных с кораблями и мореходством». Такого же рода термины имеются и в ряде диалектов эстонского языка¹⁷³.

Восточные славяне издавна были прекрасными мореходами и без проблем и в большом количестве в X в. изготавливали крупные морские ладьи, преодолевавшие Чёрное море: они их «рубили» во время зимы, свидетельствует Константин Багрянородный, и с наступлением весны переправляли в Киев, где продавали росам, шедшим на них в Византию. А искусство строения судов ха-

рактально только для, если использовать терминологию Куника, морского народа, складывается столетиями. Причём с самого начала своей письменной истории славяне выступают как давно знающие это непростое искусство. Так, византийский историк первой половины VII в. Феофилакт Симокатта говорит под 591–593 гг., что аварский каган, готовясь к войне с византийцами, «приказал славянам построить большое число лёгких судов, чтобы подготовить переправу через Истр». Спустя некоторое время, уже под г. Сирмием «толпы славян стали готовить из дерева челноки, чтобы каган мог на них переправиться через реку» Саву. При осаде Константинополя в 626 г., описанной патриархом Никифором, авары опять же использовали славянские суда для действия на море. Потому как, пояснял в 627 г. Феодор Синкелл, «славяне приобрели большой навык в отважном плавании по морю с тех пор, как они начали принимать участие в нападениях на ромейскую державу»¹⁷⁴.

Миф о норманнах как единственных мореходах VIII–XI вв., миф стародавний. Ещё швед О. Верелий в 1672 г. уверял, что его предки «обладали превеликой способностью к плаванию... и больше жили на воде, чем на полях». Эта очередная ложная идея шведских авторов быстро получила статус бесспорной истины, звучащей в том числе и в статье Г.З. Байера «О варягах»: «Скандинавы в плаваниях толикое искусство и способность себе получили, что во всём тогдашнем веке никто с оными народами сравниться не мог»¹⁷⁵. Да ещё как мог. Например, южнобалтийские славяне, которые и научили морскому искусству скандинавов (что подтверждается славянскими названиями ряда плавсредств в скандинавских языках) и которые совершали плавания по Балтийскому морю и далеко за его пределами. Или столь же масштабные по тем временам морские походы русов — одних и с восточными славянами — на Византию, в которых участвовали сотни и тысячи ладий: в 860 г. — 200, в 911 — 2 тысячи, в 941, согласно Лиутпранду, более 1 тысячи¹⁷⁶.

Не был только скандинавам присущ и обряд преднамеренной порчи оружия (оно поломано или согнуто). Потому как этот обряд был характерен, к примеру, для племён полиэтнической пшеворской культуры. «Порча оружия и заострённых предметов, — подводил черту В.В. Седов, — типичная особенность пшеворских погребений. Ломались наконечники копий, кинжалы, ножницы, умбоны, ручки щитов, мечи. Этот обычай был распространён среди кельтов, отражая их религиозные представления, согласно которым со смертью воина требовалось символически “умертвить” и его оружие, предназначенное служить ему в загробном мире. От кельтов этот ритуал распространился на соседние племена». Д.А. Авдусин констатировал, что Хотимльский могильник (в Ивановской области, А.Е. Леонтьев датирует его VII–IX вв.) является «чудским, а обычай втыкать в землю возле покойника копья, кельты, ножи, встречается и там. Подобный обряд встречен и на юге Руси в доваряжское время».

Вместе с тем он напомнил, что обряд порчи меча является, как об этом писали в 1898 и 1913–1914 гг. чех Л. Нидерле и француз Ж. Дешелетт, «частью погребального обряда многих народов со времён Гальштата»¹⁷⁷, т. е. примерно с 900–400 гг. до н.э. (саму гальштатскую культуру племён южной части Средней Европы периода раннего железного века обычно связывают с кельтами).

В 1966 г. А.Н. Кирпичников, ведя речь о раскопках бескурганного куршского могильника Пассельн XI–XIII вв. (Латвия), находящегося на левом берегу р. Венты (Виндавы), проведённых в 1890-х гг. В.И. Сизовым и Н.Е. Бранденбургом, подчеркнул, что они собрали около 40 целых и ломанных мечей. В 1987 г. Н.В. Тухтина заметила, «что обычай сгибать оружие, положенное в могилу, наблюдается» «у некоторых групп финно-угорского населения, а также в Люцинском могильнике» (кладбище латгалов и ливов, датируемое приблизительно X в., на территории современной Латвии).

Стоит привести и определённую параллель рассматриваемому обряду: особенностью ритуала на пограничье этнографического расселения води, в пределах «чудских» погостов», отмечал в 1990 г. Е.А. Рябинин, является помещение на могилы, датируемые не ранее XII–XIII вв., преднамеренно согнутых или сломанных орудий труда. В 1995 и 2013 гг. В.Я. Петрухин констатировал, что славяне втыкали в качестве дополнительной расправы над погребаемым в кострище или в урну железные орудия — ножи, серпы и т. п., а у бедра погребённого на Гомельщине «мужчины была воткнута стрела, возле девочки — 2 ножа. Обряд втыкания различных предметов был в славянской традиции универсальным средством защиты от нечистой силы»¹⁷⁸ (Н.А. Макаров в 1992 г. был непреклонен в мнении, что «помещение в погребения намеренно сломанных вещей не характерно для славянского погребального обряда». Но с этим обрядом был связан и поступок сербского героя Марко Кралевича, который, увидав приближение смерти, саблей отсёк голову своему коню и похоронил его, затем «на четверо» разбил острую саблю и изломал боевое копьё¹⁷⁹).

Остаётся добавить, что далеко не все учёные разделяли к моменту выхода статьи Клейна в соавторстве с учениками версию о скандинавском происхождении ланцетовидных наконечников копий и стрел (но таковыми их к тому времени характеризовали, в том числе и учебниках, авторитетные археологи А.В. Арциховский и Д.А. Авдусин¹⁸⁰). Крупный специалист в области оружия А.Ф. Медведев подчёркивал в 1966 г., что ланцетовидные наконечники с плоским черешком без упора для древка появились на рубеже н.э. в Прикамье и были распространены «в северной полосе в IX — первой половине XI в. ... Ланцетовидные с упором появились значительно позднее, в VIII–IX вв., и были распространены по всей европейской части территории СССР в IX — первой половине XI в. Они широко применялись в этот период и в Скандинавии, но в Норвегии и Швеции, как правило, значительно крупнее и шире русских». В 1970–1977 гг. другой большой знаток оружия А.Н. Кирпичников отметил: «Считают, что ланцетовидные наконечники сложились в Франкском государстве в VII–VIII вв. и вскоре были переняты викингами, использовавшими их в качестве основного типа боевого копья», и что они и в Скандинавию, и в Англию, и на Русь «были привезены, вероятно, из рейнских мастерских»¹⁸¹. Ныне в трактовке ланцетовидных наконечников среди археологов те же «разброд и шатания». Так, например, С.В. Томсинский в 2004 г. посчитал их скандинавскими, а Н.В. Лопатин через восемь лет говорил, что они «не являются специфически скандинавскими предметами, а характерны для североевропейского вооружения в целом»¹⁸².

5.4 «Достижения» «советских антинорманистов»-археологов в духе Клейна, Лебедева и Назаренко, т. е. шведов Арне и Арбмана

Статья Клейна, Лебедева, Назаренко, в которой они показали виртуозность и в приписке скандинавам вещей и памятников, им не принадлежавших, и в создании цифр, не имевших к науке (буржуазной ли, советской ли) отношения, и в манипулировании ими, была густо замешана на «советском антинорманизме», за короткий срок своего существования накопившем очень много «антинорманистских» достижений норманистского толка. В этом плане уже показательны утверждения публикаций 1950-х — первой половины 1960-х гг. (в том числе в энциклопедических изданиях), тональность которых многократно усилилась в последующие десятилетия:

- варяги — «это древнерусское название жителей Скандинавии», происходит от древнескандинавского *vaeringjar* — норманские воины, служившие у византийского императора (И.П. Шаскольский)¹⁸³;

- весьма возможно существование в Ладоге IX–X вв., судя по обилию скандинавских находок в слое этого времени, что-то наподобие иностранных дворов или слобод с норманским населением, в пользу чего говорит существование там с тех пор Варяжской улицы (В.И. Равдоникас, К.Д. Лаушкин); Олег Вещий, видимо, выходец из норманнов; судя по летописным записям, в X–XI вв. норманны вели широкую торговлю с Русью и служили в качестве наёмников у новгородских князей (С.Н. Орлов)¹⁸⁴;

- «скандинавские вещи в Гнёздове представлены в основном женскими украшениями и поясными бляшками», и, видимо, они «были предметом торговли северных стран со Смоленщиной, а торговали этими предметами, вероятно, варяжские наёмные воины» (Д.А. Авдусин)¹⁸⁵;

- франкские (каролингские) клинки через скандинавские страны ввозились на Русь (Н.А. Чернышёв)¹⁸⁶; шведские купцы вели активную торговлю на торговых путях Руси, выступая в роли торговых посредников между странами Восточной и Западной Европы (И.П. Шаскольский)¹⁸⁷.

Причём Шаскольский с прямой и подробной отсылкой на скандинавских археологов, в первую очередь Т.Ю. Арне (видя в нём пропагандиста крайнего норманизма) и Х. Арбмана (с пояснением, что он «обосновывает свои утверждения целым арсеналом археологических доказательств» и что с его мнением «можно спорить, но нельзя не считаться»), аккуратно, с оговорками и без, но очень чётко внушал (да не по одному разу) «советским антинорманистам», что им надлежит обязательно взять при интерпретации своей собственной истории на вооружение из их установок:

- можно считать вполне достоверным мнение о том, что наличие в курганах сломанных и воткнутых в землю мечей является, как и трупосожжение в ладье, «чертой скандинавского погребального культа» (благодаря именно этим признакам В.И. Равдоникас надёжно выявил в урочище Плакун два типично

скандинавских — «и по устройству, и по обряду погребения, и по инвентарю» — кургана с сожжениями X в., идентичных шведским курганам около Бирки);

– мнение Арне и Арбмана о сходстве обряда погребения в ладье «в курганах средней Швеции и в двух Гнёздовских курганах и о норманском характере последних представляется вполне убедительным»;

– нельзя оспаривать норманское происхождение гривен с «молотками Тора», тесно связанными со скандинавским языческим культом (их наличие, «вероятнее всего, говорит о норманской принадлежности погребения»);

– вряд ли стоит спорить по поводу принадлежности скорлупообразных фибул — это, конечно, типичная деталь норманской женской одежды;

– две скорлупообразные фибулы и одна фибула меньшего размера различных типов, носившаяся на груди, «составляют в целом тот набор женских украшений, который был типичен для одежды норманской женщины IX–XI вв. Поэтому погребения, где найдено много скандинавских женских украшений, и прежде всего все три названные выше фибулы, следует, скорее всего, относить к норманнам; трудно предполагать, чтобы специфически норманский набор украшений стала носить славянская женщина»;

– наши учёные слишком категорично отрицали всякую связь франкских мечей с норманнами, тогда как они попадали на Русь «в значительной мере через посредство норманнов», бывших главными посредниками в торговле Руси с Западной Европой, «и поэтому некоторые мечи, имевшиеся в курганных погребениях, действительно могли принадлежать норманнам»¹⁸⁸.

Тогда же «советские антинорманисты», дабы не выглядеть «отсталыми» в глазах западных учёных, заговорили на понятном для них языке Т.Ю. Арне и А. Стендер-Петерсена. По заключению, например, Ф.Д. Гуревич от 1963 и 1978 гг., курганный могильник у дер. Вишнёво Приморского района Калининградской области сходен не только внешне с курганами Бирки, но и по обряду погребения и инвентарю (так, наиболее ценное оружие — меч, наконечники копий, чекан — согнуто или сломано). В связи с чем стала утверждать, что здесь, на территории пруссов, существовала норманская колония. Констатируя, что для женских погребений наиболее характерны овальные фибулы, она выделила, оставив его без объяснения, факт, абсолютно несвойственный Швеции: треть погребённых женщин были наездницами, о чём говорят находки стремян и удила. Тогда как в Бирке на 238 женских погребений приходится лишь одна накладка от сбруи коня и единственные удила, т. е. обнаружена только одна «наездница»¹⁸⁹ (вместе с тем она рассуждала и о других норманских колониях в земле пруссов).

Параллельно с начинавшимся «скандинавским бумом» в советской науке шла абсолютизация викингов и скандинавских источников. Так, в 1966 г. А.Я. Гуревич в книге «Походы викингов» (а она, по мнению В.Я. Петрухина, предложила «новый взгляд на одиозных “морских разбойников”») вёл речь о том, что в VIII–IX вв. викинги не знали себе равных на море (они безраздельно господствовали на Балтийском и Северном морях, бороздили Средиземное море, а их суда плавали по Днепру и Волге вплоть до Чёрного и Каспийского морей), что норвежские викинги, в силу географического положения их страны, устремлялись на северо-запад, датские — в основном на юг и запад, шведские, в виде купцов

и воинов, — на восток, что норманны облагали племена Восточной Европы данью, охотно становились наёмниками на службе у славянских князей и византийских императоров. Повествовал он и о том, что власть в Новгороде и Киеве захватили выходцы из Швеции, что от тех же выходцев вели свой род русские князья, что Олег, Игорь, Ольга, а равно и часть их приближённых и дружинников, были скандинавами, что как имена участников договоров 911 и 944 гг., так и некоторые названия днепровских порогов — скандинавские, что полюдьё X в. у русских представляет аналогию древнескандинавскому кормлению — вейцле, что Владимир и Ярослав Мудрый прибегали к услугам дружины, приглашённой ими из Скандинавии.

Вместе с тем Гуревич отмечал историзм саг и в 1972 г. этой теме посвятил специальную работу: «История и сага», в которой представил «Круг земной» Снорри Стурлусона как «одно из самых замечательных творений исторической мысли средневековой Европы», проводил мысль, что сага вообще отличается исключительно «объективным стилем повествования, фактичностью изложения» (она не знает «вымышленных героев») и что «категория художественного вымысла или преувеличения абсолютно чужда сознанию создателей саг» (хотя тут же признаёт, что в первой из шестнадцати саг «Круга земного» — «Сага об Инглингах», основанной преимущественно на поэме исландского скальда Тьодольфа, «много ошибок, погрешностей против исторической точности и просто фантастического материала») ¹⁹⁰.

Так саги начали приобретать в глазах «советских антинорманистов» статус серьёзного исторического источника, которыми они стали, по примеру О.И. Сенковского, «поправлять», «уточнять» и «дополнять» ПВЛ, наводняя нашу историю несвойственными ей героями (по мере усиления норманистских настроений в науке, саги будут преподносить в качестве равных ПВЛ и даже более весомых, чем она). Однако сагам и их потенциалу как исторического источника давались — и до Гуревич, и синхронно с ним, и после него — в советской и зарубежной науке совершенно иные оценки. Так, скандинавист Е.А. Рыдзевская заключала, что они малонадёжны как исторический источник. Её коллега М.И. Стеблин-Каменский в 1984 г. констатировал: «Всё же остаётся общепризнанным, что “Круг Земной” — это художественная литература, скорее, своего рода исторический роман, чем история». Но при этом он полагал, что скальдические хвалебные песни есть наиболее надёжный источник, т. к. вымысел «был в них невозможен». В 1985 г. (а о том они говорили и позже) скандинависты Е.А. Мельникова, Г.В. Глазырина и Т.Н. Джаксон, также выделяя скальдические стихи, которые отражают какие-то факты действительности, резюмировали, что игнорирование жанровой специфики древнескандинавских памятников письменности, включая саги, «времени их бытования в устной передаче, свойственной средневековому сознанию стереотипности описаний, может вести — и нередко приводит — к извлечению из них псевдоинформации и созданию на её основе исторических призраков» ¹⁹¹.

Западные учёные в своём отношении к сагам были куда больше «антинорманисты», чем многие их советские коллеги. Историческая ценность исландских саг, акцентировал внимание в 1962 г. англичанин П. Соьер, невелика, в связи

с чем ими надлежит пользоваться с большой осмотрительностью, что в сагах в «Круге земном» «увековечены предания, а не история», и что «историчность большинства стихотворений скальдов» «невелика, а смысл нередко туманен». Шестью годами позже его соотечественник и также большой знаток истории викингов Г. Джонс был куда более негативен в оценке познавательных возможностей северных источников, рисуящих, по его оценке, легендарную историю шведов и данов, и твёрдо считал, что «саги не содержат точного и беспристрастного изложения известного фактического материала» (могли быть сокращены, дополнены, изменены или даже искажены), что «Круг земной» Снорри Стурлусона как исторический источник не выдерживает критики и что «времена безоговорочного доверия к сагам, наконец, отошли в прошлое».

Причём «не следует думать, что скальды в своих стихах всегда говорили правду», ибо их уста «размыкало золото». В 2004 г. французский учёный Р. Буайе, выступая против мифов, сложившихся вокруг саг, подчеркнул, что все они, появившиеся значительно позже эпохи викингов, являются произведениями искусства, литературными шедеврами, не имеющими равных. Но «усматривать в них что-либо другое значило бы исказить их смысл», в связи с чем «при написании истории викингов опираться на сагу, какой бы она ни была, нельзя — это решительно исключено» и что «то же самое можно сказать об эддических и даже скальдических поэмах, хотя некоторые из последних появились в период с IX по XI в.». Самого же Снорри Стурлусона он охарактеризовал в качестве великого, наряду с Саксоном Грамматиком, мифографа Севера¹⁹².

Публикации Ф.Д. Гуревич и А.Я. Гуревича разжигали «творческое воображение» советских исследователей, занимавшихся русскими древностями (тому ещё способствовала «скандинавская колония», обнаруженная в Гробине в Латвии. Как заметил в 2009 г. шведский историк Д. Хариссон, может, туда и добирались его далёкие предки, но колонии там не было. Однако Е.А. Мельникова сегодня продолжает утверждать, что в результате миграций из переселённых областей Восточной Скандинавии первые колонии скандинавов появились в том числе и в Гробине¹⁹³). И разжигали это «творческое воображение» в первую очередь у не церемонившихся с источниками археологов и филологов, и особенно при разговоре о Ладоге, которую стали преподносить в качестве форпоста скандинавской культуры в Восточной Европе.

К чему приводила увлечённость подобной мыслью, продемонстрировала, стоит вернуться к этому тезису, в 1965 г. Г.Ф. Корзухина (по характеристике историка Л.В. Алексеева от 1980 г., «тонкий и осторожный исследователь»¹⁹⁴). Говоря, что в древнейшем слое Ладоги (VIII–IX вв.) имеются финские и отдельные скандинавские вещи, тогда как славянского материала в нём нет вовсе (он появляется только в X в.), исследовательница заключила, что «древнейший период в жизни Ладоги выпадает из истории собственно древней Руси»¹⁹⁵. По прошествию значительного промежутка времени и уже после смерти Корзухиной А.Н. Кирпичников, Г.С. Лебедев, В.А. Булкин, И.В. Дубов, В.А. Назаренко в 1978–1980 гг. оценили её мнение как «поспешное»¹⁹⁶. Однако оно столь же поспешно, но очень прочно закрепилось в науке, включая зарубежную (плодя и подкрепляя там другие «открытия»). Причём Корзухина не была оригинальной,

а лишь реанимировала, доведя его до абсурда, вывод Н.И. Репникова, ведущего раскопки в Старой Ладоге в 1909–1913 гг. и делившего слои Ладоги на финский — древнейший (до IX в.), норманский (IX–X вв.) и славянский — с XI столетия (об этом выводе в 1930 г. оповестил западных учёных В.И. Равдоникас в вышедшей в Швеции на немецком языке монографии «Норманны эпохи викингов и Ладожская область», за которую он, видимо, и был в 1936 г. избран действительным членом Норвежской Академии наук).

В 1966 и 1971 гг. Корзухина сказала по поводу могильника Плакун (заручаясь мнением В.И. Равдоникаса, который «определённо и надёжно» соотнёс его с норманнами, потому как «сожжения в ладьях, меч, воткнутый в землю подле кальцинированных костей»), что это кладбище связано с материалами слоя Е Староладожского Земляного городища (VIII–IX вв.) и является местом упокоения «группы выходцев из Скандинавии, живших здесь постоянно и даже с семьями». Погребения скандинавок Корзухина «безусловно» увидела ещё и в курганах № 5, 7 и 13 (Равдоникас же таковыми считал только два захоронения. В.А. Назаренко в 1997 г. почему-то утверждал, но таких слов этот археолог не произносил, что он определил рассматриваемый могильник «как место захоронения заезжих купцов и воинов-наёмников»).

По мнению Корзухиной, на выделяемую ею хронологическую нишу указывают деревянная палочка с рунической надписью, датируемая первой половиной IX в. (ранее её определяли VIII–IX вв.), и фризский кувшин (кувшин типа «Татингер», относимого шведской исследовательницей Д. Селлинг к первой половине IX в.) самого раннего кургана № 7 (сожжение в ладье), т. к. он попал туда, возможно, не прямо из Фризии, а через Швецию (но при этом археолог не «заметила» в том же кургане, впрочем как и в кургане № 5, лепных сосудов, связанных с южнобалтийскими славянами). После чего она «точно» заключила, что курган № 7 «был насыпан в IX в., а может быть, в первой его половине» и что скандинавы появились уже в существующем посёлке «где-то в середине — второй половине VIII в.» и жили в нём, судя по сагам, около трёх столетий¹⁹⁷.

И эти выводы были незамедлительно подхвачены «советскими антинорманистами», создававшими на её основе другие норманистские мифы. Но датировка Корзухиной ныне признана археологами ошибочной. В 2008–2010 гг. Я.В. Френкель констатировал, что её заключение по поводу времени возведения кургана № 7 «неоправданно удревнено и сужено», «приблизительно» и уязвимо «даже на уровне источниковедческих возможностей конца 1960-х — начала 1970-х гг.». И потому его поставили под сомнение А.Н. Кирпичников, О.И. Богуславский, А.Д. Мачинская, К.А. Михайлов, А.В. Плохов и сам Френкель, предложив, посредством использования в том числе несогласованных между собой хронологических шкал (североевропейской, ладожской и новгородской, т. е. также «прикидывая на глазок»), иные даты существования могильника Плакун: и 850-е — 950-е гг., и 860-е — 950-е гг., и конец IX в., и первая половина следующего столетия, при этом датируя курган № 7 и 860-ми — 890-ми гг., и 880-ми — 890-ми гг., и 880-ми — 920-ми гг., и началом X века.

Френкель, признаваясь, что сложно понять отнесение Корзухиной других плакунских погребений к IX в. (хотя ничего сложного в том, конечно, нет, потому

как всё объясняется лишь её норманистским «хотением»), к тому же указал на факты вольной интерпретации ею данных зарубежных учёных. Так, Д. Селлинг датировала «фризскую керамику» не первой половиной IX столетия, как утверждала Корзухина, а его второй-третьей четвертью. Вместе с тем Френкель заметил, что и базовая методика Михайлова, относящего данный памятник к первой половине X в., была выбрана неудачно, ибо он руководствовался тезисом, что «если при анализе древнерусских камер учитывать их скандинавское происхождение, то следует учитывать и скандинавскую хронологию этих захоронений». Своё же окончательное отнесение кургана № 7 к 880-м — 920-м гг. Френкель объяснял его привязкой к хронологической шкале Ладожского поселения, в целом синхронного плакунскому некрополю¹⁹⁸.

Тенденциозность рассуждений Корзухиной демонстрирует и тот факт, что «татингские» сосуды находили и находят во многих местах Европы, а не только в Швеции. Как констатировал в 2007 г. А.В. Плохов (позже повторив эту информацию в соавторстве с М.А. Кульковой), они зафиксированы более чем в 50 местах «в регионе Балтийского и Северного морей от Майнца и Лорша в Германии до Борга на Лофотенских островах в северной Норвегии, от Саутгемптона, Йорка в Англии и Сен-Дени во Франции до Старой Ладogi в России». Немецкий археолог М. Мюллер-Вилле, в 2000 г. говоря, что эти кувшины, производившиеся во второй половине VIII — первой половине IX в., «ввозились в Скандинавию и на Русь из владений Каролингов», резюмировал, что «в рамках международного торгового обмена кувшин типа Татингер, надо полагать, через Дорестада (территория современных Нидерландов. — В.Ф.) и Бирку попал в Старую Ладogu»¹⁹⁹ (но он с тем же успехом мог попасть туда и через земли южнобалтийских славян, на многих поселениях которых найдены обломки подобных кувшинов²⁰⁰).

Параллельно с тем Корзухина легко толковала археологический материал в пользу скандинавов (чему, а также в целом её стремлению на русские древности смотреть лишь шведским взглядом в 2010 г. Л.С. Клейн давал самую лестную оценку: она, будучи ревнителем объективной науки, «учила молодёжь достоинству, самоуважению и преданности научным принципам — этим очень нужным качествам в условиях тотального режима», и её работы позволяли представить «истинное место норманнов в русской истории»²⁰¹). В 1966 г. исследовательница, рассматривая найденный в Старой Ладогe в 1910 г. Н.И. Репниковым бронзовый со стальным лезвием топорик и отмечая, что «ни одной прямой аналогии этому шедевру искусства неизвестно», заключила, ослеплённая норманизмом: «По-видимому, мастер, создавший ладожский топорик, был выходцем из Швеции» (при этом она, что опять же демонстрирует её норманистскую предвзятость, настоятельно рекомендовала «из осторожности лучше, пожалуй, не говорить о славянском элементе в декорировке топорика, как это делают Г.П. Гроздилов и П.Н. Третьяков, поскольку славянский тератологический орнамент X в. и более раннего времени нам пока неизвестен»).

В 2002 г. А.Н. Кирпичников и А.И. Сакса, констатируя, что «среди скандинавских древностей нет аналогий» орнаментальному убору топорика, посчитали его финским изделием. В 2010–2011 гг. В.Я. Петрухин, указав, что ему нет ана-

логий и в Финляндии, подытожил: «Можно заметить, что мотивы литья воспроизводят распространённые образцы, свойственные как Востоку в широком смысле, так и романскому западу». Но с лёгкой руки Корзухиной топорик, якобы созданный в Ладогe шведским мастером, пошёл «гулять» по страницам научных изданий, зримо-материально подкрепляя выводы наших и зарубежных норманистов. И он, конечно, присутствует в вышерассмотренной статье Л.С. Клейна, Г.С. Лебедева и В.А. Назаренко. А в 2009 г. Клейн уже в одиночку, ведя речь о вещах с орнаментом «скандинавского происхождения в стиле “борре” и в стиле “Йеллинг”», сослался в том числе и на статью Корзухиной 1966 г.²⁰² (в свою очередь она в 1971 г. заявила о пребывании скандинавов с семьями в Ладогe, в том числе под несомненным влиянием статьи названных авторов 1970 г., хотя на неё и не ссылается).

В 1976 г. в посмертно изданной статье Корзухиной фальшивую интерпретацию ладожского топорика разделила стальная группа кресал, изготовленных в Прикамье в финно-угорской среде и содержащих на рукояти изображения двух хищных птиц и бородатого мужчину между ними. Отринув версию, выдвинутую в 1960 г. датским специалистом П. Лундстремом и поддержанную вскоре Л.А. Голубевой, полагавших, что на них представлен Александр Македонский в полёте на грифонах, она преподнесла их в качестве изображения Одина и двух его воронов. А принципиальное несоответствие подобной трактовки тому, что Один на кресалах, отнесённых ею к X в., изображён не одноглазым, а с двумя глазами, «нейтрализовала» другим допуском, что «камский мастер мог не знать тонкостей скандинавской мифологии и запомнить лишь поразивший его миф о двух вещих воронах, которых он и изображает». При этом считая, что этот миф посредством торговли викингов «мог стать известным в Прикамье» (идею Корзухиной поддерживали другие исследователи и не только археологи: В.И. Кулаков, А.В. Головнёв, Н.В. Фёдорова)²⁰³.

В 2003–2011 гг. археологи В.Н. Зоценко, Ф.А. Андрощук (оба из Украины) и В.Я. Петрухин отвергли подобную трактовку («ничего скандинавского нет... в бронзовой зооморфной рукояти кресала, орнаментный сюжет которой Г.Ф. Корзухина ошибочно считала скандинавским», «парные птицы по сторонам антропоморфной фигуры в изобразительных мифологемах Севера I — начала II тыс. н.э. занимает одно из ведущих мест» и что эти бытовые устройства имели сугубо местные коми-пермяцкие корни, как и подоснова семантики их изобразительного ряда находилась в мифологемах прикамских финно-угров»). В 2006 г. историк Н.Б. Крыласова, специально обратившись к анализу этих кресал, аргументировано продемонстрировала их местный характер. При этом правомерно заостряя внимание на том, что никто из учёных не пытался искать объяснения рассматриваемого сюжета «в местной финно-угорской мифологии, а не в легендах дальних стран»²⁰⁴.

Одновременно с Корзухиной столь же тенденциозно интерпретировали археологический материал её коллеги. В 1968 г. З.А. Львова, отметив, что стеклянные бусы VIII–IX вв. ладожских типов в изобилии найдены на территории Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Словакии, Моравии, Чехии, Верхнего Пфальца, Тюрингии, Саксонии, Дании, Скандинавии, на о. Готланд (а также на

Северном Кавказе, в Крыму, в Подонье, в Волго-Окском междуречье, в Прикамье, в Средней Азии, в Польше), резюмировала: «именно по водным торговым магистралям Западной Европы через Готланд и Скандинавию и не без посредничества норманнов» они проникли на север Восточной Европы, в частности, в Ладогу и что в первую очередь это можно сказать об образцах VIII–IX вв. (в 2003 г. она, подчёркивая, что «сегодня нам известно о бусах Старой Ладogi больше, чем ладожанам, которые их носили», продолжала утверждать, вопреки уже известным фактам, что в Ладогу бусы ввозили и через страны Северной Европы: Швецию, Данию, Норвегию)²⁰⁵.

Весьма значимую роль в «превращении» Ладogi в материальный памятник норманнам на Руси сыграла, наряду с Корзухиной, О.И. Давидан, посвятив этой теме в 1968–1971 гг. ряд публикаций. Рассмотрев в них ладожские вещи, которые, по её мнению, либо имеют скандинавское происхождение, либо были привезены норманнами, — деревянный стержень с рунической надписью, скандинавская овальная фибула, обломок железной гривны и подвеска от подобной гривны в виде миниатюрного топорика, 4 игральные костяные «шашки» полусферической формы (т. к. их скандинавское происхождение убедительно доказано Корзухиной), 8 фризских роговых гребней (хорошо известных в Швеции), кожаная обувь, стеклянные бусы и 21 деревянный игрушечный меч, копии франкских мечей (и предполагая «с большей степенью вероятности», что знакомство ладожан с такими мечами произошло не без участия скандинавов), — предположила, что вместе со скандинавскими торговцами в Ладогу в VIII в. прибывали ремесленники, которые оседали здесь «на длительное время, передавая свой опыт и умение местным мастерам»²⁰⁶.

В сборнике, вышедшем в 2002 г. и посвящённом памяти Давидан, её коллеги по Эрмитажу подчёркивали, что особенностью научной деятельности учёного «было тщательное исследование отдельных групп находок, которые благодаря вдумчивому анализу и подбору неоспоримых аналогий становились безупречной основой для других исследований и историко-культурных выводов» и что «она никогда не шла на поводу принятой одно время славянской гипотезы о населении Старой Ладogi, но твёрдо отстаивала скандинавскую, варяжскую, не отрицая при этом и других групп населения»²⁰⁷. Память об ушедших сподвижниках по науке — это, разумеется, свято. Но как быть с тем, что «твёрдые» позиции Давидан, становившиеся «безупречной основой для других исследований и историко-культурных выводов», не выдержали проверку временем по причине своей тенденциозности.

Выше говорилось устами посвящённой в этот процесс археолога Н.И. Платоновой, как в 1960-е гг. её старшие коллеги начали наши древности превращать в неславянские. Так, была, в числе прочих, отвергнута и «славянская гипотеза о населении Старой Ладogi». Хотя эту гипотезу убедительно отстаивал, например, В.Б. Вилинбахов, в 1963 г. отметивший, что славянская колонизация северо-западной части Восточной Европы начинается с рубежа VI в., что эти колонисты шли из земель южнобалтийских славян, что древнейший слой Ладogi, датируемый им VII–IX вв., имеет славянское происхождение. Ещё раньше, в 1949–1951 гг., речь о славянском начале Ладogi вёл В.И. Равдоникас, назы-

вая иные места исхода первоначальников Ладоги. В 1960 г. С.Н. Орлов отмечал, что восточные славяне впервые появились в Южном Приладожье около VI–VII в.²⁰⁸ В 1985 г. А.Н. Кирпичников и Е.А. Рябинин связывали возникновение Ладоги со славянским освоением Нижнего Поволжья²⁰⁹. В 2008–2014 гг. Кирпичников (один и в соавторстве) заострял внимание на том, что именно славяне, которые могли прийти в Южное Приладожье «в конце VII — начале VIII века» и даже значительно раньше, в 753 г. основали Ладогу и что, возможно, она возникла ещё раньше: «на рубеже VII–VIII столетий»²¹⁰.

Но непреодолимое желание некоторых «советских антинорманистов» не видеть очевидное славянское унесло науку в норманистские выси, что уже в те годы мало-помалу превращало наше государственное начало в приложение к истории Швеции. В отношении «глубокой источниковедческой обоснованности выводов» Давидан замечания принципиального свойства сделал в 1986 г. американский учёный Т.С. Нунан. Во-первых, кожаные башмаки с признаками сходства с башмаками из древнейшего горизонта Ладоги «были найдены в трёх польских комплексах IX–XI вв. (т. е. в землях южнобалтийских славян. — В.Ф.) и в одном норвежском комплексе X века», следовательно, эта обувь была в ходу в разных областях, прилегающих к Балтийскому морю. Тем самым Давидан «не представила убедительных данных для подтверждения предложенной ею связи между этими башмаками и скандинавским присутствием в Старой Ладоге».

А по поводу её заключения о мечях Нунан сказал, что оно «не найдёт широкого признания в научных кругах», что «уровни, в которых появляются игрушечные мечи, не обязательно являются точными указателями времени обращения их настоящих прототипов» и что эти находки нельзя считать лучшим свидетельством скандинавского присутствия в городе до середины IX века. Касаясь же утверждений Львовой и Давидан в отношении бус и полагая, что их большое количество достигло Ладоги «в результате контактов со Скандинавией и Прибалтикой», Нунан констатировал, демонстрируя источниковедческую щепетильность, которая никогда не бывает излишней: «В то же время нам следует помнить, что многие вопросы о ранних средневековых стеклянных бусах из Центральной и Восточной Европы остаются без ответа».

Задавался он и другими, необходимыми в таких случаях вопросами, проигнорированными советскими археологами, после чего заключил, «что нам недостаёт многих данных о происхождении и распространении бус из горизонта Е₃ Старой Ладоги». Вместе с тем подчеркнув, заостряя внимание на активных связях восточных славян с южнобалтийскими, что последние в Ладоге присутствовали, наряду со скандинавами, с самого её начала (в 1997 г. Р.Д. и Е.В. Голдины, ведя речь о Верхнем Прикамье и отметив, что появление там многочисленных стеклянных бус датируется рубежом эр, что туда же в первой половине I тыс. н.э. наблюдается массовый приток ближневосточных бус и что в V–VIII вв. этот южный импорт продолжает нарастать, согласились с выводом датского учёного Й. Каллмера, высказанном в 1989 и 1991 гг., что бусы, характерные преимущественно для Восточной Европы и Скандинавии, «поступали в страны Балтии через Восточную Европу, а не через Западную». Причём «все типы ранних восточных бус, обнаруженных в Скандинавии, — констатирова-

ли они, — не только хорошо известны в могильниках неволинской культуры, но и появились здесь значительно раньше, чем на Балтике». В 2003 г. А.И. Волковицкий, Б.С. Короткевич, С.Л. Кузьмин указали, что костяные гребни первоначально, в VII–VIII вв., производились во Фрисландии, поэтому их называют фризскими, «но потом мода на эти изделия распространилась по всей Северной Европе и на Балтике», т. е. они могли попасть в Старую Ладугу из любой точки этого региона)²¹¹.

То, что выводы Давидан (как и её коллег) «становились безупречной основой для других исследований и историко-культурных выводов», множившие такие же «безупречные основы», а те — другие, хорошо, например, видно на примере ладожского «скандинавского» производственного комплекса середины VIII в., открытого в 1973–1975 гг. Е.А. Рябининым. Скандинавским он был объявлен потому, что, согласно Корзухиной, в Плакуне раннее скандинавское погребение относится к началу IX в. (что сейчас отвергнуто), согласно же Давидан, в Ладогe находились скандинавские ремесленники, а обнаруженный набор инструментов близок набору инструментов, найденному на Готланде и датированному X–XI веками. Такое заключение весьма впечатлило и «советских антинорманистов» (за исключением, видимо, А.Н. Кирпичникова, заметившего в 1985 г., что происхождение бродячего ремесленника указывает на Северную Европу, но необязательно на Скандинавию), и буржуазных норманистов. В 1997 г. Г.С. Лебедев, увлекаясь при разговоре о скандинавах очень широкими обобщениями, тиражировал мысль, ссылаясь на Рябинина, что в Ладогe «действовал скандинавский судоремонтный производственный комплекс, связанный с ремеслом и меновой (пушной) торговлей»²¹².

Норманизация Ладоги параллельно шла с такой же норманизацией Гнёздова (Гнёздовский археологический комплекс расположен в 12–15 км ниже Смоленска на правом берегу Днепра, при впадении в него ручья Свинец). Постепенную «норманизацию» его древностей иллюстрируют работы изучавшего памятник с 1949 г. Д.А. Авдусина, при этом убеждавшего, что он своими материалами опровергает норманизм. Потому как основная масса Гнёздовских курганов (видимо, курганов IX в. там нет), включая основную массу скандинавских погребений, совершена во второй половине X в., когда Русское государство уже существовало. Следовательно «норманны, жившие в Гнёздове или проходившие через него, не могли хотя бы поэтому... быть сопоставлены ни с варягами в легенде о “призвании князей”, ни с варягами, участвовавшими в походе Олега через Смоленск». В связи с чем, констатировал учёный, уточнение датировки Гнёздова «существенно обеспокоило сторонников норманской теории основания Древнерусского государства не только за рубежом»²¹³ (т. е. существенно обеспокоило какую-то часть «советских антинорманистов»).

Принимая тогда за скандинавские захоронения 49 курганов из 950, а из них 17 — как возможные, Авдусин, по оценке археолога И.В. Кураева, постепенно проявляя «антинорманизм» в «более мягкой форме», в конечном итоге выделил на Гнёздовском некрополе «уже более ста скандинавских захоронений». Получается, если следовать логике этого пустопорожнего разговора о «советском антинорманизме» именно как антинорманизме и принимать во внима-

ние тот факт, что в 1949 г. Авдусин к норманским отнёс два кургана (к славянам — всё остальные), в 1967 г. в учебнике «Археология СССР» — «менее двадцати», в 1970-х гг. — 41, в 1982 г. — или 60, или более²¹⁴, то получается, что он в те годы проявлял «антинорманизм» в самой жёсткой форме (эту пустопорожность, идущую от непонимания сути «советского антинорманизма», демонстрирует и оценка Авдусина, данная А.В. Арциховскому: тот в варяжском вопросе «был крайним антинорманистом», потому как «не увидел скандинавских элементов, например, в Большом кургане Гнёздова и в Чёрной Могиле, преуменьшал в целом роль скандинавов в жизни Руси». Свой же «антинорманизм» Авдусин сводил к тому, что отвергал идею о Гнёздове как скандинавской колонии, на которой настаивали А.А. Спицын, Т.Ю. Арне и др. Столь же решительно, стоит сказать, им было отвергнуто и мнение Б.А. Рыбакова, что Гнёздово было военным лагерем варягов IX в., поставленном рядом со Смоленском).

Число норманнов у Авдусина в Гнёздове возрастало по мере того, как им увеличивался перечень «бесспорных» скандинавских признаков: в ряде курганов «прослеживаются черты скандинавского погребального обряда в сочетании со значительным числом вещей скандинавского стиля», что захоронения в ладье являются скандинавским обрядом (хотя в Гнёздове, по причине абсолютного господства кремации, нет сохранившихся в курганах ладей, но на кострищах встречаются заклёпки), что таким же обрядом является обряд возложения скандинавской железной гривны на урну, что, видимо, «скандинавской чертой следует считать обкладывание погребальной урны камнями», что привнесение в жертву козла «легко сопоставляется со скандинавскими мифами о богах и героях», что большинство скандинавских вещей в Гнёздове представлено женскими украшениями (например, скорлупообразные фибулы), что в курганах встречаются вещи-гибриды, орнамент которых выполнен в скандинавском стиле. В конечном итоге Авдусин капитулировал в 1988 г. перед ленинградскими археологами и их «скандинавскими открытиями»: «Новые материалы Гнёздова позволили мне пересмотреть своё мнение о числе скандинавов в Гнёздове: их оказалось во много раз больше, чем предполагалось раньше» (как с восторгом победителя заметил в 2009 г. по поводу такого признания Л.С. Клейн, «новых курганов не было, новыми были только наши работы!» и что Авдусин «давления научных аргументов... выдержать не мог»)²¹⁵.

В 1974 г. Г.С. Лебедев и В.А. Булкин, относя сложение Гнёздовского комплекса к IX — началу X в. и ведя речь о занятии его населения торговлей и о присутствии в его составе скандинавов, высказали идею, что Гнёздово значительно отличается от исследованных русских городов X–XI вв. и по планировке, и по времени существования, а в известной мере и по формам социальной организации, и тем самым очень похож на шведскую Бирку. Тогда же Лебедев сожжения в ладье X в., открытые в восьми курганах Гнёздовского могильника, отнёс к скандинавам, т. к. «все основные признаки обряда... тождественны признакам шведского варианта В₁ в Бирке». В тот же год Т.А. Пушкина защитила (под руководством Авдусина) кандидатскую диссертацию, в которой вела речь о присутствии скандинавов в Гнёздове (возникновение этого поселения

она датировала рубежом IX–X вв.), на что указывают многочисленные погребения с оружием и «молоточками Тора», женские украшения скандинавских типов, которые не могут быть предметами торговли и которые свидетельствуют о присутствии в Гнёздове «скандинавок, может быть, в качестве рабынь»²¹⁶.

Тремя годами позже Л.В. Алексеев, говоря о наличии на Гнёздовском могильнике двух десятков курганов с захоронениями норманнов, выразил (тем самым повторяя предположение Т.Ю. Арне) уверенность в том, что «их было, вероятно, больше, так как мужские захоронения не всегда этнически определяемы» (и это «пророчество», благодаря Ю.Э. Жарнову, сбудется с огромной «прибытком»). А затем рассказывал, что норманские древности обнаружены и на Гнёздовском селище, что в Гнёздове, особенно в IX в., твёрдо ощущается его связь со Скандинавией, что весь характер памятника напоминает многие её поселения, в связи с чем вполне правомерно сравнение Гнёздова с Биркой, что «варяжский конунг Олег» выстроил «ряд пунктов для сбора дани, а погребения варяжских женщин (не случайно самая южная точка их — Гнёздово) указывают на места поселения варяжских чиновников с семьями», контролировавших сбор дани в пользу варягов, что часть скандинавского населения Гнёздова «была представлена купечеством», что во второй половине X в. норманнов начинают энергично вытеснять кривичи.

В 1979 г. Авдусин, полемизируя с Алексеевым по поводу связи Смоленска и рядом с ним находящегося Гнёздова (ибо отрицал их преемственность), грудью встал на защиту мнения Пушкиной, потому как именно во второй половине X в. скандинавских древностей в Гнёздове «становится больше, а не меньше. То было время максимального скандинавского влияния в Гнёздове». А слова оппонента, что на Руси были чиновники по сбору дани в пользу варягов, классифицировал как признание существования скандинавского государства: «Это прямая поддержка норманской теории создания древнерусского государства скандинавами, противоречащей марксистско-ленинскому положению о возникновении государства в результате внутреннего развития общества, а не в результате вмешательства извне». Поправил Авдусин его и в том, что «Гнёздово — вовсе не самая южная точка, где известны погребения варяжских женщин. Они есть, например, в Шестовице». Отметив, что весьма тенденциозно утверждение Алексеева «о типологическом сходстве Гнёздова и скандинавских городов», Авдусин в целом резюмировал, что его статья «практически не содержит собственных разработок автора, разве что норманскую теорию о варяжских пунктах сбора дани»²¹⁷.

Показательно, что в 1980 г. Алексеев, нисколько не убоившись обвинений в «норманистском уклоне» и отходе от марксизма-ленинизма (другое время стояло на дворе, да и марксизм-ленинизм обветшал, да и «скандинавский бум» уже кардинально переформатировал и науку, и общество), в монографии «Смоленская земля в IX–XIII вв.» повторил — с развитием и дополнением — абсолютно все свои мысли трёхлетней давности. Причём, ведя речь уже о 50 курганах с захоронениями норманнов, опять же резюмировал, разжигая аппетит у археологов, что «их было намного более, чем полагает Д.А. Авдусин, так как огромное количество погребений — особенно мужских — этнически неопре-

делимы». При этом заметив, с ссылкой на статью 1970 г. Л.С. Клейна, Г.С. Лебедева и В.А. Назаренко, что они «вполне правомерно предлагают исключить из рассмотрения все этнически неопределимые курганы и не считать их славянскими».

Энергично рассуждал Алексеев и о том, что «по пути из варяг в греки двигались многочисленные вооружённые торговцы-скандинавы», что торговля Гнёздова «с норманнами была эффективной уже в IX в.» (и мечи на Русь, видимо, привозили норманны), что все скандинавские вещи в Гнёздове найдены «в самых больших курганах, где обнаружен и самый богатый инвентарь, что свидетельствует о принадлежности там погребённых к самому высокому классу. К этому же классу относились и погребённые там скандинавы» (они же были погребены рядом с Гнёздовом в Новосёлках), что они не чуждались влияния аборигенов, что они, как показывают шведские археологи, прежде всего Т.Ю. Арне, прибывали в Гнёздово из Средней Швеции, что «скандинавские семьи жили на Руси только в северных районах, потому что там собиралась скандинавская дань, что это были семьи чиновников, заведовавших поступлением дани с окрестных племён. Их окружало поселение варяжских воинов, охранявших собранное и требовавших дани силой в случае сопротивления»²¹⁸.

Равно такая же «норманская история» активно писалась археологами и для других русских территорий. Причём они, осознавая совершенную зыбкость собственного материала, начинают подкреплять его показаниями, несмотря на свой скепсис к ним, письменных источников (отечественных, но прежде всего скандинавских), трактуя их через призму «шведского взгляда», превращающего совершенно пустое в «научное доказательство». И тем самым выстраивая декорации к своим построениям (как пояснял в 2010 г. археолог А.В. Комар, «в археологии письменные данные воспринимаются лишь как дополнение к собственно археологическому анализу, сохраняя в любом случае опору на археологические источники»: «И горе, переходящему эту границу!»). Четыре года спустя его коллега Н.В. Ениосова сказала более прямо: археологи обычно просто подбирают «иллюстрации из древнерусских текстов для “готовых” гипотез»²¹⁹, в основе которых — норманизм).

Так, например, в 1973 г. Г.В. Штыхов указывал, что, судя по источникам, в первую очередь, ПВЛ, в IX–XI вв. варяги хорошо знали Полоцк и в нём бывали (в том числе купцы), что «летописная фраза “Рогволод пришёл из заморья” дала повод многим историкам считать его выходцем из Скандинавии», что сведения о Полоцке есть в сагах: «Особенно многочисленны они в Эймундовой саге, записанной со слов исландцев, участников событий». Но пытаясь подтвердить эти данные археологическим материалом, констатировал его немногочисленность — каролингский меч X в., клад серебра XI в., аналогии вещам которого «можно увидеть среди находок о. Готланд», датские монеты XI в., полубрактеат из г. Хедебю и ланцетовидные наконечники стрел. После чего сделал два «антинорманистских» вывода: «Итак, норманны бывали в Полоцке. Убедительнее всего об этом говорят письменные источники»²²⁰.

И в этой начавшейся безудержной норманизации русской истории особую роль сыграла статья Л.С. Клейна, Г.С. Лебедева, В.А. Назаренко, которая дей-

ствительно определила, а тут с А.А. Хлезовым не поспоришь, «дальнейшее направление поиска исторической истины» в нашей науке (а поиск «советскими антинорманистами» «исторической истины» дополнительно разжигало её норманистский аппетит ещё такое «антинорманистское» утверждение ленинградских археологов, вытекавшее из слов Б.А. Рыбакова о проживании норманнов в укрепленных лагерях под Новгородом, под Смоленском, под Киевом, по их уточнению — и в Старой Ладогe: «...Можно ожидать, что прилегающие к ним курганные могильники окажутся не на 13, и даже не на 18, а на все 100% скандинавскими»²²¹). В ходе подобных «поисков исторической истины» в науку вбрасывались, по примеру названных соавторов, точно такого же качества цифры, в том числе со стороны «буржуазных норманистов», с которыми боролись — «не на жизнь, а на смерть» — «советские антинорманисты».

В 1985 г. шведский археолог И. Янссон на V Международном конгрессе славянской археологии, проходившем в Киеве (его материалы были изданы в 1987 г., тогда же свой доклад в обновлённом виде учёный опубликовал в Гёттингене), в духе Т.Ю. Арне и А. Стендер-Петерсена утверждал, беря во внимание количество овальных фибул, найденных в погребениях на Руси и подавляющее большинство которых относится к концу IX–X вв., что «размер иммиграции» шведов на её территорию в IX–XI вв. был «настолько велик, а захороненных женщин настолько много», что иммигрантами не могли быть только воины, купцы и др. В их числе должны были быть крестьяне и ремесленники (мужчины, женщины, дети), вышедшие, как и все остальные их «земляки», из восточных областей Центральной Швеции и с Аландских островов. Помимо этих «значительных групп» шведов, переселившихся на Русь, много шведов ездило туда и сюда с конца VIII вплоть до XII века.

Затем Янссон, сопоставив количество указанных фибул на Руси (около 200) и в Швеции (около 1500) и допуская, что там и там скандинавы клали их в погребения в одинаковом количестве, вывел отсюда, что скандинавское население в русских землях равнялось более чем 10% населения Швеции (точнее — 13,3%, как у Клейна с сотоварищами!). Но после чего заключил: такой вывод будет в высшей степени сомнительным²²². В таком случае возникает вполне резонный вопрос — зачем надо было производить эти расчёты? Ради пустого умствования? Исключено, конечно. Объяснение видится в том, что в норманистике, по причине острейшего дефицита действительных аргументов старательно взращивают любую идею, какой бы она фантастичной не была. Как уже отмечалось, согласно давно обкатанному приёму, норманисты вначале предполагают, а затем ссылками на это предположение превращают его в «реальный» факт, который намертво закрепляется в науке, давая жизнь новым «фактам».

Проценты «Арне сегодня», как в 2007 г. назвали Янссона его коллеги-соотечественники, также стоят того, чтобы их перевести в цифры. Из примерно 400 000 жителей Швеции в 1000 г., как это выводил в 1969 г., используя разные данные и современную методику подсчёта, В.И. Козлов (проницательный С.А. Гедеонов, работая в конце 1870-х гг. над третьим томом монографии «Варяги и Русь», указывал, что её «народонаселение... едва ли превышало 500 000 голов»)²²³, это составляет порядка 40 000 душ. Однако скандинавы, по клятвен-

ным заверениям норманистов, в виде знатных дружинников, купцов, простых воинов, ремесленников, крестьян беспрерывно шли на Русь и в большом количестве оседали там (с жёнами и без) с середины IX в. по 30-е гг. XI в., т. е. на протяжении 180 лет (в качестве начала проникновения скандинавов на Русь называют и VIII век, следовательно, их время постоянного пребывания среди восточных славян составляет почти три столетия, а то и больше).

Но за такой очень длительный исторический период их число — побывавших, живших (в том числе семьями, а это и жёны, и дети) и усопших в землях восточных славян — должно многократно превысить 40 000 человек. По Г.С. Лебедеву, раз в 30 лет определённые контингенты шведских викингов, т. е. каждое поколение, отправлялись на Русь²²⁴. Хотя, конечно, трудно представить викингов, почти треть столетия ждущих своей очереди, да и новые поколения рождаются каждый год, всё зависит от точки отсчёта. К тому же имеются конкретные данные по численности разовых выходов варягов на Русь. Так, по свидетельству, с одной стороны, ПВЛ и НПЛ младшего извода, Ярослав Мудрый в 1015/1016 г., перед походом на Святополка Окаянного, набрал «варяг тысячу» (перед этим первая из них сообщает, что «варязи бяху мнози у Ярослава», вторая — «варяг много», которые затем были перебиты новгородцами «во дворе Поромони» и которые, понятно, были похоронены где-то поблизости). С другой, Киево-Печерский патерик сообщает, что варяг Шимон бежал к тому же Ярославу с 3 000 своих соплеменников.

И все эти, как минимум, десятки и десятки тысяч людей, будь они действительно норманнами и тем самым буквально во всём разительно отличаясь от наших предков, в обязательном порядке оставили бы огромное количество ярких и самых разнообразных свидетельств своего пребывания в русских землях²²⁵. А их нет совершенно. Это, во-первых. Во-вторых, археологический комплекс принято рассматривать и характеризовать в целом виде, а не по отдельным его элементам (фибулам и др.), что хорошо было известно тому же Янссону. Хотя бы по разъяснению, которое дал в 1979 г. И.П. Шаскольский на конференции, проходившей в Швеции: «Поскольку вещи могли попасть к владельцу случайно, в результате торговли или в качестве добычи, советские археологи пришли к выводу, что решающим фактором является весь погребальный комплекс в целом, т. е. и вещевой инвентарь, и особенно обряд погребения, ибо погребальный обряд весьма консервативен и прочно сохранялся в те времена (и до настоящего времени) у каждого племени и народа»²²⁶.

В свете сказанного следует заострить внимание на овальных фибулах, которые Янссон превратил в впечатляющие проценты присутствия скандинавов на Руси и которые норманисты («советские» ли они, «взвешенные» ли, буржуазные ли) характеризуют в качестве этнических индикаторов именно скандинавских погребальных комплексов (при этом повторяя точку зрения шведа А. Гейера от 1938 г.). Потому как они являются специфической чертой, частью сакрализованного комплекса личных вещей и оберегов только норманского женского костюма (причём их не носили, повторяется уже за другим шведом — Х. Арбманом, ни готландские, ни датские женщины), отчего не могли служить предметом торговли (в связи с чем их наличие прямо указывает на присут-

ствие скандинавок на Руси)²²⁷. Но такой «специфической чертой», присущей только скандинавкам, скандинавские фибулы не являются, ибо были широко распространены, по свидетельству самих археологов, среди представительниц прекрасного пола многих народов.

Например, В.И. Равдоникас в 1934 г. отмечал, что овальные фибулы «встречаются у нас в курганах с различными формами погребений, в разных районах, у разных племён. Ясно, что они попадали в Восточную Европу путём торговли». М.В. Фехнер, в 1967 г. констатируя, что 63% всех находок фибул были сделаны в северо-западных и северо-восточных областях Руси, заключила: эти украшения «были распространены преимущественно в среде финно-угорского населения». Выше были приведены слова Н.В. Тухтиной, произнесённые в 1971 г., об использовании овальных фибул в финно-угорской среде, причём в Прибалтике «обычай скрепления фибулами бретелей юбки» сохранялся очень долго. Позже она указала, что в Приладожье «практически во всех женских захоронениях со скандинавскими фибулами имелись и финско-угорские вещи, причём в большинстве комплексов таких вещей много», и что набор из трёх скандинавских фибул «могли носить вепские женщины, представительницы местной знати».

В 1972 г. Т.А. Пушкина сказала, что «женский костюм финских племён на территории Финляндии аналогичен скандинавскому — та же юбка на бретелях из плотной шерстяной ткани с двумя фибулами на груди, соединёнными цепочками. Парные овальные фибулы были весьма распространены у ливских племён на территории Прибалтики». В 1982 г. В.В. Седов сделал важный вывод: вообще находки скандинавских вещей — скорлупообразные фибулы, широкие выпукло-вогнутые браслеты, плетённые браслеты, подвески — «не являются этноопределяющими. Их присутствие в трупосожжениях ростово-суздальских курганов отнюдь не означает, что погребённые с такими украшениями были норманнами», т. к. попали в Восточную Европу в результате оживлённой торговли. В 1996–2003 гг. А.Н. Кирпичников подытоживал, что благодаря торговле мода была интернациональной: «Не удивительно, что славянки могли носить парные скандинавские фибулы, скрепляющие бретели сарафана».

В Финляндии, Карелии, Приладожье и Латвии скандинавские фибулы, резюмировала Н.В. Ениосова в 2001 г., «органично вошли в состав женского убора и положили начало местным линиям развития украшений, отличающимся по размерам, конструкции, декору и качеству от своих скандинавских прототипов»²²⁸. Но в 2009 г. Л.С. Клейн уверял, не принимая во внимание приведённые мнения, т. к. почти во всём следовал за своим кумиром), что скандинавки «носили очень специфические черепаховидные фибулы с плетёчным орнаментом, и эти фибулы славянки не только не носили, но и носить не могли: как указывал Арне, им нечего было скреплять в славянской одежде». И В.Я. Петрухин двумя годами позже утверждал, что «женские украшения — общепризнанный этнический показатель, наличие скандинавских овальных фибул считается надёжным признаком скандинавского погребения»²²⁹.

О том, что в Восточной Европе многие фибулы оказывались посредством торговли и принадлежали местным женщинам — славянкам и неславянкам, которые их использовали в разных качествах, говорит и тот факт, что во вла-

димирских курганах в основном они попадают по одной. Хотя в костюме скандинавов обязательны две фибулы, закреплявшие бретели²³⁰. Н.В. Тухтина указывала, что в 32 захоронениях Приладжья с сожжением и трупоположением обнаружено по три и более различных фибул. В.В. Седов, говоря, что в скандинавских захоронениях обычно находят по две фибулы, отметил: в Гнёздовском могильнике они найдены в более двух десятках погребений, при этом в 16 курганах встречено по одной фибуле, а в одном случае даже четыре (в остальных — по две). Е.Н. Носов, описывая убор женщин, погребённых в Деревяницком могильнике под Новгородом, пояснил, что «фибула встречена лишь одна, да и то она использовалась не для скалывания одежды, а для прикрепления к ней игольника»²³¹.

В отношении погребений с двумя фибулами можно сказать, что это захоронения либо скандинавов-наложниц, купленных или захваченных в качестве военных трофеев. Схожая ситуация встречается в Швеции, где обнаружено, фиксируют И. Янссон и В.В. Седов, немалое число женских могил на городских некрополях XI–XII вв., содержащих славянские височные серебряные и бронзовые кольца и серьги, совершенно чуждые скандинавской традиции, причём они использованы таким же образом, как и в славянском костюме, — около висков²³². Либо это захоронения туземных красавиц (карелок, славянок и др.), оказавшихся подверженными моде (к месту будет сказано, что разнообразные украшения в женских славянских погребениях Ижорского плато и северо-восточного Причудья составляют этнографический убор славян, но в нём немало и финно-угорских элементов²³³).

В 1958 г. М.К. Каргер вёл речь о двух овальных серебряных фибулах, обнаруженных в погребениях в деревянных гробах киевского некрополя (которые отнёс к богатым погребальным памятникам киевской знати) и украшенных филигранью и зернью. Одна из них была «использована в женском уборе не как фибула, а как подвеска-медальон, для чего к ней с тыльной стороны было прикреплено проволочное кольцо». И.П. Шаскольский в 1965 г. выдвинул две версии по поводу этноса владелиц таких фибул. Согласно первой, покоящейся на тезисе, что «овальные фибулы были специфической чертой именно норманского женского костюма», в связи с чем нельзя совсем отрицать возможность» захоронения в обоих погребениях норманок, которые «уже заметно поддались влиянию местной, русской среды, ибо в большинстве украшения их богатого погребального наряда оказались уже не скандинавскими, а славянскими». Хотя, как завершал он свои размышления, «возможно и другое объяснение: обе женщины были славянками, фибулы приобрели путём покупки и носили их просто под влиянием скандинавской “моды”»²³⁴.

В 1981–1983 гг. (и позже) В.Я. Петрухин убеждал, что речь идёт о захоронении именно знатных скандинавок, т. к. скандинавы жили семьями (в 1998 г. он преподнёс их в качестве «придворных дам Ольги»). Отметив же ношение этими, с позволения сказать, «фрейлинами» славянских височных колец, увидел в том отражение процесса ассимиляции норманнов²³⁵. Но восточнославянские височные кольца (в рассматриваемом случае «волынцевского типа»), представляющие собой женский головной убор, специфический, подчёркива-

ют археологи, для ряда племенных образований, известных по русским летописям, «являются надёжным этнографическими определителями племенной принадлежности индивидуумов, носивших их»²³⁶.

Если логика Петрухина — фибула есть несомненный маркер захоронения скандинавской женщины — была нацелена на сохранение любой ценой мифа о раннем и массовом присутствии норманнов в столице Руси — Киеве, то эта же логика достигла в 1991 г. в статье Ю.Э. Жарнова, посвящённой Гнёздовскому некрополю, своего абсолюта (на следующий год её материал был повторён в кандидатской диссертации, выполненной под руководством Д.А. Авдусина). В 2001 г. И.В. Кураев, говоря о достоинствах статьи коллеги, подчёркивал, что он применял «комплексный подход к методам исследования, который объединял как статистические методы... так и анализ отдельных погребальных комплексов», оперировал «исключительно археологическими источниками» и отказался «от привнесения историзма в археологические исследования». И благодаря методологическому подходу «без историзма» (т. е. как будет угодно стороннику такого подхода) наиболее крупные насыпи и большинство исследованных ингумаций сразу же оказались у Жарнова скандинавскими погребениями. Потому как «характерными элементами скандинавской культурной традиции были признаны скорлупообразные фибулы, сочетающиеся в кремациях с железными гривнами и такими чертами погребального ритуала, как “сожжение в ладье” и “порча оружия”, а в курганах с трупоположениями в качестве скандинавской традиции были выделены погребальные камеры», которые «следует рассматривать как один из вариантов обряда, характерного, главным образом, для преуспевающих варягов (воинов и купцов) и их семей»²³⁷.

То есть для достижения своей цели Жарнов задействовал те же «доказательства», посредством которых Т.Ю. Арне в 1914 г. представил Гнёздово в качестве важнейшей «норманской колонии» (в том его в 1930 г. полностью поддержал В.И. Равдоникас). То же самое Арне доказывал в 1952 г. в статье с «говорящим» названием: «Викингское Гнёздово — предшественник Смоленска», при этом преподнося все женские погребения в качестве скандинавских. В унисон с учителем рассуждал в 1955 г. Х. Арбман, характеризуя Гнёздово как значительную колонию «русских шведов», существовавшую почти весь X в. (выводы шведских археологов, по которым стали называть Гнёздово «опорой норманизма», в 1962 г. вызвали отповедь со стороны П. Сойера, указавшего, что в захоронениях Гнёздовского могильника «в целом доля скандинавского элемента была сильно преувеличена», причём «обнаруженного скандинавского материала недостаточно, чтобы подтвердить заявление Арбмана о том, что это шведское кладбище, последнее пристанище представителей шведской колонии»)²³⁸.

Но если «буржуазный норманист» Арне «насчитал» в Гнёздове 26 «скандинавских погребений» (при этом уверяя, что число норманских курганов «было, вероятно, ещё большим»), то «советский антинорманист» Жарнов во много раз перекрыл его показатели. Беря во внимание «характерные элементы скандинавской культурной традиции», он, исходя из ложной посылки, что женские скандинавские украшения не были предметом международной торговли, абсолютизировал элементы скандинавского костюма, будто бы игравшего особую

этносоциальную роль (жёны русских купцов, описанные Ибн Фадланом, — это, судя по их одежде, скандинавки). И в первую очередь фибулы, представляющие собой «надёжный индикатор норманского присутствия в славянской среде вообще и в Гнёздове в частности». И потому видел в них свидетельство захоронения скандинавок.

Оспорив мнения археологов, отрицавших этноопределяющую возможность фибул (И.В. Дубова, например), Жарнов «излишне осторожным» и «абстрактным» охарактеризовал мнение А. Стальсберг, заметившей, что славянки «могли использовать одну фибулу, поэтому в славянском окружении можно признать скандинавкой женщину, погребённую с парой фибул». Не принял он и её предложение о возможности погребения нескандинавок с наборами скандинавских вещей. В конечном итоге число погребений скандинавок у него резко подскочило: они составили от 40% (в 126 курганах с ингумациями) до 50% (в 206 комплексах с трупосожжением) от «общего числа выделенных одиночных погребений женщин». После чего, констатируя «фактически полное отсутствие критериев для вычленения погребений скандинавов-мужчин», ввёл «правомерный вариант количественного анализа скандинавских погребальных комплексов на основе лишь женских погребений», согласно которому рядом со скандинавкой непременно должен покоиться только её соплеменник (при этом даже не беря в расчёт того, что женщины той поры представляли собой точно такой же товар/трофей, что и украшения на них, в связи с чем они никак не могут свидетельствовать в пользу этноса тех, кому принадлежали).

Учитывая приблизительное равное количество мужчин и женщин в населении Гнёздова (постоянную его численность определяя в количестве 800–1100 человек), автор огласил вывод, что скандинавам, жившим в Гнёздове постоянно (с детьми, и поддерживавшим связь с родиной, т. к. «археологически уловим постоянный приток норманского элемента по крайней мере в течение второй половины X в.»), «принадлежит не менее четверти Гнёздовских погребений» из 788 комплексов, раскопанных к 1989 году. Причём около половины захоронений конца IX — первой половины X в. принадлежит норманнам, представлявшим собой социальную верхушку поселения²³⁹ (показательно, что норвежский археолог А. Стальсберг в 1987 г. привела совершенно иное число «скандинавских захоронений», выделив таковых во всех русских землях лишь 99 — 37 женских, 21 парное, 32 мужских, 1 детское и 8 неопределимых²⁴⁰).

«Взвешенные норманисты» в лице коллег Жарнова его «правомерные» подсчёты стали вбрасывать в науку и использовать в качестве исторического факта. Например, в 1997 г. В.В. Мурашёва, в стиле стародавних шведов думающая, что Русь была частью Великой Швеции, так прокомментировала его выводы: «При самых осторожных прикидках, исследователями подсчитано, что не менее четверти населения Гнёздова составляли выходцы из Скандинавии (!)» (о том же она говорила в 1998 и 2009 гг.). В 2014 г. и Т.А. Пушкина заявила со страниц энциклопедии «Древняя Русь в средневековом мире», что около четверти населения Гнёздова составляли скандинавы²⁴¹ (но Жарнов говорит о «четверти Гнёздовских погребений», а не «четверти населения Гнёздова», что далеко не

одно и то же. Ибо «состав кладбища, — стоит привести слова Л.С. Клейна, — не отражает прямо состава живой общины и т. д.»²⁴²).

Однако выводы Жарнова поставили под сомнение другие норманисты: украинские археологи Ф.А. Андрощук и В.Н. Зоценко заключили в 2002 г., что «попытка решения этнической принадлежности на основании женских погребений, предложенная Ю.Э. Жарновым, не может быть признана удачной, поскольку из-за отсутствия анализа мужских погребений она абсолютно не решает этнической проблемы»²⁴³. К тому же его выводам, построенным на песке, противоречит многое, включая разноэтничные парные погребения, «например, мужчины-балта с женщиной-скандинавкой», на чём заострял внимание в 1975 г. Д.А. Авдусин. Правоммерно заметив при этом: «Вряд ли стоит сомневаться, что женщина будет положена на костёр в национальном наряде, а основным обрядом погребения может оказаться балтский». А в 1965 г. И.П. Шаскольский констатировал, что в Швеции «в подобных курганах не было сопутствующих женских погребений (погребений рабынь-наложниц)». В 1998 г. А. Стальсберг, посчитав спутниц умерших мужчин свободными, т. к. у них «имеются фибулы и множество бусин, что в скандинавской археологии обычно интерпретируется как отличие свободных женщин», подчеркнула: убийство вдовы — обычай «сати» — и её похорон с мужем скандинавская история вроде бы не знает. Вместе с тем она указала, что ладейные заклёпки из Гнёздова «ближе к балтийской и славянской, нежели скандинавской традиции», и объединила их с заклёпками из ладожского Плакуна, которые, по мнению скандинавского археолога Я. Билля, ближе к балтийским и славянским²⁴⁴.

В 1990 г. антрополог Т.И. Алексеева, проанализировав краниологическую серию Гнёздовского могильника — четыре мужских и пять женских захоронений (крайне малая её численность объясняется господством обряда трупосожжения), подытоживала: «...Отличие от германского комплекса и явное сходство с балтским и прибалтийско-финским налицо»²⁴⁵. Весьма важен и тот факт, что подавляющая масса Гнёздовских курганов не содержит оружия: погребения с набором воинского снаряжения составляют, отмечала в 2001 г. Т.А. Пушкина, около 3,7% от числа всех исследованных (на тот момент — порядка 1100 захоронений). В 2014 г. Пушкина вновь подчеркнула, что «погребения с оружием редки». Но в 2018–2019 гг. С.Ю. Каинов, воодушевлённый творчеством Ю.Э. Жарнова, проценты своего научного руководителя увеличил в пять раз — до 18,8%²⁴⁶. Хотя отправлять воина в загробный мир без оружия — для шведов никак не типично. Ибо в небесный «чертог убитых» они приходили так, как им завещал Один: «каждый должен прийти в Валгаллу с тем добром, которое было с ним на костре», и в первую очередь с оружием, т. к. видели себя участниками вечной битвы — днём вечно убивают друг друга и вечно вечером возвращаются к жизни, чтобы вновь начать бесконечный праздник²⁴⁷.

И последнее. Вся керамика Гнёздовского могильника, на чём неоднократно акцентировали внимание А.В. Арциховский, Д.А. Авдусин, В.В. Седов, Т.А. Пушкина, исключительно славянская. Причём она находится во всех погребениях, которые приписывают скандинавам, и её черепки в изобилии присутствуют в культурном слое поселения. А ведь керамические свидетельства своей мас-

совостью служат, подчёркивают археологи, надёжнейшим этническим признаком и потому имеют первостепенное значение для этнических выводов²⁴⁸. Они же констатируют, что в нижних слоях культурного слоя Центрального городища, который является наиболее ранней частью Гнёздовского археологического комплекса и в котором найдено большинство скандинавских изделий, лепная керамика составляет 85% (на отдельных участках до 99%, а в заполнении материковой ямы — 100% от всего собранного материала) и что «кухонная» лепная посуда — это продукт женского труда²⁴⁹. И будь погребённые в Гнёздове женщины скандинавками, а это, по Жарнову, сотни человек, то они бы обязательно лепили родную для себя посуду, т. е. посуду шведских типов. Но в Гнёздове полностью отсутствует подобная керамика, тогда как там обнаружена, например, керамика южнобалтийских славян.

В том же издании, где были опубликованы «расчёты» Жарнова, прозвучали той же тональности статьи Г.Л. Новиковой (в Гнёздове проживали скандинавские семьи, т. к. там обнаружена треть скандинавских языческих амулетов, найденных к 1991 г. в Восточной Европе, и прежде всего железные гривны с «молоточками Тора»), Ю.А. Лихтер и Ю.Л. Шаповой (стеклянные бусы византийского производства, найденные в Гнёздове, являются скандинавским импортом и попали туда через Балтику). А также и статья самого Авдусина, в которой он словно оправдывался за свой «крайний антинорманизм»: «Впервые проведя источниковедческое исследование курганных инвентарей ещё по старым материалам, автор этой статьи первоначально не увидел в Гнёздове “многочисленных норманнов” (вывод А.А. Спицына от 1905 г. — В.Ф.). Вернувшись к этому вопросу на базе нового материала, я насчитал уже 60 варяжских погребений — много больше, чем это сделал Т. Арне, работавший, правда, ещё по материалам дореволюционных раскопок. Теперь подобных погребений можно насчитать более ста»²⁵⁰.

В целом норманистские заключения археологов-«антинорманистов» по Гнёздову — и Авдусина, и его учеников — многочисленным эхом отзывались, множа другие пустые звуки, в трудах как их коллег, так и историков, не только без критики повторяющих за, перефразируя изречение А.В. Арциховского, «историками, вооружёнными лопатами», всё, что они бы не говорили в адрес норманнов, но ещё и преумножающих их выводы. Так, Р.Г. Скрынников, под их влиянием открывший в русской истории «Восточно-Европейскую Нормандию», в 1997 г. представил Гнёздово как «едва ли не самый крупный в Восточной Европе скандинавский некрополь», опорный пункт норманнов, преодолевших сопротивление Хазарии. В 2011 г. В.Г. Вовина-Лебедева в учебнике для студентов-историков внушала будущим учителям и деятелям науки, что в Гнёздове «обнаружено более 3 тысяч курганов. В большинстве своём они скандинавские»²⁵¹, т. е. таких курганов у неё стало, по сравнению с «самыми осторожными прикидками» Жарнова, в разы больше.

«Скандинавский бум» легко творил и другие чудеса, рождая, по типу ладожского топорика и кресал, всё новые и новые «доказательства» норманнской версии. В 1984 г. Т.А. Пушкина бронзовую статуэтку, найденную в 1872 г. в Чёрной могиле Д.Я. Самоквасовым (в которой он, предположительно, видел изобраа-

жение Будды), представила в качестве изображения Тора, уместного «среди погребального инвентаря знатного воина. В этом случае особый интерес приобретает этническое и социальное определение погребения Чёрной Могилы» (и такое заключение, разумеется, «прописалось» в науке, и его сейчас в качестве «аргумента» в пользу норманства варягов и руси используют В.Я. Петрухин, В.В. Мурашёва, А.Е. Мусин)²⁵². Но эта золочённая фигурка, преподносимая в качестве «скандинавского сидячего божка» (и потому обязательно маркирующая, как культовый предмет, погребение скандинава), таковой не является. В 2012 и 2014 гг. украинские археологи Н.В. Хамайко и А.В. Комар, указывая на то, что она найдена «в комплексе с костяными игральными фигурками и костями» и что «зарубежные исследователи солидарны в определении подобных находок как королей игральных наборов эпохи викингов», отнесли «божка» Пушкиной к антропоморфным «“королям” популярной в “дружинной” среде русов X в. настольной игре скандинавского происхождения, наглядно демонстрирующей былинные “тавлеи золочёные”» (так Хамайко охарактеризовал и другую фигурку X в., каменную, из городища Шестовиц)²⁵³.

Так быстро и без особого труда пополнялась «советскими антинорманистами» копилка «норманистских» артефактов (под воздействием которых в науку затем вбрасывались цифры и выводы о массовом присутствии скандинавов на Руси). Следует назвать ещё несколько источников их рождения. Это, во-первых, категоричное отнесение к таковым и лишь только по причине наличия на них орнаментов, как их преподносят сторонники норманской теории, «скандинавского происхождения» (или «северных мотивов»). В этом плане весьма показательна судьба меча, найденного в конце 1890-х гг. у с. Фощеватая под Миргородом (на Полтавщине), который М.С. Грушевский и Т.Ю. Арне, а за ними и другие, считали норманским (но Х. Арбман исключал такой вариант).

В 1961 г. А.Н. Кирпичников, справедливо говоря, что «об этнической принадлежности воинов, погребённых с мечом, судить трудно; в погребениях меч признак не этнический, а социальный», всё же посчитал фощеватовский меч, «по-видимому, прибалтийско-скандинавского происхождения» и связал его с юго-восточной Прибалтикой. После чего подчеркнул, что «в нашей типологии этот экземпляр получил условное название “скандинавский”», ибо его рукоять имеет рельефный орнамент «из перевитых чудовищ в “стиле рунических камней”». Я сознаю, объяснял Кирпичников в примечании, что название скандинавский «не вполне удачно, так как в Скандинавии найдено много различных клинков. ... Здесь же название указывает на северный район происхождения вещи (с большей или меньшей вероятностью)».

Однако эту вероятность, навешенную норманизмом, он в 1965–1966 гг. отсёк, т. к. прочитал на мече, считавшимся «едва ли не единственным бесспорным скандинавским изделием, обнаруженным на Руси», славянскую надпись, выполненную инкрустированной проволокой: либо «людота», либо «людоша» «коваль». Из чего последовал правомерный вывод, что собственное изготовление клеймёных клинков грамотными мечедельцами было организовано на Руси не позже первой половины XI в., а, может быть, около 1000 г. (в 1996 г. клинок был отнесён им к концу X в.). Но это открытие несколько не повлияло

на классификацию фощеватовского меча, и его Кирпичников так и продолжал называть в своей типологии «условно скандинавским»²⁵⁴. И под таким норманистским клеймом меч, изготовленный русским мастером, продолжает жить в разных изданиях, в том числе зарубежных, уже своим названием — в кавычках или без — вводя учёных и простого читателя в принципиальное заблуждение.

Во-вторых, очень часто неперменным спутником рассуждений наших археологов являлось их «творческое воображение», грубо искажающее реалии прошлого. Так, в 1977 г. Г.С. Лебедев, рассматривая большую сопковидную насыпь близ урочища Плакун в Старой Ладоге, следующим образом описал захоронение в верхней её части: «...Покойника уложили в ладью и установили её на вершине сопки. Возле форштевня судна — костяки двух верховых лошадей. ...На вершине сопки был похоронен норманн» (которого годом позже представил в качестве предводителя викингов)²⁵⁵. В 1985 г. Е.Н. Носов, проводивший раскопки того же памятника, констатировал: Лебедев «без всяких оговорок и вопреки фактам пишет, что на вершине сопки была установлена ладья, а две лошади лежали у форштевня судна», причём «подобное утверждение проникло и в работы западных исследователей, и в общие библиографии»²⁵⁶.

В-третьих, норманисты свои выводы обставляют ссылками на «безупречные» мнения либо единомышленников, либо собственные, ранее высказанные. Так, в 1985 г. Лебедев тезис о связи могильника Плакун с варяжской — норманской — дружиной времён Рюрика и Олега подкреплял ссылкой на статью, опубликованную им пятью годами ранее совместно с А.Н. Кирпичниковым, В.А. Булкиным, И.В. Дубовым и В.А. Назаренко²⁵⁷. Да при этом ещё стараясь «отредактировать» мнения коллег в пользу своего утверждения. Как убеждал в том же 1985 г. В.Я. Петрухин на V Международном конгрессе славянской археологии: «Ладога возникла, видимо, как совместное поселение славян, финнов и скандинавов; вероятно, изначально полиэтническим были поселения в Гнёздове (возникшем в процессе славянской колонизации балтского Верхнего Поднепровья и проникновения туда групп скандинавов), на Сарском городище и Тимерёве (славянская колонизация мерянской территории в общем совпадает со скандинавской инфильтрацией)»²⁵⁸. Однако в 1981 г. А.Е. Леонтьев, ведший раскопки Сарского городища, время возникновения которого он отнёс к VIII в., рассмотрел микроскопическую группу скандинавских вещей — 8 из порядка 1800 (т. е. 0,4%), датируемых им первой половиной IX — началом XI в., и заключил, что нет оснований считать норманнов в числе его постоянных жителей ни в IX в., ни в X — начале XI в.²⁵⁹

Все указанные обстоятельства, а ещё больше — непоколебимая уверенность археологов, что они идут в русле, как всё ещё кажется А.А. Хлезову, «провидческих и пророческих» слов А.В. Арциховского²⁶⁰, к середине 1980-х гг. в совокупности привели к большому числу «легитимных», с точки зрения «советского антинорманизма», археологических выводов в пользу норманской теории. Эти выводы компактно преподнесли в 1985–1986 гг. в качестве самых бесспорных исторических «истин» научному сообществу археологи В.П. Даркевич (в коллективной монографии «Древняя Русь. Город, замок, село») и А.Н. Кирпичников, И.В. Дубов, Г.С. Лебедев (в обширной статье в монографии «Славяне и скандинавы»), в обо-

их случаях представляя «точную» интерпретацию археологами древностей Руси. И эта «точность» преподносилась ими в традиционно норманистском духе, по сути, в духе Т.Ю. Арне, но с куда большей «материальной базой».

Так, согласно Даркевичу, установление первых контактов некоторых восточноевропейских племён с норманнами произошло около середины IX в., что «в X–XI вв. варяжские торговые корабли регулярно ходили на Русь», что о присутствии в среде военно-дружинной знати Киева и Чернигова скандинавов говорят некоторые погребения в камерах, что викинги торговали на Руси (да и в других странах) франкскими мечами, что они ввели у нас в употребление ланцетовидные копья и стрелы, боевые топоры-секиры, скрамасаксы, круглые щиты с железными умбонами, что «к скандинавским обычаям относятся сожжения в ладье, сожжение с захоронением в урне, поставленной на глиняную или каменную вымостку, сожжения под курганом, окружённым кольцевидной каменной кладкой», что перечисленные типы погребений свидетельствуют о присутствии в русских землях купцов, знатных дружинников, рядовых воинов и ремесленников, их жён (о пребывании скандинавок свидетельствуют украшения, не являвшиеся предметами торговли), что монеты Ярослава Мудрого, обнаруженные на Готланде и в Скандинавии, возможно, связаны с выплатой денег норманским наёмникам²⁶¹.

Кирпичников, Дубов и Лебедев, увязывая со скандинавами (воинами, торговцами, женщинами), помимо перечисленного, железные гривны, обряд порчи мечей, жертвоприношение козла (а они у норманнов «считались священными животными Тора»), уверяли, что скандинавы («русы») активно действовали на всей территории Восточной Европы: от Балтики до Чёрного моря и до Волго-Окского междуречья включительно, что в 860–866 гг. дружины, вероятнее всего, шведов участвуют в составе войск Аскольда в походе на Византию, «а затем — в набегах “русов” на мусульманские города Закаспия», что наш Рюрик есть датский конунг Рёрик Ютландский (его приглашение «было хорошо продуманной акцией, позволившей урегулировать отношения практически в масштабах всей Балтики»), что в 882 г. Олег, в войске которого был варяжский полк, взял Киев и наложил на Новгород ежегодную дань в сумме 300 гривен, шедших на оплату услуг небольшого сторожевого варяжского «отряда в два-три корабля, очевидно, обеспечивавших безопасность мореплавания в Финском заливе», что в варяжском корпусе в Константинополе служили многие выдающиеся выходцы из Скандинавии конца X–XI века.

Дополнительно археологи-«антинорманисты» вели речь о скандинавской основе названия «Русь», о той же — «возможной» — основе Сказания о призвании варягов, «созданного на древнесеверном языке», утверждали, ссылаясь на Е.А. Мельникову, «что дискуссионным остаётся предположение, выдвинутое ещё в конце прошлого века В. Томсеном, о существовании на Руси своеобразной “варяжской” языковой стихии, смешанного славяно-скандинавского “эсперанто” портовых городов и военных дружин» (хотя в 1984 г. Мельникова, напротив, заостряла внимание на том, что мнение Томсена о существовании в IX–XI вв. «варяжского наречия», поддержанное А. Стендер-Петерсеном и многими другими зарубежными учёными, не соответствует действительности. Подчёрки-

вая, что длительное завоевание данами восточных областей Англии, самым серьёзным образом отразившееся в английском языке, «не привело к образованию особого, англо-датского наречия», исследовательница резюмировала: «...Тем более нет никаких оснований для выделения особого “варяжского наречия”, на котором могла бы говорить часть древнерусского общества»²⁶².

Свой весомый вклад в закрепление торжества норманизма в СССР внёс и другой археолог — «крайний антинорманист» Д.А. Авдусин. В 1988 г. он, весьма жёстко критикуя подлинный антинорманизм (в том числе в лице своих современников В.Б. Вилинбахова и А.Г. Кузьмина) и характеризуя его как «вульгарный», подытожил достижения современного научного антинорманизма (т. е. «советского антинорманизма»), ставшего единственной плодотворной основой для всех исследований по русско-скандинавским отношениям IX–XI веков. При этом самым главным достижением такого «антинорманизма» учёный счёл то, что «археологические материалы, а также данные топонимики позволяют аргументированно отвергнуть теории скандинавского завоевания и колонизации Руси». Фоном к сказанному звучало, что скандинавы — иногда в значительном количестве — присутствовали в русских городах в качестве торговцев, дружинников, приближённых князя, что значительная роль скандинавов в торговле Руси никогда не вызывала сомнений, что скандинавская этимология названия «русь» (через финское ruotsi) перестаёт, при строго научном подходе, «восприниматься как проявление крайнего норманизма»²⁶³.

Абсолютизация всего шведского вылилась в советское время в твёрдую убеждённость, что, как говорил Г.С. Лебедев, в материалах Ладоги, Рюрикова городища, памятников Пскова и его округа, курганов Приладожья, Ярославского Поволжья, Гнёздовского могильника и поселения, селищ, кладов «археологи “поколения шестидесятых” нашли всё более убедительные ответы на “варяжский вопрос”, начальный, а потому ключевой вопрос русской истории»²⁶⁴. В связи с чем археологи начали тогда энергично «воссоздавать» общеисторический фон IX–X веков. При этом не только превышая возможности своей науки, но всё также либо закрывая варяго-русский вопрос в норманистской редакции, либо выхолащивая его суть. И в том особую активность проявляли ленинградские археологи и в первую очередь «птенцы» варяжского семинара Л.С. Клейна.

5.5 Норманистское решение «советскими антинорманистами» — археологами и лингвистами — варяго-русского вопроса

Прежде всего свои взоры археологи «северной столицы» обратили на Старую Ладогу, потому как именно туда первоначально и прибыл, согласно Радзивилловскому и Академическому спискам ПВЛ, Рюрик с братьями и «с роды своими, и пояша по собе всю русь»: он «срубиша город Ладогу и седе в Ладозе»,

и только после смерти братьев «пришед ко Илмерю и сруби городок над Волховом, и прозва Новъгород, и седе ту княжа раздаа волости»²⁶⁵. В связи с чем начали формировать, по оценке С.В. Томсинского, «ладогоцентризм», согласно которому Ладога представляется «средоточием всех сложных процессов становления государственности... древнейшей столицей Руси»²⁶⁶ (исследователи, в том числе археологи, с конца 1990-х гг. характеризуют эту тенденцию, противоречащую источникам, как «научный» и «староладожский миф». В 2007 г. В.Л. Янин, ведя речь о «нынешней легенде о Старой Ладоге как “первой русской столице”», подчеркнул, что за ней «стоят не исторические знания, а политика и коммерция». Годом позже С.Л. Кузьмин резюмировал, что версия о Ладоге как столице не состоятельна²⁶⁷).

В 1978 г. В.А. Булкин, И.В. Дубов, Г.С. Лебедев пришли к твёрдому «антинорманистскому» выводу, что «Древнерусское государство образовалось на Северо-Западе в результате консолидации славянских, финно-угорских, балтийских племён, при участии норманнов». Причём ладожский материал, в котором северные элементы (камерные погребения, козлиные рога) выступают с начала IX в., «раскрывает реальное содержание варяжской легенды»²⁶⁸. Конкретно это «реальное содержание» продемонстрировали в 1978–1980 гг. ученики Клейна — Лебедев, Булкин, Дубов, Назаренко — в содружестве с А.Н. Кирпичниковым: к 860-м гг. «Ладога развилась настолько, что, если верить наиболее надёжной версии Сказания о призвании варягов, кратковременно становится столицей Верхней, или Внешней Руси. Впервые в низовьях Волхова появляется немногочисленная группа постоянных скандинавских поселенцев — двор конунга, его стража», призванных защищать эти земли от нападений «своих же соплеменников» (в урочище Плакун «сохранилось обособленное кладбище норманских пришельцев, существовавшее в 850–925 гг.»). Как ими в целом подытоживалось, «на примере Ладоги обнаруживается поразительное совпадение данных летописи и археологии, совпадение, подтверждающее, в частности, и реальную основу Сказания о призвании варягов» (в 1979 г. руководитель Староладожской археологической экспедиции Кирпичников и инициатор «ладогоцентризма», излагая те же самые мысли, подчёркивал, что придаст большой импульс разговорам о присутствии в нашей истории Рорика Ютландского, о разительных сходных исторических чертах, включая топографические, Ладоги и ютландской Хедебю)²⁶⁹.

Не ослабевая своего натиска на варяжскую твердыню, выдержавшую столько осад, Кирпичников, Лебедев, Дубов в 1981 г. доложили в скромной по объёму статье, посвящённой некоторым итогам археологических исследований Северной Руси, что она пала. Опираясь на находки, в том числе ими объявленными скандинавскими, авторы оповестили науку о своём «открытии» (точнее «закрытии» варяго-русского вопроса в норманистском толковании): «в ладожских материалах нашла своё решение варяжская проблема». Суть которого они свели к ранее опубликованному (чуть его отредактировав): в Ладоге в середине IX в., «по-видимому, на какое-то время утверждается норманский конунг со своим двором и дружиной», выполняя «социальный заказ» — «обеспечивая безопасность города и охраняя его судоходство, в том числе и от своих же,

норманских соплеменников, неоднократно угрожавших Ладоге»²⁷⁰ (при этом даже не осознавая, в силу своего археологоцентризма, что решить сложнейшую историческую задачу только на археологическом материале невозможно).

В 1981–1985 гг. к своим землякам и коллегам энергично присоединился Д.А. Мачинский, сразу же дав понять, что его не устраивают масштабы их рассуждений. В связи же с тем, что его «творческое воображение» также не знало пределов, он начал разговор о Ладоге со времён Иордана (VI в.), который вёл речь о ней и р. Неве. Вместе с тем археолог подчёркивал, что прибалтийские финны уже в первые века н.э. были хорошо знакомы со скандинавами, называя их Ruotsi-Rots-Русь-Рось (отсюда его предположение: племя *rosomoni*, т. е. «люди рос», которых упоминает Иордан, было скандинавским, а известие Псевдо-Захария о «народе Рос», живущем рядом с амазонками Подонья, возможно, является отголоском продолжающихся поездок скандинавов на Волгу и Оку). Объясняя далее, что повышенная активность скандинавов в Восточной Европе впервые наблюдается во второй четверти IX в., что к этому времени следует относить «варяжскую дань», которую выплачивали словене и их соседи норманнам, имевшим опорным пунктом Ладогу (возникла в середине VIII в.) и именуемым финнами Ruotsi, что после антиваряжского восстания середины IX в., в ходе которого Ладога, где сидел «хакан-рус», была сожжена, славяне объединили вокруг себя разноэтничное население и вступили «в договорные отношения с новой группой скандинавов, что и привело к новому укреплению этносоциального организма приладожской Руси, превратившегося в Русь ладожско-ильменскую и верхневолжскую, подчинившую себе также и Полоцк».

Именно в Ладоге, игравшей сначала ведущую, а затем значительную роль в истории формирования русской государственности, находился первый центр этносоциального организма, обозначенный в ПВЛ как Русь, возглавляемая Рюриком. Севших в Ладоге норманнов Мачинский представлял носителями «социально активного начала до 1030-х годов» (они прокладывали торговые пути по «Волго-Балту» на мусульманский восток, а в 30-х гг. IX в. группа скандинавов обосновалась в Среднем Поднепровье), «организующей суперэтничной силой», давшей восточным славянам великокняжескую династию. В целом же скандинавы сыграли в русской истории роль «катализатора начавшихся процессов, роль дрожжей, брошенных в тесто, которому приспело время стать многослойным пирогом — государством» (лишь с приходом Олега в Киев усилился процесс славянизации руси, но наряду со славянским языком употреблялся шведский, и стали преобладали скандинавские имена)²⁷¹.

В последующие годы названные археологи продолжали развивать с опорой на тенденциозно трактуемый ими археологический материал свои идеи, массово вбрасывая их в науку и в общественное сознание. Так, в 1985 г. Г.С. Лебедев начал отстаивать мысль, что славянская знать в поисках союзников против непокорных племенных сил и находников-варягов (прежде всего шведских викингов Бирки), хорошо ориентируясь в ситуации и учтя общую ситуацию на Балтике, пригласила на княжение Рорика Ютландского. Тот, сев в Ладоге, рассадил своих «мужей» в Изборске, Белоозере, Ростове, Муроме и таким обра-

зом восстановил территориальную целостность Верхней Руси первой половины IX в.²⁷² (отступление учёного от классического норманизма объясняется не только археологическим материалом, показывающим отсутствие связи Рюрика со Швецией, но и тем, что его выход из её пределов не подтверждается ни одним источником. Именно по этой причине Ф. Крузе в 1830-х и вынужден был для спасения норманской версии отождествить Рюрика с присутствующим в западных памятниках датским Рориком Фрисландским).

В 1985–1987 гг. А.Н. Кирпичников культивировал тезисы, что в 860-х гг. Ладога на короткое время стала столицей образующейся империи Рюриковичей, что там тогда впервые появляется заметная группа скандинавских пришельцев — двор конунга (возможно, Рорика Ютландского) и его стража и что в первой половине и середине XI в. Ладога была своеобразным русско-норманским наместничеством-ярлством²⁷³. В 1986 г. А.Н. Кирпичников, И.В. Дубов и Г.С. Лебедев подчёркивали, что в Ладоге с наибольшей полнотой отразились все этапы русско-скандинавских связей с VIII по XII в., «выявляющие, в частности, историческую основу и реальное содержание “Сказания о призвании варягов”», что обращение к Рорику Ютландскому, «враждовавшему и с немцами, и со шведами, а в силу того поддерживавшему лояльные отношения с балтийскими славянами, свидетельствует о хорошей осведомлённости славян в ситуации на Балтике», что в целом его деятельность соответствовала интересам местной, в первую очередь славянской, племенной верхушки, что около 1020 г. Ярослав Мудрый отдал Ладогу во владение своей жене Ингигерде, где сидели шведские ярлы, и что, согласно «Саге о Хальвдане, сыне Эйстене», в одно время Альдейгьюборг (Ладога) и Алаборг (Олонец) «составляли единое “ярлство”, границы которого доходили до Бьярмии»²⁷⁴.

В 1986–1988 гг. Д.А. Мачинский утверждал, что в 750–760-е гг. в районе Ладоги, заселённом ранее чудью и лопью, оседали выходцы из Скандинавии, среди которых имелись мужчины, женщины и дети (но там тогда появляются и кривичи), что в 810–830-е гг., безусловно, существовало русское протогосударство в Поволховье, экономически ориентированное на торговлю с Халифатом через земли Хазарии, что торгово-военная верхушка этого полиэтнического организма стала называться рос/русь, что приглашённый на договорных началах летописный Рюрик и Рорик Ютландский есть одно лицо (он «был призван защищать земли русского протогосударства от соплеменников-норманнов») и что Олег Вещий принял вместе с «пришлой русью» «местную славяно-русскую религию, основанную на культе Перуна и Велеса»²⁷⁵. В 1987 г. Булкин, Дубов, Лебедев не сомневались, что археологические факты, прежде всего варяжский дружинный могильник Плакун близ Ладоги, «в целом удостоверяют историчность “ладожской версии” предания о призвании князя Рюрика». В 1990 г. Кирпичников уверял (статья была опубликована пятью годами позже), приписывая ПВЛ того, чего в ней нет: «В 862 г., как гласит летописная легенда о призвании варягов», совет славянских и финских племён «пригласил на службу трёх выходцев из Скандинавии (Дании — ?). Вскоре один из них, Рюрик, узурпировал власть, подчинив себе всю Северную или Верхнюю Русь», а Ладога стала тогда столицей новообразованного государственного объединения²⁷⁶.

Насколько «открытия», оглашаемые ленинградскими археологами, расходятся с историей, видно уже из слов скандинависта Е.А. Рыздзевской, указавшей, что самое раннее упоминание Ладоги в сагах относится лишь к 997 г. и что в них нет ни малейшего намёка на какие-нибудь скандинавские поселения в Ладоге и Приладожье²⁷⁷. К тому же такими «открытиями» давно была полна наша «антинорманистская» наука. Например, Б.Д. Греков подчёркивал в 1942–1947 гг., что Рюрик, конечно, никакого государства не организовал, но положил начало новой династии, а в 1971 г. В.В. Мавродин посчитал, что им вполне мог быть Рорик Ютландский. В 1982 г. Б.А. Рыбаков предположил, что население северных земель, «желая защитить себя от ничем не регламентированных варяжских поборов... могло пригласить одного из конунгов на правах князя с тем, чтобы он охранял его от других варяжских отрядов». Подходящей фигурой для этой цели мог стать Рорик, который «был чужаком для варягов из Южной Швеции»²⁷⁸. Но в устах ленинградских археологов, убедивших научную общественность в том, что они разрешили, опираясь на материальные вещи, варяжский вопрос, данное «открытие» звучало намного весомее.

Эту материальную осязаемость решения археологами варяго-русского вопроса ещё больше усилила в 1990 г. монография Е.Н. Носова, посвящённая итогам раскопок Рюрикова городища (к памятнику, находящемуся в 2 км к югу от Новгородского детинца близ истока Волхова, имя Рюрика было присоединено в XVIII в.), в которой он, опираясь на предыдущие свои разработки, влил свежую струю в разговор «советских антинорманистов» о Рюрике. Для чего, совершенно игнорируя (хотя сам же и извлекал его на «белый свет») представительный набор южнобалтийских предметов, которые могли быть перенесены только её носителями (например, массу южнобалтийской лепной керамики т. н. «ладожского типа», тождественной, как опять же он сам отмечал, керамике нижних горизонтов многих пунктов лесной зоны Восточной Европы²⁷⁹), абсолютизировал, по примеру коллег и земляков-ленинградцев, незначительный скандинавский материал, или что он под ним понимал.

Относя возникновение Городища ко времени не позже 850-х — 860-х гг. (т. е. этим уже ставя его в прямую связь со Сказанием о призвании варягов), Носов уверял, что изделия скандинавского облика появились на памятнике во второй половине IX в., но наибольшее их число приходится на X в., что эти находки имеют много аналогий в материалах Бирки и что на поселении широко изготавливались предметы скандинавского облика. При этом особо подчёркивая, что «такие культовые предметы, как гривны с “молоточками Тора”, кресаловидные подвески, амулеты с руническими надписями, фигурка валькирии, не могли попасть на Городище как объекты торговли, они подтверждают пребывание на поселении выходцев из Скандинавии» (но все перечисленные предметы лишь по воле скандинавских археологов стали «скандинавскими» и «культовыми»). Причём серебряная фигурка есть драгметалл, т. е. хорошая пожива для любого, кто не знает её истинного предназначения, даже культового. Ко всему же история демонстрирует множество примеров, когда культовые предметы — христианские, мусульманские, иудейские, иные ли, сделанные из золота, серебра, усыпанные драгоценными камнями, забирались иноверцами в каче-

стве трофеев и в своём первозданном виде сохранялись веками, продавались, обменивались и даже адаптировались к чуждым традициям. А знаменитый собор святой Софии в Константинополе после взятия его турками был приспособлен, как и другие византийские храмы, под мечеть, хотя мечети строятся, в отличие от церквей, с иной ориентацией по сторонам света).

Сделав допуск о пребывании скандинавов на Городище из-за очень явственной вуали североευропейской, общебалтийской культуры (но тогда можно допустить пребывание кого-угодно из Балтийского региона), Носов на его основе делает другой допуск: по своему этническому составу в IX–X вв. оно являлось славяно-скандинавским поселением. При этом заверяя, что присутствие в нём скандинавов «полностью соответствует той исторической обстановке, которая сложилась в Поволховье в конце I тыс. н.э., как мы её представляем сейчас по сведениям письменных источников и археологическим материалам». А чтобы эти представления стали ещё крепче, он на авансцену вывел скандинава Рюрика, который был приглашён в Ладогу (ибо «благодаря кропотливому изучению вещевого материала поселения Г.Ф. Корзухина, а особенно в последние годы О.И. Давидан убедительно показали, что скандинавы присутствовали в Ладоге с самого начала её возникновения и среди них были как мужчины, так и женщины»). И который после короткого пребывания в ней пришёл в Городище, потому как яркие предметы скандинавской культуры, появившиеся в его слоях «второй половины IX в., по всей видимости, являются археологическим отражением прихода Рюрика с дружиной из Ладоги» («однако, — как заметил в 1995 г. археолог И.В. Дубов, — иноземные вещи не являются определяющими в облике населения Рюрикова городища». Это был хорошо укреплённый славянский центр, а кроме скандинавских вещей обнаружены вещи восточного происхождения — дирхемы и бусы).

В Городище Рюрик поставил замок, и оно стало княжеской резиденцией, в которой постоянно находилась дружина князя, включавшая в себя немалое число скандинавов, контролировало движение по оживлённой водной магистрали и являлось предшественником Новгорода. Как в конечном итоге заключал Носов, «скандинавы, появившись во второй половине VIII в. в Ладоге, постепенно проникали по балтийско-волжскому пути вплоть до Волго-Окского междуречья, где их присутствие улавливается археологически уже для начала IX в. Полагаю, что исторической сутью Сказания о призвании варягов явились реальные события вдоль балтийско-волжского пути — участие словен, кривичей и мери в международной торговле, их взаимоотношения и столкновения между собой и скандинавами», и что «не исключена реальность и самого факта призвания на договорных условиях одной из групп скандинавов» для обеспечения нормального функционирования северной части названного пути²⁸⁰.

Археологи, числа себя главными по варяжскому вопросу, начинают вольно трактовать письменные источники, перенося на них свою манеру работы с вещественным материалом — «на глазок», который видит только скандинавское и только ту хронологическую нишу, которая ему нужна. В связи с чем из-под их пера выходили необыкновенные результаты «штудий» этих памятников. Один из показательных примеров тому — это толкование в 1978 г. Г.С. Лебеде-

вым сложных восточных источников в пользу скандинавов: обычай брить бороду, ношение шаровар (ибо на поминальных камнях Готланда «изображены воины в широких, подвязанных под коленом штанах, напоминающих “шаровары русов”»), нелюбовь конного боя, большие дома, напоминающие виденные Ибн Фадланом, погребальный обряд, нагрудные «коробочки» женщин русов (вероятно, скорлупообразные фибулы).

Особо заострив внимание на «неопрятности» русов, зафиксированной тем же автором, археолог огласил своё «антинорманистское» мнение, что «способ омовения, когда несколько человек пользуются одной лоханью, чужд славянской бытовой культуре и, несомненно, германского происхождения»²⁸¹ (и эта система «доказательств» с удовлетворением была принята норманистами. Так, в 2002–2009 гг. Е.А. Шинаков и В.Н. Гурьянов говорили, что в важной статье Лебедева впервые после значительного перерыва показано чёткое противопоставление русов и славян в мусульманской историографии. А в 2003 г. первый из них откровенно сказал, что она большое влияние оказала на него лично, подвигнув его к непредвзятому анализу восточных источников, т. е. к анализу в духе Лебедева. Показателен, конечно, и тот факт, что его выводы востоковед Т.М. Калинина в 2009 г. использовала для пояснения текста Ибн Фадлана в третьем томе издания «Древняя Русь в свете зарубежных источников», в том числе и «шедевр»: «использование одной лохани для нескольких человек является чертой быта германского происхождения»²⁸²).

Хотя о полнейшей шаткости «доказательств» Лебедева уже свидетельствует называемый им Ибн Хаукаль, который в середине X в. отмечал, что «часть русов бреет свою бороду, а часть закручивает [бороды] подобно лошадиным гривам или заплетает». Но кто, когда и где видел скандинавов с закрученными или заплетёнными бородами, да ещё в широких шароварах, «на каждые из которых, — по информации Ибн Русте начала X в., — идёт по сто локтей материи», которые собирают «в сборку у колен, к которым затем и привязывают»? Как заметил в 2003 г. А.Г. Кузьмин по поводу заключения Лебедева (увидевшего доказательство «норманства» русов даже в замечании об их умывании «посредством самой грязной воды»), «этот способ аргументации весьма напоминает доводы старых норманистов: русы любили мыться в бане, норманны — тоже. Следовательно русы — норманны»²⁸³.

Однако «старые норманисты» давали и другие примеры. Так, И.Д. Беляев в 1850 г. пришёл к выводу, что в русах Ибн Фадлана нельзя видеть норманнов. М.П. Погодин в 1864 г. сказал по поводу анализа С.А. Геденовым тех же известий, что он нейтрализовал это норманское подкрепление, хотя и не доказал «исключительного славянства». На следующий год немецкий учёный Я. Grimm, рассматривая традицию кремации у разных народов и информацию названного автора о русах — их нечистоплотности, сладострастии, убийстве девушки-рабыни, пожелавшей стать женой своего умершего господина, резюмировал, что эти качества совершенно несогласны с обычаями древнесеверного и древненемецкого быта. Затем В. Томсен (говоря, что восточные памятники проливают мало света на вопрос о национальности руси) заметил в отношении рассказа Ибн Фадлана о погребении руса, что «мы здесь имеем дело со смешением

(сознательным или неумышленным) обычаев норманских и славянских» (вместе с тем отмечая, что у него находим некоторые совершенно не норманские черты нравов, каково, например, убийство — при погребении мужа — рабыни).

В 1881 г. В.В. Стасов, высоко оценивая те же известия араба-очевидца о русах, очень детально их проанализировал, сопоставляя с фактами из жизни славян и норманнов. И полагая, что они одинаково пригодны «и для наших норманистов, и для наших славистов» (но что «касается до коробочек, носимых на груди с прикрепленными к ним ножом, то о таковых ничего не известно ни у скандинавов, ни у славян»), заключил: «большинство этнографических подробностей, описываемых Ибн-Фадланом, всего скорее, можно объяснить этнографическими данными народов финно-тюркских, причём элементы финские преобладают, а тюркские составляют меньшую часть». Потому, скорее всего, под именем русов «надо разуместь какой-то народ на Волге, близ булгар, в быте которого совместно присутствовали элементы финских и тюркских народов».

В 1890 г. Д.Н. Анучин констатировал, что данные этого источника «могут быть с той же степенью вероятности» приурочены и к славянам (после чего привёл мнение археолога Д.Я. Самоквасова, что в общем и частностях обряд, описанный Фадланом, и обряд северянских курганов «сходны до такой степени, что, несомненно, принадлежат одному народу»). Через девять лет коллега Самоквасова А.А. Спицын не только ничего не увидел «норманского» в тех же известиях, но и вообще отказал им в достоверности. И прежде всего в той их части, где речь идёт о русах, их нечистоплотности и наряде их жён. В 1922 г. финский славист В.Й. Мансикка, коснувшись вопроса об этносе русов арабского автора и не веря в их славянское происхождение, весьма аккуратно резюмировал: «Пока мы не знаем, из каких элементов состоит рассказ Ибн Фадлана о “русах”, нельзя строить на нём серьёзные научные гипотезы».

Семью годами позже А.И. Соболевский, указывая, что описанный Ибн Фадланом обряд погребения руса подобен обряду погребения скифов, связал этого роса с росами Крыма и Тмутаракани у устья Кубани, видя «в них ветвь скифских алан=роаксолан, точнее *рос-халан, занимавших в IX–X вв. н.э. значительную часть Таврического полуострова и часть северного Кавказа». Год спустя Ю.В. Готье подчёркивал, что ни внешний облик, ни бытовая сторона, ни вооружение, ни похоронный обряд в изложении арабского автора «не противоречат понятию о славянине». В 1968 г. Н.Н. Велецкая детально продемонстрировала соответствие того же рассказа не норманской, а именно древнеславянской погребальной обрядности (в данном случае показательно заключение от 2004 г. француза Р. Буайе. Понимая, что выдавать русов Ибн Фадлана прямо за скандинавов невозможно, он предложил понимать под ними уже весьма славянизированных шведов-русов, подчеркнув при этом, что «вождь русов, которого торжественно хоронят, одет в тунику с пуговицами — аксессуаром одежды, неизвестным скандинавам X в.!»)²⁸⁴.

Поняв, что он в своём «антинорманистском» рвении изрядно переборщил с норманистской трактовкой способа омовения русов, Лебедев больше к нему не возвращался. Но продолжал активно эксплуатировать сюжет о нагрудных «коробочках» женщин, зафиксированных тем же Ибн Фадланом, представляя

их с 1985 г. в качестве фибул, и потому характеризуя скандинавским погребальным обряд, описанный этим автором. В 1986 г. на русском языке вышла монография «Славяне и скандинавы», написанная учёными ГДР, СССР, Польши, Дании, Швеции, Финляндии. Её открывает статья академика АН ГДР Й. Херрманна, в которой приведена цитата из Ибн Фадлана (в 921/922 гг. посетил Волжскую Булгарию и встретил там русских купцов) по поводу убранства жён русов: на их груди «прикреплено кольцо или из железа, или из серебра, или из меди, или золота, в соответствии с денежными средствами её мужа и с количеством их. И у каждого кольца — коробочка, у которой нож, также прикреплённый к груди. На шеях у них несколько рядов монистов из золота и серебра, так как если человек владеет десятью тысячами дирхемов, то он справляет своей жене одно монисто (в один ряд), а если владеет двадцатью тысячами, то справляет ей два мониста, и таким образом каждые десять тысяч, которые у него прибавляются, прибавляются в виде одного мониста у его жены, так что на шее какой-нибудь из них бывает много рядов мониста».

Переводчик, а им являлся Лебедев, дабы придать русским купцам норманское обличье, к слову «коробочка» сделал примечание в тексте — «скорлупообразная фибула» (такое же «уточнение» было специально вставлено в 2003 г. в русский перевод книги англичанина Г. Джонса «Викинги. Потомки Одина и Тора», цитирующего Ибн Фадлана). В русском издании в коллективную монографию «Славяне и скандинавы» вошла статья А.Н. Кирпичникова, И.В. Дубова, Г.С. Лебедева «Русь и варяги», где «коробочки» также представлены в качестве «скорлупообразных фибул на плечах»²⁸⁵. Но у Ибн Фадлана, что хорошо видно, речь идёт не о плечах, а о груди женщин, убранство которых не находит аналогов в памятниках Швеции (а вот что-то подобное обнаруживаем в Южной Балтике: по свидетельству немецкого хрониста Гельмольда, раны/руяне/руги/русские о. Рюгена добытое золото и серебро употребляют «на украшения для своих жён или отдают в казну своего бога»²⁸⁶).

Желанию Лебедева выдать русских купцов Ибн Фадлана за норманнов противостоят ещё два принципиальных факта. Это то, что «в Скандинавии, — констатировал известное Л.С. Клейн, — не было обычая умерщвлять женщину при погребении вождя — как описано у Ибн-Фадлана»²⁸⁷ (на что указывали, как уже отмечалось, Я. Гримм и В. Томсен). Во-вторых, русы, прибывшие в Булгарию для торговли, имели татуировки: «И от края ногтей иного из них [русов] до его шеи [имеется] собрание деревьев, изображений [картинок] и тому подобного»²⁸⁸. Но татуировки абсолютно не были свойственны скандинавам и вместе с тем были присущи кельтам, имевшим тесные контакты с со славянами Южной Балтики и Северо-Западной Руси (о том, что имеются в виду татуировки, речь вели французский востоковед барон Сильвестр де Саси, А.И. Соболевский и арабист А.П. Ковалевский²⁸⁹). В-третьих, следует привести слова ал-Мас'уди, современника Ибн Фадлана: славяне и русы обитают в одной из двух сторон г. Итиля, сжигают своих умерших, «если умрёт неженатый, [то его] женят после смерти. Женщины хотят сожжения себе, чтобы войти в рай, по их мнению»²⁹⁰, т. е. этот обряд был присущ и славянам. Много из изложенного Лебедеву было, конечно, известно, но он в 1989 г. очень твёрдо, как и положено принципиальному

«советскому антинорманисту», заключил: описание Ибн Фадлана «воспроизводит ритуал типично скандинавского трупосожжения в ладье»²⁹¹ (хотя такой ритуал был распространён, что знал Лебедев прекрасно, у многих народов).

Стоит назвать ещё один очень мощный, помимо Москвы и Ленинграда, центр пропаганды норманизма «советскими антинорманистами», который также связан с археологами, но уже украинскими, в норманизации древностей своей территории — ядра Древнерусского государства — столь же активно включившими «творческое воображение». Так, В.Н. Зоценко на V Международном конгрессе славянской археологии, принимая во внимание, например, погребения «со скандинавскими признаками на киевских могильниках конца IX — начала XI в.», находки мечей в Киеве, признанных «типично скандинавскими изделиями», железную оковку рога (ибо и это, несомненно, скандинавское изделие), а также ощущая присутствие балтских вещей в археологическом материале, заключил: «В сложении княжеской администрации Киева приняли участие и выходцы из Скандинавии, появившиеся в Среднем Поднепровье во второй трети IX в. В результате длительного контакта этих норманнов с балтами, первоначальный варяжский корпус в Киеве имел специфический “балтизированный” характер». Потому как явившаяся на Русь дружина шведов была изгнана из Курземе куршами в начале — первом десятилетии IX в. и осела сначала на Самбийском полуострове. Такую историю Зоценко придумал для того, чтобы хоть как-то объяснить факт абсолютного отсутствия вещей скандинавского происхождения в Киеве и его землях до конца IX века. Теперь же всё вставало на свои места, т. к. выходцы из Скандинавии утратили этническое лицо, попав в Среднее Поднепровье со стороны юго-восточной Прибалтики по Неманско-Днепровской системе путей сообщений²⁹².

В 1990 г., когда усиливающаяся перестроечная буря всё больше выдувала из науки науку, А.П. Моця связал со скандинавами (в том числе на основе черепаховидных фибул, «що були неодмінною деталлю одягу скандинавської жінки», а также изогнутой сабли, ибо «обычай порчи оружия характерен для скандинавов») более 20 срубных гробниц в Среднем Поднепровье (как парные, ибо воины первого поколения прибывали на юг Руси с жёнами «або наложницями», так и столбовой конструкции). Конкретно же скандинавские погребения он обнаружил в Вышгороде, Киеве, Китаеве («на околиці Києва»), Чернигове, Черниговской области — Табаевке и особенно Шестовице. Заключая при этом («на нашу думку»), что выходцы из Скандинавии служили в великокняжеских дружинах и в значительном количестве оставались жить на южнорусских землях. Но при этом археолог всё же отметил, что упоминание о Киеве отсутствует в самых ранних скандинавских памятниках, что саги, столь внимательные к генеалогии своих героев, «зовсім не знають родоводу князя Володимира Святославича, в дружинах якого служило багато вихідців із Скандинавії». И данный факт, и тот факт, что под Киевом и Черниговом, по археологическим данным, «богато» норманнов жило, умирало и было там похоронено, но письменные источники «про це мовчать», Моця прокомментировал следующим образом: в северной Руси скандинавов было значительно больше, они активно участвовали в политической жизни, постоянно торговали и поселялись среди славян,

и в случае чего географическая близость позволяла им «повертаться до себе на батьківщину». Тогда как на юге было иначе: варяги в основном выполняли волю великих князей, им реже удавалось принимать самостоятельное решение и при невыгодной ситуации возвращаться на родину, «якоюсь мірою легше було навіть потрапити до Константинополя»²⁹³.

Представители других наук, занимаясь варяжской проблемой и безоглядно полагаясь на точность «думок» археологов, многогласо слышимых со всех сторон, не только уверовали под их влиянием в чуть ли не в повсеместное присутствие скандинавов на Руси, но и, в свою очередь, подгоняли собственные построения под их выводы. После чего громко «открывали» новые аргументы, которые тут же подхватывали археологи, и тем самым ещё больше усиливался накал норманизма в науке. Так, в 1977 г. археологи И.Г. Добровольский, И.В. Дубов и Ю.К. Кузьменко резюмировали (свой вывод они повторили в 1991 г.), что знак на восточных монетах, идентичный скандинавской руне s младшего полного (датского) футарка теоретически «может быть интерпретирован и как греческий “ню” N, и как греческая “дзета” Z, и как знак, соответствующий тюркским рунам и тамгам, но вполне вероятным является его использование для обозначения скандинавской руны s»²⁹⁴.

В 1984 г. скандинавист-филолог Е.А. Мельникова огласила науку заключением по поводу отдельного знака, имеющего форму N, около ручки знаменитой корчаги, содержащей надпись «гороухша» или «горушна», из Гнёздовского кургана № 13 первой четверти X века. Не сомневаясь, что в нём похоронен воин-скандинав, она, ссылаясь на вывод названных археологов-«языковедов», интерпретировала этот знак как руна s, «имеющая название sol — “солнце” и употреблявшаяся с магической целью для пожелания блага и изобилия. Назначение корчаги — хранение в ней пищевых продуктов (горчицы?) — делает такое пожелание вполне уместным». Крайняя натянутость такого толкования знака рядом с чёткой кириллической надписью (а своим присутствием на погребальном инвентаре она уже ставит под сомнение вывод о принадлежности захоронения скандинаву) вытекает из слов самой же Мельниковой, напомнившей в примечании, что во всех случаях обнаружения отдельных знаков «их определение в качестве скандинавских рун не может не быть гипотетичным»²⁹⁵. Но два года спустя археологи А.Н. Кирпичников, И.В. Дубов, Г.С. Лебедев уже тиражировали без каких-либо оговорок: Мельникова «обнаружила, что на знаменитой причерноморской амфоре из варяжского погребения в Гнёздовском кургане № 13 (910–925 гг.), кроме известной кириллической надписи “гороухша” была нанесена руна sol, семантически не противоречащая русскому тексту. Таким образом, в первой четверти X в. славянскую надпись могли если не “перевести”, то, во всяком случае, дополнить древнесеверной»²⁹⁶.

В одном ряду с «антинорманистами»-археологами по норманизации истории Руси стояли другие «антинорманисты», и прежде всего лингвисты (хотя, как справедливо заметил в 1970 г. А.Г. Кузьмин, «скандинавское происхождение “варягов” не может быть обосновано данными русских летописей. А это в корне подрывает и филологические построения норманистов»²⁹⁷). А.И. Толка-

чѐв в 1962 г., лишь предположив, что «русские» названия днепровских порогов, засвидетельствованные Константином Багрянородным, есть, вероятно, древнешведские, тут же с безапелляционностью В. Томсена заявил: «...Полагаем, что всякие попытки исследователей, главным образом историков, XIX и XX вв. объяснять эти названия путём сопоставления не с северогерманскими, а с другими языками совершенно лишены основания»²⁹⁸.

В 1970 г. А.М. Членов выразил решительное несогласие с тем, что имя князя Святослава рассматривается в качестве веского аргумента в пользу славянства Игоря и его династии. Потому как наречение потомка норманнов славянским именем было, уверял он, «манифестом о том, что династия считает себя отныне не варяжской, а славянской». Рассуждая далее, что это событие означало также перевод династических имён «с варяжского на славянский» (т. е. и «выбор славянского языка вместо варяжского»), Членов подчёркивал: так доносился смысл «династических имён до славянских подданных», им объяснялось, что «династия славна покровительством неба, богов», и тем самым внушалась «вера в династию уже не узкому кругу варягов, а всему народу». Для сохранения магии имени и родовой традиции было выбрано, благодаря «прозорливости» княгини Ольги, подходящее славянское имя, «оказавшееся с двойным дном», составные части которого калькировали собой скандинавские имена Олег-Хельг — «освящённый», «посвящённый» и Рюрик-Хререкр — «могучий славой», «славный» (до такого антропонимического конструкта-монстра — Хельг-Хререкр=Святослав — не дотянуло воображение А.Л. Шлёцера. Как констатировали в 1971 г., но оставив без объяснения этот факт, В.В. Мавродин и И.Я. Фроянов, «антропонимику вовлекать в историческое исследование должно и нужно, но с большей осторожностью и чувством ответственности, чем это мы видим у А.М. Членова, не устоявшего перед искусом украсить цветами фантазии политическую историю Руси X века»²⁹⁹.

Понятно, «цветы фантазии» Членова не могли, по причине всё большего нарастания норманистских настроений «советских антинорманистов», увянуть. И в 1978 г. историк И.Э. Клейненберг заключил, солидаризируясь с его идеями, что наречение Ольгой сына именем Святослав из события чисто семейного превратилось «в акт государственной важности». Вместе с тем разъясняя, во-первых, что сама Ольга, «будучи двуязычной, позаботилась при выборе имени и о том, чтобы аллитерация сохранилась и при переводе имён на древнерусский язык. Ведь Елена по-гречески обозначает “светлая”, а древнескандинавская основа ставших русскими имён Олег и Ольга — *helg* — имела значение “посвящённый” или “святой” в христианском понимании». Во-вторых, «при появлении на Руси князя варяга с именем *Helgi* славянское население стало интересоваться значением его имени. Узнав его, начали называть этого князя сдвоенным именем Вещий-Хельгы, в котором первый компонент является переводом (калькой) на местный язык второго», что «со временем имя *Helgi* в славянской среде потерпело фонетическую адаптацию и в новой форме “Олег” стало уже восприниматься как русское имя, а к моменту составления ПВЛ “вещий” ощущалось уже как эпитет, присовокуплённый к имени князя за его удачные политические и военные действия»³⁰⁰.

В 1982–1986 гг. М.В. Бибиков объяснял, что в X в. варягами именуются скандинавы и в византийских актах, что у Константина Багрянородного термин «Рос» обозначает народ как некую социальную группу и что он включает в себя как русский, так и скандинавский элементы, являясь комплексным обозначением полиэтнической общности. В 1990 г. византинист, говоря о давнем пребывании норманнов в Константинополе, подытоживал, многократно перекрывая выводы дореволюционных норманистов, что «варяжский просопографикон Византии может к настоящему времени насчитывать не семь, как во времена В.Г. Васильевского, а восемьдесят известных лиц» (но при этом отмечая, что в основном скандинавы начинают посещать столицу Византии лишь с XI в.)³⁰¹.

Скандинависты Е.А. Мельникова, Г.В. Глазырина и Т.Н. Джаксон начинают, при обращении к русской истории, абсолютизировать древнескандинавские памятники: они «свидетельствуют об интенсивности и многообразии контактов Древней Руси и народов Восточной Прибалтики со скандинавскими странами, о вовлечении какой-то части скандинавов во внутреннюю жизнь древнерусского общества (в первую очередь — в войско в качестве профессиональной военной силы, в меньшей — в аппарат государственного управления в качестве сборщиков дани на окраинах государства)»³⁰². При этом тиражируя мысль, что в силу естественно-географических условий походы шведов были большей частью направлены на восток, а норвежцев — на запад. В связи с чем история Швеции, более тесно связанная с восточными землями, слабо отражена в исландских сагах о конунгах³⁰³ (и тем самым объяснялось отсутствие в них сведений о масштабном присутствии шведов и их невероятных деяниях на Руси, что, не жалея красок, так любят расписывать норманисты).

В 1982 г. лингвист Г.К. Валеев в кандидатской диссертации убеждал, что 51 имя русско-византийских договоров Олега и Игоря имеют устойчивую аналогию в скандинавских сагах и рунических надписях³⁰⁴ (для сравнения: в 1972 г. польский лингвист С. Роспонд указал, что скандинавское влияние на древнерусские личные имена иногда преувеличивают. И, опираясь на «структурный, собственно лингвистический метод», продемонстрировал отсутствие связи имён Олег, Игорь, Глеб, Ольга с норманским миром и классифицировал их как именные архетипы, нигде более не встречающиеся³⁰⁵). В 1986 г. Е.А. Мельникова, заверяя, что археологические данные позволяют говорить о присутствии скандинавов в X–XI вв. во всех русских городах, перечисляемых в скандинавских географических сочинениях — Муроме, Ростове, Суздале, Новгороде, Полоцке, Смоленске, Киеве, заключила: можно полагать, что сведения о них были получены скандинавами в X–XI веках. Через два года она начала вести разговор о «ряде», устанавливавшем условия приглашения князей (о таком «ряде» впервые в советской науке сказал в 1965 г., развив эту идею пятью годами позже, В.Т. Пашуто. Однако эта идея имеет давнюю историю: в 1875 г. А.А. Куник подчёркивал, что норманны пришли к призывавшим «вследствие договора, основанного на взаимном соглашении». Согласно В.О. Ключевскому, в Сказании о призвании варягов речь идёт, «скорее, о военном найме»)³⁰⁶.

В 1989 г. Н.Н. Гринёв выступил с развёрнутым обоснованием идеи, что с приглашёнными князьями был заключён своего рода договор, написанный стар-

шими рунами. С «призванием» Рюрика, Синеуса и Трувора, говорила тогда же Мельникова совместно с археологом В.Я. Петрухиным, совпадает «распространение скандинавских древностей в Ладоге и Новгородской округе» и что «ряд» может быть частично реконструирован в том числе при сопоставлении «с договорами со скандинавскими конунгами в Англии и Франции». Вместе с тем они утверждали, пропагандируя скандинавское происхождение имени «Русь», что «скандинавы представляли удобную, этнически нейтральную военную силу, которую великие князья могли использовать против родоплеменной знати для объединения разноэтничных территорий под своей властью». Отсюда приток отрядов скандинавов в княжеские дружины, где они составляли ядро, а также «и привлечение (“призвание”) скандинавских вождей дружин к управлению союзом нескольких разноэтничных племён в Новгороде в середине IX в.». Два года спустя они уверяли, что в основе Сказания о призвании варягов лежит исторический факт вокняжения скандинава Рюрика (и «с уже известной им “русью”, осевшей на севере Восточной Европы до середины IX в.») по «ряду» с местными племенами и что «имена призванных князей — Рюрик, Синеус, Трувор — восходят к архаичным скандинавским формам»³⁰⁷.

Параллельно «советские антинорманисты» создавали, апеллируя к ПВЛ, видимость наличия скандинавских топонимов на Руси (ибо их нет совершенно). С этой целью они стали обыгрывать, по примеру своих предшественников-норманистов, название двора, где новгородцы летом 1015 г. расправились с теми, кто, согласно летописи, «насилъе творяху новгородцем и жёнам их. Вставше новгородци, избиша варягы во дворе Поромони»³⁰⁸. В 1931 г. В.А. Брим предположил, что скандинавское «farmenn» — команда корабля — «сохранилось в названии новгородского “Парамонный двор”». Годом позже его мнение озвучил в эмиграции А.Л. Погодин. В 1953 г. А. Стендер-Петерсен, опираясь на предложение финского слависта И. Микколы 1907 г., связавшего название «парамонь» с древнескандинавским «farmadr» (мн.ч. «farmenn») — «путешественник, купец», преподнёс «Поромони двор» в качестве северного Farmannagarðr — торговый двор, помещение для наёмных скандинавских воинов при дворе Ярослава Мудрого в Новгороде³⁰⁹.

В 1962 г. Д.С. Лихачёв в «Текстологии» (переиздана в 1983 г.) повторил это мнение, указывая, что что ни до, ни после ни Поромон, ни его двор не упоминаются и что «как бы не решать этот вопрос, важно, что первоначально слово в данном случае не имя собственное». В 1984 г. Е.А. Мельникова посылку, «что в конце X — первой половине XI в. в Новгороде находился постоянный контингент скандинавов и воинов», подкрепляла обращением к «Поромони двор», также видя в нём, согласно наиболее убедительной этимологии Микколы, «farmanna garð»: двор, усадьба, где находились скандинавские наёмники Ярослава Мудрого и где останавливались приезжавшие купцы (всё то же самое продублировал в 1986 г. Г.С. Лебедев). Причём она, чтобы сохранить, несмотря на отсутствие археологических следов пребывания в Новгороде скандинавов, представление о их нахождении там, разговор о «Поромони двор» завершала следующим образом: «Видимо, этим обстоятельством — территориальной изолированностью скандинавов — объясняется парадоксальное не-

соответствие данных письменных источников и археологических материалов, которые в виде отдельных случайных находок дают лишь крайне незначительные свидетельства пребывания скандинавов в Новгороде». В 1990 г. Е.Н. Носов отсутствие в Новгороде «северной вуали» объяснял (с помощью Мельниковой и «Поромони двора») тем, «что скандинавы селились и останавливались в Новгороде не повсеместно, а преимущественно в определённых кварталах, пока не затронутых археологическими работами»³¹⁰.

Показательно, что в 1959 г. норвежский славист Б.А. Клейбер оспорил толкование Микколы (указав, что тот отказался от него и связывает название двора уже с греческим словом, означавшим «чины охраны, телохранители») и предложил производить слово «поромони» от «паром», понимать в целом «двор Поромони» как «двор, где причаливает паром». В пользу предлагаемой версии Клейбер привёл псковский топоним «Поромьяни», прилегающий к р. Великой (в 1982 г. и Г.К. Валеев «Поромони двор» толковал как обозначение пристани, склада лесоматериалов, доставляемых в Новгород плотами=поромами)³¹¹. Имеется ещё одна версия, вообще-то всё просто объясняющая, и авторство которой, видимо, принадлежит Н.А. Полевому, ведущему речь о «жилище новгородца Парамона». Затем и С.М. Соловьёв подчёркивал, что «двор Поромони» — это двор «какого-то Парамона». В 2007 г. П.В. Лукин, ошибочно приписав объяснение «двор Поромони» «как двор некоего человека по имени “Парамон”» Н.М. Карамзину (историк, повествуя об избиении новгородцами варягов, даже не указывает, где данное событие произошло), «фантастичность этой интерпретации» увидел в том, что «в летописи не говорится ни о каком Парамоне, да и непонятно, что на его дворе делали варяги»³¹².

Но параллели естественному названию усадьбы по имени её владельца не раз встречаются, например, в топонимике Киева XI в.: по приказу Олега «убиша Асколда и Дира, и несоша (Аскольда. — В.Ф.) на гору, еже ся ныне зовёт Угорьское, кде ныне Ольмин двор» (882 г.), «град же бе Киев, идеже есть ныне двор Гордятин и Никифоров, а двор князь баше в городе, идеже есть [ныне двор Воротиславль и Чюдин, а перевесище бе вне града, и бе вне града двор другой, идеже есть] двор Демьстиков за святою Богородицею. Над горою двор теремный, бе бо ту терем камен» (945 г., хотя сама эта информация относится к 1060–1080 гг.). Причём летописец больше ничего не говорит ни об Ольме, ни Гордате, ни Никифоре, ни Воротиславе, ни Чудине, ни Деместике. Под 983 г. ПВЛ рассказывает об убийстве в 983 г. киевскими язычниками варяга-христианина с сыном, «двор» которого стоял там, «идеже есть церкви святая Богородица, юже села Володимир», а под 1097 г. отмечает, что ослеплённого князя тербовльского Василия (Василько) Ростиславича доставили во Владимир Волынский и «посадиша и в дворе Вакееве»³¹³, о котором также, как и во всех предыдущих случаях, нет никаких разъяснений.

Измышления «советских антинорманистов» по поводу якобы скандинавского значения микротопонима «двор Поромони» разбиваются как о псковский «Поромьяни», так и о название маленького «Парамонове ручье» (он же «Кровавый»), впадающем в ручей Заклюку (а та в р. Ладожку) под Старой Ладогой. К тому же имя Парамон было характерно для русской традиции (цер-

ковь чтит мученика с таким именем, погибшего в 250 г.), в частности, новгородской: в НПЛ под 1269 г. читается известие о гибели в сражении с ливонскими немцами многих новгородцев, включая «Поромана подвоискаго»³¹⁴, у которого, разумеется, был свой двор-усадьба, т. е. «двор Поромони».

Маниакальный поиск скандинавских топонимов на Руси, т. е. там, где их нет, — показатель невероятного накала норманистских настроений нашей науки, заражающих лиц, не имеющих к ней отношения, но страстно желающих «открыть» новые «следы» шведских фантомов. Например, в 1990 г. поэт и писатель В.А. Агапитов, задавшись поиском в топонимии родного ему Заонежья названий, «которые, возможно, восходят к скандинавским языковым формам», естественно, их нашёл (но точно так их находят профессиональные историки, археологи, языковеды). Таковыми стали холм «Гардакова гора» (т. к. «не исключено, что в основе названия скандинавское, в частности шведское *gård, gårde* в значении “дом, ограждённое место”), крохотный скалистый островок Блюдр-остров («возможно, название происходит от скандинавского личного имени Блуд/р/ или от *blor* “жертва” + от “луда”»), Ор-наволок («(ср: швед. *åra* “весло”)), полянка Олафа («ср.: др. сев. *Oleifr*, др. швед. *Olef, Olafr, Olav*)»³¹⁵.

Когда же псевдоантинорманистские рассуждения входили в противоречие со всё более увеличивающимся археологическим материалом, выдаваемым за свидетельство массового присутствия норманнов в русской истории, и через призму которого смотрели на известия ПВЛ о деятельности варягов на Руси, то появлялись теории, долженствующие уберечь исследователей, активных проводников тезиса о их скандинавской природе, от обвинений в явном норманизме, следовательно, отходе от марксизма. Так, известный историк В.Т. Пашуто, в 1965 г. негативно отзывавшийся об идее о славяно-скандинавском симбиозе, в 1968–1974 гг. культивировал уже свою идею о «славяно-скандинавском социальном и культурном синтезе». Убеждая, что её признание есть «общая платформа для дискуссии между учёными разных мировоззрений. Главное теперь — определить удельный вес синтезируемых элементов»³¹⁶. Эта идея, где на первом плане всё также продолжали стоять норманны, была принята наукой и получила в ней дальнейшее развитие³¹⁷, хотя её несостоятельность, как это показывает кровавая история викингов, лежит на поверхности.

В середине 1980-х гг. археолог Г.С. Лебедев, многократно увеличив масштабы рассуждений Пашуто, выступил с «циркумбалтийской теорией» (окрещённой И.Я. Фрояновым головокружительной³¹⁸), согласно которой в VIII–X вв. существовало надрегиональное и интернациональное явление — «Балтийское культурно-экономическое сообщество» (или «Балтийская морская цивилизация раннего средневековья»). При этом он также утверждал, что предлагаемая им концепция является «наиболее перспективной альтернативой дискуссии норманистов и антинорманистов» и что в свете её историю народов Балтийского Поморья и Восточной Европы необходимо рассматривать в комплексе взаимосвязи и взаимообусловленности. Но как показывают работы самого Лебедева и его «единоверцев», всё традиционно сводится лишь к анализу взаимоотношений восточных славян и скандинавов, и в которых первая скрипка опять-таки отдаётся в руки последних³¹⁹, что видно хотя бы по его «Скандобалтике» 1997 г.³²⁰

Вместе с тем рождение «циркумбалтийской теории» есть свидетельство осознания археологами необходимости выхода в освещении истории Руси из жёстких рамок русско-скандинавских связей (позднее за ними сей факт стали понимать и другие норманисты³²¹). И эти рамки рушил добываемый ими материал, указывающий на теснейшие связи Северо-Западной Руси с южным побережьем Балтийского моря, причём на связи более древние и более многосторонние, чем те, что существовали со Скандинавией. В ряде случаев они даже начинают предостерегать от переоценки познавательных возможностей археологических данных (например, в 1987 г. В.А. Булкин, И.В. Дубов, Г.С. Лебедев)³²², т. е. начинают понимать ошибочность постулата А.В. Арциховского, отдавшего варяжский вопрос на откуп археологам. Однако этот постулат давно стал неотъемлемой частью сознания наших учёных, всё больше и больше погружая науку в топи, по точной оценке Ю.И. Венелина, данной в 1836 г., скандинавомании.

Как это происходило, наглядно видно и по объяснению происхождения имени «Русь», отношение которого к норманнам вначале категорично, действительно антинорманистски, отрицали советские учёные, понимая неразрывность связи его этимологии «с вопросом, — подчёркивал в 1947 г. М.Н. Тихомиров, — о происхождении русского государства и русского народа». Ту же связь прекрасно осознавали их западноевропейские коллеги, т. к. доказывая связь этого имени со скандинавами, они стремились, акцентировал внимание в 1965–1967 гг. И.П. Шаскольский, «сделать неизбежным вывод, что Древнерусское государство было названо по имени норманнов, так как оно было *создано* норманнами» (и было «государством шведов-руси»)³²³. Причём тогдашние историки и лингвисты в основном оперировали аргументами дореволюционных антинорманистов и прежде всего С.А. Геденова.

Скандинавскую этимологию названия Руси отвергали (указывая, например, что ни один источник средневековой Европы не знает племени или народа «русь» в Скандинавии и что в русском языке «*ruotsi*» звучало бы не «русь», а «ручь») Л.С. Тивериадский (1942), В.В. Мавродин (1949, 1958), П.Я. Чёрных (1956), В.Б. Вилинбахов (1963), В.П. Шушарин (1964)³²⁴ и др. С ними в полном согласии рассуждал польский историк Х. Ловмянский (1957, 1971), подчёркивая, что скандинавская этимология не согласуется с данными источников и что лингвисты «превысили границы своих исследовательских возможностей, утверждая, что слово *русь* должно было непременно произойти из *Ruotsi*» (он же привёл слова известного польского слависта и норманиста А. Брюкнера, произнесённые в 1935 г.: «Кто верно объяснит название Руси, найдёт ключ к выяснению её первоначальной истории»). О несостоятельности этой же версии вели речь и польские языковеды Я. Отрембский (1960) и С. Роспонд (1979), причём первый заключил, что она «является одной из величайших ошибок, когда-либо совершавшихся наукой»³²⁵.

В 1960–1967 гг. И.П. Шаскольский в концентрированном виде изложил возражения специалистов прошлого и своего времени (и нашего, разумеется, тоже) против скандинавской этимологии имени «Русь». Справедливо говоря, что «вопрос о происхождении названия огромной страны и её народа... не мо-

жет решаться только языковедческим путём, без исторического осмысления», учёный резюмировал: норманисты не могут «преодолеть главную трудность, стоящую на пути их филологического построения, — найти то древнешведское слово, из которого с полной очевидностью могло произойти финское “Ruotsi” (*rōtsi)». Они вместе с тем не могут объяснить «ряд недоумённых вопросов», поставленных антинорманистами прошлого: почему имя «русь» как название народа присутствует в первые десятилетия IX в. на юге Восточной Европы, где нет следов пребывания норманнов? Почему «при переходе из финского в славянские языки возникли две различные формы — *Русь* и *Рось* — с двумя разными гласными и почему форма с *о*, более близкая к... прибалтийско-финскому **rōtsi*, возникла у южной части восточного славянства, не имевшей прямого контакта с финскими племенами», тогда как у соседствовавших с ними славян «возникла более отдалённая от предполагаемой исходной формы форма *Русь*»?

Почему восточные славяне, зная собственное имя шведов «*свеи*», приняли «для норманнов чуждое и славянам, и шведам заимствованное у прибалтийских финнов имя *Русь*»? Почему оно в качестве обозначения шведов исчезло из языка восточных славян как раз тогда, когда шведы стали часто ездить в их земли, и неизвестно собственно в Швеции? Почему «шведы, придя в Восточную Европу, стали сами называть себя там не собственным именем... а именем, подхваченным по дороге» у финнов? Почему государство, якобы созданное ими, приняло не «имя шведов и не имя восточных славян, а имя, которым шведов называли прибалтийские финны»? Почему в венгерском языке существует слово *orosz* — «русский», возникшее «из славянского этнического названия *рось* — *русь* ранее, чем могли появиться норманны в Южной Руси»?

Отмечая, что в скандинавских странах термин «*Русь*» неизвестен до XIII в., Шаскольский идею о его связи с названием «Рослаген» охарактеризовал как «примитивное построение... от которого давно отказались сами норманисты». Коснувшись версии А.А. Куника, увязывающей имя «*Русь*» со словом *rodsen* — «гребцы», историк подчеркнул, что он «искусственно» реконструировал имя жителей Рослагена **Rōdhsin* (от формы ед. ч. *Rōdhs*) и что «ни в одном скандинавском письменном источнике не встречается форма **Rōds* (*Rōdhs*) как имя жителей Рослагена». В. Томсен, сознавая, «что в старосведском языке нет такого слова, от которого прямо и с полной очевидностью могла произойти финская форма *Ruotsi*», разработал очень сложное лингвистическое построение, «убийственно» раскритикованное Р. Экбломом и А. Стендер-Петерсеном. Вместе с тем Шаскольский подчеркнул, что «наибольшую трудность представляет объяснение перехода *ts* слова **rotsi* в славянское *с*», ибо оно, «скорее, дало бы звуки *ц* или *ч*, а не *с*, т. е. *Руць* или *Ручь*, а не *Русь*»³²⁶.

Однако другие идеи начинают проповедовать, в условиях всё больше усиливающегося «скандинавского бума», советские лингвисты, затрагивая вместе с тем чисто исторические вопросы, не входящие в круг их компетенций. В 1973 г. А.И. Попов отмечал, что из всех гипотез происхождения имени «*Русь*» «некоторые черты правдоподобия» имеет гипотеза его образования из *Ruotsi* (в свою очередь будто бы возникшего из шведского *roods*-(*karla*) — гребцы). Потому-то он и отрицал, отступая от принципов «советского антинорманиз-

ма», существование древнего южного племени рос и утверждал, что имя «Русь» было связано с северной областью, что в IX в. русь была, скорее всего, не этнической группой, а социальной верхушечной прослойкой, включавшей в себя славянские, чудские и скандинавские элементы, что варяги представляли собой наёмные дружины, состоявшие из скандинавов, и что одному из норманских предводителей удалось основать династию.

В 1979 г. Г.А. Хабургаев вначале осудил советских историков конца 40-х — начала 50-х гг. (и прежде всего — до чего велика самоуверенность таких лингвистов! — академиков М.Н. Тихомирова и Б.А. Рыбакова), почему-то решивших, будто признание иноязычного происхождения термина «подрывает идею “самобытности древнерусской государственности” и свидетельствует о “норманистских” устремлениях». После чего уверял, что он произведен от Ruotsi и что авторы ранних погодных записей ПВЛ связывали его с норманскими колонистами, по причине чего создали (или поддержали) легенду об участии скандинавов в создании Русского государства (причём ставшие славяноязычными потомки норманнов долгое время сохраняли какие-то культурные традиции и предания своих предков, что дошло до нас, в частности, в виде преданий о происхождении новгородцев от «варягов»: «ти суть людье новгородьци от рода варяжьска»). При этом Хабургаев, «объективности» ради подчёркивая, что история этнического наименования не должна отождествляться с историей Древнерусского государства, категорично требовал, демонстрируя тем самым цену своей «объективности», предать «забвению» иные точки зрения³²⁷.

Вместе с тем на учёных советской поры (а последующего особенно) оказывали, помимо других «внешних» факторов, серьёзное воздействие статьи немецкого лингвиста Г. Шрамма, увидевшие свет в 1980–1987 гг. (в 2002 г. свой взгляд на историю Руси он представил в целостном виде в монографии «Начало Древней Руси»). Согласно его воззрениям, формирование Древнерусского государства было связано с деятельностью норманнов, «аналогичной деятельности скандинавских завоевателей в странах Западной Европы — Англии, Нормандии, Ирландии», продвигавшихся по водным путям Восточной Европы и основывавших по ним свои опорные пункты. Выступая сторонником «торговой теории» возникновения Русского государства В.О. Ключевского, эти опорные пункты Шрамм видел в русских городах на великих торговых путях, причём само слово «град (город)» имеет норманское происхождение, ибо возникло из древнеисландского *garðr*. Тем самым утверждая, что слово «град (город)» и обозначаемое им понятие пришло к нам из Швеции, «от “русских шведов” (*Russlandschweden*)», что до прихода шведов русские не знали городов и не имели для их обозначения соответствующего слова.

С этой целью автор старался доказать, что древнескандинавские названия городов Ладога, Изборск, Белоозеро, Новгород, Полоцк, Смоленск, Киев появились ранее, чем русские, что древнескандинавское название Руси *Garðar* (во мн. числе) означает «“страна опорных пунктов”, т. е. государство созданных норманнами опорных пунктов на водных путях», что начало функционирования пути «из варяг в греки» можно датировать известием Бертинских annalов 839 г., что «Русский каганат» во главе с норманским правителем в Киеве

был создан норманнами-шведами и что позже они подчинили Северо-Западную Русь с центром в Ладоге. Разумеется, именам Рюрик, Синеус и Трувор он нашёл древнескандинавские первоосновы (отвергая при этом вероятную возможность славянского происхождения имени Синеус)³²⁸.

В направлении, указанном лингвистами Поповым, Хабургаевым и Шраммом, в 1980-х гг. с великим энтузиазмом двинулись археологи Д.А. Мачинский, Г.С. Лебедев, А.Н. Кирпичников, И.В. Дубов, В.Я. Петрухин (тем самым невольно признавая неубедительность своего материала, выдаваемого за скандинавский, а также демонстрируя, что лингвистика всегда воспринималась норманистами лишь в качестве подручной для них науки, в которой тенденциозность и субъективизм также можно спокойно задрапировать под науку). В том же направлении столь же энергично шагала и филолог Е.А. Мельникова. По причине того, что ни в Швеции, ни в Скандинавии никогда не существовало народа «русь» или «рос», то названные «антинорманисты», пытаясь как-то заполнить эту лакуну и материализовать фантом скандинавской руси, стали утверждать (одну вероятность, как водится у представителей «объективной науки», подкрепляя другой вероятностью), что имя «Русь» является «этносоциальным термином с доминирующим этническим значением» и что оно изначально было самоназванием приплывших на землю западных финнов скандинавов, ставшим исходным для западнофинского *ruotsi/ruotsi*, в славянской среде перешедшего в «русь» (при этом реанимируя отвергнутую норманистами прошлого, под воздействием критики оппонентов, идею о связи имени Руси с Рослагеном).

В 1982–1986 гг. Мачинский убеждал, что прибалтийские финны уже в первые века н.э. хорошо знали скандинавов, которых они называли *Ruotsi* и *Rots*, давшими формы Русь и Рось, и считал, что они восходят либо к древнегерманскому *drott* («дружина, вождь»), либо к древнескандинавскому *goods* («гребцы»), либо к *Roslagen*. И под «русью» археолог понимал полиэтничную военно-торговую аристократию сложившегося в конце VIII — середине IX в. в Приладожье протогосударственного образования (куда входили группы словен и кривичей), организующей силой которого были скандинавы и во главе которого стоял вождь русов, получивший титул «каган». В конце IX в. «этносociум» русь оказался в Среднем Поднепровье, где усилился процесс его славянизации и где на рубеже X–XI в. произошло образование среднеднепровского «домена Руси» — «Русской земли» в узком смысле, ядра Древней Руси. В 1990 г. он окончательно определился в истоках имени «Русь», утверждая, что «единственный серьёзно аргументированный вариант происхождения слова “русь” — это (предложенное в 1844 г. А.А. Куником и развитое рядом учёных) выведение его из прибалтийско-финского **rötsi*>*Rötsi*, *Ruotsi* (“шведы”, “Швеция”), которое, в свою очередь, с наибольшей вероятностью выводится из древнесеверогерманского **roþ(e)R*, **roðer*... и старошведского *roþer*» (гребля, гребной поход, пролив между островами, и производного от него **roþsmæn*, *roðsmæn*, *rodhsin*, *rjdskarlar* — гребцы, жители шхер». Возможно, древнейшей фиксацией существования самообозначения некой социотерриториальной группы свеев являются *rosomoni* Иордана, враждовавшие с Германарихом.

Но в VI–VII вв. «резко усиливается колониционное движение шведов на восток», результатом чего стало сложение тогда общего для прибалтийских финнов обозначения шведов *rōtsi и затем — к середине VIII в. — появление у славян социэтнонима «русь», обозначавшего «первоначально скандинавских торговцев, грабителей и колонистов». А уже, видимо, со второй половины VIII в., название «русь становится наряду с названием «рос» «обозначением славо-балто-скандинавского этносоциума», которое возникло в бассейнах Волхова и Сяси. В конечном итоге в 810–830-х гг. в Поволховье складывается в результате социально-экономического развития, обусловленного Балто-Каспийским торговым путём, и под давлением возросшей опасности со стороны викингов «первое русское протогосударство» (опорными пунктами которого являлись Ладога, Холопий городок, Рюриково городище/Невогард и «городище у с. Городище»/Алаборг на Сяси). А его глава принимает (в подражание и «в пику» хазарам) титул «хакан»³²⁹.

В 1985–1986 гг. Лебедев, Кирпичников, Дубов свои рассуждения по поводу происхождения имени «Русь» излагали в русле теории В.А. Брима о независимом существовании на севере и на юге сходных названий «русь» и «рос» и их последующем слиянии. Подчёркивая, что наряду с южной, более ранней формой «рос, рось», «связанной в Среднем Поднепровье с этнонимами росомонов (до 375 г.) и роксоланов (до 568 г.), с IX в. распространяется, вытесняя её, северная форма названия, “русь”». Эта северная форма первоначально обозначала «“войско, дружина”; возможно детализация — “команда боевого корабля, гребцы” или “пешее войско, ополчение”» (что объясняет «летописную формулу “пояша по собъ всю русь”»). Причём в этом спектре значений «летописному “русь” ближе всего финское ruotsi и древнеисландское rōfs, руническое **ruþ**».

Слово «русь», возникнув из Ruotsi в середине VIII в. среди смешанного славяно-финско-скандинавского населения Южного Приладожья, вскоре стало обозначать восточнославянский «надплеменной дружинно-торговый обществственный слой», куда входил скандинавский компонент, полностью растворившийся в конце X — начале XI века. Когда князь Олег, впервые создав «межплеменную славяно-варяго-чудскую армию», в 882 г. объединил «Верхнюю Русь» с среднеднепровской «Русской землёй», то произошла контаминация северной и южной форм «русь» и «рось», приведшая к возобладанию первой. Вместе с тем авторы утверждали, что какой-то части варяжских дружинников был свойственен билингвизм, зафиксированный Константином Багрянородным со слов, очевидно, какого-то киевского варяга в виде двойного ряда «наименований Днепровских порогов: скандинавских и славянских»³³⁰.

Но главными в «обосновании» и пропаганде скандинавской этимологии имени «Русь» были Петрухин и Мельникова, которые в 1985–1989 гг. внушали научному сообществу, что решение сугубо лингвистической «проблемы происхождения названия *русь* ни в коей мере не влияет на оценку исторических процессов образования Древнерусского государства» (и тут же демонстрируя иное), что «наиболее аргументированной — с языковой, археологической и исторической точек зрения — представляется скандинавская» версия происхождения названия Русь (она «широко принята зарубежными и рядом советских

исследователей, в первую очередь лингвистов, а также историков и археологов», хотя к этому времени её самым решительным образом отвергали лингвисты Ю. Мягисте и Г. Шрамм). И красной нитью они проводили мысль, что представляется наиболее вероятным временем проникновение в прибалтийско-финские языки слова *rōps-*, бывшего профессиональным самоназванием скандинавских гребцов и воинов, в форме *Ruotsi/Roots* VI–VII вв., что это название в качестве этнонима получило распространение в финноязычной среде к середине VIII в., что переход *Ruotsi/Roots* в «русь» датируется временем до середины IX в., что любой из композитов с первой основой *rōps-* мог закономерно отразиться в западнофинских языках как *Ruotsi/Roots*», например, в композите *Rōpslagen/Рослаген* (в 1985 г. Петрухин подчеркнул, ссылаясь на работу шведа Э. Брате 1914 г., что «пирейская надпись, в которой, как считается, упомянута область Рослаген, вероятно, относится ко второй половине XI в.»).

«Вместе сдвигающимися на юг и юго-восток отрядами, — продолжали свой «антинорманистский» сказ Петрухин и Мельникова, — название *rōps-* разносится по Восточной Европе и в результате непосредственных контактов фиксируется в византийских источниках IX в. и Бертинских анналах в формах *Rōs* и *Rhos*, сохраняя значение “профессионального” самоназвания». Затем этнически нейтральное название «русь» отрядов скандинавов, представлявших собой «этнически нейтральную военную силу» и независимых «от славянских племенных интересов», распространяется на полиэтнические дружины, что «вело к быстрому размыванию первоначально чётко выраженной этнической приуроченности» его скандинавам. В территориальном значении название «русь» начинает распространяться с захвата Олегом Киева, а затем переносится на русскую народность. Параллельно с тем ими утверждалось в русле теории двух колонизационных потоков скандинавов на Русь, что летописец «различал и противопоставлял “русь” и “варягов” как разновременные волны скандинавских мигрантов». И видели первых в скандинавской дружине Олега и Игоря (т. е. гребцы, участники похода на судах), ставшей называть варягами своих соотечественников, позже приходивших на Русь в качестве воинов-наёмников и торговцев на короткое время, а затем и всё население Скандинавии.

Одновременно они категорично утверждали, что «росские» названия днепровских порогов, о которых говорит Константин VII Багрянородный в трактате «Об управлении империей», есть, бесспорно, скандинавские наименования, что к организации ледунга (системе морского ополчения в раннесредневековой Швеции) близок «сбор однопорёвок на Руси», описанный тем же автором, что для него «народ “росов” тождественен со скандинавами, хотя эксплицитно (явно. — В.Ф.) это не находит выражения» и противопоставлен массе славян как великокняжеская дружина, состоящая «в значительной степени из скандинавов» и пользующаяся скандинавским языком (она неизбежно двуязычная, как и торговая среда), что император на основании полученной информации (от одного из «росов», члена великокняжеской дружины, скандинава по происхождению, хорошо владевшего древнерусским языком) «отождествляет язык росов с древнескандинавским, т. е. языком части дружинников киевских князей»³³¹.

Однако у Константина VII нет ничего из того, что ему приписывают Мельникова и Петрухин. Во-первых, по верному замечанию А.А. Горского, «росы» в главе 42 «выступают явно как народ, а не социальная группа («в верховьях реки Днепр живут росы»). Во-вторых, император нигде не отождествляет русь со скандинавами, да и о её языке не говорит ни слова, хотя будь он неславянским, то этот факт обязательно был бы им зафиксирован как в силу очень хорошего знания при византийском дворе реалий русской жизни, так и в силу тогдашней громкой «славы» скандинавов, державших в страхе Западную Европу. Отметим бы он этот факт и потому ещё, что свой трактат (написан, по М.В. Бибикову, в 948–952 гг., по А.А. Горскому, до 945 г.) адресовал сыну, а не широкой публике. И передавал в нём знания, которые помогли бы ему — будущему императору Роману II — «овладеть управлением». В том числе и самые подробные знания о варварских народах — происхождение, обычаи, природные условия, с которыми контактировала — в разных видах, включая военные, — Византия³³², ибо от того зависело её настоящее и её будущее. В 1940 г. М.Д. Присёлков заключил, что сочинение императора «написано на хорошо выверенных данных», полученных от самих русских. Сегодня и Е.А. Шинаков подчёркивает, заостряя внимание на характере трактата — «секретная инструкция сыну-наследнику престола», что «статус автора и фиксируемые источником тесные торговые, военные и политические контакты Византии и Руси с большей долей вероятности заставляют отвергнуть предположение о недостатке информации и информаторов»³³³.

Из непредвзятого же прочтения Константина Багрянородного можно вывести только одно, как это сделал в 1874 г. норманист Н.П. Ламбин: правитель Византии не знал на Руси норманнов, и его выражение «по-русски» значит «на том славянском наречии, которым говорила русь, и на котором русская великая княгиня Ольга лично с ним беседовала». Если бы она «говорила с ним не по-славянски, а по-шведски, разумеется, через переводчика, который перелагал бы её речи с шведского на греческий, то император, который, без сомнения, мог, даже не зная вовсе по-славянски, различать славянские звуки от звуков всякого другого языка, непременно бы обратил бы внимание на это обстоятельство и пожелал бы узнать — на каком языке говорит русская княгиня, откуда она родом, и почему её речь звучит не по-славянски». И в целом Ламбин отмечал молчание скандинавских, византийских и арабских известий «о норманском или варяжском происхождении нашей руси»³³⁴.

Следует заметить, что ряд западных учёных, по сравнению с названными «советскими антинорманистами», был менее расположен к версии о скандинавской этимологии имени «Русь». Так, в 1968 г. англичанин Г. Джонс констатировал, что скандинавская версия отнюдь не единственная и далеко не бесспорна, что её отстаивает большинство скандинавских специалистов, убеждённых в том, что так называли шведов, поселившихся на Руси, и никогда — их «шведских» соплеменников, что вопрос об этимологии этого наименования, как и варяги, «остаётся открытым» и что термин «ледунг», употребляемый в поздних источниках применительно к эпохе викингов, представляется большой натяжкой (вместе с тем он заключил, что вряд ли мы сумеем когда-либо выяснить,

точно ли был Рюрик Рориком Ютландским). Шестью годами позже американец Р. Пайпс признал: «Откуда взялось название “Русь”, однако, совсем неясно»³³⁵.

Важно указать, что на излёте «советского антинорманизма» Горский решительно выступил против увязывания Хабургаевым, Мачинским, Лебедевым, Мельниковой и Петрухиным имени «Русь» со скандинавами. В 1989 г. он продемонстрировал, с привлечением отечественных и иностранных источников, что аргументация в пользу скандинавской этимологии «не представляется убедительной: её сторонники придают важное значение лингвистическим параллелям, но при этом не учитывают ряда вступающих в противоречие с их концепциями исторических известий и выводов историков», и что в наших памятниках «нет данных, дающих убедительные основания предполагать наличие у термина *русь* социального смысла».

Вместе с тем историк заострил внимание на фактических ошибках Мачинского, Мельниковой и Петрухина, на неверном, к примеру, утверждении последних, «что название *русь* принадлежит к древнерусской модели для обозначения западнофинских племён. В действительности по этой модели в древнерусских источниках обозначаются племена разной этнической принадлежности: 1) западнофинские — сумь, емь, весь, либь, водь, чудь; 2) восточнофинские — пермь, черемись; 3) самоядь (ненцы); 4) балтские — корсь, жемоить; 5) скуфь (представлено как греческое наименование восточнославянских племён уличей и тиверцев); 6) сербь (славяне — сербы)» (а также констатируя, что они почему-то включили балтское племя корсь/курши в перечень финских племён). Как подытоживал Горский, «южнорусская гипотеза подкрепляется более надёжными (в том числе синхронными — IX в.) историческими свидетельствами, но пока не имеет достаточно убедительного лингвистического обоснования»³³⁶.

Венцом неустанных «творческих» усилий наших археологов и лингвистов стало заключение филолога и «советского антинорманиста» Д.С. Лихачёва, которое ни у кого не вызвало протеста. В 1989 г. он во вступительном слове на Византийском конгрессе в Москве предложил называть Русь (особенно в первые века её исторического бытия) «Скандославией». Через десять лет Г.С. Лебедев резюмировал, что «в культурно-исторической атрибуции Древней Руси утвердилась введённая акад. Д.С. Лихачёвым характеристика “Скандовизантия”» (ещё одно название Руси, в 1992 г. прозвучавшее из уст авторитетнейшего на то время в науке и обществе академика-филолога) и что данный факт (а эти слова отражают истинную суть «советского антинорманизма» и его достижений) «свидетельствует об успешном, в общем, решении ряда исследовательских задач, поставленных в середине 1960-х — начале 1970-х гг.»³³⁷

А в унисон с археологами и лингвистами говорили «антинорманисты» — историки, бывшие на третьих ролях. В 1991 г. С.В. Думин и А.А. Турилов уверяли, что у истоков нашей государственности стояли варяжские князья с их дружинами, что взаимодействие восточных славян и скандинавов носило характер не завоевания, а «сотрудничества» и «синтеза», что название государства и его происхождение — не взаимообусловлены, что накоплен большой материал, подтверждающий скандинавское происхождение термина «русь»

(от древнескандинавского «грести» и т. д.), что скандинавское происхождение киевской династии «теперь вряд ли может вызвать сомнение», что именно Волжская Булгария приостановила продвижение варягов-норманнов на Восток и Хазарию³³⁸.

5.6 Истинный антинорманизм в лице советских историков В.Б. Вилинбахова, А.Г. Кузьмина, Н.С. Трухачёва и борьба с ним «советских антинорманистов»

Всё больше укрепляя свои позиции в науке, «советский антинорманизм» начинает в 1970-х гг. борьбу с настоящим антинорманистом А.Г. Кузьминым, видя в нём главную опасность для себя. И почин тому положил в 1974 г. А.А. Зимин. Учитывая заполитизированность науки и общества, этот маститый историк обвинил коллегу в непростительных, с точки зрения марксистской историографии, грехах. Заведя речь о методике изучения летописей, а именно в этом русле шла годом ранее дискуссия Кузьмина на страницах академических журналов с тогдашними первыми лицами советской науки Л.В. Черепниним, Д.С. Лихачёвым, В.Л. Яниным, Я.С. Лурье, Зимин его подход к данной проблеме предложил отбросить решительно, ибо он тянет науку назад. И столь суровый приговор обосновывал тем, что оппонент не стремится «понять классовую и политическую сущность летописания», «выяснить классовые корни идеологии летописца» (к тому же у него в целом отсутствуют классовая характеристика деятельности князей и их идеологии, классовая оценка крещения Руси).

Специально переведя научный спор в политическую плоскость и рисуя образ учёного, находившегося не в ладу с марксизмом, и мыслей которого поэтому надлежит чураться, Зимин подошёл к главной теме своей «филиппики». Процитировав слова Кузьмина, что советские исследователи «не пересматривали заново многих постулатов норманской теории», историк, напротив, уверял, что они «вели ожесточённую борьбу с норманизмом» и своим «упорным и настойчивым трудом достигли крупных успехов в изучении проблемы возникновения древнерусской государственности». После чего сказал, серьёзно смещая акценты в творчестве Кузьмина, стремившегося выяснить истоки варяжской руси, что его попытки «свести всю проблему к изучению династического вопроса и национальной (племенной) принадлежности первых князей следует признать несостоятельной». Зимин утверждал (с понятным намёком), что Кузьмин теорию южнобалтийского происхождения варягов заимствовал у В.Б. Вилинбахова (хотя её отстаивали многие русские историки XVIII–XIX вв.), но при этом дезавуирует его труды. В адрес коллеги с его «источниковедческой всеядностью» было брошено, с целью окончательной дискредитации научных воззрений, что «рязано-муромские летописные сочинения, которые, по мне-

нию Кузьмина, составлялись в XII–XV вв., являются плодом воображения учёного, а не научными гипотезами», и что он «охотно прибегает к лингвистическим новациям, не обладая для этого необходимыми познаниями»³³⁹.

В 1983 г. также весьма авторитетный в науке «советский антинорманист» И.П. Шаскольский предпринял более масштабную атаку на действительный антинорманизм, стремясь скомпрометировать всякое сомнение в норманстве варягов, когда-либо высказанное, и окончательно навязать научному миру СССР не только ложный подход к разрешению варяго-русской проблемы, но и её ложное понимание. В связи с чем он, отказывая истинному антинорманизму, представленному яркими фигурами дореволюционной историографии, в научности и как заклинание твердя, что возрождение антинорманизма на почве советской науки невозможно, также придал своим словам политическую заострённость. Смысл которой был тогда понятен: историки В.Б. Вилинбахов и А.Г. Кузьмин, эти настоящие, а не кажущиеся антинорманисты, непосредственно занимавшиеся, в отличие от Шаскольского (и от Зимина), варяго-русским вопросом, были обвинены им в недопонимании марксистской концепции происхождения русской государственности, т. е. он представил их позицию в данном вопросе политически неблагонадёжной³⁴⁰.

А таким образом он дал твёрдо понять всем советским учёным, хорошо помнящим, к чему ещё недавно приводили обвинения в недопонимании марксизма или в отступлении от него, каким «антинорманизмом» они могут заниматься, а каким — категорически нет (да и сам явно надеялся на то, что его сигнал в отношении Вилинбахова и Кузьмина услышат, как тогда говорили, компетентные органы и разберутся с этими ревизионистами марксизма). Главной мишенью Шаскольского был Кузьмин (Вилинбахов скончался в 1982 г.). Ибо он, продемонстрировав принципиальную ошибочность концепции, которой следовали «советские антинорманисты» и которая привела к торжеству норманизма в науке, снимал все ограничения в изучении этноса варягов и их далеко немалой роли в истории Руси, что давало учёным свободу мысли и позволяло поставить вопрос о наличии и преодолении «исторических мифов».

Вот так под флагом «советского антинорманизма» и марксизма норманисты начали борьбу с подлинным антинорманизмом и его наиболее яркими и знаковыми фигурами прошлого и современности, при этом избегая невыгодного для себя разговора по существу, а лишь стремясь навязать научной общественности представление о научной и вместе с тем политической несостоятельности противостоящего им инакомыслия. Показательно, что борьбу эту вели учёные, которые также, как Зимин и Шаскольский, не имели отношения к разработке варяго-русского вопроса (а в ряде случаев и к русской истории вообще), при этом большинство из них не являлось историками. В 1988 г. Т.Н. Джаксон (филолог-скандинавист, тема кандидатской диссертации 1978 г. «Исландские королевские саги как источник по истории народов Европейской части СССР V–XIII вв.») и Е.Г. Плимак (философ, тема докторской диссертации 1986 г. «Становление и развитие пролетарского революционного сознания от Великой Французской революции до Октября»), взяв в союзники самого Маркса и его «Секретную дипломатию XVIII в.», констатировали, что он «глубоко

прав, фиксируя воздействие внешнего, варяжского завоевательного и торгового импульса в складывании той же “империи Рюриковичей”».

Охарактеризовав Маркса в качестве ортодоксального первого норманиста среди марксистов, говорившего о норманском завоевании Руси, авторы настоятельно рекомендовали советским учёным, для которых всё, сказанное основоположником марксизма, имело силу высшего закона, признать не только факт наличия внешнего фактора в образовании Древнерусского государства, но и его весьма существенное значение. При этом Джаксон и Плимак утверждали, что с отходом в 30-е гг. «от тезиса Маркса о завоевании Руси норманнами, естественно, ушла из литературы и вся проблематика, связанная с взаимодействием народа-победителя и побеждаемого народа». Критикуя позицию исследователей, и прежде всего Б.А. Рыбакова, который, по их словам, «воюя с норманизмом», признавал ничтожной историческую роль норманнов на Руси и вообще отрицал роль внешнего импульса, объявили, что «советский антинорманизм», возникший во второй половине 30-х гг. под влиянием политической ситуации и конъюнктуры, был «доведён до абсурда»³⁴¹.

В 1989 г. Е.А. Мельникова (филолог, тема кандидатской диссертации 1970 г. «Некоторые проблемы англо-саксонской героической эпопеи “Беовульф”») и В.Я. Петрухин (археолог, тема кандидатской диссертации 1975 г. «Погребальный культ языческой Скандинавии»), также стремясь в условиях резкого ослабления идеологического пресса на науку воспрепятствовать неминуемому возрождению в ней истинного антинорманизма, очень чётко изложили понимание того «научного антинорманизма», который только и должен присутствовать в трудах коллег, и очертили тот круг вопросов, который те могут ставить, а которого не должны касаться вовсе. По их «антинорманистскому» инструктажу (рефрену предыдущих десятилетий), «продуктивность и научное значение антинорманизма заключается не в оспаривании скандинавского происхождения русских князей, скандинавской этимологии слова “русь”, не в отрицании присутствия скандинавов в Восточной Европе, а в освещении тех процессов, которые привели к формированию государства, в выявлении взаимных влияний древнерусского и древнескандинавского миров». Вместе с тем они подчёркивали, чтобы историки не лезли в чужой огород и не оспаривали «очевидного», что вопросы «этимологии названия (проблемы преимущественно лингвистической) и образования государства (проблемы сугубо исторической)» принципиально различаются, и не могут и не должны подменять друг друга³⁴².

С конца 1980-х гг. «советскими антинорманистами» была развёрнута кампания по умалению значения М.В. Ломоносова-историка, ибо в нём традиционно видят родоначальника антинорманизма, по причине чего удар всегда наносился в само его основание. В связи же с тем, что тогда антинорманизм истинный олицетворял в первую очередь Кузьмин, то был запущен и отлаженный норманистами процесс дискредитации его научных воззрений, в чём особенную активность проявляли Петрухин и Мельникова. В 1985 г. Петрухин взгляды Кузьмина попытался скомпрометировать тем, что он недостаточно знает источники³⁴³ (и эти слова были брошены в адрес крупнейшего специалиста в области летописей, их издателя и переводчика, в целом прекрасного знатока

русских, античных, византийских, западноевропейских и восточных памятников, многие из которых не были известны Петрухину и которые историк публиковал и значительную часть которых заново или впервые ввёл в науку³⁴⁴).

В 1989 г. Мельникова и Петрухин, ссылаясь на Попова и Хабургаева, говорили, что языковеды считают доказанной скандинавскую этимологию имени «Русь». В связи с чем позицию Кузьмина в данном вопросе, жившего не по правилам «антинорманистов-марксистов», а по правилам науки, охарактеризовали довольно пренебрежительно: она высказана тем, кто не имеет «филологической подготовки» (и это «обвинение» исходило, стоит подчеркнуть, и от археолога Петрухина!)³⁴⁵. Под воздействие антинорманистской кампании попал известный археолог Д.А. Авдусин, который в 1987 г. выразил сожаление, что Кузьмин стремится, вслед за «старыми антинорманистами», «обойтись без скандинаво-финских корней названия “русь”». На следующий год он противопоставил «научному антинорманизму», успешно развивавшемуся в 1960–1980-х гг. «не только в СССР, но и во многих других странах», «вульгарный антинорманизм», отнеся к нему труды Вилинбахова и Кузьмина³⁴⁶.

Возникает резонный вопрос: в чём же суть «вульгарного антинорманизма», представленного единицами, но так сильно переполошившего сторонников «научного» «советского антинорманизма»?

В советское время как норманизму, так и его советскому аналогу, сдобренному марксизмом, по существу, противостояли лишь В.Б. Вилинбахов, А.Г. Кузьмин и Н.С. Трухачёв (имевший тогда большую популярность историк Л.Н. Гумилёв не был, как это преподносится, антинорманистом. По его весьма эклектичному мнению, состыковавшему разные версии и изложенному в 1989 г., до прихода славян в Восточную Европу там проживали германоязычные русы/россы, потомки рогов/росомонов, не являвшиеся скандинавскими варягами и оставившие в наследство славянам, слившись с полянами в единый этнос только при Владимире Святом, в X в., династию и название державы. Одновременно с тем он утверждал, что конунги варяжского конунга Рюрика, по этносу руса-росомона, и скандинавские варяги во главе с конунгом Олегом/Хельгом захватили Киев в 882 г. и господствовали в Киевской земле по 944 г., до гибели варяжского конунга Игоря, окружение которого носило скандинавские имена, что существовала «варяжская Русь», которую конунги превратили в вассала хазарских царей, что Ярослав Мудрый нанял скандинавов-варягов, что профессиональные варяги были полиэтничны и их отряды состояли из скандинавов, полабских славян, латышей, финнов³⁴⁷).

Вилинбахов, Кузьмин и Трухачёв, демонстрируя высокую эрудицию, знание самого широкого круга источников и историографического материала, во многом неизвестных их оппонентам, своими изысканиями органично дополняли друг друга. Вилинбахов, в 1960 г. (тогда в соавторстве с В.В. Похлёбкиным) первым выступивший против общепринятого мнения по поводу этноса варягов, всё внимание сосредоточил на доказательстве серьёзного участия южнобалтийских славян в этногенезе «северной группы восточного славянства», а варяжскую легенду рассматривал как память об их участии в древнейших событиях новгородской истории. Извлекая из исторического небытия народ, игравший

огромную роль в судьбах Северной Европы, но абсолютно игнорируемый «советскими антинорманистами», он на конкретных примерах показал, что славяне Южной Балтики были прекрасными мореходами и принимали активное участие в походах викингов. Но главное, на чём заострял внимание учёный, это то, что именно с ними связано заселение в VIII–XI вв. территории Северо-Запада Руси, вызванное их интенсивной торговой деятельностью по Балтийско-Волжскому пути и натиском на них со стороны германцев.

Генетические связи Южной Балтики и Северо-Западной Руси Вилинбахов обосновывал важными данными: лингвистическими, топонимическими (центральный географический пункт Новгородской земли оз. Ильмень «полностью соответствует р. Ильменау в земле венедов»), археологическими, нумизматическими, керамическими, фольклорными (былинный Волин-город — это есть Волин, важнейший торговый центр балтийских славян), письменными (наше сказание о Гостомысле перекликается с преданиями тех же славян о правлении короля Гостомысла, VIII–IX вв.), этнографическими. При этом он заострял внимание на делении городов только Северо-Западной Руси (Новгорода, Ладоги, Пскова) и Южной Балтики на «концы». Связывая возникновение Ладоги с Балтийско-Волжским торговым путём и с южнобалтийскими славянами, исследователь отмечал, что они совершали крупные военно-торговые экспедиции в район Каспийского моря, напомнил о находках в Гнёздове большого количества «различных вещей, имеющих полную аналогию с археологическим материалом из земель балтийских славян» (на их основании археолог В.И. Сизов в 1902 г. предположил, «что среди жителей этого поселения имелись выходцы с балтийского Поморья»).

Вместе с тем Вилинбахов вёл речь о существовании южнобалтийской Руси (видя в ней о. Рюген, Russia, Rutheinia, Ruzia западноевропейских источников, жители которого именовались Ruzzi, Rutheni), обстоятельно осветил историографию южнобалтийской версии происхождения варягов, тем самым ознакомив советских учёных с иными подходами к решению варяго-русского вопроса³⁴⁸. В целом проделанная им работа, которая подвергалась жёсткой и неконструктивной критике у нас и за рубежом³⁴⁹, была действительно масштабной, и результатом её стал тот важный факт, что, как резюмировал сам Вилинбахов в 1980 г., после многих лет забвения проблема «Балтийские славяне и Русь», имеющая «чрезвычайно важное значение» для русской истории, вновь стала предметом изучения, и выразил уверенность, что она «заставит пересмотреть многие, казалось бы, уже устоявшиеся и всеми принятые положения, по новому взглянуть на целый ряд процессов в Восточной Европе IX–XI вв.»³⁵⁰.

В том же 1980 г. Н.С. Трухачёв, решая проблему варяжской руси, также обратился к южнобалтийскому материалу. По его убеждению, ПВЛ точно локализует Русь на о. Рюген, где проживало славянское племя раны, руги, русские, вымершее к концу XIV в., и полагал, что Рюген и есть остров русов арабских авторов. В факте сознательного отождествления немцами киевских и прибалтийских русов учёный видел свидетельство признания их этнического родства³⁵¹ (в 1957 г. чешский ориенталист И. Грбек связал третью группу руси восточных памятников Арсания/Арса с островом Рюген, что без каких-либо оснований

отверг в 1965 г. его советский коллега А.П. Новосельцев. Хотя, подчёркивал С.Н. Азбелев, исследование чешского учёного «заслуживает весьма внимательного отношения — уже только потому, что опирается на тщательный текстологический разбор всех имеющихся свидетельств». И, рассмотрев доводы Грбека, он констатировал: «Только Аркона и руяне имеют бесспорное ближайшее созвучие с арабскими текстами; только Аркона из всех предлагавшихся соотношений выдерживает сравнение по значимости с Киевом и Новгородом»³⁵²).

Но более всего урон норманизму нанёс в последней трети XX и первых годах нынешнего столетия А.Г. Кузьмин, сильная сторона которого как исследователя заключалась в том, что он был истинным диалектиком, прекрасным знатоком философии (отечественной и зарубежной), гносеологических проблем, был потому способен охватывать самые сложные вопросы в целом, выделять в них главное и частное. Что и позволило ему поднять разработку варяго-русского вопроса на совершенно иной уровень: резко расширить горизонты русской истории и углубить её древности, обосновать необходимость поисков корней русского народа во многих областях Западной и Восточной Европы. Свою принципиальную позицию в данном вопросе учёный определил далеко не сразу, а лишь только «переболев» норманизмом, принятым им под воздействием традиции и марксизма. Но по мере работы с большим числом источников, по мере вхождения в весь круг проблем, связанных как с летописанием и варяжским вопросом, так и с их богатейшей и противоречивой историографией, эффективным использованием им, наряду с традиционными текстологическими приёмами, собственно исторических методов критики летописных известий, он стал осознавать норманизм «советского антинорманизма».

В подходе Кузьмина к варяго-русскому вопросу имеется своя логика и своя стратегия, приведшие его к исключительно важным результатам. И шёл он к варягам от летописей (от источников в целом), а не наоборот, что свойственно современным норманистам, использующим их показания лишь в качестве иллюстративного материала к своим умозрительным построениям и не представляющим себе всей сложности, особенно летописеведческих, проблем. Хотя «полное неведение истории летописания вообще и сложения “Начальной летописи” в частности, — верно заметил в их адрес в 2003 г. учёный, — закрывает самую возможность понимания её текста»³⁵³. Сам же он обратился к варяжской проблеме лишь тогда, когда состоялся как профессиональный источниковед, следовательно, как историк в полном смысле этого слова.

Причём обратился первоначально именно в источниковедческом плане, оспорив, например, взгляд на Сказание о призвании варягов как новгородский памятник. Взгляд в то время непререкаемый, ибо был введён в науку крупнейшим летописеведом А.А. Шахматовым, исходившим, как продемонстрировал Кузьмин, из ошибочного тезиса, что НПЛ младшего извода, где Рюрик по своему прибытию на Русь садится в Новгороде³⁵⁴, отражает гипотетический Начальный свод 1095 г., якобы лёгший затем в основу ПВЛ. В Ипатьевской и в двух списках Радзивилловской летописей (Радзивилловском и Академическом) первоначальной резиденцией Рюрика названа Ладога³⁵⁵. В 1967 г. Кузьмин специальной работой доказал, что подлинной является именно ладожская версия Ска-

зания, отредактированная новгородским летописцем, не желавшим отдавать старейшинство «пригороду» Ладоге и потому заменившим её Новгородом³⁵⁶ (это мнение принято наукой и подтверждено археологическим материалом³⁵⁷).

Решая крупные историко-ведческие задачи и интенсивно работая над докторской диссертацией по истокам русского летописания, Кузьмин в конце 1960-х гг. начинает преодолевать устоявшиеся стереотипы в области летописоведения, параллельно с тем избавляясь от гнёта и иллюзорности «советского антинорманизма». И прежде всего он выразил некоторые сомнения в правильности взгляда на варягов как на норманнов, отметив, что в летописи варяги понимаются не всегда одинаково — это либо скандинавы, либо европейцы-не-славяне вообще, и указав, что норманское происхождение имён Игорь и Олег (Ольга) вовсе не доказано (причём, по его замечанию, летописцы никогда не смешивают «Игорей» со скандинавскими «Ингварами», а «имя Olga было известно у чехов, которые с норманнами непосредственно не соприкасались»)³⁵⁸.

Мысль Кузьмина о научной несостоятельности норманизма постепенно вызрела из тщательного изучения источников, в первую очередь ПВЛ, убедившего его в правоте С.А. Гедеонова, что летопись «всегда была и останется, наравне с остальными памятниками древнерусской письменности, живым протестом народного русского духа против систематического онемечения Руси»³⁵⁹. К тому же историк, овладев огромным объёмом знаний по варяжскому вопросу: отечественным и зарубежным, полузабытым советской исторической наукой или вовсе неизвестным ей, а в ряде случаев игнорируемым, увидел, с одной стороны, насколько не соответствует этим знаниям норманистская трактовка этноса варяжской руси. С другой, те причины, в силу которых тогдашняя наука была не способна выйти за рамки норманизма и была обречена на повторение не только его азов, но и тех доводов, от которых отказались именитые норманисты прошлого. Окончательно же Кузьмин порвал с норманизмом в 1970 г., когда прямо сказал о методологической ущербности «советского антинорманизма», крепко стоявшего, под флагом марксизма, на базе норманизма.

Установив этот точный диагноз, Кузьмин тогда и позже убедительно показал, что русская история не ограничивается одной Киевской Русью и что параллельно с ней и даже задолго до неё существовали другие русские образования (территории). В 1986 г. он впервые в науке привёл подборку «Сведений иностранных источников о руси и ругах», зафиксировавших в Восточной и Западной Европе (но исключая Скандинавию) применительно ко второй половине I — к началу II тысячелетия н.э. более десятка различных «Русий» (вначале учёный говорил о близких и родственных Русиях, но в 2003 г. пришёл к выводу, что они этнически разнились, что и определило противоречивость информации о них исторических памятников). Это прежде всего четыре Руси на южном и восточном побережьях Балтийского моря (о. Рюген, устье Немана, устье Западной Двины, западная часть нынешней Эстонии — провинция Роталия-Русия и Вик с островами Эзель и Даго), Русь Прикарпатская, Приазовская (Тмутаракань), Прикаспийская, Подунайская и др., которые западные авторы именуют, как и Киевскую Русь, Ругиланд-Ругия-Руссия-Рутения (иногда Руйя-Руйяна), а их население — ругами, рогами, рутенами, руянами, ранами, ренами, русью,

русами, росомонами, роксоланами. В проведении данной плодотворной идеи (а она уже присутствует у М.В. Ломоносова) Кузьмин заручался и указаниями восточных источников на «два вида» или «три группы» русов, т. е. на области их расселения, следовательно, одной-единственной Руси не существовало.

Однако, объяснял исследователь, основная часть известий о руси (первоначально ругов, со временем почти повсеместно вытесненное именем «русы») почти не задействована в науке из-за того, что «они не укладываются в принятые норманистские и антинорманистские концепции начала Руси». Так, например, «русские» первых книг «Деяний данов» Саксона Грамматика, написанных по материалам устной традиции, исторических сказаний, саг, норманистов «не устраивают потому, что речь явно идёт не о шведах, готах, датчанах и норвежцах, а антинорманисты не могут объяснить, почему столица этой Руси — Ротала — находится на восточном побережье Балтики (провинция Роталия в Эстонии), а имена рутенских “царей” нигде не находят аналогий» (причём имена рутенов, подчёркивал учёный, «как и ранние имена данов, никогда не были германскими»). Кузьмин, особо выделяя из балтийских Русий именно Роталию-Вик, отмечал, что о ней много говорит Саксон Грамматик, что с ней датчане вели многовековые войны на море и на суше и что эти войны «составляют важную тему датских хроник и эпоса, где обычно речь идёт о язычниках, каковые к XIII в. сохранялись лишь на островах и восточном побережье Балтики».

В 2002–2004 гг. учёный локализовал здесь «Руссию-тюрк» комментатора Адама Бременского и в её пределах поместил «Остров русов» восточных авторов, видя в нём о. Сааремаа (Эзель), называемый сагами «Holmgård» (калька обозначения «Островная земля», то же самое исландское «Ейсюсла», искажённое немецкое Эзель), переносившими иногда это имя по созвучию на Новгород («русские» о. Сааремаа в 1236, в начале 1250-х, в 1260 гг. и в конце столетия возглавили восстание против Ливонского ордена, а в 1343–1345 гг. в большом восстании против него же остров был важнейшим оплотом восставших; «русские» сёла в Вике — Вендекуле, Квевеле, Вендевер близ Вендена, «Руссен Дорп» — и позднее будут упоминаться в документах, касающихся этой территории). В «Руссии-тюрк» историк видел Аланскую Русь (или Норманский каганат), созданную в IX в. русами-аланами после их переселения с Дона из пределов разгромленного хазарами и венграми Росского каганата, возникшего в конце VIII — начале IX века.

Проблему варягов и руси Кузьмин рассматривал в теснейшей связи с процессом образования государства у восточных славян, специфика которого заключалась в том, что форма организации племенных союзов в VI–IX вв. выросла на почве территориальной общины и представляла собой стройную, созданную снизу, прежде всего в хозяйственно-экономических целях, систему, в которой высший слой ещё не отделился от низших звеньев. Однако эта естественная государственность, «экономически целесообразная земская власть не могла простирается на обширные территории». Поэтому возвыситься над ними и объединить их могла лишь власть внешняя, выступившая в Поднепровье в лице полян-руси, а затем «рода русского», видимо, объединявшего вы-

ходцев из Поднепровья, Подонья, Подунавья и Прибалтики (отсюда этот род, имевший отношение к разным этносам, был полон противоречий), являвшегося паразитарным по своей сути и главное занятие которого, как можно судить по договорам 911 и 945 гг., были война и торговля. Но объединение, созданное руссами, оказалось прочным по причине взаимной заинтересованности: они, довольствуясь в основном лишь номинальной данью (по европейским меркам — крайне скромной) с подвластных славянских племён и не вмешиваясь в их внутреннюю жизнь (почему там и сохранялись традиционные порядки), взяли на себя обязанность их защиты, «столь важную вообще в эпоху становления государственности и особенно важную на границе степи и лесостепи внешнюю функцию».

Видя в варягах вообще поморян (вар — одно из древнейших обозначений воды в индоевропейских языках), собственно варягами, варягами в узком смысле слова Кузьмин считал вагров-варинов (вэринов), населявших Вагрию (Южная Балтика), племя, принадлежавшее к вандальской группе, часть которого к IX в. ослабилась (другая была ассимилирована германцами), и имя которых распространилось на всех балтийских славян между Одером и южной частью Ютландского полуострова, а затем на многих западноевропейцев. Подчёркивая при этом, что «тождество варинов и варягов достаточно очевидно: речь-то идёт об этнообразующем суффиксе, меняющемся в разных языках. В кельто-романских должен быть суффикс “ин”, в германских — “инг” (“веринги”), у балтийских славян — “анг”, у восточных — “яг”».

Опираясь на археологический материал, учёный говорил о двух больших волнах переселений по Волго-Балтийскому пути с Запада на Восток: в конце VIII и середине IX в., и вобравших в себя как славянские, так и неславянские народы, как собственно варягов, так и выходцев из балтийских славяноязычных Русий («изначальная близость ругов и варинов могла послужить позднее причиной их постоянного смешения: на ругов-рутенос распространяется общее название “варяги”, и наоборот, область Вагрии в XII–XIII веках нередко именуется “Руссией”», отсюда «двойное наименование переселенцев — варяги-русь»), которые вместе уходили от натиска Франкской империи. Этот переселенческий поток захватил собой Скандинавский полуостров (в которой долго сохранялись славянские поселения и в городах которой даже в XIV–XV вв. была весьма заметна традиция славянских имён) и вовлёк в свою орбиту какую-то часть непосредственно скандинавов.

Причём, указывал Кузьмин, по Волго-Балтийскому пути «не видно зримых следов межэтнических конфликтов, а ассимиляция местного населения проходила на жизни нескольких поколений», что «конечным пунктом пути, равно как и крайней областью расселения самих балтийских славян и варягов, являлся Булгар», и что именно по этому пути «сложился союз двух славянских (кривичей и новгородских словен) и трёх угро-финских племён (чудь, весь и меря), “пригласивших” Рюрика с варягами». Отмечал историк и тот факт, что на том же пути, активную роль на котором играли славяне и русы, на протяжении столетий будет удерживаться новгородская гривна, ориентированная на фунт Карла Великого (409 г), составляя ровно половину этого фунта.

У южнобалтийских славян, обращал внимание исследователь, государственность сложилась в виде городов-полисов, сохранявших большую самостоятельность по отношению к княжеской власти. Прибывшие на Русь варяги привнесли сюда свой тип социально-политического устройства, «что-то вроде афинского полиса. Древнейшие города севера, включая Поволжье, управлялись примерно так же, как и города балтийских славян». И который представлял собой славянский тип, «основанный полностью на территориальном принципе, на вечевых традициях и совершенно не предусматривающий возможность централизации». Именно для данного типа характерна большая роль городов и торгово-ремесленного сословия, в связи с чем на Севере была создана полисная система. А высокий уровень материальной культуры и отлаженность общественного управления обеспечили преобладание переселенцев на обширных пространствах севера России, а также быструю ассимиляцию местного неславянского населения.

Вместе с тем Кузьмин констатировал, что никаких данных в пользу германоязычия собственно варягов нет вообще и что норманизм держится главным образом на прямой подмене. Ибо русь противопоставляется варягам, а для доказательства германоязычия последних используются факты, относящиеся к руси: что послы от «кагана росов» в Германии в 839 году вроде бы оказались «свеонами», что в 844 году на Севилью напали русы, пришедшие откуда-то с севера, что Константин Багрянородный в середине X века называет днепровские пороги славянскими и «русскими» именами, что хронист Лиутпранд в X веке отождествляет «русов» с норманнами и что сами имена «рода русского» в договорах — неславянские. Но ведь это именно русы, а не варяги. Варяги же могут рассматриваться в этом контексте лишь в той мере, в какой они *русы*, в какой оправданно их отождествление». Традиционный же норманизм, пояснял учёный, исходил из их тождества и ему была присуща определённая логика.

Говоря, что истоки руси не были связаны ни с германцами, ни со славянами, Кузьмин заключил: руги-русь, принадлежа к вендо-герульским племенам, была ассимилирована славянами примерно в VI–IX веках. В связи с чем воспринималась соседями в качестве славян, да и сама осознавала себя славянским, но аристократическим родом. Тот же процесс наблюдался и в других районах Европы, где входили в соприкосновение русский и славянский миры. И при этом «ни один источник X–XIV веков не смешивает русь ни со шведами, ни с каким иным германским племенем». Тогда как значительный исторический (включая ПВЛ), археологический, антропологический, нумизматический и лингвистический материал в поисках варягов и руси выводит на южное и восточное побережья Балтийского моря. На эти же земли указывают Перун, бог варяго-русской дружины, совершенно не известный германцам, но культ которого был широко распространён именно на всём славянском Поморье, и славянский язык пришельцев, как то вытекает из славянских названий городов, основанных ими в Восточной Европе.

Запись самых ранних сведений о варягах (вместе со всем этнографическим введением) Кузьмин относил к концу X в. и связывал с киевским летописцем, который дал единственное указание на место расселения варягов: они живут

на восток от чуди (эстов) до «предела Симова» (Волжской Болгарии), т. е. названы те земли, на которых, согласно варяжской легенде, утвердились варяги, пришедшие с Рюриком, а на западе от ляхов и прусов «до земле Агнянски и до Волошьски». Понимая под летописными землями «Агнянски» и «Волошьски» соответственно южные области Ютландского полуострова, бывшие родиной англов (а с ними на востоке соседнили вагры-варины), и Священную Римскую империю, он утверждал, что летописец отводил для варягов территорию между Польшей и Южной Данией, заселённую балтийскими славянами. К тому же району подводят и путь по Двине «в варяги, из варяг до Рима», и маршрут следования апостола Андрея: «иде в варяги, и приде в Рим», т. к. именно отсюда начиналась Священная Римская империя.

С самой варяжской легендой, полагал учёный, летописец конца X в., «похоже, не был знаком», и русью «считал только переселенцев из Норика, а новгородцев и вообще северных славян числил в ряду “варягов”». К первым известиям о варягах, внесённым этим летописцем, Кузьмин относил и рассказ о событиях 980 г., когда Владимир, отказавшись заплатить варягам за их помощь в овладении им киевским столом и убийство ими своего старшего брата Ярополка, оставил у себя из их числа «мужи добры, смыслёны и храбры, и раздая им грады», большую же часть наёмников отправил в Византию, упредив императора о той опасности, которая может исходить от них. При этом у летописца нет намёка на иноязычие варягов, они были для него, как киевлянина, лишь чужими. «Показательно и то, — отмечал историк, — что он не упоминает пришедших с Владимиром новгородцев, которые, конечно, составляли основу княжеской дружины. Очевидно, и к ним относилось обозначение “варяги”».

Кузьмин показал, с опорой прежде всего на саги, что норманны, с которыми связывают варягов и варяжскую русь, стали появляться на Руси лишь при Владимире Святославиче, в конце X в., включившись в движение на восток по путям, давно проложенным южнобалтийскими славянами. Причём в правление этого князя действия героев саг далее Эстонии «не простираются. Киева саги не знают вовсе». Сам же Владимир в сагах чаще всего характеризуется как «отец Ярослава», более известного скандинавам. При Ярославе Мудром, в связи с его женитьбой в 1019 г. на дочери шведского короля и внучке ободритского князя Ингигерде (ободриты — одно из самых могущественных славянских племён Южной Балтики), в среду варягов-наёмников, роль которых теперь возросла, вливаются шведы. С тех пор с ними устанавливаются тесные связи, и с этого же времени норманны проникают в Византию, где вступают в дружину варангов (варягов). После смерти Ярослава прекратились как выплата дани Новгорода варягам, установленная ещё в 882 г. Олегом, так и набор наёмников «за морем», по причине чего движение варягов в Византию через Русь практически замирает. Историк, говоря, что обозначение Швеции «Руотси» не имеет отношения к этносу, резюмировал: саги «не разу не помещают “русь” в Швеции, вообще в Скандинавии» и «в самих Швеции и Норвегии о таком этносе — “родсы” (шведы-гребцы) — никогда не слышали, а “Русью” называли именно Русь».

Отмечал Кузьмин и весьма сложный, полиэтничный состав русского именослова той эпохи — славянский, иранский, иллиро-венетский, подунайский, восточнобалтийский, кельтский и другие компоненты: «В большинстве, это именно кельтские и иллиро-венетские имена, широко распространённые в эпоху Великого переселения народов, когда, по замечанию Иордана, племена охотно перенимали имена друг у друга. Часть их и до сих пор употреблена в кельтском именослове» (при этом он констатировал принципиально важное, не принимаемое в расчёт норманистами, что, «как правило, те имена, которым находят аналогии в Скандинавии, имеются также в кельтских областях и из кельтского же языка и объясняются», причём норманисты вообще игнорируют кельтов, а также алан, «оставивших заметные следы в Скандинавии»). Есть имена, заострял внимание историк, фризские (особенно в договоре Олега) с характерной для фризов уральской примесью, эстонские имена в договоре Игоря: Каницар, Искусев, Апубьксарь, Глеб, а также иранские.

Само же имя Олег «явно восходит к тюркскому “Улуг” — имени и титулу, со значением “великий”, причём оно в форме Халег с тем же значением известно и у ираноязычных племён», имя Игорь (Ингер иностранных источников) объясняется уральским «инг» — муж, герой, и связано оно было «либо с Ингрией (Ижорой русских летописей), либо с Ингарией — областью в Роталии» (Западная Эстония), что «прибалтийские племена имена с корнем *инг* в эпоху Великого переселения занесли на Дунай. Имя *Инго* носил один из паннонских князей первой половины IX в.». Кузьмин также продемонстрировал, приведя тому примеры, что имена Рюрика и его братьев Синеуса и Трувора, прибывших, согласно ПВЛ, в 862 г. во главе варягов и руси к нашим предкам, имеют прямые параллели в кельтских языках, с последним также связаны и имена Дира (*dir* — «крепкий», «сильный», «верный», «знатный») и Аскольда (*old* — «высокий», «великий»). Подчёркивая, что «кельтское влияние отражается в древнерусских именах самым непосредственным образом», историк подытоживал: «Трудность заключается в том, что на Русь эти имена шли двумя каналами: из Подунавья и из Прибалтики. Но оба эти пути засвидетельствованы и исторически как направления миграции ругов-русов».

Вместе с тем он на широком материале показал, что в русском именослове «германизмы единичны и не бесспорны», что сама интерпретация норманистами имён сводится лишь к отысканию приблизительных схожестей, а не к их объяснению, и «недалеко продвинулась со времени Г.З. Байера» («Отыскание приблизительных параллелей обычно считается достаточным для доказательства норманского происхождения имени, хотя эти имена не имеют в германских языках, как заметил ещё М.В. Ломоносов, “никакого знаменования”». При этом даже не ставится вопрос: а откуда эти непонятные имена попали к германцам? Между тем параллели, и подчас с ясным значением, отыскиваются в других языках», что эта норманская интерпретация летописных имён противоречит материалам, «характеризующим облик и верования социальных верхов Киева и указывающим на разнотничность населения Поднепровья». В целом, как подводил черту Кузьмин, норманисты «идут от извне принесённой презумпции: сначала провозглашается, что варяги — скандинавы,

а потом подтягиваются какие-то аргументы». В соответствующем духе они интерпретируют и показания главного источника по варягам и руси — ПВЛ³⁶⁰.

Разумеется, такой антинорманизм, показывающий полнейшую непричастность скандинавов к руси и варягам и тем самым нарушавший научный покой и научное благополучие «советских антинорманистов», был им не нужен. В связи с чем подвергался активному шельмованию и дискредитации, объявлялся (железный по тем временам довод) противоречащим самому верному учению на земле — марксизму-ленинизму. А вместо него проповедовался эрзац-антинорманизм, правда, без былой уже горячности и стали в голосе, согласно которому, как подчёркивал в 1985 г. А.П. Новосельцев, «трудами Б.Д. Грекова и его учеников наша наука покончила с норманизмом в его реакционной “классической” форме. Споры относительно наличия и роли скандинавских выходцев на Руси в IX–XI вв. о происхождении княжеских династий, термина “Русь” и др. в целом не имеют принципиального значения, и их окончательное решение, думается, не за горами. Но в буржуазной историографии идеи норманизма не исчезли»³⁶¹. Однако норманизм не только не исчез в советской историографии, но ещё больше в ней укрепился, объявляя войну на уничтожение иным взглядам на варяго-русский вопрос или выставляя, не считая даже нужным полемизировать, ошибочным и абсурдным всё, что ему противоречило.

Так, в издании 1988 г. «Истории» Льва Диякона требование императора Иоанна Цимисхия к великому князю русскому Святославу, чтобы он удалился из Болгарии «в свои области и к Киммерийскому Боспору», т. е. Керченскому проливу, прокомментировано византинистами М.Я. Сюзюмовым и С.А. Ивановым следующим образом: «Эти слова дали многим историкам пищу для предположений о существовании приазовской Руси. Но данная гипотеза зиждется лишь на неточности перевода, как латинского — Газе, так и старого русского — Попова» (подчёркивая при этом, что «археологических свидетельств русского присутствия в Крыму до конца X в. нет», т. е. авторы понимали под «русским присутствием» присутствие именно славян). В 1990 г. и востоковед А.П. Новосельцев также мимоходом постарался перечеркнуть идею о Черноморской Руси, о бытии которой речь вели даже норманисты XIX в.: «Её абсурдность доказана ещё учёными прошлого века, тем не менее её сторонники появлялись в 20–30-х годах, не исчезли они и ныне» (по его, также мимоходом брошенному, мнению, и у теории о связи варягов и руси с южнобалтийским славянами явно отсутствуют реальные факты в её пользу)³⁶².

Подытоживая, следует подчеркнуть, что в первую очередь норманизм укреплялся и распространялся благодаря археологам, и прежде всего «ленинградской школы», в числе представителей которой Г.С. Лебедев в 2002 г. называл М.И. Артамонова, его ученика Л.С. Клейна, археолога-слависта О.И. Давидан, отмечая, что «эта научная школа создала устойчивый механизм собственного воспроизводства, который во многом стал и механизмом её развития»³⁶³. В 2021 г. А.А. Хлевов, безудержно восхваляя «легендарную “ленинградскую школу”» Клейна и его учеников (в первую очередь Лебедева, «объективно стяжавшего славу “первого викинга СССР”»), констатировал: «Непосредственно после Великой Отечественной войны оформляется блестящая команда иссле-

дователей, составивших славу и гордость скандинавистики в её разнообразных формах и во многих случаях качественно превзошедших своих северных коллег»³⁶⁴. И превосходили настолько высоко, что стали мировыми «застрельщиками» в тотальной норманизации родной истории, создав множество миражей, моментально становившихся новым словом археологов в науке, кардинально влияющим на освещение общеисторического фона. Но на проверку оказывавшихся фикциями, на которые указывали даже их коллеги.

В 1989 г. представитель московской школы археолог А.Е. Леонтьев заострил (тогда такое редко, но встречалось) внимание на проблеме исторической интерпретации Тимерёва. Отметив, что, согласно концепции раскапывавшего его И.В. Дубова, оно, возникшее в IX в., имело торгово-ремесленный характер, было протогородом, играло «важную роль в трансевропейских связях, являясь ключевым пунктом на Великом Волжском пути», Леонтьев резюмировал: тем самым «рисует» облик мощного исторического центра Северо-Восточной Руси, значимость которого измеряется масштабами не только государства, но и Европы». Указывая, что свою интерпретацию памятника Дубов в редких случаях подтверждает конкретными аргументами и что анализ источников заменён авторской схемой, его оппонент, озвучив факты, опровергающие интерпретацию ученика Клейна, подчеркнул: «Именно невнимание к сравнительному материалу составляет, на наш взгляд, основной методический недостаток концепции Тимерёва-протогорода — центра торговли. Памятник рассматривался вне своего “археологического контекста”. Это повлекло за собой смещение оценок. *Источниковедческая* значимость хорошо изученного памятника была воспринята как свидетельство *исторической* значимости самого поселения. В результате оказалось нетрудным, не мучаясь сомнениями, включить Тимерёво в систему трансевропейских центров и возвести его в ранг протогорода»³⁶⁵.

Но также без всяких сомнений (а в этом случае им вообще не приходилось мучиться) советские археологи-«антинорманисты» в массовом порядке вводили в русскую историю действительно несметные полчища норманнов (поселяя их даже в таких местах, как Тимерёво, где им, по общим заверениям, очень большим любителям торговли, и делать-то было нечего). При этом прочно забыв об ограничениях своей науки, о которых им говорил в 1962 г. П. Сойер: «Вне всякого сомнения, археология вносит важный вклад в изучение эпохи викингов, но если не признавать довлеющих над ней ограничений, она может принести больше вреда, чем пользы». О том же им напоминал в 1973 г. Д.А. Авдусин. И Л.Н. Гумилёв в 1989 г. справедливо подчеркнул, что «возможности археологии ограничены. Эпоху можно определить удовлетворительно, но этнический состав — невозможно. Материальная культура принимается соседями легко, ибо зависит от ландшафтных условий и уровня техники... Обряд погребения показывает культ, но ведь религия не всегда однозначно соответствует этносу» (по его словам, у каждой науки «есть своя сфера и свои пределы. Археология ведаёт “трупами вещей”, т. е. памятниками»)»³⁶⁶.

Однако всё было тщетно, т. к. в науке торжествовал норманистский беспредел. Беспредел, который заставлял учёных совершенно беспричинно, мельком, но напомнить о норманнах на Руси. В 1985 г. историки Е.А. Савельева, Ю.Н. Бес-

пятых и В.Е. Возгрин в комментариях к «Запискам» немца и шведского подданного Ф.И. Страленберга, в 1730 г. ни словом не обмолвившегося об этносе Рюрика, Аскольда, Дира, Игоря и Ольги, к его указанию, что Аскольд и Дир «воспитаны были при княжеском новгородском Рюриковом дворе», дали пояснение (которое здесь совсем не уместно, но у авторов, как говорится, «руки чесались» заявить о своём «советском антинорманизме»), что, «согласно летописным преданиям, варяжский конунг Рюрик с братьями Синеусом и Трувором в IX в. был приглашён ильменскими славянами на Русь с целью прекращения княжеских междоусобиц и стал полновластным правителем Новгородской земли, родоначальником династии Рюриковичей». Нет даже и намёка о принадлежности русской династии к какому-либо народу и в другом, ниже помещённом, утверждении Страленберга, что «с сими древних киовских князей фамилия окончалась и последовавшыя правители настали уже из фамилии Рюриковой». В том же неопределённом духе историк ведёт разговор и о призвании Рюрика. И лишь только в рассуждении о значении слова «варяг» Страленберг, приводя разные точки зрения по данному поводу, подчёркивает, что оно есть имя общественное, «которым назывались известные народы, обитавшие около Балтийского моря», а «також и острова онаго, касающиеся Швеции, паче же и самая Швеция Варагион или Варгион называется»³⁶⁷.

В 1991 г. датский славист Дж. Линд на страницах последнего номера академического журнала «История СССР» вёл речь о «скандинавско-славянском симбиозе»³⁶⁸. Идеей о никогда не бывалом симбиозе он словно наставлял русских коллег ушедшего в небытие СССР, в каком направлении им следует двигаться в разработке родной им истории. Но они и без этого наставления представителя скандинавского мира прекрасно знали какой дорогой им идти.

Примечания

- ¹ См., напр.: *Фомин В.В.* Норманистская сущность... Ч. 1. С. 98–164; ч. 2. С. 60–97.
- ² *Авдусин Д.А.* [Рец.] *Gräslund*... С. 255.
- ³ См., напр.: *Шаскольский И.П.* Норманская... историографии. С. 224–229, 235–236; *его же.* Норманская... науке. С. 3–5, 10–20, 53–54, 58, 84–89; *его же.* О роли... С. 204–205; *его же.* Антинорманизм... С. 37, 43, 47–50.
- ⁴ *Бахрушин С.В.* «Держава... С. 91–92; *Мавродин В.В.* Образование... (1945). С. 245, 383, 387, 389.
- ⁵ *Нильсен Й.П.* Указ. соч. С. 43.
- ⁶ *Грот Л.П.* Утопические... С. 336–337; *её же.* О Рослагене... С. 523, прим. 34.
- ⁷ *Бахрушин С.В.* «Держава... С. 88–98; *Конюшая Р.П.* Указ. соч. С. 17; *Мавродин В.В.* Образование... (1971). С. 133–135.
- ⁸ *Гурвич Д.М.* Указ. соч. С. 118; *Мавродин В.В.* Борьба... С. 11; *Фруменков Г.Г.* Указ. соч. С. 14; *Новосельцев А.П.* и др. Указ. соч. С. 83; *Пашуто В.Т.* Русско... С. 52.
- ⁹ *Черепнин Л.В.* Русские... С. 248; *Авдусин Д.А.* Раскопки... С. 80; *Шаскольский И.П.* Норманская... историографии. С. 225; *его же.* Норманская... науке. С. 15–18; *его же.* Антинорманизм... С. 48; *Ковалевский С.Д.* Ещё... С. 197–199.
- ¹⁰ *Юковлев Н.Н.* Указ. соч. С. 27; *Мавродин В.В.* Борьба... С. 20; *Белявский М.Т.* Работы... С. 117; *Греков Б.Д.* Киевская Русь (1953). С. 562; *Тихомиров М.Н.* Развитие... в России... С. 191; БСЭ. Т. 30. С. 178; т. 2. С. 530; СИЭ. Т. 2. Стб. 47, 990; *Астахов В.И.* Указ. соч. С. 106; *Пешищ С.Л.* Русская... Ч. I. С. 34, 196; ч. II. С. 179, 242; *Алпатов М.А.* Русская... (1973). С. 13; *Сахаров А.М.* Историография... С. 58; *История Академии наук СССР.* С. 126; *Лыцов В.П.* М.В. Ломоносов... (1983). С. 253; *его же.* Жизнь... С. 52, 61.
- ¹¹ *Мавродин В.В.* Очерки... С. 30, 32.
- ¹² *Шушарин В.П.* Указ. соч. С. 237; *Астахов В.И.* Указ. соч. С. 110.
- ¹³ ПВЛ. Ч. 2. С. 115.
- ¹⁴ *Бахрушин С.В.* «Держава... С. 91; *Юшков С.В.* К вопросу... С. 52–57.
- ¹⁵ См., напр.: *Мавродин В.В.* Борьба... С. 6, 24–26; *Шаскольский И.П.* Норманская... историографии. С. 235–236; *его же.* Норманская... науке. С. 53–71, 84–86; *Пашуто В.Т.* Внешняя... С. 23.
- ¹⁶ *Юшков С.В.* Общественно... С. 56.
- ¹⁷ *Греков Б.Д.* Образование русского... С. 134; *Мавродин В.В.* Борьба... С. 17; *Авдусин Д.А.* Варяжский... С. 3; С. 120; *его же.* Современный... (1988). С. 24–25, 32; *Рыбаков Б.А.* Спорные... С. 18; *Шаскольский И.П.* Современные... С. 335–373; *его же.* Норманская... науке. С. 10–11.
- ¹⁸ *Ленин В.И.* ПСС. Т. 6. С. 11.
- ¹⁹ *Иллерицкий В.Е.* Русская... С. 52–57; *его же.* Официальное... С. 101–102; *Историография истории СССР* (1961). С. 276–279; то же (1971). С. 248–250; *Шаниро А.Л.* Русская... С. 6; *Сахаров А.М.* Историография... С. 163–167; *Цамутали А.Н.* Указ. соч. С. 25–32; *Фукс А.Н.* Школьные... сущность С. 75–78; *его же.* Школьные... начале XX в. С. 97–98; *его же.* Идейная... С. 82; *его же.* Учебник... С. 104–105.
- ²⁰ *Пашуто В.Т.* Русские... С. 350.
- ²¹ *Пытин А.Н.* Новые... С. 707–708; *Первольф И.И.* Варяги... С. 91; *Ключевский В.О.* Наброски... С. 116–117; *Чекурин Л.В.* Русский... С. 40–50; *его же.* Труды... С. 3–37.
- ²² *Толстов С.П.* Из предыстории... С. 42–56.
- ²³ *Ильин И.А.* Указ. соч. С. 397; *Ильина Н.Н.* Указ. соч. С. 23, прим.; *Шушарин В.П.* Указ. соч. С. 233; *Шаскольский И.П.* Норманская... науке. С. 11, прим. 7; *Мавродин В.В.* Образование... (1971). С. 133; *Клейн Л.С.* Спор... С. 120.
- ²⁴ *Греков Б.Д.* Феодальные... С. 169; *его же.* Киевская Русь (1939). С. 226; *История СССР.* Т. I. С. 91–92; *Рыбаков Б.А.* Обзор... С. 36–39; *его же.* Киевская Русь. С. 488–491; *его же.* Язычество... С. 383; *История СССР... до конца XVIII в.* С. 50, 52.
- ²⁵ БЭ. Т. 4. С. 414; т. 14. С. 174.

- ²⁶ Шаскольский И.П. *Норманская... науке*. С. 81, 87, 89; *Мавродин В.В., Фроянов И.Я.* К пятидесятилетию... С. 49; *Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С.* Русь... С. 12–13; *Хлевов А.А.* *Норманская...* (1997). С. 69.
- ²⁷ *Толстов С.П.* *Древнейшая...* С. 123.
- ²⁸ *Греков Б.Д.* *Феодалы...* С. 18; *Базилевич К.В.* *Указ. соч.* С. 55; *Рыбаков Б.А.* *Спорные...* С. 26; *его же.* *Обзор...* С. 38–39; *его же.* *Киевская Русь.* С. 491.
- ²⁹ *Мавродин В.В.* *Образование...* (1945). С. 383–384; *его же.* *Борьба...* С. 26; *Греков Б.Д.* *Образование Древнерусского...* С. 77; *Авдусин Д.А.* *Неонорманистские...* С. 120.
- ³⁰ *Бахрушин С.В.* «*Держава...* С. 92; *его же.* [Рец.] *Греков Б.Д.* С. 103; *Мавродин В.В.* *Образование...* (1945). С. 384–385; *Рыбаков Б.А.* *Спорные...* С. 20, 22.
- ³¹ См., напр.: *Паиуто В.Т.* *Внешняя...* С. 29; *его же.* *Русско...* С. 53, 56, 61; *Алпатов М.А.* *Варяжский...* С. 36–37; *Попов А.И.* *Названия...* С. 61–62.
- ³² См., напр.: *Греков Б.Д.* *О роли...* С. 556–557; *Виппер Р.Ю.* *История средних...* С. 188–189; *Седов В.В.* *Восточные...* С. 25–252, 255–256; *Петрухин В.Я.* *Об особенностях...* С. 179; *Мельникова Е.А., Петрухин В.Я.* *Послесловие.* С. 242;
- ³³ *Мошин В.А.* *Начало...* С. 44; *его же.* *Варяго...* С. 72; *Вернадский Г.В.* *Древняя...* С. 350; *его же.* *Киевская...* С. 28; *Stender-Petersen A.* *Der älteste...* Р. 17.
- ³⁴ *Алпатов М.А.* *Русская...* (1973). С. 45; *Попов А.И.* *Названия...* С. 62–63.
- ³⁵ *Хабургаев Г.А.* *Указ. соч.* С. 216–217, прим. 124; *Кузьмин А.Г.* *Заметки...* С. 57.
- ³⁶ *Нильсен Й.П.* *Указ. соч.* С. 8, 50.
- ³⁷ *Stender-Petersen A.* *Varangia.* Р. 241.
- ³⁸ *Авдусин Д.А.* *Современный...* (1986). С. 121; *его же.* [Рец.] *Х. Ловмянский.* С. 134; *его же.* *Современный...* (1988). С. 34.
- ³⁹ *Шаскольский И.П.* *Норманская... науке.* С. 27–28.
- ⁴⁰ *Тивериадский Л.С.* *Указ. соч.* С. 42–43; *Стенограмма...* № 4. С. 85–86.
- ⁴¹ *Кузьмин А.Г.* «*Варяги...* С. 28, 48; *его же.* *Об этнической...* С. 55, 70; *его же.* *Болгарский...* С. 186–188; *его же.* *Заметки...* С. 57–59; *его же.* *Об истоках...* С. 110–111; *Откуда есть...* Кн. 1. С. 6, 15; кн. 2. С. 8, 18–21, 29.
- ⁴² *Авдусин Д.А.* *Об изучении...* С. 148; *Бушуев С.В., Миронов Г.Е.* *Указ. соч.* С. 56–57; *Фомин В.В.* *Русские...* С. 71–72; *его же.* *Скандинавомания...* С. 230–232, 249; *его же.* *Российская...* С. 42–43; *Акашев Ю.Д.* *Указ. соч.* С. 192.
- ⁴³ *Думин С.В., Турилов А.А.* *Указ. соч.* С. 15, 17; *Кан А.С.* *Швеция...* С. 50; *Клейн Л.С.* *Норманизм...* С. 100; *его же.* *Спор...* С. 107, 123, 200.
- ⁴⁴ *Мавродин В.В.* *Образование...* (1945). С. 152–153, 242, 245, 383–384, 388; *его же.* *Борьба...* С. 25; *его же.* *Советская...* С. 55, 59.
- ⁴⁵ *Покровский С.А.* *Указ. соч.* С. 108–109; *Базилевич К.В.* *Указ. соч.* С. 54–55; *Мавродин В.В.* *Борьба...* С. 28; *Нильсен Й.П.* *Указ. соч.* С. 64, 67–68.
- ⁴⁶ *Дубровский С.М.* *Указ. соч.* С. 17; *Соколов О.Д.* *Указ. соч.* С. 145–146.
- ⁴⁷ *Алпатов М.А.* *Варяжский...* С. 39; *Мельникова Е.А., Петрухин В.Я., Пушкина Т.А.* *Древнерусские...* С. 55–56; *Лебедев Г.С.* *Эпоха...* (1985). С. 189, 198.
- ⁴⁸ *Данилевский И.Н.* *Древняя...* С. 62, 64–65; *Клейн Л.С.* *Воскрешение...* С. 70, 72; *его же.* *Воевода...* С. 235; *Дворниченко А.Ю.* *Зеркала...* С. 246.
- ⁴⁹ *Новосельцев А.П.* «*Мир...* С. 23–31; *Клейн Л.С.* *Воевода...* С. 223–237; *Формозов А.А.* *Записки...* С. 56–65, 68, 71–72, 78, 155, 166–172, 286–287; *Дворниченко А.Ю.* *Зеркала...* С. 244–248.
- ⁵⁰ *Рыбаков Б.А.* *Киевская Русь...* С. 7.
- ⁵¹ *Платонова Н.И.* «*Неонорманизм...* С. 205–206.
- ⁵² *Клейн Л.С.* *Спор...* С. 162.
- ⁵³ См. об этом подробнее: *Фомин В.В.* «*Советский...* С. 54–65.
- ⁵⁴ *Клейн Л.С.* *Феномен...* С. 52, 81–89; *его же.* *Норманизм...* С. 91, 100; *его же.* *Спор...* С. 7, 11–12, 95–101, 109–110, 140, 142, 261–262.
- ⁵⁵ *Лекции...* *Бестужева-Рюмина...* С. 7.

- ⁵⁶ Клейн Л.С. Норманизм... С. 91–92; *его же*. Из кладов... С. 18; *его же*. Спор... С. 7, 10–12, 91–92, 95–100, 140, 142, 171, 224, 261–262, 276–279; *его же*. Ещё... С. 337; *его же*. Ленинградский... С. 348; Платонова Н.И. «Неонорманизм»... С. 219.
- ⁵⁷ Клейн Л.С. Спор... С. 282.
- ⁵⁸ Лысенко Т.И., Шаскольский И.П. Указ. соч. С. 53; Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 11, 18; *его же*. Антинорманизм... С. 37, 41, 44, 49.
- ⁵⁹ Шаскольский И.П. «Скандинавский... С. 127; *его же*. Норманская... науке. С. 195–196; Вилинбахов В.Б. Современная... С. 79.
- ⁶⁰ Третьяков П.Н. Финно... С. 285; Мавродин В.В., Мавродина Р.М., Фроянов И.Я. Указ. соч. С. 117; Филин Ф.П. Происхождение... С. 82–83; *его же*. О происхождении. С. 44; Хабургаев Г.А. Указ. соч. С. 108, 113, прим. 10.
- ⁶¹ См. напр.: Греков Б.Д. О роли... С. 554–558; Литаврин Г.Г. Вопросы... С. 386–395; Шаскольский И.П. Норманская... историографии. С. 223–236; *его же*. Современные... С. 335–373; *его же*. Норманская... науке. С. 12–13, 20, 23–54, 100–101, 109–113; *его же*. Вопрос... С. 128–176; Шушарин В.П. Указ. соч. С. 229–288.
- ⁶² Петрухин В.Я. Русь христианская... С. 471.
- ⁶³ Stender-Petersen A. Die Varägersage... S. 48–49, 52–53, 56, 62; *idem*. Varangica. P. 5, 17–18, 42–83, 89–113, 115–138, 140, 151–154, 241–262; *idem*. Anthology... P. 8–22, note с на p. 15; *idem*. Das Problem... P. 167–168, 174–188; *idem*. Varägerspørgsmålet. S. 43–55; *idem*. Der älteste... S. 1, 3–4, 8–17; Стендер-Петерсен А. Указ. соч. S. 144–152; Литаврин Г.Г. Вопросы... С. 386–395; Ловмянский Х. Русь... С. 225; Похлебкин В.В., Вилинбахов В.Б. Указ. соч. С. 132–134; Рознер И.Г. Указ. соч. С. 185; Вилинбахов В.Б. Несколько замечаний о теории... С. 323–336; Шаскольский И.П. Вопрос... С. 143; *его же*. Норманская... историографии. С. 229–230; *его же*. Норманская... науке. С. 25–26, 31–34, 51, 59–68, 144, 153, 182–206, 209; Шушарин В.П. Указ. соч. С. 286–288.
- ⁶⁴ См. об этом: Липшиц Е.Э. Указ. соч. С. 312; Шушарин В.П. Указ. соч. С. 265–266, 270, 282.
- ⁶⁵ Chadwick N.K. Op. cit. P. 2, 5, 8–10, 19–32, 62–66, 76–97, 103–105, 125–126, 145–174; Тихомиров М.Н. Откровения... С. 114; Шаскольский И.П. Норманская... историографии. С. 227; *его же*. Современные... С. 369.
- ⁶⁶ Пашуто В.Т. Русские... С. 349–350.
- ⁶⁷ Цит. по: Свердлов М.Б. Домонгольская... С. 150. См. также: Клейбер Б.А. Искоростънь. S. 125, 128.
- ⁶⁸ Хлевов А.А. Норманская... (1994). С. 16.
- ⁶⁹ Stender-Petersen A. Varangica. P. 5.
- ⁷⁰ Похлебкин В.В., Вилинбахов В.Б. Указ. соч. С. 133; Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 144, 199, 200–201, 206.
- ⁷¹ Хлевов А.А. Предисловие... С. 7, 11–12.
- ⁷² Арбман Х. Указ. соч. С. 56–57, 84, 115, 124, 148–174.
- ⁷³ Равдоникас В.И. О возникновении... С. 102–103; Артамонов М.И. Спорные... С. 3.
- ⁷⁴ Artsikhovski A. Op. cit. P. 9; Арциховский А.В. Археологические... С. 36, 41.
- ⁷⁵ Артамонов М.И. Вопросы... С. 66, 68–69;
- ⁷⁶ Ключевский В.О. Письма. С. 257; Костомаров Н.И. Русская историческая... С. 166; Бахрушин С.В. «Держава... С. 89; Греков Б.Д. Удар... С. 468; Каргер М.К. Древний... С. 217–218.
- ⁷⁷ Ловмянский Х. Русь... С. 38–56, 68–70; Джонс Г. Указ. соч. С. 343.
- ⁷⁸ Мельникова Е.А. Древняя Русь на страницах... С. 209.
- ⁷⁹ Клейн Л.С. Спор... С. 126.
- ⁸⁰ Авдусин Д.А. Археологический... С. 104–105.
- ⁸¹ Корзухина Г.Ф. Этнический... С. 12.
- ⁸² Клейн Л.С. Спор... С. 135, 137.
- ⁸³ Клейн Л.С., Лебедев Г.С., Назаренко В.А. Указ. соч. С. 226.
- ⁸⁴ Клейн Л.С. Норманизм... С. 96, 98; *его же*. Спор... С. 126, 130.
- ⁸⁵ Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 107, 181; *его же*. Норманская... (1971). С. 44; *его же*. О роли... S. 205; Мавродин В.В. Образование... (1971). С. 129.

- ⁸⁶ Кирпичников А.Н., Лебедев Г.С., Булкин В.А., Дубов И.В., Назаренко В.А. Русско... (1978). С. 63–64, 66, 83–86; *их же*. Русско... (1980). С. 24–26, 35–36; Захорук Ю.Н. Указ. соч. С. 7.
- ⁸⁷ Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Послесловие. С. 235; Джаксон Т.Н., Плимак Е.Г. Указ. соч. С. 45.
- ⁸⁸ Назаренко А.В. Русь IX века. С. 13.
- ⁸⁹ Формозов А.А. Записки... С. 75–76; Щавелёв С.П. Дань... Кн. 1. С. 103.
- ⁹⁰ Авдусин Д.А. Артемий... С. 33.
- ⁹¹ Соьер П. Указ. соч. С. 16–17, 24.
- ⁹² Носов Е.Н. Современные... С. 152–156; *его же*. Послесловие. С. 347–350.
- ⁹³ Андросчук Ф.А. Скандинавские... С. 7.
- ⁹⁴ Хлевов А.А. Норманская... (1994). С. 5–6, 19–20; *его же*. Норманская... (1997). С. 3–4, 69, 91.
- ⁹⁵ Кузьмин А.Г. «Варяги»... С. 48.
- ⁹⁶ Там же; Откуда есть... Кн. 2. С. 27.
- ⁹⁷ Авдусин Д.А. Об изучении... С. 148–149.
- ⁹⁸ Кочуркина С.И. Курганные... С. 20–27; *её же*. Приладожье... С. 14–18; *её же*. Связи... С. 145–161; *её же*. Юго... С. 52, 56–60.
- ⁹⁹ Тухтина Н.В. Об этническом... С. 121, 135; *её же*. Этническая... С. 162–181.
- ¹⁰⁰ Тухтина Н.В. К вопросу... С. 196–197; Санкина С.Л. Этническая... С. 82; *её же*. Скандинавская... С. 143.
- ¹⁰¹ Археология Карелии. С. 309; Кочуркина С.И. Приладожские... С. 657.
- ¹⁰² Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 98–99, 104, 127, 138–152, 194–195, 199–200; Кочуркина С.И. Юго... С. 53–57.
- ¹⁰³ Кирпичников А.Н. Вооружение... С. 161; Кирпичников А.Н., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Русь... С. 240.
- ¹⁰⁴ Соьер П. Указ. соч. С. 16, 99; Буайе Р. Указ. соч. С. 18–19.
- ¹⁰⁵ Арциховский А.В. Археологическое... С. 16, 18; Богуславский О.И. Южное... С. 5; Михайлов К.А. Древнерусские... С. 168; Мачинский Д.А. Некоторые... С. 465–466, 498.
- ¹⁰⁶ Комар А.В. Чернигов... С. 354–355; Каинов С.Ю. Находки... С. 35–36, 43.
- ¹⁰⁷ Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Археологические... С. 68; Назаренко В.А. Могильник... С. 156; Михайлов К.А. Скандинавский... С. 63–68; *его же*. Время... С. 74; *его же*. Курганные... С. 158; Мачинский Д.А. Ладога... С. 30–31; Френкель Я.В. Скандинавский... С. 232–234, 237–238, 249.
- ¹⁰⁸ Фехнер М.В. Тимерёвский... С. 5, 7, 14–15, 17; Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Археологические... С. 116–125.
- ¹⁰⁹ Белецкий С.В., Лесман Ю.М. Указ. соч. С. 304–306, 310–311.
- ¹¹⁰ Дук Д.В. Указ. соч. С. 67.
- ¹¹¹ Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 106, 213.
- ¹¹² Платонова Н.И. «Неонорманизм»... С. 216.
- ¹¹³ Расмуссен К. Указ. соч. С. 311.
- ¹¹⁴ Авдусин Д.А. Об изучении... С. 149; Кирпичников А.Н. Раннесредневековая Ладога... С. 4.
- ¹¹⁵ Томсен В. Указ. соч. С. 93; Корзухина Г.Ф. Этнический... С. 14.
- ¹¹⁶ Плетнева С.А. М.И. Артамонов... С. 5; Платонова Н.И. «Неонорманизм»... С. 215.
- ¹¹⁷ Артамонов М.И. Вопросы... С. 68; *его же*. Первые... С. 283–284.
- ¹¹⁸ Херрман Й. Славяне... С. 63; Сахаров А.Н. Рюрик... (2002). С. 66.
- ¹¹⁹ См., напр.: Фехнер М.В. Некоторые ... С. 40–41; Седов В.В. Славянские... С. 166–168; *его же*. Изделия... С. 53–65; Мельникова Е.А., Петрухин В.Я., Пушкина Т.А. Древнерусские... С. 59–61; Даркевич В.П. Международные... С. 392–393; Дучко В. Указ. соч. С. 79–80, 82; Роэсдаль Э. Указ. соч. С. 242, 248; Буайе Р. Указ. соч. С. 84–85; Мельникова Е.А. Сигтуна. С. 737.
- ¹²⁰ Шушарин В.П. Указ. соч. С. 284–285; Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 95, 118, 124, 150–151, 167; *его же*. О роли... С. 206; Потин В.М. Древняя... С. 44; Седов В.В. Восточные... С. 189.
- ¹²¹ Кирпичников А.Н. Вооружение... С. 161; Кирпичников А.Н., Лебедев Г.С., Булкин В.А., Дубов И.В., Назаренко В.А. Русско... (1978). С. 82; *их же*. Русско... (1980). С. 34; Кирпичников А.Н.,

- Дубов И.В., Лебедев Г.С. Русь... С. 237, 241; Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Археологические... С. 135.
- ¹²² Откуда есть... Кн. 2. С. 28; Стальсберг А. Женские... С. 74; Седов В.В. О русах... С. 6–7.
- ¹²³ Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Указ. соч. С. 185; Петрухин В.Я., Толстая С.М. Указ. соч. С. 301, коммент. XVI; Петрухин В.Я. Дохристианские... С. 64.
- ¹²⁴ Викинги. С. 67–69; Нунан Т.С. Зачем... С. 27; Симпсон Ж. Указ. соч. С. 24.
- ¹²⁵ Буайе Р. Указ. соч. С. 44, 69–70, 281–282.
- ¹²⁶ Рябинин Е.А. Новгород... С. 56–61; Кирпичников А.Н., Лебедев Г.С., Дубов И.В. Северная... С. 5; Кирпичников А.Н. Восток... С. 82.
- ¹²⁷ Сойер П. Указ. соч. С. 17, 21, 73–74, 99–100.
- ¹²⁸ Клейн Л.С. Спор... С. 53–54, 71. См. также: Томсинский С.В. Ленинградский... С. 357–370.
- ¹²⁹ Клейн Л.С. Спор... С. 72, 85.
- ¹³⁰ Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 41–42; Мельникова Е.А. Древнерусские... С. 64.
- ¹³¹ Боршевич В.И. Указ. соч. С. 711.
- ¹³² Цукерман К. Два... С. 67.
- ¹³³ Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Русь... С. 14; Лебедев Г.С. Varangica... С. 102.
- ¹³⁴ Клейн Л.С., Лебедев Г.С., Назаренко В.А. Указ. соч. С. 232–234, 238–239, 246–249, 251–252; Клейн Л.С. Спор... С. 144, 180, 262.
- ¹³⁵ Кузьмин А.Г. Об этнической... С. 55; Клейн Л.С. Спор... С. 171.
- ¹³⁶ Сойер П. Указ. соч. С. 16–18, 94–100.
- ¹³⁷ Комар А.В. [Рец.] «Тайны... С. 190–192.
- ¹³⁸ Кан А.С., Хорошкевич А.Л. Указ. соч. С. 190.
- ¹³⁹ Свердлов М.Б. Сведения... С. 40, 52–53, 55.
- ¹⁴⁰ Джаксон Т.Н., Плимак Е.Г. Указ. соч. С. 46–47; Джаксон Т.Н. Варяги... С. 84; Соколов С.В. [Рец.] Л.С. Клейн. С. 107.
- ¹⁴¹ Кан А.С., Хорошкевич А.Л. Указ. соч. С. 190.
- ¹⁴² Авдусин Д.А. Об изучении... С. 148, 151–156; *его же*. Современный... (1988). С. 33.
- ¹⁴³ Дубов И.В. Северо... С. 7, 50–51, 54–55; Минасян Р.С. Проблема... С. 25.
- ¹⁴⁴ Фехнер М.В. Тимерёвский... С. 17; Клейн Л.С. Норманизм... С. 96; *его же*. Спор... С. 112, 126–127; Клейн Л.С., Лебедев Г.С., Назаренко В.А. Указ. соч. С. 245–248.
- ¹⁴⁵ Леонтьев А.Е. Тимерёво. С. 81; Томсинский С.В. Ленинградский... С. 363; *его же*. Позвольте... С. 374; *его же*. Чего... С. 158, 170.
- ¹⁴⁶ Седов В.В. Происхождение... С. 53, 62–63, 67–74; *его же*. Славяне в древности. С. 158–162, 166, 169–170, 176–198; Козак Д.Н. Указ. соч. С. 54–56, 66.
- ¹⁴⁷ Новаковский В. Указ. соч. С. 33.
- ¹⁴⁸ Михайлов К.А. Время... С. 74, 77; *его же*. Элитарный... С. 155, 169, 180.
- ¹⁴⁹ Михайлов К.А. Скандинавский... С. 64; *его же*. Время... С. 74.
- ¹⁵⁰ Арбман Х. Указ. соч. С. 57, 166; Шаскольский И.П. Норманская... историографии. С. 227, 230–232; *его же*. Норманская... науке. С. 26, 101–103, 127–129, 163–164, 167–171, 178–179.
- ¹⁵¹ Сойер П. Указ. соч. С. 94; Джонс Г. Указ. соч. С. 257.
- ¹⁵² Лебедев Г.С. Камерные... С. 12–13; *его же*. Погребальный... С. 15–16.
- ¹⁵³ Кузьмин А.Г. Об этнической... С. 68; Толочко П.П. Ранняя... С. 77.
- ¹⁵⁴ Жарнов Ю.Э. Женские... С. 217; Михайлов К.А. Элитарный... С. 158–161, 163, 167.
- ¹⁵⁵ Кирпичников А.Н. Великий... (2002). С. 44; Археология: Учебник. С. 465; Андрощук Ф.А., Зощенко В.Н. Скандинавские... С. 25.
- ¹⁵⁶ Алексеева Т.И. Этногенез... С. 267; *её же*. Антропологическая дифференциация... С. 81; *её же*. Славяне... С. 67; Славяне и Русь. С. 428, прим. 255.
- ¹⁵⁷ Санкина С.Л. О скандинавском... С. 234; *её же*. Этническая... С. 81; *её же*. Скандинавская... С. 143; Пежемский Д.В. Указ. соч. С. 90.
- ¹⁵⁸ Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Археологические... С. 12; Кирпичников А.Н., Лебедев Г.С., Булкин В.А., Дубов И.В., Назаренко В.А. Русско... (1978). С. 77; Кирпичников А.Н., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Русь... С. 229, 232.
- ¹⁵⁹ Лебедев Г.С. Петербург... С. 68.

- ¹⁶⁰ Лебедев Г.С. Шведские... С. 178–181; *его же*. Путь из варяг в греки. С. 40–42; *его же*. Археологические... С. 185–186.
- ¹⁶¹ Клейн Л.С. Воскрешение... С. 95.
- ¹⁶² Алексеева Т.И. Этногенез... С. 265; *её же*. Антропологическая дифференциация... С. 80; *её же*. Славяне... С. 66.
- ¹⁶³ Клейн Л.С. Спор... С. 171, 201, 203, 219, 228–231; <http://trv-science.ru/2010/09/28/varyagi-antinormanizm-i-chas-istiny>.
- ¹⁶⁴ Кирпичников А.Н., Лебедев Г.С., Булкин В.А., Дубов И.В., Назаренко В.А. Русско... (1978). С. 79; *их же*. Русско... (1980). С. 32; Кирпичников А.Н., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Русь... С. 242.
- ¹⁶⁵ Клейн Л.С. Спор... С. 203, 229.
- ¹⁶⁶ Авдусин Д.А. Гнёздово... С. 167; *его же*. Скандинавские... С. 76; Лебедев Г.С. Путь из варяг в греки. С. 40; Петрухин В.Я. Погребения... С. 153–154; Седов В.В. Восточные... С. 252; Назаренко В.А. Могильник... С. 156, 165; Носов Е.Н. Новгородская... С. 106.
- ¹⁶⁷ Лебедев Г.С. Погребальный... С. 9–17.
- ¹⁶⁸ Клёсов А.А., Грот Л.П. Указ. соч. С. 315–316.
- ¹⁶⁹ Ануцин Д.Н. Указ. соч. С. 72–104.
- ¹⁷⁰ Авдусин Д.А. Варяжский... С. 5–6; *его же*. Раскопки... С. 80; *его же*. Скандинавские... С. 76; *его же*. Об изучении... С. 150; Велецкая Н.Н. Указ. соч. С. 196.
- ¹⁷¹ Петрухин В.Я. Начало... С. 196–198, 205; *его же*. Древняя Русь. С. 247; *его же*. Русь в IX... С. 290–291, 296; Перевезенцев С.В. Русская... С. 99; *его же*. Тайны... С. 121.
- ¹⁷² Дополнения А.А. Куника. С. 393, 437, 453, 687–692.
- ¹⁷³ Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. III. С. 152; Ewers J.P.G. Vom Ursprunge... S. 128, 162; Эверс Г. Указ. соч. С. 139; Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 274, 279–280, 433, прим. 208; Каск А.Х. Указ. соч. С. 40; Буйе Р. Указ. соч. С. 81; Хейвуд Д. Указ. соч. С. 210.
- ¹⁷⁴ ДРЗИ. Т. II. С. 99–100, 104, 160–161; Хрестоматия... С. 68–70, 103; Дополнения А.А. Куника. С. 453, 688–689; Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Указ. соч. С. 230; Цветков С.В. Указ. соч. С. 24–27.
- ¹⁷⁵ Verelius O. Op. cit. P. 47; Байер Г.З. Указ. соч. С. 355.
- ¹⁷⁶ Лиутпранд Кремонский. Указ. соч. С. 97; Кузенков П.В. Поход... С. 67, коммент. 14.
- ¹⁷⁷ Авдусин Д.А. Варяжский... С. 5; *его же*. Скандинавские... С. 77; Седов В.В. Происхождение... С. 56; *его же*. Славяне в древности. С. 169, 178, 182, 197; *его же*. Славяне в раннем... С. 40, 46, 51, 54, 63, 213, 341; Леонтьев А.Е. Археология... С. 216.
- ¹⁷⁸ Кирпичников А.Н. Надписи... С. 273–275; Тухтина Н.В. К вопросу... С. 195–197; Рябинин Е.А. Этнокультурная... С. 195; Петрухин В.Я. Начало... С. 85–86, 201; *его же*. Русь в IX... С. 293, 399; *его же*. Русь христианская... С. 76, 85.
- ¹⁷⁹ Котляревский А.А. О погребальных... С. 246; Макаров Н.А. Древнерусские... С. 51.
- ¹⁸⁰ Арциховский А.В. Оружие. С. 424; *его же*. Археологические... С. 37; Авдусин Д.А. Археология СССР. С. 235.
- ¹⁸¹ Медведев А.Ф. Указ. соч. С. 73; Кирпичников А.Н. Вооружение... С. 168–169.
- ¹⁸² Томсинский С.В. Угличе... С. 150; Лопатин Н.В. Изборск. С. 133.
- ¹⁸³ СИЭ. Т. 2. Стб. 990.
- ¹⁸⁴ Равдоникас В.И., Лаушкин К.Д. Указ. соч. С. 44; Орлов С.Н. Указ. соч. С. 27.
- ¹⁸⁵ Авдусин Д.А. Неонорманистские... С. 119.
- ¹⁸⁶ Чернышёв Н.А. Указ. соч. С. 226.
- ¹⁸⁷ Шаскольский И.П. Развитие... С. 44–45.
- ¹⁸⁸ Равдоникас В.И. Старая Ладога (1946). С. 40–41; Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 118–123, 133, 144–145, 149–150, 159, 164–167, 171.
- ¹⁸⁹ Гуревич Ф.Д. Древние... С. 197–210; *её же*. Норманский... С. 197–210; *её же*. Скандинавская... С. 167–173.
- ¹⁹⁰ Гуревич А.Я. Походы... С. 37, 39, 57, 68, 82–88; *его же*. История... С. 5, 12–22, 25, 29, 32, 73, 100, 125–144, 152–153, 165, 181; Петрухин В.Я. Русь христианская... С. 461, 481.
- ¹⁹¹ Рыдзевская Е.А. Легенда... С. 5; *она же*. Сведения... С. 64; Стеблин-Каменский М.И. Мир... С. 169, 175; Мельникова Е.А., Глазырина Г.В., Джаксон Т.Н. Указ. соч. С. 41–42, 53.

- ¹⁹² *Сойер П.* Указ. соч. С. 20–25, 57–60, 104–105; *Джонс Г.* Указ. соч. С. 25–48, 75–78, 115, 134, 145–146, 183, 242–245, 268, 290–297, 337, 340, 361; *Буайе Р.* Указ. соч. С. 29–30, 33, 39.
- ¹⁹³ *Мельникова Е.А.* Скандинавы в процессах... С. 52; *Клёсов А.А., Грот Л.П.* Указ. соч. С. 315.
- ¹⁹⁴ *Алексеев Л.В.* Смоленская... С. 104.
- ¹⁹⁵ *Корзухина Г.Ф.* Этнический... С. 13–14.
- ¹⁹⁶ *Кирпичников А.Н., Лебедев Г.С., Булкин В.А., Дубов И.В., Назаренко В.А.* Русско... (1978). С. 67; *их же.* Русско... (1980). С. 27.
- ¹⁹⁷ *Корзухина Г.Ф.* К уточнению... С. 61–63; *её же.* Курган... С. 59–64; *её же.* О некоторых... С. 128–131; *Назаренко В.А.* О возможной... С. 91.
- ¹⁹⁸ *Френкель Я.В.* Скандинавский... С. 228–252; *его же.* Борьба... С. 547–574.
- ¹⁹⁹ *Мюллер-Вилле М.* Внешние... С. 924–925; *Плохов А.В.* Указ. соч. С. 26; *Кулькова М.А., Плохов А.В.* Указ. соч. С. 139.
- ²⁰⁰ *Плохов А.В.* Указ. соч. С. 37.
- ²⁰¹ *Клейн Л.С.* Из кладов... С. 15, 23.
- ²⁰² *Корзухина Г.Ф.* Ладожский... С. 89–96; *Кирпичников А.Н., Сакса А.И.* Указ. соч. С. 135; *Петрухин В.Я.* О скандинавских... С. 498; *его же.* «Русь... С. 269; *Клейн Л.С., Лебедев Г.С., Назаренко В.А.* Указ. соч. С. 238; *Клейн Л.С.* Спор... С. 54.
- ²⁰³ *Корзухина Г.Ф.* Об Одине... С. 135–140; *Кулаков В.И.* Варианты... (1995). С. 66–67, 70–71.
- ²⁰⁴ *Зоценко В.Н.* Скандинавские... С. 43–44; *его же.* Киевский... С. 457–459; *Андросчук Ф.А.* Скандинавские... С. 45; *Петрухин В.Я.* О скандинавских... С. 498; *его же.* Древняя Русь. С. 294; *его же.* «Русь... С. 267; *Крыласова Н.Б.* Указ. соч. С. 64–73.
- ²⁰⁵ *Львова З.А.* Стекланные... (1968). С. 64–94; *то же* (2003). С. 151–153.
- ²⁰⁶ *Давидан О.И.* К вопросу о контактах... (1968). С. 178–179; *её же.* К вопросу о происхождении... С. 54–63; *её же.* К вопросу о контактах... (1971). С. 134–144.
- ²⁰⁷ *Горбунова Н.Г., Смирнова Г.И.* Указ. соч. С. 6.
- ²⁰⁸ *Равдоникас В.И.* Старая Ладога (1949). С. 5–54; *то же* (1950). С. 7–40; *его же.* Древнейшая... С. 34–36; *Орлов С.Н.* Указ. соч. С. 12–13; *Вилинбахов В.Б.* Существующие... С. 18–20.
- ²⁰⁹ *Кирпичников А.Н.* Раннесредневековая Ладога... С. 3–26; *Рябинин Е.А.* Новые открытия... С. 27–75.
- ²¹⁰ *Кирпичников А.Н.* Ладожская... С. 38; *его же.* Из Старой... С. 13–14; *Кирпичников А.Н., Курбатов А.В.* Указ. соч. С. 129–136.
- ²¹¹ *Нунан Т.С.* Зачем... С. 37–44, 53; *Голдина Р.Д., Голдина Е.В.* Указ. соч. С. 7–13; *Волковицкий А.И., Короткевич Б.С., Кузьмин С.Л.* Указ. соч. С. 138.
- ²¹² *Рябинин Е.А.* Скандинавский... С. 161–177; *его же.* Новые открытия... С. 54–64, 74; *Кирпичников А.Н.* Раннесредневековая Ладога... С. 20; *Лебедев Г.С.* Путь из варяг в греки как объект... С. 158.
- ²¹³ *См., напр.: Авдусин Д.А.* Гнёздово... С. 161–163, 168–169; *его же.* Скандинавские... С. 78–86; *Авдусин Д.А., Пушкина Т.А.* Гнёздово... С. 74–77.
- ²¹⁴ *Авдусин Д.А.* Варяжский... С. 8–11; *его же.* Археология СССР. С. 239; *его же.* Скандинавские... С. 85; *его же.* О Гнёздове... С. 48; *его же.* Взлёт... С. 18; *Авдусин Д.А., Пушкина Т.А.* Гнёздово... С. 77; *Кураев И.В.* Указ. соч. С. 29, 31.
- ²¹⁵ *Авдусин Д.А.* Гнёздово... С. 161, 163, 165, 167–168; *его же.* Скандинавские... С. 74–86; *его же.* Современный... (1988). С. 27, 30; *его же.* Артемий... С. 29–30, 33; *Клейн Л.С.* Спор... С. 203–204.
- ²¹⁶ *Булкин В.А., Лебедев Г.С.* Указ. соч. С. 11–17; *Лебедев Г.С.* Шведские... С. 179–182; *Пушкина Т.А.* Гнёздовское... С. 13–15, 18.
- ²¹⁷ *Алексеев Л.В.* О древнем... С. 86–90, 102; *Авдусин Д.А.* О Гнёздове... С. 44–49.
- ²¹⁸ *Алексеев Л.В.* Смоленская... С. 81–86, 101–106, 135–136, 139–144, 187–189, 255–256.
- ²¹⁹ *Комар А.В.* [Рец.] «Тайны... С. 195; *Енисосова Н.В.* Глазами... С. 15.
- ²²⁰ *Штыхов Г.В.* Указ. соч. С. 112–113.
- ²²¹ *Клейн Л.С., Лебедев Г.С., Назаренко В.А.* Указ. соч. С. 248.
- ²²² *Янссон И.* Контакты... С. 119–126, 131.
- ²²³ СПбФА РАН. Ф. 95. Оп. 4. Ед. хр. 62. Л. 418; *Козлов В.И.* Указ. соч. Табл. 12.

- ²²⁴ Лебедев Г.С. Эпоха... (1985). С. 254.
- ²²⁵ ЛЛ. С. 137–138; НПЛ. С. 174–175; Патерик... С. 5; Фомин В.В. Кривые... С. 84–88.
- ²²⁶ Шаскольский И.П. О роли... С. 206.
- ²²⁷ См., напр.: Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 123; Кочкуркина С.И. Юго... С. 58; Петрухин В.Я. Об особенностях... С. 175–176; Стальсберг А. Женские... С. 75; Новикова Г.Л. Скандинавские языческие... С. 9; Мурашёва В.В. Была... С. 9; Дубов И.В. Погребения... С. 29; Измайлов И. Балтийско... С. 75.
- ²²⁸ Равдоникас В.И. О возникновении... С. 127–128; Фехнер М.В. Некоторые... С. 37–38; Тухтина Н.В. Этническая... С. 165, 171, 179, 181; её же. К вопросу... С. 193, 197; Пушкина Т.А. О проникновении... С. 93; Седов В.В. Восточные... С. 184, 189; Кирпичников А.Н., Сарабьянов В.Д. Старая Ладога... С. 63, 75–76; Кирпичников А.Н. Великий... (2001). С. 15, 28; его же. Великий... (2002). С. 39–41; Ениосова Н.В. Скандинавские... С. 91.
- ²²⁹ Клейн Л.С. Спор... С. 202–203, 228; Петрухин В.Я. «Русь... С. 90.
- ²³⁰ Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 166; Седов В.В. Восточные... С. 189.
- ²³¹ Тухтина Н.В. Этническая... С. 170–171; Седов В.В. Восточные... С. 189, 250, 252; Носов Е.Н. Славяне... С. 51.
- ²³² Седов В.В. Изделия... С. 56; Янссон И. Контакты... С. 130–131.
- ²³³ Носов Е.Н. Проблема... С. 76.
- ²³⁴ Каргер М.К. Древний... С. 208–211, 219; Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 166–167.
- ²³⁵ Петрухин В.Я. Об особенностях... С. 179, 181; его же. Начало... С. 228–229; его же. Путь... (1998). С. 133.
- ²³⁶ Седов В.В. Славяне в раннем... С. 31; Пушкина Т.А. Височные... С. 122.
- ²³⁷ Жарнов Ю.Э. Женские... С. 217–218; Кураев И.В. Указ. соч. С. 31.
- ²³⁸ Авдусин Д.А. Раскопки...; его же. Неонорманистские... С. 116–117; Соьер П. Указ. соч. С. 96; Шушарин В.П. Указ. соч. С. 285–286; Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 100, 107–117; Арциховский А.В. Археологические... С. 36.
- ²³⁹ Жарнов Ю.Э. Женские... С. 200–225; его же. Животные... С. 81–83; его же. Погребальный... С. 3–23; его же. Гнёздово... С. 114.
- ²⁴⁰ Стальсберг А. Женские... С. 73–79.
- ²⁴¹ Мурашёва В.В. Была... С. 10; её же. Скандинавские наборные... С. 159; её же. «Путь... С. 178; Авдусин Д.А., Пушкина Т.А. Гнёздово. С. 188
- ²⁴² Клейн Л.С. Воскрешение... С. 96.
- ²⁴³ Андрощук Ф.А., Зоценко В.Н. О времени... С. 9.
- ²⁴⁴ Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 114; Авдусин Д.А. Об изучении... С. 151; Стальсберг А. Интерпретация... С. 364, 368–369; её же. О скандинавских... С. 279–281, 284–285.
- ²⁴⁵ Алексеева Т.И. Антропология... С. 126–133.
- ²⁴⁶ Пушкина Т.А. Гнёздово. С. 10; Авдусин Д.А., Пушкина Т.А. Гнёздово. С. 188; Каинов С.Ю. Погребения... С. 213–215, 231–235, 238; его же. Сложение... С. 20.
- ²⁴⁷ Петрухин В.Я. Русь в IX... С. 146; Симпсон Ж. Указ. соч. С. 139, 206, 209, 226–232.
- ²⁴⁸ См., напр.: Арциховский А.В. Археологические... С. 38; Авдусин Д.А. Гнёздово... С. 166–167; Седов В.В. Восточные... С. 251; Пушкина Т.А. Центральное... С. 207–208.
- ²⁴⁹ Мачинский Д.А. Некоторые... С. 478; Пушкина Т.А. Центральное... С. 207.
- ²⁵⁰ Авдусин Д.А. Актуальные... С. 4, 12–15, 17, 19; Новикова Г.Л. Скандинавские амулеты... С. 175–199; Лихтер Ю.А., Щапова Ю.Л. Указ. соч. С. 244–258.
- ²⁵¹ Скрынников Р.Г. Древняя... С. 7; Вовина-Лебедева В.Г. История... С. 63–64.
- ²⁵² Пушкина Т.А. Бронзовый... С. 86–87; Мусин А.Е. Скандинавское... С. 580, 583; Меч и златник. С. 120–121, кат. № 326 и № 330.
- ²⁵³ Хамайко Н.В. Указ. соч. С. 284–288; Комар А.В., Хамайко Н.В. Указ. соч. С. 194.
- ²⁵⁴ Кирпичников А.Н. Мечи... С. 182, 193–195; его же. Древнейший... С. 196–201; его же. Надписи... С. 250–257, 261, 268–272, 292; его же. Новобнаруженный... С. 720–721; Кирпичников А.Н., Медведев А.Ф. Указ. соч. С. 301, 303, 327, табл. 115, 1.
- ²⁵⁵ Лебедев Г.С. Археологические... С. 185–186; Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Археологические... С. 70.

- ²⁵⁶ Носов Е.Н. Сопковидная... С. 147–155.
- ²⁵⁷ Лебедев Г.С. Ладога — торговый... С. 142.
- ²⁵⁸ Петрухин В.Я. О функциях... С. 27.
- ²⁵⁹ Леонтьев А.Е. Скандинавские... С. 141–149.
- ²⁶⁰ Хлевов А.А. Норманская... (1997). С. 67.
- ²⁶¹ Даркевич В.П. Международные... С. 391–393, 405–407.
- ²⁶² Мельникова Е.А. Древнерусские... С. 66–67; Кирпичников А.Н., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Русь... С. 189–297.
- ²⁶³ Авдусин Д.А. Современный... (1988). С. 32–34.
- ²⁶⁴ Лебедев Г.С. Varangica... С. 102, 104–105, 109; *его же*. От редактора. С. 4.
- ²⁶⁵ ПСРЛ. Т. 1. Стб. 20, прим. 38, 49.
- ²⁶⁶ Томсинский С.В. Ленинградский... С. 362.
- ²⁶⁷ Милютенко Н.И. Средневековая... С. 129–130; Фомин В.В. История Старой... С. 277–279; Янин В.Л. О начале... С. 208; Бабиченко Д. Указ. соч. С. 24; Кузьмин С.Л. Указ. соч. С. 88, 91; Селин А.А. Староладожский... С. 117–126.
- ²⁶⁸ Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Археологические... С. 68–69, 90, 139, 141.
- ²⁶⁹ Кирпичников А.Н., Лебедев Г.С., Булкин В.А., Дубов И.В., Назаренко В.А. Русско... (1978). С. 69–70, 76, 79–80, 84, 86; *их же*. Русско... (1980). С. 27–28, 31–36; Кирпичников А.Н. Ладога и Ладожская волость... С. 98–100, 104.
- ²⁷⁰ Кирпичников А.Н., Лебедев Г.С., Дубов И.В. Северная... С. 7.
- ²⁷¹ Мачинский Д.А. Миграция... С. 45, 48, 50; *его же*. О времени... С. 13, 15–16, 18–24; *его же*. О месте... С. 9–10, 13–25; *его же*. Ростово... С. 3, 6–7.
- ²⁷² Лебедев Г.С. Эпоха... (1985). С. 190, 209, 212–214.
- ²⁷³ Кирпичников А.Н. Ладога в VIII–XII вв. С. 56–57; *его же*. Раннесредневековая Ладога... С. 4, 23–25; *его же*. Ладога и Ладожская земля... (1987). С. 101–111.
- ²⁷⁴ Кирпичников А.Н., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Русь... С. 190, 193–198, 286–287.
- ²⁷⁵ Мачинский Д.А. Этносоциальные... С. 4, 14–17, 23–28; Мачинский Д.А., Мачинская А.Д. Указ. соч. С. 45–49, 54–55.
- ²⁷⁶ Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Русь... С. 17; Кирпичников А.Н. Раннесредневековая Ладога. С. 23.
- ²⁷⁷ Рыдзевская Е.А. Сведения... С. 51, 56.
- ²⁷⁸ Греков Б.Д. Борьба... С. 61; *его же*. О роли... С. 556; Мавродин В.В. Образование... (1971). С. 126–127; Рыбаков Б.А. Киевская Русь... С. 298–299.
- ²⁷⁹ Носов Е.Н. Новгородское... С. 51–62, 115–117, 120, 133–138, 154, 164–166, 175–180.
- ²⁸⁰ Там же. С. 107, 121–126, 148–150, 155–163, 166, 183–184, 188–191, 195–197, 206–207; Дубов И.В. Культура... С. 90; Перхавко В.Б. Этнические... С. 212.
- ²⁸¹ Лебедев Г.С. Этнографические... С. 22–24.
- ²⁸² Шинаков Е.А., Гурьянов В.Н. Указ. соч. С. 189; Тихонов И.Л. Гражданин... С. 55; Шинаков Е.А. Образование... (2009). С. 72; ДРЗИ. Т. III. Прим. 10 на С. 68, прим. 16 на с. 69, прим. 17 на С. 70, прим. 22 на С. 71, прим. 33 на С. 73.
- ²⁸³ ДРЗИ. Т. III. С. 49–50, 94; Кузьмин А.Г. Начало... С. 405, коммент. 802.
- ²⁸⁴ Беляев И.Д. Русская... С. 17; Погодин М.П. Г. Гедеонов... С. 199; Grimm J. Op. cit. S. 294; Томсен В. Указ. соч. С. 34–35, 47; Стасов В.В. Указ. соч. С. 281–315; Анучин Д.Н. Указ. соч. С. 73–74, 139; Спицын А.А. О степени... С. 164–166; Мансикка В.Й. Указ. соч. С. 238–240; Соболевский А.И. Записка... С. 224, 226–227; Готье Ю.В. Железный... С. 260–261; Велецкая Н.Н. Указ. соч. С. 192–212; Буайе Р. Указ. соч. С. 161.
- ²⁸⁵ Лебедев Г.С. Эпоха... (1985). С. 244–245; Херрман Й. Славяне... С. 67–68; Кирпичников А.Н., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Русь... С. 216–217; Джонс Г. Указ. соч. С. 157.
- ²⁸⁶ Гельмольд из Босау. Указ. соч. I, 38.
- ²⁸⁷ Клейн Л.С. Спор... С. 86.
- ²⁸⁸ ДРЗИ. Т. III. С. 68.
- ²⁸⁹ Путешествие Ибн-Фадлана... С. 78, 132; Соболевский А.И. Записка... С. 224–225.
- ²⁹⁰ ДРЗИ. Т. III. С. 113.

- ²⁹¹ Константин Багрянородный. Указ. соч. С. 328.
- ²⁹² Зоценко В.Н. Пути... (1985). С. 126–127; *его же*. Пути... (1987). С. 87–93.
- ²⁹³ Моця А.П. Срубные... С. 99, 103, 106–107; Моця О.П. *Op. cit.* С. 90–97.
- ²⁹⁴ Добровольский И.Г., Дубов И.В., Кузьменко Ю.К. Указ. соч. С. 38, 47–48, 51.
- ²⁹⁵ Мельникова Е.А. Древнерусские... С. 66–68.
- ²⁹⁶ Кирпичников А.Н., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Русь... С. 277.
- ²⁹⁷ Кузьмин А.Г. «Варяги... С. 33.
- ²⁹⁸ Толкачёв А.И. Указ. соч. С. 29, 41–42, 60.
- ²⁹⁹ Членов А.М. Указ. соч. С. 324–329; Мавродин В.В., Фроянов И.Я. Древняя... С. 70–71.
- ³⁰⁰ Клейненберг И.Э. Основные... С. 65–67.
- ³⁰¹ Бибииков М.В. Скандинавский... (1982). С. 153; *то же* (1986). С. 100–101, 104; *его же*. К варяжской... С. 161–171.
- ³⁰² Мельникова Е.А., Глазырина Г.В., Джаксон Т.Н. Указ. соч. С. 51–52.
- ³⁰³ Джаксон Т.Н. Исландские... (1981). С. 29, 33–37, 42.
- ³⁰⁴ Валеев Г.К. Указ. соч. С. 11.
- ³⁰⁵ Роспонд С. Структура и классификация... С. 3–21.
- ³⁰⁶ Дополнения А.А. Куника. С. 398; Ключевский В.О. Русская... Т. I. С. 156–159; Новосельцев А.П. и др. Указ. соч. С. 86; Пашуто В.Т. Русско... С. 52–54; Мельникова Е.А. Древнескандинавские... С. 39; *её же*. Скандинавия... С. 45.
- ³⁰⁷ Гринёв Н.Н. Указ. соч. С. 31–43; Константин Багрянородный. Указ. соч. С. 306; Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. «Легенда... С. 108–110; *их же*. «Ряд»... С. 219–229.
- ³⁰⁸ ЛЛ. С. 137; НПЛ. С. 174.
- ³⁰⁹ Брим В.А. Путь... С. 235; Погодин А.Л. Варяги... С. 130; Stender-Petersen A. Varangica. P. 118–119, 256–257.
- ³¹⁰ Лихачёв Д.С. Текстология. С. 80–81; Мельникова Е.А. Новгород... С. 129–131; Лебедев Г.С. Ладога — центр... С. 5; Носов Е.Н. Новгородское... С. 163.
- ³¹¹ Клейбер Б.А. Поромянь... С. 120–124; Валеев Г.К. Указ. соч. С. 13.
- ³¹² Карамзин Н.М. История... Т. II–III. С. 9; Полевой Н.А. История... Т. 1. С. 169; Соловьёв С.М. История... Кн. 1. С. 179; Лукин П.В. Указ. соч. С. 13–14.
- ³¹³ ЛЛ. С. 22–23, 54, 80, 252; ПВЛ. Ч. 2. С. 296; *Се повести*... С. 320.
- ³¹⁴ НПЛ. С. 316–317.
- ³¹⁵ Агапитов В.А. Указ. соч. С. 117.
- ³¹⁶ Новосельцев А.П. и др. Указ. соч. С. 83; Пашуто В.Т. Внешняя... С. 21; *его же*. Русско... С. 55, 61; *его же*. Летописная... С. 104.
- ³¹⁷ Мельникова Е.А., Петрухин В.Я., Пушкина Т.А. Культурно... С. 149; *их же*. Древнерусские... С. 56; Кирпичников А.Н., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Русь... С. 286; Петрухин В.Я. Варяги... С. 80; *его же*. Начало... С. 108; Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Указ. соч. С. 295; и др.
- ³¹⁸ Фроянов И.Я. Мятёжный... С. 34.
- ³¹⁹ Лебедев Г.С. Северные... С. 47; *его же*. Эпоха... (1985). С. 100–101, 263–265, 268–269; *его же*. Русь и чужд... С. 82–83, 85–86; *его же*. Путь из варяг в греки как объект... С. 153, 157; Кирпичников А.Н., Лебедев Г.С., Дубов И.В. [Рец.]: Wikinger... С. 153–156; Кирпичников А.Н., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Русь... С. 283–285; *их же*. Послесловие. С. 360–363; Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Русь... С. 23.
- ³²⁰ Лебедев Г.С. Путь из Варяг в Греки как фактор... С. 197.
- ³²¹ Мельникова Е.А. Скандинавы в процессах... С. 51.
- ³²² Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Русь... С. 12.
- ³²³ Тихомиров М.Н. Происхождение... С. 22; Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 51; *его же*. Вопрос... С. 129.
- ³²⁴ Мавродин В.В. Борьба... С. 29; *его же*. Происхождение названий... С. 7, 12–13; Черных П.Я. Очерк... С. 110; Вилинбахов В.Б. Несколько замечаний о теории... С. 336; Шушарин В.П. Указ. соч. С. 249, 251–252, 262.
- ³²⁵ Ловмянский Х. Русь... С. 163–165, 179–182, 189–190; *его же*. Руссы... С. 43–45; Otrębski J. *Op. cit.* S. 219; Роспонд С. Miscellanea... С. 43–47.

- ³²⁶ Шаскольский И.П. Норманская... историографии. С. 234–235; *его же*. Норманская... науке. С. 51–54, 64, 84; *его же*. Вопрос... С. 128–176.
- ³²⁷ Попов А.И. Названия... С. 48–50, 57, 59–64; Хабургаев Г.А. Указ. соч. С. 215–226.
- ³²⁸ См. об этом подробнее: Шаскольский И.П. Русско... С. 155–160.
- ³²⁹ Мачинский Д.А. О времени... С. 15–16, 19–23; *его же*. О месте... С. 10, 15–25; *его же*. Этно-социальные... С. 24–26; *его же*. О роли... С. 110–113, 119–120.
- ³³⁰ Лебедев Г.С. Эпоха... (1985). С. 189–190, 195–197, 224–229, 233, 237–238, 242–246; Кирпичников А.Н., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Русь... С. 195, 202–205, 229–231, 236, 278.
- ³³¹ Петрухин В.Я. Комментарии (1985). С. 274 (коммент. * к С. 164), 275 (коммент. **** к С. 167), 279–280 (коммент. *, **, ***, **** к С. 179), 280 (коммент. *, ** к С. 180), 281 (коммент. ** к С. 182), 287 (коммент. * к С. 203); Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Славяно... С. 129–130; *их же*. Название... С. 24–38; Константин Багрянородный. Указ. соч. С. 292–293, 295–307, 312, 315, 319–325, 329, 331; Петрухин В.Я. Славяне, варяги... С. 121; *его же*. Русь христианская... С. 471.
- ³³² ДРЗИ. 1999. С. 95; Бибииков М.В. BYZANTINOROSSICA. С. 47; ДРЗИ. Т. II. С. 147–148, 151; ДРЗИ. 2013. С. 96; Горский А.А. Первое... С. 24, 65.
- ³³³ Присёлков М.Д. Киевское... С. 226–229; Шинаков Е.А. Племена... (2000). С. 304; *то же* (2012). С. 36.
- ³³⁴ Ламбин Н.П. Источник... № 7. С. 80–82.
- ³³⁵ Джонс Г. Указ. соч. С. 114, 247–248; Пайпс Р. Указ. соч. С. 52.
- ³³⁶ Горский А.А. Проблема... С. 131–137.
- ³³⁷ Лихачёв Д.С. Нельзя... С. 113; Лебедев Г.С. Varangica... С. 106.
- ³³⁸ Думин С.В., Турилов А.А. Указ. соч. С. 13, 15, 17–19, 24–28.
- ³³⁹ Зимин А.А. О методике... С. 454–464.
- ³⁴⁰ Шаскольский И.П. Антинорманизм... С. 43–44, 50–51.
- ³⁴¹ Джаксон Т.Н., Плимак Е.Г. Указ. соч. С. 40–41, 47, 52–53, 56–57, прим. 59 и 61 на С. 48.
- ³⁴² Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Название... С. 25.
- ³⁴³ Петрухин В.Я. Комментарии (1985). С. 254, коммент. х к С. 76.
- ³⁴⁴ Откуда есть... Кн. 1. С. 479–538, 553–646, 653–682; кн. 2. С. 478–542, 549–578, 591–626; Златоструй; Се Повести...; Хрестоматия... С. 16–31, 43–89, 93–138, 149–179, 190–235; Повесь временных лет / Сост., примеч. и ук. А.Г. Кузьмина, В.В. Фомина. Вступ. ст. и перевод А.Г. Кузьмина (2014, 2016).
- ³⁴⁵ Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Название... С. 25.
- ³⁴⁶ Авдусин Д.А. [Рец.] Х. Ловмянский. С. 134, прим. 4; *его же*. Современный... (1988). С. 23–34.
- ³⁴⁷ Гумилёв Л.Н. Указ. соч. С. 16–18, 31, 83–84, 94, 101, 104–106, 111, 115–117, 125–138, 145–146, 148, 163, 189.
- ³⁴⁸ Похлебкин В.В., Вилинбахов В.Б. Указ. соч. С. 132–134; Вилинбахов В.Б. Балтийские... (1962). С. 253–276; *его же*. Балтийско... (1963). С. 126–135; *его же*. Несколько замечаний о легендах... С. 31–43; *его же*. Несколько замечаний о теории... С. 323–339; *его же*. Об одном... С. 333–345; *его же*. Существующие... С. 18–20; *его же*. Балтийские... (1965). С. 155–190; *его же*. [Рец.] В.П. Шушарин. С. 311–312; *его же*. Балтийско... (1968). С. 177–184; *его же*. По поводу... С. 294–298; *его же*. Современная... С. 79–84; Vilinbachov V.B. Stara... С. 299–323; *idem*. Kilka... С. 49–60; и др.
- ³⁴⁹ Стендер-Петерсен А. Указ. соч. С. 144–152; Третьяков П.Н. Финно... С. 285.
- ³⁵⁰ Вилинбахов В.Б. Современная... С. 84.
- ³⁵¹ Трухачев Н.С. Указ. соч. С. 159–175.
- ³⁵² Азбелев С.Н. Устная... (2006). С. 33–41; *его же*. Устная... (2007). С. 78–84; 66; *его же*. Гостомысл. С. 609–613.
- ³⁵³ Кузьмин А.Г. Облик... С. 250.
- ³⁵⁴ НПЛ. С. 106. Вслед за младшим сводом эту информацию дают новгородско-софийские своды XV в.: ПСРЛ. Т. V. С. 88.
- ³⁵⁵ ПСРЛ. Т. 1. Стб. 20, прим. 38, 49; т. 2. Стб. 14–15.

- ³⁵⁶ Кузьмин А.Г. К вопросу... С. 42–53.
- ³⁵⁷ См. напр.: Кирпичников А.Н. Ладога и Ладожская земля... (1988). С. 45, прим. 17; *его же*. Новые... С. 19; Кирпичников А.Н., Сарабьянов В.Д. Старая Ладога... С. 83–89; *их же*. Старая Ладога. С. 76–81; Мачинский Д.А. Ладога... С. 14–23. Ср.: Жих М.И. О соотношении... С. 3–44.
- ³⁵⁸ Кузьмин А.Г. Две... С. 86–87, 89; *его же*. Русские... С. 64–65, 101–102, 104–111, 156, 159; *его же*. «Слово... С. 60, 65; *его же*. Древнерусские... С. 65.
- ³⁵⁹ Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 58.
- ³⁶⁰ Кузьмин А.Г. «Варяги»... С. 28–55; *его же*. Об этнической... С. 54–83; *его же*. Заметки... С. 55–56, 58; *его же*. Об истоках... С. 116–119; *его же*. Русь... С. 90–95; *его же*. Западные... С. 28–30, 41–45; *его же*. Одоакр... С. 103–129; *его же*. «Крещение... С. 27–28, 42–44, 48; *его же*. Падение... С. 4–5, 12, 49, 129–140, 143–144, 155–157, 166–167, 175; *его же*. Истоки русского... С. 16, 20; *его же*. Хазарские... С. 239–252; *его же*. Кто... С. 4–5; *его же*. Об этнониме... С. 7–9; *его же*. Новое... С. 8–9; *его же*. Руги... С. 130–147; *его же*. Пути... С. 35–36; *его же*. Источниковедение... С. 102–104, 115–116; *его же*. От моря... С. 32–47; *его же*. Два... С. 192–213; *его же*. История... Кн. 1. С. 77–78, 85, 87–106, 118–119, 124, 135–137, 159–160, 162–165; *его же*. Начало... С. 36, 40, 93–94, 160–161, 187, 203–222, 225–229, 233–234, 238–332, 335, 338, 347; *его же*. Начальные... (2003). С. 39; *его же*. Облик... С. 232, 235–238, 242, 244, 246, 248–249; Галкина Е.С., Кузьмин А.Г. Указ. соч. С. 456–481; Откуда есть... Кн. 1. С. 10, 14–20, 477, 544, 546–552, 664–682, 696–698; кн. 2. С. 8, 14, 16, 20–29; 545–548, 581–586, 588–591, 639–654, 689–690; Славяне и Русь. С. 209–455; Хрестоматия... С. 32–42, 112–113, 139–146. См.: Фомин В.В. Норманская проблема. С. 203–256; Карпенко А.А. Указ. соч. С. 60–77.
- ³⁶¹ Новосельцев А.П. Древнейшие... С. 101.
- ³⁶² Лев Диакон. Указ. соч. С. 197, коммент. 40; Новосельцев А.П. Хазарское... С. 50, 157, прим. 131.
- ³⁶³ Лебедев Г.С. От редактора. С. 3.
- ³⁶⁴ Хлезов А.А. Кто... С. 10–11.
- ³⁶⁵ Леонтьев А.Е. Тимерёво. С. 79–86.
- ³⁶⁶ Сойер П. Указ. соч. С. 99; Гумилёв Л.Н. Указ. соч. С. 17, 25.
- ³⁶⁷ Записки капитана... С. 27, 55, 73–75; Савельева Е.А., Беспярых Ю.Н., Возгрин В.Е. Указ. соч. С. 284, коммент. 5.
- ³⁶⁸ Линд Дж. Почитание... С. 195.

Глава 6

УЛЬТРАНОРМАНИЗМ В 1992–2002 ГОДЫ

6.1 Ультранорманизм — или «взвешенный», «объективный» и «научный» норманизм — об антинорманизме и антинорманистах прошлого и современности

Сложившаяся на рубеже 1980–1990-х гг. ситуация в нашей историко-филологической науке естественным образом привела к возрождению в ней, если воспользоваться оценкой В.А. Мошина, «“ультранорманизма” шлёщеровского типа», от которого во второй половине XIX в. во многом отказались, под воздействием критики и прежде всего С.А. Гедеонова, профессионалы высочайшего класса — историки и лингвисты, представлявшие собой цвет российской и европейской науки (М.П. Погодин, А.А. Куник, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, В. Томсен и др.), что в определённой мере расчищало путь для действительно научного разговора о руси и варягах.

Выше цитировалось заключение археолога А.А. Хлевова о победе «взвешенного и объективного норманизма», по причине чего «норманский вопрос» им был перемещён «всецело в сферу историографического бытия», т. е. сдан в архив, в связи с чем его следовало теперь безоговорочно принимать только в норманистской трактовке (но в 2015–2021 гг. он, напомнив вывод своей кандидатской диссертации 1994 г. об убедительной победе «взвешенного норманизма», регулярно подтверждаемой «всё новыми археологическими открытиями и переосмыслением существующих источников», признал: «Последующие события в отечественной науке продемонстрировали, однако, что это заявление оказалось сколь оптимистичным, столь же преждевременным»). В 1999 г. скандинавист А.С. Кан не без пафоса резюмировал, что «гласность второй половины 80-х годов открыла путь академической свободе, а вместе с нею и научному, т. е. умеренному, норманизму... Так почти трёхвековой спор нашёл своё научное разрешение, избавившись от идеологических заданий и шор». В 2002 г. археолог Д.А. Мачинский представлял собственную статью о начальной истории Ладоги, как центра, в котором сначала сидел «хакан» скандинавского «народа рос», а затем скандинав Рюрик,

в качестве итога «тщательного, объективного и, главное, незаинтересованного... исследования»¹.

Каковы «взвешенность»/«объективизм»/«научность»/«умеренность» победившего норманизма, по Хлезову, «неопровержимо аргументированного источниками как письменными, так и археологическими», видно из работ его приверженцев, ещё на исходе СССР массово накинущихся на антинорманистов-«патриотов», мешавших торжеству в науке шведского взгляда на русскую историю (тогда термин «патриот» был превращён в бранное слово, в таран, позволивший основательно расшатать государственные устои и нравы). И вместе с тем осуществлявших кардинальную смену кумиров науки, давая старт расставанию с «советским антинорманизмом» и переходу на позиции современного ультранорманизма, шестого этапа в развитии норманской версии.

В 1990–2002 гг. лингвист Р.А. Агеева, уверяя, что с конца 1930-х гг. «числиться “норманистом” стало небезопасно», что патриоты-русофилы «пытались обосновать исконно славянское, или скифское, или какое угодное, только не германское происхождение этнонима *русь*», делилась радостью, что «в наше время, к счастью, чисто филологический вопрос о происхождении названия *Русь* благополучно отделён от гораздо более важного исторического вопроса о происхождении древнерусского государства» и что «западнофинская гипотеза происхождения этнонима *русь* кажется нам наиболее убедительной и лингвистически обоснованной». В начале 1991 г. востоковед А.П. Новосельцев объяснял советскому читателю, уставшему от марксистской трескотни и все больше ухудшавшихся реалий «развитого социализма» и вместе с тем уверовавшему, под воздействием «перестроечных» фейков, во всевозможные благодати Запада, что норманистами являлись все видные русские историки, «оппонентами которых были, как правило, посредственности типа Д.И. Иловайского», что с 1940-х гг., «особенно в период “борьбы с космополитизмом” в нашей исторической науке взяли верх именно “патриоты”», в связи с чем «на позиции антинорманизма волей-неволей встали почти все советские историки; многие потому, что приклеиваемый в противном случае ярлык “норманиста” делал человека чуть ли не врагом народа». Сейчас же, когда «кличка “норманист” перестала быть синонимом чего-то антипатриотического... всё большее число наших историков» склоняется к выводам, которые отстаивал прекрасный знаток наших древностей датчанин А. Стендер-Петерсен, например, «что термин “Русь” северного происхождения (хотя совсем ещё недавно, в 1985 г., Новосельцев столь же твёрдо говорил, незыблемо ещё стоя на позициях «советского антинорманизма», о его иранской основе. — В.Ф.), как и династия киевских Рюриковичей».

В 1992 г. археолог А.А. Молчанов указал на мощный гнёт официального антинорманизма в советское время. На следующий год Новосельцев, продублировав сказанное в 1991 г., добавил, что Иловайский очень вольно обращался с фактами, что прекрасный знаток источников Стендер-Петерсен «глубоко уважал Россию, русский народ, его прошлое» и что, шёл важный повтор, происхождение термина «Русь» и династии киевских князей — второстепенные вопросы, навязанные науке «патриотами» («ведь носят же французы этноним, происходящий от германского племени франков, а славяне — болгары — тюрк-

ское наименование!», в сердцах взывал он, в духе «диссертации» Г.Ф. Миллера). Вместе с тем предельно резкой критике, отступающей от норм науки и элементарного приличия, подверг творчество/«фантазии» Б.А. Рыбакова, олицетворявшего собой «советский антинорманизм» (но уже утратившего свои бывшее величие и влияние в историко-археологической науке), его борьбу с «мифическим норманизмом», говоря, что стремление академика изображать «только скандинавов как разбойников, совращавших другие народы на путь войн и грабежей, — значит отходить от исторической правды в угоду примитивному патриотизму, который сродни обычному шовинизму»².

В 1994–1999 гг. историк Е.В. Пчелов рассуждал о «воинствующем», «примитивном» антинорманизме советской поры, когда отрицалось не только какое-либо влияние на Русь её северных соседей, но и само существование Рюрика, а Дир, Аскольд и Игорь оказывались славянами. В 1994–1997 гг. А.А. Хлевов, исходя из родимой для норманизма посылки, что антинорманизм почти всегда был «следствием отнюдь не анализа источников, а результатом предвзятой идеологической установки», бичеванию подверг «государственный антинорманизм» 1951–1965 гг., являвшийся государственной идеологией. И увенчал несколько не сомневавшегося в норманстве варягов археолога Д.А. Авдусина (именуя его, воскрешая лексику А.А. Куника, «варягоборцем» и тем самым также грубо искажая позицию настоящих антинорманистов) «лаврами патриарха отечественного послевоенного антинорманизма».

В 1998–2001 гг. археолог В.Я. Петрухин вёл речь о борьбе с норманизмом в послевоенный период, когда (в условиях «борьбы с космополитизмом») «летописная традиция, выводившая начало Руси к призыванию из-за моря» норманских князей, и исследователи, признававшие её историчность, «становились проводниками враждебного “внешнего” влияния». В 1999–2009 гг. другой археолог, Л.С. Клейн, объяснял, что в те же годы патриотическая пропаганда поднимала на щит антинорманизм (и представлял Д.А. Авдусина в качестве видного антинорманиста), что, как сгущались краски для придания норманистам ореола «гонимых мучеников» за Истину, участники схватки 1965 г. с антинорманистами «прекрасно понимали, что речь идёт о возможности заниматься наукой и даже вообще о свободе в буквальном смысле слова» («побеждённым не миновать разгона, а кое-кому — тюрем и лагерей»). В 2000 г. и академик В.Л. Янин приписал антинорманистам «патриотическое возмущение»³.

В 2001 г. Пчелов, подчёркивая, что С.А. Гедеонов «камня на камне не оставил от “норманской теории”» и что его работа «стала поворотным пунктом в изучении норманской проблемы», затем как-то весьма нелогично заключил: антинорманистами движет (а это несвойственное им чувство приписал А.Л. Шлёцер) весьма странное понимание патриотизма, когда считают, что «присутствие иноземцев на Руси и неславянское происхождение правящей династии ущемляют чувство национального достоинства русских, показывают их неспособность к самостоятельной самоорганизации». Хотя, лилось старое-престарое, «происхождение династии Рюриковичей никак не может умалять “национальную гордость великороссов”» и стыдиться этого нелепо. После чего сказал, что «ультрапатриотический настрой особенно был характерен для

советской исторической науки 1930–1950 годов. Да и позже его накал не снижался. Тогда говорить не то что о влиянии скандинавов, но даже об их присутствии на Руси в древнейший период было невозможно (да только и делали, что говорили и говорили, принудив быть норманистами, чего не было до революции, всех поголовно, за исключением единиц. — В.Ф.). А страшный ярлык “норманиста” мог перечеркнуть всю деятельность учёного».

В 2004 г. историк А.А. Горский, заключая, что дискуссия о роли скандинавов в возникновении русской государственности «долгое время осложнялась как ложно понимаемым патриотизмом, так и накладывавшим отпечаток на исследования протестом против него», убеждал противников норманской версии в том, что, «строго говоря, для исторического самосознания причастность к образованию государства скандинавских викингов, от которых в IX–XI вв. трепетала вся Европа, должна быть, скорее, престижна, чем оскорбительна» (насколько надо всё же заикнуться на норманнах и оторваться от реалий того времени, чтобы рассуждать о престиже основания русской государственности кровавыми убийствами, ненавидимыми и презираемыми всей Европой). Через десять лет А.Ю. Дворниченко, выдавая себя за борца с химерами русской науки, под которыми он понимает Varangiku, Хазарику и Византику, сказал, что Л.П. Грот действительно развенчивает многие выдумки норманистов. Но вместо того, говорил с упрёком автор-норманист, чтобы бороться с первой химерой, она начинает её подкармливать, начинает сражаться на стороне антинорманизма, потому как верх взял взросший в Скандинавии русский патриотизм⁴.

Разумеется, что повсеместный разговор лишь о «патриотической» мотивации антинорманистов выплеснулся за рамки науки. Причём сила такого разговора и его масштабы на рубеже 1980-х — 1990-х гг. были столь велики, что от антинорманизма стали открешиваться известные «патриоты». Так, в 1992 г. литературовед В.В. Кожин говорил со страниц «Нашего современника», что многие историки и публицисты, обладающие заострённо патриотическим сознанием, усматривают в предании о «призвании» варяга/викинга/конунга Рюрика «заведомо или даже крайне унижительный для Руси смысл и стремятся всячески опровергать летописные тексты, — в том числе и самый факт существования норманской династии». «Всё это является, — объяснял он в духе давно уже пропагандируемого норманистами, — несомненно, очень прискорбной чертой исторического самосознания, ибо представляет собой одно из ярких выражений своего рода комплекса *национальной неполноценности*, присущего, увы, достаточно большому количеству русских людей».

Своё стремление избавить читателя от этого комплекса «патриотической “ущемлённости”» евразиец Кожин подкреплял, например, такими «аргументами»: что варяжский вопрос давно уже нашёл истинное решение в размышлениях В.О. Ключевского, назвавшего все усилия разъяснить данный вопрос «явлением патологии», и что слово «русь» восходит к финскому «ruotsi», которое означало скандинавов, прежде всего шведов, что последние сыграли, как определяет Д.А. Мачинский, роль катализатора, «существенно ускоряющего и интенсифицирующего такой процесс, который развивался бы и сам по себе». Идя вслед за тем же археологом, Кожин вёл речь о расположенном между озёра-

ми Ладога и Ильмень государственном образовании, возникшем после «призывания» Рюрика. И правитель этого образования (а в нём соединились в одно целое славяне, финны и скандинавы, причём последние, появившиеся в Северной Руси в середине VIII в., играли весьма существенную роль) назывался «каганом», явно противопоставляя себя хазарскому кагану, подчинившему Южную Русь. Потому уместно полагать, заключал Кожинов, «что в ранней истории Руси имела место “варяжская эпоха”, начавшаяся во второй четверти IX века и завершившаяся в середине X века, во время правления княгини Ольги»⁵.

Одновременно с раскручиванием темы о «патриотической “ущемлённости”» антинорманистов (и вместе с тем с очернением самого патриотизма, без которого бы и не было России), в условиях, как в один голос протрубили в 1999 г. А.В. Чернецов и Л.С. Клейн, небывалой творческой свободы (ибо с ликвидацией советского режима свобода исследований стала полной)⁶, вылившейся в радостное глумление и издевательство — под видом объективизма — над родной историей, шло (и продолжает идти по нарастающей) целенаправленное шельмование и дискредитация «взвешенными» и «умеренными» истинного антинорманизма (ибо с научной точки зрения он непоколебим и потому его стараются уже более двух веков представить в уродливо-карикатурном виде) и антинорманистов (а в этом процессе, что весьма показательно, активное участие опять же принимали учёные, которые никогда не занимались варяжским вопросом). И неперенными атрибутами такого процесса являются, как и прежде, передёргивание фактов, вольная их трактовка, выдумка «разоблачительных» фактов и специфическое «остроумие».

В 1990 г. А.П. Новосельцев попытался, как уже отмечалось, в очередной раз «умертвить» теорию о Черноморской Руси, абсурдность которой якобы доказана ещё в XIX в. (как точно заметил по поводу этих слов О.Н. Трубачёв, «вот тезис, в котором я вижу типичный завал на пути к истине», который необходимо расчищать, ибо накопились достаточные материалы). Спустя три года он же, неловко отзываясь об Д.И. Иловайском, констатировал в стиле А.Л. Шлёттера, что теория С.А. Геденова о тождестве варягов с южнобалтийскими славянами ни одним серьёзным учёным (а таковыми со времён А.Л. Шлёттера норманисты числят только себя) не была принята. Тогда же И.П. Шаскольский, отметив «крайний антинорманизм» Д.А. Авдусина, убеждал, что с позиций исторической науки вызывает возражение теория о приходе новгородцев не из Поднепровья, а с территории южнобалтийских славян. Годом позже он подчеркнул, что немецкий лингвист Г. Шрам построениям В.Б. Вилинбахова и А.Г. Кузьмина, пытавшимся восстановить традиционный антинорманизм XIX — начала XX в., дал суровую и справедливую критику⁷.

В 1994 г. Е.А. Мельникова и В.Я. Петрухин, всё также стремясь бросить тень на концепцию Кузьмина, но при этом привычно избегая дискуссии, навесили на неё ярлык «изолированного историографического казуса». На следующий год некто К. Иванов втолковывал читателям журнала «Родина», возводя по норманистской традиции напраслину на летописцев, что норманисты разделяют вывод Нестора о норманском происхождении древних русов, тогда как антинорманисты категорически его отвергают, что теории о нескандинавском

происхождении слова «русь», включая южнобалтийскую, основаны на достаточно вольном толковании противоречивых письменных источников и «не имеют каких-либо серьёзных доказательств в археологической науке, а потому вряд ли могут рассматриваться иначе, чем просто интересные предположения и гипотезы». В 1997 г. Мельникова объясняла, что в 1940–1950-е гг. борьба с космополитами вызвала к жизни бурный всплеск антинорманизма: «Отсюда гипертрофированное внимание, которое придавалось и придаётся подчас и ныне этимологии названий *русь* и *варяг*, скандинавскому или не скандинавскому происхождению Рюрика, Олега, Игоря и т. д.», причём антинорманисты пренебрегают доводами лингвистики. В 2000–2001 гг. Петрухин, ведя речь о ложно понимаемых патриотических чувствах, представил антинорманистов в качестве тех, кто считает противоестественным призвание чужеземных правителей⁸.

В 1999–2009 гг. Л.С. Клейн «просвещал», что в борьбе антинорманистов за термин «Русь» сказалося опасение «за урон национального достоинства: зазорно носить чужое имя», что настоящий норманизм — «это утверждение природного превосходства норманнов... над другими народами... Это не научное течение вообще». А всё остальное, даже когда решается вопрос в пользу норманнов, — не норманизм, который «был просто пугалом, созданным антинорманистами для подтверждения их необходимости. Вот антинорманизм — это реальность. Но реальность, имеющая корни, скорее, в психологии и политике, чем в науке». В 2004–2006 гг. коллега Клейна А.А. Формозов уверял, что раболепие у И.Е. Забелина сочеталось с крайним национализмом, что носителями традиции «ультранационализма» были Д.И. Иловайский и С.А. Геденов, а в советское время — Н.С. Державин, В.В. Мавродин, Б.А. Рыбаков. В 2006 г. археолог А.Е. Мусин заключил, что со времени Ломоносова «признание ведущей роли норманнов в создании Древнерусского государства было мнением если и вполне научным, то не вполне патриотичным. ... Но научность явно одерживала верх над страстностью». Тогда же украинский историк Л.В. Войтович со страниц российского издания объяснял, что рассказ ПВЛ о приглашении варягов «задевал патриотические чувства многих историков, которые старались его опровергнуть любой ценой», что в пользу южнобалтийской версии происхождения Рюрика нет убедительных археологических материалов (тогда как погребения скандинавов в Плакуне выделяются по парным фибулам) и отсутствуют лингвистические доказательства (о том же, а вместе с тем о «патриотической ностальгии антинорманистов», он вёл речь и семь лет спустя)⁹.

Е.А. Мельникова в 2007 г. в интервью сказала, что где-то в 2001–2002 г. «опять начался всплеск антинорманизма, примитивного» и спровоцированного «администрацией президента». И в качестве подтверждения своим словам привела «“антинорманистскую” конференцию “Рюриковичи и российская государственность”, которую некоторые историки считают патриотической пиар-акцией Кремля» (состоявшаяся в Калининграде в 2002 г. Международная конференция была посвящена 1140-летию призвания варягов на Русь, на которой из порядка тридцати докладов, один из которых прочитала Мельникова, лишь три были сделаны — А.Н. Сахаровым и Н.М. Рогожиным, А.Г. Кузьминым, В.В. Фоминым — с позиций антинорманизма. Но этот факт для неё, бывшей активной

«советской антинорманистски», а ныне передовой «взвешенного и объективного норманизма», уверовавшей в его полную победу, стал непроходящим шоком).

В 2009–2011 гг. Мельникова вновь говорила, что патриотические мотивы доминируют и в возродившемся в 2000-е гг. антинорманизме, как доминировали они в XVIII в. в полемике Ломоносова с немецкими историками, в середине XIX в. — «в годы подъёма славянофильства, в середине XX — в условиях сталинской борьбы с “космополитами”». Ибо после распада СССР «гордиться стало нечем, комплекс победителя сменился комплексом побеждённого, старая система ценностей оказалась ложной», в связи с чем одним из ответов на идеологический дефицит стало возрождение антинорманизма (в её толковании, «немцененависти на новый лад»). При этом утверждала, не ведая историографии варяжского вопроса, что антинорманизм, выраженный в работах С.А. Гедеонова, немедленно подвергался резкой критике его современников, например, М.П. Погодина и И.И. Первольфа, как несоответствующий научному уровню того времени, но его в 1970-х гг. возродил Кузьмин, а ныне поднят на щит его учениками и последователями.

А в качестве показательного примера несостоятельности антинорманизма, в её толковании, «немцененависти на новый лад», Мельникова преподнесла монографию ученика Кузьмина Фомина «Варяги и варяжская русь» (2005, рекомендована к печати решением Учёного совета ИРИ РАН), заключая, что «апелляция к авторитету заменяет собственное исследование и обращение к источнику» (доктор исторических наук Мельникова, не имея исторического образования, не знает базовых основ исторической науки, включая истину, выраженную, например, в 1884 г. известным германистом Ф.Я. Фортинским, что «изучение трудов предшественников помогает историку избегать ошибок, давно опровергнутых». Вот если бы она знала эту истину и руководствовалась бы ей, то, несомненно, стояла бы на позициях антинорманизма. Но тогда бы она, понятно, не была зарубежным членом Шведской Академии наук)¹⁰.

В.Я. Петрухин в 1998–2000 и 2007–2019 гг. утверждал, что Д.А. Авдусин и И.П. Шаскольский «констатировали бесперспективность традиционного направления антинорманистского дискурса» и что представления «о конце традиционного антинорманизма Гедеонова-Иловайского были связаны со значительно расширившейся в 1960–1980-е гг. источниковой базой (прежде всего, в области археологии), проясняющей роль норманнов в начальной русской истории». И в унисон с Мельниковой скорбел, что «на наших глазах реанимируются историографические схемы, относящиеся, по крайней мере, к позапрошлому веку, а по сути — к средневековой историографии» (причём антинорманисты, приписывал археолог им несвойственное, не принимают летописную традицию варяжского происхождения руси, хотя они не принимают, что ему хорошо известно, лишь отождествления варягов и норманнов).

Петрухин, всячески стараясь очернить антинорманизм, вёл речь о том, что его опыты не представляют научного интереса, что переиздание дореволюционных антинорманистов формирует у современного читателя неверное представление о развитии исторической науки (т. е. знать историографию ни к чему), что Д.И. Иловайский был одиозен даже для науки XIX века. А именуя С.А. Ге-

деонова непрофессионалом и «любителем российских древностей», обвинил его в научной нечистоплотности: «Дело доходит до прямых мистификаций: так, Ипатьевской летописи приписывается фраза, повествующая о неких сербских князьях “съ кашуб, от помория Варязкаго, от Старого града за Кгданьском” (Гедеонов, 2004: С. 142)», ибо ничего такого в Ипатьевской летописи нет. Однако в Ермолаевском списке этой летописи издания 1843 г., которым пользовался Гедеонов, превосходно знавший отечественные и зарубежные источники, приведённые слова может спокойно найти и прочитать (эти же слова в 1846 г. процитировал и ультранорманист М.П. Погодин, тем самым занимаясь, получается, «мистификацией» задолго до антинорманиста Гедеонова). Приведены они и в издании 1908 г., но только в разделе, на что всегда обратит внимание профессионал, «Приложение. Разночтения из Ермолаевского списка».

(Подобных обличительных и разоблачительных «истин» у Петрухина — как по слабому знанию исторического и историографического материала, так и по их тенденциозной трактовке — достаточно. Так, например, в 2007–2009 гг. он уверял, что А.Г. Кузьмин сравнивал Г.З. Байера с идеологами нацизма, однако такой глупости у историка, разумеется, нет. Затем в 2011–2013 гг. убеждал, что А.Г. Розенкампф предложил «объяснение термина “русь” — “гребцы, участники похода на гребных судах” (*гоб(е)R)», а М.Н. Тихомиров рассуждал «о происхождении имени *русь* от ругов на Дунае». Хотя первый, а речь об этом шла, в 1827–1839 гг. утверждал обратное: вооружённые упландские гребцы-«ротси» не могли сообщить своё имя Руси, при этом поражаясь тому, как «Шлёцер мог так ошибиться и принимать название военного ремесла за *имя народа*». И у второго, конечно, не найти того, что ему приписывает археолог Петрухин. Не соответствуют источникам и его заверения, что Ибн Фадлан видел сожжение в ладье знатного русского дружинника в Болгаре, тогда как арабский автор рассказывает о погребении русского купца, и что громовержец Перун почитался верховным божеством «у славян уже в VI в. (по свидетельству Прокопия Кесарийского)», хотя тот лишь сообщает, что один из богов славян и антов — «создатель молнии»).

Петрухин, обрушиваясь на эпигонов М.В. Ломоносова и новых мифотворцев с «квазипатриотическим воображением», внушал, что Кузьмин реанимировал закоснелый, «вульгарный» антинорманизм XIX в., что его проводят сейчас А.Н. Сахаров и В.В. Фомин, тиражируя рецидивы средневековых конструкций. Вместе с тем этот археолог, специалист по скандинавским древностям, восторженно отзывается о родоначальнике теории шведской колонизации Руси — шведе Т.Ю. Арне, деятельность которого, «глубоко знавшего и любившего не только археологию, но и раннюю историю России, была ошельмована официальной советской наукой, особенно в период борьбы с “низкопоклонством перед Западом”: крайним выражением этого низкопоклонства считалась “реакционная норманская теория”, признававшая исторические основы летописного призвания варягов» (но почему-то считает, что его книга «Швеция и Восток» вышла в 1914 г. в Санкт-Петербурге, однако местом её издания являлась шведская Упсала)¹¹.

В 2009 г. археолог Л.С. Клейн (не забыв оповестить читателя, что работает «на благо русской науки, отстаивая её силу, честь и достоинство») в силь-

нейшем раздражении прошёл по Кузьмину и Фомину: они — не археологи и не лингвисты (т. е. опять же отводил историкам в разработке варяжского вопроса роль третьего плана), проявляют сугубый дилетантизм, надеются на патриотически настроенные власти, произносят, по воле этого бесцеремонного суфлёра, несвойственные им слова (норманисты — это сторонники «зловредного подрывного учения с политическим подтекстом», русофобы, подкупленные Западом и т. п.). При этом (не понимая или игнорируя их выводы) искренне возмущаясь тем, что они считают норманистами «антинорманистов» Б.А. Рыбакова, И.П. Шаскольского, Д.С. Лихачёва, В.В. Мавродина, Д.А. Авдусина, А.Н. Кирпичникова.

Одновременно он тиражировал (особенно не щадя М.В. Ломоносова, но не забыв Д.И. Иловайского и И.Е. Забелина с их великодержавным шовинизмом) мысль о вненаучных и антинаучных истоках антинорманизма, о национальных амбициях его представителей, которые сегодня ударились в крайность — вернулись на позиции Ломоносова: отвергают скандинавское происхождение варягов, тогда как его совместная с учениками статья 1970 г. «наглядно опровергает эту блаженную “ультрапатриотическую” убеждённость». Вместе с тем пугая читателя, что «всё чаще объективное исследование рискует наткнуться не просто на “непонимание” властей, на отказ в ассигнованиях, но и на крикливое шельмование в печати со стороны “ультра-патриотов”, на политические обвинения». А в 2010 г. разъяснял тем, кто ещё недооценил угрозы «антинорманизма», что «на дрожжах перестройки выросло много ультра-патриотических движений как умеренного, так и откровенно фашистского толка» и что Россия вступила на путь, «который прошла побеждённая ею Германия» — на «путь нацизма» (а русский народ «в массе симпатизирует убийцам инородцев... готов к погромам инородцев»).

Учителю в 2009 г. вторил Е.Н. Носов, говоря, что антинорманисты (Фомин, например), своеобразно понимая патриотизм, археологические материалы привлекают «дилетантски и безграмотно» (т. е. и не смей что-то из утверждений археологов, воссоздающих историю Руси на шведский лад, ставить под сомнение). Тогда же и археолог Е.А. Шинаков буквально жаловался, что Фомин обвинил его «в “норманизме” в результате искажения источников» (но автор данных строк никого не обвиняет, а лишь констатирует, что учёный, который сейчас заверяет, что этнический аспект не является чем-то важным с методологической точки зрения, «горой» стоит за норманство варягов и даже усаживает их за стол Ярослава Мудрого, беседы с которым, оказывается, дали — вот «открытие»! — начало одной из скандинавских саг), что он, «при всей эрудированности, скрупулёзности, но методической “отсталости” чисто эмпирического анализа не столько источников, сколько литературы о них,... в сфере методологии отходит на позиции середины XIX, если не XVIII в.», разделяет политические цели отечественной исторической науки середины и второй половины XX века. Тогда как в научном плане — в плане методологии — она сделала шаг вперёд, позволив избавиться от примитивного норманизма и антинорманизма¹².

В том же 2009 г. историк А.В. Назаренко (лингвист по образованию) вынес приговор, что «лицо современного так называемого “антинорманиста”... опре-

деляют люди, имеющие весьма смутное и пристрастное понятие об исторической (о лингвистической нечего и говорить) науке». Тогда же историк А.А. Горский говорил (повторив это в 2012 г.), что «среди противников отождествления варягов с норманнами нет ни одного археолога (равно как и лингвиста)». Такая констатация, по его мысли (как и по мысли Клейна), должна была бы сразу же «обнулить» выводы современных приверженцев антинорманизма и показать несостоятельность их позиций, потому как они не принимают норманистских результатов, прежде всего археологов (но в таком случае ему, проявившему, под влиянием не-историков, неуважение к истории, надо «обнулить» и свой вывод от 1989 г., когда он, разбирая в том числе и мнения лингвистов Г.А. Хабургаева и Е.А. Мельниковой, подытожил, что «аргументация в пользу “скандинавской” гипотезы, не представляется убедительной». В связи с чем, правомерно заключал тогда историк Горский, «решение проблемы происхождения названия *русь* может быть достигнуто лишь на основе комплексного анализа исторических и лингвистических данных») (следует только уточнить — абсолютно всех данных и при приоритете исторических).

А.Ю. Дворниченко в 2010 г. представлял сегодняшних антинорманистов в качестве борцов с «ветряными мельницами» (и потому лично ему возня таких «неоантинорманистов», в первую очередь научной школы А.Г. Кузьмина, особенно смешна) и соглашался с Л.С. Клейном, что «норманская “проблема” закрыта», т.е. никаких возражений норманизму быть не должно (об уровне понимания этим историком как сути варяжского вопроса, так и полемики по нему свидетельствуют его же слова, что известие летописи о призвании варяжских князей стало в XVIII в. предметом ожесточённой дискуссии между немецкими учёными — Г.З. Байером, Г.Ф. Миллером, А.Л. Шлёцером — и М.В. Ломоносовым. Но Байер к началу дискуссии в октябре 1749 г. по речи Миллера уже более 11 лет находился в могиле, а Шлёцер прибыл в Россию осенью 1761 г., т.е. спустя ровно 10 лет после её завершения). Историк В.А. Кучкин тогда же подчёркивал, что Кузьмин не имел специальной лингвистической подготовки. А появление в 1974 г. его статьи «Об этнической природе варягов», утверждающей выход варягов из пределов Южной Балтики, объяснил тем (какая мощная аналитика!), что тогда шла подготовка к подписанию Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (был принят 1 августа 1975 г.), декларирующего «незыблемость европейских границ, в том числе изменённых в 1945 г. границ СССР в южной Прибалтике. Своей работой Кузьмин пытался доказать давнюю принадлежность Руси земель по южному берегу Балтийского моря»¹³.

В 2010–2012 гг. Е.В. Пчелов писал (с повтором ранее произнесённого), что «последний и самый серьёзный “залп” научного антинорманизма прогремел в 1876 г.», когда вышла книга С.А. Геденова «Варяги и Русь» (однако его лингвистические изыскания «выглядели крайне примитивными, а значит, и малоубедительными», поэтому теория, что варяги — южнобалтийские славяне, давно отвергнута наукой по причине своей несостоятельности, хотя её возродили В.Б. Вилинбахов и А.Г. Кузьмин). С накоплением же «археологического материала, развитием и совершенствованием методов лингвистики, текстоло-

гии и источниковедения в варяжском вопросе в области науки была поставлена точка: трудами выдающихся исследователей — датского лингвиста В. Томсена («его лингвистические наблюдения и выводы не утратили своего значения до сих пор») и нашего филолога А.А. Шахматова, однозначно доказавших скандинавское происхождение варягов, первых русских князей, «подкреплена версия о скандинавском происхождении слова “русь”», в связи с чем казалось, что этот вопрос навсегда останется уделом науки, а споры о нём уйдут в область истории.

Но конец 30-х гг. был временем возрождения в СССР своеобразного «патриотизма», достигшего наивысшего подъёма в послевоенный период, что в конце 40-х гг. «норманская теория» стала страшным жупелом русской истории, «приравниваясь почти что к государственной измене». Однако «постепенно трудами многих историков, археологов и лингвистов варяжская тема была вновь возвращена в научное пространство, а после снятия идеологических запретов наша наука получила возможность не только свободного обсуждения ранее “запретных” тем, но и вернуться в русло науки общемировой». При этом Пчелов подчёркнуто говорил, что начало XXI в. «ознаменовалось своеобразной реанимацией давно отвергнутых наукой идей и взглядов и, прежде всего, т. н. “антинорманизма”, отсылающего к историографическим построениям полуторавековой и более давности»¹⁴.

В 2010 г. С.В. Соколов, славословя вышедшую годом ранее книгу Л.С. Клейна «Спор о варягах», в её тональности повествовал о «мучениках норманизма»: «антинорманизм “новой волны” в качестве аргументов научного спора использует приёмы, бывшие в ходу в 1930–1950-е годы. Оппоненты обвиняются в злонамеренном искажении истины, их идеи рассматриваются как политически вредные и инспирируемые из-за рубежа, закономерно появляется призыв к государственной власти с требованием разобраться с такой неприглядной научной концепцией». На следующий год (продублировав сказанное в 2013 г.) Л.В. Войтович уверял, что современные антинорманисты критикуют своих оппонентов за отсутствие патриотизма. В 2012 г. В.В. Пузанов в учебном пособии, относя к ярким антинорманистам Д.А. Авдусина, А.Г. Кузьмина и В.В. Фомина, вёл речь о воинствующем энтузиазме современных антинорманистов, об их монополии на патриотизм, ибо «признание “норманского” происхождения “руси” равносильно, по их мнению, признанию неспособности восточных славян к государственному строительству, на чём и строятся гневные филиппики и обвинения оппонентов в антипатриотизме» (главным недостатком работ Фомина, продолжал наговаривать, горячась, ижевский коллега, «является перенос научного спора в область политики, навязчивые представления о норманистах, как недругах русского и, шире, славянских народов») ¹⁵.

В 2013 г. С.П. Щавелёв, подражая манере разговора своего учителя А.А. Формозова о предшественниках и современниках и напоминая, что у него «И.Е. Забелин изображён себе на (мещанском) уме, раболепным ко власти имущим, завзятым националистом, не владевшим иностранными языками», охарактеризовал его как «научный фантаст», а в качестве представителя «квасного»

патриотизма назвал нашего современника — А.Н. Сахарова, реанимирующего «наивный антинорманизм»¹⁶ (Щавелёву надлежит знать, что заслуги Забелина, по оценке Н.П. Павлова-Сильванского, замечательного русского историка-археолога, ставшего таковым — по сути без образования! — благодаря упорному труду и таланту, были высоко оценены современниками — профессиональными историками, в том числе оппонентами: он был избран почётным доктором истории ведущих университетов страны — Киевского, Московского, Петербургского, член-корреспондентом Академии наук, затем — её почётным членом¹⁷. Перед отечественной наукой имеет немалые заслуги и другой наш замечательный историк — А.Н. Сахаров).

В 2014 г. Л.С. Клейн, резко критикуя археолога А.А. Романчука, годом ранее пришедшего, несмотря на норманизм, уже внушённый ему в школе, к заключению о правоте Кузьмина и Фомина, отнёс их к крайним антинорманистам (к тому же Кузьмин, пояснял автор, стараясь приписать ему ещё и антисемитизм, т. е. задействовал беспроигрышный приём в дискредитации кого-либо и чего-либо, «одновременно подвизался в качестве активного разоблачителя сионизма как мирового заговора», Фомин же со своими «причудами» норовит примазаться к славе Ломоносова). При этом археолог продолжал утверждать, что никакого норманизма нигде нет, что нет и «норманской теории: ибо это не теория, а трактовка источников, признание фактов. Тогда как антинорманизм существует лишь в нашей стране, и его поддерживает «околонаучная публика» и нынешняя российская власть, «что вся программа антинорманизма зиждется на национальном комплексе неполноценности и униженности, корни которого отнюдь не в глубокой истории, а в отставании России, которое в тех или иных формах чувствуется с петровских времён»¹⁸.

Усилению в науке и обществе неприятия антинорманизма («квасных и оголтелых» патриотов-националистов, которых Клейн стремился увязать с фашизмом), и мысли о непогрешимости «взвешенных» в трактовке варяжского вопроса весьма способствовали работы учёных «дальнего» зарубежья (всегда авторитетного в глазах многих наших сограждан), в 1990-х — начале 2000 гг. шагнувших на российский книжный рынок (хотя многие из них в оригинале были известны до того). Эти сочинения либо в целом были посвящены викингам, либо «точечно» излагали — в общих трудах по истории России — их «великие подвиги» в русской истории (а на викингов в те годы у нас возникла мода, усиливающаяся с каждым годом и втягивающая в свою орбиту всё большее число людей, в том числе под влиянием исторических реконструкторов, ставших пленниками мифов о «героях Севера»).

Так, в 1993 г. у нас вышла книга «Россия при старом режиме» Р. Пайпса (на свет она появилась в 1974 г.). Этот известный американский историк был предельно категоричен в своих суждениях: варяги — это скандинавы (в византийских, западных и арабских источниках IX–XI вв. слово «Русь» всегда относилось только к ним, «русские» названия днепровских порогов есть скандинавские, Waldemar есть «варяжское имя» и пр.). До скандинавов у восточных славян не было «ничего, что бы напоминало хотя бы самую рудиментарную форму государственности», их первой колонией на Руси была Ладога (скандинавы по-

явились там около 800 г.), на Руси они предпочли, в отличие от Запада, заняться торговлей, в ходе которой постепенно завладели всеми главными водными путями, вступив на Волге в торговые контакты с хазарами. Пользуясь затем путём «из варяг в греки» (и строя на нём крепости), скандинавы совершили несколько набегов на Константинополь и вынудили византийцев предоставить им торговые привилегии, что в IX в. на Руси появляются города-крепости, в которых обитали варяжские вожди, их семьи и дружины, а вокруг них часто вырастали пригороды, населённые туземными ремесленниками и торговцами, что, судя по археологическим данным, скандинавы селились в Восточной Европе в четырёх основных пунктах: вдоль Рижского залива, вокруг Ладоги и Волхова, к востоку от Смоленска и между верховьями Волги и Оки.

Гарвардский профессор, проводя мысль, что «почти побочным продуктом заморской торговли между двумя чужими народами, варягами и греками, и родилось первое государство восточных славян», утверждал, что великий русский князь преимущественно был купцом и княжество его являлось, по сути, «варяжским торговым» предприятием, составленным из слабо связанных между собой городов, гарнизоны которых собирали дань и поддерживали общественный порядок, что независимые друг от друга варяжские правители со своими дружинами составляли обособленную касту, жили в стороне от остального населения, судили своих по особым законам, что норманны — «племя неотёсанных пиратов, вышедшее из отсталого края на задворки цивилизованного мира», — ославянились к середине XI века. Как завершал свои рассуждения о генезисе русской государственности этот учёный, норманны дали восточным славянам ряд вещей, без которых бы не произошло «слияние разношёрстных племён и племенных союзов в национальную общность: рудиментарную государственную организацию, возглавляемую одной династией, общую религию и национальное имя». Отметил он вместе с тем и отрицательное наследие норманнов в русской истории — норманская верхушка в России «продолжала сохранять полукOLONиальный характер: свой главный интерес она видела не в сельскохозяйственной эксплуатации земли, а в извлечении дани»¹⁹.

В 1996 г. в России увидела свет книга «Викинги: набеги с севера». Согласно ей, скандинавы, «подобно взрывной волне, прокатились по миру далеко за пределами своей родины, изменяя — посредством торговли, завоеваний и колонизации — ход развития европейской цивилизации. В Нормандии и Киеве скандинавские поселенцы основали могущественные династии, которым впоследствии было суждено положить начало Британской и Российской империям», что скандинавы вплоть до сына Ивана Грозного Фёдора правили самой крупной средневековой державой Европы — Россией (имя же русов, вероятно, представляет собой искажённое название населения местности Родр, впоследствии Рослаген). Купцы-русы, возможно, уже в 550 г. открыли путь на восток (и их позже описал Ибн Фадлан), что по следам купцов в IX в. шли викинги-воины, что Киев представлял собой анклав викингов, что в июне 860 г. викинги осадили Константинополь, что уже к концу IX в. русы-скандинавы владели обширной территорией, которая простиралась от Ладожского озе-

ра к югу до Босфора и к востоку от Карпат до Волги, что Святослав «на поле боя дрался с яростью Одина», что Владимир направил в Византию шесть тысяч русов, которые вместе с викингами образовали гвардию варангов (вероятно, от староскандинавского «*vaг*», т. е. «дар», «ведь, по существу, их подарили императору»)²⁰.

Четыре года спустя в северной столице была издана монография известных английских славистов С. Франклина и Д. Шепарда «Начало Руси. 750–1200» (на их родине была опубликована в 1996 г.), в которой они объясняли, опираясь прежде всего на археологические данные, что Русское государство в северных пределах Восточной Европы создали норманны, а затем в начале X в. русские — скандинавские князья — обосновались в Киеве (издатель книги Д.М. Буланин охарактеризовал, с одной стороны, концепцию её авторов как «гипернорманистская», с другой, вёл речь о их непредвзятости. И видимо, себя также считая непредвзятым, говорил, что восточные славяне, в отличие от хазар и болгар, не являлись структурированным политическим образованием, что русь — это не этноним, а социальный термин, «обозначавший первоначально княжескую дружину и лишь впоследствии получивший расширительное значение», что скандинавы создали государство Русь, где до 1054 г. они были активным действующим лицом, что по своему происхождению династия Рюриковичей — скандинавская. А чтобы ни у кого не возникло даже мысли оспорить такую «непредвзятость», Буланин подчеркнул, что вопрос об этническом составе Русского государства «иногда вызывал и вызывает нездоровый и псевдонаучный интерес, часто с националистической подоплёкой»)²¹.

В 2001 г. в том же Петербурге на книжных прилавках появилась монография датского историка Э. Роэсдаля «Мир викингов», в которой говорилось, что «задолго до эпохи викингов выходцы из районов нынешней Швеции селились на южном и восточном побережье Балтийского моря», где ими были основаны колонии, что они — купцы, викинги, предводители дружин со своей личной стражей и наёмными воинами, — доходили до Византии и Багдада, что «некоторые из скандинавов поселялись на землях Руси и становились земледельцами» (например, в районе Ладожского озера), что восточные славяне находились под властью скандинавского рода «русь», что самое древнее упоминание о русах из племени свеев содержится в Бертинских анналах (причём в других письменных источниках русами называют вообще всех выходцев из Скандинавии), что Ибн Фадлан «рассказал о пребывании скандинавских купцов на Волге и описал погребальный обряд после смерти одного из них».

Датский профессор абсолютно уверена и в том, что Ладога была хорошо известным пунктом на пути из Скандинавии в глубь Руси, что в 860 г. скандинавы даже пытались захватить Византию, что источники «сообщают о военных походах скандинавов через Каспийское море и о торговых поездках до самого Багдада», что Рюрик, Олег (Хельге), Игорь (Ингвар), Ольга (Хельга) — это скандинавы королевской крови (но при этом она, хорошо зная и родную историю, и «родные» источники, отрицала популярную в среде наших норманистов «зацепку» за скандинавскую историю — тождество Рюрика и Ро-

рика Фрисландского), что в 900–1000-е гг. многие скандинавы нанимались на службу в войско русских князей или византийских императоров, что многие из них умирали на Руси (и в их числе было немало женщин, захоронения которых можно опознать по овальным фибулам), что скандинавские погребения встречаются у Старой Ладogi, в Юго-Восточном Приладожье, к югу от оз. Ильмень, неподалёку от Двины, около Гнёздова, у притока Днепра Десны, в Киеве, близ Чернигова, у истоков Волги, в верхнем её течении, у Ярославля, неподалёку от Булгар²².

Английский историк Г. Джонс (его книга «Викинги. Потомки Одина и Тора» 1968 г. была издана у нас в 2003 г.) утверждал, что самые крупные торговые города на Руси — Новгород, Белоозеро, Изборск, Полоцк, Ростов, Смоленск, Чернигов, сыгравшие решающую роль в становлении русской государственности, — основали норманны-русы, что скандинавское происхождение «русских» названий днепровских порогов очевидно, что имена договора Олега — типично древнескандинавские формы имён, что славянское имя Святослава указывало на его разрыв с викингским наследием, что Владимир, похоже, ощущал свою связь с севером сильнее, чем его отец и дед, что его сыну Ярославу Мудрому были присущи откровенные норманские симпатии, что Киевскую Русь времени правления Ярослава «уже нельзя считать норманским государством» и что по строгим оценкам, её историю можно рассматривать в рамках истории викингов лишь только по IX в. (но при этом он подчеркнул, что шведам часто и незаслуженно приписывают основание Русского государства, а также констатировал: беспристрастный наблюдатель с лёгкостью заметит, что большинство скандинавских историков ревностно отстаивают норманскую теорию)²³.

Вместе с тем следует обязательно указать, что тогда в нашей стране шло активное переиздание книг, предназначенных для «образования» детей в духе норманизма, а на них в том числе и выросло молодое поколение нынешних норманистов, в умах которых ещё в детстве навсегда укоренилось преклонение перед «героями Севера». Это, например, книга Э. Пирсон «Викинги», вышедшая в 1994 г., в которой подчёркивается: иностранные учёные считают, что именно скандинавы основали Новгород, Киев и Смоленск и открыли Русь для торговли, что норвежцы шли на запад, а шведы — на восток²⁴. А также учебное пособие Ф. Унгейта и Э. Милларда «Викинги» 1998 г., в котором школьникам младшего и среднего возраста внушается, что викинги/воины-купцы, которых славяне называли русами, к началу VIII в. проникли по рекам в глубь Восточной Европы и доходили до Каспийского и Чёрного морей. Сначала они грабили, но затем перешли к оседлой жизни, а шведские вожди стали править Новгородом и Киевом. Славяне, погрязшие в усобицах, около 860 г. пригласили трёх братьев-русов, и преемник Рюрика Олег подчинил в 882 г. Киев, создав обширное государство. Его наследники продолжили править славянами и установили прибыльные торговые отношения с Константинополем. Ярослав Мудрый, женившись на шведской принцессе, укрепил тем самым связи со Швецией, а из наёмников-викингов состояла варяжская дружина²⁵.

6.2 Археология — главная основа ультранорманистских измышлений, а псевдолингвистика — её верная прислужница, заставившая небывалых в истории *rop(e)R'ов положить начало имени «Русь» и Русскому государству

Наряду с дискредитацией антинорманизма и патриотизма, носящей тотальный характер (для чего максимально задействован и Интернет) и которой подменяют дискуссию, продолжает многогласно звучать в качестве незыблемой истины тезис «советского антинорманизма» о приоритете в трактовке варяжского вопроса данных археологии, вводимых в науку норманистами (потому как всё более видимые успехи антинорманизма — а отсюда всё более возрастающая брань в его адрес — вновь требуют закрепить в сознании новых поколений представление об археологии как истине в последней инстанции).

Варяжский вопрос, повторяла в 1992–1993 гг. филолог Т.Н. Джаксон, «всё в большей степени становится предметом ведения археологии». «Все признают, — продолжал утверждать и Л.С. Клейн в 1999–2009 гг., — что на данном этапе весь спор (о варягах. — В.Ф.) перенесён в основном сферу археологии. В этом согласны и норманисты, и их противники». В 1999 г. его ученик-«славист» Г.С. Лебедев, рассуждая о варяжском вопросе как ключевом вопросе нашей истории, следовательно, отечественного самосознания, резюмировал: «Археология — средство объективации этого самосознания, основанного на историческом знании». Три года спустя он, подчеркнув, что археологи ещё в советское время нашли убедительные ответы на варяжский вопрос и что любому народу нужна единственная национальная идея — «способность знать правду о себе самом», заключил: «Археология, как способ объективизации исторического знания, лучший, если не единственный, способ обретения этой правды»²⁶.

Насколько мощным давлением обладали тогда подобные утверждения, исходившие ещё с советского времени в большинстве своём от археологов, видно хотя бы по заключению византиниста Г.Г. Литаврина, в 2000 г. сказавшего об «огромном, предельно объективном археологическом материале» (отсюда, полностью доверившись «предельно объективным» словам археологов, академик вёл речь о том, например, что контингент норманнов-русов на Руси в середине VIII–IX в. насчитывал «несколько тысяч (или десятков тысяч) человек», что энергичные норманны — полукупцы-полувоители — освоили торговый и военный путь к Каспию, видимо, уже в начале IX в., что в 860-х гг. константинопольский патриарх Фотий в своих сочинениях намекает «на подчинённость норманнам славян, составлявших большинство напавших»)²⁷.

О своём приоритете археологи не устают повторять и в наши дни. Так, в 2012 г. директор Института археологии РАН, академик Н.А. Макаров объяснял, что археологические древности выступают в качестве основы для реконструкции исторического действия и что они оказываются важнейшим средством, обеспечи-

вающим контакт с прошлым. Тогда же Е.В. Торопова сказала, оберегая данную аксиому от ревизии, что современное состояние источниковой базы требует признания приоритетного значения за данными археологии. «Особенное значение, — говорил на следующий год В.Я. Петрухин, — для понимания историзма летописи имеет археология... Благодаря археологии очевидными стали исторические основы летописного предания о варяжской и хазарской дани — предания, с которого начинается повествование о русской истории» (археологические материалы, указывал он в 2019 г. на главный источник норманистских настроений, «вынудили, в конце концов, науку заняться объективной оценкой степени присутствия норманнов в русской истории»). И философ-археолог С.П. Щавелёв в 2013 г. образно расписывал, что с помощью археологии — этой «живой воды» точной информации — «формируется целостный и яркий, динамичный и проблемный образ давно минувших веков» и что «демифологизации истории успешнее всего способствует археология»²⁸.

Суть же «правды» и «живой воды» археологии, превращающей мифы в историю и оживляющей мертворождённое, чётко выразил в 2001 г. археолог И.В. Кураев: сегодня присутствие скандинавов «является общепризнанным фактом, тогда как многие вопросы о характере присутствия или роли скандинавов остались спорными». В том же ключе шестью годами позже рассуждала, заручаясь выводами археологов (а они, в свою очередь, ссылаются на её заключения, а историки — на них в целом), Е.А. Мельникова: «Не случайно поэтому в исторической науке господствует представление о значительной роли скандинавов в процессах образования Древнерусского государства, хотя степень и формы их участия — предмет серьёзных обсуждений» (хотя что тут обсуждать, да ещё серьёзно, когда свою статью этот филолог начинает словами: «Возникновение Древнерусского государства подавляющее большинство современных историков связывает с объединением двух ранне- (или пред-) государственных образований: северного с центром в Ладоге и южного с центром в Киеве, скандинавским вождём Олегом (< Helgi)» в 882 г.)²⁹.

Абсолютизация археологами своих данных достигает сейчас невероятных высот. В 2009 г. В.В. Мурашёва, твёрдо говоря словами А.В. Арциховского, вместе с тем уверяла, что «если отвлечься от свидетельств письменных источников и идеологической нагрузки и рассмотреть лишь мир вещественных источников, то получим картину, лишённую тенденциозности». Чуть позже и Е.А. Шинаков убеждал, что в отличие от письменных источников, фонд которых в основном исчерпан, археологические, фонд которых, напротив, возрастает, «абсолютно объективны и непредвзяты, свободны от сознательных искажений, их набор «случаен», что, однако, предполагает возможность многозначных трактовок на уровне исторических обобщений данных археологии»³⁰.

Примеров «картин, лишённых тенденциозности», созданных на основе «многозначных трактовок» вещественных источников, полны работы археологов. Так, в 1993 г. И.П. Русанова и Б.А. Тимошук в монографии «Языческие святилища древних славян» поделились открытием находившегося на р. Збруч (в восточной части Галицкой земли) «огромного языческого центра», существовавшего с конца X до конца XIII века. При этом давая находкам, для их подгона

под свою идею по принципу, как отмечал их коллега В.П. Даркевич, «факты святы, толкование их свободно», курьёзные объяснения: «киевские стеклянные браслеты превращаются в символы солнца, а разбивали их для будущего “размножения” (так!) в потустороннем мире», «кресты-энколпионы и иконки были, оказывается, отобраны у христианских священников и принесены в дар кумирам в знак отречения от Христа». Заострив внимание на утверждении авторов рецензируемого труда, что заключительный этап существования святилища во второй половине XII–XIII в. «сопровождался массовыми жертвоприношениями, в том числе человеческими», Даркевич пояснил: «То, что принято за человеческие жертвоприношения, — это свидетельство целенаправленного уничтожения» населения монголами в конце 1240 г. и что «полученные данные втиснуты в прокрустово ложе нежизнеспособной идеи», не вписывающейся в общеисторический контекст³¹.

Но с особенной силой «творческое воображение» археологов разыгрывается при их свержувлённом поиске следов скандинавов на Руси, зорким шведским взглядом находя их повсюду. Так, в 2005 г. Е.Н. Носов и А.В. Плохов, ведя речь о поселении Крутик (IX–X вв.) в верхнем течении Шексны (примерно в 25 км к югу от Белоозера), на котором жили представители племени веси, категорично заключили: «Открытие при раскопках целого ряда предметов скандинавских типов однозначно указывает на посещение этих достаточно глухих мест варягами»³². Однако о посещении норманнами мест обитания веси не говорит ни один источник, тогда как Ибн Фадлан, в 920–921 гг. побывавший в Булгарии, сообщает, что много болгарских купцов посещает землю Вису, привозя оттуда соболей и чёрных лисиц (В.В. Бартольд в вису видел весь около Белого озера). Затем другие восточные авторы, ал-Бируни (973–1048) и ал-Гарнати (1080–1169/70), также указывают, что с весью торгуют болгары и возят туда мечи из стран ислама, обменивая их на пушнину (какие расстояния были подвластны болгарским купцам, можно судить по тому, что они с берегов Северного Ледовитого океана привозили рыбий зуб в Хорезм). Разумеется, что те же болгарские купцы доставляли веси Крутика предметы «скандинавских типов», но не целого ряда, а лишь единичные³³.

В 2012 г. археолог С.Д. Захаров невольно продемонстрировал характерную манеру умозаключения своих коллег, из ничтожного количества находок — скандинавских, «скандинавского облика» и «скандинавских типов» (а под такие «облики» и «типы» можно подогнать многое) — незамедлительно делающих выводы огромного значения. Так, из раскопок Крутика (его слои датируются второй половиной IX в.) особый интерес вызвали две находки «скандинавского облика»: ажурный наконечник ножен меча с изображением птицы и игла от кольцевидной фибулы, расценённые в 1982 г. Л.А. Голубевой, в 1986 г., с ссылкой на неё, А.Н. Кирпичниковым, И.В. Дубовым и Г.С. Лебедевым «как свидетельство присутствия на поселении скандинавских купцов». В результате чего было высказано предположение, прочно закрепившееся в археологической литературе, что оно являлось временной стоянкой скандинавских воинов-торговцев. Так создавался, вынужден был указать Захаров на одну из многочисленных археологических фикций, долго вводящую (да и продолжающую вводить) в за-

блуждение отечественных и зарубежных специалистов, «вокруг Крутика ореол крупного центра скандинавского влияния в Северной Руси»³⁴.

Однако в атмосфере повсеместного культивирования мысли, что археология есть «способ объективизации исторического знания», стали раздаваться голоса, что её возможности в этой объективизации весьма ограничены. И прежде всего эти голоса прозвучали — и прозвучали в наших изданиях — из уст скандинавских археологов — норвежки А. Стальсберг и шведа И. Янссон (хотя они так и продолжили абсолютизировать свой материал). В 1998 г. Стальсберг, ведя речь о погребениях с заклёпками от лодок, увязываемых её российскими коллегами только с викингами, пояснила, что «на этом уровне археологического анализа трудно, если, не невозможно, идентифицировать *этническую принадлежность* покойного. ... Я предпочитаю употреблять понятие *культурная принадлежность*» (ну а под эту принадлежность скандинавов уж точно можно без проблем подвести). Тремя годами позже Янссон, констатируя, что письменные источники не дают достаточно чётких указаний на то, какие этнические группы существовали и формировались на Руси «в эпоху викингов, насколько крупные массы населения были вовлечены в миграционные процессы и какое количество людей сменило свой язык и этническую принадлежность», подчеркнул, расходясь с мнением А.В. Арциховского, ставшем основополагающим в российской археологии: «Ещё более смутные ответы на эти вопросы способна представить археология»³⁵.

Параллельно подобные слова стал произносить ряд наших историков. В 2001 г. А.А. Селин, констатируя, что в большинстве работ противопоставление длинных курганов и сопок «сводится к их этнической атрибуции и, соответственно, к противопоставлению друг другу носителей этих погребальных традиций как двух различных этнических групп», сказал, «что механизм этнической идентификации погребальных памятников вряд ли когда-нибудь будет найден», что этническая атрибуция погребальных традиций на сегодняшний день не может нас устраивать и что «основывать на форме погребального сооружения этническую интерпретацию того или иного типа могильной насыпи (тем более для XIII–XIV вв.) по меньшей мере неуместно». Через два года А.К. Нефёдкин, анализируя тактику славян VI в., отметил, что ранневизантийские письменные источники по данной теме были и остаются главной исследовательской базой. После чего столь же обоснованно заключил: «Археологические материалы, хотя постепенно и увеличивающиеся в своём объёме, имеют безусловно важное, но всё-таки второстепенное значение. Они способны дать представление о комплексе вооружения славян, позволяют догадываться о некоторых элементах их тактики. Но в целом этот материал скуден, в особенности для ранних славян, и может рассматриваться только как вспомогательный при анализе письменных свидетельств»³⁶.

В 2010 г. С.В. Соколов, не скупясь на похвалу в адрес Л.С. Клейна, вместе с тем категорично не согласился с его оценкой роли археологии в решении варяго-русского вопроса: «...Археология не даёт окончательного решения, так как вопросы, связанные с тождеством варягов и скандинавов, а также с происхождением термина “русь” решаются всё же историками и филологами. Археоло-

гические же материалы привлекаются, скорее, как обоснование возможности подобного отождествления и реальности присутствия скандинавов в Восточной Европе в IX–X вв.». В 2012 г. Селин указал на «историографический мусор», вбрасываемый на современном этапе археологами, «отсеять который от собственно научных публикаций без должной квалификации невозможно». Тогда же французский и русский учёные П. Гонно и А.С. Лаврова (их книга вышла в России в 2017 г.) констатировали, что, хотя успехи археологов «позволили склонить чашу весов в пользу норманистов», их интерпретация «и в наши дни вызывает сомнения или споры», потому как «уверенно соотнести результаты раскопок с тем или иным этносом зачастую очень трудно»³⁷.

Сомнения по поводу археологических реконструкций истории Руси начали выражать и наши археологи. В 2014 г. Н.В. Ениосова, говоря о гипнотическом воздействии укоренившихся в археологических работах прямолинейных реконструкций, констатировала, что «реконструкции социума на основе имеющихся археологических данных уязвимы». Так, все курганы с богатым инвентарём её коллеги окрестили «дружинными», вещи из них — «дружинным комплексом» («дружинным инвентарём»), «некоторые поселения превратились по воле их исследователей в “дружинные лагеря” и даже государство, возникшее на просторах Древней Руси, в конце концов получило статус “дружинного”. ... Предметы вооружения, многочисленные детали ремённой и уздной гарнитуры восточного облика, престижные импортные вещи (керамика, шёлк, стекло и др.) стали расценивать как атрибуты “дружинной культуры” и индикаторы присутствия дружины в пункте обнаружения находок из этого списка, даже если их было немного. Тем не менее неизбежно возникал вопрос, почему “дружинная культура” Гнёздова и других памятников этого круга представлена преимущественно женскими украшениями?». «Отвечая на этот вопрос, — добавила Ениосова, — археологи иногда в шутку говорят о выдающейся роли скандинавских женщин в создании древнерусского государства»³⁸ (однако и для этой шутки нет оснований. В 2004 г. украинский археолог Ф.А. Андрощук отметил, по своим словам, удивительный парадокс, «когда статьи, посвящённые роли варягов на Руси, сопровождаются иллюстрациями украшений, как правило, происходящих из женских погребений, в то время как письменные источники об их присутствии в среде северных наёмников ничего не сообщают»³⁹).

Но шуток археологов, дарящих нашу историю скандинавам, полно, и главная из них — это шведское начало Руси и русской государственности. Благодаря именно интерпретации археологов, для которых норманизм есть священная корова (к слову сказать, неплохо кормящая уверовавших в него грантами, в том числе зарубежными), действительно ключевой вопрос нашей истории и нашего самосознания стал всё больше приближаться к градусу рассуждений немца А.Л. Шлёцера и скандинавов Т.Ю. Арне (по оценке и прогнозу историка Г.М. Коваленко, до сих пор отечественные археологи по-прежнему обращаются к его работам, не утратившим научной значимости, и «к ним будут обращаться новые поколения исследователей»⁴⁰), А. Стендер-Петерсена и даже О. Далина.

Так, И.В. Ведюшкина в 1992 г. вела речь о чрезвычайно активном, и потому социально заметном скандинавском элементе. В 1994 и 1997 гг. А.А. Хле-

вов говорил о «гальванизирующем» влиянии скандинавов, которое они возымели на самом раннем этапе русской истории (особенно в создании классов знати, главенствующего слоя общества), что «Скандинавия и Русь составили исторически удачный и очень жизнеспособный симбиоз». В условиях которого, словно дополнял его в 1999 г. А.С. Кан, «древнерусское общество развивалось быстрее и успешнее, чем шведское, пока Киевское государство не распалось в середине XII века»⁴¹.

В 1996–1997 гг. В.В. Мурашёва, восторгаясь эпохой викингов («скандинавам есть чем гордиться») и выводами Ю.Э. Жарнова по Гнёздову, воодушевленно рисовала картину, «лишённую тенденциозности», являющуюся копией картин Арне и Стендер-Петерсена. И потому свела её к выводу о великом переселении (колонизации), «большой иммиграционной волне из Скандинавии в Восточную Европу, в основном с территории Средней Швеции», что норманны сыграли большую роль в ранней русской политической истории и что основу дружины первых русских князей составляли норманны. Говоря об «изобилии» скандинавских древностей на территории Восточной Европы, она особо отметила, что находки скандинавского происхождения — индикаторы присутствия варягов, что овалы фибулы являются верным признаком национального костюма скандинавских женщин, что в порче оружия очень чётко прослеживается скандинавское влияние, что распространение каролингских мечей на Руси всё-таки связано с норманским присутствием, что использование рогов-ритонов в погребальном обряде Чёрной могилы (самый большой курган в Чернигове, находился за валами его древнейшей части) — это скандинавский признак. Как резюмировала Мурашёва в форме вопроса (используя выдумку Арне от 1917 г.): «Невольно задумаешься: а не была ли и впрямь Древняя Русь частью Великой Швеции?»⁴².

По её заключению от 1998 г. хорошо видно, каким образом она, не задумываясь, заселяет Русь скандинавами: ремённой наконечник из слоя XI в. Старой Рязани, орнамент которого «связан по своему происхождению с предметами в стиле Борре», «можно считать одним из немногих археологических свидетельств присутствия скандинавов на Руси в XI в.». Хотя М.В. Фехнер в 1967 г. отмечала, что ремённые наконечники, как и поясные бляшки и привески, носившиеся в ожерельях, выполненные в стилях Борре и Еллинге, попали на Русь в результате именно торговли. Согласно логике Мурашёвой, и Швецию тогда нужно заполонить нескандинавами. Потому как, например, мужские пояса, богато украшенные металлическими бляшками и подвесными ремешками, характерные для воинов тюркско-иранского мира и вошедшие в костюм русского дружинника, там массово встречаются. При этом И. Янссон констатирует, что большинство их происходит из Средней Швеции, что в основном они обнаружены именно в дружинных погребениях X в. (в том числе камерных) и зачастую богатых, что в позднюю эпоху викингов эти пояса становятся ещё более многочисленными в Швеции, наиболее часто встречаясь на Готланде (в 2010 г. француженка А.Н. Жобер справедливо выразила сомнение в том, насколько единичные артефакты в стиле Борре «являются репрезентативными для оценки присутствия викингов в Европе» и, ведя речь о накладке в том же стиле, най-

денной в Варам Перси в Англии, правомерно вопрошала: «Однако является ли она этническим определителем местных жителей?»⁴³.

От археологов, стремящихся к «объективации» отечественного самосознания, нисколько не отставали филологи, придавая ещё большую высоту и силу волне «взвешенного» норманизма. В 1992 г. Д.С. Лихачёв (особенно авторитетный в либеральных кругах, возжелавших не только новой жизни, но и нового прошлого, с самого начала не мыслимого ими без благодатного и всестороннего воздействия Запада) на страницах популярной «Литературной газеты» в небольшом интервью под заголовком «Россия никогда не была Востоком» утверждал (а его слова тиражировались 510 000 экземплярами), что «в начале восточнославянского единства Русь была “Скандовизантией”», что Скандинавия и Византия «действительно сыграли большую роль в создании русского государства и русской культуры. Причём это влияние как бы разделилось. Северная несла мотивы государственные, организационные, а южная — духовные, религиозные, литературные».

Спустя два года академик свои мысли (вызывающие в памяти «Славянскую Скандинавию», «русскую Нормандию» и «любезную Норманнию»-Русь ультранорманистов О.И. Сенковского, А.А. Куника и Е.Е. Голубинского) развивал на страницах не менее популярного литературного журнала «Новый мир», именую Русь, это крупнейшее и абсолютно суверенное государство раннего Средневековья, «Скандославией» (в 2001 г. в посмертно изданной книге учёного «Раздумья о России» «новомировская» статья была продублирована). Показательно, что идею о Руси как о «Скандославии»/«Скандовизантии» сразу принялись тиражировать в 1992–1999 гг. археологи Г.С. Лебедев и А.А. Хлевов⁴⁴ (потому как эта «новация» академика позволяла им под свои «открытия» следов пребывания скандинавов в русской истории подвести своего рода теоретическую базу, которая ими же и была вызвана к жизни).

Филолог Е.А. Мельникова и археолог В.Я. Петрухин, без проблем узревающие, наверное, во всех сторонах русской жизни IX–XI вв. проявления сверхбурной жизнедеятельности скандинавов, уверяли тогда и уверяют сейчас, что очевидна скандинавская этимология слова варяг, выступающего в ПВЛ как единственное собирательное обозначение скандинавских народов. Подчёркивая, что в огромном корпусе древнескандинавских письменных источников это слово не употребляется для обозначения скандинавов, находящихся или побывавших на Руси, объясняют такую весьма странную ситуацию тем, что на Руси оно «возникло, очевидно, в древнерусской скандинавоязычной среде — среди собственно руси»: заключение князем Игорем договора со скандинавскими наёмниками в 944 г. могло вызвать к жизни их название *warangr от vár — «верность, обет, клятва», т. е. «варяг» — это воин, принёсший присягу.

Затем слово это закрепилось в русской традиции «как обозначение скандинавов, отличных от руси — княжеской дружины, призванной по ряду: это различие руси и варягов прослеживается уже в описании призвания в “Повести временных лет” и перерастает в дальнейшем в противопоставление тех и других». После чего распространилось в той же традиции с XI в. на всех заморских скандинавов (но в 2013 г. Петрухин уже утверждал, что со времени

Игоря «словом *варяг* стали обозначать на Руси скандинавов вообще, в отличие от собственно руси, дружины русского князя, имеющей скандинавское происхождение»), а летописец «различал и противопоставлял “русь” и “варягов” как разновременные волны скандинавских мигрантов, занявших различное положение в древнерусском обществе и государстве».

Столь же активно и столь же плодотворно творческий союз филолога и археолога утверждал о скандинавском происхождении имени «Русь». При этом Петрухин внушал, что в современную науку возвращается многократно ошеломленная, «но никем не опровергнутая (после работ В. Томсена и М. Фасмера) скандинавская — «варяжская» этимология названия “русь”» (русью изначально назывались дружины первых русских князей, состоявшие в IX — первой половине X в. преимущественно из норманнов). Хотя что было возвращать, когда скандинавская — но отнюдь не варяжская! — версия прочно вросла уже в советскую историко-филологическую науку, в чём сам Петрухин сыграл немалую роль. Да и одновременно с ним И.В. Ведюшкина в 1995 г. констатировала, что «важнейшей приметой последних лет оказалось триумфальное шествие скандинавской этимологии русского имени»⁴⁵.

Как и в былые советские времена Мельникова производит термин «Русь» от древнескандинавского корня *rōþ-* (в свою очередь якобы производного «от германского глагола **rōwan*, “гresti, плавать на вёсельном корабле”»), а другое реконструируемое слово **rōþ(e)R* «означало “гребец, участник похода на гребных судах”, а также и сам поход... Так, предполагается, называли себя скандинавы, совершавшие в VII–VIII вв. плавания в Восточную Прибалтику и в глубь Восточной Европы, в Приладожье, населённые финскими племенами», которые усвоили их самоназвание в форме *ruotsi*, поняв его как этноним. Восточные славяне, войдя в контакт со скандинавами посредством чуди в узком значении (эстов), заимствовали их местное обозначение, которое приобрело в восточнославянском языке форму *русь* (принимая известие Жития Георгия Амастридского за свидетельство пребывания скандинавов в Северном Причерноморье в начале IX в., она убеждала, что «наименование Ρως, первоначально обозначавшее скандинавов, является, вероятно, рефлексом самоназвания этих отрядов — *rōþs (menn)*, которое отразилось в финских языках как *ruotsi* и в древнерусском языке как *русь*»).

То, что сказанное Мельниковой имеет отношение к науке лишь в её норманистском понимании лишний раз она сама продемонстрировала в 2011 г. в сентябрьском номере научно-методического журнала для учителей истории и обществознания «История», просто взяв и удревнив начало плавания скандинавов в Восточную Прибалтику. И сделала это исправлением в приведённом тексте «VII–VIII вв.» на «V в.», тем самым двумя столетиями ранее устроив встречу своим героям с финскими племенами: «Так, предполагается, называли себя скандинавы, совершавшие в V в. плавания в Восточную Прибалтику и уже в VII–VIII вв. проникавшие в глубь Восточной Европы» и т. д. «Виновником» жонглирования Мельниковой веками стал археолог В.В. Седов. Потому как он, в 1998–1999 гг. касаясь скандинавской этимологии имени «Русь», показал, что построение *rōþs>ruotsi>rootsi* с историко-археологической точки зрения никак

не оправдано: «если Ruotsi/Rootsi является общезападнофинским заимствованием, то оно должно проникнуть из древнегерманского не в вендельско-викингское время, а раньше — до распада западнофинской общности, то есть до VII–VIII вв., когда уже началось становление отдельных языков прибалтийских финнов». Однако археология, констатировал Седов, не фиксирует проникновение скандинавов в западнофинский ареал в половине I тыс. н.э.: «они надёжно датируются только вендельско-викингским периодом»⁴⁶.

Весьма категоричны и выводы вольно упражняющегося в лингвистике Петрухина. Признавая, что рода рус, равно как и рос в Скандинавии не обнаружено, археолог непреклонен в мнении, что «данные исторической ономастики давно прояснили происхождение слова “русь”», ибо слишком убедительно выглядит происхождение имени русь из скандинавских языков при посредстве прибалтийско-финских. Изложенное мнение, постулировал он, принадлежит сторонникам традиционного — летописного — происхождения названия русь, что имеются, как обычно выдавая желаемое за действительное: а) «данные прямых источников о скандинавском происхождении» этого названия, б) «предание о происхождении руси из Скандинавии», которым руководствовался летописец и который помещал изначальную русь среди племён Скандинавии, в) летописная концепция «варяжского происхождения руси от варягов-норманнов», г) летописная традиция, возводившая «начало Руси к призванию из-за моря варяжских (норманских) князей».

Игнорируя заключения подлинных лингвистов (Ю. Мягисте, Г. Шрамма, О.Н. Трубачёва и др.), несмотря на присущий им норманизм категорично отвергавших — именно по лингвистическим соображениям — скандинавскую этимологию имени русь, Петрухин аргументировал свою позицию тем, что большинство языковедов, включая А.А. Шахматова, её принимает и что последние историко-этимологические разыскания (а имеются в виду «разыскания» его и Мельниковой, повторяющие предположения В. Томсена, всё же признававшего, что они есть «только гипотеза») показали восхождение этого «названия к др.-сканд. словам с продуктивной основой на *rōþs-, типа rōþsmenn, rōþsmarr, rōþskarl со значением “гребец, участник похода на гребных судах”». Очевидно, именно так называли себя «росы» — в греческой огласовке — Бертинских анналов и участники походов на Византию (когда норманская русь совершала набеги на её города — Сурож и Амастриду). Причём «по-славянски скандинавское наименование “рос” звучало как “русь”» (в 2001–2013 гг. А.В. Назаренко, знавший о лингвистике не понаслышке, отметил, «др. сканд. *rōþsmenn или какой-то иной аналогичный композит в качестве непосредственного гипотетического прототипа слав. русь принять невозможно, ибо невозможно допустить, что и в греческом, и в немецком, и в арабском, независимо друг от друга, одновременно произошёл странный процесс морфологического разложения скандинавоязычного сложного слова с последующей редукцией до его первой части; иными словами, непонятно, как из *rōþsmenn получилось требуемое *rōþs»⁴⁷).

Исходя из посылки, что наименование «русь» означало, как это известно со времён Томсена, не народ, а дружину, выходцы из Швеции (изначальная русь), продолжал Петрухин свой сказ (постоянно в него что-то добавляя и что-то в нём

уточняя), называли себя в IX в., что «нас не может удивлять» (да как раз даже очень удивляет!), «гребцами», т. е. «походным, а не племенным именем» (причём это дружинное имя русь использовала в 839 г. в Ингельгейме), ибо шли на востоке, согласно скандинавской терминологии, «“в русь”, гребной поход», что «собственно и само имя *русь* в IX — первой половине X в. означает княжескую дружину, идущую в поход на гребных судах», что это название затем распространилось — в этническом, географическом и государственном смысле — на все подвластные древнерусскому государству территории, «дав наименование “Русской земле” и “всем людям Русской земли” — восточнославянской в своей основе древнерусской народности», чему способствовала исходная социальная окраска слова русь, как обозначения княжеской дружины.

Повторял учёный и сказанное им с Мельниковой в советскую пору, что у Константина Багрянородного русь противопоставляется славянам как дружина, пользующаяся скандинавским языком. Вместе с тем он утверждал, что список бесспорно скандинавских и славянских названий днепровских порогов указывает на свободное владение информатором императора, «вероятно, знатным росом (скандинавом), как древнескандинавским (древнешведским), так и древнерусским языками. Можно предположить, что в среде знати в это время господствовало двуязычие» и что была призвана «вся русь» — княжеская дружина во главе со скандинавскими князьями, в связи с чем стоит замена составителем НПЛ в XIII в. фразы ПВЛ «вся русь» Рюрика, Синеуса и Трувора на «дружину многу и предивну».

Точки зрения Трубочёва, Седова и Назаренко, предложивших иные варианты происхождения имени «русь», археолог Петрухин решительно отмёл, говоря, например, в 1997 г., что «безосновательной следует признать недавнюю попытку возродить представления об “Азовско-Черноморской Руси” на основе теории “индоевропейского происхождения руси”», изложенной Трубочёвым в 1993 г. (в 2009 г. Назаренко, ведя речь о гипотезе этого лингвиста с мировым именем об индоарийском происхождении этнонима русь, заметил: «Абсолютно ясно и со всей отчётливостью выговорено отнюдь не “антинорманистами”, что собственно скандинавоязычного прототипа у фин. *Ruotsi*, а значит, и др.-русск. *русь* выявить не удаётся, но подавляющее большинство вполне серьёзных историков продолжает жить в летаргическом убеждении, будто проблема давно и навсегда закрыта чуть ли не со времён В. Томсена, и всякое уклонение от этимологии др.-русск. *русь* < др.-сканд. **rōþs*- “гребной, имеющий отношение к гребным судам”, карается отлучением от науки. В этих условиях любая попытка завести даже деликатный, нюансированный разговор поперёк скандинавоцентричной *opinio communis* (общее мнение. — В.Ф.) требует научной смелости»⁴⁸).

Вместе с тем Петрухин объяснял (в том числе в книге для детей «Истоки России» 1998 г., в учебном пособии для гуманитарных факультетов вузов «Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье» 2004 г. и в изданном огромным по нынешним меркам тиражом — 150 000 экземпляров — «Справочнике учителя истории. 5–11 классы» 2008 г.) «почему шведы именовали себя на Востоке гребцами, а не викингами, как они звались на Западе?»:

«Дело в том, что на Запад скандинавы отправлялись в поход на больших парусных судах. На реках же Восточной Европы эти суда были непригодны: часто приходилось не только плыть против течения. Здесь нужна была сила гребцов»-руси. И потому на восток «скандинавы ходили, согласно формулировке рунических надписей, “в русь” (i ruði), на запад — “в викинг”», и «люди “Рос” не могли именоваться *викингами*, как они прозывались на морях, в том числе Балтийском, ибо не могли использовать морские суда для *викинга* — морского похода; на реках нужны были гребные ладьи»⁴⁹ (в работах Мельниковой и Петрухина историк М.Б. Свердлов в 1996 г. увидел наиболее обстоятельную разработку версии происхождения имени «Русь». А по оценке археолога Г.С. Лебедева от 1999 г., они, поддерживая лингвистическую реконструкцию В. Томсена, «приходят к аргументированному выводу об обоснованности (лингвистической, археологической, исторической) скандинавской этимологии изначальной формы слова русь, что соответствует и древнерусским представлениям, изложенным в ряде мест летописи»⁵⁰).

Насколько что-то соответствует истории или нет, всегда видно при обращении к истинным фактам. А согласно им, норманны в Западной Европе десятилетиями плавали, проникая на сотни километров вглубь материка, именно против течения рек и, понятно, при помощи вёсел: Сены, Шельды, Соммы, Лауры, Гаронны, Адур, Мааса, Рейна, Эльбы, Вьенны, Роны, Темзы, Банна, Лиффея, Бойна и других, менее крупных, рек. Ибо осадка их корабля, указывают Г. Джонс и Д. Хейвуд, «редко превышала полтора метра, так что он спокойно мог войти в самую мелкую реку и пристать к берегу в любом месте, где его команде вздумалось высадиться». Ходили норманны на вёслах и по течению вниз: 24 июня 842 г., разграбив Нант, «в сумерках они спустились на вёслах к устью Лауры; их корабли тяжело осели под грузом добычи»⁵¹.

Как отмечают наши и зарубежные учёные, с 830-х гг. до конца столетия на Западе «не проходило почти ни одного года без норманского нашествия. На сотнях судов реками, впадающими в Немецкое море и Атлантический океан, Эльбой, Рейном, Сеной, Лаурой, Гаронной, даны проникали вглубь той или другой страны, опустошая всё вокруг... иногда на много лет водворялись и хозяйничали в стране из укрепленных стоянок... и отсюда выходили собирать дань с покорённых обывателей или, взяв откуп, сколько хотели, в одном месте, шли затем же в другую страну», что за краткий период сорока лет (840–880) от их набегов жестоко пострадали города, находящиеся в глубине континента: «Гамбург, Кёльн, Бонн, Аахен, Кобленц, Трир, Руан, Реймс, Тур, Орлеан, Бордо, Тулуза, Севилья, итальянская Пиза. Париж норманны держали в осаде за это время два раза» и что в X в. происходило то же самое (норманны «громят Францию, поднимаясь вверх по рекам», что норманны с моря заходили глубоко в ту или иную страну по рекам)⁵².

Все эти факты хорошо известны Мельниковой и Петрухину, и они сами пишут, что норманны поднимались вверх по рекам бассейнов Северного и Балтийского морей, что рейды викингов вверх по Сене продолжались с середины IX в. и пр.⁵³ Но они не объясняют, почему скандинавы, постоянно ходя на вёслах по рекам Западной Европы, её разноразличному населению гребцами-ру-

сюю не представлялись: ни в Данелаге в Англии, где они впервые зазимовали в 850 г., ни в Нормандии во Франции, ни в других местах, где они жили и где рек было предостаточно. Не могли они, разумеется, представиться «гребцами», в том числе в силу своего менталитета, такой же чужеродной и враждебной среде — финнам, эстонцам, восточным славянам. Они — викинги, воины и в качестве только таковых, а не выборочно, выступали везде.

К тому же на восток викинги ходили не в придуманные Мельниковой и Петрухиным «гребно-вёсельные походы» *rop(e)R'ов, а именно в викингские походы. И на то прямо указывают саги: Хрольв Пешеход «пришёл из викингского похода с востока», «Хальвдан Чёрный и Хальвдан Белый отправились в викингский поход и воевали по всему Аустрвегу (Восточному пути, на востоке от Скандинавии. — В.Ф.). У них была большая битва в Эйстланде (земле эстов. — В.Ф.)», и что Эйрик ходил в военный поход в Аустрвег («Сага о Харальде Прекрасноволосом»), «объявили конунг Харальд и конунг Гудрёд, его брат, что они, наверное, отправятся летом в викингский поход на запад за море или в Аустрвег, как это у них было принято». После того, как братья поссорились и решили действовать самостоятельно, Гудрёд «послал сказать конунгу Трюггви, чтобы тот шёл ему навстречу и что летом они оба отправятся в военный поход в Аустрвег» («Сага о Харальде Серая Шкура», «Большая сага об Олаве Трюггвасоне»). Согласно «Саге о Хаконе Добром», сыновья Эйрика Кровавая Секира «много бывали в военных походах в Аустрвеге» (все названные саги охватывают, ориентировочно, IX–X вв.).

«Сага об Эгиле Скаллаgrimссоне» (описывающая события, как считают, с конца IX по конец X в.), сообщает, что Бьёрн и Торольв летом «отправились в викингский поход в восточные земли, а осенью вернулись с богатой добычей», затем весной Торольв и Эгиль «опять собрались в викингский поход. Снарядившись, они снова поплыли в восточные земли». В начале XI в. Эйольв Дада-скальд так воспевал кровавые подвиги ярла Эйрика Хаконарсона на Руси (ориентировочно 997 г.): весной тот собрал «свое войско и поплыл вскоре в Аустрвег. И когда он пришёл в государство конунга Вальдемара (князя Владимира Святославича. — В.Ф.), стал он грабить и убивать людей, и жечь повсюду, где он проходил, и опустошил ту землю. Он подошёл к Альдейгьюборгу (под этим топонимом обычно понимают Ладогу. — В.Ф.) и осаждал его, пока не взял города, убил там много народа и разрушил и сжёг всю крепость, а затем воевал во многих местах в Гардарики»⁵⁴ (впрочем, Мельникова в 2017 г. уже подчёркивала, что «число упоминаний о грабительских походах “в Аустрвег” умножается: практически каждый норвежский конунг или ярл в молодости ходит “в викинг” в “Восточные земли”», а в отношении действий Эйрика Хаконарсона сказала, что он отправился «в викинг»⁵⁵. Но при этом она опять же не объясняет, ибо это никак нельзя объяснить, почему у них с Петрухиным идущие «в викинг» на западе — это викинги, а на востоке — это «русь»).

Вместе с тем ясно, что в Восточную Прибалтику шведы должны были прибыть не на гребных, а на больших («длинных») парусных судах, потому как следовало преодолеть где-то 250–300 км довольно бурного моря. Да затем ещё пройти почти 400 км по Финскому заливу до устья Невы. Но такие огромные расстоя-

ния были не под силу никаким гребцам, хоть их и нареки «др.-сканд. словом с основой *rōfs-». Так, «Сага об Ингваре Путешественнике» сообщает, что её герой отплыл «из Свитьода на 30 кораблях и не спускал паруса до тех пор, пока они не пришли в Гардарики; и принял его конунг Ярицлейв с большим почётом». В «Истории Норвегии» Олав Трюггвасон из Швеции «направился в Русцию, но [по пути] отклонился в Эйстрию. Наконец, когда он проплывал под парусами около Эйсюслы (о. Сааремаа. — В.Ф.), на них напали пираты»⁵⁶ (английские специалисты П. Соьер и Г. Джонс, ведя речь о знаменитом гокстадском судне, отметили, что оно хотя и имело 16 пар вёсел, но являлось парусным⁵⁷).

Согласно же Мельниковой и Петрухину, шведы, переплыв Балтийское море, высаживались на берег, где сразу встречались с финскими племенами. И этим встречающим они, идя до того под парусами и не плавая ещё по рекам, уже представлялись «гребцами» (по А.А. Шахматову, варяги-скандинавы в Прибалтийский край попадали двумя путями — морем и «горой»⁵⁸, т. е. сушей. Из чего вытекает, что они, идя «горою», также представлялись попадающим им встречным финнам «гребцами»-русью). Остаётся добавить, что в 2007 г. шведский подводный археолог Р. Эдберг констатировал: длинные корабли викингского периода, годные для морских экспедиций, обнаружены только в Дании и Норвегии, а шведских длинных кораблей или прославленных драккаров той же эпохи не найдено, и что в Швеции есть много находок малых судов (лодий) длиной до 9,5 м, в которых, по его мнению, нельзя было переплыть Балтийское море⁵⁹ (а ведь именно из Швеции норманисты приводят на Русь фантомных «гребцов» — *rōp(e)R и *rōfs-).

(И в этом случае надлежит заострить, как и в предыдущей главе, внимание на том, что сегодня часть зарубежных норманистов либо не разделяет версию Мельниковой и Петрухина и предлагает свою, либо всё же не столь, по сравнению с ними, категорична. Так, в 1996 г. С. Франклин и Д. Шепард заключили: «Процесс превращения такого термина, как “*ruotsi/rōtsi*” в термин “*русь*” до конца не ясен, но то, что они связаны, кажется весьма вероятно»⁶⁰. Норвежский учёный Х. Станг в 1996 г. возродил, стремясь подвести хотя бы какой-то исторический фундамент под шаткую этимологическую классику норманизма, которую отстаивают Мельникова и Петрухин, герульскую версию (т. е. южную) начала русского имени, в 1903 г. предложенную немецким востоковедом Й. Марквартом. Придавая ей новое дыхание, он полагал, что византийцы термины «Рос» и «рус» прилагали к готам и связанным с ними т. н. эрулам/герулам, обитавшим в тростниках Азовского моря (название готов как «русый народ» перешло на эрулов, красивших свои волосы в красный цвет и в целом питавших особое пристрастие к красному цвету, имевшему социальное значение, в связи с чем их именовали по-гречески «Русос», т. е. «красные, красноватые»). Эти эрулы являлись не племенем, как принято считать, а элитарной военной организацией «пришлых представителей знати, выделенной из множества скандинавских племён», были отважными, первоклассными мореходами и действовали, начиная с нападения в 267 г. на греков, как морские разбойники.

Считая, что изначально было греческое Рос, Станг его переход в Русь объяснял воздействием вепсоязычной среды: свеоны Бертинских анналов, полу-

чив в своих странствиях закрепившееся за ними обозначение *rhos*, добрались домой до Старой Ладogi, где новое название проникло в вепсский, а из него в язык словен Ладogi и Приильменья, откуда в конечном итоге и распространилось название Русь по всей Руси. Датчанка Э. Розсдаль в 2001 г. отметила, что происхождение имени «русь», которое она связывает со скандинавами, неизвестно. В 2014 г. польский археолог П. Урбанчик, указывая, что «универсального решения проблемы значения названия *Rhos/Rūs/Rus'* не существует», поддержал версию американского востоковеда П.Б. Гольдена 1995 г., по которой название «русь» прилагалось изначально к восточноевропейской военно-торговой элите, независимо от этноса её членов. Поэтому оно изначально было не этнонимом, а являлось собирательным обозначением профессии: русы были парусными воинами-купцами, исследовавшими восточноевропейские торговые пути и состоявшими из скандинавов, финнов и славян⁶¹).

В превращении руси и варягов в скандинавов Мельникова активно задействует антропонимический материал. В 1994 г. она, не сомневаясь, что скандинавский именослов в Древней Руси обширен и насчитывает 89 антропонимов (в 1997 г. ею было выделено, включая в том числе берестяные грамоты и граффити в церквях, уже на четыре меньше — 85, из которых 75 она «выявила» в ПВЛ и НПЛ младшего извода), резюмировала: наречение во второй половине XI в. именем Рюрик одного из русских князей, «возможно, связано со стремлением подчеркнуть преемственность правящей династии вместо её “славянизированности”». Затем, считая имена, например, Стень, Гугмор, Вигарь новгородских берестяных грамот скандинавскими, пришла к выводу (в 1999 г. ещё больше его развернув), что «в XI–XIV вв., судя по эпиграфическим материалам, скандинавские имена встречаются среди жителей периферии Новгородской земли, причём в пунктах на крупных водных путях в Заволочье, на Селигере и др., а также в Галичской земле». «Видимо, — завершала исследовательница мысль, быстро подхваченную Петрухиным, — они сохраняются как устойчивая культурная традиция в семьях, имевших скандинавских предков» — скандинавских наёмников, охранявших и контролировавших торговые пути «в период их первоначального освоения»⁶².

(Но имена, как было зафиксировано в VI в. Иорданом, давно уже оторвались от своей этнической основы и могут лишь указывать на контакты между народами. В 1947 г. шведский языковед А. Янцен констатировал, что многие личные скандинавские имена дохристианского периода очень трудны для понимания и толкования, пришли в Скандинавию в эпоху Великого переселения народов и, как правило, преобразовывались в соответствии с фонетическими особенностями скандинавских языков, приобретая облик местного скандинавского имени. В связи с чем «при определении того, скандинавское ли это имя или заимствованное, было допущено много ошибок»⁶³. Такой же ошибкой является трактовка чуть ли не всего древнерусского именослова как скандинавского.

В 1940 г. Я.Я. Зутис отмечал, что в договоре Олега с греками упоминаются дружинники, имена которых звучат совершенно по-эстонски, — Каницар, Искусеви, Апубьксарь. Выше говорилось, что А.Г. Кузьмин, указывая на сложный характер летописного именослова и выделяя в нём многие компоненты,

констатировал практическое отсутствие в нём германизмов. Имена Сфандр, Прастен, Фроутан, подчёркивал в 1978 г. востоковед Л.А. Лелеков, есть «явная передача иранских имён Исфендиар, Ростем, Феридун». В 2002 г. Е.С. Галкина дополнила список иранских имён наших летописей: Сфандра, Прастен, Фрутан, Алвад, Мутур, Стир, Истр, Шунастр, Алдан, Туробид. В 2007–2009 гг. востоковед С.Г. Кляшторный, считая, что посланные Олегом в Константинополь мужи носят, как и сам князь, скандинавские имена, параллельно заострил внимание на том, что среди них упоминается некий Актеву, имя которого «имеет вполне прозрачную тюркскую этимологию — ‘Белый Верблюд’». В 2007–2012 гг. Л.П. Грот резюмировала, что факт неславянской природы имён русско-византийских договоров автоматически не делает их, вопреки убеждению Мельниковой, скандинавскими и что летописный именослов отражает «полиэтническую традицию материковой Европы. Карлы — уж никак не скандинавское имя. Оно в скандинавский именослов вошло очень-очень поздно. И этот именослов материковой Европы не существовал в этнически гомогенных системах. Не было такого периода никогда, когда бы имя выступало этническим маркером»⁶⁴).

Целенаправленно осуществляя норманизацию русской истории, Мельникова ныне не соглашается с мнением об ассимиляции скандинавов на Руси к середине X в. (хотя в 1985 г. она совместно с Петрухиным вела речь, как того требовал «советский антинорманизм», о их быстрой ассимиляции: то в середине — второй половине X в., то к началу XI в.⁶⁵). И утверждает, что вытеснение шведского языка в среде знати и жителей крупных городов завершилось в целом к концу XI в. (до этого времени преобладал билингвизм скандинавской по происхождению знати, к тому же сроку завершился и процесс адаптации скандинавских имён). Однако на периферии Русского государства потомки скандинавов, «видимо, образовывали достаточно замкнутые группы, длительное время сохранявшие язык, письмо, именослов и другие культурные традиции своих предков». Такую скандинавскую группу она увидела в 1115–1130 гг. в Звенигороде Галицком.

А увидела потому, что этими годами «достоверно датируется шиферное пряслице... с вырезанной руками надписью “Сигрид” (женское имя)» (хотя тут же отмечает, что среди находок в пригороде Звенигорода нет предметов скандинавского происхождения или облика)⁶⁶. Мельникова не замечает явного принципиального изъяна в своих рассуждениях: по ним выходит, что на Руси, где до конца XI в. и даже позже летописцы слышали шведскую речь и общались со шведами, их, якобы «русь», полагали славянами (потому как ПВЛ подчёркивает, что «словеньский язык и руский одно есть»), или же, наоборот, славян причисляли к скандинавам. То же самое тогда вытекает и из буллы римского папы Иоанна XIII 967 г., запрещавшей богослужение среди подунайских русов на «русском или славянском языке», и из его же послания Болеславу Чешскому, в котором запрещалось привлекать на епископскую кафедру «человека, принадлежащего к обряду или секте болгарского или русского народа, или славянского языка»⁶⁷ (т. е. в обоих случаях ставится, как и в летописи, знак равенства между русским и славянским языками).

С Мельниковой не позволяют согласиться ни созданная на Готланде «Гута-сага» (сохранилась в рукописи XIV в., но, по Т.Н. Джаксон, «тексты в их нынешней форме были созданы, несомненно, в первой четверти XIII в.»⁶⁸), которая, ведя речь о переселении части готландцев в Византию, подчёркивает, что они там «ещё живут и ещё сохранили нечто от нашей речи»⁶⁹, ни исландские саги, являющиеся предметом изучения исследовательницы. Потому как «Сага о Гуннлауге Змеином Языке» (предположительно, возникла около 1280 г.) прямо говорит о кардинальном изменении языковой ситуации в Англии после её покорения Вильгельмом Завоевателем в 1066 г.: «В Англии был тогда тот же язык, что и в Норвегии и Дании. Язык изменился в Англии, когда её завоевал Вильхьяльм Незаконнорождённый. С тех пор в Англии стали говорить по-французски, так как он был родом из Франции»⁷⁰.

Однако ничего подобного не сообщают саги в отношении Руси, хотя норманисты утверждают о наличии на её территории множества («несметных полчищ») шведов, о шведской природе правящей династии, верхов киевского общества и княжеской дружины, языком общения которых должен был быть скандинавский язык, но летописец подчёркивает, что «словенский язык и русский одно есть». И потому не может быть никакого сомнения в том, что присутствие шведов на Руси в первой половине XII в. (по времени это очень близко к моменту записи саг) в виде «замкнутых групп» непременно оказалось бы зафиксировано слагателями саг, узревших своих сородичей в далёкой Византии, но при этом не видевших их по соседству (так они, если вернуться к «Саге о Гуннлауге Змеином Языке», в конце XIII в. помнили, на каком языке до Вильгельма Завоевателя говорили в Англии потомки датчан, в конце IX в. обосновавшихся в её восточной части и создавшие там Данелар).

Археологам и филологам в деле норманизации Руси спешили составить конкуренцию многие историки. До чего это порой доходило под впечатлением от головокружительных трудов тех и других, видно на примере «тяжеловеса» советско-российской науки Р.Г. Скрынникова, который в 1995–2000 гг., доселе вообще не занимавшийся историей Руси, намеренно вбросил в науку, как и Д.С. Лихачёв, фальшивую дефиницию, априори навязывающую шведский взгляд на наши древности и прививающую к ним фантомных *гоф(е)R'ов с *warangr'ами. Согласно его рассуждениям, звучавшим в духе и стиле ультранорманистов А.А. Куника, М.П. Погодина, В. Томсена, Т.Ю. Арне, А. Стендер-Петерсена, Х. Арбмана (и даже в чём-то их превосходившим), норманны массово присутствовали на Руси, что Игорь был первым конунгом, который обосновался в Киеве (в нём до начала X в. — западном форпосте каганата — располагался хазарский гарнизон) и положил «начало местному норманскому владельческому роду», вёл речь о «норманском» Киевском княжестве, о «норманском Полоцком княжестве», о «норманских княжествах в Причерноморье», о «ранних норманских княжествах» в Прикаспии, об обширных опорных пунктах, создаваемых скандинавами на близком расстоянии от границ Византии, об основании ими, для борьбы с Хазарией, будущего Тмутараканского княжества.

По мнению Скрынникова, походы на Византию 860, 911, 941 (причём в нём участвовали только скандинавы), 944 гг. «были совместными предприятиями

викингов» и что русско-византийские договоры заключало норманское войско. Те же норманны разгромили — и «лишь очень крупными силами», набранными в Скандинавии, — Хазарский каганат (а перед этим разорив г. Булгар). Благодаря им же произошёл перелом в балканской кампании «старшего из конунгов» Святослава, причём тогда призванное «скандинавское войско по крайней мере в 1,5–2 раза превосходило по численности десяти тысячную киевскую дружину» (если принять во внимание сказанное историком, в том числе в учебном пособии 1999 г. для абитуриентов гуманитарных вузов и учащихся старших классов, то тогда получается, что в перечисленных походах в общей сложности могло участвовать до 100 000 скандинавов. Но в этих походах они гибли десятками тысяч. В связи с чем возникает вопрос: а где тогда их массовые погребения, например, на Балканах? Ведь Лев Диакон ведёт речь о «многих» и «множестве» погибших «скифов», которых росы погребали «по обычаю предков»⁷¹. Нет следов пребывания скандинавов и в Прикаспийском регионе, куда неоднократно ходили русы и там также погибали в большом количестве).

Русские и славянские названия днепровских порогов Скрынников представлял в качестве свидетельства того, «что в середине X в. киевское общество было двуязычным. Для руссов основным языком оставался скандинавский язык». Окончательному превращению «норманского княжества в Поднепровье» в славянское Древнерусское государство способствовало, по его мнению, принятие христианства, совершённое «норманским конунгом» Владимиром Святославичем, которому удалось при этом избежать «конфликта с норманской языческой знатью, поддержкой которой дорожил». Но вместе с тем «верхи киевского общества не забыли скандинавский язык и традиции, в которых воспитывались их предки». Со временем норманская дружина киевского князя, поклонявшаяся Перуну и Велесу, «забыла собственный язык, саги превратились в славянские былины», а название «Русь» получила местность в Нижнем Поднепровье, которую норманны освоили в первой половине X в. и в пределах которой к началу следующего столетия они были полностью ассимилированы славянами: «Норманны бесследно исчезли, но земля, ассимилировавшая русов, стала называться “Русью”».

В действиях «конунга» Владимира Святославича Скрынников нашёл следы «скандинавского семейного права», а Русскую Правду связал со скандинавским севером (как констатировал С.М. Соловьёв под влиянием Г. Эверса, что «не может быть речи не только о том, что Русская Правда есть скандинавский закон, но даже о сильном влиянии в ней скандинавского элемента»). В унисон с Соловьёвым говорили в 1962–1963 гг. американский и норвежский исследователи Г. Бирнбаум и К. Сельнес. Первый показал, что «язык и стиль Русской Правды не дают оснований говорить о её зависимости от шведских законодательных памятников». Второй, сравнив её со всеми скандинавскими законодательными документами — шведскими, норвежскими, датскими, отметил, что Русская Правда даже в младшей редакции «по духу и содержанию является более древней, чем скандинавские законы XII–XIII вв.», и что она, будучи типично русской по языку и стилю, создана на собственно русской почве⁷²).

Свои рассуждения Скрынников венчал выводом, который не пришёл в голову Г.З. Байеру, Г.Ф. Миллеру и даже основоположнику ультранорманизма А.Л. Шлёцеру: в нашем прошлом была не Русь, Русская земля и Русская страна, как её называют источники, а никому не ведаемая «Восточно-Европейская Нормандия», во главе которой стояли не русские князья, как их именуют современники, а «норманские конунги» Игорь, Святослав, Владимир⁷³. Появление в русской истории «Восточно-Европейской Нормандии» (как и «Скандославии»/«Скандовизантии» Д.С. Лихачёва) никто из норманистов не поставил даже под самое скромненькое сомнение, хотя по некоторым деталям слышались возражения. Так, например, А.А. Горский в 2004 г. интерпретацию имени великого русского князя Святослава «на основе греческой его передачи Σφενδοσθλάβος как “Свендислейф”» назвал «анекдотической»⁷⁴. Но анекдотической является вся «сага» о Руси учёного, имевшего заслуженный авторитет в разработке истории России XVI–XVII веков. Ну а фантомные «Скандославия» и «Восточно-Европейская Нормандия», прописавшись в науке, весьма возбуждают «творческое воображение» норманистов, давая новые побеги исторических сорняков и пустоцветов, ещё больше глушащих истину.

6.3 Общий взгляд ультранорманистов на летописных варягов и русь, на начало Русского государства

Суть этого взгляда сводится к тому, что, как утверждает правофланговая наших ультранорманистов филолог Е.А. Мельникова, открытие и функционирование Балтийско-Волжского пути, по которому они вели крупномасштабную международную торговлю, «явилось результатом деятельности скандинавских купцов и воинов», что в середине IX в. вдоль этого пути появились, для обеспечения контроля над ним и прилегающими к нему землями для его регулярного и безопасного функционирования, торгово-ремесленные поселения (первым и крупнейшим из которых была Ладога) и военные стоянки, «где повсеместно в большем или меньшем количестве представлен скандинавский этнический компонент», что некоторые из скандинавских купцов, для большинства которых в X в. конечным пунктом был Булгар, достигали Каспийского моря и даже Багдада. Не сомневаясь, что до определённого времени скандинавы осуществляли контроль над большинством (если не над всеми) узловых пунктов пути, исследовательница заключает: его образование «объективно послужило одним из важных фактов (если не решающей предпосылкой) зарождения государственности на севере Восточной Европы.

Естественным завершением этих процессов становится возникновение в этом регионе раннегосударственного образования, во главе которого в 860-е годы становится — по соглашению с местной знатью — скандинавский военный вождь» (ведущую роль в возникновении раннегосударственных структур играли не-

многочисленные в процентном отношении скандинавы, до прихода которых финны и славяне не имели ещё развитой государственности), и что «“вокняжение” Рюрика — видимо, предводителя одного из отрядов викингов — вряд ли являло нечто принципиально новое для поселений на Балтийско-Волжском пути». Ибо «скандинавы — лучшие воины Европы того времени — были реальной силой в регионе, и привлечение одной из их групп для защиты от других было естественным (именно так поступали и английские, и французские короли в IX–X вв.). Более того, не связанные с каким-то одним племенем, они представляли нейтральную надплеменную силу, способную обеспечить и стабильное функционирование пути, и регулярный сбор дани с местного населения, и подавление межплеменных конфликтов»⁷⁵.

Картину Мельниковой очень расцвечивают заключения археолога А.Н. Кирпичникова с характерным для него «ладогоцентризмом»: «норманны-воители», «первые норманские династии» оказались людьми незаурядными, создали для Руси едва ли не впервые особо благоприятные условия, принесли туда «не только обновлённый механизм правления, но и лучшее оружие, совершенные корабли, особые украшения; способствовали евразийской торговле». Им, выступив в роли толчка извне, без особых трудностей и в короткий срок удалось организовать новую систему властвования и наладить механизм его работы, начать в Ладоге успешное строительство русского государства («на примере Ладоги мы видим, — слышался ещё не угасший восторг по поводу эфемерной «братской европейской семьи», так жаждущей нас принять в свои горячие объятия и в свой круг, — как более 1000 лет тому назад усилиями её жителей и посещавших эти места пришельцев создавалась интегрированная Европа без охраняемых границ и национальных предрассудков, во многом с интернациональной техникой и культурой, общими путями передвижения и единой валютой. Эта модель развития общества поучительна и ныне»).

«Инициатива консолидации государства, — продолжал свою хвалебную песню скандинавам известный археолог, — была выдвинута Северной Русью под руководством первых Рюриковичей — дальновидных собирателей земель восточных славян. Новым руководителем государства удалось осуществить основополагающие задачи: расширить территорию, развить торговлю, начать строительство и укрепление городов и объединить север и юг страны», организовать евразийскую торговлю. И посему, ставил точку Кирпичников в духе ультранорманиста М.П. Погодина и «советского антинорманиста» Б.А. Рыбакова, в нашей истории был «норманский период», который охватывал 862–911 годы. И потому, призывал он, «бояться так называемого норманизма не надо», ибо «в этом заключалась интеграция с западным, балтийским миром, и в этом была мудрость славян: они позвали “иностранца” в интересах развития государства, торговли и строительства новой армии».

Призвание варягов-норманнов, параллельно звучал столь же восторженный голос историка Е.В. Пчелова, «включало Русь в контекст общеевропейского и, шире, мирового исторического процесса»⁷⁶ (т. е. без норманнов, этой безжалостной кровожадной своры — англичанин Г. Джонс называл их «чудовищами»-«мародёрами» и писал, что сравнение, например, шведского и норвеж-

ского конунгов Олава Трюггвасона и Эйрика Победоносного «с вожаком волчьей стаи выглядит довольно цинично, но в нём есть большая доля правды»⁷⁷, на протяжении веков наводивших ужас на многих западноевропейцев, слёзно миллионами уст моливших Бога избавить их «от ярости норманнов», наши предки не могли быть включены в «контекст общеевропейского и, шире, мирового исторического процесса». Словно они находились на другой планете, а не на Земле и не в Европе, и издавна самым теснейшим образом не были связаны с главным государством того времени — Византией, оказывавшей огромное влияние на Русь, в силу чего с конца XV в. Россия будет воспринимать себя именно её преемницей, а не наследницей также ушедших в небытие викингов).

Важное место в разговоре о скандинавах, представляющих собой чуть ли не «наше всё», занимает тема, откуда шли на Русь придуманные норманистами *roþ(e)R'ы и *warangr'ы (которых якобы затем внесли на страницы ПВЛ как русь и варяги). И он, конечно, решён положительно: swei из Центральной/Средней Швеции, в силу своего географического положения, активнее других скандинавов двигались в IX–X вв. на Восток⁷⁸. Тогда как на запад шли, ибо это также было для них естественным направлением движения, норвежцы и датчане⁷⁹. О таком разделе «сфер влияния» между норманнами, установленном ещё в XIX в., рассуждают и украинские учёные: «в западном направлении двигались в основном датчане и норвежцы, а в восточном шведы. Возглавляли последних представители рода Рюриковичей, которые и стали основателями древнерусской княжеской династии»⁸⁰.

В ходе шумных разговоров о Швеции как родине руси и варягов никак не мог оказаться забытым Рослаген. И напомнил о нём В.Я. Петрухин, в 1995–2000 гг. указывая, что с Рослаге́ном, где собирался ледунг, «не раз (начиная с А. Шлёцера) связывали происхождение имени *русь*: в самом деле этот топоним содержит ту же основу *roþs-, что и реконструируемые слова, означавшие гребцов-дружинников и давшие основу названия *русь*». В 1998 г. его коллега Д.А. Мачинский объяснял, что Рослаген восходит к «roa» — «грести». На следующий год историк А.С. Кан, уверяя, что Ruotsi производно от rodr или rodz, также вёл речь о существовании в Швеции приморской области Roslagen, ведущей своё название от средневекового Roden⁸¹. Хотя в эти же годы иначе смотрели на Рослаген иностранные специалисты. В 1999–2000 г. в России дважды вышла работа (1996) норвежского учёного Х. Станга, заострявшего внимание на том, что «именно скандинавские филологи норманистской школы сами отрицали связь названия “Русь” с названием “Родслаген”, или вернее с корнем *roPer “гребля”, ибо в родительном падеже это дало бы *roParbyggjar, для обозначения населения указанного района, т. е. без -с-, в слове *Русь*»⁸². И немецкий лингвист Г. Шрамм констатировал в 2002 г., что «Ruotsi никогда не значило *гребцов и людей из Рослагена*, что так навязчиво пытаются доказать»⁸³.

Но мнение кого-то, даже из «своих», противоречащее воззрениям наших ультранорманистов, в расчёт не принимается. И в 2001 г. Е.А. Мельникова придала (владение бы ею историографическим материалом, возможно, не позволило бы задействовать явную фальшивку) давно отвергнутому даже норманистами Рослагену «законность» как историческому аргументу. Тогда она,

переиздавая свою монографию «Скандинавские рунические надписи (тексты, перевод, комментарий)» (1977), ввела в неё материал, связанный с рунами Пирейского льва. Потому как «представляется справедливым мнение Э. Брате, что группу [?] *roþrs x lanti* следует интерпретировать как хороним **Rōðrsland*... Учитывая шведское, а точнее, среднешведское происхождение надписи... ближайшей аналогией хоронима является название прибрежной области Упланда, которая в современном языке носит наименование *Roslagen*», восходящее «к др.-исл. *róðr* (**rōþra-*), др.-шв. *rōþer* “гребля” (ср. др.-исл. *rōa* “гresti, плыть на гребном судне”), откуда “поход на гребных судах”, а также, видимо, “отряд, участвующий в походе на гребных судах” (именно это слово считается большинством исследователей исходным для зап.-финск. *ruotsi* > русь)»⁸⁴.

Такому звучанию рун Пирейского льва норманисты обеспечили «триумфальное шествие», потому как оно позволяло им материализовать хотя бы какую-то малость из их утверждений. В 2006 г. археолог А.Е. Мусин подчеркнул, что надпись на пирейском льве, оставленная викингами, посетившими Византию в XI в., «возможно перевести как: “Мы — из Рослагена”». На следующий год его коллега В.С. Кулешов объяснял, что «понятие *rōþ* и связанный с ним концепт ‘гребли’, ‘гребного передвижения по воде’ нашли отражение в названии побережья Средней Швеции, в настоящее время называемого *Roslagen*, а в средние века именовавшегося **Rōþ(r)-s-land-*, ср. *roþrslandi* рунической надписи IIA на Пирейском льве». Тогда же и другой археолог, Д.А. Мачинский, убеждал, что топоним Рослаген имел давнюю традицию и что его название «выводится из древнесеверогерманского **roð(e)R*, **roþ(e)R* ‘гребля, гребной поход, плавание между островами’. Древнейшее название этой области **Rōþ(r)-s-land* — ‘земля рос’, или “росская земля” — зафиксировано в рунической надписи XI в.» (и связал, по понятной причине, название Рослагена с росомонами Иордана, хотя этот автор локализует их где-то в районе северного Причерноморья)⁸⁵.

В 2012 г. вышла Повесть временных лет, в комментариях к которой и в сопроводительном материале норманство варягов и руси доказывается, помимо прочего, «Родрсландом» Мельниковой: этноним «Русь» «восходит к древнескандинавскому *róþr*, *róþs* — ‘гребец’, *róþsmenn* — ‘гребцы, мореходы’ (др.-исл. *róa* — ‘гresti, плавать на вёсельном корабле’). Именно эта основа в форме *ruotsi* заимствована предками финнов и эстонцев первоначально для обозначения германцев побережья Средней Швеции, название которых обозначалось терминами *Roþ-*, *Roþen-*. Их земля называлась Родрсланд, позже — Руден и Руслаген». Причём лингвист С.Л. Николаев утверждал, что «этимологическая, этнологическая и династическая связи Рудрсланда-Рудена-Руслагена и Руси были известны средневековым западноевропейским книжникам, причём они исходили именно из того, что Россия — страна шведов-руденов, др. швед. *Rōþin-*», и что в Северной Руси русью «первоначально назывались представители этноплеменного образования в шведском Рудене»⁸⁶. В том же году и украинский историк Л.В. Войтович уверял, распаляя своё воображение, что *Ruotsi*, перешедшее в древнерусский язык в форме русь, «судя по всему, происходит от *Roslagen* — шведской области, находящейся напротив финских берегов... Интересно, что *Roslagen* присутствует в рунической надписи на мраморном льве из

Пирея... Надпись эта, вероятно, была сделана норвежским принцем Гаральдом Сигурдсоном при взятии Пирея в 1040 г».⁸⁷ (в 2011 г. историк В.Г. Вовина-Лебедева в учебнике для студентов-историков наставляла их, что восточное побережье Швеции финны «именовали Рослаген (Roslagen) — “земля росов”»)⁸⁸.

Точку в разыгравшихся фантазиях норманистов по поводу Рослагена якобы «земли росов», откуда якобы шагнули на просторы Восточной Европы политоним Русь (Русская земля) и этноним русь, поставила в 2012 г. (развивая свои выводы в последующие годы) Л.П. Грот. Специально обратившись к рунам Пирейского льва, она указала на их сфальсифицированный характер (руны «заметили» лишь в конце XVIII в., т. е. через 100 с лишним лет его разглядывания большим числом путешественников, некоторые из которых замеряли не только его высоту, но и толщину лап) и ошибочное их прочтение шведским филологом Э. Брате в 1913–1914 гг., продублированное Мельниковой с заверением, что «его работа является и поныне основным и наиболее надёжным источником сведений о памятнике».

Но, констатирует Грот, «дешифровка» Брате, получившая первоначально большое распространение, в конечном итоге была квалифицирована шведскими руноведами как антинаучная (так, профессор упсальского университета С. Янссон в 1984 г. в признал её фантазией исследователя, наделённого пылким воображением), причём «едва различимые рунные знаки не дают никакой возможности реконструировать топоним *Roprslant/Roslagen*». Мельникова, подытоживает Грот, пытается выдать версию Брате за последнее слово шведской рунологии «явно во спасение норманистской концепции о пресловутой особой роли прибрежной области Упланда и для того, чтобы очень поздно возникшему названию Roslagen придать вид “под старину” и изобразить его как *Ropslagen*, откуда можно уже свободно выводить “участников похода на гребных судах”, выдавать их за исходный материал для зап.-финск. *ruotsi* и соответственно, за тех, кто путешествовал через Восточную Европу прямо до Византии и т. д.»

Но спасти эту концепцию невозможно, замечает Грот и подкрепляет свои выводы геофизическими данными (а ими уже оперируют шведские историки), согласно которым прибрежная полоса Средней Швеции (её первичное название — Roden, Roslagen — вторичное) в XI в. находилась в процессе образования: по расчётам шведских специалистов, «уровень моря в районе, где сейчас расположен Рослаген, в IX в. был минимум на 6–8 м выше нынешнего» (т. е. во время призвания варягов он находился под толщей воды). Даже в XI–XII вв. уровень моря был на 5 м выше, чем сейчас, и значительная часть береговой полосы была островками, более или менее выступавшими из воды. И лишь только к концу XIII в., как показывает королевский указ 1296 г., природные условия этой полосы «стали пригодны для проживания населения, количество которого стало интересно для включения Северного Рудена в систему административного деления Упланд». Только в 1493 г. Руден появляется в форме Roslagen (Rodzlagen) «и далее в 1511, 1526 и в 1528. Как общепринятое название оно закрепилось ещё позднее, поскольку даже при Густаве Вазе было в употреблении называть эту область Руден»⁸⁹ (выше говорилось, что антинорманисты в 30–40-х гг. XIX в. указали на значение Род’с-лагена как «пристанище гребцов или

корабельный стан», т. к. буква *с* входит в его название для обозначения родительного падежа слова «гребца»⁹⁰. И этот факт за ними признали и А.А. Куник, и М.П. Погодин, и В. Томсен).

А зачем дружно двигались **roþ(e)R’ы*-гребцы на Русь из подводного Рослагена, куда и когда они сначала пришли, к чему свелась их деятельность на русских землях, с готовностью указывали археологи, и в первую очередь, естественно, на Ладогу: «Видимо, появившиеся на Волхове в VIII в. скандинавы вскоре начали проникать вглубь Приладожья», выступая «в качестве посредников в меховой торговле с Ладогой» (О.И. Богуславский), накопленные в Восточной Европе ещё до прихода Рюрика богатства в виде дирхемов привлекали викингов в русские земли, их основной целью было подчинение местного населения, обложение его регулярной данью, контроль над участками Волжского пути (В.Н. Седых), в середине VIII в. в Приладожье появились скандинавы, вероятно, уже к концу этого столетия проникнув на нижний Волхов (П.Е. Сорокин), их основная цель по прибытию на Волхов в середине VIII в. первоначально заключалась в продвижении и закреплении вдоль основных водных артерий, ведущих к источникам серебра и местным рынкам, тогда же была основана Ладога, в которой жили скандинавы — мужчины, женщины, воины, торговцы, ремесленники (Е.Н. Носов)⁹¹.

В Ладоге с самого начала «активную роль играли выходцы из Скандинавии», и «в среде разноэтничного и, прежде всего, славяно-скандинавского населения и возникает обычай возведения сопок», в основе которого «лежит перенесённая из Скандинавии идея сакральных социально-престижных курганов» (В.Я. Конецкий), Ладога была базой для скандинавов и в VIII–IX вв., и позже (В.Я. Петрухин), она являлась резиденцией норманского хакана «*Rhos*» («народа рос») Бертинских анналов, ещё до прихода Рюрика, и, очевидно, уже была столицей некоего раннегосударственного образования (Д.А. Мачинский, В.Н. Седых), вероятно, из Ладоги в 839 г. прибыли в Константинополь шведы, послы кагана росов (В.С. Нефёдов), Ладога вначале была «штаб-квартирой» норманского хакана, затем в 862 г. становится престольным городом знатного скандинава Рюрика, «возглавившего новоорганизованное русское единоегосударство» и ставшего основателем правящей династии, что в ней началось строительство русского государства, ставшего крупнейшей и самой могущественной империей в Европе (А.Н. Кирпичников)⁹².

В 862 г. «три финских племени — чудь, меря, весь — и два славянских — словене и кривичи — пригласили к себе в Ладогу скандинава Рюрика, ставшего основателем русско-норманского государства» (А.Н. Кирпичников, А.И. Сакса), не исключена реальность факта призвания в Ладогу одной из групп скандинавов для обеспечения нормального функционирования северной части Балтийско-Волжского пути (Е.Н. Носов), ко времени Рюрика относятся первые скандинавские погребальные комплексы — Юго-Восточное Приладожье, Гнёздово, Новосёлки, Тимерёво (В.Н. Седых), могильник в урочище Плакун давно считается примером классического скандинавского некрополя эпохи викингов в Восточной Европе (К.А. Михайлов), с дружиной Рюрика и его преемников связан курганный могильник в урочище Плакун: раскопанные здесь полтора десятка

невысоких курганов содержали захоронения по обряду сожжения в ладье, типичному для скандинавских викингов (В.Я. Петрухин, Г.С. Лебедев)⁹³.

Археологам дружно вторили филологи Т.Н. Джаксон, Г.В. Глазырина, Е.А. Мельникова: что первыми поселенцами в Ладоге (название образовано — с метатезой *al-* > *la-* — от скандинавского *Aldeigja*, а оно, в свою очередь, от финского названия реки Ладоги **Alode-jogi* — «Нижняя река») в начале 750-х гг. были скандинавы, тогда как славяне появились в ней к концу 760-х гг., что, как утверждала уже одна Мельникова, «первые продвижения скандинавов на северо-западе в районе Приладожья, очевидно, могут датироваться VII столетием», а в середине VIII в. уже существует Ладога с постоянным скандинавским населением. Вместе с тем эти скандинависты, готовя плацдарм для рывка скандинавов на Русь и опираясь на слова (в передаче Снорри Стурлусона), прозвучавшие в 1018 г. на тинге в Упсале, что конунг Эйрик Эмундарсон «покорил Финнланд и Кирылаланд, Эйстланд и Курланд и много [земель] в Аустрлэнд», резюмировали: восточноприбалтийские земли шведы захватили в середине IX в., «и вплоть до начала XI в. финны, карелы, эсты и курши были данниками шведских конунгов»⁹⁴ (вслед за археологами и филологами историк Е.В. Пчелов не сомневался, что первым форпостом скандинавов на Руси» была Ладога и что «скандинавское присутствие там было весьма значительным»⁹⁵).

Как компактно подытоживал в 2002 г. разговоры наших норманистов о Ладоге Д.А. Мачинский, есть серьёзные основания полагать, что сидевший в ней глава Волховско-Ильменской Руси (этносоциума русь/рос, сплавленного из скандинавов и славян, с возможным включением балтов и финнов) уже за поколение до Рюрика претендовал на титул «хакан», который «говорит об ориентации “народа рос” на контролируемые каганом хазар волжско-донские торговые пути, ведущие в страны Арабского халифата, а также о зарождении смутных “имперских амбиций” у русов уже в первой трети IX в., поскольку этот титул со времён Тюрского каганата VI–VII вв. был иерархически сопоставим с титулом “император»» (как резонно заметил А.В. Назаренко, «крайне трудно понять, что могло предводителя руси, размещавшейся где-нибудь в районе Ладоги или в Поволховье, прибегнуть к такой новации в титулатуре, которая в первой трети IX в., да и в позднейшее время, явно ничего не могла говорить окружавшим его славяно-финским данникам»).

В 850-х гг. чувствуется, продолжал Мачинский, вторжение в Поволховье новой волны скандинавов, видимо, уничтоживший «мужскую часть правящей династии — отголоски этих событий имеются и в скандинавских сагах о конунгах Альдейгьи, и в летописном рассказе ПВЛ... о нападении заморских варягов», что часть северных русов в 860 г. совершила неудачный поход на Константинополь (и осела затем в Киеве), что в середине 860-х — начале 870-х гг. некая местная русь Ладоги пригласила знатного скандинавского вождя Рюрика и его заморскую «всю русь», что свидетельства письменных источников о событиях в Поволховье находят убедительные подтверждения в археологических данных (в урочище Плакун «в последней трети IX в. возникает чисто скандинавский могильник с захоронениями в ладьях», что в самом богатом его погребении в деревянной камере с остатками сожжённой ладьи над гробовищем покоится,

видимо, вождь скандинавской дружины, возможно, сам Рюрик), что последующее перенесение столицы к истокам Волхова, а после в Киев привело к «полной славянизации “руси”, давшей своё имя и государству»⁹⁶.

С самого начала вещевой комплекс Рюрикова городища «имел ярко выраженную скандинавскую окраску, свидетельствуя о присутствии здесь варяжской дружины. Иными словами, летописная версия была подтверждена, но с некоторым коррективом» — иноземный князь был призван тогда, когда Новгорода ещё не было (В.Л. Янин), это поселение по своему этническому составу в IX–X вв. является славяно-скандинавским, причём какое-то количество скандинавов «проживало здесь постоянно в качестве торговцев, воинов и ремесленников», что «главной активной силой в торговле с Арабским Востоком и Византией были скандинавы» (В.Я. Конецкий), судя по скандинавским находкам, в нём пребывали выходцы из Скандинавии — мужчины и женщины (Е.Н. Носов, П.Г. Гайдуков, И. Янссон), на Рюриковом городище (древнейшем Новом городе в сравнении с Ладогой), которое могло возникнуть ранее середины IX в., дислоцировался разношёрстный контингент скандинавов — воины, ремесленники, торговцы, важнейшей задачей которого являлись не только обеспечение безопасности пути, но и административный контроль обширных территорий Приильменя, а в IX–X вв. городище являлось резиденцией князей Рюрика и Олега (Е.Н. Носов), во второй половине IX–X в. на городище стояла княжеская дружина варяжского происхождения (В.Я. Петрухин), в IX–X вв. здесь находился князь со своими дружинниками, многие из которых были выходцами из Скандинавии (Н.В. Хвошинская), «в начальный период своей истории Рюриково городище явилось центром раннегосударственного образования, начавшегося складываться на просторах будущей Северной Европы» (Е.Н. Носов)⁹⁷.

Начитавшись наших археологов по поводу Рюрикова городища, С. Франклин и Д. Шепард в 1996 г. сообщали англоязычному читателю, что «полчища» норманнов-русов в походе на Константинополь в 860 г. двигались при поддержке и под руководством хакана, чья резиденция находилась, скорее всего, именно на этом городище. В 1999 г. шведский археолог И. Янссон, также находясь под впечатлением «открытий» своих русских коллег (прежде всего Носова) и вместе с ними поражаясь «массовости» скандинавского материала на том же поселении, где его предки «играли важную роль», пришёл к выводу, что династия Рюриковичей, которые всё ещё правили на Руси, когда составлялась хроника, рассматривали себя как потомков скандинавов⁹⁸.

Одновременно научному сообществу внушались мысли об активном словено-скандинавском политическом союзе на территории Верхней Руси/Руси Рюрика (Г.С. Лебедев), что «молодое северо-западное государство с политическими центрами в Ладоге и на Рюриковом городище обладало основными институтами раннего средневековья» (М.Б. Свердлов), что варяги-наёмники, не связанные с племенными интересами восточных славян, составляли отборную часть войска и играли важную роль в консолидации государства и подчинению под его власть новых территорий (Е.А. Мельникова), что «на протяжении ста с лишним лет, с середины VIII до начала X вв. в Ладоге, Новгороде и других центрах Северной Руси скандинавские дружинники, купцы, мастера-

ремесленники оседали в городах словен, постепенно смешиваясь со славянами и “чудью» (Г.С. Лебедев), что в 20-х — 30-х гг. XI в. «в Новгороде находился постоянный контингент скандинавов, имевших теснейшие связи с Норвегией», что после местной канонизации в 1031 г. норвежского конунга Олава Харальдссона (Святого) его святость и «способность творить чудеса были восприняты и быстро усвоены скандинавскими поселенцами на Руси» (Г.В. Глазырина, Т.Н. Джаксон, Е.А. Мельникова), что в церкви, сооружённой сразу после крещения Новгорода (Неревский раскоп), прослеживается связь со скандинавской храмовой традицией (В.Я. Конецкий, К.Г. Самойлов)⁹⁹.

Вместе с тем также внушалось, что «главным событием ранней истории славянского Северо-Запада стало временное подчинение его власти скандинавов» (В.Л. Янин), что, согласно данным археологии, на территории Восточной Европы скандинавский компонент населения играл заметную роль (Г.В. Глазырина), что с начала IX в. отдельные отряды норманнов проходят Днепровским путём в Чёрное море (Г.В. Глазырина, Т.Н. Джаксон, Е.А. Мельникова), что в Гнёздове в середине IX в. присутствие скандинавского элемента несомненно, что в торговых операциях активная роль принадлежала скандинавским купцам и, возможно, ремесленникам (В.В. Седов), что Брилёвский денежно-вещевой комплекс конца IX в., обнаруженный в 2000 г. в верховье Березины (Минская область) и содержащий фрагменты шейной серебряной гривны и каролингского меча, а также 265 дирхемов и 10 гирек-разновесов, принадлежал воину-торговцу-викингу (О.В. Иов, В.Н. Рябцевич)¹⁰⁰.

Взятие Киева Олегом в 882 г. — это реальная практика викингов, которые стремились выманить защитников города из укрепления, прикидываясь купцами (В.Я. Петрухин), Олег завоевал государственное образование восточных славян с центром в Киеве, в военно-политической истории которого участвовали скандинавы, и образовал Русское государство (М.Б. Свердлов), в составе элиты которого в обилии находились скандинавские и иные иноплеменники, причём само её становление на основе полиэтничных дружин (состоявших прежде всего из скандинавов) являлось определяющим фактором образования государства (А.В. Чернецов), в экстремальной ситуации начала восстания древлян княгиня Ольга действовала «как типичная скандинавка, а своеобразная форма мести через детали погребального обряда есть в исландской саге» (А.А. Александров), сбор одноподвержков на Руси середины X в., описанный Константином Багрянородным, «и даже летописная формулировка, согласно которой три призванных князя “*поюша по собе всю русь*”», напоминают ледунг — сбор ладей для ополчения в средневековой скандинавской традиции (В.Я. Петрухин), обряд погребения в камерах сложился в скандинавских странах под воздействием христианства (А.А. Александров), скандинавские дружинные древности в Киевском некрополе относятся к X в., мужи от рода русского договора Олега носили скандинавские имена, а в кривичском Полоцке до подчинения его Владимиром Святославичем правит скандинав Рогволод (В.Я. Петрухин), ⅔ княжеских имён русско-византийского договора 944 г. «надёжно определяются как скандинавские» (Н.И. Платонова), «ряд фактов позволяет говорить о билингвизме славяно-скандинавской дружинной элиты, и, по

свидетельству Константина Багрянородного, этот билингвизм актуален для середины X в.» (Г.С. Лебедев)¹⁰¹.

Главной активной силой на Балтийско-Волжском пути, начавшем функционировать во второй половине VIII в., выступали выходцы из Скандинавии (В.Я. Конецкий), скандинавы сыграли «существенную роль в экономическом и политическом развитии Севера Восточной Европы, поскольку их деятельность привела к формированию Волжско-Балтийского пути, установлению торговых контактов с арабским миром, притоку огромных ценностей, в первую очередь арабского серебра, на Север Восточной Европы и далее в Восточную Скандинавию» (Е.А. Мельникова), что в IX–XI в. на этой водно-торговой магистрали «появляются и отдельные скандинавские группы, которые играли важнейшую социальнообразующую роль, во многом доминируя в государствообразовании в Древней Руси», что на основе традиций славян, финно-угров и скандинавов «была создана своеобразная культура Северной Руси, занимавшая существенное место в системе культурных традиций в целом Древней Руси» (И.В. Дубов, участник, по оценке А.Е. Мусина, легализации скандинавов в русской истории, много сделавший для решения «норманской проблемы»), в конце IX–X в. скандинавскими дружинами «молоточки Тора» были занесены в Ярославское Поволжье (Л.А. Голубева), что в конце IX в. в Поволжье, не скупясь добавлял в конце 1990-х гг. в ультранорманистскую копилку казанский учёный И. Измайлов, «возникло государство, образовалась целая сеть городских поселений, стали регулярными торговые связи со странами Европы и Азии, ислам стал государственной религией», причём катализатором этих социальных изменений в болгарском обществе стали военные и торговые походы викингов¹⁰².

В Тимерёво подавляющее большинство (10 из 30) курганов с камерными захоронениями и в срубах X в. — скандинавские, что говорит о присутствии здесь определённого числа норманнов: торговцев и дружинников (И.В. Дубов, В.Н. Седых), «достоверно скандинавские, этнически определяемые погребальные комплексы и отдельные вещи северного происхождения выявлены во всех трёх широко известных ярославских курганных могильниках — Михайловском, Тимерёвском, Петровском» (их больше, чем славянских); погребения с мечами (а они есть признак этнический) в двух первых некрополях принадлежали, скорее всего (ещё одно любимое словцо норманистов, «оживляющее» небылицы), предводителям скандинавских военно-торговых отрядов; норманны наряду со славянами были одними из создателей протогородов на Волжско-Балтийском пути и им удалось войти в состав «феодализирующейся знати» (И.В. Дубов), Тимерёво основано в IX в. скандинавами, прежде всего с Аландских островов, причём «скандинавские комплексы могильника являются древнейшими», тогда как славяне там появляются в середине — второй половине X в. (В.Н. Седых), «в свете выявленных в погребальном обряде Ярославских могильников североευропейских аналогий, скорее, можно говорить о недооценке в современной историографии удельного веса скандинавского компонента этих памятников» (В.А. Лапшин), на основании археологических данных можно полагать, что меря и её центр — Сарское городище — были известны новгородским словенам и варягам не менее чем за 2–3 поколения до появления Рюрика (А.Е. Леонтьев)¹⁰³.

Настойчивые и звучащие отовсюду утверждения археологов о присутствии скандинавов на Руси показательны на том фоне, что на тех же поселениях представлена продукция (в большем количестве, чем скандинавские и выдаваемые за них предметы) других народов и стран (взять хотя бы только дирхемы). Так, например, в Тимерёво обнаружены вещи средневропейского, болгарского, хазарского, арабского и среднеазиатского происхождения¹⁰⁴. Но что-то эти вещи археологи не окропляют своей «живой водой» и не превращают в людей (а то бы Тимерёво стало многоязычным Вавилоном). Главное же состоит в том, что «полчища» скандинавов не оставили следов, характерных только для них, в том числе в столь превозносимых норманистами археологическом и лингвистическом материале (данные археологии и языка, отметил в 2001 г. В.В. Богуславский, «не позволяют говорить о сколько-нибудь заметном норманском влиянии на славян»). Впрочем, и этому факту, от которого в миг гаснет шведский взгляд на нашу историю, имеется стародавнее «объяснение», озвученное тем же Богуславским, сторонником норманизма: варяги есть русское наименование викингов (разбойников, наёмников и торговцев), которые быстро растворились среди русского населения. Но растворяться бесследно свойственно лишь фантомам.

6.4 «О сколько нам открытий чудных готовит норманизма дух», или как великий русский князь Святослав по воле норманистов попал в «Вальхаллу — загробный чертог Одина»

В норманизации общих и частных вопросов истории Руси тон в 1990-х гг. задавали, как и прежде, археологи, разными способами приписывая свой материал скандинавам, связывая с ними все политические события Руси IX–X вв. (и при этом всё так же активно вторгаясь в совершенно чуждые для себя сферы). Но от них не отставали, с тем же ультранорманистским рвением и размахом, не знаящим границ, рассуждая о начале Руси, филологи и историки, не только опираясь на их выводы, но и им постоянно подбрасывая новые «аргументы», которые для археологов становились основой для очередных «находок» и «осмыслений». И всё это теснейшим образом переплеталось (опылялось) с такого же рода «достижениями» представителей что «ближнего», что «дальнего» зарубежья, в том числе публикуемыми в России.

В.Я. Петрухин в 1993–2000 гг. обнаружил «широкий спектр связей древнерусских больших курганов (датируемых серединой и преимущественно второй половиной X в. — В.Ф.) с большими курганами Северной Европы как в типологическом, так и в генетическом аспектах». Аргументы, которые он приводил в пользу того, что эти большие курганные некрополи, сохранившиеся лишь в Верхнем и Среднем Поднепровье (а их нет в Поволховье), развиваются под

сильнейшим воздействием скандинавской культуры эпохи викингов, следующие: наконечник скандинавского меча X в. из большого кургана у Коростеня (но в статье М.В. Фехнер 1982 г., на которую даётся ссылка, идёт речь о наконечнике ножен меча с так называемым северным орнаментом скандинавского стиля, да и скандинавских мечей на Руси никто не находил), «самые большие курганы Гнёздова с характерными для Скандинавии (и древнейшей руси) обрядами сожжения в ладье и т. п.», и в них погребены дружинники-скандинавы, ибо скандинавы составляли ядро дружины великого князя вплоть до середины X в. (в 2010 г. И.И. Еремеев, И. Янссон, С. Сёдерберг поставили под самое серьёзное сомнение утверждение Петрухина о «скандинавской» природе больших курганов Руси, допуская при этом возможность обратного влияния восточноевропейских традиций на культуру Средней Швеции X века. К тому же русский и шведские археологи заостряли внимание на сложности прямого сопоставления больших курганов Швеции и Руси).

С той же категоричностью Петрухин заверял, что в дружинной лексике присутствуют скандинавские термины, что «имена Рюрик (Хрёрекр), Олег (Хельги), Игорь (Ингвар) относятся к княжеским и в скандинавской, и в древнерусской традициях», что дружинники Олега носят скандинавские имена, что скандинавская русь прочно обосновалась в Среднем Поднепровье к 880-м гг. (хотя, что должно быть известно автору, скандинавские предметы, или то, что за них выдают, появляются там только в начале X в.), что типы погребального обряда характерны как для некрополя Киева X в., «так и для кладбища “конечного пункта” на пути из варяг в греки» — шведской Бирки, что господствующее положение в Киеве в X в., судя по материалам некрополя, занимали русские дружинники-скандинавы, что о присутствии скандинавских женщин свидетельствуют парные овальные фибулы, что «росские» названия днепровских порогов восходят к древнешведскому языку, что в Волжской Болгарии скандинавы-русь имели в начале X в. свои торговые фактории и одну из них описал Ибн Фадлан.

Стремясь по максимуму превратить не только наши древности, но и её героев в скандинавское, археолог в 1998–2000 гг. уверял, заостряя внимание на том, что печенежский хан делает из черепа Святослава (а его имя «оказывалось славянским “продолжением” скандинавского антропонима») пиршественную чашу: «Эта смерть-жертвоприношение достойна героя Вальхаллы», что большие курганы, очевидно, принадлежавшие всему княжескому роду, моделируют «Вальхаллу — загробный чертог Одина», что погребальный комплекс Чёрной могилы, как это им было им сказано в 2003 г., есть настоящая модель Вальхаллы (прививая к русской истории скандинавскую терминологию, которая, как он, видимо, полагает, способна заменить факты, утверждает, что княгиня Ольга усмирила восставших древлян как воительница-«валькирия»)¹⁰⁵.

В 1994 г. В.П. Даркевич резюмировал, что экспансия викингов сыграла важную роль в истории Киевской Руси, что эти «пассионарии» обладали повышенной активностью, боеспособностью и выносливостью, что в больших курганах Гнёздова, составлявших аристократическое кладбище в центральной части некрополя, «военные вожди захоронены по скандинавскому обряду» (в 1975 г. В.А. Булкин, напротив, констатировал, что ни один из больших курганов Гнёз-

дова нельзя признать норманским). Даркевич также не сомневался в том, что, судя по договорам Олега и Игоря и материалам дружинных могильников, значительную часть правящего слоя составляли скандинавы, которые занимали важные государственные должности, что грабительские походы на Царьград и прикаспийские области совершали разноэтничные по своему составу дружины при преобладающей роли викингов, что определялось и происхождением правящей династии. В 2000 г. учёный посчитал, что «идеал князя “дружинной эпохи” (IX–X вв.) являл собой Святослав, напоминавший не столько далеко-видного политика, сколько скандинавского конунга»¹⁰⁶.

В 1996 г. В.И. Кулаков масштабно-эпически описывал действия скандинавов на просторах всей Европы: «Их мечи и секиры сверкали на Сене и Рейне, в Испании и Сицилии. Воины Севера приняли участие в создании древнерусского государства»¹⁰⁷. Тогда же С.И. Кочкуркина, утверждая, что археологические материалы наиболее ценны, вела речь о десятках захоронений юга Карелии, Приладожья и Приоатья, этническая принадлежность которых не вызывает у неё сомнений — скандинавские и финско-скандинавские. Подчёркивая, что «атрибуция скандинавских погребений спорна, поскольку они соединяют в себе особенности культуры обоих этносов», исследовательница раскрыла процесс оценки археологами погребения как скандинавское: «Вопрос об археологических критериях опознания скандинавских погребений ставился неоднократно. Однако применение этих критериев при работе с конкретным материалом требует дополнительных общеисторических рассуждений и доводов (т. е., как верно заметил А.Л. Шилов, «привнесения субъективных факторов». — В.Ф.)». И выявив посредством таких «общеисторических рассуждений и доводов» 29 скандинавских захоронений, Кочкуркина вела разговор о таком важном событии в истории данного региона конца IX — X в., как появление скандинавских купцов-воинов и создание ими опорного пункта на р. Сяси¹⁰⁸.

В 1996 г. шведские археологи И. Янссон и Ё. Тегнер, взяв в соавторы российскую коллегу Т.Д. Панову, выпустили книгу-описание выставки «Наследие варягов — диалог культур», проводимой в Московском Кремле. И нашему читателю (посетителю) нашу историю шведы излагали в полном соответствии со шведским взглядом на неё: существовали оживлённые, прочные и разносторонние контакты между Русью и Швецией в эпоху викингов (конец VIII–XI в.), о чём свидетельствуют исторические и археологические источники, причём из скандинавских саг и русских летописей известно, что шведские торговцы тогда «прочно обосновались в центрах, расположенных вдоль водных путей на юг. ... Известно, что шведские воины служили у русских князей. Рунические камни свидетельствуют о том, что многие жители Швеции бывали на Руси». И на Русь шли в основном из Центральной Швеции, из провинций восточного побережья и с Аландских островов, и среди переселенцев были женщины, т. к. фибулы являются одним из надёжных показателей их присутствия.

Объясняя ему вместе с тем, что термин «русь» произошёл от финского Ruotsi, производимого «от скандинавского слова *rodhr*, современного шведского *rodd*, что означает “гребля”, а также “регион, отличающийся греблей” и “команда гребцов»» (финны и эстонцы, часто сталкиваясь с такими командами шведов,

восприняли это слово в качестве их имени и передали его восточным славянам), что первоначально русью назывались скандинавы, которые прибывали на Русь на небольших ладьях с командой около 10 человек, что «в средние века “Роденом” (*Roden*), позднее “Руслагеном” (*Roslagen*) именовался прибрежный район Упланда», что в самых ранних византийских и восточных источниках «скандинавов называют “Рос” (*Rhos*) на греческом или “Рус” (*Rus*) на арабском языках». Но поскольку скандинавы активно участвовали в политической борьбе на Руси, а князья-Рюриковичи возводили свой род к скандинавам, по причине чего термин «русь» стал обозначать вначале людей, окружавших вождей рождающегося государства, а затем его землю и его жителей, то «возникла необходимость найти для скандинавов другое имя и таковым стал термин “варяги”, от скандинавского *Væringjar*, который первоначально, возможно, обозначал определённые группы людей, давших клятву друг другу».

Подчёркивая, что в ПВЛ скандинавам-варягам отведена «выдающаяся роль — настолько важная, что сообщается о создании ими самого русского государства», что имена Рюрика, Синеуса, Трувора есть скандинавские, что на восточные земли переселялись, если судить обширному археологическому материалу, группы скандинавов «для занятия сельским хозяйством, как это было с датчанами и норвежцами на западе», шведские и русский авторы резюмировали: «Вопрос заключается в конкретизации характера деятельности скандинавов и выявлении их места в различных слоях общества». Пояснив при этом, что если советские и российские историки отмечали роль скандинавов в окружении местных князей, основываясь в первую очередь на летописной информации, то современные скандинавские и западные исследователи, главным образом, опираются на сообщения византийских и исламских источников IX–X вв., в которых акцентируется внимание на торговой деятельности русов и варягов»¹⁰⁹.

В 1996–2003 гг. А.Н. Кирпичников, говоря, что сейчас мы спокойно можем обсуждать славяно-норманское взаимодействие (купцы-воины и ювелиры селились в Ладоге для постоянного проживания с семьями), что «ладожская археология подтвердила реальные основы “Сказания о призвании варягов”» — в Ладоге сел основатель новой династии конунг Рюрик с дружиной, а он есть Рорик Фрисландский, привёл новый «довод» в пользу последнего тезиса: в Ладоге «обозначились даже подтверждения датского происхождения Рюрика и его дружины (парцеллы жилого и хозяйственного назначения такие же, как в датском городе Риббе, норманский курган в урочище “Плакун”, по устройству напоминающий погребения Ютландии)». Вместе с тем археолог ввёл в науку — в два приёма — ещё один «аргумент» в пользу норманской версии. В 1996 г. он бронзовое антропоморфное навершие какого-то стержня, находящегося в составе клада инструментов, обнаруженного Е.А. Рябининым, произвольно увязал со скандинавской традицией и сопроводил его изображение словами: «Навершие с головой мужчины, орнаментированное изделие». Но уже через семь лет комментарий к нему звучал в твёрдом норманистском ключе: «Навершие с изображением Одина» (учёного нисколько не смутил тот факт, что Один был одноглаз, а у мужчины на навершии чётко видны два глаза)¹¹⁰.

В 1996 г. французский историк К. Цукерман, обеспокоенный отсутствием скандинавских древностей в Среднем Поднепровье в IX в. и прежде всего в Киеве (а один этот факт уже уничтожает норманизм), стал утверждать о недостоверности хронологии ПВЛ до 945 года. И, руководствуясь Кембриджским документом, упоминающим «царя Руси» Хельгу, по убеждению учёного, князя Олега Вещего, заключил, что тот потерял власть летом 941 г. (после неудачи под Константинополем, стыдясь возвращения на родину, отправился морем в Персию, где и погиб, Игорь же правил с лета 941 по начало 945 г.). После чего заявил, что установление новой хронологии правления Олега заставляет многое передатировать (а такую мысль высказывал ещё А.А. Шахматов в канун революционных потрясений). А именно: создание этим главой Руси «первой своей базы в Верхнем Поднепровье, в Смоленске/Гнёздове, последующая экспансия на юг и завоевание Киева должно быть, видимо, передвинуты с 880-х — 890-х гг. на 910–930-е гг. Это, кстати, поможет ликвидировать большой разрыв между письменными источниками и археологическими находками, ведь долгие годы раскопок так и не дали никаких материалов, которые бы доказали бы важность Киева в IX в.»¹¹¹.

В 1997 г. А.А. Александров, не сомневаясь в тождестве Рюрика и Рорика Фрисландского, в руси увидел жителей с о. Валхерн/Валосерен (фризов и норманнов) близ устья р. Шельды (что и объясняет, по его мысли, находку фризского кувшина в кургане № 7 в урочище Плакун). Тогда же Г.С. Лебедев продолжал развивать идею, что первоначально Ладога, куда был призван Рюрик, представляла собой неукреплённое поселение типа скандинавских “виков”, что Гнёздовское поселение по структуре наиболее близкое северным “викам” — Бирке, Хайтабу и др., что и «киевский Подол по своей планировке, ориентации улиц, застройке деревянными избами, близок не только днепровским, но прежде всего севернорусским портовым поселениям и североевропейским “викам”»¹¹².

Одновременно Н.Н. Милютина, отметив, что вопрос этнической интерпретации курганного псковского некрополя X — начала XI в. является сложным и в ряде случаев спорным, заключила: его погребения, в которых преобладают захоронения рядовых жителей, не содержат чётко выраженных этноопределяющих характеристик», но «среди них можно выделить только погребения, свидетельствующие о наличии скандинавов в составе населения города этого времени» (потому как в них присутствуют вещи, относимые к «североевропейскому кругу древностей», например, фибулы, зооморфный наконечник ремня, украшенный узором в стиле Борре). В тот же 1997 г. А.А. Молчанов, отталкиваясь от свидетельств саг, что Ярослав Мудрый, женившись в 1019 г. на Ингигерде, пожаловал её родственнику с материнской стороны Рёгнвальду Ульвссону в управление Ладогу как «ярлство», предположительно увидел в его потомках представителей одной из виднейших боярско-посаднических семей Новгорода Роговичей-Гюрятиничей (в 2001 г. филолог А.А. Гиппиус, идя тем же путём, но действуя более масштабно, записал в потомство Рёгнвальда Ульвссона больше половины всех известных новгородских посадников)¹¹³.

В 1997 г. В.А. Назаренко, полагая, что важнейшим этапом в переосмыслении материалов Плакунского могильника явились работы Г.Ф. Корзухиной (она, об-

ладая безупречной методикой полевых исследований и тщательным образом обработав тогдашние скудные данные, доказала наличие в нём курганов IX в. и даже, может быть, его первой половины), охарактеризовал этот могильник как кладбище викингов. После чего представил (ибо, по собственному признанию, «соблазн велик») курган № 11 (датировав его, согласно дендрохронологическому анализу, 874–881 гг.), где был погребён мужчина в возрасте 60–70 лет, в качестве захоронения Рорика Ютландского. Но потом заключил, что там упокоился один из предводителей отряда викингов, видимо, давний и ближайший соратник Рорика, возможно его наместник в Ладого, когда тот пребывал в Европе. Но так и не преодолев великого соблазна, археолог с Рюриком увязал курган № 6 (К.А. Михайлов в 2002 г., констатируя, что дата погребения № 11 занижена его коллегами, все выводы Назаренко отверг как необоснованные)¹¹⁴.

В 1998 г. Ю.М. Лесман начал разговор, который и дальше будет «творчески» развивать, о скандинавском вкладе в женскую субкультуру Руси, о многочисленных и разнообразных находках женских украшений X в., относящихся к характерным для Скандинавии типам: фибулы, браслеты, подвески и пр. Посредниками, по его мнению, в распространении таких украшений «были своего рода местные дамы полусвета», обслуживавшие сборщиков дани, участников полюдья и, в первую очередь, новую русскую администрацию (т. е. речь ведётся, если сказать мягко, о дамах лёгкого поведения). Причём стремительный рост популярности некоторых типов украшений свидетельствует «о чрезвычайно высоком престиже подобных девиц, о их высоком социальном статусе среди местного населения и о массовом стремлении подражать их облику». А в другой статье того же года археолог говорил, что уже самое первичное сравнение погребальных памятников Упланда и Руси XI–XII вв. демонстрирует высокую степень их сходства и что шведские курганы близки невысоким курганам и курганам-жальникам (начиная со второй половины — конца XI в.)¹¹⁵.

Тогда же Д.А. Мачинский увлечённо рисовал (продолжая с тем же ультранорманистским воодушевлением и мастерством дописывать сию картину в последующие годы) по сагам раннюю и великую историю Швеции, с этой целью втягивая в неё русскую, во многом превосходя в том скандинавов В. Томсена, Т.Ю. Арне и А. Стендер-Петерсена. Для чего он обратился к информации исландского скальда XIII в. Снорри Стурлусона (содержится в «Саге об Инглингах», представляющей собой первую часть «Круга земного») о шведском конунге Иваре Широкие Объятия (его время жизни условно датируют 650–700 гг., отправляясь от условной хронологии известного шведского археолога Б. Нермана, предложенной в 1917 г. и охватывающей время правления Инглингов VII — началом VIII в.¹¹⁶). Согласно этой информации, названный конунг подчинил себе всю Свиавельди, завладел «всею Данавельди, и большей частью Саксланда, и всем Аустррики, и пятой частью Энгланда. От его рода произошли конунги данов и конунги сеев».

Мачинский, посчитав повествование саги достоверным, стал вести речь о кратковременной попытке создания тогда «скандинавской империи» от восточной Прибалтики до Восточной Англии с центром в Швеции. При этом уверяя, что свидетельство «Саги об Инглингах» о владениях Ивара Широкие Объятия

в Аустррики («Восточном государстве») подтверждается «Сагой о Скьёльдунгах». Ибо она рассказывает о походе Ивара на конунга Гардарики Радбарда (его резиденция могла быть расположена только в Нижнем Поволховье, которое, вероятно, севернее порогов первоначально именовалось Альдейгъя/Ладога, т. к. название *Aldeigja* восходит к финскому топониму со значением «Нижняя река»), к которому убежала и за которого самовольно вышла замуж дочь Ивара Ауд. Но Ивар погибает в Кирьялаботнар, т. е. Финском заливе (по версии Т.Н. Джаксон, в Карельских заливах). От брака Радбарда и Ауд рождается Рандвер, «сын которого Сигурд Хринг и является родоначальником новой династии “конунгов Уппсалы”, ведущей свой род от богов». Однако их божественное происхождение не могло основываться только по женской линии от Скьёльдунгов через Ауд, дочь Ивара Широкие Объятия, проклятого богами.

А для того чтобы предъявить читателю «мужскую линию», Мачинский обратился за помощью к О. Далину, ибо тот «в середине XVIII в. извлёк из каких-то скандинавских источников сведения о том, что Радбард был сыном Скиры и внуком конунга Ингвара из династии Инглингов, погибшего в земле эстов; именно Скира и приобрёл себе владения в Гардарики». После чего заключил: «Невозможно представить, чтобы Далин в эпоху обострений отношений между Швецией и Россией сам “придумал” происхождение шведской династии из Гардарики-Руси. Вероятнее, что в Швеции существовала такая эпическая традиция» (но именно эти обострения и заставили Далина, отравленного, как ранее говорилось, мифами своих предшественников о величии древней Швеции, создать подобные мифы, в связи с чем А.Л. Шлёцер и сказал о его «бреднях»).

Отталкиваясь от эпической традиции и «Далиновых бредней», Мачинский утверждал, что переселенцы из Швеции и южной Финляндии появились на нижнем Волхове в середине VII — начале VIII в., что в их среде «рождается та погребальная традиция (со скандинавскими элементами), которая позднее приведёт к возникновению грандиозных сопок», что они прокладывают торгово-сакральные пути в Прикамье (шёл из Средней Швеции через Финский залив и Приладожье), что одновременно с появлением скандинавов на нижнем Волхове в Приильменье и других местах Северо-Западной Руси появляются исторические славяне. А в результате взаимодействия первичных скандинавских колонистов (с которыми изначально связывается этноним «руотси-русь»), славян и финнов на этой территории складывается организм «первичной полиэтнической руси, военно-торговая верхушка которой состояла преимущественно из потомков скандинавов» (имя же «варягов» восходит к северогерманскому слову, означающему «договорник», «клятвенник», которым обозначали скандинавов, служивших в войсках Руси и Византии).

В последней четверти VIII в. эта русь «прокладывает торговый путь по Дону (и Волге?) в Халифат» (где она торговала франкскими мечами и славяно-финскими рабами), «в подражание и “в пик” тюрко-хазарской “имперской” титулатуре» именует своего владыку «хаканом» (резиденция «кагана руси» находилась, вероятно, до 860-х гг. в Ладоге, а после на Рюриковом городище). Говоря, что базовым этносом Руси стало славянство, подчёркивал: «однако нельзя отрицать, что основным языком её социальной верхушки был древне-

северогерманский язык с его разговорными изводами (на юге в Киеве, видимо, до 960-х гг., на севере в Новгороде до 980-х гг., а в Ладоге временами и позднее)». В свете сказанного Мачинский заключал, что период деятельного участия скандинавов в сложении и функционировании Русского государства и его участия в событиях и процессах, протекавших в самой Скандинавии, «можно обозначить как “русо-варяжский период” на военно-торгово-даннычески-сакральных путях Восточной Европы (Великой Свитьод)».

Причём для разных областей этот период, в который Русь получила «европейскую закваску», имел различные хронологические рамки: на нижнем Волхове он начался в пределах второй половины VII — первой половины VIII в., на верхнем Волхове и нижней Сяси — не позже рубежа VIII–IX вв., на верхней Двине, в Верхнем и Среднем Поднепровье, в отдельных точках Верхнего Поволжья — к 860-м годам. И его верхняя рамка тоже не везде одинакова: для южной, центральной и северо-восточной Руси он закончился к концу 1050-х гг., а на новгородско-ладожском севере (ибо Ю.М. Лесман обнаружил черты особой близости в погребальном обряде, одежде, религиозной символике Северной Руси и Скандинавии) в 1113–1116 гг. (такие утверждения вряд ли бы поддержал ультранорманист М.П. Погодин, первооткрыватель небывалого «норманского периода» в русской истории, который он ограничивал рамками 862–1054 гг.).

Мачинский, чтобы обезопасить свои представления о русской истории от вполне реальной критики, авансом решил дискредитировать своих будущих критиков, объясняя, что «внутренне ложными представляются понятия “норманская теория” и “норманизм”». Потому как никогда и не было такой теории, «а была “нормальная практика” — точное описание и осмысление историками и археологами на базе недвусмысленных показаний источников той исторической “практики”, которая имела место при сложении русской государственности в IX–X вв.». В связи с чем историков Руси, стремящихся к постижению истины, «можно было бы называть “русо-варяжскими”, но лучше просто считать их честными историками»¹¹⁷, т. е. кто не согласится с Мачинским, тот сам себя запишет в нечестные историки.

(В 1993 г. коллеги Мачинского В.Ю. Зуев, М.Б. Щукин, Г.С. Лебедев характеризовали его как дерзновенный первопроходец и отважный боец «на непроторённых путях, а порою и в тёмных лабиринтах исторической проблематики», в жилах которого бродит «кровинка заморского викинга»¹¹⁸. В 2023 г. пишущий эти строки специальной статьёй показал неправомерность реконструкции «отважного бойца» Мачинского истории Руси на основе саг, в которых нет абсолютных дат, в связи с чем, подчёркивают скандинависты, попытки датировать содержащиеся в них события носят весьма произвольный характер, и в которых, по их же заключению, «вероятность обнаружения... абсолютно достоверных известий практически равна нулю». Вместе с тем мною тогда были приведены мнения английского и американского учёных Г. Джонса и Т.С. Нунана по поводу Ивара Широкие Объятия, которого Мачинский, а его ультранорманизм совершил много «чудес», чуть ли не возвёл в «скандинавские императоры».

Так, в 1968 г. Джонс констатировал, что «даже когда речь заходит об Иваре Широкие Объятия, жившем в VII в., мы блуждаем в царстве фантазий», что

«авторы “Саги о Скъльдунгах” и “Круга земного” увенчали легендарного Ивара лаврами победителя примерно так же, как Гальфрид Монмутский приписал бриттскому Артуру завоевание Ирландии, Исландии, Готланда, Фарерских островов, Норвегии и Дании», что мир древних и псевдоисторических конунгов, смутно маячащих в сумерках мира, на заре истории, — «скорее, мир легенд и сказок, нежели реальной истории, и ко всему, что сообщается о них в письменных памятниках XII–XIII вв., следует относиться с большим подозрением». В 1986 г. Нунан, видя в Иваре, в лучшем случае, полуисторическую личность, подчеркнул, что было бы наивно принимать легендарные рассказы об Иваре за чистую правду и что «обширная восточная империя Ивара выглядит явно легендарной». Надлежит добавить и заключение английского исследователя Д. Хейвуда от 2015 г.: именно саги, «как ничто другое, способствовали формированию вокруг викингов — при всей неприглядности их нравов и обычаев — романтической легенды. Не будь саг, викинги, вероятно, так и остались бы затерянной в истории кучкой варваров, вроде вандалов или готов»¹¹⁹.

В 1998 г. Е.А. Мельникова вела речь о скандинавском — по преимуществу — происхождении «недавно возникшей и формирующейся в это время новой правящей элиты, сделавшей Киев своим центром». Тогда же В.С. Нефёдов уверял, что о частом использовании «пути из варяг в греки» «в зимнее время говорится в исландских королевских сагах, описывающих события первой половины XI в.», что облик похороненных в 30–50-х гг. X в. в квадратных курганах в Новосёлках (в 5 км к северо-востоку от Гнёздова) «мужчин рисуется достаточно чётко: это были скандинавы, зачастую довольно состоятельные. Женская часть коллектива состояла как из скандинавок, так и из представительниц местного балтского населения». Согласно мнению Е.А. Шмидт от этого же года, камерное погребение «по обряду трупоположения совершали преимущественно иноземцы — варяги, бывшие проездом или постоянно жившие в Гнёздове»¹²⁰.

В том же 1998 г. норвежский археолог А. Стальсберг рассматривала погребения с лодками (и женские, и мужские) в качестве только скандинавских (при этом демонстрируя, как ложная посылка приводит к ложному выводу: ладейные заклёпки, обнаруженные при расчистке находок из кургана Чёрная могила в Чернигове, представляют собой особенно важную находку, «так как она подтверждает скандинавское происхождение идола, найденного в том же кургане»), утверждала, что скандинавы на Руси «были наёмными солдатами, чиновниками, и весьма высокого ранга, торговцами, ремесленниками», что «по археологическим данным, мужчины, женщины и дети жили в городах как иммигранты или временно» и что в некоторых погребениях с ладьями «найжены мечи: на Руси скандинавы выступали в первую очередь как воины»¹²¹.

В 1998–2001 гг. шведский коллега Стальсберг И. Янсон, повторяя ранее им озвученное, не сомневался, что скандинавские древности на Руси, подавляющая масса которых относится к X в., многочисленны и разнообразны, в связи с чем переселял в её пределы своих предков для несения военной службы, занятия ремеслом и сельским хозяйством, «целыми коллективами» и «большими группами, что предполагает их постоянное проживание, нередко семьями, в городах и иногда сельских местностях», причём особенно сильным было

их присутствие в Гнёздове и окрестностях Ярославля. При этом первыми поселенцами являлась русь. Те же, кто прибывал на Русь в период христианства исключительно в качестве дружинников или купцов, «воспринимались как иностранцы, без всякой связи с ранними переселенцами, и получили название — варяги». Вместе с тем он убеждал, что ПВЛ говорит об основании скандинавами династии Рюриковичей и «создании в связи с этим самого Русского государства», что на Руси были выходцы и из Дании, и из Норвегии и что много норвежцев привела с собой на Русь в 1019 г. Ингигерда, что Бертинские анналы и Константин Багрянородный «ясно указывают, что под термином “русь” в IX–X вв. фигурировали носители скандинавского языка»¹²².

В 1999 г. директор ИИМК РАН Е.Н. Носов изложил позиции, которые определяют подходы, согласно археологическим данным, к рассмотрению варяжского вопроса: скандинавы впервые появились на Руси в середине VIII в. в Ладогe, т. е. с самого начала её существования; пласт ранних скандинавских находок VIII–IX вв. прослеживается именно в зоне Балтийско-Волжского пути (Поволховье, Волго-Окское междуречье), который начал активно функционировать со второй половины — последней четверти VIII в.; варяги-скандинавы «на Руси были представлены воинами, торговцами, ремесленниками. В ряде центров они жили постоянно, семьями и составляли довольно значительную и влиятельную группу общества» (годом ранее он скандинавов представлял ещё «князьями, чиновниками и посланниками, наёмниками и грабителями»).

Всё перечисленное, заключал Носов, вкпе с новейшими наблюдениями и выводами историков и филологов (стало быть, Д.С. Лихачёва и Р.Г. Скрынникова) создаёт «совершенно иную базу для решения многих ключевых проблем русской истории, нежели та, на которую можно было опираться несколько десятилетий назад». При этом особо подчеркнув, что проступающие контуры новой концепции истории Руси восходят не к построениям советских историков, а к русской исторической мысли начала XX в. — В.О. Ключевскому, С.Ф. Платонову и А.Е. Преснякову. Сводя варяжский вопрос к вопросу о роли скандинавов в русской истории (т. е. в изначальной своей постановке сей вопрос уже решён), учёный провозглашал, что он должен решаться на основе строгого анализа фактического материала, а не заданных идеологических установок, и, конечно, на фоне глобальной проблемы движения викингов, а не замыкаться в границах Руси¹²³.

В 1999 г. В.В. Седов утверждал, что после 882 г. и особенно в X в. ситуация в Восточной Европе коренным образом изменилась: «Археология свидетельствует о значительном наплыве скандинавских переселенцев (количество пунктов с находками вещей скандинавского происхождения возрастает в X в. до семидесяти, заметно увеличивается и число таких находок в каждом из них), начинают активно функционировать Ильменско-Днепровская и Волго-Балтийская трассы международной торговли. Наплыв варягов в Киевскую Русь был весьма и весьма обширным, они стали активной частью населения этого государства» (к сказанному он добавлял в 2002 г., что «варяги стали играть активные роли в военных, административных, дипломатических и торговых делах Древней Руси»¹²⁴).

Тогда же С.Ю. Каинов, занимаясь изучением оружия эпохи Руси, преподнёс ланцетовидные наконечники стрел, обнаруженные в Гнёздове (они составляют около 40% от общего количества наконечников, обнаруженных в русских землях) в качестве имеющих явное скандинавское происхождение. После чего резюмировал, во-первых: «Итак, кажется очевидным, что большинство ланцетовидных наконечников стрел попадало на Русь при посредстве скандинавов» (а также и ланцетовидные наконечники копий, скрамасаксы, щиты с полусферическим умбоном и мечи «каролингского» типа). Во-вторых, что такая высокая концентрация вооружения североευропейского происхождения «свидетельствует о самом непосредственном и активном участии скандинавов в составе военного отряда (дружины) Гнёздова»¹²⁵.

В 1999 г. в учебном пособии для студентов вузов византист М.В. Бибилов доносил до них как совсем уже азбучное: византийцы ещё в X в. явно разделяли росов и славян как в этнолингвистическом, так в политическом отношении, «свидетельства языка, отражённые в передаваемых в памятниках названиях днепровских порогов — “по-росски” и “по-славянски”, подтверждают, что словом *рос* Константин обозначает скандинавов: славянские наименования, передаваемые Константином, “переводят” соответствующие скандинавские топонимы». Вместе с тем он «допустимо предполагает», что византийское *рос* «непосредственно восходит не к древнерусскому *русь*, а к исходному для него древнескандинавскому самоназванию участников похода на восток от Балтийского моря *rōþer, rōþs-men*, “гребцы”», что «на исконное значение слова *рос* как самоназвания скандинавов, связанного с обозначением плаваний на гребных судах, возможно, указывает их обозначение как “дромитов” (от названия дромонов — больших византийских кораблей) в хрониках Псевдо-Симеона и Продолжателя Феофана» (хотя в первом уточняется: «Дромитами они назывались потому, что могли быстро двигаться (бегать)»).

Параллельно с тем Бибилов убеждал, что о скандинавском происхождении росов говорят, помимо Константина Багрянородного, другие византийские источники X в.: хроника Псевдо-Симеона, Георгий Амартол (по Ватиканскому списку), Продолжатель Феофана (о том же учёный вёл разговор в 2004–2013 гг.)¹²⁶ (однако и эти памятники молчат о принадлежности росов к скандинавам. В последнем из них, к примеру, сказано, что росы, «коих именуют также дромитами», происходят «из племени франков», что, по мнению учёного, свидетельствует «о норманском происхождении росов». Следует пока ограничиться заключением А.А. Горского, в 2008 г. специально рассмотревшего смысл слов «от рода франков» и усилившего свой вывод в последующих работах: «Никакого отношения к германоязычию и вообще к языковой принадлежности определение “франки”... не имело. Оно носило территориально-политический характер: франками называли жителей земель, подвластных Карлу Великому», и, таким образом, не может быть указанием на норманское происхождение руси¹²⁷).

По рассуждениям Е.А. Мельниковой того же 1999 г., во второй половине IX — начале X в. скандинавы осуществляют широкомасштабную колонизацию на Западе и Востоке Европы, а Олег Вещий, судя по сказанию о его смер-

ти, был скандинавским (возможно, норвежским) хёвдингом, предводителем одного из многочисленных отрядов викингов, приходивших на Русь в IX веке. Тогда же она совместно с Г.В. Глазыриной и Т.Н. Джексон уверяла, что к концу IX в., «после возникновения единого Древнерусского государства» число норманнов на Руси «резко возрастает и скандинавская знать, дружинники, отряды наёмников и купцов появляются в самых разных местах Восточной Европы», что в Новгороде в конце X — первой половине XI в. «постоянно находился большой или меньший контингент скандинавов», имевших теснейшие связи с Норвегией, что «знаменитые на всю Европу, викинги славились как профессиональные воины. Не случайно с конца X в. они составляют привилегированную гвардию при византийском императоре».

Факт же крайне малого числа скандинавских вещей в Новгороде эти авторы объясняли тем, что скандинавы не были рассредоточены по городу, а жили, по крайней мере большинство из них, в каком-то одном месте (впервые такое объяснение Мельникова выдвинула в 1984 г.). И таким местом, конечно, оказался летописный «Поромони двор», название которого «наиболее удачно объясняется из древнескандинавского слова *farmenn* — мн. число от *farmadr*, “путешественник, мореплаватель; купец, ведущий заморскую торговлю”. Купеческие дворы в торговых центрах нередко назывались производными от него словом *farmannagarðr*, т. е. точным соответствием летописного наименования»¹²⁸ (за филологами точно так объясняли отсутствие вещей скандинавского типа в Новгороде археологи: «видимо, скандинавы селились и останавливались не повсеместно, а в определённых квартирах и дворах»¹²⁹).

В 1999–2003 гг. филолог-германист Ф.Б. Успенский, озаботившись тем, что, по сравнению с историческими и археологическими аргументами, весьма мало лингвистических, обнаружил (и, конечно, предположительно) наиболее «сокрытые», неизвестные доселе, следы глубинного характера русско-скандинавских взаимосвязей. Исходя из собственной посылки, что «дефицит языковых данных может оцениваться как указание на особую укоренённость, исключительную близость русско-скандинавских контактов», он слово «олух» представил как скандинавское имя Олав, получившее известность на Руси, прежде всего в Новгороде, посредством распространения культа Олава Харальдссона — первого общескандинавского святого, погибшего в 1030 г. (тогда надлежит и слово «ерунда» связать с именем мифического конунга шведов Ёрунда, который был повешен, согласно гипотетической хронологической шкале Б. Нермана, после середины V в.¹³⁰).

Далее Успенский объяснял, что если бы планы родителей Святослава — Ольги/Helgi и Игоря/Ingvarra — были связаны со Скандинавией, то он, как будущий наследник, должен был бы получить скандинавское имя в честь предка по мужской линии. Однако род пришлых правителей, излагалось по шаблону «советского антинорманиста» А.М. Членова, демонстративно переориентируется на местные связи, важность прежних скандинавских связей заметно убывает, и наречение княжича славянским именем определённо показывает, что отсчёт истории рода начинается заново, «знаменует собой окончательное превращение варяжского рода в род русских князей», означает «“поворот” дина-

стии к русскому антропонимикону». Многие страницы посвятил этот мастер «полутонов, плавных переходов и тщательной отделки деталей» «открытиям», что появление у русских как отчества, так и обычая почитания нетленных мощей — это факты непосредственного воздействия скандинавской традиции на русскую, что перезахоронение останков — с их «крещением» — князей Олега и Ярополка, осуществлённое Ярославом Мудрым в 1044 г., вписывается «в возникающую после христианизации скандинавскую традицию погребения»¹³¹.

Вне связи с таким «новым словом» в науке филолога Успенского археолог Е.А. Шинаков в 2000 г. утверждал, что сознательный и самостоятельный выбор Русью христианства, независимо от Византии, «достаточно стадильно и конкретно-политически связан с выработкой аналогичной концепции в Норвегии (независимость от датской и немецкой церкви) и, вероятно, разрабатывался совместно с ней в Новгороде либо в Киеве при участии норвежской христианизированной верхушки (Олав, Магнус, Харальд и их советники и скальды) в 30–40-е гг. XI в.»¹³². «На Балтике, — уверял тогда же В.Я. Петрухин, — начиная с VI–VIII вв., столетий, предшествующих “эпохе викингов” (IX–XI вв.), от Рюгена до Пруссии, Эстонии (земле летописной чуди) и Ладоги появляются поселения с характерными чертами скандинавской культуры и могильники, содержащие сожжения в ладьях — характерный символ начальной руси, “гребцов”», норманнов. «Многочисленные погребальные комплексы, — резюмировал в тот же год немецкий археолог М. Мюллер-Вилле, — и находки на поселениях документируют пребывание скандинавов и скандинавок в различных частях Руси, но преимущественно на пути “из варяг в греки” и вдоль Волги». Присутствие скандинавов на Руси подтверждается также и специфическими чертами погребальной обрядности, например, погребениями в ладье¹³³.

В том же 2000 г. Е.А. Мельникова в соавторстве с украинским археологом В.П. Коваленко преподнесла название урочища Коровель (представляет собой узкий мыс — ширина 10–400 м, длина более 1 км — надпойменной правобережной террасы Десны с прилегающими к нему пойменными лугами, впервые упомянут в середине XVIII в.), в котором находится Шестовицкое городище, как скандинавское, якобы состоявшее из двух скандинавских слов: *kjarr* — «молодой лес, подлесок, заросли молодого леса или кустарника» в форме gen. pl. *kjarra*, а *vellir* pl. от *vollr*, m., gen. *vallar* — «поле, плоская земля», т. е. «может быть переведено как “заросшие густым подлеском поля” или “покрытая кустарником долина”, что вполне согласовывалось с характером местности, на которой располагался Шестовицкий комплекс». Микротопоним Коровель, по заверению Мельниковой, «вряд ли может иметь древнерусское происхождение, тогда как для древнескандинавских топонимов его морфология наоборот оказывается достаточно типичной»¹³⁴.

(На «коровельское открытие» филолога пришлось в 2009 г. отреагировать автору этих строк, подсказав ей такой же «аргумент» в духе О. Рудбека: название села Вельдеманово в Нижегородской области, в котором её зоркий ультра-норманистский взгляд увидит немецкие и «wald» — «лес», и «weld» — «дикий», и «mann» — «человек»/«мужчина»¹³⁵, следовательно, раннее проникновение германцев, вероятно, скандинавов, в самые глухие места Поволжья. Причём

«подлесок»=*kjarr* Мельниковой оказался очень молодым: в 1955 г. «весь мыс до самой сельской околицы был распахан и засажен сосновым лесом»¹³⁶. В 2012 г. украинский археолог А.В. Комар, относя появление Шестовицкого поселения к первой четверти X в., заметил, что по мере изменения деталей исторических концепций у авторов раскопок городища Коровель «от публикации к публикации разительным образом менялись и детали археологические: датировки, размеры, конструктивные особенности и планировка укреплений». Вместе с тем Комар сказал по поводу мнения Коваленко, что Шестовица возникла в конце IX в. как лагерь викингов и славян: площадь городища составляла не более 0,3 га, в связи с чем невозможно представить размещение здесь военного контингента, достаточного для контроля Чернигова, площадь детинца которого на начальном этапе существования охватывала около 6–7 га¹³⁷.

В 2001 г. скандинавист Т.Н. Джаксон в сочетании «*Sýrnes Gaðar*», присутствующем только в скандинавском географическом трактате «Какие земли лежат в мире» (возможно, он был составлен во второй половине XIII — начале XIV в.), увидела Гнёздово. Потому как, во-первых, знакомство скандинавов с ним ныне не вызывает сомнений, ибо документируется материалами могильника и поселения второй половины IX–X века. Во-вторых, Гнёздовское городище расположено на мысу левого берега р. Свинца, а *Sýrnes* означает «свиной мыс»: «Таким образом, транскрибирование местного названия и сопутствующее народно-этимологическое его преобразование могли в данном случае идти параллельно с калькированием первого корня», легко осуществляемым в полиэтническом Гнёздове.

Вместе с тем исследовательница утверждала, что композиты ранних королевских саг «*Austrvegr* и *Austrlond*, равно как и *Austrríki*, выступают в качестве наименования земель по пути “из варяг в греки”», что топоним с корнем *aust-* отражает «существование Волховско-Днепровского пути “из варяг в греки” и роль Руси на этом пути», что скандинавское наименование Руси *Gaðar* должно было сложиться в IX в., поскольку археологически скандинавы на Руси прослеживаются именно начиная со второй половины этого столетия, что существовали тесные и длительные полоцко-скандинавские контакты. Полагая, что одна из огласовок первого корня композита, выступающего скандинавским обозначением Киева/*Koenugaðr* явилось, как это считали, например, В. Томсен и Б. Хессельман, «следствием народно-этимологического преобразования, ориентирующегося на древнескандинавское *kœna* “лодка особого вида”», то возможно, подгоняла Джаксон это этимологическое «открытие» под сообщение Константина Багрянородного, «скандинавская народная этимология данного топонима имела в виду известную роль Киева как места сбора построенных в различных пунктах Днепровского бассейна лодок-однодеревек»¹³⁸.

В.Я. Петрухин в 2001 г. хотя и отметил затруднительность поиска исторической основы в сагах о норвежском конунге Олаве Трюггвасоне, но в то же время сказал, что «оснований отрицать его участие в распространении христианства (оглашение в Греции и даже возвращение на Русь) нет». Тогда же украинский коллега Петрухина А.П. Моця, кратко повторив свои мысли 1990 г. по поводу того, почему скандинавские источники не знают Киева и родословной Вла-

димира Святославича, «в военных формированиях которого служило много скандинавов», утверждал, что в 944 г. среди воинов Игоря в его походе на Константинополь на первом месте стоят скандинавы, что одними из первых христиан, погибших в 983 г. в Киеве, «были отец и сын родом из Скандинавии»¹³⁹.

В том же 2001 г. К. Цукерман сдвинул по вышеуказанной причине на несколько десятилетий вперёд призвание варягов: в начале 870-х гг. из Поволжья были изгнаны какие-то скандинавы. А затем, около 895 г., скандинав Рюрик и его люди высадились в Ладоге, откуда он перешёл в Рюриково городище, и что почти одновременно с этим быстро формируется большой скандинавский лагерь в Гнёздове, который послужил впоследствии базой для проникновения в эту зону русских, когда в 910–920 гг. они вступили в конфликт с хазарами. Свои рассуждения учёный завершал ответом на собственный же вопрос: как объяснить, что от значительного присутствия скандинавов «в Киеве не осталось никаких следов даже в захоронениях?»: его «концепция более чем на тридцать лет “омолаживает” и династию Рюриковичей и более чем на полвека “задерживает” проникновение руси в Киев», и если она верна, «то начальная история древней Руси должна быть пересмотрена» (т. е., во имя «объективности», урезана). Параллельно с тем он отстаивал (отмечая в данном вопросе заслуги Д.А. Мачинского и Д. Шепарда) идею существования в бассейне Волхова в IX в. (до 70-х гг.) мощного скандинавского Русского каганата (Русского государства), совершавшего походы в византийские и в прикаспийские земли, утверждал, что, согласно принятой этимологии, имя «Русь» происходит от слова «Ruotsi», т. е. шведы (а так именовали тех из них, кто обосновался за пределами родины), что в плане градостроительства в Ладоге А.Н. Кирпичников открыл «парцеллы» и сравнил их с планировкой в датском г. Рибе¹⁴⁰.

В 2002 г. «русо-варяжский историк» Мачинский убеждал, в том числе в сотрудничестве с коллегой М.В. Панкратовой, ни в коей мере не обременяя себя источниковедческим анализом, но исходя из «презумпции доверия» к «сагам о древних временах» («Сага о Хальвдане Эйстейнссоне», «Сага о Хрольве Пешеходе» и «Сага о Стурлауге Трудолюбивом»), что они отражают весьма древний пласт сведений о Северной Руси, сформировавшийся как в середине IX — середине X в., так и в период от 1019 г., до, примерно, 1070-х гг., и в те же времена запечатлённый эпической традицией и вписанный в мифологический контекст сказаний о Свитьод Великой («Великой Швеции»), содержат целый ряд ладожских топографических подробностей. Эти «ладожские саги» свидетельствуют, например, о том, что, основатель династии нормандских герцогов Хрольв-Rollo совершал походы в Восточную Прибалтику, вероятно, в 880–900 гг. и «мог действительно захватить один из городков Северной Руси и кратковременно закрепиться в нём», что эта «ладожская»/«волховская» традиция «в разных вариантах разносилась на запад скальдами, викингами, купцами и скупой и фрагментарно фиксировалась (в “русино-словенском” варианте) в русском христианском летописании» (в «былинном эпосе, в иллюстрациях Радзивилловского списка ПВЛ» и др.).

Причём, как заключали Мачинский и Панкратова, даже не потрудившись ознакомиться с азами летописеведения (т. е. это археологам, олицетворяю-

щим, по их мнению, саму Истину, ни к чему, и потому иные источники они интерпретируют, в силу укоренившейся в них «методы», как им заблагорассудится), «летописные рассказы о начале Руси, о Рюрике, Олеге, Игоре и Ольге до её крещения, если исключить договоры с греками, являются не более, чем отрывками из несохранившихся целиком русских “саг о древних временах”, сведения которых, однако, в основных чертах подтверждаются и договорами с греками, и иноземными источниками, и данными филологии, археологии, нумизматики, топонимики». Вместе с тем Мачинский и Панкратова полагают, «что введение в научный оборот ещё недооценённых сведений скандинавских “саг о древних временах”, касающихся событий, происходящих в Гардарике в VIII–X вв., расширит базу дальнейших исследований по древнейшей истории Руси»¹⁴¹ (в 1999–2000 гг. норвежская исследовательница А. Стальсберг, ведущая разговор о скандинавах на Руси, в отличие от многих наших норманистов, без юношеского восторга, напредила: «Однако надо иметь в виду, что саги являются сочинениями авторов, писавших два столетия спустя, и историческая достоверность этих произведений — предмет дискуссий среди историков. Соответствующих шведских саг нет». В 2004 г. француз Р. Буайе, говоря, что в написании истории викингов нельзя опираться на любые саги, особо подчеркнул: «саги о древних временах», а именно их и привлёк Мачинский к своим разговорам о русской истории, «представляют собой чистый вымысел»¹⁴²).

В том же 2002 г. киевские археологи Ф.А. Андрощук и В.Н. Зоценко вели речь о том, что «одним из наиболее ярких районов с чётко выраженным присутствием скандинавской вещево́й “вуали”» (например, мечи, наконечники ножен мечей, скрамасаксы) является район междуречья Днепра и Десны, и прежде всего Шестовицкий могильник (расположен по течению Десны в 18 км ниже северянского Чернигова). Как подытоживали авторы, «обзор скандинавских древностей рассматриваемого района в целом согласуется с предположением Т. Арне о происхождении большинства из них с территории Южной и Центральной Швеции» (в 1914 г. Арне, ссылаясь на многочисленность вещей скандинавского происхождения, а таковыми их посчитали и он, и его русские коллеги, объявил Шестовицкий могильник кладбищем скандинавов)¹⁴³.

Тогда же Ю.М. Лесман, рассуждая об архаичности древнерусской культуры, по сравнению, например, с той же Скандинавией, продолжил начатый четырьмя годами раньше разговор о широком использовании на Руси в XI–XIII вв. скандинавских типов женских украшений, уже вышедших из моды в регионе своего первоначального распространения. Причём всё также уверяя, что «прототипами изделий местных ювелиров стали изделия, являвшиеся дарами новой (собственно русской) социальной верхушки обслуживавшим их местным “дамам полусвета”». Скандинавское начало учёный увидел — по формуле норманистов «с той или иной долей уверенности» — и в некоторых особенностях древнерусского погребального обряда. И прежде всего в камерных погребениях X в., возникших в Скандинавии, скорее всего под христианским влиянием, и особенно распространённых в Среднем Поднепровье, а также в захоронениях, первоначально исключительно в тех же камерах, в сидячем положении.

С той же «вероятностью» он определил, что прототипами жальничных (каменных) могил на Руси (начинают распространяться со второй половины XI в. преимущественно в её северо-западных землях), а, возможно, и в Польше, послужили шведские «жальники», появившиеся в самом начале XI столетия (если не в конце предыдущего). К скандинавским прототипам, не исключал археолог, в той или иной мере восходит и столь распространённая на Северо-Западе традиция сооружения курганов с каменными оградками. В целом Лесман подытоживал (при этом констатируя, а данный факт противоречит его умозаключениям, что Центральная Швеция, которая виделась ему в качестве «основного “поставщика офицерских кадров”», отставала от Руси по темпам христианизации): судя по влиянию, оказанному на погребальный обряд, «выходцы из Скандинавии или культурно связанные с ними (ориентированные на них как на один из образцов) индивидуумы составляли в X–XI вв. заметную часть новых хозяев жизни», обосновывались в русских землях не только в городах, но и в сельской местности на длительное время, и многие из них здесь и умирали¹⁴⁴.

(А мёртвые ведь оставляют следы, если они, конечно, не научные призраки. И чтобы подобных следов было как можно больше, а именно этой идеей и вдохновлялся Лесман, да ещё, видимо, возбуждая себя мыслями о «дамах полусвета», то научной публике начали предъявлять либо «новые аргументы», либо «старые», отвергнутые археологами-норманистами. Например, т. н. «крестики скандинавского типа», хотя в 1968 г. М.В. Фехнер установила, что они появились на Руси в X — начале XI в. и не привозились из скандинавских стран. В.В. Седов в 1988 и 1995 гг., указывая на их наличие и в среднедунайских землях, также подчёркивал русское происхождение крестиков, которые «ведут своё начало из Великой Моравии», причём из Руси «какая-то часть этих крестов привезена была в Скандинавию». В 2000 г. М. Мюллер-Вилле, связывая крестовидные подвески с изображением распятия с византийской традицией, высказался в пользу того, что в XI в. они производились «в Новгороде и оттуда поступали в Финляндию и Скандинавию». О моравском характере крестиков вели речь в 2010 г. Е.А. Рыбина и Н.В. Хвощинская¹⁴⁵.

Но в связи со скудостью вещественного материала «крестики скандинавского типа» вновь зазвучали, видимо, по причине своего «скандинавского» клейма, для подкрепления норманской версии в сочинениях её сторонников. Так, в 2002 г. археолог А.Е. Мусин, констатируя, что прежде всего скандинавские учёные предполагают местом возникновения крестиков Скандинавию, но не исключая при этом возможность их изготовления скандинавскими ремесленниками в Новгороде или даже Киеве, заключил: «Таким образом, ранний тип исследуемых крестов, как и предполагал В. Седов, возникает в Древней Руси и может быть опосредованно связан с великоморавскими прототипами. Это положило начало изготовлению подобных распятий как в среде восточного славянства, так и среди скандинавов, связанных с Древней Русью». В 2010 г. украинский коллега Мусина В.Н. Зоценко утверждал, что скандинавы привнесли на Русь кресты из листового серебра, которые стали исходной формой для литых крестов «скандинавского типа», которые датируются после 950 года. А.Ю. Чу-

ракова в 2017 г., датируя появление крестиков концом X — началом XI в., упор делала на то, что их ранние находки присущи варяжской, дружинной культуре и найдены вместе с предметами скандинавского происхождения¹⁴⁶, т. е. также связывая их присутствие на Руси со скандинавами).

В 2002 г. историк А.В. Назаренко выдвинул удивительное объяснение факта отсутствия скандинавских вещей в Среднем и Нижнем Поднепровье в IX веке. По его мнению, южная русь, проживавшая в IX в. в Среднем Поднепровье, усиленно славянизировалась, предпочитая при этом «не просто говорить по-славянски (по крайней мере в международном общении), но и употреблять славянский вариант *собственного этнического самоназвания*. Это значит, что их ассимиляция славянской средой была, в сущности, полной, коль скоро она захватила даже самоназвание (скандинавоязычное по происхождению!). Иными словами, южные варяги натурализовались быстро и охотно (быть может, даже целенаправленно)». В последующие годы учёный продолжал утверждать, несколько конкретизируя свою позицию, что первоначально скандинавоязычная русь, проживавшая в 830-х гг. в Среднем Поднепровье, очень быстро, уже к середине IX в., перешла к славяноязычной форме самоназвания, т. е. стремительно ассимилировалась славянским окружением и что (сделав здесь примечательную оговорку: «если не отказываться от скандинавской этимологии слав. *rūsь*») «ассимиляция в славянской среде была, по всей видимости, сознательной, целенаправленной стратегией поведения» среднеднепровских варягов первой, до-Олеговой, волны, которая, тяготея к югу Восточной Европы, была весьма удалена от собственно скандинавских земель и, следовательно, лишена возможности постоянно получать массовые подкрепления оттуда¹⁴⁷ (в 2005 г. пишущий эти строки охарактеризовал мнение лингвиста-историка Назаренко как явно сказочная история. Позже также его рассуждения отвергли норманисты А.А. Горский, А.С. Щавелёв, А.А. Фетисов¹⁴⁸).

В 2003 г. В.Н. Седых утверждал, что Ладога, в которой сел Рюрик, «очевидно, уже до него была столицей «некоего раннегогосударственного образования», в которой сидел «хакан русов» Бертинских анналов, что именно накопленные в Восточной Европе ещё до прихода Рюрика богатства в виде дирхемов и привлекали викингов в русские земли, что при этом их основной целью было подчинение местного населения, обложение его регулярной данью, контроль над участками Волжского пути — основной магистрали поступления восточного серебра, и что ко времени Рюрика относятся первые скандинавские погребальные комплексы — Юго-Восточное Приладожье, Гнёздово, Новосёлки, Тимерёво¹⁴⁹. Тогда же украинский археолог В.Н. Зоценко, приступая к разговору о скандинавских древностях Киева (его он продолжил в 2006 г.), подчеркнул, что все центры Руси, упомянутые в летописи до XI в., в ходе археологических изысканий предстали полиэтническими территориальными образованиями с совершенно очевидной скандинавской составляющей. Очень старательно отыскивая в киевских древностях следы этой «очевидности», т. е. находки «скандинавского круга» (и потому ошибочно отнёс к ним, как подчеркнул в 2004 г. его коллега и соотечественник Ф.А. Андрощук, иные артефакты), он заключил, что «вместе с чисто скандинавскими изделиями в составе погребений Некро-

поля II убедительно свидетельствуют о присутствии в начале X в. выходцев из Скандинавии среди обитателей городища на Лысой горе»¹⁵⁰.

В 2003 г. (а тогда на государственном уровне отмечалось 1250-летие Старой Ладogi) выходят сборники, каталог эрмитажной выставки «Старая Ладога. Древняя столица Руси», монографии и статьи петербургских археологов, позиционирующих Ладогу в качестве «первой» и «древней/древнейшей столицы» Руси. С особенной силой это прозвучало на страницах каталога. Так, А.Н. Кирпичников, повторив всё ранее им сказанное по поводу Ладogi, опять же подчеркнул, что в нашей истории ей принадлежит основополагающая роль в создании русской государственности¹⁵¹. В том же духе и также дублируя прежние мысли, с добавкой, как всегда, чего-то «свеженького», излагал своё видение начала «древней славяно-скандинавской Руси» со столицей в Ладoge Д.А. Мачинский, вольно комбинируя разные точки зрения (в основе своей следуя по стопам А. Стендер-Петерсена). При этом, например, указывая, что финское наименование шведов «ruotsi» (с праформой «rotsi»), из которого «безупречно выводится славянская форма “русь”», отражает самоназвание приморских групп шведов, которые ещё на гребных судах (а парус получил у скандинавов широкое распространение в VI–VII вв.) достигали восточных финских берегов Балтики, что Рюрик (а его имя безупречно выводится из скандинавского Hroerekr/Rёрек) садится в Ладoge, куда он прибыл в том числе и по приглашению первоначальной руси-шведов, уже находившейся в Восточной Европе (насколько «безупречности» учёного ничего не стоят, следует хотя бы из признания Л.С. Клейна от 2014 г.: что отсутствует надёжная этимология термина «русь» и что «было бы легче, если бы название шведов звучало на финском как *руосси* — тогда бы *русь* образовывалась фонетически безупречно. А так есть трудности». Трудности, следует добавить, непреодолимого свойства).

А также продолжая уверять, что три скандинавские «саги о древних временах», о которых вёл речь годом ранее, повествуют о реальных событиях середины IX — начала X в. и во многом родственны древнейшим сказаниям, сокращённо изложенным в ПВЛ (включая варяжскую легенду в её «ладожской версии»). В этих сагах резиденцией конунга, т. е. столицей Гардарики/Руси всегда является Альдейгьюбог/Ладога (зачищая её окрестности под скандинавов, учёный село Городище на р. Сясь представил как Алаборг скандинавских саг). Следовательно, Рюрик, «саясь» в Ладoge, лишь продолжил давнюю традицию, по которой она была столицей конунгов, боровшихся за обладание военно-торговым путём по Волхову, ведущим на юг к Днепру и через Ильмень-Мсту — на восток и юго-восток. В связи с чем отправной точкой посольства «хакана» народа «Rhos» (шведов) Бертинских анналов была Ладога, потому как это вытекает как из всей суммы археологических источников, так и из того, что никакого другого достаточно крупного военно-торгового центра, кроме неё, «где бы уже к 830-м гг. скандинавы составляли значительную часть населения, особенно в верхних слоях общества, на территории Руси не существовало».

Ибо уже в середине VIII в. она была крупным торговым портом и перевалочным пунктом, где товары перегружались с морских судов на речные. Типично скандинавскими Мачинский охарактеризовал погребения могильни-

ка Плакун, а многочисленные кладбища Юго-Восточного Приладожья связал со смешанным финно-скандинавским населением, в котором разглядел «колябгов»¹⁵². Названный могильник, заверяли А.И. Волковицкий, Б.С. Короткевич, С.Л. Кузьмин, представляет собой единственный могильник на территории Руси, в котором все погребения совершены по обряду, характерному именно для Скандинавии: «некоторые захоронения совершены в ладьях, и на кострищах найдены корабельные заклёпки. Это обряд, характерный для викингов. Всё больший круг сторонников обретает гипотеза о связи могильника Плакун (принимая во внимание его дату) с дружинниками легендарного Рюрика».

В полном согласии с коллегами рассуждал о том же могильнике К.А. Михайлов, также представляя его в качестве древнейшего достоверно скандинавского некрополя на территории Руси. Причём большинство погребений этого памятника, существовавшего, видимо, в основном в первой половине X в., «принадлежало скандинавским женщинам, которых хоронили с украшениями и различными бытовыми предметами» (т. е. в Ладоге скандинавы проживали семьями). Но, вероятно, в числе погребённых были и мужчины (фризские кувшины типа «Татингер» могли быть привезены христианскими миссионерами, которые проповедовали среди викингов). Предположительно, погребённых (судя по множеству железных заклёпок, которыми викинги скрепляли доски своих кораблей и лодок) сжигали вместе с их лодками или с бортами старых боевых кораблей. Таким образом, особенностями погребального обряда и своими находками некрополь Плакуна напоминает небольшие кладбища шведских викингов из района оз. Меларен. «Могильник викингов» увидел Михайлов и в урочище Победище, расположенном у южной границы Старой Ладogi, большинство захоронений которого относится к X веку.

По мнению О.И. Богуславского, скандинавы, игравшие ведущую роль в завоёвывавшейся международной торговле, появились на Волхове в VIII в., что ладожане, среди которых, видимо, было много скандинавов, неоднократно проникали на территорию Юго-Восточного Приладожья, что после призвания варягов отдельные скандинавские поселенцы появляются в низовьях Паши и Ояти, выступая посредниками в меховой торговле Ладogi с местным населением, что шведские конунги конца X — начала XI в., поддерживая походы норвежцев на Ладogu, «преследовали в Приладожье свои цели, поскольку этническая традиция шведов расценивала эти земли как утраченные владения свейских конунгов». П.Е. Сорокин же не исключал, что в VIII–IX вв. большие суда викингов (кнорр и скейд) ещё поднимались вверх по Волхову, что тогда Ладogu посещали малые и большие суда викингов, что строительство клинкерных судов в Ладоге, судя по всему, первоначально было связано со скандинавской судостроительной традицией¹⁵³.

Отечественные и зарубежные учёные, несмотря на практически полное отсутствие скандинавских вещей в Новгороде (в 2010 г. археологи Е.А. Рыбина и Н.В. Хвоцинская отметили, что «в новгородской коллекции вещей удалось выделить 20 предметов, по своему происхождению связанных со Скандинавией», которые составляют, по их подсчёту, лишь 0,001% коллекции¹⁵⁴), ни капельки не сомневаются в том, что он был основан скандинавами, представлял

собой их собственный город-государство (Г. Джонс), являлся основной базой норманнов в Восточной Европе (Р.Г. Скрынников), что «вариант расшифровки одной из рунических надписей позволяет предположить наличие в Новгороде колонии скандинавов» (Д.В. Сванидзе), что в интернациональном Новгороде в X–XI вв. варяжский элемент был особенно силён и что скандинавы входили «в повседневное (а зачастую и родственное) соприкосновение с его автохтонным населением» (Ф.Б. Успенский), что среди новгородских первопоселенцев были скандинавы, т.к. в ранних слоя Новгорода выявлены «следы ритуалов северной религии, связанных с обрядами основания жилища, имеющими аналогии в материалах Швеции» (А.Е. Мусин)¹⁵⁵.

Согласно А.А. Молчанову, в Новгороде до начала XI в. был расквартирован на постоянной основе наёмный норманнский «засадный» корпус, который регулярно пополнялся новыми выходцами из Скандинавии (и, конечно, происходила естественная их ассимиляция, т. к. они обзаводились семьями, в связи с чем сложилось традиционное представление древних новгородцев о самих себе как о потомках выходцев из Скандинавии, зафиксированное ПВЛ: «суть людье новгородьци от рода варяжьска». По В.Я. Конецкому, стоит сравнить, эта фраза говорит о произошедшей консолидации славянской верхушки со скандинавами, по В.Я. Петрухину, в одном случае, «выражение *людье новгородьци* должно свидетельствовать о подчинённом положении “простых людей”» — горожан — господствующему «роду», в другом — варяжская дружина осталась на Городище без князя, т. к. Игорь и Олег переместились в Киев, «где могли претендовать на власть кагана над Средним Поднепровьем». Однако С.А. Геденов в ответ на толкования норманистами этих летописных слов в свою пользу справедливо заметил: «Тогда пусть нам укажут на следы норрены в новгородском наречии; на следы одинаковой веры в новгородском язычестве; на скандинавское начало в праве, обычаях, образе жизни древнего Новгорода»)¹⁵⁶.

В условиях такой и всё более возрастающей, если вспомнить признание М.П. Погодина, «норманской электризации», без проблем «находились» новые «аргументы» норманнской версии. Так, в 2002 г., Е.А. Мельникова поделилась выводом, что византийские и западноевропейские памятники указывают на появление скандинавов в Чёрном море по крайней мере с начала IX в., что к этому времени относится появление в Византии людей, носящих «скандинавские имена: около 825 года некий Ингер становится митрополитом Никеи; Ингером звали и отца Евдокии, жены императора Василия I (родилась около 837 года)» (на того же Ингера сослался в 2003 г. и П.В. Кузенков, говоря о возможном проникновении в первой половине IX в. выходцев из русской среды, в его понимании, скандинавской, в высшие сословия Византии).

(Озвученная Мельниковой идея имеет весьма «почтенный» возраст, хотя обычно ссылаются на мнение английского византиниста К. Манго, высказанное в 1973 г., «что ещё в конце VIII в. две норманские (скандинавские) семьи достигли Константинополя, крестились и влились в состав византийской знати». Но задолго до него Г.З. Байер в статье «О варягах», доказывая скандинавскую природу имени Игорь, делился своей догадкой: «Пришла мне на ум ныне Константина Порфирородного бабка... Εὐδοκίαν τὴν Ῥώγριναν, Εὐδοκίαν

του Ἰγγερος», «от поколения Мартинакского». После чего ему «на ум пришло» понятное заключение, принятое затем А.Л. Шлёцером: «Я лутче держу, что Ингер был скандинавского рода, нежели другаго, ибо имя скандинавское есть, и я у него скандинавского дворянства не отнимаю, как то почти каждые знатные дворяне многократно обыкли было приезжать в Константинополь, но чтоб он греческое дворянство имел, то я того не принимаю». В 1814 г. Г. Эверс, говоря в адрес норманистов, что «самое величайшее сходство не предохраняет от заблуждения», указал: бабу Констанина Багрянородного, «супругу Василия Македонянина, Евдокию, все византийцы называют дочерью благородного Ингера (Ιγγερος). Неужели этот Ингер, который, по сказанию Кедрина, происходил из Мартинакского рода, был также скандинав? По такому праву можно бы и римского полководца Руриция Помпейяна, который в 312 г. сражался с Константином за Максентия, завербовать за норманна!»).

Одновременно Мельникова убеждала, что «вместе с Олегом в Киеве, вероятно, впервые появился постоянный и значительный контингент скандинавов» и что «скандинавские по происхождению правители и их окружение заняли в Киеве господствующее положение, сосредоточив в своих руках верховную власть». При этом объясняя полное отсутствие скандинавских вещей в Среднем и Нижнем Поднепровье в IX в. особым характером первоначального проникновения туда скандинавов, кардинально отличным от их связей с Северо-Западом, где скандинавские древности представлены в изобилии (но в Новгороде их, считай, нет!). Потому как скандинавы с конца VIII — начала IX в. «разведывали речные пути, ведущие в Чёрное море через Волгу и Днепр, постепенно осваивая их. Их целью было быстрое обогащение, грабёж, а не установление регулярной торговли. Они не задерживались на своём пути и соответственно почти не оставляли отчётливых следов в материальной культуре» (однако, согласно современным зарубежным учёным, шведские торговцы и пираты «основали на востоке Киевское княжество», и что летописная традиция связывает со скандинавами основание Киева, который был анклавом викингов).

По её словам, сказанным в 2003 г., «поток скандинавов, прибывавших и частично оседавших в Восточной Европе, привёл в X в. к образованию новой военной элиты Древней Руси. Они принесли с собой собственные культурные традиции и религиозные верования, итогом чего «стало образование дружинной культуры, которая маркировала высокий социальный статус её носителей. Но, оказывается, «религиозные верования и культы, связанные со скандинавской мифологией, трудно уловимы, особенно, когда они вплетены в квази-исторические устные предания». И тому также даёт объяснение: «сказания о первых русских князьях от Рюрика до Владимира возникли и бытовали в дружинной среде, первоначально состоявшей из скандинавов, затем ставшей полиэтнической и, наконец, к XI в. включавшей по преимуществу славян». В связи с чем эта устная традиция о первых русских князьях претерпела радикальные изменения, а затем существенные модификации были внесены в сказания в конце XI — начале XII вв. при их включении в летопись. По этой причине «большинство рассказов о первых русских князьях (названных А. Стендер-Петерсеном

“варяжскими сагами”) не обнаруживает следов древнескандинавского язычества, несмотря на многочисленные параллели в саговой литературе».

Как далее утверждала Мельникова, всё же что-то «улавливая», «наиболее полно культурные традиции выявляются в сказании о князе Олеге: в соотношении его имени и прозвища, сказании о взятии им Киева и, особенно, сюжете его смерти, развёрнутую параллель которому представляет “Сага об Одде Стреле”». Интересные соответствия обнаруживает, помимо прочих, и повествование о мести Ольги древлянам в 945 г.: «все три “мести” имеют очевидные древнескандинавские коннотации» (но в ПВЛ присутствуют четыре мести). Так, во-первых, погребение в ладье — распространённый в Скандинавии ритуал, который перешёл на Русь с севера с новой военной элитой скандинавского происхождения. Во-вторых, «сжигание врага в доме — один из известных способов мести в Скандинавии, но, видимо, чуждый восточным славянам» (однако ПВЛ повествует о сожжении послов в бане). Третий же случай, «убийство послов во время пира (по ПВЛ, во время тризны по Игорю Ольга «повеле дружине своей сечи деревляны, и исекоша их 5000». — В.Ф.) может восходить как к славянской, так и к скандинавской традиции, однако второе более вероятно»¹⁵⁷.

В 2003 г. В.Я. Петрухин в книгу «Мифы древней Скандинавии», в популярной форме знакомящую читателя с картиной мира скандинава-язычника, вставил очень важные для понимания нашей истории сюжеты из ПВЛ — о призвании Рюрика, Синеуса и Трувора, об Олеге Вещем и Игоре, которые в таком контексте воспринимаются именно скандинавскими. На что, собственно, и был направлен замысел автора. К тому же выводу ведут и его пояснения: в Киеве «*основались князья скандинавского — варяжского происхождения*», имена русских князей суть скандинавские, варяги быстро перешли на русский язык, русь — это скандинавы, клянущиеся славянским Перуном, «*по своему неистовству месть Ольги не уступала мести Гудрун, хотя направлена эта месть против подвластного племени, а не чужого рода. Ольга использует для отмщения знакомые нам погребальные ритуалы — погребение в ладье и тризну, а также сожжение врагов, правда, не в пиршественной палате, а в бане*», да и Святослав, конечно, «заслужил Вальхаллу» (всё как в добрые стародавние времена: А.А. Куник в 1845 г. писал о вере этого князя в «Walhallu», а М.П. Погодин в 1859–1871 гг. разъяснял, что он «мечтал только пирах за столом Одиновым, в чертогах Валгаллы, где ожидают храбрых прекрасные девы»)»¹⁵⁸.

Вместе с тем в науку вбрасывались идеи, что в Скандинавии бытовали предания о древнейших легендарных скандинавских правителях Руси и Новгорода и что генеалогия русских князей была скандинавской (Е.В. Пчелов)¹⁵⁹ (при этом он не объясняет, почему таковой её не считают словоохотливые саги, в первую очередь уделяющие самое пристальное внимание корням тех, о ком ведут речь. «Замечательно, кстати, — отмечала, например, скандинавист Е.А. Рыдзевская, — что саги, говоря о связях скандинавских вождей и дружинников с князьями-рюриковичами», ни одним словом не упоминают о их норманском происхождении¹⁶⁰), что в основе Сказания о призвании варягов (или, как его называл А. Стендер-Петерсен, «саги о Рюрике») лежит устный «ряд» (договор), согласно которому скандинав Рюрик — удачливый вождь — был приглашён в каче-

стве князя местной знатью для защиты от внешней угрозы и обеспечения её интересов (Е.А. Мельникова, В.Я. Петрухин, Е.В. Пчелов)¹⁶¹, что основа варяжской легенды — шведская (В.К. Зиборов)¹⁶², что летописец при её создании использовал «ряд», написанный на старошведском языке и заключённый с Рюриком (А.Н. Кирпичников)¹⁶³, что именно дружины викингов «нанимали к себе на службу русские князья вплоть до XI в. и заключали с их предводителями своего рода коллективный договор» (Т.Н. Джаксон)¹⁶⁴.

Устные предания, если послушать И.Г. Коновалову, сохранившиеся в древнескандинавской и древнерусской традициях, показывают, «что основными участниками каспийских походов были, с одной стороны, норманны, приходившие непосредственно из Скандинавии, а с другой — обитатели Верхней Руси: скандинавы, славяне и финно-угры, фигурирующие в восточных источниках под названием “русы”». Причём приходившие на Каспий в IX — первой половине X в. русы действовали, скорее, в своих собственных интересах, нежели в интересах Киева или, тем более, Константинополя¹⁶⁵. Зазвучали голоса и о более важной роли, по сравнению с летописями, скандинавских памятников для изучения истории Руси. Так, согласно рассуждениям Д.В. Сванидзе 1999 г., «важность использования этих источников состоит в следующем. В отличие от летописей, скандинавские саги и включённые в них скальдические стихи, а также рунические надписи отражают не книжную традицию передачи информации, а ту, которая существовала в массовом сознании. Кроме того, древнейшие списки саг (XII в.) на 200 лет старше древнейших списков русских летописных сводов» (хотя тут же следуют слова, перечёркивающие сказанное: «Трудность их использования для решения норманской проблемы состоит в том, что они повествуют лишь о событиях не ранее X в.» и что ни в одной из них нет намёка на скандинавское происхождение русских князей)¹⁶⁶.

Всё больше набирал обороты тезис (хотя он и торпедировал шведский взгляд на нашу историю, и потому-то категорично отвергался ультранорманистами А.А. Куником и М.П. Погодиным), что Рюрик есть Рорик Фрисландский. И весьма важную роль, по его собственному признанию, в «заманчивом отождествлении» Рюрика и Рорика сыграли в 1993–2001 гг. «генеалогические» разыскания историка Е.В. Пчелова (сразу же ставшие ложной «лоцией» для многих учёных, вдруг обретших такую богатую скандинавскую родословную у летописного Рюрика, уходящую чуть ли не в допотопные времена). Согласно этим разысканиям, Рорик-Рюрик по мужской линии принадлежал к знаменитой датской династии Скьёлдунгов, ведущей своё происхождение от сына Одина Скьёльда (эту сказочную династию Л.П. Грот метко сравнила с «династией Горюховичей»), «был или сыном, или внуком конунга Хальвдана» (отцом которого являлся легендарный конунг данов Харальд Хильдитенн — Боезуб, Боевой Клык, Клык Битвы, проживший 150 лет и зашибленный дубиной Одина). Его семья была связана родственными узами с датскими и норвежскими династиями, в круг его родственников входили самые известные политические деятели Скандинавии конца IX — начала X в., а Русь как бы включается в систему мифологии, становясь владением одного из сыновей Одина — Сигурлами, короля Гардарики (Руси) и основателя рода «русских конунгов», заканчивающегося

Иваром, предком Рорика. Свои безответственные рассуждения Пчелов завершал однозначным выводом: «История рода в древнейшее время — это и история рождения и становления Древнерусского государства»¹⁶⁷.

В связи с полным отсутствием топонимических следов пребывания норманов на Руси (по сравнению с другими странами и землями, где они бывали) такие «коровельские» следы наши норманисты находят: что в названии высокой обрывистой неприступной скалы Коростынь в Южном Приильменье немецкий славист Г. Шрамм увидел в 1981 г. древнесеверное *skórosten* — «рубежный камень, пограничная скала» и что, как в 1999 г. заключали, с ссылкой на него, лингвист А.С. Герд и археологи Г.С. Лебедев, В.А. Булкин, В.Н. Седых (и рассуждая о «славяно-варяжском синтезе», лежащем в основе становления Русского государства), «в круге топонимов типа “Веряско” (на Ловати), “Веряжа” (в Поозерье) подобный скандинавизм не выглядит неожиданным» (эти слова были повторены в 2005 г. в посмертном и весьма расширенном переиздании монографии Г.С. Лебедева «Эпоха викингов в Северной Европе») ¹⁶⁸.

(В данном случае нельзя не вспомнить размышления норвежца Б.А. Клейбера. В 1960 г. он, идя в русле идей А.И. Соболевского, М. Фасмера, А. Стендер-Петерсена, но не принимая их мнения, что название древлянского Искоростеня производно от личного скандинавского имени, увидел в нём древнескандинавское *Skoresten* — «Скала с зарубкой»/«с углублением», где древнешведское *skora* — вырез, зарубка, т. к. посреди р. Уж, на которой стоит город, возвышается скала с углублением, при этом поясняя: «...Область древлян со времени Олега была в варяжских руках и поэтому нет ничего невероятного в том, что за словом *Искоростень* скрывается скандинавское название». Затем, ведя речь о возвышенности около Коростыни, заключил, также демонстрируя, как всё можно просто привести к шведскому знаменателю: «Здесь, правда, нет такой местной достопримечательности, как скала с углублением, но расположение на крутом, обрывистом месте уже является достаточным основанием предполагать и здесь скандинавское название, близкое к **Skoresten*»¹⁶⁹).

Разумеется, массово тиражировалась идея об истинности только скандинавской этимологии имени «Русь». Причём, с изобретением «аргументов» в её пользу (которые не приходили в голову даже лингвистам), застрельщиками в чём были археологи. Так, Г.С. Лебедев в 1999 г., развивая мысль, высказанную им в советскую эпоху отдельно и в содружестве с А.Н. Кирпичниковым и И.В. Дубовым, заявил, что помимо реконструированной Томсеном «архаической исходной формы *rota(z)*» (от которой якобы цепочка «*ruotsi*-русь»), «следует учитывать достоверную, отмеченную в памятниках не позже XI в., форму *ruth*», присутствующую в рунических надписях только среднешведской области Упланд. Ибо «лингвистически *rip* (с зубным *p*, близким современному английскому *th*) естественно и закономерно переходит как в финское *ruotsi*, так и в славянское *русь*. Древнесеверная форма может быть исходной для обеих одновременно: в одном случае, с этнической спецификацией (у финнов — для обозначения шведов), в другом — с социальной (княжеская дружина, прибывшая к славянам с варяжским князем, эти викинги назывались *русь* и Рюрик взял с собой “всю свою русь”»).

И хотя парусное мореплавание на Балтике начинается не ранее VII в., гребцы, «образующие команду — *ruth*, были важным компонентом древнесеверной социальной организации в I–VII вв., а с появлением паруса она, естественно, стала основой военной организации морских дружин викингов», и что «член такого экипажа — *русин* (форма уже собственно восточнославянская) в княжеском войске Рюрика-Ярослава может быть опознан в известном персонаже статьи 1 краткой редакции “Русской Правды”» («возможна, — добавлял Лебедев, — хотя небесспорна, связь термина *rip* (“морское войско”) и с готским *hrodh* (“слава”), предполагавшаяся А.А. Куником») ¹⁷⁰ (но при этом почему-то не сказав, что лингвисты В. Томсен и Ф.А. Браун отвергли такое «предположение» как с исторической, так и с лингвистической точки зрения).

В 2003 г. лингвист А.Е. Аникин пришёл к выводу, что «попытка опровергнуть “норманскую” этимологию и обосновать южнорусское, азовско-черноморское происхождение» данного имени, как это делал его учитель О.Н. Трубачёв, представляется очень спорной. А утверждение, что **rōtsi* должно было превратиться в **Ручь* или **Руць*, «отчасти снимается допущением относительной древности субституции п.-финск. **-ts->*рус. *-с-*; *-ч-* или *-ц-* вполне возможны в более поздних заимствованиях», и что вместе с тем возможно прямое заимствование «в рус. из др.-сканд. *rōþs*» (насколько археологи самоуверенные в своём «всезнаестве», в том числе видно из того, как В.С. Кулешов в 2007 г. «вразумлял» даже «своего» Аникина, тогда ещё член-корреспондента РАН: «Так ли необходимо обращаться непременно к **rōþ-s-* (эта реконструкция неоднократно критиковалась), а не непосредственно к *rōþ?*») ¹⁷¹.

Параллельно с тем звучало, как это, например, делал в 1998 г. И.Н. Данилевский (об этом он говорит и сейчас) с ссылкой на Г.А. Хабургаева, что необходимо договориться об отделении вопроса о происхождении и первоначальном значении слова «Русь» от проблемы происхождения Древнерусского государства. Хотя историк всё же заострил внимание на двух обстоятельствах, уже не позволяющих, по крайней мере, абсолютизировать скандинавскую этимологию: «Однако сколько-нибудь убедительной финно-угорской этимологии слова *ruotsi* лингвисты предложить так и не смогли», и что этот термин в собственно финно-угорской языковой среде использовался для наименования представителей различных этносов: шведов, норвежцев, русских и, наконец, самих финнов ¹⁷².

В то же время шло активное навязывание норманистского прочтения сложнейших восточных источников, в чём особое рвение проявляли опять же археологи, полностью идя в русле слов М.П. Погодина, поставленных под сомнение В. Томсеном: «Арабские свидетельства о наших руссах совершенно согласны со скандинавскими» ¹⁷³. В 1995 г. имярек К. Иванов заверял, что «в текстах арабских хроник можно найти немало деталей, свидетельствующих о значительном сходстве в обычаях и традициях русов и норманнов»: большие длинные дома, одежда русов, их оружие, например, франкские мечи, наконец, «обряд сожжения знатного руса в ладье, хорошо известный в Скандинавии, особенно в Средней Швеции».

Тогда же В.Я. Петрухин утверждал, обратившись к описанию Ибн Фадланом кремации знатного руса в ладье, что обряд этот характерен для скандинавов.

Потому как он соответствует завету Одина, который «постановил, что всех умерших надо сжигать на костре вместе с их имуществом» и что каждый должен прийти в Валгаллу с тем добром, которое было у него на костре. Но у арабского автора всё изложено не по «завету Одина»: имущество умершего руса было разделено «на три трети, одна [треть] — для его семьи, [одна] треть на то, чтобы скроить для него одежды, и [одна] треть, чтобы из неё приготовить набиз, который они пьют» десять дней до похорон (да и о сожжении его имущества не сказано ни слова)¹⁷⁴ (а вот литовцы, сообщает «Немецкая рифмованная хроника» XIII в., своих мёртвых «сжигали вместе с их вещами. Копья, щиты, брони, коней, шлемы, палицы, мечи сжигали по их воле»¹⁷⁵, т. е. жили они точно по «завету Одина», следовательно, их надо считать норманнами).

В 1998 г. (затем и в 2019 г.) И.Н. Данилевский привёл слова Г.С. Лебедева, что все детали описаний восточными авторами руси «полностью совпадают с тем, что известно о *варягах* по археологическим данным». Одновременно В.Б. Перхавко вёл речь о том, что Ибн Фадлан сообщает «об участии скандинавских женщин вместе с мужьями в дальних торговых поездках». Тогда и Петрухин был твёрд в словах, что восточные авторы именовали скандинавов ар-рус (их нападение на Севилью в 844 г. — это нападение норманнов), что путь «из варяг в греки и из грек» «огibal Европейский континент и, видимо, был привычным и для руси, и для варягов», что «для дружин ранней руси, ещё сохранявшей скандинавские традиции, характерно присутствие женщин — такие “девушки”-джарии сопровождали, к примеру, русов в их торговой экспедиции в Болгар на Волге — там их описал Ибн Фадлан», что информация Ибн Русте (930-е гг.) о нахождении страны *ар-Русийа* на острове, возможно, восходит к воспоминаниям о заморской родине варягов-руси, что обряд погребения в камере, описанный последним, практически неизвестен на Руси в IX в., зато характерен для шведской Бирки (как раз расположенной на острове)¹⁷⁶.

В 1999 г. И. Измайлов преподнёс русов Ибн Фадлана в качестве шведов (в значительной части) и утверждал, что обряд ритуального повешения болгар, отражённый тем же автором, несомненно, «ведёт своё происхождение от скандинавской традиции». Годом позже Петрухин подчеркнул, что на роль острова русов Ибн Русте «более всего “подходит” остров Бьорко на озере Меларен в Средней Швеции, где был расположен крупнейший город эпохи викингов Бирка и начинался путь из варяг в греки». В XIX в., говорил в 2000–2002 гг. (затем в 2009–2012) Е.А. Шинаков, опираясь на контент-анализ, Х.М. Френ, А.А. Куник, В.Р. Розен, Ф. Вестберг установили факт, основательно «забытый» в середине XX в., что «при описании “русов” и “славян” восточные авторы имеют в виду разные не только в социальном, но и в этническом плане общности»¹⁷⁷.

В 2001 г. И.Г. Коновалова заключила, что до начала XI в. в мусульманской историко-географической традиции не существовало особого термина для наименования скандинавов: их «мусульманские авторы включали в этносоциальную общность, обозначаемую ими понятием *рус*, значение которого было подвержено изменениям: если авторы IX в. рассматривали русов как социальную группу, занимавшую особое место среди *сакалиба*, то в источниках X в. (в частности, в известном рассказе о трёх “группах” русов) под термином *рус* уже под-

разумеается всё население древнерусских княжеств». А обратившись к сообщению Плано Карпини, что в Ургенче до монголов было немало русских, она не исключила, что там «могли оказаться вынужденные к тому обстоятельствами участники русских походов на Каспий IX–X вв.», т. е. скандинавы¹⁷⁸.

В том же 2001 г. Петрухин, рассматривая сочинение Ибн Русте, уверял, что исследователи давно отыскивали достаточно обоснованные и важные «параллели практически ко всем реалиям, описанным в тексте, в скандинавском быте эпохи викингов — в правовых обычаях, традициях жертвоприношения (через повешение), обряде погребения в камере и т. п.», и что, может быть, информация восточных авторов об острове/полуострове русов относится всё же к Скандинавии. А двумя годами позже выдал, видимо, под влиянием вывода Лебедева от 1978 г., обычай умывания русов, зафиксированный Ибн Фадланом, за скандинавский, ибо способ умывания снизу, из таза, «несвойственен народам Восточной Европы, в том числе славянам — они использовали рукомойник; этот обычай присущ народам Европы Северной».

К такому «умывальному аргументу» в пользу русов-скандинавов арабского автора Петрухин добавил подобные: «мы можем догадаться», что набизом было любимое скандинавами пиво, что «ангел смерти», как «мы узнаём», — это воплощение смерти великанша Хель скандинавской мифологии, что «нас не удивляет чрезмерный смех, которым сопровождал участник похорон завершение ритуала. Этот смех в эпоху викингов означал не только достижение умершим рая, но и презрение к смерти», что «не удивляет и пьянство на похоронах — мы помним, что ещё германцы были неводержанны в потреблении пива, и даже один из Инглингов погиб, упав в пивной чан», что умершего скандинава, согласно требованию Одина, «нужно было сжигать вместе с имуществом (и русы в описании Ибн-Фадлана следовали этому завету)», что русу *«положили в могилу лютню, а девушка-жертва долго исполняла погребальную песнь. Арфа посылала весть в иной мир, была связана с путешествием на тот свет. Но рус отправлялся в загробный рай, к Одину, который был и богом поэзии»*.

Так рассказ Ибн Фадлана о похоронах руса предстал, по воле археолога, старательно находящего ему хоть какие-то параллели в сагах (с тем же успехом можно найти подобные параллели в памятниках многих народов, на что обращала внимание в 1968 г. Н.Н. Велецкая), в качестве рассказа о погребении норманна-викинга-«русского вождя», умершего далеко на Востоке — на Волге. «Неудивительно, — призывал археолог читателя уже в который раз не удивляться его натяжкам, — что правители Швеции и Руси в X веке следовали завету Одина: ведь, возможно, они принадлежали одному роду — роду Инглингов, а родоначальником этого рода и почитался предок Фрейра — Один»¹⁷⁹.

В 2002 г. Г.В. Глазырина обнаружила «параллель» описанию Ибн Фадлана быта русского царя (он восседает на огромном роскошном ложе, с которого взбирается на лошадь и на который же сходит с неё) в описании поздней «Саги об Ингваре Путешественнике» (создана не ранее середины XIII в.) въезда Ингвара и Энунда верхом в зал к высокому сидению конунга Эймунда. Обнаружила и тут же резюмировала: «Итак, согласно Ибн Фадлану, в X в. в Скандинавии су-

ществовал обычай, позволявший правителю, который намеревался куда-либо отправиться, велеть ввести коня в зал; аналогично, когда он возвращался домой, он на коне подъезжал к своему ложу или сидению... и лишь тогда спешился. ... Судя по тексту саги, въехать в зал на коне дозволялось не только самому конунгу, но также и наиболее высокопоставленным или желанным гостям хозяина» (в 2011 г. это «открытие» специалиста по сагам использовал в системе своих доказательств Петрухин. Смело можно сказать, что они, если объединят свои усилия, непременно найдут в сагах параллели и тому, что царь русов, также не сходя с ложа, удовлетворяет «некую потребность... в таз»)¹⁸⁰.

Тогда же В.Б. Перхавко опять же без каких-либо колебаний заключил, что Ибн Фадлан подробно описал пышные похороны знатного руса скандинавского происхождения (хотя одновременно В.В. Эрлихман говорил, а как тут не вспомнить слова В. Томсена, что «любая теория происхождения руси может находить себе кажущуюся опору в сочинениях восточных писателей», иное: арабский автор в 922 г. встретил на Волге «русов», которые по всем признакам были явными славянами). В тот же 2002 г. В.Н. Седых отмечал, что «увеличение торговой и политической активности скандинавов в IX–X вв. засвидетельствовано письменными источниками — русские летописи, сообщения восточных авторов (Ахмед Ибн-Фадлан, ал-Балхи и др.) и скандинавские саги, а также археологическими и нумизматическими данными»¹⁸¹ (стоит вновь сказать, что иностранные учёные далеко не столь категоричны, как их коллеги из России. Так, например, П. Соьер резюмировал, что большинство известий восточных авторов о русах, «вероятно, относится именно к моментально ассимилированным скандинавам с берегов Днепра», потому как не видел в этих сообщениях, как и некоторые его предшественники, ничего норманского. Д.Э. Монтгомери в 2000 г. выделил в рассказе Ибн Фадлана скандинавские, хазарские и славянские элементы. П. Урбанчик, согласившись с таким выводом, в свою очередь констатировал, что хотя Ибн Русте удивительно много сообщает о русах, но при этом не связывает их ни с одним известным народом, «что также не позволяет нам предложить какую-либо определённую идентификацию». Та же неопределённость, подытоживал польский учёный, характерна и для ал-Ма‘суди, указывающего, что русы — это многочисленные народы¹⁸²).

В 2001 г. востоковед Т.М. Калинина, специально обратившись к сообщению «Книги стран» (примерно 889–891 гг.) арабского историка и географа ал-Йа‘куби (долго именуемого в науке, по одному из его прозвищ — «писец», «секретарь» — ал-Катибом) о набеге русов на Севилью в 844 г. («вторглись *ал-маджус*, которых называют *ар-рус*. Они брали жителей в полон, грабили, жгли, убивали»), признала, что это известие не имеет пока удовлетворительной интерпретации. Однако затем стала уверять, что, «вероятнее, его совершили даны или норвежцы (или отряды и тех и других)», т. к. шведы-свеоны «в ту же эпоху осваивали преимущественно территории Восточной Европы и Прибалтики». Поясняя, что те авторы, «которые имели конкретные известия о набеге 844 г., не связывали разбойников, нападавших на Севилью, с именем *ар-рус*, а называли нападавших *ал-маджус* и *ал-урдуманийун*», Калинина отметила: «Арабские писатели не соприкасались, как правило, с представителями скандинавов».

Но тем не менее можно полагать, что они «отличали западноевропейских норманнов — *ал-маджус* или *ал-урдуманийа* — от восточноевропейских — *ар-рус*, другие же не имели точных и достоверных известий, что и вызвало замену одного термина другим» (в 2009 г. исследовательница говорила несколько иначе, но столь же непреклонно: «Автор называет русами норманнов, нападавших в 843–844 гг. на атлантическое побережье Франции и Испании. ... В XIX в. указанный фрагмент послужил существенным доводом учёных, отстаивавших, со ссылкой на данные ал-Йа‘куби, идентичность русов и норманнов. В ряду восточных авторов ал-Йа‘куби — единственный, кто напрямую отождествляет эти народы»). Заключению Калининой эхом поспешил отозваться в том же 2001 г. Е.В. Пчелов: «“Русами” назвали напавших в октябре 844 года на Севилью язычников-норманнов (“маджус” — “огнепоклонников”) арабские авторы» (в 2010 г. он подчеркнул, заручаясь ал-Йа‘куби, «тождество русов и норманнов в представлениях арабского мира»)¹⁸³.

Сказанное Калининой по поводу ал-Йа‘куби требует обращения к истории вопроса. В 1862 г. С.А. Геденов, заостря внимание на том, что имя «русь» применительно к скандинавам появляется на Западе только раз и только у одного писателя, установил, что этот факт является плодом осмысления ал-Йа‘куби двух категорий источников. По западноевропейским сообщениям он знал, что ал-маджус разорили Севилью в 844 г., а по арабским, что эти же ал-маджус «приходят для торговли в Итиль и Болгар и слынут у его единоверцев под общим именем *русь*». После чего в конечном итоге соединил в одно полученные им из двух разных источников сведения и разорителей Севильи называет «неверными, которых именуют русью». Тогда же А.А. Куник, отметив, что в 1838 г. Х.Д. Френ, найдя «известие о “маджус, именуемых русь”, сообщил оное в историческую литературу со следующим отзывом: “Я хочу только к твёрдому основанию, на котором стоит старое мнение (о норманском происхождении варяго-руси), прибавить ещё один хороший камень, который даст ему большую прочность”... Френ воображал, что эти маджус или норманны принадлежат к тем, которые называли себя русью, и многие тотчас протрубили об этом, как, напр., Сенковский, Савельев, Крузе и пр. В первый раз этот набег норманнов обстоятельно, по многим источникам, рассмотрен был мною в 1845 г. с целью — доказать, что эти грабители Севильи принадлежали к шведскому народу». Но вслед за тем Куник признал, что его «доказательства вышли неудачны».

Первый шаг, как подытоживал учёный, к строгой оценке слов ал-Йа‘куби сделал в 1849 г. французский ориенталист Ж.Т. Рено, указав на мнение Мас‘уди, «который, говоря о маджусах 844 года, *предполагал*, что они были руссы», а Геденов, совершенно независимо от других исследователей также заметил, что свидетельство ал-Йа‘куби «не даёт настоящей опоры норманнской системе. Действительно, свидетельство этого араба, писавшего в 891 году, не имеет безусловного достоинства, а представляет только *личный* взгляд арабского географа и этнографа. ... Коротко сказать, Ахмед-эль-Катиб, по моему мнению, хотел только сказать, что маджус 844 года суть те же самые, которых другие (византийцы и арабы на Средиземном море?) называют “русь»» (свой вердикт Куник ещё раз повторил в 1870 г.: ал-Йа‘куби «хотел только сказать, что языч-

ники 844 года принадлежали к тем самым морским разбойникам и торговцам, которые в его время (т. е. около 890 года) на берегах Чёрного и Средиземного морей были известны под название Русь или 'Рѡс', т. е. отождествил норманнов «с пресловутыми 'Рѡс своего времени»).

В 1870 г. востоковед А.Я. Гаркави, напомнив, что сообщение ал-Йа'куби наделало вначале много шума в научном мире России и что норманисты поспешили воспользоваться им «для подкрепления своей партии», пришёл к выводу: слова «ал-маджус, которых именуют ар-рус» принадлежат не ал-Йа'куби, а его переписчику 1252 г., принявшему ошибочное и робкое отождествление ал-Мас'уди ал-маджус — огнепоклонники, язычники — с русами за истину. Переписчик полагал, что Чёрное и Азовское моря соединяются проливом с Океаном на севере, откуда и прибыли маджусы. А так как, по его словам, по этим морям плавали только русы (почему он и называл их морем русов), то и высказал догадку о тождестве последних с нападавшими. Годом позже Д.И. Иловайский заключил, что странное известие ал-Мас'уди, каким бы ни было его происхождение, «не заслуживает никакой веры: латинские летописцы, перечислявшие нападения скандинавов на Западную Европу, говорят обыкновенно о норманнах и совсем не знают скандинавской руси. И конечно, если бы она существовала, то была бы им известна». Затем В. Томсен, указывая, что норманны не могли сами себя назвать именем «Русь», подчеркнул: «...Мы не можем приводить ни слов Ахмед ал-Катиба, ни мнения Масуди в положительное доказательство того, что руссы арабских писателей суть именно норманны. Однако... по впечатлению самих арабских писателей, норманны, опустошавшие Западную Европу, были не кто иной, как знакомая им русь».

Востоковед В.Ф. Минорский в 1964 г. утверждал, что слова, народ «ал-Маджус, который называется ал-Рѡс», относятся к норманнам. А.А. Горский в 1989 г., считая, что набег на Севилью совершили норвежцы, резюмировал: в Западной Европе они «называли себя именем, которое у арабов звучало как “рус”, т. е. также, как название восточноевропейских русов, известное арабам благодаря контактам с народами Восточной Европы». Но это тогда не согласуется, правомерно заметил историк, с гипотезой «о восточноевропейском происхождении названия *русь* как восточноевропейской передаче финского обозначения шведов *Ruotsi*». В другой публикации он высказался более конкретно: надо тогда отказаться от точки зрения о восточноевропейском происхождении названия «русь», господствующей в науке, и признать, что им могли называть себя норвежские викинги на Западе. В 2014 г. польский археолог П. Урбанчик, приводя точки зрения некоторых учёных по поводу русов, напавших на Севилью, резюмировал, по сути, созвучно с Горским, что это известие есть недоразумение, поскольку арабы в Магрибе и Испании не стали бы называть скандинавов русами, именем, которое использовалось только на востоке¹⁸⁴.

В той же статье «Арабские учёные о нашествии норманнов на Севилью в 844 г.» 2001 г. Калинина (повторив сказанное в 2009 г. в хрестоматии «Древняя Русь в свете зарубежных источников»), рассматривая информацию арабского автора ал-Мас'уди (ум. 956), содержащуюся в его «Золотых копиях и россыпях самоцветов», о том, что русы есть «многочисленные народы, имеющие

отдельные виды», и что один из них называется «Луда‘ана», увидела в «Луда‘ана», вслед за Й. Марквартом и В.Ф. Минорским, искажённое написание «западноевропейского названия норманнов: *лордманн*, в арабо-испанских источниках — *ал-урдуманийа*» (но столь же близкими к «истине» являются мнения учёных, что это ладожане, уличи, ленчане, литовцы, киевляне, готландцы, а в понимании ираниста Б.Н. Заходера, «Луда‘ана» есть «испорченное обозначение евреев “ар-раданийа”»). Стоит добавить, что слово «ал-Куз.кан», которым ал-Мас‘уди в другом своём сочинении — «Книга предупреждения и пересмотра» — именуется один из видов русов, востоковед представила в той же «Хрестоматии», вновь не утруждая себя анализом, неверной передачей названия русов Луда‘ана¹⁸⁵.

Чтобы ещё больше (если не окончательно) заставить массового читателя уверовать в норманизм, археологи — В.Я. Петрухин и А.Н. Кирпичников — в 1997 и 2002 гг. десятками тысяч растиражировали посредством журнала «Родина» нововыявленный ими «аргумент» в пользу норманства руси — фото материализованной фикции норманистов, невероятно улаждающей душу шведов (так и не забывших свои поражения и триумфы русских) — стелы «первым русским князьям-скандинавам Рюрику, Олегу и Игорю», установленной в шведском портовом городе Норчёпинге в 1960-х гг., когда в СССР разворачивался «скандинавский бум» (на ней, увенчанной бронзовым норманским кораблём, выбиты даже «портреты» этих небывалых шведов и дата 862. С того времени фотография этого памятника фальшивому событию в русской и шведской историях прописалась в работах норманистов)¹⁸⁶.

С той же целью и археолог С.Ю. Каинов (в соавторстве с О. Фёдоровым) в 1998 г. представил на страницах альманаха российской военной истории «Военная иллюстрация» внешний вид знатного скандинавского воина русской дружины середины X в. (его конный «портрет» вынесен на обложку альманаха, и он теперь галопом «скачет» по другим изданиям). Говоря о скандинавской героической эпохе викингов, авторы утверждали, например, о том, что первоначально русские дружины состояли из скандинавов, что социальные верхи Русского государства на начальных этапах древнерусской истории тоже были представлены скандинавами, что присутствие скандинавов на Руси и их высокий социальный статус подтверждается данными археологии — во многих важнейших торгово-ремесленных пунктах обнаружены богатые погребения и свидетельства постоянного проживания скандинавов, что скрамасаксы попадали на Русь из Скандинавии, а изображённая «реконструкторами» на кисти скандинавского воина татуировка основана на словах Ибн Фадлана¹⁸⁷.

Варяжский вопрос в норманистской трактовке зазвучал, что симптоматично, и в устах весьма влиятельных политических фигур. В 1998 г. в сборнике «Викинги и славяне. Учёные, политики, дипломаты о русско-скандинавских отношениях», вышедшем в северной столице, её мэр А.А. Собчак утверждал (по подсказке местных археологов), что «великим событием было появление на Руси скандинава Рюрика, возможно, отправившегося туда из Средней Швеции», что Ладога «стала столицей новообразованной империи, занявшей первоначально северную часть Восточной Европы, а затем и её южные области с Киевом во главе. Тогда при участии норманнов было положено начало государствен-

ным институтам и основана правящая династия Рюриковичей. Так сформировалась Русская держава, ставшая могущественным фактором европейской истории»¹⁸⁸ (видимо, те же слова норманистам очень хотелось услышать, чтобы придать ультранорманизму официальный характер, какой он имел в до-революционной России, и от президента В.В. Путина. Но президент ни после встречи с ведущими историками-норманистами в 2001 г. в Кремле, ни после того, как дважды, в 2003–2004 гг., посетил раскопки Старой Ладogi, которые вёл А.Н. Кирпичников, эти слова не произнёс. Несомненно потому, что ему понятен политический подтекст норманской версии, о котором предельно точно сказал в 1968 г. эмигрант М.Д. Каратеев, очень тревожась за судьбу своей Родины, которая превратила его в изгоя).

В целом же абсолютизация скандинавов и их роли в русской истории настолько уже стала зашкаливать к концу 1990-х гг., что академик Г.Г. Литаврин вынужден был заметить в 2000 г., что «концентрация внимания только на деятельности норманнов на Руси не может удовлетворить современную науку»¹⁸⁹. То, что сказал византинист, исповедовавший норманизм в силу только традиции, не более, видел, конечно, не только он один. Но тогда повальной норманизации первых веков русской государственной жизни, идущей всё более усиливающимся потоком, очень мало кто открыто противостоял (наверное, только А.Г. Кузьмин и его ученики, причём особым рубежом в их борьбе против норманистской неправды, явились вышеупомянутая калининградская конференция 2002 г. и выход в следующем году «Сборника Русского исторического общества» под тематическим названием «Антинорманизм», что и позволяет вести речь о состоянии современного ультранорманизма по 2003 г. включительно и после). А такая ситуация объясняется тем, что настолько мощным и чуть ли не всем убедительным казался разговор, вышедший за рамки науки, огромной армии отечественных и зарубежных норманистов, включая самых именитых.

И весьма показательно, что в нашей науке, в атмосфере повальной норманизации начала и становления русской государственности, шумный норманистский разговор, подогреваемый разнообразными СМИ и всевозможными грантами, включая заграничные, встретил существенное возражение со стороны человека, который не сомневался во временном присутствии скандинавов в Северной Руси. Им оказался не гуманитарий, а известный химик, ныне покойный доктор химических наук А.Л. Шилов (его труды по топонимике высоко ценили языковеды, подчёркивая, что они «заняли видное место в отечественной топонимике, исторической лексикологии и этимологии, в том числе в исследованиях берестяных грамот»¹⁹⁰). В 1999 г. он на страницах ведущего лингвистического журнала «Вопросы языкознания» продемонстрировал в небольшой, но содержательной статье («Есть ли скандинавская топонимия в Карелии?») несостоятельность доводов норманистов. И в первую очередь лингвистических и археологических, т. е. тех китов, которые только и обеспечивают плаучесть и жизнедеятельность шведского взгляда на историю Руси.

Статья Шилова привлекает своей основательностью и обоснованностью. Во-первых, исследователь указал, обращаясь к вопросу о скандинавской топонимии в Карелии, что он должен «рассматриваться по следующим пунктам: по-

казания археологии; показания письменных источников; показания антропонимии; показания топонимии. Без рассмотрения первых пунктов приступить к последнему нет смысла, ибо большинство топонимов любой территории при желании могут быть возведены к лексике любого языка путём “этимологической пытки”». Во-вторых, напомнил простой факт, на котором акцентировали внимание Е.А. Рыдзевская и Х. Ловмяньский: а priori ясно, «что временные находники топонимии не создают... она возникает лишь в результате сколько-нибудь постоянного присутствия пришедшего населения».

Правоту своих слов Шилов продемонстрировал на примере северо-западного Приладожья: в шведских писцовых книгах 1618 и 1631 гг., составленных после захвата этой территории, присутствуют те же названия, что и в русских документах конца XV — второй половины XVI в., и заключил: «Даже после длительного периода шведского владычества, шведских ойконимов (тем более — оронимов и гидронимов) в этих землях оказалось очень мало». А в отношении выводов М. Фасмера и Е.А. Рыдзевской, насчитавших на территории Руси чуть ли не 400 «скандинавских» топонимов, прямо сказал: «эти цифры недостоверны». Заметив, что «порой сомнительно само антропонимическое происхождение основ ойконимов, ибо они повторяются в составе ряда гидронимов, что не характерно для той эпохи», автор подчеркнул: «среди обсуждаемых населённых пунктов нет сколько-нибудь значимых, а чем дальше к северу и северо-востоку, тем число поселений с предположительно скандинавскими названиями сокращается вплоть до полного исчезновения».

При этом указывая, что «особенно неудачными следует признать попытки привлечения скандинавских апеллятивов. Характерен в этом отношении пример главного города древлян *Искоростеня*. Его возводили к др.-сканд. **Skorosten* “Скала с зарубкой”. Такое же происхождение предлагалось и для названия местечка *Коростышев* на р. Тетерев и с. *Коростынь* у Ильменя... А есть ещё дер. *Коростень* на р. Сить в Костромской обл. Что же, и здесь побывали варяги и нашли скалу с зарубкой? Вряд ли скандинавская этимология останется сколько-нибудь убедительной на фоне данных русского языка, в котором есть и *короста* “сажа, корка, струпья”, и *керста* “могила, гроб” (уже в ПВЛ под 1092 г.), и диалектные *короста* “кочковатое, неровное место”, *коростень* “болотный кочкарник”».

Обратившись к данным антропонимии, Шилов заключил, что этот материал не может являться надёжным показателем в силу заимствований русскими ряда скандинавских имён. Заметив вместе с тем, что в берестяных грамотах, представляющих собой переписку лиц самого разного происхождения и социального положения, из более чем 1000 личных имён большинство является русскими, более 40 — прибалтийско-финскими и саамскими, 3–4 — балтийскими и одно, возможно, татарским, а «к скандинавам или их потомкам можно отнести лишь трёх-четырёх персонажей. Причём в грамотах, относящихся к Карелии, подобных имён нет вовсе. Как их не зафиксировано, добавил он, и по другим старым документам — писцовым книгам, актам и др. Одновременно Шилов, рассматривая карельские топонимы с основой -*Ruotši*, подчеркнул, с одной стороны, что карельское *«ruotši, ruotšilainen (-set)»* обозначало не толь-

ко и не столько шведов, но всех западных соседей, находившихся под властью Швеции: финнов и тех же карел». С другой, что на юге Карелии топонимы с основой Роч- могут иметь иное происхождение. Так, например, «современное *гощ* означает “некрещёный ребёнок”, восходя к семантике с мифологическим значением, отражающим культ предков», да к тому же нельзя игнорировать русское «роча» — «промысловая изба» и саамское *ruots* — «бурелом».

Коснувшись захоронений X в. в бассейнах рек Паши и Сяси, т. е. выйдя за пределы Карелии, некоторые из которых определены (например, С.И. Кочуркиной) как скандинавские и финно-скандинавские, Шилов констатировал: «Эти выводы, однако, далеко не бесспорны. Атрибуция отдельных вещей об этническом происхождении их владельцев ничего не говорит, а свидетельствует лишь о торговых связях населения». Так, помимо скандинавских вещей в памятниках древних карел и вепсов найдены западноевропейские мечи, ожерелья, аналогичные обнаруженным в Византии, византийские шёлковые золотые ленты, шёлковые ленты из Средней Азии, сосуды, схожие с теми, что дали раскопки салтово-маяцких и булгарских памятников, восточные наременные украшения, импортируемые через Булгар. После чего правомерно заметил: «Но из этого не делают вывода о пребывании в Карелии и Присвирье западноевропейцев, греков, арабов или булгар. Эти находки говорят лишь об оживлённых торговых связях местного населения с ближними и дальними народами». «Итак, археология, — подытоживал учёный, — не даёт надёжных свидетельств скандинавской колонизации юго-восточного Приладожья и, тем более, Южной Карелии в IX–XI вв.».

Не прошёл Шилов и мимо утверждений, что исландские саги указывают на посещение Карелии викингами. Так, Г.В. Глазырина отождествила топоним Alaborg «Саги о Хальвдане, сыне Эйстена» с неким населённым пунктом на р. Олонец, приняв во внимание лишь созвучие первых частей Alaborg и карельского названия низовьев Олонца — Alavoine. Выступившие против такого толкования Т.Н. Джаксон и Д.А. Мачинский в свою очередь предложили иную трактовку, связав Alaborg с безымянным городком IX–X вв. на р. Сясь у с. Городище. Однако все эти версии ничего не стоят, отмечал исследователь, уже в силу фантастического характера саги и недостоверности содержащихся в ней сведений, на чём в своё время акцентировали внимание Е.А. Рыдзевская, М.И. Стеблин-Каменский, И.П. Шаскольский. К тому же, говорил он, приведя соответствующие примеры, «любое отождествление комплекса названий саг с реальными объектами региона всегда будет носить элемент произвола, ибо на соответствующем огромном пространстве можно найти множество “нужных” комбинаций». После чего также подвёл черту: «Таким образом, и письменные источники свидетельствуют разве что об эпизодических посещениях скандинавами южной Карелии, но не о постоянном проживании их там».

Шилов, проанализировав «найденные» В.А. Агапитовым (в одиночку и в союзе с К.К. Логиновым в 1992 г.) «скандинавские» топонимы в Карелии, конкретно в Заонежье, установил, что приведённые ими «названия получают правдоподобную интерпретацию на русской или прибалтийско-финской основе». После чего повторил также давнюю истину, согласно которой «простое созвучие

основ топонимов со словами тех или иных языков само по себе ещё не может рассматриваться как доказательство той или иной этимологии». В целом же он, констатируя, во-первых, отсутствие в Южной Карелии микротопонимов «с характерными для древнескандинавской топонимии формантами, восходящими к *bu* “деревня”, *hem* “дом”, *hulm* “роща”, *mål* “отмеренный кусок земли”, *gim* “вырубка, открытое место”, *stad* “город, стоянка, жильё”, *tomt* “участок земли”, *tun* “отгороженный луг (святая поляна”, *åker* “пашня” и т. п.», во-вторых, что «в русских, карельских и вепских говорах Карелии не отмечены скандинавские заимствования, которые могли бы восходить к эпохе средневековья и быть восприняты в данном регионе», заключил, что в Карелии отсутствуют скандинавские топонимы¹⁹¹ (понятно, что выводы Шилова шире заявленной темы, потому как имеют прямое отношение не только к Карелии и её топонимике, но ко всей Русской земле и ко всем «археолого-этимологическим штудиям» норманистов).

В целом, чтобы ёмко охарактеризовать состояние разработки варяго-русского вопроса в 1992–2002 гг., достаточно ограничиться оценкой, которую в 2004 г. высказал украинский археолог и норманист Ф.А. Андрощук: археологические схемы, которые находятся «до сих пор в обращении, не добавляют ничего принципиально нового к интерпретации Вильгельма Томсена и Туре Арне»¹⁹². Действительно, н и ч е г о, а лишь только «подтверждают» эти ультранорманистские схемы аргументами того же качества, которыми оперировали более 100 лет назад скандинавские исследователи. Ничего нового нет, за исключением также совершенно искусственно притянутых к тем же схемам «новых открытий», как в работах лингвистов и историков, без возражений следующих за археологами, так и зарубежных учёных (но порой последние демонстрируют более взвешенный подход к разговору по варяжской проблеме).

Примечания

- ¹ Хлевов А.А. *Норманская...* (1994). С. 3–4, 20; *его же*. *Норманская...* (1997). С. 91; *его же*. *Об основных...* С. 34; *его же*. *Современный...* С. 197; *его же*. *Кто...* С. 9; *Кан А.С.* *Швеция...* С. 50; *Мачинский Д.А.* *Была...* С. 58.
- ² Агеева Р.А. Указ. соч. С. 143, 151, 153, 168; *Новосельцев А.П.* *Древнейшие...* С. 94; *его же*. *Образование...* С. 7; *его же*. «Мир... С. 23–31; *Молчанов А.А.* *Древнескандинавский...* С. 45.
- ³ Пчелов Е.В. *Легендарная...* С. 27; *его же*. *Предки...* С. 367; *Хлевов А.А.* *Норманская...* (1994). С. 18–19; *его же*. *Норманская...* (1997). С. 35–36, 63–68; *Петрухин В.Я., Раевский Д.С.* Указ. соч. С. 257; *Петрухин В.Я.* *Древняя Русь*. С. 84–85; *его же*. «Русский... С. 128; *Клейн Л.С.* *Норманизм...* С. 91–92, 96; *его же*. *Спор...* С. 127; *Янин В.Л.* *Археология...* С. 919–921.
- ⁴ Пчелов Е.В. *Рюриковичи*. С. 7, 18–20; *Горский А.А.* *Русь*. С. 36; *Дворниченко А.Ю.* *Зеркала...* С. 11, 13.
- ⁵ *Кожин В.В.* Указ. соч. № 9. С. 154–164; № 10. С. 173–174; № 11. С. 179.
- ⁶ *Чернецов А.В.* Указ. соч. С. 10; *Клейн Л.С.* *Норманизм...* С. 100.
- ⁷ *Новосельцев А.П.* *Хазарское...* С. 157, прим. 131; *его же*. «Мир... С. 27; *Шаскольский И.П.* *Славяне...* С. 98–100; *его же*. *Русско...* С. 158; *Трубачёв О.Н.* *В поисках...* С. 127.
- ⁸ *Мельникова Е.А., Петрухин В.Я.* *Скандинавы...* С. 56; *Иванов К.* Указ. соч. С. 10, 17, прим. 10; *Мельникова Е.А.* *Тени...* С. 17; *Петрухин В.Я.* *Древняя Русь*. С. 87; *его же*. *Легенда...* (2011). С. 297.
- ⁹ *Клейн Л.С.* *Норманизм...* С. 94–96, 99–100; *его же*. *Спор...* С. 124, 131–134; *Формозов А.А.* *Русские...* (2004). С. 24, 26, 177; то же (2006). С. 24, 26, 177; *Мусин А.Е.* *Дорога...* С. 48; *Войтович Л.В.* *Рюрик*. С. 112–115; *его же*. *Рюрик...* С. 9–10, 25.
- ¹⁰ *Фортинский Ф.Я.* *Опыты...* С. 10; *Максимов Н., Кравченко С., Кузнец Д.* Указ. соч. С. 58; *Мельникова Е.А.* *Ренессанс...* № 3 (2009). С. 57–58; № 5. С. 56; то же (2011). С. 71, 75; *её же*. *Скандинавы в процессах...* С. 50; *Фомин В.В.* «Скандинавомания». № 10. С. 98–101; *его же*. *Ломоносовофобия...* С. 460–469.
- ¹¹ *ДРЗИ. Т. II*. С. 72; *ПСРЛ. Т. II* (1843). С. 227; *т. II* (1908). С. 81; *Розенкамф Г.А.* *Объяснение...* (1827). С. 20, 22; *его же*. *Объяснение...* (1828). С. 151; *его же*. *Обозрение...* С. 252–253; *Погодин М.П.* *Исследования...* Т. 2. С. 415; *Петрухин В.Я.* *Начало...* С. 90, 125, 136; *его же*. *Древняя Русь*. С. 84, 104, 149, 244; *его же*. *Русь из Пруссии*. С. 126–131; *его же*. *Русь и Хазария*. С. 209; *его же*. *Миф...* С. 115; *его же*. *О скандинавских...* С. 501; *его же*. «Русь... С. 70, 230–235, прим. 9 на С. 63; *его же*. *Русь в IX...* С. 7–9, 127, 138, 188, 226, 267, 353; прим. 22 на С. 18, прим. 25 на С. 22; *его же*. *Русь христианская...* С. 458–459, 473, 485; *Петрухин В.Я., Раевский Д.С.* Указ. соч. С. 256–257.
- ¹² *Клейн Л.С.* *Спор...* С. 9, 25, 201–202, 207, 212–220; *его же*. *Воевода...* С. 235–236; *Носов Е.Н.* *Послесловие*. С. 356, прим. 1; *Шинаков Е.А.* *Образование...* (2009). С. 9–11.
- ¹³ *Назаренко А.В.* *Древняя Русь и славяне...* С. 370; *Горский А.А.* *Проблема...* С. 134; *его же*. *К спорам...* С. 174; *его же*. *Первое...* С. 10, 60–61; *Дворниченко А.Ю.* *Российская...* С. 86–87; *Кучкин В.А.* *Был...* С. 196, 199–200.
- ¹⁴ *Погодин М.П.* *Г. Геденов...* С. 176; *Пчелов Е.В.* *Рюрик*. С. 5, 94–95, 98–99, 103–114, 204; *его же*. *Рюрик...* С. 4–8, 16–20.
- ¹⁵ *Соколов С.В.* [Рец]. *Л.С. Клейн*. С. 105–109; *Войтович Л.В.* *Викинги...* (I). С. 3, прим. 2; *его же*. *Рюрик...* С. 8; *Пузанов В.В.* *Образование...* С. 16–17.
- ¹⁶ *Шавелёв С.П.* *Дань...* Кн. 2. С. 227, 243, 492.
- ¹⁷ См. напр.: *Сахаров А.Н.* *Забелин...* С. 199–206; *Орловская С.А.* Указ. соч. С. 344–365.
- ¹⁸ *Клейн Л.С.* *Ещё...* С. 336–338; *его же*. *Фо па...* С. 649, 651–658.
- ¹⁹ *Пайтс Р.* Указ. соч. С. 7, 45–53.
- ²⁰ *Викинги*. С. 16–17, 27, 53, 64–76, 158–159.
- ²¹ *Франклин С., Шепард Д.* Указ. соч. С. 15–205; *Буланин Д.М.* Указ. соч. С. 612–620.
- ²² *Розсдаль Э.* Указ. соч. С. 4, 106, 238–249.
- ²³ *Джонс Г.* Указ. соч. С. 263–270, прим. 1 на С. 259 и 261.
- ²⁴ *Пирсон Э.* Указ. соч. С. 26, 28.

- ²⁵ Унгейт Ф., Миллард Э. Указ. соч. С. 40–41, 43.
- ²⁶ Джаксон Т.Н. Древнескандинавская... С. 48; *её же*. Варяги... С. 84; Клейн Л.С. Норманизм... С. 96, 98; *его же*. Спор... С. 126; Лебедев Г.С. Varangica... С. 102, 109; *его же*. От редактора. С. 4–5; Лебедев Г.С., Жвиташивили Ю.Б. Указ. соч. С. 87.
- ²⁷ Литаврин Г.Г. Византия... С. 8–23.
- ²⁸ Макаров Н.А. Предисловие. С. 7; Торопова Е.В. Указ. соч. С. 48; Петрухин В.Я. Русь в IX... С. 8; *его же*. Русь христианская... С. 460; Щавелёв С.П. Дань... Кн. 1. С. 118, 123.
- ²⁹ Кураев И.В. Указ. соч. С. 27; Мельникова Е.А. Возникновение... С. 89.
- ³⁰ Мурашёва В.В. «Путь... С. 175; Шинаков Е.А. Генезис... С. 5–6, 18; *его же*. Племена... (2000). С. 307; *то же* (2012). С. 40.
- ³¹ Даркевич В.П. [Рец.] И.П. Русанова... С. 200–206.
- ³² Носов Е.Н., Горюнова В.М., Плохов А.В. Указ. соч. С. 25.
- ³³ Путешествие Ибн-Фадлана... С. 71, 74; ДРЗИ. Т. III. С. 123–124, 141–142; Бартольд В.В. Указ. соч. С. 26; Нунав Т.С. Торговля... С. 276–277, 285.
- ³⁴ Захаров С.Д. Белоозеро. С. 221, 234–235.
- ³⁵ Стальсберг А. О скандинавских... С. 277; Янссон И. К вопросу... С. 122.
- ³⁶ Селин А.А. История... С. 73–75; Нефёдкин А.К. Указ. соч. С. 79.
- ³⁷ Соколов С.В. [Рец.] Л.С. Клейн. С. 107; Селин А.А. Куда... С. 74; Гонно П., Лавров А.С. Указ. соч. С. 9, 15, 18.
- ³⁸ Ениосова Н.В. Глазами... С. 15–16.
- ³⁹ Андросчук Ф.А. Скандинавские... С. 8.
- ⁴⁰ Коваленко Г.М. Туре... С. 288, 292.
- ⁴¹ Ведюшкина И.В. О некоторых... С. 11; Хлевов А.А. Норманская... (1994). С. 20; *его же*. Норманская... (1997). С. 77–78, 80; Кан А.С. Швеция... С. 40, 45.
- ⁴² Мурашёва В.В. Предметный... С. 33; *её же*. Была... С. 8–11.
- ⁴³ Фехнер М.В. Некоторые... С. 40; Янссон И. Контакты... С. 126–131; Янссон И., Тегнер Ё., Панова Т. Указ. соч. С. 16, 27, 49; Мурашёва В.В. Скандинавские наборные... С. 163; Жобер А.Н. Указ. соч. С. 242, 244, 246, 248, 250.
- ⁴⁴ Лихачёв Д.С. Россия... (1992). С. 14; *его же*. Нельзя... С. 113–114; *его же*. Россия... (2001). С. 35–37; Лебедев Г.С. «Год... С. 133–134; *его же*. Varangica... С. 106; Лебедев Г.С., Жвиташивили Ю.Б. Указ. соч. С. 159; Хлевов А.А. Норманская... (1997). С. 80.
- ⁴⁵ Мельникова Е.А. Варяги (1994). С. 341–342; *её же*. Варяги... С. 159–164; *её же*. Варяжская... С. 30; *её же*. Варяги (2014). С. 102–104; Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Скандинавы... С. 56–68; Петрухин В.Я. Начало... С. 108–109, 242–243; *его же*. Путь... (1998). С. 130; *его же*. Путь... (2002). С. 52, 55; *его же*. Русь... С. 130, 198, 202–204, 281, прим. 125 на С. 188; *его же*. Русь христианская... С. 471–472, 485–486; Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Указ. соч. С. 249–252, 259, 273, 275, 283, 291–292, 296; Ведюшкина И.В. «Русь»... С. 101.
- ⁴⁶ Седов В.В. Русский... (1998). С. 14–15, прим. 52; *его же*. Древнерусская... С. 66.
- ⁴⁷ Назаренко А.В. Древняя Русь на международных... С. 33; ДРЗИ. 2013. С. 293–294.
- ⁴⁸ Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне... С. 370.
- ⁴⁹ См., напр.: Петрухин В.Я. Начало... С. 27–28, 51–52, 55, 84, 98, 109, 242–243; *его же*. Славяне, варяги... С. 117–121; *его же*. «Из варяг... С. 64–65; *его же*. Древняя Русь. С. 18, 32, 59, 67, 79–88, 99–107, 114–116, 120–121, 147–149, 339; *его же*. «Русский... С. 127–139; *его же*. Мифы... С. 37–38, 46, 279, 402; *его же*. Древняя Русь IX... С. 56–57; *его же*. Древняя и удельная... С. 73; *его же*. Кто... С. 28–29; *его же*. Викинги... С. 63–64; *его же*. Русь в IX... С. 162, 177–181, 188–190, 195, 202–204, 207, 218–219, 230, 281–285, 319, 403; *его же*. Русь христианская... С. 66–68, 73, 119–120, 141, 456, 458, 463, 466, 468–470; Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Указ. соч. С. 237–244, 252, 261, 267–272, 278, 283, 286, 298–300, 316; Петрухин В., Торопов А. Указ. соч. С. 60–61; Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Скандинавы... С. 56–68; *их же*. Русь... С. 40–50; Мельникова Е.А. Тени... С. 18; *её же*. Культурная... С. 136; *её же*. Зарубежные источники по... С. 12–13; *её же*. Варяжская... С. 31; *её же*. Ренессанс... (2009. № 5). С. 55; *то же* (2011). С. 73; *её же*. Сокровищница... С. 14; *её же*. Зарубежные источники о... С. 21; Мельникова Е.А. Балтийско-Волжский путь. С. 49; *её же*. Варяги (2014). С. 102.

- ⁵⁰ Свердлов М.Б. Дополнения. С. 597; Лебедев Г.С., Жвиташвили Ю.Б. Указ. соч. С. 75–76.
- ⁵¹ Викинги. С. 16, 58; Джонс Г. Указ. соч. С. 180; Буайе Р. Указ. соч. С. 78–81, 148; Хейвуд Д. Указ. соч. С. 75, 89.
- ⁵² Ключевский В.О. Русская... Т. I. С. 157–158; Пресняков А.Е. Лекции... С. 285; Шмурло Е.Ф. Курс... С. 68; Арбман Х. Указ. соч. С. 118, 129, 132–133, 143; Джонс Г. Указ. соч. С. 206, 208–210, 212, 222; Хейвуд Д. Указ. соч. С. 80, 112, 117, 120–126, 135, 215–220.
- ⁵³ Петрухин В.Я. Мифы... С. 47; *его же*. «Русь... С. 68; История Дании. С. 48–51.
- ⁵⁴ Джаксон Т.Н. Исландские... (1993). С. 80, 101, 111–112, 115–116, коммент. 3 на С. 113; ДРЗИ. Т. V. С. 57–58, 90, 93, 207, 211.
- ⁵⁵ Мельникова Е.А. Эпоха... С. 414, 434.
- ⁵⁶ Джаксон Т.Н. Исландские... (1993). С. 221; ДРЗИ. Т. V. С. 70, 246–247.
- ⁵⁷ Сойер П. Указ. соч. С. 110, 113, 126, 184; Джонс Г. Указ. соч. С. 181–182, 188.
- ⁵⁸ Шахматов А.А. Древнейшие... С. 62–63.
- ⁵⁹ Клёсов А.А., Грот Л.П. Указ. соч. С. 313–314.
- ⁶⁰ Франклин С., Шепард Д. Указ. соч. С. 53.
- ⁶¹ Станг Х. Указ. соч. (1999). С. 119–147; Роэдаль Э. Указ. соч. С. 239, 246; *Urbańczyk P.* *Op. cit.* С. 228–233.
- ⁶² Мельникова Е.А. Скандинавские антропонимы... С. 23–24; *её же*. Источниковедческий... С. 82, 84; *её же*. Тени... С. 17; *её же*. Скандинавские личные... С. 10–15; Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Указ. соч. С. 251; Петрухин В.Я. Древняя Русь. С. 79.
- ⁶³ См. об этом: Клёсов А.А., Грот Л.П. Указ. соч. С. 141–143.
- ⁶⁴ Зутис Я.Я. Указ. соч. С. 40; Кузьмин А.Г. Об этнической... С. 70–80; Откуда есть... Кн. 2. С. 639–654; Лелеков Л.А. Указ. соч. С. 121; Галкина Е.С. Тайны... С. 370–371, 395; Кляшторный С.Г. Указ. соч. С. 205; Диктофонная... С. 586; Грот Л.П. Имена... С. 262.
- ⁶⁵ Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Послесловие. С. 237, 242.
- ⁶⁶ Мельникова Е.А. Тени... С. 18–19; *её же*. Источниковедческий... С. 90–92; *её же*. Культурная... С. 137–143; *её же*. Скандинавские рунические... (2001). С. 210–211.
- ⁶⁷ ЛЛ. С. 28; Козьма Пражский. Указ. соч. С. 66; Назаренко А.В. Немецкие... С. 64–65; Кузьмин А.Г. Начало Руси. С. 276.
- ⁶⁸ Джаксон Т.Н. Исландские... (1993). С. 242; *её же*. Исландские... (2000). С. 251.
- ⁶⁹ Сага гутов. С. 42.
- ⁷⁰ Исландские саги (1956). С. 35–36, 762, прим. к С. 35.
- ⁷¹ Лев Диакон. Указ. соч. С. 44, 59, 71–72, 73–74, 77–81, 213, коммент. 56.
- ⁷² Соловьёв С.М. История... Кн. 1. С. 252; Ковалевский С.Д. Ещё... С. 198; Шушарин В.П. Указ. соч. С. 276; Шаскольский И.П. Норманская... науке. С. 43–44.
- ⁷³ Скрынников Р.Г. Войны... С. 25–37; *его же*. Древняя... С. 3–4, 6–11; *его же*. История... С. 8, 12, 51, 54–55, 63–64, 67; *его же*. Русь... С. 15–18, 20–50, 52, 54–55, 59–62, 65, 71–72, 75–76; *его же*. Крест... С. 5, 9–23, 25, 27, 30, 32. См. также: Фомин В.В. Кривые... С. 86–90.
- ⁷⁴ Горский А.А. Русь. С. 51, прим. 46.
- ⁷⁵ См., напр.: Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Русь... С. 49; Мельникова Е.А. Балтийско-Волжский путь... С. 80–84; *её же*. К типологии контактных... С. 21, 25–26; *её же*. Варяжская... С. 30; *её же*. Ладога... С. 157–165; *её же*. Возникновение... С. 93.
- ⁷⁶ Кирпичников А.Н., Сарабьянов В.Д. Старая Ладога... С. 87, 89; *их же*. Старая Ладога. С. 79, 81; Кирпичников А.Н. «Сказание... С. 8–9, 14, 16–17; *его же*. Сказание... С. 36–37, 47, 50–53; *его же*. О начальном... С. 113; *его же*. 1250... С. 40, 46; *его же*. Древности... С. 43; *его же*. Ноые... С. 19; Пчелов Е.В. Юриковичи. С. 22.
- ⁷⁷ Джонс Г. Указ. соч. С. 56, 68, 236.
- ⁷⁸ Иванов К. Указ. соч. С. 17, прим. 8; Носов Е.Н., Горюнова В.М., Плохов А.В. Указ. соч. С. 25; Свердлов М.Б. Русское... С. 432.
- ⁷⁹ Мельникова Е.А. Источниковедческий... С. 87–88; *её же*. К типологии контактных... С. 20; *её же*. Норвегия. С. 559; История Дании. С. 48; ДРЗИ. 1999. С. 410–411, 416; ДРЗИ. Т. V. С. 24.
- ⁸⁰ Моця А.П. Викинги... С. 10.

- ⁸¹ Петрухин В.Я. Начало... С. 55; *его же*. Древняя Русь. С. 106; Мачинский Д.А. Эпоха... С. 131; Кан А.С. Швеция... С. 40.
- ⁸² Станг Х. Указ. соч. (1999) С. 145; *то же* (2000). С. 62.
- ⁸³ Schramm G. Op. cit. S. 107.
- ⁸⁴ Мельникова Е.А. Скандинавские рунические... (2001). С. 265–272.
- ⁸⁵ Мусин А.Е. Дорога... С. 45; Кулешов В.С. Указ. соч. С. 452; Мачинский Д.А. Некоторые... С. 483, 492–493, 613.
- ⁸⁶ Повесть временных лет (2012). С. 206; Николаев С.Л. Указ. соч. С. 411–413.
- ⁸⁷ Войтович Л.В. Викинги... (II). С. 4.
- ⁸⁸ Вовина-Лебедева В.Г. История... С. 65–66.
- ⁸⁹ Грот Л.П. О Рослагене... С. 329, 331–353; *её же*. Призвание варягов... (2012, 2013). С. 55, 70, 79, 99–115, 213–234, 318–323; Клёсов А.А., Грот Л.П. Указ. соч. С. 59–83, 257.
- ⁹⁰ См., напр.: Бурачёк С.А. Указ. соч. С. 90.
- ⁹¹ Богуславский О.И. Южное... С. 16; Сорокин П.Е. К вопросу... С. 110–111; Носов Е.Н. У истоков Новгорода. С. 280, 283 *его же*. Первые... С. 66; Седых В.Н. Русь... С. 71.
- ⁹² Конецкий В.Я. Центр... С. 54; Кирпичников А.Н. Ладога VIII–X вв... С. 36; *его же*. «Сказание... С. 13–14; *его же*. Сказание... С. 43, 46; *его же*. Великий... (2001). С. 18, 20, 24; *его же*. Великий... (2002). С. 42–43, 46, 51; *его же*. Старая... С. 9, 12; *его же*. 1250... С. 39–40, 44–45; *его же*. Древности... С. 42–43; *его же*. Новые... С. 18–19; Кирпичников А.Н., Сарабьянов В.Д. Старая Ладога... С. 84; *их же*. Старая Ладога. С. 76–77; Мачинский Д.А. Русско... С. 9–11; Нефёдов В.С. Гнёздовский... С. 36; Петрухин В.Я. Древняя Русь. С. 117; Седых В.Н. Русь... С. 68; *его же*. Северная... С. 88.
- ⁹³ Носов Е.Н. Происхождение... С. 103–104; Михайлов К.А. Захоронения... С. 50–54; *его же*. Скандинавский... С. 63; Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Указ. соч. С. 279; Петрухин В.Я. Древняя Русь. С. 116, 121; Кирпичников А.Н., Сакса А.И. Указ. соч. С. 134; Лебедев Г.С., Жвиташвили Ю.Б. Указ. соч. С. 14, 116; Седых В.Н. Русь... С. 72.
- ⁹⁴ ДРЗИ. 1999. С. 463–464, 482–483; Джаксон Т.Н. Древнескандинавская... С. 52; *её же*. Исландские... (1993). С. 244–245, 254; *её же*. Исландские... (2000). С. 273–274, 282; *её же*. AUSTRI... С. 105–107; Мельникова Е.А. Варяжская... С. 30.
- ⁹⁵ Пчелов Е.В. Рюрик. С. 220; *его же*. Рюрик... С. 41.
- ⁹⁶ Мачинский Д.А. Была... С. 60–66; Назаренко А.В. Русь IX века. С. 32.
- ⁹⁷ Конецкий В.Я. К изучению... С. 131–132; *его же*. Новгород... С. 5; *его же*. Центр... С. 59; *его же*. Социальная... С. 37–38; Гайдуков П.Г., Носов Е.Н., Янссон И. Указ. соч. С. 119; Носов Е.Н. У истоков Новгорода. С. 272–273, 276–280; *его же*. Первые... С. 73; *его же*. Некоторые итоги... С. 52; *его же*. Славяне... С. 50; Янин В.Л. Основные... С. 10–11; *его же*. Археология... С. 920; Петрухин В.Я. Путь... (2002). С. 58; Хвоцинская Н.В. Указ. соч. С. 98.
- ⁹⁸ Франклин С., Шепард Д. Указ. соч. С. 87; Янссон И. Скандинавские... С. 18–38.
- ⁹⁹ Лебедев Г.С. Русь Рюрика... С. 406; *его же*. Верхняя... С. 46, 54; Мельникова Е.А. Варяги (1994). С. 342; *её же*. Варяги (2014). С. 102; ДРЗИ. 1999. С. 554; Конецкий В.Я., Самойлов К.Г. Указ. соч. С. 134–137; Лебедев Г.С., Жвиташвили Ю.Б. Указ. соч. С. 43; Свердлов М.Б. Русское... С. 434.
- ¹⁰⁰ Седов В.В. Роль... С. 105–106; ДРЗИ. 1999. С. 475 Глазырина Г.В. Правители... С. 144; Иов О.В., Рябцевич В.Н. Указ. соч. С. 164–175; Янин В.Л. О начале... С. 207.
- ¹⁰¹ Петрухин В.Я. Начало... С. 55; *его же*. Путь... (1998). С. 128, 130; *его же*. Древняя Русь. С. 106, 124, 149; *его же*. Призвание варягов. С. 36; *его же*. Кто... С. 29; *его же*. Русь в IX... С. 190; Платонова Н.И. Русско... С. 71–72К; Александров А.А. Псковские... С. 148–149; Чернецов А.В. Указ. соч. С. 13, 16, 20; Лебедев Г.С., Жвиташвили Ю.Б. Указ. соч. С. 81; Свердлов М.Б. Русское... С. 434, 437.
- ¹⁰² Мельникова Е.А. Скандинавы и процессы... С. 74; Конецкий В.Я. Центр... С. 58; Голубева Л.А. Указ. соч. С. 153; Измайлов И. «Русы»... С. 94, 100; Дубов И.В. Великий... С. 92; Мусин А.Е. Дорога... С. 48.

- ¹⁰⁵ Дубов И.В., Седых В.Н. Указ. соч. С. 102, 110; Леонтьев А.Е. Внешние... С. 92, 95; Седых В.Н. Археология... С. 429–430; Дубов И.В. Скандинавы... С. 114–118; Лапшин В.А. Колонизация... С. 105–106.
- ¹⁰⁶ Добровольский И.Г., Дубов И.В., Кузьменко Ю.К. Указ. соч. С. 16.
- ¹⁰⁷ Фехнер М.В. Наконечник... С. 243–244; Петрухин В.Я. Варяги... С. 74–76; *его же*. К предыстории... С. 30; *его же*. Начало... С. 99, 171, 193–194; *его же*. Комментарии // Голб Н., Прицак О. Указ. соч. Комментар. * к С. 36 на С. 201, комментарий. * к С. 65 и к С. 66 на С. 207, комментарий. ** к С. 89 на С. 214, комментарий. *** к С. 92 на С. 215, комментарий. ** к С. 96 на С. 217; *его же*. Походы... С. 68; *его же*. Большие... С. 361–369; *его же*. К дохристианским... С. 883–889; *его же*. Путь... (1998). С. 131; *его же*. Древняя Русь. С. 245–257; *его же*. Мифы... С. 291; Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Указ. соч. С. 284–289, 296–298; Еремеев И.И., Янссон И., Сёдерберг С. Указ. соч. С. 206–223.
- ¹⁰⁸ Булкин В.А. Указ. соч. С. 144; Даркевич В.П. Происхождение... С. 50–51; *его же*. «Градские... С. 640–641, 654–655.
- ¹⁰⁹ Кулаков В.И. Восточная... С. 48.
- ¹¹⁰ Археология Карелии. С. 292–293, 308–315; Шилов А.Л. Указ. соч. С. 111.
- ¹¹¹ Янссон И., Тегнер Ё., Панова Т. Указ. соч. С. 5–12, 19, 24.
- ¹¹² Кирпичников А.Н., Сарабьянов В.Д. Старая Ладога... С. 63, 69–70, 75, 90–93, 165; *их же*. Старая Ладога. С. 55, 63, 68, 77, 81–83, 139, 151, 169, 171; Кирпичников А.Н. «Сказание... С. 8, 13; *его же*. Сказание... С. 32, 43; *его же*. Производственный... С. 245–246; *его же*. Старая... С. 12; *его же*. 1250... С. 42, 44; *его же*. Древности... С. 39, 42.
- ¹¹³ Цукерман К. Русь... С. 77.
- ¹¹⁴ Александров А.А. О руссах. С. 17, 19–21; Лебедев Г.С. Путь из варяг в греки как объект... С. 159, 163–164; *его же*. Путь из Варяг в Греки как фактор... С. 206.
- ¹¹⁵ Милютин Н.Н. Указ. соч. С. 252–260; Молчанов А.А. Ярл... С. 80–84; Гиппиус А.А. «Суть... С. 59–65.
- ¹¹⁶ Назаренко В.А. О возможной... С. 91–95; Михайлов К.А. Скандинавский... С. 64–65.
- ¹¹⁷ Лесман Ю.М. Варяжское... С. 158–162; *его же*. Между... С. 78.
- ¹¹⁸ Мельникова Е.А. Эпоха... С. 411–414.
- ¹¹⁹ ДРЗИ. Т. V. С. 89; Джаксон Т.Н. Исландские... (1993). С. 71, прим. 74; Мачинский Д.А. Эпоха... С. 130–139.
- ¹²⁰ Зуев В.Ю., Щукин М.Б., Лебедев Г.С. Указ. соч. С. 11.
- ¹²¹ Хейвуд Д. Указ. соч. С. 424, 426–427; Фомин В.В. Исландские... С. 40–51.
- ¹²² Мельникова Е.А. «Знаки... С. 178; Нефёдов В.С. Гнёздовский... С. 35, 38; Шмидт Е.А. Гнёздово. С. 24.
- ¹²³ Стальсберг А. Интерпретация... С. 362–363, 367; *её же*. О скандинавских... С. 286.
- ¹²⁴ Янссон И. Русь... С. 22, 25–29; *его же*. К вопросу... С. 122–126.
- ¹²⁵ Носов Е.Н. Первые... С. 66, 73, 80; *его же*. Современные... С. 160–161.
- ¹²⁶ Седов В.В. Русский... (1999). С. 71–72; *его же*. Славяне. С. 286.
- ¹²⁷ Каинов С.Ю. Ланцетовидные наконечники... С. 49–62.
- ¹²⁸ ДРЗИ. 1999. С. 96–102; ДРЗИ. 2013. С. 97–102; Бибилов М.В. BYZANTINOROSSICA. С. 55–56, 72–74; ДРЗИ. Т. II. С. 179, 182, комментарий. 3 на С. 179.
- ¹²⁹ Горский А.А. Русь «от рода... С. 57; *его же*. К спорам... С. 174, прим. 8; *его же*. Начало... С. 17; *его же*. Приглашение... С. 21, прим. 43.
- ¹³⁰ Мельникова Е.А. К типологии контактных... С. 19; *её же*. Новгород... С. 130–131; *её же*. Скандинавы на Балтийско... С. 133–138; *её же*. Устная... С. 164, прим. 19; ДРЗИ. 1999. С. 475, 499, 543.
- ¹³¹ Гайдуков П.Г., Носов Е.Н., Янссон И. Указ. соч. С. 120.
- ¹³² Джаксон Т.Н. Исландские... (1993). С. 47.
- ¹³³ Успенский Ф.Б. Варяжское... С. 263–280; *его же*. Крещение... С. 407–414; *его же*. Скандинавы. С. 11–14, 30–31, 34, 49, 65–137, 141–168, 190–200, 209, 224, прим. 15 на С. 54; *его же*. Нетленность... С. 159–160.
- ¹³⁴ Шинаков Е.А. Генезис... С. 20.

- ¹³³ Петрухин В.Я. Древняя Русь. С. 116, 121; Мюллер-Вилле М. Внешние... С. 926–927.
- ¹³⁴ Коваленко В.П. Указ. соч. С. 176, 190–191.
- ¹³⁵ Фомин В.В. «Скандинавомания... С. 100.
- ¹³⁶ Коваленко В.П., Моця А.П. Викинг... С. 41.
- ¹³⁷ Комар А.В. Чернигов... С. 346–347, 349, 355.
- ¹³⁸ Джаксон Т.Н. Исландские... (1993). С. 246–248, 252–253; *её же*. Древняя... С. 9–10, 12–13, 16–17, 23–25, 28–29; *её же*. Исландские... (2000). С. 276–277, 281–285; *её же*. AUSTR... С. 31–32, 35, 45–46, 51–52, 56, 59, 63–68, 73–76, 105–112, 140; ДРЗИ. 1999. С. 457–460, 464–477; ДРЗИ. Т. V. С. 321, прим. 6 на С. 57, прим. 12 на С. 58, прим. 49 и 50 на С. 325; ДРЗИ. 2013. С. 482–485, 489–491, 493.
- ¹³⁹ Петрухин В.Я. Олав... С. 91–93; Моця А.П. Викинги... С. 10–11.
- ¹⁴⁰ Цукерман К. Два... С. 55–56, 64–73.
- ¹⁴¹ Мачинский Д.А. Была... С. 60; Мачинский Д.А., Панкратова М.В. Указ. соч. С. 23–46.
- ¹⁴² Стальсберг А. Археологические... С. 93; Буайе Р. Указ. соч. С. 30.
- ¹⁴³ Андросчук Ф.А., Зоценко В.Н. О времени... С. 4–13.
- ¹⁴⁴ Лесман Ю.М. Скандинавский фактор... С. 211–223.
- ¹⁴⁵ Фехнер М.В. Крестовидные... С. 210–214; Седов В.В. Об одной... С. 63–67; *его же*. Изделия... С. 58–59; Мюллер-Вилле М. Внешние... С. 928; Рыбина Е.А., Хвоцинская Н.В. Указ. соч. С. 69.
- ¹⁴⁶ Мусин А.Е. Христианизация... С. 152–170; Зоценко В.Н. Киевский... С. 471; Чуракова А.Ю. Указ. соч. С. 158–176.
- ¹⁴⁷ Назаренко А.В. Две... С. 17–20, 22; *его же*. Новый... С. 353, прим. 12; *его же*. Русь IX века. С. 29, 33–35; ДРЗИ. Т. IV. Комментар. 18 на С. 29, комментарий. 12 на С. 33; ДРЗИ. 2013. С. 278, 281, 289, 293–294.
- ¹⁴⁸ Фомин В.В. Варяги и варяжская... С. 174–175; Горский А.А. Первое... С. 54, прим. 209; Щавелёв А.С., Фетисов А.А. Указ. соч. С. 314.
- ¹⁴⁹ Седых В.Н. Русь... С. 68–72.
- ¹⁵⁰ Зоценко В.Н. Скандинавские... С. 26–52; *его же*. Киевский... С. 455–475; Андросчук Ф.А. Скандинавские... С. 10–11, 38, 42–45.
- ¹⁵¹ Ладога. Первая столица Руси; Старая Ладога. Древняя столица Руси; Кирпичников А.Н. Древности... С. 38–39, 42–43, 45; Кирпичников А.Н., Сарабьянов В.Д. Старая Ладога. С. 5; Ладога и истоки российской государственности и культуры.
- ¹⁵² Мачинский Д.А. Ладога... С. 11–35; Клейн Л.С. «Русь»... С. 283–286.
- ¹⁵³ Волковичкий А.И., Короткевич Б.С., Кузьмин С.Л. Указ. соч. С. 134, 138, 140; Михайлов К.А. Курганные. С. 154–155, 158; Богуславский О.И. История... С. 160–161, 168; Сорокин П.Е. Суда... С. 142–150.
- ¹⁵⁴ Рыбина Е.А., Хвоцинская Н.В. Указ. соч. С. 68, 76. В 2017 г. археолог А.Е.Мусин такое заключение своих коллег посчитал методологически некорректным, ибо оно «игнорирует хронологию эпохи викингов» (Мусин А.Е. «Столетняя... С. 235). Но всё дело в том, что эта тысячная доля процента чётко указывает на измышления норманистов о русской истории, которые они так любят переводить в проценты.
- ¹⁵⁵ Джонс Г. Указ. соч. С. 159, 246–247, 255, 266; Скрынников Р.Г. Древняя... С. 7; Сванидзе Д.В. Указ. соч. С. 411; Успенский Ф.Б. Скандинавы. С. 80–81; Мусин А.Е. «Столетняя... С. 237.
- ¹⁵⁶ Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 161; Молчанов А.А. Новгород... С. 54; Конецкий В.Я. К изучению... С. 132; *его же*. Центр... С. 59; Петрухин В.Я. Древняя Русь. С. 121; *его же*. Призвание... С. 44; *его же*. Новгородцы... С. 148–150; *его же*. Русь в IX... С. 145.
- ¹⁵⁷ ЛЛ. С. 56; Bayer G.S. De Varagis. P. 284; Байер Г.З. О варягах. С. 349; Шлёцер А.Л. Нестор. Ч. III. С. 104; Эверс Г. Указ. соч. С. 71–72; Джонс Г. Указ. соч. С. 105, 246–247, 266; Викинги. С. 70; Мельникова Е.А. Варяжская... С. 30–32; *её же*. Ладога... С. 161; *её же*. Предания... С. 19–21; Кузнецов П.В. Поход... С. 5–6.
- ¹⁵⁸ Kunik E. Die Berufung... Bd. II. S. 445–492; Погодин М.П. Норманский... С. 48; *его же*. Древняя... Т. I. С. 43; Петрухин В.Я. Мифы... С. 48, 400–411.
- ¹⁵⁹ Пчелов Е.В. Новгород... С. 10–11; *его же*. Предки... С. 369; *его же*. Скандинавские... С. 130–133; *его же*. Генеалогия... С. 27, 30, 68–96.

- ¹⁶⁰ Рыдзевская Е.А. К варяжскому вопросу. № 8. С. 620, прим. 1.
- ¹⁶¹ Петрухин В.Я. Варяги... С. 71; *его же*. Начало... С. 116–128; *его же*. «От тех... С. 16; *его же*. Древняя Русь. С. 104–121; *его же*. «Русский... С. 141–142; Мельникова Е.А. Скандинавы на Балтийско... С. 136; *её же*. Рюрик... (2000). С. 147, 149; *её же*. Устная... С. 160–161; *её же*. Варяжская... С. 30, 32; Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Легенда... С. 50–55; Пчелов Е.В. Рюрик. С. 230–234.
- ¹⁶² Зиборов В.К. Романовы... С. 50; *его же*. Русское... С. 51–52.
- ¹⁶³ Кирпичников А.Н., Сарабьянов В.Д. Старая Ладога... С. 84–87; *их же*. Старая Ладога. С. 76–78; *его же*. «Сказание... С. 10–11; *его же*. Сказание... С. 33, 39–40.
- ¹⁶⁴ Джаксон Т.Н. Исландские... (2000). С. 12; *её же*. AUSTR... С. 13; *её же*. Русь... С. 55.
- ¹⁶⁵ Коновалова И.Г. Русы... С. 168–169.
- ¹⁶⁶ Сванидзе Д.В. Указ. соч. С. 410–411.
- ¹⁶⁷ Пчелов Е.В. Новгород... С. 11; *его же*. Легендарная... С. 28–29; *его же*. Предки... С. 367–370; *его же*. Скандинавские... С. 130–131; *его же*. Рюриковичи. С. 31–35; *его же*. Генеалогия... С. 60–96, 216; Клёсов А.А., Грот Л.П. Указ. соч. С. 253.
- ¹⁶⁸ Герд А.С., Лебедев Г.С., Булкин В.А., Седых В.Н. Указ. соч. С. 318; Лебедев Г.С. Эпоха... (2005). С. 522.
- ¹⁶⁹ Клейбер Б.А. Искоростънь. S. 130–131.
- ¹⁷⁰ Лебедев Г.С., Жвиташвили Ю.Б. Указ. соч. С. 77–79, 82–83.
- ¹⁷¹ Аникин А.Е. Указ. соч. С. 514; Кулешов В.С. Указ. соч. С. 454, прим. 21.
- ¹⁷² Данилевский И.Н. Древняя... С. 46, 52–53, 56–57; *его же*. Образование... (26, 123).
- ¹⁷³ Погодин М.П. Исследования... Т. 3. С. 424.
- ¹⁷⁴ Хрестоматия... С. 115; ДРЗИ. Т. III. С. 71–72; Иванов К. Указ. соч. С. 12; Петрухин В.Я. Начало... С. 205–207.
- ¹⁷⁵ Велецкая Н.Н. Указ. соч. С. 199.
- ¹⁷⁶ Данилевский И.Н. Древняя... С. 49; *его же*. Образование... (123). Перхавко В.Б. Зарождение... С. 89; Петрухин В.Я. [Рец.] Franklin S... С. 119–120; Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Указ. соч. С. 275–276, 292.
- ¹⁷⁷ Измайлов И. «Русы»... С. 98–100; Петрухин В.Я. Древняя Русь. С. 118; Шинаков Е.А. Генеzis... С. 18; *его же*. Образование... (2009). С. 75, 79, 83–84; *его же*. Племена... (2000). С. 305; *то же* (2012). С. 38; Шинаков Е.А., Гурьянов В.Н. Указ. соч. С. 186, 196–197.
- ¹⁷⁸ Плано Карпини Дж. Указ. соч. С. 51; Коновалова И.Г. Хорезм... С. 184–185, 189.
- ¹⁷⁹ Петрухин В.Я. «Русский... С. 133; *его же*. О «Русском... С. 79; *его же*. Мифы... С. 279–292, 295, 318, 380, 409.
- ¹⁸⁰ ДРЗИ. Т. III. С. 77; Глазырина Г.В. Сага... С. 253, коммент. 36 на С. 296; Петрухин В.Я. «Русь... С. 104.
- ¹⁸¹ Томсен В. Указ. соч. С. 35; Перхавко В.Б. С весами... С. 137; Эрлихман В.В. Русы... С. 182; *его же*. Русь... С. 172; Седых В.Н. Северная... С. 87.
- ¹⁸² Сойер П. Указ. соч. С. 292; Urbaińczyk P. Op. cit. С. 229–230.
- ¹⁸³ ал-Йа'куби. Указ. соч. С. 3–12, 103; Калинина Т.М. Арабские... С. 190–210; ДРЗИ. Т. III. Коммент. 13 на С. 38, коммент. 9 на С. 112; Пчелов Е.В. Рюриковичи. С. 43; *его же*. Рюрик. С. 10, 178–179, 208; *его же*. Рюрик... С. 28–29.
- ¹⁸⁴ Гедеонов С.А. Указ. соч. С. 354–356; Куник А.А. Предисловие... С. 141–142; Замечания А. Куника (2015). С. 230; Заметка А.А. Куника. С. 303–305; Гаркави А.Я. Указ. соч. С. 66–71, 150; Иловайский Д.И. Разыскания... С. 219, 249; Томсен В. Указ. соч. С. 48; Минорский В.Ф. Куда... С. 24–25; Горский А.А. Проблема... Прим. 40 на С. 137; *его же*. Первое... С. 59, прим. 223; Urbaińczyk P. Op. cit. С. 230.
- ¹⁸⁵ Вестберг Ф.Ф. К анализу... № 2. С. 390; Рыбаков Б.А. Русь... С. 117–118; *его же*. Киевская Русь... С. 184–185; Станг Х. Указ. соч. (1999). С. 136; Кирпичников А.Н. Великий... (2001). С. 20; Калинина Т.М. Арабские... С. 205–206; ДРЗИ. Т. III. Коммент. 17 на С. 114, коммент. 30 на С. 118.
- ¹⁸⁶ Петрухин В.Я. «От тех... С. 12; Кирпичников А.Н. Великий... (2002). С. 60; Данилевский И.Н. Образование... (116).

¹⁸⁷ Каинов С., Фёдоров О. Скандинавские... С. 2–7.

¹⁸⁸ Собчак А.А. Указ. соч. С. 11.

¹⁸⁹ Литаврин Г.Г. Византия... С. 17.

¹⁹⁰ 0_VO_2009_7_oblozhka.pmd (onomastics.ru) (дата обращения: 14.10.2023).

¹⁹¹ Шилов А.Л. Указ. соч. С. 109–118.

¹⁹² Андросчук Ф.А. Скандинавские... С. 7.

Фонд Русской Цивилизации **СВЕТ** **СЛАВЪ**

Фонд поддержки и развития историко-культурной и духовной нравственности русской цивилизации «Светославъ» совместно с издательством «Концептуал» запустили публикацию книг в рамках серии

«ФОНД „СВЕТОСЛАВЪ“ ПРЕДСТАВЛЯЕТ».

Эти издания содержат результаты исследований, подготовленных по итогам реализации нового проекта Фонда: **«Конкурс грантовой поддержки актуальных исследований в области российской истории и культуры (КГРИ)».**

Конкурс грантов направлен на поддержку государственной политики в области исторического просвещения народов России через решение следующих задач:

- ❖ организация и проведение актуальных исследований в области наиболее значимых и дискуссионных проблем отечественной истории, привлечение в науку молодых, одарённых исследователей;
- ❖ популяризация достижений системы гуманитарного научного знания в области отечественной истории и культуры в целях сохранения и приумножения духовно-нравственных основ Русской Цивилизации.

К участию в конкурсах грантов Фонд приглашает как ведущих специалистов, представляющих академический и вузовский сектора науки, так и начинающих исследователей.

Более подробная информация на сайте КГРИ:

<https://www.fond-svetoslav.ru/>

Электронная почта для приёма заявок: **grand@fond-svetoslav.ru**



Александр Невский и его эпоха

Долгов Вадим Викторович

416 стр. | твёрдый переплёт | 70×100/16

Какими тайнами овеяна жизнь Александра Невского? Что скрывают документы XIII века, и каков путь исследователей к истине? Эта книга представляет уникальное исследование, приоткрывающее завесу тайн великого князя. Она состоит из трёх частей, первая включает анализ древних текстов и позволяет читателю окунуться в процесс поиска и атрибуции исторических «остатков» эпохи. Изложение формирования исторических фактов и процесс борьбы за каждую деталь прошлого представляет вторую часть книги. Завершает трилогию биография Александра Невского, систематизированная на основе комплексного источниковедческого и историографического анализа.

Издание не только освещает историю одного из наиболее выдающихся государственных деятелей Древней Руси, но и отражает эволюцию оценки итогов деятельности Александра Ярославича в научной литературе и общественном сознании последующих поколений. Монография рекомендуется как специалистам, студентам-историкам, так и всем любителям истории, стремящимся понять сложность и глубину исторической науки.



Князь Святослав Игоревич: исторический портрет на фоне эпохи

Лисюченко Игорь Васильевич

640 стр. | твёрдый переплёт | 70×100/16

Предлагаемая читателю работа посвящена жизни и деятельности одного из наиболее выдающихся князей Древней Руси — Святослава Игоревича. В книге подробно описываются особенности источников по теме исследования, главные черты общественного и государственного строя времени правления Святослава, восприятие княжеской власти людьми того времени, родители, детство и юность княжича, гибель его отца и роль матери — св. Ольги — в данных событиях. Опираясь на отечественные и иностранные памятники, изучавшиеся автором в оригинале, рассматриваются различные вопросы, связанные с историей войн Святослава в Хазарии и на Балканском полуострове, его взаимоотношения с детьми и героическая гибель. При этом развенчивается миф об авантюризме Святослава, его пренебрежении интересами Руси. Впервые на базе всех доступных источников показана борьба Святослава с воеводой его отца Свенельдом, что является частным случаем борьбы за власть между князьями и воеводами раннего периода древнерусской истории. Для студентов, аспирантов, учёных, всех интересующихся историей древних славян и других индоевропейских народов.



Русофобия: История изобретения страха

Таньшина Наталия Петровна

496 стр. | твёрдый переплёт | 60×90/16

Что такое русофобия? Существует ли она вообще, или её придумали сами русские? В чём причина неприятия нашей страны, и почему Россия воспринимается зачастую в негативном ключе, как антипод и угроза ценностям западного «цивилизованного» мира? Каковы исторические корни русофобии как идеологии, а также мифы и стереотипы, на основе которых строится образ России? Как этот образ формировался на разных этапах исторического развития? Можно ли воспринимать русофобию как разновидность расизма? Всегда ли доминировал русофобский взгляд на нашу страну, или были периоды иного её восприятия? Можно ли выработать иммунитет против этого вредоносного общественного «вируса»? На основе анализа работ о России, созданных в разное время западными писателями, путешественниками, дипломатами и политиками, автор книги предлагает свои варианты ответов на эти сложные, неоднозначные и очень актуальные вопросы.



История России. Комплекс из 5 томов. Издание исправленное, дополненное

Спицын Евгений Юрьевич

440, 496, 440, 512, 304 стр. | твёрдый переплёт | 70×100/16

Ищете интересное и понятное издание об истории России? Предлагаем комплект из пяти томов, который содержит не только достоверную информацию, но и карты, портреты, фотографии. Работа историка Евгения Спицына рассказывает о дореволюционном, советском, современном периодах. Надо отметить аргументированность и чёткость изложения материала. Пятитомник весьма актуален, полезен школьным учителям и преподавателям вузов, читающим лекции по истории России. В повествование вплетено описание большого количества событий, дат, имён. Тем самым издание представляет собой прекрасный путеводитель для читателя и преподавателя, которому предстоит работать по так называемому единому народному учебнику истории. Спицын в какой-то мере пытался скорректировать и нейтрализовать ошибки и просчёты ранее выпущенных книг. Когда он сам работал учителем, а затем и директором в школе Москвы, он обратил внимание на дефицит именно историографической информации в существующих изданиях. Поэтому Евгений Спицын и взялся за написание такой сложной работы, с чем блестяще справился.

Научное издание

Фомин Вячеслав Васильевич

Антинорманизм: Наука против лжи

Том 1

Главный редактор	Константин Антипин
Ведущий редактор	Максим Писарцев
Выпускающий редактор	Наталья Молчанова
Верстальщик	Татьяна Сосенкова
Дизайнер	Борис Протопопов
Корректор	Ольга Добрыднева

В соответствии
с Федеральным законом РФ
от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ



Концептуал

СМИ, издательство и интернет-магазин

Распространяем информацию,
которая помогает человеку
сложить адекватную картину мира

kontakt@konzeptual.ru / +7 (495) 150-69-70

konzeptual.ru